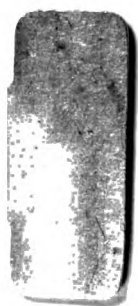


**PAGE NOT  
AVAILABLE**



2<sup>e</sup>





2<sup>e</sup>











# НОВАЯ ЖИЗНЬ

---

## СОДЕРЖАНІЕ

1912 г.

Январь.

№ 1.

	СТР.
Н. ГУМИЛЕВЪ, М. МОРАВСКАЯ, А. АХМАТОВА, В. НАРБУТЪ. Стихи. . . . .	3
Д. АЙЗМАНЪ.—Лѣсникъ Зозуля. Разсказъ. . . . .	7
Н. ОЛИГЕРЪ.—Скитанія. Повѣсть . . . . .	23
В. СЕМИЧЕВЪ.—Голодъ. Очерки . . . . .	69
В. БЕРЕНШТАМЪ.—Увлечся. Изъ записокъ адвоката . . . . .	93
ДЖЕКЪ ЛОНДОНЪ.—Мѣстный колоритъ. Разсказъ. Перев. съ англійскаго І. Маевского . . . . .	97
ПРОФ. Ө. ЗЪЛИНСКІЙ.—Трагедія жизни и комедія быта . . . . .	112
В. ФРИЧЕ.—Скульпторъ І. Г. Габозичъ. . . . .	128
В. АГАФОНОВЪ.—Космогоническія теоріи . . . . .	138
Я. ВОРОБЬЕВЪ.—Дворянское оскудѣніе . . . . .	162
Н. КАДМИНЪ.—Критическіе очерки . . . . .	182
П. БЕРЛИНЪ.—„Новое Время“ и нововременцы . . . . .	202
Н. БОРЕЦКІЙ-БЕРГФЕЛЬДЪ.—Политическій кризисъ въ Германіи. . . . .	226
Н. ЧЕРЕВАНИНЪ.—Голодъ и его причины. . . . .	236



**Л. КЛЕЙНБОРТЪ.—Отклики русской жизни.** . . . . . 248

# **КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ:**

Д. Коковцовъ. Вѣчный потокъ. 2-я книга стиховъ. СПБ. 1911. — Михаилъ. Долиновъ и Александръ Конгэ. Пѣнные голоса. Стихи. Предисл. А. Кондратьева. М. 1912. — П. Лучанскій. Цвѣты души моей. СПБ. 1911. — Н. Гиляровская. Стихи. М. 1912. — Аполлонъ. Литературный альманахъ. СПБ. 1912. — Арпэ Гарборгъ. Рассказы. Потерянный отецъ. Изд. В. Саблина. М. 1911. — Фридрихъ Ницше. Автобіографія. (Ессе Номо) Изд-во „Прометей“. СПБ. 1911. — Проф. М. Довнаръ-Запольскій. Исторія русскаго народнаго хозяйства. т. 1-й. Кіевъ. 1911. — Памяти Петра Францевича Лесгафта. Сборникъ Изд. газ. „Школа и Жизнь“. СПБ. 1912. . . . . 268

Вмѣсто двухъ репродукцій въ каждой книгѣ журнала редакція на будущее время рѣшила давать ихъ лишь въ тѣхъ номерахъ, въ которыхъ будутъ помѣщены статьи о художникахъ. При этомъ будутъ воспроизводиться работы художниковъ, творчеству которыхъ посвящены статьи, и въ большемъ числѣ репродукцій.

## **Отъ редакціи:**

Рукописи, присланныя въ редакцію, должны быть четко переписаны (по возможности на пишущей машинѣ) и снабжены именемъ и адресомъ автора.

Непринятые рукописи, менѣе половины печатнаго листа, возвращенію не подлежатъ. Относительно непринятыхъ стихотвореній редакція ни въ какую переписку не вступаетъ.

Рукописи болѣе полулиста, непринятые для напечатанія, хранятся въ теченіе трехъ мѣсяцевъ. На отвѣтъ и возвращеніе рукописей прилагаются марки.

Пріемъ по дѣламъ редакціи по вторн. и субб. отъ 3 до 5 ч.

## **Отъ конторы.**

За перемѣну адреса—50 к. для иногороднихъ, 40 к. для городск. подписчиковъ. Выписывающіе одновременно „Нов. Журн. для Всѣхъ“ и „Новую Жизнь“ платятъ — иногор. 70 к. и городск. 50 к. При новомъ адресѣ слѣдуетъ сообщать прежній свой адресъ съ бандероли.

Такса объявленій въ журналъ „Новая Жизнь“: послѣ текста—страница—80 р.,  $\frac{1}{2}$  стр.—45 р.,  $\frac{1}{4}$  стран.—25 р., строка нонпарели (въ одну колон.)—40 к.

На обложкѣ: 2 и 3 стран.—100 р.,  $\frac{1}{2}$  стран.—60 р.,  $\frac{1}{4}$  стран. 35 р. строка нонпар. (въ одну колон.)—80 к.; 4-ая стран.—120 р.,  $\frac{1}{2}$  стр.—70 р.,  $\frac{1}{4}$  стр.—40 р.

Въ Москвѣ подписка принимается въ конторѣ Печковской. Контора „Новой Жизни“ убѣдительно проситъ г.г. подписчиковъ при всѣхъ сношеніяхъ съ ней писать свой адреса какъ можно болѣе четко.

\* \* \*

«Ты совсѣмъ, ты совсѣмъ снѣговая;  
Какъ ты странно и страшно блѣдна!  
Отчего ты дрожишь, подавая  
Мнѣ стаканъ золотого вина?»

Отвернулась печальной и гибкой...  
Что я знаю, то знаю давно,  
Но я выпью и выпью съ улыбкой  
Все налитое ею вино.

А потомъ, когда свѣчи потушатъ  
И кошмары придутъ на постель,  
Тѣ кошмары, что медленно душатъ,  
Я смертельный почувствую хмель.

И войду къ ней, скажу: «Дорогая,  
Видѣлъ я удивительный сонъ,  
Ахъ, мнѣ снилась равнина безъ края  
И совсѣмъ золотой небосклонъ.

Знай, я больше не буду жестокимъ;  
Будь счастливой съ кѣмъ хочешь, хоть съ нимъ;  
Я уйду... далекимъ, далекимъ,  
Я не буду печальнымъ и злымъ.

Мнѣ изъ рая, прохладнаго рая,  
Свѣтять бѣлые отсвѣты дня,  
И мнѣ сладко—не плачь, дорогая—  
Знать, что ты отравила меня».

Н. Гумилевъ.

## ПРЕДЧУВСТВІЯ.

Я полна предвесеннихъ тревогъ,  
Я вѣрна обѣщаньямъ капели,  
Неуемно-шумливой капели...  
Я иду къ неозначенной цѣли  
По раздолью размытыхъ дорогъ.

Вешній вѣтеръ волнуяще новъ,  
Ослѣпительнъ тающій ледъ,—  
И улыбки моей не спугнетъ  
Чернота придорожныхъ крестовъ!

М. Моравская.

\* \* \*

Гнутся струны паутинъ  
Подъ переливчатой росой.  
Радостно бродить босой  
По травамъ утреннихъ равнинъ.

Итти безкрайними дугами,  
Забывъ тоскливость всѣхъ границъ,  
Итти за вѣтромъ, словно пламя,  
Безвольно-радостное пламя,  
И расширенными ноздрями  
Пить запахъ сладкихъ медуницъ.

М. Моравская.



Я пришла сюда, бездѣльница—  
Все равно мнѣ, гдѣ скучать.  
На пригоркѣ дремлетъ мельница—  
Годы можно здѣсь молчать.

Надъ засохшей павиликою  
Мягко плаваютъ пчела.  
У пруда русалку кликаю,  
А русалка умерла.

Затянулся ржавой тиной  
Прудъ широкій, обмелѣлъ.  
Надъ трепещущей осиною  
Легкій мѣсяцъ заблестѣлъ.

Замѣчаю все, какъ новос.  
Влажно пахнутъ тополя.  
Я молчу. Молчу, готовая  
Снова стать тобой—земля!

Анна Ахматова.

## ГОРШЕЧНИКЪ.

Въ пятнахъ дегтя—шаровары у горшени  
 И навывпускъ полосатая рубаха;  
 Поясъ—узкій ремешокъ. А въ сѣнѣ—  
 За соломенной папахою папаха.  
 Златомъ льющейся, точеною соломой  
 Гнѣзда завиты: шерпавый и съ поливой,—  
 Тотъ—для каши, тотъ—съ утробой, щамъ знакомой.  
 Тотъ—въ ледникъ,—для влаги, бѣлой и лѣнивой.  
 Хрупко-звонкіе, какъ яйца, долгоязы,  
 Дутые, спѣсивые горшки-обжоры—  
 Грѣются на зноѣ, сѣющемъ алмазы  
 На захваченные клеверомъ просторы.  
 А за клеверомъ пшеницы кружевное  
 Желтое-прежелтое сухое поле  
 Сплывмъ шорохомъ кузнечикамъ на зноѣ  
 Подсобляетъ пѣть о свѣтлой-свѣтлой долѣ...  
 Вперевалку, еле двигая рогами,  
 Мордою тупою и зобатой выей,—  
 Грузно тащатся воны надъ колеями,  
 И глаза ихъ—лупы синія, живыя.  
 Деревянное ярмо квадратной рамой,  
 Ерзая, затылокъ мшистый натираеть..  
 Господи! Какъ и предъ Насхой, тотъ же самый  
 Колокольчикъ въ небѣ пѣсню повторяеть..  
 Вьется-плачетъ жаворонокъ-невидимка,  
 Словно ангелокъ серебряно-крылатый:  
 Онъ—и надъ полями, онъ—и надъ займой,  
 Онъ—и надъ колодцемъ у горбатой хаты.  
 Скрипнулъ возъ. „Горшки, горшки“,—скороговоркой.  
 Смуглой женщиной съ подтыканною губой  
 Молвить человекъ, оглядываясь зорко.  
 И плюетъ сквозь зубы, нососавши трубку.  
 А воны жуютъ широкими губами—  
 Тянутъ дѣловито мокрую резану—  
 И считаютъ ребра вялыми хвостами,  
 Вдругъ остановившись передъ жердью длинной...

Владимиръ Набоковъ

## ЛѢСНИКЪ ЗОЗУЛЯ.

Разсказъ.

Три мальчика пошли въ лѣсъ воровать сучья.

Старшему, Васкѣ Лобастому, было лѣтъ двѣнадцать. Самому маленькому шелъ восьмой годъ. Мать звала его Филиппомъ; товарищи—Филькой. Онъ былъ худенькій и малорослый, лицо имѣлъ крохотное, а глаза большіе, сѣрые, и стояли глаза близко одинъ къ другому, у самой переносицы.

Филька только-что выкупался, и отъ этого свѣтлые слившіеся волоски его казались почти черными.

На опушкѣ лѣса, подъ косогоромъ, на которомъ находилось кладбище, свѣтло голубѣлъ широкій прудъ, и здѣсь, на шаткихъ мосткахъ, ведущихъ къ купальнѣ, собралась ватага горластыхъ ребятишекъ, а любитель фотографъ, накрывъ голову и аппаратъ чернымъ сукномъ, снималъ ее. Дѣти были голыя, мокрыя тѣла ихъ сверкали въ утреннемъ солнцѣ, какъ золотыя, а радостные и смѣшные возгласы, которыми ребята оглащали воздухъ, искрились и блестѣли, какъ эти мокрыя тѣла.

Вода въ пруду, если не считать прибрежной полосы, покрытой мутно-сѣрой плѣсенью, была нѣжно-голубого цвѣта; отраженіе же голыхъ желтыхъ тѣлъ въ ней было ярко зеленымъ, почти такимъ же зеленымъ, какъ трава на косогорѣ, какъ молодой дубнякъ у кладбища.

Мирную поверхность пруда расшалившіеся ребята всколыхнули, и по ней шли теперь обширные, веселые круги. Весело было водѣ, весело было ясному доброму небу, смотрѣвшему въ нее, весело было дубняку и соснамъ, и даже любителю фотографу, которому никакъ не удавалось собрать расходившихся шалуновъ въ пужную группу, даже ему было весело и хорошо. И хотъ покрикивалъ фотографъ на ребятъ, хотъ угрожалъ свирѣпо, что разстрѣляетъ ихъ изъ своего аппарата, если не усядутся они смирно,—онъ все таки съ трудомъ удерживался отъ смѣха при видѣ радостныхъ и смѣшныхъ прыжковъ дѣтей, и въ душѣ его было чувство милое, весеннее, доброе.

Филиппъ помѣщался почти въ центрѣ группы, которую снималъ фотографъ.

Онъ сидѣлъ на мосткахъ, свѣсивъ внизъ худыя поженки, и несораз-

мѣрно крупныя ступни его наполовину погружены были въ воду. По узенькимъ плечикамъ, по всему его слабому семилѣтнему тѣльцу обильно струились солнечныя лучи, и бѣдныя, тоненькія ребрышки мальчугана видны были отчетливо и ясно.

— Смотри-ка, Филька, лѣсничій вонъ онъ пошелъ, — сказалъ Васька Лобастый, наваливаясь голымъ брюхомъ на голыя плечи товарища. — И лѣсникъ Зозуля съ нимъ... И Пеструшка... Ишь ты, — вмѣстѣ! Найдутъ двѣсти.

По золотистой тропинкѣ, вверхъ по косогору, мимо кладбищенской ограды, въ тужуркѣ изъ сѣровой парусины и въ форменной фуражкѣ съ зелеными кантиками, поднимался невысокаго роста плотный брюнетъ, бородатый и въ очкахъ. Это былъ лѣсничій, Михаилъ Петровичъ Рюминъ. Рядомъ съ нимъ шелъ молодой великанъ Зозуля, свѣтлый блондинъ, плечистый, тяжеловѣсный. Бойкая желтенькая собаченка Пеструшка, худая, съ тонкими ножками, едва видная въ травѣ, весело размахивая поднятымъ хвостомъ, бѣжала около Зозули, своего владѣльца.

— Ишь ты, это они на пчеловодство, — соображалъ Васька. — Здорово... Сейчасъ, Филька, можно намъ въ лѣсъ, вѣтки ломать.

— А споймаютъ насъ... Накладутъ?

— Дурной!.. Они же ушли! И лѣсничій, и лѣсникъ, и Пеструшка. Это они на весь день... Айда въ лѣсъ!

Филиппъ принялъ солидный видъ и, стараясь выразиться тѣми словами, которыя употреблялъ старшій товарищъ, сказалъ:

— Здорово. Айда въ лѣсъ. Пойдемъ вмѣстѣ, найдемъ двѣсти.

Ребята наскоро одѣлись — рубаха и штаны, вотъ и весь костюмъ, — швырнули словечко Гаврику Косогузу — и всѣ трое понеслись въ деревню.

## II.

— Мама, хлѣба! — гаркнулъ Филиппъ.

Мать его, коротенькая, худощавая женщина, съ такими же сѣрыми и близко стоявшими одинъ къ другому глазами, какіе были у Филиппа, склонившись надъ лоханкой, стирала бѣлье.

Она была прачкой.

Лѣтомъ, когда Панскій Закутокъ наполнялся дачниками, у нея было много работы. Осенью же и зимой она оставалась безъ дѣла; въ опустѣвшемъ поселкѣ, у мужиковъ нельзя было найти и грошоваго заработка, и Аксинья со своимъ мальчикомъ жили впроголодь. Мужъ ея, маляръ, нѣсколько лѣтъ назадъ ушелъ какъ-то на заработки въ Крымъ и безъ вѣсти пропалъ. О немъ не было ни слуху, ни духу.

— На полкѣ хлѣбъ, — сказала Аксинья.

— Не. Не хочу хлѣба,—перерѣшилъ вдругъ Филька.

Отъ купанья онъ сильно проголодался, хлѣба ему очень хотѣлось, но еще больше хотѣлось поскорѣе бѣжать воровать сучья. Это страсть какъ интересно—привязать сбоку къ поясу маленькую пилку, какъ саблю, и въ компаніи съ Лобастымъ и Гаврикомъ Косогузомъ красться въ лѣсу, взбираться на старыя сосны, пилить на нихъ сухія вѣтки, связывать вѣтки въ пучокъ и послѣднѣе волокни пучокъ домой...

И очень радостно видѣть потомъ, что мать довольна и что съ такимъ опаснымъ трудомъ добытыя вѣтки она бросаетъ подъ котелъ, въ огонь, чтобы кипятить для стирки воду... Значитъ уже, не кто-нибудь Филька, не маленький, не дармоѣдъ ляданій, а полезный, нужный человѣкъ, добытчикъ, цѣнный для дома.

Пренебрегая голодомъ, вздрагивая — и отъ нетерпѣнія, и отъ тайнаго страха быть изловленнымъ и отлупленнымъ—Филька побѣждалъ къ товарищамъ, которые поджидали за воротами у красной криницы.

— Мамо, я тебѣ дровъ столько принесу, — гордо заоралъ онъ, останавливаясь въ воротахъ. — я столько, столько... вотъ уже побачишь сама сколько!..

Потомъ побѣждалъ къ товарищамъ.

Обсудивъ положеніе, компанія рѣшила далеко не забираться.

Лѣсничій и лѣсникъ ушли на пчеловодство, на цѣлый день, и риска быть пойманнымъ нѣтъ, а все таки лучше держаться поближе къ опушкѣ, къ дачамъ.

Изъ опыта всѣмъ было хорошо извѣстно, что дачниковъ лѣсники все таки стѣсняются. Если поймаютъ воровъ гдѣ-нибудь далеко, въ глубинѣ лѣса, то бьютъ ихъ безъ пощады, калѣчатъ и увѣчатъ. Если же изловить поближе къ дачамъ, гдѣ каждую минуту могутъ подойти гуляющіе, то поучать тоже, но — „съ резономъ“ и въ мѣру. На людяхъ неловко...

Лѣсники были разной строгости.

Меньше всѣхъ строгости проявлялъ Зозуля.

Этотъ бѣлокурый гигантъ и взрослыхъ преслѣдовалъ не слишкомъ усердно. Въ худшемъ случаѣ дастъ „по потылицѣ“, и это все. Къ ребятишкамъ же относился и совсѣмъ снисходительно. Затопаетъ ногами, заоретъ звѣремъ, по разбойничьи засвиститъ, запугаетъ на смерть, но какъ-то всегда выйдетъ такъ, что воришки успѣютъ во время улепетнуть и въ руки къ лѣснику не попадутся...

— Какъ мнѣ его, чертяку, бить, або, скажемъ, тягнуть на расправу до лѣсничаго, когда жъ онъ—вотъ онъ: до колѣна мнѣ ростомъ, а дома ему можетъ лопать нечего?.. Нехай онъ себѣ,—всего лѣса не уворуютъ...



Съ прошлаго года, однако, съ Августа, со времени назначенія въ Панскі Заутокъ Петра Михайловича Рюмина, Зозулѣ пришлось сдѣлаться построже.

Рюминъ былъ человѣкъ можетъ быть не злой, но недалекій, очень исполнительный, точный, исправный, аккуратный и неумолимый. Что требуется регламентомъ, параграфомъ, инструкціей,—хотя бы и самой бессмысленной и нелѣпой,—все это свято, все должно быть исполнено въ точности, безъ малѣйшихъ отступленій. При старомъ лѣсничемъ туберкулезные дачники подвѣшивали къ лѣсу гамаки. Это практиковалось десятки лѣтъ, и никто отъ этого не страдалъ, никто кромѣ регламента. Рюминъ же, какъ только пріѣхалъ, въ разныхъ мѣстахъ лѣса вывѣсилъ объявленіе «воспрещается» и энергичнѣйшимъ образомъ сталъ охотиться на нарушителей порядка.

Онъ лично, и его лѣсники, выбрасывали изъ гамаковъ больныхъ,—даже младенцевъ,—конфисковали гамаки, составляли протоколы, ташили въ судъ, штрафовали... Пробовали больные прибѣгнуть къ универсальному русскому средству: послали парламентаровъ съ данью. Спокойно, безъ негодованія, дѣловито и сухо лѣсничій взятку отклонилъ, а охоту на гамаки продолжалъ въ прежнемъ темпѣ, не дѣлая ее болѣе рѣзвой, но нисколько не умѣряя.

— Отъ гамаковъ страдаетъ сосна,—утверждалъ Рюминъ.

И онъ же самъ посоветовалъ возбудить передъ начальствомъ ходатайство разрѣшить подвѣшиваніе гамаковъ.

— А если съ разрѣшенія начальства подвѣсить, сосна страдать не будетъ?

— Это меня не касается,—отвѣчалъ Рюминъ.—Разрѣшено, такъ разрѣшено.

За порубки онъ преслѣдовалъ со всей строгостью, и подъ Срѣтеніе два крестьянина избиты были лѣсниками до полусмерти.

Всѣ ненавидѣли лѣсничаго, онъ это зналъ, этого боялся, боялся до того, что по ночамъ отъ страха плохо спалъ, и случалось даже, шумъ приближающагося поѣзда, спросонья, принималъ за топотъ идущихъ бунтовщиковъ... Онъ просыпался въ ужасѣ, облитый холоднымъ потомъ, схватывалъ ружье и бросался въ дѣтскую, гдѣ спали Костя и Наденька, его дѣти, которыхъ онъ любилъ нѣжно...

Утромъ же призывалъ лѣсниковъ, выдавалъ имъ новые экземпляры объявленія „воспрещается“ и посылалъ конфисковать гамаки...

Лѣсника Зозулю Рюминъ не любилъ, считалъ мямлей, пентюхомъ, дармоѣдомъ, неисправнымъ и нерадивымъ.

„Его бы уволить!..“

А Зозуля не любилъ своего начальника, своей службы, изъ за нихъ.

не любилъ уже и лѣса, говорилъ, что надо бы найти другое мѣсто, и въ ожиданіи этого другого мѣста вдругъ порывами, принимался выказывать такое неумѣренное рвеніе, что уже и Рюминъ порою удивлялся ему и начиналъ думать, что ничего, современемъ толкъ можетъ выйти всетаки и изъ этого негоднаго и нелѣпаго пентюха.

### III.

Мальчуганы обошли молодой дубнякъ и направились къ соснамъ.

Какъ и на пруду, въ лѣсу было радостно и свѣтло.

Горячее золото струилось и сверкало по стволамъ и по зеленой хвоѣ. Подъ погами, точно непросохшая земля ранней весной, подгибался толстый слой прошлогоднихъ иглъ. Нога скользила по этимъ игламъ, какъ по льду. Какіе-то маленькіе, наивные цвѣточки тихо резовѣли въ молодой травѣ. Слабенькіе, чуть видные, они смотрѣли доверчиво и ласково, ихъ не смущало соседство вѣковыхъ сосенъ, которыя проживуть, можетъ быть, и еще столѣтіе. Они росли и благоухали спокойно, увѣренно, въ сознаніи, что для Бога они такіе же желанные и дорогіе, какъ гиганты-сосны, какъ и само это бездонное небо, которое было, есть и будетъ...

Межъ стволами, на фонѣ зеленого и золотого, бродили бѣлыя женскія фигуры. Съ книжками или газетами лежали кое-гдѣ дачники. Дѣти въ свѣтлыхъ платьицахъ, голеногія, шмыгали въ разныхъ направленіяхъ, звонко кричали и смѣялись. Въ этомъ смѣхѣ, — какъ и на этихъ голыхъ ногахъ, — было много золота, много аромата, много свѣжести, и веселья, и радости, и милаго обаянія, — того особеннаго, свѣтлаго, разгѣживающаго душу обаянія, которымъ полонъ бываетъ лѣсъ, крѣпкій, нетронутый, южный лѣсъ, въ благословенныя лѣтнія солнечныя утра...

Филка проворно вскарабкался на сосну.

Маленькій, легкій, ловкій, онъ взвился на высокій стволъ въ одну минуту, какъ бѣлка.

Босыми ноженками ловко цѣплялся онъ за самыя незначительныя неровноватости коры. Усѣвшись верхомъ на вѣткѣ, онъ отыскалъ свою пилаку и принялся пилить...

Дѣйствовалъ быстро, ловко, выбирая сухія, умершія вѣтви, и вѣтви, одна за другой, падали внизъ...

Лобастый и Кесогоузъ живо подбирали вѣтки и складывали въ кучи...

Нѣсколько разъ приближались къ мальчикамъ прогуливавшіеся дачники. Въ глазахъ у ребятъ появлялось тогда несмѣлое, вопросительное выраженіе, — врагъ, или человекъ безразличный?.. Дачники быстро догадывались въ чемъ дѣло, имъ казеннаго имущества, оберегаемаго лѣсничимъ, не было жалко, имъ жалко было дѣтей, такихъ тощихъ и ободранныхъ.

съ такими испуганными, умоляющими глазами,—и они сочувственно улыбались вора́мъ, а иногда и помогали имъ и вмѣстѣ съ дѣтьми собирали вѣтки и складывали ихъ въ кучи...

#### IV.

Двѣ большія вязанки уже были собраны, мальчи́ки прикрѣпили къ нимъ веревки, а Косогузъ свою вязанку даже было уже и потащилъ... И вдругъ глаза мальчугана налились недоумѣніемъ и страхомъ, а ноги его оцѣмѣли...

На краю полянки, саженьхъ въ пятидесяти, вынырнувшая изъ за плотной стѣны густыхъ и старыхъ елей, показалась гигантская фигура Зозули... А около него, поднявъ къверху хвостъ, стояла желтенькая тонконогая Пеструшка.

Другимъ лѣсникомъ, старымъ Митричемъ, Косогузъ, недѣль шесть тому назадъ, былъ избитъ такъ жестоко, что синяки на спинѣ и груди мальчика не отошли еще до сихъ поръ. И теперь, при видѣ Зозули, мальчику показалось, что все тѣло его, всѣ истерзанныя мѣста вдругъ тяжело и мучительно зааныли...

— Филька!.. Филька, утекай!—сдавленнымъ шепотомъ произнесъ Косогузъ.—Филька, слазь скорѣй,—лѣсникъ...

Какимъ-то удивительнымъ инстинктомъ Филька уже и самъ почувалъ приближеніе лѣсника... Сердчишко его быстро затрепыхалось,—какъ трепыхался въ воздухѣ острый конецъ тоненькой и гибкой вѣтки, которую онъ медлилъ...

Мальчи́къ оглянулся.

Его большіе, сѣрые, близко одинъ къ другому поставленные глаза, наполнились ужасомъ. Все личико его поблѣднѣло и какъ-то странно искривилось... Пила выскользнула изъ рукъ Филиппа и, цѣпляясь за вѣтки, съ тяжимъ звономъ полетѣла внизъ...

Филька сталъ проворно спускаться.

о теперь ступни его уже не такъ цѣпко ухватывались за стволъ, и дрожавшія руки не такъ удачно ловили вѣтки... И что-то хрустнуло подъ пальцами мальчика, и поскользнулась нога, и какая-то острая вѣточка, какъ когтемъ, уцѣпилась въ край задравшейся рубашенки, а потомъ царанула по оголившемуся животу...

— Ахъ, стерва! а...—высокимъ и звонкимъ теноромъ гаркнулъ Зозуля, внезапно остановившись.—Воровать?.. Ахъ, каторжники проклятые!.. Вотъ и васъ, сукины коты!..

Онъ отчаянно затопалъ ногами.

Голосъ его гулко понесся по лѣсу, и въ запуганную дѣтскую душу

Фильки вошелъ такой острой и страшной угрозой, что руки мальчика, сжимавшія вѣтку, обмерли, разжались, а ноженьки утратили всякую упругость и повисли книзу, какъ веревки...

И какъ какой-нибудь мертвый узелокъ, ничѣмъ и никѣмъ не поддерживаемый, мальчикъ кувyrкнулся внизъ, на землю...

— Ахъ, Боже ты мой!—вырвался у Зозули испуганный возгласъ.—Что же это ты такое тамъ, а!..

И охваченный темнымъ давящимъ страхомъ, гигантъ этотъ весь похолодѣлъ. •

— Вѣдь убьешься, убьешься! — плачущимъ голосомъ прокричалъ потомъ.

Кричалъ такъ, какъ если бы думалъ предупредить Фильку, какъ если бы Филька не лежалъ уже неподвижнымъ и безмолвнымъ бугоркомъ на землѣ, на выпершихъ изъ нѣдръ земныхъ кривыхъ и корявыхъ корняхъ, а находился еще на верхушкѣ сосны и только бы собирался еще сброситься оттуда внизъ...

— Убьешься вѣдь, дурной!..

Онъ кинулся къ Филькѣ. Вмѣстѣ съ нимъ, съ громкимъ и веселымъ лаемъ, побѣжала Пеструшка.

И когда оба они были уже совсѣмъ близко отъ вора, мальчикъ вдругъ поднялъ голову, оглянулся, икнулъ, рукой обтеръ ротъ, потомъ проворно вскочилъ, оглянулся вторично... И уже ни на мгновенье не задерживаясь, бросился бѣжать...

Онъ побѣжалъ такъ невѣроятно быстро, какъ бѣгутъ только отъ смертельной опасности. И послѣ перваго мгновенія странной ошеломленности, лѣсникъ залился вдругъ оглушительнымъ, радостнымъ хохотомъ.

— Ахъ ты, сукинъ котъ,—одобрительно, съ дружеской лаской, чувствуя огромное облегченіе, вскрикнулъ онъ.—Отто!.. Ты, дурной, думаешь тутъ, что онъ на смерть, на кусочки убился, а онъ... отто?!.. Ахъ ты, чертовъ байстрюкъ. чтобы тебя, сатану такую, чортяка сханала!..

Съ радостнымъ и какимъ-то почти отцовскимъ чувствомъ гордости и ласки смотрѣлъ онъ на опушку лѣса, гдѣ по золотой песчаной дорогѣ, межъ стволами около дачъ, уже значительно умѣривъ быстроту, сопровождаемые присоединившейся къ нимъ дружелюбной и весело лающей Пеструшкой, мчались мальчуганы...

Собственно къ Лобастому и къ Косогузу нѣжности у Зозули было мало. Этихъ онъ, пожалуй, съ удовольствіемъ отодралъ бы и сейчасъ, если бы только въ состояніи былъ ихъ изловить. Но такъ благополучно окончившееся паденіе Фильки и далекое сверканіе мааенькихъ пкръ улепетывавшаго мальчика трогало его и умиляло.

— Сатана... Чисто сатана!.. Ей-Богу же, сатана.

Зозуля приблизился къ соснѣ съ которой упалъ мальчикъ, поднялъ голову и задумчиво оглядѣлъ верхушку дерева... Потомъ ногой, обутой въ тяжелый, сильно пахнувшій дегтемъ сапогъ, постучалъ по землѣ, по слегка примятой межъ корявыми корнями травѣ, на которой только-что лежалъ свалившійся Филька... И добрая улыбка шире расплзлась по свѣтлому, розовому лицу гиганта.

— Ну, и сатана-же!.

Зозуля взялся за концы веревокъ и поволокъ приготовленные мальчиками вязанки.

И когда притащилъ вязанки на казенную дачу, гдѣ была квартира и канцелярія лѣсничаго, и когда вмѣстѣ съ веселой тонконогой Пеструшкой, охотницей до всякихъ занятныхъ приключеній, докладывалъ уже вернувшемуся домой начальнику о томъ, какъ накрылъ мальчишекъ-воровъ, въ глазахъ его были веселье и добродушный смѣхъ.

Лѣсничій же слушать неодобрительно и хмуро, усердно теребилъ свою густую, черную бороду и, не давъ докончить рассказъ, послалъ Зозулю считать конфискованные наканунѣ гамаки...

#### V.

Ночью, во второмъ, должно быть, часу, Филька проснулся.

Ему почудилось, что вѣтка сосны приподняла иглой край его рубашки. проткнула ему животъ и стала потихоньку щекотать въ груди... Онъ хотѣлъ вытащить эту вѣтку и отбросить прочь,—вѣтки не оказалось... Потомъ онъ увидѣлъ, что тѣмъ чернымъ сукномъ, которымъ фотографъ накрывалъ свой аппаратъ, кто-то покрываетъ его, Филькино, лицо... Попытался Филька отдернуть это сукно,—сукна не ухватилъ... А было черно въ глазахъ, было душно, и щекотала въ груди сосновая игла... Мальчикъ откашлялся, и щекотаніе сдѣлалось острѣе... Уже что-то и колоть стало, то въ правой сторонѣ груди, то въ лѣвой...

— Мама! —позвалъ Филиппъ.

Мать, наработавшаяся и сильно уставшая, спала крѣпко и ничего не слышала.

Чернаго сукна съ лица не сняли, но щекотаніе въ груди стихло. И уже не кололо. Филькѣ отъ этого стало легко, пріятно. Онъ началъ думать, что если встрѣтитъ на улицѣ лѣсника, то покажетъ ему языкъ. Кромѣ того, крикнетъ ему „Зозуля-дуля“. Но красть сучья больше не станетъ: страшно. Страшно, и когда падаешь съ сосны, то въ животѣ что-то трескается и обрывается, а черное сукно уже не только на лицо ложится, но входитъ и въ голову...

— Я больше не буду,—вслухъ сказалъ мальчикъ.

Передъ разсвѣтомъ Филька проснулся вторично, — оттого, что снова стало колоть въ груди. Теперь кололо уже сразу въ обѣихъ сторонахъ, и сълѣва и справа.

Аксинья напоила мальчика чаемъ, дала ему бубликъ. Филька надѣлъ бубликъ на палецъ, потомъ на носъ и, поднявъ лицо къ потолку, чтобы бубликъ не свалился съ носа, сбоку весело посмотрѣлъ на мать своими большими сѣрыми, близко другъ къ другу поставленными глазами, которые такъ походили на глаза Аксиньи...

— Здорово?—спросилъ онъ.

И разомѣлся.

— Земляники теперь богацко,—объявилъ онъ затѣмъ, дѣлаясь серьезнымъ:—айда въ лѣсъ.

Но едва вышелъ за ворота и приблизился къ красной криницѣ, какъ почувствовалъ, что сильно колеть въ груди. Онъ вернулся тогда въ хату, и, ничего не сказавъ матери, которая уже стояла въ тѣни сарая надъ локанкой съ бѣльемъ, легъ. Аксинья, увидѣвъ, что мальчику нехорошо, растерла ему грудь водкой и „конской мазью“. Это была очень хорошая мазь, собственноручнаго изготовленія рябой Шерстобитихи, вдовы желѣзнодорожнаго стрѣлочника, котораго раздавило поѣздомъ. Къ вечеру отъ мази боль должна была пройти. Она не прошла. Лицо мальчика стало багровымъ и горячимъ и уже не отличалъ Филька матери отъ Шерстобитихи и все говорилъ про длинную вѣтку, которая колеть въ животъ и грудь, и про черное сукно, въ которое завязываетъ его вернувшійся съ пчеловодства лѣсникъ...

Стало извѣстно сосѣдямъ, что Филька захворалъ. Дошла вѣсть и до Возули. Ему сообщила Шерстобитиха.

— Отто-весело смѣясь, отозвался лѣсникъ. — Хворый?.. А съ дерева, небось, какъ?.. Чисто сатана.

— Не съ того ли и захворалъ, что съ дерева?..

Лѣсникъ съ безпокойствомъ посмотрѣлъ на бабу.

— Какъ?

— А вотъ такъ.

— Вамъ все равно: мужика убивать, мальчика,—съ вѣчнымъ равнодушіемъ, но съ тяжелой ненавистью въ сердцѣ, говорила затѣмъ Шерстобитиха.—Просить Аксинья: „дай конскую мазь“... Мнѣ что? Нѣ!... А ты спытай раньше: какаа отъ ней польза, отъ этой мази? кизякъ да сѣра,—пользы никакой нѣтъ.. Видишь, что народъ болѣетъ, помочь надо,—а чѣмъ поможешь? Пробуешь разное: сѣру, масло конопляное съ порохомъ, голубя живого до головы привяжешь... Безъ послѣдствія все это. Но пробовать надо, лучшаго

нѣту, а, можетъ, оно и пособить облегченію... А вамъ, съ вашимъ Рюминымъ только бы людей убивать,—закончила старуха.

Желтенькая Пеструшка, со вниманіемъ слушавшая эти слова, тихонько завизгнула и помахала хвостомъ. Ей нравилось, что на дворѣ такъ солнечно и тепло и такъ славно пахнетъ лѣсомъ. Скорѣ бы въ лѣсъ! Навѣрное, найдутся тамъ интересные компаньоны и будетъ съ кѣмъ поиграть и подурачиться.

— Ты такихъ словъ не смѣешь, — сказалъ Зозуля, хмуро поглядывая на высокую прямую фигуру удалявшейся отъ него Шерстобитихи. — Я по долгу обязанности.

— Дурракъ.

— Отъ дуры слышу.

Встревоженный, Зозуля стоялъ въ замѣшательствѣ и не зналъ что сдѣлать.

— Забастовщики!—гаркнулъ онъ вдругъ. — Сынъ-то твой гдѣ? На ка-торгѣ вшей кормить!

— Дуракъ,—не мѣняя интонаціи, повторила старуха.

## VI.

Послѣ этого разговора, Зозуля пошелъ къ Варѣ Казанской, сѣлъ на лавку и попросилъ принести сотку.

Варя Казанская была молодая, красивая дѣвушка, недавно пріѣхавшая на югъ изъ Казанской губерніи. Въ деревнѣ, въ своей семьѣ, она жила впроголодь, а когда служила, получала рубль въ мѣсяцъ. Здѣсь она нарадоваться не могла на то, что жалованья даютъ ей восемь рублей, что ѣсть и пить она вволю и все такое вкусное, и что говорятъ ей вы... Въ ея распоряженіи была кухня, находившаяся въ отдѣльной хаткѣ, въ глубинѣ сада, подъ двумя высокими тополями, и тамъ, по вечерамъ, покончивъ работу, она могла свободно принимать товарокъ и знакомыхъ парней,—господа не мѣшали.

У Вари была стройная фигурка, и лицо нѣжное, миловидное, съ тонкими чертами, съ какими-то особенно пріятными глазами, добрыми и ласковыми. Хоть она была настоящей „деревней“, истой дочерью земли, въ ней было столько граціи и природнаго изящества, что, если бы одѣть ее въ соответственное платье, ее легко можно было бы принять за городскую барыню.

Варя пользовалась большимъ успѣхомъ,—слишкомъ большимъ. На нее заглядывались и къ ней приставали и деревенскіе парни, и щеголеватые студенты—дачники, и желѣзнодорожные служащіе, которыхъ много жило въ Панскомъ-Закуткѣ. Дѣвушка это нравилось, она поддавалась искушеніямъ.

и вечеромъ, на кухнѣ, подъ тополями, собиралось не мало вздыхателей... Все жалованье, восемь рублей, казавшееся ей цѣлымъ богатствомъ, Варя легко, не жалѣя, тратила на угощеніе и въ свою очередь охотно принимала угощеніе друзей...

Можетъ быть, и привело бы все это къ недоброму, но познакомилась Варя съ Зозулей, тотъ крѣпко и серьезно полюбилъ ее, и она такъ же серьезно и хорошо полюбила Зозулю. Они рѣшили пожениться и свадьбу положили отпраздновать осенью, когда окончится дачный сезонъ. Знакомства съ кавалерами Варя одно за другимъ прикончила, и кромѣ Зозули въ кухню подъ тополями никто уже не приходилъ...

— Оттого, что съ дерева соскочить, оттого и заболѣть?—сказалъ Зозуля.—Враки.

Онъ налилъ водки и выпилъ.

— Брехня.

Онъ ждалъ, чтобы и Варя сказала ему—„враки и брехня“.

Очень хорошо и успокоительно это было бы, если эти слова.

У Вари было особенное произношеніе, сѣверное, пѣвучее, и здѣсь, въ мѣстности, населенной малороссами, оно обращало на себя вниманіе, выдѣлялось рѣзко и ярко. Зозуля очень любилъ это произношеніе дѣвушки и нерѣдко, ласково смѣясь, старался его копировать... Теперь ему особенно хотѣлось,—и нужно было—чтобъ Варя хоть чтонибудь сказала этимъ нездѣшнымъ своимъ, красивымъ говоркомъ.

Но Варя молчала...

— Я что?—сказалъ тогда Зозуля.—Я ему ничего... Я только гукнулъ, а онъ съ дерева какъ бабахнетъ... Я жъ только гукнулъ.

— Богъ дастъ, поправится,—сказала Варя.

Сказала, а голосъ прозвучалъ робко, и въ глазахъ была печаль...

Варя вытирала тарелки, большія, бѣлыя, съ синимъ ободочкомъ, и въ воображеніи ея рисовался маленькій Филька,—такимъ, какимъ видѣла она его въ послѣдній разъ, въ воскресенье утромъ, когда тѣнистой лѣсной тропинкой возвращалась съ базара.

— Варя, а вы такъ можете?—гаркнулъ ей мальчикъ.

И проворно шлепнувшись на землю, онъ всталъ на руки, головой внизъ, худыя ноженки поднялъ „до горы“ и для устойчивости уперся босыми ступнями въ стволъ сосны. Его свѣтлые волосенки повисли къ землѣ, а большіе, черные, близко къ переносицѣ стоящіе глаза, перевернутые, смотрѣли снизу такъ странно и смѣшно..

Варя достала изъ кошелки конфетку съ красной бумажкой, на которой изображенъ былъ Толстой, и угостила мальчика. Тотъ громко заржалъ,



и-и-и-аааа!—и въ радости бросился гарцовать межъ освѣщенными солнцемъ соснами, какъ веселящійся молодой лѣсной звѣрекъ... Теперь этотъ мальчикъ лежитъ съ горящимъ лицомъ и протяжно стонетъ...

Большая плоская тарелка выскользнула изъ рукъ Вари и разбилась. Варя молча нагнулась и стала подбирать осколки. Не понявъ дѣла и принявъ все это за веселую игру, стремительно бросилась къ осколкамъ и Пеструшка.

— Я что жъ, я жъ только гукнулъ,—опять сказалъ Зозуля.

## VII.

Потомъ онъ долго бродилъ въ лѣсу и по большой дорогѣ, около дачъ, и когда проходилъ мимо аптеки, то подумалъ, что хорошо бы зайти въ нее и попросить для Фильки лѣкарства...

Вечеромъ онъ отправился въ канцелярію лѣсничаго и рассказалъ начальнику о болѣзни мальчика.

Лѣсничій сидѣлъ за большой конторкой, какъ всегда, сухой, важный, тупо-дѣловитый, и заполнялъ бланки. Бланковъ было очень много,—каждый шагъ по управленію лѣсничествомъ заносился въ четыре одинаковыхъ бланка, — и коллеги Рюмина на это жаловались, находили это глупой и тошной формалистикой, рѣшительно ни для чего ненужной. Рюминъ же относился къ этимъ бланкамъ очень почтительно, едва ли не благоговѣйно. Онъ вообще всю профессію свою почиталъ чрезвычайно и не одобрялъ въ ней только одного,—недостаточнымъ считалъ окладъ,—и жаловался, что не хватаетъ на воспитаніе дѣтей.

— Помилуйте, штаты выработаны были еще при Екатеринѣ!

Дѣла своего Рюминъ не зналъ, все, чему когда-то въ лѣсномъ институтѣ учился, перезабылъ, онъ даже плохо различалъ теперь породы деревьевъ. и на частной службѣ его, вѣроятно, держать не стали бы. Канцелярія зато велась имъ образцово, съ добросовѣстностью и аккуратностью изумительной.

— Хлопчикъ, къ примѣру... вотъ, что вязанки его я приволокъ...—путаясь и сбиваясь, говорилъ лѣсничему Зозуля,—захворалъ вѣдь хлопчикъ этотъ...

— Ну, такъ что жъ?

Лѣсникъ осторожно отталкивалъ ногой наскакивавшую на него съ дружескими ласками Пеструшку.

— Будто оттого, что съ дерева упалъ...

— Чего?

— Захворалъ хлопчикъ... А я жъ не могу... Я что?.. Я вѣдь по долгу обязанности...

Рюминъ медленно поднималъ на лѣсника свои серьезные, черные глаза и.

положивъ тяжелый волосатый кулакъ на бланки, сдѣлалъ Зозулѣ строгое внушеніе.

Это еще неизвѣстно, съ чего именно мальчикъ заболѣлъ и заболѣлъ ли онъ серьезно. Обѣлся земляники, вотъ и все. Каждый годъ, когда земляники уродитъ много, ребята обжираются и болѣютъ, похвораютъ, а потомъ выздоравливаютъ. Ничего серьезнаго тутъ нѣтъ. А если не относиться къ своимъ обязанностямъ строго, мужики вырубятъ и разграбятъ весь лѣсъ, всю Россію разграбятъ. Когда служить, то мямлить нечего и надо служить добросовѣстно. А кому служба не нравится, тотъ пусть уходитъ.

— Рябая эта самая... Шерстобитиха которая...—пытался объяснить Зозуля.—„Тебѣ, говоритъ, лишъ бы мужиковъ убивать“...

— Знаю я эту бабу,—перебилъ Рюминъ.—Съ красными флагами расхаживала... И сынъ у ней на каторгѣ. Весь заводъ такой, вся семейка... Грабить и убивать и разныя дерзости, только это имъ и надо.

— Да ужъ это дѣло извѣстное,—уныло подтвердилъ лѣсникъ. — Имъ главное, чтобы безпорядокъ... Чтобы для бунта. Но только я что? Я жъ только гукнулъ...

Ночью онъ не могъ заснуть.

Огромный, тяжелый, онъ тревожно ворочался и вздыхалъ, и сухо трещала подъ нимъ койка.

Онъ всталъ и вышелъ во дворъ.

Не было луны, но звѣзды сіяли ярко и оттого отчетливо выступали въ ночной синевѣ бѣлыя стѣны дачъ, а за ними безмолвной черной каймой стоялъ лѣсъ. Въ лѣсу-же—сосна, та самая, съ которой Филька „бабахнулся“...

Зозуля постоялъ, послушалъ...

Точно стукнуло что-то въ лѣсу, глухо и коротко, и затѣмъ все сразу стихло. Не сорвался ли кто съ верхушки дерева? Не убится ли мальчикъ?

Было свѣжо, Зозуля дрожалъ; что-то хотѣлъ онъ самому себѣ сказать, но губы были какъ не свои, точно застывшія...

Онъ вернулся въ хату легъ. Странныя мысли не переставали путаться въ головѣ... „По долгу обязанности“, и надо оберегать лѣсъ, и нельзя позволить, чтобы безпорядокъ и своеволие,—это непремѣнно. А между тѣмъ, вотъ стираетъ Аксинья бѣлье, надо ей кипятить воду, а кипятить нечѣмъ, нѣтъ дровъ. Какъ его стирать, бѣлье это самое, если нѣтъ горячей воды?.. Съ холодной водой не стирка... Съ холодной водой стирка, это все равно, что вотъ, напримѣръ, лѣсникъ, а нѣтъ никакого лѣсу. Зачѣмъ тогда и лѣсникъ, если нѣтъ лѣсу?.. Однако, дай мужикамъ волю, или не догляди, они тебѣ весь лѣсъ вырубятъ. Тоже вѣдь,—до грабежу охочіе... Михаилъ Петровичъ говоритъ: всю Россію разграбятъ. И очень просто, что всю разграбятъ. Теперь всѣ такъ стараются, чтобы противъ Россіи... И въ газетахъ такъ на-

писано. Вездѣ грабители, и вездѣ каторжники. Это еще неизвѣстно, съ чего именно мальчикъ заболѣлъ, и заболѣлъ ли онъ серьезно... Просто, земляники слишкомъ много съѣлъ... Каждый годъ они эту землянику лопаютъ. Лопаютъ, а потомъ болѣютъ. И, стало быть, не о чемъ и хлопотать...

Въ чернотѣ за окномъ чудилось что то жуткое: не похоже было, что шуршать орѣшникъ. Казалось, что тихо стонетъ мальчикъ и подлѣ него женщина съ большими сѣрыми глазами плачетъ, горько и неутѣшно.

И долго не хотѣло приходиться утро.

### VIII.

Филькѣ стало хуже, и рябая Шерстобитиха такъ прямо уже заявила, что лѣкарствъ для мальчика у нея нѣтъ и мучить больного еще растираніями и разными тамъ примочками она не желаетъ.

Когда позвали доктора, тотъ лѣкарства прописалъ, но всѣмъ сразу стало понятно, что и онъ свои лѣкарства считаетъ бесполезными.

Филька умираетъ.

Уже не багровый былъ онъ и не горячій, а изсиня блѣдный, холодный, и такой прозрачный и высохшій, какъ если бы болѣлъ не четыре только дня, а нѣсколько мѣсяцевъ...

Свѣтлые волосенки были мокры, точно мальчикъ только что вылезъ изъ пруда, большіе сѣрые глаза сдѣлались еще больше, и цвѣтъ ихъ измѣнился, сталъ свѣтлѣе, холоднѣе...

Филиппъ не метался, не кричалъ, онъ лежалъ тихонькій, скрюченный на правомъ боку, и только одинъ разъ, когда попробовалъ перевернуться на лѣвый бокъ, огласилъ вдругъ хату и дворъ такимъ острымъ, полнымъ нечеловѣческаго страданія крикомъ, что Шерстобитихѣ, находившейся въ ту минуту на улицѣ, сдѣлалось дурно...

Послѣ этого мальчикъ уже все время лежалъ на одномъ боку. Длинными, сильно похудѣвшими руками держался за распухшій животъ, дышалъ коротко и часто, и порою жалобно и глухо стоналъ.

— Мамо, я тебѣ дровъ столько принесу, — съ усиліемъ, весь вздрагивая, прошепталъ онъ: — я столько, столько...

А потомъ попросилъ, чтобы сняли съ его лица черное сукно, и дѣловито прибавилъ:

— Пойдемъ вмѣстѣ, найдемъ двѣсти. Здорово!

Уже сходились сосѣди и, вздыхая, негромко, съ насмурными и печальными лицами, переговаривались между собой, осуждали лѣсника Зозулю и преклинали лѣсничаго.

Шерстобитиха съ трудомъ сдерживала давно, долгими годами накопившуюся въ сердцѣ ненависть, ходила темная, мрачная, съ крѣпко стисну-

тыми губами и ни единого слова никому не говорила. Точно боялась, что не выдержитъ, прорвется, и тогда случится что-то недоброе, непоправимое.

Она сидѣла около умирающаго, гладила его голову, согрѣвала широкими костлявыми ладонями его коченѣвшія ноги, поправляла прилипшіе ко лбу волосики. А Филька время отъ времени поднималъ на нее свои большіе, сѣрые, страданіемъ налитые глаза,—и точно улыбка появлялась въ ихъ остывавшей уже и тускнѣвшей глубинѣ...

Въ полдень, за воротами, у красной криницы, показалась могучая фигура Зозули. Лѣсникъ не входилъ во дворъ и не уходилъ прочь. Онъ робко топтался на мѣстѣ и черезъ частоколъ смотрѣлъ на низенькую бѣлую хатку, гдѣ лежалъ Филька. Желтенькая Пеструшка была тутъ же... Она сидѣла на заднихъ лапахъ, у ногъ Зозули, и тоже смотрѣла на частоколъ... Замѣтивъ лѣсника, Шерстобитиха вышла къ нему и сказала:

— Зайди, зайди... Посмотри, что сидѣлалъ.

— Ты тутъ кто? За начальника?—сурово спросилъ лѣсникъ.

— И начальника своего приведи. Посмотрите оба.

Зозуля не вошелъ.

Онъ и не удалился.

Онъ все стоялъ у частокола и смотрѣлъ на бѣлую хатку...

Онъ увидѣлъ скоро и Аксинью,—спину ея...

И когда увидѣлъ эту спину, спину матери, у которой умираетъ дитя, уже не выдержалъ этотъ бѣлокурый гигантъ.—отвернулся и поспѣшно ушелъ. Ушелъ къ Варѣ.

— Сходила бы туда, Варя,—несмѣло попросилъ онъ:—сказать бы... Аксинья сказать бы... по долгу обязанности я...

Варя пошла, и скоро вернулась, и милое лицо ея было мокро отъ слезъ, и такое же блѣдное, какъ у умиравшаго Фильки.

— Я же только гукнулъ,—недоумѣвая, сказалъ ей Зозуля,—я жъ ничего...

## IX.

На похороны пришло много народу, было много дѣтей, были и компаньоны Филиппа по кражѣ, Гаврикъ Косогузъ и Лобастый. Маленькій синій гробикъ, такой маленькій, точно лежалъ въ немъ трехлѣтній младенецъ, несли на косогоръ, по золотистой тропинкѣ у пруда, въ которомъ шесть дней назадъ, вмѣстѣ съ другими ребятами въ золотѣ утра купался Филька... Теперь фотографа здѣсь не было, но такъ же радостно, какъ въ то утро, свѣтило солнце, и такъ же безмятежно сіяла лучезарной голубизной вода въ прудѣ, и такимъ же невиннымъ и кроткимъ было ясное небо надъ землей съ людьми...

— По долгу обязанности, — добивался въ это время Зозуля у лѣсничаго. — Ну, хорошо... А безъ горячей воды какъ ей стирать?

Огромный, могучій, молодой и сильный, онъ былъ теперь такой жалкій, что тяжело и жутко было на него смотрѣть.

— Весь лѣсъ вырубятъ, Михаилъ Петровичъ, Россію разграбятъ... А только какъ же они могутъ?.. Россія, — она огромная?

— Слава Богу, — небрежно процѣдилъ Рюминъ, разглядывая на свѣтъ только что заполненный бланкъ: — первое государство въ мірѣ.

— Вотъ... Первое, значить... А хлопчикъ этотъ... Филька который... Такой вотъ онъ, — ростомъ мнѣ до колѣна...

У лѣсничаго нашлись доводы, устанавливавшіе съ точностью, что и при маломъ ростѣ Филька можетъ быть вреденъ. Но доводы эти въ сердце къ Зозулѣ не шли. Глаза лѣсника горестно блуждали, переходили съ лѣсничаго къ конторкѣ, съ конторки на окно... За окномъ, подъ старымъ дубомъ, Наденька и Костя, дѣти лѣсничаго, раскачиваясь въ гамакѣ, кормили желтенькую Пеструшку земляникой. Дѣти смѣялись, а Пеструшка ѣла ягоду и чихала.

— Вотъ... да... — думалъ Зозуля: — дѣти вотъ... тоже дѣти... съ Пеструшкой они... На этихъ вотъ пойдика, гукни.

## X.

Вечеромъ Зозуля отправился на кладбище, на могилу Фильки.

Не дойдя до кладбищенской ограды, у пруда, гдѣ радостно пахло молодымъ дубнякомъ и водорослями, онъ остановился. Остановилась и Пеструшка.

Молодой мѣсяцъ мягко отражался въ прудѣ и чуть замѣтныя отражались звѣзды. Неизвѣстно, что это такое звѣзды. Можетъ быть, это Господь зажегъ большія свѣчи, чтобы людямъ виднѣе было пройти къ правдѣ Его. А, можетъ быть, это сіяютъ чистыя души дѣтей, которыхъ на землѣ безъ вины обижали... На зачарованной глубинѣ пруда онѣ сіяли такъ кротко и нѣжно, и такимъ загадочнымъ и зовущимъ казался лѣснику прудъ...

Зозуля снялъ шапку и перекрестился. И, уже не думая о кладбищѣ, пошелъ назадъ.

Сопровождаемый Пеструшкой, онъ пошелъ къ Варѣ Казанской, въ ея кухонку подъ старыми тополями. Прійдя, остановился на порогѣ и съ дрожью въ голосѣ сказалъ:

— Какъ теперь будемъ жениться, Варя?.. Филькина я убилъ, а мы будемъ дѣтей рожать?

Дѣвушка заплакала. А лѣсникъ, — такой огромный и сильный, — смотрѣлъ на нее сурово и говорилъ:

— Ты, Варя, меня прости, ради Христа, но я теперь брошусь въ прудъ.

Д. Айзманъ.

## С К И Т А Н І Я.

### Повѣсть.

Дочь Вавилона, опустошительница! Блаженъ, кто воздастъ тебѣ за то, что ты сдѣлала намъ!

Блаженъ, кто возьметъ и разобьетъ младенцевъ твоихъ о камень!

(Псал. 136, 8—9.)

Сегодня море проснулось—веселое. Наканунѣ темныя тучи пришли съ сѣвера, легли тяжело и низко, и ихъ свинцовая тяжесть отражалась глубоко въ помрачившихся безднахъ. Отяжелѣвшій прибой медленно и нудно лизалъ камни. Удушливо пахли разлагающіяся водоросли и ракушки, выброшенныя на берегъ недавней бурей. Тускло и злобно свѣтилъ сквозь туманъ огонь маяка. Но подъ утро набѣжалъ штормъ, смылъ прочь зловонную нечистоту, разметалъ тучи, развѣялъ туманъ, и, когда взошло солнце на чистомъ небѣ—море проснулось, веселое и зеленое.

Эту ночь—какъ и многія другія—я провелъ безъ сна. А утромъ пришелъ на веселый берегъ изъ унылаго, проклятаго города, еще весь проникнутый его лживымъ смѣхомъ и жалкимъ страданіемъ, и голова болѣла, какъ сдавленная желѣзными тисками.

Обращалъ лицо навстрѣчу вѣтру, снялъ шляпу, какъ въ церкви, и вѣтеръ шевелилъ порѣдѣвшими волосами.

Да, да, сѣдина уже есть въ этихъ волосахъ. Они тусклые и, какъ будто, пыльные, — и тусклое и пыльное смотреть на меня изъ зеркала мое лицо.

Море веселится, но у меня въ душѣ—городъ. И на утреннее веселье я смотрю, какъ безучастный зритель.

Я вспоминаю. Тамъ, откуда я только что пришелъ, нѣтъ мѣста воспоминаніямъ. Тамъ время отрѣзаетъ отъ нити жизни минуту за минутой и изжитые обрывки бросаетъ въ темную вѣчность, откуда ничто не возвращается. А здѣсь нѣтъ ни вчера, ни сегодня. И мнѣ кажется, что здѣсь, на берегу, я знаю все, что уже было и что будетъ.

Умершіе воскресаютъ для меня и еще не рожденные воплощаются,—и

безконечна ихъ веренища, утонувшая въ вѣчности. Безконечна и пестра,—но мертвую неподвижность я вижу въ ихъ движеніи и мертвое однообразіе—въ пестротѣ.

Я такъ старъ, старъ духомъ. Я искушенъ въ добрѣ и искушенъ въ злѣ, душа моя не смѣется и не плачетъ. И не знаю, зачѣмъ увидѣлъ я этотъ свѣтъ,—я, рожденный въ грѣхѣхъ и болѣзни, и къ грѣху и скорби присужденный отъ начала вѣковъ? Нѣтъ любви—нѣтъ и проклятій. И не проklinнаю. И могу ли я сказать:

— Мать моя! Тяжело твоему сыну, которому ты дала жизнь. Положи къ себѣ на грудь, вскормившую для печали, эту бѣдную голову. Приласкай его. Пусть онъ уснетъ.

У меня нѣтъ матери. Но и проклетія давно умерли.

Блеститъ зеленое море. Пахнетъ соленымъ. Казалось мнѣ, что я одинъ здѣсь. Только море, песокъ и скалы. Такъ былъ увѣренъ въ своемъ одиночествѣ, что не скоро замѣтилъ того, другого.

А онъ сидѣлъ на сыромъ камнѣ, еще не пригрѣтомъ солнцемъ, все такой же, какимъ я знаю его уже давно,—сѣрый, темный. Братъ мой—и мой господинъ.

Носъ у него провалился и темная язва зияетъ на землистомъ лицѣ. И жалкой собачьей дрожью дрожатъ жилистые руки съ узловатыми, какъ старые корни, пальцами. Такъ часто встрѣчаю я его повсюду. Знаю каждую его морщину и каждую язву, и думается мнѣ, что онъ неотступенъ, какъ тѣнь. Вотъ онъ уже смотритъ на меня и ждетъ.

Волна отвращенія приливаетъ къ моему горлу, но я подхожу ближе. подхожу вплотную къ этому смердящему трупу, отъ котораго отказалась могила. Такъ нужно—и я долженъ. Содрагаясь и стараясь скрыть отъ себя самого это содраганіе, я кладу свою руку на его плечо, прикрытое грубой тканью, которая пропитана жирной грязью.

— Чего ты ждешь здѣсь?

Онъ молча осклизываетъ гнилые зубы, съ шипѣніемъ втягиваетъ воздухъ въ темную дыру, которая зияетъ на мѣстѣ его носа, и привычнымъ жестомъ протягиваетъ ладонь. Онъ ждетъ податки.

А я хочу поднять съ прибрежнаго песка тяжелый булыжникъ, такъ хорошо обточенный водой и такой гладкій. И я прошу, какъ милости:

— Братъ мой, позволь мнѣ, я разобью твою гнилую голову этимъ камнемъ. Позволь мнѣ, я дамъ тебѣ смерть: спокойную, радостную смерть. Ты знаешь, черепъ твой треснетъ совсѣмъ легко, какъ спѣлый плодъ. И ты не будешь больше страдать, — и не будешь больше отравлять своимъ дыханіемъ воздухъ, которымъ дышу я. О, позволь мнѣ.

Но безносый насмѣшливо скалитъ гнилые зубы. Онъ хорошо знаетъ,

что я не убью его. И рука, протянутая за полачкой, дрожить не больше, чѣмъ прежде. О, онъ тоже не молодъ. И онъ многое знаетъ, какъ и я. Я показываю ему булыжникъ,—такой красивый, розовый, съ синеватыми жилками,—стараюсь прельстить.

— А черную кровь твою впитаетъ песокъ. Это будетъ такая хорошая смерть, — скорая и чистая. Неужели ты хочешь жить? Можетъ быть, ты боишься сдѣлать это самъ? Но я ручаюсь, что ударъ будетъ направленъ вѣрно. Одинъ только ударъ, слегка наискось, вотъ здѣсь, около виска, гдѣ кость всего тоньше. Ты даже не замѣтишь, какъ она треснетъ.

Безносый смѣется. Я изнемогаю отъ просьбъ, а онъ смѣется и все это представляется ему, должно быть, очень хорошей шуткой. Потомъ, когда я надобѣдаю ему своими мольбами, онъ дѣлаетъ нетерпѣливый жестъ и хочетъ подняться съ камня, на которомъ сидитъ. Его кости, источенныя болѣзью, плохо поддерживаютъ дряблѣе тѣло. И тогда онъ начинаетъ смотрѣть на меня съ гнѣвной досадой. Его глаза говорятъ мнѣ такъ краснорѣчиво:

— Что же ты смотришь? Помогни мнѣ.

Я помогаю, я обнимаю смеряющій трупъ, отъ котораго отказалась могола, и онъ дышетъ мнѣ прямо въ лицо и я чувствую ядъ заразы на своихъ увлажнившихся щекахъ. Я поднимаю его, помогаю ему сдѣлать нѣсколько невѣрныхъ шаговъ, не выпуская изъ тѣсныхъ объятій. Я не могу ни любить его, ни ненавидѣть. Но почему же я не могу его убить?

Оправившись, онъ медленно уходитъ, опираясь на палку. Песокъ жалобно хруститъ подъ его тяжелыми шагами. Я смотрю ему вслѣдъ, пока онъ не скрывается за поворотомъ скалистaго берега,—и когда сѣрая, сгорбленная спина исчезаетъ, я вдыхаю свободнѣе. Но я знаю навѣрное, что онъ скоро вернется.

И мнѣ не нужно уже больше ни веселаго моря, ни пустыннаго берега, ни вѣчности. Я возвращаюсь въ городъ,—и по дорогѣ обгоняю безносаго, который привѣтливо раскланивается. Мы направляемся въ одну и ту же сторону.

## II.

Въ отдѣльномъ кабинетѣ большого ресторана собирается еженедѣльно по средамъ. Двое или трое изъ кружка предлагали для этихъ собраний свои квартиры,—удобныя, хорошія квартиры съ прекрасной мебелью и яркимъ освѣщеніемъ,—но было рѣшено, что собранія должны происходить на вполне нейтральной почвѣ. И потому остановились на ресторанахъ.

Здѣсь немножко пыльно, слишкомъ груба позолота, зеркала исцарапаны брилліантовыми перстнями и пахнетъ кухней, которая расположена по близости. Пианино издаетъ унылые и глухіе, надтреснутые звуки. Но все это



создаетъ особый колоритъ, колоритъ свободы. И каждый, не исключая дамъ, платитъ самъ за себя.

Ядро собраній остается неизмѣннымъ, но каждый разъ появляется также и кто-нибудь новый. Онъ входитъ, какъ въ святая святыхъ, слушаетъ внимательно, смѣется съ заискивающей почтительностью и дороже другихъ платитъ за свой ужинъ. А на предсѣдательскомъ мѣстѣ почти всегда помѣщается толстый, лѣнивый художникъ съ жирными пальцами, которые очень ловко управляютъ съ устрицами, но уже почти отвыкли держать кисть. Этотъ предсѣдатель отличается однимъ незамѣннымъ качествомъ: молчаливостью, — и потому сдѣлался безсмѣннымъ.

Изъ постоянныхъ большинство составляютъ художники и журналисты. Есть еще одинъ поэтъ, одинъ пѣвецъ и одинъ архитекторъ. Если не всѣ богаты, то нѣтъ и такихъ, которые слишкомъ уже походили бы на бѣдныхъ. Манишки безукоризненно бѣлы и ногти тщательно выхолены. Головы женщинъ гнутся подъ тяжестью причесокъ.

Я люблю приходить однимъ изъ первыхъ и занимать мѣсто въ уголкѣ, противъ двери, откуда удобно смотрѣть на всѣхъ входящихъ. По мѣрѣ того какъ комната наполняется, шумъ разговора возрастаетъ, а смѣшанный запахъ духовъ, вина и папиросъ становится все крѣпче. Глаза ярче блестятъ, тщательно повязанные галстуки ложатся свободными складками. Тогда я перемѣняю мѣсто и сажусь рядомъ съ высокой черноволосой женщиной на низенькій мягкій диванчикъ. Всѣ другіе знаютъ, что этотъ диванчикъ принадлежитъ только намъ двоимъ, такъ же точно, какъ мнѣ одному принадлежитъ черноволосая женщина.

Предсѣдатель ѣстъ устрицъ, вынимая ихъ изъ раковинъ коротенькой широкой вилкой. Кто-то таинственно смѣется, возбуждая любопытство другихъ. Кто-то безголосый напѣваетъ куплеты изъ новой оперетки. Я склоняюсь ближе къ черноволосой женщинѣ и она смотритъ на меня своими большими, всегда слегка сонными, глазами.

Потомъ, незамѣтно для другихъ, проводить ладонью по моему рукаву, какъ будто ее привлекаетъ гладкое, атласистое сукно моего сюртука. И начинаетъ говорить о любви. А я смотрю, какъ предсѣдатель глотаетъ устрицъ, потомъ заказываю себѣ полбутылки шабли.

— Но похолоднѣе. Какъ можно холоднѣе.

Черноволосая женщина поводитъ плечами, которыя просвѣчиваютъ, какъ фарфоровыя, сквозь темный газъ, устланный золотыми блестками.

— Здѣсь свѣжо. Я хотѣла бы чего-нибудь горячаго.

— Неправда. Здѣсь жарко. Мнѣ кажется, что недурно было бы съѣсть порцію мороженаго. Я увѣренъ, что тебѣ хочется мороженаго.

— Но, мпый...

— Ты не хочешь доставить мнѣ этого удовольствія?

— О, вѣдь я всегда дѣлаю все, что ты хочешь. Ты можешь бросить меня въ грязь и топтать ногами—и я черезъ день забуду это.

— Человѣкъ, порцію... Впрочемъ, я передумалъ. Принесите глинтвейну

Въ сонныхъ глазахъ вспыхиваетъ благодарность, которая внушаетъ мнѣ жгучее отвращеніе. Плечи, фарфоровыя плечи, которыя обнажаются для меня. Они заслуживаютъ того, чтобы ихъ бить грубой ременной нагайкой.

Она съ наслажденіемъ пьетъ свой глинтвейнъ,—отвратительный напитокъ, пахнущій бакалейной лавкой, пригодный только для извозчиковъ и заблудившихся на панели проститутокъ.

Она свободна и независима, потому-что мужъ, съ которымъ она разошлась, не успѣлъ растратить ея собственнаго капитала. Живетъ въ большомъ меблированномъ домѣ, гдѣ никому нѣтъ охоты шпионить, и потому можетъ принимать у себя гостей во всякое время. Но она мнѣ вѣрна, и знаю это. А она, я надѣюсь, знаетъ, что я обманываю ее на каждомъ шагѣ.

Художникъ, выпустившій также недавно книжку рассказовъ, говорить о выставкѣ, открывающейся надняхъ, и размахиваетъ вилкой, испачканной провансалемъ. Онъ голоденъ и ему не каждый день удается поѣсть такъ вкусно. Поэтому, въ промежуткахъ между фразами, онъ торопится проглатывать огромные куски.

— Впередъ, всегда впередъ, — это также и мой собственный девизъ! Но я протестую, во имя искусства, я протестую (кусочъ, потомъ неразборчиво, потому что ротъ набитъ) противъ развязнаго шарлатанства... Не всѣ.—я не утверждаю, что всѣ,—но подавляющее большинство изъ нихъ стоитъ на чертѣ сознательнаго обмана (кусочъ). Психическія уклоненія, вы говорите? Позвольте, сумасшедшіе не имѣютъ права заниматься искусствомъ, гдѣ главное—трезвое, хотя бы и вполне субъективное воспріятіе. Будьте добры передать мнѣ соусъ. Если сумасшедшій творить, то плоды его творчества могутъ быть объектомъ изслѣдованій психіатровъ,—благодарю васъ!—но не должны выбрасываться на рынокъ и служить средствомъ сознательнаго или безсознательнаго обмана.

— Ого!

Черный, какъ жукъ, беллетристъ, широкоплечій и прямой, какъ будто съ него только что сняли военный мундиръ, проситъ слова, чтобы опровергнуть художника. Предсѣдатель утвердительно киваетъ головой, проглатывая устрицу.

Я хорошо знаю этого беллетриста. Въ немъ нѣтъ ни капельки сумасшествія. Все его существо проникнуто консерватизмомъ и мелкой, мѣщанской скупостью. Но онъ хитроуменъ, какъ преуспѣвающій лавочникъ,

и, для лучшаго сбыта, окрашиваетъ свой товаръ въ такіе цвѣта, которые дѣйствуютъ на публику, какъ запахъ нюхательнаго табаку. Отъ него чихаютъ, но къ нему привыкаютъ и, вѣдь, когда-то считалось признакомъ дурного тона—не нюхать.

Черный беллетристъ выступаетъ на защиту обиженныхъ. Но у него слишкомъ громкій голосъ и это дѣйствуетъ непріятно. Предсѣдатель морщится.

— Призовите же къ порядку.

Я смотрю на молоденькую жену поэта, бѣлокурую и хорошенькую, одѣтую въ модный костюмъ, который такъ хорошо раздѣляетъ женщину, что ни о чемъ уже не нужно догадываться. Она—почти ребенокъ, но поэтъ уже развратилъ ее, доказывая ей постоянно, что она — женщина. Видна же легкая тѣнь разврата на ея невинномъ лицѣ. И мнѣ начинаетъ казаться, что хорошо было бы повести ее нѣсколько дальше по этому пути.

Поэтъ бѣденъ. Ему можно будетъ почаще давать взаймы, а бѣлокурая дѣвочка не прочь, кажется, прокатиться на автомобилѣ.

Я наклоняюсь къ уху Китти.

— Ты должна покороче познакомиться съ бѣленькой.

Женщина съ фарфоровыми плечами взглядываетъ на меня съ внезапной яростью.

— Нѣтъ.

— Тебѣ трудно услужить мнѣ такой мелочью?

— Нѣтъ и нѣтъ! Ты не имѣешь права требовать...

Если продолжать дальше, то могутъ выйти непріятности, которыхъ я не стараюсь избѣгать, но и не особенно люблю.

— Хорошо, какъ тебѣ угодно. Это пустяки, конечно...

Мой ласковый и снисходительный тонъ пугаетъ ее и искорки гнѣва мгновенно исчезаютъ изъ глазъ. Грудь—слишкомъ высокая — поднимается неровно и я чувствую, что она болитъ.

— Ты хочешь еще чего-нибудь?

— Нѣтъ. Кажется... Кажется, что мнѣ лучше было бы поѣхать теперь домой. Я не совсѣмъ здорова. Ты знаешь, меня, все-таки, продуло тамъ, въ театрѣ. И теперь все время колетъ подъ лопаткой.

— Я вѣрю. Ты можешь и не рассказывать такихъ подробностей, милая. Можно попросить чернаго проводить тебя. Онъ сдѣлаетъ это съ удовольствіемъ, потому что это подастъ ему нѣкоторыя надежды...

— Но развѣ ты...

— Прости, но я не хочу еще уѣзжать. Мнѣ очень весело.

Китти растерянно смотритъ по сторонамъ, какъ будто ищетъ защиты. Но всѣ заняты сами собой, потому тѣми женщинами, которыя отдаются по-

легче, потомъ ѣдой и питьемъ, потомъ искусствомъ. Какое имъ дѣло до обиженной Китти?

— Ты сама поставила себя въ такое положеніе, милая. Тобой пренебрегаютъ и ты сама это видишь. Нельзя одного такъ явно предпочитать всѣмъ. Тебѣ слѣдовало бы лучше любить всѣхъ понемногу.

Послѣ этого маленькаго правоученія я вспоминаю всѣ тѣ блюда и напитки, которые она особенно любитъ, выбираю изъ нихъ самое лучшее и угощаю ее съ изысканной любезностью и самой нѣжной лаской. По мѣрѣ того, какъ я все болѣе и болѣе проникаюсь этой лаской, плечи Китти начинаютъ вздрагивать чаще и чаще. Холодѣющими руками она беретъ вилку или стаканъ, ѣсть и пьетъ, сама не зная что. Каждый глотокъ приноситъ ей мученіе.

— Но я не могу больше. Не могу.

Смотрить на меня, какъ собака, ждущая кнута, который разорветъ въ кровь ея шкуру.

— Еще немного, милая. Я такъ люблю угощать тебя. Не обращай вниманія на маленькое нездоровье, это гораздо лучше.

Она дрожить, полная злыхъ предчувствій. И такъ какъ она не знаетъ, что ждетъ ее—ея страхъ дѣлается слѣпымъ и беспощаднымъ, какъ страхъ смерти.

Не нужно слишкомъ натягивать струну. Она лопнетъ или, въ лучшемъ случаѣ, будетъ давать невѣрный тонъ. Когда я вижу, что бремя ея ужаса и раскаянія достигло предѣла, который только она можетъ вынести, я расслабляюсь по счету и, поднимаясь, говорю громко:

— Такъ, значитъ, вы разрѣшаете мнѣ проводить васъ?

— Но вы сказали только что...

— Вѣдь это же была только шутка! Неужели я могу отказаться отъ чести...

Нашъ уходъ не особенно замѣчаютъ, потому-что сегодня я очень мало принималъ участія въ общемъ разговорѣ. Я жму потныя руки предсѣдателя, художника, чернаго беллетриста, поэта. Руку поэта—особенно крѣпко. Потомъ отвѣщаю церемонный поклонъ его женѣ. Передъ ней останавливается Китти и весело говоритъ слегка прыгающими губами, стараясь не горбить плечи подъ гнетомъ муки:

— Вы совсѣмъ забыли меня за послѣднее время... Я живу почти отшельницей и такъ бываю рада, когда вы приходите поскучать часикъ другой со мною вмѣстѣ. Неужели вашъ супругъ...

Бѣленькая дѣвочка смѣется.

— Ахъ, что вы... Если говорить откровенно... Вѣдь вы любите, когда

говорять откровенно, да?—если говорить откровенно, то мнѣ показалось, что именно вы охладѣли ко мнѣ немного. И я была огорчена.

— Такъ, значить, я могу падѣяться... чтобы разсѣять недоразумѣніе...

Рука Китти, опирающаяся на мою, дѣлается тяжелой, какъ свинцовая. Сквозь зубы, Китти доканчиваетъ:

— Завтра? Хорошо?

— Нѣтъ, къ сожалѣнію. Но можно въ пятницу, въ три часа. Вы свободны?

— Я жду васъ.

Спускаясь по лѣстницѣ, въ присутствіи швейцара, который распаиваетъ дверь, Китти взволнованно говоритъ мнѣ:

— Ну, вотъ... Ты просилъ. Я сдѣлала.

— Что такое?

— О, но вѣдь ты же знаешь. Относительно этой дѣвченки... Уродливой развратной дѣвченки, у которой синяки подъ глазами...

— Мужъ ее любить и они молоды... Но все это совсѣмъ меня не касается, дорогая. Кажется, я никогда не стѣснялъ васъ въ выборѣ знакомыхъ. „Поздно, поздно!“

Мнѣ кажется, что ея губы шепчутъ именно это слово.

Мы нанимаемъ извозчика. Я придерживаю ея талію,—совсѣмъ слегка, только чтобы предохранить на случай неожиданнаго толчка. А она прижимается ко мнѣ, дрожа отъ холода, ищетъ ласки съ откровеннымъ малодушіемъ побѣжденной женщины.

— Тебѣ неудобно сидѣть? Отчего ты не обнимешь меня крѣпче?

— Прости, я думалъ о другомъ..

Это не ложь. Когда мѣсть входитъ въ привычку, она становится слишкомъ обыденной, чтобы постоянно о ней думать. И особенно, когда мстишь невинному.

Я люблю Китти. Впрочемъ, я не думаю, чтобы это была любовь. И я сомнѣваюсь также, можно ли назвать ненавистью то чувство, которое я испытываю къ ней сейчасъ. Иногда мнѣ хочется цѣловать ея ноги. Иногда мнѣ хочется также истязать ее, подвергнуть ея нѣжное тѣло и ея нѣжную душу самымъ чудовищнымъ пыткамъ, какія только изобрѣлъ человѣкъ. Конечно, лучше всего было бы для насъ обоихъ—разойтись, никогда не встрѣчаться больше на жизненномъ пути.

Но это не такъ легко. Я сошелся съ Китти такъ же спокойно и просто, какъ сходилъ передъ этимъ со многими и многими другими женщинами,—и только одна она сумѣла связать меня. Опутала какими-то невидимыми нитями. И я мщу ей. Мщу за дерзкую попытку связать мою свободу.

— Скажи извозчику, чтобы онъ ѣхалъ поскорѣе.

— Ты торопишься домой?

Она взглядывает на меня съ недоумѣніемъ.

— Да, конечно.

Она надѣется еще крѣпче заплести нити, потому что вечеръ—это время ея господства надо мной. О, развѣ ты уже забыла о бѣленькой?

У подъѣзда огромнаго мебелированнаго дома, въ которомъ отдѣльные люди теряются, какъ пчелы въ ульѣ, я помогаю ей сойти съ высокой пом-ножки, предупредительно, какъ услужливый швейцаръ, распахиваю дверь. Китти замедляетъ шаги. Она, всетаки, еще сомнѣвается: зайду ли я.

Почему же нѣтъ? У меня есть еще свободное время. У меня всегда достаточно свободнаго времени. Я живу, какъ рантье. При желаніи я могъ бы попрежнему трудиться и хорошо зарабатывать, но на чью пользу пойдетъ мой трудъ? Слишкомъ много чести для слюнявой толпы, для всѣхъ этихъ похотливыхъ и тупоумныхъ головъ, которыя и безъ того имѣютъ больше, чѣмъ слѣдуетъ. Если бы я былъ неограниченнымъ властелиномъ, я кормилъ бы своихъ вѣрноподданныхъ рабовъ свиной похлебкой и заставлялъ бы ихъ спать въ навозѣ. Это—все, чего они заслуживаютъ. А создавать для нихъ новыя цѣнности...

Китти останавливается на первой ступенькѣ лѣстницы. Я слишкомъ медлю: она уже почти увѣрена, что я не зайду къ ней. И на ея лицѣ появляется жалкая гримаса малодушнаго страха. Я беру ее подъ руку и мы быстро бѣжимъ вверхъ по ступенькамъ. Горничная въ бѣломъ чепцѣ на завитыхъ волосахъ едва успѣваетъ дать намъ дорогу.

Помѣщеніе Китти. Просторная гостиная и маленькая, совсѣмъ маленькая спальная, отдѣленная отъ первой комнаты только задрапированной аркой. Все—немножко выцвѣтшее, немножко потертое тѣми чужими людьми, которые жили здѣсь до Китти, но въ общемъ—приличное. Если находишься въ хорошемъ расположеніи духа, то такая обстановка можетъ даже нравиться. При меланхоліи она доведетъ до самоубійства.

Одинъ низенькій диванчикъ, весь обложенный мягкими вышитыми подушками, давно уже предназначенъ для меня одного. Если на него случайно садится кто-нибудь другой, Китти говоритъ торопливо:

— Ахъ, пересядьте, пожалуйста... Здѣсь, кажется, сломана ножка.

Я сажусь и закуриваю сигару. Китти не любитъ, когда въ ея присутствіи курятъ крѣпкій табакъ, и запахъ моей сигары будетъ тревожить ее всю ночь.

Однако же, она не подаетъ и виду, что мое поведеніе причиняетъ ей какую-либо непріятность. Быстрыми, слегка порывистыми движеніями она снимаетъ шляпку, бросаетъ на стулъ свое манто. Драпировка отдернута и я вижу постель, прикрытую блѣдно-голубымъ одѣяломъ съ кое гдѣ разсы-

паннимъ узоромъ какихъ-то бѣлыхъ цвѣтовъ, по очертаніямъ похожихъ на ирисы. Собственно говоря, я чувствую себя немножко утомленнымъ и не прочь бы былъ отдохнуть. Но это совсѣмъ не входитъ въ мои расчеты и я созерцаю пышную постель съ холоднымъ равнодушіемъ.

— Ты хочешь вина? Тамъ, въ шкафѣ, есть кое-какая провизія... Вино и омары. Или, можетъ быть, ты подождешь, пока я переодѣнусь?

— Я подожду.

Смотрю на часы: нѣтъ еще двѣнадцати. Конечно, я могу подождать.

Переодѣваясь, Китти такъ торопится, что страдаетъ тонкое кружево. Черное съ блестками платье падаетъ къ ея ногамъ,—и она небрежно наступаетъ на него ногой. А вѣдь въ общемъ она очень аккуратна и даже расчетлива. Она не любитъ тратить лишнее и отдаетъ свои платья для переделки въ красивое заведеніе.

Потомъ она снимаетъ корсетъ и въ одномъ батистовомъ бѣлѣ очень долго ищетъ свой капотъ, который лежитъ, однако, на самомъ виду. Нѣсколько разъ прикасается ко мнѣ, какъ бы нечаянно. Я слышу запахъ ея духовъ и ея тѣла. Выпускаю вверхъ аккуратное колечко дыма, которое медленно поднимается къ потолку, и внимательно слѣжу за его движеніями.

— Развѣ ты не хочешь поцѣловать меня?

Она обнимаетъ меня рукой за шею.

— О, съ удовольствіемъ. Но вѣдь мнѣ обѣщанъ стаканчикъ вина. И вино хорошее, я надѣюсь.

Грубое насиліе оскорбляетъ честь и самолюбіе женщины. Но равнодушіе, проявленное къ ея чарамъ, ранитъ ее въ самое сердце. Китти выпрямляется, блѣдная, и губы у нея дрожатъ. Еще торопливѣе, чѣмъ раздѣвалась, она натягиваетъ капотъ, застегивается, даже закалываетъ булавкой вырѣзъ у шеи. Но все равно. Я знаю, что не только отъ чувства оскорбленнаго самолюбія такъ волнуется ея грудь и вздрагиваютъ ноздри,—и она понимаетъ это. Она не можетъ спрятаться, и это доводитъ ее до отчаянія.

Стараясь не смотрѣть на меня и не произнося ни одного слова, Китти достаетъ изъ рѣзного шкафика,—ея собственнаго, какъ и кровати, а не принадлежащаго казенной мебелировки гостиницы,—достаетъ вино, закуску и фрукты. Все—тонкое, дорогое и хорошо подобранное къ моимъ вкусамъ. Удачнѣе угодить мнѣ не могъ бы и я самъ.

А я сытъ и я только что пилъ вино и, пока я лѣниво присматриваюсь ко всѣмъ этимъ деликатесамъ, Китти, спохватившись, хлопотливо задерживаетъ драпировку и не можетъ скрыть краски стыда на щекахъ.

Я опять смотрю на часы и поднимаюсь съ мѣста.

— До свиданія, мой другъ. Ты чувствуешь себя не совсѣмъ здоровой и тебѣ пора отдохнуть.

Наклоняюсь, чтобы поцѣловать ее, но она прячетъ лицо въ складкахъ широкихъ рукавовъ и плачетъ,—плачетъ беззвучно и тоскливо, тѣми горячими слезами, которыя могутъ растопить камень. Я вонзаю себѣ въ ладонь свои длинные, хорошо отточенные ногти и говорю самому себѣ:

— Если ты уступишь—ты стоишь того, чтобы безносый нищій плюнулъ тебѣ въ лицо.

И заканчиваю громко:

— У тебя очень растроены нервы, Китти... Прими валеріановыхъ капель... До свиданія.

### III.

Простая грязная щепка носилась въ волнахъ прибоя. Когда набѣгаль высокій гребень волны, она взлетала кверху, держалась такъ нѣсколько мгновений, одѣтая жемчужной пѣной, въ которой радужными оттѣнками искрилось заходящее солнце. Потомъ волна отходила и щепка проваливалась въ темную бездну у скользкихъ, обросшихъ зеленой слизью камней мола, въ компаніи съ ракушками, шлакомъ и картофельной шелухой, выброшенной съ парохода. И новая волна опять выносила ее наверхъ. Если грязная щепка что-нибудь чувствовала въ это время, то ей, навѣрное, было очень весело.

У меня нѣтъ ни вѣрныхъ друзей, ни прочнаго, постоянного пріюта. Бездомнымъ странникомъ я прохожу жизнь и, скитаясь, перехожу отъ бездны къ небу. Во всемъ мірѣ или только въ томъ городѣ, въ которомъ живу—все равно Я скитаюсь, какъ скитается и моя бѣдная, бездомная мысль. •

Я только что посѣтилъ избранное общество художниковъ, литераторовъ и любителей прекраснаго, и отъ моихъ рукъ еще пахнетъ духами той женщины, которую я оставилъ отвергнутой и утопающей въ слезахъ. Но еще рано: первый часъ ночи. И, пройдя всего нѣсколько кварталовъ отъ меблированнаго дома, я спускаюсь по скользкимъ загаженнымъ ступенькамъ въ огромный, смрадный подвалъ. Это—трактиръ „Баварія“, гдѣ собираются по ночамъ изъ разныхъ закоулковъ темные, грязные и пьяные люди и гдѣ открыли свою биржу воры и проститутки.

Нѣсколько сырыхъ сводчатыхъ комнатъ съ кое-какъ побѣленными штукатуренными стѣнами. Мутно чадятъ газовыя люстры и ихъ огоньки, похожіе на бабочекъ, непрерывно трепещутъ, заставляя плясать и колебаться тѣни и искажая неожиданными гримасами лица посѣтителей.

Пахнетъ жаренымъ лукомъ, прогорклымъ масломъ, кислымъ пивомъ и перегорѣвшей водкой. Этотъ запахъ отвратителенъ, но онъ возбуждаетъ меня. И хотя на мнѣ тотъ же самый костюмъ, который былъ и тамъ, у художниковъ, я кажусь самому себѣ переодѣтымъ.



Я пробираюсь между беспорядочно разставленными столиками,—и долго не могу найти ни одного свободного мѣста. Посѣтители, мимо которыхъ я прохожу, безцеремонно оглядываютъ меня съ головы до ногъ, задерживая взглядъ на моемъ свѣжемъ галстукѣ, на часовой цѣпочкѣ, даже на моей тонкой обуви. Немного досадно обращать на себя общее вниманіе, но, все равно, меня здѣсь уже знаютъ. Знаютъ не лучше и не хуже, чѣмъ я самъ—нѣкоторыхъ изъ другихъ обычныхъ посѣтителей. Я аккуратно расплачиваюсь по счетамъ и не стою за угощеніемъ желающихъ. Тѣмъ не менѣе, меня, кажется, не особенно любятъ здѣсь. Психологія этихъ темныхъ людей имѣетъ свои особенные изломы.

Въ самой послѣдней комнатѣ, въ углу которой пріютилась грубо сколоченная эстрада, а рядомъ съ эстрадой—будка изъ размалеваннаго полотна,—я, наконецъ, нахожу для себя достаточно уютный уголокъ. Лакей почернѣвшей отъ грязи салфеткой смахиваетъ со стола хлѣбныя крошки и представляетъ съ одного мѣста на другое разрозненный судокъ.

— Графинчикъ водки—небольшой—и закуску.

— Сію минуту.

На эстрадѣ играетъ женскій оркестръ изъ пяти человѣкъ. Аккомпанируетъ на піанино мужчина,—толстый, сонный, съ круглыми и розовыми, какъ сосиски, пальцами. Беременная еврейка съ мелкими кудельками на аккуратно причесанной головѣ бьетъ въ турецкій барабанъ. Тщательно выдерживаетъ тактъ, сморщивъ лобъ отъ напряженія. На подкрашенныхъ щекахъ проступаютъ, сквозь бѣлила, коричневатые пятна. Огромный животъ уродливо выпираетъ изъ слишкомъ тѣснаго платья.

Кто-то изъ посѣтителей громко, на всю комнату, шутитъ, предлагая ей, вмѣсто барабана, колотить себя по животу: будетъ слышнѣе. И въ отвѣтъ на эту гнусность еврейка улыбается заискивающе и наклоняетъ голову для поклона.

Лакей возвращается съ подносомъ. На немъ, кромѣ захватаннаго графинчика,—нѣсколько щербатыхъ тарелочекъ. Кусочекъ селедки. Два бѣлыхъ грибка, отъ которыхъ пахнетъ кожей. Ржавая ветчина и кислая капуста, одобренная кунжутнымъ масломъ. И все это мнѣ нравится. Я съ наслажденіемъ выпиваю рюмку теплой водки и грызу ветчину.

Шумно. Здѣсь бурно чувствуютъ и не стѣсняются открыто проявлять свои чувства. Любятъ и ненавидятъ, проклинаютъ и радуются на глазахъ у всѣхъ, безъ двусмысленностей и безъ стѣсненія. Но всѣ эти люди лживы въ той же мѣрѣ, какъ и откровенны, и когда лгутъ, смотрятъ, не смущаясь, прямо въ глаза.

И я до нѣкоторой степени чувствую себя ихъ товарищемъ. У насъ

есть очень много общихъ точекъ соприкосновенія, и мы безъ труда можемъ понимать другъ друга въ нашихъ симпатіяхъ.

Они презируютъ рабство такъ же, какъ и свободу. Ихъ кругозоръ узокъ, потому что его ограничиваютъ сводчатые потолки подвала, но мудрость жизни все-же накоплена въ ихъ толстыхъ черепахахъ.

Пьютъ, ѣдятъ и опять пьютъ. Лакеи едва успѣваютъ разносить кушанья и напитки, и два мальчика за стойкой непрерывно наполняютъ пѣнящимся пивомъ безконечные ряды мокрыхъ кружекъ. Кухня отвратительна, но такъ и слѣдуетъ: пусть отбросы питаются отбросами. Это похоже на высшую справедливость.

Неторопливо закусывая, я слѣжу за пятью женщинами, которыя составляютъ оркестръ. Двѣ изъ нихъ очень красивы, остальныя—столь же уродливы. Но уродливыя могли бы вызвать чувство жалости даже въ палачѣ,—несчастныя самки, вынужденныя зарабатывать свой хлѣбъ бессмысленной работой въ этомъ притонѣ. Онѣ чувствуютъ, что здѣсь—не ихъ мѣсто, и потому рабски покорны, и толстый человѣкъ за пианино обращается съ ними, какъ рабовладѣлецъ. Онѣ — хорошія матери и съ радостью рожаютъ дѣтей, хотя ихъ такъ трудно прокармливать, но онѣ готовы, съ отвращеніемъ и болью, отдаваться первому встрѣчному, если только это выгодно ихъ владѣльцу, ихъ мужу и ихъ ребенку.

Изъ красивыхъ—одна играетъ первую скрипку, другая пилитъ на альтѣ. Впрочемъ, я подозреваю, что альтъ—только декорация и его смычекъ смазанъ саломъ.

Обѣ, играя, хищно сторожатъ добычу. Онѣ—откровенны, какъ все откровенно въ этой средѣ. То, что могло быть только необходимостью, давно уже сдѣлалось для нихъ насущной, неодолимой потребностью,—и мнѣ кажется, что каждая пора ихъ красиваго тѣла пропитана ядомъ разврата. Онѣ часто взглядываютъ въ мою сторону, такъ какъ мой приличный костюмъ предполагаетъ наличность достаточно туго набитаго кошелька. Первая скрипка подаетъ мнѣ сигналы своими огромными лучистыми глазами и, перемѣняя позу, нарочно поднимаетъ юбку выше колѣнъ, чтобы показать стройныя ноги въ ажурныхъ чулкахъ и не совсѣмъ свѣжее кружево бѣлья. Я отворачиваюсь съ омерзѣніемъ.

Но здѣсь есть другая женщина, которая уже давно привлекаетъ меня. Я внимательно слѣжу за смѣняющейся публикой столиковъ и жду, потому что она бываетъ здѣсь ежедневно.

По мѣрѣ того, какъ уходитъ впередъ часовая стрѣлка, составъ публики замѣтно мѣняется. Случайныхъ посѣтителей, соблазненныхъ первой попавшейся вывѣской, становится все меньше,—а тѣхъ, которые еще остались, уже нельзя отличить отъ завсегдатаевъ. Они такъ же откровенны и такъ

же разнузданны. И по угламъ, въ мѣстахъ, куда плохо проникаетъ свѣтъ газовыхъ люстръ, за полутемными столиками группируются все гуще странные люди съ горящими глазами и напряженными взглядами. Они сидятъ здѣсь долгіе часы, но все время кажется, что они куда-то спѣшатъ.

Вотъ, наконецъ, встрѣчаю знакомыхъ. Ихъ двое, мужчина и женщина, и они подъ руку пробираются между столиками, похожіе на супружескую пару. Я здороваюсь и предлагаю имъ занять свободныя мѣста за моимъ столомъ. Мужчина соглашается безпрекословно, но женщина возражаетъ.

— Я не хочу здѣсь. Музыка надъ самымъ ухомъ. Голова разболится... Пойдемъ дальше.

— Глупости.. Все занято. Садись.

Онъ тянетъ ее за рукавъ, и она подчиняется, строгая и сосредоточенная, съ презрительной складкой между бровями.

На первый взглядъ, у нея—обыкновенное, не слишкомъ дурное и не слишкомъ красивое лицо. Руки велики и грубоваты, и она не умѣетъ одѣваться такъ, чтобы подчеркнуть то хорошее, что есть въ ея внѣшности. Но ея глаза приковываютъ меня, дѣлаютъ почти рабомъ.

По профессіи она—всего только проститутка, а онъ—воръ. Я хорошо знаю это, хотя въ разговорахъ со мной онъ и избѣгаетъ упоминать о родѣ своихъ занятій. И я вѣжливо имену ю его: Степанъ Ивановичъ. Кажется, это непохоже ни на одно изъ именъ, подъ которыми онъ извѣстенъ въ своемъ кругу и въ полицейскихъ спискахъ.

— Я надѣюсь, что вы не откажетесь поужинать вмѣстѣ, Степанъ Ивановичъ?

Онъ дѣлаетъ неопредѣленный жестъ, но въ то же время зорко всматривается въ самый дальній уголъ.

— Очень вамъ благодаренъ. Хотя, собственно, я нынче при деньгахъ, такъ что давайте лучше по студенчески: всякъ за себя.

— Но вы разрѣшите, по крайней мѣрѣ, предложить Катюшѣ...

— А ужъ это—само собою разумѣется.

Катюша откидываетъ голову и полужакрываетъ глаза, такъ что я едва различаю сверкающіе зрачки подъ опущенными рѣсницами.

— Я ничего не хочу. Мнѣ не нужно.

— Ышь, когда угощаютъ!—парируетъ Степанъ Ивановичъ.—Какое твое будетъ дѣло, если ты будешь только глазами хлопать?

Онъ заказываетъ себѣ большой стаканчикъ водки и отбивную котлету, а я для Катюши—бутылку бѣлаго вина и какую-то дичь. Всѣ проститутки, почему-то, обожаютъ дичь, особенно мелкую и нѣжную, вродѣ рябчиковъ и перепелокъ. Въ ожиданіи, Степанъ Ивановичъ говорить о погодѣ и о томъ,

что на сосѣдней каланчѣ подняты два фонаря: гдѣ-то пожаръ. Потомъ переходить къ болѣе общимъ вопросамъ.

— Много на свѣтѣ бездѣльнаго народу. Вотъ, шелъ сейчасъ по улицѣ—биткомъ. Идутъ тихо, нога за ногу, и видно, что и идти то-имъ некуда. Утромъ посмотришь, днемъ—то же самое. Ходятъ, глазѣютъ, топчутся на одномъ мѣстѣ. Раньше не было такъ. Всѣ были при работѣ. А теперь распустились. Если бы было у насъ настоящее начальство, такъ оно бы наблюдало, чтобы каждый находился при своемъ мѣстѣ. А то что же это? Одна толкотня, а дѣла никакого.

Въ устахъ вора мнѣ очень нравится эта маленькая апологія труда. И мнѣ хочется удержать разговоръ именно на этой темѣ.

— Веселѣе отдыхать, чѣмъ работать!—говорю я.—Прежде только работали, а теперь есть время и для отдыха. Стало быть, улучшилась жизнь.

— Отъ бездѣлья отдыхать—не важное кушанье. И потомъ—какое же это улучшение жизни, когда ни у кого и гроша мѣднаго нѣтъ въ карманахъ? Постоить перелѣ кофейной, облизнется, да и идетъ дальше. Чашки кофею выпить не на что.

— Есть разные способы добывать деньги. Не только постоянной работой, но и какъ нибудь иначе можно.

Лакей на большомъ подносѣ приноситъ все заказанное. Степанъ Ивановичъ беретъ свой стаканчикъ и, поднося его ко рту, въ то же время горячо возражаетъ.

— Нѣтъ, ужъ это вы оставьте. Безъ труда, да безъ старанія, ни одна полушка не достанется. Даже въ писаніи: еще не работаетъ, да не ястъ. А самое главное—безъ работы человѣкъ портится. Сидитъ, сложа руки, и всякія ненужныя мысли ему въ голову приходятъ. Конституцію вотъ недавно сдѣлали. А зачѣмъ она? И по какому такому праву, я васъ спрошу? Или книги тамъ сочиняютъ со всякими умствованіями, а отъ этихъ книгъ—одинъ вредъ. Нѣтъ, взнуздать надо человѣка. Опредѣлить ему настоящую линію жизни, а не пускать бродить, гдѣ хочется. За ваше здоровье!

Выпилъ, сплеснулъ на полъ остатокъ. Аккуратно подвязался салфеткой, хотя измятая крахмальная манишка и такъ уже не первой чистоты.

— Міръ, сударь вы мой, не человѣкомъ устроенъ. Не шелкоперомъ какимъ-нибудь, который книжки сочиняетъ. И, стало быть, все въ немъ устроено правильно и къ своему настоящему мѣсту. Вродѣ какъ въ машинѣ выдерните одинъ нестоющій винтикъ, а все пойдетъ вкривь и вкось. Нельзя, стало быть, насильно ни стараго отмѣнять, ни новаго нагораживать, потому что выйдетъ изъ этого одна только лишняя сложность и неразбериха. Созданы на землѣ цари, священники, генералы, солдаты, крестьяне, ремесленники,—ну, и еще тамъ винтики помельче, но тоже не безъ важности: купцы,

скажемъ, трактирщики, извозчики, воры, лакеи, проститутки... И каждый исправляетъ свою должность. А кто не при мѣстѣ, такъ такого лучше совсѣмъ уничтожить, удавить, какъ собаку, потому-что отъ него на землѣ одинъ только вредъ. Вотъ какъ я понимаю.

Я вижу, что его міровоззрѣніе достаточно прочно и закончено, и не пытаюсь сбить его съ этой позиціи. Степанъ Ивановичъ—не анархистъ. Онъ твердый и убѣжденный защитникъ консервативной государственности, и я преклоняюсь передъ его авторитетомъ.

Катюша все сидитъ неподвижно, съ полузакрытыми глазами. Ея жаркое стынетъ въ никелированномъ блюдѣ и бесполезно выдыхается налитое вино.

— Кушайте же, Катюша. Развѣ вамъ не нравится это? Можно бы заказать что-нибудь другое.

Катюша отрицательно качаетъ головой.

— Я не хочу.

И въ направленныхъ на меня полузакрытыхъ глазахъ вспыхиваетъ враждебность.

— Вотъ ужъ не люблю я такія глупости!—вздыхаетъ Степанъ Ивановичъ, обсасывая котлетную косточку.—Сама вѣдь говорила, что ѣсть хочется.

— Закажите мнѣ пива, Степанъ Ивановичъ... И бутербродовъ съ колбасой, что ли... Съ какой стати я буду отъ нихъ угощеніе принимать, если я для нихъ ничего не сдѣлала?

Степанъ Ивановичъ удивленъ.

— Вотъ тебѣ разъ! Мнѣ, конечно, лишняго полтинника не жалко. Но только жаркое хорошее и вино—и вдругъ бутербродъ съ колбасой... Ты, можетъ быть, полагаешь, что мнѣ это непріятно—что тебя при мнѣ другой человѣкъ угощаетъ? Очень даже напрасно. Я не изъ такихъ, чтобы ревновать вашего брата. Покончили дѣло—и разошлись въ разныя стороны. До свиданья, и только. Мнѣ сегодня и некогда, кстати, долго засиживаться-то... Говорю тебѣ: не глупи. Лучше будетъ.

Онъ говоритъ убѣдительно и авторитетно, и Катюша подчиняется, хотя замѣтно, что это подчиненіе стоитъ ей большой нравственной борьбы. И ѣсть она сначала нехотя, какъ будто отбываетъ повинность. Потомъ голодъ беретъ свое. Тонкія косточки дичи хрустятъ на крѣпкихъ зубахъ.

Степанъ Ивановичъ запиваетъ свой ужинъ бокаломъ пива и справляется у меня,—который часъ. Застегиваетъ пальто на всѣ пуговицы.

— Пора мнѣ и отправляться. Наше вамъ нижайшее. Поразвлекитесь съ Катюшкой-то.

И въ то время, какъ онъ уходитъ, изъ темнаго угла поднимаются еще

два человѣка. и я замѣчаю, какъ они обмѣниваются торопливыми и какими то скользкими взглядами.

— Пошли!—многозначительно замѣчаетъ Катюша.

Я очень доволенъ, что мнѣ удалось, наконецъ, остаться съ нею наединѣ въ этой тѣсной пьяной толпѣ, которая не обращаетъ теперь на насъ никакого вниманія. Я придвигаю свой стулъ поближе къ Катюшѣ, кладу свою руку на ея рукавъ.

— Почему вы избѣгаете меня?

Она уклоняется отъ отвѣта, смотритъ на эстраду, гдѣ въ это время происходитъ какое-то движеніе.

— Смотрите, сейчасъ пѣть будутъ.

Въ концѣ вечера, для большаго увеселенія посѣтителей, которыхъ уже не удовлетворяетъ музыка дамскаго оркестра, на эстрадѣ исполняется нѣсколько кафе-шантанныхъ номеровъ. Пѣвицы стары и хрипы, похожи на тѣ шарманки, какія нищія таскаютъ по дворамъ. Онѣ переодѣваются въ свои засаленныя лохмотья тутъ же, въ полотняной будкѣ, прилѣпившейся у эстрады. Полотно продрано и любителямъ голаго тѣла не запрещается заглядывать въ дыры. Впрочемъ, этимъ правомъ пользуются только немногіе. Большинству лѣнь подниматься со своихъ мѣстъ для такого пустяка, и къ тому же, выступая со своимъ номеромъ, пѣвицы тоже почти раздѣты. Ихъ дряблыя плечи покрыты густымъ, осыпающимся слоемъ дешевой пудры, которая размякаетъ отъ пота и, стекая потоками, пятнитъ еще больше прыщеватую кожу.

— Почему вы избѣгаете меня, Катюша?

— Вотъ еще странности: сижу за однимъ столомъ съ человѣкомъ, а онъ говоритъ—избѣгаю. Что-же мнѣ—при всѣхъ на шею вамъ вѣшаться?

— Неправда, Катюша. Вы сами понимаете, о чемъ я говорю. Вы предпочитаете мнѣ даже какого-нибудь Степана Ивановича.

— Что же такое? У всякаго свой вкусъ.

Я усердно подливаю ей вина, и теперь она уже не отказывается. Но настороженная враждебность не исчезаетъ,—даже растетъ по мѣрѣ того, какъ вино оказываетъ свое дѣйствіе.

Иногда она напивается почти до потери сознанія. Я самъ видѣлъ ее однажды, растрепанную, жалкую, въ изорванномъ платьѣ. Она сидѣла на полу, раскачиваясь туловищемъ изъ стороны въ сторону, и плакала пьяными слезами. Но и въ эти минуты остается какой-то уголокъ въ ея душѣ, который она оберегаетъ ревниво. Я подозреваю, что она ненавидитъ меня именно потому, что я пытаюсь проникнуть въ этотъ уголокъ.

А я не могу иначе. Въ ея глазахъ скрыта тайна, которая, можетъ быть,—когда я, наконецъ, узнаю ее,—дастъ мнѣ что-нибудь новое въ моемъ

пониманіи жизни. И потомъ, быть отвергнутымъ проституткой—это не-множко нелѣпо.

Катюша дѣлаетъ видъ, что очень занята всѣмъ происходящимъ на эстрадѣ. Но тамъ—каждый вечеръ однѣ и тѣ же пѣвицы, онѣ поютъ все тѣ же куплеты и одинаково поднимаютъ короткія юбки. Однимъ словомъ, это только предлогъ, чтобы поменьше обращать вниманія на меня.

— Слушайте,—говорю я почти строго,—вы плохо исполняете обязанности профессіи. Вы будете очень мало зарабатывать, если дѣло пойдетъ такъ и дальше. Вы должны завлекать меня, вы понимаете? Вы должны смѣяться, даже если вамъ хочется быть серьезной, вы должны смотрѣть на меня лукаво и двусмысленно, вы должны, наконецъ, всѣмъ вашимъ поведеніемъ, каждымъ движеніемъ вашего тѣла и каждымъ звукомъ вашего голоса обѣщать мнѣ наслажденіе.

— Я уйду, если вамъ скучно. Здѣсь много дѣвушекъ. Возьмите другую.

— Но вы, вы ведете себя такъ со всѣми—или только со мной?

Молчаніе.

— Удивительно!—говорю я.—Вамъ слѣдовало бы поучиться, какъ вести себя, у такъ называемыхъ честныхъ женщинъ. Онѣ очень опытны въ этомъ отношеніи.

— Зачѣмъ мнѣ? Вѣдь я не честная.

И она опредѣляетъ себя грубымъ, браннымъ словомъ, которое звучитъ особенно дико въ ея устахъ.

Она можетъ быть не грубой. Ея душа—тонка, и ея грубость—только маска, которая не можетъ меня обмануть. Но все же эта грубость причиняетъ мнѣ настоящую боль и, чтобы заглушить ее, я пью усерднѣе угощаю Катюшу.

Мы оба пьянемъ подъ звуки глупо безстыдныхъ куплетовъ. Пьяное веселье трактира, похожее на предсмертныя корчи, сливается въ моемъ сознаніи въ одинъ общій гулъ и въ одно пестрое, расплывчатое пятно, въ которомъ я уже не различаю и не хочу различать отдѣльныхъ лицъ. Я хочу видѣть только Катюшу. Я приближаю къ ней свое лицо, стараясь заглянуть въ самую глубину ея глазъ.

Первая скрипка изъ дамскаго оркестра подходитъ къ моему столику, но я грубо гоню ее прочь. Я не хочу ничьихъ поцѣлуевъ кромѣ поцѣлуевъ Катюши. Въ эту минуту я влюбленъ въ нее страстно и искренно, и нераздѣленная любовь только усиливаетъ мое томленіе.

— Мы сейчасъ поѣдемъ. Уже поздно.

— Съ вами? Нѣтъ.

Она отрицательно покачиваетъ головой и большія, дешевыя перья

на ея шляпѣ встряхиваются угрюмо, какъ султанъ на погребальной колесницѣ.

Тогда я самъ становлюсь грубымъ и перехожу къ аргументамъ, доступнымъ всякому посѣтителю этого трактира по своей опредѣленности и простотѣ.

— Я заплачу тебѣ. Заплачу дорого. Тебѣ никто еще не платилъ столько.

— Я не хочу. Развѣ я каторжная? Нѣтъ такого закона, чтобы заставить...

— Развѣ я заставляю? Я прошу, умоляю тебя... Почему ты не хочешь?

Тогда она встаетъ и быстро уходитъ, исчезаетъ, расплывается въ пестромъ мутномъ пятнѣ, бросая мнѣ на ходу злобно и отчетливо:

— Потому что ты—проклятый.

#### IV.

Большой красный автомобиль стоитъ у подъѣзда и шофферъ, зѣвая, докуриваетъ толстую папиросу.

Жена поэта стоитъ у окна, натягивая перчатки, смотритъ на автомобиль и очень хочетъ быть совсѣмъ серьезной и равнодушной, но на ея лицѣ расплывается улыбка ребенка, которому только что подарили красивую игрушку.

— Не надѣвайте шляпки... Во время быстрой ѣзды она принесетъ вамъ только лишнія хлопоты. Поважитесь шелковымъ шарфомъ,—это будетъ удобно и очень красиво.

У нея нѣтъ шелковаго шарфа, но она, конечно, не хочетъ въ этомъ сознаться и прикалываетъ шляпку лишней булавкой.

Поэта нѣтъ дома. Онъ рѣдко бываетъ дома въ послѣобѣденные часы и говоритъ, что для успѣшной карьеры ему нужно побольше вращаться въ обществѣ. Но, кажется, это общество не выходитъ за предѣлы маленькаго ресторанчика, гдѣ репортеры за рюмкой водки и за стаканомъ жидкаго чая обмѣниваются свѣжими извѣстіями.

Когда мы спускаемся по лѣстницѣ, я иду на пять ступенекъ позади и смотрю сверху внизъ на тонкую и гибкую фигуру моей спутницы, плечи которой скрыты отъ меня полями шляпы. Узкая юбка плотно облегаетъ стройныя ноги, и я вижу каждое движеніе ея тѣла, какъ сквозь трико. И я соображаю, когда мнѣ удастся овладѣть этимъ тѣломъ: сегодня или черезъ мѣсяцъ. Соображаю спокойно и дѣловито, взвѣсивая всѣ шансы за и противъ.

Пожалуй, что черезъ мѣсяцъ. Дѣло въ томъ, что она все еще немножко



любить своего поэта. Она недостаточно умна, чтобы уже совсѣмъ разлюбить его.

Моторъ трещитъ и моя спутница морщитъ носъ отъ рѣзкаго запаха бензина. Я утѣшаю ее:

— Не беспокойтесь, во время ѣзды этого не будетъ. Весь дымъ останется позади.

— О, я знаю.

Она не знаетъ, потому-что въ первый разъ въ жизни ѣдетъ на автомобиле и считаетъ это выдающейся роскошью. Но поэтъ—мой добросовѣстный сотрудникъ—уже началъ понемножку приучать ее ко лжи.

Шофферъ трубитъ какую-то воинственную фанфару и мы мчимся по улицѣ съ умеренной скоростью, — только чуть-чуть быстрее, чѣмъ это официально разрѣшается полиціей. Рессоры вздрагиваютъ на выбоинахъ мостовой и я обнимаю мою спутницу рукой за талію, чтобы ей было удобнѣе сидѣть.

Уличная суета, пестрая и безтолковая, бѣжитъ намъ навстрѣчу, разступается передъ наглыми звуками фанфары. Шофферъ напряженно согнулъ спину, закутанную складками широкаго непромокаемаго плаща. И я чувствую, что все это—и убѣгающая суета, и ревъ рожка, и спина шоффера—увлекаетъ мою спутницу свѣжей прелестью новизны. И когда моя рука обнимаетъ ее талію слишкомъ крѣпко—она дѣлаетъ только робкую попытку отстраниться и почти не сопротивляется.

На перекресткѣ двухъ людныхъ улицъ мелькаетъ фигура кого-то изъ знакомыхъ. Длинный обозъ загородилъ намъ дорогу и автомобиль замедляетъ ходъ, фыркаетъ и сердится. Вздрагиваетъ моторъ подъ ярко вычищеннымъ мѣднымъ чехломъ.

Знакомый медленно приподнимаетъ шляпу. Это—черный беллетристъ, тотъ самый, съ которымъ я встрѣчаюсь на артистическихъ вечерахъ въ ресторанѣ. Внѣшне равнодушнымъ и въ то же время внимательнымъ, все замѣчающимъ взглядомъ, онъ скользитъ по фигурѣ моей спутницы, задерживаетъ слегка этотъ взглядъ на ея раскраснѣвшемся, счастливомъ лицѣ. До моего слуха доносится его холодное и слегка насмѣшливое привѣтствіе:

— Счастливаго пути!

Обозъ проѣхалъ, путь свободенъ. Шофферъ нажимаетъ рычаги и ставится на верстатъ промедленіе. Улица впереди — ровная и прямая, какъ стрѣла.

— Удобно ли вамъ сидѣть?

— Да, конечно.

Потомъ, послѣ маленькой паузы, не очень рѣшительно:

— У меня была надняхъ ваша... ваша знакомая.

— Китти?

— Да. Пила кофе. И мы разговаривали...

— О костюмахъ?

— И о костюмахъ также... И объ оперѣ. Но кромѣ того—о васъ.

— Я польщенъ такой честью, разумѣется. Смѣю надѣяться, что не было сказано ничего особенно предосудительнаго по моему адресу?

— О, знаете... Такъ трудно опредѣлить, гдѣ начинается это „предосудительное“... Во всякомъ случаѣ, васъ не очень хвалили...

Я взглядываю на свою спутницу съ нѣсколько обновленнымъ интересомъ.

— Китти?

— Почему же Китти? Это я говорила, а не Китти.

Она не такъ уже глупа, эта полуженщина. Но я догадываюсь: Китти, должно быть, оказала мнѣ довольно коварную услугу. Хорошо, это выяснится со временемъ.

— Вы не повѣрите, какъ мнѣ любопытно было бы узнать вашъ отзывъ о моей особѣ—изъ вашихъ собственныхъ устъ. Къ сожалѣнію, я не смѣю надѣяться...

— Почему же? Китти все равно расскажетъ, если вы ее попросите... Она—ваша. Ваша душой и тѣломъ.

— О такихъ вещахъ не говорятъ громко, сударыня. Ихъ только молчаливо подразумѣваютъ.

— Ну, я не умѣю входить въ такія тонкости. Я говорю то, что вижу и знаю. И вѣдь вы, кажется, хотѣли узнать мое мнѣніе...

— Я передумалъ. Это придется, когда-нибудь, само собой. Вынужденная характеристика не имѣетъ для меня никакой цѣны. Когда-нибудь вы разсердитесь. Перестанете владѣть собою. И вотъ тогда то вы зальете меня потокомъ словъ,—горячихъ и гнѣвныхъ. Можетъ быть, очень непріятныхъ для моего самолюбія, но вполнѣ искреннихъ. Я подожду.

Здѣсь, на окраинѣ города, улица совсѣмъ пустынна, но шофферъ трубить, не переставая. Онъ почти совсѣмъ еще мальчишка, этотъ шофферъ. И ему нравится выполнять свою стремительную профессію съ трескомъ, съ шумомъ, дѣлая изъ нея веселую буффонаду.

— Куда мы ѣдемъ?—интересуется моя спутница. По мѣрѣ того, какъ знакомый, слишкомъ знакомый городъ остается за нашими спинами, невольная тѣнь смущенія и натянутости все быстрѣе сбѣгаетъ съ ея лица. Какъ она молода! Безлюдье и природа, еще почти не искаженная человѣкомъ, всегда дѣлаютъ дѣтей смѣлыми и свободными.

— Мы ѣдемъ къ морю. Тамъ хорошее шоссе, вдоль берега. И просторъ.

— Какъ хорошо!

Кое-гдѣ еще мелькають постройки: низкія, съ позеленѣвшими отъ многолѣтней сырости черепичными кровлями. Каменные заборы, кое-какъ сложенные безъ всякаго цемента, полуразвалившіеся и вывѣтренные.

Направо, въ болотистой, затянутой жирной грязью, лощинѣ промелькнула каменоломня: нѣсколько квадратныхъ дыръ въ отвѣсной скалѣ. У одной изъ этихъ дыръ зачѣмъ то привязана собака. Она неистово лаетъ на наше шумное красное чудовище и потревоженная свинья поспѣшно поднимается со своего грязнаго ложа. Это—последняя черта города. Дальше—широкая, кое-гдѣ распаханная степь, крутымъ откосомъ, размытымъ и ненадежнымъ, обрывающаяся у моря. Шофферъ даетъ полный ходъ, еще круче изгибаетъ спину, и широкія складки его непромокаемаго плаща пузятся отъ встрѣчнаго вѣтра. Колеса мягко катятся по шоссе, такому пріятному послѣ трескучихъ выбоинъ мостовой. Красный кузовъ мѣрно раскачивается, какъ парусное судно на легкой волнѣ.

Кажется, я достаточно уже пожилъ, чтобы не поддаваться такъ легко пустымъ и обманчивымъ увлеченіямъ. Но сначала досадуя на себя, а затѣмъ безотчетно отдаваясь впечатлѣнію, я точно такъ же, какъ и моя юная спутница, начинаю чувствовать себя веселымъ и свободнымъ, стремительное безцѣльное движеніе щекочетъ мои напряженные нервы. Я жадно глотаю воздухъ.

— Всегда, всегда такъ ѣхать. И все дальше и дальше. И чтобы никакой цѣли не было впереди.

Это говорить моя спутница—но тѣ же самыя мысли живутъ и въ моей душѣ. Мы сближаемся уже безъ всякихъ предвзятыхъ стараній съ моей стороны, сближаемся бессознательно, подвластные одной и той же силѣ.

Упоенная и торжествующая, моя спутница сама прижимается ко мнѣ, и ея голова почти лежитъ на моемъ плечѣ. Я ощущаю молодую и свѣжую теплоту ея вздрагивающаго тѣла, — и это уже почти мое тѣло. Городъ и поэтъ, расчеты и предосторожности—все позади.

Я подношу ея руку къ губамъ, цѣлую тамъ, гдѣ разошлась незастегнутая перчатка. Моя спутница выпрямляется.

— Зачѣмъ это? Что вы хотите? Я все знаю. Китти сказала мнѣ.

— Она сказала...

У меня въ глазахъ темнѣетъ отъ негодованія.

— Ну да, она сказала, что любить васъ. И никому не отдастъ. Что вы—ея все. Ея единственный.

— Не думайте сейчасъ о Китти. Она тоже въ городѣ.

И я настойчивѣе цѣлую горячую и мягкую ладонь.

— Не думайте сейчасъ ни о чемъ, моя милая спутница. Только чув-

стуйте. Отдавайтесь чувству смѣло и безраздѣльно. Разсужденія только портятъ все дѣло... Шофферъ, вы не можете прибавить еще немножко скорости?

Шофферъ трогаетъ еще какой-то рычагъ, что-то скрипитъ и потрескиваетъ въ моторѣ. Кустики засохшей полыни по сторонамъ дороги, колючее жнивье—все отбрасывается назадъ, земля подъ колесами сливается въ однотонныя полоски и струится назадъ, какъ вода.

Мы уничтожаемъ пространство и время. Мы оставляемъ только движеніе, мы оба полны этимъ ненасытнымъ стремленіемъ, и даже шофферъ, который не успѣлъ еще сдѣлаться машиной, поддается тому же очарованію.

Куда, зачѣмъ, — все равно. Лишь бы стремиться. То общее, что насъ захватываетъ, продолжаетъ все крѣпче и крѣпче насъ связывать прочными, переплетающимися нитями. Мы сильны и просты въ примитивности нашего стремленія и потому такъ хорошо понимаемъ другъ друга.

— Елена! — я впервые произношу ея имя въ такой интимной формѣ, безъ всякихъ нелѣпыхъ и неуклюжихъ придатковъ.—Елена!

Ей даже не приходится въ голову, что можно обидѣться на такую фамильярность. Она просто поднимаетъ голову, смотритъ мнѣ въ глаза и ждетъ,—что я скажу.

— Въ движеніи мы оторваны отъ земли, Елена. Мы одиноки среди живого, какъ Адамъ и Ева, только что созданные Богомъ. И мы должны быть такъ же невинны и такъ же прекрасны. Развѣ вы не чувствуете, что ваше тѣло возродилось и ваша душа—новая, очистившаяся отъ пыли и плесени города?

— Да, да. Именно, возродиться. Это такъ хорошо.

Бѣдная, она вспоминаетъ сейчасъ о своемъ поэтѣ и о захудаломъ кабачкѣ, гдѣ онъ вмѣстѣ съ репортерами въ неряшливыхъ галстукахъ обсуждаетъ судьбы литературы. И образъ поэта, когда-то такой свѣтлый и милый, безвозвратно линяетъ въ ея представленіи. Отказавшись отъ всякихъ расчетовъ и вполне поддаваясь стихійному вліянію, я подвигаюсь впередъ быстрее, чѣмъ когда-бы то ни было.

И я просто, неподдѣльно счастливъ. И неподдѣльно влюбленъ въ мою Еву, и бережно, какъ величайшую драгоценность міра, придерживаю ея хрупкое тѣло полуженщины.

Такъ мы ѣдемъ еще долго, долго, пока, наконецъ, шофферъ не поворачиваетъ обратно, даже не спросивъ нашего разрѣшенія. Но мы не протестуемъ: кажется, что наша чаша уже полна и не слѣдуетъ переполнять ее лишней каплей.

Сказка продолжается. И ненужная въ пустынной степи фанфара громко трубитъ, торжествуя. Да, мы радостны. Мы молоды. И существованія наши

влекутся одно къ другому, неполныя и безсмысленныя, пока они живутъ раздѣльно.

Шофферъ вдругъ начинаетъ трубить тревожно и неистово. Потомъ взвизгиваетъ тормазъ и автомобиль неровными толчками быстро убавляетъ ходъ. Этимъ толчкомъ мою спутницу едва не сбрасываетъ съ сидѣнья. Я долженъ удерживать ее обѣими руками, и она прижимается ко мнѣ всей грудью, довѣрчивая и испуганная.

Какъ лихорадочное видѣніе—но слишкомъ реальное, чтобы быть только видѣніемъ—вырисовывается на самомъ краю дороги отвратительная фигура моего страннаго и жестокаго врага—безносаго нищаго. Заторможенный автомобиль катится впередъ еще на протяженіи нѣсколькихъ саженъ и кожухомъ колеса слегка задѣваетъ безносаго. Слишкомъ легкій ударъ: безносый безъ труда удерживается на ногахъ, хотя на пораненной рукѣ, которою онъ инстинктивно прикрылъ свою грудь, показывается нѣсколько капель крови. Взволнованный шофферъ бранится.

— Чортъ бы тебя побралъ! Если тебѣ такъ хочется умереть, то ты могъ бы устроиться какъ-нибудь иначе... Лишиться права ѣзды за такую падаль?

— Несчастный!—Моя спутница вздрагиваетъ.

Безносый кладетъ испаранную руку на бортъ автомобиля, намѣренно пачкая своей темной кровью красную кожаную обивку. На его уродливомъ лицѣ я не замѣчаю никакихъ слѣдовъ страха. Разумѣется, онъ продѣлалъ все это намѣренно. Онъ знаетъ прекрасно, что это именно я ѣду пустынной дорогой въ красномъ автомобилѣ. И, какъ всегда, онъ явился во время, чтобы напомнить мнѣ обо мнѣ самомъ.

— Подайте ради Господа...

Всякій другой на его мѣстѣ принялся бы жаловаться и выпрашивать вознагражденіе за причиненное увѣще. Безносый смотритъ насмѣшливо своими слезящимися глазами и кощунственно звучитъ въ зловонныхъ устахъ упоминаніе о Богѣ.

— Подайте ради Господа бѣдному калѣкѣ...

Глаза моей спутницы расширяются отъ ужаса и остраго, болѣзненнаго состраданія. Растерянными движеніями дрожащихъ пальцевъ она ищетъ кошелекъ, но я уже не владѣю собой и изо всей силы толкаю безносаго кулакомъ въ грудь. Онъ валится у самыхъ колесъ, какъ вытряхнутый мѣшокъ.

— Трогайте же! Почему вы остановились?

Гулъ рожка. Облако пыли и паровъ бензина вырывается изъ подъ кузова автомобиля—и мы опять мчимся впередъ, а безносый остается одинъ среди пустынной степи.

Моя спутница плачетъ.

— О, какъ это жестоко, какъ противно! Поднять руку на больного старика, котораго вы же сами едва не задавили на смерть... Я готова возненавидѣть васъ.

— Вы не знаете... Вы не знаете многого, мой хорошій ребенокъ. Это—мой врагъ, и я когда-нибудь, дѣйствительно, убью его. Онъ всегда становится мнѣ поперекъ дороги. Всегда.

Я поглаживаю ея руки, говорю убѣдительно и страстно — и она начинаетъ примиряться съ тѣмъ, что только-что считала чудовищнымъ.

— Да, конечно, я не знаю его. А вы—знаете? Развѣ онъ встрѣчается вамъ уже не въ первый разъ?

— Есть люди—совсѣмъ чужіе другъ другу. И все же пути ихъ жизни постоянно переплетаются и скрещиваются. Такъ и этотъ нищій. Онъ—чужой мнѣ, но онъ мой. Наши дороги связаны неразрывно... Но не будемъ говорить объ этомъ. Скажите, Елена...

— Я не подавала вамъ никакого повода называть меня такъ... кратко.

— Все равно. Иначе я не могу—и не хочу. Я не имѣю права? Хорошо, я завоюю это право. Слушайте, Елена. Вы не забудете сегодняшней поѣздки, не правда ли? Много и много разъ вы будете возвращаться къ только что пережитому. И ваше сердце будетъ трепетно биться отъ этихъ воспоминаній. А вѣдь это—еще только начало, только исходный пунктъ возможныхъ достиженій. И своимъ стремленіямъ вы не должны противиться. Вы, прекрасная и юная, не имѣете права жить той сѣрой жизнью, какою жили до сихъ поръ. Я покажу вамъ новое и лучшее.

Теперь уже слова не срываются безсознательно съ моего языка. Я старательно обдумываю ихъ и складываю въ фразы. Безносый своимъ поведеніемъ разбилъ мое настроеніе,—сдѣлалъ меня холоднымъ и рассуждающимъ. Но, можетъ быть, тѣмъ лучше. Я говорю такъ же проникновенно и мой взглядъ все такъ же пылокъ.

Она слушаетъ. Слушаетъ, не возражая,—и она будетъ помнить. Этого уже достаточно. О, если бы не проклятый нищій! Я чувствую, что онъ, несмотря ни на что, воздвигъ между нами хрустальную стѣну. Скоро ли удастся ее разбить?

Когда мы опять уже мчимся по улицамъ города, мнѣ приходитъ въ голову новая безпокойная мысль, которую я немедленно привожу въ исполненіе. Шофферъ сворачиваетъ въ переулокъ по только что данному мною адресу, медленно пробирается среди нагруженныхъ подводъ, сонныхъ извозчиковъ, уличныхъ ребятишекъ.

Мы останавливаемся у прикрытой ветхой парусиной террасы рестораника. За побагровѣвшими облѣзлыми побѣгами дикаго винограда, которые безсильно повисли на поддерживающихъ шнурахъ, видна небольшая группа

собутыльниковъ, собравшаяся за двумя сосѣдними столиками. Моя спутница только теперь угадываетъ мое намѣреніе и я замѣчаю, что она встревожена и недовольна. Она говоритъ съ тоской въ голосъ:

— Зачѣмъ это? Зачѣмъ?

Издалека бросается въ глаза широкополая шляпа и огромный галстукъ поэта. Онъ тоже замѣтилъ насъ, но, однако же, достаточно тактично опускаетъ носъ въ свой бокалъ пива и поднимаетъ голову, только когда я зову его. Изображаетъ на своемъ сѣромъ лицѣ пріятное изумленіе и, довольно невѣжливо расталкивая компаньоновъ, пробирается къ выходу.

— Здравствуйте, счастливое дитя музъ! Вы свободны? Какъ вѣтеръ? Отлично... Не хотите ли присоединиться? Мы думаемъ еще немного проѣхаться.

— Я хотѣла бы уже домой!—протестуетъ жена поэта.—Я устала.

— О, совсѣмъ немножко... Четверть часа.

Поэтъ уже занялъ мѣсто—напротивъ. Его длиннымъ ногамъ не совсѣмъ удобно, но онъ не протестуетъ и, такъ какъ онъ уже скрылся изъ поля зрѣнія своихъ компаньоновъ, то разрѣшаетъ себѣ смотрѣть на меня съ откровеннымъ подобострастіемъ.

Нѣкоторое время мы болтаемъ о разныхъ пустякахъ и бесѣда наша идетъ бойко и весело. Жена поэта не принимаетъ въ ней никакого участія. Нѣсколько разъ она взглядываетъ на мужа внимательно и испытующе, какъ будто отыскиваетъ въ его лицѣ что-то, чего не замѣчала еще до сихъ поръ,

Отыскиваетъ и, кажется, находитъ. По крайней мѣрѣ, губы ея складываются въ презрительную гримасу.

— Ахъ, однако... — Поэтъ о чемъ-то вспоминаетъ. Потомъ обращается ко мнѣ, слегка ироническимъ тономъ: — Я слышалъ, вы иногда бываете въ „Баваріи“? Васъ видѣлъ тамъ одинъ изъ нашихъ репортеровъ.

— Очень возможно.

Въ данный моментъ мнѣ совсѣмъ не хочется распространяться на эту тему. Одинъ день моей жизни очень мало похожъ на другой, — и не слѣдуетъ смѣшивать впечатлѣнія. Это, прежде всего, нехудожественно.

Поэтъ не отстаетъ. Положительно, ему не хватаетъ и ума, и такта.

— Увѣряютъ даже, что вы были тамъ... съ дамой. У васъ очень широкій кругъ знакомства, не правда ли?

— Пожалуй.

Жена поэта упорно молчитъ. И, украдкой наблюдая за нею, я торжествую, хотя, кажется, мнѣ пора было бы уже привыкнуть къ обыденности подобныхъ переживаній. Жена поэта—чѣмъ она отличается отъ многихъ и многихъ другихъ женщинъ? Я приношу ей радостную, опьяняющую ложъ—и она вѣритъ.

Но поэтъ огорчаетъ меня. Онъ изъ тѣхъ людей, которые настолько мелки, что не умѣютъ даже страдать. Когда жена ему измѣнитъ, онъ постарается ничего не замѣтить, чтобы не осложнять жизнь.

Довольно на сегодня. Я приказываю шофферу везти насъ къ квартирѣ поэта—и моя спутница облегченно вздыхаетъ.

## V.

Иногда бываетъ довольно занимательно возстановить старыя, давно пережитыя и почти забытыя знакомства, возобновить прежнія, порвавшіяся связи. Освобожденное отъ пыли прошлаго, пережитое вновь становится дѣйствительностью, потускнѣвшія краски оживаютъ, какъ тона старой картины, по которой провели влажной губкой. Къ полнотѣ жизни все это прибавляетъ новыя грани.

Въ глухой части города, гдѣ ютятся чернорабочіе, босяки и списанные съ пароходовъ матросы, на скрипучей проволокѣ покачивается круглый фонарь подъ желтой вывѣской пивной. Толстый, охрипшій отъ пива румынъ стоитъ за прилавкомъ, охотно присаживаясь по первому приглашенію у столиковъ постоянныхъ посѣтителей. Въ заднюю комнатку пивной, загороженную, какъ баррикадой, огромнымъ старымъ бильярдомъ, допускаются, обычно, только избранные. Тамъ всегда—полумракъ и пыль, и крѣпко пахнетъ прокисшимъ пивомъ. Сквозь позеленѣвшія стекла маленькаго окна виднѣется грязный задній дворъ, съ отверзатою пастью переполненной помойной ямы въ самомъ центрѣ.

Я не знаю, имѣетъ ли толстый румынъ еще какой-нибудь таинственный побочный заработокъ, кромѣ доходовъ отъ пивной, но, во всякомъ случаѣ, рабочіе ему довѣряютъ. И съ молчаливаго согласія хозяина, который внѣшне соблюдаетъ строгій политическій нейтралитетъ, устроили въ пыльной комнаткѣ нѣчто вродѣ маленькой явочной квартиры.

Румынъ встрѣчаетъ меня привѣтливо. Жметъ мнѣ руку своей жирной, потной ладонью. Въ передней комнатѣ пусто. Только въ углу, за бильярдомъ, дремлетъ надъ какою-то книжкой, похожей на католическій молитвенникъ, еще не старая жена румына, въ букляхъ и шуршащей шелковой кофточкѣ.

— Давненько не показывались... Бутылочку пильзенскаго?

— Да, пожалуйста.

Прохожу въ заднюю комнату и, почти слѣпой послѣ яркаго свѣта полудня, натыкаясь на стулья, занимаю первый попавшійся столикъ.

Холодное пиво пѣнится и играетъ, наполняя бокалъ. Когда глаза мои немного привыкаютъ къ полумраку, я замѣчаю въ комнатѣ еще одного посѣтителя, который кажется мнѣ знакомымъ.



Это—бѣдно и неряшливо одѣтый человѣкъ, съ длинными прямыми волосами, которые неровной бахромой падаютъ на воротникъ его пиджака. Его бокалъ, повидимому, давно уже опорожненъ и на остаткахъ пѣны по краямъ сидятъ мухи. Длинное сухое лицо имѣетъ утомленный и болѣзненный видъ.

Я шумно передвигаю бутылку, чтобы обратить на себя его вниманіе. И только тогда замѣчаю, что его взглядъ давно уже и неотступно слѣдитъ за мною изъ подъ опущенныхъ рѣсницъ.

— Это вы, Петръ?

Онъ молча киваетъ головой и торопливо пересаживается къ моему столу, вмѣстѣ съ брошенной на свободный стулъ шляпой и опорожненнымъ бокаломъ. Слабо отвѣтивъ на мое рукопожатіе, соглашается:

— Да, это я. Много воды утекло. Вы могли меня не узнать.

— Вы порядочно таки измѣнились. Но если вы хотите, чтобы васъ не узнавали старые знакомые, вамъ слѣдовало бы, по крайней мѣрѣ, перемѣнить прическу.

— Э, все равно!—Петръ безнадежно машетъ рукой.—Старыхъ знакомыхъ осталось слишкомъ мало, а отъ сыщиковъ не укрыться, когда придетъ ихъ время.

— Хотите пива?

Мнѣ кажется, что мой старый знакомый голоденъ, и я заказываю румыну нѣсколько бутербродовъ. Петръ жадно глотаетъ пиво, но не притрагивается къ ѣдѣ. Нѣтъ, онъ не голоденъ. Онъ просто переутомленъ до страданія, до болѣзни.

— Что вы дѣлали за послѣднее время, товарищъ? Въ общихъ чертахъ, конечно... Я не посягаю на правила конспираціи.

— Какая тамъ конспирація... Сидѣлъ, конечно. Всего двѣ недѣли, какъ вышелъ на волю. Двѣ недѣли послѣ шестнадцати... нѣтъ, восемнадцати мѣсяцевъ. Теперь освобожденъ до суда на поруки, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья. Туберкулезъ, понимаете. Маленькая ликвидація жизни, какъ я подозреваю.

— А теперь по прежнему жжете себя съ обоихъ концовъ? Не стоитъ, товарищъ. Жизнь не такая уже плохая штука, если къ ней немножко привыкнуть. Отдохните, полечитесь... Все равно, насколько я знаю, ваши конспиративныя дѣла топчутся на одномъ мѣстѣ.

Ничего не отвѣтилъ, только пожалъ плечами. Потомъ, вмѣсто отвѣта:

— Слышалъ я кое-что и о васъ.

— Плохое?

— Какъ сказать... Всякій устраивается, какъ ему нравится. Я не могу обвинить васъ за то, что вы бросили работу. Вы и всегда были у насъ—

только пришлый. Тѣшили свою охотку, какъ многіе другіе. А въ сущности до насъ, до рабочихъ, до задачъ пролетаріата вамъ и тогда не было никакого дѣла. Потомъ надоѣло,—вы и ушли. И, конечно, тамъ куда вы ушли, и есть ваше настоящее мѣсто.

Мнѣ дѣлается весело. Я люблю этихъ людей, кромѣ многого другого, также и за то, что они откровенны.

— Къ „ликующимъ, праздно болтающимъ“ и даже „обагряющимъ руки“... Не такъ ли? Съ палачами, впрочемъ, еще не успѣлъ познакомиться. А въ общемъ—вы правы. Я нашелъ теперь свое настоящее мѣсто. Точнѣе: убѣдился, что для меня нигдѣ нѣтъ мѣста,—ни у васъ, ни тамъ, куда я ушелъ.

Петръ поднимаетъ свои вялые, но хорошо видящіе глаза.

— Если я о чемъ и жалѣю, такъ это—только о партіи, для которой вы, во всякомъ случаѣ, были очень полезны. Мы бѣдны силами, особенно теперь. Лучшіе погибли или ушли, какъ вы. Продали свое первородство за чечевичную похлебку, по моему мнѣнію,—но объ этомъ не будемъ спорить.

Я наполнилъ его бокалъ и Петръ опять жадно выпилъ. Потомъ опустилъ голову на руки и волосы длинными, прямыми прядями повисли сквозь пальцы.

— Вотъ и сейчасъ... Заваривается большое дѣло, а работниковъ нѣтъ. Кстати: съ вами можно, все таки, говорить о дѣлахъ или вы отстранились окончательно? Я вѣдь очень отсталъ отъ событий, пока сидѣлъ, а чужимъ слухамъ не хочется вѣрить.

— Говорите, разумѣется. Ничего окончательнаго, товарищъ.

— Такъ вотъ, говорю я, заваривается большое дѣло. Нужны силы, чтобы руководить движеніемъ, а гдѣ онѣ? Я самъ—вы видите, на что я гожусь. Матеріалъ для клиники, въ отдѣленіи неизлѣчимыхъ, а въ ближайшемъ будущемъ—для прозекторской. Нужны сильные и энергичные. Приходится имѣть дѣло съ совсѣмъ грубой, неорганизованной массой. Ее можно одинаково легко толкнуть и къ грабежу, и къ подвигу. Все дѣло въ томъ, съ которой стороны взяться.

Подавая короткія реплики, я помогаю ему высказываться и, наконецъ, все дѣло выясняется. Оно очень просто.

Въ порту бастуютъ рабочіе грузчики. Требованія, конечно, обычныя: улучшение условій труда, повышение заработной платы. Я и самъ хорошо знаю, что эти грузчики работаютъ, какъ волы, а питаются впроголодь, какъ бродячія собаки. И я чувствую также, что эта забастовка заранѣе обречена на провалъ. Но Петръ приводитъ свои соображенія, которыя заставляютъ его вѣрить въ возможность успѣха:

— Сейчас, какъ разъ, горячее время: хлѣбные грузы. Масса иностранныхъ пароходовъ скопилась въ порту. Каждый лишній день забастовки принесетъ хозяевамъ тысячные убытки и они поневолѣ пойдутъ на уступки.

— Что же, въ такомъ случаѣ... Желаю вамъ всяческаго успѣха.

Товарищъ Петръ разочарованно поднимается и протягиваетъ руку.

— Простите, мнѣ пора. Очень жаль, что наши дороги разошлись такъ далеко. Конечно, я не имѣлъ никакихъ основаній надѣяться...

— Подождите, Петръ. Вы нервничаете, какъ барышня. Объясните, съ какой цѣлью вы рассказывали мнѣ все это? Только для того, чтобы удовлетворить мое любопытство?

— Вы спрашивали, я отвѣчалъ. Я думалъ, что въ вашей психикѣ могутъ еще найтись какіе-нибудь, хотя бессознательные, отклики.

— Слушайте... Когда-то я недурно говорилъ—и умѣлъ, до известной степени, овладѣвать массой. И пока еще я не забылъ ни одного пункта изъ вашей программы. Хотите, я выступлю ораторомъ?

Повидимому, онъ на что-то надѣялся,—и всетаки мое предложеніе застаётъ его врасплохъ. Онъ переминается съ ноги на ногу и нервно теревитъ поля своей шляпы. Меня нѣсколько удивляетъ его нерѣшительность. Вѣдь, по правдѣ говоря, у него нѣтъ выбора—и потому едва ли приходится слишкомъ долго раздумывать надъ моей теперешней репутаціей.

— Это отвѣтственная задача!—говоритъ онъ наконецъ.

— Да, но вы сами хорошо знаете, что мнѣ случалось разрѣшать задачи и посложнѣе этой. И если ужъ въ васъ закрадывается сомнѣніе, то, понятно, я не настаиваю. Гораздо спокойнѣе я проведу сегодняшній вечеръ гдѣ-нибудь на бульварѣ или въ гостиной.

— Нѣтъ, нѣтъ!—онъ торопливо хватается меня за обѣ руки.—Не думайте, чтобы я могъ сомнѣваться...

И по нервнымъ, безпокойнымъ манерамъ этого всегда сдержаннаго и замкнутого человѣка, я замѣчаю, что онъ взволнованъ—и доволенъ.

Итакъ, на нѣсколько часовъ я опять дѣлаюсь агитаторомъ. Если бы Китти, съ ея нѣсколько консервативными наклонностями, могла видѣть... Но не въ этомъ дѣло.

Петръ считаетъ принципиальную сторону вопроса исчерпанной и теперь озабоченъ практическими соображеніями.

Я не могу показаться въ порту, среди грузчиковъ, въ такомъ видѣ, какъ сейчасъ. Во первыхъ, тамъ, конечно, будетъ полиція, которую незачѣмъ снабжать такими отчетливыми примѣтами, а кромѣ того... Онъ мнется, подбирая слова, и я улавливаю его мысль по догадкѣ. Что же дѣлать! Даже

самые строгіе ригористы допускають маленькій обманъ, если онъ сопряженъ съ возвышенными цѣлями.

— Очень хорошо, товарищъ. Я переодѣнусь и, вообще, сдѣлаю все что вы найдете нужнымъ.

Мы сговариваемся относительно времени и мѣста свиданія. Впереди у меня есть еще нѣсколько свободныхъ, ничѣмъ не заполненныхъ часовъ.

Я возвращаюсь къ себѣ на квартиру—и почему-то именно въ эту минуту она поражаетъ меня своимъ пустыннымъ и заброшеннымъ видомъ. Она похожа на опустѣвшій, ни на что непригодный коконъ, изъ котораго уже вылетѣла бабочка. Я смотрю на покосившіяся картины, на слой пыли, покрывающій лакировку письменнаго стола, на открытую чернильницу, въ которой сохнутъ чернила. Пустота, пустота смерти и забвенія наполняетъ мою душу при воспоминаніи о только что прожитыхъ дняхъ.

Я оглядываюсь назадъ, и пройденный мною путь представляется мнѣ ничтожнымъ, мои радости—жалкими и мои страданія—почти смѣшными. Съ раскаяніемъ я вспоминаю о полновѣсныхъ сокровищахъ, отвергнутыхъ когда-то ради призрачнаго миража. Вотъ, теперь миражъ сталъ дѣйствительностью, а драгоценности изъѣдены ржавчиной. Прошлое невозможно и раскаяніе—пустой предразсудокъ. Почему же мнѣ такъ грустно?

Я могу высоко поднимать голову. Я силенъ и смѣлъ, какъ хорошій хищникъ. Но другая сила и другое мужество нужны были бы мнѣ сейчасъ.

А, можетъ быть, еще не поздно возродить прежнее? Можетъ быть, еще не все умерло, не все погибло, не все изъѣдено ржавчиной? Можетъ быть, подъ пылью прошлаго попрежнему таится сокровище? Протянуть руку—и овладѣть имъ, почерпнуть новыя силы въ прикосновеніи къ землѣ—матери.

Наединѣ я не люблю издѣваться надъ своими собственными мыслями. Принимаю ихъ, какъ должное, и готовлю почву, на которой онѣ могли бы расцвѣсть возможно пышно. Срываю самые яркіе цвѣты и сохраняю ихъ, засушивая въ листкахъ своей памяти. Поэтому-то я не издѣваюсь и не стыжусь. Развѣ не прекрасны всѣ яркіе цвѣты, растущіе на лугу жизни?

Минутная стрѣлка ползетъ такъ медленно, медленно. Устраиваюсь поудобнѣе въ креслѣ—качалкѣ, закрываю глаза и стараюсь сосредоточиться на предметѣ моей будущей рѣчи. Но сейчасъ какъ-то не вяжутся одна съ другою эти дѣловыя мысли, и я знаю, что онѣ придутъ сами собою, когда настанетъ время.

Товарищъ Петръ предупредилъ меня, что забастовщики озлоблены и склонны къ эксцессамъ. Поэтому, моя главная задача—ввести движеніе въ рамки умѣренности, отвлечь, во что бы то ни стало, отъ всякихъ вспышекъ, которыя только ожесточатъ противниковъ и подорвутъ энергію самихъ же

забастовщиковъ. Движеніе должно идти подъ флагомъ партіи. Терпѣніе, настойчивость и лойяльность—это лозунгъ. Пожалуй, допустима еще борьба со штрейкбрехерами. Не болѣе. Пусть наши противники видятъ, что имѣютъ дѣло съ организованной силой, которая отстаиваетъ свои законныя права.

Пока я лежу въ качалкѣ и мѣрно покачиваюсь, мнѣ кажется, что я безъ особаго труда съумѣю провести всю эту программу. И пусть это будетъ пробнымъ камнемъ.

Да, нечего стыдиться самого себя. Если сегодняшній вечеръ удовлетворяетъ меня, если онъ дастъ мнѣ ощущенія болѣе сильныя и переживанія болѣе опьяняющія, чѣмъ моя теперешняя жизнь—я вернусь.

Жаль только, что онъ все же немножко скученъ, этотъ Петръ. Онъ похожъ на какого-то подвижника,—а въ подвижничествѣ я всегда улавливаю элементъ мелкаго фарисейства по отношенію къ людямъ и крупнаго шарлатанства по отношенію къ божеству. О, если бы мнѣ удалось выпрямить и очистить ихъ вѣру, освободить ее отъ этого подвижничества! Заставить ихъ служить Божеству въ духѣ и истинѣ, въ славѣ и силѣ!

Вечеръ приближается. Я уйду.

Привычки, которыя я пріобрѣтаю въ своей жизни, не прочны, но очень легко возстановляются. И по мѣрѣ того, какъ я приближаюсь къ рабочимъ кварталамъ, старый конспиративный духъ просыпается и меня захватываетъ волна не новыхъ, но хорошо забытыхъ ощущеній.

А ну, не ютится ли гдѣ-нибудь шпіонъ?

Повидимому, все обстоитъ благополучно. Да и моя личность пока еще не можетъ внушать никакихъ подозрѣній.

Маленькая рабочая квартира — комната, сырая и полутемная. Однако же, здѣсь живутъ люди, которымъ совсѣмъ не чуждо понятіе о красотѣ и уютѣ. Дымная плита, на которой готовятъ ужинъ, отгорожена отъ остальнаго помѣщенія ситцевой занавѣской. На недавно выбѣленной стѣнѣ—иллюстрированныя открытки, нѣсколько портретовъ социалистическихъ дѣятелей и символическая картинка въ узенькой, черной,—повидимому, самодѣльной—рамкѣ.

Меня ждутъ. Кромѣ Петра—еще три его товарища и какая-то дѣвушка, уже немолодая, въ уродливомъ сѣромъ платьѣ, которое сидитъ мѣшкомъ на ея угловатой фигурѣ. Петръ даетъ понять, что все это — вѣрные люди, которыхъ нечего опасаться.

Приступаемъ къ туалету. Петръ извлекаетъ откуда-то пиджакъ, достаточно потертый, и заплатаанные брюки. Я энергично протестую противъ брюкъ, хотя дѣвушка и выражаетъ готовность уйти во время переодеванія за перегородку. Они просто мнѣ не нравятся. Я останусь въ своихъ, это

гораздо проще. А для общего колорита можно будет испачкать их известкой.

Петръ и его товарищи относятся ко всей этой вознѣ съ серьезной сосредоточенностью, и мнѣ вспоминаются дѣти, играющія въ куклы. Я шучу и смѣюсь, но мои шутки повисаютъ въ воздухѣ безъ всякаго отклика. Нѣтъ, они плохо умѣютъ жить, эти люди.

Во время переодѣванія меня все еще продолжаютъ снабжать инструкціями, которыя представляются мнѣ слишкомъ мелочными. Петръ, наконецъ, замѣчаетъ это и обрываетъ товарищей:

— Ну, онъ знаетъ получше нашего, какъ вести дѣло... Помните ноябрьское возстаніе?

Да, я тоже помню. Тогда жилось весело и бурно. И куда-то исчезло все излишнее доктринерство, которое такъ возмущаетъ меня теперь. Жили каждымъ нервомъ и не разсуждали водянисто, а смѣло—и слѣпо—боролись. Что же, поборемся и теперь.

Дѣвушка въ сѣромъ платьѣ извлекаетъ изъ бумажнаго свертка достаточно подержанный рыжеватый парикъ и такую же бороду. Я останавливаюсь въ нерѣшительности.

— Не лишнее ли?

— Зачѣмъ же рисковать понапрасну?—убѣждаетъ дѣвушка.— Васъ знаетъ въ лицо половина города и, конечно, вся полиція. Съ какой стати вы будете облегчать имъ ихъ задачу?

Это логично, и я безропотно натягиваю парикъ и бороду, отъ которыхъ воняетъ краской и дешевой помадой. Смотрюсь въ зеркало. Волнистое стекло искажаетъ еще болѣе мою физиономію, которая и безъ того имѣетъ теперь достаточно отвратительный видъ. Даже дѣвушка въ сѣромъ не можетъ удержаться отъ улыбки.

— О, какой вы... Никогда бы не подумала, что парикъ такъ измѣняетъ человека.

Кто-то торопитъ.

— Пора идти. Могутъ разогнать собраніе.

Дѣвушка въ сѣромъ вызывается проводить меня до мѣста, но другіе протестуютъ.

— Вы только обратите на себя вниманіе...

Со мной идетъ Петръ,—остальные куда-то исчезаютъ.

Мы идемъ мѣрно и быстро, ступая въ ногу, какъ солдаты. Петръ опустилъ голову и его сѣрое лицо задумчиво и неспокойно.

— Вы не рассказываете, Петръ?

— Почему же? Если бы въ моихъ отношеніяхъ къ вамъ была хоть тѣнь недовѣрія, я никогда бы не рѣшился... Видите ли, я убѣжденъ, что то

общество, въ которомъ вы вращались за послѣднее время, не могло повліять на ваши убѣжденія. Если бы вы вернулись къ намъ окончательно, я лично смѣло довѣрилъ бы вамъ судьбу всей организаціи.

Да, онъ вѣритъ. И мнѣ хочется отъ всей души оправдать эту простую, хорошую вѣру.

Мы спускаемся въ портъ, пробираемся по засыпанному угольнымъ щебнемъ переулку, позади какихъ-то огромныхъ сараевъ изъ волнистаго желѣза. Уже пахнетъ смолой, перегнившими водорослями и отбросами моря,—но только по верхушкамъ нѣсколькихъ мачтъ, торчащихъ изъ-за крыши сарая, я догадываюсь, что мы у самого берега. Замѣтно смеркается и въ тусклыхъ полутѣняхъ вечера мой наскоро сдѣланный гримъ, несомнѣнно, выигрываетъ.

Вмѣсто того, чтобы выйти къ берегу, мы сворачиваемъ куда-то влѣво, переходимъ желѣзнодорожное полотно, проскальзывая между порожними товарными вагонами, углубляемся въ цѣлый лабиринтъ узкихъ и грязныхъ закоулковъ, гдѣ я ни за что не нашелъ бы дороги безъ надежнаго проводжатаго. Я внимательно слѣжу за своими чувствами и съ досадой сознаю, что сильно волнуюсь. Впрочемъ, это, можетъ быть, къ лучшему. Волненіе всегда создаетъ тотъ особый подъемъ, который служитъ залогомъ успѣха. Петръ крѣпко жметъ мнѣ руку.

— Сейчасъ, товарищъ... Вы готовы?

Что-то похожее на огромный дворъ, кое гдѣ загроможенный ящиками еъ товаромъ и кипами хлопка. Вдали покачивается на высокомъ столбѣ калильный фонарь, но въ той части двора, куда мы вошли изъ грязнаго лабиринта, почти темно. И темнота преувеличиваетъ размѣры толпы, сгрудившейся въ свободномъ пространствѣ между ящиками и тюками. Толпа кажется почти безконечной и странно, зловѣще молчалива.

Я вижу достаточно хорошо только самые первые ряды: хмурые лица, съ потоками засохшаго грязнаго пота на щекахъ, волосатые груди, выглядывающія изъ разстегнутыхъ блузъ, опущенныя вдоль тѣла руки со сжатыми кулаками, какъ будто приготовившимися къ удару. И всѣ лица кажутся мнѣ загадочно одинаковыми. Петръ подталкиваетъ меня къ большому ящику, изъ щелей котораго торчитъ солома.

Все еще не отдавая себѣ вполне яснаго отчета въ томъ, гдѣ я нахожусь и что долженъ предпринять дальше, я взбираюсь кое-какъ на эту трибуну, выпрямляюсь и у самыхъ своихъ ногъ вижу поднятое кверху, одобрительно улыбающееся лицо Петра. Должно быть, моя темная фигура отчетливо выдѣляется на фонѣ свѣтлой каменной стѣны, потому-что меня замѣчаютъ сейчасъ-же и въ толпѣ волной перекачивается движеніе. Сво-

бодное пространство между ящикомъ и толпой исчезаетъ и я теряю Петра изъ виду.

Они ждутъ. Ждутъ молча, но я знаю по опыту, что это молчаніе скрываетъ въ себѣ болѣе острое и жгучее нетерпѣніе, чѣмъ шумъ и крики.

Они ждутъ. И неловко кривляясь, чтобы сохранить равновѣсіе, на высококомъ ящикѣ съ торчащей изъ щелей соломой, смѣшно переряженный, я тоже жду чего-то лицомъ къ лицу съ этимъ многоликимъ невѣдомымъ.

Поднятое кверху лицо Петра опять попадаетъ мнѣ на глаза. И торопливо, какъ оробѣвшій школьникъ, плохо вызубрившій свой урокъ, я начинаю:

— Товарищи рабочіе!

Голосъ мой звучитъ громче и отчетливѣе, чѣмъ я ожидалъ. Привычное обращеніе придаетъ мнѣ бодрости, но нѣсколько секундъ я собираюсь съ мыслями и во время этой невольной паузы слышу, какъ толпа смутно шепчетъ. Напряженные лица теперь смотрятъ на меня въ упоръ сотнями блестящихъ глазъ. И упрямо сжаты крѣпкіе кулаки.

Въ неподвижномъ и грозномъ молчаніи я чувствую силу. Эта сила очаровываетъ и опьяняетъ меня,—и я уже почти не испытываю желанія противопоставить ей мое собственное «я». Я чувствую уже себя ея работъ и, въ то же время, ея знаменосцемъ.

Постепенно усиливая голосъ и прибѣгая къ все болѣе и болѣе рѣзкимъ и опредѣленнымъ выраженіямъ, я грубыми и жесткими штрихами набрасываю рабочимъ картину ихъ собственной жизни,—грубой и жестокой жизни вьючнаго скота, поработеннаго голодомъ. Я растрavляю ихъ и безъ того болѣзненные раны, я перемѣшиваю привѣтствія съ упреками и благословенія съ бранью, сосредоточивая ихъ гнѣвъ и негодованіе и собирая его въ одно русло, чтобы потомъ направить на шаткую плотину.

И я вижу, какъ толпа, сначала недоувѣрчивая и выжидающая, сплывается вокругъ все тѣснѣе, грязные лбы покрываются болѣе и болѣе глубокими морщинами, а тяжелые кулаки сжимаются все крѣпче и крѣпче. И вмѣстѣ съ ростомъ ихъ дикой и темной энергіи возрастаетъ и моя собственная сила,—и мнѣ уже не нужно подбирать слова и фразы, потому что они рождаются сами собою, такіе же стихійные и такіе же темные. Съ самаго перваго шага я сошелъ съ позиціи, на которой хотѣлъ было укрѣпиться,—и теперь не могу уже ни уйти назадъ, ни остановиться на мѣстѣ. Я долженъ идти все впередъ и впередъ.

По рядамъ прокатывается глухой ропотъ, — ропотъ одобренія. Я чувствую, что гдѣ-то по близости онъ разбивается, какъ волна объ камень, и замѣчаю тамъ Петра. Онъ смотритъ на меня съ удивленіемъ и тревогой,—



и я вспоминаю одну изъ инструкцій, которыми меня снабдили передъ отправленіемъ сюда:

— Избѣгайте одной только голой агитаціи. Грузчики и безъ того уже слишкомъ возбуждены. Одного неосторожнаго слова достаточно, чтобы зажечь пожаръ въ этой несознательной массѣ. Убѣдите ихъ строго воздерживаться отъ какихъ бы то ни было эксцессовъ, потому-что только въ этомъ—залогъ успѣха.

Да, да, все это я знаю очень хорошо. И, тѣмъ не менѣе, я долженъ идти впередъ. Я не господинъ толпы. Я—ея знаменосецъ.

И безъ тѣни раскаянія, но съ еще большимъ одушевленіемъ, я говорю теперь поработеннымъ о ихъ поработителяхъ, описываю сочно и ярко, какъ тѣ наслаждаются жизнью на деньги, выжатые изъ нихъ,—изъ рабочаго скота. Я убѣждаю ихъ зажечь погашенную мысль, выпрямить спины, опустить тяжелые кулаки на дряблые черепа эксплуататоровъ. И кулаки поднимаются, какъ будто мщеніе должно уже наступить сейчасъ, но гдѣ-то по близости нѣсколько голосовъ кричатъ:

— Довольно! Долой!

Я замѣчаю, что кругомъ Петра собралась маленькая группа его товарищей,—даже дѣвушка въ сѣромъ стоитъ здѣсь же и, прижимая руки къ ввалившейся груди, смотреть на меня съ ужасомъ, какъ на чудовище.

Ревъ толпы заглушаетъ ихъ слабые голоса, но я поднимаю руку и всѣ смолкаютъ. Да, теперь вся эта толпа принадлежитъ мнѣ, а я самъ отданъ ей духомъ и тѣломъ.

Время дорого. Полиція, конечно, уже извѣщена о собраніи и можетъ разогнать его раньше, чѣмъ что-либо совершится. И я попрежнему въ короткихъ, понятныхъ каждому и какъ бы вырубленныхъ фразахъ довожу свою мысль до логическаго конца. Призываю проклятія на угнетателей и настаиваю на мести. Местъ за тысячи искалѣченныхъ жизней, местъ за страданія и позоръ, местъ за погибшихъ отцовъ и погибающихъ дѣтей.

— Воздайте же имъ полною мѣрой,—око за око!..

Кто-то грубо толкаетъ меня, такъ что я едва успѣваю удержаться на ногахъ. Голосъ Петра, срывающийся и жалкій, но въ то же время грозный, какъ голосъ правосудія, выкрикиваетъ:

— Долой его! Не слушайте! Это провокаторъ... Его подкупили!

Я протестую противъ этой лжи, которую онъ бросаетъ мнѣ въ лицо передъ толпой, а онъ все еще стремится столкнуть меня съ ящика, на который такъ недавно помогъ мнѣ взобраться, и между нами завязывается борьба.

— Наглець... Предатель!..

— Это ложь! Видитъ Богъ, я не могъ поступить иначе... Развѣ я знаю, какъ это случилось?

Но дѣло уже сдѣлано и наша борьба бесполезна.

Темные, запыленные люди, хлынувшіе потокомъ, оттѣсняютъ отъ меня ничтожную кучку благоразумныхъ, которые еще пробуютъ бороться. И, спрыгнувъ съ ненужной болѣе трибуны, я попадаю въ самую глубь этого потока, несусь безвольно въ его волнахъ, полузадушенный и оглушенный. И я самъ болѣе уже не нуженъ этой толпѣ. Я вдохновилъ ее и далъ ей идею,—и теперь толпа уже сама, безъ руководителя, слилась въ одно цѣльное существо, съ одной мыслью и однимъ желаніемъ.

Случайное движеніе отбрасываетъ меня въ сторону, къ каменной стѣнѣ. Я стою тамъ и вижу, какъ толпа отдѣльными большими группами разсыпается среди складовъ, среди сложенныхъ въ штабели ящиковъ, тюковъ и бочекъ. Съ грохотомъ валится что-то желѣзное, рѣзко и жалобно трещитъ подгнившее дерево. Всклооченный, полунагой человѣкъ пробѣгаетъ мимо меня, выкрикиваетъ что-то безсвязно и размахиваетъ жестяной, расплескивая жидкость, отъ которой рѣзко пахнетъ керосиномъ. Человѣкъ присаживается на корточки у тюковъ хлопка, и черезъ минуту я вижу, какъ по нимъ прыгаетъ дымное желто-красное пламя.

Другіе при свѣтѣ этого пламени выбиваютъ втулки и цѣлыя днища у бочекъ, изъ которыхъ течетъ вино, алое и пѣнистое, какъ свѣжая кровь. Припавъ губами, пьютъ прямо съ земли, изъ опьяняющихъ ручьевъ. Подъ глухими, тяжелыми ударами подаются желѣзныя двери сараевъ.

Кто-то хватается меня за руку, говоритъ мнѣ скорбно, безъ ненависти:

— О, негодяй, негодяй... Что вы надѣлали?

Я узнаю пожилую дѣвушку, хотя ея платье теперь, въ заревѣ, кажется краснымъ. И красныя слезы текутъ по ея лицу. Что она дѣлаетъ здѣсь въ эту минуту,—она, женщина?

— Вамъ лучше уйти отсюда. Эта исторія плохо кончится.

— Вы... вы научили ихъ этому... Такъ остановите же ихъ теперь!

— Развѣ я Самсонъ, что выступлю одинъ противъ полчища? Теперь я ничтожнѣе самаго послѣдняго изъ нихъ.

Она не вѣритъ,—вѣдь она видѣла меня сильнымъ. И, кажется, въ отчаяніи она хочетъ упасть передо мной на колѣни, но въ это время откуда-то извнѣ приходятъ новые крики и новое движеніе. Лошадиныя подковы отрывисто и дробно щелкаютъ по камнямъ. Я вижу, какъ расплывшіяся въ дыму и въ пыли фигуры, то черныя, то огненныя, разбѣгаются и сталкиваются, свиваются въ живые комки и опять рассыпаются, отягощая воздухъ проклятіями и мольбами, болѣзненными стонами и звѣринимъ ревомъ.

Тогда волосы начинаютъ шевелиться у меня на головѣ, подъ глупымъ

рыжимъ парикомъ. И такъ же полно, какъ ранѣе овладѣла мною власть толпы, теперь меня охватываетъ простой животный инстинктъ самосохраненія. Согнувшись, чтобы занимать какъ можно меньше пространства, я бѣгу вдоль стѣны, пока не натыкаюсь на какой-то узенькій закоулокъ, который кажется мнѣ знакомымъ. Тамъ пока еще темно и пусто, но я слышу, что топотъ десятка ногъ уже настигаетъ меня и, не раздумывая, ныряю въ темноту. Бѣгу, падаю, больно расшибая колѣно. Поднимаюсь и опять бѣгу, затравленный, обезумѣвшій отъ страха, съ вытаращенными глазами и скорченными, какъ когти, пальцами. Скорѣй, скорѣй!

Еще одинъ поворотъ, другой, третій. Фальшивая борода отстала и болтается на тесемкѣ только съ одной стороны, у праваго уха. Я срываю ее вмѣстѣ съ парикомъ, бросаю въ какую-то яму, едва видную въ темнотѣ. Проползаю подъ цѣлой вереницей товарныхъ вагоновъ и, наконецъ, едва переводя дыханіе, дрожащими отъ усталости ногами ступаю по усыпанному угольнымъ щебнемъ переулку.

Со стороны пожара, который рисуется отсюда размытымъ, мутно-краснымъ пятномъ, доносятся нѣсколько выстрѣловъ.

Здѣсь, гдѣ иду я, тишина и безлюдье. И мои силы быстро восстанавливаются.

## VI.

Грустное кладбище, кладбище мыслей и образовъ,—на моемъ письменномъ столѣ. Я перебираю листы недоконченныхъ рукописей, перемѣшанные въ неряшливомъ безпорядкѣ, и мнѣ попадаются одинъ за другимъ отрывокъ изъ повѣсти, вступленіе статьи, страничка разсказа, оборваннаго на полусловѣ. Перечитываю нѣкоторыя строки и онѣ кажутся мнѣ совсѣмъ чужими, не мною созданными и не мною выношенными.

Все это умерло. Только сегодня я рѣшился, наконецъ, признаться въ этомъ самому себѣ спокойно и открыто. До сихъ поръ я смотрѣлъ на свои незаконченныя работы съ тоскливымъ разочарованіемъ и почти съ отвращеніемъ. Я избѣгалъ подходить къ письменному столу, чтобы не разстраивать себя этимъ зрѣлищемъ и, пожалуй, похожъ былъ на страуса, зарывающаго голову въ песокъ.

Это умерло. Я не могу больше работать. Или, даже если я опять буду когда-нибудь писать,—это будетъ совсѣмъ не то, что было прежде. То—чужое, а я никогда не взялся бы заканчивать и отдѣлывать чужую вещь. Я не постигаю такъ называемаго совмѣстнаго творчества.

И съ особеннымъ отвращеніемъ я смогъ теперь на тѣ вещи, которыя были начаты не по неодолимой погребности творчества, а только ради денегъ, по заказу какого-нибудь литературнаго лавочника. Я нахожу теперь силь-

нѣе, чѣмъ когда бы то ни было, что продажная литература—это постыдное и низкое ремесло, безконечно болѣе гнусное, чѣмъ, на примѣръ, проституція. Это—продажа въ розницу святого духа.

Впрочемъ, если бы даже я захотѣлъ продавать себя попрежнему, то теперь я не имѣю для этого ни достаточно силъ, ни воли. Мое перо умерло и кладбище моихъ творческихъ мыслей зарастаетъ пылью. Прикосновеніе къ нимъ—святотатственно и омерзительно, какъ прикосновеніе къ трупу.

Если бы я захотѣлъ... Дѣло въ томъ, что мои карманы давно уже пусты, а жизнь, которую я веду, безумно дорога. Сейчасъ я пробавляюсь кое-какими крохами, оставшимися отъ прежняго, и извлекаю все возможное изъ своего кредита. Пока еще мнѣ вѣрягъ, хотя и не особенно охотно. Разумѣется, я никогда не расплачусь съ этими долгами.

Мнѣ скучно, мнѣ тоскливо, мнѣ никогда еще не было такъ тоскливо, какъ сегодня. Я тороплюсь вырваться изъ власти привычныхъ стѣнъ моей комнаты, уйду въ суетливый просторъ улицъ и площадей. Но тоска продолжаетъ меня преслѣдовать настойчиво и жестоко.

Я захожу въ кондитерскую, выбираю самое лучшее изъ того, что любить Китти,—засахаренные фрукты, нѣжныя тянушки, которыя сами такъ во рту, потомъ еще какія-то пряныя восточныя сладости. Приказываю уложить все это въ красивую бонбоньерку, похожую на ларчикъ изъ чеканной бронзы. Въ сосѣднемъ магазинѣ я покупаю заплетенную въ камышъ бутылочку рому и ликеръ въ странномъ флаконѣ, похожемъ на католическую дарохранительницу.

Китти нѣтъ дома. Въ вестибюлѣ меблированного дома, на мраморной досочкѣ, усаженной тремя рядами никелированныхъ крючечковъ, виситъ, среди другихъ, также и ключъ отъ ея квартиры.

— Госпожа сказали, что скоро вернутся!—докладываетъ мнѣ швейцаръ, скромный и молчаливый свидѣтель чужихъ тайнъ.

— Хорошо, я подожду.

Я снимаю съ досочки ея ключъ, какъ это не разъ дѣлалъ и прежде, поднимаюсь по широкой лѣстницѣ, похожей на лѣстницу бьющаго на шикъ, но посредственнаго ресторана. И уже вкладывая ключъ въ замочную скважину, спрашиваю себя—зачѣмъ я здѣсь? Не хочу ли я искать утѣшенія у той, кто безконечно слабѣе меня самого?

Все равно. Я усталъ и хочу отдохнуть.

Ощупью я поворачиваю контактъ и двѣ матовыхъ лампочки вспыхиваютъ у потолка. Вотъ и мой диванчикъ, обложенный такими удобными, мягкими подушками. Драпировка, отдѣляющая спальню, плотно задернута. Я слегка приподнимаю одну ея половину и вижу въ полумракѣ голубое одѣяло, усѣянное сказочными бѣлыми ирисами.

И все сильнѣе я чувствую, какъ я усталъ и разбитъ. Съ трудомъ ношу свое внезапно одряхлѣвшее тѣло и уже въ полудремотѣ опускаюсь на диванчикъ, который такъ охотно принимаетъ меня въ свои мягкія объятія. Закрываю глаза.

Если бы я вѣрилъ въ возмездіе, я могъ бы подумать, что ночныя фурии мстятъ мнѣ за мои грѣхи. Онѣ терзаютъ мою душу все новыми пытками, утонченно издѣваются, въ кошмарныхъ сновидѣніяхъ, надъ моимъ бѣднымъ разсудкомъ. Мнѣ грезятся часто невиданныя чудовища, какъ будто воскресшія изъ далекаго прошлаго юной земли, когда творческія силы были изобрѣтательнѣе и не скупились на воплощенія уродства. И мнѣ грезятся также небывалыя, причудливыя цвѣты, съ лепестковъ которыхъ падаютъ крупныя капли пахучей, одуряющей эссенціи. Среди этихъ чудовищъ и этихъ цвѣтовъ я вижу людей, тоже непохожихъ на нынѣшнихъ, потому-что всѣ они или безконечно прекраснѣе, или безконечно отвратительнѣе. Красота сочетается съ уродствомъ, добродѣтель съ низкимъ распутствомъ въ самыхъ прихотливыхъ и неожиданныхъ сочетаніяхъ,—и я самъ кружусь въ этомъ дикомъ шабашѣ, похожемъ на грезы морфиниста, затѣмъ я внезапно просыпаюсь, облитый потомъ, скорченный судорогой сладострастія или отвращенія. Долго задыхаюсь въ душной ночной темнотѣ и, засыпая, снова вступаю въ тотъ же кругъ.

И сейчасъ, еще бодрствуя, я уже смѣшиваю грезы съ дѣйствительностью.

Въ складкахъ пестрой драпировки я вижу отчетливо, словно обведенную углемъ, фигуру горбатой, беззубой старухи съ длинными обезьяньими руками. Рука шевелится, поднимается къ носу. Старуха нюхаетъ табакъ, потомъ чихаетъ, и носъ у нея при этомъ сталкивается съ подбородкомъ, какъ двѣ половинки клещей. Я хочу сказать ей съ подобающей вѣжливостью—Будьте здоровы!—но мнѣ кажется, что старуха обидится. Глаза мои поспешно смыкаются. Большая сѣрая крыса сидитъ передомною на заднихъ лапкахъ и прижимаетъ къ груди переднія.

—Здравствуйте, пожилая дѣвушка!—бормочу я.—Почему вы сдѣлались крысой?

Тяжелая, свинцовая усталость сковываетъ тѣло, и я чувствую каждый свой суставъ, каждый мускулъ такъ, какъ будто они вырублены изъ твердаго, неподатливаго камня.

Черный занавѣсъ падаетъ передъ моими глазами.

Я сплю, но воспринимаю глубиною сознанія, какъ идетъ время, мгновеніе за мгновеніемъ, минута за минутой. И много длинныхъ минутъ проходитъ, пока, наконецъ, я не рѣшаюсь снова открыть глаза—и вижу Китти.

Она гладитъ меня по волосамъ своей узкой нѣжной рукой и тревожно всматривается въ мое лицо. Ея губы слегка дрожать.

— Ты боленъ, милый?

— Здравствуй, Китти.—Я ловлю губами ея руку.—Почему ты такъ думаешь? Я здоровъ, какъ всегда.

— Ты стоналъ во снѣ... тяжело и жалобно. И у тебя было такое... грустное лицо.

— Пустяки... Немного переутомился—и только.

Я слегка отстраняю ее—и встаю. Китти только что пришла,—даже не успѣла еще сбросить пальто и шляпку. И сейчасъ на ея лицѣ нельзя прочесть ничего, кромѣ тревоги за меня, смѣшанной съ радостью неожиданнаго свиданія: я только что успѣлъ сообразить, какъ давно уже не былъ въ этой комнатѣ.

— Можешь ли ты сегодня посвятить мнѣ свой вечеръ, Китти?

Она дѣлаетъ быстрое движеніе, протягиваетъ мнѣ руку, но сейчасъ же останавливается и опускаетъ голову, инстинктивно скрывая черты лица тѣнью шляпки.

— Я очень благодарна тебѣ, но, видишь ли... Если бы ты предупредилъ заранѣе... Я иду въ театръ. Приглашена въ ложу и теперь неудобно отказаться, ты понимаешь?

Уже немножко поздно для театра. Она могла бы найти болѣе правдоподобный предлогъ. Почему способность артистически лгать, присущая всѣмъ женщинамъ, иногда оставляетъ ихъ въ самую острую минуту? Впрочемъ, не слѣдуетъ задерживаться въ передней, когда указываютъ на дверь.

— О, разумѣется. Желая тебѣ хорошо повеселиться, дорогая.

Я нагибаюсь, чтобы поцѣловать ея руку, а она обнимаетъ меня, прижимается къ моей щекѣ мокрымъ отъ внезапныхъ слезъ лицомъ.

— Я не могу... Почему же я не могу? Неужели я такая жалкая, безвольная тряпка? Я... я хотѣла, чтобы ты никогда не приходилъ больше—и я не могу.

Конечно, слѣдовало бы почувствовать себя тронутымъ, но вѣдь я пришелъ сюда не для сентиментальныхъ сценъ и слезливыхъ признаній. Мнѣ просто хочется отдохнуть и провести вечеръ безъ думъ и волненій. Предоставляется на выборъ: или, дѣйствительно, уйти, воспользовавшись благопріятнымъ случаемъ, или поскорѣе ликвидировать этотъ маленькій инцидентъ. Я предпочитаю послѣднее.

— Ты хотѣла, чтобы я не приходилъ больше? Ты уже не любишь меня, да?

— Я не знаю. Еще сегодня мнѣ казалось, что я тебя ненавижу.

— А теперь?

— Не будь такимъ жестокимъ. Ты видишь. Конечно, нѣтъ никакого театра. Но я думала: когда онъ придетъ въ слѣдующій разъ,—если только придетъ—я скажу ему...

— Не о ложѣ въ театрѣ, не правда ли?

— Я скажу... Я хотѣла сказать, что больше я не могу быть твоей игрушкой, твоей куклой, которой ты помыкаешь, какъ тебѣ хочется. Я хотѣла сказать, что даже моя слабая женская душа возмущается твоимъ безсердечіемъ, твоимъ равнодушіемъ къ чужому страданію... Видишь ли, милый, я чувствовала себя гордой, очень гордой и оскорбленной—пока тебя не было. Обида... Обида, можетъ быть, осталась и сейчасъ, но я не хочу, чтобы ты уходилъ... Я буду вѣрить, что ты вернулся ко мнѣ навсегда, мой любимый—и любящій... Да?

— Я вернулся, Китти.

— Навсегда?

— Я вернулся.

И опять она отступаетъ, и я вижу, какъ она, здоровая, сильная и страстная, изнемогаетъ въ борьбѣ сама съ собою, такъ что ея тѣло становится нѣжнымъ и хрупкимъ,—и въ эту минуту она напоминаетъ мнѣ чѣмъ-то ж ну поэта.

— Все равно. Я не могу обманывать. Ты видишь, что я все такъ люблю тебя. Хотя я знаю,—она по дѣтски глотаетъ слезы,—я знаю, что ты бываешь у бѣленькой и она, можетъ быть, уже отдалась тебѣ. Скажи, что этого еще не было! Скажи!

— Конечно, не было, Китти. Ты нѣсколько преувеличиваешь мои достоинства. Женщины не падаютъ въ прахъ отъ одного моего взгляда.

Мнѣ дѣлается скучно. Китти, несмотря на свое волненіе, замѣчаетъ это съ чуткостью женщины, которая только что нашла почти потерянную любовь. Она поспѣшно снимаетъ шляпку, бросаетъ пальто и убѣгаетъ за драпировку. Щелкаетъ выключатель и въ легкихъ складкахъ драпировки переламывается тѣнь Китти. Черезъ минуту Китти возвращается съ почти уничтоженными слѣдами недавнихъ слезъ на лицѣ.

— Вотъ конфеты,—кажется, твои любимыя... Не правда ли, какая хорошенькая коробка? А вотъ новый ликеръ. Мнѣ еще не случалось его пробовать, но онъ прельстилъ меня своимъ клерикальнымъ видомъ. Ты видишь: я предчувствовалъ маленькую бурю и заготовилъ взятку.

— Спасибо... Сейчасъ мы будемъ варить кофе?

— Да, да. Черный и густой, какъ смола. Гдѣ твои маленькія японскія чашки?

Мы хозяйничаемъ вмѣстѣ, какъ мужъ и жена, переживающіе первые дни интимной близости. И дѣло у насъ не особенно ладится, но мы не торо-

нимся. Наконецъ, мнѣ удастся разжечь спиртовую кухню, а Китти — приготовить кофеиникъ. Я сажусь на свой диванчикъ, усаживая Китти къ себѣ на колѣни, и жду, когда закипитъ кофе, сокращая время поцѣлуями и прислушиваясь къ страстнымъ, возбуждающимъ словамъ, которыя шепчетъ мнѣ моя подруга.

Китти жарко. На лбу и на кончикѣ носа у нея выступаютъ мелкія жемчужныя капельки — и это ее сердигъ.

— Подожди... Это платье ужасно тяжелое... Я должна переодѣться... Но не вставай съ мѣста, потому что тебѣ нужно смотрѣть за кофеиникомъ, милый.

Уходя, она старательно задерживаетъ за собою драпировку.

— Безполезно, Китти. Я вижу.

— Видишь?

— Ну, да. На тѣни.

— О, только тѣнь... Это ничего не значить. Смотри же за кофеиникомъ.

Въ ея голосѣ я улавливаю глубокія, грудныя ноты, который никогда не обманываютъ. И, вопреки приказу, кофеиникъ, изъ носка котораго показывается уже тоненькая струйка пара, остается безъ надзора.

Потомъ мы вмѣстѣ приводимъ въ порядокъ кофеиникъ, подносъ и скатерть, залитую кофейной гущей. Спиртъ весь выгорѣлъ.

— Кажется, есть еще немного въ бутылкѣ...

— Ни капли. Я вылилъ послѣднее.

— Ну, что же дѣлать? Останемся безъ кофе. Это все потому, что ты нарушилъ запрещеніе.

Китти смотритъ на меня удовлетворенными и благодарными глазами, и ея обнаженные руки, — можетъ быть, слишкомъ полныя, но еще крѣпкія и упругія, какъ у дѣвушки, — обвиваютъ мою шею.

— Мы будемъ пить вино. Да? Ты не жалѣешь? О, милы, почему такъ хорошо любить?

Знакомый вопросъ, сошедшій уже съ устъ миллионовъ женщинъ. Китти только что плакала и жаловалась, но она такая же, какъ большинство. Она охотнѣе воспоминаетъ минуты радости, а не горя. Потому, можетъ быть, мнѣ захотѣлось провести сегодняшний вечеръ именно вмѣстѣ съ нею. Она скучна и однообразна, но она успокаиваетъ, когда нервы слишкомъ натянуты.

Ахъ, если бы только она не была такъ скучна.

— Любовь — это радость и наслажденіе, Китти?

— Радость, милый. Радость.

— Нѣкоторые думаютъ такъ, — и, все таки даже изъ любви ухитряются создать нѣчто вродѣ подвижничества.



И мнѣ хочется угадать, кѣмъ была бы Китти въ прежнія времена: вакханкой или мученицей?

Мы передвигаемъ столъ на новое мѣсто, поближе къ моему дивану. Я уступаю хозяйкѣ часть вышитыхъ подушекъ. Она усаживается на полу и кладетъ голову ко мнѣ на колѣни. Теперь все ея существо жаждетъ покоя и тихой, почти материнской, ласки.

— Ты знаешь, я думала, много думала въ тѣ дни, когда тебя не было здѣсь. Вспоминала старое и спрашивала, что ждетъ меня въ будущемъ. И вдругъ мнѣ захотѣлось умереть.

— И ты не испугалась такой мысли?

— Это страшно и больно, да. Но когда я хорошенько подумала о жизни, мнѣ сдѣлалось еще страшнѣе.

Она прижимается ко мнѣ съ трепетомъ ужаса и, должно быть, говоритъ искренно. Но въ моей головѣ не вяжутся эти два понятія: Китти и ужась передъ жизнью.

— Я знаю, что ты боишься мышей и пауковъ. Что же касается жизни...

— Не насмѣхайся, Котикъ. Я знаю, что я недостаточно образована, даже просто недостаточно умна для тебя. Можетъ быть, именно поэтому я не могу удержать тебя. Но вѣдь, всетаки, я хочу думать, нежножко думать. И развѣ я не чувствую, какъ я жалка и ничтожна? Я — только раба, мой милый. И, какъ настоящая раба, я цѣлую ту плеть, которая меня наказываетъ. Гдѣ-то тамъ, въ глубинѣ, что-то протестуетъ противъ меня во мнѣ самой,—но я сдаюсь. Ты не можешь меня любить.

— Я хочу тебя любить — и люблю. Отбрось подальше ненужныя и скучныя мысли. Нашъ вечеръ не такъ уже длиненъ—а мы, кажется, собираемся понапрасну растратывать время.

Новыя ласки опьяняютъ ее,—но не надолго.

Опять она сидитъ у моихъ ногъ, такъ близко, что я невольно вдыхаю раздражающій, но теперь уже почти непріятный запахъ ея горячаго полуобнаженнаго тѣла. Перескакивая съ предмета на предметъ, я болтаю о пустякахъ, которые такъ занимаютъ ее обычно: о мелкихъ городскихъ новостяхъ, о модныхъ матеріяхъ, которыя только что выставлены въ магазинѣ на главной улицѣ, критикую ея послѣднюю шляпку. Она слушаетъ внимательно и, когда нужно, смѣется, но глаза у нея—не здѣшніе.

Она научилась думать, моя Китти. Я смотрю на нее, какъ скульпторъ, подъ рѣзцомъ котораго неожиданно ожилъ и порозовѣлъ мертвый бѣлый мраморъ. Вѣдь это я, я самъ вдохнулъ въ нее мысль, потому — что я научилъ ее страданію. И однако же, я не совсѣмъ доволенъ результатами своего творчества. Эта Китти нравится мнѣ меньше прежней.

— Не думай!—говорю я.—Это тебѣ не къ лицу, какъ то розовое платье которое ты сшила весной.

— Хорошо... А вѣдь ты еще не пробовалъ свой новый ликеръ. Хочешь такъ, безъ кофе?

— Пожалуй—предпочту стаканчикъ вина и нѣсколько бисквитовъ, если найдутся.

Пока она достаетъ изъ рѣзного шкафика еще непочатую бутылку, два стаканчика и бисквиты, я укладываюсь поудобнѣе и закуриваю папиросу. Сегодня я не хочу раздражать хозяйку своей любимой крѣпкой сигарой.

Вино, пѣнистое и алое, навѣваетъ на меня непріятное воспоминаніе.

— Ты слышала что-нибудь о беспорядкахъ въ порту?

— Читала въ газетѣ. Какіе-то рабочіе, толпа оборванцевъ. Разгромили склады и перепились, да?

— Почти такъ.

— Въ газетѣ обвиняютъ какихъ-то агитаторовъ. Одинъ, самый главный, говорятъ, скрылся. Какъ это противно: темныхъ, бессмысленныхъ людей на-талкиваютъ на всякія звѣрства, а сами прячутся за ихъ спинами.

— Возмутительно, моя кисочка. Пей же вино... Оно красное. Будемъ воображать, что мы пьемъ кровь этихъ злодѣевъ.

Китти отставляетъ стаканъ.

— Что за гадость...

На губахъ у нея красныя—кровавыя—капельки и она торопливо стираетъ ихъ платкомъ.

— Кажется, нѣтъ больше никакихъ новостей. Впрочемъ, поэтъ говорилъ, что меня видѣли въ одномъ грязномъ трактирѣ, въ компаніи самыхъ предосудительныхъ женщинъ.

— Это было, когда вы катались на автомобилѣ?

— Да.

— Какъ онъ глупъ!

— А, можетъ быть, онъ просто ревнивъ, какъ ты думаешь?

Китти густо краснѣетъ. И, чтобы утѣшить ее, я покрываю поцѣлуями ея лицо, грудь, плечи. Она слабо сопротивляется, но затѣмъ сама страстно отвѣчаетъ на мои поцѣлуи.

Мы долго сидимъ молча. Я большими глотками прихлебываю вино, стаканчикъ Китти почти нетронуть. Ея глаза подернулись прозрачной дымкой.

— Я читала, что нѣкоторые, всетаки, задержаны!—возвращается она къ прежней темѣ. И вотъ чего я не могу понять: среди нихъ, этихъ грабителей и погромщиковъ, была женщина.

— Развѣ мало женщинъ становится даже убійцами? И убійцами утонченными, которые убиваютъ такъ же сладострастно, какъ отдаются?

— Не знаю. Я могла бы убить только себя.

Она выговариваетъ это отчетливо и почти строго. И поясняетъ, послѣ маленькой паузы, закинувъ руки за голову и глядя на электрическую лампочку, которая свѣшивается съ потолка надъ нашими головами:

— Если бы какой-нибудь человѣкъ причинилъ мнѣ большое, большое зло... Такое зло, которое разбило бы всю мою жизнь... И сдѣлалъ бы это намѣренно и злостно, даже издѣваясь... я все-таки не убила бы его. Потому что, знаешь, если мнѣ можно причинить такое зло, то, значитъ, я сама не го-жусь для жизни. И уйти долженъ слабѣйшій, потому что ему все равно безачѣмъ жить.

Было раннее утро, туманное и больное, когда я уходилъ отъ Китти, пресыщенный и унылый.

На одномъ изъ перекрестковъ мнѣ померещилось,—нѣтъ, я увидѣлъ ясно,—его, безносаго.

Онъ медленно брелъ куда-то, волоча ноги и сгорбивъ спину. Его жидкіе сѣдые волосы были мокры отъ тумана. Тяжелые шаги глухо шлепали по влажнымъ камнямъ,—и весь онъ показался мнѣ слѣпленнымъ изъ мерзости и блевотичы города. И я осторожно обошелъ стороною его слѣды, чтобы не унести ядъ на своихъ подошвахъ.

Да, я-то знаю, что могу сдѣлаться убійц-й,—грубымъ убійцемъ, который орудуетъ подвернувшимся подъ руку булыжникомъ.

*(Продолженіе въ февральской книжкѣ).*

Н. Олигеръ.

---

## Г О Л О Д Ъ.

### Очерки.

Изголодалась деревня. Ранней весной прохватило морозомъ, лѣтомъ по-выбило граломъ, осенью позатопило проливнями,—и черная пажить, сырая, рыхлая, протянулась отъ края до края, желтѣя ворохами гнилой, прѣющей соломѣ.

— Въ хлѣву и то чище,—говорилъ дѣдъ Игнатъ, оглядывая съ холма свою полосу. Прижался у плетя, опустилъ руки, понурилъ голову. Невмогуту было глядѣть на пустую землю.

Сѣялъ дождь, холодный, мгlistый, съ порывами пустынного вѣтра забирался, какъ пыль, за пазуху, пронизывалъ тѣло острыми иглами, навѣвалъ унылыя, черныя думы. И казалось, что опустѣла вся земля, осиротѣла, не взроститъ больше ни цвѣтовъ, ни радости, и что странно небу голубому смотрѣть сквозь слипшіяся въ сѣрую грудку облака на безлюдную,—невспаханную равнину.

Кривилась деревушка по кособогу. Скупились избы, цѣпляясь одна за другую,—тянулись внизъ, упираясь въ берегъ рѣки. Разошлись и покосились бревенчатые срубы. Разбухли отъ сырости. Темнѣли вехры въ разметанныхъ крышахъ, то ли сорванныхъ осеннею бурей, то ли разобранныхъ рукой человѣка. И ни одного кольца дыма,—веселаго, грѣющаго дыма,—не виднѣлось надъ дряхлою ветошью...

Собирались мужики на сходы. Подолгу, съ ранняго утра гуторили у крыльца старостова дома. Молчаливо и покорно ломили шапки, когда показывалась фигура богатѣя, Степана Титова. И много сѣдыхъ, выдавшихъ горе крестьянскихъ головъ обнажалось тогда надъ затихавшей толпой.

Приводили коней въ поводу, голодныхъ, поджарыхъ. Безъ торгу, безъ споровъ отдавали ихъ благодѣтелю Степану Титову.

— Возьми, будь милостивъ, Степанъ Миколайчъ... Батюшка, отецъ нашъ... Спаси тебя Христосъ и помилуй... Что дашь, на томъ и спасибо скажемъ...

— Не заводь мнѣ заводить съ вашими клячами, — говорилъ Степанъ Титовъ, обходя грузнымъ шагомъ приведенныхъ коней и щупая конью

кожу — Изъ такихъ одровъ и лаптей не сплетьшь. Радъ бы помочь, братики, — да міръ на одинъ карманъ не прокормишь...

Низко кланялись мужики, принимая въ шапки грошовую плату, милость Титова. Тихо всхлипывали бабы, причитая въ сторонкѣ. Понаташили холстовъ, а сбыту не было.

Мычали коровы у плетня, — уставивъ тупыя морды въ мглистое, хмурое небо...

— Землишку бы купилъ, — просилъ робко, заходя съ боку, мужикъ Сидорычъ, съ крайней отъ рѣки избы. — Въ залогъ бы, хоша, взялъ... Ей Богу, семья мреть съ голоду... дѣтишки пухнуть...

— Не помѣщикъ я, — отмахивался Титовъ и уходилъ въ старостову избу, хлопнувъ дверью.

Медленно покрывались головы мятыми шапками. Безъ словъ, безъ споровъ расходились мужики. Острѣе и звонче всхлипывали бабы, плетясь поодаль за мужьями.

Съ той горы, гдѣ стоялъ дѣдъ Игнатъ надъ своей полосой, весь сходъ представляется ему не больше вехра въ соломенной кровлѣ. Одинокъ и голъ онъ былъ среди мертвой, неродившей земли.

— Вези дѣвку въ городъ... Чего зря путаться, — продашь дороже коня, — говорилъ на слѣдующій день Степанъ Титовъ дѣду Игнату. Но коня взялъ и бросилъ въ шапку старика нѣсколько рублей, плату за лошадь.

Низко поклонился Игнатъ, и со звономъ брякнувшихъ монетъ оборвалось въ немъ что-то, — будто ножомъ полыснуло, — оторвалось навсегда и ушло далеко, — не то къ Степану Титову, не то въ пустоту сѣрой, мгливой осени... Отошло и унесло все, чѣмъ жилъ сызмальства въ деревнѣ Игнатъ.

Низко поклонился старикъ. Крѣпко прижалъ къ груди шапку съ деньгами.

— На дорогу хватить, — сказалъ Титовъ. И ушелъ въ избу, хлопнувъ дверью на взвизгнувшихъ петляхъ...

Долго стоялъ среди улицы Игнатъ и думалъ крѣпкую думу. Медленно поднялся потомъ на гору, остановился у плетня и смотрѣлъ на свою полосу. Сроднился онъ съ землею, сросся съ нею, — выросъ на корню. Тяжело было отступаться...

— Обсѣмяниться бы только! — думалъ дѣдъ. Но глядѣлъ недоувѣрчиво на черную полосу: взростить она или похоронить новыя всходы?..

— Вези дѣвку въ городъ, — бунчалъ въ ушахъ сиплый голосъ Титова...

Выживалась деревня. Многіе уходили, — а куда? — не зналъ Игнатъ. Сказывали, въ городъ землю даютъ. Да кто ихъ знаетъ?... Много избъ опустѣло, заколотили досками, и стояли онѣ мертвыя среди мертвой земли. Тащили

скарьбъ свой сельчане и уходили.—Можетъ, гдѣ и лучше?.. Весь округъ безлошаднымъ сталъ, да и съ лошадьми не легче...

— Пойду-жъ и я,—рѣшалъ Игнатъ. И не зналъ, куда и зачѣмъ онъ уйдетъ отъ своей полосы...

Мутнѣлъ день... Пошли сумерки по отлогостямъ холмовъ, въ промежуткахъ застывали клубами тумана, сгущались въ облако у ручья, медленно тянулись вдоль оврага къ рѣкѣ. Каркало воронье на безлиственныхъ деревьяхъ. И уныло, мѣрно гудѣлъ колоколъ въ далекомъ селѣ. Чудилось старику, что и тамъ, въ томъ селѣ, гдѣ гудитъ колоколъ, — тоже собрался народъ у старостиной избы, молча, терпѣливо ждетъ,—вѣрить въ возможную помощь... Что по всей Руси гудятъ уныло колокола и всюду ждетъ народъ толпой, молчить и вѣрить. И не приходитъ помощь,—ни откуда не донесетъ вѣтеръ осенній ни одного отклика,—нѣтъ отзвука въ сумеречной мглѣ... Чудилось, что уже повсюду гудятъ тревожно колокола, возвѣщаютъ міру о горѣ земли, что весь людъ голодный собрался однимъ сходомъ, и молчить, и ждать. И сѣть дождь, да вѣтеръ воетъ, — хоронитъ онъ крестьянскую долю...

Хрустнула вѣтка, сорванная вѣтромъ. Окутали деревья сумерки, потянуло туманомъ изъ оврага. А Игнатъ еще стоялъ у плетня на горюшкѣ и смотрѣлъ на свою полосу.

— Должно, солнце сѣло,—подумалъ старикъ, когда за холмомъ блеснуло что-то, будто лучемъ ударило по темнымъ тучамъ. Блеснуло и померкло.

Выше всплыли сумерки, ближе надвинулись клубы тумана... Замутилось, закружило въ глазахъ,—пробѣжало по землѣ темными пятнами,—налегла великая сила. Надавила на грудь Игната, словно опрокинулась вся черная, неродившая земля, залѣпила осклизлою грязью, стала душить своей тяжестью...

— Хлѣба!.. Хлѣба!..—просили высохшія губы дѣда. И вторили ему далекіе голоса изъ глубины молчавшей ночи: хлѣба! хлѣба!..

Покачнулся Игнатъ...

— Смерть моя... тошно мнѣ... — шепталъ старикъ. Прислонился къ плетню, опустил руки... Тяжелы стали, будто налились холодной землей...

Смотрѣлъ на тѣни и слушалъ гулъ колокола...

Низко плыли осеннія тучи надъ пашней. Липкій дождь собирался каплями въ морщинахъ лица. Отиралъ рукавомъ ихъ Игнатъ, и слушалъ...

А кругомъ была ночь. И молчаніе. Тяжелое, глухое молчаніе...

— Нече выть-то... Въ городъ, чай, ѣдешь, — усовѣщалъ Игнатъ свою внучку Иришку. — Отхлестала-бъ тебя мать, покойница, за этакое дурье выть....

Прижался на лавкѣ подѣ образами и хмуро смотрѣлъ въ тотъ уголъ, гдѣ плакала Иришка.

— Не мычи, говорю!.. Чего орешь, телка неотелившаяся?.. Ишь, зѣвы пораспустила... На работу, говорю, ѣдешь, не воронѣ пугать...

— А... Мит... роха...—всхлипывала Иришка,—сказывалъ... не поѣдетъ...

— И Митроху возьмемъ!—уступалъ дѣдъ. — Ч-го ему тутъ околачиваться... Въ городѣ Митрохъ твоихъ, что воробьевъ на суку... Митроха!.. Не имъ свѣтъ начался, не имъ и кончится... Дался Митроха!..

Но Иришка не унималась. Забилась на лавкѣ подѣ дѣдовъ тулупъ, сжалась въ комокъ и плакала. Жалѣла Митроху, не хотѣла оставлять деревню,—пугалась голода, отъ котораго пошла болѣсть всякая по селу,—и того новаго, что ожидало впереди. Все было страшно для Иришки.

— Сказываютъ,—червь гнилой пошелъ по землѣ. Десять лѣтъ родить не будетъ. И въ Писаніи о томъ указано... — страшалъ Игнатъ и самому боязно становилось отъ своихъ словъ... — А въ городѣ, слышь, землю, даромъ даютъ...—добавлялъ онъ.

Очень хотѣлось старику разсказать что нибудь внучкѣ про городъ. Но городъ никакъ не укладывался въ его воображеніи: улица, столбы,—опять улица, и опять столбы; людей много и торговля, сказываютъ, бойко идетъ... А гдѣ этотъ городъ?—Тамъ ли, гдѣ кончается неродившая земля, или посреди стоитъ, окруженный со всѣхъ сторонъ голодными пашнями,—такъ и не зналъ дѣдъ Игнатъ.

Въ избѣ, подѣ лавкой, валялась гармонь, поблескивая металлическими углами и клавишами. Съ весны еще прошлой оставилъ ее здѣсь Митроха, первый гармонистъ и пѣсельникъ на всю волость. И странно было думать про то время, когда смѣялось ликующее, знойное солнце съ праздничнаго неба, зеленѣли сытые поля и весело звучала гармонь въ кругу здоровыхъ хохочущихъ парней...

— Слышь, Иринка,—намедни сходомъ порѣшили къ попу собороваться идти... Такъ... Мужики порѣшили!.. Помирать нужно по Божьему, — какъ Богъ велѣлъ. Не собаки мы... хоша и голодные...

Иришка перестала плакать, слѣзла съ лавки, поправила сарафанъ и пошла заправлять печь.

— Есть мука-то еще, внучка?—ласково спросилъ Игнатъ.

— Была-бъ, когда бъ принесъ,—сердито отвѣтила Иришка. Опомнилась, бросила лучину и полѣзла на печь...

Что-то теплое поднялось и заколыхалось въ груди дѣда при мысли объ ѣдѣ, выдавило горячую слюну на языкъ. Робко смотрѣлъ въ опухшее отъ слезъ лицо дѣвушки.

— Нѣтъ, стало быть?...—горько усмѣхнулся старикъ.

— Стало быть,—прворчала Иришка, расплела косы, повозилась и затихла на печи...

Стрекоталь сверчокъ въ бревенчатомъ срубѣ.

Дѣдъ сидѣлъ подѣ образами, высасывалъ кровь изъ десенъ, смотрѣлъ въ темное окно и думалъ глухую, тяжелую думу.

Хотѣлось ему еще о многомъ поговорить съ Иришкой. Жутко и тягостно было сидѣть одному. Но Иришка молчала, и старикъ не рѣшался тревожить ее.

Клонила дрема... Голодная, душная дрема... Вереницей длинной шли мысли. Приходили съ холодныхъ полей, гдѣ сѣялъ мелкій дождь, частый и липкій, какъ туманъ... Наплывали видѣнія, темныя, сирья,—тянули къ нему, Игнату, руки и просили жлобно, тихо: — хлѣбушка! хлѣбушка!.. Откуда понаходило ихъ столько?.. Со всѣхъ окраинъ свѣта, отовсюду съ черной земли поднимались тощіе, голодные призраки,—отрывались отъ осклизлыхъ комьевъ глины на пажитяхъ и тянулись къ нему, стонали и жаловались: хлѣбушка!.. хлѣбушка!.. Темныя тучи нависли надъ нивами, и небо было черно, какъ земля, и солнце больше не показывалось въ туманахъ... Вѣчная ночь стала надъ селомъ. И не люди шли къ Игнату, а были всѣ, какъ зѣбри, мохнатые, обросшіе шерстью,—съ искривленными, сжатыми въ крючья пальцами. Длинные лапы протягивались къ нему. Ослабились челюсти, голодные, съ острыми клыками и кровоточившими деснами. Волосы оцептенились на узкихъ, острыхъ черепахъ. Голодные глаза выступали изъ орбитъ и сверкали ненавистью. А кровавый языкъ болтался и молилъ покорно и слабо: хлѣбушка!.. хлѣбушка!.. Провалились животы, обтянулись ребра, рѣзко проступили сквозь сухую кожу, какъ у покойниковъ... Тощія костлявыя ноги съ раздувшимися узлами колѣнъ. Многіе ползли на четверенькахъ. Отвисли судорожно челюсти, и тихій стонъ срывался съ опухшихъ, синихъ губъ...

Стонала вся земля. Весь міръ наполнился воемъ, тихимъ ропотомъ и лязгомъ зубовъ, разгрызавшихъ комья сухой глины. И опять что-то большое плотное навалилось на грудь Игната, сжало горло, перехватило духъ... Не могъ кричать... Протянулъ руки и чувствовалъ, какъ грызутъ его пальцы голодные рты. Впиваются жадными клиньями зубовъ, всасываютъ кровь горячими губами, и глаза ихъ мутнѣютъ, а скулы судорожно вздрагиваютъ отъ похоти голода, утоленной похоти истощенія. Почти видѣлъ старикъ, какъ переливалась кровь по ихъ вялымъ жиламъ и какъ впитывали онѣ жадно кровавыя капли, теплыя частицы его жизни и его силы... Набухали толстѣли и ширились...

— Я не могу одинъ прокормить весь міръ,—кричалъ имъ дѣдъ Игнатъ словами Степана Титова. И крикнулъ отъ острой боли въ рукахъ, поднялъ



голову,—проснулся... Большая, тощая крыса сорвалась съ его плечъ, тяжело шлюпнулась объ полъ, быстро шмыгнула въ уголъ. Палецъ правой руки нылъ отъ укуса... На печи спала Иришка. Въ избѣ было темно, а въ окошко смотрѣла ночь, глубокая, непробудная. И мѣрно стучалъ по стеклу частый, осенній дождь, смѣшиваясь звукомъ съ стрекотомъ сверчка въ бревенчатомъ срубѣ...

Прошла молва о скорой помощи отъ земства. Прошла, всколыхнула надеждою, обожгла огнемъ радости и сгинула далеко за предѣлами неродившей земли. Блеснула, какъ лучъ осенняго солнца по пологу сѣрыхъ тучъ...

Оживились было мужики, загуторили, стали собираться, какъ прежде, въ кругъ,—сидѣли на заваленкѣ у старостиной избы и толковали о предстоящихъ дѣлахъ.

— Слышно, муку везуть...

— Не муку, а картофель американцы шлютъ... Сказываютъ, тоже съ голоду, бываетъ, пухнуть,—знаютъ мужичье дѣло...

— Не картофель, а ягодину такую... На ихъ землѣ только и растеть...

Степанъ Титовъ первый узналъ про радостную вѣсть. Привѣтливѣй и чаще выходилъ на крыльцо, подшучивалъ надъ самыми неразговорчивыми мужиками.

— Чего присмирѣлъ, Евстафьичъ?.. Кормить скоро будутъ. Слышь, везы везуть съ телятиной... Соломку на жаркое, водицу на запой...

Потиралъ руки и расплывался довольной, счастливой улыбкой. Только маленькіе глаза бѣгали злѣе, пронирыливѣе высматривали въ томъ скарбѣ, что сносили мужики къ крыльцу старостины дома.

— Скоро прибудетъ, ребята... Скоро!..—добавлялъ Николаичъ, переходя на дѣловой тонъ.

Но поубавилъ цѣну на лошадей и закупалъ гуртомъ подушныя по всей округѣ. Собственность малоземельныхъ крестьянъ сходила для равненія надѣловъ совсѣмъ бесплатно, за счетъ части ожидаемаго хлѣба богатыхъ мужиковъ. На другихъ условіяхъ Титовъ не покупалъ землю.

А помощи все не было.

Часто охалъ и причиталъ Степанъ Николаичъ. Съ отеческой заботливостью предупреждалъ односельчанъ.

— Смотрите, ребята,—на меня же потомъ претензію имѣть будете. Не надо мнѣ вашей земли, задаромъ не надо. Милость только вамъ оказую, отъ чистоты душевной. По Божьему закону, значитъ.

И ломали шапки мужики. Чуяли врага въ Степанѣ Титовѣ, — но гля-

дѣли крѣтко, просили смиренно оказать имъ Христову милость, поступать по Божьему закону. Что станешь дѣлать, когда ѣсть нечего!..

— Обманула земля, Сидорычъ!..

— Обманула, Евстафьичъ.

— Не дозрѣла, запарилась...

— И родить не начала, померла. Помнишь, чай, морозы объ Егоринъ день?..

И смотрѣли оба тоскливо, какъ на покойницу,—на загнившую пажиту,—какъ умѣть смотрѣть только крестьянинъ на погибшее добро. Горше всѣхъ слезъ мірскихъ его слезы о неродившей землѣ.

— А что, ежели вся земля родить перестанетъ, Евстафьичъ?

— Богъ не допуститъ... не доведетъ...

— А вѣдь, вотъ,—можетъ же,—настаивалъ Сидорычъ, печально оглядывая пашни.

И не вѣрилось, что земля, всегда родившая,—вдругъ перестанетъ родить. Не вѣрилось, что та огромная сила, что производитъ изъ года въ годъ жизнь на свѣтъ Божій,—вдругъ зачахнетъ, запарится, изсохнетъ,—и не дастъ больше ни одной травинки зеленой, не взроститъ ни одного колоса.

— А, вѣдь, можетъ же,—разводилъ безпомощно Сидорычъ руками и недоувѣрчиво смотрѣлъ изъ подъ нахлобученной шапки на голый пустырь.—Сказываютъ, земля такая есть, которая ничего не родитъ... Далече,—но есть,—заклучилъ Сидорычъ. И еще глубже, злобно, отчаяннымъ взмахомъ руки надвинулъ шапку на глаза.

— Не видѣть бы...

— Гдѣ-жъ така земля?—освѣдомился, не вѣря, Евстафьичъ.

— Сказываютъ, лежитъ она на восходѣ. И идешь это ты по ней, а вокругъ все пески, да пески... Ни былиночки вотъ энтакой изъ нея не вытянешь, сколько ни сѣй...

— Вре... Нѣтъ такой земли!..—сомнѣвался Евстафьичъ.

— Есть... И живутъ тамъ одѣвъ обезьяны. Родъ человѣческій, Богомъ проклятый.

Евстафьичъ молчалъ. Страшно стало обоемъ. Будто не житница разстилалась передъ ними, темнѣя бороздами,—а пустота,—безмѣрная пустота, отъ которой ждаты больше было нечего. Будто загасъ великій очагъ, отовсюду надвинулись холодъ и мгла, и освѣтить ихъ не было силъ. Теряла свой обычный смыслъ крестьянская жизнь и не для чего было дальше работать. Хотѣлось лечь пластомъ на землю и умереть такъ, какъ она умерла.

— Что-жъ,—соборовалъ попъ?..

— Не... Сказалъ,—справку навести надо... Случая, вишь, такого не было, чтобы весь приходъ соборовать.

Замолчали мужики. И тихо плескалась рѣка внизу, подъ холоднымъ покровомъ тумана...

Дѣдъ Игнатъ быстро схлопоталъ свой отъѣздъ. Тяжело было покидать родную сторону, да что станешь дѣлать на голодной землѣ? Не клиномъ свѣтъ сошелся. Болтали мужики, что въ другихъ краяхъ люди лучше живутъ. Сказано,—не кнутомъ, такъ батагомъ,—не мытьемъ, такъ катаньемъ. Были-бъ руки,—хлѣбъ будетъ... Старыя, мозолистыя руки, но жадныя и твердыя въ работѣ...

Степанъ Николаевъ и тутъ выручилъ, согласно Божьему закону. Убѣдилъ Игната отдать ему землю за пятую часть цѣны. Половину, семь рублей,—уплатилъ сполна, деньгами,—не въ примѣръ прочимъ мужикамъ, которымъ платилъ зерномъ и товаромъ. А за остатокъ взялся уговорить плотовщиковъ, сплавлявшихъ лѣсъ, доставить Игната съ внучкой до города.

Митроха также уходилъ съ ними, чему несказанно радовалась Иришка, повеселѣвшая и ободрѣвшая за послѣдніе дни. Нечего было дѣлать молодому парню, да еще сиротѣ круглому на голой землѣ. Дѣдъ Игнатъ позвалъ его съ собою. Митроха ухмыльнулся, но далъ согласіе, живо смекнувъ, какъ и дѣдъ Игнатъ, что земля не клиномъ сошлась и что, коли можно человѣку съ голоду пухнуть,—то можно ему и другіе дѣла дѣлать. Далъ согласіе и загулялъ на послѣдніе гроши.

Оказалъ Степанъ Николаичъ и еще одну милость дѣду. Далъ ему три рубля серебромъ за избу съ огородомъ и ненужнымъ скарбомъ.

— Пригодится для хлама... Склады сдѣлаю,—сказалъ онъ, ухмыляясь, поглаживая степенно бороду и хлопая дѣда по плечу. — Все одно, избами печи зимой топить будутъ. Богъ милость мою не оставитъ...

И позвалъ къ себѣ чай пить на прощанье.

Но чай пить дѣдъ Игнатъ не пошелъ, а съ міромъ прощался.

Собрали сходъ. Молча, земно поклонился ему дѣдъ Игнатъ со своею внучкой. И сходъ отвѣтилъ имъ пояснымъ поклономъ.

— Не поминайте лихомъ, братцы. Простите, коли въ чемъ согрѣшили передъ вами...

— Богъ тебя проститъ, Игнатъ. И ты насъ прости, коли виноваты въ чемъ, али ссорились когда, не поладили чѣмъ... Всѣ подъ судьбой своей ходимъ...—и снова поклонились.

Сняли шапки, облобызались. Быстро, коротко, словно спѣшили куда.

Заплакали бабы, стоявшія вокругъ кольцомъ... Раздались причитанія, всхлипыванія, какъ на похоронахъ...

Мужики строго и хмуро переминались на своихъ мѣстахъ. Угрюмо смотрѣли въ землю...

— Разойдись... разойдись!—быстрымъ шепотомъ говорилъ Сидорычъ, расталкивая мужиковъ.

И разступились они... Вышелъ старый Игнатъ сквозь ихъ ряды на горushку, выступилъ впередъ, въсокій, прямой, съ твердо поднятой головой и плотно сжатыми губами. Вышелъ одинъ, всталъ на пригоркѣ, прямо посмотрѣлъ на голыя, черныя пашни, сурово сдвинулъ брови и повалился, какъ снопъ, наземь...

— Прости-жъ и ты,—вздогнулъ его голосъ надъ толпой. И сѣдая голова безсильно забилась о землю...

Заголо или бабы, упали на колѣна,—повторяли слова старика и причитали, обращаясь къ землѣ... Опустились мужики. Тихо, покорно смотрѣли исподлобья на мгlistое осеннее небо, отирали рукавами усталыя лица и словно молились:

— Прости и ты... Прости...

Долго не вставалъ дѣдъ Игнатъ. Ждали всѣ, молча склонивъ головы. Можетъ быть, чуда ждали они, голоса съ неба,—ибо тверда была ихъ вѣра, и велика, и терпѣлива была ихъ молитва...

Всхлипывали и причитали бабы, измученныя, изнуренныя отъ тяжелой нужды, непосильнаго горя.

И строго смотрѣла на нихъ мать—земля, черная, холодная, пустынная,—широко раскинувшись отъ края до края, черезъ холмы и доли. Смотрѣла, какъ покойница, на пришедшихъ поклониться ей. И какъ покойница была молчалива...

## II.

Плавными излучинами уходила рѣка къ густому лѣсу. Широко разливалась на поворотѣ у крутого берега, огибала холмъ,—тихо и ласково плескалась на отлогомъ пескѣ.

У самой отмели стояла баржа купца Ивана Капитонова. Ждала сверху судовъ, чтобы вмѣстѣ, буксиромъ, пройти большое озеро, обойти каналами шороги и сплавляться дальше къ городу.

И тамъ, гдѣ стояла баржа, у самага причала,—рѣка вздрагивала мѣрнымъ дыханьемъ, плескалась волнами о п-счанный откосъ, шуршала густой осокой, и тихо гурлила съ проплывавшими плотами о долѣ мірской...

До самой середины загрузили широкую грудь рѣки плывшіе лѣса. А она все улыбалась, играла на солнцѣ, радуясь приволью, любуясь своей красотой. И плоты несла легко, словно играя. И хохотали мужики на плотяхъ, пѣли пѣсни,—широко и раздольно,—отдавая свѣжіе голоса свои вольному эху крутыхъ береговъ...

Клонились сосны на холмѣ, вникали въ пѣсни... Горѣлъ ярко воздухъ

въ лучахъ солнца, блистала рѣка. И само солнце, улыбаясь въ закатахъ,—тонуло въ облакахъ и прощалось съ землей — довольное, радостное...

Не узнать было дѣда Игната. Любовался онъ окрестною ширью, радовался небу голубому, запаху дородной земли. Вдругъ, ночью, почудится ему, что скирдами пахнетъ. Вскочить и бѣжить на палубу... Сядетъ на краю баржи, свѣситъ ноги надъ водою и глядитъ—не наглядится. Мягко и добръ сталъ дѣдъ Игнатъ. А вечерами, бывало, какъ затянется нижній берегъ туманомъ, и верхушки сосенъ погаснутъ въ тѣни,—сидитъ и слушаетъ пѣсни гонщиковъ. Будто вмѣстѣ съ паромъ, прямо отъ сырой, сочной земли,—поднимались эти пѣсни... Засвѣтятся огни вдоль по рѣкѣ, одинъ другого дальше. Готовятъ ужинъ на плотяхъ. Меркло отражаются костры въ гладкой и тихой водѣ... Потянетъ вѣтромъ, принесетъ запахъ кочекъ и лѣса, влажной хвои,—родной, знакомый запахъ. Заржутъ кони, согнанные табунъ въ рощѣ.—И тепло, и радостно станетъ на душѣ дѣда Игната...

А рѣка всплескиваетъ звучнѣе, тѣнь бѣжитъ по серединѣ, вода дымитъ туманомъ, застилаетъ огни на плотяхъ. И пѣсня, звучная, грудная,—тонетъ въ тишинѣ вечера...

— Вотъ до чего, Иринка, работать охота,—говорилъ старикъ внучкѣ, сжимая жилистые кулаки и обнажая до плеча сухую, костлявую руку.—Такъ бы и билъ, и билъ,—хоша молотомъ, хоша топоромъ... Топорвище бы было!.. Гли, ско ъко земли пораскинуто... Волковы силы нужны. Вотъ те и топорище!.. Заживемъ, Иринка, неча голову вѣшать...

И дѣдъ охорашивался, поглаживая бородавку,—чуть въ плясъ не пускался старый Игнатъ. Дунуло съ полей свѣжимъ вѣтромъ и оживило старыя кости. Почти до скарелности доходилъ дѣдъ,—такъ выглядывалъ онъ по берегамъ каждую скирдочку...

Первые дни все молчалъ послѣ отплытія. Не вымолвилъ ни полъслова, хмурился и прятался въ каютѣ барки. Черезъ недѣлю вышелъ на палубу, потянулъ воздухъ и сказалъ:

— Скоро, должно, плодородная земля начнется... Хлѣбомъ пахнетъ!—и опять ушелъ въ каюту. А еще черезъ два дня заговорилъ со встрѣчными плотовщиками и уже не уходилъ съ палубы,—все ждалъ плодородной земли. Твердая вѣра была въ выраженіи его лица, во взглядѣ узкихъ, пристальныхъ глазъ. Ужъ какъ хотѣлось ему увидеть эту плодородную землю!.. Хоть нѣсколько скирдъ свѣжей соломы, хотя одинъ бптюгъ сложеннаго сѣна. Два лѣта не видалъ дѣдъ ни одной копны парной, только что скошенной травы.

— Родить еще... Почнетъ родить!—говорилъ старикъ, любовно оглядывая поля, и ухмылялся въ бороду, слушая пѣсни плотовщиковъ.

И въ отвѣтъ ему будто улыбалась вся земля, радуясь твердой вѣрѣ въ

свою коренную силу. И звучали пѣсни мѣрно и плавно надъ рѣкой, расходясь широкими волнами по тихому, ночному воздуху.

— Слышь, Иринка, ожерелье куплю, какъ только въ городъ прїѣдемъ,—обѣщаль старикъ, не зная чѣмъ осчастливить внучку въ своей радости.

Но не долга была радость дѣда. Плотовщики рассказывали о большомъ городѣ, куда приплывутъ они не раньше мѣсяца. И было что-то новое въ ихъ рассказахъ. Что-то не то, что слышалъ всегда старикъ и что привыкъ онъ слышать въ человѣческихъ словахъ. Не было запаха земли, не было хлопотъ объ урожаѣ, — гѣхъ тревогъ и заботъ, среди которыхъ выросъ и къ чему такъ привыкъ дѣдъ Игнатъ. Говорили о цѣнахъ сбыта, о конторѣ лѣсопилки, о поденной платѣ,—и о многихъ другихъ вещахъ, непонятныхъ ему и ненужныхъ.

— Нынѣшнимъ лѣтомъ всю партію рассчитали,—рассказываль молодой, вихрастый гонщикъ.

— Новыхъ взяли?—спросилъ другой, что сидѣлъ поодаль, сердитый и угрюмый.

— Не... Новые-то боялись пойти... Двѣ недѣли лѣсопилка стояла.

— А намъ чего-жъ?.. Мы къ тому дѣлу не причастны,—сказаль третій, лежавшій у котла, робко оглядывая другихъ среди всеобщаго молчанія.

— Не причастны...—усмѣхнулся угрюмый.—Разговаривать не стануть... Дали по шапкѣ,—и свищи вѣтра въ полѣ...

Дѣдъ Игнатъ слушалъ и не понималъ. Что-то новое, — новыя тревоги и заботы отпечатывались на лицахъ рабочихъ, такихъ же, какъ онъ, лапотниковъ... Не земля ихъ волновала, не о пажити говорили они, — а о хозяинѣ, ему невѣдомомъ, — отъ котораго зависѣла ихъ жизнь и судьба, о дѣлѣ, къ которому считали себя непричастными, но котораго боялись здѣсь, среди луговъ и лѣсовъ, гдѣ, казалось, никто, кромѣ Бога, не былъ властенъ надъ ними.

Тревожно прислушивался къ голосамъ. Хмурилъ лобъ и сердито молчалъ. Но когда рѣчь зашла о городѣ,—не утерпѣлъ и спросилъ:

— Ну, а землю тамъ пашутъ?..

Ребята расхохотались, и опять, словно ножомъ, полыснуло въ самое нутро Игната.

— Чего-жъ ты, города, что-ль, не видалъ?—спросилъ угрюмый.

— Видать не видалъ, а слыхиваль... Сказывали, по пять десятинъ на душу даютъ...

— Да по пять душъ за куль муки берутъ,—хохотали парни.— Не по тому билету, видно, ѣдешь, старикъ.

— Неужто земли нѣтъ?—настаиваль Игнатъ.

— Кака тамъ земля!—потѣшались ребята:—возь съ пескомъ, да два съ углемъ. Ее не запашешь... А коли и запашешь, такъ въ часть отведутъ.

И вѣрилъ, и не вѣрилъ имъ Игнатъ. Смотрѣлъ на окрестныя поля и думалъ о томъ, что нѣтъ больше у него земли. Отрѣзанный онъ, безъ дому и безъ пажити —и что не будетъ ужъ больше держать сохи его рука...

Смотрѣлъ смущенно на гонщиковъ.

— А какъ же люди въ городѣ живутъ?..

— Такъ и живутъ. Кто съ голодудохнетъ, кто дворцы строить,—отвѣтилъ угрюмый, поднимаясь съ плотовъ и подходя къ Игнату. Снялъ шапку, поскребъ затылокъ и зѣвнулъ —Ничего, дѣдка,—потрепалъ старика по плечу.—Самого не возьмутъ,—такъ шкуру сдерутъ... Все въ добро пойдетъ...

Шутка вызвала новый дружный варывъ хохота среди гонщиковъ. Сидѣли за общимъ котломъ и ужинали. Хлебали ущицу, заѣдая большими комами рыхлаго хлѣба. А у плотовъ плескалась о бревна рѣка, расходилась плавными кругами въ быстромъ теченіи и уносила думы Игната далеко за обрывы высокаго берега...

То ли отъ скуки, то ли отъ бездѣлья,—сталъ часто отлучаться Митроха. Уйдетъ, бывало, на плоты.—а на утро вернется пьяный. А то и совсѣмъ сталъ пропадать по два, по три дня.

Дѣдъ былъ не въ духѣ послѣднее время и часто зря ворчалъ на Иришку.

— Ну, что твой Митроха?—Съ челобитной, что-ль, къ нему теперь пойдешь?.. Слышь, ребята сказываютъ,—съ цыганкой парень путается. Таборъ ихъ тутъ недалече стоитъ. Казну бы уберечь, а то и съ казной пропадетъ...

— Не тронетъ онъ казны твоей,—огрызалась Иришка.

— Не тронетъ!—передразнивалъ Игнатъ. Знамо,—не тронетъ, коли спрячу... Куревомъ, что-ль, онъ тебя раздразилъ?.. Дома, небось, былъ,—не курилъ, а тутъ, знай, бариномъ ходить, папироской попыхиваетъ... Съ цыганкой, видать, милѣй миловаться. Та добру научить... Быть въ острогѣ твоему Митрохѣ...

— Молчи ты, сычъ старый!—вскипала Иришка.—Продалъ землю, видно, отъ ума большого,—такъ неча на людей лаяться...

— Ты землю мою не тронь,—отвѣчалъ степенно дѣдъ Игнатъ. И не могъ больше ни слова вымолвить,—уходилъ молча въ камту баржи.

Каждый вечеръ ждала Иришка своего Митроху. Сидѣла долго за полночь, смотрѣла на круги въ рѣкѣ, слушала ржанье коней за рощей,—и ждала...

Любила смотрѣть на воду. Будто колдуетъ кто въ глубинѣ темнаго

омута,—манить и зоветь, улыбается ей, широкими кругами расплываясь въ быстринѣ теченія. Солнце сѣло за кряжемъ и чуть только выхватываетъ лучами верхушки красныхъ сосенъ изъ ползающаго низомъ мрака. А середина рѣки блеститъ и играетъ, отражая небо съ облаками, да строевой лѣсъ на холмѣ. Свѣтлая, ясная вода,—будто обмылъ ее кто и пригладилъ. Медленно, крадучись,—кружить воронками, заминается легкими ямками...

Заслышится пѣсня изъ роуцн. Идетъ Митроха, веселый, пѣсни поетъ. Подойдетъ къ берегу, завидитъ Иришку, нахмурится и замолчитъ. Норовитъ скорѣе въ каюту пробраться...

— Митроха!.. А, Митроха!..

Остановится, глядитъ исподлобья... Вихорь изъ подъ козырька выбѣется...

— Ну?..

А что сказать,—не знаетъ Иришка. Безъ него чего только не передумаетъ. А придетъ—и сказать нечего.

— Пожалѣлъ бы ты меня...—скажетъ, вдругъ,—и заплачетъ.

— Чего тебя жалѣть-то?—говоритъ Митроха и колеблется... Не знаетъ: подойти, аль уйти въ каюту. Но Иришка даетъ волю слезамъ и плачетъ навзрыдъ, причитая:

— Для того-ль мы съ тобой въ городъ ѣхали, чтобъ ты покинулъ меня... Лучше-бъ съ голоду сдохла...

И первые дни, бывало, подходилъ къ ней Митроха,—обнималъ, уговаривалъ:

— Чего, дура, воешь?.. Дура ты, дура и есть... Дѣло задумываю. Поважнѣй твоего города. Выгорить, коли,—въ деревню воротимся, землю купимъ, домъ отстроимъ... Отошнѣло сиротой по людямъ мыкаться, съ голоду пухнуть...

И рассказалъ, какое съ парнями дѣло затѣваетъ.—Лѣсопилка тутъ есть. Такъ вотъ,—артельщикъ съ казной большой ходитъ... Выслѣдили они, гдѣ, въ какіе часы онъ одинъ бываетъ. Разомъ, махъ-непромахъ,—и готово!.. Поняла?.. Дѣду только не сказывай... Сырой онъ человѣкъ, отъ земли взять, Богу да пону молится... допести сможетъ...

И не знала, что сказать ему, Иришка. И радостью сердце ся билось, какъ подумаетъ, что въ деревню опять вернуться и домъ свой Митроха отстроить.

— Титова зашибемъ, въ карманъ упрячемъ. Поняла?.. А ты ревешь, дура...

Такъ было въ первые дни. Но теперь все рѣже подходилъ къ ней Митроха. Хмурый, злой, либо пьяный. И о дѣлѣ своемъ совсѣмъ не сказывалъ. И спросить его боялась Иришка.



Въ тотъ вечеръ, послѣдній, — ждала Митроху. Дѣдъ ворочалъ внизу сундукомъ, казну свою перекладывалъ. А Иришка сидѣла на палубѣ до зари, все смотрѣла на воду, гдѣ кружило теченіе, слушала ржанье коней въ табунѣ, — и ждала.

Рано утромъ пришелъ пароходъ, задымилъ длинной трубой въ туманѣ. Тяжело оживлялась рѣка. Раздавались голоса гонщиковъ, свѣжіе звонкіе надъ водой. Стягивались темныя баржи съ высокими мачтами, сцѣплялись бортами. Выходило солнце надъ луговиной, рождая призраки багрянца и золота въ тихихъ заводяхъ. Шелестѣлъ камышъ...

И не было Митрохи...

Дѣдъ проснулся. Тронулась ихъ баржа, медленно поплыла, словно тѣнь, внизъ по теченію. Зажурчала вода вдоль бортовъ. Утонули берега въ утренней мглѣ. Крикнулъ грачъ...

И не было Митрохи...

### III.

Дѣдъ Игнатъ стоялъ у шпигеля баржи и пристально вглядывался въ хмурую даль.

Помутнѣла и пожелтѣла рѣка. Длинной бѣлой лентой тянулись плоты, стоявшіе на очереди. На нѣсколько верстъ уходили вверхъ отъ лѣсопелки. Пятнѣли цвѣтныя рубахи, развѣшennыя для просушки, рябили флажки на плотахъ, тускло упали въ воду отраженія судовъ.

— Экъ, замутили! — сказалъ дѣдъ. — Не рѣка, — пошло свиное...

И плюнулъ за бортъ.

Ребята съ плотовъ варили въ чугунокѣ похлебку изъ лука и ржаного хлѣба. Неподалеку отъ нихъ лежалъ, растянувшись поперекъ всей палубы, рослый, курчавый парень, накрывшись полушубкомъ. Другой, угрюмый и сердитый, — сидѣлъ у огня, чинилъ городскую обувь. Смазывалъ сапоги дегтемъ, расправлялъ складки, натягивая на всю руку длинное голенище, сплевывалъ, оглядывалъ подметки и опять мазалъ. Дѣдъ Игнатъ смотрѣлъ на берега, подходилъ къ группѣ у костра, перекидывался нѣсколькими словами и опять, тревожный и озабоченный, уходилъ на передній конецъ баржи.

Рѣка снала въ утреннемъ туманѣ. Тяжело шевелила лѣнивыми волнами, переливалась отраженьями огней, блѣдными отсвѣтами сырой и мутной зари на востокъ. Всплывало солнце, щурящееся, усталое... Горѣло въ клубахъ дыма, въ сѣрой, непрозрѣвшей мглѣ...

Звучнѣе стали голоса надъ водой.

— Гдѣ-жъ городъ?..

— А, вонъ, тамотко гляди...—ткнулъ пальцемъ впередъ одинъ изъ гонщиковъ.

— Не прозѣвай, смотри, гораздъ маленькій онъ,—хмуро пошутить другой.

Смѣхомъ не отвѣтили. Каждый былъ занятъ своей работой. Подбирали канаты и перекликались съ лоцманомъ буксира.

— Чиво, землячки, робите?—крикнулъ одинъ на плоты.

— А чивуху вьемъ,—отвѣтили издалека, съ рѣки. И голоса слились въ мутномъ всплескѣ воды.

Занимался день. Длинными, въ четыре этажа строеніями потянулись фабрики вдоль береговъ. Высокія трубы коптили дымомъ, стлался онъ книзу нависалъ надъ водой, и надъ плотами, и надъ строеніями,—застывалъ туманомъ. Наплывало что-то впереди, громоздкое, тяжелое,—вздыхалось, расчленилось отдѣльными башнями и куполами, охватывало рѣку съ двухъ сторонъ, сдавливало желѣзными объятіями и соединялось широкой аркой, перекинутой однимъ взмахомъ надъ водой...

— Мостъ желѣзнодорожный,—поясывали гонщики.

Загудѣли свистки заводовъ. Засуетились толпы людей по берегамъ, разбѣгались, сливались въ черныя, плотныя массы и входили мѣрно, гудливо во дворы четырехъ-этажныхъ строеній.

— Фабрики...—толковали гонщики. — Вонъ — ткацкая всѣмъ—прядельная, а тамъ—желѣзодѣлательный заводъ.

На мосту загромыхало что-то. Шель поѣздъ длинной цѣпью вагоновъ. Клубы бѣлаго пара пробивались сквозь стропила арки, врѣзались въ скрѣпленія, тянулись внизъ и, падая бѣлыми хлопьями, таяли надъ водой. Игнатъ степенно снялъ шапку и медленно долго крестился.

Чѣмъ ближе подвигались къ городу, тѣмъ сильнѣе чувствовалъ Игнатъ глухую тоску, оставленную за собой. Гдѣ-то расплылась она надъ голодными полями и смотрѣла изъ широкой дали, молчаливо и угрюмо, на хмурое осеннее утро и на то, что надвигалось впереди на стараго Игната.

И замѣчалъ онъ, какъ все торопливѣе и боязливѣе становились голоса рабочихъ, быстрѣе и дѣльнѣе спорилась въ ихъ рукахъ работа, и что давно уже, какъ прошли завалы рѣки, никто не затягивалъ пѣсню у вечерняго костра. А если бы и запѣлъ кто, такъ остальные не подхватили бы,—а разошлись и сухо оборвали:

— Буде орать-то... Ужо въ городѣ хозяинъ тебѣ наоретъ...

Говорили опять о заработкахъ, о новыхъ сплавахъ, о расчетѣ артели... Хмуро посматривали впередъ, будто зоркій хозяинъ сторожилъ изъ города, слѣдилъ за каждымъ движеніемъ ихъ.

Съ внучкой своей мало говорилъ Игнатъ, да и не о чемъ было. Все

плакалась она на дѣда, да поминала Митроху... Грохнуло желѣзо на берегу. Тяжело упало пластами на груди другихъ пластовъ,—звонко, гулко, рѣзнуло воздухъ. Будто за самый больной нервъ дернуло... Оборвало и отдалось въ груди дѣда болью далекой, земной... Перекатился звукъ надъ рѣкой, отпрянулъ отъ строеній и волной прошелъ по водѣ. Плеснула сдавленная плотами рѣка,—тяжело ухнуло что-то въ ея глубинѣ и расплылось мутью на поверхности.

— Землякъ, а это что-жъ будетъ?—спросилъ дѣдъ у пробѣжавшаго гонщика, указывая на высокое, круглое строеніе, сплошь забранное рѣшеткой.

Парень не отвѣтилъ. Отпускалъ якорную цѣпь и кричалъ сердито и устало далекимъ голосамъ.

— Пора слѣзать, дѣдка... Сходить сейчасъ будемъ,—сказалъ онъ, оглянувшись, и выжидая, что отвѣтятъ ему далекіе голоса.

Баржа заворачивала противъ самаго желѣзодѣлательнаго завода. Всплескивала вода, и всплескъ ея сливался съ воемъ гудковъ, съ лязгомъ желѣза, шипѣньемъ пара,—гуломъ далекой жизни, понять которой былъ не въ силахъ Игнатъ. Суетились, хлопотали, работали люди,—споро, жадно,—все кипѣло, спѣшило куда то,—а кто былъ хозяиномъ надо всемъ, такъ и не высмотрѣлъ старикъ.

— Ступай, внучку буди... Чего шары выпучилъ?—крикнулъ ему гонщикъ, бросая якорную цѣпь и стремглавъ кидаясь на другой конецъ баржи.

Съ непокрытой головой стоялъ на палубѣ дѣдъ, въ лаптяхъ и деревенскомъ зипунѣ, глубоко тая въ себѣ молчаніе земли, голодной, пустынной, невспаханной...

Гдѣ причалила баржа,—тамъ и остановился Игнатъ со своей внучкой. Словно выплеснула ихъ на берегъ рѣка, выкинула изъ глуши далекой деревни и бросила къ воротамъ желѣзодѣлательнаго завода.

Высокій былъ, шумливый заводъ. Дѣдъ стоялъ на берегу и смотрѣлъ, какъ разгружали суда. Долго и внимательно разглядывалъ желѣзные крючья, любопытно было ему видѣть, какъ ворочались они на громадныхъ подставахъ, свистѣли паромъ, погружались въ баржи и копошились въ нихъ, будто разворачивали все внутренности. Груды товара лежали на каменномъ берегу. Сырое желѣзо листами,—сплавленные полосы, рельсы и балки для обработки. Много всякаго люду сновало по улицѣ. И копытъ, и дымятъ грохоталъ и визжалъ громадный заводъ.

— То-то работа спорится,—ухмылялся старикъ. Заглядывалъ сквозь щели во дворъ, видѣлъ сквозь стекла оконъ жаровни, плавающие, дышавшие

пламенемъ, слитки раскаленного желѣза и людей, заморенныхъ, согбенныхъ усталыхъ, хмуро и молчаливо хлопотававшихъ за машинами.

Просился въ работу. Направиль его кто-то въ контору. Пришелъ, снялъ шапку, перекрестился на уголъ и низко поклонился:

— Божією милостью къ вамъ пріѣхали...

Молодой человѣкъ за перегородкой оглянулся на старика черезъ плечо и спросилъ:

— Какого цеха?

— Чегой-то?..—придвинулся дѣдъ.

— Цеха какого, говорю?..

— Не могу знать. Про то намъ невѣдомо... а только, вотъ, работу бы...

— Какую работу?..

— Сказывали, у васъ спросить надо...

— Чего у насъ?.. Видишь, сколько работы хотятъ. Гдѣ-жъ управиться...

— Не знаю... У васъ велѣно спросить,—настаивалъ Игнатъ.

Конторщикъ разсердился и крикнулъ старику, чтобы убирался вонъ.

Дѣдъ сѣлъ на край лавки въ уголку, взглянулъ на икону и рѣшилъ терпѣливо ждать...

Конторщикъ писалъ въ книгѣ, щелкалъ на счетахъ и не смотрѣлъ на Игната.

Черезъ полчаса пришелъ инженеръ. Дѣдъ поднялся и ждалъ. Тотъ говорилъ о чемъ-то съ конторщикомъ и не замѣчалъ старика.

— А сколько поштучныхъ было?—спросилъ инженеръ.

Конторщикъ представилъ отчеты... Дѣдъ Игнатъ кашлянулъ въ углу...

— Чего тебѣ?—оглянулся инженеръ.

— Работу бы... Сказывали, здѣсь узнать надо...

Господинъ въ блестящихъ пуговицахъ посмотрѣлъ на него черезъ очки, отомъ отвернулся и опять занялся отчетами.

— Всѣ ихъ свести надо. А потомъ скажете мнѣ,—отдалъ распоряженіе и прошелъ мимо Игната въ другую комнату.

Конторщикъ опять сѣлъ писать, а дѣдъ сидѣлъ и ждалъ.

Погасили огни, кончили работу, конторщикъ ушелъ. Пришелъ сторожъ запирасть и выпроводилъ дѣда.

— Велѣно ждать,—говорилъ старикъ.

— Тамъ подождешь уже,—усмѣхнулся сторожъ и вывелъ его на улицу.

На слѣдующій день Игната не пустили во дворъ фабрики. Ходилъ онъ цѣлыми днями по улицамъ и вездѣ спрашивалъ работу. Не было работы... Не было работы... Этого никакъ не могъ понять старикъ. Какъ это не было работы?.. Такъ бы, казалось, и взялся, за что хошь,—только бы дѣло было.

Но вездѣ отказывали, выпроваживали со смѣхомъ и въ слѣдующіе дни не пускали.

Большой городъ стоялъ на берегахъ рѣки, чуть не въ самое небо упирался крышами домовъ, дымилъ трубами, стучалъ машинами, скрипѣлъ желѣзомъ, горѣлъ и жилъ странной, шумной жизнью. И не было работы.

На остатки своей казны снялъ уголь дѣдъ въ сосѣднемъ домѣ и поселился тамъ съ внучкой.

Двѣ недѣли прошли въ тяжелыхъ испытаніяхъ. Всюду стучался, со всѣми заговаривалъ, во всѣ двери просился,—и ничего не получилъ еще старый Игнатъ. Понукалъ свою внучку:

— Чего зря буркалами ворочаешь,—ходи и ищи... Сама въ ротъ не полѣзаетъ...

И внучка выбивалась, искала, приглядывалась, но,—гдѣ мѣста не было, а гдѣ и самимъ ѣсть было нечего. Стирала бѣлье у рабочихъ, и все, что зарабатывала, приносила дѣду. Пуще всего мучила старика земля убитая щебнемъ. Все видалъ Игнатъ, а такую землю первый разъ видѣлъ.

— Нешто это земля?—ворчалъ онъ.—Мертвень какой то, а не земля...

— Молчи, дѣдъ, отошнѣлъ ты мнѣ,—огрызалась внучка.—Заладилъ свое: земля, да земля. Ты работу мнѣ дай, а не землей тычь...

Совсѣмъ измѣнилась Иришка. Понемногу стала забывать своего Митроху. Одѣта была въ новое платье изъ синяго кумача, въ юбку, подшитую коленкоромъ. Цвѣтныя ленты заплела въ косицы... Любила коротать вечера у крылечка, слушать гармонику, да шелушить сѣмечки. Развлекалась съ сосѣдними парнями. Приглянулся Павлуха, сапожниковъ сынъ съ углового дома. А наемни приходила къ хозяйкѣ, бабѣ Настасѣ, какая-то женщина и звала поступить Иришку въ свое заведеніе. Платье новое подарила, подсолнуховъ и орѣховъ дала. Сказала: ужь приходи къ вечеру, потолкуемъ о дѣлѣ.

Будущее улыбалось Иришкѣ и хотѣлось бы ей подѣлиться своими радостями съ дѣдомъ Игнатомъ,—да не знала, какъ подступиться къ нему.

— Слышь, дѣдка, бабка Настасья въ работу звала,—говорила, тревожно оглядываясь на старика.

Дѣдъ молчалъ у окна и Иришка затихала. Сидѣла на лавкѣ, грызла мятный пряникъ, и думала о своемъ новомъ счастьѣ.

— Все равно,—думала она, обкусывая краешекъ гостинца.—Павлуха не женится. Чѣмъ такъ, по рукамъ, болтаться, лучше ужь въ Настасьину работу пойти...

Вспоминала, какъ сидѣли они когда-то съ дѣдомъ въ своей избѣ... Давно, когда плакала Иришка о своемъ Митрохѣ. Но было тогда все иначе.

И деревня была, и люди свои были. А въ городѣ чужое все. И это чужое дѣлало всѣхъ одинаковыми.

— Не все ли равно, кого встрѣтила на улицѣ, когда ни того, ни другого не знаешь?—Марьей или Иришкой будутъ звать ту дѣвку, что пойдетъ въ заведение къ Настасьиной знакомой?.. И чувствовала, что ей самой, какъ и другимъ,—это все равно. Въ деревнѣ было бы стыдно, а въ городѣ—все равно...

Доѣла пряникъ, оправила ленту въ косицѣ и вздохнула. Дѣдъ Игнатъ все еще хмурился у окна и молчалъ.—Не надо было трогать его земли,—думала Иришка.—Обидчивъ сталъ старикъ... А бесело въ заведеньи!—Музыка играетъ, пѣсню поютъ. Гости ходятъ, гостинца носятъ... Свѣтло, тепло и денегъ даютъ... Сарафанъ новый сошью, платокъ сниму и шляпу надѣну. Аксинѣ, сказываютъ, купецъ кольцо подарилъ...

— Дѣдъ!.. А дѣдъ!..

Но старикъ молчалъ. И жалко было Иришкѣ своего дѣда. Мытарится по цѣлымъ днямъ, работу ищетъ... А какая ему работа?—старъ сталъ, на печи бы лежать...

Темнѣли сумерки. Одѣвались дома сѣрой мглой. Въ дыму или туманѣ мутнѣло небо.

Легонько стукнули въ дверь. Оглянулась на дѣда Иришка, закрашѣлась, тихонько прыгнула съ лавки, накинула платокъ на голову и вышла въ сѣни...

„Земля... земля“...—думалъ Игнатъ, бродя, какъ тѣнь, по мостовымъ города. Остановился передъ вывѣской кабака и зашелъ въ лавчонку. Было накурено и душно въ темномъ подвалѣ. Стоялъ купецъ за стойкой, очень похожій на Степана Титова,—и разливалъ по зеленымъ стаканчикамъ мутную водку. Мутнѣло во всемъ кабакѣ отъ накуреннаго дыма, мутнѣло въ окнахъ отъ сумерекъ города, мутнѣло въ головахъ пьяныхъ мужиковъ и парней, о чемъ то кричавшихъ и гоготавшихъ во все горло... Сразу спертымъ виннымъ паромъ ударило въ голову. Присѣлъ на лавку старикъ и спросилъ стаканчикъ. Никогда не пилъ дѣдъ Игнатъ. За непривычное дѣло брался, да идти было некуда, а дома сидѣть одному скучно. И озлобленность какая-то брала Игната на все, что окружало его.—Чѣмъ лучше другихъ? Нечего зазнаваться... Всѣ пьютъ, и ты пей. А можетъ и о работѣ услышишь что-нибудь въ общей компаніи..

Подсѣла баба къ нему за столикъ... Помнилъ: была въ синемъ сарафанѣ. Вино съ перваго шкалика ударило Игнату въ голову,—но опрокинулъ его залпомъ до дна, сердито стукнулъ о столъ, сплюнулъ и потребовалъ еще...

— Иришкинъ дѣдъ и есть,—говорила женщина въ синемъ сарафанѣ другой бабѣ.—Боюсь я,—молода ужъ очень... Кабы росписался онъ, что отдастъ...

— Неграмотный...—отвѣчала другая баба.

Помнилъ дѣдъ, что давалъ какое-то согласіе этой женщинѣ о своей внучкѣ...

— Хор... рошая она... Не обидьте ужъ,—хныкала пьянымъ голосомъ.— Съ голодныхъ губерній мы... ѣсть тамотко нечего... Да... Хорошая она...

Качалъ головой, разгибался всѣмъ туловищемъ, размахивалъ руками и повторялъ все то же.

Бабы вскорѣ оставили его...

— Продавъ, чортовъ сынъ!—ревѣли пьяные и гоготалъ весь кабакъ. Потомъ,—помнилъ еще дѣдъ,—выводилъ его изъ кабака этотъ толстый, похожій на Степана Титова,—и о чемъ-то долго объяснялся съ нимъ Игнатъ... Все просилъ не обидѣть...

А очнулся въ больницѣ, на койкѣ,—послѣ долгаго безпамятства, больной тяжелой, измучившей хворобой...

Сталъ часто запивать дѣдъ Игнатъ. Пьянѣлъ скоро и зло, не выдерживало старое тѣло всей тяжести спирта. Глушилъ виномъ свою тоску. О землѣ вспоминалъ иногда, все съ такою же любовью, мечтая вернуться опять въ деревню. Говорилъ объ этомъ мужикамъ, съ которыми пилъ въ кабакъ у толстаго купца,—говорилъ долго и нескладно, одинъ, самъ съ собою,—и вдругъ затихалъ, покорно и робко оглядываясь по сторонамъ...

Въ томъ же кабакѣ получилъ и работу: заболѣлъ одинъ каменщикъ и приняли Игната въ артель... Ночью еще, задолго до разсвѣта, поднимался старикъ и уходилъ мостить улицу. Тяжелая выпала на его долю работа. Слабъ ужъ былъ и съ трудомъ подымалъ деревянную сваю-битень. Стучалъ по камнямъ, свѣже выложеннымъ въ песокъ рядами, и каждый ударъ отдавалъ ему въ грудь, разламывалъ плечи, подкашивалъ ноги.

— Въ гробъ заколачиваю матушку землю,—говорилъ Игнатъ и стучалъ по камнямъ, ожесточась, со злостью, надрывая послѣднія силы.

Только во снѣ, бывало, чудилась ему деревня съ зелеными полями и колосившимся жнивьемъ. Стоги сѣна видѣлъ дѣдъ и просыпался въ холодной, темной конурѣ своего городского жилища.

— Помереть бы поѣхать на матушку землю,—мечталъ старикъ и зналъ, что не уѣдетъ. Денегъ на хлѣбъ не хватало. Съ работы того и гляди сгонять,—гдѣ ужъ о деревнѣ думать... И стучалъ битнемъ по камнямъ,—а думалъ о лѣсѣ, о пажитяхъ, о своихъ мужикахъ, о сочной, здоровой землѣ. Ходилъ часто во снѣ съ граблями, шѣлъ про свою полосу.

Но и память стала понемногу измѣнять старому Игнату. Уплывала деревня въ темную мглу, путалъ часто огороды. И не зналъ,—чьи избы стоятъ рядомъ: Сидорова ли съ Иваномъ Кожуномъ, или Петра съ Совухинымъ. Позабылъ и дорогу на свою полосу: то ли огородомъ пройти надо,—то ли въ Заполосье тропой обойти бугрень, спуститься въ овражекъ и подняться на холмъ... Стерлись въ памяти и лица мужиковъ. И не вѣрилось уже, что гдѣ-то еще стоятъ у рѣки родная деревня, съ соломенными кровлями, гдѣ-то живетъ свой народъ.

Стучалъ по камнямъ, и хоронилъ землю,—хоронилъ жизнь свою дѣдъ Игнатъ. Съ ненавистью и злобой глядѣлъ на широкія мощенныя улицы, на безконечный, подчинявшій себѣ, каменный городъ...

Поздно ночью приходила Иришка домой со своей работы. А иногда и до утра не видалъ ее Игнатъ. Голько въ праздники встрѣчалась съ дѣдомъ, молча передавала ему скопленные деньги, и молча принималъ ихъ старикъ.

Сидѣлъ у окна и вспоминалъ: Сидорова ли съ Кожуномъ, али Петра съ Совухинымъ избы рядомъ?..

— Иринка,—помнишь, чай?..

— Не помню, дѣдъ,—мотала головой Иринка и заваливалась спать на лавку.

Случилось такъ, что стоялъ дѣдъ Игнатъ у кабака и считалъ Иришкины мѣдяки, разбросавъ ихъ на ладони. Нутро жгло, выпить хотѣлось старику. Стоялъ, покачиваясь, у каменнаго крыльца и пѣлъ „Полосу“...

... Полоса ль ты, моя полоса.  
Нераспахана ты, сиротника...

Проходили какіе-то господа въ крытыхъ мѣхомъ пальто, и вѣтромъ ли донесло, или слухомъ ухватилъ дѣдъ Игнатъ ихъ короткія и страшныя слова:

— Не возьму. Желѣзный голодъ по всей странѣ,—а вы...

И прошли, и слились ихъ слова съ нѣмотой улицы.

Старикъ молча глядѣлъ вслѣдъ. Станнымъ и непонятнымъ было то, что слышалъ. Смотрѣлъ на дома, на грязную, выбитую ухабами мостовую улицы, на покосившіеся косяки крыльца трактира, и думалъ о новомъ, непонятномъ для него голодѣ.

— Ишь ты, желѣзный!—усмѣхался дѣдъ.

Казалось, на минуту,—все понялъ: и Иришкино заведеніе, и свою безработицу, и злыя лица рабочихъ съ завода. Понялъ тоску, таившуюся въ пустыхъ каменныхъ улицахъ, и глухую силу, согнавшую людей съ далекой, привольной земли на каменную, холодную землю. Зналъ только одинъ



голодъ хорошо зналъ,—голодъ хлѣба, голодъ пажити, незрѣвшихъ посѣвовъ. И вдругъ услышалъ, и понялъ, что есть еще другой, невѣдомый ему, чудовищный голодъ, отъ котораго застонетъ когда нибудь вся земля, и весь міръ испепелится тогда отъ этого ея послѣдняго стога...

Запиралъ гроши въ карманъ и пошелъ домой, къ своей внучкѣ...

— Желѣзный голодъ!—размышлялъ старикъ.—Дай объясню ей... Вся земля нынче голодной стала,—что въ деревнѣ, что въ городѣ,—все одно...

И вспоминалъ потомъ, какъ, подходя къ дому своему, еще со двора слышалъ изступленные крики Иришки. Вошелъ въ комнату. Толпились понятые у дверей. Полицейскій чинъ распоряжался арестомъ.

Иришка лежала на лавкѣ, синяя, потемнѣвшая, съ большими подтеками подъ глазами,—отбивалась и кричала...

— Застонала земля,—думалъ Игнатъ.—Зачала матушка, полосой пошла...

Подступилъ къ чину и робко спросилъ, почему берутъ его внучку? Но самого оттолкнули въ уголъ и приставили городского.

Видѣлъ дѣдъ, какъ взяли внучку, силкомъ обули, накиннули шубку и потащили къ дверямъ.

— Желѣзный голодъ,—шепталъ старикъ и крестился...

Иришка вырвалась.

— Шляпу... дайте шляпу!—кричала она. Оглядывалась осовѣвшими глазами и отыскивала шляпу...

— И такъ, красotka, хороша. Шляпу еще... Берите ее!—командовалъ полицейскій.

Вывели... Хлопнула дверь на взвизгнувшихъ петляхъ!—совсѣмъ какъ у старостинной избы... Затихли голоса... На улицѣ еще крикнули что-то, и не стало Иришки.

Дѣдъ стоялъ въ оторопи, въ углу...

— Пьяна была,—говорилъ онъ,—а то бы попрощалась...—криво ухмыльнулся...—Шляпу вспомнила, а дѣда забыла...

Вышелъ на улицу, воротился назадъ,—отыскалъ внучкину шляпу и опять пошелъ къ трактиру... По дорогѣ управлялъ помятыя поярковыя поля, и гладилъ по спинѣ большую, синюю птицу съ выпученными, стекляными глазами.

— Желѣзный голодъ!—шепталъ старикъ.—Ишь, забыла дѣда... Забыла!...

Въ трактирѣ велъ себя необычайно буйно—всегда спокойный и тихій дѣдъ Игнатъ. Опьянѣлъ отъ второго стакана и затѣялъ драку со своими же артельными ребятами. Тѣ не сопротивлялись, а смѣялись только, глядя какъ старое опьянѣвшее тѣло дѣда едва держалось на ногахъ. На немъ

былъ накинута синій ватошникъ, купленный у заболѣвшаго и вскорѣ умершаго каменщика, котораго онъ замѣнилъ въ работѣ. Синій кафтанъ раскидывалъ полы и сердился, казалось, больше, чѣмъ самъ Игнатъ. Онъ вдругъ надувался, топорщился, морщился, выпускалъ, казалось, изъ себя весь воздухъ, взмахивалъ рванными рукавами, оттопыривалъ сердито полы, опять надувался и топорщился,—будто силился излить весь свой гнѣвъ на головы сидѣвшихъ передъ нимъ гостей кабака, и тощая фигурка Игната жалко и безпомощно моталась въ сердитыхъ раздувшихся полахъ кафтана. Рабочіе хохотали, хохоталъ и самъ трактирщикъ, похожій на Степана Титова.

Размахивалъ руками дѣдъ, горланилъ на весь трактиръ, потомъ вдругъ затихалъ,—подходилъ къ кабатчику, опирался о прилавокъ и рассказывалъ что-то о желѣзномъ голодѣ.

— Обманулъ ты меня, старикъ,—говорилъ онъ укоризненно и долго пьяными глазами смотрѣлъ въ смѣявшееся лицо кабатчика. — Кабы знать напередъ,—началъ дѣдъ,—но запнулся, отвелъ взглядъ отъ купца, махнулъ рукой и, качаясь, пошелъ изъ трактира.

На улицѣ свѣжѣло. Глубокая ночь стояла надъ городомъ... Стлался клубами туманъ надъ рѣкой. Гдѣ-то гудѣлъ одинокій колоколь.

Бесѣдуя съ собою, медленно шелъ Игнатъ по улицѣ.

— Вотъ,—бугорочкомъ, бугорочкомъ,—говорилъ дѣдъ, пробираясь по кучѣ щебня.—Тутъ тебѣ сейчасъ плетень, а тамъ и полоса.

Вышелъ одинъ къ рѣкѣ, сѣлъ, усталый, на твердый камень... Плескалась волна... Горѣли далеко огни на другомъ берегу. Попробовалъ подняться Игнатъ и не смогъ: ломило въ плечахъ.

Прижался къ камню, легъ, склонилъ голову на кучу щебня и вспоминалъ деревню... Играло зарево огня на темныхъ тучахъ... Стучало въ головѣ,—будто били битнемъ по холодному камню... Ходили понурныя тѣни, и видѣлъ дѣдъ Игнатъ, какъ обступали его съ плачемъ и смѣхомъ, простигивали руки, просили хлѣба...—Все еще голодъ,—думалъ старикъ,—желѣзный голодъ.—Опорожнялъ карманы и бросалъ, что было. Тянулись, смѣялись и плакали... Ходили по камню, припадали къ землѣ, искали что-то руками...—Камень! Камень!—смѣялся и Игнатъ. Поверхъ всѣхъ видѣлъ лицо Иринки, опухшее, красное отъ слезъ...

— Есть мука-то, внучка?..—спрашивалъ старикъ,—и самъ качалъ головою, встрѣчая печальный взглядъ Иринки. А надъ городомъ пылало зарево, охватывало облака багряными отсвѣтами, дрожало въ черномъ небѣ.

— Обманула земля, Сидорычъ,—обманула!—смѣялся дѣдъ и похлопывалъ руками себѣ по бокамъ...—Ну, разойдись, разойдись,—на всѣхъ одного кармана не хватитъ.—И боясь, что отнимутъ, зажималъ руками пазуху и кричалъ сердито: не дамъ!..

— Не дамъ... самому не хватить...

Повурья отходили тѣни, глядѣлъ имъ вслѣдъ Игнатъ и качалъ головой:

— Обѣднѣлъ народъ,— отощалъ... Голодъ, родимые, голодъ.—Запускалъ руку въ карманъ, вытаскивалъ крошки и жевалъ губами...

— Иришку увезли... Кабы зналъ Митроха...—и жевалъ губами.

И опять приходили тѣни, протягивали руки, и отгонялъ ихъ отъ себя дѣдъ Игнатъ...

— Нѣту, нѣту больше... Внучку увезли... Ничего нѣту... Въ городъ, въ городъ ступай...

Разгоралось зарево. Гдѣ-то гудѣлъ колоколъ. И казалось старику, что надъ всѣмъ міромъ пылаетъ зарево, и гудитъ призывно великій колоколъ земли...

Тихо плескалась рѣка о камень.

Вл. Семичевъ.

## УВЛЕКСЯ!..

(Изъ записокъ адвоката).

— Разскажите, какъ случилось?

— Приобрѣлъ я книжный складъ. Заработокъ имѣть хотѣлъ... Немножко о культурѣ мечталъ... Привлекъ къ дѣлу жену. Хорошо вмѣстѣ... Книжки всѣ, конечно, строго легальныя. Постоянно по циркулярамъ, каталогамъ и дополненіямъ управленія по дѣламъ печати оба справлялись... Ни одной тѣни!—И вдругъ,—когда дѣло наладилось,—безъ предупрежденія, приказъ закрыть книжный складъ на основаніи положенія объ усиленной охранѣ!.. Зачѣмъ, почему?!...

— Можетъ быть, вы раньше были замѣшаны въ политикѣ?

— Ничего подобнаго.

— Васъ никогда не высылали?

— Ну, конечно!

— А жена?

— Прямо изъ института!

— Да, но вѣдь прикащики?

— Только одинъ, но и тотъ совершенно чистъ.

— Ну, хорошо, у васъ былъ всетаки обыскъ?

— Какое у насъ! Даже книгъ не смотрѣли! За „тенденціозный“ подборъ земскихъ библіотечекъ, когда заказывали. За духъ!.. За голый духъ!

— А послѣ закрытія склада васъ выслали?

— За что?!

— А другихъ?

— Конечно нѣтъ!.. Только складъ!..

— Мнѣ кажется, что губернаторъ безусловно вышелъ изъ предѣловъ власти... Положеніе объ усиленной охранѣ предусматриваетъ неблагонадежность людей, а не книгъ, выпущенныхъ чрезъ благонадежную цензуру. Дѣло ваше правое... Если бы имѣлась въ виду неблагонадежность людей, то ихъ прежде всего постигла бы кара... А наказывать одинъ книжный складъ... Все равно, что наказывать письменный столъ, а не автора прокламаціи!

— Что-же дѣлать?

— Подавайте жалобу на губернатора!

— На самого?

— Ну, конечно!

Онъ сидитъ и загадочно смотритъ на меня.

— И куда же подать ее?

— Въ Первый Департаментъ Сената и кромѣ того гражданскій искъ въ Соединенное присутствіе перваго и кассационныхъ...

— Думаете, уважать?..

— О нѣтъ, это трудно сказать... Когда нибудь... Уйдетъ... Но вѣдь ничего другого не остается...

— И губернатора спросить?

— Ого! Еще какъ! Вѣдь и гражданскій искъ! Будетъ ему работы отписываться, объяснять... Правда, вамъ придется платить судебныя издержки... И не мало...

Онъ весь вспыхиваетъ отъ удовольствія.

— Тогда пишите, пусть проиграемъ, пусть послѣднія деньги пропадутъ, только бы и онъ почувствовалъ надъ собой руку, да глаза постарше. А то вѣдь необузданный какой-то. Ни объясненій, ни просьбъ... Мы люди маленькіе, насъ не видно, онъ и топчетъ...

— И вамъ не страшно?

— Ничего, не съѣстъ! Пишите! Авось голову поломаешь, какъ-бы выпутаться...

— Да, я напишу. Только много времени вамъ ожидать...

— Не беспокойтесь...

Я беру бумагу. Онъ сидитъ и мечтаетъ.

— Самъ пойметъ, что зря... Сдѣлать глупость легко, а объяснить ее умно—трудно!.. Да-а... То-то нашъ городъ заговорить. Я—такой маленькій человѣчекъ, и вдругъ напелъ въ себѣ голосъ противъ губернатора. Самъ полиціймейстеръ, когда идетъ къ нему, все быстро, быстро крестится...— Угадай-ка настроеніе!—И вдругъ я, не смотря на все его настроеніе, спокойно говорю ему,—а ну-ка, отпишись! Есть и надъ тобой Сенатъ! Что, братъ, важничать?!... И даже не это! Просто: позвольте напомнить, что и мы люди...

— Послушайте,—обращаюсь я къ мечтателю, раскрывая четырнадцатый томъ.—Мнѣ придется посмотрѣть положеніе объ усиленной охранѣ, подумать... Вамъ лучше уйти,—часа черезъ два, не ранѣе. Потомъ вернетесь...

— Дождь на дворѣ...

— Какъ хотите...

— Не беспокойтесь обо мнѣ, я уйду...

Во всякой профессіи бываетъ работа мертвая и живая! Такая, что не знаешь, какъ ее начать и какъ кончить! Ходишь будто съ ущемленнымъ хвостомъ! Но случится и работа всего захватывающая, заставляющая забыть!..

И тогда ничего, кромѣ, нея не видишь, на все окружающее смотришь, точно шпорная лошадь съ наглазниками,—только впередъ, къ опредѣленной цѣли! Мысль сверлитъ мозгъ, руки холодѣютъ, голова становится горячей, въ душѣ стонетъ, и перо бѣжитъ и бѣжитъ по бумагѣ!.. И откуда-то приходитъ новая вѣра въ могущество правдиваго слова человѣческаго. Не можетъ быть, чтобы, услышавъ этотъ голосъ, остались глухи къ нему. Вѣдь здѣсь истина, а она всегда одна...

— Жалоба на губернатора! — На этого всесильнаго владыку цѣлой губерніи, жалоба отъ маленькаго человѣка, робкаго, всегда молчаливаго, забитаго, какъ могутъ быть забиты люди только въ глухой провинціи, откуда наппа столичная жизнь кажется раемъ!.. Да и есть рай!..

А жалоба на произволъ въ примѣненіи положенія объ усиленной охранѣ!—Это-ли можетъ не захватить?! Положеніе объ усиленной охранѣ, дающее такой широкій просторъ „усмотрѣнію“, безудержному властвованію—имѣетъ все-же свои границы! Катится море раскаленной, жгучей лавы, она слизываетъ своимъ огнемъ все на пути, но и для нея есть преграды и она должна войти въ свое русло! А вѣдь тутъ законъ! Кто-же какъ законъ не подзаконенъ!

За эти восемь лѣтъ жизнь страшно измѣнилась. А тогда?! Унылая печать глухо молчала. Во время публичныхъ обѣдовъ громко произносили тосты „за нее!“—шепотомъ добавляя сосѣду:—„за констѣтуцію“... И мечтали о Государственной Думѣ... Ротъ былъ завязанъ... И молчали, молчали и только молчаніемъ говорили... И не было исхода протесту!..

И на этотъ разъ жалоба властно захватила мою душу. А между тѣмъ писать ее случилось въ вечеръ, когда, казалось, такъ трудно было мнѣ увлечься именно какой-либо работой логики. Душа была встревожена...

За часъ или за два до писанія, когда уже смеркалось, неожиданно прѣхала двоюродная сестра, которую я зналъ только маленькой дѣвочкой. Теперь передо мной стояла мать семейства. Мы оба были изумлены громадной перемѣной другъ друга и, радостно возстановляя родственное знакомство, весело болтали. Бесѣда перешла на тайну развитія человѣка, потомъ смерти. Оказалось, вопросы смерти интересовали ее. Будучи въ Парижѣ, Лена съ увлеченіемъ читала журналы спиритовъ, со статьями профессоровъ. Вѣрила, подъ ихъ вліяніемъ, въ возможность передачи какой-то энергіи даже одиноко бродящимъ по комнатѣ столамъ, вѣрила въ голоса случайныхъ духовъ черезъ медиума.

Сначала я подшучивалъ, а затѣмъ ея убѣжденный тонъ произвелъ на меня впечатлѣніе. Какъ на неграмотнаго „убійственно“ дѣйствуетъ печатная строка, такъ на меня подѣйствовалъ... Парижъ!.. И когда она ушла, весь вечеръ я вспоминалъ обрывки ея разсказовъ, думалъ о спиритизмѣ...

Но вѣдь теперь я писалъ жалобу на „самого“ губернатора! И увлеченный ею, я писалъ и писалъ, не думая ни о чемъ другомъ.

Писалъ... Время шло. Подымая изрѣдка голову, я встрѣчалъ глазами, за свѣтомъ лампы, сумракъ угрюмыхъ обоевъ и простора кабинета... И даже въ этомъ сумракѣ, въ этой темнотѣ я чувствовалъ одно—„жалобу на губернатора“!..

Уже свѣтало...

Я писалъ и писалъ... Наконецъ, усталый потянулся и глянулъ въ сторону.—У меня въ комнатѣ на креслѣ сидѣлъ человѣкъ! Я видѣлъ его совершенно отчетливо, ясно. Даже—разглядѣлъ свѣтлые усы и бородку.

Я не вѣрилъ глазамъ.—Неужели галлюцинація! Чертъ возьми, да что же это такое?! Заработался?! Духи явятся?! Сума сошелъ!..

Я приглядѣлся. Да, точно живой! Сидитъ, какъ истуканъ! Человѣкъ! Настоящій человѣкъ! Только глаза оловянные... Страшные, фу, какіе страшные глаза мертвеца...

И я закричалъ не своимъ голосомъ.

Вбѣжали домашніе.

— Смотрите! Сидитъ?!

— Сидитъ!

— Лицо видите?!

— Конечно!..

Я схватилъ преспапье и подошелъ къ нему.

— Кто вы такой? Откуда явились?..

— Да вѣдь я тогъ, понимаете, что вы жалобу пишете!.. На губернатора!..

Онъ глядѣлъ теперь на меня испуганно, быть можетъ, какъ на сумасшедшаго...

— Батюшки! Вотъ что значить жалоба—„на губернатора“!.. Все на свѣтѣ забылъ, даже ваше лицо...

Онъ не обидѣлся и весело смѣялся...

— Я и самъ видѣлъ... Увлekлись! Вѣдь всю ночь. Не смѣлъ шелохнуться, помѣшать. Сидѣлъ, какъ статуя безчувственный, окаменѣлъ... Ноги отекли... Руки поднять не могу... И вдругъ въ меня преспапье!.. А все почему?... Оттого что на губернатора!..

И онъ былъ правъ. Тогда не было ничего увлекательнѣе „крѣпкой“ жалобы на „самого“ губернатора... На произволъ...

Владимиръ Беренштамъ.

## МѢСТНЫЙ КОЛОРИТЪ.

### Разсказъ.

— Не понимаю, почему вы не пускаете въ ходъ этотъ огромный запасъ рѣдкаго матеріала,—сказалъ я.— Не въ примѣръ многимъ, которые обладаютъ такого рода свѣдѣніями, вы умѣете разсказывать. Вашъ стиль настолько...

— Фельетонный?—прервалъ онъ иронически.

— Именно! Вы могли бы хорошо заработать на этомъ.

Онъ задумчиво скрестилъ руки, затѣмъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Я уже пробовалъ. Оказалось, что не стоитъ,—и послѣ небольшой паузы прибавилъ:—Мнѣ тогда заплатили, мою статью напечатали, а затѣмъ меня почтили двухмѣсячнымъ заключеніемъ въ хобо.

— Въ хобо?

— Въ хобо...—онъ уставился глазами на сочиненія Спенсера и, пробѣгая по корешкамъ названія ихъ, разсказалъ слѣдующее:—Хобо, мой милый, называется то помѣщеніе въ городскихъ острогахъ, въ которомъ содержатся бродяги, пьяницы, нищие и всякіе мелкіе жулики. Слово это само по себѣ звучитъ довольно красиво, а исторія его такова: Hautbois—французское слово; haut значитъ высокое, bois—дерево. На англійскомъ оно переходитъ въ „хотъ-бой“—музыкальный инструментъ. Отсюда только шагъ до слова «хо-бой», которое также употребляется въ англійскомъ языкѣ. Но обратите вниманіе на поразительный скачекъ, который дѣлаетъ «хотъ-бой» или «хо-бой»: перейдя океанъ, оно становится въ Нью-Іоркѣ кличкой ночного мусорщика. Въ этомъ, повидимому, сказалось презрительное отношеніе американцевъ къ бродячимъ музыкантамъ и пѣвцамъ. Обратите вниманіе на всю прелесть и значеніе этого факта: ночной мусорщикъ, паря, человѣкъ-отребье, отверженный—«хобой». Въ всемъ послѣдующемъ воплощеніи, слово это, совершенно послѣдовательно и логично, примѣняется къ отверженцу американской жизни—къ бродягѣ, къ трампу. Далѣе, подобно тому, какъ другіе извратили смыслъ слова, такъ трампъ извращаетъ его форму, и «хобой» лихо переходитъ въ «хобо». Вотъ почему онъ называется «хобо» тѣ большія каменные камеры, съ нарами въ два и три яруса, въ которыхъ законъ держитъ его въ заключеніи. Не правда ли это интересно?



Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на этого челоѡка съ энциклопедическими познаніями, на этого Лейта Клэй-Рандольфа, простаго трампа, который въ моемъ жилищѣ чувствовалъ себя, какъ дома, приводилъ въ восхищеніе друзей, собиравшихся за моимъ скромнымъ столомъ, затмевалъ меня благородствомъ своихъ манеръ, тратилъ мои карманныя деніги, курилъ мои лучшія сигары и со вкусомъ истиннаго знатока выбиралъ себѣ галстуки изъ моего гардероба. Онъ подошелъ къ книжному шкапу и сталъ перелистывать попавшую ему подъ руку книгу Лоріа—«Экономическія основы общества».

— Люблю я съ вами бесѣдовать,—проговорилъ онъ.—Ваши знанія не случайны. Вы много читали, и ваше экономическое пониманіе исторіи, какъ вамъ угодно это называть—(эти слова онъ произнесъ нѣсколько иронически),—даетъ вамъ возможность смотрѣть на жизнь съ интеллектуальной точки зрѣнія. Но ваши сужденія въ области социологіи хромаютъ благодаря тому, что у васъ мало практическаго опыта. Что же касается меня, то будучи знакомъ съ книгами, простите, нѣсколько лучше васъ, я знаю въ то же время и жизнь. Я изжилъ ее, я бралъ ее нагую и разсматривалъ ее, пробовалъ на вкусъ ея плоть и кровь и, будучи чистокровнымъ интеллигентомъ, я отнесся къ ней безъ страсти, но и безъ предубѣжденія. Это необходимо для яснаго пониманія жизни, а въ васъ именно этого то и нѣтъ. Ахъ, вотъ замѣчательное мѣсто, послушайте.

И онъ сталъ читать. Читалъ онъ поразительно, сопровождая текстъ бѣглой критикой и комментаріями, выясняя и упрощая, благодаря прекрасной дикціи, самые трудные, запутанные періоды, всесторонне освѣщая сюжетъ, подчеркивая ошибки автора, указывая на непредусмотрѣнныя имъ возраженія, сближая и связывая далеко разбросанныя концы мысли, доводя контрасты до парадоксальности и переводя ихъ потомъ въ ясныя краткія истины,—однимъ словомъ, зажигая яркимъ огнемъ дотолѣ скучныя, тяжелыя, безжизненныя страницы.

Прошло уже много времени съ тѣхъ поръ какъ Лейтъ Клэй-Рандольфъ впервые постучался въ Айдлуайлдъ съ задняго крыльца и тотчасъ же покорилъ сердце Гунды. Гунда же была холодна, какъ ея родныя норвежскія горы, но, въ моменты наименѣ ледянаго настроенія, она все же была способна позволить трампу, который поприличіи, посидѣть на ступенькахъ кухоннаго крыльца и поѣсть корки хлѣба и давнія, завалявшіяся котлеты. Но чтобы бродяга проникъ въ ея святая святыхъ, въ ея кухонное царство, чтобы она запоздала съ обѣдомъ ради того, чтобы приготовить ему уютный уголокъ въ кухнѣ,—это было такимъ необычайнымъ событіемъ, что «Подсолнухъ» пошла посмотреть, что это значитъ. О, «Подсолнухъ», мягкое сердце, сострадательная душа! Лейтъ Клэй-Рандольфъ держалъ ее подъ своими чарами цѣлыхъ пятнадцать минутъ, въ то время, какъ я недовольно потяги-

валъ свою сигару. Затѣмъ она тихо вернулась въ комнату и стала бормотать что то непонятное, между прочимъ, объ одномъ изъ моихъ старыхъ костюмовъ, который, молъ, мнѣ, навѣрное, никогда больше не понадобится...

— Конечно, навѣрное не понадобится,—отвѣтилъ я; при этомъ я имѣлъ въ виду свой темно-сѣрый костюмъ, у котораго карманы были протерты книгами, тѣми книгами, изъ за которыхъ мои рыболовныя экспедиціи такъ часто оканчивались неудачей.—Однако, я бы посоветовалъ вамъ сперва починить карманы,—прибавилъ я.

Но при этихъ словахъ лицо „Подсолнуха“ омрачилось.

— Нѣ-этъ,—проговорила она:—Я говорю о черномъ.

— О черномъ!—воскликнулъ я, не вѣря своимъ ушамъ.—Но вѣдь я самъ очень часто ношу его. Я даже сегодня вечеромъ собирался его надѣть.

— Милый, но вѣдь у васъ есть еще два костюма лучше этого и при томъ, вы знаете, что я никогда его не любила; кромѣ того, онъ уже блеситъ...

— Блеститъ?

— Ну... все равно, онъ вотъ-вотъ будетъ блестѣть. А этотъ человѣкъ дѣйствительно заслуживаетъ вниманія. Онъ такой славный и благовоспитанный и я увѣрена, что онъ...

— Что онъ видѣлъ лучшіе дни?

— Да. На дворѣ такая скверная сырая погода, а его платье совсѣмъ износилось. У васъ же такъ много костюмовъ...

— Пять,—поправилъ я,—считая, при этомъ, и сѣрый рыболовный костюмъ съ протертыми карманами.

— А у него ни одного нѣтъ и своего угла нѣтъ, ничего нѣтъ...

— Ни даже своего Подсолнуха,—я обнялъ ее за талію:—А потому для него нельзя жалѣть. Дайте ему черный костюмъ, дорогая, нѣтъ дайте ему мой самый лучший костюмъ. Онъ въ самомъ дѣлѣ имѣетъ право на большую компенсацію.

— Милый!—и „Подсолнухъ“ пошла къ двери, но пріостановилась и, оглянувшись, ласково прибавила:—Какой вы милый!

Когда она вернулась, у нея былъ робкій и виноватый видъ.

— Я... я дала ему одну вашу бѣлую сорочку. На немъ была такая отвратительная ситцевая рубаша, что онъ выглядѣлъ бы совсѣмъ смѣшнымъ. Затѣмъ его ботинки совершенно износились и я дала ему пару вашихъ, знаете, тѣ старые съ узкими носками...

— Старые!?

— Ну что же, вѣдь они терли вамъ ногу, вы сами всегда жаловались!

„Подсолнухъ“ была всегда права.

Такимъ образомъ Лэйтъ Клэй-Рандольфъ поселился у насъ въ Ай-длуайлдъ. Надолго-ли, я не могъ этого знать, какъ не могъ знать, будетъ ли онъ появляться часто, ибо онъ былъ настоящей бродячей кометой. Появлялся онъ у насъ то прилично одѣтымъ,—это когда онъ передъ тѣмъ побывалъ у какихъ-нибудь богатыхъ людей, которые, подобно мнѣ, находились въ числѣ его друзей, то усталымъ, обносившимся—послѣ какой-нибудь утомительной прогулки пѣшкомъ изъ Монтаны или изъ Мексики. Когда же его вновь охватывала страсть къ бродяжничеству, онъ попросту уходилъ себѣ въ тотъ большой таинственный низшій свѣтъ, который онъ называлъ „большой дорогой“.

— Я не могу уйти, не поблагодаривъ васъ сперва за вашу доброту и великодушіе,—сказалъ онъ мнѣ въ тотъ вечеръ, когда ему достался мой лучшій черный костюмъ.

Признаюсь, я былъ пораженъ, когда, взглянувъ поверхъ газеты, я увидѣлъ передъ собою чрезвычайно корректнаго господина съ свободными, непринужденными манерами и высокимъ, яснымъ лбомъ. „Подсолнухъ“ была права. Этотъ человѣкъ, безъ сомнѣнія, зналъ лучшие дни, иначе черный костюмъ и бѣлая сорочка не произвели бы подобнаго превращенія. Я невольно всталъ.

Тогда чары Клей-Рандольфа овладѣли и мною. Эту ночь, а также и слѣдующую и много другихъ ночей онъ ночевалъ въ Ай-длуайлдъ. «Сынъ Анака», онъ же «Голубоглазый», или по просту «Крошка», бѣгалъ съ нимъ възпуски по цвѣтнику и по салу, совершалъ надъ нимъ на лужайкѣ съ дикими, варварскими криками, операцію скальпированія, и однажды съ истинно фарисейскимъ усердіемъ чуть-чуть не распялъ его на перекладинѣ чердака. „Подсолнухъ“ полюбила бы его ради „сына Анака“, если бы только она уже и такъ не любила его. А что касается меня, то спросите сами у «Подсолнуха», какъ часто, когда онъ долго не бываетъ у насъ, я спрашиваю: когда же, наконецъ, придетъ Лэйтъ, этотъ славный нашъ Лэйтъ.

Въ то же время мы ровно ничего о немъ не знали. Прошрое его было намъ совершенно неизвѣстно, за исключеніемъ того, что онъ родился въ Кентукки. О своемъ прошломъ онъ никогда не говорилъ. Онъ гордился тѣмъ, что его разумъ и чувства не имѣли никакого отношенія другъ къ другу. Весь міръ представлялся ему въ видѣ научныхъ проблемъ.

Однажды, когда онъ бѣшено носился по комнатѣ съ «Сыномъ Анака» на плечахъ, я обвинилъ его въ томъ, что и у него могутъ подчасъ проявляться чувства. Онъ, однако, сталъ это отрицать: почему бы ему не разрѣшать себѣ иногда чувственныя удовольствія, хотя бы ради выясненія тѣхъ же проблемъ?

Онъ былъ для насъ совершенно непонятенъ. Онъ могъ употреблять

выраженія изъ самаго невозможнаго жаргоннаго лексикона, какъ и выражаться вполне изысканно, или употреблять техническіе термины.

По временамъ, рѣчь, лицомъ, выраженіями онъ могъ производить впечатлѣніе самаго низкаго преступника, то, наоборотъ казаться, просвѣщеннымъ, благовоспитаннымъ джентльменомъ, то философомъ или ученымъ. Однако, въ немъ иногда вспыхивало что-то, чего я, правда, никогда не могъ вполне уловить, какіе то, казалось мнѣ, проблески искренности, истиннаго чувства, которые исчезали прежде, чѣмъ я успѣвалъ ихъ подмѣтить. Можетъ быть, это были отблески того, чѣмъ онъ былъ въ прошломъ, или слѣды челоуѣка, притавшагося за маску. Однако, маску свою онъ никогда не приподнималъ, и кѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности, такъ и осталось для всѣхъ навсегда неизвѣстнымъ.

— Но вернемся къ вашему тюремному заключенію, которое принесъ вамъ журнализмъ. Расскажите мнѣ это и бросьте Лоріа.

— Хорошо, если вамъ такъ хочется.

Онъ перебросилъ нога за ногу и разсмѣялся короткимъ смѣхомъ.

— Въ одномъ городѣ, который пусть останется безымяннымъ, тысячь въ пятьдесятъ жителей, въ славномъ, красивомъ городѣ, въ которомъ мужчины продають себя въ рабство за деньги, а женщины за платья, мнѣ пришла въ голову одна идея.

Чело мое было высоко и импозантно, а карманы были пусты. Я вспомнилъ, что однажды я собрался было написать статью и въ ней примирить Канта со Спенсеромъ. Я, разумѣется не хочу этимъ сказать, что ихъ дѣйствительно можно примирить, но тутъ представлялся случай для научной сатиры...

Я нетерпѣливо махнулъ рукой, онъ продолжалъ.

— Я только хотѣлъ описать вамъ мое тогдашнее настроеніе ума, чтобы вамъ яснѣе былъ генезисъ послѣдующаго. Ну-съ, пришла мнѣ въ голову идея: не написать ли мнѣ очеркъ изъ жизни трамповъ для какой-нибудь газеты? Напримѣръ: „О непримиримости Констэбля и Трампа“?! И вотъ я отправился въ одну редакцію. Лифтъ поднялъ меня до небесъ; дверь сторожилъ Церберъ въ лицѣ худосочнаго молодого челоуѣка. При бѣгломъ взглядѣ на него я понялъ, что у него чахотка, ирландская безграничная выдержка, несомнѣнное упрямство, и что онъ умретъ въ нынѣшнемъ же году.

— Блѣднолицый юноша,—сказалъ я,—молю тебя, укажи мнѣ путь въ святая святыхъ, я хочу говорить съ всевышнимъ властителемъ.

Онъ кинулъ на меня презрительный взглядъ и тономъ безграничной скуки проговорилъ:

— Спросите швейцара: газъ меня не касается.

— Бѣлоснѣжный, я не о газѣ, я къ редактору.

— Къ которому редактору?—спросилъ онъ съ рѣзкостью молодого булль-терьера.—Къ драматическому? Спортивному? Свѣтскому? Воскресному? Ежедневному? Ежедневному? Телеграфному? Мѣстному? Новостей? Передовыхъ? Къ которому?

Къ которому—я и самъ не зналъ. „Къ редактору“, повторилъ я упрямо. „Къ единственному редактору“.

— Аа, къ Спарго!—догадался онъ.

— Ну, разумѣется, къ Спарго,—отвѣтилъ я.—Къ кому же еще?

— Давайте вашу карточку.

— Мою... что?

— Вашу карточку, говорю. Да вамъ, собственно, что нужно?

Тутъ худосочный Церберъ такъ нахально оглянулъ меня съ головы до ногъ, что я взялъ его за шиворотъ и поднялъ со стула. Я постучалъ кулакомъ по его костлявой груди и извлекъ оттуда слабый, судорожный кашель. Онъ однако глядѣлъ на меня все такъ же вызывающе, совсѣмъ какъ зажатый въ рукѣ, но непримиримый воробей.

— Я роковое Время,—сказалъ я ему замогильнымъ голосомъ.—Смотрите, чтобы я не стукнулъ слишкомъ сильно.

— Ну? А я васъ не знаю,—проговорилъ онъ съ язвительной усмѣшкой.

Тогда я хорошенько встряхнулъ его, такъ что онъ задохнулся и лицо его побагровѣло.

— Что же вамъ нужно отъ меня,—спросилъ онъ, когда нѣсколько отдышался.

— Хочу видѣть Спарго, единственнаго Спарго.

— Тогда пустите меня; я пойду посмотрю, тамъ ли онъ.

— Нѣтъ, не пойдете, бѣлоснѣжный,—я крѣпче сжалъ его за шиворотъ:—Штукъ мнѣ не выкидывать, поняли? Я пойду съ вами.

Лѣйтъ мечтательно уставился на пепелъ своей сигары, затѣмъ неожиданно проговорилъ:

— Вы, Анакъ, совершенно не въ состояніи понять, какое удовольствіе быть шуткомъ, разыгрывать клоуна. Вы бы этого не сумѣли сдѣлать даже при полномъ желаніи. Вамъ мѣшали бы ваши жалкія условности и понятія о пристойности. Для того, чтобы свободно отдаваться шуткамъ и корчить дурака, безъ всякихъ соображеній о возможныхъ послѣдствіяхъ, требуется прежде всего не быть ни домовладѣльцемъ, ни мирнымъ и законо-послушнымъ гражданиномъ.

Итакъ, мнѣ удалось увидѣться съ единственнымъ Спарго. Это былъ большой, толстый, краснолицый субъектъ, съ широкими челюстями и двойнымъ подбородкомъ. Онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и потѣлъ, хотя

и былъ безъ пиджака. Дѣло было въ августѣ. Когда я входилъ, онъ говорилъ, или вѣрнѣе ругался въ телефонъ и въ то же время внимательно разглядывалъ меня. Затѣмъ, повѣсивъ трубку, онъ сталъ выжидательно смотреть на меня.

— Вы очень занятый человѣкъ,—сказалъ я.

Онъ рѣзко кивнулъ головой и сталъ ждать.

— А въ концѣ концовъ, стоитъ ли такъ работать?—продолжалъ я.—Что такое жизнь, чтобы изъ за нея такъ потѣть? Какое оправданіе находите вы въ потѣ? Посмотрите на меня—я не потѣю, не сѣю, не жну...

— Кто вы такой и что вы такое?—закричалъ онъ вдругъ рѣзко и грубо, точно залааялъ большой сердитый песъ.

— Вопросъ весьма резонный, сэръ,—признался я.—Во первыхъ, я человѣкъ; во вторыхъ, я свалившійся внизъ американскій гражданинъ. Я не обремененъ ни профессіей, ни занятіемъ, ни надеждами. У меня, подобно Исаву, не бываетъ похлебки. Жительство имѣю всюду—кровомъ мнѣ служить сводъ небесъ. Я одинъ изъ многихъ, лишенныхъ имущества, санюлотъ, пролетарій или, если для васъ это понятнѣе—трампъ.

— Какого чор...?

— Благородный сэръ, я трампъ, т. е. человѣкъ, идущій по кривому пути, живущій Богъ знаетъ гдѣ и...

— Да перестаньте!—вскричалъ онъ.—Что вамъ нужно?

— Мнѣ нужно денегъ.

Онъ вздрогнулъ и протянулъ руку къ полуоткрытому ящику письменнаго стола, гдѣ у него вѣроятно лежалъ револьверъ; но вдругъ одумался и пробурчалъ:

— Здѣсь не банкъ.

— Да я и не собираюсь продавать процентныя бумаги. За то у меня, сэръ, есть идея, которую я, съ вашего позволенія и при вашей помощи, хочу превратить въ звонкую монету. Ну, словомъ, что вы скажете объ очеркѣ изъ жизни трамповъ, написанномъ самымъ подлиннымъ трампомъ. Готовы ли вы принять его? Жаждутъ ли его ваши читатели? Или они счастливы и безъ онаго?

Сначала я было подумалъ, что съ нимъ сдѣляется ударъ; но онъ сдержалъ свою бушующую кровь и сказалъ, что ему нравится мое нахальство. Я поблагодарилъ его и замѣтилъ, что мнѣ самому оно тоже нравится. Потомъ онъ протянулъ мнѣ сигару и сказалъ, что, пожалуй, онъ не прочь со мною поработать.

— Но замѣьте себѣ,—сказалъ онъ, сунувъ мнѣ въ руку пачку бумаги и карандашъ, который онъ вынулъ изъ кармана жилетки.—Помните, что мнѣ не нужны выпрєннїя философскїя разсужденїя, а у васъ, я замѣтилъ, есть

къ нимъ нѣкоторое пристрастіе. Придайте своей работѣ мѣстный колоритъ, яркій мѣстный колоритъ; прибавьте, пожалуй, немного чувства, но никакихъ разглагольствованій по политической экономіи, о разслоеніи общества и т. п. Нужно, чтобы вашъ очеркъ былъ точенъ, конкретенъ, чтобы все въ немъ жило, двигалось, ходило, чтобы онъ былъ свѣжъ, интересенъ и хрустѣлъ. Идетъ?

Я сказалъ, что идетъ, и занялъ у него долларъ.

— Помните, мѣстный колоритъ!—крикнулъ онъ мнѣ вдогонку, когда я уже выходилъ. И вотъ, сэръ, мѣстный колоритъ-то меня и погубилъ.

Когда я подходилъ къ лифту, малокровный Церберъ сдѣлалъ насмѣшливую рожу.

— Что выставили васъ, а?

— Нѣтъ, блѣднотлицый юноша, нѣтъ, моя бѣлая лилія. Не выставили, а дали порученіе. Черезъ три мѣсяца буду у васъ редакторомъ и тогда вы у меня запляшете!

Когда лифтъ остановился этажомъ ниже, чтобы принять двухъ дѣвицъ, онъ подошелъ къ спуску лифта и безъ всякихъ вступленій и лишннихъ разглагольствованій послалъ меня ко всѣмъ чертямъ. Но мнѣ онъ все-таки нравился. Онъ былъ смѣлъ и умѣлъ постоять за себя, а кромѣ того, онъ зналъ такъ же хорошо, какъ и я, что смерть уже стояла у него за плечами,

— Но какъ могли вы, Лэйтъ,—спросилъ я, живо представляя себѣ лицо несчастнаго чахоточнаго юноши,—какъ могли вы обращаться съ нимъ такъ жестоко?

Лэйтъ сухо разсмѣялся,

— Милый мой, у васъ на все какія то путанья понятія. Вы находитесь всецѣло во власти ортодоксальныхъ чувствъ, не говоря уже о вашемъ темпераментѣ. Вы совершенно неспособны стать на раціональную точку зрѣнія. Церберъ? Тьфу! какая то потухающая искра, какая то полуживая тля, полумертвый, едва-едва дышащій организмъ—просто пустой вздохъ или звукъ—и больше ничего...

— А мѣстный колоритъ?

— Совершенно вѣрно. Не давайте мнѣ уклоняться въ сторону. Итакъ, я взялъ данную мнѣ пачку бумаги, пошелъ на вокзалъ (ради мѣстнаго колорита, конечно), усѣлся на ступеньки спальнаго вагона съ боковыми дверями (такъ называются у насъ товарные вагоны) и сталъ писать свое произведеніе. Вышло, конечно, и остроумно и блестяще и прочее такое, благодаря разсыпаннымъ повсюду мѣткимъ ударамъ современному государственному устройству и социальнымъ парадоксамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, достаточно конкретно, чтобы не понравиться среднему обывателю. Съ точки зрѣнія трампа мѣстная полиція должна представляться совершенно никуда негодной, и

я сталъ раскрывать добрымъ гражданамъ глаза на нее. Можно доказать математически, что обществу стоитъ гораздо дороже задержаніе и судъ надъ трампами и затѣмъ содержаніе ихъ въ тюрьмѣ, чѣмъ стоило-бы ихъ содержаніе, въ тотъ же промежутокъ времени въ лучшихъ отеляхъ. Эту истину я подробно развилъ, привелъ факты и цифры, жалованье полицейскихъ и расходы по ихъ передвиженію, стоимость содержанія суда и тюрьмы. Это было убѣдительно и вмѣстѣ съ тѣмъ правдиво, было написано съ такимъ легкимъ юморомъ, что нельзя было не смѣяться, а жало все таки оставалось. Я доказывалъ, что главнымъ недостаткомъ современнаго общества является обираніе трампа. Тѣ крупныя суммы, которыя общество затрачиваетъ на трампа, должны бы давать этому послѣднему возможность жить въ роскоши, вмѣсто того, чтобы погибать въ тюрьмѣ. По самымъ строгимъ расчетамъ моимъ выходило, что онъ имѣлъ бы возможность не только жить въ лучшихъ отеляхъ, но еще выкуривать въ день по двѣ гаванскія сигары, въ двадцать пять центовъ каждая, и позволять себѣ ежедневно чистку сапогъ на десять центовъ, и все таки это стоило бы дешевле, чѣмъ содержаніе суда и тюрьмы. Какъ оказалось въ послѣдствіи, плательщики налоговъ не пропустили этого мимо ушей.

Одного изъ мѣстныхъ констэблей, я списалъ прямо съ натуры, не забывъ я и нѣкоего Соля Глэнхарта. Худшаго полицейскаго судьи, пожалуй, во всей нашей странѣ не найти; это я могу удостовѣрить, ибо опытъ у меня въ этомъ отношеніи очень большой. Его хорошо знали не только мѣстные трампы: его гражданскіе грѣхи были извѣстны всюду и являлись живымъ укоромъ для всего населенія города. Я, разумѣется, не назвалъ ни его имени ни мѣста жительства и нарисовалъ безличный, собирательный портретъ, хотя ни въ одномъ читателѣ не могло остаться сомнѣнія относительно моей вѣрности мѣстному колориту. Я самъ былъ трампомъ и, само собою разумѣется, что все мое произведеніе являлось протестомъ противъ преслѣдованія трамповъ. Кольнувъ обывателей въ чувствительное мѣсто—въ карманъ, я сдѣлалъ ихъ воспримчивыми къ чувству, и затѣмъ ужъ напустилъ въ статью чувства, массу чувства. Повѣрьте, что все было написано прекрасно..

Между прочимъ и портретъ Соля Глэнхарта тоже вышелъ настолько схожъ, что не узнать его не было возможности. Отзвываясь я о немъ, между прочимъ, слѣдующимъ образомъ: «толстая, кривоногая гарпія», «общественный грѣшникъ, юристъ—палачъ», «человѣкъ съ этическими понятіями, достойными кафе-шантана, и съ такимъ чувствомъ чести, котораго стыдился бы любой воръ», «сообщникъ крупныхъ акулъ, искупающій свои грѣхи тѣмъ, что заполняетъ тюрьмы несчастными бѣдняками», и т. д., и т. д.. Признаюсь, мой стиль былъ патетиченъ и, пожалуй, въ немъ не было того достоинства, съ которымъ пишутся трактаты о «Прибавочной стоимости» и объ



„Заблужденіяхъ марксизма“; за то это былъ какъ разъ тотъ стиль, который такъ цѣнитъ милая толпа.

— Хмъ!—промычалъ Спарго, когда я сунулъ ему въ лапу свою рукопись.—Скачете вы быстрымъ аллюромъ, мой милый!

Я уставился гипнотическимъ взглядомъ на его жилетный карманъ, и онъ протянулъ мнѣ одну изъ своихъ превосходныхъ сигаръ, которую я и выкурилъ, пока онъ читалъ мою рукопись. По временамъ онъ испытующе поглядывалъ на меня поверхъ листовъ, но пока не кончилъ чтенія, не проронилъ ни слова.

— Гдѣ вы прежде работали?

— Это моя проба пера,—отвѣтилъ я скромно, почесывая ногу съ видомъ замѣшательства.

— Проба... чертъ! Сколько жалованья хотите?

— Ну, нѣтъ-ужъ: служить на жалованьи,—не по мнѣ, очень вамъ признателенъ. Я вольный, падшій американскій гражданинъ, и никто никогда не можетъ владѣть мною и моимъ временемъ.

— За исключеніемъ г-на Закона, однако?

— За исключеніемъ г-на Закона.

— А почему вы знали, что я веду кампанію противъ полицейскаго правленія?

— Я этого не зналъ, но зналъ, что вы къ этому готовитесь. Вчера утромъ, одна добросердечная женщина преподнесла мнѣ три бисквита, кусокъ сыра и ломтикъ шоколаднаго кэкса, и все это было завернуто въ свѣжій номеръ „Клэриона“. „Клэр'онъ“ былъ исполненъ злобнымъ весельемъ по поволу того, что кандидатъ въ начальники полиціи, предлагаемый „Каубэллемъ“, провалился. Такимъ образомъ я узналъ, что предстоятъ городскіе выборы и, сложивъ два и два, получилъ четыре; т. е. если будетъ новый городской голова надлежащаго сорта, то будутъ и новые полицейскіе попечители; если будетъ новый начальникъ полиціи, то имъ станетъ кандидатъ „Каубэлля“; значитъ вамъ надо не зѣвать.

Спарго всталъ, пожалъ мнѣ руку и опорожнилъ свой туго набитый жилетный карманъ; я спряталъ сигары и продолжалъ курить свой окуркъ.

— Мы васъ принимаемъ,—воскликнулъ онъ радостно и, похлопывая рукою по моей рукописи, прибавилъ:—Вотъ эта вещь будетъ первымъ выстрѣломъ избирательной кампаніи и вамъ предстоитъ произвести еще много такихъ выстрѣловъ, прежде чѣмъ мы добьемся побѣды. Такого, какъ вы, я ждалъ уже многіе годы. Пожалуйста къ намъ на передовыя статьи.

Я отрицательно покачалъ головой.

— Пожалуйста, говорю вамъ,—крикнулъ онъ рѣзко.—Нечего вамъ ломаться

Вы должны остаться при „Каубэллѣ“. „Каубэлль“ нуждается въ васъ и не успокоится, пока не заполучитъ васъ. Что вы говорите?

Однимъ словомъ онъ долго боролся со мной, но я былъ твердъ, какъ скала, и черезъ полчаса Спарго пришлось сдаться.

— Но помните,—сказалъ онъ—что если вы когда нибудь передумаете, я къ вашимъ услугамъ. Гдѣ бы вы тогда ни находились, телеграфируйте, и я тотчасъ же вышлю вамъ червонцы на дорогу.

Я поблагодарилъ его и попросилъ его заплатить мнѣ за статью.

— У насъ, знаете, принято платить гонараръ въ ближайшій четвергъ по напечатаніи“.

— Въ такомъ случаѣ, мнѣ придется побезпокоить васъ просьбой дать мнѣ немного денегъ до...

Онъ посмотрѣлъ на меня съ улыбкою.

— Лучше сейчасъ раскошелиться, такъ, что ли?

— Именно,—отвѣтилъ я.—Кто станетъ потомъ устанавливать мою личность? Давайте лучше сейчасъ наличными.

И я получилъ таки наличными — тридцать долларовъ, милый Анакъ. Получилъ и ушелъ.

— Блѣднолицый юноша,—сказалъ я Церберу.—Меня вышвырнули вонъ,—онъ при этомъ извѣстіи скривилъ лицо въ довольную гримасу.—А въ свѣдѣтельство искренняго уваженія къ вамъ, примите этотъ небольшой (глаза юноши налились кровью и онъ быстро поднялъ руку, чтобы защитить свою голову), подарокъ.

Я собирался сунуть ему въ руку золотой въ пять долларовъ, но къ моему удивленію онъ воскликнулъ, оскаливъ зубы:

— А—а, оставьте эту гадость для себя.

— Вы мнѣ нравитесь все больше и больше,—проговорилъ я, вынимая еще одинъ золотой.—Вы, просто, совершенство. Но вы должны это принять.

Онъ отступилъ на шагъ назадъ, бормоча что то въ отвѣтъ, но я схватилъ его за шею, пригнулъ его такъ, что у него совсѣмъ остановилось дыханіе и сунулъ ему въ карманъ золотыя монеты. Но едва лифтъ началъ спускаться, какъ обѣ монеты зазвенѣли по крышѣ клѣтки и затѣмъ полетѣли внизъ. Къ счастью дверка была незаперта и мнѣ удалось ихъ поймать на лету.

Мальчикъ-проводникъ при этомъ вытаращилъ глаза.

— Я привыкъ такъ ловить деньги,—сказалъ я, кладя монеты въ карманъ.

— Какой-то дуракъ уронилъ ихъ,—прошепталъ онъ, не свсѣмъ еще оправившись отъ изумленія.

— Это очевидно,—согласился я.

— Я возьму ихъ на храненіе,—вызвался онъ.

— Глупости!

— Давайте лучше ихъ сюда, иначе я остановлю лифтъ,—пригрозилъ онъ.

— Хмъ!

Но онъ дѣйствительно остановилъ лифтъ.

— Молодой человѣкъ,—сказалъ я тогда,—у васъ есть мать?—Его лицо приняло вдругъ такое серьезное выраженіе, какъ будто онъ сожалѣлъ о своемъ поступкѣ; я же, чтобы произвести на него наивозможно сильное впечатлѣніе, сталъ медленно засучивать правый рукавъ.

— Вы готовы умереть?—Я сгорбился и сдѣлалъ шагъ къ нему.—Одна минута, всего одна минута отдѣляетъ васъ отъ вѣчности—я сдѣлалъ еще шагъ впередъ и занесъ надъ нимъ руку.—Молодой человѣкъ, черезъ тридцать секундъ я вырву изъ вашей груди сердце и когда услышать вашъ крикъ, душа ваша будетъ уже въ аду.

На него это подѣйствовало; онъ быстро повернулъ рычагъ, лифтъ спустился внизъ съ быстротою молніи и я очутился на улицѣ. Какъ видите, Анакъ, я не могу избавиться отъ привычки оstarлять по себѣ яркія воспоминанія. Забыть меня никто не можетъ.

Едва я дошелъ до угла, какъ за моей спиной раздался знакомый голосъ:

— Алло, Синдерсъ (Синдерсъ—была моя кличка). Куда путь держите?

Это былъ Чи-Слимъ, вмѣстѣ съ которымъ меня когда то выбросили изъ товарнаго поѣзда въ Джэксонвилъ.

— На Югъ,—отвѣтилъ я.—А какъ поживаетъ Слимъ?

— Плохо. Быки злы.

— А гдѣ стая?

— Ждутъ. Я васъ умудрю.

— А кто у васъ головнымъ журавлемъ?

— Я.

Тутъ мнѣ пришлось остановить потокъ жаргона моего пріятеля и взмолиться:

— Пожалуйста, переведите это. Не забывайте, что я иностранецъ.

— Съ удовольствіемъ,—проговорилъ онъ весело.—Слиму не гезетъ. Быкъ значить полицейскій; полицейскіе, по его словамъ, пристають. Я спрашиваю, гдѣ стая, т. е. компанія, съ которой онъ теперь бродяжитъ. Умудрить, значить проводить, куда нужно. Головной журавль значить вожакъ, атаманъ.

Мы вышли за городъ и направились къ небольшой рожицѣ, вся стая ждала здѣсь. На обоихъ берегахъ журчащаго ручейка, удобно расположилось человѣкъ двадцать рослыхъ хобо.

„Эй ребята!“ обратился къ нимъ Слимъ. „Вставайте, живо! Это Синдерсъ, нужно не ударить лицомъ въ грязь передъ нимъ“.

Это значило, что хобо должны разбрестись и выпросить достаточную

сумму, чтобы съ честью отпраздновать мое возвращеніе въ ихъ лоно послѣ годового отсутствія. Но я высыпалъ свои деньги и Слимъ послалъ нѣсколько человѣкъ, изъ наиболѣе молодыхъ, за напитками. Можете, Анакъ не сомнѣваться въ томъ, что въ этотъ день въ Царствѣ Трамповъ имѣло мѣсто прямо историческое пиршество. Удивительно, какую массу напитковъ можно купить на тридцать монетъ, и не менѣе удивительно, какую массу ихъ могутъ поглотить двадцать молодыхъ. Меню состояло изъ вина и пива, а для наиболѣе серьезныхъ пьяницъ имѣлся спиртъ. Это была великая оргія подъ открытымъ небомъ, борьба кентавровъ, картина первобытнаго животнаго состоянія. Мнѣ кажется, что въ пьяномъ человѣкѣ есть нѣчто, просто, чарующее, и будь я ректоромъ университета, я учредилъ бы курсъ практическаго пьянства при курсѣ психологіи. Это было бы лучше всякихъ книгъ и лучше всякихъ лабораторій.

Однако, послѣ шестнадцатичасоваго пьянства, утромъ на зарѣ, вся стая была взята въ плѣнъ превосходными силами полиціи и отведена въ острогъ. Часовъ въ десять, уже послѣ завтрака, мы всѣ двадцать сидѣли въ рядъ длинною шеренгою, съ поникшими головами и въ полномъ упадкѣ духа, передъ судейскимъ столомъ; а за столомъ, подъ пурпурнымъ балдахиномъ съ носомъ, кривымъ, какъ клювъ наполеоновскихъ орловъ, и съ блестящими глазами, возсѣдалъ Соль Глэнхартъ.

— Джонъ Амбросъ,—выкликнулъ клэркъ,—и Чи-Слимъ выступилъ впередъ съ тою нецѣлительностью, которая дается только продолжительной практикой.

— Это бродяга, ваша честь,—заявилъ полисменъ, и его честь, не удостоивъ обвиняемаго даже взглядомъ, постановилъ въ отвѣтъ: „десять дней“, и Чи-Слимъ, молча, сѣлъ на свое мѣсто.

Такъ пошло и дальше, однообразно, какъ часы, по пятнадцати секундъ на человѣка, по четыре человѣка въ минуту, причемъ ребята поочередно безмолвно вставали и садились, какъ автоматы.

Клэркъ называлъ имя, полисменъ пристегивалъ обвиненіе, судья произносилъ приговоръ и человѣкъ садился. И все. Просто, а? И какъ великолѣпно!

Чи-Слимъ подмигнулъ мнѣ.—Сыграйте съ ними какую-нибудь штуку, Синдерсъ, вы вѣдь умѣете!

Я покачалъ головою.

— Ну сыграйте. Выдумайте что-нибудь, они повѣрятъ и выпустятъ васъ, а вы будете доставлять намъ табакъ, пока мы будемъ сидѣть“.

— Рандольфъ!—провозгласилъ клэркъ.

Я всталъ, но тутъ судъ пошелъ ужъ по иному.

Кларкъ шепнулъ что-то судьѣ, а полицейскій улыбнулся.

— Вы, кажется, журналистъ, господинъ Рандольфъ?—спросилъ судья ласково.

Я нѣсколько опѣшилъ отъ неожиданности, такъ какъ въ вихрѣ событий я совершенно позабылъ о „Каубеллѣ“, а тутъ мнѣ, вдругъ, показалось, что я стою на краю какой то пропасти, вырытой моими же собственными руками.

— Вотъ вамъ зацѣпка, хватайтесь за нее, — быстро посоветовалъ Слимъ.

— Ничего не выйдетъ,—проворчалъ я въ отвѣтъ.

— Ваша честь, когда мнѣ удастся достать работу, я дѣйствительно занимаюсь журналистикой.

— И вы, кажется, относитесь съ большимъ интересомъ къ мѣстнымъ дѣламъ. (Здѣсь его честь развернула номеръ „Каубелла“ и скользнула взглядомъ по колоннѣ, въ которой, безъ сомнѣнія, стояла моя статья).—Яркая статья,—промолвилъ онъ, одобрительно прищуривъ глаза:—сценки прекрасны очень эффектны. Ну, а... судья, котораго вы описываете... вы его берете съ натуры, не правда ли?

— Едва ли это такъ, ваша честь. Я обыкновенно описываю характеры, собирательные образы!.. э-э-э... типы, такъ сказать.

— Но въ вашей статьѣ есть и мѣстный колоритъ, это вѣтъ всякаго сомнѣнія.

— Это я уже прибавилъ потомъ, для большей яркости.

— Значить, судья этотъ не взятъ изъ жизни? А вѣдь получается такое впечатлѣніе, будто онъ именно взятъ изъ жизни.

— Нѣтъ, ваша честь.

— Да—а, значить,—это просто типъ злого судьи?

— Тоже нѣтъ, ваша честь; скорѣе это идеаль.

— Идеаль, которому потомъ приданъ мѣстный колоритъ? Ха, очень хорошо. А можно васъ спросить, сколько вы получили за эту статью?

— Тридцать долларовъ, ваша честь.

— Хмъ, хорошо,—но тутъ его тонъ вдругъ рѣзко измѣнился и онъ продолжалъ:—Молодой человѣкъ, мѣстный колоритъ скверная вещь! Я признаю васъ виновнымъ въ немъ и приговариваю васъ къ тюремному заключенію на тридцать дней или, если вамъ это больше нравится, къ штрафу въ тридцать долларовъ.

— Увы!—вдохнулъ я:—свои тридцать долларовъ я уже потратилъ на бурный образъ жизни!

— И къ заключенію еще на тридцать дней за мотовство. Слѣдующее дѣло,—проговорилъ его честь, обращаясь къ клэрку.

Слимъ былъ пораженъ.

— Ну, ну! —проговорилъ онъ,—ну! Всѣмъ десять дней, а вамъ цѣлыхъ шестьдесятъ. Ну!

Лэйтъ зажегъ спичку, закурилъ свою потухшую сигару и развернулъ книгу, лежавшую у него на колѣняхъ.

— Вернемся, однако къ нашему разговору. Не кажется ли вамъ, Анакъ, что, хотя Лоріа чрезвычайно внимательно относится къ вопросу о распредѣленіи прибыли, тѣмъ не менѣе онъ упускаетъ изъ виду одинъ крайне важный факторъ, а именно...

— Да, да,—проговорилъ я машинально.—Да, да...

Перев. съ англійскаго І. Маевскій.

## ТРАГЕДІЯ ЖИЗНИ И КОМЕДІЯ БЫТА.

Мы тщательно раздѣлили поле нашей жизни на участки и участочки; мы обставили старательно выработанными условіями пребываніе каждаго изъ насъ въ облюбованномъ имъ участкѣ и переходъ изъ одного въ другой... Тамъ, высоко надъ перегородками, отдѣляющими наши участки одинъ отъ другого, волнами разливается солнечный свѣтъ, тамъ свободно гуляетъ вѣтеръ и гремятъ сильныя грозы; для насъ это—далекія, насъ не касающіяся явленія. Наша жизнь... или вѣрнѣе, то, что мы такъ называемъ, заключена въ прочныя, для кого уютныя, для кого стѣснительныя рамки. Здѣсь нѣтъ простора для могучей, размахистой воли: ея порывы разобьются о прочныя стѣны нашихъ перегородокъ. Здѣсь нѣтъ поля для всеобъемлющей, солнечной доброты: мы знаемъ только разсѣянный свѣтъ обыденной ласковости. Здѣсь нѣтъ пищи для небесныхъ тучъ, растящихъ гнѣвные громы въ своихъ таинственныхъ нѣдрахъ: ихъ успѣшно замѣнила мелкая злоба о сипломъ голосѣ и короткомъ дыханіи. Мы изгнали силу и оставили лишь ловкость—ту ловкость, которая приспособляетъ насъ примѣняться къ условіямъ пребыванія въ нашихъ участкахъ и перехода изъ одного въ другой—короче говоря, къ условіямъ „быта“.

Быть съ его условіями—это великая

горизонталь, лежащая на нашихъ плечахъ и сводящая къ единому, общему уровню то, что будучи предоставлено самому себѣ, переросло бы окружающія особи, какъ дубъ перерастаетъ лозы орѣшника, и устремилось бы вверхъ, на встрѣчу вѣтру, грозѣ, солнцу. Быть, это то, что мы, послушные, приняли отъ нашихъ отцовъ и, послушные, передадимъ нашимъ дѣтямъ: вся эта сложная и все болѣе усложняющаяся система участковъ и участочковъ, съ ихъ высокими и прочными перегородками, съ ихъ хитрыми и скользкими условіями. Быть, это нѣчто, забывшее и о пространствѣ и о времени: понятіе пространства оно замѣнило понятіемъ мѣста, объявивъ „полученіе мѣста“ первымъ условіемъ для того, чтобы быть, хотя и не для того, чтобы жить; понятіе же времени—тѣмъ, чего никогда не бываетъ у уважающаго себя обладателя означеннаго мѣста.

И наши дѣти—ужъ не припомнить съ какихъ временъ—прекрасно поняли насъ, этихъ относительныхъ „насъ“ каждаго даннаго поколѣнія. Сами не отдавая себѣ отчета въ томъ, что они „насъ“ пародируютъ, они и со своей стороны раздѣлили поле своей игры на участки и участочки, опредѣляя условія пребыванія въ каждомъ изъ нихъ и перехода изъ одного въ другой. Подобно „намъ“, и они

изгнали силу и размахъ и сдѣлали лозкость одноногаго прыжка первымъ условіемъ успѣшнаго передвиженія символическаго камешка изъ участка въ участокъ своего символическаго бытового „котла“, вплоть до егс успѣшнаго выхода...

Куда? Объ этомъ уже не спрашиваютъ. Всѣ условія, господа, исполнены: игра кончена.

## II.

Есть у насъ и счастливые—болѣе или менѣе, конечно. Это тѣ, кому великая горизонталь, какъ удобное коромысло, пришлась по плечу. Они вѣрятъ въ необходимость и благотворность системы участковъ и системы условій. Въ пространство они не рвутся, благо у нихъ имѣется въ виду „мѣсто“, и они желали бы только, чтобы его полученіе было получше обставлено лично для нихъ, оставляя имъ побольше „времени“ для того, что они по простительной ошибкѣ называютъ своей жизнью.

Есть, затѣмъ, и другіе. Это, во первыхъ, тѣ, которымъ коромысло пришлось не по плечу вслѣдствіе ненормальнаго, въ худомъ смыслѣ, построения ихъ тѣла. Немошныя, худосочныя, отверженные не только бытомъ, но и жизнью, они естественно ищутъ внѣ себя ту причину своей безрадостности, которая лежитъ въ нихъ самихъ и самомъ зародышѣ ихъ существованія. И вотъ они смѣются надъ системой участковъ и условій, надъ мѣстами и ихъ счастливыми обладателями, но смѣются нездоровымъ, худосочнымъ смѣхомъ, за которымъ зіяетъ пустота. О пространствѣ, разстилающемся надъ перегородками осмѣиваемыхъ ими уча-

стковъ, они не имѣютъ никакого представленія; солнечный свѣтъ ничего не говоритъ ихъ тупому взору, вѣтеръ и грозы не находятъ отклика въ ихъ разслабленной душѣ: недовольные бытомъ, но и не вѣря въ жизнь, они пробавляются отрицаніемъ всего того, къ чему другіе относятся положительно, сами же за отсутствіемъ жизненныхъ силъ ничего положительнаго не создаютъ. Это, такимъ образомъ, нигилисты... Правда, я пока охарактеризовалъ только одинъ ихъ классъ, но онъ—самый важный, такъ какъ представляемый имъ нигилизмъ, согласно сказанному—нигилизмъ органическій. О нигилизмѣ случайномъ или преходящемъ можно не распространяться.

Эти другіе—отрицатели быта во имя сознаваемой или не сознаваемой пустоты—оставили въ литературѣ крупный слѣдъ своихъ худосочныхъ думъ: имъ принадлежитъ обличительная бытовая драма съ ея сатирическимъ смѣхомъ, изъ-за котораго зіяетъ пустота, съ ея усталымъ раздумьемъ, изъ-за котораго широкой, тягучей струей ползетъ безпросвѣтное уныніе. Дѣйствительно, тѣ первые, довольные обладатели мѣстъ, ничего замѣчательнаго въ драматической литературѣ создать не могли; ихъ умственный показатель—моралистическая драма, въ которой добродѣтельные награждаются мѣстами, а порочные лишаются таковыхъ, причемъ добродѣтельность и прочность разумѣются въ смыслѣ удовлетворенія или неудовлетворенія условіямъ пребыванія въ участкахъ. А такая драма, не давая пищи таланту, не рассчитана за долговѣчность. Нѣтъ:



бытовая драма, по скольку она удержалась или способна удержаться, имѣетъ своими творцами не тѣхъ первыхъ, а этихъ другихъ.

Есть, однако, и третьи.

### III.

Мы не можемъ заглянуть въ тайники природы, не можемъ истолковать себѣ сущность и дѣйствіе той загадочной силы, которую мы болѣе вслѣдствіе отсутствія точнаго о ней понятія, чѣмъ вслѣдствіе наличности такового, назвали „силой жизни“. Все же есть основаніе думать, или, по крайней мѣрѣ, вѣрить, что тотъ прихотливый для нашего непосвященнаго взора приговоръ природы, въ силу котораго одной человѣческой особи при равныхъ прочихъ условіяхъ дается сильное и здоровое тѣломъ и душою потомство, другой же—нѣтъ, выражается заранѣе въ извѣстномъ біологическомъ предрасположеніи той и другой. И есть, тѣмъ болѣе, основаніе заключать далѣе, что это предрасположеніе отражается соотвѣтственнымъ образомъ въ ихъ духовномъ естествѣ, вызывая въ первой изъ указанныхъ особей въ усиленной степени ту „любовь къ землѣ нашихъ дѣтей и внуковъ“, которая является самымъ сильнымъ и бодрящимъ призывомъ къ жизни и дѣятельности, и ограничивая интересы второй возможнымъ удобствомъ ея личнаго существованія.

Съ первой изъ нихъ имѣемъ мы дѣло теперь; ее я имѣлъ въ виду, намѣчая выше готъ разрядъ третьихъ, которыхъ я противопоставлялъ и довольнымъ, и нигилистамъ.

Эти третьи—тоже недовольны бытомъ и его условіями, но это—недовольство силы, а не дряблости. Они возмущаются противъ его давящей горизонтали, но возмущаются потому, что чувствуютъ въ себѣ kloкочущее стремленіе вверхъ, къ грозѣ, къ вѣтру, къ солнцу—короче говоря, чувствуютъ дѣйствіе вертикали жизни. Ихъ душа полна чаянія новаго, лучшаго времени, того, которое они сулятъ тѣмъ дорогимъ дальнимъ, имѣющимъ нѣкогда принять свѣточъ жизни отъ нихъ. Это будетъ царство силы въ добрѣ и злѣ... ибо зло необходимо какъ противовѣсъ добру, ненужна только та дряблость, которую мы вскармливаемъ за счетъ силы въ нашихъ участкахъ и участочкахъ,

И вотъ это чаяніе будущаго, вызванное любовью къ землѣ дѣтей и внуковъ, ищетъ образовъ, въ которыхъ оно могло бы воплотиться. Этихъ образовъ оно въ настоящемъ, въ окружающемъ не находитъ: вѣдь настоящее, окружающее—это и есть тотъ бытъ, горизонталь котораго желала бы прорвать стиснутая въ ихъ груди вертикаль жизни; поставленные на одну плоскость съ реальными образами настоящаго, идеальные образы будущаго отдавали бы неестественностью и фальшью—не потому, чтобы они были неестественными и фальшивыми (они, напротивъ, какъ воплощенія будущаго обладали бы правдой въ высшемъ, жизненномъ, а не въ низшемъ, бытовомъ смыслѣ), а потому, что окружающіе бытовые образы или вообще окружающая бытовая обстановка создала бы совершенно неподходящій фонъ для ихъ оцѣнки. Нѣтъ, чаянія будущаго, волнующія душу по-

эта жизни могутъ, воплотиться только въ образахъ прошлаго, но такого прошлаго, которое могло бы съ ними ужиться, не являясь ихъ опроверженіемъ. Сейчасъ выясню значеніе этой оговорки.

#### IV.

Прошрое бываетъ двухъ родовъ.

Есть во-первыхъ, такое прошлое, которое когда то было настоящимъ. Когда оно было настоящимъ—оно было, разумѣется, бытомъ, съ его участками и участками, съ его горизонтальною, съ его довольными и недовольными. Эти участки и все прочее были въ большей или меньшей мѣрѣ иные, чѣмъ теперь, но ничто не заставляетъ насъ думать, чтобы они въ цѣломъ (о частностяхъ не говорю) были лучше теперешнихъ; вѣдь допуская это, мы отрицаемъ прогрессъ, а отрицая прогрессъ, мы отрицаемъ и наше будущее. Конечно, прогрессъ не представляетъ изъ себя прямой линіи, поэтому нѣкоторыя эпохи прошлаго могутъ являться для нѣкоторыхъ позднѣйшихъ эпохъ идеаломъ. Но это исключеніе; вообще же прошлое, какъ минувшій бытъ, не можетъ дать поэту того матеріала, который ему нуженъ,—проекцію и воплощенія того будущаго, зачатки коего въ немъ живутъ. И когда мы видимъ, какъ зачастую поэты пишутъ трагедіи на темы прошлаго, мы въ этомъ еще болѣе убѣждаемся. Какъ люди добросовѣстные, они стараются прежде всего старательно изучить бытъ данной эпохи; его они по мѣрѣ своихъ силъ воспроизводятъ; въ результатъ выходитъ трагедія археологическая, но не трагедія жизни.

Есть однако и другое прошлое; это—

то, которое никогда не было настоящимъ, а всегда лишь предполагалось, какъ бывшее таковымъ. Имя этому прошлому—героическій міеъ. Сопровождая создавшій его народъ на всемъ пути его развитія, онъ самопроизвольно прикрѣплялся къ той или другой эпохѣ его исторіи и изъ этого соприкосновенія черпалъ тѣ или другія черты исторической дѣйствительности—другими словами, тѣ или другіе элементы быта, достаточные для того, чтобы придать ему внѣшнюю и внутреннюю убѣдительность, недостаточные для того, чтобы сзывать фантазію творцовъ. Его своеобразное значеніе, какъ прошлаго, никогда не бывшаго настоящимъ, сказывается именно въ отношеніи къ нему этихъ творцовъ. въ той свободѣ, которую они позволяли себѣ, имѣя дѣло съ нимъ. Намъ говорятъ, что въ лучшую эпоху Греціи мифическіе герои признавались историческими персонажами; это, однако, и такъ, и не такъ. Сознательно разницы не дѣлалось: для Геродота и даже для Фукидида Агамемнонь—историческое лицо. Но безсознательно эта разница очень даже ощущалась: ни одному греческому трагику не приходило въ голову сдѣлать Солонъ или Писистрата героемъ трагедіи.

Впрочемъ, то были греки. Не всѣ народы имѣли счастье обладать такой богатой сокровищницей міеовъ; и вотъ мы видимъ, какъ у другихъ, уже начиная съ римлянъ, исторія облекается въ одѣяніе міеа. Возникаетъ то, что Ницше хорошо назвалъ монументальной исторіей въ противоположность къ критической. Бѣлинскій былъ глубоко правъ, когда онъ

сположеніе, какъ потенціальныхъ родо-  
начальниковъ новой и лучшей породы;  
люди, страдающіе мукой творчества въ  
силу спертой въ ихъ груди вертикали. .  
Позволю себѣ и здѣсь назвать ихъ, со-  
гласно созданной мною терминологіи,  
„людьми восходящей вѣтви“.

Итакъ, чаяніе новыхъ, лучшихъ цѣнностей въ обѣтованной землѣ нашихъ дѣтей и внуковъ. Но какъ же ихъ воплотить?.. Я не хочу сказать, чтобы всѣ люди восходящей вѣтви были поэтами: поэты или публика, все равно, въ этомъ чаяніи они сойдутся, а значить и въ жаждѣ увидѣть чаемое воплощеннымъ. Повторяю: какъ же этого достигнуть? Настоящее, мы видѣли, даетъ лишь отрицаемый бытъ, будущее—лишь безплотную утопію. Идеальность и, емѣстѣ съ тѣмъ, тѣлесность даетъ лишь прошлое, но опять-таки такое прошлое, которое либо никогда не было настоящимъ и, слѣдовательно, бытомъ, либо въ силу извѣстныхъ условій, достаточно отдѣлилось отъ того настоящаго, которымъ оно когда-то было.

v.

Когда Гораций въ своихъ знаменитыхъ „римскихъ одахъ“ рисуеть своей молодежи—*virginibus puerisque*—идеаль бу душей римской доблести, онъ облачаетъ его въ образъ Регула. Явилась „критическая исторія“ и съ достойнымъ крота усердіемъ стала доказывать, что образъ гораціевскаго Регула не соотвѣтствуетъ „историческому“—напрасный трудъ, такъ какъ онъ и безъ того принадлежалъ монументальной исторіи, то есть, почти что мнѣю.—Иначе поступилъ Эсхилъ—иначе и безопаснѣе: благо ему, что онъ могъ такъ поступить. Онъ облекъ свои идеалы

дѣлести въ образы „Патрокловъ и Тевкровъ о львиномъ сердцѣ“. Для чего? Это онъ самъ говоритъ у Аристофана: „чтобы вызвать въ гражданахъ жажду дорости до нихъ“. (Ляг. 1042) Это чрезвычайно важное признаніе. Не археологическую трагедію писалъ Эсхиль, и не быть „героическихъ временъ“ желалъ онъ воспроизвести: его исканіемъ было исканіе будущаго, той свѣтлой цѣли, къ которой онъ велъ свой народъ. И вотъ то, что кипѣло въ его душѣ какъ чаяніе будущаго, онъ воплотилъ въ образахъ предполагаемаго прошлаго—въ образахъ міаа.

Итакъ, героическая трагедія—это предвареніе. Поэтъ дѣлаетъ дѣло жизни. Какъ Жизнь (если позволительно слитцеворить это понятіе), создавая зародышъ органическаго существа, имѣетъ въ виду, въ качествѣ незримой формы, то будущее совершенство, ради котораго создается зародышъ и до котораго онъ послѣдовательно дорастаетъ; какъ та же Жизнь, сплетая особи органическихъ существъ между собою, имѣетъ въ виду, въ качествѣ опять-таки незримой формы, то будущее совершенство породы, до котораго они въ послѣдовательномъ чередованіи поколѣній должны дорости; такъ и поэтъ при видѣ окружающаго его общества предваряетъ въ своей душѣ его будущее усовершенствованіе въ качествѣ такой же незримой формы. Въ одномъ отношеніи, однако, онъ еще болѣе могучъ, чѣмъ безмолвно и безотчетно творящая Жизнь: онъ можетъ эту незримо витающую въ его душѣ форму сдѣлать видимой для всѣхъ, и онъ дѣлаетъ это, какъ уже много разъ было сказано, вли-

вая свое чаяніе въ образы прошлаго и претворяя ихъ этой метемпсихозой.

Вотъ въ какомъ смыслѣ должно быть понимаемо наше слово: героическая трагедія есть трагедія жизни.

## VI.

Разсмотрѣнная нами до сихъ поръ сторона дѣла поможетъ намъ разобраться въ одномъ положительно мучительномъ вопросѣ, неправильное рѣшеніе котораго много повредило—особенно у насъ—зарождающейся или возрождающейся героической трагедіи. Это вопросъ о поэтической и сценической правдѣ и лжи. Мы окружены людьми, подъ часъ очень убѣдительно и колоритно передающими свои совѣмъ неглубокія и непочтенныя чувства—въ словахъ, въ интонаціи, въ жестахъ. Наблюдательные поэты въ союзѣ съ наблюдательными актерами стараются уловить и воспроизвести эту передачу; получается очень убѣдительный и колоритный—особенно у насъ—поэтический и сценический реализмъ. Онъ совершенствуется по мѣрѣ расширенія самого наблюденія, поле котораго необозримо; каждое удачное приобщеніе новой черты признается побѣдой и возбуждаетъ интересъ. А распространенность этого интереса и породила мнѣніе, что въ приобщеніи наибольшаго числа такихъ чертъ и заключается „жизненная правда“.

Мнѣ же хотѣлось бы отвѣтитъ этимъ одностороннимъ реалистамъ (противъ реализма, какъ такового я не протестую, о немъ рѣчь впереди) словами Шиллера: „Какъ она покрываетъ и какъ она поплевываетъ, это вы очень удачно подмѣтили; но ея геній, ея духъ не сказыва-

ется тамъ, гдѣ поле вашихъ наблюденій. Кто это, она?—Жизнь.

Дѣйствительно, то, что обыкновенно въ драматургическомъ и сценическомъ искусствѣ называется „жизненной правдой“—по нашей терминологіи должно быть названо правдой бытовой. У жизни другая правда, и добывается она не путемъ наблюденія окружающаго быта—вторженіе современнаго быта въ героическую трагедію допустимо лишь постольку, поскольку оно незамѣтно. Въ области же героическаго быта наблюденіе и невозможно, и, буде возможно, повело бы только къ археологической, а не къ героической трагедіи. И подавно оно невозможно въ области предваряемаго будущаго.

Итакъ, что же остается? Остается—творчество. Не подражаніе наблюдаемому, а созданіе того, что никогда въ окружаемомъ бытѣ не наблюдается. Это касается, прежде всего, языка. Совершенно справедливо возражаетъ тотъ же Эсхилъ въ указанномъ мѣстѣ Аристофана воплощенному въ Еврипидѣ реализму: „необходимо въ соотвѣтствіе съ великими мыслями и характерами и слова рождаютъ“ (Ляг. 1058). Языкъ героической трагедіи—чистъ и ярокъ, какъ снѣгъ альпійскихъ высотъ; это—не языкъ быта съ его бородавками и угрями. Это касается, затѣмъ, и игры и всего прочаго.

Конечно, кто хочетъ творить, долженъ быть къ этому призванъ. Кто не призванъ, тотъ въ своихъ безсильныхъ потугахъ не пойдетъ дальше ходульности и фальши. А кто призванъ, тотъ убѣдитъ, тотъ побѣдитъ—и какъ побѣдитель, судимъ не будетъ.

А впрочемъ, договориться въ подобныхъ вопросахъ, можно только до извѣстныхъ предѣловъ; дальше начинается область, гдѣ примиреніе и невозможно, и ненужно. Пусть каждый самъ для себя рѣшитъ вопросъ, къ какой правдѣ его больше тянетъ—къ правдѣ ли быта, или къ правдѣ жизни. Этимъ онъ заодно, думается мнѣ, рѣшитъ и другой вопросъ: принадлежитъ ли онъ самъ къ людямъ восходящей, или къ людямъ нисходящей вѣтви. Ибо не подлежитъ сомнѣнію, что и эстетическіе запросы тѣхъ и другихъ должны быть діаметрально противоположны.

И это касается не только отдѣльных людей, но и отдѣльных народовъ. Но, объ этомъ говорить здѣсь не мѣсто—хотя вообще говорить слѣдовало бы.

## VII.

Но при всемъ этомъ—міръ есть, и мы въ немъ. Каково же отношеніе поэта жизни къ этому окружающему его міру—и, стало быть, къ быту?

Ясно, прежде всего, что онъ найдетъ его несовершеннымъ, разъ чаяніе будущаго совершенства живетъ въ его груди: но ясно также, что онъ признастъ это несовершенство не уныло безнадежнымъ, подобно нигилисту, а ступенью къ тому будущему совершенству. Итакъ, не самодовольное утвержденіе, но и не безотрадное отрицаніе. А что же? Отрицаніе добродушное: юморъ. Наряду съ героической трагедіей поэзія жизни признаетъ и за бытомъ право существованія въ драмѣ, но онъ для нея—только сюжетъ комедіи.

Такъ рѣшаетъ вопросъ, біологическая

эстетика... Біологическая эстетика! Не правда ли, какъ странно, какъ непривычно звучить это сочетаніе? Ничего, успѣемъ, привыкнуть: она на очереди.

И тутъ мнѣ пріятно сослаться на замѣчательно вѣрное слово одного почтеннаго біолога, юрьевского профессора Раубера: „античная точка зрѣнія и біологическая точка зрѣнія“, говоритъ онъ, „тождественны“. Дѣйствительно, на фонѣ только что продуманныхъ нами мыслей получаетъ особое значеніе тотъ фактъ, что античность знала трагедію только въ видѣ героической трагедіи, а быть въ драмѣ допускала только въ видѣ бытовой комедіи—другими словами, бытовая трагедія была древнему міру неизвѣстна. Этотъ поразительный фактъ не скрылся, конечно, отъ взора филологовъ, этихъ призванныхъ истолкователей древняго міра, и вызвалъ у нѣкоторыхъ изъ нихъ критику, очень напоминающую критику природы у самознаекъ нашихъ дѣтскихъ анекдотовъ. Въ самомъ дѣлѣ, почему античность не знала бытовой трагедіи? Почему на дубахъ не растутъ тыквы?.. Особенно доставалось Еврипиду за то, что онъ, такъ страстно искавшій новыхъ

путей, не додумался до созданія бытовой трагедіи, которой онъ съ такимъ успѣхомъ могъ бы замѣнить „отжившую“ трагедію героическаго типа.

Нѣтъ. Для человѣка восходящей вѣтви—а таковыя задавали тонъ въ античной эстетикѣ—поэзія освѣщалась свѣтомъ идеала, горѣвшаго въ его груди; и при свѣтѣ этого идеала окружавшій быть могъ казаться только смѣхотворнымъ—но смѣхотворнымъ въ хорошемъ смыслѣ, въ смыслѣ здороваго, освобождающаго смѣха. Это не значило, чтобы античный человѣкъ не могъ относиться серьезно къ своей средѣ—и очень даже могъ онъ это. Въ политической, въ общественной, въ частной жизни—сколько угодно. Но не тогда, когда шумные голоса этой житейской суеты умолкали, когда сильнѣе разливался въ груди свѣтъ чаянія и предваренія, когда душою овладѣвало то настроеніе, въ которомъ античный человѣкъ только и считалъ возможнымъ творить или воспринимать драму.

Это — діонисическое настроеніе.

Θ. Зѣлинскій.

## СКУЛЬПТОРЪ І. Г. ГАБОВИЧЪ.

Въ современномъ обществѣ искусство поставлено въ довольно неблагоприятныя условія.

Художникъ всецѣло зависитъ отъ публики, преимущественно отъ ея наиболѣе богатаго слоя, а публика, и въ особенности этотъ верхній ея слой, отличаются и невысокимъ и переменчивымъ вкусомъ.

Надо обладать большимъ мужествомъ и безкорыстіемъ, чтобы при такихъ условіяхъ идти своей дорогой и слушаться лишь голоса идеала и вдохновенія. Надо быть истиннымъ художникомъ, чтобы въ наши дни служить искусству, а не модѣ и капиталу.

Къ числу такихъ независимыхъ творцовъ принадлежитъ польскій скульпторъ І. Г. Габовичъ.

Передъ нами не только истинный служитель искусства, но и несомнѣнный новаторъ въ искусствѣ.

Онъ внесъ въ нашу скульптуру цѣлый новый міръ образовъ и фигуръ, цѣлую симфонію новыхъ настроеній и идей.

Его бронзовыя и мраморныя изваянія звучатъ какъ пѣсня труда и нужды, переходящая незамѣтно въ свѣтлый гимнъ вѣчно-обновляющейся прекрасной жизни.

Іосифъ Габовичъ родился въ 1870 г., въ мѣстечкѣ Колпо, Ломжинской губ. Отецъ его—простой—народный учитель

былъ человѣкъ недюжинный. Онъ умеръ когда сыну было два года. Мать съ дѣтьми переехала въ Ломжу, гдѣ ихъ ожидала царица-нужда.

Въ мальчикѣ рано проснулся инстинктъ художника и уже его дѣтскія игры носили характеръ скорѣе робкихъ скульптурныхъ попытокъ. Въ школѣ эта склонность перешла въ настоящую страсть. Десяти-лѣтнимъ мальчикомъ онъ продавалъ на улицахъ свои художественныя бездѣлушки, чтобы помочь матери въ трудной борьбѣ за существованіе. Восемнадцати-лѣтнимъ юношей, онъ покинулъ провинціальный городокъ и отправился пѣшкомъ въ Варшаву, искать счастья.

А счастье долго не хотѣло ему улыбнуться.

Затерянный въ большомъ городѣ, среди суетящейся толпы, безъ денегъ и связей, молодой человѣкъ скоро очутился на краю пропасти. Были у него кое-какія работы, среди которыхъ онъ возлагалъ особенныя надежды на маленькую группу пильщиковъ. Цѣлый день бѣгалъ онъ по улицамъ города. Люди равнодушно проходили мимо. Изнемогая отъ голода и усталости, побрелъ онъ однажды въ Саксонскій садъ и опустился въ отчаяніи на скамейку. Онъ не замѣтилъ, какъ задремалъ.

Вдругъ онъ чувствуетъ, кто-то будить

его. Передъ нимъ стоитъ элегантно одѣтый господинъ и держитъ въ рукѣ его группу. Узнавъ, что молодой человекъ и есть творецъ вещицы, незнакомецъ передалъ ему свою визитную карточку и попросилъ зайти на слѣдующій день.

Неизвѣстный оказался виднымъ варшавскимъ врачомъ, большимъ любителемъ искусства. Онъ послалъ талантливаго провинціала къ своему другу, художнику Кухожевскому, и тотъ въ продолженіи полугода обучилъ его техники скульптуры. Потомъ, оба покровителя послали молодого человека въ Петербургъ, въ Академію, гдѣ онъ учился у Лаврецкаго и Беклемишева. Свое артистическое воспитаніе онъ докончилъ въ Парижѣ, въ Ecole les beaux arts, подъ руководствомъ проф. Тома.

Вернувшись на родину, І. Габовичъ скоро выдвинулся, выставялъ свои произведенія за границей и у насъ, сдѣлался европейской извѣстностью. Даже больше. Одна изъ лучшихъ его вещей (Самооборона) куплена сіамскимъ королемъ и находится въ національномъ музее въ Банкокѣ.

Достигнувъ извѣстности и обеспеченности, художникъ не забылъ ни о своемъ темномъ происхожденіи ни о суровыхъ годахъ юности. Зная по опыту, какъ тяжела жизнь для паріевъ общества, онъ по мѣрѣ силъ старается помочь. Такъ, онъ устроилъ нѣсколько выставокъ своихъ произведеній (въ Ломжѣ, Подзи), и вся выручка пошла въ пользу бѣдныхъ мальчиковъ.

Эта социальнo-филантропическая тен-

денція воодушевляетъ не только частную жизнь художника, но и его искусство.

И что въ высшей степени знаменательно: чѣмъ больше обеспеченности и славы достигалъ самъ художникъ, тѣмъ болѣе его искусство насыщалось социальнымъ содержаніемъ.

Въ раннихъ скульптурахъ польскаго художника еще царитъ всецѣло идиллическое настроеніе. Онъ ни въ чемъ не чувствуетъ ни мира, ни тишины, нерушимымъ спокойствіемъ.

Такимъ идиллическимъ настроеніемъ проникнуты его первыя вещи: деревенскій мальчуганъ, удящій рыбу, и крестьянская дѣвочка, кормящая цыпленка. Это поэтическія воплощенія той золотой поры жизни, когда сердце еще не знаетъ заботы и тревоги, когда и матеріальная необеспеченность и социальная несправедливость еще не ощущаются, какъ зло.

Чѣмъ старше становился художникъ, тѣмъ безпослѣднее трепетала его совѣсть. Чѣмъ болѣе упрочивалось его собственное положеніе, тѣмъ нѣжнѣе сталъ онъ думать о другихъ—о милліонахъ обойденныхъ и отверженныхъ.

И его скульптуры, недавно еще такія тихія и мирныя, обвѣяныя такимъ идиллическимъ спокойствіемъ, все болѣе превращались въ бронзовую и мраморную пѣснь о нищетѣ и трудѣ, чтобы незамѣтно перейти въ свѣтлый гимнъ прекрасной, неумирающей жизни.

—

І. Габовичъ—художникъ-реалистъ.

Воображеніе его не уносится въ давно прошедшія времена, за тридцать земель, или въ міръ сказочныхъ вымысловъ. Оно питается окружающею действительностью



извлекает соки и силу из почвы по вседневности. Фигуры его носят печать жизни, как она есть. Съ большой точностью переданы всѣ подробности анатомическаго стренія тѣла. Линіи и формы лишь слегка идеализированы. Такъ оно и должно быть. Искусство не есть доподлинное повтореніе жизни.

І. Габовичъ, однако, не реалистъ-фотографъ, а реалистъ идейный.

Въ каждое изъ своихъ изваяній (даже самое незначительное) онъ вкладываетъ какую-нибудь болѣе или менѣе широкую идею и при свѣтѣ этой идеи изображенная фигура вырастаетъ въ символъ той или иной стороны жизни.

Вотъ напр. скульптура, носящая названіе „Жажда“.

Нагой человѣкъ припалъ устами къ чашѣ и пьетъ, съ страдальчески-жаднымъ выраженіемъ, саѣжительную влагу. Это, разумѣется, прежде всего работникъ, изнывающий среди тяжкаго труда отъ невыносимой жажды. Но это вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣчто большее: это образъ человѣка, жадными устами припавшаго къ чашѣ жизни, всѣмъ своимъ существомъ тянущагося къ зачарованному кубку земного счастья.

Или вотъ группа „Помощь“.

На верху, на скалѣ лежитъ прекрасная нагая женщина и протягиваетъ надъ пропастью руку другой, помогая ей спастись отъ разъяренныхъ волнъ океана... За этими вполне реальными фигурами, поставленными въ конкретную обстановку, отчетливо выступаетъ вдохновлявшая художника-реалиста идея — то воплощеніе принципа взаимопомощи, апофеозъ

альтруизма, призваннаго когда-нибудь смѣнить царящій на землѣ эгоизмъ.

Польскій художникъ не только идейный реалистъ, но и демократъ.

Свои образы и сюжеты онъ беретъ преимущественно изъ среды трудящагося народа — вѣдь онъ и по происхожденію, а долгое время и по положенію, такъ близокъ этому міру.

Нѣкоторыя его скульптуры навѣяны деревней. Кромѣ вышеназванныхъ раннихъ произведеній укажемъ еще на „Вѣсти издалека“. На пнѣ сидитъ пожилой крестьянинъ, съ задумчивымъ, изрѣзаннымъ морщинами лицомъ и слушаетъ, какъ расположившаяся у его ногъ дѣвочка читаетъ письмо отъ эмигрировавшихъ родныхъ. Цѣлая бытовая картинка: на смѣну патріархальному міру идетъ новое поколѣніе, лучше безграмотныхъ отцовъ вооруженное для борьбы за существованіе.

Остальныя крупныя вещи польскаго художника носятъ болѣе пролетарскій характеръ.

Таковы: „Послѣдняя капля“ и „Единственная рубашка“.

Первая скульптура изображаетъ рабочаго-каменотеса въ рваныхъ штанахъ. Онъ успѣлъ завтракать. Горшокъ уже пустъ, а голодь не утоленъ. И вотъ рабочий старается выжать еще одну — послѣднюю каплю. Другое произведеніе изображаетъ дѣвушку-работницу. Такъ какъ у нея одна только рубашка, то, чтобы ее вымыть, ей пришлось раздѣться.

И взоръ ея, печально-задумчивый, устремленъ вдаль.

Въ этихъ двухъ фигурахъ воплощена трагедія цѣлаго класса, символизирован-

на трагедія труда въ современномъ обществѣ.

И однако, И. Габовичъ не пессимистъ. Совсѣмъ напротивъ!

Его бронзовый и мраморный міръ звучитъ порой радостнымъ, всегда мужественнымъ гимномъ въ честь неумирающей, прекрасной жизни.

Взоръ художника загорается при видѣ всего, что жаждетъ борьбы со зломъ, что жадно стремится изъ мрака къ свѣту. Основнымъ мотивомъ его искусства является мысль о вѣчномъ круговоротѣ, въ которомъ изъ лона прошлаго и настоящего въ мукахъ рождается болѣе прекрасное будущее.

Вотъ почему Габовичъ удѣляетъ въ своемъ творествѣ такъ много вниманія материнству. Эта идея, когда-то вдохновлявшая великихъ мастеровъ Ренессанса, въ наши дни не пользуется сочувствіемъ художниковъ. Ея поэзія утрачена и непонятна современнымъ поколѣніямъ. Въ силу социальныхъ условій, современное общество, въ особенности, конечно, собственническія группы, тяготеютъ къ мальтузианству.

Тѣмъ большаго вниманія заслуживаютъ двѣ скульптуры И. Габовича, поэтическія воплощенія идеи материнства.

Вотъ молодая мать заснула рядомъ съ малюткой тихимъ сномъ и на лицѣ ея сіяетъ великое спокойствіе и великая гордость. Она принесла свой даръ на алтарь жизни, исполнила священный долгъ природы (Сонъ). Вторая скульптура изображаетъ молодую мать, нѣжнымъ движеніемъ охватившую маленькаго сына, словно она хочетъ уберечь его отъ

всѣхъ невзгодъ и бѣдъ (*Solicitude maternelle*)

Обѣ эти группы—символы новой жизни, зародившейся изъ нѣдръ старой, символы будущаго, вышедшаго изъ лона прошлаго.

Съ неменьшей любовью останавливается взоръ художника на народѣ. Въдъ и народъ, подобно матери, содержитъ въ себѣ какъ прошлое, такъ и будущее. Въ трехъ великолѣпныхъ фигурахъ, которыя послужили бы превосходнымъ украшеніемъ народнаго дворца, воплотилъ художникъ три момента въ жизни народной массы.

Одна носитъ названіе „Хлѣбъ“.

Работникъ наклонился, чтобы поднять лежащій на землѣ кусокъ хлѣба. Все его существо ушло въ этотъ напряженный жестъ. А сзади его удерживаетъ отъратительное безликое чудовище. Одной рукой оно обхватило его станъ, другой—жадной рукой ростовщика—подбирается къ добычѣ. И —увы! — хлѣбъ достанется не тому, кто взростилъ его тяжкимъ трудомъ, а этому безликому фантому. \*)

Другая скульптура озаглавлена „Самооборона“.

Внизу, на пьедесталѣ, извивается ядовитая змѣя, пытающаяся взобраться на верхъ гдѣ стоитъ въ позѣ обороняющагося нагой прекрасный мужчина. Онъ поднимаетъ камень, чтобы разможжить голову гадинѣ, своимъ смраднымъ дыханіемъ губящей все живое, все что жаждетъ на-

\*) Эта фигура произвела большое впечатлѣніе вездѣ, гдѣ она была выставлена: въ Берлинѣ, Петербургѣ, Ливерпулѣ, Брюсселѣ, Парижѣ.

сладиться свѣтомъ солнца и благоуханіемъ цвѣтовъ.

Наконецъ, третья фигура носить названіе „Къ жизни“.

Молодая дѣвушка съ прекраснымъ сильнымъ тѣломъ сбрасываетъ спиной скалу—крышку отъ гроба—тюрьмы, гдѣ она была замурована въ продолженіи вѣковъ. И вотъ она выходитъ на свѣтъ божій, на свѣтъ солнца. Кругомъ раскинулся необъятный міръ, полный тайнъ и чудесъ. И на ея мужественномъ лицѣ дикарки сіяетъ восторгъ, смѣшанный съ удивленьемъ.

Эти три монументальныя фигуры воплощаютъ прошлое, настоящее и будущее того юнаго міра, исторія котораго только еще начинается.

Таковы главные образы, созданные польскимъ художникомъ.

Отъ нихъ вѣетъ правдой, бодростью и красотой.

Эти образы говорятъ намъ о томъ, что жизнь большинства полна бѣдъ и лишеній, что она есть „тяжелый трудъ и бремя“. Но они же говорятъ намъ и о томъ, что нѣтъ основанія падать духомъ, предаваться отчаянію.

Жизнь вѣчна и прекрасна.

Не истощается плодовитое лоно женщины-матери, безкорыстной жрицы богини природы, безсмертной родоначаль-

ницы новыхъ поколѣній, и, какъ на античномъ праздникѣ участники бѣга передавали изъ рукъ въ руки горящій факелъ, такъ вручаетъ одно поколѣніе другому нить жизни и прогресса.

И нѣтъ конца божественнымъ созданіямъ.

Въ нихъ новыя созрѣютъ сѣмена!

Не истощается и терпѣніе народа—труженика, народа—мученика, среди суровой борьбы за „хлѣбъ“ воздвигающаго величественное зданіе человѣческой культуры, неустаннымъ трудомъ создающаго богатства міра. Не изсякаетъ и не изсякнетъ въ груди челоуѣка жажда истинно-человѣческаго существованія, жажда красоты и шири, жажда свободы и счастья. И какъ бы не сложились обстоятельства, сколько бы ни громоздилось препятствій, исторія челоуѣчества есть и будетъ неустаннымъ восхожденіемъ изъ мрака къ свѣту, изъ низа на верхъ, изъ гроба-темницы „къ жизни“, полной тайнъ и чудесъ.

Таковы тѣ настроенія, которыя особенно громко звучать въ душѣ польскаго художника. Таковы тѣ настроенія, которыя чуткимъ ухомъ онъ подслушалъ въ сердцахъ многомилліоннаго народа—труженика. И изъ этихъ настроеній отлилъ онъ бронзовую пѣсню нужды и труда, высѣкъ мраморный апофеозъ безсмертной прекрасной жизни!

В. Фриче.

## КОСМОГЕНИЧЕСКІЯ ТЕОРИИ.

(H. Poincaré. Leçons sur les hypothèses cosmogoniques professées à la Sorbonne, 1911).

Вопросъ о происхожденіи вселенной, говоритъ Пуанкаре, занималъ во все время всѣхъ мыслящихъ людей; невозможно созерцать картины звѣзднаго міра и не задать себѣ вопроса, какимъ образомъ онъ произошелъ. Человѣчскій умъ властно требовалъ рѣшенія этого вопроса гораздо раньше даже, чѣмъ этотъ вопросъ назрѣлъ, тогда еще, когда онъ свѣтился лишь смутнымъ сіяніемъ, позволявшимъ скорѣй угадывать его, чѣмъ постигнуть. И вотъ почему космогоническія гипотезы столь многочисленны, столь разнообразны, и каждый день рождаетъ все новыя гипотезы, столь же непостоянныя, но столь же правдоподобныя, какъ и старыя.

Можно было бы думать, продолжаетъ знаменитый ученый, что вселенная всегда была такою, какъ теперь, что крошечныя существа ползающія на поверхности небесныхъ свѣтилъ, смертны, но что сами свѣтила не измѣняются, что они величаво движутся по своему пути, пути вѣчной жизни, не заботясь о своихъ несчастныхъ и эфемерныхъ паразитахъ. Но есть два довода за то, чтобы откинуть эту точку зрѣнія.

Солнечная система являетъ намъ зрѣлище полной гармоніи; орбиты планетъ все почти круглы; все находится при-

близительно въ одной плоскости; пробѣгъ планетъ по этимъ орбитамъ происходитъ въ одномъ и томъ же направленіи. Этотъ порядокъ нельзя считать случайнымъ и потому необходимо допустить, что онъ послѣдовалъ за хаосомъ, необходимо, слѣдовательно, допустить, что небесныя свѣтила измѣнились. Такъ и рассуждалъ Лапласъ. Съ другой стороны, второй принципъ термодинамики, принципъ Карно учитъ насъ, что вселенная стремится къ какому-то конечному состоянію; энергія „разсѣивается“, т. е. треніе постоянно превращаетъ движеніе въ теплоту и температура стремится повсюду во вселенной уравниваться. Конечное состояніе вселенной есть, слѣдовательно, состояніе однообразія; это состояніе, котораго она должна достигнуть, еще не достигнуто. Вселенная мѣняется и она всегда мѣнялась.

\* \* \*

Наиболѣе старой изъ научныхъ космогоническихъ теорій является гипотеза Лапласа; но старость ея, говоритъ Пуанкаре, здоровая и для ея лѣтъ: у нея не такъ ужъ много морщинъ. Несмотря на возраженія, которыя противопоставлялись ей, несмотря на открытія, сдѣланныя астрономами и которыя очень удивили бы Лапласа, она все же остается

на ногахъ и по прежнему лучше всѣхъ объясняетъ многіе факты. Время отъ времени та или другая брешь обнаруживалась въ старомъ зданіи, но ее быстро исправляли и зданіе не падало.

Какъ извѣстно, по теоріи Лапласа-Канта солнечная система образовалась изъ туманности, нѣкогда простиравшейся дальше орбиты Нептуна; эта туманность обладала равномернымъ вращательнымъ движеніемъ; вещество ея становилось все плотнѣе, по мѣрѣ приближенія къ центру; такимъ образомъ, она состояла изъ довольно плотнаго ядра, которое сдѣлалось впослѣдствіи солнцемъ, окруженного чрезвычайно разрѣженной атмосферой, давшей затѣмъ начало планетамъ. Туманность сокращалась вълѣдствіе охлажденія и время отъ времени отдѣляла отъ себя по экватору туманныя кольца; эти кольца были неустойчивы, они разрывались и въ концѣ концовъ образовывали шарообразныя тѣла. Уже въ тотъ моментъ, когда стала возникать наша солнечная система, въ ней были заложены основы порядка: внутреннія движенія туманности не могли быть беспорядочными, ибо неправильности этихъ движеній быстро уничтожались внутренними треніями массы и сохранялось лишь правильное вращеніе цѣлаго. „Быстро“—здѣсь чисто астрономическое выраженіе, такъ какъ оно оцѣнивается милліардами лѣтъ.

По Фая происхожденіе планетъ совершенно иное; солнце и планеты дифференцировались внутри туманности; какъ только въ нѣкоторыхъ точкахъ происходило сгущеніе, эти точки становились точками притяженія, онѣ привле-

кали окружающую массу, „напитывались“, такъ сказать, ею, въ концѣ концовъ поглощали всю разрѣженную атмосферу первоначальной туманности и начинали двигаться въ пустотѣ. Теорія эта приводитъ къ всеобразнымъ послѣдствіямъ: Меркурій выходитъ старѣе Нептуна и сама земля старѣе солнца. Нѣкогда планеты были гораздо болѣе удалены отъ солнца. Меркурій, напри- мѣръ, былъ отъ него на разстояніи нынѣшняго Сатурна; планеты постепенно приближались къ центральному свѣтилу, сохраняя свои круговыя орбиты. Гипотезу Фая Пуанкаре считаетъ гораздо менѣе удовлетворительной, чѣмъ теорію Лапласа. Неправильно, по его мнѣнію, предполагалъ Фай, что лапласовская теорія неспособна объяснить ретрограднаго движенія спутника Нептуна и что направленіе вращенія данной планеты зависитъ отъ распредѣленія скоростей въ кольцѣ, изъ котораго она образовалась. Теперь мы знаемъ, что такое распредѣленіе эфемерно, такъ какъ кольцо неустойчиво и не можетъ имѣть никакого вліянія на конечный результатъ: что вращенія всѣхъ планетъ первоначально должны были быть ретроградными, каково бы ни было ихъ происхожденіе; что одно только вліяніе приливовъ могло сдѣлать эти вращенія прямыми. Поэтому, говоритъ Пуанкаре, у насъ нѣтъ никакой причины предпочитать гипотезу Фая гипотезѣ Лапласа.

Въ дальнѣйшемъ критическомъ разборѣ космогоническихъ теорій нашъ авторъ останавливается на теоріи дю-Лигондэса. Огправной точкой ея является не туманность Лапласа, движе-

нія которой уже урегулированы самим трением, но настоящий хаосъ—скопление движущихся частицъ, сталкивающихся по всѣмъ направленіямъ. Этими частицами могутъ быть и твердые метеориты и огромные пузыри газа; между частицами находится пустота или разрѣженная атмосфера, не мѣшающая свободѣ ихъ движеній. Время отъ времени эти движенія нарушаются или потому, что тѣла слишкомъ приближаются другъ къ другу или же потому, что они сталкиваются. Эти-то столкновенія и вызываютъ эволюцію; еслибъ ихъ не было или же если бы сталкивающіяся тѣла были бы совершенно упруги, то эти движущіяся частицы, не смотря на взаимное притяженіе, могли бы двигаться до безконечности, не обнаруживая никакой тенденции къ концентраціи; точно также планеты вращались бы вѣчно въ пустотѣ вокругъ солнца, никогда на него не падая. Представимъ, наоборотъ, двѣ планеты, вращающіяся въ противоположномъ направленіи по одной и той же круговой орбитѣ; раньше, чѣмъ онѣ опишутъ полъ-круга, онѣ встрѣтятся, скорость ихъ уничтожится благодаря удару (если предположить ихъ лишенными упругости) и онѣ вмѣстѣ упадутъ на солнце, увеличивъ такимъ образомъ его массу. Подобныя столкновенія могутъ стать весьма частыми въ такой средѣ, какой является хаосъ дю-Лигондеса; слѣдовательно, такимъ образомъ будетъ идти прогрессивная концентрація массы; мало по малу дифференцируются планеты и солнце, начнутъ „питаться“ окружающей ихъ матеріей и въ концѣ концовъ поглотятъ ее. Несмотря на то, что

столкновенія эти происходятъ случайно, они преобразовываютъ хаосъ въ „космосъ“, прекрасно урегулированный, гдѣ первоначальное единообразіе уступило мѣсто гармоническому разнообразію.

Туманность Лигондеса, пронизываемая по всѣмъ направленіямъ частицами, двигающимися какъ придется, очень походитъ на газы современной кинетической теоріи. Сходство не ослабляется тѣмъ, что частицы эти различной величины: въ одномъ случаѣ—это атомы, въ другомъ—метеориты или даже маленькія свѣтила. Но термодинамика и кинетическая теорія насъ учатъ, что газы, какъ и весь физическій міръ, стремятся постоянно къ единообразію. Съ другой стороны теоріи вѣроятностей и большихъ чиселъ показываютъ, что различія, которыя могутъ существовать между молекулами газа до уравненія температуры и скорости, нивелируются очень быстро. Возьмемъ за отправную точку систему газообразныхъ молекулъ, скорости которыхъ распределены не случайно, а гармонично, такъ, что молекулы эти образуютъ нѣчто вродѣ космоса, подобнаго солнечной системѣ; черезъ короткій промежутокъ времени все же снова наступитъ хаосъ, массы, первоначально дифференцированныя, снова сольются въ одну, скорости снова распредѣлятся по закону вѣроятностей. Почему же два механизма (туманность и газъ)—съ виду тождественные—производятъ противоположные эффекты? Отвѣтъ Лигондеса простъ: въ кинетической теоріи газовъ газообразныя молекулы принимаются вполне упругими, живая сила ихъ никогда не уничтожается. Въ

туманности же Лигондэса, тѣла, сталкиваясь, теряютъ свою живую силу, по крайней мѣрѣ часть ея, и превращаютъ ее въ теплоту; мы видѣли, что отсюда происходитъ стремленіе къ сгущенію и къ дифференціаціи. Движущіяся частицы туманности испытываютъ, слѣдовательно, два ряда пертурбацій: внезапныя отклоненія, вызываемыя ньютоновскимъ притяженіемъ, когда двѣ массы приближаются, не входя въ соприкосновеніе, и физическія столкновенія. Первые пертурбаціи, гораздо болѣе частыя, совершаются безъ потери живой силы, ихъ вполне можно сравнить съ столкновеніями газообразныхъ молекулъ кинетической теоріи; онѣ, слѣдовательно, стремятся поддерживать хаосъ или даже его возобновлять; физическія столкновенія, наоборотъ, создаютъ пассивныя сопротивленія; имъ мы обязаны организаціей хаоса въ космосъ.

Но, по мнѣнію Пуанкарэ, Лигондэс не доказалъ, что въ его туманности такія столкновенія происходятъ достаточно часто, чтобы превратить хаосъ въ космосъ. И въ этомъ слабая сторона теоріи Лигондэса.

Наконецъ, авторъ обращается къ послѣдней части механической теоріи — See'я. По этой теоріи планеты не отрывались отъ солнца, равно какъ и луна не отрывалась отъ земли. Всѣ эти небесныя свѣтила имѣли индивидуальное существованіе съ самого начала. Планеты были какъ бы захвачены въ плѣнъ солнцемъ, а луна землей. Какимъ образомъ произошелъ этотъ захватъ? Солнце вначалѣ было окружено атмосферой; какъ только какое-нибудь блуждающее свѣтило

попадало въ нее, оно испытывало сопротивленіе; орбита его, сначала гиперболическая, становилась вслѣдствіе уменьшенія скорости эллиптической, а затѣмъ приближалась къ круговой; одновременно съ этимъ уменьшался и ея радіусъ. Если свѣтило, захваченное такимъ образомъ, продолжало испытывать сопротивленіе солнечной атмосферы, то въ концѣ концовъ падало на солнце но эта атмосфера, поглощаемая солнцемъ, становилась все болѣе и болѣе разрѣженной и наконецъ совсѣмъ исчезала; съ этого момента орбиты планетъ уже перестали измѣняться. Теорія See'я, по мнѣнію Пуанкарэ, хорошо объясняетъ слабость эксцентриситетовъ, но не объясняетъ слабого наклоненія орбиты къ эклиптикѣ.

Нельзя полагать, говоритъ Пуанкарэ, что если наша солнечная система эволюционировала въ прошломъ, то теперь она достигла своего конечнаго состоянія, и что если болѣе или менѣе разрѣженная атмосфера, въ которой, такъ сказать, „плавали“ небесныя тѣла, была поглощена и исчезла, то планеты, съ тѣхъ поръ отдѣленные другъ отъ друга пустотой, перестали уже подвергаться пассивному сопротивленію: эти сопротивленія могутъ дѣйствовать и на разстояніи. Извѣстны, напримѣръ, двигатели, утилизирующіе силу приливовъ; эти двигатели не могутъ, конечно, создать энергіи, они должны были взять ее изъ какого-нибудь источника и этотъ источникъ можетъ быть только живой силой небесныхъ тѣлъ. Если бы чело-вѣкъ не построилъ этихъ двигателей то энергія эта не была бы использова-

на, она бесполезно была бы растеряна въ треніяхъ, въ ударахъ волнъ о берега; но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, живая сила свѣтилъ постоянно идетъ на убыль; скорость вращенія земли постоянно уменьшается, хотя и съ необычайной медленностью; по отношенію къ лунѣ это происходило гораздо скорѣе и процессъ достигъ уже того, что продолжительность ея вращенія сдѣлалась равной продолжительности ея обращенія; благодаря этому луна обращена къ намъ всегда одной и той же стороной.

Явленіе это въ космогонической эволюціи сыграло значительную роль, которую намъ выяснилъ Дарвинъ. Двѣ причины стремились измѣнить вращеніе планеты: съ одной стороны дѣйствіе приливовъ стремилось его замедлить, вѣрнѣе, придать ему то же направленіе и ту же продолжительность, какъ и обращеніе свѣтилъ вокругъ солнца; съ другой—охлажденіе и сжатіе, уменьшая моментъ инерціи, стремилось, наоборотъ, ускорить вращеніе. Первая изъ этихъ причинъ превратила вращеніе планетъ, первоначально ретроградное, въ прямое вращенію той же продолжительности, что и орбитальное обращеніе; затѣмъ вторая причина, ставшая преобладающей, сдѣлала прямое вращеніе этихъ планетъ гораздо болѣе быстрымъ.

Продолжительность дня, слѣдовательно, постоянно увеличивается, но благодаря своего рода реакціи, продолжительность мѣсяца также увеличивается, такъ какъ луна постоянно удаляется отъ земли. Въ моментъ своего образованія, спутникъ нашъ почти касался поверх-

ности земного шара; мѣсяцъ и день имѣли одинаковую продолжительность, равную пяти или шести теперешнимъ часамъ; зато, по истеченіи многихъ вѣковъ, мѣсяцъ и день станутъ равными другъ другу, равными приблизительно двумъ нашимъ теперешнимъ мѣсяцамъ, и земля будетъ обращена всегда одной и той же стороной къ лунѣ, какъ нынѣ луна къ землѣ.

Есть эти разнообразныя космогоническія гипотезы имѣютъ, по мнѣнію Пуанкаре, одну общую черту: это—теоріи механики и математической астрономіи; онѣ мало заимствуютъ у физическихъ наукъ, вслѣдствіе чего онѣ не полны. Дальнѣйшимъ шагомъ впередъ было вмѣшательство физиковъ, которые прежде всего и главнымъ образомъ занялись вопросомъ о происхожденіи солнечной теплоты. Ихъ точныя вычисленія показали, что солнце каждую секунду теряетъ громадныя количества теплоты. Откуда заимствовало солнце этотъ колоссальный запасъ энергіи, еще не изсякшій въ теченіе миллионныхъ лѣтъ? Сначала думали, что энергія эта происхожденія химическаго: солнце горитъ, какъ громадный кусокъ угля. Но вскорѣ пришлось отказаться отъ этой гипотезы, такъ какъ стало всѣмъ ясно, что солнце было бы тогда лишь эфемернымъ костромъ соломы, котораго врядъ ли хватило на четыре, пять тысячъ лѣтъ.

Тогда лордъ Кельвинъ и Гемгольцъ одновременно пришли къ предположенію, что солнечная энергія можетъ имѣть происхожденіе механическое. Сначала обратили вниманіе на ме-



теориты, падающіе постояннымъ дождемъ на поверхность солнца; живая сила метеоритовъ, постоянно уничтожаясь, должна превращаться въ теплоту. Но этого было недостаточно, и тогда нашли другой источникъ теплоты. Если различные матеріалы, изъ которыхъ образовалось солнце, были нѣкогда раздѣлены громадными пространствами и затѣмъ концентрировались подъ вліяніемъ притяженія, то работа этого притяженія должна была быть громадной; если же допустить, что работа эта превратилась въ живую силу, а затѣмъ въ теплоту, то долженъ образоваться запасъ теплоты въ десять тысячъ разъ большій, чѣмъ тотъ, который дало бы сгораніе шара угля величиной съ солнце. Итакъ, вначалѣ солнечная туманность была холодной, но она нагрѣлась, потому что сократилась. Но и здѣсь вычисленіе показало, что и этотъ процессъ все же не могъ бы дать теплоты больше чѣмъ на 50 милліоновъ лѣтъ. Но эта цифра слишкомъ мала для біологовъ-трансформистовъ и геологовъ: въ такое короткое время эволюція организмовъ не могла дойти до современнаго положенія, не могли бы произойти и геологическія измѣненія, не разъ за долгую жизнь земли совершенно измѣнявшія ея ликъ. Для того, чтобы всѣ эти процессы могли совершиться, необходимо нѣсколько сотенъ милліоновъ лѣтъ. Это противорѣчіе сильно подрываетъ значеніе механической гипотезы происхожденія солнечной теплоты. Но откуда же она тогда появилась, если ни механическое, ни химическое происхожденіе ея не выдерживаетъ критики. Можно было ду-

мать, осторожно и не безъ скрытой ироніи научнаго Пилата замѣчаетъ Пуанкарэ, что вопросъ останется безъ отвѣта, но былъ открытъ радій. Онъ одинъ, казалось, можетъ все объяснить; по крайней мѣрѣ онъ показалъ, что намъ остается открыть еще много тайнъ и что нельзя торопиться утверждать, что такое - то явленіе необъяснимо.

\* \* \*

Космогоническія теоріи, которыя мы только что разобрали, не выходятъ изъ границъ солнечной системы. Лапласъ полагалъ, что всѣ другія системы похожи на нашу и что подходитъ одной, подходитъ и другимъ. Къ тому же, всѣ другія системы казались ему раздѣленными слишкомъ громадными пространствами, чтобы онѣ могли воздѣйствовать одна на другія. Теперь мы уже не можемъ стоять на этой точкѣ зрѣнія Лапласа,—говоритъ Пуанкарэ,—телескопъ открылъ намъ въ звѣздномъ небѣ необычайное разнообразіе міровъ. Мы познакомились, на примѣръ, съ двойными звѣздами, весьма распространенными во вселенной: на каждыя три звѣзды приходится по крайней мѣрѣ одна двойная. Иногда обѣ звѣзды, образующія такое двойное свѣтило, легко различимы (въ телескопъ), но иногда онѣ почти соприкасаются. Если въ послѣднемъ случаѣ одна изъ нихъ болѣе яркая, чѣмъ другая, то періодическія затменія одной изъ нихъ другой будутъ выражаться для насъ измѣненіемъ блеска. Тогда только спектроскопъ или фотометръ покажутъ намъ, что мы имѣемъ дѣло съ двойной системой, и позволятъ опредѣлить орбиту.

Возможно ли, спрашивает Пуанкаре, чтобы одинъ и тотъ же механизмъ могъ дать начало съ одной стороны — системамъ, подобнымъ нашей, съ большимъ центральнымъ солнцемъ и крошечными планетами, отдѣленными другъ отъ друга громадными пространствами, а съ другой — этимъ страннымъ системамъ, гдѣ масса почти одинаково раздѣлена между двумя или тремя частями и гдѣ иногда разстояніе, отдѣляющее одну такую часть отъ другой, равно ихъ собственному протяженію?

Очевидно, что къ этимъ двойнымъ звѣздамъ теорія Лапласа не приложима. Пуанкаре предлагаетъ другую гипотезу. Представимъ, говоритъ онъ, вращающуюся туманность, подобную туманности Лапласа, но отличающуюся отъ нея тѣмъ, что масса ея не сконцентрирована въ центральномъ тѣлѣ, а приблизительно одинаково распределена повсюду. Охлаждаясь, такая туманность сожмется, и вращеніе ея ускорится, она будетъ сплющиваться все больше и больше; когда сплющиваніе перейдетъ извѣстную границу, то туманность удлинится въ одномъ направленіи такимъ образомъ, что будетъ имѣть три неравныя оси и видъ фигуры, которую въ случаѣ полной однородности называютъ „эллипсоидомъ Якоби“; еще позже фигура эта станетъ суживаться въ своей срединной части и процессъ кончится тѣмъ, что туманность раздѣлится на двѣ части неравныя, но сравнимыя по своимъ размѣрамъ. Возможно, говоритъ осторожный ученый, что такъ произошли двойныя звѣзды; возможно, что таково же происхожденіе и нашей луны.

Но и простыя звѣзды не всѣ одинаковы; спектроскопъ показалъ намъ, насколько онѣ различны, и вполне естественно предположить, что онѣ отличаются другъ отъ друга главнымъ образомъ возрастомъ и что различные спектральные типы соответствуютъ различнымъ эволюционнымъ типамъ. Если даже допустить, что всѣ эти звѣзды образовались въ одно и то же время, то все же существуетъ много причинъ, благодаря которымъ нѣкоторыя изъ нихъ могли состариться скорѣе другихъ.

Кромѣ звѣздъ существуютъ небесныя свѣтила и другихъ типовъ, на примѣръ, туманности, о которыхъ намъ уже приходилось говорить. Нѣкоторыя туманности „разрѣшимы“, т. е. разложимы въ сильныя инструменты на отдѣльныя скопленія звѣздъ, тогда какъ спектръ другихъ показываетъ, что онѣ цѣликомъ образованы изъ очень разрѣженного газа. Туманности имѣютъ самыя разнообразныя формы — дисковъ, колецъ, спиралей, неправильныхъ скопленій. Первые наблюдатели вполне естественно уподобляли ихъ теоретической туманности Лапласа или же туманностямъ другихъ подобныхъ теорій. Поэтому вначалѣ были убѣждены, что изъ этихъ туманностей разовьются впоследствии звѣзды или скопленія звѣздъ; въ настоящее время такая увѣренность сильно ослабла.

Дѣйствительно, время отъ времени мы наблюдаемъ рожденіе звѣзды, которая внезапно загорается на небѣ, но затѣмъ быстро тускнѣетъ и даетъ спектръ, напоминающій спектръ планетныхъ туманностей. Такимъ образомъ, часто на-

блюдали звѣзду, превращающуюся въ туманность, но никогда не видѣли, чтобы туманность превратилась въ звѣзду, какъ того требуетъ теорія Лапласа. Не захвачена ли тутъ природа на мѣстѣ преступленія въ своей творческой дѣятельности? — спрашиваетъ Пуанкарэ и сейчасъ же предостерегаетъ читателя отъ болшихъ и преждевременныхъ надеждъ, которая сильно ослабляются уже однимъ тѣмъ, что мнѣнія астрономовъ на эволюцію звѣздъ и въ частности на происхожденіе новыхъ звѣздъ весьма разнообразны. Первой наиболѣе естественной была та мысль, что туманности имѣютъ чрезвычайно высокую температуру и представляютъ первую стадію эволюціи, такъ сказать, дѣтство небесныхъ свѣтилъ, что за ними идутъ бѣлыя звѣзды, затѣмъ желтыя и наконецъ красныя, все болѣе и болѣе старыя и все болѣе и болѣе холодныя.

Для Локьера исторія звѣзднаго міра болѣе сложна; туманности, по его мнѣнію, наоборотъ очень холодны (съ чѣмъ теперь уже всѣ согласны) и блескъ ихъ электрическаго происхожденія. По этой теоріи, туманности образованы кучей метеоритовъ; вслѣдствіе постоянныхъ столкновеній, эти метеориты нагрѣваются, испаряются и въ концѣ концовъ образуютъ газообразную массу чрезвычайно горячую, однимъ словомъ—звѣзду. Въ этотъ періодъ эволюціи небеснаго свѣтила уже нѣтъ, конечно, мѣста столкновеніямъ отдѣльныхъ частей, воцаряется порядокъ и спокойствіе. Вслѣдствіе лучеиспусканія звѣзда мало по малу охлаждается, потухаетъ и на ней образуется кора; затѣмъ она снова про-

ходитъ въ обратномъ порядкѣ тѣ же температурныя стадіи, которая она прошла въ своемъ развитіи. Такимъ образомъ полный циклъ небеснаго тѣла будетъ слѣдующій: туманность, красная звѣзда, желтая звѣзда, бѣлая звѣзда, желтая звѣзда, красная звѣзда, потухшая звѣзда. Звѣзды восходящей серіи однако очень отличаются отъ соответствующихъ звѣздъ нисходящей серіи; вся масса первыхъ пронизывается сильнѣйшими теченіями; метеориты еще не вполне исчезли и столкновенія ихъ поддерживаютъ возбужденіе; вторыя же находятся въ относительномъ покоѣ. Локьеръ устанавливаетъ эти различія благодаря долголѣтнему изученію звѣздныхъ спектровъ.

„Новыя звѣзды“ (Novae) уже со временъ Тихо де Браге волновали воображеніе астрономовъ своими внезапными появленіями, съ несомнѣнностью указывавшими на какую-то катастрофу. Чѣмъ она обусловлена? Взрывомъ ли, аналогичнымъ солнечнымъ протуберанцамъ или механическимъ столкновеніемъ небесныхъ тѣлъ? Въ настоящее время почти всѣ принимаютъ послѣднее объясненіе, но и оно можетъ принимать различныхъ формы. Имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ двумя твердыми тѣлами моментально накалившимися, какъ только столкновеніе уничтожило ихъ живую силу? Или же это огромное твердое тѣло, или слабо свѣтящаяся звѣзда, или куча метеоритовъ, проникнувшая въ туманность и накалившаяся вслѣдствіе тренія? Или наконецъ, какъ думаетъ Аррениусъ, это—солнца, покрытыя корой и сохранившія внутри огромный запасъ энергіи

въ видѣ, напримѣръ, радиоактивности? Этотъ запасъ энергіи остается неиспользованнымъ, пока онъ заключенъ въ оболочку, но онъ можетъ освободиться, если какой-нибудь ударъ разобьетъ эту кору. Тогда энергія израсходуется въ короткій промежутокъ времени: ударъ породить теплоту и взрывъ, подобно тому какъ артиллерійскій снарядъ, заряженный взрывчатымъ веществомъ, взрываетъ при ударѣ о препятствіе.

„Новыя звѣзды“ часто окружены туманностями. Но доселѣ мы не можемъ рѣшить вопроса, являются ли такіа туманности причиной или слѣдствіемъ появленія этихъ звѣздъ. Потому ли внезапно засвѣтилась „новая звѣзда“, что, встрѣтившись съ туманностью, она внезапно раскалилась и сдѣлалась блестящей; или же туманность была какъ бы выброшена такой звѣздой изъ своихъ нѣдръ, какъ дымъ при взрывѣ.

Еще больше неразрѣшенныхъ вопросовъ, еще больше тайнъ встаетъ передъ нами, если объектомъ нашихъ изслѣдованій станетъ не отдѣльная звѣзда, а вся совокупность ихъ и ихъ взаимныя соотношенія. Образовались ли звѣзды одновременно или же однѣ изъ нихъ послѣдовательно зажигаются въ то время, какъ другія уже потухаютъ? Если онѣ всѣ одинаковаго возраста, то не составились ли однѣ изъ нихъ раньше другихъ и не потому ли онѣ въ настоящее время столь различны? Но тогда рядомъ съ блестящими звѣздами должны существовать потухшія звѣзды въ гораздо большемъ числѣ. Какъ рѣшить эти вопросы?

Можетъ быть, слѣдующія соображенія впервые высказанныя лордомъ Кельвиномъ, смогутъ помочь въ этомъ. Млечный путь образованъ многочисленными звѣздами, взаимно притягивающимися и двигающимися въ различныхъ направленіяхъ. Млечный путь, слѣдовательно, можно сравнить съ газомъ, молекулы котораго, какъ извѣстно, взаимно притягиваются и движутся въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. Отдѣльную звѣзду можно уподобить, такимъ образомъ, газообразной молекулѣ. Опираясь на эту аналогію, можно вывести кинетической теоріи газовъ распространить и на звѣздный міръ. Газъ, подчиненный ньютоновскому притяженію, черезъ нѣкоторый незначительный промежутокъ времени принимаетъ состояніе особаго равновѣсія, при которомъ температура его возрастаетъ къ центру; центральная температура такого газа будетъ зависѣть отъ его массы и отъ его объема. Температура эта измѣряется молекулярными скоростями. Примѣнимъ эти выводы къ млечному пути. Звѣздныя скорости получены нами изъ наблюденій надъ близъ ими къ намъ звѣздами, близкими, слѣдовательно, и къ центру млечнаго пути; поэтому эти скорости соответствуютъ „центральной температурѣ“ и могутъ дать намъ понятіе о размѣрахъ и общей массѣ этого звѣзднаго скопленія. Оказывается, что телескопъ почти достигъ крайнихъ предѣловъ и что въ млечномъ пути, вѣроятно, находится мало темныхъ звѣздъ; еслибы ихъ было больше, чѣмъ блестящихъ свѣтилъ, то онѣ также приняли бы участіе въ общемъ притяженіи и движеніи звѣздъ были бы

гораздо большими, чѣмъ тѣ, которыя были наблюдаемы.

Кажется, — говоритъ Пуанкарэ, — что это разсужденіе покоится на неопровержимыхъ положеніяхъ. Но оказывается, что астрономическія данныя осложняютъ эти выводы.

Согласно Каптейну и другимъ астрономамъ, нужно предположить, что въ млечномъ пути мы имѣемъ дѣло не съ однимъ, а съ двумя звѣздными скопленіями, взаимно проникающими другъ друга. Повидимому, оба эти млечные пути, достигшіе уже своего конечнаго состоянія равновѣсія, нѣкогда встрѣтились, но не оказали другъ на друга столь сильнаго дѣйствія, чтобы окончательно слить ихъ и нивелировать ихъ различія. Они подобны двумъ газообразнымъ пузырькамъ, которые столкнулись, но не успѣли еще смѣшаться.

Но если, несмотря на это, соображенія лорда Кельвина все еще держатся въ общихъ чертахъ и если число потухшихъ звѣздъ все же не такъ ужъ громадно, то мы принуждены, говоритъ Пуанкарэ, допустить, что всѣ факелы нашего неба зажглись приблизительно въ одно и то же время и что возрастъ млечнаго пути не во много разъ превышаетъ продолжительность жизни небольшого числа звѣздъ.

\* \* \*

Одной изъ новѣйшихъ космогоническихъ теорій и, по мнѣнію автора, наиболѣе оригинальной изъ нихъ является теорія Свантъ Аррениуса. Для знаменитаго шведскаго химика небесныя свѣтила не являются индивидами чуждыми другъ другу, — отдѣленными другъ

отъ друга громадными пустыми пространствами и обмѣнивающимися другъ съ другомъ только своими притяженіями и свѣтомъ — нѣтъ! — они обмѣниваются и электричествомъ, и матеріей, и даже живыми зародышами. Давленіе, производимое энергіей лучей, испускаемыхъ свѣтящимися тѣлами, имѣетъ достаточную силу для того, чтобы отталкивать легкія тѣла; благодаря дѣйствію этой отталкивательной силы образуются хвосты кометъ; разрѣженное вещество ихъ отталкивается солнечнымъ свѣтомъ. Эта же сила, по Аррениусу, отрываетъ отъ солнца маленькія частички и гонитъ ихъ до земли, до планетъ и до далекихъ туманностей. Частички эти, въ концѣ концовъ, какъ бы склеиваются другъ съ другомъ и образуютъ метеориты; эти послѣдніе, проникая въ глубь туманностей, и становятся центрами сгущенія, вокругъ которыхъ матерія начинаетъ концентрироваться. Затѣмъ начинается уже исторія звѣздъ, ихъ почти темное рожденіе, ихъ расцвѣтъ и ихъ упадокъ, приводящій къ образованію коры; это еще не смерть, но начало долгаго періода скрытой жизни, темной и тихой до того момента, когда какой-нибудь ударъ внезапно освободитъ заснувшую энергію и вызоветъ колоссальный взрывъ, который дастъ начало новой туманности и новому циклу. Періодъ скрытой жизни звѣзды долженъ быть, по теоріи Аррениуса, болѣе продолжительнымъ, чѣмъ періодъ, когда она является свѣтящейся. Откуда слѣдуетъ, что темныхъ звѣздъ должно быть больше, чѣмъ видимыхъ, что противорѣчитъ взглядамъ лорда Кельвина. Для Аррениуса вселенная безкон-

нечна и свѣтила распределены въ ней приблизительно равномерно; если наши телескопы назначаютъ предѣлы вселенной, то просто потому, что они слишкомъ слабы и что свѣтъ, идущій отъ наиболѣе удаленныхъ солнцъ поглощается въ пути.

Этой гипотезѣ Аррениуса дѣлались два возраженія. Во-первыхъ, говорили, что если плотность звѣздъ является постоянной на протяженіи всего пространства, то общій свѣтъ ихъ долженъ былъ бы придать небу блескъ солнца. Возраженіе было бы совершенно правильнымъ, если бы межзвѣздная пустота пропускала весь свѣтъ, проходящій черезъ нее, такъ что видимый блескъ свѣтила измѣнялся бы лишь обратно пропорціонально квадрату разстоянія. Но съ большою вѣроятностью можно предположить, что среда, раздѣляющая звѣзды, является средой поглощающей свѣтъ, хотя и въ очень слабой степени. Если это такъ, то первое возраженіе падаетъ само собою.

Другое возраженіе состоитъ въ томъ, что при допущеніи гипотезы Аррениуса ньютоновское притяженіе должно было бы быть безконечнымъ или неопредѣленнымъ. И дѣйствительно, сторонники теоріи Аррениуса должны предположить, что законъ Ньютона не вполне точенъ и что тяготѣніе претерпѣваетъ нѣкоторое поглощеніе. Если принять эту гипотезу, то выводы лорда Кельвина можно откинуть, такъ какъ они установлены, исходя изъ неизмѣнности закона Ньютона; тогда млечный путь нужно уподобить уже не пузырьку газа, плотность и температура котораго увеличивается

къ центру, но газообразной массѣ, безконечной и однородной, равномерной плотности и температуры.

Но это не все, говоритъ Пуанкарэ, вселенная Аррениуса не только безконечна въ пространствѣ, но она вѣчна во времени; здѣсь въ особенности взгляды Аррениуса являются, по мнѣнію Пуанкарэ, гениальными и весьма плодотворными, несмотря на всѣ возраженія, которыя имъ можно сдѣлать. Вселенная — это громадная тепловая машина, функционирующая между источникомъ тепла и источникомъ холода; источникомъ тепла являются звѣзды, а источникомъ холода — туманности. Но мы знаемъ, что наши тепловые машины остановились бы, если бы ихъ не снабжали постоянно новымъ топливомъ; предоставленные самимъ себѣ, оба источника изсякли бы, т. е. температуры ихъ уравнились бы и въ концѣ концовъ установилось бы равновѣсіе, что и утверждаетъ принципъ Карно. Принципъ этотъ самъ по себѣ является слѣдствіемъ законовъ статической механики. Такъ какъ молекулы чрезвычайно многочисленны, то онѣ стремятся смѣшаться и подчиняются только законамъ случайностей. Чтобы вернуть эти молекулы къ первоначальному состоянію, необходимо ихъ рассортировать, уничтожить происшедшее смѣшеніе. Но это невозможно; для этого необходимъ „демонъ“ Максвелла, т. е. существо весьма проницательное и весьма умное, способное рассортировать предметы столь незначительной величины. Для того, чтобы вселенная могла безконечное число разъ возобновляться сызнова, необходимо, слѣдовательно, нѣ-

что вродѣ автоматическаго демона Максвелла. Аррениусъ думаетъ, что онъ нашелъ этого демона. Туманности очень холодны, но имѣютъ чрезвычайно малую плотность и, слѣдовательно, мало способны удерживать своимъ притяженіемъ тѣла, находящіяся въ движеніи и стремящіяся оторваться отъ нихъ. Молекулы газовъ обладаютъ различными скоростями и чѣмъ скорости эти больше въ среднемъ, тѣмъ газъ горячѣе. Роль максвелловскаго демона, если бы онъ захотѣлъ охладить какое-нибудь ограниченное пространство, состояло бы въ томъ, что онъ выбиралъ бы горячія молекулы, т. е. молекулы съ большими скоростями и извлекалъ бы ихъ изъ этого пространства, благодаря чему тамъ остались бы только холодныя молекулы. Дѣйствительно, молекулами, имѣющими наибольшіе шансы вырваться изъ туманности, несмотря на притяженіе, будъ тѣ какъ разъ молекулы, обладающія большей скоростью—молекулы горячія; такимъ образомъ, туманность можетъ оставаться холодной, несмотря на постоянное образованіе въ ней теплоты.

Можно дать и другія объясненія, говоритъ Пуанкаре, на примѣръ, то, что здѣсь настоящимъ источникомъ холода является пустота съ температурой въ абсолютный нуль. Кромѣ того, можно отмѣтить, что горячія тѣла образованы молекулами, скорости которыхъ имѣютъ различныя направленія, тогда какъ молекулы, производящія живую механическую силу, имѣютъ всѣ одно и то же направленіе; соединенныя вмѣстѣ газообразныя молекулы образуютъ газъ, который можетъ быть холоднымъ и при-

косновеніе съ которымъ охлаждаетъ; наоборотъ, отдѣленные другъ отъ друга эти газообразныя молекулы станутъ снарядами, столкновенія съ которыми будутъ согрѣвать. Въ межзвѣздныхъ пустыхъ пространствахъ газовыя частицы раздѣлены огромными разстояніями и, такъ сказать, изолированы, и потому энергія ихъ проявится уже не въ формѣ „теплоты“, а въ формѣ работы.

И все же, говоритъ Пуанкаре, возникаетъ много сомнѣній и возраженій противъ теоріи Аррениуса. Не заполнится ли въ концѣ концовъ пустота, если вселенная безконечна? А если послѣднее предположеніе не вѣрно, то не будетъ ли матерія, отдѣляясь отъ туманности, испаряться до тѣхъ поръ, пока ничего не останется? Во всякомъ случаѣ мы должны отказаться, по мнѣнію Пуанкаре, отъ мечты о „Вѣчномъ возвращеніи“ и о постоянномъ возрожденіи міровъ, и признать, что теорія Аррениуса все же не вполне удовлетворяетъ: недостаточно посадить демона въ ограниченное холодное пространство, необходимо еще другой демонъ и въ тепломъ пространствѣ.

\* \* \*

„Послѣ всего изложеннаго, говоритъ Пуанкаре, отъ меня, конечно, ждутъ заключенія, выводовъ, а это чрезвычайно меня затрудняетъ. Чѣмъ больше изучаешь вопросъ о происхожденіи небесныхъ свѣтилъ, тѣмъ менѣе торопишься сдѣлать выводы. Каждая изъ теорій имѣетъ свои привлекательныя стороны. Однѣ вполне удовлетворительно даютъ объясненіе нѣкотораго числа фактовъ; другія обнимаютъ большее количество

фактовъ, но объясненія теряютъ въ точности, выигрывая въ объемъ.

Если бы существовала только солнечная система, то я не задумался бы предпочесть старую гипотезу Лапласа; нужно мало, чтобы ее подновить. Но разнообразіе звѣздныхъ системъ заставляетъ расширить наши рамки, такъ что гипотеза Лапласа, если даже ее и не откинуть совершенно, все же должна быть измѣнена, оставаясь только частной формой, приноровленной специально къ солнечной системѣ, болѣе общей гипотезы, годной для всей вселенной и объясняющей судьбы различныхъ звѣздъ и занимаемое ими мѣсто.

„Въ этомъ отношеніи наши данныя еще недостаточны и многое еще мы должны ожидать отъ дальнѣйшихъ наблюденій. Существуютъ ли оба теченія Каптейна и имѣются ли еще и другія? Что такое туманности и, въ частности, спиральныя туманности? Находятся ли

онѣ отъ насъ на огромныхъ разстояніяхъ, внѣ Млечнаго пути, или же онѣ сами являются млечными путями, видимыми издалика? Или же, несмотря на свойства ихъ спектра, нельзя ли ихъ отождествить съ настоящими звѣздными скопленіями? Можно ли допустить, что наша солнечная система прокзошла изъ туманности, той или иной формы — изъ спиральной, круговой или планетной туманности? На этотъ вопросъ мы сможемъ отвѣтить, по мнѣнію Пуанкарэ, лишь тогда, когда будемъ лучше знать природу, разстояніе и слѣдовательно, размѣры всѣхъ этихъ тѣлъ...

Такъ „знакомъ вопроса“, смягченнымъ лишь нѣсколько призывомъ къ дальнѣйшей работѣ, кончаетъ свое удивительно тонкое критическое изслѣдованіе одной изъ величайшихъ проблемъ человеческого духа величайшій скептикъ нашей скептической эпохи.

В. Агафоновъ.

## ДВОРЯНСКОЕ ОСКУДѢНІЕ.

Каждую осень въ приложеніи къ „Нов. Времени“ появляются густыя колонны о назначенныхъ въ продажу дворянскихъ имѣніяхъ. Отъ этихъ цифръ въ глазахъ пестритъ. Тутъ и громадныя латифундіи именитыхъ дворянъ, тутъ и скромныя дворянскія усадьбы, тутъ представлены всѣ російскія губерніи и чуть ли не всѣ уѣзды.

Правда, не всѣ назначенныя въ продажу дворянскія имѣнія фактически продаются. Многія изъ нихъ въ послѣднюю

минуту снимаются съ торговъ, но все же каждый годъ громадная площадь земель уплываетъ изъ подъ ногъ дворянства и втягивается въ круговоротъ купли-продажи.

Вращеніе дворянской земли начинается, собственно говоря, лишь съ эпохи освобожденія крестьянъ. До начала девятнадцатаго вѣка не-дворяне вообще лишены были права приобрѣтенія земель, и земля, если и двигалась, то только между дворянами. Движеніе это



было незначительно. Въ самомъ началѣ девятнадцатаго вѣка (въ 1801-мъ году) Александръ I-ый издаетъ законъ, разрешающій и не-дворянамъ владѣть ненаселенною землею. Но такъ какъ тогда русская буржуазія была чрезвычайно малочислена и бѣдна капиталами, и такъ какъ земля безъ крѣпостныхъ не представляла большой цѣнности, то и съ изданіемъ этого закона сколько нибудь обширнаго передвиженія земли не происходило.

Но съ освобожденіемъ крестьянъ малоподвижная дворянская земля сразу была охвачена сильнымъ движеніемъ. На рынокъ поступаетъ во все растущемъ количествѣ дворянская земля. Въ литературѣ усердно начинается обсуждаться вопросъ о земельномъ оскудѣніи дворянства.

Мелькаютъ цифры ежегодныхъ земельныхъ потерь дворянства. И цифры эти такъ громадны, такъ угрожающе быстро растутъ, что многіе публицисты давно уже предсказывали скорую гибель всего дворянскаго землевладѣнія. При болѣе пристальномъ ознакомленіи оказалось, что процессъ дворянскаго оскудѣнія не такъ скоротеченъ, какъ это рисовалось многимъ наблюдателямъ. Съ одной стороны, усердная золотая вспрыскиванія, которыми правительство лѣчило дворянъ отъ экономическаго худосочія, съ другой выдѣленіе изъ дворянства группы крѣпкихъ, хозяйствующихъ помѣщиковъ, которые скупали земли, все это повело къ тому, что процессъ дворянскаго оскудѣнія принялъ болѣе сложный и болѣе медлительный характеръ, заставившій иныхъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей

даже усомниться въ томъ, что вообще этотъ процессъ происходитъ.

Остановимся прежде всего на статистическомъ измѣреніи глубины и ширины процесса дворянскаго оскудѣнія.

Въ процессѣ продажи и купли земель дворяне занимаютъ первое мѣсто. Если дворяне больше всѣхъ другихъ группъ продаютъ, то съ другой стороны они же и больше всѣхъ другихъ покупаютъ. Этого не слѣдуетъ упускать изъ виду. Дворянскіе публицисты, оплакивая свое оскудѣніе и протягивая руку за помощьюъ къ правительству, ссылаются при этомъ на очень многозначныя цифры продажи дворянами земель. Но не надо забывать, что если одна часть дворянъ усердно продаетъ земли, то другая часть, а часто и тѣ же самыя лица, усердно покупаютъ. Вопросъ только въ томъ, перевѣшиваютъ ли дворянскія покупки дворянскія продажи. На этотъ вопросъ приходится отвѣтить отрицательно. Обильныя и неопровержимыя данныя показываютъ, что дворяне продаютъ больше, чѣмъ покупаютъ, и что такимъ образомъ процессъ дворянскаго оскудѣнія не выдуманъ, а представляетъ собою фактъ, установленный статистикой.

Обратимся же къ статистическимъ фактамъ.

Наканунѣ освобожденія крестьянъ площадь дворянскихъ земель равнялась приблизительно 105 мил. десятинъ. Освобожденіе сразу сильно сократило эту площадь до 79,1 мил. Съ этой поры непрерывно тянется таяніе площади дворянскаго землевладѣнія. Къ 1877 г. она уже сводится къ 73 мил., въ 1887 г. — къ 65 мил., въ 1905 г. — къ 53 мил.,

десятины. По даннымъ, приводимымъ проф. В. Святловскимъ („Мобилизація земельной собственности въ Россіи“), дворяне въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ послѣ крестьянской реформы (1863—1872 г.) продали 16.120,2 тыс. десятины и приобрѣли 9.673,3 тыс. дес., т. е. въ общемъ итогѣ потеряли 6.446,9 тыс. дес., или по 644,7 тыс. дес. въ годъ.

Въ слѣдующее десятилѣтіе (1873—1882 г.) дворянство теряло уже 949,1 тыс. дес. въ годъ; въ десятилѣтіе (1883—1892 г.)—830,8 тыс. дес. и въ десятилѣтіе 1893—1902 г.—979 тыс. дес.

Земельное оскуднѣніе дворянства еще яснѣе выступаетъ въ опубликованной сравнительной таблицѣ движенія земли за 35 лѣтъ въ 45 губ. Европейской Россіи:

Группа влад.	Покупки.	Прод.	Прибыль (+) убыль (—)
Дворяне . . . . .	39,8%	69,5%	—29,7%
Крестьяне . . . . .	21,3%	7,8%	+13,5%
Прочія сословія . .	38,9%	22,7%	+16,2%
Итого . . . . .	100,0%	100,0%	0,0%

Итакъ, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что дворяне по площади землевладѣнія несомнѣнно изъ года въ годъ оскудѣваютъ. Непрестанно таетъ площадь дворянскихъ земель.

Въ новѣйшее время дворянское земельное оскуднѣніе не только не приостанавливалось, но приняло въ годы революціоннаго броженія еще болѣе острый и скоротечный характеръ. Во время аграрной смуты дворяне панически продавали землю. Они выбросили на рынокъ громадныя земельныя площади.

Съ наступленіемъ успокоенія и за-

тяжной политической реакціи эта земельная паника утихла, но процессъ дворянскаго оскуднѣнія, принявъ болѣе мягкія формы и болѣе медленный темпъ, не приостановился однако.

Итакъ, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что на протяженіи всей новѣйшей соціальной исторіи Россіи совершался и теперь не приостановился процессъ таянія дворянскаго землевладѣнія. Начавшись съ освобожденія крестьянъ, онъ продолжается въ наши дни. Дворянское землевладѣніе таяло аки воскъ въ огнѣ революціонныхъ дней, оно продолжало таять и въ крѣпкіе морозы реакціи.

Но неужели же наша, дворянами вдохновляемая, правительственная политика могла оставаться пассивной и безучастной зрительницей этого дворянскаго оскуднѣнія? Неужели же бодрствующій дворянскій духъ политики могъ оставить безъ помощи и лѣченія эту немощную и оскудѣвающую дворянскую плоть?

Конечно, нѣтъ. Дворянская политика никогда не забывала о дворянской экономикѣ. Она всегда и щедро помогала послѣдней, стремилась поставить ее на ноги, вернуть дворянамъ уплывающую отъ нихъ землю. Ни передъ какими жертвами не останавливалась она. Она непрерывнымъ золотымъ дождемъ субсидій, подачекъ, льготъ и привилегій орошала оскудѣвавшее дворянское землевладѣніе. Она освобождала его отъ платежей, устраивала ему чуть ли не приносящій проценты кредитъ, вела сложную политику земельной спекуляціи, заставила крестьянскій банкъ служить дворянскимъ интересамъ, и въ итогѣ

несомнѣнно, содѣйствовала сильному обогащенію отдѣльныхъ группъ дворянъ, но не въ силахъ была пріостановить упадокъ дворянскаго землевладѣнія.

Познакомившись въ общихъ чертахъ съ дворянскимъ оскудѣніемъ, мы перейдемъ теперь къ правительственному благотворенію.

Мы видѣли уже, что на рынкѣ, гдѣ продаютъ земли, дворяне выступаютъ и въ качествѣ болѣе крупныхъ продавцовъ и въ качествѣ болѣе крупныхъ покупателей.

Въ эту - то сторону и направилась дѣятельность неоскудѣвающей руки дающаго правительства.

Былъ пущенъ въ ходъ весь сложный механизмъ экономическихъ и финансовыхъ учреждений, чтобы поставить дворянъ въ болѣе благоприятныя привилегированныя условія и какъ покупателей и какъ продавцовъ. Путемъ очень сложной политики цѣнъ правительство добивалось и добилось того, что дворяне покупаютъ у насъ дешевле и продаютъ дороже, чѣмъ всѣ остальные классы и группы населенія. Эта сложная правительственная политика цѣнъ создаетъ въ Россіи чрезвычайно любопытное экономическое явленіе сильнаго различія, въ зависимости отъ сословія покупателей и продавцевъ. Россія единственная европейская страна, гдѣ путемъ правительственнаго вмѣшательства и воздѣйствія существуютъ сословныя земельныя цѣны. Если мы рассмотримъ статистическія данныя о покупкахъ и продажахъ земель съ одной стороны крестьянами, а съ другой дворянами, то увидимъ чрезвычайно любопытное явленіе, что высота цѣны нахо-

дится въ прямой и ненарушимой связи съ сословіемъ покупателей и продавцевъ. Дворяне всюду покупаютъ дешевле и продаютъ дороже, чѣмъ крестьяне.

Дворянинъ является на экономическій рынокъ не только какъ экономическая, но и какъ политическая категорія. За его спиною стоитъ мощная политическая власть, которая искусственно понижаетъ уровень цѣнъ, когда дворянинъ выступаетъ продавцемъ, и повышаетъ его, когда дворянинъ выступаетъ покупателемъ.

У насъ очень на шумѣлъ недавно проектъ націонализаціи кредита и торговли, измышленный покойнымъ П. Столыпинымъ. По этому поводу очень много писалось и говорилось о маніи административнаго величія, о бюрократической утопіи издавать законы экономического развитія. Все это до извѣстной степени было справедливо. Но только до извѣстной степени. Забывался несомнѣнный фактъ воздѣйствія правительства на уровень цѣнъ, забывалось, что у насъ сословность еще играетъ огромную экономическую роль, властно вмѣшиваясь въ процессъ образованія цѣнъ, по крайней мѣрѣ, земельныхъ цѣнъ. Если націонализація кредита и торговли, въ той формѣ, какъ ее планировалъ П. Столыпинъ, осталась утопіей, похороненной подъ зеленымъ саваномъ канцелярскаго сукна, то давнымъ давно и не безъ успѣха у насъ практикуется своего рода дворянонозація земельной торговли и дешеваго кредита.

Обращаясь къ цифровымъ даннымъ, мы находимъ такую, напр., таблицу: крестьянскимъ банкомъ съ 1-го января 1907 г. по 1 июля 1910 г. пріобрѣтено

было 3.873.577 дес. земли на сумму 330 мил. руб. При этомъ за десятину земли банкомъ было уплачено:

Крестьянамъ . . .	по 64 р. за дес.
Мѣщанамъ . . .	„ 113 р. „ „
Купцамъ . . .	„ 118 р. „ „
Дворянамъ . . .	„ 121 р. „ „

Эти данныя свидѣлствуютъ о словномъ характерѣ существующихъ у насъ земельныхъ цѣнъ. Мы ниже увидимъ, какой сложный финансово экономическій аппаратъ пустило въ ходъ русское правительство для того, чтобы высота и колебанія земельныхъ цѣнъ сообразовались съ табелью о рангахъ.

Теперь же обратимся къ фактическимъ даннымъ. Изъ приведенныхъ выше данныхъ мы уже знаемъ, что крестьянамъ приходится продавать землю при наиболѣе тяжелыхъ, а дворянамъ при наиболѣе легкихъ условіяхъ.

Посмотримъ же, каковы условія, при которыхъ дворяне пользуются дворянскимъ, а крестьяне крестьянскимъ банкомъ.

Вотъ выразительная таблица условій кредита, приводимая покойнымъ М. Герценштейномъ.

	Ростъ.	Погаш.	Админ. расх.	Итого.
Дворянск. б. . . 4	1/4	1/4	4 1/2	
Акціонерн. б. . . 4 1/2	1/2	1/2	5 1/2	
Крестьянск.б. . . 4 1/2	1	1	6 1/2	

Данныя эти очень выразительны. Они показываютъ, что крестьяне въ „своемъ“ крестьянскомъ банкѣ поставлены въ несравненно болѣе тяжелыя условія кредита, чѣмъ дворяне въ дворянскомъ банкѣ. Крестьяне уплачиваютъ несравненно болѣе высокій процентъ (въ дворянскомъ банкѣ процентъ былъ со времени Герценштейна значительно пони-

женъ), чѣмъ дворяне. Имъ приходится производить погашенія въ четыре раза быстрѣе, чѣмъ дворянамъ, имъ приходится нести въ четыре раза большіе расходы на администрацію, чѣмъ дворянамъ. И это положеніе дѣла непрерывно ухудшается для крестьянъ.

Если мы обратимся къ оцѣнкѣ земельными банками, то опять-таки наткнемся на то явленіе, что дворянскія земли оцѣниваются иначе чѣмъ крестьянскія. Тогда какъ за десятилѣтіе въ акціонерныхъ земельныхъ банкахъ оцѣнка возросла на 22,7%, въ дворянскомъ банкѣ—на 19,3%, эта же оцѣнка въ крестьянскомъ банкѣ поднялась на 81,8%. (А. Закъ. Крестьянскій поземельный банкъ М. 1911).

Когда основывался крестьянскій банкъ, нанеюмногисклонны были смотрѣть какъ на учрежденіе, призванное уменьшить крестьянское малоземелье и дать крестьянамъ возможность дешево и на льготныхъ условіяхъ приобрѣтать землю. Такъ какъ земли эти приобрѣтались преимущественно у дворянъ, а дворяне заинтересованы были, чтобы земли продавались возможно дороже, то крестьянскому банку скоро навязана была функція попечительнаго совѣта объ оскудѣвающихъ дворянахъ и пріисканія для нихъ богатыхъ покупателей.

Дворянская политика заставила крестьянскій банкъ стать крупнымъ факторомъ въ правительственной игрѣ на повышение цѣнъ на дворянскія земли. А такъ какъ въ рукахъ такого игрока, какъ крестьянскій банкъ, постепенно сосредоточенъ былъ миллионъ десятинъ земли, то, конечно, политика, направ-

ленная на повышение цѣнъ на дворянскія земли, вполне ему удалась, и крестьянскій банкъ обогатилъ не малое число дворянъ.

Исторія постепеннаго превращенія крестьянскаго банка въ орудіе дворянской политики очень поучительна, но у насъ здѣсь нѣтъ мѣста для ея изложенія. Мы отмѣтимъ лишь нѣкоторыя ея очень рельефныя стороны.

Прежде всего, управленіе обоими банками—Дворянскимъ и Крестьянскимъ—для единства ихъ политики передается въ руки одного лица. Но этого показалось недостаточнымъ. Чтобы устранить возможность оппозиціи дворянской политикѣ со стороны членовъ крестьянскаго банка, управляющему банками предложено было право переводить членовъ крестьянскаго банка въ дворянскій банкъ и наоборотъ. Этимъ путемъ возможность оппозиціи была устранена, такъ какъ строптивые члены крестьянскаго банка могли быть переведены въ дворянскій, гдѣ ихъ голоса терялись, а на ихъ мѣсто назначался надежный членъ совѣта дворянскаго банка.

Въ 1895 г. крестьянскій банкъ подвергся крупной реформѣ, позволившей ему выступить въ роли крупнаго покупателя и продавца земли. Чрезвычайно характерно, что необходимость этой реформы крестьянскаго банка мотивировалась интересами дворянства.

При обсужденіи въ 1895 г. проекта новаго устава въ Госуд. Совѣтѣ, открыто заявлялось:

— „Покупка имѣній банкомъ, способствующая земельному обезпеченію кре-

стьянъ, облегчить продажу имѣній тѣмъ дворянамъ, для которыхъ въ настоящихъ обстоятельствахъ отчужденіе ихъ поземельной собственности, всей или части, составляетъ, можетъ быть, единственный выходъ и средство спасти себя отъ полнаго разоренія“. И далѣе: „Являясь покупщикомъ имѣній, банкъ можетъ въ отдѣльныхъ случаяхъ облегчить положеніе дворянъ-продавцевъ и помочь имъ ликвидировать свою собственность по возможности безубыточно. Во многихъ случаяхъ, когда безъ вмѣшательства банка имѣніе пошло бы въ продажу за несоразмѣрно низкую цѣну, банкъ, купивъ это имѣніе по сходной цѣнѣ, можетъ оказать большую услугу продавцу“.

Такимъ образомъ, при реформѣ банка ему явно навязали политическія функціи поддержанія первенствующаго сословія и банкъ эти функціи выполнилъ и выполняетъ. Рожденный помочь крестьянамъ въ покупкѣ земли по возможно дешевой цѣнѣ, онъ занялся помощью дворянамъ въ продажѣ земли крестьянамъ по возможно дорогой цѣнѣ. Началась сложная и сильная игра на повышение земельныхъ цѣнъ, игра, обогатившая продавцовъ-дворянъ и поставившая въ очень тяжелое положеніе покупателей-крестьянъ.

Удивительно-ли, что крестьяне Череповецкаго уѣзда Новгородской губ., обращаясь въ 1-ую Государственную Думу, писали: „Крестьянскій банкъ не для крестьянъ, а для господъ, чтобы дороже сбывать туда свои земли, а потомъ крестьяне, не разсчитавъ, что приноситъ земля дохода, покупаютъ по утросеннымъ цѣнамъ“.

Официальные лица всегда откровенно подчеркивали; что крестьянский банк благотворительное для дворянъ учреждение. Министръ финансовъ въ запискѣ, внесенной въ прошломъ году въ Госуд. Думу, подчеркивалъ, что „участіе крестьянскаго банка въ качествѣ покупателя зъ оборотѣ перехода земельной собственности существенно облегчало положеніе продавцовъ, обезпечивая имъ полученіе цѣны, соответствующей дѣйствительной стоимости земли“.

„Если на почвѣ событій 1905 и 1906 гг. земельная спекуляція не развилась до степени, опасной для самаго существованія частнаго землевладѣнія, то этому безъ сомнѣнія содѣйствовала въ значительной мѣрѣ дѣятельность крестьянскаго банка, поддержавшаго въ тяжелую пору нормальныя цѣны на землю и по нимъ купившаго свыше 3-хъ милліоновъ десятинъ земли“ и купившаго при томъ преимущественно „въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ усиленнымъ проявленіемъ смуты“.

Итакъ, ясно, что Крестьянскій банкъ находится у насъ на службѣ у дворянства. Ему навязываются функціи политическаго фактора, ему ставится въ обязанность экономически поддерживать политически первенствующее сословіе. И онъ эту обязанность выполнилъ и выполняетъ. Неисчислимыя милліоны, благодаря дѣятельности Крестьянскаго банка, попали въ карманы дворянъ. Въ послѣднее время, главнымъ образомъ П. Столыпинымъ, Крестьянскому банку, въ рѣзкое противорѣчіе всему его уставу, была навязана совершенно новая функція продажи земли дворянамъ.

Необычайно высоко поднявъ цѣны на дворянскія земли, Крестьянскій банкъ далъ возможность дворянамъ по необыкновенно высокимъ цѣнамъ продать свои земли, а затѣмъ, пользуясь своимъ привилегированнымъ положеніемъ покупателя, дешево купить другія земли. Дешево покупая и дорого продавая, дворяне занялись форменнымъ земельнымъ барышничествомъ, спекулируя землею, какъ чрезвычайно выгоднымъ для нихъ товаромъ.

Если Крестьянскій банкъ оказался на службѣ у дворянства, то Дворянскій банкъ, конечно, всю свою дѣятельность исчерпывалъ этой службой. И тутъ-то благотворительный характеръ дѣятельности банка выступаетъ уже совсѣмъ неприкрыто.

До 1889 г. крестьяне уплачивали Крестьянскому банку въ годъ  $8\frac{1}{2}\%$  при  $34\frac{1}{2}$  годовичномъ срокѣ. Въ то же время дворяне въ Дворянскомъ банкѣ платили всего  $5\frac{3}{4}\%$ . Въ 1889 г. этотъ процентъ былъ пониженъ на  $1\frac{1}{2}\%$ . Ссуды выдавались наличными деньгами, безъ отчисленія на реализацію. Но что любопытнѣе всего, невнесенные взносы отсрочивались безъ процентовъ въ счетъ общей ссуды, при чемъ никакихъ вопросовъ о причинахъ невзноса деликатно не задавалось... Но и этого мало: ростовой „%“ въ 1894 г. вновь понижается до  $4\%$ , а въ 1897 г.---до  $3\frac{1}{2}\%$ .

Но несмотря на всѣ эти благотворительныя условія, дворяне все же оказывались неисправными плательщиками и недоимки за ними росли въ угрожающемъ размѣрѣ. Продавать земли всѣхъ неаккуратныхъ плательщиковъ Дворян-

скій банкъ не могъ по политическимъ мотивамъ. Но съ другой стороны онъ истекалъ деньгами, оказывая помощь неисправимымъ дворянамъ. Тогда ему даютъ огромную подачку. Банку разрѣшаютъ выпустить закладные съ выигрышами листы. Они были выпущены на нарицательную сумму въ 80 мил. руб., но по реальной цѣнѣ были проданы на 170 мил. руб., т. е. Дворянскій банкъ заработалъ на этой азартной игрѣ 90 мил. руб. Вся эта операція носила всѣ признаки недозволенной азартной игры, она давно и сурово осуждена экономической наукою, и русское правительство не рѣшалось больше къ ней прибѣгать, но для дворянства пошло и на эту героическую мѣру, давшую банку 90 мил. руб. На эти 90 мил. руб., къ которымъ впоследствии присоединились еще 48 мил. руб., Дворянскій банкъ и оказалъ широкую поддержку обширной массѣ казеннокоштныхъ помѣщиковъ.

Чтобы поддержать курсъ этихъ дворянскихъ листовъ, правительство направило на нихъ суммы сберегательныхъ кассъ и этимъ искусственно подняло ихъ цѣну.

Мы уже познакомились въ бѣглыхъ чертахъ съ этимъ привилегированнымъ положеніемъ, въ которомъ находятся дворяне какъ покупатели и продавцы, какъ кліенты банка. Намъ теперь остается сказать нѣсколько словъ объ ихъ привилегированномъ положеніи, какъ плательщиковъ налоговъ.

Обложеніе земель опирается на ихъ оцѣнку. А между тѣмъ оцѣнка помѣщичьихъ земель у насъ держится на юмористически низкомъ уровнѣ и опирает-

ся на данныя давно минувшихъ дней. Недавно московскимъ биржевымъ комитетомъ былъ произведена анкета объ оцѣнкѣ земель. Данныя получились очень поучительныя. Оказывается, что въ 44 уѣздахъ (23%) у насъ пользуются оцѣнками произведенными въ текущее десятилѣтіе, въ 25 уѣздахъ (13%) применяются оцѣнки 90-хъ годовъ, въ 59 уѣздахъ (31%) дѣйствуютъ оцѣнки 80 хъ годовъ, въ 24 уѣздахъ (13%)—оцѣнки 70 хъ годовъ и въ 37 уѣздахъ (20%) оцѣнки 60-хъ годовъ. Такимъ образомъ, по даннымъ московскаго биржевого комитета около  $\frac{2}{3}$  уѣздовъ довольствуются оцѣнками произведенными отъ 16 до 40 лѣтъ тому назадъ.

За это время цѣнность земли неизменно возросла, но дворяне по прежнему платятъ по оцѣнкѣ, произведенной десятки лѣтъ тому назадъ.

По даннымъ московскаго биржевого комитета выходитъ, что по земскимъ земельнымъ оцѣнкамъ цѣнность земли лишь въ двухъ уѣздахъ превышаетъ 100 руб. за десятину, тогда какъ, по оцѣнкѣ земельныхъ банковъ, такихъ уѣздовъ не два, а 166; по земской оцѣнкѣ цѣнность земли ниже 30 руб. за десятину показана въ 241 уѣздахъ, тогда какъ по оцѣнкѣ земскихъ банковъ лишь въ 36 сѣверныхъ уѣздахъ цѣнность земли ниже 30 руб. за десятину.

Не будемъ утомлять читателя дальнейшими цифрами.

Передъ нами прошли чуть ли не всѣ области экономической жизни: кредитъ, продажа, купля, обложеніе, ссуды и т. д. и во всѣхъ этихъ областяхъ мы видимъ, что дворяне повсюду находятся въ при-

вилегированномъ положеніи. Повсюду продаѣтъ они дороже, покупаютъ дешевле, пользуются болѣе дешевымъ кредитомъ, платятъ меньше, чѣмъ всѣ остальные сословія.

Но, увы, всѣ эти мѣры не остановили культурнаго и экономическаго оскуднѣнія дворянства. Изъ подъ ногъ ихъ уплываетъ земля и никакіе правительственные приказы не могутъ остановить это движеніе дворянской земли.

А съ уходомъ земли теряется почва и подъ политическимъ первенствомъ дворянства. Дворяне это чувствуютъ. Тѣ ихъ нѣхъ, которые не хотятъ перейти на вторыя историческія роли, тревожно и наскоро строятъ планы спасенія и избавленія отъ надвигающагося экономическаго оскуднѣнія.

Наиболѣе воинственные и непримиримые изъ нихъ безстрашно не останавливаются передъ проектами превращенія всей Россіи въ дикую и запущенную Бѣловѣжскую пушу, гдѣ бы могли сохраниться вымирающіе на свободѣ и въ культурѣ дворянскіе зубры.

Но никакая черносотенная магія не возродитъ оскудѣвающаго и умирающаго дворянства,

Правъ былъ герой М. Горькаго: въ каретѣ прошлаго далеко не уѣдешь. Какъ ни золоти эту великолѣпную карету прошлаго, въ какой великолѣпной и пренебрежительной позѣ ни разваливайся, но вторая историческая молодость для дворянства не наступитъ.

Воинствующее дворянство возлагаетъ большія надежды на экономическое объединеніе дворянъ, на экономическую взаимно-и самопомощь.

Въ программу предстоящаго скоро сѣзда объединеннаго дворянства включены вопросы объ экономическомъ возрожденіи дворянства.

Проектируя основаніе экономическаго союза дворянъ, совѣтъ подчеркиваетъ центральный пунктъ этого союза:

„Прежде всего союзъ долженъ стремиться къ образованію капиталовъ, главнымъ образомъ для организаціи недорогого кредита. За неимѣніемъ своихъ капиталовъ, ихъ можно достать на сторонѣ, войдя въ соглашеніе съ какимъ либо частнымъ банкомъ. Въ этомъ банкѣ будутъ сконцентрированы всѣ кредитныя операціи союза, взамѣнъ чего въ учетные составы банка будутъ введены представители дворянскаго союза, и банкъ получитъ фирму послѣдняго“.

Этими мечтами, однако, дворянъ не накормишь. Этими мечтами можно тѣшить и утѣшать себя, но не имъ спасти дворянство.

Въ прошломъ Россіи дворянство сыграло огромную положительную роль. Изъ его рядовъ вышли многіе великіе дѣятели литературы и общественной жизни, которые навѣки оставили послѣ себя и свѣтъ и тепло.

Но эта роль дворянства сыграна. Избалованное даровымъ крѣпостническимъ трудомъ, неусыпной попечительной опекой правительства, неспособное къ той суровой борьбѣ, которая необходима нынѣ для экономической побѣды, русское дворянство какъ первенствующее сословіе все болѣе угасаетъ, культурно и экономически оскудѣвая.

При отсталости политическаго строя Россіи, при той огромной роли, которую



играютъ еще въ ней сословныя преимущества и родовая знать, русское дворянство еще могло широко использовать ту громадную политическую власть, которая сосредоточена въ ея рукахъ. Оно могло использовать ее для того, чтобы стать крупнымъ факторомъ движенія Россіи впередъ. Это бы не спасло дворянство отъ гибели, но позволило бы ему сыграть крупную историческую роль.

Но то русское дворянство, которое нынѣ объединилось и задаетъ тонъ, поставило себѣ противоположную задачу—дать задній историческій ходъ всей русской исторіи, тяжелымъ мертвымъ грузомъ повиснуть на всякомъ движеніи впередъ.

Дворянство въ лицѣ своихъ официальныхъ руководителей круто повернуло направо, оно играетъ первую скрипку въ нынѣшнемъ реакціонномъ концертѣ. Но это не спасаетъ и не спасетъ его отъ гибели. Какъ бы круто ни поворачивало дворянство направо, какъ бы при этомъ на буксирѣ ни тянула оно за собою весь политическій курсъ, все же Россія не превратится въ Бѣловѣжскую пушу и дворянскимъ зубрамъ не спасти себя отъ неминуемаго вырожденія.

Въ докладѣ, подготовленномъ для бля-

жайшаго обще-дворянскаго съѣзда, говорится о томъ, что дворянство разочаровано, дворянство встревожено, дворянство въ отчаяніи, такъ какъ оно убѣдилось, что „правительство экономически поддерживать его не можетъ“.

И это сухая правда. Нѣтъ средствъ, кромѣ рекламн-шарлатанскихъ, которыя могли бы излѣчить дворянство отъ культурнаго и экономическаго безсилія.

Правительственная помощь не только не помогаетъ дворянству, но еще больше разслабляетъ его.

Она изнѣжила дворянство и сдѣлала его неспособнымъ къ суровой экономической борьбѣ. Правда, воинственные публицисты дворянства бряцаютъ перьями и требуютъ сильнодѣйствующихъ реакціонныхъ средствъ. Правда, политическая власть дворянства далеко еще въ Россіи не изжита.

Но все это не можетъ остановить безостановочнаго процесса оскудѣнія дворянъ, все болѣе теряющихъ землю и съ этимъ вмѣстѣ все болѣе теряющихъ голову и мечтающихъ о второмъ пришествіи крѣпостного времени, о превращеніи Россіи въ Бѣловѣжскую пушу.

Я. Воробьевъ.

## КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ.

Леонидъ Андреевъ:—„Сашка Жегулевъ“—романъ въ 2-хъ частяхъ. („Шиповникъ“—кн. 16-ая).

Не странно-ли? Вотъ ужъ сколько лѣтъ, какъ Леонидъ Андреевъ сошелъ со своего первоначальнаго опредѣленно-реалистическаго пути, не возвращаясь къ формамъ и приѣмамъ, въ какихъ написаны — „Жили-были“, „Петька на дачѣ“ и др. рассказы, а наоборотъ идя все дальше по пути отвлеченнаго символическаго творчества; а между тѣмъ среди всѣхъ его послѣднихъ вещей насъ нерѣдко трогаютъ и именно реалистическія черты и оставляютъ холодными отвлеченныя схематическія построенія. Чисто реалистическій художественный талантъ въ немъ неусыпно борется за свою жизнь и порой, пробиваясь, несмотря на всѣ усилія подчинить его чуждой стихіи, обнаруживается живыми и яркими штрихами. Нужно ли говорить, что отъ этой жизненности въ Андреевѣ реалиста въ огромной степени выигрываетъ и символистъ и схематикъ въ немъ, ибо сухіе контуры общихъ литературныхъ построеній начинаютъ отливать живымъ солнечнымъ огнемъ отъ этихъ блещущихъ здѣсь и тамъ искорокъ реалистической, живой правды изображенія.

Въ неоспоримой лучшей вещи его послѣднихъ лѣтъ — „Рассказъ о семи повѣщенныхъ“ есть страницы, которые

безъ легкаго сжатія въ горлѣ, безъ волненія нельзя читать: — это сцена прощанія старыхъ отца и матери съ сыномъ, присужденнымъ къ смертной казни. Послѣ страницъ, исполненныхъ тяжеловатаго Андреевскаго напряженія, въ которыхъ чисто словесное, какое-то стилистическое изступленіе должно заразить читателя нарастающей въ рассказѣ тревогой и мукой, — эта простая жизненная сцена сразу бросаетъ на все движеніе рассказа какой-то зловѣщій тяжкій свѣтъ и пронизываетъ его человѣческой мукой, теплотой душевнаго горя. Пришелъ художникъ и сдѣлалъ свое дѣло. И часто въ Андреевскихъ рассказахъ на помощь теоретику и символисту приходитъ художникъ и двумя-тремя штрихами исправляетъ его работу и придаетъ ей блескъ и жизненность. Описываетъ ли онъ въ томъ же рассказѣ сильную фигуру Цыганка или неуклюжаго разбойника-чухонца, реалистъ помощью нѣсколькихъ простыхъ жизненныхъ чертъ достигаетъ того эффекта драматизма, котораго одинъ символистъ въ Андреевѣ никогда не достигъ бы, чему примѣромъ служатъ нѣкоторыя его драмы.

Исторіей своего литературно-художественнаго движенія Андреевъ ясно показалъ, что реализмъ лежитъ въ основѣ

его дарованія, и бороться съ этой стихіей своего таланта ему все равно, что бороться съ собственной душой. Литературныя его побѣды всѣ одержаны тамъ, гдѣ художникъ разрывалъ въ немъ пути схематизма и символическихъ общихъ построений. Философское и символическое движеніе въ новѣйшей западной литературѣ оказало своимъ вліяніемъ плохую услугу Андрееву; оно затемнило ему природу его таланта. Теперь, послѣ того, какъ мы всѣ были очевидцами страшной борьбы и страшныхъ усилій, потраченныхъ художникомъ на то, чтобы пойти по чуждой дорогѣ, совершенно ясно, что Андреевъ, съ его ярко выраженнымъ реалистическимъ дарованіемъ, долженъ былъ оставаться не въ лагерѣ символистовъ и не въ станѣ бытовиковъ, а на собственной дорогѣ, на совершенно своеобразномъ пути, на которомъ всѣ его философскія построенія должны были выявляться строго реалистическимъ, чисто художественнымъ путемъ. Только реалистически дано Андрееву выявлять всѣ его общіе замыслы; онъ же, лишенный дарованія лирическаго, запутывающійся и свержающійся внизъ въ области отвлеченныхъ мистическихъ образовъ и построений, вздумалъ идти путемъ Метерлинка, обращался къ религіозному и философскому эпосу.

Подобно тому, какъ въ „Разсказѣ о семи повѣшенныхъ“ страницы и штрихи чисто реалистическія, можетъ быть, случайныя, на которыя самъ авторъ, возможно, обращалъ мало вниманія, сообщаютъ всему произведенію и художественную силу и значительность, такъ и въ послѣднемъ романѣ „Сашка Же-

гулевъ“ страницы далеко не центральныя, написанныя просто для того, чтобы завершить произведеніе, вдругъ обвѣваютъ читателя простой силой подлиннаго художества. И читатель, который тщетно силился проникнуть въ непоказанный авторомъ процессъ превращенія нѣжнаго „барченка“ въ суроваго и властнаго атамана разбойниковъ не забудетъ двухъ фигуръ—матери и дочери, одѣтыхъ въ черное, замкнувшихся въ своемъ горѣ и тихомъ страшномъ безуміи и подавленности въ глухомъ безрадостномъ городкѣ. Точно также вѣрнутся въ память читателю слова матери изъ ея бесѣды съ губернаторомъ, указавшимъ ей на то, что подъ окнами ея квартиры будетъ слѣжка за сыномъ на случай если онъ придетъ повидаться со своими

„Я перемѣню квартиру. Онъ не узнаетъ. Сашенька, придешь ты, а мать твоя убѣжала...

„Откровенно, по старушечьи, она подставила глазамъ губернатора свое искаженное слезами лицо, и смотря на него.. повторяла, покачивая головой:

— А мать то убѣжала... убѣжала...“

Едва притронулся писатель къ простому, внѣшне-жизненному, какъ изъ подъ пера его выдвинулся до мелочей жизненный портретъ губернатора. Между тѣмъ обликъ Колесникова, играющій въ романѣ и въ жизни героя его огромную роль, столь много произносящій монологовъ, фигурирующій на протяжении всего романа въ 12 печ. листовъ, до конца такъ и остается фигурой неясной, невыявленной, недодѣланной, неживой. И отъ этого ужъ одного образуетъ серьезная трещина въ романѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, Колесниковъ является въ мирную пристань, гдѣ живутъ мать съ двумя обожаемыми и пугливо опекаемыми ею дѣтьми, какъ нѣкій фатумъ, какъ посланецъ рока. Его внѣшній видъ данъ хорошо, но въ отношенія Колесникова съ матерью, Еленой Петровной, съ Сашей, авторъ все время вноситъ что-го запутанное, неясное, что говоритъ о какихъ то значительныхъ намѣреніяхъ автора, но такъ и остается неяснымъ для читателя. Андреевъ прибѣгнувъ къ приему странному, къ приему намековъ, темныхъ, неясныхъ, къ нарочитой темнотѣ и спутанности, въ надеждѣ на смутную интуицію самого читателя, который долженъ наполнить какимъ либо личнымъ содержаніемъ то, что оставлено художникомъ незаполненнымъ въ романѣ. Между тѣмъ Колесниковъ долженъ быть яснымъ и художественно выявленнымъ для того, чтобы сдѣлался яснымъ центральный персонажъ романа — Саша Погодинъ (потомъ Жегулевъ), а также для того, чтобы опредѣлился полно и ясно весь идейный замыселъ романа.

Борясь въ своемъ творествѣ съ прирожденной стихіей дарованія, отдаваясь иному смутному теченію, увлекающему его въ область словеснаго пафоса, отвлеченныхъ образовъ, символическихъ схемъ, — Андреевъ, быть можетъ, сознательно, уклоняется отъ многихъ частей въ выполненіи своего художественнаго зданія и, говоря метафорически, вмѣсто твердаго и опредѣленнаго матеріала — кирпича, камня и цемента — употребляетъ нѣчто такое, что невѣдомо и неосвязаемо. Вмѣсто конкретныхъ данныхъ въ реалистической полнотѣ и опредѣ-

ленности чертъ жизни и душевнаго мірка своего героя, вмѣсто живой картины его внутренней жизни и его переживенія подѣ влияніемъ сложныхъ впечатлѣній бурнаго времени и главнымъ образомъ своего новаго друга Колесникова, авторъ ограничивается тѣмъ, что показываетъ намъ Сашу и Колесникова состояющимися въ стрѣльбѣ въ цѣль изъ револьверовъ, а также нѣсколькими (впрочемъ, довольно многочисленными) восхищеніями Сашей какъ со стороны Колесникова, такъ и матери Саши. Но нужно замѣтить, что эти восхищенія звучатъ какъ-то невѣрно, неискренно, въ нихъ есть какая-то вредящая впечатлѣнію слащавость.

Недостатокъ именно реалистическаго воплощенія замысла даетъ себя знать довольно ощутительно. Оттого-то остается неопредѣленнымъ впечатлѣніе отъ романа. На первый взглядъ, разворачивается онъ какъ будто бы вполне послѣдовательно и реально. Колесниковъ посѣщаетъ усердно домъ „генеральши“ и ея дѣтей, ведетъ долгія бесѣды съ Сашей, уходитъ съ нимъ гулять, причемъ авторъ характеризуетъ Колесникова главнымъ образомъ тѣмъ смутнымъ страхомъ, который наводитъ онъ на мать. Что касается до бесѣдъ, то среди нихъ авторъ не счелъ нужнымъ дать хотя бы одну, въ которой чувствовалось бы назрѣваніе въ юношѣ его фантастическихъ замысловъ и показало бы идейное влияніе Колесникова надъ душой юноши. Авторъ этого сознательно не дѣлаетъ, ибо онъ выдерживаетъ фигуру Саши сплошь въ какомъ-то таинственномъ темномъ контурѣ,

держитъ читателя въ состояніи внушенія, показываетъ лишь коротко и бѣгло въ Сашѣ черты силы, твердости и холодной выдержанности. Страницы дѣтства, съ его смутными и глубокимъ переживаніями, въ глубинѣ которыхъ звучитъ какой то мистическій отзвукъ, выдвигаютъ передъ читателемъ довольно явственно твердый и сильный обликъ мальчика, въ которомъ назрѣваетъ что-то смутное, обрекающее его на трагическую судьбу. Потому-то въ романѣ Саша Погодинъ несравненно яснѣе, чѣмъ грозный атаманъ разбойниковъ Сашка Жегулевъ. Переходъ-же Погодина въ Жегулева построенъ на такихъ смутныхъ отвлеченно-психологическихъ основаніяхъ, что читатель врядъ ли уловитъ замыселъ автора и сдѣлаетъ какъ бы прыжокъ отъ первой части романа ко второй, оставивъ незаполненной нѣкую пропасть, образовавшуюся въ его читательскомъ пониманіи. Одна изъ предшествующихъ побѣгу изъ родительскаго дома и образованію шайки „лѣсныхъ братьевъ“ сцена, въ которой передается бесѣда Колесникова съ Сашей, исполнена какого-то психологически невѣрнаго тона и плохо подготавливаетъ къ дальнѣйшему. Между тѣмъ, именно эта сцена стоитъ какъ бы на грани между двумя частями романа и должна многое объяснить и обосновать. Въ ней улавливаемъ лишь намеки на идейный замыселъ друзей, на ихъ душевное приуготовленіе къ близкому перелому.

Черезъ нѣсколько дней побѣгъ изъ дома матери совершается. Незвѣстнымъ остается, какимъ образомъ сразу же, со

дня вступленія Саши въ новую жизнь, наладилась въ лѣсу шайка и почему его, слабогрудого, блѣднаго барченка, съ „нѣжнымъ тѣльцемъ“, какъ описываетъ его авторъ, избрали атаманомъ лѣсной шайки. Все устраивается какъ то пошучему велѣнію. Но здѣсь то мы и встрѣчаемся съ весьма важнымъ, художественнымъ промахомъ автора. А именно, заставивъ своего героя, мечтательнаго, одареннаго настойчивой волей, юношу вступить подъ сѣнь лѣса, спать вмѣсто заботливо приготовленной постели въ шалашѣ на полу и жить съ толпой несчастныхъ и озлобленныхъ крестьянъ, пропойцъ бродягъ, бѣглыхъ солдатъ и матросовъ, авторъ совершенно не показываетъ намъ—въ какія же отношенія вступилъ юноша-атаманъ со всей этой толпой, какая установилась связь, какое пониманіе—между ними, какая психологическая настроенность возникла какъ у мужиковъ, такъ и у атамана. Это совершенно опущено авторомъ, здѣсь опять область догадокъ для читателя, и отъ этого тускнѣетъ бытовая и просто жизненная яркость романа и на немъ оказывается покрывало чего-то не то фантастическаго и романтическаго, не то отвлеченно символическаго. Быть можетъ все, это было въ художественныхъ намѣреніяхъ автора и согласно съ его пріемами работами. Но нѣтъ сомнѣнія, что самъ Андреевъ, Андреевъ—реалистъ, стань онъ на почвѣ строгаго художественнаго реализма, осудилъ бы этотъ пріемъ, какъ не достигающій своей цѣли.

Но хотя романъ этотъ и не приближается по пріемамъ работы къ первымъ

произведеніямъ Андреева, онъ все же отстоитъ на порядочную дистанцію и отъ послѣднхъ его отвлеченныхъ произведений, какъ „Океанъ“ или „Черныя маски“ или „Анатема“, гдѣ такъ далеко отошелъ Андреевъ отъ своего первоначальнаго пути. „Сашка Жегулевъ“ относится въ этомъ отношеніи, можно сказать, къ срединѣ литературнаго пути автора, приблизительно подходитъ онъ къ эпохѣ созданія „Василія Фивейскаго“ или „Призраковъ“. Реалистическіе контуры и отвлеченное содержаніе, нѣкій хаосъ переживаній и идей, хаосъ внутренняго мірка цѣлаго ряда людей, въ которомъ все перемѣшано въ атмосферѣ чего то жуткаго, лихорадочнаго и кошмарнаго, — все это роднитъ послѣдній романъ Андреева съ его указанными вещами.

Читая романъ, чувствуешь, что онъ могъ бы быть сильнѣй и стройнѣй, что именно въ силахъ Андреева было сдѣлать его болѣе яркимъ и болѣе выразительнымъ. Быть можетъ, въ первый разъ за всю свою художественную практику Андрееву пришлось имѣть дѣло съ произведеніемъ, внѣшній матеріалъ котораго собранъ весьма обильно, между тѣмъ какъ идейный матеріалъ остался въ своемъ зачаточномъ видѣ и представленъ авторомъ не какъ свое личное, выношенное и непосредственно вылившееся, а какъ смутный синтезъ изъ всего того, что совершалось въ недавніе кошмарные годы и что слишкомъ трудно еще сознательно синтезировать автору.

Все дѣло, быть можетъ, именно въ томъ, что матеріаломъ автору служило

недавнее, еще злободневное, принятое внѣ исторической перспективы, хаотически развертывавшееся не такъ давно передъ глазами и не отошедшее еще въ область исторіи.

Когда Достоевскій писалъ своихъ „Бѣсовъ“, когда вносилъ онъ въ „Братья Карамазовы“ частичку современности въ видѣ позитивно мыслящихъ молодыхъ людей, когда въ „Идіотѣ“ выводитъ онъ также цѣлую группу молодежи, вносящихъ съ собой живое дыханіе отошедшихъ „общественныхъ“ злобъ дня, — то даже у великаго мастера въ этихъ фигурахъ чувствуется недостатокъ объективной изобразительности и читатель, хотя и чуть-чуть, но все же какъ-то на сторожѣ и не совсѣмъ довѣряетъ. Но, конечно, тутъ же онъ встрѣчаетъ фигуры, живьемъ выхваченныя со всѣмъ характернымъ, что сообщило имъ переживаемое время. Въ то-же время въ „Бѣсахъ“ наряду съ геніальнымъ проникновеніемъ въ типическія лица, въ общемъ движеніи романа получается полный хаосъ, бывший, впрочемъ, въ намѣреніи автора, изобразившаго метельный бѣсовскій вихрь.

Андреевъ усилилъ непомѣрно трудность задачи, избравъ объектомъ художественнаго толкованія нѣчто такое, что обязываетъ къ внѣшней правдѣ и не даетъ простора личному, какъ идейному, такъ и художественному творчеству. Здѣсь необходимо было больше довѣриться художественной интуиціи, не оглядываться поминутно на эту правду недавняго, не вспоминать газеты и толки, вѣрить въ себя и забыть объ осторожности. Ибо художникъ долженъ

внутри чувствовать сохранение баланса между творческим вымыслом и реальной правдой, а не обращаться къ по-вѣскѣ своего творчества внѣшними фактами. Но, быть можетъ, именно въ силу слишкомъ осторожнаго обращенія съ фавулой, созданной современностью, Андреевъ на этотъ разъ вышелъ къ читателямъ не во всеоружіи идейнаго замысла, какъ дѣлалъ онъ это всегда, а съ оружіемъ инымъ, принесеннымъ въ видѣ богатаго, такъ сказать, фавульнаго матеріала. И получилось положеніе, весьма непривычное именно для автора „Василія Оивейскаго“.

Будучи надѣленъ отъ природы дарованіемъ реалиста, Андреевъ въ то же время чувствуетъ ясно свое признаніе не только къ самоцѣльному художеству, но также и къ какимъ-то философскимъ и моральнымъ провозглашеніямъ. Самый характеръ его торжественнаго письма, его паеосъ ясно говоритъ, что это писатель не отъединеннаго отъ людей кабинета, а писатель кафедры. Онъ не пишетъ, а говоритъ въ толпу, говоритъ порой съ той силой, съ тѣмъ подъемомъ, который диктуется именно ошущеніемъ слушающей и ждущей слова толпы. И съ каждымъ новымъ произведеніемъ Андреевъ какъ бы поднимался на кафедру и обращался къ толпѣ, къ массамъ. Въ немъ чувствовалось то напряженіе, тотъ подъемъ, которые завоевываютъ вниманіе массы. И массы были побѣждены. Уже давно, послѣ первыхъ рассказовъ молодой писатель обратился именно къ этому творчеству съ кафедры, творчеству провозглашеній, призывовъ, ученій и уясне-

ній помощью личнаго душевнаго опыта. Необходимый для этого темпераментъ былъ въ Андреевъ и онъ-то и влекъ его въ эту область. Послѣ бытовыхъ и философскихъ въ одно и то же время рассказовъ, какъ — „Большой шлемъ“, „Жили-были“, „Рассказъ о Сергѣѣ Петровичѣ“, авторъ обратился весь къ жизненной разработкѣ идейныхъ положеній, на которыя наталкивается человекъ и внѣ и внутри себя въ жизни. Онъ выходитъ со своей „Бездной“, провозглашая законъ плотской стихійности, побѣждающій все. Онъ пишетъ „Мысль“, гдѣ показываетъ полное смѣшеніе такъ называемой нормальности и безумія и подвластность человека своему же орудію—мысли, представляющей такую же самодовлѣющую стихію. Онъ выходитъ на кафедру со своимъ „Василіемъ Оивейскимъ“, провозглашая идею религиознаго отчаянія, открывающійся человеку ужасъ вѣчной пустоты.

И вотъ послѣ многихъ лѣтъ уже безраздѣльнаго подчиненія своего творчества—идеѣ, мысли, символикѣ жизненныхъ положеній,—Андреевъ появляется со своимъ романомъ, въ которомъ именно этого идейнаго личнаго матеріала и нѣтъ, въ которомъ онъ отъ себя ничего не провозглашаетъ, ничего не открываетъ изъ области своего внутренняго опыта, а просто стремится психологически показать кошмарную исторію превращенія чистаго и строгаго морально юноши, стремящагося къ жертвѣ и къ подвигу, въ разбойника, убивающаго людей, живущаго въ атмосферѣ крови, водки, звѣрства и грубости и жалко гибнущаго въ концѣ концовъ. Ни единой страницы,

въ которой видно было бы, что авторъ, изображая все это, оправдываетъ и подкрѣпляетъ какой либо свой идейный замыселъ, что онъ и въ данномъ случаѣ несетъ читателю свою скрижаль завѣта, свою мысль, свою идею, взрожденную въ немъ мучительнымъ жизненнымъ опытомъ. Нѣтъ, Андреевъ на этотъ разъ на кафедру не всходитъ, а остается на плоскости рассказчика, имѣющаго дѣло только съ жизненнымъ матеріаломъ и закрывающаго отъ читателя свою душу, свои сомнѣнія и свои душевныя откровенія.

## II.

— Какова душа романа? Она, несомнѣнно, заключена не во внѣшнемъ движеніи его персонажей, не въ событіяхъ, не въ фабулѣ, а является частицей души самого автора. Бываютъ блестяшіе въ художественномъ смыслѣ романы, въ которыхъ виденъ богатый изобразительный талантъ, но въ то же время бездушные, ибо самъ авторъ бѣденъ душевнымъ опытомъ. Андреевъ не принадлежитъ къ такимъ авторамъ, ибо у него-то на первомъ планѣ не фабула произведенія, не бытовой матеріалъ, а именно лично пережитый, выношенный внутренне идейный замыселъ.

Андреевъ въ лучшихъ вещахъ сливался съ замысломъ романа и выражителемъ этого замысла — центральнымъ персонажемъ; произведеніе выражало его душу и все насквозь было проникнуто идейной основой, въ которой звучало личное убѣжденіе, произносилось личное слово, утверждающее завѣтную проблему или незыблемое убѣжденіе. Авторъ „Василія Фивейскаго“ не разрѣ-

шалъ объективныхъ психологическихъ задачъ, не изучалъ отдѣльныя или типическія явленія, но имѣлъ въ виду проблемы и жизненныя задачи общечеловѣческаго характера, въ которыхъ выражая общую боль, высказывался самъ лично, до глубины души.

На этотъ же разъ онъ выступилъ съ романомъ, лишеннымъ характернаго признака Андреевскаго творчества, съ романомъ, въ которомъ, хотя и съ явственнымъ лирическимъ привкусомъ, прослѣживается психологическій матеріалъ объективно, внѣ авторской интимной глубины душевной, какъ-то со стороны. Ни въ Сашѣ Погодинѣ, ни тѣмъ паче въ Колесниковѣ нѣтъ Андреева, сюда не вложено то, чѣмъ болѣетъ лично авторская душа, что вскрываетъ ее затаенную боль и завѣтнѣйшія исканія. Конечно, всѣмъ этимъ я не хочу сказать, что романъ лишенъ искренности. Наоборотъ, онъ весь написанъ въ лирическихъ тонахъ и всюду изложеніе событій въ романѣ сопровождается лирическими отступленіями сочувствующаго и болѣющаго кошмарами родины автора. Но въ поэмѣ всѣхъ событій жизненныхъ, обреченнаго на муку и бесплодную кровавую жертву героя нѣтъ того, въ чемъ вамъ вскрылась бы какъ въ другихъ произведеніяхъ личное андреевское. Въ данномъ случаѣ онъ является только авторомъ какого-то лиро-эпическаго романа.

Быть можетъ, отчасти виной тому служатъ слишкомъ схематическія формы, въ которыхъ развивается дѣйствіе романа. По внѣшнему виду реалистическій, онъ все таки съ достаточной ясностью обнаруживаетъ, излюбленные Андреевымъ



въ послѣднее время, отвлеченныя формы развитія фабулы, даваемой не столько въ своей реальной полнотѣ, сколько въ символическомъ общемъ истолкованіи. Въ данномъ случаѣ, напримѣръ, мы все время остаемся внѣ личныхъ внутреннихъ переживаній героя, котораго авторъ показываетъ только намеками, опредѣляя частичными внѣшними признаками ту душевную бурю и тотъ кошмаръ и хаосъ, въ которыхъ очутился его несчастный Саша Погодинъ. Передъ нами нѣтъ во плоти и крови этой молодой бурно мятущейся жизни. Жизнь героя, его движенія — совершенно не показаны въ романѣ. Авторъ все время заставляетъ насъ только догадываться о томъ, что дѣлается въ его душѣ, чѣмъ живетъ она... Не внося въ свое произведеніе личной идеи, озаряющей всѣ страницы единымъ пламенемъ душевной убѣжденности, Андреевъ лишилъ романъ и той полноты и убѣдительности, которыя сообщили бы ему страницы внутренней жизни героя. Между тѣмъ по волѣ автора Саша Погодинъ, онъ же Жегулевъ, остается въ тѣни не только для матери, съ тревогой прислушивающейся ко всѣмъ проявленіямъ его сильной и страстной натуры, но и для читателя. Что-то въ юношѣ зрѣетъ, бродитъ, мучаетъ и волнуетъ его душу, созрѣваютъ въ немъ рѣшенія великія и необычныя, но мы удалены отъ живой глубины внутренняго мірка, въ которомъ все это совершается, и узнаемъ только внѣшніе поводы и результаты всѣхъ этихъ душевныхъ броженій.

И герой недавнихъ смутныхъ дней, драгоцѣнный по своеобразію документъ

очеловѣчествѣ, остался невоплощеннымъ, остался въ схемѣ, въ одномъ лишь контурѣ, но не въ плоти и крови. Между тѣмъ страницы о дѣтствѣ какъ бы приготавливали читателя къ прочтенію большой поэмы о человѣческой жизни, которая должна объяснить многое въ современной кошмарной жизни и показать челоѣка въ новыхъ необычайныхъ условіяхъ. Нѣкоторая извилина въ художественномъ выполненіи замысла объясняется здѣсь привычкой и любовью истолковывать свои художественныя положенія и идейные замыслы въ схематической формѣ, подмѣнять реальные обликъ строгими и темными силуэтами, которые должны не столько прямо объяснять и показывать, сколько внушать и тайно нашептывать душѣ. Андреевъ не хочетъ повѣрить до конца въ реализмъ, въ то, что единственно средствами художественнаго реализма можно выражать самыя тончайшія явленія душевной единичной жизни и смутный хаосъ явленной общественной. Ему все же кажется, что въ области смутнаго, хаотическаго, слишкомъ глубиннаго для полнаго внѣшняго выявленія нужно идти путемъ намековъ и внушеній, символизировать внѣшнія явленія, дабы показать ихъ вѣщую значительность и силу.

Онъ любитъ бросать своего героя въ водоворотъ событій внѣшнихъ или въ хаосъ переживаній внутреннихъ, а самъ только слѣдитъ за тѣмъ, какъ его персонажъ, какъ щепка въ половодьи, мечется и утопаетъ въ бѣшенномъ разливѣ. И издали показываетъ намъ въ самыхъ общихъ контурахъ путь его жизни и душевной борьбы. Невольно начи-

наешь здѣсь томиться тоской по живому реальному человѣку, данному не съ высоты птичьяго полета, не въ туманныхъ покрывахъ символики, а въ живой полнотѣ его переживаній, показывающихъ ясно и его самого и его жизненный путь. Примѣръ художника, перомъ котораго водили всегда идейныя побужденія, прибѣгавшаго къ своему мощному художественному творчеству только для выявленія скрытыхъ въ глубинѣ души идей—Достоевскаго—достаточно ясно показываетъ, насколько въ данномъ случаѣ богаче живой, полный крови и огня реализмъ, чѣмъ отвлеченная и сумрачная символика.

Читатель все время, начиная со второй половины романа, гдѣ Саша Погодинъ выступаетъ изъ полосы мечтательнаго дѣтства и вступаетъ въ область кроваваго и страшнаго дѣйствія, ждетъ, что вотъ-вотъ раскроется наконецъ глубь внутренней жизни этого юноши и можно будетъ увидѣть всѣ ходы его мысли, его побужденій, весь хаосъ его чувствъ, все то, чѣмъ единственно должно объясниться внѣшнее необычайное положеніе героя романа.—Во имя чего идетъ герой на свой тернистый путь? На этотъ вопросъ надо отвѣтить не изложеніемъ самой идеи, которую принялъ человѣкъ, а обнаруженіемъ художественнымъ того, какъ принялъ онъ эту идею, какъ онъ зажегся ею, какъ она вошла въ его жизнь и душу и опредѣлила собою каждый его шагъ и каждый день жизни. Невольно напрашиваются примѣры изображеній въ художественной литературѣ юношей, охваченныхъ идеями и преображающихъ жизнь согласно

имъ.—Передъ нами во весь ростъ встаетъ въ ясномъ и простомъ освѣщеніи Алеша Карамазовъ, тоже юный Раскольниковъ, тоже юный Иванъ Карамазовъ и много другихъ. Что было бы, если бы судьбу и внѣшніе факты жизни этихъ героевъ и ихъ идеологію, ихъ душевную борьбу и влеченія художникъ также облекъ бы въ ткани отвлеченно-символическаго повѣствованія? Что осталось бы отъ могучей фигуры Ивана Карамазова, въ которомъ выявлено и все внѣшнее, и все сложное и хаотическое внутреннее? Какъ потускнѣлъ бы и поблекъ бы Алеша!..

Этимъ тонкимъ и экзотическимъ орудіемъ—символизацией внѣшнихъ явленій, контурными схематическими изображеніями могъ прекрасно пользоваться лирикъ и мистикъ—Метерлинкъ, бравшій сообразно характеру своего таланта и соответствующіе художественные замыслы, не требующіе для своего выявленія полноты реалистическаго изображенія, а наоборотъ опредѣлявшіеся въ тихой музыкѣ настроеній, въ неопредѣленной зыби смутныхъ чувствъ, вызываемыхъ тихими и смутными образами художника. Для такихъ произведеній, какъ пьесы Метерлинка, вродѣ „Внутри“, „Слѣпыя“, „Принцесса Малень“ и пр., нуженъ былъ именно этотъ тонъ, эти тусклые образы намеки, эта мистическая музыка настроенія, замѣняющая отчетливость образовъ и дающая въ данномъ случаѣ больше, чѣмъ могли бы дать реалистически живые и яркіе образы жизни. Но Метерлинкъ самостоятельно нашелъ эти лирико-мистическіе замыслы и для выраженія

ихъ обратился также къ самостоятельно найденному творческому пути. Новаторства автора „Сокровища смиренныхъ“ отрицать невозможно. Совѣтъ иное дѣло пользоваться для выраженія своихъ замысловъ чужими формами и въ особенности, если природа таланта писателя по существу не сходна съ тѣмъ, которому принадлежатъ эти формы, какъ новое слово въ литературѣ. Именно такъ случилось съ Андреевымъ, своеобразный талантъ котораго мало родствененъ отвлеченному мистику и чистому лирику Метерлинку.

Даже въ пьесѣ, похожей по построенію на вещи Метерлинка,—„Жизнь челоѣка“—Андреевъ отошелъ отъ необходимаго въ данномъ случаѣ тона и далъ именно то смѣшеніе реализма съ символикой, которое невольно рѣжетъ глазъ какъ какая-то художественная нестройность, какъ нарушеніе основныхъ законовъ творчества, и которое не могло не получиться въ данномъ случаѣ. Что же касается романа „Сашка Жегулевъ“, то здѣсь несоотвѣтствіе формъ реалистическихъ и символическихъ отзывается на произведеніи еще болѣзненнѣе. Ни эпическій торжественный тонъ повѣствованія, ни создаваемый Андреевымъ общій сумрачный трагическій тонъ не разрушаютъ этого диссонанса. Въ произведеніи то звучатъ какъ бы общіе жизненные хоралы, говорящіе о печальной и страшной судьбѣ челоѣка вообще, символизирующіе всю жизнь въ ея частныхъ явленіяхъ, то вдругъ врывается реалистическая индивидуализація, какъ будто въ темную ночную комнату нечаянно прокрался дневной свѣтъ и на-

нарушилъ всю гармонію тайной ночной жизни.

Въ продолженіи, напримѣръ, многихъ страницъ, мы видимъ Сашу Жегулева замкнутымъ трагическимъ атаманомъ, вокругъ котораго атмосфера безмолвнаго уваженія, преданности и страха. „Александръ Ивановичъ Жегулевъ, суровый и мрачный, никогда не улыбающійся“,—такъ характеризуетъ его самъ авторъ. А черезъ нѣсколько главъ авторъ показываетъ намъ того-же Александра Ивановича Жегулева, грознаго и суроваго атамана, превратившагося въ оскорбленнаго, измученнаго и жалкаго ребенка, который всю ночь не спитъ отъ страха и отвращенія къ пьянымъ и грубымъ разбойникамъ, который внезапно, послѣ того, какъ онъ такъ долго жилъ, какъ великолѣпный Ринальдо, среди своихъ преданныхъ рыцарей ножа, вдругъ снова почувствовалъ себя изнѣженнымъ и хрупкимъ Сашей Погодинымъ, приводимымъ въ тоскливый ужасъ потемъ, кровью, запахомъ сивухи, отчаянной грубостью и дикостью его лѣсныхъ товарищей.

Все это, конечно, чрезвычайно жизненно и вѣрно, и служить только къ украшенію романа, такъ какъ этотъ дневной свѣтъ реализма врывается какъ сама правда въ романъ. Но невольно чувствуешь тутъ же несоотвѣтствіе между частями романа, несоотвѣтствіе между основнымъ тономъ этихъ частей, борьбу двухъ творческихъ началъ, которые ужиться вмѣстѣ если и могутъ, то въ иномъ сочетаніи.

И думается, что именно Андреевъ, съ его и своеобразнымъ талантомъ, могъ

бы гармонично разрѣшить эту задачу и создать новый синтезъ реализма и художественной символики. Ибо именно ему свойственна особая созерцательность художника, благодаря которой онъ отдѣльное частное явление видитъ не само по себѣ и наслаждается имъ не самоцѣльно, но въ одно и то же время видитъ и прелесть частнаго явления и его странную и таинственную связь съ общими основами жизни, съ колоссальнымъ цѣлымъ. Онъ отвлекается въ сторону отъ частнаго и немедленно въ силу этой созерцательности закрываетъ отъ себя всѣ прекрасныя частности символическими покровами, говорящими его душѣ объ этомъ огромномъ и таинственномъ Всемъ. Между тѣмъ гармоничный синтезъ этихъ способностей—отдаться красотѣ частнаго впечатлѣнія и возвести его къ живой связи съ внутренними основами жизни въ ея цѣломъ—создалъ бы новое орудіе своеобразной творческой воспроизводительности. Въ Андреевѣ же, кромѣ чисто художествен-

ной внимательности къ вещамъ и явлениямъ, есть еще способность философскихъ и художественныхъ широкихъ обобщеній. Онъ обладаетъ рѣдкой способностью художественной созерцательности, которой почти не пользуется, которую подмѣняетъ искусственной символикой, замѣняя прочувствованное—воспринятымъ и усвоеннымъ извнѣ.

Непобѣдимая логика художественнаго творчества должна раскрываться въ своемъ содержаніи и въ своей сущности прежде всего самому автору, если онъ талантливъ и внимателенъ къ голосу собственной души. Весь путь, пройденный Андреевымъ, говоритъ объ отклоненіяхъ и приближеніяхъ къ истинной дорогѣ. Какъ искренній художникъ Андреевъ искалъ, отклонялся, находилъ и снова терялъ и заблуждался. „Сашка Жегулевъ“ отчасти свидѣтельствуетъ объ уклонѣ на истинную дорогу, на которой Андреевъ могъ бы развернуть свои незаурядныя силы.

Н. Кадминъ.

## «НОВОЕ ВРЕМЯ» И НОВОВРЕМЕНЦЫ.

„Новое Время“ за границей считаютъ оффиціозомъ. Его статьи, въ особенности по иностраннымъ вопросамъ, рассматриваются западно-европейскою печатью какъ анонимное или псевдонимное правительственное сообщеніе. Когда на очередь историческаго дня становится какой-либо острый вопросъ, запутывается какое-либо международное осложненіе, западно-европейская печать усердно пе-

редаетъ, часто по телеграфу, содержаніе статей „Новаго Времени“, комментируетъ ихъ, сражается съ ними какъ съ молніями русскаго правительства.

Такое отношеніе къ „Нов. Вр.“ вполне естественно. Прежде всего тонъ. Тонъ, по пословицѣ, вообще дѣлаетъ музыку. Въ газетной же музыкѣ тонъ играетъ особенно важную роль. Тонъ очень многихъ статей „Нов. Вр.“ несомнѣнно оф-

фициозный. Тутъ сплошь и рядомъ встрѣчаешь статьи, въ которыхъ западно-европейскимъ правительствамъ читаются нравоученія и дѣлаются наставленія въ очень внушительномъ тонѣ, а по отношенію къ правительству какой-то Персіи этотъ внушительный тонъ дѣлается прямо начальственнымъ. И при этомъ газета чрезвычайно тонко даетъ понять, что ей извѣстны многія дипломатическія тайны... Часто они ей дѣйствительно извѣстны.

Болѣе того: статьи „Нов. Вр.“ и во внутреннихъ и во внѣшнихъ вопросахъ очень часто являются газетною увертюрой, по окончаніи которой начинается правительственное дѣйство. Не тайна, наконецъ, то, что многіе правительственные дѣятели порою помѣщаютъ въ „Нов. Вр.“ свои статьи, а еще чаще суфлируютъ постоянныхъ сотрудниковъ этой газеты. Подъ либрей какого-либо служащаго сотрудника „Нов. Вр.“ сплошь и рядомъ скрывается какое-либо сановное лицо.

И еще: „Нов. Вр.“ всегда напряжено слѣдитъ за правительственными вѣяніями и мѣняетъ свое направленіе по указательному персту правительства.

Близость „Нов. Вр.“ къ правительству несомнѣнна. Роль его, какъ барометра теченій и давленій правительственной сферы — всѣмъ извѣстна. И все же западно-европейская печать ошибается считая „Нов. Вр.“ русскимъ официозомъ. Официозъ — послушное газетное орудіе въ рукахъ правительственнаго курга. Его роль чисто служебная. Отсюда его обыкновенная сухость, чиновническая корректность, сдержанность и осторожность. Западно-европейскій официозъ

это всегда официозъ власти; „Нов. Время“ же — и въ этомъ его коренное отличіе отъ западно-европейскаго официоза — всегда являлось и теперь остается официозомъ или вѣрнѣе официантомъ силы. Власть и сила не всегда совпадаютъ, часто новая сила завладѣваетъ властью и старая власть теряетъ силу. „Нов. Вр.“ проникнуто сознаніемъ этой истины и отсюда его метанія, его шатанія, его порывистость. Официантъ силы, оно всегда прислушивается сильнымъ, оно во имя силы готово объявить войну власти, если замѣчаетъ, что эта власть колеблется и та или иная сила можетъ ею овладѣть.

Власть, теряющая силу, сила, приобретающая власть — таковы тѣ начала отталкиванія и притяженія, которыя заставляли и заставляютъ „Новое Время“ метаться изъ стороны въ сторону, покаяваясь тому, что сжигало, и сжигая то, чему поклонялось.

Какъ подсолнухъ всегда поворачивается къ солнцу, такъ „Новое Время“ всегда поворачивалось лицомъ къ силѣ, къ восходящей власти. Обладая несомнѣннымъ чутьемъ, „Нов. Вр.“ всегда становилось на запятки къ побѣждающей силѣ и отдавала свои перья на то, чтобы помочь этой силѣ сдѣлаться властью. Только въ тѣ историческія минуты, когда между властью и силой устанавливается полное равновѣсіе, когда въ обществѣ нѣтъ силы, оставшейся не у власти и вмѣстѣ съ тѣмъ настолько крупной, что она могла въ ближайшее время заставить власть принять иной политическій курсъ, только въ такія минуты „Новое Время“ успокаивалось и

шло болѣе или менѣе прямо. Но какъ только, почти всегда справа, и очень рѣдко и влѣво отъ власти появлялась крупная сила, давившая на правительственный курсъ, заставлявшая его отступать и уступать, „Нов. Вр.“ мегалось передъ восходомъ новой власти. Оно не рѣшалось рвать со старою властью, не зная, на чьей сторонѣ останется побѣда, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно не осмѣливалось не привѣтствовать грядущую силу, какъ новаго господина. Въ такія минуты междувластья „Нов. Вр.“ представляло особенно жалкое и отвратительное зрѣлище. Оно становилось типичнымъ офиціантомъ власти, одновременно прислуживающимъ двумъ господамъ, одновременно ихъ обоимъ обманывающимъ.

А такъ какъ въ Россіи при неразвитыхъ политическихъ формахъ ея государственнаго организма всегда и непрерывно шла борьба котерій, замѣняющихъ партіи, интригъ, замѣняющихъ пропаганду, то власть всегда подвергалась осадѣ; различныя силы постоянно ей угрожали, у нея вымогали, ее шантажировали.

При этихъ условіяхъ положеніе „Нов. Вр.“ было не изъ легкихъ и его выводили только его незаурядныя престидажгорскія способности.

Угадать, предчувствовать, какая сила станетъ властью, когда власть потянетъ силу—въ этомъ заключается газетное призваніе ново-временцевъ.

Имъ приходится всегда быть готовыми для того, чтобы привѣтствовать новую власть и лягнуть старую. А такъ какъ въ русской бюрократіи всегда кипитъ

ожесточенная закулисная борьба за власть, такъ какъ различныя группы съ перемѣннымъ счастьемъ стремятся овладѣть властью, то ново-временцамъ приходится постоянно прислуживать на два фронта, заискивать у разныхъ сторонъ, чтобы застраховать себя отъ всякой неожиданности.

На языкѣ метръ-дотеля нововременскихъ офиціантовъ власти это называется парламентомъ мнѣній. Мнѣнія, само собою, представлены лишь на вкусъ и заказъ власть и силу имущихъ.

Чтобы усиленно выполнить эту нелегкую задачу—прислуживать сразу двумъ господамъ и быть готовымъ во время вскочить на запятки къ новѣйшей власти, надо обладать своеобразными талантами, складною душою и накладными чувствами.

Надо въ совершенствѣ обладать искусствомъ ярмарочныхъ фокусниковъ:—сейчасъ брюнетъ, сейчасъ блондинъ...

А лучшихъ исполнителей для этой фокусной роли, чѣмъ ренегаты, не найдешь. И мы дѣйствительно видимъ что „Новое Время“ биткомъ набито ренегатами. Они выступаютъ въ парламентѣ мнѣній на первыхъ роляхъ. Ренегатомъ является самъ г. А. Суворинъ, начавшій свою литературную дѣятельность съ „оппозиціи“, первый сборникъ котораго былъ сожженъ по приговору суда; ренегатомъ является М. Меньшиковъ, проливавшій кроткіе слезы толстовца въ „Недѣлю“ и жаловавшійся, что редакторъ „Недѣли“ не даетъ ему „какъ слѣдуетъ“ отдѣлать „Новое Время“; ренегатомъ является В. Буренинъ, и даже въ Парижѣ „Новое Вр.“ имѣетъ „нашего собственнаго ренегата“ г. Павловскаго.

Списокъ ренегатовъ, принимающихъ постоянное участіе въ газетѣ г. Суворина, очень длиненъ. И это не случайность. Для того, чтобы быть хорошимъ ново-временцемъ, нужны какъ разъ тѣ качества, которыя необходимы для хорошаго ренегата—способность личиною замѣнить личность, гримомъ—убѣжденія, нужна способность торговать своимъ духомъ.

„Новое Время“ раскрываетъ свои объѣты ренегатамъ и они охотно туда поступаютъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ „Новое Время“ обширная школа ренегатства. Она готовитъ политическихъ ренегатовъ, публичныхъ публицистовъ, продающихъ свой духъ.

Неправильно поэтому разсматривать „Новое Время“ какъ русскій офиціозъ. Правильнѣе видѣть въ немъ своего рода товарищество офиціантовъ, офиціантовъ прислуживающихъ у барскаго стола всякой силы.

Въ слѣдующемъ очеркѣ мы познакомимся съ этимъ товариществомъ офиціантовъ, а теперь обратимся къ его создателю и долготѣнному вдохновителю—А. С. Суворину.

Литературная дѣятельность А. Суворина начинается въ шестидесятыхъ годахъ. Съ 1861 года онъ помѣщаетъ въ различныхъ изданіяхъ статьи и повѣсти, не обращавшія на себя замѣтнаго вниманія—А. Суворина замѣчаютъ и о немъ начинаютъ говорить, когда въ шестидесятыхъ годахъ онъ становится фельетонистомъ „С.-Петерб. Вѣдомостей“, которыя редактировались тогда В. Ѳ. Коршемъ.

Подъ заголовкомъ „Всякіе“ А. Суво-

ринъ печатаетъ въ „С.-Пет. Вѣд.“ фельетоны, въ которыхъ въ полубеллетристической и полу-публицистической формѣ набрасываются „въ лицахъ“ злобы тогдашняго политическаго дня.

Эти очерки обратили вниманіе на Суворина и читающей публики и надзирающаго начальства. Последнее поставило имъ очень скоро точку. Но А. Суворинъ не смутился и не смирился. Онъ закончилъ эти очерки и подъ названіемъ „Всякіе“ выпустилъ ихъ отдѣльною книжкою. На книгу былъ наложенъ арестъ, самъ Суворинъ подвергся обыску и привлеченъ былъ къ судебной отвѣтственности.

Въ 1866 г., 18-го авг., дѣло разбиралось въ Окружномъ Судѣ. По обвинительному акту „губернскій секретарь Алексѣй Сергѣевичъ Суворинъ“ преданъ былъ суду: 1) за напечатаніе оскорбительныхъ и направленныхъ къ поколебанію общественнаго довѣрія отзывовъ о постановленіяхъ и распоряженіяхъ правительственныхъ установленій, 2) за одобреніе и оправданіе воспрещенныхъ законами дѣйствій, съ цѣлью возбудить къ нимъ неуваженіе и 3) за оскорбительные отзывы о высшемъ словѣ общества.

Окружный судъ нашель, что сочиненіе Суворина „не оставляетъ никакого сомнѣнія на счетъ сочувствія, питаемаго авторомъ къ дѣлу агитаторовъ, преслѣдуемыхъ правительствомъ, которое представляется безжалостнымъ и звѣрскимъ.“

Судъ постановилъ: заключить А. Суворина въ тюрьму на два мѣсяца, а книгу „Всякіе“ уничтожить. Дѣло перенесено было въ судебную палату.

Защищаль А. Суворина прис. пов. К.

Арсеньевъ, нынѣшній редакторъ „Вѣстн. Европы“.

Судебная палата охарактеризовала сочиненіе А. Суворина въ такихъ словахъ:

„Главный фонъ картины представленъ въ такомъ видѣ, чтобы служить подтвержденіемъ словъ, вложенныхъ авторомъ въ уста Ильменева и Людмилы Ивановны, что кругомъ эксплуатація, воровство, подлости и что въ средѣ администраторовъ и вообще общественныхъ дѣятелей гнусности не оберешься. На этомъ темномъ фонѣ картины, въ противоположность всему сказанному выше, рельефно выставлены двѣ только свѣтлыя личности, именно личности обстриженной нигилистки Людмилы Ивановны и особенно личность семинариста Ильменева, изъ коихъ первая оправдываетъ убійство за обиду и защищаетъ свободу прелюбодѣянія, а второй — политическій преступникъ, участвовавшій въ подкидываніи прокламацій... Этотъ-то политическій преступникъ представляется авторомъ, какъ нравственная сила, и награждается отзывами человѣка честнаго, отличнаго, добродѣтельнаго“.

Судебная палата постановила книгу уничтожить, но Суворину приговоръ былъ смягченъ — его приговорили къ тремъ недѣлямъ ареста на военной гауптвахтѣ.

Такіе громы накликалъ на голову А. Суворина его литературный первенецъ. Онъ предвѣщалъ бурную публицистическую карьеру, онъ сразу создалъ Суворину репутацію „краснаго“. О немъ заговорили, на него возлагали большія литературныя надежды. Перечитывая теперь эту нашумѣвшую книгу А. Су-

ворина, испытываешь чувство нѣкотораго разочарованія. Она скучновата и сѣровата. Позднѣйшія писанія А. Суворина несомнѣнно ярче, красочнѣе и злѣе. Политическая окраска книжки очень водяниста, общественная фізіономія расплывчата и трудно уловима.

Но если сравнить эту первую книгу А. Суворина съ нынѣшнимъ „Нов. Временемъ“, то, во истину — свѣжее преданіе, а вѣрится съ трудомъ.

Вотъ напр. какія слова вкладывалъ тогда А. Суворинъ въ уста одного изъ своихъ благородныхъ персонажей по адресу тогдашнихъ зубровъ.

— „Эти слова произносятся печатно наемниками, которыми господа съ тугими карманами бросаютъ подачки, чтобы онѣ лаяли въ ихъ пользу, и эти наемники смѣютъ называть себя защитниками дворянскихъ интересовъ. Лучшая часть дворянства не нуждается въ такихъ лаксахъ — оно само сумѣетъ постоять за себя и знаетъ, что дѣлать. Эти наемники осмѣливаются называть „Положенія 19-го февраля“ коммунистическими, они проповѣдуютъ обезземеліе крестьянъ и называютъ социалистомъ всякаго порядочнаго человѣка, который въ „Положеніяхъ 19-го февраля“ видитъ великій залогъ для будущаго благоденствія нашего. Это запугиваніе безчестно и низко и тѣмъ еще безчестнѣе, что оно продажно“. <sup>1)</sup> Прошло полъ-вѣка, наступилъ торжественный юбилей освобожденія крестьянъ и въ суворинскомъ „Нов. Времени“ г. М. Меньшиковъ воспѣлъ крѣпостное право и объявилъ со-

<sup>1)</sup> А. С. Суворинъ „Всякіе“. Изд. 2-ое. Спб. 1909. стр. 18)



ціалистомъ „всякаго порядочнаго человека, который въ положеніяхъ 19-го февраля увидѣлъ великій залогъ“... На судебномъ разбирательствѣ г. А. Суворинъ заявилъ, что незаконно смѣшивать его личныя убѣжденія съ разсужденіями его героевъ. Онъ лично, по его словамъ, больше всего сочувствуетъ взглядамъ своего героя—Ведеркина.

Что же говорилъ этотъ Ведеркинъ, alter ego г. А. Суворина?

Наилиберальнѣйшія и наисправедливѣйшія слова. Какъ напр. мѣтко, какъ справедливо его разсужденіе о М. Катковѣ:

— „Катковъ—дѣйствительно Марать. Чѣмъ питался Марать? Подозрѣніями. Онъ видѣлъ всюду измѣну, коварство, интригу. О чемъ же толкуетъ Катковъ? Онъ также всюду видитъ измѣну, всюду интригу, онъ смотритъ подозрительно на все и всѣхъ: онъ обвиняетъ въ измѣнѣ не только отдѣльныя личности, но цѣлыя общества, корпорации, цѣлые народы. Марать требовалъ рѣзни, убійствъ. Катковъ постоянно требовалъ „строгихъ мѣръ“. У Марата первое реальное торжество было сентябрьскія убійства,—у Каткова также былъ рядъ мелкихъ и крупныхъ торжествъ, и уста его не закрываются, вѣчно произнося одно и то же: измѣна, интрига, сепаратизмъ. Онъ въ самомъ дѣлѣ вдохнулъ въ извѣстную часть общества боязнь за цѣлость государства, за цѣлость собственности и даже головы. Развѣ мало людей, которые вездѣ видятъ заговоры, всѣхъ сколько нибудь увлекающихся считаютъ заговорщиками, революціонерами. Кат-

ковъ уничтожилъ у многихъ жалость—это присущее всему живущему чувство. Конечно, между Маратомъ и Катковымъ—огромное различіе, зависящее отъ обстоятельствъ мѣста и времени и отъ различія ихъ идеаловъ: Марать проповѣдывалъ терроръ во имя quasi - народныхъ интересовъ, Катковъ проповѣдуетъ терроръ во имя полицейскаго порядка“ (258 стр.).

Удивительно, какъ хорошо сохранилась книга А. Суворина. Почти полвѣка прошло съ тѣхъ поръ, какъ написаны эти слова, а между тѣмъ ихъ хотя въ завтрашній номеръ газеты пускay. Только маленькую поправку надо будетъ сдѣлать: слово „Катковъ“ надо повсюду замѣнить: „Новое Время“. Получится прекрасная, мѣткая характеристика ново-временцевъ. И тотъ же либеральный дворянинъ Павловъ разсуждаетъ о тогдашнихъ зубахъ:

— «Мы, говорятъ, аристократія! А начини глядѣть на генеалогическое древо — сейчасъ и наткнешься либо на истопника придворнаго, либо на конюха, либо на фаворита. И чѣмъ они хвастаются? Вѣдь ни прошлое ни настоящее у нихъ не завидно. Много ли у насъ родовъ въ самомъ дѣлѣ доблестныхъ? По пальцамъ перечесть. Да эти и ведутъ себя прилично. На неприличіе идетъ именно пустозвонное тщеславіе, стремящееся къ разьединенію, къ созданію заминутной привилегіи. И все это. повѣрьте мнѣ, червь крѣпостничества точитъ ихъ, сожалѣніе о прошломъ ничего-недѣланья, о барствѣ—подмываетъ ихъ“. А какъ красиво и горячо проповѣдовали герои „Всякихъ“ необходи-

мость борьбы, разнообразія и свободу мнѣній и убѣждений!

— „Не пугайтесь разности и убѣждений, пугайтесь ихъ однообразія. Въ однообразіи — могила и смерть; жизнь и движеніе только въ разнообразіи, въ борьбѣ. Посмотрите на однообразную степь---развѣ не пугаетъ она васъ видомъ своимъ? То же самое въ жизни государственной. Дайте арену для борьбы мнѣній, дайте поприще, на которомъ бы силы каждого могли быть приложимы, и вы увидите, какая широкая, какая чудная жизнь закипитъ, какъ быстро сгладятся всѣ разности и какъ быстро вырастетъ наша родина“... (306 стр.).

Опять:---какія свѣжія слова и какъ удивительно мѣтко направлены они по адресу „Нов. Времени“!

Таковъ былъ литературный первенецъ А. Суворина.

Талантъ его скоро развернулся ярче, сталъ опредѣленнѣе и злѣе. Его фельетоны сначала въ „Спб. Вѣд“, а затѣмъ въ основанномъ имъ (въ 1876 г.) „Нов. Времени“ быстро выдвигаютъ его въ первые ряды русскихъ публицистовъ.

Прекрасный языкъ, лишенный газетныхъ побрякушекъ, яркій темпераментъ, тонкая иронія заставляли забывать объ отсутствіи у Суворина сколько нибудь опредѣленнаго и выдержаннаго міросозѣрцанія. Да и при спутанности политической чересполосицѣ тогдашнихъ отношеній въ Россіи можно было выѣзжать на общей яркой „оппозиціонности“.

Многіе изъ фельетоновъ „Незнакомца“ представляютъ блестящій образецъ газетной публицистики. И какъ высоко

стоятъ они надъ тѣмъ, что пишется нынѣ въ „Нов. Времени“.

Лучшіе фельетоны А. Суворина, относящіеся къ до-нововременскому періоду т. е. написанные до 1876 г., когда онъ сталъ издавать „Нов. Время“, вышли въ 1875 г. отдѣльною книгою, давно ставшей библиографическою рѣдкостью.

Въ этихъ фельетонахъ попадаются превосходныя мѣста, такія поучительныя для нынѣшняго „Новаго Времени“!

Какъ, напр., горячо, какъ хорошо писалъ тогда А. Суворинъ о смертной казни:

— „Мнѣ слышались голоса благонамѣренныхъ людей: — „Одно спасеніе — смертная казнь!“ И зачернѣлись по городамъ и селамъ плахи, и палачъ въ красной рубахѣ помахивалъ топорикомъ, въ который привѣтливо глядѣла луна и на который благонамѣренные люди смотрѣли какъ на восходящее солнце нравственности и просвѣщенія. У меня голова кружилась и казалось мнѣ, что въ воздухѣ несутся тѣмы чертей, держащихъ обезглавленные тѣла въ одной рукѣ, а головы ихъ въ другой; въ аду они приставятъ одно къ другому и проворчатъ про себя: „Чертъ бы ихъ бралъ съ ихъ нововведеніями: приставляй теперь головы! (А. Суворинъ. Очерки и картины. Спб. 1875. стр. 45).“

Если въ семидесятыхъ годахъ даже адъ содрогнулся отъ этихъ нововведеній, то зато въ наши дни „Нов. Вр.“, редактируемое и издаваемое г. Суворинымъ, принялось прославлять смертныя казни, какъ „восходящее солнце нравственности и просвѣщенія“.

Какъ ненавидѣлъ тогда А. Суворинъ

безпринципныя и продажныя газеты, какъ мѣтко онъ ихъ характеризоваль, какъ зло надъ ними издѣвался!

Онъ остроумно хлещетъ „литературную, политическую и продажную газету“.

— „Что такое убѣжденія? Не парусъ ли это, движимый вѣтромъ времени и опыта? Но времена переменчивы и вѣтеръ бываетъ то съ юга, то съ сѣвера, однимъ словомъ со всѣхъ сторонъ. Не противоестественно ли двигаться противъ вѣтра?“

— „Намъ могутъ сказать, чтобы мы прямо отвѣчали на вопросъ: продаемся ли мы? Мы всегда уважаемъ прямые пути и потому съ гордостью отвѣчаемъ:— да, мы продаемся, мы отдаемся, отдаемся со всею страстью, со всѣмъ энтузіазмомъ... цивилизаціи“ (Ив. стр. 9). И въ то же время эта языкоблудная газета, по словамъ А. Суворина, шепчетъ на ухо власть имущимъ:

— „Мы оставляемъ вопросъ: „продаемся ли мы? — открытымъ, какъ открытымъ мы оставляемъ для васъ и нашъ кабинетъ“.

Напечатаютъ эти злыя слова въ газетѣ нашихъ дней, и ни для кого ни минуты не будетъ сомнѣнія, что рѣчь идетъ о „Нов. Времени“.

А какими глазами посмотрѣлъ бы въ семидесятыхъ годахъ А. Суворинъ на того человѣка, который предсказалъ бы ему, что онъ-то и будетъ редакторомъ подобной литературной, политической и продажной газеты...

Суворинъ семидесятыхъ годовъ предпочелъ бы навѣки сломать свое перо, наложить на себя обѣтъ неписанія, чѣмъ пойти на встрѣчу такому будущему.

Но постепенно, со ступеньки на ступеньку, это совершилось незамѣтно...

А какъ сильно и хорошо А. Суворинъ отдѣлывалъ тогда въ своемъ нашумѣвшемъ открытомъ письмѣ идола тогдашнихъ консерваторовъ—М. Каткова.

А. Суворинъ писалъ по адресу М. Каткова:

„Въ 10 лѣтъ даже изобрѣтательности ваша не сдѣлала успѣховъ: вы не выдумали съ 1861 г. ни одного слова, а между тѣмъ вся ваша сила преимущественно на словахъ однихъ основана, на словахъ и на нервахъ читателей. Вы, преимущественно, человѣкъ чувства, а не разума, чѣмъ и объясняется вашъ успѣхъ между людьми непривыкшими думать, между толпою неразвитыхъ и полуобразованныхъ. Вы подорвали и распалили ихъ чувство, ихъ воображеніе и они шли за вами, какъ вы, съ своей стороны, шли за ними. Тутъ нѣтъ противорѣчія, ибо, предводительствуя толпою, вы постоянно оглядывались назадъ и смотрѣли, въ какомъ она расположеніи“.

— „Вамъ—продолжаетъ А. Суворинъ, обращаясь къ Каткову—принадлежитъ гряда пасквилей самыхъ безстыдныхъ и нахальныхъ, причѣмъ вы не останавливались ни передъ чѣмъ: ни передъ заслугами, ни передъ возрастомъ, ни передъ несчастьемъ. Эти пасквили преслѣдовали не только живыхъ людей и живыя идеи, но мертвыя идеи и умиравшихъ людей. Вы не останавливали пасквильныхъ словоизверженій своихъ даже и тогда, когда мало мальски развитое нравственное чувство рекомендовало стыдливость.“

Вы только тамъ и были сильны, гдѣ

можно было выѣзжать на чувствѣ—преимущественно на чувствѣ злобы, мести и подозрѣній, и вашъ лиризмъ постоянно выражался поэтому въ пасквиль“.

Читая эти строки, невольно восклицаешь:—Да вѣдь это М. Меншиковъ, чesъ какъ намалеванъ. Да и одинъ ли Меншиковъ! Любой изъ крупныхъ нововременцевъ приметъ эти строки за „личность“.

Читая всѣ эти статьи и сравнивая ихъ съ нынѣшними „Нов. Временемъ“, невольно приходишь къ заключенію, что А. Суворинъ развивался „по Гегелю“ — онъ постепенно превратился въ свою собственную противоположность.

Въ 1876 году А. Суворинъ приступаетъ къ изданію собственной газеты. Получить разрѣшеніе на новую газету по тогдашнимъ временамъ было очень трудно, почти безнадежно. Только немногимъ, особенно благонамѣреннымъ и ловкимъ человѣчкамъ удавалось выхлопотать право на изданіе. И этими правами они торговали.

А. Суворинъ обратился къ одному изъ подобныхъ человѣчковъ, нѣкому Трубникову, и купилъ у него право на изданіе газеты „Новое Время“.

Изъ виднаго фельетониста А. Суворинъ становится редакторомъ и, что для его эволюціи еще важнѣе, издателемъ большой политической газеты.

Время для ея изданія было выбрано какъ нельзя болѣе удачное. Россія переживала тогда лихорадку увлеченія славянскимъ вопросомъ. Вопросъ о славянахъ, война съ Турціей всколыхнули русское общество, втянули его въ водоворотъ политическихъ страстей.

Много было показного и напускного въ этомъ славянскомъ движеніи, очень шумѣли въ немъ всяческіе Репетиловы, но оно не лишено было крупнаго общественнаго значенія, ибо благодаря ему русское общество пробудилось отъ политической спячки, заинтересовалось политическими вопросами, нервно реагировало на международную политику.

А. Суворинъ отлично понималъ, что необходимо ловить моментъ и что возбужденіе, охватившее русское общество, открываетъ еще незанятое газетное амплуа — органа, который бы осторожно вторилъ славянскимъ освободительнымъ идеямъ и, поскольку имъ противилось правительство, слегка бы игралъ въ оппозицію, неопасную, патріотическую.

„Новое Время“ и предназначено было занять это вакантное амплуа. Съ самаго начала А. Суворинъ очень умѣло и осторожно повелъ политическую линію своей газеты. Онъ ловко лавировалъ между подводными камнями, успѣшно старался и капиталъ общественнаго сочувствія пріобрѣсти и политическую невинность въ глазахъ правительства не потерять.

Перечитывая первые номера „Новаго Времени“, явственно слышишь въ нихъ подавленное ироническое отношеніе по многимъ сердцевиннымъ вопросамъ тогдашняго славянскаго движенія, но на ряду съ этимъ попадаютъ и статьи, напоенныя славяно-фильской брагой. И неудивительно, что русское общество, увлекавшееся славянскимъ движеніемъ и войною съ Турціей, повернула къ „Новому Времени“ всѣ свои симпатіи

и отворачивалась отъ сухого и доктринальнаго „Голоса“.

Успѣхъ выпалъ на долю А. Суворина самый широкій. Онъ отлично игралъ на струнахъ сочувствія къ славянамъ и придавъ своему органу характеръ невыдержаннаго, но звонкаго либерализма, съ сильною примѣсю патріотическаго воодушевленія.

Политически почти неопредѣленное, почти нечленораздѣльное возбужденіе, охватившее тогда Россію, вполне соответствовало тому расплывчатому словесному либерализму, который съ самаго начала „Новаго Времени“ усвоилъ г. А. Суворинъ.

Перечитывая первые номера „Новаго Времени“, убѣждаешься, конечно, что по сравненію съ нынѣшнимъ „Новымъ Временемъ“ это идеальнѣйшая, убѣжденнѣйшая, чистѣйшая газета. Но, сама по себѣ взятая, она уже съ самаго начала отличалась политическою безпринципностью и уже тогда въ еще либеральныхъ фельетонахъ А. Суворина звучали ноты, показывавшія, что способный фельетонистъ способенъ на очень и очень многое...

Прежде всего, широкая безпринципность, поставленная во главу угла газеты, предусмотрительно была скроена „на ростъ“ газеты въ какомъ угодно направленіи, она заранѣе позволила непозволительныя политическія соемѣстительства и предвѣщала наступленіе парламента мнѣній.

Но, повторяемъ, по сравненію съ нынѣшнимъ „Нов. Временемъ“, „Нов. Вр.“ семидесятыхъ годовъ поражаетъ своею чистотою и честностью.

„Новое Время“, устами Незнакомца (А. Суворина), заявляло въ первомъ же номерѣ новой редакціи:

— „Мы вмѣстѣ съ нимъ (общественнымъ мнѣніемъ) будемъ желать, будемъ поддерживать въ немъ тѣ его чувства, которыя кажутся намъ лучшими, тѣ мысли, которыя даютъ образованіе. Мы будемъ служить честнымъ людямъ и честнымъ стремленіямъ, откуда бы они ни выходили“ („Новое Время“ отъ 29 февр. 1876-го г.).

Однако, тутъ же и сейчасъ же А. Суворинъ провозгласилъ принципъ безпринципности и объявилъ на него подписку.

На вопросъ пріятелей—какова же программа?—одинаково какъ и вся статья „Новаго Вр.“, Суворинъ отвѣчаетъ такимъ діалогомъ:

— Ну, а о направленіи говорите?

— И о направленіи говоримъ.

— Что же говорите?

— А говоримъ, что мы съ направленіемъ откровеннымъ...

— Это что же за направленіе такое?

— Такое мы сочинили въ отличіе отъ радикальнаго, либеральнаго и консервативнаго.

Это было новое газетное направленіе, открытое г. Суворинымъ—откровенное. Несомнѣнно, что уже въ этой откровенности перваго номера „Нов. Времени“ заключены были всѣ его позднѣйшіе грѣхи и саломортале.

Но, однако, „Нов. Вр.“ гордо и твердо заявляло, что мѣнять свои убѣжденія и направленія она никогда не станетъ.

„Не смотря на нашъ юный возрастъ—пишетъ А. Суворинъ—мы не намѣрены мѣнять своихъ убѣжденій по вѣтру..“

Пусть „Голосъ“ идетъ своимъ путемъ, мы пойдемъ своимъ. Его путь, устьянный лаврами, пока ничего не представляетъ завиднаго. Но вѣдь „дѣти“ живучи и кто знаетъ будущее!“ („Нов. Вр.“ 1876. № 41).

Дѣйствительно:—кто знаетъ будущее!

Кто бы могъ думать, что А. Суворину и его газетѣ принадлежитъ такое будущее, что она превратится въ вѣтреную мельницу, что онъ пуститъ свою газету по житейскому морю безъ политическаго руля, но съ многочисленными вѣтрилами, послушными вѣяніямъ „сферъ“!

А съ какимъ хорошимъ отвращеніемъ, съ какимъ жгучимъ негодованіемъ говорилъ тогда А. Суворинъ о томъ мѣрѣ, которымъ и въ которомъ живетъ нынѣ „Новое Время“:

— „Міръ мелкихъ дразгъ, уколотыхъ самолюбій, купленныхъ и расточенныхъ на вѣтеръ концессій, міръ скандаловъ, общественнаго воровства, міръ продажныхъ женщинъ и продажныхъ мужчинъ, міръ искалѣченныхъ дѣтей и юношей, міръ погони за наживой—неужели онъ не надоѣлъ вамъ еще, неужели изъ него нѣтъ выхода, неужели нѣтъ у насъ сердецъ, которыя загорались бы благороднымъ высокимъ чувствомъ, нѣтъ умовъ, которые широко бы смотрѣли, которые бы видѣли будущее и готовы были бы нести себя на жертву ему, на жертву своей родинѣ? Надо поднять себя, господа... („Нов. Время“ 1876 г. № 110).

Да вѣдь это не въ бровь, а въ глазъ всѣмъ нынѣшнимъ нововременцамъ. Только, конечно, этимъ господамъ „поднять себя“ уже нельзя, поздно.

А какъ хорошо по адресу нынѣшняго

„Нов. Вр.“ писало старое „Нов. Вр.“ о продажномъ духѣ.

— „Жалко, противно бываетъ глядѣть на продажную красоту, когда отъ нея начнутъ, наконецъ, отворачиваться и презрительно указывать пальцемъ. Но тутъ превозмочь должна жалость, потому что по большей части все дѣло въ нуждѣ, такъ что противными въ концѣ концовъ представляемся сами мы, наше общество съ его безобразнымъ устройствомъ. А какъ отнестись къ торгашеству мыслью, до котораго довела не безысходность положенія, а ненасытная страсть потуже набить свой глубокой карманъ? Не жалки, а только противны подобные торгаши, когда они, все еще сохраняя свой важный видъ, будто искренно удивляются, какъ это даже тѣ, отъ которыхъ они получали заказы на направленіе, отступаются отъ нихъ“. („Нов. Вр.“ 1876 г. № 115).

Однако, по мѣрѣ того, какъ спадала волна общественнаго подъема и крѣпчала реакція, „Нов. Вр.“ все робче и глуше выражало свой либерализмъ, все щедрѣе примѣшивало къ нему крѣпкій соусъ шовинизма.

Уже въ годъ основанія „Нов. Вр.“, въ 1876 г., люди съ тонкимъ публицистическимъ слухомъ улавливали въ новой газетѣ ноты шовинизма.

А. Суворинъ взволнованно самъ разсказалъ на страницахъ „Нов. Вр.“, что, когда онъ уѣзжалъ изъ Кіева, одинъ изъ провожавшихъ укоризненно замѣтилъ ему:—Вы проповѣдуете въ „Нов. Вр.“ шовинизмъ.

Этотъ упрекъ казался тогда Суворину

такимъ тяжкимъ, такимъ несправедливымъ, незаслуженнымъ!

„Эта фраза—пишетъ по поводу этого упрека А. Суворинъ—не выходитъ у меня изъ головы. Неужели, мы въ самомъ дѣлѣ шовинисты, тѣ безпардонные люди, у которыхъ кличъ „мы шапками всѣхъ закидаемъ“?

„Я протестую противъ этого несправедливаго упрека!“ („Нов. Вр.“ 1876 г. № 110).

Мы познакомились съ А. Суворинымъ того стараго времени, когда онъ только выступалъ на поприщѣ редактора-издателя, когда онъ еще формировалъ „Новое Время“.

Мы видѣли, чѣмъ былъ А. Сувдринъ, чѣмъ было „Нов. Вр.“. Мы въ слѣдующемъ очеркѣ посмотримъ, чѣмъ оно стало.

Мы уже видѣли, что А. С. Суворинъ семидесятыхъ годовъ, при сравненіи съ современными ново-временцами, кажется опаснымъ карбонаріемъ, который властей не признаетъ.

Но уже въ Суворинѣ семидесятыхъ годовъ можно ясно видѣть ту черту, которая по днесь составляетъ особую примѣту ново-временскаго газетнаго заведе-

нія. Эта черта—ставка на сильныхъ А. Суворинъ началъ свою издательскую дѣятельность со ставки на сильныхъ—съ полусффиціального полуобщественнаго движенія въ пользу славянъ. Тогда славянское движеніе поддерживалось въ русскомъ обществѣ очень вліятельными и сильными общественными кругами, и А. Суворинъ съ самаго начала сумѣлъ, еще не порывая внѣшне съ либерализмомъ, привлечь къ своей газетѣ симпатіи сильныхъ и высокихъ „сферъ“.

Въ дальнѣйшемъ, какъ мы увидимъ, онъ неизмѣнно слѣдовалъ этой политикѣ ставки на сильныхъ, мѣняя направленіе и симпатіи газеты сообразно съ настроеніями и стремленіями „сильныхъ“.

Мы въ слѣдующемъ очеркѣ увидимъ, что на этой политикѣ прислуживанія силѣ и сильнымъ основаны всѣ замѣчательныя превращенія ново-временскихъ трансформистовъ, на этой политикѣ держится все то товарищество офиціантовъ съ безграничною безответственностью, которое промышляетъ подъ фирмою „Новаго Времени“.

П. Берлинъ.

## ПОЛИТИЧЕСКІЙ КРИЗИСЪ ВЪ ГЕРМАНИИ.

„На главномъ фасадѣ, выходящемъ въ Lustgarten — говоритъ одинъ изъ современныхъ изслѣдователей Германіи — имѣется историческій балконъ, съ высоты котораго прусскіе короли иногда обращаются къ своему народу. На этомъ балконѣ въ мартѣ 1848 г. появился Фридрихъ-Вильгельмъ IV, съ каской въ рукахъ. Въ январѣ 1907 г. здѣсь-же, въ дверяхъ, показался Вильгельмъ, чтобы во всеуслышаніе поздравить свое правительство съ результатами выборовъ въ Рейхстагъ и публично выразить радость свою „національной побѣдѣ“.

Эти двѣ различныя по обстановкѣ сцены на историческомъ балконѣ берлинскаго дворца какъ бы зафиксировали навсегда два выдающихся момента въ политической эволюціи современной Германіи. Если въ 1848 г. правительство прусское было подъ конемъ, то въ 1907 г. оно побѣдоносно сидѣло на имперскомъ конѣ, несущемся во весь опоръ къ старымъ устоямъ феодальнаго уклада. Въдь выборы 1907 г. — это была побѣда прусской бюрократической идеологіи надъ имперской государственностью, имѣющей рѣзко выраженную тенденцію къ демократизаціи политическихъ учреждений и національной жизни. И если синтезъ современной исторіи Германіи заключается въ борьбѣ, то это потому, что

съ самаго момента „фабрикаціи“ германскаго единства обнаружился внутренній антагонизмъ двухъ, по существу своему враждебныхъ другъ другу, политическихъ системъ: прусской и имперской. Покуда живъ былъ „железный канцлеръ“, олицетворявшій собой идею исторической необходимости германскаго единства и умѣвшій бороться съ партикуляризмомъ составныхъ частей имперіи, до тѣхъ поръ этотъ, только что указанный, антагонизмъ политическихъ системъ давалъ себя мало чувствовать. Хотя еще Трейтске, послѣ битвы при Садовой, когда всѣми ощущалась неизбежность германскаго объединенія при помощи прусскаго меча, предсказывалъ непріятныя послѣдствія отъ взаимодействія этихъ двухъ политическихъ факторовъ нѣмецкой національной организаціи. „Германскій парламентъ и прусскій парламентъ, — писалъ онъ тогда, — смогутъ ли они долго существовать одинъ около другого? Это загадка“.

Въ настоящее время, однако, загадка эта разгадана. Эти два парламента, въ которыхъ кристаллизовались идеи враждебныхъ другъ другу системъ, не только не могутъ существовать рядомъ, но, больше того, каждый изъ нихъ стремится достигъ абсолютнаго господства надъ всей національной жизнью. Исто-



рический ходъ вещей въ указанномъ направленіи, принявшій быстрый темпъ съ уходомъ Бисмарка отъ власти, привелъ въ конечномъ итогѣ къ тому, что теперь колесо германской исторіи вращается около двухъ точекъ: либо германизация Пруссіи, либо пруссификація Германіи. Самой характерной стороной современной политической эволюціи Германіи является именно то, что и послѣ смерти Бисмарка большинству германской націи приходится идти по пути, указанному „желѣзнымъ канцлеромъ“. Сложитъ привилегіи прусскаго королевства, а стало быть и прусскаго короля, и растопитъ прусскую государственность въ горнилѣ имперскаго единства. И когда въ послѣдніе годы въ Германіи шла столь серіозная и упорная борьба по части обузданія волевыхъ импульсовъ императора, этой, по выраженію канцлера Бюлова, „сильной индивидуальности“, когда въ процессъ этой борьбы выяснилось, что тутъ въ сущности приходится имѣть дѣло не столько съ психологическими свойствами главы имперіи, сколько съ тѣмъ обстоятельствомъ, что Вильгельмъ II является проводникомъ идеи „пруссифицированія“ Германіи—въ это время имя Бисмарка не сходило съ устъ многихъ и многихъ гражданъ имперіи. „Leider, Bismark ist immertodt“,—твердили поклонники автора германскаго объединенія, жалѣли, искренно жалѣли, что „желѣзный канцлеръ“ навсегда сошелъ въ могилу...

Культь Бисмарка для современной Германіи имѣетъ и свои плохія, и свои хорошія стороны. Когда духъ великаго покойника вызывается такими полити-

ческими спиритами, какъ пресловутый Максимилианъ Гарденъ, чтобы устранивъ прусскихъ феодаловъ, замысливающихъ вмѣстѣ съ императоромъ втянуть въ орбиту прусской политической системы всю Германію, — то ясно, что тутъ злему духу германской исторіи хотя бы противопоставить ея добраго генія. \*) Максимилианъ Гарденъ рассказываетъ, между прочимъ, чрезвычайно интересныя подробности о конфликтѣ между Вильгельмомъ и Бисмаркомъ, которыя расширяютъ и углубляютъ проблему „пруссификаціи“ германской имперіи и лишній разъ подтверждаютъ мысль о томъ, что борьба между этими двумя историческими личностями шла дѣйствительно изъ-за обладанія полной властью. Какъ извѣстно, великій герцогъ Баденскій заподозрилъ даже, что „желѣзный канцлеръ“ хочетъ противопоставить правящей и законной династіи Гогенцоллерновъ новую династію Бисмарковъ—до того серіозенъ былъ этотъ вопросъ борьбы за полноту власти. Но еще болѣе характернымъ является то, что, какъ сообщаетъ Гарденъ со словъ Бисмарка, еще не будучи на престолѣ, молодой, двадцатипятилѣтній Вильгельмъ подарилъ „желѣзному канцлеру“ свой портретъ съ многозначительной надписью, которую можно съ полнымъ правомъ считать первымъ предостереженіемъ носителя прусской политической идеи, сдѣланнымъ творцу германскаго единства. Эта надпись гла-

\*) См. очень интересную статью Гардена о Вильгельмѣ II, въ его только-что вышедшей второй части „Koepe“, Berlin, 1911. Erich Reiss,

сила. Cave, adsum! (Берегись, мое царствованіе приближается!)

Что-же касается того кульминаціоннаго момента борьбы Вильгельма съ Бисмаркомъ, когда 15 марта 1890 г. императоръ, озлобленный тѣмъ, что „желѣзный канцлеръ“ ведетъ какіе-то самостоятельные переговоры съ лидеромъ католическаго центра Виндгорстомъ, отправился къ Бисмарку и категорически потребовалъ отъ него прекращенія всякихъ самостоятельныхъ политическихъ выступленій, то, по словамъ Гардена, произошла слѣдующая сцена. Бисмаркъ выразилъ удивленіе этимъ новымъ политическимъ нравамъ и, по-видимому, не склоненъ былъ подчиниться императору. Тогда Вильгельмъ раздраженно замѣтилъ: „Но вашъ повелитель вамъ приказываетъ“. — „Власть моего повелителя—хладнокровно отпаривовалъ „желѣзный канцлеръ“—прекращается на порогѣ салона моей жены“...

Эти штрихи для насъ цѣнны въ смыслѣ уясненія психологическихъ предпосылокъ, заставляющихъ смотрѣть на современную эволюцію Германіи, какъ на послѣдній фазисъ того „героическаго“ періода ея исторіи, когда гегельянское примиреніе съ прусской дѣйствительностью было рѣшительно отвергнуто всѣми сторонниками имперскаго единства, съ Бисмаркомъ во главѣ. Поэтому, самое удаленіе канцлера въ 1890 г. было ничѣмъ инымъ, какъ противопоставленіемъ прусскаго „идеализма“ германскому „реализму“. — „Бисмаркъ сдѣлалъ изъ Пруссіи замыкающее звено Германской Имперіи, — говоритъ Moysset въ своей только что появившейся и въ

высшей степени интересной книгѣ. — Между тѣмъ, онъ поставилъ ребромъ вопросъ о разрушеніи прусской монархіи по столько, по скольку послѣдняя является историческимъ выраженіемъ политическихъ, экономическихъ и общественныхъ факторовъ, достаточно уже извѣстныхъ и не нуждающихся въ томъ, чтобы говорить здѣсь о нихъ“. Любопытно, что и въ 1848 и 1849 г.г. въ нѣмецкой печати высказывалась мысль о невозможности поставить Пруссію во главѣ германскаго объединенія, такъ какъ уже тогда опасались, чтобы вся Германія не попала подъ прусскую пяду. И Moysset, приводя эти факты, говоритъ, что прусско-германская проблема, которая считается теперь такой актуальной, является въ сущности вопросомъ историческимъ. „Preussen in Deutschland“ — вотъ въ чемъ было препятствіе къ естественному сліянію нѣмецкихъ государствъ. Создавъ Германскую Имперію, Бисмаркъ не уничтожилъ прусской проблемы; онъ пытался это сдѣлать *post factum*, поставилъ этотъ вопросъ „ребромъ“ послѣ объединенія, но довести до конца эту задачу ему помѣшалъ Вильгельмъ, предупредившій объ этомъ словами: Cave, adsum! Вотъ почему германское объединеніе носитъ характеръ „фабрикаціи“, а не естественнаго завершенія историческаго хода вещей.

Исторія Германіи послѣднихъ лѣтъ протекаетъ подъ знакомъ всеобщаго недовольства. Недовольство это накоплялось многіе годы, по словамъ Moysset,<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Henri Moysset. L'Esprit public en Allemagne. Vingt ans après Bismarck. Paris. Ed. J. x Alcan, 1911.

цѣлыхъ двадцать лѣтъ; съ того времени, когда Бисмаркъ ушелъ. Но объ этомъ мало говорили до послѣдняго времени, потому что Германія, даже тогда, когда она недовольна, возбуждается очень медленно и „сжимаетъ кулаки въ карманѣ“. Однако, ноябрьскіе дни 1908 г., тѣ дни, въ которые вся страна пришла въ движеніе по поводу знаменитаго интервью съ Вильгельмомъ, помѣщенного въ „Daily Telegraph“,—явились исходнымъ моментомъ въ исторической борьбѣ прусской и имперской системъ. Здѣсь обозначается новый поворотъ въ жизни современной Германіи, указавшій, между прочимъ, и на то, что возвѣщенная въ 1907 г. съ „историческаго“ балкона „національная“ побѣда оказалась Пирровой побѣдой. Всѣ современные обозрѣватели Германской жизни, да и всѣ германскіе политическіе дѣятели, безъ различія ихъ возрѣній, сходятся въ убѣжденіи, что отнынѣ побѣда „демократической“ имперіи надъ системой пруссификаціи всей Германіи обезпечена. Этому сдвигу влѣво способствовалъ именно тотъ фактъ, что прусскій король сѣлъ на имперскаго коня...

Борьба народа съ Вильгельмомъ II, временами принимавшая такой рѣзкій характеръ, какого, по словамъ Moysset, не запомнятъ съ 1815, есть въ существѣ своемъ—борьба Германіи съ Пруссіей. И конкретнымъ образомъ, это выразилось въ той агитаціи, которая охватила всю имперію въ послѣдніе годы и которая была направлена въ пользу уничтоженія избирательной системы Прусскаго Ландтага. Привилегіи Пруссіи, ея господство въ Имперіи обезпе-

чены по столько, по скольку остается неприкосновенной прусская избирательная система. „Вполнѣ законно и основательно—сказалъ однажды Бетманъ-Гольвегъ, — чтобы Германія интересовалась соотношеніемъ политическихъ силъ конфедерации. Но требовать, чтобы Пруссія демократизировалась путемъ введенія у себя всеобщаго избирательнаго права, дабы Федеральнѣйшій Совѣтъ, по характеру своему демократическій, могъ управлять судьбами имперіи—это такая эволюція, которой мы будемъ препятствовать всѣми мѣрами“ (Засѣданіе Рейхстага 10 февр. 1910 г.). А если мы вспомнимъ, что около 80 депутатовъ прусскаго полуфеодальнаго Ландтага состоятъ въ то же время и членами имперскаго Рейхстага—то мы поймемъ, какой громадной политической важности является вопросъ объ избирательной реформѣ въ Пруссіи. Тутъ рѣчь идетъ не только объ уничтоженіи прусскихъ привилегій, но и о томъ, чтобы не дать феодальной Пруссіи фальсифицировать подлинное политическое настроеніе Германіи. Пруссія должна раствориться въ имперской организаціи и, чтобы уничтожить прусско-германскую антиномію, надо прежде всего демократизировать прусскій Ландтагъ. Еще Виндгорстъ въ 1873 г. находилъ, что между избирательнымъ правомъ Пруссіи и избирательнымъ правомъ имперіи существуетъ „шскирующее противорѣчіе“. Эта именно бисмарковская идея имперскаго единства, уравненія всѣхъ составныхъ частей конфедерации и привела къ тому, что католическій центръ голосовалъ вмѣстѣ съ социалистами за введеніе въ Пруссіи

всеобщаго избирательнаго права. Если же взять численное соотношеніе, то мы увидимъ, что за эту реформу высказывалось уже 7.572.000 голосовъ изъ 11.303.483 всѣхъ избирателей. Впрочемъ, центръ не есть еще тотъ вѣрный барометръ общественнаго настроенія, который въ состояніи предсказать заранѣе опредѣленную политическую погоду. Парламентская игра, а главное призракъ побѣды на будущихъ выборахъ социалъ-демократовъ, влечетъ его въ сторону, противоположную его собственнымъ интересамъ. Но Moysset указываетъ на то, что Novembertage окончательно опредѣлили господствующій въ странѣ оппозиціонный духъ, и не смотря на то, что центръ пошелъ въ Каноссу, что тактическому соображенію, вызвавшему къ жизни союзъ его съ консерваторами, онъ принесъ въ жертву прусскую избирательную реформу, не смотря на все это—идеологія „прусификаціи“ Германіи все-же доживаетъ свои дни. Но черно-голубой блокъ еще больше пришпорилъ сторонниковъ прусской политической догмы. Начиная съ 1910 г., консерваторы идутъ уже въ наступленіе противъ имперіи и какъ бы покушаются на цѣлость того великаго національнаго дѣла, творцомъ котораго былъ Бисмаркъ. Такъ, баронъ Цедлицъ 11 февраля 1910 г. выдвигаетъ на очередь боевую диллему: ob Reich, ob Reichswahlrecht. А другой консервативный депутатъ произноситъ еще болѣе рѣзкую и знаменательную рѣчь въ Рейхстагѣ. „Верховный шефъ арміи—сказалъ онъ—(и это прусская традиція, а то что эта традиція вамъ не нравится, я охотно вѣрю), прусскій король и германскій им-

ператоръ долженъ имѣть право сказать любому офицеру: возьмите десять чело-вѣкъ и ступайте закрывать Рейхстагъ“. Вотъ тотъ высшій аргументъ, который заставляетъ германскихъ реакціонеровъ защищать политическую самобытность Пруссіи, въ ея историческомъ противопоставленіи демократизирующейся Германіи.

Эта „историческая“ борьба Пруссіи и Германіи, породившая всеобщее недовольство, есть не только проблема нѣмецкой политики, она есть, равнымъ образомъ, и проблема европейская. Ибо Пруссія есть послѣдній оплотъ европейской реакціи. „Пруссія—восклицаютъ германскіе демократы, — это позоръ Европы!“ Но тѣмъ упорнѣе идетъ борьба, что съ лица земли должна исчезнуть классическая система феодальнаго и полицейскаго государства, передъ которой въ свое время преклонялся Гегель и которую пожралъ Бисмаркъ. Двадцать лѣтъ, какъ съ политической сцены сошелъ „желѣзный канцлеръ“—и въ настоящее время, какъ и тогда, въ 1890 г., надъ судьбой имперіи виситъ прусскій Дамокловъ мечъ. Бетманъ-Гольвегъ, этотъ типичный слуга прусскаго короля, обладающій къ тому-же всѣми качествами драгунской тренировки, бываетъ не въ мѣру краснорѣчивъ и твердъ, когда передъ собраніемъ народныхъ представителей имперіи защищаетъ привилегіи Пруссіи. Еще въ прошломъ году онъ заявилъ: „Пруссія не дастъ себя завести въ воды парламентаризма, пока не будетъ сломлена мощь королевства, пока она останется неприкосновенной; но мощь этого королевства, гордая традиція ко-

тораго быть королевствомъ для всѣхъ, останется нетронутой“. И что было бы, если бы германскій императоръ отказался отъ защиты всѣхъ привилегій, которыми надѣлена Пруссія? Не означало бы ли это капитулировать передъ духомъ Бисмарка, который не перестаетъ витать надъ германской имперіей?

Очевидно, имперская проблема современной Германіи—задача куда сложнѣе и серіознѣе, чѣмъ объединеніе германскихъ государствъ, совершенное Бисмаркомъ. Тогда имперія была цѣлью, теперь-же она стала средствомъ. Но прусское дворянство, во главѣ съ своимъ

королемъ, мало считается съ измѣненіемъ историческихъ условій, какъ мало оно считается и съ послѣдствіями все болѣе и болѣе обостряющагося внутренняго антагонизма прусско-германской проблемы. Тѣмъ не менѣе, надо учитывать то общее оппозиціонное настроеніе всей имперіи, благодаря которому окончательное паденіе прусскаго господства предрѣшено. Острота вопроса заключается лишь въ томъ, дастъ ли Пруссія безъ боя и кровопролитія произнести въ наступающій историческій моментъ: *Finis Borussiae*.

Н. Борецкій-Бергфельдъ.

## О ГОЛОДѢ И ЕГО ПРИЧИНАХЪ.

Голодъ сноза посѣтилъ значительную часть Россіи. Газеты наполнены ужасающими свѣдѣніями изъ голодающихъ губерній. Уже теперь миллионы людей голодаютъ и вмѣсто хлѣба употребляютъ суррогаты его, а вѣдь нужно продержаться населенію еще до іюня мѣсяца и самая ужасная нужда надвинется на населеніе къ веснѣ, въ послѣдніе мѣсяцы передъ новымъ урожаемъ.

Въ извѣстной рѣчи г. Коковцева въ Гос. Думѣ, отъ 2 ноября 1911 года, приводятся примѣры уѣздовъ, въ которыхъ собрано только по 3, по 2 и даже по 1 пуду съ десятины. Въ 8 губерніяхъ, наиболѣе пострадавшихъ отъ неурожая, по расчету г. Коковцева, собрано только 37% нормальнаго средняго урожая, а въ наиболѣе пострадавшей Оренбургской губ. только 14%. Эти цифры даютъ пред-

ставленіе объ интенсивности бѣдствія; о размѣрахъ же его, о степени его распространенія, мы получимъ представленіе, когда подсчитаемъ количество населенія, постигнутаго неурожаемъ. Если мы возьмемъ тѣ 8 европейскихъ и 4 азіатскихъ губ., въ которыхъ по даннымъ г. Коковцева населеніе сплошь пострадало отъ неурожая, и присоединимъ сюда еще Пензенскую губ., въ которой пострадало 8 уѣздовъ изъ 10-ти, то скажется, что къ 1 январю 1910 года, по даннымъ Центр. Ст. Ком., сельское населеніе этихъ губерній было равно почти 25 миллионамъ людей. Кромѣ того еще частично пострадали 7 губерній съ сельскимъ населеніемъ равнымъ 16 миллионамъ. Въ этихъ губерніяхъ пострадало по даннымъ г. Коковцева больше четверти уѣздовъ, или миллиона 4 сель-

скаго населенія. Въ общемъ итогѣ мы получаемъ, такимъ образомъ, 28—29 милліоновъ сельскаго населенія, которое или уже голодаетъ, или доѣдаетъ послѣдніе остатки прошлаго урожая. Сельское населеніе голодающихъ мѣстностей у насъ теперь больше, чѣмъ все сельское населеніе Италіи (25 милл.) и Франціи (23 милл.) и приблизительно равняется всему сельскому населенію Германіи (28½ милл.).

И тѣмъ не менѣе теперешній неурожай не принадлежитъ къ числу самыхъ сильныхъ неурожаевъ, постигающихъ Россію. Въ газетахъ сплошь и рядомъ теперешній неурожай сравнивали съ голодомъ 1891 года. Въ концѣ концовъ, это сравненіе стало прямо господствующимъ и, читая газеты, можно было подумать, что въ теченіе 20 лѣтъ не было голодовокъ, подобныхъ теперешней, и только послѣ 20-лѣтняго перерыва, Россію постигло такое же исключительное бѣдствіе, какое было въ 1891 году. Но это представленіе было бы совершенно ошибочнымъ. Съ одной стороны теперешній неурожай не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ неурожаемъ 1891 года, съ другой, послѣ 1891-го года было 3 неурожая, охватывавшихъ каждый значительно большее пространство, чѣмъ теперешній.

Въ 1891 году сильнѣйшимъ неурожаемъ была постигнута почти вся черноземная часть Евр. Россіи, тогда какъ теперь неурожай захватилъ только восточныя губерніи. Для всей Россіи урожай получился теперь близкій къ среднему—благодаря высокому урожаю въ центрѣ, на западѣ и югѣ Россіи,—между

тѣмъ, въ 1891 году въ 50 губ. Евр. Россіи чистый сборъ на 1 дес. былъ на 31% ниже средняго (за 1883—1890 г.г.), въ 1897 г. въ 72 губ. Евр. и Азіатской Россіи чистый сборъ на дес. былъ на 22%, въ 1901 и 1906 г. на 20% ниже средняго (за 1893—1908 г.г.). При этомъ не только въ 1891 году,—но и въ 1906 г. неурожай въ той же восточной Россіи и по интенсивности далеко превосходилъ теперешній. По расчетамъ Коковцева, какъ мы видѣли, въ 8 наиболѣе пострадавшихъ губерніяхъ было собрано въ истекшемъ году 37% нормальнаго сбора, а въ 1906 году въ 8 приволжскихъ губерніяхъ (Средневолжскій и Нижневолжскій районы) чистый сборъ зерна на десятину составлялъ только 18% средняго за 16 лѣтъ (1893—1908 г.г.).

И тѣмъ не менѣе—поразительное явленіе—въ 1906 году газеты не пестрѣли сравненіями съ 1891 годомъ, подобно тому, какъ это было въ прошломъ году; неурожай 1906 года, гораздо болѣе значительный и по интенсивности и по распространенности, обратилъ, въ общемъ, на себя какъ-то гораздо меньше вниманія, чѣмъ неурожай 1911 года.

Очевидно и въ 1891 и въ 1911 году были какія-то общія причины, вызывавшія одинаковую реакцію общества на постигавшую Россію голодовку, и эти причины не дѣйствовали или были парализованы въ 1906 году. И мы легко поймемъ эти причины, когда посмотримъ на постигающія Россію голодовки, какъ на соціальное явленіе. Такъ именно посмотрѣла интеллигентная Россія на голодъ, разразившійся въ 1891 году. Колебаніе климатическихъ условій

во всѣхъ странахъ даетъ отъ года къ году очень различные урожаи. Но страшный голодъ 1891 года, разразившійся во всей черноземной полосѣ Европейской Россіи, заставилъ даже слѣпыхъ увидѣть, что дѣло тутъ не только въ климатическихъ условіяхъ. Колебанія климатическихъ условій наблюдаются вездѣ, но нигдѣ въ Западной Европѣ онѣ не даютъ уже давно такихъ страшныхъ результатовъ, какъ даютъ отъ времени до времени у насъ. 1891 годъ побилъ рекордъ даже среди нашихъ неурожайныхъ лѣтъ и поэтому съ поразительной ясностью обнажилъ социальную природу голодовокъ въ Россію. Неудивительно, поэтому, что голодъ этого года подалъ сигналъ къ общественной тревогѣ и общественному возбужденію и 1891 годъ сталъ поворотнымъ пунктомъ отъ спячки и застоя 80-хъ г.г. къ новому общественному движенію. Это общественное движеніе, постепенно нарастая, привело въ концѣ концовъ къ общественному кризису 1905 года.

На знамени общественного движенія 1905—1906 гг. было въ числѣ основныхъ, руководящихъ лозунговъ, — земля для народа, болѣе или менѣе радикальное рѣшеніе аграрнаго вопроса. Рѣшеніе этого основнаго вопроса русской жизни должно было уничтожить періодическія голодовки въ Россіи. Голодъ 1906 напоминалъ, что этотъ основной нашъ вопросъ еще не рѣшенъ, но надежда на его близкое рѣшеніе тогда еще не изсякла. 1906 годъ былъ переходнымъ годомъ, годомъ, когда реакція фактически брала реваншъ, но когда положеніе общественного движенія еще

оставалось неяснымъ. Въ настроеніи интеллигенціи поэтому тогда не было и не могло быть ничего общаго съ настроеніемъ ея въ 1891 году. Голоду 1906 года не нужно было разгонять апатію общества, вниманіе всѣхъ живыхъ силъ страны тогда и такъ было устремлено въ сторону политическаго и социальнаго обновленія Россіи. И поэтому голодъ 1906 года не будилъ въ массѣ интеллигенціи никакихъ воспоминаній о 1891 годѣ. Другое дѣло — голодъ, разразившійся въ 1911 году. Онъ далеко уступалъ, какъ мы видѣли, голоду 1906 года, хотя въ восточныхъ губерніяхъ и отличался большой интенсивностью, но онъ разразился не во время еще продолжавшагося общественнаго движенія, а послѣ 4 лѣтъ безраздѣльнаго господства реакціи, въ періодъ апатіи и пониженной жизнедѣтельности общества. Въ этомъ его сходство съ голодомъ 1891 года.

Врѣзавшись подобно голоду 1891 г. въ тѣму установившейся реакціи, онъ снова рѣзко напомнилъ объ отсталости Россіи, о нерѣшенной задачѣ ея политическаго и социальнаго обновленія.

Голодающая крестьянская масса, конечно, не можетъ ждать наступленія этого обновленія Россіи. Она нуждается сейчасъ въ поддержкѣ и помощи. И поэтому естественны общественныя усилія въ этомъ направленіи. Но въ концѣ концовъ онѣ даютъ такъ мало, а голодовки въ то же время у насъ настолько частое явленіе, что реагировать на теперешній голодъ необходимо рѣзкой постановкой вопроса о причинахъ голодовки и объ ихъ устраненіи.

Почему происходятъ у насъ голодовки, которыхъ не знаетъ Западная Европа? Потому что средній сборъ хлѣбовъ съ десятины у насъ чрезвычайно низокъ и въ то же время урожаи колеблются вокругъ этого средняго уровня гораздо болѣе рѣзко, чѣмъ они колеблются въ другихъ странахъ. И низкій средній уровень урожая въ и рѣзкія колебанія ихъ связаны съ низкой и въ то же время нерациональной сельско-хозяйственной культурой.

Насколько низокъ у насъ средній уровень урожая, покажетъ слѣдующее сравненіе съ Германіей. Въ 8-лѣтіе 1901—1908 гг. валовой сборъ зерна съ десятины въ Германіи равнялся 115,7 пуда, а у насъ въ 50 губ. Евр. Россіи только 44,1 пуда, или чуть не въ три раза ниже. Но если мы возьмемъ теперешніе голодающіе районы, то получимъ тамъ еще болѣе низкіе урожаи; 44,1 пуда валоваго сбора на дес. для 50 губ. Евр. Россіи означаетъ 35,6 чистаго сбора (безъ сѣмянъ). А въ Приуральскомъ районѣ чистый сборъ зерна на дес. въ 1901—1908 гг. равенъ былъ 33,5 п., въ Средневолжскомъ—29,6 п., въ Нижневолжскомъ—22,6 п.

Но можетъ быть, низкій сборъ на дес. означаетъ высокій сборъ на душу населенія? Соед. Штаты Сѣв. Америки даютъ напр. меньшую урожайность, чѣмъ Германія, но производительность труда въ нихъ выше. Можетъ быть, то же наблюдается и въ Россіи? Вѣдь вывозитъ же Россія хлѣбъ въ Германію, и хлѣбъ ся болѣе дешевъ, чѣмъ туземный. Нѣтъ, за дорогимъ хлѣбомъ Германіи скрывается

не болѣе низкая производительность въ ней земледѣльческаго труда, а высокая поземельная рента, охраняемая покровительственными пошлинами. Тогда какъ за дешевымъ русскимъ хлѣбомъ скрывается не только болѣе низкая поземельная рента, но и чрезвычайная эксплуатація государства, заставляющая земледѣльческую Россію выбрасывать на заграничные рынки хлѣбъ, который нуженъ ей самой.

Средній валовой сборъ зерна въ Россіи въ 1901—1908 гг. равнялся 3.047.395,7 пуд. Для его на сельское населеніе 1908 г. получимъ на душу нас. 30 пуд. Въ Германіи же средній сборъ зерна равнялся въ 1901—1908 гг. 1.495.206 пуд.; для его на сельское населеніе за 1907 г. \*) получимъ на душу населенія 55 пудовъ, или почти въ 2 раза больше. Разница получится еще больше, если мы примемъ во вниманіе другія сельско-хозяйственныя растенія, т. к. напр., картофеля, при гораздо меньшей численности сельскаго населенія, производится въ Германіи гораздо больше, чѣмъ въ Россіи. Точно также Германія относительно къ населенію гораздо богаче скотомъ.

Итакъ, низкій сборъ на десятину въ Россіи означаетъ и низкій сборъ на душу населенія. Происходитъ это потому, что въ деревнѣ у насъ масса излишняго, при данной системѣ хозяйства, рабочаго населенія. Чрезмѣрная эксплуатація государства тормозила развитіе производительныхъ

\*) Я беру все сельское населеніе, а не только земледѣльческое, чтобы сдѣлать цифру Германіи сравнимой съ цифрой, полученной для Россіи.



силъ въ земледѣліи и мѣшала развитію внутренняго рынка для нашей промышленности. Промышленность развивалась слабо и излишнія рабочія руки въ деревнѣ не находили себѣ поэтому примѣненія въ городѣ. Они оставались въ деревнѣ и земля, какъ общинная, такъ и помѣщичья все болѣе мелкими кусками расхватывалась растущимъ земледѣльческимъ населеніемъ. При большомъ накопленіи рабочихъ силъ въ деревнѣ могла бы быть чрезвычайно выгодна интенсификація земледѣлія. Но руки коротки! Растущее обѣднѣніе крестьянства ставитъ непреодолимые препятствія для поднятія селѣско-хозяйственной культуры. И дѣйствительно, данныя объ урожайности за 6 лѣтъ 1903—1908 г.г. говорятъ о томъ, что средняя урожайность въ Россіи не повышается. Она повышается въ нѣкоторыхъ районахъ, гдѣ господствуетъ крупное хозяйство, но это повышение уравнивается паденіемъ ея въ другихъ районахъ.

Но низкая селѣско-хозяйственная культура, господствующая въ Россіи, является въ то же время и нераціональной. При ней волей и усиліями чело-вѣка не поддерживается равновѣсіе между элементами плодородія, которые берутся изъ земли, и элементами, возвращаемыми въ нее. Это равновѣсіе напротивъ нарушается нераціональной культурой, и самой природѣ приходится стихійно его восстанавливать. Благопріятныя климатическія условія, давая высокій урожай, приводятъ къ быстрому усиленному потребленію элементовъ плодородія, чрезмѣрно истощая почву, и тѣмъ прокладывая путь голодному году.

Въ результатѣ при наступленіи менѣе благопріятныхъ климатическихъ условій, къ ихъ дѣйствию присоединяется еще дѣйствіе чрезмѣрнаго истощенія почвы, вызваннаго высокимъ урожаемъ. И урожай поэтому падаетъ ниже, чѣмъ съ палъ бы отъ одного дѣйствія менѣе благопріятныхъ климатическихъ условій. Зато почва отдыхаетъ при этомъ сильнымъ паденіемъ урожая и природа стихійно поправляетъ то, что портитъ дѣятельность чело-вѣка: отдохнувшая почва дѣлается способной снова къ высокому урожаю. Но за эти услуги природы чело-вѣку приходится испытывать на себѣ тяжелое дѣйствіе болѣе рѣзкихъ колебаній урожайности. Насколько значительно усиливаетъ нераціональная постановка хозяйства колебаніе урожаевъ, покажетъ опять сравненіе съ Германіей. За 8-лѣтіе 1901—1908 г.г. самый низкій валовой сборъ на дес. былъ ниже средняго за этотъ періодъ въ Германіи на 11,3%, а въ Европ. Россіи (50 губ.) на 21,1%. Но если мы возьмемъ наиболѣе отсталые въ земледѣльческомъ отношеніи районы, то получимъ еще болѣе рѣзкія паденія урожаевъ, чѣмъ въ среднемъ по Россіи. Самый низкій чистый сборъ на дес. былъ ниже средняго въ періодъ 1901—1908 г.г. — во всей Евр. Россіи на 25%, въ центрально же земледѣльческомъ районѣ на 36,1%, приуральскимъ на 48,1%, средневолжскомъ на 79,9%, въ нижневолжскомъ на 80,3%.

Три послѣдніе района съ наиболѣе рѣзкимъ паденіемъ урожаевъ являются какъ разъ самыми главными центрами теперешней голодовки.

И такъ, ненормальныя общія условія

при которыхъ приходится развиваться нашей деревнѣ, затрудняютъ до послѣдней степени поднятіе сельско-хозяйственной культуры и рационализацию земледѣлія; нераціональное же хозяйничанье крестьянъ на землѣ связано не только съ крайне низкимъ среднимъ сборомъ хлѣбовъ на десят. и на душу населенія, но и съ такими рѣзкими отклоненіями отъ средняго уровня, какихъ не знаетъ рациональная культура. Въ итогѣ, напр., въ голодный 1906 годъ въ Нижневолжскомъ и Средневолжскомъ районахъ приходилось всего по 5 съ небольшимъ пудовъ зерна на душу сельскаго населенія, когда самой минимальной потребительной нормой считается 20 пуд. на душу. Рѣзкія колебанія урожаевъ при низкомъ ихъ среднемъ уровнѣ являются такимъ образомъ, съ одной стороны яркимъ признакомъ экономической отсталости Россіи, а съ другой основой для періодическихъ голодовокъ массы крестьянства.

Голодовки оставляютъ глубокой слѣдъ послѣ себя. Онѣ не только физически расшатываютъ массу населенія, повышая заболѣваемость и смертность, но онѣ расшатываютъ и хозяйство крестьянъ.

Съ трудомъ загнѣвъ въ теченіе ряда лѣтъ крестьяне оправляются отъ послѣдствій сильной голодовки съ тѣмъ чтобы очутиться въ заключеніе лицомъ къ лицу съ новой голодовкой, которая снова ставитъ на карту все ихъ экономическое положеніе. Но не проходитъ голодовка крестьянъ безслѣдно и для города. Спросъ на мануфактуру, на сельско-хозяйственныя орудія понижается, и промышленность, если ей не помогаютъ какія нибудь другія чрезвычайныя условія, чувствуетъ на себѣ гнетущее вліяніе ослабленія внутренняго рынка. Это гнетущее вліяніе голода въ восточной Россіи какъ разъ испытываетъ на себѣ въ настоящее время текстильная промышленность. И предъ лицомъ этихъ повторяющихся фактовъ русской дѣйствительности всѣ производительные слои населенія должно объединить стремленіе посчитаться наконецъ серьезно съ тѣми общими условіями, которыя каждые 4—5 лѣтъ миллионы людей подвергаютъ опасности голодной смерти, а въ общей экономической жизни страны производятъ серьезныя потрясенія.

Н. Череванинъ.

## ОТКЛИКИ РУССКОЙ ЖИЗНИ.

### Темныя деньги.

Судьба сыграла обидную шутку надъ „націонализацией кредита“. Чиновники канцеляріи совѣта министровъ,—тѣ самые, что выдвинулись при П. А. Столыпинѣ благодаря умѣлому систематизированію газетныхъ вырѣзокъ изъ черносотенныхъ газетъ,—составили еще въ августѣ и сдали въ наборъ «трудъ». «Трудъ» неопровержимо доказывалъ, что во главѣ нашего кредита вообще, банковскихъ учреждений въ особенности, стоятъ евреи. Въ евреи зачисленъ былъ П. Л. Баркъ, а В. Н. Коковцевъ, если не въ явные, то тайные покровители еврейства. И вотъ въ ту минуту, когда націоналистическое усердіе уже должно быть вознаграждено, согласно всей важности исполненной миссіи, П. Л. Баркъ назначается товарищемъ министра торговли, а В. Н. Коковцевъ—главою совѣта министровъ.

Какъ будто анекдотъ, а не фактъ. Однако,—справедливость требуетъ сказать—послѣдствія его не такъ убыточны для самой „идеи русской“, какъ для авторовъ ея. Если дѣйствительно вѣрно, что „русская“ идея сама себѣ пролагала дорогу, то съ извѣстной точки зрѣнія можно сказать, что черезъ всю русскую исторію проходитъ именно не что иное, какъ процессъ „націонали-

зации кредита“. Онъ мѣняетъ свои формы, приспосаблиется къ духу времени, то болѣе грубому, то болѣе утонченному, какъ мѣняетъ свой обликъ группа, изъ среды которой брались и берутся „національные герои“; но, въ общемъ, казенный сундукъ изстари гостепріимно для нея открыть,—такъ же точно, какъ Государственный банкъ. Въ самомъ дѣлѣ—по выраженію И. Х. Озерова — здѣсь игорный клубъ, куда стекаются авантюристы со всей Россіи съ самыми разнообразными приемами игры.

Передъ нами прошли уже вереницы взяточниковъ, крупныхъ и мелкихъ, разоблаченныхъ судебными процессами. Теперь же передъ нами проходятъ разоблаченія за разоблаченіями въ области еще болѣе „темной“,—и ревизіи хотя здѣсь не быть, но все уже и безъ ревизіи „разъяснили“.

Мы говоримъ о т. н. „темныхъ деньгахъ“.

Чѣмъ отличаются „темныя деньги“ отъ взятки? Это --- деньги „интимныя“. Если правда, что деньги пахнутъ, каждая по своему, то темныя деньги пахнутъ грязнымъ аферизмомъ подъ флагомъ политики. Ихъ назначеніе—обуздать инакомыслящихъ, такъ или иначе склонить ихъ передъ властью. Въ ру-

какъ власти, не мало матеріальныхъ нитей и дворянства, и буржуазіи, и уже въ силу этого режимъ держать въ своихъ рукахъ не только представителей бѣлой кости, но и чумазаго; ни для кого не тайна, какъ самостоятельныя и вліятельныя группы нашихъ господствующихъ классовъ превращаются въ покорныя, какъ рабскій страхъ передъ рукой, могущей больно ударить по карману, диктуетъ угодливость и льстивость. Но обдѣлываніе разныхъ дѣлъ съ помощью политики имѣетъ и специфическій характеръ; настоящая профессія изъ выпрашиванія пособій и субсидій этого рода создана особымъ сортомъ людей—и объ этихъ именно людяхъ мы и говоримъ.

Вотъ какъ опредѣляетъ ее компетентный въ вопросѣ „Колоколъ“:

... „какъ“ темныя деньги“ классифицируется субсидія изъ казенныхъ суммъ монархическимъ организаціямъ на матеріальные раходы по борьбѣ съ агитаціей лѣвыхъ партій. Лѣвыя партіи борются противъ правительства. Въ свою очередь, и правительство, если хочетъ бороться съ революціонными партіями, не можетъ ограничиваться только полицейскими мѣрами. Оно должно дѣйствовать черезъ посредство той же устной и печатной пропаганды. т. е. основывать печатные органы, обличающіе революціонныя бредни, распространять литературу, парализующую развитіе революціонныхъ идей и помогать устройству лекцій, разъясняющихъ населенію революціонный обманъ“.

Для этого-то типа людей были созданы рычаги, нажимая на которые—люди, вліятельные и невліятельные въ правыхъ организаціяхъ, могли извлекать средства на разнообразныя операціи. Даже явнымъ злоупотребленіямъ придается характеръ законный, ибо всѣ просятъ суб-

сидіи, всѣ обращаются за помощью куда слѣдуетъ; данныя разъ субсидіи вызываютъ другія, и это въ такой степени ослабляетъ задерживающіе центры, что руки сами тянутся къ сундуку.

Но бѣда та, о которой писалъ какъ-то кн. Мещерскій. Бѣда въ томъ, что въ національные-то герои эти „полѣзли люди, ничего общаго съ любовью къ родинѣ не имѣющіе, разные гешефтмахеры и, съ позволенія сказать, проходимцы“, которые „пользуются милостивымъ вниманіемъ и, благодаря этому, не брезгаютъ подчасъ и грязными дѣлишками“, имѣя свободный доступъ во всѣ министерства и даже къ инымъ министрамъ, „подсываютъ своихъ протеже въ разныя вѣдомства“, „принимаютъ на себя за приличную мзду хлопоты, напримѣръ, о разрѣшеніи новой линіи желѣзной дороги, особливо когда она невыгодна для казны“. Есть члены Думы изъ націоналистовъ, которые прямо и открыто торгуютъ разными гешефтами и комиссіями.

Итакъ, „темныя деньги“ — продуктъ нашей россійской „общественности“. Но въ основѣ ихъ прежде всего — темныя дѣла. Политическая благонадежность на почвѣ раздачи матеріальныхъ благъ и раздача матеріальныхъ благъ на почвѣ политическаго прислужничества — вотъ основа. Патріотизмъ и гешефтъ, политика и приличная за хлопоты мзда—все это сплетено, и „патріота“ отъ ходатая по дѣламъ отличаешь развѣ до тѣхъ поръ, пока какой нибудь случай, сбивъ національную вывѣску съ данной національной лавочки, не освѣтитъ грязную аферу изнутри.

Бюрократія, выращивавшая эту болѣзнь

до „успокоенія“, была увѣрена, что она каждую минуту въ состояніи ее локализовать. Однако, „темныя деньги“ подтачиваютъ корни „патріотизма“ все болѣе и болѣе. Кто не знаетъ, какое значеніе у насъ приобрѣли личное вліяніе, личная связь, прикрытая политикой, именно послѣ „успокоенія“. Недаромъ, вопреки всѣмъ рогаткамъ за „темныя деньги“ принялись съ такой же ретивостью, какъ до нихъ заденьги „интендантскія“

Воспользуемся же этими разоблаченіями, чтобы дать по нимъ конкретную картину.

Еще недавно упоминаніе объ этихъ деньгахъ заставляло инициаторовъ „русской идеи“ если не краснѣть, то потуплять глаза. Когда годъ тому назадъ Никольскій заявилъ, что Восторговъ подмѣнилъ чудотворную икону, о. І. Восторговъ молчалъ. Пуришкевича публично обвиняли въ тяжкихъ грѣхахъ, — и онъ молчалъ. Но вотъ вдругъ загорѣлась ненависть, отъ ненависти перешли къ брани и отъ простыхъ и увѣсистыхъ пощечинъ родилась истина: „темныя“ деньги стали „бытовымъ явленіемъ“.

Истина, конечно, односторонняя. Рыцари лишь предостерегаютъ другъ друга якобы поддержкѣ властью „скомпрометированныхъ, опозоренныхъ всенародно разрушителей русскаго праваго дѣла“. Такъ, редакція „Русскаго Знамени“ „отъ всей души“ выразила пожеланіе, чтобы снабженіе главарей „главнаго совѣта“ темными деньгами было, наконецъ, прекращено“, направлено въ ту сторону, гдѣ нѣтъ „тунеядства и провокаціи“. Главный же совѣтъ разсуждаетъ наоборотъ.

Онъ грозитъ предсѣдателю совѣта министровъ прекращеніемъ своихъ изданій, если субсидіи не будутъ возобновлены.

Допустимъ, вопросъ не въ деньгахъ. Что значить въ Россіи десятки тысячъ или даже милліоны на помощь патріотамъ, когда—по словамъ Баяна—одни наши интенданты обворовываютъ казну ежегодно на 30 милліоновъ! Въ чьи же карманы притекали эти деньги?

Вы чьи карманы и изъ какихъ источниковъ шли? Конечно, въ бѣлыя руки и изъ бѣлыхъ рукъ. Бѣлыя руки даже сами катятъ снѣжный комъ своихъ разоблаченій. Вотъ:

Г. Петровъ въ „Голосѣ Москвы“ рассказалъ исторію „денегъ“ Бориса Никольскаго. Ихъ было 50.000—кругленькая сумма. И попала она къ нему еще отъ предшественника покойнаго Столыпина—И. Л. Горемыкина. Епископъ Никонъ въ Даниловскомъ монастырѣ въ одинъ изъ іюньскихъ вечеровъ передалъ эти деньги Борису Никольскому. Г. Петровъ зоветъ въ свидѣтели еп. Никона. „Пусть даже одинъ епископъ Никонъ, но съ упоминаніемъ, что онъ свидѣтельствуется архіепископской и монашеской совѣстью, заявитъ въ печати, что онъ отъ И. Л. Горемыкина Никольскому 50.000 руб. не передавалъ—и этого довольно будетъ. „Зная епископа Никона, г. Петровъ „напередъ“ увѣренъ, что такого опроверженія не напечатаетъ епископъ, архіерейской совѣсти не нарушить.“

Однако, П. А. Столыпинъ уже „не пускалъ къ себѣ на порогъ“ Никольскаго. Между тѣмъ, „если не дадутъ

больше денег Никольскому, то кто-нибудь вмѣсто него получаетъ деньги“. „Кто же этотъ другой?“ Ломать голову и здѣсь не приходится. Одинъ изъ дубровинцевъ сообщаетъ, что деньги шли отъ Столыпина Пуришкевичу, такъ какъ „Столыпину удалось купить крупные литературные таланты“. Были куплены „Колоколь“, „Земщина“, „Московскіе Вѣдомости“. Былъ купленъ и „Прямой Путь“. Правда, иногда и въ „Прямомъ Пути“ появлялись карикатуры на Столыпина, сидящаго на трехногомъ стулѣ съ надписью „конституція“, — пишетъ дубровинецъ. — Но кто же не знаетъ, что Пуришкевичъ самъ отвозилъ ее на цензуру и получалъ высокомилостивое разрѣшеніе? Недаромъ всезнайки жиловскія писали про карикатуры: съ подписью „старого воробья на мякинѣ не обманешь“. Когда же темныя деньги задерживались, тотъ же Пуришкевичъ выступалъ подобно Маркову, громившему правительство за выступленіе на революціонный путь „послѣ отказа отъ субсидіи“.

Въ свою очередь, Пуришкевичъ поссорился съ Дубровинымъ. Забывъ о себѣ, онъ вывелъ на чистую воду и бывшаго председателя главнаго совѣта. Еще наканунѣ разоблаченія дубровинецъ рассказывалъ: „вызываетъ меня г. Пуришкевичъ къ телефону. Подхожу. Не здороваясь, начинаетъ говорить:

— У меня въ рукахъ имѣются росписки ваши съ Дубровинымъ въ полученіи денегъ изъ темнаго источника. Передайте вы ему и сами примите во вниманіе, что я ихъ могу опубликовать, если вы...

— Сдѣлайте одолженіе, — отвѣчаю.

— ...не перестанете упоминать про темныя деньги, — и начинается площадная ругань“.

Наругался досыта, „сдѣлалъ и одолженіе“: напечаталъ въ „Прямомъ Пути“ фотографическіе снимки съ расписокъ А. И. Дубровина и его жены на 37.000 руб на разныя нужды союза и за наемъ помѣщенія въ его же домѣ. Съ свойственной ему откровенностью Пуришкевичъ даже открылъ, гдѣ хранились на текущемъ счету эти деньги. Онъ представилъ такого рода росписку: „отъ В. М. Пуришкевича получилъ чекъ конторы Алфѣрова на сумму 34.000 руб., 2.000 рублей на уплату по контрактамъ чайныхъ и 1.000 руб. на расходы, а всего на 37.000 руб. А. И. Дубровинъ“. Теперь самъ Дубровинъ заявляетъ, что этихъ расписокъ въ полученіи отъ Пуришкевича денегъ онъ „никогда не скрывалъ“. Но по его же увѣренію „деньги эти не были собраны пожертвованіями, а носили характеръ темныхъ“. Значитъ, онъ же первый руку приложилъ.

Даже не разъ... И. Восторговъ вспоминаетъ рѣчь Дубровина на одномъ монархическомъ собраніи въ Москвѣ въ 1907 г. Когда Дубровинъ заговорилъ о блокѣ правыхъ съ октябристами, „изъ рядовъ раздался гнѣвный возгласъ покойнаго М. О. Пегелау: „сколько дадено?“

Конечно, это еще не значитъ, что и прот. И. Восторгова вспомнить некому. Вотъ что пишетъ про него на столбцахъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ г. Дурново: „Кто же не знаетъ, что великій умомъ“ по словамъ „Новаго Времени“ покойный П. А. Столыпинъ былъ чуть

не въ рукахъ извѣстнаго о. Восторгова, который повелѣвалъ синодомъ и ревизовалъ въ продолженіе пяти лѣтъ Сибирь, Туркестанъ, распоряжался грузинскимъ экзархатомъ, назначалъ и смѣнялъ епископовъ, на деньги изъ секретнаго фонда издавалъ газеты и журналы, которые вскорѣ закрывалъ". По словамъ г. Дурново, черезъ руки Восторгова такимъ путемъ прошли сотни тысячъ. Самъ А. Столыпинъ, оказывается, опороченъ „многимъ нечистоплотнымъ, которое онъ себѣ разрѣшилъ за время премьерства брата". Близится время, — пишетъ кн. Мещерскій, — когда „г. А. Столыпину очень понадобится даже солидная доля снисходительности въ тѣхъ, которые будутъ знакомиться съ разоблаченіями въ печати подвиговъ его во время премьерства его брата".

Такимъ образомъ, покойный премьеръ былъ скупъ на негласные расходы вообще, но не въ той области, о которой идетъ рѣчь. То же относится къ г. Крыжановскому, поскольку намъ извѣстно изъ показаній бывшего московскаго градоначальника.

Впрочемъ — нельзя не отмѣтить, — деньги иногда попадаютъ въ не-истиннобѣлые руки. Образчикомъ того, что въ этихъ случаяхъ выходитъ, является полемика двухъ экс-министровъ, завязавшаяся недавно по дѣлу о „темныхъ" 30,000 руб., переданныхъ въ свое время В. И. Тимирязевымъ Матюшенскому на которую откликнулся и самъ герой. По словамъ С. Ю. Витте, г. Тимирязевъ, выдавая Матюшенскому деньги и безъ его вѣдома, и безъ вѣдома министра внутреннихъ дѣлъ, „дѣйствовалъ

какъ добровольный покровитель кучки рабочихъ", а г. Матюшенскій иллюстрируетъ, что сей сонъ значитъ, подробностями. Выдавъ ему 7 тыс. на возстановленіе гапоновскихъ отдѣловъ, г. Тимирязевъ заявилъ ему, что у него имѣются еще 23.000, которые онъ и предлагаетъ ему „на организацию успоксенія".

Дѣло въ томъ, что въ то время еще преслсвутый Ушаковъ предлагалъ министру „организовать пропаганду мира и успоксенія", но подходящимъ для этой роли министр считалъ его, г. Матюшенскаго, а не Ушакова. И вотъ предложеніе 23.000 и не нуждающійся въ комментаріяхъ діалогъ:

— Значить, у васъ это уже рѣшено?

— Д-да... нужно же дѣлать что нибудь. Деньги эти даются въ ваше распоряженіе и никакого отчета я отъ васъ не требую. — Это буквальные его слова. Тутъ же онъ мнѣ сказалъ точную сумму, какой онъ располагаетъ на агитацію, и какъ получилась эта сумма.

— Но въ такомъ случаѣ всѣ эти деньги имѣютъ опредѣленное назначеніе?...—спросилъ я его.

— Нѣтъ, остальные 23 тысячи остались въ нашемъ распоряженіи. Мы имъ можемъ дать любое назначеніе, не выходя только сферы рабочаго движенія. Агитация среди рабочихъ не выходитъ изъ этой сферы" („Рѣчь").

Чтобы взвѣсить по достоинству споръ о „темныхъ" деньгахъ, — споръ двухъ экс-министровъ, — изъ которыхъ одинъ „принималъ у себя Гапона, тайно пріѣзжавшаго въ Петербургъ черезъ Финляндію послѣ того, какъ онъ былъ удаленъ изъ Россіи", — нужно принять во вниманіе, что дѣйствующимъ лицомъ, здѣсь былъ и Мануиловъ-Манусевичъ. (тоже уже разоблаченная нововременская

Маска) — за Маской была озерковская драма, Азефъ и т. д.

Выясненіе истины оборвалось на полусловѣ; многое въ этой исторіи остается загадочнымъ и послѣ писемъ экстремистовъ и „Записокъ“ Матюшенскаго. Однако, не можетъ быть сомнѣнія: точка надъ і поставлена.

И здѣсь, какъ выше, дѣло идетъ о деньгахъ, которыя „законной“ субсидіей можно признать въ такой же мѣрѣ, какъ деньги Рейнбота на выборную кампанію.

Это—деньги, по отношенію къ которымъ не имѣетъ значенія, выданы онѣ подъ расписку или безъ расписки, ибо ни въ какомъ законѣ онѣ не предусмотрены. Какъ бы вы ни анализировали государственную роспись, какъ бы ни вникали въ думскую бюджетную работу, на эти деньги не натолкнетесь. Онѣ проскакиваютъ мимо контроля, такъ какъ у контроля руки коротки для нихъ, какъ бы высоко ни было положеніе контролера. Въ странѣ сколько-нибудь нормальнаго финансоваго порядка первое такое „ассигнованіе“ вызвало бы осложненія, которыя отбили бы всякую охоту къ нимъ. У насъ же—„спеціальное назначеніе“. На нихъ точно написано у насъ: „посмотрите, вотъ красный призракъ, каждую минуту готовый нарушить покой. Мы, только мы можемъ все погасить, мы охранимъ васъ“. И этого достаточно, чтобы онѣ не нуждались въ отчетѣ. Если разнится одинъ случай отъ другого то, развѣ въ суммѣ, но не въ приемахъ.

„Темныя деньги“ акклиматизировались даже въ земствѣ. По крайней мѣрѣ, Марковъ 2-ой связалъ ихъ, посредствомъ субсидіи „Курской Были“, издателемъ

которой онъ состоялъ, съ земствомъ. Уже нѣсколько лѣтъ курское губернское земство отпускало по 12.000 въ годъ на изданіе черносотеннаго листка. Но до сихъ поръ все же отпускались они, по крайней мѣрѣ формально, на „Вѣстникъ Земства“. Теперь же „Вѣстника“ уже не существуетъ, а 12.000 все-таки въ смѣту вносятся. Когда двое гласныхъ на собраніи запротестовали, то со стороны земцевъ новой формациі посыпались реплики такого рода:

— По вполне понятнымъ соображеніямъ, — изрекъ одинъ, — субсидію на „Курскую Быль“ надо считать безотчетной. Всѣмъ хорошо извѣстно, что безъ субсидіи, общественной или правительственной, правая газета существовать не можетъ. Газета существуетъ—какое же мы имѣемъ право требовать отчета?— И разъ Николай Евгеньевичъ сказалъ, что надо 12.000, то ясно, что надо выдать 12.000.

Самъ предсѣдатель губернской управы утѣшается тѣмъ, что управа можетъ представить отчетъ лишь въ томъ случаѣ, если его представить Николай Евгеньевичъ.

— Конечно, Марковъ можетъ представить отчетъ и не представить. Это его право. Если онъ захочетъ, то представить. А если не захочетъ, не представить.

Контроль, созданъ для того, чтобы ловить мелкую рыбешку, а не крупную.

Взятка имѣла и имѣетъ хоть одно „оправданіе“ въ условіяхъ своеобразной російской законности: она, подчасъ выручаетъ и обывателя-россіянина, подавленнаго „всею строгостью закона“, хоть путемъ обхода, но получающаго



льготу. Если принципиальная оцѣнка нашего лихоимства не нуждается въ обоснованіи, то, право, въ условіяхъ быта самому проникательному наблюдателю иногда трудно сказать, когда у насъ взятка — кара, когда — милость. Протемныя же деньги и этого никакъ не скажешь. Чѣмъ ближе проникаете въ нехитрую механику политическаго прислужничества, тѣмъ все больше и больше видите примѣры циничнѣйшаго использования казеннаго идеализма въ интересахъ личныхъ дѣлъ и дѣлишекъ. Соединяя политику съ гешефтомъ, рыцари темныхъ денегъ выработали лишь формы личного обогащенія. Получивъ возможность творить свою волю, оградивъ себя съ формальной стороны, они въ понятіе о томъ, какъ расходуются народныя деньги, вложили всего три слова: ни клокъ шерсти.

Вотъ, напр., десятки тысячъ рублей, прошедшіе черезъ руки Б. Никольскаго.

Судьба денегъ, переданныхъ Борису Никольскому, извѣстна. Устроилъ при русскомъ собраніи какое-то смѣхотворное „бюро“,—по выраженію г. Петрова, т. е. пригласилъ туда дѣйцу Муротову и поручилъ ей составить брошюру изъ телеграммъ правыхъ организацій, ходатайствовавшихъ о роспускѣ государственной думы. Польза отъ сего несомнѣнна, но потрачено было всего 500 руб. Послѣ того Б. Никольскій рѣшилъ прокатиться по Волгѣ съ тѣмъ, чтобы въ губернскихъ приволжскихъ городахъ устраивать собранія правыхъ организацій съ участіемъ приглашенныхъ въ экскурсію особъ. Опять дѣло невредное, но опять таки требующее лишь сотенъ. Наконецъ, на

организацію и веденіе выборовъ въ государственную думу Никольскій пожертвовалъ отъ „неизвѣстнаго“ 3.000 р. русскому собранію. Все хорошо, но вѣдь переданы были Никольскому не сотни, а тысячи,—50 тысячъ. Куда же ушли остальные деньги? «Столыпинъ хорошо зналъ и подлежаще цѣнилъ Никольскаго — заключаетъ г. Петровъ—и не пускалъ его къ себѣ на порогъ». („Гол. Москвы“).

Изъ 30.000 р., данныхъ г. Тимирязевымъ Матюшенскому, лишь 7.000 употреблены были на организацію рабочихъ, „гарантирующую отъ увлеченія политической борьбой“,—остальные же, какъ выражается С. Ю. Витте въ своемъ письмѣ въ газету „Рѣчь“, Матюшенскій „похитилъ“. Одинъ Дубровинъ можетъ дать приблизительный отчетъ своимъ 37.000. Вотъ, что рассказываетъ бывший ссызникъ,—охранникъ въ то же время—Казакъ объ убійствѣ Караваева: Шальдо и Щеканенко взялись убить Л. А. Караваева съ тѣмъ условіемъ, что „получать за убійство Караваева отъ Александра Ивановича Дубровина каждый по 30.000 руб.“ Половина этой суммы имъ была выдана впередъ, когда уже все было условлено. Въ февралѣ же 1908 г. А. И. Дубровинъ послалъ его съ письмомъ въ Томскъ къ члену томскаго отдѣла союза русскаго народа дѣйствительному статскому совѣтнику Дурову съ тѣмъ, чтобы получить у него еще 30.000 руб.

Любое собраніе „патріотовъ“ тотчасъ превращается въ базаръ, какъ только выскочитъ вопросъ объ отчетности. Вотъ, напр.: нѣсколько человѣкъ устремляется

къ предсѣдателю, заявляющему, что онъ желаетъ отказаться отъ своего почетнаго званія:

„— Прежде чѣмъ отказаться, необходимо дать намъ отчетъ, куда дѣли наши деньги.

Аудиторія поддерживаетъ:—Да, да, необходимо дать отчетъ!—Гдѣ деньги ссудо вспомогательной кассы?—Членскіе взносы?—Вдругъ все прерывается зычнымъ крикомъ предсѣдателя:

— А что я даромъ буду съ вами возигаться? Я полкомъ командовалъ...

Или: по адресу издателя и редактора, патріотической газетки „Другъ“:

„— Ты выкрестъ, а онъ полякъ, и хотите нашими деньгами поправить свои дѣла.

— Какими деньгами? Въ кассѣ союза вѣдь ни гроша?—сердито огрызается Шафиръ.

— Какъ ни гроша? — раздается общій крикъ.—А гдѣ же деньги, которыя получилъ союзъ отъ Е. Кононовича за аренду аудиторіи?

— Ремонтъ произвели внутри аудиторіи,— заявляетъ г. Иваницкій.

— На 800 рублей ремонтъ? Да тутъ ничего не сдѣлано. Эта побѣлка стѣнъ обошлась 800 руб?“

Конечно, предсѣдатель звонитъ, призываетъ собраніе къ порядку и тѣмъ весь отчетъ конченъ.

Насколько здѣсь можетъ итти рѣчь о „членскихъ взносахъ“, видно изъ слѣдующаго. Главный совѣтъ союза русскаго народа попробовалъ какъ-то обложить членовъ союза 50-копеечнымъ членскимъ взносомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ установилъ сборъ съ cadaго союзника по 10 коп. на нужды главнаго совѣта. И что же? Даже союзники, получавшіе „по бѣдности“ пособіе или жалованье, отказались сдѣлать совершенно „незаконный“ взносъ. Конечно, главный совѣтъ, чтобы не уронить своего „авторитета“, сдѣлалъ остроумное постано-

вленіе, согласно которому каждый союзникъ, не внесшій въ кассу союза, по крайней мѣрѣ 10 коп., не можетъ рассчитывать, въ свою очередь на „помощь“, но, очевидно, суммы союзнической, расходующіяся вышеприведеннымъ образомъ, составляютъ развѣ для вида изъ жертвованій или взносовъ.

Не всѣмъ патріотамъ такъ везетъ, какъ Б. Никольскому или Маркову, въ смыслѣ непосредственной близости къ источникамъ, питающимъ патріотическій карманъ, и въ отдѣльных случаяхъ патріотамъ приходится даже запутываться.

Такъ, напр., въ типографіи курскаго губернскаго земства, гдѣ печатается издаваемая Марковымъ 2-мъ черносотенная „Курская Быль“, была обнаружена систематическая кража книгъ и брошюръ. Когда завѣдующимъ типографіей, установившимъ наблюденіе, воръ былъ, наконецъ, пойманъ, онъ оказался никѣмъ инымъ, какъ виднымъ сотрудникомъ „Курской Были“, подписывающимъ свои статьи псевдонимомъ „Баронъ Гиллесемъ“— Въ Кишиневѣ товарищъ предсѣдателя союза русскаго народа свящ. Воловей взялъ изъ городского банка 6 т. р. и, уплативъ изъ нихъ 2 тыс. руб. за стяги, проценты на капиталъ и „за какую то закуску 1500 руб.“, остальные деньги истратилъ на какія-то невѣдомыя дѣла. Выяснилось также, что вексель союза, подписанный о. Волосеемъ, на 4000 руб. уже разъ былъ учтенъ въ городскомъ банкѣ, и деньги всѣ были уплачены за стяги, „уже однажды оплаченные“ По освидѣтельствованіи довѣренности, на основаніи которой дѣйствовалъ о. Воловей, и она оказалась „недѣйстви-

тельной," о чемъ составленъ особый докладъ... общему собранію союза.

Согласитесь, даже традиціонныя гнѣзда російскихъ взяточниковъ, говорящихъ въ сознаніи исполненнаго обѣщанія, „что же вы задерживаете, мнѣ нужны деньги“ или „счетъ долженъ быть точнѣй“, оставляютъ позади этотъ „политическій“ мракъ. На какомъ-то интендантскомъ процессѣ про какого-то полковника, не бравшаго ни съ кого взятокъ, всѣ единодушно выражались такъ: „онъ былъ живымъ укоромъ для насъ, сослуживцевъ, одеревѣвшихъ, погрязшихъ въ мути алчной корысти“. Здѣсь даже такому „укуру“ не можетъ быть мѣста—безотчетность и безответственность освящены передъ алтаремъ отечества.

Мудрено ли, если даже А. Столыпинъ потерялъ вѣру въ правое дѣло и — о, ужасъ! — въ душу его закрадывается подозрѣніе, ужъ не „дадено-ли“ что-нибудь за самый этотъ развалъ. Доказывая, что какой-то злой рокъ тѣготѣтъ надъ монархистами, что къ радости лѣвыхъ идетъ полный разгромъ общаго дѣла, и, наоборотъ, подвигается „темная сила“ со всѣхъ сторонъ, онъ восклицаетъ: „и это передъ выборами! Поневолѣ начнешь вѣрить, что кто то ведетъ интригу противъ нихъ и въ послѣднемъ общемъ засѣданіи Курскаго собранія одинъ изъ присутствовавшихъ громко крикнулъ: „сколько заплатили за развалъ общаго собранія?“

Но „темныя деньги“ вѣдь символъ не только узко-политическій, а, такъ сказать, и социально-экономическій. Вѣдь патріоты изъ узкихъ рамокъ своихъ „партийныхъ“ организацій стремятся въ широкія сферы общественно-экономиче-

скаго строительства. Мы уже видимъ національныхъ героевъ на видныхъ служебныхъ постахъ. Насколько администрація нѣкоторыхъ желѣзнодорожныхъ линий въ рукахъ союзниковъ, извѣстно. То же на фабрикахъ и заводахъ, въ монастыряхъ, въ одесскомъ университетѣ. Если волна обдѣлыванія „патріотическихъ“ дѣлъ, обставленныхъ „пособіемъ“, еще могла кого-либо вводить въ обманъ, то грубая компанія открыто-карманнаго свойства, кажется, даже надѣвшаго броню патріотизма въ заблужденіе не введетъ.

Такимъ образомъ, вы видите рядъ націоналистовъ. Вотъ, напр., націонализмъ интендантскій, развитый все тѣмъ же д-ромъ Дубровинымъ на примѣрѣ интендантскихъ заказовъ.

Исходя изъ благосклонности, какую проявляютъ министры по отношенію къ союзу русскаго народа, Дубровинъ находилъ въ свое время, что прямая обязанность совѣтовъ отдѣловъ выступить съ энергичнымъ содѣйствіемъ своимъ сочленамъ „путемъ исходатайствования отдачи имъ интендантскихъ подрядовъ и поставокъ“. „Было бы крайне желательно, — писалъ онъ — чтобы отдѣлы союза повсемѣстно приступили къ предварительной подготовкѣ взятія на себя интендантскихъ подрядовъ. Они могутъ уже теперь войти въ мѣстныя окружныя интендантскія управленія съ предложеніями поставокъ или шитья изъ казеннаго матеріала: бѣлья, сапогъ мундировъ, шинелей и пр. Насколько намъ извѣстно, главный интендантъ, генераль-лейт. Шуваевъ, крайне благосклонно относится къ подобнымъ начи-

наніямъ“. „Было бы полезнымъ прислать въ редакцію „Русскаго Знамени“ сообщенія о ходѣ дѣлъ по принятію на себя исполненія подрядовъ и о тѣхъ препятствіяхъ, которыя встрѣчаются отдѣломъ на пути этого благого начинанія, выполнѣ отвѣчающаго желанію правительства, дабы своевременными сношеніями помочь преодолѣть преграды. Итакъ, дорогіе союзники, за дѣло“.

Вотъ націонализмъ строительный, проводимый екатеринославскимъ губернскимъ архитекторомъ Федоромъ Булацелемъ, роднымъ братомъ Павла Булацеля. „Я имъ, жидамъ, покажу, какъ строить дома“. Возводитъ сооруженіе можетъ лишь человѣкъ, засвидѣтельствовавшій свою любовь къ отечеству. Принявъ на себя исполненіе интендантскаго подряда, сообщилъ, что слѣдуетъ въ „Русское Знамя“ и — возводи себѣ на здоровье, что хочешь. А до того не смѣй. Оттого, гдѣ отъ Булацеля зависитъ, онъ „жидамъ“ покоя не даетъ, вгоняя ихъ въ страшные расходы. Такимъ путемъ, напр., Екатеринославъ остался безъ театра. Дѣло въ томъ, что строило его общественное собраніе, въ которомъ много евреевъ, но мало интендантовъ. Ну, хотя денегъ не жалѣли—за постройкой слѣдилъ специалистъ строитель,—но вмѣшался Булацель и постройку пріостановили. Результаты строительнаго націонализма сказались, впрочемъ, быстро. Дѣло въ томъ, что одновременно Булацель перестраивалъ старый уже имѣющійся въ Екатеринославѣ театръ; онъ не пускалъ во дворъ даже полицію. И вотъ въ одно прекрасное утро тяжеловѣсная задняя бетонная стѣ-

на театра летитъ, влечетъ за собой часть кирпичной боковой стѣны и т. д.

О желѣзнодорожномъ націонализмѣ хлопочетъ Меньшиковъ. Онъ не понимаетъ, какъ это совѣтъ министровъ могъ предоставить концессию на постройку и эксплоатацію Алтайской желѣзной дороги группѣ восьми петербургскихъ банковъ „съ евреемъ Я. И. Утинымъ во главѣ“. Быть можетъ, Я. И. Утинъ, „хорошо извѣстный В. Н. Коковцеву“, и въ самомъ дѣлѣ почтенный человѣкъ, но „вѣдь на одного почтеннаго еврея опирается цѣлое колено весьма сомнительныхъ соплеменниковъ“, между тѣмъ истинно — русскій до седьмого колѣна чистъ и свѣтелъ, какъ алмазь. Не грѣхъ ли, что такое „государственное дѣло“, какъ сѣтъ при-алтайскихъ желѣзныхъ дорогъ, не попала въ „русскія“ руки!

Архимандритъ Виталій --- банковскій націоналистъ. Задача пресловутаго почтаевскаго банка, какъ извѣстно, въ томъ, чтобы и духовенство и крестьянъ волынской епархіи превратить въ членовъ союза русскаго народа. Правда, ни подъ какимъ видомъ не допускается, по существующимъ законамъ, отдача церковныхъ капиталовъ въ ростъ или въ какія-либо предпріятія, но, казалось бы, не менѣе противуестествененъ націонализмъ, такъ сказать, университетскій. Тѣмъ не менѣе образчикъ и въ этой области мы имѣемъ. Ректоръ Левашовъ придаетъ значеніе „рекомендаціямъ высокопоставленныхъ лицъ“. Еврейскіе, видите-ли, студенты оказались самымъ неспокойнымъ элементомъ; почему же четверемъ женщинамъ, опредѣлявшимъ этихъ студентовъ въ „10 случаяхъ изъ общаго

числа, стыдиться признаться, что они брали деньги и только деньги. Разъ ихъ „протекція стоитъ выше министерскихъ циркуляровъ и медалей“, то и деньги стоятъ не ниже ихъ.

Остается еще печать... Но и въ этой области русскій духъ едва ли долженъ предаваться унынію послѣ знаменитыхъ объясненій завѣдующаго городскимъ отдѣломъ къ „Новомъ Времени“ Н. В. Снѣсарева съ сенаторомъ, ревизовавшимъ книги общества „Вестингаузъ“, строителя петербургскаго трамвая, и обнаружившимъ въ нихъ страницу „Н. В. Снѣсаревъ“ со счетомъ до 26.000.

Кажется, достаточно внушительно для того, чтобы на вопросъ товарища г. Снѣсарева по газетѣ: „сколько заплатили за развалъ“, отвѣтить: вотъ сколько! Трудно представить себѣ ту дезорганизацію, ту степень разрушенія, какія вносятъ рыцари темныхъ денегъ въ захваченные ими уголки. Вѣдь здѣсь не однѣ деньги. Въ ихъ рукахъ оказываются и разнообразные результаты культурной творческой работы. И вотъ деньги кладутъ въ карманъ, а на остальное... плюютъ съ высокаго дерева патріотизма.

Л. Клейнбортъ.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

Д. Коковцевъ. Вѣчный потокъ. 2-я книга стиховъ. СПБ. 1911. Мих. Долиновъ и Ал. Конге. Плѣнные голоса. Стихи съ предисловіемъ А. А. Кондратьева. 1912. П. Лучанскій. Цвѣты души моей. СПБ. 1911. Н. Гиляровская. Стихи. Москва 1912.

Изъ названныхъ авторовъ лучше другихъ овладѣлъ стихомъ Д. Коковцевъ; въ его балладахъ есть красивыя строки („и губы вновь тянулись къ винамъ и опаляющимъ губамъ“) и цѣлыя строфы. Можно было бы счесть его однимъ изъ способнѣйшихъ учениковъ Брюсова, если бы нѣкоторые стихи („У моря“, „Элегія“ и др.) не были подражаніемъ Блоку. Одно это сочетаніе показываетъ, что Д. Коковцевъ еще не знаетъ твердыхъ путей въ своемъ ученичествѣ, тѣмъ менѣе возможно говорить о немъ, какъ о самостоятельномъ поэтѣ.

Книжка, выпущенная М. Долиновымъ и А. Конге кажется претенціозной отъ большого количества отдѣловъ и эпиграфовъ, почти всегда случайныхъ. Стихъ М. Долинова только гладокъ; въ этомъ его основной недостатокъ, и, пожалуй, единственное достоинство. Здѣсь цѣлый сплавъ вліяній отъ явнаго Бальмонта („Умирающая любовь“) до не менѣе явнаго Кузьмина („очертаніями губъ, всѣми, всѣми цѣлованными...“). Есть комическія строки („мракъ надвигается все грандіознѣе...“), комическія рѣмы (окрики—потокъ рѣки).

Стихъ А. Конге цѣннѣе и литературнѣе. Его недостатокъ—не безукоризненный русскій языкъ; онъ произноситъ чарѣвникъ, напѣенный, дѣрящій, неопѣренный; онъ думаетъ, что можно понять фразу: „будь безгнѣвна тихой плѣнности

моей". Многие стихи музыкальны, извлеченный резко намечается влияние Блока. Но в стихах А. Конге нет главного, нет волнения, нет внутреннего огня, который искрился в самых ранних, самых неудачных стихах того поэта, которому А. Конге подражает.

Если две разобранные книжки при всех своих недостатках — литературны, этого нельзя сказать о двух следующих. С удивлением узнали мы, что П. Лучанский выпускает в свет четвертую книжку. В одном из своих „афоризмов“ он указывает на разницу между „искусством“ и „только литературой“. К сожалению, его стихи — ни то, ни другое. Сам он говорит о них: „они не утомят“, и это, пожалуй, правда; они занимательны по своей развязности, многие из них украсили бы страницы Сатирикона.

У книжки Н. Гиляровской нет и этих достоинств, ее надсонические стихи просто скучны. Развлекает только „импрессионизм“ в род: „Померк хрусталь... Грусть и печаль... Версаль“...

Вас. Гиппиус.

„Аполлон“. — Литературный альманах. СПб. 1912 г. ч. 2 р.

Альманах „Аполлона“, как и выпущенный не так давно альманах „Скорпиона“, чрезвычайно характерно показывают все то, чем хронически болеет наша группа модернистов. Печать культурности, книжности, даже изысканности, знакомство с формами, идеями, с техническими ухищрениями — все это бросается в глаза в книгах

модернистов. Но не менее ясно видно во всей их литературе — безкровность, безжизненность, анемичность, существование — не подлинное, с горячей красной кровью, а какое то отвлеченное, бумажное. Все они кажутся вышедшими из реторты алхимика. То, что есть художество по существу: — мастерство изобразительное, исполненное яркости, сочности, живого движения, — совершенно отсутствует здесь. Не странно ли, в самом деле, что целый том довольно большого формата, объединяющий служителей чистого искусства и поборников свободного художества, дает нам только образцы подражательной экзотичной лирики и стилизованной прозы, прозы общей, условной, в которой смешаешь Садовского, с его стилизованными романами, с Incitatus'ом или с В. Эльснером. Одно уж то, что наши литературные группы размежевались на „модернистов“ и „реалистов“ и таким образом, первые оторвались от реализма, определяют коренной недуг писателей этой группы. В самом деле, оторвавшись от почвы, от реальности, от единственного материала настоящего художника, они и ведут свое призрачное безкровное существование. И измышляют — порой довольно — красиво вещи, вроде напечатанной в альманахе Аполлона „Самсона и Далилы“ Эльснера, в которой есть штрихи художественности, но чрезвычайно много „от литературы“, от условных, в данном случае выработанных нашими стилизаторами трафаретов. Хорошо написано в том же смысле рассказ г. Incitatus'a. Среди стихов выделяются

вещи того же Incitatus'a, пѣсня „Теремная“ Ключева и стихотвореніе М. Зенкевича „Мясные ряды“. Очень хороша поэма Ренье—„Кровь Марсіа“, переведенная М. Волошинымъ. Но все это хорошая чистая литература, среди которой не встрѣтишь ни одного могучаго удара кисти свѣжаго и живого художника.

Н. Кадминъ.

Арне Гарборгъ — „Разсказы“, *пер. Сеталъ, Москва, изд. Саблина, 1911.*

Арне Гарборгъ—„Потерянный отецъ“. М. Изд. Саблинъ, 1911 г.

Если сопоставить два названныхъ томика съ популярнымъ романомъ Арне Гарборга, составившемъ ему извѣстность — „Усталые люди“, то невольно задумаешься надъ своеобразной эволюціей міросоцерзанія, пережитой Гарборгомъ. По истинѣ, сама жизнь писателя великолѣпнѣйшій романъ, жгуче-современный, весь построенный не на событіяхъ внѣшняго характера, а на глубоко интимныхъ внутреннихъ переживанияхъ. Романъ душевной боли, кризиса интеллигентской души, весь матеріалъ которому дала изысканная городская современность, „Усталые люди“ повѣствовали о надломѣ жизненномъ, о бесплодной жадѣ живыхъ ключей, которые могли бы оживить изсыхающіе и гибнущіе души. Въ концѣ концовъ, изнервничавшіеся, болѣзненно утончившіеся, впавшіе въ душевный хаосъ и сумятицу герои Гарборга находятъ прибѣжище въ католицизмѣ; какъ усталыхъ и больныхъ дѣтей ихъ баюкаетъ тихій ритмъ католическаго богослуженія, они

жаждутъ внутренней опеки и несложныхъ простыхъ обязательствъ, только бы не быть свободными и терзаемыми внутренними противорѣчіями и исканіями. Таковъ былъ выходъ, найденный Гарборгомъ для своихъ героевъ. Но вотъ появляются на русскомъ языкѣ и другія его книжки, и мы знакомимся съ другимъ, на первый взглядъ совершенно противоположнымъ этапомъ переживаній писателя, но по существу имѣющихъ несомнѣнную внутреннюю связь съ описаннымъ. Обѣ выше названныя книги совершенно обходятъ городскую жизнь, со всѣми ея тревогами и лихорадкой душевной жизни, и касаются исключительно простой, глубокой, восхитительно свѣжей и крѣпкой жизни норвежскихъ горныхъ деревушекъ. Первая книга въ особенности пронизана восхищеніемъ передъ чистотой, несложностью и какой то внутренней оправданностью этой жизни крестьянъ, которые упорно работаютъ на своемъ каменистомъ клочкѣ земли и не нарушаютъ вѣчныхъ заповѣдей правды и труда. Но чувствуется во всей книгѣ восхищеніе горожанина, пришедшаго сюда въ тишину и свѣжесть изъ духоты и горячки города и умиливагося усталой душой. Что касается второй книги, она вся проникнута глубокой душевной усталостью человѣка, пришедшаго, наконецъ, къ постиженію внутреннихъ отношеній человѣка и міра и занятаго исключительнаго установленіемъ этихъ отношеній. Здѣсь многіе страницы, великолѣпные по искренности заставляютъ вспомнить Толстого. Безъ какой-либо беллетристической фабулы, книга эта приковываетъ вниманіе, ибо

представляет собою правдивую исповѣдь души большого, вдумчиваго и „чающаго движенія воды“ человѣка. Попытку дать русскому читателю всего Гарборга слѣдуетъ привѣтствовать.

Н. Кадминъ.

Фридрихъ Ницше. Автобіографія. (Ессе Номо). Переводъ съ нѣмецкаго оригинала, подъ ред. и съ предисл. Ю. М. Антоновскаго. Книгоизд-во „Прометей“, СПб. Стр. 8 нел. + 128. Цѣна 1 руб.

Русскому читателю Ницше мало знакома эта книга. Отрывки изъ нея появились въ „Вѣсахъ“ 1908 г., № 12, и 1909 г., № (переводъ Аврелія), а недавно вышелъ полный переводъ ея, довольно плохой и притомъ сдѣланный съ французскаго перевода, что возвращаетъ нашу литературу къ тѣмъ патріархальнымъ временамъ, когда русскіе журналы, какъ рассказываетъ Пушкинъ, печатали Байрона въ переводахъ съ польскаго... Такимъ образомъ, изданіе „Прометея“—первое русское полное изданіе „Ессе Номо“. Передана книга по-русски вполне точно и хорошо, насколько поддавался пересадкѣ горячій, вдохновенный стиль подлинника; редація принадлежитъ Ю. М. Антоновскому, давшему прекрасный и популярный переводъ „Такъ говорилъ Заратустра“. Напрасно только издательство снабдило книгу отъ себя заглавіемъ „Автобіографія“, котораго нѣтъ въ оригиналѣ. Не совсѣмъ точно, кажется намъ, переданъ подзаголовокъ: „Какъ становятся сами собою“ „Wie man wird — was man ist“ лучше было бы перевести ближе: „Какъ становятся тѣмъ, что есть“. Жаль также,

что г. Антоновскій полѣнился рассказать читателю исторію книги „Ессе Номо“.

Она вылилась изъ-подъ пера художника-философа быстро и легко, какъ назрѣвшая лирическая пьеса. Ницше началъ ее 15 октября 1888 г., а къ 4 ноября она уже была готова—подъ вѣніемъ „счастливейшаго вдохновенія“, какъ выразился самъ авторъ. Въ концѣ 1888 г. началось ея печатаніе, въ то же время Ницше заказалъ ея французскій переводъ (этой „книгой не для нѣмцевъ“ Ницше особенно рассчитывалъ оказать воздѣйствіе на Европу) Стриндбергу, но вскорѣ великій разумъ погасъ, и близкіе Ницше пріостановили опубликованіе столь „не-нѣмецкаго“ сочиненія. Кое-что изъ „Ессе Номо“ опубликовала въ біографіи Ницше его сестра Елизавета Ферстеръ-Ницше, а вся книга появилась въ концѣ 1908 г. (а не 1909, какъ соображаетъ г. Антоновскій). Издательница выпустила ее по-видимому не безъ опасеній, такъ какъ было напечатано всего 1250 экземпляровъ (всѣ нумерованные), пущенныхъ въ продажу по двадцати марокъ; между тѣмъ самъ Ницше назначилъ цѣну въ полторы марки. Переводъ Стриндберга не выходилъ, а въ 1909 г. появился французскій переводъ, изданный журналомъ „Mercure de France“.

Ницше писалъ „Ессе Номо“ за нѣсколько недѣль до того, какъ опустился на дно безысходнаго безумія, и эта книга—само здоровье. Нѣтъ у автора „Веселаго знанія“ болѣе бодрого, болѣе радостнаго произведенія, чѣмъ эта лебединая пѣсня, въ которой онъ гармо-



нически слилъ и повторилъ всѣ основныя мотивы своего ученія и обозрѣлъ свои книги—этапы мудрой жизни. „Се человекъ“, написалъ онъ съ справедливой гордостью на первой страницѣ своей послѣдней книги, и эта гордость не смѣшна, какъ не смѣшны начала ея отдѣльных главъ: „Почему я такъ мудръ“, и „Почему я такъ уменъ“, „Почему я пишу такія хорошія книги“. Среди всѣхъ „хорошихъ книгъ“, написанныхъ Ницше, „Ессе Ното“—одна изъ лучшихъ, а для приступающихъ къ изученію Ницше она самая необходимая, какъ введеніе въ философію и изложеніе взглядовъ, приведенныхъ имъ въ другихъ сочиненіяхъ. Недаромъ Ницше самъ называлъ „Ессе Ното“—„въ высшей степени подготовительнымъ сочиненіемъ“. И завершительнымъ его можно назвать. „Ессе Ното“ объемлетъ весь кругъ ницшевскаго ученія, и къ какой бы книгѣ Ницше ни приступалъ читатель ему необходимо предварительно каждый разъ перечитать тѣ страницы „Ессе Ното“, гдѣ говорится о данной книгѣ. Въ литературно-техническомъ отношеніи этотъ горделивый, величавый авторскій и личный самоанализъ плѣняетъ и трогаетъ своимъ рѣзкимъ, мужественнымъ языкомъ, своимъ пламеннымъ дирамбическимъ стилемъ, въ которомъ поетъ „такое изумрудное счастье, такая божественная нѣжность“.

Н. Лернеръ.

Проф. М. Довнаръ-Запольскій. Исторія русскаго народнаго хозяйства. т. 1-ый. Киевъ. 1911 г. 363 стр. ц. 3 руб.

Книга кievскаго профессора предста-

вляетъ крупный вкладъ въ нашу бѣдную историко-экономическую литературу. Она несомнѣнно дастъ толчокъ къ разработкѣ этой исторіи подъ новымъ угломъ зрѣнія.

Нарисованная проф. Довнаръ-Запольскимъ картина экономической жизни древней Руси въ очень многомъ и очень существенно отличается отъ обычной у нашихъ историковъ.

На основаніи богатаго фактическаго матерьяла проф. Довнаръ-Запольскій показалъ, что жизнь древней Руси была несравненно богаче экономическими мотивами, что въ ней были несравненно болѣе развитыя и сложившіяся экономическія формы, чѣмъ это традиціонно изображаютъ историки.

Большую цѣнность представляетъ при этомъ тотъ богатый археологическій матерьялъ, который проф. Довнаръ-Запольскій пустилъ въ научный оборотъ экономической исторіи. Этотъ матерьялъ очень точенъ, свѣжъ и, насколько намъ извѣстно, кievскимъ профессоромъ впервые широко и математически использованъ для возсозданія формъ экономической жизни древней Руси. Какъ мы уже отмѣтили, проф. Довнаръ-Запольскій проводитъ мысль, что древняя Русь знала и развитой обмѣнъ, и довольно далеко зашедшее раздѣленіе экономического труда, и политически вліятельный, богатый слой торгово-промышленныхъ дѣятелей. Въ этомъ отношеніи Россія въ средніе вѣка опередила Зап. Европу.

„Торговья отношенія и навыки древней Руси—говоритъ г. Довнаръ-Запольскій—выгодно отличаются отъ подобнаго же рода явленій ранняго средневѣковья Зап. Европы, и эта совокупность отличій

скорѣе служить подтвержденіемъ того факта, что торговый обмѣнъ проникалъ всю древне-русскую жизнь, пустилъ въ ней глубокіе корни“ (349 стр.).

И въ политическомъ отношеніи роль торгово-промышленнаго класса была очень значительна.

„Вліяніе торгово - промышленнаго класса на весь политическій строй страны сказывается весьма сильно.

Даже народный эпосъ складываетъ образы купцовъ богатырей... Вся древне-русская жизнь была проникнута интересами торгова, промысла. Древне-русскіе памятники юридическаго характера, пространная Русская Правда и Псковская Судная Грамота, въ сильной степени отражаютъ на себѣ это вліяніе торговыхъ интересовъ“ (351).

Книга проф. Довнаръ-Запольскаго заслуживаетъ вниманія и специалистовъ и всѣхъ, желающихъ составить себѣ точное представленіе о древне-русской жизни.

П. Берлинъ.

Памяти Петра Францевича Лесгафта.  
*Изданіе газеты „Школа и Жизнь“ 1912 г.*

Это—сборникъ статей, вышедшій черезъ два года со дня смерти П. Ф. Лесгафта подъ редакціей совѣта С.-Петербургской біологической лабораторіи его имени. Изъ 28 статей, только четыре посвящены научно-педагогическимъ идеямъ неутомимаго педагога и ученаго. Все же остальное, почти цѣликомъ воспоминанія учениковъ и почитателей, обвѣянные трогательною грустью о великой уtratѣ.

Нельзя, конечно, требовать отъ такого сборника сколько-нибудь полнаго анализа научныхъ заслугъ профессора. Изъ приложеннаго къ книгѣ списка печатныхъ трудовъ П. Ф. Лесгафта, видно что однихъ трудовъ по анатоміи у него было 69, педагогическихъ—30, 30 работъ въ другихъ областяхъ науки, 28 работъ произведены подъ его руководствомъ. При этомъ, какъ совершенно справедливо указано В. Д. Соколовымъ во „Врачебной Газетѣ“, нѣкоторые ученые запада именно въ послѣднее время разрабатываютъ анатомію методами, выдвинутыми впервые П. Ф. Лесгафтомъ. То же относится къ педагогикѣ.

Зато, чѣмъ меньше мѣста отведено статьямъ общаго характера, тѣмъ богаче сборникъ „человѣческими документами“. Поистинѣ героическая фигура учителя жизни выступаетъ во всемъ своемъ величіи изъ набросковъ, казалось бы, столь случайныхъ въ отдѣльности и столь преисполненныхъ значенія, какъ только они взяты вмѣстѣ. Профессора, педагоги, шлиссельбургскіе узники, ученики и ученицы, отдѣльныя лица и группы—все здѣсь слито въ одномъ чувствѣ, и это чувство поневолѣ передается читателю.

Первое мѣсто среди этой части сборника слѣдуетъ отвести, конечно, письмамъ самого П. Ф. Лесгафта, какъ они ни многочисленны: они показываютъ намъ, какъ этотъ человѣкъ былъ вѣренъ себѣ даже въ мелочахъ. Характерно письмо къ старостѣ VII камеры литовскаго замка А. Э. Кокоревой на другой день послѣ самоубійства студента Прокуракова, отданнаго въ солдаты. Съ

захватывающимъ интересомъ читаются „Два вѣстрѣчи“ В. Н. Фигнеръ и „Памяти заботливаго друга“ Николая Морозова, въ связи съ письмами къ нему. Если бы сборникъ и не былъ пересыпанъ другими фактами огромной политической чуткости П. Ф. Лесгафта, то уже изъ однихъ этихъ „шлиссельбургскихъ“ связей было бы ясно, „какое сердце перестало биться“. Не менѣе характерны заявленія „учениковъ и ученицъ“ или „последнихъ учениковъ“. Воспоминанія

С. Познеръ рисуютъ покойнаго въ обстановкѣ финляндской глуши, куда онъ былъ высланъ послѣ одного изъ своихъ общественныхъ протестовъ.

Къ сожалѣнію, одинъ чрезвычайно характерный моментъ общественной дѣятельности не освѣщенъ въ сборникѣ—это выходъ его изъ партіи к. д. Вѣдь въ выборахъ во вторую государственную думу онъ шелъ уже по списку лѣваго блока.

Л. Клейнбортъ.

## СПИСОКЪ КНИГЪ, ПРИСЛАННЫХЪ ВЪ РЕДАКЦІЮ ДЛЯ ОТЗЫВА.

*Те—те.* Бѣлая лилія. Сборникъ стихотвор. Ц. 30 к.

*О. Рунова.* Летящія тѣни. Разказы. Изд. „Новъ“. Спб. 1912 г. Ц. 1 р.

*Задача и устройство* средней школы. Три доклада перев. съ нѣмецк. Библиотека шестой С.-Петербур. гимн. Спб. 1911 г. Ц. 20 к.

*М. Гершензъ.* Образы прошлаго. А. Пушкинъ, И. Тургеневъ, П. Кирѣевскій, А. Герценъ, Н. Огаревъ. Из-во „Окто“. М. 1912 г. Ц. 3 р.

*А. А. Кизветтеръ.* Историческіе очерки. Изд-во „Окто“ М. 1912 г. 502 стр. Ц. 3 р.

Изд. „Прометей“.

*Фр. Ницше.* Автобіографія (Ессе Ното). Перев. подъ редакціей и съ примѣч. Ю. М. Антоновскаго. Ц. 1 р. (Спб. Окружнымъ судомъ арестъ снятъ).

*Н. И. Картевъ.* Собр. сочиненій. Т. I. Исторія съ философскою точки зрѣнія. Статьи. Съ предисл. и портретомъ автора. Ц. 1 р. 25 к.

*К. И. Арабакинъ.* Этюды о русскихъ писателяхъ. Статьи. Ц. 1 р. 25 к.

*П. Мишевъ.* Очерки по исторіи всеобщей литературы, часть вторая. Средніе вѣка и эпоха возрожденія. Ц. 1 р. 25 к.

*Ивановъ Разумникъ.* Литература и общественность. Статьи. 2-ое изд. Ц. 1 р. 25 к.

Универсальная бібліотека.

№ 442. В. Шекспиръ. Гамлетъ. Пер. А. Н. Кронеберга. № 465. Г. Х. Андерсенъ. Калоши счастья и др. сказки. № 469—470 Лафкадио

Хернъ. Японскія сказки Кванданъ. № 471  
Жоржъ Зандъ. Замокъ Пиктордю. № 472  
Жоржъ Зандъ. Крылья мужества. № 537. А. Ө  
Воейковъ. Домъ сумасшедшихъ. № 546. Л. Н  
Толстой. Для дѣтей, книжка I-я. Кавказскій  
плѣнникъ и др. разказы. № 554. Н. В. Го-  
голь. Портреты. Носъ. Шинель. Коляска. № 559.  
П. А. Добролюбовъ. Что такое обломовщина.  
Когда же придетъ настоящій день? № 562-563.  
М. В. Ломоносовъ. Избранныя произведенія  
№ 564. Н. Добролюбовъ. Лучъ свѣта въ тем-  
номъ царствѣ. О „Грозѣ“ Островскаго № 706.  
Раффи. Джалаледдинъ. Пер. съ армянскаго.

Изд. т-ва „Просвѣщеніе“.

*В. І. Валтеръ.* Рихардъ Вагнеръ, его жизнь, творчество и дѣятельность. Съ приложеніемъ портретовъ и факсимиле. Ц. 2 р. 50 к.

*Ольга Шаниръ.* Собр. сочиненій. Томъ VII. Любовь. Романъ. 485 стр. Ц. 2 р. 50 к.

*Г. А. Мачтетъ.* Собр. сочиненій. Томъ V. Разказы. На Украинѣ. И одинъ въ полѣ воинъ. Жизнь. Сморины 272 стр. Ц. 1 р.

*А. Н. Левитовъ.* Собр. сочин. Томъ VI. Разказы. Новый колоколь. Деревенскій случай. Счастливые люди. День у ал-оката. Адресный столъ. Безпечальный народъ. Хорошія воспоминанія и др. 330 стр. Ц. 1 р.

Изд. т-ва А. Ф. Марксъ.

*Фюрды. Дитя вѣка.* Сборникъ девятый. Ионасъ Лн. Вѣсъ-баба комедія-сказка. Иоганнесъ В. Йенсенъ. Изъ гиммерланд

скихъ разсказовъ. Элинъ Вэгнеръ. Дня вѣка. Повѣсть. Перев. А. и П. Ганзенъ. Ц. 1 р. 25 к.

П. П. Гилдичъ. Сочиненія. Т. V. Повѣсти и разсказы. Волченюкъ. На томъ берегу. Корректный директоръ. Петрашевецъ и свѣжія розы, и др. мелкіе разсказы. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 75 к.

В. Я. Святловъ. Сочиненія. Т. III. Звенья цѣпи. Повѣсть. Лето природы. Лето семьи. Мелкіе разсказы. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 75 к.

А. В. Стернъ, Сочиненія. Т. I. На конкурсъ. Исторія моей сестры. Преступленіе Алеши. Разныя доли и др. Ц. 1 р. Т. II. Выродокъ. Невольная мѣсть. Поздно. Въ тиши и др., Ц. 1 р. въ перепл. 1 р. 40 к.

Николай Мезько. Стихотворенія. Предисловіе К. Р. 61 стр. Ц. 50 к.

Ил. Чернышевъ. Крестьяне объ общинѣ накануне 9 Ноября 1906 г. Къ вопросу объ общинѣ. 85 стр. Ц. 60 к.

Г. Василевскій. Интеллигентная земледѣльческая община Криница. Къ исторіи исканій общественныхъ формъ идеальной жизни. 2-е изд. Кн.—во „Посѣвъ“ СПб. 1912 Ц. 85 к.

Новости науки. Непериодическое изданіе книг—ва „Естественный испытатель“. Вып. 1-ый. Содержаніе. Проблемы наследственности. Атмосферное электричество. Минеральныя воды и ихъ вліяніе на организмъ. Ядъ усталости. Озонъ и его примѣненіе въ гигиенѣ и промышленности. Неврастенія или психическое истощеніе. СПб. 1912. Ц. 50 к.

Изд. т-ва М. О. Вольфъ.

М. Лемке. Моя первая книга стиховъ. Христоматія для дѣтей въ возрастѣ отъ 4 до 8 лѣтъ. Иллюстраціи Н. Н. Герардова. Ц. 1 р. 50 к.

Ев. Шведеръ. Котофей-Котофеевичъ и его семейство. Разсказъ для дѣтей. Съ хромолитографированными картинами.

Л. А. Чарская. Джаваховское гнѣздо. По-

вѣсть для юношества съ 10 иллюстр. И. Гурьева. Ц. 3 р.

Л. А. Чарская. Вечера княжны Джавахи. Сказанія старой Барбалѣ. Съ рисунк. И. Гурьева, Н. Каразина и др. 189 стр.

З. К. Столица. Развитие въ дѣтяхъ жизнерадостности и борьба съ пессимизмомъ. 80 стр. Ц. 60 к.

Л. А. Чарская. Счастливый цвѣтокъ. Разсказъ для дѣтей. Съ рис. И. Гурьева. 18 стр.

Л. А. Чарская. Вовикъ. Полу-быль, полусказка. Рисунки бар. А. Демерта. 24 стр.

М. О. Ланская. Лучшій день въ году. Разсказъ для дѣтей. 16 стр., съ 7 рисунк.

Ахметъ-Бей Паликовъ. Чаша жизни. Миниатюры. Изд-во „Утро горь“. Ц. 50 к.

М. Швецовъ. Экзаменъ. Драматическое стихотвореніе. Лирическое стихотвореніе. Вологда. Типографія А. А. Галкина. 1912. Ц. 40 к.

Георгій Ивановъ. Отплыть на о. Цитеру. Поэзы. Книга первая. Изд. „Его“. СПб. 1912. Ц. 50 коп.

Изд. „Просвѣщенія“.

Г. А. Мачетъ. Полное собр. сочин. Т. VI. На Украинѣ. Въ Полѣсѣ. 350 стр. Ц. 1 р.

Ольга Шапиръ. Собр. сочин. Т. VIII. Не повѣрили. Воспоминаніе. Поминки. Ея сіятельство. 453 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Д. Я. Айзмана. Сочиненія. Т. II. Ледоходъ. Сердце Бытія. Кровавый разливъ. Чета Красовицкихъ. Союзники. Домой. 320 стр. Ц. 1 р. 25 к.

А. И. Левитовъ. Собр. сочин. Т. VII. Петербургскій случай. Барочникъ Картузовъ. Мое дѣтство и др. разсказы. 331 стр. Ц. 1 р.

Влад. Серг. Соловьевъ. Собр. сочин. подъ ред. С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова. Т. III. Чтенія о Богочеловѣчествѣ. Три рѣчи въ память Достоевскаго. На пути къ истинной философіи. Духовныя основы жизни. Статьи. Ц. 2 р.

Редакторъ-издатель Я. Д. Николаевъ



## ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ „Сила и Здоровье“

двухнедѣльный иллюстрированный журналъ всѣхъ видовъ

### СПОРТА

Издательство В. И. Сатиной, подъ редакціей Георга Трунна.

Отдѣлы журнала: гимнастика, атлетика, борьба, фехтованіе, боксъ, плаваніе, легкая атлетика. парусный, гребной, лыжный, коньковый, велосипедный спортъ, спортъ въ школахъ, арміи и флотѣ, воздухоплаваніе и спортивный фельетонъ.

Наши главнѣйшія задачи: неустанная пропаганда идей правильного физическаго воспитанія народа и насажденіе всѣхъ видовъ разумнаго спорта въ Россіи

**ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:** на годъ 6 руб., на 1/2 года 3 р. 50 к., отдѣл. № 20 к., въ провинціи и на станц. ж. д. 30 коп.

Адресъ Конторы СПБ. Загородный, 45, Бюро „Единодушіе“, Типографія, „Сила“.

Редакція—СПБ. Подольская, 1 кв. 5.

## Открыта подписка на 1912 годъ

(Годъ изданія III-й.)

## ШКОЛА и ЖИЗНЬ

Единствен. еженедѣльн. общественно-педагогическ. газета, съ ежемѣсячн. прилож.

Приложенія, по объему не менѣе 80-ти печатныхъ листовъ, будутъ освѣщать выдвѣаемые текущей жизнью вопросы образованія и воспитанія. Въ числѣ приложеній находятся: „Эмилъ XVIII вѣка“—Руссо, „Проблемы дѣтскаго чтенія“—Вольгаста, „Развитіе народа и развитіе личности“—Наторпа—проникновенія, необходимыя каждому педагогу и каждой образованной семьѣ. Газета издается по слѣдующей программѣ: 1) Статьи по вопросамъ: а) организаціи школы и школьнаго законодательства, б) общепедагогической теоріи и практики. 2) Статьи по различнымъ вопросамъ образованія и воспитанія. 3) Фельетонъ, характеризующій по преимуществу внутреннюю жизнь школы или популяризирующій различныя стороны знанія. 4) Обзоръ печати. 5) Хроника образованія; дѣятельность законодательныхъ учреждений, правительства и т. д. 6) Хроника школьной жизни въ Россіи и заграничій. 7) Обзоръ спеціальной литературы и иностранной. 8) Справочный отдѣлъ. 9) Объявленія. Редація газеты, стремясь къ возможно полному освѣщенію всѣхъ вопросовъ, касающихся воспитанія и образованія въ Россіи и заграничій, пригласила въ участ. въ сотрудн. проф. высшихъ учебныхъ заведеній, преподавателей средн. и низшей школы, земск. и город. дѣятелей, член. Г. Думы и Г. Совѣта и др.

Подъ общей редакціей Г. А. Фальборка.

Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой въ города Имперіи; на годъ 6 р., на 6 м. 3 р., на 3 м. 2 р.

Для учащихъ въ начальныхъ училищахъ допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 февр. къ 1 марта, къ 1 апр. и къ 1 мая—по одному рублю.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ, Петербургъ, Кабинтская, № 18.

## Образовательныя поѣздки за границу,

организуемыя Учебнымъ Отдѣломъ Общества Распространеніе Техническихъ Знаній.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ СБОРНИКЪ

„РУССКІЕ УЧИТЕЛЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ“

Годъ третій.

Часть I. Третій годъ организаціи поѣздокъ. Финансовая сторона поѣздокъ. Поѣздки по Германіи и Австріи. Сѣверный маршрутъ. Поѣздки въ Италію. Школьный маршрутъ. Шесть дней въ Бразиліи. Недѣля въ Тироли. Русскіе учителя въ Берлинскихъ школахъ. Англійскіе учителя въ Москвѣ. За три года. Анкета. Часть II. Впечатлѣнія участниковъ поѣздокъ. Приложение. Списокъ книгъ для подготовки къ поѣздамъ на 1912 годъ, правила записи на нихъ. Бланки для заявленій. Сборникъ иллюстрированъ снимками изъ жизни экскурсантовъ за границей (24 страницы иллюстрацій на отдѣльныхъ листахъ).

Цѣна сборника (256 стр. съ 24 стр. иллюстр.) 50 коп.

Выписывающіе изъ Учебнаго Отдѣла (можно марками) платятъ съ пересылкой 55 коп., налогъ платежъ 65 коп.

Складъ изданія: Москва, Б. Кисловка, 1 Учебный Отдѣлъ.

Запись на маршруты 1912 года открывается со 2 января.

Подробные проспекты помѣщены въ сборникъ „Русскіе учителя за границей“ годъ третій. Тамъ же помѣщены правила записи и бланки для заявленій. Отдѣльные проспекты въ продажу не поступаютъ.

## Утро Сибири

Открыта подписка на 1912 годъ, II-й годъ изданія, на литературно-экономическую, политическую и литературную газету выходящую ежедневно въ г. Томскѣ. Газета ставитъ своею задачею давать возможно полное освѣщеніе русской, сибирской и заграничной жизни съ точки зрѣнія принциповъ прогрессивной демократіи. Какъ органъ Сибири, газета обратитъ особое вниманіе на принципиальное освѣщеніе и детальную разработку мѣстныхъ вопросовъ въ области экономической, политической и литературно-эстетической. Имѣя въ виду дать возможность населенію тѣхъ мѣстъ Сибири, гдѣ нѣтъ собственныхъ газетъ, слѣдить за интересами своей общественной жизни, газетой организована въ этихъ мѣстахъ сеть постоянныхъ корреспондентовъ. О всѣхъ особенно выдающихся событіяхъ газета будетъ освѣдомлена по телеграфу чрезъ посредство своихъ корреспондентовъ. Въ Государственной Думѣ имѣются собственные корреспонденты. Въ теченіе года газета помѣститъ рядъ біографій и характеристикъ выдающихся русскихъ писателей, ученыхъ и общественныхъ дѣятелей по возможности съ портретами ихъ въ текетѣ газеты. Всѣмъ годовымъ подписчикамъ будетъ высланъ въ качествѣ преміи иллюстрированный Календарь Справочникъ „Утро Сибири“ на 1912 годъ. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: Иногороднымъ на 1 годъ 6 руб., 6 мѣс. 3 р., 3 мѣс. 1 р. 70 к., 1 мѣс. 60 к. Для учащихъ и учащихся на 1 годъ 5 руб., 6 мѣс. 2 р. 50 к., 3 мѣс. 1 р. 30 к., 1 мѣс. 45 к. Адресъ конторы и редакціи: Ямской пер., д. Н. И. Орловой.

## Карсъ

(Годъ изд. XXX) Газета „Карсъ“ имѣетъ ближайшею цѣлью всестороннее изученіе Карской области и распространеніе въ обществѣ вѣрныхъ и точныхъ свѣдѣній какъ о нынѣшнемъ ея состояніи, такъ и о мѣропріятіяхъ, направленныхъ къ ея благоустройству. Подписка и объявленія для напечатанія въ газетѣ „Карсъ“ принимаются въ городѣ Карсѣ въ редакціи при Канцеляріи Военнаго Губернатора. Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой въ годъ 3 рубля, за четыре мѣсяца—1 рубль.

## Астраханецъ

Открыта подписка на 1912 годъ. (Годъ изданія пятый) Большая еженедѣльная литературная газета. Подписная цѣна: съ дост. въ гор. на 1 г.—3 р., 6 м.—1 р. 75 к., 3 м.—1 р., 1 м.—40 к. иногор. на 1 г.—4 р., 6 м.—2 р. 50 к., 3 м.—1 р. 50 к., 1 м.—60 к.

## Нижегородская Биржа

Открыта подписка на 1912 г., XIV-й годъ изданія, на общественно-политическую, торгово-промышленную и литературную газету. Газета выходитъ по программѣ большихъ общественно-политическихъ газетъ, три раза въ недѣлю. Подписной годъ—съ 1-го января. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ 5 руб., на полгода 3 руб., на три мѣсяца 2 руб., на 1 мѣсяцъ 1 руб. Подписка принимается: въ редакціи газеты „Нижегородская Биржа“, Нижній-Новгородъ, зданіе биржи.

Всѣмъ извѣстна цѣнность капитальнаго труда Д-ра Г. Пlossa

# ЖЕНЩИНА

въ естествовѣдѣніи и народовѣдѣніи.

2 больш. тома, 480 главъ, 1080 стран., около 1000 рисунк. въ текстѣ и на отдѣльн. листахъ. Полн. перев. съ 5-ю нѣм. изд. д-ра медиц. В. И. Рамма.

Это замѣчательное по полнотѣ собраннаго строго-научнаго матеріала и глубинѣ всенеперывающаго анализа произведѣніе является лучшемъ энциклопедіей по вопросу о женщинѣ и ея жизни.

**Знакомство съ нею необходимо всякому интеллигентному человѣку, всякой женщинѣ, всякой семьѣ.**

Вопросы половой и социальной жизни женщины здѣсь изслѣдованы съ анатомической (медицинской), антропологической, психологической, эстетической, религіозно-этической, этнографической и др. точек з. жвиз.

Здѣсь полное акушерство, этнографія, исторія женщины. Колоссальная сводка тысячами до- бытаго матеріала и многочисленныя иллюстраціи, воспроизведенныя съ рѣдкихъ киническихкихъ препа- ратовъ, фотографій, гравюръ, фресокъ, античныхъ реликвій и другихъ изображеній различныхъ стадій ПОЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ ВСѢХЪ ВРЕМЕНЪ И НАРОДОВЪ, являются неоцѣнимымъ сокровищемъ для читателя, не имѣющаго возможности непосредственно познакомиться со всѣми тѣми цѣн- ными источниками (иностранными этнографическими, анатомическими и др. музеями, изслѣдованіями древ- нихъ и современныхъ ученыхъ рѣдкими литературными памятниками и сборниками, — Кораномъ, Вавилон- скимъ Талмудомъ, Японской Энциклопедіей и т. д. и т. д.), которыми широко пользуется авторъ въ настоящемъ своемъ сочиненіи.

Будучи составлено исключительно на основаніи данныхъ, добытыхъ наукою, сочиненіе Пlossa изложено настолько популярнымъ языкомъ, что является вполне доступнымъ пони- манію всякаго средне-развитаго человѣка.

Къ сожалѣнію, это столь цѣнное сочиненіе, разошедшееся во многихъ изданіяхъ на всѣхъ европей- скихъ языкахъ, въ продажѣ на русскомъ языкѣ СТОИЛО сравнительно дорого — до 10 и 12 РУБЛЕЙ, потому не было доступно даже всякой бібліотекѣ.

Мы приобрѣли нѣсколько тысячъ оставшихся экземпляровъ такого очень хорошаго русскаго изданія сочиненія Пlossa (полн., соверш. нов., въ 2-хъ богато иллюстриров. томахъ на хорош. бумагѣ) и рѣшили сдѣлать его доступнымъ и для широкихъ круговъ интеллигентныхъ читателей. — Съ этою цѣлью мы предлагаемъ его какъ бібліотекамъ, такъ и читателямъ

**съ исключительной скидкой: только за 3 руб.** (безъ переплета) и **за 4 руб.** (въ роскошномъ ко- ленкоревомъ перепл.).  
съ пересылкой въ предѣлахъ европейск. россіи за нашъ счетъ (въсѣ 2-хъ томовъ 5 фунтовъ); въ другія мѣста — за счетъ покупателей.

Магазинъ получаетъ за высылку настоящаго изданія много благодарностей.

Высылаетъ по полученіи денегъ и налож. платежомъ книжный магазинъ И. Г. Малыго

**„ОБЩЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ“.**

С.-Петербургъ, Суворовскій проспектъ, д. 5. Отдѣленія главн. магазина: Спб., Суворовскій пр., 2.

Псковъ, Сергіевская ул., д. Соловьевой.

Каталогъ удешевленныхъ книгъ бесплатно.

Телефонъ 107—31.



Наровая типографія Л. В. ГУТМАНА, Балашиковский, 13. Телефонъ 45-04.

# НОВАЯ ЖИЗНЬ

II





Издательство „Нов. Журнала для Всѣхъ“. Годъ изданія 5-й.

4 р. 50 к. въ  
годъ безъ  
доставки.

Открыта подписка на 1912-й годъ.

4 р. 50 к. въ  
годъ  
съ доставкой.

# НОВАЯ ЖИЗНЬ

Выходитъ при ближайшемъ участіи М. Арцыбашева, П. Берлина, А. Луначарскаго, Л. Клейнборта, Н. Морозова, Н. Олшера и П. Юшкевича.

Большой безпартійный журналъ литературы, науки, искусства и обществен. жизни—включающій всѣ отдѣлы толстыхъ журналовъ и по своей цѣнѣ доступный самому широкому кругу читателей. „НОВАЯ ЖИЗНЬ“ выходитъ еженедѣльно книжками больш. форм. (до 300 стр.), включая широко поставлен. отдѣлы: 1) belletristicheskій, 2) научно-популярн. 3) критическ., 4) обществ.-политич., 5) художественн. статьи по искусству иллюстрир. репродукц. картинъ изв. художниковъ.

Въ журналъ принимаютъ участіе:—Отдѣлъ литературно-художественный:

Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ, Д. Айзманъ, Николай Архиповъ, И. Бунаковъ, А. Блокъ, К. Бальмонтъ, А. Воане, В. Брюсовъ, В. Вересаевъ, С. Городецкій, О. Дыбенко, Бор. Зайцевъ, А. Купринъ, А. Каменскій, Вл. Кохановскій, С. Кондурушкинъ, Дм. Крачковскій, Ив. Ладимженскій, Б. Лазаревскій, В. Ленскій, В. Муйжель, Н. Олшера, А. Родковъ, А. Рославлевъ, А. Серафимовичъ, Скиталецъ, С. Сергѣевъ-Цвѣтскій, А. Смирскій, Ал. Н. Толстой, Н. Тимковский, А. Ѳедоровъ, Таня, Н. Фалеевъ, Е. Чириковъ, Георгій Чулковъ, Дм. Цензоръ, С. Юшкевичъ, Г. Яблочковъ и др.

Критика, наука, публицистика: проф. Е. Анитковъ, Н. Абрамовичъ, К. Арабакинъ, Ю. Ахенвальдъ, В. Агафоновъ, П. Берлинъ, Ѳ. Батюшковъ, А. Бенуа, С. Венгеровъ, Л. Васильевскій, А. Вережниковъ, И. Гинзбургъ, А. Герасимовъ, А. Дживилеговъ, проф. Ѳ. Зильберскій, А. Измайловъ, академикъ Н. Котляревскій, проф. Н. Карѣевъ, Л. Камышниковъ, Л. Клейнбортъ, А. Луначарскій, М. Лемке, Н. Морозовъ, академикъ Д. Овсянко-Куликовскій, И. Рбинъ, Н. Рерихъ, М. Рейснеръ, Н. Рубакинъ, проф. В. Святловскій, проф. В. Сперанскій, Е. Тарле, Як. Тугендхольдъ, проф. М. Туганъ-Барановскій, проф. И. Озерова, В. Фриче, П. Юшкевичъ, М. Энгельгардтъ и др.

Постоянные отдѣлы: Н. Кадыкинъ. Критическіе очерки.—Л. Клейнбортъ. Отклики русской жизни.—П. Берлинъ. На Западѣ.—Д. Заславскій. Дни нашей жизни.

Годовые подписчики получаютъ бесплатное приложеніе по выбору.

Избраніе сочиненій

**Л. Н. ТОЛСТОГО**

или избран.  
сочиненія

**А. И. ГЕРЦЕНА**

(по тексту посмертнаго изданія Гр. А. Л. ТОЛСТОГО).

Подписная цѣна на 1912 г.: на годъ безъ доставки 4 р. 50 к., съ перес. 4 р. 90 к. (Разсрочка: при подпискѣ 2 р. 70 к., къ 1 Іюля 2 р. 60 к.). За границу 7 р. 50 к.

При доплатѣ къ подписной цѣнѣ журнала 1 р. 75 к. подписчики получаютъ сочиненія обоихъ авторовъ: Л. Н. ТОЛСТОГО и А. И. ГЕРЦЕНА.

Адресъ редакціи: Петербургъ, Невскій, 88.

Редакторъ Николай Архиповъ.

Выписывающіе одновременно „Новый Журналъ для Всѣхъ“ и „Новую Жизнь“ платятъ за оба журнала 6 р. 60 к. Разсрочка: 2 р. — при подпискѣ, 2 р.—1 апр., 2 р.—1 іюля.

Въ главной конторѣ журнала „Новая Жизнь“ продаются комплекты журнала за 1910 и 1911 г.—18 книгъ, цѣна 4 руб. 50 к., за пересылку годового комплекта 50 к., для Сибири 70 к.

Адресъ Конторы: С.-Петербургъ, Невскій, 88.

# НОВАЯ ЖИЗНЬ

---

Главная Контора журналовъ „Новая Жизнь“ и „Новый Журналъ для Всѣхъ“ напоминаетъ подписчикамъ, выписывающимъ въ разсрочку одновременно оба журнала и уплатившимъ при подпискѣ лишь **ПЕРВЫЙ ВЗНОСЪ** (3 р.), что имъ слѣдуетъ поспѣшить пересылкой **ВТОРОГО ВЗНОСА** (2 р.). Не приславшимъ второго взноса (2 р.) въ теченіи Марта мѣсяца (до 1 Апрѣля) высылка апрѣльскихъ книжекъ **БУДЕТЪ ПРИОСТАНОВЛЕНА.**

Въ цѣляхъ аккуратной доставки журналовъ и въ виду технической трудности работы Главная Контора проситъ Гг. подписчиковъ озаботиться заблаговременно высылкой второго взноса.

Редакція и контора журналовъ „Новая Жизнь“ и „Нов. Журналъ для Всѣхъ“ переведены въ новое помѣщеніе:

СПБ., Невскій просп., д. 88. Телеф. 107-88.

# СОДЕРЖАНІЕ

1912 г.

Февраль.

## № 2.

	СТР.
ЯК. ГОДИНЪ, ГЕРМ. ЛАЗАРИСЪ, ВЛ. ЭЛЬСНЕРЪ, АЛ. ВОЗНЕСЕНСКИИ.	
Стихи . . . . .	3
ОСИПЪ ДЫМОВЪ.—Счастье упущенное. Разсказъ. . . . .	7
Б. ВЕРХОУСТИНСКІЙ.—Во лѣсахъ. Разсказъ. . . . .	14
Н. ОЛИГЕРЪ.—Скитанія. Повѣсть . . . . .	31
В. СИРИЛЛЪ.—Искупленіе. Разсказъ. Перев. съ франц. М. Кариной . .	90
ВАЛ. СПЕРАНСКІЙ.—Блаженный Августинъ и средневѣковое міросозер- цаніе . . . . .	105
АНАСТАСІЯ ЧЕБОТАРЕВСКАЯ.—К. А. Сомовъ . . . . .	118
В. ФРИЧЕ.—Отто Рунгъ. . . . .	127
Н. КАДМИНЪ.—Критическіе очерки . . . . .	136
З. ШАДУРСКАЯ.—Гамлетъ въ постановкѣ Моск. Худож. Театра . . .	156
П. МАСЛОВЪ.—Реакція и народное хозяйство . . . . .	168
А. ПАНКРАТОВЪ.—Среди голодающихъ . . . . .	186
Л. КЛЕЙНБОРТЪ.—Отклики русской жизни. . . . .	212
П. БЕРЛИНЪ.—На Западѣ . . . . .	234
<b>КРИТИКА и БИБЛИОГРАФІЯ:</b>	
Алекс. Рославлевъ. Сказки. Изд. „Общ. Польза“.—Кам. Ле- монье. „Мертвецъ“ Ром. Изд. „Сфинксъ“.—Г. Д'Аннунціо. Быть можетъ да, быть можетъ нѣтъ. Ром. Изд. „Шинювникъ“.—Dr. Em. Reicke. Malvida von Mausenbug. Berlin.—А. Кизеветтеръ. Историческіе очерки. Изд. „Окто“.—„О религии Толстого“. Сборникъ. Кн-во „Путь“.—С. Н. Солнцевъ. Заработная плата какъ проблема распредѣленія. Спб. — П. Майкельсонъ. Свѣ- товныя волны и ихъ примѣненія. Изд. „Mathesis“ . . . . .	254
<b>ОБЪЯВЛЕНІЯ.</b>	

## ИЗГНАННИКИ.

Деревья, шелестъ, темная прохлада.  
И мы скользимъ—оглядываясь вновь.  
За нами—отблескъ праздничнаго сада...  
Но гонить въ глушь тревожная любовь.

И, поблѣднѣвъ, изгнанники ночные,  
Мы клонимся подъ каплями дождя...  
И всѣ надежды—голоса родные—  
Насъ окружають, въ сумракъ уводя...

Счастливый страхъ подкашиваетъ ноги,  
И мы дрожимъ, сближая пламя щекъ,  
И замираемъ въ сладостной тревогѣ,  
Пока не будитъ влажный вѣтерокъ...

И снова въ тѣнь—отъ тѣни шелестящей,  
Отъ каждой вѣтки—въ сумрачную глушь!  
И каждый взглядъ, туманный и блестящій,  
Какъ сладкій реквиѣмъ погибшихъ душъ.

И вѣтъ предѣловъ сумрачному плѣну...  
О чемъ мечтали—сбылось наяву.  
И чтобъ приникнуть къ милому колѣну  
Мы въ мрачномъ счастьи клонимся въ траву...

Сближая губы и смѣшавъ дыханья,—  
Мы все забудемъ... И должны скользить  
Въ ночную пропасть жгучаго желанья...  
О, страшно падать!—гибельно любить!..

Яковъ Годинъ.

## Н А З А Р Ъ.

Вчера подъ утро сонъ мой дѣвичій  
Спугнули грѣшныя мечты  
О златокудромъ королевичѣ  
Необычайной красоты.

Онъ цѣловалъ уста мнѣ сладостно,  
Шепталъ любовныя слова,  
И было такъ легко и радостно,  
И чуть кружилась голова.

Онъ звалъ уплыть съ нимъ вмѣстѣ за море,  
Гдѣ изумрудные луга,  
Гдѣ возлѣ бѣлыхъ скалъ изъ мрамора  
Есть перламутръ и жемчуга.

Онъ звалъ меня быть королевою,  
И цѣловалъ опять, опять...  
Боясь, что я его разгнѣваю,  
Я не умѣла отказать.

Проснувшись, въ спальнѣ предъ иконами  
Молилась на колѣняхъ я,  
Творя поклоны за поклонами,  
Чтобъ Царь Небесъ простилъ меня...

И чтобъ невольный грѣхъ мой дѣвичій  
Мнѣ не поставилъ Онъ въ укоръ...  
Но мысль о нѣжномъ королевичѣ  
Меня смущаетъ до сихъ поръ.

Германъ Лазарисъ.

## Ж О Н Г Л Е Р К А.

Ты—какъ гибкая тонкая вѣтка  
Въ неживыхъ, голубыхъ цвѣтахъ.  
Куполь цирка мнится бесѣдкой,  
Крылато-увѣренъ шагъ  
По стальной, неуступчивой ниткѣ.  
Озаряютъ тебя съ шестовъ  
Гроздя лампъ, какъ яркіе слитки  
Прозрачныхъ круглыхъ плодовъ.  
И ты пляшешь и ловишь и мечешь  
Пять огней и кинжалъ стальной.  
И зигзагомъ огненнымъ свѣчи  
Скользаятъ надъ нагой спиной.

Владиміръ Эльснеръ.

## Н А Ъ З Д Н И Ц А.

Гибкій бичъ прощелкалъ рѣзко...  
Путь коню пересѣкла.  
Словно яркая подвѣска,  
Засверкала у сѣдла.  
Шлемъ въ змѣистомъ изумрудѣ,  
Вѣетъ бѣлое перо.  
И закованъ торсъ на груди  
Въ чешую и серебро.  
Ровнымъ, сдержаннымъ карьеромъ,  
Ускоряя мѣрный шагъ,  
Бѣлый конь беретъ барьеры,  
Мечетъ въ доски гулкій прахъ.  
Наклонивъ, привычно ловко,  
Заалѣвшее лицо,—  
Ты скользишь стрѣлою легкой  
Сквозь бумажное кольцо.  
И рукой держась за гриву,  
Оправляя шлемъ на лбу,  
Озираешь горделиво  
Любопытную толпу.

Владиміръ Эльснеръ.

## УПАВШАЯ ЗВѢЗДА.

И я свѣтила между звѣздъ...  
Теперь лежу въ пустынь Шамо.  
На мнѣ слѣды змѣиныхъ гнѣздъ,  
А змѣй—браминъ увезъ для храма.

Я стала глыбой изъ камней—  
Орлы не любятъ къ ней спускаться,  
И только изрѣдка на ней  
Лѣнливо коршуны садятся.

Когда разбитъ ночной шатеръ  
Надъ степью голой и печальной,  
Зову я радостныхъ сестеръ,  
Забывшихъ о сестрѣ опальной.

Но зовъ мой къ сестрамъ не проникъ,  
И тяжело мнѣ, звѣздѣ упавшей,  
Отсюда видѣть Божій ликъ,  
Меня свѣтитъ благословлявшій.

Ал. Вознесенскій.

•

## СЧАСТЬЕ УПУЩЕННОЕ.

*Посвящается С. Ю. Судейкину.*

Разсказъ.

Ихъ связывала давнишняя прочная любовь. Они были знакомы съ дѣтства, говорили другъ другу „ты“, и ихъ бракъ былъ рѣшенъ родителями задолго до того, когда они достигли совершеннолѣтія. Михайлъ Львовичъ былъ старше Лиды на четыре года, но она играла главенствующую роль. Официальнаго предложенія онъ не дѣлалъ, и не помнилъ, какъ и когда случилось, что они заговорили о бракѣ: вѣроятно, будучи еще совсѣмъ юными. Его любовь не была бурной, безпокойной, не наносила сердцу острыхъ, и въ то же время живительныхъ ранъ. Его юность протекла въ разумной спокойной работѣ рядомъ съ дѣвушкой, которая была и сестрой и невѣстой. Такъ и остались неизвѣданными многія томленія юности, многія мечты и разочарованія, неожиданныя минуты вдохновенія и горькая полнь острей боли, которая кажется смѣшной глазамъ благоразумной старости.

Лида привязалась къ своему другу. Въ шестнадцать лѣтъ она казалась очаровательной со своимъ неправильнымъ, нѣсколько вытянутымъ лицомъ, широкимъ, капризно-подвижнымъ ртомъ и большими ласково-насмѣшливыми глазами. Ея руки были нѣсколько велики, но красивы, къ концамъ сужившіеся пальцы, похожіе на конусы, были полны особой трудно уловимой граціи. Она не обладала острымъ умомъ, не задумывалась надъ вопросами жизни, мило пѣла, мило щебетала, повторяя фразы не то слышанныя, не то прочитанныя, и вообще была похожа на обыкновенную, здоровую милую русскую дѣвушку, которая спокойно и увѣренно творитъ мирный путь жизни.

Въ восемнадцать лѣтъ она неожиданно вытянулась, стала блѣднѣть и даже покашливать. Опасались чахотки. Родители увезли ее на югъ, гдѣ Лида пробыла полгода. Михайлъ Львовичъ — уже студентъ старшихъ курсовъ — писалъ ей длинныя, трезвыя, очень неглупыя письма. Вначалѣ она аккуратно и подробно отвѣчала на нихъ, но потомъ ея письма стали рѣже. Весною онъ поѣхалъ къ ней. Лида выздоровѣла. Въ углахъ широкаго, капризно-подвижнаго рта появилась какъ-бы грустная усмѣшка. Глаза часто щурились. Подъ тканью платья обрисовывались маленькія изящныя груди,



вычерченныя съ необыкновенной правильностью. Она показалась ему обаятельной. Прежнія добрыя отношенія не только возобновились, но даже усилились. Это было самое чудесное время ихъ прочной, многолѣтней любви. Лѣто прошло, какъ сплошной сіяющій день съ золотымъ глазомъ во лбу, съ легкимъ дурманомъ въ душевные дни зрѣлаго іюля. Осенью, когда пришлось на время разстаться, Миша еще въ вагонѣ чувствовалъ пріятную, легкую боль въ правой рукѣ и ему казалось, что Лида продолжаетъ опираться о его руку, нѣсколько тяжело наваливаясь высокимъ стройнымъ тѣломъ. Какъ будто на его руки унала золотая ноша пронесшагося южнаго лѣта — зрѣлый плодъ склонившагося солнца...

Черезъ полгода зимою Михаилъ Львовичъ неудачно стрѣлялся и проболѣлъ четыре мѣсяца. Стрѣлялся онъ ночью, въ своей комнатѣ, послѣ того какъ проводилъ Лиду изъ театра. Никакой записки онъ не оставлялъ и, когда выздоравливалъ, ничего не объяснилъ роднымъ. Случилось же это послѣ того короткаго разговора съ Лидой, который произошелъ между ними въ театрѣ по окончаніи спектакля. Разговоръ былъ несложенъ, вѣдше спокоенъ и безъ громкихъ словъ, какъ обычно разговариваютъ, — особенно о важныхъ вещахъ, — люди, хорошо знающіе и привыкшіе другъ къ другу.

Лида, поднявъ на него свои сѣрые неглубокіе глаза, проговорила:

— Миша, мнѣ нужно сказать... Я считаю себя свободной. Я не выйду за тебя.

Михаилъ Львовичъ помолчалъ и, не отнимая руки, спросилъ:

— Ты любишь другого?

— Нѣтъ, — спокойно отвѣтила она.

— Почему же?

Лида наклонила голову; она густо покраснѣла, волнуясь, видимо, хотѣла что-то пояснить, но только коротко замѣтила:

— Такъ.

Они стояли въ ожиданіи, когда капельдинеръ подастъ имъ верхнее платье. Миша помогъ ей одѣться.

— Я давно хотѣла сказать тебѣ, — произнесла она, когда онъ вправлялъ въ рукава ея шубки концы выбившагося вязаного платка.

Онъ не отвѣтилъ. Садясь въ пролетку, онъ спросилъ:

— Это твердо рѣшено?

— Да, — сказала она, и при свѣтѣ зеленоватаго газоваго фонаря, онъ увидѣлъ, какъ капризно въ непонятной улыбкѣ искривился ея широкій подвижной ротъ. Тутъ-то пришла мысль, что надо стрѣляться.

Но Михаилъ Львовичъ остался живъ, и Лида вернулась къ нему. Точно уговорившись, оба не вспоминали о короткомъ и странномъ разговорѣ, про-

изошедшемъ въ театрѣ. Съ нѣжной заботливостью ухаживала Лида за своимъ женихомъ. Она первая заговорила о свадьбѣ. Рѣшено было вѣнчаться черезъ полгода весною, послѣ того какъ Миша сдастъ государственный экзамень. Эта зима вышла бодрой, полной вдумчиваго труда. Михаилъ Львовичъ смотрѣлъ на лицо своей невѣсты, и каждый разъ при этомъ сердце его ныло сладостнымъ предчувствіемъ чего-то огромнаго. Но было-ли это огромное—радость или страданіе—нельзя было разобрать.

— Почему ты смотришь?—спрашивала Лида, спокойно поднявъ на него сѣрые неглубокіе глаза.

— Я не понимаю. Я смотрю...—отвѣчалъ онъ, стараясь оформить словами свои ощущенія:—Мнѣ кажется... я не понимаю твоего лица...

— Я ничего не скрываю,—возражала, задумавшись, Лида.

— Конечно... Нѣтъ, это другое.

Свадьба состоялась въ концѣ мая, и въ тотъ же вечеръ молодые уѣхали за границу. На вокзалѣ невѣста казалась счастливѣе жениха. Ея тонкія, капризно изогнутыя губы все время улыбались. Бѣлое свадебное платье плохо ложилось въ складки и скрадывало грацію молодыхъ, теперь нетерпѣливыхъ движеній. У жениха было сосредоточенное лицо; онъ не глядѣлъ на провожающихъ, не слышалъ что говорили и даже не узнавалъ людей. Можно было подумать, что онъ переживаетъ большое горе—такъ переполняло его внутреннее счастье. Послѣ перваго звонка онъ быстро вскочилъ въ вагонъ и заторопилъ Лиду. Всѣ расхохотались. Онъ не понималъ, надъ чѣмъ смѣются. Поѣздъ тронулся и сталъ болтать свой желѣзный вздоръ.

— Что?—непонятно спросилъ Михаилъ Львовичъ. Онъ намѣренно замѣшкался въ проходѣ и, улучивъ моментъ, торопливо и по-дѣтски перекрестился, словно король что-то... Потомъ вошелъ въ купѣ.

\* \* \*

Черезъ недѣлю молодые, сидя на палубѣ бѣлаго, какъ чайка, парохода плыли по Фирвальштетскому озеру.

Лида въ сѣромъ короткомъ платьѣ и желтыхъ ботинкахъ безъ каблучковъ была похожа на переодѣтаго мальчика. Соломенная шляпка англійскаго покроя была заколота двумя тонкими длинными шпильками. Лида была счастлива такъ глубоко, полно и сыто, что казалась себѣ одновременно и глупой и мудрой. Она видѣла и чувствовала мужа не только глазами, но всѣмъ своимъ гибкимъ дышащимъ молодымъ тѣломъ. Мужъ сидѣлъ рядомъ, украдкой сунувъ руку подъ ея локоть, и чувствовалъ, что думаетъ вмѣстѣ съ нею однѣ и тѣ же длинныя, счастливыя, непонятныя другимъ мысли, въ которыхъ не было никакого содержанія и никакихъ вопросовъ.

Въ мозгу все время стояло ощущеніе чего-то деракаго, прекраснаго,

еще небывалаго. Оно переплеталось съ стрывочными воспоминаніями объ отеляхъ, автомобиляхъ и музеяхъ. Эти безсвязныя пятна реальной жизни были какъ бы вкраплены въ дурманящій сонъ, который снился весь день и замиралъ ночью. Лѣнивая память перепутала города, народы и языки; казалось, что нѣсколько разъ побывали въ одномъ и томъ же городѣ. И фономъ всего существованія являлся длинный пескончаемый стукъ колесъ, желѣзный вздоръ, который, не переставая, бормочетъ несущійся поѣздъ.

Медленно шель пароходъ, словно бѣлый призракъ среди призраковъ. Въ застывшей сонной одурѣ лежилось сине-зеленое озеро и вставали горы. Глубокая, волнующая тишина наполнила сердце и ширила мозгъ. Невозможно было шутить или громко говорить. Изъ года въ годъ въпродолженіи столѣтій по одной и той-же строго вычерченной водяной дорогѣ шель пароходъ, и всѣхъ ждало одно и то же, тѣ же горы и небо; но неизмѣнно начиналась сказка сначала и была такъ же прекрасна, какъ въ первый день, когда ненарокомъ сотворилъ ее Господь. Такъ же сидѣли „онъ“ и „она“ — какой-то мужчина и женщина и думали тѣмъ же глубокимъ, суровымъ, нѣжнымъ и легко рвущимся молчаніемъ. И каждый начиналъ съ начала жизнь, мечту и ошибку всего рода. Исчезалъ срокъ времени, и не было смерти... Сонной одурью плескалось зыбкое озеро, снѣжнымъ видѣніемъ, застывшей мыслью вставали и шли другъ на друга горы; свѣтило нѣмымъ счастьемъ солнце, и растворялась вся жизнь въ дыханіи лѣта.

— Миша,—сказала она тихо и закрыла глаза. Это означало: я счастлива, я умираю въ счастье.

— Да,—отвѣтилъ онъ все съ тѣмъ же, внѣшне застывшимъ, сосредоточеннымъ лицомъ, скрывавшимъ безмѣрную радость.

Она стала у самой кормы, наклонивъ лицо надъ бортомъ; легкія брызги воды, словно порхающія жемчужинки, били лаской въ лицо. Нѣжный вѣтеръ, грустный, какъ полузабытая народная пѣсня, трогалъ лаской щеку и затылокъ. Большая, тяжелая, крѣпко сработанная цѣпь шла по палубѣ, медленно двигаясь и разминаясь въ кольцахъ, словно живая. И все — вода, горы, вѣтеръ, солнце и вся жизнь тихо плыли куда-то, въ нѣмую счастливую даль безъ границъ. О, блаженство бывшихся сновъ, святая грусть молодости...

Мимо прошла молодая пара: высокій молодой человѣкъ съ загорѣлымъ лицомъ и щетинисто подстриженными свѣтлыми усами; о его руку интимно опиралась маленькая, очень гибкая женщина съ такими большими черными глазами, что ихъ иначе нельзя было назвать, какъ только „пронзительными“. Мужчина былъ похожъ на офицера въ штатскомъ платьѣ. Онъ бѣгло взглянулъ на Лиду, потомъ, оглянувшись, еще разъ болѣе внимательно и серьезно. Видимо парочка недавно повѣнчалась и тоже совершала свадебное путешествіе; они медленно прогуливались вдоль палубы; у обоихъ на безымян-

ныхъ пальцахъ были крупныя, гладкія, еще не потускнѣвшія кольца. Когда незнакомецъ вторично поравнялся съ Лидой, онъ строго-печально и серьезно взглянулъ на нее, и ихъ взгляды встрѣтились въ непонятномъ напряженіи. Лидѣ показалось, что онъ какъ-то похожъ на Михаила Львовича. Она отвернулась и забыла про него. Миша не замѣтилъ ихъ, какъ не замѣчалъ теперь ничего.

Черезъ десять минутъ Лида не безъ изумленія увидѣла, что тотъ-же высокій человѣкъ, не спѣша и вѣжливо приподнявъ бѣлую мягкую шляпу, приблизился къ Михаилу Львовичу.

— Могу я сказать вашей дамѣ два слова?—произнесъ онъ по французски, отлично владея собой и внѣшне совершенно не смущаясь.

— Моей дамѣ?—удивленно переспросилъ Миша и поспѣшилъ добавить, какъ-бы чуть-чуть хвастая:—Это моя жена.

— Разрѣшите мнѣ...—повторилъ французъ и поклонился въ сторону Лиды. Она почувствовала подъ маской сдержанной вѣжливости его серьезное и глубокое волненіе.

— Я не понимаю,—растерянно отвѣтилъ Миша:—Какъ ты думаешь?—вопросительно обратился онъ къ женѣ.

Лида кивнула головой:

— Пожалуйста.

Французъ какъ бы небрежно поклонился; Михаилъ Львовичъ смотрѣлъ на француза и ждалъ. Всѣ трое молчали. Незнакомый человѣкъ холодно взглянулъ на Мишу и пробормоталъ:

— Виновать...

Тотъ потоптался и, недоумѣвая, отошелъ. Сначала Миша издали наблюдалъ за ними, видѣлъ спину француза и спокойное лицо Лиды. Потомъ что-то кольнуло его, и онъ отвернулся.

Французъ снялъ шляпу. Лида выпрямилась, положивъ руку на перила палубы. Они стояли другъ передъ другомъ, незнакомые и страшно близкіе. Лида, прежде хорошо владѣвшая французскимъ языкомъ, успѣла нѣсколько отвыкнуть. Она мысленно переводила то, что сказалъ ей высскій человѣкъ съ золотистыми, щетинисто-подстриженными усами, и такимъ образомъ получалось, будто незнакомецъ говорилъ на своеобразномъ, слегка неправильномъ русскомъ языкѣ. Сказалъ же онъ слѣдующее:

— Виновать. Я здѣсь, на пароходѣ, вмѣстѣ со своей женой. Мы повѣчались десять дней тому назадъ. Я оставилъ ее, чтобы сказать вамъ, сударыня... Вѣроятно, мы никогда не встрѣтимся, и мнѣ ничего не надо. Я долженъ сказать вамъ—(онъ посмотрѣлъ на нее)—со всею серьезностью человѣка, который знаетъ жизнь и женщинъ, ваушить вамъ, что только съ вами я могъ бы быть счастливъ. И вы со мной тоже. Прошу меня простить. Не примите

меня за авантюриста или безумнаго—(онъ криво и вѣжливо улыбнулся).—Ви-дишь женщину и говоришь себѣ: „Это она“. Какъ будто встрѣчаешь ту, ко-торую уже однажды встрѣтилъ, но позабылъ. Это очень просто и очень сложно—вы понимаете? Все, что дѣлаешь до встрѣчи съ нею, похоже на измѣну ей—вы понимаете? Я взглянулъ на васъ, сударыня, и такъ близко узналъ васъ, какъ будто выросъ рядомъ съ вами. Я знаю ваши тонкія губы и широкій ротъ, ваши большія руки съ длинными, къ концу утончающимися пальцами. Какъ будто я тысячи разъ сжималъ ихъ въ своихъ рукахъ (онъ протянулъ ей свои обѣ руки, точно давалъ себя заковать). Я знаю и чувствую вашу маленькую дѣвичью грудь—о, простите, вѣдь вы видите, какъ я го-ворю!—и все ваше тѣло, все ваше тѣло, которое создано для меня, только для меня... Я не кричу, вижу, какъ обстоитъ дѣло и... сейчасъ отойду. Го-ворятъ, есть сродство душъ, и одна душа всю жизнь тоскуетъ о другой. Не знаю, возможно. Но есть также сродство тѣлъ, и это, можетъ быть, еще важ-нѣе для человѣческаго счастья. Боже мой, какъ я понимаю ваше лицо! Какъ оно гармонируетъ со всѣмъ вашимъ тѣломъ! Я смотрю вамъ въ глаза, и точно вы голая передо мною такъ, какъ создалъ васъ Господь Богъ для меня. Вы не знаете себя, вы больше, чѣмъ кажется, и ни одинъ мужчина не скажетъ вамъ того, что я могъ бы сказать. Правда, что у васъ на плечѣ, вотъ здѣсь, двѣ родинки? Виноватъ, я утомилъ васъ. Вы поблѣднѣли? Вѣрно вы недавно замужемъ? Знаете, что было бы самое честное? Сейчасъ-же, не оглянувшись, не простившись, уйти вдвоемъ — я съ тобою — уйти на всю жизнь. Но... но... (онъ помолчалъ, опустивъ голубые глаза). Виноватъ. Про-щайте. Скажите мнѣ ваше имя.

— Лида.

— Лида,—повторилъ онъ и протянулъ руку.—Благодарю.

И быстро, твердо отошелъ, держа въ рукахъ свою мягкую бѣлую шляпу.

\* \* \*

Черезъ часъ французъ подъ руку со своей молодой черноглазой женой покинулъ пароходъ. Лида смотрѣла, какъ онъ, медленно толкаясь, двигался по сходнямъ. Его большая бѣлая шляпа долго мелькала на набережной уже послѣ того, какъ пароходъ отчалилъ. Онъ ни разу не оглянулся.

Михаилъ Львовичъ такъ и не могъ добиться отъ жены, что сказалъ ей французъ. Ему казалось, что тотъ обидѣлъ Лиду, и онъ злился. Когда стем-нѣло, и огромная, холодная зазубренная тѣнь легла плашмя на озеро, съ Лидой случился нервный припадокъ. Она рыдала, кусая платокъ, волосы ея разметались; она была чужая, злая, съ широкимъ, нервно искаженнымъ ртомъ, котораго онъ не понималъ.

Черезъ два дня она успокоилась. Но никогда во всю свою дальнѣйшую

жизнь не знала она ясности безмятежного счастья. Точно холодная зазубренная тѣнь навсегда легла на ея сердце. И пока была молода, не могла забыть словъ, которыя слышала въ солнечный день на глади сине-зеленаго озера, среди призрачныхъ горъ, когда въ сонной одурѣ счастья плескалась тысячелѣтная вода и тихо текла вся жизнь въ нѣмую загадочную даль. Не все было понятно ей. Но пришло время и она стала думать тѣми же мыслями и тѣми же образами и словами, которые бросилъ въ ея сердце высокій незнакомый человѣкъ въ большой бѣлой шляпѣ, съ загорѣлымъ лицомъ и низко подстриженными усами. Уже думалось ей, что дѣвушкой она ждала его; что изъ-за ея любви къ нему зимою стрѣлялся Миша; что измѣнила ему, недождавшись его, и разбила ихъ общее взаимное счастье.

Она сдѣлалась нѣжнѣе, глубже и изящнѣе въ своемъ существованіи. Страданіе благословило ея душу, вело куда-то, и мало-по-малу она привыкла иначе смотрѣть на людей и жизнь. А когда черезъ нѣсколько лѣтъ почувствовала себя беременной, сказала себѣ:

— У меня будетъ дѣвочка. Я научу ее такъ думать и жить, какъ онъ говорилъ мнѣ. Она должна быть счастлива.

И тихія слезы упали ей на колѣни.

Осипъ Дымовъ.

---

## В О Л Ъ С Я Х Ъ.

### Разсказъ.

Идетъ Никонъ по посаду, и всѣ прохожіе на него оглядываются: что за чудо вылѣзло изъ темныхъ лѣсовъ?

На Никонѣ овчинный полушубокъ, осташи подъ цвѣтъ полушубку, темнорусая грива волною сбѣжала на плечи, а на гривѣ красуется черная скуфья; въ правой рукѣ Никона высокій посохъ изъ славнаго дерева—орѣшника, на верху посоха вырѣзанъ крестъ.

И здоровъ же Никонъ, здоровъ—сушій богатырь: плечи—косая сажень, ростомъ великъ, русая борода прикрыла полъ-груди, а густыя брови нависли, какъ крылья у птицы, вылетѣвшей въ небесную синь.

Съ лица онъ чистъ и благообразенъ, живетъ онъ въ глухомъ лѣсу, а тамъ солнце не жжетъ, не печетъ—по веснѣ не скоро осядетъ загаръ.

Въ посадѣ тысячъ пять жителей, да и то какіе-то дохлые: женщины убогія, мужчины въ засаленныхъ курткахъ и въ мохнатыхъ бараньихъ шапкахъ—желѣзнодорожники, рабочіе, лѣсопромышленники. Пропахли потомъ, нефтью и саломъ, иные съ мыломъ моются въ недѣлю разъ.

Дома въ посадѣ облѣзлые, грязные, улицы вытянулись въ ровныя линіи, какъ будто по чьему-то властному приказу: „Ряды вдвой! Смирно!“ Правда, на многихъ перекресткахъ стоятъ столбы съ керосино-калильными фонарями, въ ночи такъ свѣтло, что читать можно, но и свѣтлые фонари не озарятъ закопѣлыхъ лицъ радостью.

Днемъ и ночью свистятъ, ревуть и съ грохотомъ подбѣгаютъ къ каменному вокзалу трехглазые паровозы, за нихъ цѣпляются, какъ дѣти за подолъ матери, десятки одинаковыхъ и безыменныхъ вагоновъ—въ нихъ скотъ, черкасскіе быки, холмогорскія коровы, новороссійскія свиньи; въ нихъ людъ—баре, подбаре и мужики; а иные—полны ржи, кирпичей, тюковъ съ товарами... Пузатымъ паровозамъ все-равно, что вести, лишь-бы на станціи приставили къ пегнущейся спинѣ желѣзный рукавъ да наполни изъ высокихъ баковъ грязной водой, лишь-бы черные челоуѣчки со свѣтлыми пуговицами не лѣнились подкидывать въ желѣзную утробу каменный уголь или подливать вонючую нефть. Напьются, насытятся — и дальше на стальныхъ лапахъ по стальнымъ тропамъ.

Каменный вокзалъ остается поджидать новыхъ гостей. Подобенъ онъ неуютному дворцу. Чугунныя восьмигранныя колонны со скукой держатъ тяжелую крышу, со скукой люди ходятъ по каменнымъ плитамъ перрона, лѣнливо визжатъ высокія двери.

Не любить Никонъ посада, не любить. Не пошелъ-бы изъ родимаго лѣса, да надобно купить новый горшокъ для варева: старый ненарокомъ разбился.

Выходитъ Никонъ на торговую площадь—день базарный, понаѣхало въ посадъ мужичье, скрипятъ сани, ржутъ кони, ругаются бабы. Тутъ сѣно, тамъ картошка, тамъ молоко, творогъ, сметана, тамъ продаютъ поросятъ,—визжатъ они, горемычные, поднимаютъ ихъ мужики за заднія ноги да потряхиваютъ:

— Порося! порося поенныя!

А внешнее солнце узрилось на маковку прикурнуваго на площади собора, играетъ на серебристомъ куполѣ, перемигивается съ ручьями, журчащими среди талаго снѣга и темно-желтаго навоза.

Всюду брань, крики, божба, всѣ норовятъ другъ-друга падуть и, хоть на копѣйку, да обсчитать.

— Не клянись!—строго говоритъ Никонъ рыженькому мужиченкѣ, продающему картошку желтоносою бабѣ въ синемъ платьѣ.

Мужичекъ сердито взглядываетъ на Никона.

— А тебя, юрода, спрашиваютъ? Пошелъ-ка ты къ чертовой матери!

Никонъ проходитъ своею дорогою къ согнутой въ три погибели бабѣ, разложившей на рогожахъ глиняную посуду.

Старуха сидитъ среди горшковъ, блюдь, чашекъ, латокъ и свистулекъ, какъ между присмирѣвшими внучатами, и шепелявить беззубымъ ртомъ:

— Тебѣ чего, кормилецъ, надобно?

— Горшокъ для варева.

Бабка обводитъ слезящимися очами свой глиняный выводокъ и шамкаетъ:

— А ты, родной, выбери, выбери, сынокъ, выбери. Сей — въ семитку, сей — въ три копѣйки, а сей по пятаку, а сей въ гривку. Выбери, родной, они у меня крѣпконькіе, стукни перстомъ по донышку. Эва, звонъ - отъ какой стоять!

Никонъ выбираетъ, стучитъ. Горшки разные, и простые, и съ глазурью и съ цвѣточками и съ разводами.

— Такъ я, бабка, этотъ куплю.

Онъ прижимаетъ къ груди облюбованный горшокъ, вытаскиваетъ изъ засаленнаго кошель пятакъ и расплачивается.

— Прощай, бабка.



— Прощай, кормилецъ мой.

Никонъ проходитъ черезъ кишашую людомъ площадь и на поворотѣ встрѣчается съ Павлухой-охотникомъ.

— Тпру!

Павлуха осаживаетъ коня.

— Садись, святой, подвезу.

Никонъ радъ:

— Спасибо, Павлуха!

Садится въ розвальни рядомъ съ нимъ.

Ѣдутъ. Павлуха посапываетъ грязнымъ носомъ да настегиваетъ чалую лошаденку узловатымъ кнутомъ. Отъ Павлухи сильно разить водкою: пьяный человѣкъ, что дѣлать. Одѣтъ онъ не по мужицки: на головѣ шведская шапка, самъ въ трепаной ватной тужуркѣ съ большими черными пуговицами, кушакомъ не опоясывается.

— Какъ живешь, Никонъ? Не надоѣло во лѣсяхъ?

— Нѣтъ.

— Н-но, ты, собака!

Павлуха свирѣпо стегаетъ коня, точно собрался пересѣчь его пополамъ. Голова у Павлухи маленькая, усы коротко подстрижены, бородка — клиномъ, а лицо темное, въ глубокихъ морщинахъ. Глаза же у него красные отъ непробуднаго пьянства, ничего нельзя по нимъ разобрать—хорошо-ли ему, плохо-ли, веселье-ли, сердить-ли.

Конь шлепаетъ копытами по мокрому навозу, розвальни раскатываются.

— Что въ деревню не ходишь? У насъ новый попъ, старовѣрческій, изъ начетчиковъ, умный, чуть пріѣзжаго миссіонера не осрамилъ. Да только тотъ хитрый: потеръ носъ, православные и начали галдѣть, не дали договорить. Знакъ такой: потеръ носъ—подымай на всю церкву крикъ.

Никонъ отмалчивается. Павлуха не вѣритъ ни въ сонъ, ни въ чохъ, а въ Бога и подавно, что съ нимъ говорить. Ради ссоры и о миссіонерѣ заводитъ рѣчь: станетъ Никонъ хулить начетчика, Павлуха старовѣромъ прикинется, будетъ хвалить — Павлуха скажетъ: „Мы, православные!“ Ему бы поозоровать.

Улицы остаются позади. Посадъ кончается, вотъ послѣдній домъ, двухэтажный, дерявянный, крашенъ голубой краской. У воротъ—высокій шестъ, а на шестѣ жестяной человѣкъ трубить въ рогъ: куда вѣтеръ, туда и онъ, да только никто его не слышитъ, а вѣтры его трубы не пугаются.

...Разстилаются лучезарно-тающія поля. Такъ ярко, такъ бѣло вокругъ, что глаза жмурятся сами собой.

— Взопрѣлы!—говоритъ Никонъ, отирая рукавомъ полушубка со лба потъ. — Пришла весна, Павелъ, пришла.

По дорогѣ прыгають сойки и сороки. Онѣ совсѣмъ не боятся лошади, хитрыя твари—небось, выйди съ ружьемъ, разлетятся во все стороны. А въ придорожныхъ кустахъ сидятъ мелкія пташки, коношлянки да воробы; и такой у нихъ пискъ стоитъ, что далече по полю звонъ разливается, словно бы шагаетъ впереди красная дѣвица, а въ подолѣ у нея битыхъ стеклышекъ видимо-невидимо, и думаетъ она о томъ-о-семъ, стеклышки позвякиваютъ.

Жалуются Павелъ:

— Вышелъ приказъ: отбирать ружья, ежели безъ свидѣтельствъ. А свидѣтельство получить—рубль съ полтиною на марки отдать, да можетъ и не разрѣшать. Самъ посуди: а ежели у меня два ружья, дробовикъ да пульное на красного звѣря... что подѣлаю? Прошенія? Пулевыхъ не пропускаютъ, одни дробовики. А я и прошеніевъ не подамъ и ружей не представлю, пушай сунутся: пропадать такъ пропадать, ужъ всыплю имъ изъ обонхъ, такъ и быть.

— Что ты, Павелъ,—укоряетъ его Никонъ,—да какъ же въ человѣка палить? Душа въ немъ. Не дѣло замыслилъ, Павлуха, не дѣло. А ты на марки не жалѣй... А пульное... ну, авось, и дробовикомъ управишься. Да и большой это грѣхъ промыслятъ убіеніями: чай, и зайцамъ и тетеревамъ жить-то во какъ хочется.

Павелъ сердится:

— А мнѣ издыхать? Голова баранья!

Дорога черна, розвальни переваливаются съ боку на бокъ, изъ коленъ въ другую.

Павлуха вытаскиваетъ изъ кармана бутылку, выбиваетъ ладонью пробку и, закинувъ назадъ голову, тянетъ водку изъ горлышка. Пьетъ, не стрываясь, качается на выбоинахъ, стекло ляскаетъ по зубамъ, но Павелъ терпѣливъ. Отпивъ полъ-бутылки, онъ затыкаетъ ее пробкой, валится на спину и начинаетъ горланить пѣсни. Пѣсни поетъ онъ разныя: „Сударушка, сударушка, ты вымой мнѣ портки“, а потомъ: „Вы жертвою пали въ борьбѣ роковой“. Голосъ у него хриплый и со срывомъ, даже лошадь досадливо шевелитъ ушами, слушая его галдѣнье, скоро ему и самому надоѣдаетъ.

— Никешка, а вѣдь у меня того... жена умерла.

— Знаю: Царствіе ей небесное.

— Да, умерла. Семнадцать лѣтъ прожили душа въ душу. Бывало, пьяный приду, уложить, а утромъ водочки съ капусткой дастъ: „на, непутевый, опохмелись!“ Умерла—и кончено. Эй, ты, анафема!

Онъ стремительно приподымается, хлопчетъ со всего размаху коня и заваливается спать.

Вѣѣзжаютъ въ лѣсъ. Стоятъ ели, какъ шатры; стоятъ свѣтложелтыя

сосны, какъ сторожевые; а мелкій ольшанникъ столпился у самой дороги, подглядываетъ, высматриваетъ—дескать, нельзя ли и мнѣ пролѣзть въ чащу: я маленькій.

— Охъ, Никешка, Никешка, баранья твоя голова!—вскрикиваетъ Павлуха, смотря въ лазоревое небо.—Да и какъ же мнѣ вѣкъ вѣковать: семь ребятенковъ на плечахъ, самъ вѣдаешь. Куда приткнусь, куда положу мою бѣдную голову. А тутъ еще ружье отбирать... только—дудки, братъ, вилами на водѣ писано.

Никонъ молчитъ.

— А правды, Никонъ, нѣту, знаю доподлинно...

Никонъ молчитъ.

— Дуракъ ты, Никонъ, оселъ, эка, чучеломъ какимъ вырядился, смотришь тошно—во лѣсахъ живетъ, спасается!.. Впиа ты, вопючая, вотъ кто ты: уползъ, чтобы ногтемъ не тиснули. Не такихъ видывали, на кривой не обѣдешь.

Никонъ вскипаетъ гнѣвомъ, но крѣпится, молчитъ.

Павлуха подымается со спины и тпрукаетъ коня, конь останавливается.

— Ступай къ чорту!—указываетъ Павлуха кнутовищемъ на дорогу.— Нѣтъ моей воли везти тебя, потому—врагъ ты мой и непріятель. Ступай къ лѣшему!

— Анъ нѣтъ, повезешь!—горячится Никонъ, въ голубыхъ глазахъ загорается пламень.—Говорю, повезешь, и повезешь. Н-но, пошелъ!—окликается онъ коня.

— Тпру, Васька! тпру!—захлебывающимся отъ гнѣва голосомъ повелѣваетъ Павлуха.—Ступай къ дьяволу, Никонъ, по добру—по здорову: Конь чей? Мой?

— Твой.

— Пу, и уходи.

— Не уйду.

— Не уйдешь?

— Не уйду.

— А ежели я тебѣ въ морду дамъ?

— Дай!

— И дамъ!

— Ой, Павлуха, не введи въ грѣхъ. Тебѣ со мной не уира...

Договорить Никону не удается, Павлуха ловко изгибается, схватываетъ его за подмышки, сбрасываетъ на дорогу и такъ настегиваетъ коня, что тотъ пускается въ скачъ.

— Ха! ха! ха! ха!—хохочетъ вмѣстѣ съ Павлухой лѣсъ,—не управился. Лежи до второго пришествія.

Клокочетъ и шумить въ Никонѣ ненависть. Ну, Павелъ, не сносить тебѣ головы! Не уйдешь! Не уйдешь, нѣтъ!

Онъ вскакиваетъ на ноги и бѣжитъ за розвальнями, размахивая посошкомъ. И отколотить же онъ Павла этимъ посохомъ, всѣ ребра выстукаетъ. Да и по зубамъ, по зубамъ...

Но Павелъ настегиваетъ коня, тотъ даетъ ходу.

— Горшокъ отдай!—вдругъ вспоминаетъ Никонъ, что покупка осталась въ розвальняхъ.—Па-авелъ, горшокъ отдай!

Павелъ придерживаетъ коня и выкидываетъ горшокъ своему преслѣдователю; при паденіи отъ горшка отлетаетъ порядочный кусокъ. Этого окончательно не можетъ вынести Никонъ,—не поднимая горшка, онъ бросается къ розвальнямъ; Павелъ принимается настегивать коня, но тотъ, точно оглушенный ударами, не торопится прибавлять бѣгу. Никонъ ухватывается за край розвальней, Павелъ бьетъ его сапогомъ по лицу, но Никонъ, не обращая на боль вниманія, вскакиваетъ въ розвальни, и между ними начинается борьба.

— Пусти!—хрипитъ Павелъ, барахтаясь въ желѣзныхъ лапахъ противника.

Никонъ сбиваетъ Павлуху съ ногъ, наваливается на него, разгоряченные лица сближаются, точно для поцѣлуя.

Конь бѣжитъ.

И вотъ Никонъ бьетъ поверженнаго Павла. Бьетъ сѣирѣпо, безъ всякой жалости, подъ его громадными кулаками темное лицо Павла расцвѣтаетъ кровавыми пятнами.

— Пусти!—умоляетъ Павелъ.

Озвѣрѣвшій Никонъ продолжаетъ молотить кулаками по его лицу. Павелъ съ ругательствомъ освобождаетъ правую руку, запускаетъ ее за голенище сапога и вонзаетъ въ щеку Никона ножъ.

Никонъ скатывается съ саней и сперва не можетъ сообразить, что съ нимъ сдѣлалъ Павелъ; полущубокъ, борода заливаются кровью, ротъ тоже полонъ теплой и солоноватой крови. Никонъ сплевываетъ ее на снѣгъ, но кровь набѣгаетъ снова и снова, тогда онъ набиваетъ ротъ снѣгомъ, отъ этого кровавый токъ словно бы слабѣетъ. Не порѣзанъ ли языкъ?—Никонъ выплескиваетъ изо рта окровавленный снѣгъ и кричить:

— Па-авелъ! По-одлый!

Слава Богу, языкъ въ исправности, ну, а щека—пустякъ, въ недѣлю зарастетъ. Но каковъ стервецъ: „сидись, подвезу!“—а потомъ—бултыхъ на земь. Подлый!.. И горшокъ раскокалъ.

Никонъ встаетъ со снѣга и подбираетъ посошокъ, выпавшій вмѣстѣ съ нимъ изъ розвальней. Охъ, бѣда: отломился крестъ, и торчатъ теперь вмѣсто

креста щепы, похожая на кукишъ. Вотъ тебѣ и труды: три дня вырѣзалъ Никонъ крестъ, надпись сдѣлалъ—Иисусъ Назорей Царь Іудейскій,—и чего не осталось. Ахъ, подлый, подлый Павелъ!

Онъ вздыхаетъ, нахлобучиваетъ смятую скуфью и шагаетъ, понуря голову, назадъ, къ тому мѣсту, гдѣ лежитъ горшокъ. Не возвращаться же въ посадъ за-новымъ: почитай, добрыхъ верстъ десять отъѣхали.

Горшокъ лежитъ посреди дороги, прискорбно разбивая глиняное жерло. Да, краешекъ отбить, но варить все-таки можно.

Никонъ поднимаетъ горшокъ и, отъ времени до времени сплевывая на снѣгъ скопляющуюся во рту кровь, направляется во-свои. Срамъ-то какой, о, Господи! Ахъ, подлый, подлый Павелъ!

Такъ онъ идетъ и сокрушается. Вдалекѣ слышенъ скрипъ саней, „Спрягаться?“—думаетъ Никонъ, но изъ-за елей выѣзжаетъ возокъ—цыгане, отъ нихъ нечего скрываться.

Шагаетъ навстрѣчу.

Сытая кобыла тащить въ гору бѣлый некрашенный возокъ; возокъ заваленъ сѣниками и одѣялами, изъ подъ нихъ высовываются двѣ черныя рожницы, дѣвочки да мальченка: глаза широкіе, рѣсницы длинныя, губы красныя, волосы всклокоченные—братъ да сестра. Сзади возка прилажена деревянная клѣтка, а въ ней стоитъ розовая свинья и вмѣстѣ съ дѣтьми уставилась на встрѣчника.

— Съ добречкомъ!—привѣтствуетъ дѣтей Никонъ.

Они пересмѣхаются и что-то лопочутъ по-своему.

— Гдѣ тятка?

— А въ саняхъ!—отвѣчаетъ дѣвочка.

— А matka?

— Тамо же.

Головы дѣтей скрываются, слышенъ плачь, въ дыру высовывается кудластая голова молодого цыгана, съ серебряной серьгой въ лѣвомъ ухѣ. Немного погодя, высовывается и цыганка, съ ожерельемъ изъ пятаковъ на стройной шеѣ.

— Съ добречкомъ!—повторяетъ Никонъ.—Куда путь держите?

— Въ посадъ.

— Такъ. А ты, баба, щеку мнѣ не залѣчишь? Ворогъ ножомъ проткнулъ. Я бы пятакъ далъ за мастерство.

Цыганъ задерживаетъ кобылу, а цыганка еще больше высовывается изъ возка; красная кофта распахивается, Никонъ видитъ двѣ смуглыя груди, и хочется ему стукнуть цыгана по виску, а самому нырнуть въ теплый возокъ и съ молодухой полюбоваться.

— Ну!—нахмуривается онъ.—Смокаешь?

Цыганка, лукаво сверкнувъ темными глазами, застегиваетъ кофту и говоритъ, заодно глядя на Никона:

— Могу. Пятака мало. Клади, игумень, пяталтынный.

— Эка!—возмущается Никонъ, — да дыра-то невелика, ножомъ ткнуто. Кабы широкая, такъ пожалуй, а то чего тутъ... Семь копѣекъ хочешь? Больше не дамъ.

— Нельзя, игумень, нельзя, золотой мой, красавецъ писанный. На гривну снадобья да заговору на пятакъ. Дешевле нельзя, ароматный мой.

Но Никонъ твердъ:

— Два пятака, больше ни гроша. Тебѣ же прибыль, а мнѣ что—я и съ дырой прохожу.

— А красавца дѣвки разлюбятъ! — парасиѣвъ насмѣхается надъ нимъ цыганка.—Не скупись, бояривъ, яичко раскрашенное.

— Тѣфу, ты!—негодуетъ Никонъ:—Ну, ладно, залѣчивай.

Голова цыгана исчезаетъ, а цыганка вылѣзаетъ изъ возка на дорогу: видитъ Никонъ сквозь тонкую кофту, какъ качаются ея отвислыя груди

— Подай ручникъ, Данило.

Цыганъ подаетъ вышитое по краямъ грязное полотенце. Цыганка вытираетъ щеку Никона снѣгомъ, а затѣмъ полотенцемъ. Щека горитъ и ноетъ. То же цыганка продѣлываетъ и съ внутренней стороны щеки, она велитъ Никону пошире разинуть ротъ и натираетъ—сперва снѣгомъ, послѣ полотенцемъ.

— Глянѣ-ка, желанный, въ бровь мою да обо мнѣ, кралѣ, думай.

Смотритъ Никонъ на черную бровь, а острые глаза цыганки, какъ двѣ иглы, покалываютъ,—глядитъ она прямо въ его зрачки и воровитъ:

Отдѣпись, лиха-бѣда!  
Встань на рѣчкѣ, кровь-руда!  
И съ топорикомъ по рѣчкѣ иду,  
Порубить хочу злую бѣду.  
Сорвать голову съ плечъ,  
Поперекъ пересѣчь.  
А ты встань-встань, алый ледъ,  
По тебѣ ли добрый молодецъ пройдетъ.  
Ужъ ты, кровь, ты, кровь-руда,  
Не улѣзешь изъ-подъ льда!  
А тому быть верушиму,  
А добру молодцу невредиму.  
Синь-кунь, хара-харъ,  
Курлы-мурлы, унатаръ.

Цыганка замолкаетъ. Двѣ черныя иглы колятъ больнѣе; страшно Никону: чего добраго, еще обернетъ его глазастая вѣдьма въ матерого волка,—что тогда дѣлать, свои же вилами забьютъ.

— Легче ли, соколъ?

— Маленечко полегчало, — слабо отвѣчаетъ Никонъ, чувствуя, какъ кровь течетъ изъ раны медленнѣе.

— То-то, желанненькій! А теперь латынь - корешкомъ тебя угощу. Глянь на меня, яичко, не съѣмъ.

Никонъ послушно взглядываетъ въ ея безстыдныя очи. Красивая, ай, красивая вѣдьма! Зубки бѣлые, уста, что цвѣточки.

Цыганка даетъ ему сѣрый корешокъ и велитъ чуточку откусить, пережевать да жвачку языкомъ во рту поводить, а потомъ выплюнуть. Никонъ въ точности слѣдуетъ ея указаніямъ, кровь совсѣмъ стихаетъ; онъ выплевываетъ окровавленную жвачку на снѣгъ, для чего-то крестится и суетъ цыганкѣ пятіалтынный.

— Спасибо, баба, свое дѣло добро кумекаешь.

Цыганка влѣзаетъ обратно въ дыру и протягиваетъ ему свою маленькую руку.

— А погадать - то, брилліантовый, не желаешь? И напередъ и назадъ, какъ на ладонѣ выложу.

— Не требуется! — хмуро отвѣчаетъ ей Никонъ. — Счастливый путь!

Онъ нерѣшительно беретъ ручку цыганки и пожимаетъ. Цыганка попускаетъ кобылу, повозка трогается, розовая свинья тупо оглядываетъ Никона, проѣзжая мимо него.

Онъ быстро шагаетъ по дорогѣ, посошокъ скрипитъ, упираясь въ снѣгъ.

Никонъ переходитъ черезъ ручей, ручей еще не раскрылся, но, судя по желтымъ и синимъ лужамъ и таламъ скоро освободится отъ льда и зажурчить свою неумолчную пѣсню. Идетъ весна, идетъ весна!.. Уже не по зимнему стоять лѣса, кто-то дышетъ въ нихъ, потягивается, подымается изъ сырой земли.

За ручьемъ въ лѣсъ вползаетъ темная, темная тропа, ноги Никона топтали ее въ снѣгахъ, и ведетъ она прямокомъ къ его хибаркѣ, гдѣ онъ спасается отъ злобы міра сего.

Въ лѣсу полумракъ. День клонится къ сумеркамъ. Отъ сосенъ, отъ елей лежатъ густыя тѣни на темно-синемъ снѣгу.

Все-то мило, все-то знакомо здѣсь Никону. Вонъ, на той соснѣ было ястребиное гнѣздо, вывелись въ немъ малыя ястребята въ прошломъ году, зналъ о нихъ Никонъ, но и самъ не убилъ и другимъ не указалъ. Что же, и выросли, и полетѣли, — страсть, поди, сколько перетаскали ныпять у хозяекъ.

А тамъ, у ели, — высокій холмъ-муравейникъ. Сколько народу въ немъ — и не пересчитать. Стекутъ ручьи, вылѣзутъ муравьи, обогрѣются и — за

честный трудъ. Тотъ претъ бревно, тотъ волочить камень — песчинку, тотъ загоняетъ въ стойла земляныхъ блохъ, чтобы для артели налонтъ. Хочется, давно хочется Никону разузнать, гдѣ кладбище у муравьевъ и какова муравинная царица, да никакъ не приходится. Авось, сей весной свѣдаетъ.

Съ глухимъ шумомъ черныхъ крыльевъ изъ-за куста вылетаетъ какая-то большая птица и медленно, словно сознавая свою безопасность, скрывается за дальними деревьями. Можетъ статься, то воронъ, что на зарѣ каркалъ, можетъ, чернышъ-тетеревъ, съ красными бровями. Важные эти тетерева, а дураки, не съ проста ихъ прозвали Терентіями.

Лѣсъ молчитъ, не шевелится, не качается, но сильнѣе и явственнѣе нѣкто дышетъ, поднимается изъ сырой земли.

Вдругъ въ тишину врывается пронзительный стонъ, всей кровью кто-то восплакался и замолкъ. Никонъ идетъ на крикъ, зорко смотря по сторонамъ.

... Дальше, направо...

Лежитъ морковка на снѣгу, а передъ нею бьется, придавленный желѣзнымъ обручемъ капкана, заяцъ. Онъ и крикнулъ. Русакъ... Не гулять тебѣ по дремучимъ лѣсамъ, не скакать по полямъ въ мѣсячную ночь, не согрѣться рядомъ съ зайчихою.

Никонъ гнѣвается, Кто поставилъ капканъ? Чьихъ рукъ злое дѣло? Мало порвалъ силковъ, еще и съ капканами прилѣзли! Посмѣли!.. Ладно-же, пиши пропало: зайцу смерть, а желѣзо въ воду.

Онъ раздвигаетъ тугую пружину, освобождаетъ прищемленного поперекъ туловища зайца, беретъ его за заднія ноги и со всего размаху ударяетъ головой о древесный стволъ. Крякъ!—не рыскать косоглазому ни за травкой, ни за мхомъ, ни за рыжею морковкой.

Никонъ вскидываетъ русака на плечо и держитъ его за ноги лѣвою рукой, въ которой и горшокъ, въ правую же онъ беретъ тяжелый капканъ. А вѣдь не иначе, какъ Павлухина продѣлка... Мало ему ружейной добычи, давленной захотѣлъ. Нѣтъ, братъ Павелъ, оскѣся. Еще онъ зарится на хитрую лису, что зимуетъ гдѣ-то невдалекѣ. Можетъ, когда налаживалъ капканъ, и о ней подумывалъ, дескать, чѣмъ чортъ не шутить—возьметъ желтая лиса да и влѣзетъ... Только нѣтъ, ничего не вышло.

Никонъ подходитъ къ невысокому почернѣлому и обросшему зеленымъ мохомъ срубу. Это колодець; его Никонъ вырылъ въ позапрошломъ году, когда ручей пересохъ и не было питьевой воды. Вотъ сюда-то и спустить Никонъ капканъ, пусть Павелъ ищетъ.

Онъ сбрасываетъ зайца на снѣгъ, а самъ нагибается надъ колодецемъ и заглядываетъ въ него—темно, глухо. И онъ раздумываетъ бросать туда на-



ходку, взваливает зайца на плечо и быстро уходит по тропѣ къ своей кельѣ. Не надо поганить ключевую воду, пропахнетъ ржавымъ желѣзомъ.

Келья стоитъ на крутомъ берегу ручья. Весной и лѣтомъ Никонъ любитъ сидѣть на ступенькѣ своей крохотной избушки и слушать, какъ юркій ручей звенитъ-поетъ-разсказывать сказки. И тогда душѣ сладостно, и чудится, что за кущею деревъ притаились золотыя ворота, а у тѣхъ воротъ ангелы, въ бѣлыхъ ризахъ и съ пламенными мечами. Малой мышкой бѣжить къ золотымъ воротамъ душа Никона... Но зимою ручей нѣмъ и душа тоже нѣма.

Келья подобна бревенчатому коробу; есть въ ней маленькая желѣзная печка, а на крышѣ торчитъ круглая глиняная труба, совсѣмъ, какъ и у настоящей избы. Есть и оконце, узкое, безъ рамы,—стекло вмазано прямо въ срубъ.

Никонъ отмыкаетъ свое жилище, скидываетъ зайца и капканъ на полъ, вычеркиваетъ огонь и зажигаетъ жестяную лампочку, висящую надъ его скуднымъ ложемъ—двумя досками, положенными на козлы.

Бревенчатыя стѣны каморки заклеены „божественными“ картинами: тутъ краснѣетъ геенское пламя, въ немъ же корчатся нераскаянные грѣшники; тутъ—наглядно показаны ступени житія: рождается человѣкъ, а надъ колыбелью уже склонилъ свою гнусную харю рогатый бѣсъ, но противъ него стоитъ ангелъ, опоясанный золотою веревочкой,—и бѣсъ въ смущеніи: ничего съ младенцемъ не подѣлать. Но когда ребенокъ выросъ въ румянаго школьника, и школьникъ пошелъ воровать яблоки, ангелъ прислонился къ забору и заплакалъ, а бѣсъ возрадовался. Въ двадцать лѣтъ человѣкъ пристрастился къ игрѣ въ карты, къ вину и блудницамъ, а денегъ-то у него мало, и добывать ихъ трудомъ онъ не охотникъ, и вотъ крадется онъ съ ножомъ на печаль ангелу. Всѣхъ ступеней житія двѣнадцать; на послѣдней человѣкъ сидитъ въ креслѣ лысый и согбенный и умираетъ, ангелъ-хранитель сокрушается: не миновать человѣку ада кромѣшнаго.

Никонъ вѣшаетъ скуфью на гвоздь въ стѣнѣ, скидываетъ полушубокъ и изъ монаха превращается въ обыкновеннаго мужика: красная рубаха, домотканные порты. Тѣсно богатырскимъ плечамъ въ кельѣ, — вздохни онъ, разомнись похорошему и все полетитъ къ чертямъ, рушится келья, какъ скорлупа.

Подъ потолкомъ прикурнулъ на приколоченной надъ дверью жердочкѣ красный пѣтухъ, по имени Степка. Степка—закадычный другъ Никона и его голосистые часы. Онъ не ошибется во времени, поетъ въ полночь, въ полночь и на зарѣ. Перышки у него красныя, гребешокъ тоже красный, а на желтыхъ ногахъ отличныя шпоры,—не послѣднимъ драчуномъ слылъ Степка въ деревнѣ, за драчливость его и продали Никону по дешевой цѣнѣ.

При свѣтѣ лампы Степка ежится, изумленно открываетъ радужные глаза, закрываетъ вновь и волнуется, толстый гребень качается.

— Спи, Степушка, спи!—успокаиваетъ его Никонъ,—горшокъ вотъ принесъ, кашу будемъ варить.

Пѣтухъ нахохливается и спитъ. На его радужныхъ глазахъ тонкая перепонка, и отъ этого онъ кажется такимъ слабенькимъ, что Никону вдругъ становится всѣхъ жаль, и бабу, продавшую, и подлеца Павлуху, разбившаго злополучный горшокъ. И соекъ жаль, прыгающихъ по талому снѣгу, и зайца, прельстившагося морковкой.

Никонъ опускается на колѣни передъ потемнѣвшимъ образомъ, висающимъ въ углу между картинъ, медленно крестится, кладетъ земные поклоны и подолгу вематривается въ темный ликъ.

— Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Темный ликъ Спаса неуловимо прозрѣваетъ, спокойно и благословляюще смотрятъ на Никона строгіе глаза. „Паршивенькій я!“—сѣкрушенно думаетъ о себѣ Никонъ.

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!

Хоть бы постегать себя, окаяннаго, плетью, хоть бы выдрать языкъ, чтобы не брехалъ по псиному, хоть бы выткнуть перстомъ постылыя очи, чтобы не зарились на блудодѣнія...

Печально Никону, но и сладко отъ печали-тоски. Кабы вѣдалъ Павлуха, кого разобидѣлъ, на кого поднялъ руку, въ кого ножъ воткнулъ: всѣ спать, а Никонъ о душенькѣ своей промышляетъ, залѣзъ въ нее, какъ въ яму, и лопаткой, лопаткой сковыриваетъ со стѣны скверну. И потому, можетъ, Никонъ-то спасется, а тебя, миленькій Павлуха, въ тартарару вѣчную, къ чертямъ на посмѣище, ибо сквернословъ ты и пьяница.

Умиленный своимъ смиреніемъ, обмывшись молитвою, какъ круто-горячею водой, Никонъ съ затяжнымъ зѣвкомъ поднимается съ пола, тушитъ лампу и ложится спать. Въ полночь Степка кричитъ: „Кук-рек-ку!“—но Никонъ отъ пѣтушинаго крика не просыпается, лишь повертывается на другой бокъ.

И спитъ онъ до самой зари, пока синій разсвѣтъ не заглянетъ въ тусклое оконце. А тогда закаркаютъ вороны, задолбятъ дятель по деревьямъ, летитъ съ жердочки Степка и захлопаетъ красными крыльями: дескать, здравствуй, Никонъ, брось, другъ, поживать,

Когда солнце на лазоревыхъ высяхъ, Никонъ, подкрѣпившись гречневой кашей, выходитъ на приступокъ чинить поломанный посохъ. Въ лѣсу шумъ и пѣвъ, рушатся снѣга, оживаютъ деревья, поютъ птицы, чуя весну.

Трудно сапожнымъ ножомъ вырѣзать новый крестъ и на немъ новую

надпись,—Никонъ, сидя на приступкѣ, горбится, морщится и потѣетъ, а солнце сіяетъ на загрязненной стали и путается въ кольцахъ окладистой бороды.

Степка же бродить по лѣсу, задираетъ кверху пламенную голову, кукурекаетъ и ждетъ, не покажется ли изъ за кустовъ рябая курица. Ждетъ долго, кукурекаетъ звончѣй и тоскливѣе, но... нѣтъ отвѣтнаго кудахтанья. Его ногамъ вдругъ дѣлается холодно, онъ поджигаетъ одну ногу подъ себя и стоитъ, какъ журавль на болотѣ.

— Степка! Степка!—зоветъ его Никонъ,—подъ сюда, овса дамъ.

Пѣтухъ оживаетъ и стремглавъ бѣжитъ къ хозяину. Никонъ выноситъ изъ кельи горстку овса, насыпаетъ передъ приступкомъ и, опять расположившись на своемъ мѣстѣ, добродушно посматриваетъ, какъ краснокрылый питомецъ подбираетъ овсяныя зернышки.

— Ни-ко-онъ!—неожиданно раздается чей-то окликъ. Никонъ поворачиваетъ голову въ ту сторону, откуда кричатъ. Ковыляется нищій Кривда, убогій человѣкъ.

У Кривды одной ноги нѣтъ, вмѣсто нея деревяшка; одѣтъ Кривда въ бабью кацавейку, съ нея же грязная вата свисла клочьями, сквозь дыры видно бѣлое тѣло Кривды.

— Здорово, Кривда!

— А я къ тебѣ, Никонъ... Эт-та...

Кривда одноглазъ, бороденка поганая, отъ волоса до волоса—цѣлая верста. Въ правой рукѣ палка, съ лѣваго бока оттопырилась холщевая сума, видно, много понакидали Кривдѣ по деревнямъ.

Кривда подходитъ къ Никону, пожимаетъ его руку и присаживается рядомъ съ нимъ на приступокъ.

— Эт-та... Грѣешься?

— Грѣюсь. Вчерась посошокъ поломалъ, седни чинить выдумалъ.

— Эт-та... А я Павлуху видѣлъ.

— Экое счастье, подумаешь!—нахмуривается Никонъ.—Скажи ему, что я, де, капканъ его нашелъ, а въ капканѣ зайчикъ-русакъ, и все это у меня въ кельѣ, да Павлу-то больше ничего не видать; даромъ, что капканъ имъ заложенъ. Такъ и скажи, молъ, и впредь по-сему будетъ. А коли сюда сунется, живому не выдти!

— Эт-та!—качаетъ вихрастою головой Кривда.—Како слово молвилъ: „живому не выдти!“

— Башку ему қолуномъ разможжу замѣсто чурбана!

Кривда вздыхаетъ и грустно смотритъ сѣрымъ глазомъ на Никона.

— Глянько-сь, онъ те горшокъ прислалъ да повелѣлъ кланяться.

Такъ вотъ чѣмъ набита сума!—Кривда вытаскиваетъ изъ нея новень-

кій горшокъ, лучше того, что купилъ вчера Никонъ,—съ бѣлыми цвѣточками на красныхъ стебляхъ,

— Возьми. Эт-та... Пушай, говорить, не серчаетъ: пьянъ былъ. Мнѣ пятокъ яицъ далъ, чтобы спровѣдалъ да горшокъ снесъ. Бери!

Никонъ исподлобья взглядываетъ на Кривду.

— Не надо.

— Да бери, чего ломаешься.

— Не надо!

— Экой строптивый! Павлу то будетъ въ попрекъ, зла Павлу хочешь, а еще во лѣсяхъ спасаешься.

Никонъ прислоняетъ поломанный посохъ къ кельѣ и, не глядя на Кривду, выпрашиваетъ:

— Что-жъ, Павелъ такъ и сказалъ: „кланяйся“?

— А то какъ же? Вѣстимо такъ: „Кланяйся и горшокъ отдай“.

Никонъ втыкаетъ ножъ въ приступокъ и остро взглядываетъ на убогаго.

— А гдѣ Павелъ былъ утресь?

— А я почему знаю?

— Во лѣсяхъ былъ? За охотою?

— Должно, не былъ,—соображаетъ Кривда:—ежели бъ ходилъ, чай, еще не вернулся бы, да и порохомъ бы пропахъ. Нѣ, не былъ!

Никонъ, шурясь, отрываетъ глаза отъ убогаго и долгое время молчитъ.

— Ну, ладно!—вдругъ рѣшаетъ онъ,—давай... Коли увидишь Павлуху, скажи спасибо, славный горшечино, больно способно въ немъ варево варить.

Онъ беретъ отъ Кривды горшокъ и внимательно разглядываетъ его со всѣхъ сторонъ.

Кривда прощается, бредетъ онъ къ посадѣ: тамъ по четвергамъ купцы Малафеевы милостыню подаютъ.

— Погоды!—задерживаетъ его Никонъ,—въ посадѣ тебѣ не идти.

— Эт-то какъ не идти?

— А такъ, я не приказываю. Сколько дадутъ Малафеевы?

— Три копѣйки.

— Ну...

Никонъ идетъ въ келью и выноситъ оттуда капканъ, русака и мѣдную деньгу.

— На... Кати назадъ. Отдай Павлухѣ, а мѣдь за ходьбу.

Кривда улыбается.

— Эт-та! Чудной ты, Никонъ. Стоснулось мнѣ по тебѣ, давненько не видѣлись. Тебѣ бы въ деревню: торчишь тутотка, что грибъ.

— Не пойду! Что тамъ потерялъ—выдѣлъ проданъ, деньги на исходѣ сродники косо глядятъ. Не пойду! Ужъ лучше на линію въ сторожа.

Кривда запихиваетъ русака въ суму, кладетъ три копѣйки за щеку, а капканъ на плечо.

— Прощай. Може, изъ деревни-то и въ посадъ поспѣю. Хе-хе.

— Прощай. Заходи.

Кривда исчезаетъ за елями, и снова Никонъ одинъ. Тихій вѣтеръ пролетаетъ по лѣсу, поскрипываютъ деревья.

Къ вечеру земля холодѣетъ, стихаютъ ручьи, крѣпнутъ снѣга.

Къ вечеру вѣтеръ, злясь на слабѣющую силу, воетъ, какъ волкъ, напорившійся на острый сукъ и острымъ сукомъ выколовшій себѣ жадный лазъ.

Пѣтухъ-Степка взлетаетъ на свою жердочку и засыпаетъ, а Никонъ, подбросивъ въ печку дровъ, сидитъ у багрянаго пламени, багряный и самъ.

И не вѣрится ему, что есть потаенная тропа, ведущая къ тихому раю. Кабы была, можно бы было ступить на нее и итти и придти къ золотымъ воротамъ.

Крѣпко не вѣрится.

Темносизны сумерки жалятъ печалью.

Слушаетъ Никонъ тоскливые стоны вѣтра и знаетъ, на что сердится вѣтеръ—мало порыскалъ по зимнимъ полямъ, мало повилъ, не успѣлъ разметать свою силу по всѣмъ сторонамъ, а ужъ силы и нѣтъ, идутъ тихіе дни и ласковыя ночи, настигла землю весна.

Вспоминаетъ Никонъ, какъ разъ проснулся онъ зимнею ночью, словно отъ толчка, поднялъ голову и посмотрѣлъ, а за оконцемъ сверкаютъ двѣ голубыя искры. Стукнулъ кулакомъ по стѣнѣ, и звѣриныя очи скрылись, кто то былъ—волкъ или лѣшій? Все равно, а только не будь стѣны, съѣли бы Никона темныя звѣри, не спаслись бы и молитвою. Да и нельзя звѣря винить, и ему жить хочется. Можетъ, и онъ по-своему молится, выходя на добычу.

Никонъ зажигаетъ лампу, вытаскиваетъ изъ портовъ кошель и высыпаетъ на ладонь все свое богатство, доставшееся ему послѣ продажи выдѣла

Сіяютъ свѣтлыя рубли, двугривенники и пяталынные. Осталось ихъ уже совсѣмъ немного, шесть пѣлковыхъ съ полтиною. Весну и лѣто еще можно прожить, а потомъ...

Вѣтеръ поетъ, какъ органъ въ посадскомъ трактирѣ. Частенько захаживалъ туда Никонъ до ухода въ лѣса. Стоитъ органъ, трубастый, пузастый, и бьетъ по барабану двумя колотушками. А кругомъ разливанное море, кружитъ и радуется хмѣль. И все какъ въ туманѣ, по жиламъ течетъ распаленная кровь.

Подходить къ Никону гулящая дѣвушка, а глаза у нея строіе и ручки какъ у цыганки, маленькія, а губки, что алые цвѣтики. Обнимаетъ онъ ее, дышетъ знойно.

Никонъ поспѣшно складываетъ деньги въ кошель и засовываетъ его обратно за голенище.

А вѣтеръ уже пляшетъ и гогочетъ, какъ чортъ.

Точно порывомъ вѣтра, дверь распаивается. Никонъ сжимаетъ кулаки и нахмушивается.

Стоитъ на порогѣ Павлуха, съ винтовкою за спиной, съ ягташемъ.

Пьяные глаза смотрятъ въ упоръ на Никона и слезятся отъ вѣтра.

— Обогрѣться пустишь?

Никонъ киваетъ головой на доски ложа.

— Садись.

Молчать. Павлуха свертываетъ дрожащими пальцами цигарку и закуриваетъ.

— А я на лису! — заговариваетъ Павелъ, — выслѣдилъ. Убью безпремѣнно.

— Убей! — тихо отвѣчаетъ ему Никонъ.

И опять молчать. И смотрятъ другъ на друга въ упоръ

— Ишь, ты... вѣтеръ бѣсится. По ночамъ-то, чай, скучно?

— Скучно! — вздыхаетъ Никонъ, — тошнехонько!

Павелъ вынимаетъ изъ ягташа бутылъ съ водкою.

— Чарка есть?

Никонъ подаетъ ему съ полки синюю широкую чашку. Павелъ вышибаетъ пробку и дѣловито нацѣживаетъ въ чашку свѣтлую, остро пахнущую водку.

— На, испей!

Никонъ беретъ отъ него чашку и медленными глотками осушаетъ. И когда возвращаетъ пустую чашку Павлу, уже стелятся по кельѣ туманы, заволакивая все. Только красный гребень Степки качается, какъ языкъ пожара, да мерцаютъ глаза Павла.

— А теперича я!

Павлуха наливаетъ и себѣ.

Такъ они выпиваютъ еще по чашкѣ и еще. Пустую бутылку Павлуха кладетъ въ ягташъ.

Никону безудержно весело.

— Хо! хо! хо! хо! — заливается онъ, — а я плясать буду. Играй, органъ! — онъ топаетъ ногой по полу, свирѣпо взглядывая на собутыльника.

Павлуха запѣваетъ гнусавымъ голосомъ.

— Ой, жги! жги! жги! жги! говори!—кричит Никонъ и, неистово гремя сапогами, пускается въ плясъ.

Кабы бабъ киселя, киселя.

Стала-бъ баба весела, весела.

Ой, жги! жги! жги! жги! говори!

Стала-бъ баба весела, весела!

Никонъ спотыкается и валится къ ногамъ Павлухи, барахтается, какъ неуклюжій медвѣдь, и обнимаетъ пропитанный дегтемъ сапогъ Павла.

— Павлуха! родной мой, хочу тебѣ ноженьку поцѣловать.

Цѣлуетъ мокрую кожу и радъ.

Встаётъ, бьетъ себя кулаками въ грудь.

— Эва! тутотка! тутотка, Павелъ, подлый ты человѣкъ! Давай сождемъ келью. Чего въ ней. Уйду я, Павелъ, все поломаю, раз-зорю-ю!

Онъ садится рядомъ съ Павломъ, Глаза у него большіе и красные.

— Сождемъ, Павелъ, сождемъ! В-во! Пущай келья горитъ, лѣсъ горитъ! В-во! На пожъ!—подаётъ онъ Павлу сапожный ножъ, которымъ днемъ чинилъ посохъ.—Рѣжь космы. Рѣжь, а то самого въ горло стукну!

Поворачивается спиной къ Павлу. Тотъ сгребаетъ въ руку кольца Никоновой гривы и окарачиваетъ его.

— Ладно,—говоритъ Никонъ,—уходимъ. А Степку возьму съ собой, чтобъ его во лѣсахъ не слопали.

Онъ надѣваетъ полушубокъ и скуфью, снимаетъ безпокойно взирающаго на свѣтъ пѣтуха съ жердочки и уходитъ изъ кельи въ темный лѣсъ. За нимъ плетется и Павелъ.

— Жечь не буду!—вдругъ рѣшаетъ Никонъ:—пьяненькій я. Можетъ, къ утру очухаюсь и восплачусь.

— А куда я?

— А и ты со мной!—гнѣвно кричитъ Никонъ.—Въ посадъ, въ трактиръ.

Вступаютъ въ глубокую тьму; какъ слѣпцы, натыкаются на сучья. Слабый огонекъ, освѣщающій оконце кельи, смотреть имъ вслѣдъ одиноко и жалобно.

Уныло стучатъ сухія вершины сухостойныхъ деревьевъ, словно кости сошедшихся въ ночи мертвецовъ.

Путь далекъ...

Б. Верхоустинскій.

## СКИТАНІЯ.

*Окончаніе \*).*

### VII.

На бульварѣ съ мягкимъ звенящимъ шипѣніемъ пылаютъ электрическіе фонари, слегка раскачиваясь на длинныхъ проволокахъ, и внизу, на пескѣ главной аллеи, раскачиваются и шатаются, какъ пьяныя, тѣни проходящихъ людей.

Женщины, много женщинъ. Преслѣдующіе ихъ и вожделяющіе мужчины. И есть также дѣти.

Иные изъ нихъ—какъ чистый полевой цвѣтокъ, случайно выросшій на грязномъ болотѣ. Они идутъ, держась за руки матерей и широко-открытыми внимательными глазами смотрятъ на не совсѣмъ понятное, но такое пестрое и привлекательное ночное движеніе города. Нѣкоторымъ уже хочется спать, но они крѣпятся, тѣрдо ступаютъ и крѣпко держатся за ведущую ихъ руку, когда толпа слишкомъ сгущается и грозитъ увлечь ихъ въ своемъ потокѣ.

Матери, съ гордымъ видомъ самки, хорошо выкормившей дѣтеныша выступаютъ величественно, какъ верблюды въ караванѣ, сравниваютъ себя съ другими и даютъ каждой встрѣчной по возможности точную оцѣнку.

Смотрите, оцѣнивайте. И пошире открывайте глаза, какъ ваши послушные дѣтеныши, которыхъ вы влечете за собою въ приливъ отупѣлой гордости,—потому-что здѣсь есть еще и другія дѣти, на которыхъ вамъ слѣдовало бы смотрѣть во всѣ глаза.

Ко мнѣ подходитъ дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, въ такой большой шляпкѣ, словно она только что снята со взрослой. И съ этой шляпкой странно не гармонируетъ весь остальной костюмъ: коротенькое пальто, англійскіе чулки, не доходящіе до колѣнъ, и дѣтскіе башмачки съ широкими круглыми носками.

Дѣвочка останавливается передо мною такъ близко, что ея одежда касается моихъ колѣнъ. Смотритъ на меня въ упоръ. Вокругъ ея глазъ легла темная, зеленоватая тѣнь и верхняя губа вызывающе приподнята,

\*). См. № 1, Январь, 1912 г.



обнажая не совсѣмъ хорошіе зубы. Послѣ внимательнаго осмотра дѣвочка дѣлаетъ легкое движеніе головой, какъ будто приглашаетъ меня встать. Я тоже смотрю на нее и молчу. Тогда дѣвочка спрашиваетъ меня низкимъ груднымъ контральто, со звуками котораго невольно связывается представленіе о пышныхъ и дряблыхъ формахъ много пожившей женщины:

— Вы позволите присѣсть?

Рядомъ со мною, на концѣ скамьи, есть свободное мѣсто, и я отвѣчаю:

— Пожалуйста.

Дѣвочка садится, оправляетъ одежду такъ, чтобы она лежала покрасивѣе, но не можетъ—или не хочетъ—закрывать голыхъ, посинѣвшихъ отъ холода колѣнъ. Нѣкоторое время мы молчимъ, потомъ дѣвочка опять заговариваетъ первая, недовольная промедленіемъ:

— Хорошій вечеръ сегодня. Только немножко холодно.

— Вы находите? Но вы слишкомъ легко одѣты, мнѣ кажется.

— Ну, надо же одѣваться, какъ полагается. Право, я озябла. Смотрите, даже гусиная кожа выступила на тѣлѣ. Хорошо бы сейчасъ погрѣться немножко.

Съ плохо сдѣланной наглостью и ясно просвѣчивающей тоской она ждетъ отвѣта. И, не дождавшись, настаиваетъ:

— Хотя бы стаканъ чаю, право... Съ рюмочкой коньяку. Это хорошо согрѣваетъ. А потомъ... потомъ можно немножко поразвлечься, правда?

Мимо проходитъ женщина съ широкими бедрами, туго стянутыми модной юбкой изъ очень мягкой матеріи. Женщина ведетъ за руку свою дочь въ смѣшной вышитой шапочкѣ и въ костюмѣ, напоминающемъ скрипачку изъ румынскаго оркестра. Дѣвочка силится открыть пошире сонные глаза и быстро пересбираетъ ножками, стараясь не отстать отъ матери, гордящейся плодомъ своего благословеннаго чрева.

— Сударыня,—вѣжливо говорю я, приподнимаясь и прикладывая руку къ шляпѣ,—не вы ли потеряли вотъ этого ребенка?

И я указываю на дѣвочку, которая сидитъ рядомъ со мною. Мать въ недоумѣніи останавливается и подноситъ къ глазамъ лорнетъ.

— Что вамъ угодно?

— Вотъ эта дѣвочка... Вы—мать, и я думаю, не вы ли ее потеряли?

Стянутыя бедра колыхаются отъ невольной дрожи испуга. И быстро, какъ гонимая бурей, она убѣгаетъ вмѣстѣ со своимъ дѣтищемъ отъ человѣка, который, должно быть, представляется ей пьянымъ нахаломъ. Моя сосѣдка громко хохочетъ.

— Шутникъ вы какой... Вишь, побѣжала!

Она придвигается ко мнѣ еще ближе, намѣренно задѣваетъ мою ногу круглымъ носкомъ своего дѣтскаго башмака, который не достаетъ до земли.

— Ну, такъ какъ же? Вы не хотите немножко развлечься, господинъ?

Дѣвочка нетерпѣлива. Она, дѣйствительно, озябла, устала и, кромѣ того, нуждается въ заработкѣ. Теперь такъ много предложенія и такъ мало, сравнительно, спроса. Она предупреждаетъ:

— Вѣдь, это совсѣмъ пустяки вамъ будетъ стоять. Ну, сколько вы можете? А я, если хотите...

Фразу она заканчиваетъ осторожнымъ шепотомъ и при этомъ смотритъ прямо мнѣ въ лицо, хотя самая развратная взрослая женщина отвернулась бы въ сторону, произнося эти слова. А если бы не пужно было опасаться полиціи, дѣвочка говорила бы объ этомъ такъ же громко и просто, какъ о погодѣ или о стаканѣ чая. Она сдѣлалась развратной еще въ томъ возрастѣ, когда дѣти не знаютъ, что такое порокъ. И до сихъ поръ, въ самой глубинѣ своего паденія, она, въ сущности, менѣе порочна, чѣмъ любой изъ насъ,—или даже изъ тѣхъ матерей, которыя ходятъ здѣсь со своими дѣтенышами. Она не вкусила отъ дерева познанія и ей незачѣмъ прикрывать свою наготу листьями смоковницы.

Я не знаю, на что употребить сегодняшній вечеръ, и вѣдь, если бы я воспользовался предложеніемъ дѣвочки, она, получивъ свой заработокъ, въ то же время не сдѣлалась бы ни на волосъ порочнѣе, чѣмъ сейчасъ. Но я вижу въ ней только ребенка и самыя утонченныя обѣщанія не привлекаютъ меня.

Мнѣ хотѣлось бы просто взять ее на руки, согрѣть и убаюкать. И потомъ, уже уснувшую, положить ее въ удобную, теплую постель, закутать пуховымъ одѣяльцемъ, какъ меня самого кутали когда то встарину. Сѣсть у ея изголовья, смотрѣть, какъ она спитъ,—спокойно и блаженно,—и, можетъ быть, немножко поплакать. Этихъ слезъ, вѣдь, никто не увидитъ.

— А если это вамъ не нравится,—настойчиво уговариваетъ дѣвочка,—то вѣдь можно, что вы хотите. Я могу все, все... Если вы согласны занять номеръ у Карфункель, такъ не нужно даже извозчика. Всего три квартала.

— Сколько?

— Сколько дадите, миленькій. Ну, можете... пять?

Выговаривая эту цифру, она смотритъ на меня съ нескрываемымъ страхомъ. Бѣдняга никогда не сдѣлаетъ хорошей карьеры.

— Слишкомъ много. Но, впрочемъ...

Я достаю изъ кошелька трехрублевую бумажку и два серебряныхъ рубля. Дѣвочка отводитъ мою руку и смотритъ куда-то въ сторону.

— Не сейчасъ... Лучше потомъ, на мѣстѣ.

— Не будетъ никакого „потомъ“... Бери свои деньги и уходи.

Дѣвочка не совсѣмъ хорошо понимаетъ. И кромѣ того, ея вниманіе отвлечено чѣмъ-то, происходящимъ въ сторонѣ. Слѣдя по направленію ея

— Значить, пока не посадили твоего сына, онъ самъ слѣдилъ за дѣвочкой и собиралъ деньги?

— Кто же другой, какъ не онъ? А старуха была себѣ тихонько дома и вязала пуховые чулки. Очень хорошіе чулки. Господинъ можетъ купить у меня дюжину для холодного времени...

— И дѣвочка—его дочь?

— Дочь или не дочь—развѣ не всѣ дѣвочки одинаковыя, если только онѣ чисто себя содержатъ и хорошо умѣютъ дѣлать, что нужно? Ну, пускай она будетъ его дочь, если вамъ такъ нравится.

Старуха развеселилась. Захихикала старческимъ, дряблымъ смѣшкомъ. Ей кажется, что господинъ уже забылъ о бумажкѣ.

— Ты пьешь водку, старуха?

— Господинъ очень веселый. Я таки испугалась, а онъ—веселый... Что можетъ пить старуха? Такъ, чашечку молочка, можетъ быть?

— Лжешь ты. Или, если ты не пьешь, ты—чудовище.

— Ну, если господину такъ хочется,—иногда маленькую рюмочку.

Я отрываю ее отъ забора, къ которому она все время прижималась крѣпко своей горбатой спиной.

— Идемъ. Идемъ же...

— Куда пойдетъ бѣдная старуха? Господинъ разговаривалъ, какъ добрый... Если онъ хочетъ, я сейчасъ могу позвать Зуську и вы будете себѣ развлекаться на всѣ десять.

— Нѣтъ, нѣтъ, милая бабушка. Мнѣ не нужна твоя внучка... Я хочу пить, понимаешь? Хочу быть пьянымъ, хочу увидѣть и тебя, и Зуську, и весь свѣтъ немножко другими, не такими, какъ вы есть. А пить мнѣ не съ кѣмъ... Ты должна составить мнѣ компанію. Почему ты не годишься въ товарищи человѣку, который хочетъ быть пьянымъ? Твое лицо можетъ навѣять хорошія, веселыя мечты, я увѣренъ. Не безпокойся, я поведу тебя въ такое мѣсто, гдѣ ты будешь чувствовать себя, какъ дома. И я могу выдать тебя за свою почтенную, престарѣлую мамашу... Хорошо?

И почти насильно я увлекаю за собою старуху, которая слабо сопротивляется и растерянно бормочетъ что-то о своихъ старыхъ годахъ, и о саванѣ, который пора уже купить, и о Зуськѣ, которая весь вечеръ останется безъ надзора и, конечно, не захочетъ работать.

Должно быть, мы представляемъ довольно занимательную пару, потому что прохожіе, изрѣдка попадающіеся намъ навстрѣчу въ этихъ пустынныхъ улицахъ, останавливаются и смотрятъ намъ вслѣдъ.

— Веди себя приличнѣе, бабушка!—говорю я.—Постарайся, чтобы твои манеры не заставили краснѣть за тебя твоего сына.

При свѣтѣ яркаго фонаря передъ фруктовой лавкой я осматриваю свою

спутницу съ ногъ до головы. Право же, у нея не такое ужъ скверное лицо, какъ показалось мнѣ тамъ, въ темнотѣ. И довольно опрятная одежда. Если бы только не эта ужасная ковровая шаль, бахрома которой выпачкана уличной грязью...

У старухи отвислыя мокрыя губы и красный носъ, покрытый вдавленными черными точками. Всего лѣтъ двадцать тому назадъ она, навѣрное, была красавицей,—и продавалась не особенно дешево.

На заплыванной лѣстницѣ „Баваріи“ швейцаръ, приставленный, главнымъ образомъ, для выбрасыванья на улицу слишкомъ пьяныхъ посѣтителей, загородилъ было дорогу моей спутницѣ.

— Тутъ не какое нибудь мѣсто, а ресторанъ. Не полагается этакимъ... Ступай вонъ въ черный трактиръ, напекосокъ.

Я выступаю на защиту. Это—моя мамаша, и я ручаюсь, что по ея счету будетъ уплачено. Швейцаръ снимаетъ картузъ и пропускаетъ насъ обоихъ. По его понятіямъ—господинъ, который хорошо дастъ на чай, можетъ имѣть свои причуды.

Черезъ весь душный, зловонный подвалъ мы пробираемся въ мой любимый уголокъ, неподалеку отъ эстрады. Есть свободный столикъ на троихъ у самой стѣны, покрытый желтыми и зеленоватыми пятнами плесени. Старуха нерѣшительно мнется, потомъ садится, беззвучно шевеля мокрыми губами и аккуратно складывая черныя руки на колѣняхъ.

Въ смрадной духотѣ мнѣ дѣлается дурно и красноватыя круги, ослѣпляя, плывутъ передъ глазами. И я слышу, какъ неровно и болѣзненно бьется мое сердце, съ каждымъ ударомъ, какъ будто, преодолевая какое-то препятствіе.

Увыло пилятъ, надрываясь, скрипки дамскаго оркестра и басы разбитаго пѣвино гудятъ подъ сосискообразными пальцами толстаго музыканта, какъ похоронные колокола. Измятыя, съ осыпавшейся пудрой, лица протитуттокъ кажутся полуразложившимися и совсѣмъ мягкими, какъ кисель. Тяжелый, липкій воздухъ лѣниво вздрагиваетъ отъ пьянаго гомона, но и этотъ гомонъ—невеселъ. Словно собрались здѣсь приговоренные къ смерти и ревутъ по звѣриному, чтобы заглушить свой нестерпимый ужасъ.

Заказываю водки и закуску. Лакей уходитъ и не возвращается долго, потому-что сегодня, какъ и почти каждый день, у него много работы: всѣ столики заняты. Вездѣ пьютъ и ѣдятъ, жадно глотая. Но больше пьютъ, чѣмъ ѣдятъ.

Я опускаю голову на руки, закрываю глаза. Вой скрипокъ, пьяный ревъ, звонъ посуды,—все сливается въ ухахъ въ одинаковый, равномерный, почти стройный шумъ, похожій на шумъ прибора. Онъ убаюкиваетъ меня и навѣваетъ не дремоту, а какое-то странное оцѣненіе, напоминающее пред-

дверіе смерти. Все тѣло мое тяжелѣетъ и становится нечувствительнымъ, почти чужимъ. Если бы я захотѣлъ, я могъ бы сейчасъ стряхнуть его съ себя, какъ ненужную оболочку, остаться легкимъ и прозрачнымъ, сотканнымъ только изъ мысли. Но я не хочу. Не хочу, потому-что не могу принудить себя ни къ какому усилю. О, если бы еще глубже, глубже уйти въ это оцѣпенѣніе, перестать мыслить, дышать, познавать...

И, однако же, сознание не покидаетъ меня. Я слышу, какъ кто-то третій занимаетъ свободный стулъ у нашего столика. По запаху крѣпкихъ дешевыхъ духовъ и по шелесту платья разбираю, что это—женщина. Дальше не хочется догадываться и не хочется открывать глазъ.

Скрипки рѣзко, на визгливомъ аккордѣ, обрываютъ мелодію и пьяный шумъ на мгновеніе волной взмываетъ кверху, становится еще громче. Онъ рѣжетъ мой слухъ, я вздрагиваю и выпрямляюсь.

— Ты... ты здѣсь, Катюша?

— Я всегда здѣсь. Гдѣ же мнѣ быть больше?

Она пьяна.

Съ Катюши я перевожу все еще оцѣпенѣлый взглядъ на старуху, которая сидитъ чинно и неподвижно, какъ уродливый, грубо раскрашенный истуканъ,—и не сразу вспоминаю, зачѣмъ она здѣсь.

— Чего тебѣ нужно, вѣдьма?

Она шлепаетъ губами и выговариваетъ невнятно:

— Если господину нравится — одну маленькую рюмочку... маленькую рюмочку бѣдной старухѣ...

Катюша откидываетъ туловище къ спинкѣ стула, выставя грудь, складываетъ ногу на ногу.

— Славную кралю подцѣпилъ, миленькій... Получше меня будетъ, а? Я вспоминаю.

— Ты ничего не знаешь, Катюша. Это — моя мамаша, позволь представить. И у нея есть маленькая внучка, Зуся. Она торгуетъ Зусей на бульварѣ.

— Зуська, Зуська!—киваетъ старуха головой и смѣется.

Лакей приноситъ водку. Я наполняю винный стаканчикъ и подаю старухѣ.

— Пей... Пей еще, если хочешь. И потомъ убирайся. Но убирайся поскорѣе.

Старуха торопливо глотаетъ, расплескивая. Длинные губы, какъ пиявки присасываются къ краю стаканчика.

— Не вѣрь ему, старая!—говоритъ Катюша. — И въ сыновья не бери. Ты, можетъ быть, плохая,—а онъ еще хуже. Не стойтъ онъ, чтобы ты была его матерью.

Покончивъ со стаканчикомъ, старуха облизывается робко и умильно.

— Еще хочется?—угощаетъ Катюша.—Ну, пей, вотъ тебѣ. Да не плещи такъ: добро пропадаетъ даромъ, а за него деньги платять. А потомъ и уходи. Онъ—злой. Онъ тебя убить можетъ.

Еще не допивъ второго стаканчика, старуха уже начинаетъ хмѣлѣть. И уходитъ слегка пошатываясь, но крѣпко прижимаетъ руки къ груди, подъ шалью. Тамъ два серебряныхъ рубля и бумажка.

— Хорошо, что ты здѣсь, Катюша. Будемъ пить.

— Я уже и такъ безъ малаго готова, миленькій. Развѣ пива?

— Все равно, хотъ пива. А я ужъ водку буду.

Но водка слишкомъ теплая, не идетъ въ горло. И когда я заказываю коньяку, Катюша проситъ заказать и на ея долю.

— Пускай на рукахъ выносятъ. Наплевать мнѣ...

И я вижу, что ей сегодня такъ же тяжело, какъ и мнѣ самому,—и уже хочется поцѣловать складку на ея лбу, между бровями.

— Кто тебя угощалъ сегодня? Степанъ Ивановичъ?

Я ревную къ вору.

— Куда тамъ. Степанъ Ивановичъ еще въ пятницу на дѣло уѣхалъ.

— Большое дѣло?

— Говорить—ничего себѣ. Обѣщалъ мнѣ, если выгоритъ, брошку съ двумя брилліантами подарить и съ рубиномъ. Ну, за Степана Иваныча здоровье, миленькій!..

Мы выпиваемъ по рюмкѣ, а затѣмъ, торопясь, какъ старуха, сейчасъ же опоражниваемъ вторую и третью. Затѣмъ Катюша рѣшительно закрываетъ свою рюмку ладонью и я продолжаю пить одинъ. А Катюша смотритъ на меня пристально, словно у меня на лицѣ написано какое-то объявленіе и она разбираетъ его по складамъ.

— А и негодяй же ты, все таки.

— Слышалъ уже такое, Катюша. Что-нибудь новое придумай.

— Это новое и есть. Узнала я.

— Что ты могла узнать? Пей лучше.

— Нѣтъ, узнала. Ко мнѣ иногда ходитъ одинъ... Такъ вродѣ рабочаго. Изъ демократовъ. Ничего,—хорошій человекъ, только скупой очень. Когда и есть деньги, такъ много не дастъ. Такъ вотъ, онъ рассказывалъ мнѣ, что въ порту то было.

— Старыя новости, Катюша. Въ газетахъ давно описано.

— Не все, стало быть. Я кое что и сверхъ твоей газеты узнала... Рассказывалъ мнѣ мой демократъ про одного, про Іуду. Прикинулся ихнимъ. а самъ провалилъ все дѣло.

— Вреть твой демократъ. Такъ и передай ему, что вреть.

— Отъ кого передать-то?  
— Отъ кого хочешь. Хоть отъ себя самой.  
— А ну, посмотри въ глаза, миленькій. Я вѣдь знаю этого Іуду-то... Каждый волосокъ его мнѣ описанъ. И какъ говорить, и какъ ходить... Только имени его мнѣ не сказано, — и имени этого я и сама не знаю. А въ лицо укажу. Хочешь, я приведу сюда своего демократа?

— Не нужно, Катюша.

— Такъ Іуда-то—ты?

— Я.

— Такъ-то. Волосокъ къ волоску. Хочешь, приведу сейчасъ?

— Не надо. Пить я хочу, а онъ помѣшаетъ. Онъ хорошій человекъ, твой демократъ. И, можетъ быть, современемъ много народится такихъ людей, какъ онъ, и тогда земля станетъ лучше. Но только если я буду ему объяснять, почему я поступилъ именно такъ, а не иначе — онъ ничего не пойметъ. И будетъ стоять на своемъ, что я — предатель. Даже ты... ты больше мнѣ повѣришь, пожалуй. Ну, вѣдь не повѣришь же ты, наприцѣръ что меня можно купить за деньги?

Катя думаетъ,—думаетъ упорно,— и даже трезвѣетъ немного отъ этой настойчивой мысли.

— Нѣтъ, пожалуй. Не купишь. Негодай ты, но другой.

— А если просто несчастный, Катюша? Слушай, я тебѣ первой говорю это. Первой за всю жизнь. И у тебя первой прошу жалости. Не люби, если не можешь меня любить, но пожалѣй.

— Нѣтъ, миленькій. Нѣту у меня къ тебѣ жалости.

— И не будетъ? Никогда не будетъ?

— Когда помрешь, можетъ быть. Если скоро. Тогда къ мертвому приду поплачу. Руки твои буду цѣловать, глаза закрытые. А живого — нѣтъ. Глупый ты, а еще ученый. Я вѣдь и тебя и себя ненавижу. Я — какъ сестра тебѣ. А съ сестрой развѣ можно такъ, какъ ты со мной хочешь?

Нагнувшись ко мнѣ, говорила тихо, совѣмъ уже не пьяная. Переломилась складка между бровями. И глубоко въ глазахъ темно лежитъ смертельная тоска, тоска и ненависть.

— Правда, Катюша. Женщинъ много. Есть и для меня: красивый, чистый, Пойду къ другимъ. А ты—будь, какъ сестра.

### VIII

Тянутся дни одинъ за другимъ, одинокіе и пустые. Одинокіе, хотя проходятъ среди толпы, среди неумолчнаго людского шума.

Только не понимающіе тайнъ человѣческой души могутъ говорить, что

тюрьма угнетает одиночествомъ. Тамъ, за рѣшеткой, въ одиночномъ заключеніи, одиночества нѣтъ. Я самъ не разъ испыталъ это.

Тамъ человѣкъ остается наединѣ со своими мыслями.—и ему не передъ кѣмъ лгать. Если только онъ не настолько мелокъ, чтобы лгать самому себѣ. Его мысли свободны и его, никѣмъ не тревожимая, духовная жизнь можетъ развиваться и цвѣсти самыми пышными цвѣтами. Онъ одинъ, но онъ не одинокъ. Потому что одиночество возможно только тамъ, гдѣ есть отчужденность отъ близкихъ, проходящихъ мимо. Человѣкъ видитъ другихъ людей, наблюдаетъ за ихъ поступками, слышитъ ихъ рѣчи, угадываетъ ихъ мысли. И знаетъ, что они — чужіе и ни одинъ волосъ не упадетъ съ ихъ головы, хотя бы онъ истерзалъ себя самыми мучительными пытками.

А тамъ, за рѣшеткой. — тамъ нѣтъ никого, кто проходилъ бы мимо. Тамъ человѣкъ — одинъ и весь міръ въ немъ самомъ. Онъ свободенъ.

Можетъ быть, скоро я приду въ скромное зданіе безъ выѣски, гдѣ сидятъ люди въ мундирахъ, и скажу имъ:

— Милые люди, васъ какъ будто очень интересуеъ тотъ злоумышленникъ, который надѣлалъ вамъ столько хлопотъ съ портовыми рабочими. Этотъ злоумышленникъ—я. А если этого вамъ недостаточно, то я, пожалуй, могу исповѣдаться вамъ еще въ нѣсколькихъ грѣхахъ, къ которымъ вы тоже не останетесь равнодушны.

Я сдѣлалъ бы это уже сегодня, если бы только такой образъ дѣйствій не напоминалъ мнѣ одурѣвшаго отъ голода волка, который почти сознательно лѣзетъ подъ выстрѣлъ, попадаясь на самую нехитрую приманку. Кромѣ того, мнѣ совсѣмъ не нравится перспектива доставить искреннее удовольствіе господамъ, къ которымъ я равнодушенъ. Я подожду. Все въ свое время.

Наконецъ, я не люблю оставлять свои дѣла незаконченными, — а одно мое дѣло находится сейчасъ въ самой интересной стадіи своего развитія.

Конечно, бѣленькая женщина, похожая на дѣвушку. Жена поэта.

Когда я брожу по бульвару, или сижу въ сумракѣ театральнаго зала, или пью свой коньякъ въ ресторанѣ, гдѣ собираются художники и артисты,— я думаю о ней все чаще и чаще. Можетъ быть, слишкомъ часто. Она представляется мнѣ еще не распустившимся бутономъ, набухшей лопнувшей почкой, изъ подъ клейкихъ зеленыхъ чешуекъ которой только что показались сморщенные блѣдные лепестки. Бутонъ можетъ развернуться въ большой и наглый ядовитый цвѣтокъ,—и я хочу помочь этому превращенію.

Сейчасъ, пока еще я не обладаю ею — я люблю ее. Люблю ея свѣтлые волосы, которые сами собою ложатся пышными локонами. Люблю все ея дѣвическое хрупкое тѣло, которое дразнитъ меня загадочностью возможностей. Люблю всегда открытыя для поцѣлуя губы и большіе выпуклые глаза,



еще невинные, но въ которыхъ наивно отражается жажда все большихъ и большихъ наслажденій.

За эти дни я внѣшне не приблизился ни на шагъ къ своей цѣли. Я цѣловаль ея руки — но скорѣе почтительно, чѣмъ страстно. Нашептываль ей слова,—правда, немножко деракія,—но вѣдь это же только слова. И все же я знаю, что конецъ уже близокъ.

Раза два она цѣловала при мнѣ своего мужа,— и этотъ жалкій сѣрый человѣкъ улыбался и отвѣчалъ ей съ увѣреннымъ и гордымъ видомъ собственника,—а она смотрѣла на меня загадочно и дерзко.

Хорошо. Сегодня мы посмѣемся.

Они только что поссорились. Поэтъ, въ ночныхъ туфляхъ и въ жилеткѣ, плохо прикрывающей несвѣжую сорочку, стоитъ у окна и смотритъ на убѣгающія тучи, которыя только что смочили холоднымъ осеннимъ дождемъ пыльные улицы. Его жена сидитъ въ продавленномъ креслѣ и кутается въ фланелевый капотикъ. Повидимому, она озябла.

Къ моему появленію она относится равнодушно, а поэтъ, конечно, дѣлаетъ радостное лицо и торопливо застегиваетъ двѣ нижнія пуговицы жилета.

— Вотъ прекрасно! А я только что о васъ думаль...

Онъ думаль, гдѣ бы занять нѣсколько рублей. Я понимаю его психологію. Теперь мнѣ самому часто приходится раздумывать о томъ-же. Но цифры я беру нѣсколько крупнѣе.

Жена поэта лѣниво протягиваетъ мнѣ руку.

— Здравствуйте... И простите, что я такъ неприлично одѣта. У меня болитъ голова.

Глубокій вырѣзъ капотика обнажаетъ ея шею и начало груди, на которой прозрачно бѣлѣтъ кружево рубашки.

Поэтъ уходитъ за ширму и надѣваетъ пиджакъ. Потомъ, должно быть, причесывается. Изъ за ширмы доносится его голосъ:

— Горячія времена, дорогой мой, горячія времена. Вы понимаете передъ подпиской. Отовсюду наполучаль массу заказовъ. Между прочимъ, даю поэму въ „Новыя Вѣянія“. Будетъ насквозь пропитано сладострастіемъ. Вы понимаете: самымъ утонченнымъ, восточнымъ... Пресыщенный деспотъ, постигшій высшія наслажденія любви и самыя глубокія тайны развращенности, встрѣчаетъ, наконецъ...

Потомъ, выходя изъ за ширмы и оправляя манжеты:

— Строкъ на шестьсотъ, если не больше. Капиталь, не правда ли? Тѣмъ болѣе, что „Новыя Вѣянія“ обѣщали оплатить по самому выскому тарифу. Вы понимаете: нуждаются въ именахъ... Однимъ словомъ, расплачусь съ долгами и заживу по новому.

— Кого же встрѣчаетъ вашъ деспотъ?

— Ахъ, да. Дѣвушку. Самую обыкновенную на видъ, невинную дѣвушку. На ней монашескій костюмъ. И четки.

— Это на востокъ?

— Почему обязательно на востокъ? Напримѣръ, въ Испаніи. Въ эпоху владычества мавровъ. Деспотъ, конечно, захватываетъ монахиню. Прячетъ въ своемъ замкѣ. И вотъ тутъ то начинается... Подробностей я вамъ пока еще не могу передать: испортится впечатлѣніе. Но однимъ словомъ, эта дѣвушка, эта монахиня, оказывается чудовищемъ. Чудовищемъ извращенности, хотя de iure и остается совершенно невинной. И тогда деспотъ... Ты бы одѣлась, Леночка. Вотъ ужъ я не ожидалъ, что ты такъ скоро начнешь распоясываться.

— Ахъ, пожалуйста... Говорятъ же тебѣ, что я нездорова.

— Но при гостяхъ, Леночка...

Должно быть, онъ замѣтилъ случайно мои нѣсколько интимныя взгляды.

— Боже мой! Но вѣдь не голая же я!.. И если бы даже была голая, — какое тебѣ дѣло? Возись тамъ со своими извращенностями, а меня оставь въ покоѣ.

Поэтъ чувствуетъ себя не совсѣмъ ловко. Заходитъ за спину жены и оттуда дѣлаетъ мнѣ какіе-то знаки. Смыслъ, приблизительно, таковъ:

— Дамскіе капризы. Что вы подѣлаете?

Одѣтъ онъ теперь слишкомъ уже тщательно. И слишкомъ часто по-сматриваетъ на часы.

— Собственно говоря... Вы не собираетесь въ городъ?

Жена поэта пожимаетъ плечами, — и отъ этого движенія вырѣзъ капота расходится еще больше.

— Какъ ты вѣжливъ!

— Но, Леночка, ты знаешь же, что мнѣ необходимо...

Я считаю своимъ долгомъ вступить, въ то же время усаживаясь поудобнѣе:

— Въ городъ я не собираюсь. Но если вы спѣшите, то, пожалуйста, не стѣсняйте.

— Вы останетесь здѣсь, я очень прошу васъ! — говоритъ жена поэта почти повелительно. — Вы не можете себѣ представить, какая тоска... Его вѣчно нѣтъ дома. Развлеките меня, пожалуйста...

Поэтъ мнется, нѣсколько разъ переводя взглядъ съ меня на жену и обратно. Въ поведеніи жены какая-то черточка внушаетъ ему смутное безпокойство. Но затѣмъ онъ приходитъ къ успокоительному выводу, отпра- вляется за ширму и вызываетъ туда же меня.

За ширмой — неширокая полутораспальная кровать съ небрежно набро-

шеннымъ, смятымъ одѣяломъ. На полу—корсетъ и еще что-то изъ дамскаго бѣлья. Пахнеть непровѣтренной спальней и духами „ландышъ“.

Поэтъ говоритъ шопотомъ, взявшись за мою пуговицу:

— Простите, тутъ малейкій безпорядокъ... Отъ женщинъ какъ то всегда заводится безпорядокъ... Удивительно много у нихъ всякихъ дамскихъ принадлежностей. Мнѣ, собственно, неловко опять къ вамъ обращаться, но содалось такое положеніе... Кромѣ того, на этой недѣлѣ мнѣ обязательно вышлютъ авансъ изъ „Новыхъ Вѣяній“ и я сейчасъ же верну... Такъ, знаете, въ размѣрахъ около сорока—пятидесяти... Не можете?

— Двадцать пять.

— Въ самомъ дѣлѣ? Спасибо, голубчикъ! Я обязательно на той же недѣлѣ... За квартиру не отдамъ, а ужъ вамъ—въ первую голову...

Еще тише и еще крѣпче придерживая пуговицу:

— Вы представьте, вѣдь дѣвственницу то свою для поэмы я беру прямо съ натуры. Есть тутъ одна такая барышня. Глаза — такъ у газели, голосокъ—серебряный. Коротенькія юбочки и переднички носить, въ качествѣ гимназистки. Беретъ правда, не меньше десяти рублей за сеансъ, но это, я вамъ расскажу... Нѣчто умопомрачительное. Хотите, я вамъ дамъ карточку съ адресомъ? На дому не принимаетъ, конечно, и у Карфункельши—тоже. Мы, между прочимъ, думаемъ организовать совмѣстный сеансъ, въ складчину. Присоединитесь.

— Подумаю.

— Ну, думайте, думайте. Спасибо вамъ, голубчикъ.

Голосомъ:

— Такъ пока до свиданія, дорогой мой. Развлекайте жену хорошенько. Она хандритъ что-то.

— Постараюсь.

На дорогу—прощальный поцѣлуй, къ которому жена относится очень сухо. Если я потеряю напрасно сегодняшній день, я потеряю многое... И мнѣ совсѣмъ не жалъ двадцати пяти рублей, которыхъ никогда не получу обратно, потому что безъ этой подачки поэтъ, пожалуй, остался бы дома. И вѣдь даже порядочной кокеткѣ платять дороже.

Нѣсколько минутъ мы сидимъ и молчимъ. Жена поэта прикладываетъ палецъ къ виску и морщится. Но голова у нея не болитъ. Она просто въ дурномъ настроеніи духа.

— Онъ опять взялъ у васъ денегъ?

Я уклоняюсь отъ прямого отвѣта.

— Вамъ нужно больше бывать на свѣжемъ воздухѣ, Елена. Вашъ цвѣтъ лица можетъ скоро поблекнуть здѣсь, въ четырехъ стѣнахъ.

— Не смѣйте называть меня Еленой. Хотя, впрочемъ... Зовите, если

это доставляетъ вамъ удовольствіе... Все равно, васъ не исправилъ... Бывать на свѣжемъ воздухѣ? Но я не люблю ходить одна. Или, можетъ быть, таскаться съ супругомъ по кабакамъ и кофейнямъ? Куда онъ ушелъ сейчасъ, вы не знаете?

— А развѣ онъ не сказалъ вамъ? — освѣдомляюсь я осторожно.

— Я васъ спрашиваю.

— Не могу сказать навѣрное. Кажется, онъ надѣется собрать кое-какой матеріалъ для своей поэмы.

— Для поэмы?

Елена задумывается, затѣмъ что-то вспоминаетъ и глаза у нея зеленеютъ, а уголокъ рта нервно подергивается.

— Ахъ, гимназистка!... Не открывайте ротъ слишкомъ широко, у васъ не такіе уже отличные зубы... Я знаю. Третьяго дня онъ пришелъ домой пьяный и самъ проговорился. Разсказывалъ такія мерзости, что меня всю ночь тошнило.

Я смотрю на нее, озлобленную и негодующую, и вспоминаю, какою она была въ тотъ день, когда мы катались на автомобилѣ. И та, прежняя Елена представляется мнѣ милымъ и свѣтлымъ видѣніемъ, которое никогда не повторится.

— Елена, вы помните нашу поѣздку за городъ?

Она все еще не можетъ успокоиться и дышитъ порывисто.

— Да, конечно.

И прибавляетъ съ откровенностью отчаянія:

— Я потомъ плакала ночью. Мужъ спалъ, а я повернулась лицомъ къ стѣнѣ и плакала. Я теперь часто плачу, — только не такъ, какъ другіе. Когда я плачу, мнѣ хочется кусаться. Загрызть кого-нибудь совсѣмъ, до смерти.

— Не будьте злы, Елена. Тогда, на автомобилѣ, вы были лучше...

— Послушайте, онъ говорилъ вамъ о гимназисткѣ, когда занималъ деньги?

— Зачѣмъ такія мелочи?

— Правда. Мелочи ничего не измѣняютъ. Но я не могу закрывать глаза. Я хочу видѣть и знать... Навѣрное, онъ звалъ и васъ. И вы пойдете?

Я подвигаюсь ближе, беру обѣ ея руки въ свои и цѣлую ихъ. Медленно, не спѣша, почти уже какъ свою собственность. Елена сначала сопротивляется, потомъ вдругъ откидываетъ голову къ спинкѣ кресла и остается спокойной и пассивной. Только уголокъ рта у нея дрожитъ по-прежнему.

— Вы — сокровище, Елена. Вы — чудный бутонъ, который скоро распухнетъ. И потому вы не должны избѣгать солнца и радостнаго дня. Вы

должны жить и пышно развѣртывать свои махровые лепестки,—одинъ за другимъ, одинъ за другимъ. Вы должны любить и должны ненавидѣть, чтобы эти двѣ страсти всегда переплетались въ вашемъ сердцѣ. Тогда только вы вполнѣ сдѣлаетесь женщиной,—и замѣчательной женщиной, Елена. Вашъ мужъ васъ обманываетъ, и сейчасъ ваше сердце полно ненавистью. Но вы должны и любить. Любите меня... Любите такъ, какъ я васъ люблю сейчасъ... Не больше и не меньше... Не говорите сейчасъ ничего. Объ этомъ нельзя спорить. Можно только сказать—да или нѣтъ. Но пока еще не говорите ничего.

Она сидитъ съ полузакрытыми глазами, устремленными куда-то въ далекую точку, и ея грудь въ вырѣзѣ капота неровно поднимается. И я опять цѣлую ей руки и продолжаю дальше:

— Вы должны познать міръ. Зачѣмъ вамъ быть рабой, когда вы можете сдѣлаться королевой? А власть достигается только познаніемъ. Не будьте, какъ другія, которыя въ слезахъ и жалобахъ топятъ послѣдніе остатки воли, а въ концѣ концовъ, всетаки, падаютъ безрадостно и ничтожно. Кусайтесь. И бойтесь слѣпоты. Не связывайте себя обѣщаніями и догмами, которыя выдуманы для идиотовъ. И вѣдь только идиоты во что бы то ни стало хотятъ оставаться добродѣтельными. Я люблю васъ, и вы должны принадлежать мнѣ. Это такъ же ясно, какъ то, что вы—бутонь, который распустится махровымъ цвѣткомъ. Вы должны и любить, и ненавидѣть. Женщина, которая только любитъ—самка, а женщина, которая только ненавидитъ—скорпионъ, убивающій себя собственнымъ жаломъ. Я люблю васъ. Я люблю васъ. Любите ли вы меня? Скажите только—да или нѣтъ?

Она можетъ просто промолчать, пассивно выжидая. Она можетъ разлечься въ жалобахъ и негодующихъ упрекахъ. Или она можетъ выйти изъ комнаты, позвать швейцара и приказать ему спустить меня съ лѣстницы. Я жду.

Она смотритъ мнѣ въ глаза и говоритъ тихо и спокойно, слегка сжимая мои руки:

— Должно быть, вы—гадкій и низкій человѣкъ. Но вы не совсѣмъ такой, какъ другіе.

— Вы должны понять меня, Елена. Нѣтъ никакихъ обязательствъ любви. Нѣтъ ни обязательствъ любви, ни обязательствъ ненависти. Можетъ быть, случится чудо, и вашъ мужъ слѣдается человѣкомъ, достойнымъ вашей любви. Тогда на мою долю останется ненависть,—и я не буду протестовать, и мнѣ будетъ даже лестно, что такая женщина, какъ вы, не относится ко мнѣ совсѣмъ равнодушно. А теперь—не отворачивайтесь трусливо отъ того, что даетъ вамъ жизнь. Или, можетъ быть, я обманываюсь, и вы хотите остаться вѣрной Пенелопой въ то время, какъ, на примѣръ, гимназистка...

— Не смѣйте говорить объ этомъ. Это отвратительно.

— А кто не хотѣлъ быть слѣпымъ? Когда оскорбляютъ слѣпого, онъ можетъ только терпѣть, затаивъ въ себѣ свою злобу, а зрячій и сильный можетъ мстить...

— Мстить?

— Да.

Жена поэта продолжаетъ смотрѣть на меня пристально. Я наклоняюсь надъ нею, приближаю къ ней свое лицо,—и цѣлую ее въ губы. Она не отвѣчаетъ и не сопротивляется.

— Вы соедините наслажденіе мести и наслажденіе любви. И то, что вы сохраните изъ нашихъ отношеній, будетъ для васъ однимъ изъ первыхъ уроковъ познанія жизни. Развѣ вы не хотите быть королевой? Или васъ такъ прельщаетъ возможность остаться навсегда только скромной и цѣломудренной женой поэта, который, въ награду за вашу любовь и вашу вѣрность, изрѣдка наградитъ васъ своей слянявой лаской?

Она молчитъ. И постепенно, избѣгая слишкомъ бурныхъ порывовъ, я овладѣваю ею все больше и больше. Я уже обнимаю ее за талию, ощущая горячее и нервное тѣло подъ мягкой тканью одежды. Цѣлую въ губы, въ шею—около уха,—гдѣ завиваются короткіе золотистые волоски,—и въ глаза, потому-что ихъ неподвижный взглядъ немножко беспокоитъ меня. Мои пересохшія губы припадаютъ жадно, какъ къ прохладному источнику, къ ея влажному рту.

И вдругъ она говоритъ, когда я менѣ всего ожидаю этого:

— Онъ меня продалъ. Я уже не нужна ему больше, потому-что онъ узналъ меня всю. И онъ меня продалъ.

— Вы ошибаетесь, мое дитя. Онъ не настолько смѣлъ. И я предпочитаю купить васъ у васъ самихъ,—купить любовью.

Она знаетъ, что я не лгу сейчасъ, говоря о своей любви. Но, какъ будто проснувшись отъ неотвязной дремоты, она порывисто поднимается и толкаетъ меня въ грудь, съ силой, которой нельзя было предполагать въ этомъ хрупкомъ тѣлѣ.

— Какое вы имѣете право?.. Какое вы имѣете право на все это?

— Право первенства. Вашъ мужъ взялъ только ваше тѣло, и для его маленькаго „я“ вы значите теперь не больше, чѣмъ любая изъ женщинъ, съ которыми онъ сходитъ. Онъ жилъ съ вами подъ одной кровлей, спалъ на одной постели и не прозрѣлъ. Онъ не узналъ и никогда не узнаетъ, что вы такое. Я первый нашелъ васъ и потому не только тѣломъ, но и душой вы должны принадлежать мнѣ и никому другому.

— Оставьте меня!—говоритъ жена поэта.—Онъ можетъ сейчасъ вернуться...

Это ея послѣдняя защита,—слабая, какъ соломинка, за которую хватается утопающій. Я ломаю соломинку.

— Онъ не вернется такъ скоро. И если бы даже... развѣ наша любовь не стоитъ маленькаго риска? Дити, я люблю тебя!

Я беру ее на руки, какъ ребенка, и несу за ширму. Она обнимаетъ меня за шею и въ глазахъ у нея жгучій стыдъ, испугъ и тоска, и она шепчетъ жалобно:

— Дорогой мой, не нужно... Да не пужно же... Не здѣсь... Ради Бога, только не здѣсь...

Будетъ ли она королевой?

Часа черезъ два возвращается поэтъ. Онъ слегка пьянъ, подъ глазами у него темные круги и руки трясутся. Его опьянѣніе носитъ довольно мрачный оттѣнокъ и потому онъ не выражаетъ никакихъ радостныхъ чувствъ, видя, что я еще здѣсь.

— Вы еще не ушли? Видите, какъ я скоро управился съ дѣлами...

Жена поэта сидитъ въ томъ же креслѣ, въ какомъ онъ ее оставилъ. Она приложила палецъ къ виску и болѣзненно хмурится. Одна щека горитъ у нея больше другой, яркимъ, пунцовымъ пятномъ.

Поэтъ садится въ нѣкоторомъ отдаленіи, вынимаетъ изъ кожанаго портсигара приплюснутую папиросу.

— Портится погода. Сейчасъ опять будетъ дождь...

— А какъ дѣла?

— Устроились превосходно. Между прочимъ: на-дняхъ мы ждемъ васъ на маленькомъ собраніи. О днѣ и часѣ я извѣщу.

Жена поэта молчитъ.

— А какъ вы проводили время? — интересуется поэтъ. — Повидимому, не особенно весело... Мигрень еще не прошла?

Я отвѣчаю за Елену:

— Иногда полезно немножко поскучать, дорогой мой. Впрочемъ, мы развлекались, насколько могли, житейской философіей.

— А что вы называете житейской философіей? Прикладную этику, такъ сказать?

— Не совсѣмъ.

— Но ты ведешь себя, какъ мертвая, Леночка. Право же, мигрень не такая уже жестокая болѣзнь.

Она медленно переводитъ на мужа позеленѣвшіе отъ гнѣва глаза. Она только что измѣнила въ первый разъ въ жизни и потому презираетъ мужа болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, чтобы только не презирать себя самое.

Хочетъ что-то сказать, но языкъ не повинуется ей. Нѣтъ, она никогда не будетъ королевой.

Я ошибся.

## IX

Среда.

Испарянное зеркало стѣнного кабинета отражаетъ все тѣ же лица, которыя, должно быть, уже порядкомъ успѣли ему привыкаться.

Толстый предѣдатель, какъ всегда, пришелъ раньше всѣхъ и ухаживаетъ и пьетъ, не дожидаясь остальныхъ. Въ уголкѣ дремлетъ оперный теноръ, оставшійся на зичу безъ ангажемента. Черный беллетристъ разговариваетъ вполголоса съ женой поэта.

Захудалый художникъ, преподающій рисованіе въ двухъ женскихъ гимназіяхъ и въ реальномъ училищѣ, принесъ съ собою свертокъ толстой тоновой бумаги, угли и мѣлъ. Онъ надѣется, что кто-нибудь вздумаетъ порисовать и раскладываетъ аккуратно на угловомъ столикѣ весь свой багажъ. Поэтъ смотритъ на его работу, потомъ принимается помогать, роняетъ палочки угля на полъ и разбиваетъ ихъ на мелкіе кусочки.

— И славу Богу! — говоритъ предѣдатель, перебрасывая ро рту отъ одной щеки въ другой кусокъ поросенка. — Авось не будутъ начкаться.

Больше никого пока еще нѣтъ.

Нѣтъ и Китти, потому что я за ней не заѣхалъ.

Учитель рисованія съ поэтомъ ползаютъ по полу, собирая кусочки, и переругиваются злымъ полушопотомъ. Черный беллетристъ рассказываетъ о своей поѣздкѣ въ Бухару. Скучно.

Въ кабинетъ время отъ времени навѣдывается старый, съ длинными бакенбардами, лакей. Онъ не долюбиваетъ нашу компанію, потому что она необыкновенно привередлива и не такъ то богато даетъ на чай. Зато хозяинъ ресторана, кажется, очень доволенъ, что его учрежденіе удостоили избрать господа, портреты которыхъ время отъ времени помѣщаются въ иллюстрированномъ прибавленіи къ газетѣ.

Очень скучно. Я заказываю коньяку.

Теноръ просыпается.

— Не хотите ли за компанію? Съ ломтикомъ лимона?

Теноръ раздумываетъ, трогаетъ пальцами горло, потомъ машетъ рукой и пересаживается поближе ко мнѣ. Мы говоримъ о театрѣ, о новой антрепризѣ, о закулисныхъ проискахъ. Женѣ поэта, кажется, надоѣло слушать о Бухарѣ, и нашъ разговоръ привлекаетъ ее больше. Дослушавъ, съ любезной улыбкой, рассказъ о какомъ-то дорожномъ эпизодѣ, она переходитъ къ намъ.

На ней все то же, стального цвѣта, узкое платье, въ которомъ она



была здѣсь, когда я въ первый разъ обратилъ на нее вниманіе. Вышитая поддѣльнымъ жемчугомъ повязка въ волосахъ. Все это скромно, но не бѣдно и очень ей къ лицу. Однако же, она представляется мнѣ сегодня простенькой и заурядной, болѣе заурядной, чѣмъ даже Китти. И у Китти, конечно, болѣе правильныя черты лица. Она красивѣе.

Да, похоже на то, что я ошибся. Впрочемъ, вѣрилъ ли я тому, что говорилъ ей недавно? Кажется, въ тотъ моментъ, когда говорилъ—вѣрилъ. Но теперь нѣкоторое разочарованіе не особенно печалитъ меня.

Она не умѣетъ держать себя при постороннихъ. Въ ней нѣтъ того, что дается женщицѣ не выучкой, а только инстинктомъ.

Она смотритъ на меня такъ, что даже мало проницательный человѣкъ могъ бы кое о чемъ догадаться. И въ ея большихъ выпуклыхъ глазахъ отражаются попеременно тревога и недоумѣніе, любовь и упреки. Кажется, ей досадно, что рядомъ со мной сидитъ теноръ. Ей хотѣлось бы поговорить безъ постороннихъ свидѣтелей.

Приходятъ еще два художника. Одинъ—высокій, рыжій. Другой—низенькій, съ широкой и короткой, какъ будто приплюснутой головой. Теноръ радостно встрѣчаетъ рыжаго. Оказывается, они — однокашники и когда-то вмѣстѣ одолѣвали гимназическую премудрость.

— Пьешь коньякъ? Брось.. Устрицы полезнѣе. Закажемъ устрицъ?

— Все, что угодно—ради встрѣчи. До шампанскаго включительно.

Низенькій подсаживается къ предсѣдателю и спрашивается о качествахъ поросенка.

— Начека—не особенная. Нѣтъ, знаете, настоящаго букета. Но кожаца обжарена хорошо. Рекомендую попробовать.

Черный беллетристъ заказываетъ сифонъ содовой. Онъ очень мало ѣстъ и не употребляетъ никакихъ спиртныхъ напитковъ.

Женѣ поэта удастся, наконецъ, сѣсть у стола рядомъ со мной. Она немилосердно крутитъ между пальцами длинную тоненькую цѣпочку медальона и кусаетъ губы. Рыжій съ теноромъ громко спорятъ и смѣются, заглушая наши тихіе голоса. Учитель рисованія, примирившійся съ поэтомъ, показываетъ ему, какъ нужно рисовать углемъ, и практичный поэтъ проситъ набросать его портретъ.

— Я вдѣлаю въ рамку и повѣшу на стѣну... Можно будетъ даже воспроизвести гдѣ-нибудь въ журналѣ... Пожалуйста!

— Мнѣ кажется, что это было уже давно, давно,—когда я васъ видѣла въ послѣдній разъ!—говоритъ мнѣ жена поэта,

— И, можетъ быть, воспоминаніе объ этомъ свиданіи изглаживается какъ о всемъ давно минувшемъ?

Она покачиваетъ головой,—и фальшивый жемчугъ красиво переливается на ея повязкѣ.

— Нѣтъ. Къ сожалѣнію—нѣтъ.

— Значить, уже раскаяніе?

— Я не знаю. Но когда я вспоминаю, мнѣ хочется, чтобы этого никогда не было.

— Это было и будетъ, потому что такъ должно было случиться, мой другъ. Вы слишкомъ много раздумываете и мало дѣйствуете. Это нехорошо.

Мнѣ нравится задѣвать эту тему въ присутствіи мужа. Но она сама идетъ мнѣ навстрѣчу, какъ будто во всей комнатѣ нѣтъ никого, кромѣ насъ двоихъ.

— За то время, пока я не видѣла васъ, я все старалась понять, почему... почему я подчинилась вамъ почти безъ борьбы. И мнѣ кажется, что это было просто насиліе.

— Другъ мой, такая догадка оскорбительна для васъ, а не для меня.

Рыжий художникъ хохочетъ надъ чѣмъ-то такъ громко, что дрожать стеклянныя розетки на подсвѣчникахъ.

— А развѣ я отрицаю это?—отвѣчаетъ жена поэта и, опуская голову еще усерднѣе теребитъ цѣпочку. Тоненькія звенья не выдерживаютъ и рвутся.

— Дайте мнѣ... Я отнесу ювелиру.

Она послушно передаетъ мнѣ цѣпочку вмѣстѣ съ медальономъ.

Открываю медальонъ—большой и съ претензіей на стиль, но совсѣмъ легковѣсный и грубоватой работы. Наверное, — подарокъ поэта, когда тотъ былъ еще женихомъ.

Мѣсто для портрета пусто. Сквозъ стекло просвѣчиваетъ только муаровая шелковая подкладка. И на придерживающемъ стекло ободкѣ—грубья царапины, сдѣланныя неопытной рукой.

— Кто здѣсь былъ?

— Мой мужъ.

Послѣ маленькой паузы она говоритъ, запинаясь, и ея уши розовѣютъ:

— Вставьте сюда вашъ портретъ. Все равно, вы будете у ювелира. Онъ это сдѣлаетъ.

Поэтъ приближается къ намъ, ступая неслышно, какъ кошка. Но я во время закрываю пустой медальонъ и прячу его въ карманъ.

— Чѣмъ вы такъ заняты? Въ такомъ тѣсномъ кружкѣ, какъ нашъ, не слѣдуетъ шептаться.

Жена поэта взглядываетъ на него черезъ плечо.

— Что тебѣ нужно? Ты, кажется, скучаешь безъ своей гимназистки.

— Но, Лена...

Поэтъ отходитъ обиженный и злобный. Я не склоненъ его утѣшать. На

его счастье какъ разъ въ это время является еще одна запоздавшая группа: два газетчика—фельетонистъ и критикъ,—и архитекторъ.

— Прекрасно!—восклицаетъ поэтъ.—Теперь насъ ровно двѣнадцать и мы можемъ какъ слѣдуетъ приняться за ужинъ. Предлагаю выразить уважаемому предсѣдателю порицаніе за предвѣсхищеніе событій, выразившееся въ уничтоженіи жаренаго поросенка съ кашей.

Предсѣдатель оправдывается.

— Еще много осталось, господа! Я всего только два кусочка: окорочекъ и ребрышко.

Суетится, разставляя приборы, лакей.

Рыжій художникъ съ тенеромъ остаются на прежнихъ мѣстахъ, направо отъ меня и Елены. Налѣво усаживается архитекторъ. Его называютъ человекомъ-подушкой, потому что онъ толще предсѣдателя и послѣ ужина обыкновенно засыпаетъ, положивъ голову на собственную грудь.

Критикъ протираетъ носовымъ платкомъ стекла пенсне и бер-жно насаживаетъ его на носъ, безпрестанно поправляя двумя пальцами правой руки,—указательнымъ и среднимъ. Черный беллетристъ смотритъ на критика волкомъ. Они не въ ладахъ и, кажется, одно время даже не подавали другъ другу руки.

Фельетонистъ съ слѣдующими, подстриженными щеткой, волосами и съ носомъ луковичей дѣловито изучаетъ буфетную карту.

Говорятъ пока вразбродъ, каждый о своемъ. Шумъ разговора то разражается короткими взрывами, то затихаетъ совсѣмъ, какъ испорченный моторъ.

У жены поэта давно уже хочетъ сорваться съ губъ какой-то вопросъ. Наконецъ, она не выдерживаетъ:

— Гдѣ Китти?

— Простите, но я не швейцаръ ея меблированныхъ комнатъ.

— Вы всегда пріѣзжали къ тетѣ.

— Да, такъ было.

— Такъ было?—повторяетъ она съ удареніемъ. Улыбается и смотритъ ласково. Ахъ, почему и у тебя такъ мало гордости, мой милый другъ?

— Я утверждаю,—выдѣляется изъ общаго шума гнусавый голосъ критика,—я утверждаю, что высокая культурность есть необходимѣйшій спутникъ таланта. И поэтому я не признаю никакихъ выскочекъ и самоучекъ. Всѣхъ этихъ такъ называемыхъ писателей изъ народа и бывшихъ гвардейскихъ подпоручиковъ. Тончайшія эмоціи, составляющія наивысшую цѣнность въ художественномъ изображеніи, имъ недоступны. И то, что они сообщаютъ—это, можетъ быть, превосходный матеріалъ для чтенія прикащиковъ

и горничныхъ, но не литература. Знамя литературы нужно держать настолько высоко, чтобы до него не доходилъ запахъ кухни.

Черный бесшутливо напускаетъ на лобъ свою огромную кудлатую шапку и дѣлаетъ притворно унылую гримасу,

— Увы! Жизнь очень часто преподноситъ намъ готовые символы. Въ этомъ помѣщеніи, гдѣ мы собираемся каждую среду, весьма пахнетъ именно кухней. Стало быть, наше знамя...

— Знамя наше — искренность! — надрывается нашенскій, съ приплюснутой головой. — Искреннее и полнее выявленіе творческой души — и только. И истинно талантливый человекъ культуренъ самъ по себѣ, неизменно. Что вы изъ книжекъ добываете вашу культуру, господни критикъ? Пѣть-ся! Она должна быть заложена въ васъ почти съ челонокъ. Съ той самой минуты, какъ вы начали сознательно воспринимать міръ...

— Извините, но по вашему выходитъ, что какъ-нибудь гимназистъ...

— И гимназисту, въ которомъ горитъ уже искра Божія, вы въ подметки не годитесь. Вы будете размазываться съ вашей культурностью на пятидесяти страницахъ, и все таки статья вашей цѣна будетъ грошъ, а гимназистъ на ту же самую тему дастъ какую-нибудь кривую линію, мазокъ, точку, — и этимъ скажетъ все. Все до конца. Видаль я въ прошломъ году на литературной выставкѣ одного такого гимназиста... Пальчики оближешь... Постыженіе Глубина!

— Правильно! — баситъ, подзадоривая, черный.

Они все здѣсь ненавидятъ другъ друга какою-то особенной, мелкой и придиричливой ненавистью. Даже архитекторъ и учитель рисованія, которымъ кажется, нечего дѣлать, иногда набрасываются съ пѣной у рта другъ на друга, — или, вдвоемъ, на кого-нибудь третьяго. Одинъ только теноръ относитъ безразлично ко всему, кромѣ фельетониста. Фельетонистъ ведетъ въ своей газетѣ также и театральнѣйшій стѣбъ.

Поэтъ уже рассказываетъ фельетонисту о своей поэмѣ.

— Вы знаете, я вообще противъ того, чтобы публика узнавала о моихъ произведеніяхъ раньше, чѣмъ они появятся въ печати. Похоже на рекламу, знаете... Но въ данномъ случаѣ я ничего не имѣю противъ. Поэма будетъ печататься въ новомъ журналѣ, который слѣдуетъ поддержать... Вы понимаете?

— А хорошо тамъ платятъ? — спрашивается черный.

— Удовлетворительно. Вы знаете, что я за дешевую цѣну не пойду.

— Меня тоже приглашали, а я боюсь. Обжуютъ. Съ нихъ взятки гладки, съ этихъ новоспеченныхъ издателей.

— Все таки я завидую вамъ, господа! — вздыхаетъ рыжій. — Напишите стишокъ, либо повѣстущечку. Еще чернила не просохли, анъ глядь — уже

продано и золотушки въ карманѣ шевелятся. Да и авансы хватаете, походя. Нашъ братъ на одни издержки производства уйму карбованцевъ истратитъ, а погомъ сиди и жди покупателя. Вотъ я сейчасъ большое полотно продаю. Завтра окончательный торгъ будетъ,—и вѣдьма знаетъ, еще сладится ли... Мало даетъ банкиръ, чертяка. А полотно премированное.

— Когда это?—недовѣрчиво спрашивается учитель рисованія.

— Ну, не совсѣмъ премированное, но голоса у жюри раздѣлились пополамъ. Только председатель подвелъ, а то имѣлъ бы премію.

Критикъ обиженъ, что на него такъ мало обращаютъ вниманія. Онъ все повышаетъ голосъ и чаще обыкновеннаго поправляетъ пенснѣ.

— Сядьте въ калошу, голубчикъ!—ласково предлагаетъ архитекторъ.— Тутъ вамъ не журналъ, а свободная трибуна мнѣній. Все равно никому въ своихъ высокихъ мыслей въ голову не вобьете. А вотъ скажите лучше, правда-ли, что ваша послѣдняя книжка не идетъ совсѣмъ? Цѣликомъ, говорить, такъ и лежитъ на складѣ...

— Ну, это положимъ... Правда, я надѣялся на большее, но тѣмъ не менѣе...

— Да вы что морщитесь-то?—негодуетъ черный.—Развѣ это позоръ для автора, если его книга мало покупается? Креститесь и говорите: благодарю тебя, Боже, что ты не сотворилъ меня общедоступнымъ и популярнымъ... Или вамъ тоже прикащики и горничныя нужны при всей вашей культурности?

Архитекторъ хлопаетъ себя по карману.

— Утѣшайтесь, дѣточки... А все-таки—нѣтъ продажи, нѣтъ и гонорара. Или вы ради славы? Такъ какая же слава, когда и не читаетъ никто?

Жена поэта говоритъ тихо, наклоняясь ко мнѣ такъ близко, что ея волосы щекочутъ мою щеку:

— Почему они всѣ такіе... глупые? Я себѣ раньше все это иначе, со всѣмъ иначе представляла... И когда была невѣстой, мечтала о томъ, что буду жить теперь въ кругу избранныхъ, лучшихъ талантливыхъ людей. А они, оказывается, хороши только издали. Читать ихъ книги, смотрѣть ихъ картины—хорошо. А ужинать съ ними—только скучно... И если соберутся какіе-нибудь чиновники или офицеры, они, навѣрное, проводятъ время насколько не скучнѣе и не глупѣе. Правда?

Ея глаза все еще свѣтятся радостью, и я понимаю, что она говоритъ все это только потому, что ей хочется обращаться ко мнѣ, смотрѣть на меня, ждать моихъ словъ. Въсто отвѣта я шепчу ей:

— Лучше, если бы мы были сегодня только вдвоемъ.

На столѣ, кромѣ всякихъ кушаній и закусокъ,—большой графинъ водки, нѣсколько кувшиновъ пива, вино. Много пьютъ четверо: критикъ.

поэтъ, архитекторъ и рыжій художникъ. Остальные только такъ, слегка навеселѣ и стараются удержаться на этой ступени. Черный совсѣмъ трезвъ. У поэта глаза мутнѣютъ и нижняя губа отвисла. Онъ нараспѣвъ скандируетъ отрывки изъ своей новой поэмы и его сосѣдъ, фельетонистъ, въ тактъ киваетъ головой, успѣвая, въ то же время, уничтожать пожарскую котлету.

Критику удастся, наконецъ, перекричать всѣхъ остальныхъ, несмотря на оппозицію архитектора. Теперь онъ говоритъ о публикѣ, о потребителѣ, какъ онъ выражается, художественныхъ цѣнностей. И, такъ какъ эта тема всѣмъ по сердцу, его слушаютъ довольно внимательно. Только архитекторъ безцеремонно разговариваетъ во весь голосъ съ чернымъ балетристомъ, посасывая пиво.

Я нахожу подъ столомъ ногу жены поэта, и она, слегка краснѣя, принимаетъ эту банальную ласку. Сегодня она отдавалась бы мнѣ уже безъ слезъ.

— Мы бросаемъ имъ подъ ноги клочья нашего сердца!—выкрикиваетъ пьянѣющій критикъ. Его движенія становятся все болѣе порывистыми. Пенснэ упало на скатерть, но онъ уже не пытается водворить его на надлежащее мѣсто и щуритъ близорукіе глаза.—Мы питаемъ ихъ своей кровью. Мы въ болѣзни вынашиваемъ нашихъ дѣтищъ... Мы рождаемъ ихъ въ мукахъ... И отдаемъ ихъ на игрище и поруганіе...

— Кто больше ругаетъ-то? Сами ругаете!—баситъ черный, но критикъ уже не можетъ остановиться.

— А гдѣ же награда? Мы получаемъ подачки, какъ нищіе. Мы, толкователи жизни, мы, завершеніе зданія! Но мы должны быть гордыми, господа! Замкнемся въ себѣ, на неприступныхъ для толпы высотахъ. И пусть она буйствуетъ тамъ, внизу. Мы будемъ творить только въ себѣ и для себя. Я предлагаю, господа, великую идею: забастовку творчества. Они оцѣнятъ насъ, только когда поймутъ свою собственную духовную пустоту...

Архитекторъ опускаетъ голову на грудь.

— Чепуха. Я-то во всякомъ случаѣ буду строить. Дачи, тюрьмы, богадѣльни, пріюты для престарѣлыхъ литераторовъ и актеровъ,—развѣ это не творчество тоже?

Лакей предупредительно распахиваетъ дверь кабинета.

Входитъ Китти.

Она одѣта и причесана съ особой, бросающейся въ глаза изысканностью. И на щекахъ едва замѣтнымъ слоємъ наведены румяна. Она кажется очень оживленной,—и очень красивой.

Всѣ замолкаютъ при этомъ неожиданномъ появленіи, какъ лягушки, вспугнутыя брошеннымъ камнемъ. Потомъ начинается суета, обычная при приходѣ запоздавшего гостя. Скрипятъ по паркету передвигаемыя стулья.

дребезжить обремененная критикомъ тарелка, склоняются свины и нѣсколько паръ усевъ прикасаются къ перчаткѣ Китти.

— Сегодня, кажется, у васъ довольно удачный вечеръ, не правда-ли? Даже въ корридорѣ слышно, какъ вы сносите... Здравствуйте, моя милочка! И очень рада, что опять вижу васъ здѣсь.

Жена поэта блѣднѣетъ и придвигается ко мнѣ ближе, чѣмъ это принято. Отъ недоумѣнія и растерянности грудь ея поднимается высоко и бурно,—и она едва находитъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы пробормотать невнятно:

— Да, да... Я тоже очень рада...

Китти, повидимому, намѣревается занять мѣсто архитектора. Однако же черный беллетристъ уже приготовилъ ей стулъ рядомъ съ собою, на другомъ концѣ стола, и Елена переводитъ дыханіе съ нѣкоторымъ облегченіемъ.

Помнится, когда я былъ маленькимъ мальчишкой, и мой отецъ, передъ поркой, уходилъ въ другую комнату, чтобы взять ремень, я тоже вздыхалъ съ облегченіемъ.

Фельетонистъ со своимъ телячьимъ равнодушіемъ вѣчно мѣшается не въ свои дѣла. Онъ улыбается, приглаживаетъ ладонью свою сѣдую щетку.

— Мы думали, что уже не будемъ имѣть счастья видѣть васъ сегодня. Вашъ спутникъ уже здѣсь—и въ единственномъ числѣ.

— Мой спутникъ? Ахъ, да... Что же дѣлать? Я попробовала найти дорогу одна.

Критикъ почему-то кричитъ:

— Браво! Да здравствуетъ эмансипація!..

Рыжій вскакиваетъ, какъ ужаленный.

— Это заговоръ, господа! Тринадцать за столомъ... А мнѣ завтра продавать картину...

Пересчитавъ глазами присутствующихъ, теноръ тоже поднимается.

— Въ самомъ дѣлѣ. Я не особенно суевѣренъ, но, однако...

— Архитектора плюсъ председатель можно смѣло считать за троихъ!—утѣшаетъ низенькій.—Въ итогѣ—четыринадцать.

Но рыжій собираетъ свой приборъ и переселяется на угловой столикъ непочтительно смахивая съ него рисовальныя принадлежности. Сострадательный архитекторъ передаетъ ему бутылку съ виномъ. Тогда теноръ, успокоенный, опускается на прежнее мѣсто.

Ужинъ идетъ своимъ чередомъ. Критикъ, наконецъ, теряетъ способность выражать свои мысли достаточно связно и съ интересомъ слушаетъ какой-то не совѣсь приличный анекдотъ, который рассказываетъ низенькій художникъ.

Жена поэта молчать и не притрогивается къ ѣдѣ, я слѣжу за Китти, въ то же время оживленно переговариваясь съ теноромъ.

Мнѣ никогда еще не случалось видѣть Китти такой эффектной и возбужденной. Ея зубы сверкаютъ въ улыбкахъ, но, взглядываясь, я замѣчаю, что съ этой улыбкой странно не вяжется выраженіе глазъ. Глаза слишкомъ влажны, какъ будто готовы наполниться слезами. Нѣсколько разъ она прерывается что то сказать мнѣ, но когда я взглядываю на нее въ упоръ — отвѣрчивается и заговариваетъ съ чернымъ.

На одинъ короткій мигъ во мнѣ пробуждается нѣчто вроде сожалѣнія. Я почти раскаиваюсь, что рѣшилъ оттолкнуть отъ себя эту женщину, которая только теперь, въ самый острый періодъ нашихъ отношеній, начинаетъ открывать новыя уголки своей души. Но потомъ я вспоминаю, что остаться съ Китти—это значить добровольно надѣть на себя цѣпи, которыхъ, можетъ быть, никогда уже не удастся снять.

И кромѣ того—просто я такъ хочу. Развѣ я не господинъ своей жизни и своего чувства?

Ванны пары препятствуютъ проницательности и суживаютъ своихъ туманомъ доступный наблюденію горизонтъ. И, кажется, одинъ только черный беллетристъ, который не пилъ сегодня ничего, кромѣ содовой воды, начинаетъ догадываться, что въ нашемъ кружкѣ не все обстоитъ благополучно.

Онъ разговариваетъ съ Китти своимъ спокойнымъ, почти равнодушнымъ голосомъ, но иногда въ этомъ голосѣ неожиданно прорываются ноты слишкомъ сердечныя и интимныя. А вѣдь онъ скрытенъ, какъ кошка, этотъ черный. Никогда не узнаешь, что такое у него на умѣ.

— У васъ сегодня немножко болѣзненный видъ!—громко, чтобы быть услышанной черезъ весь столъ, говоритъ Китти моему сосѣдкѣ. — Вы были нездоровы, я слышала?

— Такъ, пустяки. Головные боли. У меня часто бываютъ головные боли... Вотъ и сейчасъ...

И она обращается къ мужу, хватаясь за только что пришедшую ей въ голову мысль, какъ за якорь спасенія:

— Не пора ли намъ домой? Мнѣ нездоровится.

Тогда я шепчу ей, возмущенный этой рабскою трусостью:

— Ни въ какомъ случаѣ. Вы должны остаться до конца, что бы ни произошло дальше.

Къ счастью, ея мужъ совершенно не склоненъ уходить. Онъ дѣлаетъ видъ, что просто не слышалъ обращенной къ нему просьбы.

Ужинъ заканчивается. Учитель рисованія собираетъ свою тоновую бумагу вмѣстѣ съ обломками угля и, посмотрѣвъ на часы, уходитъ, дѣлая



общій поклонъ всѣмъ присутствующимъ. Завтра у него уроки въ гимназіи и онъ боится проспать. За нимъ поднимаются теноръ и рыжій. Эти двое рѣшили закончить вечеръ радостной встрѣчи у знакомыхъ дѣвицъ, а сейчасъ какъ разъ самое время, чтобы отправляться туда. Позже, пожалуй, уже расхватаютъ самыхъ хорошенькихъ. Фельетонистъ, прощаясь, отговаривается недоконченной статьей.

Архитекторъ дремлетъ. Предсѣдатель, какъ будто, приросъ къ своему стулу, но остальные, наскучивъ неподвижностью, поднимаются, ходятъ взадъ и впередъ по кабинету, разбиваются на отдѣльныя группы по диванамъ и кресламъ. Я подвожу жену поэта къ тому самому узкому двухмѣстному дивану, который прежде всегда занимали я и Китти. Жена поэта очень блѣдна.

Черный стоитъ за кресломъ Китти и что-то говоритъ ей полупонотомъ, Китти смѣется. Слегка пошатываясь и заложивъ большіе пальцы руки за вырѣзы жилета, къ нимъ подходитъ поэтъ.

— Почему вы такъ запоздали сегодня, о, божественная? Вы много потеряли, потому что нашъ уважаемый критикъ былъ сегодня въ ударѣ и утѣшдалъ насъ своимъ краснорѣчіемъ. А теперь, какъ видите, онъ уже подмокъ и завялъ.

Черный встряхиваетъ кудрями.

— И слава Богу. Его слушать — все равно, что блохъ ловить. Никогда не знаешь, куда прыгнетъ.

Поэту хочется сказать что-нибудь остроумное. Онъ смотритъ на Китти и трагически покачиваетъ головой.

— О, женщины! Ничтожество вамъ имя!

— По какому поводу вы вспоминаете такую старую истину?

— А какъ же... Обратите вниманіе: моя супруга занимаетъ мѣсто принадлежащее вамъ по праву и обычаю, а вы сами...

— Ужъ не хотите-ли вы быть моимъ рыцаремъ? И защитить мои права?

— О, божественная! Мой доблестный мечъ и моя жизнь къ вашимъ услугамъ...

— Едва-ли это будетъ такъ удобно. Вы сами сказали только что, что похитительница моихъ... моихъ правъ—ваша собственная супруга. Такимъ образомъ, какъ заинтересованное лицо...

У поэта начинается выскальзывать почва изъ-подъ ногъ, но онъ боится показаться смѣшнымъ и потому лѣзетъ напроломъ, хотя прекрасно понимаетъ, что лучше было бы остановиться.

— Рыцарь не разсуждаетъ, божественная. Онъ только повинуется словамъ и даже взглядамъ дамы своего сердца.

Жена поэта вздрагиваетъ. Кого она боится? Мужа? Нѣтъ, конечно.

Я не раздѣляю ея тревоги, но чувствую, что положеніе становится скучнымъ. Въ концѣ концовъ, вѣдь, Китти не имѣетъ даже никакихъ определенныхъ данныхъ для того, чтобы поступать подобнымъ образомъ. Если ей просто хочется поиграть съ огнемъ — хорошо. Я могу предоставить ей немножко матеріала для этой игры.

— Господинъ рыцарь,—говорю я,—я принимаю вашъ вызовъ. И пусть нашъ коллега-беллетристъ будетъ судьей поединка.

Елена хватаетъ меня за руку. Она, кажется, думаетъ, что мы въ серьезъ затѣваемъ турниръ. И это движеніе такъ искренно и такъ откровенно, что даже поэтъ не можетъ, наконецъ, не замѣтить въ чемъ дѣло. Онъ внезапно хмурится и сжимаетъ кулаки.

— Милостивый государь, ваши шутки представляются мнѣ не совсѣмъ умѣстными.

— Но останутся только шутками, если вы не будете придавать такого грознаго оттѣнка вашему голосу.

— Оставьте же!—тихо молить Елена.

— Собственно, почему ты такъ волнуешься? — грубо спрашиваетъ ее поэтъ и въ мутныхъ глазахъ у него вспыхиваетъ злой огонекъ.—Я вообще, не совсѣмъ хорошо понимаю всю эту исторію.

И неожиданно прибавляетъ, не зная еще, чѣмъ проявить свою ярость:

— Поѣзжай домой. Слышишь? Возьми извозчика и отправляйся. Я приѣду потомъ. Мнѣ нужно еще кое о чемъ переговорить съ этимъ господиномъ.

Въ пьяномъ видѣ онъ преисполненъ благородныхъ чувствъ и ревнивъ, какъ мавръ. И, чтобы охладить его, я думаю вслухъ:

— Странное дѣло, когда онъ бралъ у меня недавно двадцать пять рублей, чтобы истратить ихъ на гимназистку...

Китти прерываетъ меня. Она выпрямляется во весь ростъ, и корсажъ ея платья колыхнется, какъ океанъ въ бурю. Оттолкнувъ чернаго, который хочетъ загородить ей дорогу, она быстро подходитъ ко мнѣ, поднимаетъ руки и сложеннымъ вѣромъ изъ черныхъ страусовыхъ перьевъ, который я самъ подарилъ ей когда-то, изо всей силы ударяетъ меня по щекѣ. Твердая пластинка вѣера больно врѣзается въ кожу.

— Вотъ тебѣ — на прощанье... И помни: я ухожу первая.

Примѣръ заразителенъ. Поэтъ бросается на меня съ поднятыми кулаками, но я хватаю его поперекъ туловища и бросаю подъ столъ. По пути онъ сбиваетъ со стула мирно дремлющаго архитектора. И они оба барахтаются на полу, путаясь въ складкахъ стянутой со стола скатерти, а на нихъ валяются тарелки, бутылки, бронзовый канделябръ и течетъ подливка изъ опрокинутого соусника.

— Что за исторія, господа?—недоумѣваетъ предсѣдатель и глаза выка-

катываются по рачьи на его опухшемъ лицѣ, а критикъ тщетно пытается надѣть пенснэ, чтобы разсмотрѣть подробнѣ картину событій.

Эта вепышка отнимаетъ у Китти всю ея энергію. Натянутые, какъ струна, нервы отказываются служить, и она стоитъ на одномъ мѣстѣ, опустивъ руки, безвольная и невидящая. Пожаръ былъ опустошительнъ, но слишкомъ кратокъ.

Низенькій художникъ съ растерянною челоѣка, который любитъ принимать участіе въ маленькихъ скандалахъ, помогаетъ подняться архитектору и поэту, сзывающему кровавую слюну вмѣстѣ съ выбитымъ зубомъ. Архитекторъ потираетъ ушибленный локоть и ворчитъ,—но не особенно злобно.

— Какъ будто мало свободного мѣста въ комнатѣ... Обязательно нужно падать прямо на челоѣка. Что, я вѣдь и въ самомъ дѣлѣ подушка?

Табачный дымъ тревожно струится въ полуоткрытую дверь. Изъ коридора выглядываетъ испуганное лицо лакея съ трясущимися бакенбардами. Должно быть, онъ соображаетъ, согласится ли эти господа заплатить за посуду, которую перебили.

— Идемъ, я провожу васъ!—говоритъ, обращаясь къ Китти, черный. Она повинуется ему безъ возраженій, какъ автоматъ, но, проходя мимо меня, на мгновеніе останавливается. Ея глаза смотрятъ на меня съ тоскливой мольбой. И если я протяну ей сейчасъ руку, она упадетъ передо мною на колѣни. Но по моей разсѣченной щекѣ медленно скатывается теплая капелька крови. Я кланяюсь и отступаю, давая дорогу Китти, — и черный увлекаетъ ее впередъ.

— Вы... вы за это отвѣтите!—плещется поэтъ.— Я васъ вызываю... Слышите? Сегодня же на разсвѣтѣ... Слышите? Предсѣдатель будетъ моимъ секундантомъ. Вы согласны, предсѣдатель?

— Я тоже могу принять участіе!—выѣшывается критикъ.— Какъ бывшій военный...

Предсѣдатель осторожно, бочкомъ, направляется къ выходу. Чтобы закончить со всей этой исторіей, я говорю поэту:

— Ни драться на дуэли, ни убивать васъ я не буду. Вы, навѣрное, и пистолета никогда не держали въ рукахъ. Но если вы будете надобдаться мнѣ, вамъ придется еще разъ обратиться къ дантисту.

Низенькій художникъ становится въ позу и что-то кричитъ, но его никто не слушаетъ. И только въ эту минуту я вижу Елену, которая бьется въ истерическихъ судорогахъ. Ея свѣтлые локоны разсыпались по плечамъ и растегнувшійся лифъ обнажаетъ кусочекъ груди, которую я цѣловалъ такъ недавно. Носъ покраснѣлъ и опухъ. Мнѣ очень жаль ее,—но вѣдь не могу же я увести ее съ собою. Современемъ все уладится.

Въ корридорѣ я расплачиваюсь по счету и принимаю на свою долю изъ разбитой посуды, двѣ тарелки, нѣсколько рюмокъ и соусники.

## X.

Постепенно я уничтожаю всѣ пути къ отступленію. Я прорубить динию у своихъ кораблей и сжегъ мосты. И какъ бы то ни было, мнѣ остается идти только впередъ, хотя бы тамъ, впереди, была пропасть. Я даже знаю навѣрное, что тамъ—пропасть, и не такъ уже далеко до ея края.

Я усталъ. Меня охватываетъ ненависть даже къ своему собственному тѣлу. Я хотѣлъ бы истомить его, сдѣлать совѣмъ негоднымъ и безсильнымъ, чтобы, когда придетъ послѣдній часъ, оно не цѣплялось за жизнь въ слѣпой, животной жаднѣ существованія. Я хочу, чтобы оно приняло смерть, какъ и душа моя—радостно и облегченно.

Я чувствую, что долженъ предпринять что-нибудь новое. Уйти туда, гдѣ я еще никогда не былъ, продолжать свои скитанія по извилистымъ, перекрещеннымъ путямъ, пока дорога не приведетъ меня къ послѣднему рубежу.

Городъ скученъ и слишкомъ знакомъ. И меня все чаще тянетъ къ морю, къ его свѣжимъ соленнымъ брызгамъ, къ приятному и острому запаху водорослей.

Прохожу бульваромъ въ тихій послѣобѣденный часъ, когда замерла уже дѣловая толкотня дня и не успѣла еще вступить въ свои права праздничная и разгульная суতোка вечера. Деревья давно потеряли послѣдніе листья и метлы сторожей вывели ихъ прочь, на добычу сорныхъ телѣтъ. Сырой крупный песокъ тускло скрипитъ подъ ногами.

На скамейкахъ, разставленныхъ по обѣ стороны дороги, уже потускнѣла и начинаетъ лупиться зеленая краска, весною свѣжая, какъ зелень акацій. Почти пустынно. Вотъ сидитъ на своей обычной скамьѣ помѣшанный ницій, напоминающій китайскаго бонзу своей круглой лысой головой и огромными мѣдными очками. Каждому прохожему онъ предлагаетъ купить листокъ почтовой бумаги съ собственнымъ стихотвореніемъ, которое онъ строчитъ тутъ же, положивъ на колѣно истрепанную папку. И аккуратно складываетъ свой гонораръ въ потертый замшевый кошелекъ.

Дальше сидитъ, глубоко засунувъ руки въ карманы и нахлобучивъ на лобъ фуражку, человекъ въ формѣ моряка торговаго флота и время отъ времени методически плыветъ на середину дорожки, стараясь попасть все въ олимпъ и тотъ же плоскій розоватый камешекъ.

Въ концѣ бульвара, на послѣдней скамейкѣ, придвинутой вплотъ къ живой изгороди изъ колючаго кустарника, я вижу женщину въ короткой

черной жакеткѣ и въ черномъ шарфѣ, которымъ закутано все лицо. Проходя мимо, я случайно оглядываюсь и по глазамъ узнаю Катюшу.

Что она здѣсь дѣлаетъ въ такой ранній часъ?

Я сажусь рядомъ, а она смотритъ въ одну точку и не замѣчаетъ меня. Не двигаетъ ни однимъ членомъ, какъ черное изваяніе тоски.

— Здравствуй, Катюша.

Она издаетъ подавленное восклицаніе испуга и вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ, высоко поднимая плечи. Проводитъ рукой по глазамъ и инстинктивно прячетъ подъ шарфъ выбившіяся на лобъ пряди волосъ.

— Это ты? Здравствуй... Испугалъ меня.

— Развѣ ты ждешь кого нибудь?

— Нѣтъ, такъ просто. Кого мнѣ ждать сейчасъ?

Она принимаетъ прежнюю позу, но сильнѣе открываетъ лицо, и я вижу ея подбородокъ, широкій и крѣпкій, который немножко портитъ общій складъ ея лица, мягкій и почти вѣжливый. Молчимъ долго. Я взрываю концомъ трости отсырѣвшій песокъ, потомъ спрашиваю, совсѣмъ не интересуясь отвѣтомъ:

— Степанъ Ивановичъ вернулся?

— Нѣтъ. Говорили мнѣ, что засыпался, — да не знаю, правда ли... Можетъ быть, въ Москву уѣхалъ. Давно хотѣлъ въ Москву. Онъ и родомъ оттуда...

— А какъ же брошка твоя?

— Чортъ съ ней, съ брошкой... Не говори ты. Молчи лучше. Сѣлъ рядомъ, — ну и молчи.

— Не хочется молчать, Катюша. Я и изъ дому ушелъ отъ молчанья... Подожди немного: скоро не буду надобѣдать тебѣ.

— Уѣдешь?

И почему то съ внезапной тревогой взглядываютъ на меня усталые глаза.

— Уѣду или пѣшкомъ уйду — не знаю. А только не будетъ меня здѣсь скоро.

— Ну, что же... Счастливый путь.

— А ты хотѣла бы тоже уйти, Катюша?

— Вотъ еще... Мнѣ и тутъ хорошо. Живу весело. Чего мнѣ еще?

— Непохоже что-то, чтобы тебѣ было такъ весело. Отчего глаза тоскливые?

— Глаза-то? А голова болитъ. Вчера опять пьяна была. Вотъ и ломаетъ съ похмѣлья. Видишь: пришла провѣтриться.

Отвѣчаетъ съ намѣренной, подчеркнутой грубостью, такъ какъ хорошо знаетъ, что я хотѣлъ бы видѣть ее тихой и чуткой. Но хотя сейчасъ она

не приносить мнѣ ничего, кромѣ лишней душевной боли, я не могу съ нею разстаться.

— Хочешь прокатиться, Катюша? Возьмемъ извозчика и поѣдемъ за городъ. Скорѣе перестанетъ болѣть голова.

Я могъ бы предложить ей автомобиль, какъ женѣ поэта, но въ карманѣ у меня всего нѣсколько рублей. Последніе источники моихъ доходовъ изсякаютъ.

— Не хочу я. Съ какой стати я буду съ тобой кататься? Ты мнѣ не любовникъ. Сказано, вѣдь.

— Я и не думалъ объ этомъ. Просто хотѣлъ тебѣ доставить маленькую радость...

Углы губъ у нея слегка опускаются книзу,—не то презрительно, не то скорбно. Бѣлый широкій подбородокъ выдается впередъ, окаменѣлый и упрямый.

Далеко-далеко, на самомъ горизонтѣ сѣраго туманнаго моря тянется черная полоса дыма за уходящимъ пароходомъ.

Уѣхать? Отправиться куда-нибудь въ новыя страны, къ новымъ людямъ? И тамъ, подъ новымъ небомъ, попытаться стряхнуть съ себя ветхаго человѣка. Поискать хорошенько. Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ не умерла еще гдѣ-нибудь любовь.

Слишкомъ поздно. Не наливаютъ новаго вина въ старые мѣхи.

Время не идетъ вспять. Старыя радости и скорби не вернутся,—и не сдѣлается вновь юной и бодрой одряхлѣвшая душа. Да и зачѣмъ? Что-бы жить для другихъ, какъ тогда, въ юности? Но жилъ ли кто-нибудь для меня? А личная жизнь уже изжита и нѣтъ ничего, что можно было бы пережить вторично. Зачѣмъ же засѣвать новыми сѣмянами опустошенную душу?

Катюша собирается уходить. Я представляю себѣ, какъ я буду сидѣть здѣсь одинъ, глядя на пустынное море и на дымный слѣдъ парохода,—и почти униженно, захлебываясь словами, упрашиваю ее остаться еще немного.

— Совсѣмъ немного. Хотя бы только на нѣсколько минутъ. Вѣдь, я ни о чемъ не говорю съ тобою больше. Я не могу тебѣ мѣшать.

Подумавъ, она остается, хотя, кажется, очень недовольна собой за эту уступчивость. Отворачивается, такъ что я вижу теперь только ея затылокъ и спину черной жакетки, побѣлѣвшей по швамъ. Я знаю, почему она отвернулась. Глаза слишкомъ часто выдаютъ ее.

Солнце опускается все ниже и поперекъ бульвара лежатъ слабыя, едва замѣтныя тѣни обнаженныхъ деревьевъ. Подъ бѣлымъ небомъ виситъ тусклая мгла. Унылая пора, пора смерти и холода.

Кто-то приближается къ намъ медленными, тяжелыми шагами. Призракъ или живое существо съ яснымъ взглядомъ и теплой кровью? Какъ хотѣлъ

бы я, чтобы это былъ только призракъ, только сгустокъ тумана, который разсѣется подъ первымъ дуновеніемъ вѣтра!..

Шаги приближаются все медлительнѣе и медлительнѣе, и короткое сухое покашливаніе доносится до моего слуха.

— Катюша, ты видишь? Да посмотри же!..

Она оборачивается и смотритъ равнодушно.

— Ну, чего тутъ особеннаго? Ницый!..

— Да. Мой ницый. Зачѣмъ онъ идетъ сюда?

— Наредь здѣсь бывасть. Вотъ и онъ ходитъ. Побирается.

— Итъ, это не потому. Онъ знаетъ, что я здѣсь,—и потому идетъ. Онъ ищетъ меня, понимаешь?

Я беру ее за руку, привлекаю къ себѣ, какъ будто она можетъ защитить меня. И, чувствуя ея близость, стараюсь быть бодрымъ.

Безносый приближается. Поравнялся съ нами. Останавливается, опираясь на толстую суковатую палку. Онъ безъ шапки. Уши туго завязаны грязнымъ синимъ платкомъ и узелокъ третъ морщинистую шею подъ безволосымъ подбородкомъ. Въ некоторое время губы его беззвучно шевелятся и потомъ съ трудомъ выбрасываютъ гнусавыя слова, которыя падаютъ на меня, какъ плевки:

— Подайте, ради Господа. Несчастному казѣкъ.

Все еще сжимая руку Катюши, я молча смогрю на его пзуродованное лицо,—вѣлѣную каррикутуру черена съ гноящейся дырой надъ ртомъ огромнымъ и тонкимъ, какъ у жабы. И безносый повторяетъ настойчивѣе, растягиваетъ до самыхъ ушей жесткія, непослушныя губы:

— Подайте, господинъ. Ухожу я. На родину ухожу. Помирать. Подайте странному.

Онъ уходитъ?

— Этого не можетъ быть, Катюша. Онъ лжетъ. Почему онъ уходитъ какъ разъ въ то время, когда и я тоже долженъ уйти? Почему онъ всегда преслѣдуетъ меня?

Катюша со злобной грубостью вырываетъ свою руку, отодвигается подальше.

— Ахъ, да что мнѣ? Вотъ и ступайте вмѣстѣ!.. Какое мнѣ дѣло?

А безносый все стоитъ и ждетъ подачки. Онъ знаетъ по опыту, что мужчина всегда щедръ и великодушенъ въ присутствіи женщины. И вмѣсто того, чтобы прогнать его, я дѣлаю ему знакъ поджидать, такъ какъ хочу сначала немного привести въ порядокъ клочки разрозненныхъ мыслей.

Это—судьба. Судьба, которая своей насмѣшливой игрой всегда отравляла мнѣ минуты радости и усугубляла минуты скорби. Судьба, которая теперь, за послѣдніе мѣсяцы, вѣзвѣтила въ этомъ, еще живомъ, но уже

смердящемъ трупѣ и толкаетъ его мнѣ навстрѣчу именно тогда, когда мнѣ слишкомъ тяжело его видѣть.

Можетъ быть, я слишкомъ долго боролся съ этой судьбой. Теперь пора мнѣ пойти съ нею рука объ руку.

— Куда ты уходишь? Далеко?

— Молодому—близко. Старому—далеко!—плюются мнѣ въ отвѣтъ гнусавыя слова.—Гдѣ родился—тамъ помирать. Косточки ноютъ,—тяжело мнѣ.

И онъ произноситъ названіе маленькаго, затеряннаго въ степи городка за сотни верстъ отсюда. Не все ли мнѣ равно, куда идти? Только бы не останавливаться на одномъ мѣстѣ, не давать отдыха проклятому тѣлу и опустошенной душѣ.

— Ладно, безносый. Мы идемъ вмѣстѣ.

Онъ принимаетъ это за шутку,—или просто не понимаетъ меня,—и упорно протягиваетъ ладонь, странно бѣлую и мягкую.

— Подайте же, господинъ. Отъ щедрости вашей.

— Подожди. Я сдѣлаю лучше. Я пойду съ тобой вмѣстѣ, ты понимаешь? У меня есть еще нѣсколько рублей и этого намъ обоимъ хватитъ на дорогу. И кромѣ того, у меня есть еще часы, золотыя кольца и запонки, и золотой медальонъ на цѣпочкѣ, хорошій костюмъ и серебряный набалдашникъ на палкѣ...

— Подайте, господинъ. Богъ наградитъ за калѣку.

Не такъ легко проникаетъ въ его разслабленный мозгъ простая и ясная мысль. А мнѣ некогда ждать. Я вспоминаю свои рукописи, спящія подъ слоемъ пыли на моемъ письменномъ столѣ, и удобный диванчикъ въ комнатѣ Китти. Некогда ждать.

— Гдѣ ты живешь? Проводи меня. А завтра утромъ мы отправимся въ дорогу.

Не понимая, онъ, все-таки, смутно чувствуетъ возможность поживы и потому не протестуетъ, когда я встаю и кладу руку ему на плечо. Я онасаюсь, чтобы онъ не вздумалъ убѣжать теперь, когда все уже рѣшено.

— Прощай, Катюша. Мы уходимъ.

Она смотритъ на насъ обоихъ, потомъ обхватываетъ руками приподнятое колѣно и начинаетъ хохотать все громче и громче.

— Славная парочка... Вотъ, когда ты нашелъ себѣ настоящее мѣсто, миленькій!

Сквозь ея хохотъ прорывается что-то похожее на рыданія и случайные прохожіе, останавливаясь, смотрятъ на насъ со злымъ любопытствомъ. Безносый торопливо шмыгаетъ въ сторону и я слѣдую за нимъ, все еще придерживая его за плечо.

Мы уходимъ съ бульвара, сворачиваемъ въ переулокъ, спускаемся внизъ.



по какому-то каменистому, изрытому дождями спуску, о существованіи котораго я не подозрѣвалъ до сихъ поръ. Внизу пахнетъ гніющими отбросами и солнце не проникаетъ сюда изъ-за высокихъ стѣнъ, грубо сложенныхъ изъ вывѣтрившагося потемнѣвшаго камня.

Здѣсь, должно быть, безносый чувствуетъ себя почти дома и потому останавливается. Раздираетъ жесткія губы подобострастной улыбкой.

— Веселый господинъ: шутить. Веселый господинъ, дай Богъ вамъ здоровья.

— Я не шучу. Понимаешь ты, чудовище? Я не шучу. Я ухажу съ тобой вмѣстѣ, и ты будешь очень глупъ, если не захочешь имѣть меня своимъ товарищемъ. Это не принесетъ тебѣ ничего, кромѣ пользы. Тебя смущаетъ моя одежда? Я продамъ ее. Вымѣняю на такія же отрепья, какія надѣты на тебѣ. И сдѣлаюсь такимъ же нищимъ, какъ ты, и такъ же, какъ ты, буду рог ягивать руку, когда у насъ израсходуются всѣ деньги. Ты старъ и боленъ. Тебѣ опасно пускаться одному въ такую дальнюю дорогу... А если мы пойдемъ вмѣстѣ, я буду поддерживать тебя, когда ты устанешь, я буду устраивать ночлегъ и добывать пищу... И если ты заболѣешь, я буду лечить тебя.

Глаза безносаго загораются жаднымъ блескомъ. Онъ еще не вѣритъ мнѣ, но все опредѣленнѣе чувствуетъ поживу.

— Вы — баринъ и башмачки у васъ тонкія. Ножки собьете въ кровь. Ноженъки барскія, нѣжненькія. Я жру, какъ собака, — что бросать. А вы къ сладенькому привыкли. Дайте мнѣ полтинничекъ. Помолюсь за васъ Господу.

— Дамъ, больше дамъ. Только возьми меня съ собой. Только пойдемъ вмѣстѣ. Ты умирать идешь, правда?

— Косточки болятъ. Помирать.

Мы стоимъ въ темномъ углу, подъ заборомъ, и меня начинаетъ тошнить отъ вонючей грязи этой трущобы и отъ жабыей морды безносаго, которая назойливо лѣзаетъ мнѣ въ глаза, хотя я стараюсь не смотрѣть на него. Мнѣ страстно хочется покончить все дѣло возможно скорѣе, перейти черезъ грань, изъ за которой уже невозможно будетъ вернуться. Я опять убѣждаю, потомъ начинаю грозить, потомъ умоляю униженно.

Наконецъ, нищій сдается. Кажется, онъ приходитъ къ убѣжденію, что я — просто сумасшедшій, такой же сумасшедшій, какъ другой нищій, который продаетъ на бульварѣ свои стихотворенія, — и это сразу успокаиваетъ его.

Теперь уже онъ самъ предлагаетъ мнѣ отправиться съ нимъ вмѣстѣ на ночлегъ, — и выбравшись изъ грязнаго закоулка, мы идѣмъ долго и торопливо, а сумерки надвигаются и кое гдѣ въ окнахъ домовъ сквозь пыльные стекла тускло краснѣютъ огни.

Безносый—вперед. Онъ часто оглядывается, провѣряя: не отстаю ли я. Онъ начинаетъ, повидимому, считать меня своей законной добычей, и даже тревожится, какъ бы эта добыча не выскользнула изъ рукъ. А я уже связанъ. Теперь если бы даже я захотѣлъ вернуться—во мнѣ не найдется для этого достаточно воли. Я иду за безносымъ, какъ замороженный, преодолевая отвращеніе и тоску.

Теперь, въ пустынныхъ переулкахъ, гдѣ не у кого просить милостыни, безносый шагаетъ твердо и держитъ высоко, какъ слѣпой, свою безобразную голову, повязанную синимъ платкомъ.

Какой-то оборванецъ провожаетъ насъ внимательнымъ взглядомъ.

Мы останавливаемся у низенькаго домика съ плоской кровлей, кое какъ сложенной изъ проржавѣвшихъ желѣзныхъ листовъ. Надъ дверью домика написано черной краской по забѣленнымъ известкой камнямъ: „Чай и кушанье“. Сквозь плотно занавѣшенное окно едва пробивается свѣтъ.

— Сразу нельзя на ночлегъ!—объясняетъ безносый.—Тамъ всякіе люди,—ограбятъ. Платице надо переѣмнить... Часики снять, колечки... Здѣсь все можно сдѣлать.

Толкаетъ дверь, съ трудомъ поворачивающуюся на тугомъ блокѣ, и мы входимъ. Комната—низкая, съ обвисшимъ, какъ беременное брюхо, потолкомъ. На длинной, почернѣвшей отъ грязи, стойкѣ коптитъ жестяная лампа и при ея жалкомъ мерцаніи я съ трудомъ могу рассмотреть что-то живое и копошащееся. Это—люди, мужчины и женщины, въ жалкихъ отрепьяхъ, съ землистымъ тѣломъ, выглядывающимъ сквозь зіяющія прорѣхи. Запахъ пота и грязи, прогорклаго масла и чесноку ударяетъ мнѣ въ голову, и я долженъ опереться рукою объ стѣну, чтобы не упасть. Люди шевелятся, какъ черви въ навозѣ. Одни хлеблютъ что-то темное изъ большихъ глиняныхъ чашекъ, другіе просто сидятъ, почесываясь и перебрасываясь другъ съ другомъ лѣнивыми и вялыми словами. Никто не обращаетъ вниманія на нашъ приходъ. Только хозяинъ за стойкой, старый кривой грекъ, похожій на плохо сохранившуюся мумію, поднимаетъ голову и вопросительно взглядываетъ на моего спутника.

Потомъ они переговариваются на непонятномъ мнѣ языкѣ, а я стою, прислонившись къ липкой стѣнѣ, и смотрю.

— Вотъ она—грань жизни. Послѣдняя ступень человѣческаго ничтожества, послѣ которой возможно лишь разложеніе и смерть.

Но вѣдь я свободенъ. Почему же я не уйду? Только толкнуть дверь. А что тамъ, за дверью? Не я ли самъ отвергъ все, что мнѣ давала та жизнь?

И, словно, замѣтивъ мои послѣднія колебанія, безносый зоветъ меня куда-то въ самую глубину берлоги. Тамъ, въ темномъ углу—едва замѣтная дверь, такая низкая, что даже согнувшись я, все-таки, задѣваю головой за

притолоку. Безносый чиркаетъ спичкой и зажигаетъ огарокъ въ желѣзномъ подсвѣчникѣ, который передалъ ему хозяинъ. Потомъ шепчетъ:

— Надулъ Каспарочку, надулъ маленечко. Сказалъ ему: землякъ мой, молъ... Фартовый парень. Теперь, говорю, неудача вышла и надо парню головку уносить. Смѣлочку, говорю, дай, Каспарка... Смѣлочку хорошую. А торговаться то я самъ буду. Сейчасъ придетъ онъ.

Я сажусь на пустой боченокъ изъ подъ пива, замѣняющій всю мебель этой комнаты. Безносый стоитъ и кривляется, улыбается ласково, потираетъ мягкую ладонь объ ладонь,—и еще безобразнѣе, чѣмъ онъ самъ, его огромная тѣнь на стѣнѣ.

— Смѣлочку возьмемъ и золото спустимъ, а денежки то въ карманчикъ зашейте покрѣпче, нитками толстыми,—чтобы не укралъ кто... А потомъ и поѣдемъ. Я—помирать, а вамъ зачѣмъ? Ха!..

— И я помирать, безносый. Пора мнѣ. Я старше тебя. Ты долго жилъ, да мало видѣлъ. А я усталъ уже.

— Такъ, такъ. Вотъ и правда такъ. Всѣхъ въ гробики заколотятъ... А кого и безъ гробика. Сами собой погніють косточки.

— Я думаю, не скоро умрешь ты, старикъ. Ты теперь здоровѣе сталъ. Помню: едва ноги волочилъ, а теперь сбѣгаешь. Идти, вотъ, хочешь такую даль.

— Передъ смертью такъ. И еще: бѣдненькому, слабенькому дають то—копѣчекъ то дають—больше.

Вотъ и хозяинъ. Ворохъ тряпья у него въ рукахъ. Бросаетъ весь ворохъ на полъ и облако пыли поднимается кверху.

— Торгуйся же, безносый. Не могу я.

## XI

Мы идемъ.

Вышли передъ разсвѣтомъ, едва поблѣло туманное небо. И идемъ теперь по той самой дорогѣ, по которой я везъ недавно жену поэта въ красномъ автомобилѣ съ побѣдной фанфарой. Налѣво, далеко внизу, медленно дышетъ море послѣ ночного шторма. Направо—стѣнь.

Теперь мы уже почти не отличаемся другъ отъ друга по одеждѣ, по внѣшнему виду. И у меня такая же, какъ у безносаго, суковатая палка, толстый конецъ которой для тяжести налить свинцомъ. На нее можно опираться при ходьбѣ и ею же можно убить.

За спинами у насъ холщевыя котомки, а у пояса безносаго позвякиваетъ жестяной чайникъ. Во внутреннемъ карманѣ толстой куртки изъ колючаго солдатскаго сукна запрятаны у меня деньги и паспортъ. Паспортъ—

не мой, фальшивый. Такъ лучше. Не будетъ знать критикъ, когда написать некрологъ.

Ноютъ отъ непривычки ноги въ жесткихъ опорахъ и оттягиваетъ руку тяжелая палка. И это лучше. И хотѣлъ бы я еще, чтобы лицо у меня было, какъ у безносаго.

Дорога—прямая, длинная, длинная. Ноги переступаютъ сами собою, но кажется, что тотъ сѣрый холмикъ впереди такъ же далекъ, какъ и полчаса тому назадъ.

— Мы не можемъ сдвинуться съ мѣста, безносый. Земля насъ приковала къ себѣ.

— Идемъ, идемъ помаленьку.

Безносый смѣется.

Города не видно уже: исчезъ, растаялъ.

Вспоминаю двоихъ: Катюшу и Китти. Свободную въ рабствѣ и рабыню въ свободѣ. И еще третій образъ приходитъ, но ненадолго: бѣлокурая, въ сѣромъ платѣ, плотно облегающемъ хрупкое тѣло.

— Безносый, ходилъ ты недавно по этой дорогѣ?

Можетъ быть, тогда—не онъ былъ, а только призракъ.

Показываетъ на рукѣ еще не зажившую царапину.

— Ходилъ. А на меня—большой набѣжалъ, красненькій. Скоро бѣжалъ, какъ вѣтеръ. Вотъ и памятку оставилъ. Не заживаетъ у меня долго. Гной плетъ и не заживаетъ... Баринъ тамъ былъ съ баб.ночкой,—копѣчки не бросили. Кулачкомъ въ грудь меня—и на землю.

— А не разглядѣлъ, кто это былъ тамъ? И кто ударилъ тебя?

Безносый смѣется.

Не понять по этой жабьей улыбкѣ—узналъ или не узналъ меня онъ тогда. Но кажется мнѣ, что узналъ. И кажется еще, что знаетъ онъ многое кромѣ того, о чемъ говорить,—какъ будто прослѣдилъ всю мою жизнь до самой колыбели. Поэтому я такъ безволенъ и такъ ничтоженъ въ его рукахъ.

Дробно шумятъ наши шаги по влажному суглинку дороги. Катится перекати-поле по короткому жнивью. Прыгаетъ черезъ межи и канавы, какъ огромный многоногій паукъ. Паутина путается серебряными клочьями въ желтыхъ стебляхъ полныи. Убѣгаютъ обрывки тучъ съ голубѣющаго неба. И новыми глазами, глазами бездомнаго бродяги, который не знаетъ, гдѣ приклонить голову, смотрю я на все.

Иногда охваченный думами, начинаю идти слишкомъ быстро. Тогда однотонный гнусавый голосъ тревожно окликаетъ меня. Я останавливаюсь и жду. Спутникъ нагоняетъ меня, переваливаясь на опухшихъ ногахъ.

— Слабенькій то за здоровымъ не угонится. Куда ему? Болѣзнь у меня. Дурная болѣзнь. За пять копѣчекъ купилъ я ее подъ мостомъ, еще

когда молоденькій былъ. И вотъ не отстала. Все грызетъ, догрызаетъ до мозга. Какъ до мозга дошла—конецъ. Гробикъ готовить надо. За пять копѣчекъ, а?

Чтобы не слушать этого голоса, я почти насильно заставляю себя вспоминать о минувшемъ. Теперь, когда жизнь—позади, она представляется мнѣ, какъ одинъ день. Но въ днѣ этомъ—только утро и вечеръ, и вечеръ слишкомъ длиненъ. И не было свѣтлаго полудня.

Кто вернетъ мнѣ утро? Нѣтъ никого, кто поднялъ бы Лазаря съ погребальнаго ложа, не смущаясь тѣмъ, что уже смердитъ. Теперь уже не ходятъ по землѣ исполненные любви боги. Оставили землю намъ, людямъ, чтобы мы были ея рабами.

До крови стираетъ шею жесткій воротникъ куртки. Ноютъ ноги въ опоркахъ.

— Усталъ я, безносый.

— Идти надо, идти... Не скоро еще. Вотъ, дойдемъ до бугорка—отдохнемъ. И тамъ дорожка у насъ пойдетъ отъ моря прямо на степь. Оттуда, отъ бугорка-то.

И рассказываетъ ласково:

— Молоденькимъ былъ я здоровый и сильный. Сколько хочешь могъ ходить—и все нипочемъ. А тутъ вотъ и купилъ за пять копѣчекъ. Жалко стало. Тѣло у меня крѣпкое было. Зачѣмъ пропадать? А для этого дѣла дѣвочку надо, чистенькую дѣвочку, нетронутую.

Чтобы не видѣть его лица, я немного отстаю, но безносый тоже замедляетъ шаги, поворачиваетъ ко мнѣ темную дыру надъ широкимъ ртомъ. Продолжаетъ рассказывать, смакуя и наслаждаясь.

— Дѣвочку надо. Вотъ иду я разъ по такой же дорожкѣ. Только не здѣсь, не въ этихъ мѣстахъ было. Далеко. Лѣтняя пора была, жаркая. Хлѣбушко убирали съ поля. Вотъ иду и иду. А на встрѣчу мнѣ дѣвочка. Идетъ, топчетъ голыми ножками. Жбанчикъ несетъ съ квасомъ. Вся изгибается: тяжелый жбанчикъ-то.. Дай, говорю, дѣвочка, я помогу. Поглядѣлъ кругомъ, — пусто. Нѣтъ народу. А дорожка то лоштинкой идетъ, лоштинкой. Постой, говорю, дѣвочка, завернемъ за кустикъ, отдохнемъ. Переобуться мнѣ надо. И за ручку ее взялъ покрѣпче. Дѣвочка то стала бѣлая, какъ мѣлъ. Видно: боится такъ, что даже крикнуть не смѣетъ. Вотъ привелъ я ее за кустикъ. Теперь, говорю, дѣвочка, ты меня облегчить должна.

Палка у меня въ рукѣ почему-то дѣлается еще тяжелѣе. Хочется хорошенько размахнуть ею. Размахнуть и ударить. Опять я отстаю на два шага и безносый, увлеченный рассказомъ, не замѣчаетъ этого, продолжаетъ говорить.

— Дѣвочка просится: дяденька, говоритъ, пусти, меня тятка за ква-

сомъ послалъ. А я: кваску, молъ, мы и сами выпьемъ, потому что солнышко печетъ жарко, и путь я уже немалый сдѣлалъ. И начала было она кричать, тоненько такъ, по залцѣи. Ну, ротикъ я ей завязалъ ея же платьишкомъ. Нельзя, говорю, милая, потому что очень ужъ ты нужна мнѣ.

Тяжелѣть налитая свинцомъ палка и сами собою сокращаются мускулы. Грязный платокъ плотно облегаетъ голый черепъ. Ударить вотъ сюда, пониже платка, гдѣ круглая шишка блеститъ на затылкѣ.

Остановился бездѣльный.

— Или поженъки гудутъ? Съ непривычки, баринокъ. Завтра еще потяжелѣе будетъ, а потомъ и пройдетъ все. Хоть на край свѣта иди.

— Спасибо, что обернулся ты.

— А что такъ?

— Ничего. Палка тяжелая у меня. Руку оттягиваетъ. Только про дѣвочку ты не говори больше. Не надо.

— Или не нравится? А я было думалъ: все веселѣе идти, какъ старое вспомнишь... Только не помогла она,—дѣвочка-то. Зря болтали.

Вдоль дороги выстроились телеграфные столбы, корявые, съ узлами и наростами, какъ пальцы у безносаго. Гудутъ неумолчно проволока. На верхушкѣ одного столба присѣла какая-то большая хищная птица, нахохлилась. Потомъ вдругъ вся встряхнулась, подняла голову, словно очнувшись отъ дремоты. Острые крылья широко размахнулись и съ свистящимъ шорохомъ врѣзались въ воздухъ.

Птица поднимается все выше. Кажется, коснется сейчасъ послѣдняго обрывка убѣгающей тучи. И вдругъ остановилась, неподвижно распластала крылья и поплыла по широкому кругу. Оттуда, сверху, видитъ и насъ, — грязныхъ червей, медленно ползущихъ по глинистой дорогѣ.

Безносый смотритъ впередъ, заслоня глаза ладонью.

— Скоро и бугорочекъ. Охота отдохнуть-то?

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ рѣшилъ, что я—не въ своемъ умѣ,—онъ относится ко мнѣ слегка покровительственно, какъ подростокъ къ младшимъ. Я безропотно подчиняюсь этому порядку вещей. Мнѣ хочется только, чтобы было еще хуже, чѣмъ сейчасъ.

Хищная птица чертитъ свои круги, то почти неподвижно замирая въ одной точкѣ, то въ нѣсколько взмаховъ поднимаясь еще выше. И когда я начинаю уже терять ее изъ виду, она складываетъ крылья и падаетъ внизъ, какъ камень. У меня захватываетъ дыханіе, потому что она нравится мнѣ, эта свободная птица. Можетъ быть, мы, черви, слишкомъ оскорбили ее своимъ видомъ.

Но надъ самой щеткой живящая она опять расправляетъ крылья и

взмываетъ кверху почти такъ же быстро, какъ падала, а въ когтяхъ у нея что-то маленькое, темное и—живое.

Безносый смѣется.

— Всякая тварь ищетъ пропитанія. И кровь проливаетъ. Каждая травка на землѣ полита кровью, а?

Вотъ и курганъ. Дорога обходитъ его кругомъ и тамъ, за курганомъ, спускается въ небольшую лощину. Обнаженный кустарникъ тѣснится у родника.

— Тутъ и отдыхать будемъ. Водички студеной напьемся съ хлѣбушкомъ.

Безносый садится, сбрасываетъ котомку и, проведя ладонью по темной дырѣ надо ртомъ, достаетъ кусокъ хлѣба, два огурца и луковицу. Снимаетъ платокъ съ головы, разстилаетъ его по землѣ и кладетъ на него свои припасы.

Я усталъ, но мнѣ не хочется ѣсть и, съ трудомъ переступая разбитыми ногами, я медленно поднимаюсь на вершину кургана.

Впереди, подъ скалистымъ, обрывистымъ берегомъ, вздыхаетъ море. Каменная гряда длинной прерывистой линіей отбѣжала отъ берега далеко въ море, какъ сторожевая цѣпь, выдвинутая впередъ, чтобы принять на себя первый натискъ непріятели. Камни закутаны пѣной съ зелеными пятнами мягкой шелковистой водоросли. Между грядой и берегомъ вода желтая и густая, плещется лѣниво и блеститъ тускло, какъ подернутая масломъ. А по ту сторону море совсѣмъ чисто и прозрачно, словно огромный отшлифованный изумрудъ, и солнце играетъ въ немъ ослѣпительными золотыми искрами.

Часть берега, подмытая прибоемъ, обвалилась. Волны источили мягкій камень, прихотливо изукрасили его своими невидимыми, но упрямыми рѣзцами. Одна изъ обвалившихся скалъ похожа на созрѣвшій грибокъ-дождевикъ, поднявшійся прямо изъ воды на тоненькой ножкѣ.

Золотисто-зеленныя пскры гаснутъ и всыхиваютъ, ослѣпляя. И невольно, чтобы дать отдыхъ глазамъ, я начинаю смотреть въ прозрачно туманную даль, въ которой хрустальной стѣной поднимается море. Ни дымнаго парохода, ни заплатаннаго паруса. Пустынно.

Вѣтеръ приноситъ сюда живой запахъ моря. И наперекоръ тому внутреннему голосу, который подсказываетъ мнѣ совсѣмъ другое, я начинаю думать, что, можетъ быть, есть гдѣ-нибудь на землѣ другая, не моя, жизнь свѣтлая и свободная, какъ это море. Всыхиваютъ гдѣ-нибудь въ безбрежной игрѣ золотыя искры любви и веселья. И какъ волна за волной идутъ дни одинъ за другимъ, полные творческой мощи.

Гдѣ-нибудь далеко. Гдѣ другіе люди и другая земля. Гдѣ нѣтъ ни,

Катюши, ни Китги, ни жены поэта, которая хотѣла сдѣлаться королевой, а живутъ женщины, съ сердцами гордыми и смѣлыми, — и въ то же время доступными для любви.

И мнѣ кажется, что гдѣ-то я видѣлъ уже эту страну. Можетъ быть, только во снѣ. И, странно: я шель туда рука объ руку съ Катюшей. Не съ этой Катюшей, опозоренной и поруганной, но съ другой, новой и свѣтлой, какъ вся та страна. И я самъ тоже былъ свѣтелъ и чистъ, когда видѣлъ ее.

Можетъ быть, я ошибаюсь и моя настоящая жизнь—только сонъ и обманъ, а то, другое—истина. Но на глазахъ моихъ повязка, руки скованы и я не могу проснуться.

Меня зоветъ хриплый голосъ, похожій на карканье стараго ворона. Зореть все настойчивѣе и, спускаясь съ кургана, я въ послѣдній разъ смотрю на пѣнистую линію прибоя. Увижу ли я ее еще разъ?

Мой спутникъ ѣстъ, разминая черствый хлѣбъ беззубыми деснами. Я тоже открываю свою котомку, достаю хлѣбъ, сажусь противъ безносаго и начинаю жевать. Судорога отерпѣнія сжимаетъ мнѣ горло, но я сижу и жую.

Я слишкомъ старъ, чтобы довѣрять снамъ. Я вѣрю только тому, что вижу и осязаю. Вѣрю, что безносый — мой спутникъ до смерти. Не только спутникъ, но и хозяинъ. Развѣ только вчера завладѣлъ онъ мною?

Въ его уродливомъ тѣлѣ живетъ еще болѣе уродливый духъ. Прежде я только подозрѣвалъ это, теперь знаю навѣрное. Потому его уродство сильнѣе красоты и его низость сильнѣе высокаго.

Насытившись, онъ переносится къ роднику, погружаетъ свои жесткія губы въ его чистую струю и пьетъ долго, глотая съ хрипомъ и бульканьемъ и пуская по водѣ пузыри слюны.

— А теперь поспать немножечко. Пейте години-то... Вкусенькая. Не все—вино. Надо когда и водички...

Выбравъ мѣсто посуше, онъ старательно очищаетъ его отъ жесткихъ стеблей и отъ острыхъ камняхъ осколковъ, ложится, подсапувъ подъ голову котомку, и закрываетъ глаза. Его широкая беззубая пасть раскрывается, какъ у выброшенной на берегъ рыбы.

Во рту у меня пересохло отъ жажды и губы потрескались, но я не сразу могу принудить себя наняться изъ того же родника. И въ холодной прозрачной водѣ я чувствую какой-то солоноватый привкусъ, напоминающій кровь.

Потомъ я тоже ложусь и смотрю въ небо, прислушиваясь къ тяжелому дыханію безносаго. Хищная птица,—можетъ быть, уже другая,—снѣтъ чертитъ свои круги. Хорошо, если бы она спустилась и своимъ прычкватымъ клювомъ вырвала безносому глаза. Тогда мнѣ легче было бы освободиться.



Я ушелъ бы, оставивъ его ползать по лощинѣ въ темныхъ и безнадежныхъ мукахъ.

Онъ спитъ. Если встать тихо и осторожно, затаивъ дыханіе, пробраться на ту сторону кургана и потомъ бѣжать, напрягая всѣ силы къ только-что оставленному проклятому городу... Не освобожусь-ли я?

Медленно, медленно я приподнимаюсь на локтяхъ.

Пасть закрыта и два тусклыхъ глаза смотрятъ на меня вѣжательно. Онъ—моя судьба. Я опускаю голову на котомку и тогда мутные глаза успокоенно гаснутъ.

По дорогѣ, изъ-за кургана, выѣзжаетъ крестьянская телѣга. Прочная, щедро окованная желѣзомъ,—и блеститъ на солнцѣ свѣжей зеленой краской. Въ телѣгѣ, на мягкомъ слоѣ свѣжей соломы, сидитъ бородатый, плечистый человѣкъ съ большими волосатыми руками. На поворотѣ онъ задерживаетъ лошадей и, перегнувшись, смотритъ на родникъ.

Бородатому, должно быть, не нравятся наши фигуры, хотя мы не прячемся и смѣло показываемъ свои лица. Онъ хлещетъ лошадей кнутомъ, оставляя рѣзкія полосы на ихъ лоснящихся шкурахъ и вскачъ проѣзжаетъ мимо.

Проснувшійся безносый смѣется.

— Думаетъ, лихіе мы, а? Лихіе люди. Обидимъ. А мы добренькіе... Идемъ себѣ. Помирать идемъ.

Солнце слегка грѣетъ,—ласково, не обжигая. Хорошо было бы теперь лежать здѣсь, ни о чемъ ни думая и постепенно отдаваться дремотѣ,—но только быть одному.

Отъ безносаго исходятъ ядовитыя испаренія, какъ отъ разложившагося трупа, у котораго уже мясо спадаетъ съ костей. Эти испаренія отравляютъ мое дыханіе и мои мысли и когда, наконецъ, дремота овладѣваетъ моимъ утомленнымъ тѣломъ, она перерождается въ темный кошмаръ, еще болѣе жестокій, чѣмъ часы бодрствованія.

Послѣ недолгаго забытья я пробуждаюсь, подавленный и еще болѣе разбитый и опять смотрю въ небо, гдѣ рѣетъ хищная птица. Каждый разъ, какъ я дѣлаю какое-нибудь болѣе рѣзкое движеніе, мутные глаза открываются и слѣдятъ.

Мой спутникъ стережетъ свою добычу.

Мы отправляемся дальше, когда солнце начинаетъ уже клониться къ землѣ. Подвязываемъ котомки, беремъ въ руки тяжелыя палки. Идемъ.

Иногда намъ попадаются по дорогѣ одинокіе хутора съ низкими заборами, наскоро сложенными изъ неровнаго дикаго камня и со скирдами обмолоченной соломы на задворкахъ. Собаки бросаются къ намъ, озлобленно лаютъ и ловятъ насъ за ноги, но мы обороняемся палками или швыряемъ

комки слежавшейся грязи. Откуда-то появляется хозяинъ и, не унимая собакъ, долго провожаетъ насъ подозрительнымъ и жесткимъ взглядомъ собственника.

Наши тѣни лежатъ теперь за нашими спинами, вытягиваются вдоль дороги, горбатая, похожія одна на другую. Солнце садится.

Безносый неожиданно сворачиваетъ съ дороги на какую-то едва замѣтную тропу, поросшую бурьяномъ. Все тѣло у меня болитъ нестерпимо и мнѣ кажется, что если я остановлюсь хотя на минуту, то ужъ не въ состояніи буду идти дальше. Куда онъ ведетъ меня? Все равно. Лишь бы упасть и лежать.

Не дождавшись вопроса, безносый объясняетъ самъ.

— Почевать будемъ, кашки сваримъ на ужинъ. Тутъ камень ломали прежде,—и есть ямки хорошія, гдѣ заночевать можно. Туда и идемъ. На хуторъ не пустятъ насъ, странниковъ. Боятся.

Голова у меня большая, тяжелая. Тоже налита свинцомъ, какъ палка. И свинецъ—горячій, расплавленный,—въ ногахъ, и свинецъ во всемъ тѣлѣ. Лежать на груди, не даетъ вздохнуть.

Это хорошо. Значить, недалеко уже до послѣдняго рубежа. И передъ этимъ рубежомъ жизнь сдѣлается такою нестерпимо-мучительной, что, наконецъ, уже не жутко, а радостно будетъ умирать. Хорошо имѣть впереди эту послѣднюю радость, которая не обманетъ.

Должно быть, много разъ уже бывалъ здѣсь безносый. Знаетъ каждый кустъ, каждый камень. Идетъ по запутаннымъ, незамѣтнымъ тропинкамъ, увѣренно поворачивая направо и налево.

Смерть здѣсь похожа на сказочную долину смерти. Повсюду—только бесплодная, твердая глина и голый камень, морщинистый, мшистый, расщепленный, словно изъѣденный проказой. Лежатъ большія груды негоднаго щебня. Кой-гдѣ внезапно открываются подъ ногами черные провалы, изъ которыхъ вѣетъ сырмъ и затхлымъ холодомъ.

— Здѣсь!—говоритъ безносый и сбрасываетъ котомку.

Мы спустились только-что надно небольшой, почти круглой котловины, въ склонѣ которой виднѣется вырубленная человѣческими руками пещера, такая же глубокая и темная, какъ черные провалы тамъ, наверху. Передъ нею, на гладкой каменистой площадкѣ, сохранилась еще кучка пепла отъ давно сгорѣвшаго костра.

Я опускаюсь на жесткую землю, предоставляя безносому одному заботиться объ ужинѣ. Безносый не протестуетъ. Онъ поглядываетъ на меня еще ласковѣе, чѣмъ дорогой, собираетъ сухую полынь и ломаетъ колючія вѣтки жидкаго кустарника, чтобы развести огонь.

Подвѣшиваетъ надъ костромъ жестяной котелокъ. Смѣется.

— Усталъ, баринокъ, а? Ничего. Старичокъ-то поработаетъ. За всѣхъ поработаетъ.

— Не хочу я ѣсть, безносый. Спать буду.

— А съ согрѣвательной? Есть у меня немножечко. Захватилъ съ собой. Не стерпѣлъ. Глотнете чашечку, а?

Изъ котомки добываетъ бутылку, еще не распечатанную, съ красной смолкой на горлышкѣ. Откупоривъ, цѣдитъ изъ нея въ щербатую чашку, привѣтливо угощаетъ:

— Поможетъ съ устаточку. Поможетъ.

Чашка—его. Изъ нее онъ пьетъ своими жабыми губами.

— Не хочу я. Уйди.

— Ой, надо. Чашечку полную надо. Чтобы уснуть покрѣпче. Завтра опять цѣлый день дорожку мѣрять.

И я пью. Пью медленно, процѣживая сквозь зубы, борясь съ почти неодолимой тошнотой. Водка вливается въ меня теплой, вонючей струей, обжигаетъ желудокъ, сжимающийся мучительными спазмами.

Безносый прячетъ бутылку.

— Потомъ уже и я... Передъ кашницей. Хорошая будетъ кашница. Съ саломъ. А прилечь тамъ надо, въ пещеркѣ. Тамъ ночью теплѣе будетъ. За вѣтромъ.

Тяжелая истома связываетъ мои члены и только когда безносый нагибается надо мной, чтобы помочь мнѣ подняться, я торопливо отклоняю эту помощь и самостоятельно перебираюсь въ пещеру.

Здѣсь уже темно. Влажные камни повисли надъ головой. Пахнетъ застоявшейся гнилью. Я не обращаю вниманія на сырость, опускаюсь, куда попало, и лежу, повернувшись лицомъ ко входу.

Вижу словно вставленный въ черную рамку кусокъ котловины, на днѣ которой лежитъ вечерняя тѣнь. Разгораясь, потрескиваетъ костеръ, и отблески его чаднаго пламени пляшутъ на лицѣ и одеждѣ безносаго, на разбросанныхъ повсюду кругловатыхъ известковыхъ каменьяхъ, похожихъ на чело-вѣческіе черепа. Безносый, сидя на корточкахъ, помѣшиваетъ ложкой въ котелкѣ, подбрасываетъ въ огонь, осторожно и понемногу, новыя порціи топлива.

Это — колдунъ въ своемъ логовѣ. Онъ варитъ свое ядовитое зелье, чтобы отравить прекрасную принцессу. А я — ся связанный женихъ, захваченный въ плѣнъ коварной засадой. Не знаю, почему именно сейчасъ приходятъ мнѣ на умъ эти дѣтскія сказки, прочитанныя когда-то давно, давно въ хорошенькой книжкѣ съ золотымъ обрѣзомъ. Но онѣ встаютъ передо мною такъ свѣжо и реально,—и мое измученное сердце страдаетъ за бѣдную принцессу.

А во рту у меня вкусъ отвратительной водки, — и холодная сырость пронизываетъ меня все сильнѣе, борясь съ разгорающимся внутреннимъ жаромъ. Туманъ застилаетъ глаза и въ центрѣ этого тумана я продолжаю видѣть ясно и отчетливо одну только фигуру безносаго. Скорченный, сжавшійся въ одинъ неуклюжій комокъ, онъ уже напоминаетъ мнѣ до послѣдней детали приготовившуюся къ прыжку огромную жабу. И пламя костра разрисовываетъ зловѣщими кровавыми пятнами его сѣрую кожу.

Солнце закатилось. Это замѣтно потому, что позади костра все сливается теперь въ однотонную пелену густой синеватой тѣни. Танцующія пятна выступаютъ отчетливѣе.

Безносый предлагаетъ мнѣ поужинать вмѣстѣ. Я отказываюсь, — и меня немножко удивляетъ, что спутникъ совсѣмъ не настаиваетъ на своемъ предложеніи. Онъ только улыбается ласково, гнусавитъ тихонько нѣсколько неразборчивыхъ словъ и принимается за ѣду одинъ. Ъсть много и жадно, — и выпиваетъ только маленькій глотокъ водки.

Мои глаза смыкаются. Опять приближаются безпокойные, лихорадочные сны, не дающіе ни отдыха, ни забвенія. Я вижу теперь, что я — рыцарь и мнѣ нужно бороться съ чудовищами, чтобы спасти принцессу, которая меня любитъ. Чудовища побѣждаютъ — ихъ слишкомъ много. Привязываютъ меня къ дереву, пронзаютъ мои члены острыми тонкими стрѣлами. И на глазахъ моихъ гнусно предають поруганію принцессу, тѣло которой бѣлѣе снѣга и волосы — какъ свѣтлое золото.

Я рвусь впередъ, чтобы избавить ее хотя бы смертью. Просыпаюсь и вижу догорающій костеръ и сѣрую жабу, которая сидитъ у костра на заднихъ лапахъ и готовится прыгнуть. Чего онъ ждетъ? Уже ночь.

Опять смыкаются глаза и непобѣдимая слабость отбрасываетъ меня на самую грань небытія. Не сплю, но не чувствую бѣга времени и кажется, что даже сердце не бьется больше въ похолодѣвшей груди. Неужели уже идетъ смерть? Такъ просто и такъ близко.

Какая-то ночная тварь, гнѣздящаяся въ сырыхъ разсѣлинахъ, ползетъ по лицу и жгучее прикосновеніе ея жесткихъ когтей вырываетъ меня изъ забытья.

Угли костра едва тлѣютъ, подернутые пепломъ. Но я отчетливо различаю склонившуюся надъ ними сѣрую массу. Жаба сидитъ.

Эта выжидающая неподвижность прогоняетъ окончательно мой болѣзненный сонъ. И, снова закрывъ глаза, я уже не сплю больше, а наблюдаю за жабой, время отъ времени приподнимая вѣки.

Вотъ уже умерла послѣдняя искра. Едва замѣтнымъ свѣтловатымъ пятномъ выдѣляется въ темнотѣ входъ въ пещеру и въ этомъ пятнѣ, какъ сгустокъ того же ночного мрака — сѣрая жаба. Когда-же она шевельнется?

Если это продлится еще долго — я не выдержу. Закричу, какъ безумный. Буду кататься по землѣ въ припадкѣ уничтожающаго, смертельнаго ужаса.

Но вотъ, наконецъ, — онъ шевелится. И съ его первымъ, едва замѣтнымъ, движеніемъ, какая-то тяжесть сваливается съ моей груди, я могу дышать свободно, и мои мускулы, несмотря на продолжительную боль и усталость, возвращаютъ себѣ прежнюю упругость.

Такъ же осторожно и беззвучно, какъ ползаетъ жаба, я протягиваю руку и ищу свое единственное оружіе, — налитую свинцомъ палку. Она здѣсь. Сжимаю ее такъ крѣпко, что пальцы, какъ будто, прирастаютъ къ дереву. Дышу мѣрно и громко, какъ спящій.

Жаба ползетъ. Мелкіе камешки и щебень чуть слышно шуршатъ, потревоженные ея мягкими движеніями. И я слышу уже ея сдержанные хрипящіе вздохи.

Еще ближе. Сгустокъ мрака растетъ, загораживаетъ отъ моего взгляда почти все свѣтловатое пятно входа въ пещеру. Скорѣе догадываясь, чѣмъ различая, я вижу спрятанную въ плечи голову безъ шеи и короткія переднія лапы, переступающія по камнямъ.

Доползла, замерла на мгновенье, — прислушиваясь. Дышу, какъ спящій. Тогда жаба осторожно наклоняется надо мною, протягиваетъ лапу къ моей груди, шарить по одеждѣ.

Онъ хочетъ украсть мои деньги, — безносый. Украсть и уйти, оставивъ меня въ пещерѣ. Въ другой рукѣ у него палка, — такая, же какъ у меня. Онъ падѣтся убить меня, если я проснусь. Но будетъ иначе.

Выпрямляясь, какъ пружина, я хватаю огромную сѣрую жабу за горло и бросаю ее на землю. Она издаетъ странный, лающій звукъ, — и прежде, чѣмъ она успѣваетъ опомниться, я поднимаю свою дубинку и тяжело опускаю ее въ темноту, туда, гдѣ лежитъ мой вѣчный врагъ, мой поработитель.

Безносый вскрикиваетъ еще разъ, коротко хрипитъ и смолкаетъ. Я прислушиваюсь. Тихо. Въ могилѣ не можетъ быть тише, чѣмъ въ этомъ сыромъ логовѣ. Я убилъ его.

Тогда, вмѣстѣ съ радостью освобожденія, меня охватываетъ жажда жизни.

Я хочу опять увидѣть всѣхъ, кого такъ недавно покинулъ.

Хочу увидѣть Китти, потому что я усталъ и измученъ, а она дастъ мнѣ отдыхъ. Я скажу ей, что уже не думаю больше о бѣленькой.

Хочу увидѣть Катюшу, чтобы сказать ей, что гнусная жаба больше не будетъ отравлять землю. И освобожу ее отъ позора.

Я хочу вернуться.

И вотъ, я выбираюсь изъ пещеры, перешагиваю черезъ еще теплый пепелъ костра и взбираюсь наверхъ по крутому откосу котловины.

Ночь здѣсь не такъ темна, какъ внизу. Я вижу широкую степь, небо и звѣзды. Звѣзды уже блѣднѣютъ и меркнутъ, потому-что близко разсвѣтъ.

Мое тѣло живетъ новой силой и я пускаюсь въ обратный путь — къ городу. Не выбирая тропинокъ, бреду напрямикъ въ ту сторону, гдѣ должна быть дорога. Два или три раза попадаю на край заброшенныхъ минъ, и земля, вырываясь изъ подъ ногъ, съ грохотомъ катится въ глубину. Но я перепрыгиваю черезъ провалы, карабкаюсь по грудамъ щебня и выбираюсь. наконецъ, на ровный, хорошо наѣзженный путь, который приведетъ меня къ городу.

Въ невѣрномъ свѣтѣ ранней зари я различаю на бѣломъ, грубо обдѣланномъ деревѣ палки какія-то темныя пятна, — и торопливо отбрасываю ее прочь.

Безносый лежитъ тамъ, въ темной могилѣ, которую приготовилъ самъ для себя.

И я иду въ городъ бодро и весело, хотя каждый шагъ причиняетъ мнѣ боль.

## XII.

Моя квартира. Знакомыя, когда то любимыя книги и рукописи на столѣ.

Я сижу передъ этими рукописями, оборванный, покрытый пылью и грязью, оступѣвшій отъ усталости. Вечеромъ, когда совсѣмъ смерклось, я пробрался сюда тайкомъ, какъ воѣтъ, проскользнулъ мимо спящаго швейцара. Мнѣ кажется, что меня никто не видѣлъ и, слѣдовательно, мое путешествіе съ безносымъ останется тайной. Я не хочу, чтобы кто-нибудь, кромѣ Катюши, узналъ, чѣмъ оно кончилось.

Отъ крайней, нечеловѣческой усталости голова моя отказывается работать. Давно знакомые предметы мутно и расплывчато рисуются въ моемъ сознаніи.

Я долженъ сейчасъ сдѣлать что то важное, необходимое. Но что именно?

Да, конечно: сбросить эти лохмотья. Они слишкомъ напоминаютъ о безносомъ и потому по временамъ мнѣ кажется, что онъ все еще стоитъ за моими плечами. Долой! Я сваливаю ихъ въ кучу здѣсь же, въ углу комнаты. Потомъ можно будетъ убрать ихъ куда-нибудь подальше. А сейчасъ — спать.

Я падаю на кровать и погружаюсь безъ всякаго перехода въ крѣпкій, мертвенный сонъ. Проходитъ вся ночь и половина слѣдующаго дня, и когда я просыпаюсь, солнце уже опять клонится къ вечеру.

Чувствую себя освѣженнымъ и бодрымъ и только легкая ломота въ костяхъ напоминаетъ мнѣ о пережитомъ утомленіи. А, можетъ быть, это только

послѣдствіе сырости темной пещеры. Какъ бы то ни было, я опять здоровъ и силенъ, хотя и очень голоденъ.

Одѣваюсь торопливо, наскоро связываю галстухъ. Деньги лежатъ тамъ, въ толстой суконной курткѣ, а я не могу заставить себя прикоснуться къ ней, чтобы достать ихъ оттуда. Роюсь въ ящикахъ стола, въ карманахъ вновь надѣтаго платья и нахожу немного серебряной мелочи. Пока довольно. По дорогѣ къ Китти зайду въ молочную.

Запираю на ключъ свой кабинетъ и сбѣгаю по лѣстницѣ, прыгая черезъ три ступени.

Пасмурно. Мороситъ мелкій дождь, но пустынные улицы кажутся мнѣ веселыми и полными оживленія. Рѣдкіе прохожіе взглядываютъ на меня привѣтливо. Можетъ быть, они догадываются, что я иду навстрѣчу новой жизни.

Въ молочной сѣдаю нѣсколько пирожковъ и выпиваю два стакана горячаго, необыкновенно вкуснаго молока. Этотъ завтракъ только дразнитъ мой голодъ, но мнѣ некогда. Я хочу поскорѣе увидѣть Китти.

Царапина на моей щекѣ еще не зажила. И тѣмъ не менѣе, я хочу увидѣть Китти и все объяснить ей.

Въ подъѣздѣ меблированнаго дома я весело здороваюсь со швейцаромъ. Тотъ стягиваетъ съ головы обшитый галунами картузъ и смотритъ на меня молча и, какъ будто, смущенно.

— Дома?

Онъ знаетъ, конечно, о комъ я спрашиваю, но только переминается съ ноги на ногу, опускаетъ глаза къ полу и молчитъ. Я взглядываю на мраморную дощечку: ключа нѣтъ. Тогда, не дождавшись отвѣта, я дѣлаю движеніе по направленію къ лѣстницѣ, но швейцаръ загоразживается мнѣ дорогу.

— Туда нельзя. Простите, господинъ, но мнѣ не приказано... Комната запечатана. Шнуркомъ завязали и приложили печати.

Я не могу понять, что это значить. Смотрю съ недоумѣніемъ.

— Какъ полагается, для охраны имущества, если найдутся наслѣдники... И пускать не приказано.

Кто-то кладетъ руку мнѣ на плечо. Я оборачиваюсь, вздрагивая. Это—черный беллетристъ. Въ густыхъ волосахъ у него блестятъ капельки дождя и усы опустились. Онъ немножко блѣднѣе обыкновеннаго, но лицо у него спокойное и очень внимательное, какъ у художника, который ищетъ подходящій объектъ для этюда.

— Я видѣлъ, какъ вы входили... Здравствуйте. Вы хотите ее видѣть?

— Да, конечно. Но я не понимаю, какое вы имѣете отношеніе...

— Пойдемте. Ея здѣсь нѣтъ больше. Я покажу вамъ ее. Пойдемте...

Онъ беретъ меня подъ руку бережно, какъ больного, проводить мимо смущеннаго швейцара. Только на улицѣ, когда мелкія холодныя брызги смачиваютъ мнѣ щеки и лобъ, я начинаю, наконецъ, понимать, что случилось. Спрашиваю, не глядя на чернаго, чтобы скрыть отъ него свое лицо:

— Когда?

— Надѣньте шляпу!—совѣтуетъ мнѣ черный и потомъ прибавляетъ:— Въ ночь на сегодня.

Все мое тѣло внезапно дѣлается совсѣмъ легкимъ и пустымъ, какъ будто отъ него сохранилась только одна тонкая вѣшняя оболочка. Я поспушно надѣваю шляпу и иду рядомъ съ чернымъ, стараясь ровно и аккуратно шагать и обходя маленькія лужицы на истертыхъ плитахъ тротуара. Но все это продѣлываетъ только моя вѣшняя оболочка, а я самъ безконечно далеко этимъ лужамъ, дождю и черному беллетристу. Я не испытываю ни ужаса, а одну только мертвящую пустоту.

Черный нанимаетъ извозчика и мы куда-то ѣдемъ. Дорогой черный разсматриваетъ меня безъ всякаго стѣсненія, и я чувствую, наконецъ, на своемъ лицѣ его назойливый взглядъ и невольно отмахиваюсь, какъ отъ паутины. Нужно о чемъ-нибудь говорить, и я спрашиваю:

— Какъ именно это случилось?

— Какъ обычно. Написала нѣсколько писемъ. Зажгла всѣ лампы,—потому-что въ темнотѣ, конечно, тяжелѣе умирать,—легла въ постель и выпила растворъ какого-то быстро дѣйствующаго яда. Кажется, ціанистаго калия.

— Написала нѣсколько писемъ?

— Да. Одно, самое длинное—вамъ. Всѣ бумаги забраны полиціей и вы, навѣрное, сможете получить ихъ оттуда.

Я знаю, что она можетъ написать мнѣ. Знаю все, до послѣдняго слова, потому-что я, всетаки, слишкомъ хорошо зналъ Китти. И я не хочу получить изъ чужихъ рукъ ея тайну, оскверненную этимъ равнодушнымъ и грубымъ посредничествомъ.

— Нѣтъ, я не получу его.

Беллетристъ киваетъ головой и говоритъ удовлетворенно, обращаясь къ самому себѣ:

— Да, да, конечно. Я такъ и думалъ. Не могло быть иначе. Тѣмъ болѣе, что я видѣлъ письмо уже вскрытымъ.

— Куда мы ѣдемъ?

— Въ больницу. Она лежитъ сейчасъ... въ прозекторской. Вы понимаете: властямъ необходимо точно установить причину ея смерти. Гдѣ вы были эти дни? Я заходилъ къ вамъ два раза и не засталъ васъ дома. Поэтъ увѣряетъ, что вы испугались дуэли.



Кажется, онъ хочетъ во что бы то ни стало вывести меня изъ этого состоянія спокойной апатіи, такъ какъ оно недостаточно удовлетворяетъ его цѣлямъ. Но я ничего не отвѣчаю и мы молча подъѣзжаемъ къ больницѣ.

Мнѣ случалось много разъ прежде проходить мимо этого низкаго, грязнаго дома, похожаго на заброшенную казарму. И даже на улицѣ меня преслѣдовалъ тогда тяжелый и острый больничный запахъ, который сгущается еще сильнѣе, когда мы входимъ въ ворота.

По двору снуютъ сидѣлки въ бѣлыхъ халатахъ. На крыльцѣ одного изъ флигелей стоитъ фельдшеръ въ запачканномъ кровью передникѣ и курить. Проѣзжаетъ мимо синяя, съ краснымъ крестомъ карега и внутри ея, сквозь незанавѣшенные окна, я могу рассмотреть какую-то блѣдную старуху съ компрессомъ на головѣ. Рыжая кошка сидитъ на каменной тумбѣ посреди двора и тщательно умывается. Все это я вижу отчетливо и ясно, — и въ то же время мои мысли далеки отъ окружающаго и только больничный запахъ раздражаетъ меня, вызывая легкую тошноту.

Черный пересѣкаетъ дворъ наискось, слегка поддерживая меня подъ локоть. Предупредительно оставляетъ на мою долю узенькій, въ одну плиту, тротуаръ, а самъ шлепаетъ рядомъ по грязи. И глаза его безъ устали вбираютъ въ себя все окружающее, складывая въ памяти запасы новыхъ наблюдений. Вѣдь не каждый день случается видѣть, какъ человѣкъ встрѣчаетъ свою мертвую любовницу.

Въ самой глубинѣ двора, около мусорной ямы, мы наталкиваемся на какого-то человѣка въ кожаныхъ рукавицахъ, котсрый желѣзнымъ скребкомъ сгребаетъ въ кучу жирную черную грязь. Этотъ человѣкъ относится къ моему спутнику, какъ къ знакомому. Должно быть, черный уже заранѣе подготовилъ почву, потому что ихъ разговоръ продолжается очень недолго. Потомъ черный передаетъ человѣку въ рукавицахъ два полгиника и тотъ ведетъ насъ обоихъ въ тѣсный проходъ за мусорной ямой.

Тамъ я вижу маленькій домикъ съ крестомъ на проржавѣвшей крышѣ. Сѣрая облупленная дверь визгливо скрипитъ, и мы входимъ.

— Только, пожалуйста, чтобы недолго! — спрашиваетъ насъ провожатый. — Потому какъ сейчасъ можетъ господинъ докторъ придти.

— Хорошо, я знаю! — торопливо соглашается черный.

Человѣкъ въ рукавицахъ остается на дворѣ и опять берется за скребокъ.

Въ домикѣ двѣ комнаты, — довольно свѣтлыя, хотя стекла большихъ оконъ забѣлены известкой. Въ первой комнатѣ — большой деревянный слегка покатый столъ, обитый цинкомъ. Подъ столомъ стоитъ ведро, наполненное какою-то мутною жидкостью. Въ углу — небольшой шкафъ, выкрашенный бѣлой масляной краской. Ничего страшнаго и напоминающаго о смерти,

если бы только не приторный запах разложенія, который струится отъ стола, отъ ведра съ мутной жидкостью и отъ запятнаннаго асфальтоваго пола.

— Въ слѣдующей комнатѣ! — говоритъ черный и крѣпче беретъ меня подъ руку. Но я освобождаюсь отъ его непрошеной помощи и, ускоряя шаги, первый прохожу въ узкую дверь безъ створокъ.

Тамъ — такой же столъ, обитый цинкомъ, слегка покатый. Нѣтъ бѣлаго шкафика и ведра, но на столѣ лежитъ кто-то, накрытый грубой сѣрой простыней. Толстое полотно скрадываетъ формы, и мнѣ не вѣрится, что это — Китти. На одно ничтожное мгновение въ головѣ мелькаетъ мысль объ обманѣ. Они всѣ сговорились и обманываютъ, потому-что я ненавистенъ имъ всѣмъ такъ же, какъ и они — мнѣ.

Черный подходитъ къ столу съ другой стороны и, какъ бы отвѣчая на мои сомнѣнія, однимъ движеніемъ сбрасываетъ простыню, не отводя отъ меня внимательныхъ глазъ.

Сначала я вижу только безпорядочно спутанные и, почему-то, совершенно мокрые волосы, свитые черными змѣями. Желтоватую грудь съ поспѣвшимъ пятномъ соска. Маленькую розовую ссадину на приподнятомъ колѣнѣ. И еще выдѣляются отчетливо совершенно синіе ногти на маленькой рукѣ, небрежно брошенной поперекъ живота. Это — женщина и она лежитъ совершенно нагая. Когда я невольно протягиваю руку, мои пальцы встрѣчаютъ что-то холодное и твердое, — не живое.

Постепенно, черту за чертой, я узнаю Китти. Узнаю тонко очерченныя брови, почти сходящіяся надъ переносѣмъ двумя мягко очерченными дугами. Полныя, полураскрытыя губы, словно остановившіяся на полусловѣ среди горячаго спора. Шею и плечи, когда-то обтянутыя прозрачнымъ чернымъ газомъ съ золотыми блестками. Грудь, окоченѣвшую, но еще прекрасную, какъ и все тѣло. Но это тѣло, прежде горячее и страстное — теперь холодно и жестко, и въ складкахъ его выступаютъ синеватыя пятна. И глаза, которые смотрятъ въ потолокъ изъ подъ неплотно опущенныхъ вѣкъ — не глаза Китти.

Ну, да, Китти умерла, ея нѣтъ больше. Что общаго между нею и этимъ безстыдно распростершимся трупомъ, такимъ ужаснымъ именно потому, что прежняя красота уже сочетается въ немъ съ зловѣщимъ уродствомъ смерти? Она лежитъ нагая, каждый любопытный можетъ подойти и видѣть тайны ея тѣла — и щеки ея не краснѣютъ. А сейчасъ придетъ посторонній, равнодушный человѣкъ, вскрыетъ ея животъ, вылачкаетъ свои руки въ ея остывшей крови, — а ея невидящія глаза все такъ же будутъ смотрѣть въ низкій потолокъ мертвецкой.

Черный провозноситъ глухимъ, но спокойнымъ голосомъ давно знакомыя

миѣ слова, которыми христіане провожаютъ своихъ мертвецовъ, и я безсознательно повторяю ихъ про себя:

„Прійдите, внуци Адамовы, увидимъ на земли поверженнаго, по образу нашему все благолѣпіе отлагающа, разрушена во гробъ гноимъ, червми, тьмою иждиваема, землю покрываема...“

„Прійдите, братіе, во гробъ узримъ пепель и персть...“

„Прійдите убо, узримъ на гробѣхъ ясно, гдѣ доброта тѣлесная? Гдѣ юность? Гдѣ суть очеса и зракъ плотскій? Вся увядоша, яко трава, вся потребишася...“

Когда онъ смолкаетъ, я говорю:

— Благодарю васъ. Теперь я убѣдился. Она умерла.

Черный набрасываетъ простыню, но медлитъ закрывать голову. Онъ все еще ждетъ чего-то, и на него, всегда замкнутомъ и холодномъ, лицѣ, я вижу легкую гримасу разочарованія. Наконецъ, онъ самъ наклоняется и почтительно цѣлуетъ умершую въ лобъ, надъ мягкими дугами бровей. Миѣ хочется спросить, затѣмъ онъ лишній разъ надругался надъ этимъ бѣднымъ тѣломъ, открывъ ее всю, но я говорю только:

— Идемте же. Вѣдь, сейчасъ, вѣроятно ее будутъ вскрывать, чтобы узнать причину...

Когда мы проходимъ черезъ переднюю, пустую комнату, черный обращается и спрашиваетъ, съ подчеркнутой отчетливостью выговаривая слова:

— Вамъ-то, я думаю, хорошо извѣстна эта причина?

И прибавляетъ, не дождавшись моего отвѣта:

— Она васъ любила, какъ настоящая женщина. И умерла изъ-за васъ.

Его обвиненія не волнуютъ меня. Я опять осезаю свое тѣло и чувствую, какъ бьется мое сердце и мысли мои бѣгутъ спокойно и отчетливо. Такъ же отчетливо я чувствую, вижу и знаю, что для меня нѣтъ уже ни возрожденія, ни новой жизни,—и что мои бесплодныя скитанія еще не пришли къ концу.

Но развѣ я не убилъ безносаго? Развѣ онъ не лежитъ въ темной пещерѣ, какъ раздавленная жаба?

Черный крѣпко придерживаетъ меня подъ локоть.

— Вы слышали, что поэтъ разводится? Его жена переехала къ роднымъ, потому что онъ избилъ ее въ пьяномъ видѣ.

Я представляю себѣ маленькое, хрупкое тѣло, извивающееся подъ кулаками поэта. Ищу въ себѣ чувство сожалѣнія и гнѣва,—и не нахожу его.

— Прощайте!—говоритъ черный, закладывая руки за спину.—У меня,

къ сожалѣнiю, есть сегодня спѣшное дѣло... А вы... вы удивительно спокойный человѣкъ.

У меня тоже есть спѣшное дѣло: я долженъ найти Катюшу и переговорить съ нею.

Мы расходимся въ разныя стороны, онъ—разочарованный и озлобленный, я—равнодушный. Все это—уже пройденный этапъ. Незачѣмъ оглядываться назадъ.

Гдѣ найти Катюшу? До сихъ поръ я не знаю, гдѣ она живетъ. Впрочемъ, вечеръ приближается и, конечно, я увижу ее на бульварѣ, когда она выйдетъ на заработокъ.

Умерла изъ-за меня. Но развѣ кинжалъ виноватъ, что можетъ нанести смертельную рану, если его направитъ вѣрная рука?

Я безцѣльно скитаюсь по улицамъ, только чтобы убить время до наступленiя темноты.

Часы проходятъ, а я все не могу встрѣтить Катюши. Раза два уже я спускался въ сводчатые подвалы „Баварiя“, пробирался тамъ сквозь разгорающийся пьяный разгулъ, всматривался въ лица женщинъ. Встрѣтилъ много знакомыхъ лицъ,—и первая скрипка вызывающе улыбнулась мнѣ съ высоты подмостковъ,—но Катюши не было.

Тѣмъ не менѣе, я увѣренъ, что долженъ ее встрѣтить. Настолько увѣренъ, что даже не испытываю никакой радости, когда, наконецъ, сталкиваюсь съ нею лицомъ къ лицу на прилегающей къ бульвару улицѣ.

— Здравствуй. Я вернулся.

Она встрѣчаетъ меня, какъ обычно, съ насмѣшливой, почти презрительной холодностью.

— Развѣ ты уѣзжалъ куда-нибудь? Я и забыла.

— Вѣдь ты же знаешь, Катюша. Я уходилъ съ безносимъ. Это было въ тотъ самый вечеръ, когда мы вмѣстѣ съ тобой сидѣли на бульварѣ. А вчера я вернулся одинъ.

Катюша молча пожимаетъ плечами.

— Вернулся одинъ!—повторяю я настойчиво.—Безносый остался. Онъ не будетъ больше меня преслѣдовать и владѣть мною, ты понимаешь?

— А развѣ не можетъ вернуться, какъ ты?

— Нѣтъ. Онъ лежитъ въ пещерѣ, далеко отсюда. Я убилъ его.

Она замедляетъ шаги и смотритъ на меня недовѣрчиво. Она накрашена, но очень блѣдна и похожа на нарумяненного мертвеца.

— Это правда?

— Правда, Катюша. Я не могу лгать сегодня. Раздавилъ его, какъ жабу... Вѣдь его легко было убить. Онъ уже совсѣмъ сгнилъ.

— Да. Только онъ хорошо умѣетъ обманывать,—и не такъ уже боленъ, какъ кажется... Можетъ быть, обманулъ тебя?

— Развѣ смерть можно поддѣлать?

И въ то же время я вспоминаю, что не видѣлъ его мертваго лица, — и мнѣ дѣлается жутко. Почему я не остался тамъ немного дольше, хотя бы только до разсвѣта? Почему я такъ поторопился убѣжать? Я—трусъ.

— И теперь, Катюша, я хотѣлъ бы... я хотѣлъ бы почувствовать, что я дѣйствительно свободенъ.

— Чего ты хочешь отъ меня? Я — дѣвка. Живу, какъ нечистая тварь. Какую я знаю свободу?

— Знаешь. И не хочешь сказать. Можно еще жить какъ-то иначе, что бы болѣло сердце добромъ и зломъ. Ты понимаешь? Нѣтъ у меня ни добра ни зла сейчасъ. Нѣтъ ничего. Научи меня хотя бы злу. Научи ненависти.

— Вотъ, я тебя самого ненавижу,—а ты не вѣришь... Какъ же я буду тебя учить? Да и некогда мнѣ говорить съ тобой. Видишь—я гулять вышла.. Мнѣ заработать надо, а ты мѣшаешь.

Бросаетъ въ меня грубыми и тупыми словами, но я знаю, что это—только упрямая маска, и гдѣ-то тамъ, въ глубинѣ загадочныхъ глазъ, спрятана тайна, которая нужна мнѣ.

— Еще немного, Катюша. Слушай. Сегодня ночью умерла женщина. Она любила меня и отравилась.

— Тяжело тебѣ?

— Нѣтъ. Сейчасъ я видѣлъ ее, мертвую,—и не тяжело.

Мы идемъ рядомъ и Катюша больше не говоритъ уже о томъ, что я мѣшаю ей гулять. Мы сворачиваемъ изъ улицы въ улицу и я начинаю думать что у моей спутницы есть какая-то опредѣленная цѣль. Немного погодя, она говоритъ неожиданно:

— Тебя тоже убить хотятъ. Помнишь, грузчики тѣ... За тогдашнее... Мнѣ говорилъ мой рабочій.

— Ну, такъ что же? Это ихъ дѣло. Можетъ быть, такъ и нужно.

Останавливаемся у длиннаго одноэтажнаго дома, похожаго на ту больницу, гдѣ лежитъ Китти.

— Вотъ, тутъ и живу я. Зайди, немилый... Какой-то и правда пустой ты. Нѣту души въ тебѣ... Посиди вечеръ. Чаемъ тебя напою. Водки дамъ, если хочешь. Посиди и отдохни себѣ. Не думай ни о чемъ... Только помни: я тебѣ все равно, какъ сестра. Не смѣй меня трогать.

По темному двору повела меня быстро—быстро. У двери остановилась.

— А что... что если у меня тамъ рабочій сидитъ? Ждетъ тебя, чтобы убить... А я тебя нарочно веду, сговорившись? А?

— Веди же. Все равно.

И вотъ мы въ комнатѣ, — сырой и затхлой, съ изорванными обоями и смятой кроватью. Букетъ изъ сухихъ цвѣтовъ у лопнувшаго зеркала. Коврикъ — линялый, съ затершимися въ рисункъ плевками и табачнымъ пепломъ. Цвѣтетъ бальзаминъ на узкомъ окнѣ. Икона въ углу — темная и строгая.

— Пошутила я... Видишь — нѣтъ никого. Ну, садись здѣсь. Самоваръ долго ставить да и у хозяйки одолжаться не хочется... Я лучше пива тебѣ дамъ.

Погладила меня по головѣ, какъ ребенка. Потомъ прижалась грудью къ моему лицу. Кажется, плачетъ.

— О чемъ, Катюша?

— Такъ себѣ... Не смотри... Умрешь ты скоро. Тогда цѣловать буду тебя. Какъ общала.

И прошелъ вечеръ — а мы все сидѣли рядомъ у круглаго преддиваннаго столика, накрытаго вязаной скатертью, смотрѣли другъ на друга и молчали. Временами прислушивались, какъ будто хотѣли уловить шумъ приближенія новой жизни, — но было тихо.

### XIII

Осеннее море, мертвыя волны. Онѣ набѣгаютъ почти беззвучно, обнимаютъ холодными объятіями скользкіе камни; прозрачнымъ и ровнымъ, похожимъ на свѣжій ледъ, слоемъ разбѣгаются по плоской песчаной грядѣ. Изъ-за мыса медленно ыползаетъ грязный, перегруженный парусникъ. Его просмоленный бортъ почти скрывается подъ водой и парусъ неровно надувается подъ порывами вѣтра, какъ будто ему не подъ силу тащить эту тяжелую посудину. Короткая пѣнистая полоса ненадолго остается за кормой, быстро теряясь въ однообразныхъ сѣрыхъ волнахъ.

Только что поднялось солнце, но его закрываетъ плотное, нахмуренное облако и вмѣсто золотого радостнаго блеска утра надъ берегомъ все еще лежатъ унылыя сумерки, безъ тѣней и свѣтлыхъ пятенъ.

Выброшенная волненіемъ большая медуза таетъ, обращаясь въ безформенный комочекъ прозрачной стекловидной слизи. Когда набѣгаетъ новая волна, ея бахромчатые отростки шевелятся и она кажется еще живою.

Я сижу на большомъ, влажномъ камнѣ надъ самой водой и жду, когда выглянетъ, наконецъ, солнце. Ночь такъ длинна. Цѣлая вѣчность прошла въ ея темныхъ часахъ съ того вечера, который я провелъ у Катюши.

И въ эту ночь я не спалъ. Бродилъ до утра. Кого-то искалъ, взгляды-

вался въ лица ночныхъ женщинъ и запоздавшихъ прохожихъ,—и не зналъ зачѣмъ дѣлаю это.

А впереди, можетъ быть, еще дни и ночи, такіе же томительно длинные и пустые. Катюша говоритъ о смерти. Но все-таки я еще жду и хочу надѣяться.

Сквозь облако пробивается первый лучъ солнца, лестящій и заостренный, какъ мечъ. Яркія стальныя искры сыплются отъ меча и вспыхиваютъ передо мной на волнахъ, прокладывая огненную дорогу къ солнцу. Дорогу отъ тѣни мгновенія къ свѣту вѣчности.

Что для меня вѣчность, когда я самъ—только тѣнь?

Я хотѣлъ бы имѣть Бога и вѣрить въ него такъ, чтобы моя вѣра передвигала горы. Но небо мое пусто. Можетъ быть, мой Богъ еще проходитъ долиною скорби здѣсь, на землѣ, чтобы вдохнуть духъ силы въ униженныхъ, накормить голодныхъ и возвеличить оскорбленныхъ? Не знаю. Я не вижу Его. Не вижу и не осязаю и не могу вложить перста въ Его раны.

Новые и новые лучи вырываются изъ темнаго плѣна. И разгнѣванная туча становится еще темнѣе, ея огромное тѣло волнуется тяжелыми и рѣзкими складками. А надъ нею, побѣждая, горитъ золотой вѣнецъ и разстилается пурпурная мантия возставшаго солнца.

Здравствуй, новый день! Не будешь-ли ты днемъ надежды?

Развѣ я не побѣдилъ злого духа, который преслѣдовалъ меня и поработилъ мою волю? Теперь всѣ дороги открыты. И если бы можно было выбрать волшебную дорогу туда, къ солнцу... Если бы можно было познать вѣчность!

Темнота навѣваетъ на меня злыя мысли и темныя желанія. Поэтому я такъ люблю утро. Въ этотъ часъ побѣдной борьбы жалкая, опозоренная душа моя дѣлаетъ попытки выпрямиться,—и мнѣ хочется сбросить съ себя гнетъ ветхаго человѣка.

Я спрыгиваю съ камня и иду вдоль берега, у самой воды, такъ что набѣгающія волны иногда касаются моей обуви.

Вода и камни, песокъ и небо—все горитъ пурпуромъ, переливается тысячью прекрасно измѣнчивыхъ красокъ. И удаляющійся парусъ похожъ теперь на развернутое знамя. Перламутровыя медузы vyplываютъ хороводомъ изъ глубины водъ.

Но вотъ, въ этомъ безумствѣ пробужденія и свѣта-я вижу нѣчто поражающее мой взглядъ, какъ упрямый остатокъ побѣжденной ночи. Солнечные лучи, расточительные въ любвеобильной добротѣ, какъ будто избѣгаютъ его и обходятъ мимо.

Онъ сидитъ—сѣрый, скорченный, пыльный. Широкая, вдавленная грудь прижата къ поднятымъ колѣнямъ. Мутные глаза на безносомъ, жабыемъ лицѣ упорно, не мигая, смотрятъ на востокъ.

Онъ живъ. Я не убилъ его, онъ живъ—и попрежнему оскверняетъ землю.

Можетъ быть, это только призракъ? Солнце не замѣтило. Оно направитъ на него только одинъ свой маленькій, радостный лучъ — и призракъ уйдетъ къ своей матери ночи. Подошвы прирастаютъ къ песку, но я вонзаю ногти въ собственное тѣло и подхожу ближе. Еще ближе. Становлюсь рядомъ.

Безносый медленно поворачиваетъ ко мнѣ голый, шелудивый черепъ, повязанный синимъ платкомъ. Мутные глаза втыкаются въ меня, какъ двѣ ржавыхъ иглы.

Я не могу больше.

Катюша, сестра моя, презрѣнная и отвергнутая, какъ и я самъ! Помоги же мнѣ умереть!

Николай Олигеръ.

---



## ИСКУПЛЕНИЕ.

### Разсказъ.

Онъ жилъ за городомъ въ убогой полуразвалившейся хижинѣ, подлѣ которой росла развѣсистая яблоня. Съ утра до вечера неподвижно сидѣлъ на покосившемся порогѣ и, вперивъ взоръ въ пространство, курилъ самодѣльную трубку.

Угрюмый, мрачный, слегка сгорбленный старикъ. Говорили, что въ прошломъ его кроется какая-то тайна. Никогда ни съ кѣмъ не разговаривалъ онъ, избѣгалъ людей и если, проходя мимо, каменщики останавливались иногда у забора, чтобы посмотрѣть на чудака и подтрунить надъ нимъ, неподвижная, сгорбленная фигура съ потухшими глазами вселяла въ нихъ смутную тревогу, почти страхъ; принужденно смѣясь, торопливо шли они дальше. Только изрѣдка подходилъ онъ къ городской стѣнѣ, ложился на траву и грѣлся на солнышкѣ.

Однажды утромъ какой-то мальчишка подбѣжалъ къ ветхой калиткѣ, прижался лицомъ къ перекладинамъ и съ любопытствомъ уставился на старика. Огромная шляпа лѣзла мальчишкѣ на глаза, панталоны приколоты были булавкой почти къ самому вороту рубахи и широкими складками падали вокругъ худенькаго тѣла. Грязные носки свѣшивались надъ непомѣрно большими сапогами. Но на измазанномъ личикѣ ярко сверкали невинные голубые, словно вырѣзанные изъ небесной лазури глаза.

Ребенокъ вытащилъ изъ кармана яблоко и показалъ старику.

— Видишь, вотъ я стащилъ у тебя... Ты не сердишься, нѣтъ? Вѣдь, ты—дѣдушка... Не правда-ли, ты—дѣдушка?.. А мнѣ одиннадцать лѣтъ...

Лукаво улыбаясь, мальчишка утеръ пальцами носъ.

Старикъ смущенно смотрѣлъ на него. Казалось, онъ потерялъ способность говорить. Ротъ его судорожно подергивался.

— Отчего же ты молчишь? Скажи что-нибудь...

Вдругъ калитка, на которую опирался ребенокъ, безшумно поддалась подъ тяжестью его тѣла и мальчикъ упалъ къ ногамъ старика. Послѣдній не двинулся съ мѣста. Тогда ребенокъ расхрабрился: потрогалъ его за носъ, за едую бороду. Но когда тотъ протянулъ руку, чтобы схватить шалуна, онъ однимъ прыжкомъ очутился на тропинкѣ, быстро высвободилъ ноги,

схватилъ сапоги въ руки и стремительно убѣжалъ, какъ испуганный заяцъ.

Старикъ пожалѣлъ, что обратилъ его въ бѣгство. Уже нѣсколько ночей подрядъ замѣчалъ онъ, что кто-то бродитъ вокругъ его хижины. Ему пріятно было слышать лай собакъ, воюю въ огородѣ: онъ чувствовалъ себя тогда не такимъ одинокимъ. Торопливо вставалъ онъ съ постели, выходилъ въ одной рубахѣ во дворъ, но въ лунномъ свѣтѣ быстро ускользала чья-то маленькая тѣнь и безслѣдно исчезала вдали.

Мальчикъ не показывался больше. Однажды днемъ старикъ уснулъ на травѣ, подлѣ рва, и, проснувшись, увидѣлъ смѣло разглядывавшіе его голубые глаза. Онъ подумалъ, что спитъ еще, но измазанныя дѣтскія губы зашевелились.

— Это я...—сказалъ мальчикъ.—Ты спалъ?

Онъ сѣлъ подлѣ старика, спокойно началъ разспрашивать его:

— Какъ зовутъ тебя?

Старикъ припомнилъ ихъ первую встрѣчу:

— Меня зовутъ «Дѣдушка».

Онъ долженъ былъ нѣсколько разъ повторить эту короткую фразу, пока слова не сдѣлались, наконецъ, отчетливыми: казалось, ротъ его наполненъ пескомъ.

— Тебя зовутъ Дѣдушка,—улыбнулся ребенокъ.—А меня Жюль, маленький Жюль!

При словѣ «Жюль» онъ складывалъ губы сердечкомъ.

Старикъ осторожно притянулъ его къ себѣ, погладилъ по головѣ.

— Когда-то меня звали Матье...—сказалъ онъ тихо.—Ну, что-жъ... пойдемъ поскорѣй! На деревѣ осталось еще много яблокъ.

Они подошли къ хижинѣ, тряхнули яблоню, и градъ яблокъ посыпался на ихъ головы. Съ этого дня они стали друзьями.

\* \* \*

Жюль приходилъ часто. Старикъ поджидалъ его съ нетерпѣніемъ. Когда еще издали онъ замѣчалъ маленькую фигурку, лицо его озарялось улыбкой. Онъ любилъ чувствовать подлѣ себя ребенка, любилъ смотрѣть въ голубую лазурь ясныхъ глазъ. Сдѣлался разговорчивъ, придумывалъ ласкательныя имена, не могъ обойтись безъ мальчика и жадно разспрашивалъ его обо всемъ.

— Я живу со старухой на чердакѣ,—сказалъ разъ Жюль.

— Съ матерью?

— Не знаю... У нея черный чепецъ...

— Ты не отвѣчаешь на мой вопросъ, милый... Подумай хорошенько...

— Вотъ что... — таинственно говорилъ Жюль. — У нея на подбородкѣ сѣдые волосы...

— Тогда, значитъ, она слишкомъ стара, чтобы быть твоей матерью... — размышлялъ вслухъ старикъ, котораго мучилъ этотъ вопросъ.

— Она чешетъ шерсть во рву... Какъ въ облакахъ она тогда...

— А чѣмъ она кормить тебя?

— Мы ѣдимъ супъ... Супъ съ лукомъ... Я приношу ей лукъ ночью... Она такъ любитъ лукъ.

Матѣ съ ужасомъ посмотрѣлъ на ребенка:

— Ты крадешь!?

Онъ схватилъ Жюля, опрокинулъ его голову къ себѣ на колѣни. Но глаза мальчика смотрѣли невинно и ясно. Старикъ успокоился.

— Ты слишкомъ малъ, милый... я вижу, ты не отличаешь еще зла отъ добра.

Онъ разстегнулъ рубаху. На сморщенной груди пестрѣла татуировка, изображавшая райское дерево, вокругъ котораго обвилась змѣя съ головой женщины.

— Есть злые люди и есть добрые, — поучалъ онъ. — Всѣ они умираютъ. Но только добрыя пробуждаются послѣ смерти... пробуждаются въ зачарованномъ саду, гдѣ ждетъ ихъ тысяча наслажденій. Въ саду этомъ текутъ ручьи изъ меда, а подъ погами распускаются благоуханные цвѣты...

— Цвѣты и лукъ, — съ увѣренностью прервалъ Жюль.

Матѣ нѣжно обнялъ его.

Онъ жаловался, что мальчикъ приходитъ слишкомъ рѣдко и придумывалъ всевозможныя развлечения, чтобы привлечь его, мастерилъ для него игрушки, покупалъ сладости. Однажды онъ сдѣлалъ ему чудеснаго змѣя, на которомъ нарисовалъ браваго офицера. У офицера былъ воинственный видъ, грозное лицо съ похожими на штыки усами, широкія плечи, такіе осы, пышные панталоны и блестяшія остроконечныя туфельки на крохотныхъ ножкахъ.

Жюль не могъ оторвать отъ него глазъ. И когда застывшій въ своемъ величій храбрый вояка подымался къ ясному небу, мальчикъ изъ всѣхъ силъ хлопалъ въ ладоши, неистово визжа отъ восторга.

Наконецъ, старикъ рѣшилъ, что приручилъ уже Жюля. Радостно улыбаясь, соорудилъ онъ ему кровать подлѣ своей кровати.

— Теперь, милый, мы не разстанемся больше. Ты будешь спать рядомъ со мной. Я не могу жить безъ тебя.

\* \* \*

Хижина была убого обставлена. Но на стѣнахъ висѣли другъ противъ друга двѣ обсиженные мухами олеографіи. Одна изображала пиря Ваята-

сара. Къ багровому небу подымались безчисленные уступы террасы, на которой происходила оргія. Облеченный въ пышныя одежды, съ тіарой, напоминающей сахарную голову, Валтасаръ, уронивъ скипетръ, въ ужасѣ смотрѣлъ на зловѣщую огненную надпись. На другой олеографіи воспроизведено было нападеніе китайскихъ пиратовъ на французскаго капитана. Разбойники окружили героя и одинъ изъ нихъ, благодаря счастливой случайности—полному отсутствію перспективы,—готовился проткнуть коньемъ стволъ бамбуковаго дерева вмѣсто капитана.

Въ углу тикали неуклюжіе старинныя часы и парисованная на циферблатѣ голова негра угрожающе вращала бѣлками глазъ соответственно движенію маятника.

Новая жизнь началась для Матѣ. До сихъ поръ онъ жилъ словно во тьмѣ могилы. Слабыя руки ребенка приподняли тяжелый могильный камень, и яркій солнечный свѣтъ залилъ убогую хижину...

Но вскорѣ старикъ ужаснулся отвѣтственности, которую взялъ на себя. Сможетъ-ли онъ посвятить сѣмена добра въ эту кристально чистую душу? Онъ энергично принялся за воспитаніе мальчика, началъ учить его грамотѣ, рассказывалъ ему о землѣ, о смѣнѣ временъ года, о другихъ народахъ, пытался объяснить великія проблемы науки. Потомъ, находя, что мальчикъ уже достаточно подготовленъ, заговорилъ о таинственныхъ законахъ міроизданія. Вечеромъ, когда на небѣ зажигались звѣзды, онъ обращалъ вниманіе ребенка на гармонию вселенной. Поднявъ глаза вверхъ, Жюль пытался понять странныя рѣчи, задавалъ наивныя вопросы и, видя, что любопытство мальчика возбуждено, что онъ проявляетъ ко всему интересъ, старый Матѣ не могъ удержаться отъ радостныхъ криковъ.

Тогда, боясь утомить ребенка, Матѣ переходилъ къ фантастическимъ приключеніямъ. На покосившейся этажеркѣ хранилась исторія крестовыхъ походовъ. Онъ выбиралъ изъ нея наиболѣе интересныя эпизоды, читалъ вслухъ о пораженіи печенегскихъ войскъ, объ освобожденіи Іерусалима. И, забываясь крѣпкимъ сномъ между грядками капусты, охваченный религіознымъ экстазомъ Жюль видѣлъ себя въ центрѣ кровопролитнаго сраженія.

\* \* \*

Иногда они подходили къ городскимъ укрѣпленіямъ. Въ широкомъ рву всегда околачивались бродяги. Жюль съ любопытствомъ смотрѣлъ, какъ они переплываютъ стулья, чинятъ посуду, варятъ себѣ ѣду между двухъ камней.

Часто они видѣли тамъ престарѣлую лошадь, которая смотрѣла на нихъ жалобными глазами.

— Сколько ей лѣтъ?—спросилъ однажды Жюль.

— Вѣроятно, лѣтъ двадцать,—отвѣтилъ Матье.

Охвативъ руками колѣни, Жюль не сводилъ глазъ съ клячи.

— Я думалъ, она старше, дѣдушка. Я думалъ, она гораздо старше тебя.

Такъ однотонно и мирно протекала ихъ жизнь.

Но по воскресеньямъ все измѣнялось.

Ахъ, какъ хорошо бывало по воскресеньямъ! Особенно лѣтомъ... Въ травѣ казалось, пестрѣло еще больше цвѣтовъ... На открытомъ воздухѣ, неистово шипя, жарились оладьи, повсюду сновали продавцы сластей, мальчишки драли горло, ожесточенно выкрикивая свой товаръ. Солдаты съ достоинствомъ прогуливались группами, важно размахивая руками въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ. Подростки въ накрахмаленныхъ костюмахъ держали за руку своихъ подругъ, дѣвченокъ лѣтъ четырнадцати — пятнадцати, въ яркихъ блузкахъ, съ лентой вокругъ шеи и съ уже нечистымъ огонькомъ въ глазахъ. Собаки, какъ угорѣлыя, бѣгали то взадъ, то впередъ и воздушные шары плавно подымались къ ясному небу.

Кабачокъ, надъ дверьми котораго красовалась надпись: „Сюда можно приходить со своею ѣдою“, пустовалъ всю недѣлю, но по воскресеньямъ тамъ кишмя кишѣло. За грязными столиками можно было получить вкусныя ракушки и отдающее порохомъ вино. Раскатистый смѣхъ звенѣлъ всюду и качающіяся на качеляхъ, тѣсно обнявшіяся, парочки испускали пронзительные крики.

Вотъ какъ весело бывало по воскресеньямъ!

Чтобы посмотрѣть на все это, Жюль и Матье, держась за руки, садились на траву рядомъ. Иногда мальчишки играли подлѣ нихъ въ медвѣдя, въ колдуны, прыгали на одной ножкѣ. Глядя на нихъ, Жюль начиналъ дрожать всѣмъ тѣломъ, какъ заслышавшая лай гончихъ собака на привязи. Матье не смѣлъ удерживать его дольше. Пусть себѣ поиграетъ со сверстниками! Не можетъ же онъ всегда сидѣть со старикомъ. Онъ выпускалъ руку Жюля, и мальчикъ, не обернувшись ни единого раза, мчался, какъ выпущенная изъ лука стрѣла.

Вотъ какъ весело бывало по воскресеньямъ!

\* \* \*

Они сидѣли недалеко отъ хижины подлѣ тропинки. Ночь зажгла надъ ними свой звѣздный щитъ. Матье нѣжно прижималъ къ себѣ Жюля. Все было тихо вокругъ, старику казалось, что кромѣ нихъ никого нѣтъ на свѣтѣ. Онъ хотѣлъ бы, чтобъ никогда не наступалъ день. Борода его колола ребенку щеку; Жюль осторожно отстранялся, но взволнованный старикъ ничего не замѣчалъ и умолялъ мальчика никогда не покидать его.

— Когда тебя нѣтъ со мной, мнѣ такъ грустно,—жаловался онъ.—Не оставляй меня, милый!.. Я не перенесу разлуки съ тобой... Я былъ такъ несчастенъ, когда тебя не было!.. Не смѣлъ ни съ кѣмъ разговаривать...

— Отчего, дѣдушка?

— Такъ... Но ты пришелъ и все измѣнилось.

— Я не понимаю тебя, дѣдушка.

— Ты не можешь понять меня, вѣдь ты не знаешь моей тайны... Смогу ли я повѣдать тебѣ ее?

И, сдерживая рыданія, воскликнулъ:

— О, ты узнаешь когда-нибудь все, все! Какая мука! Какъ я страдаю...

— Дѣдушка, я знаю въ чемъ дѣло, — важно сказалъ Жюль, хмуря брови.

Старикъ съ ужасомъ ждалъ, не сводя съ него глазъ.

— Въ водѣ, которую ты выпилъ, было животное... Знаешь, такое, что не видно простымъ глазомъ... И вотъ теперь оно выросло, стало огромной змѣею у тебя въ животѣ...

— Нѣтъ,—гнѣвно возразилъ Матѣе,—это не змѣя... Меня мучаетъ нѣчто гораздо болѣе ужасное...

— Какой-нибудь другой звѣрь?

Старикъ безнадежно махнулъ рукой.

— Не говори такъ,—простоналъ онъ.—Зачѣмъ болтаешь ты глупости?

Съ тѣхъ поръ каждый вечеръ старый Матѣе все жаловался, да жаловался. Повидимому, онъ радъ былъ бы повѣдать что-то Жюлю.

Какъ-то разъ онъ сталъ передъ мальчикомъ на колѣни:

— Я скоро открою тебѣ ужасную тайну,—сказалъ онъ.—Но для этого надо, чтобы душа твоя была чище святой воды.

Всѣми силами старался онъ вселить въ ребенка ужасъ и отвращеніе къ грѣху.

— Берегись грѣха, сынъ мой,—умолялъ онъ.—Злые мысли могутъ проскользнуть въ твое сердце, какъ ящерица въ расщелину стѣны... неизвѣстно откуда... И все для меня тогда будетъ потеряно!

— Какъ ящерица въ расщелину стѣны... ты думаешь?—разсѣянно повторялъ Жюль.

— Берегись! — начиналъ вдругъ угрожать Матѣе. — При малѣйшемъ грѣхѣ ты будешь чувствовать себя отверженнымъ и не посмѣешь поднять глазъ къ яснымъ звѣздамъ.

— Я не боюсь звѣздъ,—возразилъ Жюль, раздосадованный непонятными жалобами старика.

И забывъ о томъ, чему самъ училъ его раньше, старикъ шепталъ:

— Звѣзды—это безчисленные глаза Божьи!

— Звѣзды вовсе не глаза, дѣдушка... Зачѣмъ ты говоришь такъ?

\* \* \*

Наступила суровая зима. Снѣгъ заносилъ двери хижины и на побѣлѣвшей землѣ находили трупы замерзшихъ птицъ.

Жюль слѣпилъ огромную снѣжную бабу, наводившую ночью страхъ на прохожихъ. Въ ротъ ей онъ всунулъ старую трубку, но когда наступила оттепель и подъ горячею ласкою солнца деревья начали ронять крупныя слезы, трубка вдругъ выпала изъ рта. Тогда Жюль бросился въ хижину: схватилъ топоръ, которымъ кололи дрова, подбѣжалъ къ снѣжной бабѣ и, испуская яростные крики, принялся наносить ей изъ всѣхъ силъ удары. Старикъ видѣлъ, какъ конвульсивно подергивалось лицо мальчика, какъ властно обуялъ его духъ разрушенія. Потомъ, когда, выбившись изъ силъ, Жюль упалъ подлѣ безформенной кучи снѣга, Матѣ бережно взялъ его на руки, отнесъ въ хижину, уложилъ на постель и, осторожно разжимая палецъ за пальцемъ, вынулъ топоръ, который тотъ все еще продолжалъ судорожно сжимать въ рукѣ.

Старый Матѣ постарался скрыть отъ мальчика свои слезы. Но съ этого дня онъ началъ еще внимательнѣе слѣдить за ребенкомъ. Онъ не рѣшался ни на минуту оставить его одного, ревниво оберегалъ его и благодаря заботамъ Матѣ, Жюль снова сдѣлался кротокъ и тихъ. Тогда старикъ рѣшилъ, что необузданный гнѣвъ мальчика былъ простой случайностью и скоро совсѣмъ позабылъ о такъ опечалившемъ его случаѣ.

Наступила весна. Яблоня подлѣ хижины покрылась цвѣтами, напоминая колоссальный свадебный букетъ и боярышникъ наполнялъ воздухъ нѣжнымъ благоуханіемъ. Жюль словно расцвѣлъ, щеки его порозовѣли, онъ сдѣлался нѣженъ и часто ласкался къ старику.

\* \* \*

Однажды вечеромъ они поздно засидѣлись на зеленой травѣ. Небо раскинуло надъ ними звѣздный шатеръ. Набѣгавшійся за день, Жюль положилъ голову на колѣни старика, собираясь уснуть. Матѣ подумалъ, что никогда еще мальчикъ не былъ такъ ласковъ съ нимъ и рѣшилъ, что благопріятная минута, наконецъ, наступила. Сердце его забилося съ такой силой, что онъ долженъ былъ осторожно отстранить ребенка.

Вокругъ было темно. Старикъ безпокойно оглядывался по сторонамъ.

— Тебѣ не кажется, что слышны какіе то голоса?—спрашивалъ онъ.— Подожди минутку... Я посмотрю, нѣтъ-ли кого-нибудь поблизости.

Онъ исчезъ во тьмѣ. Испуганный мальчикъ началъ кричать. Матѣ торопливо вернулся.

— Никого нѣтъ.

Потомъ еще разъ подозрительно оглянулся вокругъ и прижалъ съ себѣ Жюля, словно собираясь защитить его отъ чего-то ужаснаго.

— Слушай...—пробормоталъ онъ.—Я скажу тебѣ все... Ты большой уже... Тебѣ не будетъ страшно... Видишь, вонъ ту дорогу?—онъ указалъ пальцемъ на свѣтлѣвшую во тьмѣ ночи полосу.—Ну, вотъ... Я былъ когда-то такимъ какъ другіе, ни лучше, ни хуже. И не дѣлалъ никому зла... Но вдругъ однажды вечеромъ на меня словно нашло что-то... и я убилъ... да, убилъ человѣка!.. и ограбилъ его... Еще живого, молившаго меня о пощадѣ... Потомъ, чтобъ не видѣть умоляющихъ глазъ, зарылъ голову въ землю... Понимаешь?.. Понимаешь ты, я убилъ вонъ на той дорогѣ человѣка! Увы!.. я разбилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и свою жизнь... Съ тѣхъ поръ я не зналъ ни минуты покоя, каждую ночь мнѣ казалось, что я умираю... Но ты пришелъ, твои ясные глаза исцѣлили меня, твоя невинность искупить мой грѣхъ! О, скажи же, скажи, что ты прощаешь меня! Я все для тебя сдѣлаю, я искуплю свое преступленіе... Скажи, что ты понимаешь мое отчаяніе, что ты жалѣешь меня!.. Вѣдь, въ тебѣ мое единственное спасеніе!..

Онъ умолкъ, жадно вглядываясь въ лицо мальчика. Жюль не двигался, руки его не отталкивали старика. Радостная надежда залила душу Матѣе, слезы градомъ полились изъ его глазъ.

Но вдругъ раздался кроткій ангельскій голосокъ Жюля, странно спокойный въ таинственной тишинѣ ночи:

— Дѣдушка, чѣмъ же ты убилъ его, палкой?

Старику показалось, что какое-то остріе безжалостно вонзилось ему въ сердце. Онъ отвернулся, понялъ, что испытаніе его не кончилось, и поскорѣе увлекъ Жюля въ хижину.

\* \* \*

Старый Матѣе весь содрогался при одной мысли объ этомъ. Отчаяніе охватило его душу. Онъ едва смѣлъ смотрѣть на Жюля; между ними какъ будто выросла глубокая пропасть. Они казались двумя островами, которыхъ упорно раздѣляютъ враждебныя волны. Словно громъ разразился надъ мирной хижинкой. Матѣе ужасался, что выдалъ свою тайну, и боязливо ждалъ, не ранить-ли опять его измученное сердце какое-нибудь неосторожное слово ребенка. Но скоро началъ упрекать себя, что поддался отчаянію, и попытался возстановить нарушенное согласіе.

Онъ снова открылъ свои объятія мальчику.

Какъ-то вечеромъ, прижавъ къ себѣ Жюля, старикъ задремалъ у стола, на которомъ горѣла лампа. Когда глаза его сомкнулись, самое дорогое воспоминаніе его жизни встало вдругъ передъ нимъ: первая встрѣча съ Жюлемъ... Немазанное личико прижалось къ перекладинамъ калитки, съ наив-



нымъ любопытствомъ смотрѣли голубые, словно вырѣзанные изъ небесной лазури глаза, лукаво улыбались яркія губы...

Проснувшись, старикъ увидѣлъ, что Жюль тоже уснулъ, вглядѣлся въ него и только теперь съ удивленіемъ замѣтилъ, какъ измѣнился мальчикъ, какъ не похожъ онъ на измазаннаго ребенка въ смѣшномъ костюмѣ, какимъ въ первый разъ его увидѣлъ Матье. Ему показалось, что подлѣ него не милый маленькій Жюль, а кто-то чужой, незнакомый.

И, дѣйствительно, мальчикъ рѣзко перемѣнился: изъ ребенка онъ превратился въ подростка. Его носъ удлинился, возлѣ рта появилась жесткая складка, мускулы развились. Глаза потеряли ангельское выраженіе, потемнѣли, изъ небесно-голубыхъ сдѣлались синими. Когда онъ пилъ, его пальцы теперь свободно охватывали стаканъ.

Характеръ Жюля тоже перемѣнился.

Приступы гнѣва овладѣвали имъ все чаще и чаще. Изъ-за каждаго пустяка онъ приходилъ въ ярость. Жестокіе инстинкты просыпались въ немъ. Однажды онъ принесъ домой и съ торжествомъ бросилъ на столъ убитую кошку, съ выскочившими изъ орбитъ глазами и оскаленными, залитыми кровью зубами...

Матье старался подѣйствовать на него кротостью. Но какъ только на лбу Жюля появлялись гнѣвные складки, бѣдный старикъ съ виноватымъ видомъ замолкалъ или робко шепталъ что-то непонятное.

\* \* \*

Однажды, когда въ жаркій іюльскій вечеръ они мирно сидѣли у дверей хижины, по ту сторону городской стѣны зажегся яркій свѣтъ и озарилъ фасады расположенныхъ возлѣ укрѣпленій домовъ.

Одна за другой, змѣей взвивались къ небу ракеты, рассыпаясь въ вышинѣ зелеными, синими, красными звѣздочками. Удивленный Жюль, открывъ ротъ, съ любопытствомъ смотрѣлъ вверхъ. И вдругъ услышалъ невообразимый шумъ, музыку, крики, звуки сирены. Онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ. Старикъ съ отчаяніемъ прижалъ его къ себѣ.

— Что тамъ такое, дѣдушка, что тамъ такое?

— Не знаю... Вѣроятно, солнце выжгло траву, кто нибудь уронилъ на землю искру, трава загорѣлась и люди кричатъ: «Пожаръ, пожаръ!»

— Пойдемъ туда, я хочу посмотрѣть, въ чемъ дѣло, пойдемъ!

— Какъ? Ты хочешь войти въ городъ?—ужаснулся старикъ, словно по ту сторону городскихъ воротъ ему угрожала смертельная опасность.

Жюль ни разу не былъ въ городѣ. Какой-то суевѣрный страхъ всегда останавливалъ его, и боявшійся Парижа Матье всячески поддерживалъ въ немъ это чувство.

Но тотъ же шумъ повторялся нѣсколько вечеровъ подрядъ, и старикъ долженъ былъ наконецъ уступить настояніямъ Жюль. И вотъ ослѣпленный мальчикъ очутился на ярмаркѣ! Онъ увидѣлъ вертящіяся подъ звуки оглушительной музыки карусели съ сверкающими зеркалами; увидѣлъ плавно поднимающіеся къ небу шары; съ пронзительнымъ визгомъ исчезающіе въ тоннеляхъ вагонетки, переполненные смѣющимися дѣвушками и ихъ кавалерами. Увидѣлъ заманчивыя горки, кучи, пряниковъ, конфетъ, разложенныя на столикахъ пирожныя. Забравшись на лѣстницу, онъ смотрѣлъ на страшную великаншу, въ крошечной нишѣ онъ видѣлъ уморительныхъ карликовъ. Видѣлъ восковыя фигуры, живыхъ танцовщицъ, клоуновъ, сквозъ пестрый дождь конфетти видѣлъ веселую, шумную, опьяненную весельемъ толпу и горько плакалъ, когда Матѣ увелъ его обратно въ скучную хижину.

\* \* \*

Съ тѣхъ поръ Жюль не переставалъ мечтать о городѣ.

— Я вижу, ты выросъ,—кратко говорилъ ему старикъ.—Тебѣ скучно со мной, я не смѣю удерживать тебя дольше.

— Пойдемъ туда, пойдемъ, дѣдушка!—настаивалъ Жюль.

— Подожди еще немного,—умолялъ Матѣ.

И когда, наконецъ, они отправились въ городъ, сердце старика тревожно сжималось. Пройдя пригороды, они очутились въ центрѣ Парижа. Не останавливаясь, шли и шли они по раскаленной мостовой, по нѣсколько разъ обходили вокругъ памятниковъ... Шумъ улицы возбуждалъ ихъ, толпа увлекала все впередъ и впередъ; имъ казалось, что человѣческій потокъ на улицахъ напоминаетъ движеніе крови въ артеріяхъ...

Когда наступилъ вечеръ, у нихъ закружились головы, и Жюль не могъ оторвать восторженныхъ глазъ отъ освѣщенныхъ витринъ, гдѣ только тонкое стекло защищало сказочную роскошь отъ жадныхъ вождельнѣй прохожихъ. Наконецъ, Матѣ подумалъ, что пора возвратиться домой. Былъ часъ, когда кончались работы въ мастерскихъ и конторахъ. Толпа волновалась какъ возбужденное море, присаживалась на нѣсколько минутъ къ столикамъ кафе, останавливалась передъ кинематографами, потомъ снова длинными лентами растягивалась по улицамъ. Жюль рѣшилъ, что все спѣшать на какой-нибудь веселый праздникъ, въ родѣ того, о которомъ онъ сохранилъ такое восторженное воспоминаніе. Радостно шелъ онъ вмѣстѣ съ другими. Но толпа рѣдѣла все больше и больше, разсѣивалась по пригородамъ, таяла. Потянулись скудно освѣщенные, безлюдныя улицы, темныя, незастроенныя пространства земли, шумно пронесся вдали поѣздъ и на одномъ изъ поворотовъ Жюль неожиданно увидѣлъ передъ собой городскія ворота.

\* \* \*

Теперь Матѣ принужденъ былъ неоднократно совершать подобныя прогулки. Жюль опьяненъ былъ Парижемъ, для него началась новая жизнь. Онъ томился въ убогой хижинѣ, тяготился скучными полями, среди которыхъ выросъ. Старикъ уставалъ и, чувствуя, что Жюль отъ него ускользаетъ, старался смягчить его жалобами.

— Я дряхлѣ уже,—говорилъ онъ ему.—Я похожъ на старую, большую собаку, которая лежитъ цѣлый день на порогѣ. Я не могу ходить съ тобой въ городъ, мой мальчикъ!

— Ну, что-жъ, лежи, старая собака. Я пойду и одинъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты не оставишь меня! Вспомни все, что я для тебя сдѣлалъ... Развѣ я не заслужилъ, чтобы ты любилъ меня хоть немножко. Развѣ ты не долженъ пожалѣть меня?

Чувствуя, что онъ не можетъ ничего возразить, Жюль только гнѣвно сжималъ зубы и нетерпѣливо пожималъ плечами. Потомъ въ одинъ прекрасный день убѣжалъ въ городъ.

Вскорѣ онъ началъ требовать денегъ. Матѣ покорилося всему. Отъ времени до времени онъ всовывалъ ему въ руку серебряную монету и пользовался случаемъ, чтобы жадно обнять его. Онъ провожалъ его до тѣхъ поръ, пока не начиналъ задыхаться отъ усталости. И остановившись, какъ ницый смотрѣлъ вѣдѣ уходящему.

Жюль возвращался всегда поздно вечеромъ. Онъ небрежно раскачивался на ходу, въ углу его рта торчала полупотухшая папироса. Радуюсь тому, что онъ снова дома, старикъ не упрекалъ его ни единымъ словомъ. Онъ подробно разспрашивалъ обо всемъ и ласкалъ его, чтобы добиться хоть какого нибудь отвѣта. Но забрасываемый вопросами Жюль съ видомъ преходства презрительно отбѣлывался двумя—тремя словами. Онъ жадно свѣдалъ ужинъ, и положивъ голову на столъ, моментально засыпалъ такимъ крепкимъ сномъ, что старику приходилось осторожно раздѣвать его и съ усиленіемъ переносить на кровать.

\* \* \*

Прошло нѣсколько лѣтъ. Жюль превратился въ стройнаго юношу. Матѣ съ безпокойствомъ наблюдать за нимъ. Часто онъ бралъ его за руку и, разговаривая о безразличныхъ предметахъ, старался по глазамъ отгадать, что у него на душѣ. Но глаза Жюля безпокойно бѣгали, какъ дикіе звѣрьки, и упорно прятались подъ тѣнюю рѣсницъ.

Вскорѣ Жюль началъ заниматься своей наружностью. Онъ густо помазидъ волосы, украсилъ свое пальто воротникомъ изъ поддѣльнаго каракуля, носилъ яркіе галстухи и какую-то причудливую шляпу.

Онъ былъ увѣренъ, что у него восхитительный слухъ и очень рѣдился

этимъ. Выучилъ наизусть массу уличныхъ пѣсенокъ и съ утра до вечера распѣвалъ ихъ. Матѣ слушалъ, какъ онъ поетъ о любви, объ измѣнѣ и удивленно сравнивалъ бравурные мотивы съ мелодичными, сентиментальными романсами своей юности.

— Хочешь, я спою тебѣ: „Чтобъ нравиться женщинамъ“... самые модные куплеты...

— Нѣтъ, вѣтъ, дитя мое, не пой этого... Ты хочешь огорчить меня...

— Тогда другую: „Когда любовь проходитъ“... Послушай-ка.

И забывъ все свои непріятности, старикъ восторженно слушалъ. Счастливыя минуты, когда ему казалось, что Жюль немножко любитъ его...

\* \* \*

Однажды въ воскресенье, когда они лежали въ сумеркахъ на влажной травѣ и развлекались видомъ прохожихъ, мимо нихъ, толкая другъ друга, промчалась веселая компанія. Далеко позади осталась собиравшая цвѣты молодая дѣвушка. Ея рыжіе волосы низко спускались на лобъ, зеленые глаза вызывающе блестѣли.

Жюль запѣлъ.

— Браво,—воскликнула она, хлопая въ ладоши,—браво!

— Ладно, ладно!—заворчалъ старикъ.—Проходи поскорѣе!

Но дѣвушка отколола отъ корсажа цвѣтокъ и бросила его Жюлю.

— Меня зовутъ Пинета,—улыбнулась она.—Приходи какъ нибудь въ воскресенье на балъ въ Мюгэ. Ты тамъ увидишь меня. Приходи-же!

Жюль весело засмѣялся. Но старикъ угрожающе замахнулся палкой:

— Негодница... вотъ я тебя!..

Не обращая вниманія на старика, дѣвушка принялась вальсировать на травѣ, открывая тонкія ноги въ лиловыхъ чулкахъ... Потомъ побѣжала вслѣдъ за компаніей. Жюль, дрожа, смотрѣлъ ей вслѣдъ...

Бѣдный старикъ жестоко страдалъ. Но онъ скрывалъ свои страданія отъ Жюля. Душа юноши была уже только грудой пепла, и если кое-гдѣ еще тлѣла въ ней искорка, старикъ старательно раздувалъ ее, чтобы зажечь живительный огонь.

Онъ все еще не отчаивался, утѣшалъ себя мыслью, что виной всему праздность, и рѣшилъ приучить Жюля къ работѣ... Надо отдать мальчика въ ученье... Ему казалось, что спасеніе найдено, и онъ снова началъ надѣяться.

Собравшись съ духомъ, старикъ сказалъ Жюлю:

— Дитя мое, я научилъ тебя тому немногому, что зналъ самъ. Теперь пора тебѣ заняться дѣломъ. Надо, чтобы когда нибудь ты умѣлъ работать, какъ и другіе, если не хочешь сдѣлаться такой развалиной, какъ я. Пойдемъ.

Онъ былъ удивленъ и даже немного обеспокоенъ тѣмъ, что не встрѣ-

тиль никакого сопротивленія. Они пошли въ городъ. Пройдя нѣсколько улицъ, задыхающійся Матѣ остановился передъ широкой дверью, надъ которой висѣлъ колоссальный ключъ. Онъ прочелъ наклеенную позади запыленного стекла записку и открылъ дверь. Пожилой толстый слесарь внимательно осмотрѣлъ вошедшихъ поверхъ низко одѣтыхъ на носъ очковъ. Поговоривъ съ Матѣ, онъ согласился взять Жюля въ ученіе и, такъ какъ старикъ усердно расхваливалъ юношу, счелъ нужнымъ погладить его по щекѣ, оставивъ на лицѣ черные слѣды.

— Теперь на тебѣ есть клеймо, — улыбнулся онъ. — Приходи завтра.

И онъ открылъ передъ ними дверь.

\* \* \*

Матѣ наливалъ супъ въ тарелку. Было уже поздно, а Жюль все не возвращался. Бѣдный старикъ съ утра чувствовалъ себя разбитымъ. Сидя на скамьѣ подлѣ стола, онъ вдругъ замѣтилъ, что тѣло его какъ-то странно тяжелѣетъ. Онъ хотѣлъ было протянуть руку за ложкой, но члены его словно налились свинцомъ. Сдѣлавъ усиліе, Матѣ пересѣлъ въ кресло.

Теперь онъ былъ окончательно прикованъ къ мѣсту. Тѣло его какъ будто окаменѣло. Паническій страхъ охватилъ старика, онъ хотѣлъ закричать. Беззубый ротъ мучительно сжался, но вмѣсто крика раздались какіе-то глухіе нечленораздѣльные звуки. Казалось, что на лицо наклеили неподвижную твердую маску.

Жадно прислушивался Матѣ къ звукамъ снаружи, не сводя взора съ циферблата, на которомъ жалобно, словно умоляя о помощи, вращалъ бѣлками глазъ негръ. Догорѣвшая свѣча потухла, наступилъ сплошной мракъ. Потомъ, спустя нѣкоторое время, остановились часы и, не слыша ихъ тиканья, Матѣ испугался злобщей, какъ будто откуда-то подкравшейся тишины. Тѣло старика было неподвижно, какъ трупъ, но въ головѣ, какъ муравьи, копошились тяжелыя мысли...

Вдругъ онъ услышалъ осторожное царапанье когтей, мимо него что-то шмыгнуло, застучалъ опрокинутый стулъ. Въ хижину, очевидно, проникла крыса. Вслѣдъ за ней скользнули другія. Вѣроятно, онѣ попали сюда изъ расположеннаго неподалеку сарая, гдѣ свалены были груды тряпья. Старикъ часто слышалъ, какъ они скребли въ углу. Но теперь они устроили настоящее нашествіе...

Вокругъ разлитого супа началась оргія. Потомъ крысы перешли къ открытому шкапу, въ которомъ хранилась провизія...

Стекла оконъ, наконецъ, посвѣтлѣли. Крысы исчезли въ углу. Наступило утро. Въ душѣ старика затеплилась надежда. Вотъ слышны шаги... помощь близка... Но онъ не можетъ позвать, и ни одному человѣческому существу не придетъ въ голову переступить порогъ хижины.

\* \* \*

Опять наступилъ вечеръ. На небѣ появилась луна. Гдѣ-то завyla собака. Матѣ началъ чувствовать голодъ. Неужели ему суждено умереть голодной смертью?.. Въ углу опять, какъ и прошлую ночь, скребетъ что-то. Крысъ еще больше, онѣ еще смѣлѣе. Матѣ чувствуетъ, что шмыгая мимо, онѣ касаются его ногъ. Одна изъ нихъ начинаетъ грызть его сапогъ. Онъ напрягаетъ послѣднія силы, беретъ рукой, которая еще въ состояніи двигаться, палку и свирѣпо отгоняетъ животное... Но черезъ нѣсколько минутъ крыса возвращается, къ ней присоединяются другія, и острые зубы неожиданно вонзаются въ его тѣло... Ужасъ охватываетъ его, безумный ужасъ!..

Вдругъ осторожно открывается дверь, кто-то тихо входитъ въ комнату. Безконечная радость заливаетъ душу Матѣ... Это онъ, это Жюль!.. Вотъ онъ шаритъ впотъмахъ, чиркаетъ спичкой. При скудномъ свѣтѣ старикъ отчетливо видитъ дорогое лицо. Но спичка тухнетъ и все снова погружается въ молчаніе и тьму. Матѣ спрашиваетъ себя, не пригрезилось-ли ему, не сдѣлался-ли онъ жертвой галлюцинаціи.

Знакомый, милый голосъ зоветъ:

— Дѣдушка! Дѣдушка!

Матѣ старается отвѣтить, но изъ горла его вырывается только глухое рычаніе. Тогда Жюль отыскиваетъ гдѣ-то огарокъ, зажигаетъ его и подноситъ къ лицу старика. Онъ видитъ умоляющіе, страдальческіе глаза, неподвижную, застывшую фигуру. Разспрашиваетъ, недоумѣваетъ, потомъ, понявъ, наконецъ, въ чемъ дѣло, бѣжитъ къ двери и испускаетъ пронзительный свистъ.

Черезъ нѣсколько минутъ, неувѣренно улыбаясь, въ комнату входитъ краснощекая, коренастая дѣвушка въ тепломъ платкѣ.

— Позволь представить тебѣ Матѣ, моя милая!—говоритъ ей Жюль.— Только предупреждаю, сегодня старикъ какъ разъ не въ голосѣ.

Онъ подходитъ къ шкапу, но увидѣвъ, что провизія уничтожена крысами, ударяетъ кулакомъ по столу съ такой силой, что жалобно звенятъ тарелки и стаканы. Только вино осталось нетронутымъ. И не обращая никакого вниманія на старика, они пьютъ, пьютъ... Потомъ Жюль швыряетъ бутылки въ уголъ и кричитъ дѣвушкѣ:

— Ну-ка, ты... помоги мнѣ!..

Они обшариваютъ всѣ углы, переворачиваютъ вверхъ дномъ всю комнату. Наконецъ, находятъ въ соломѣ матраца небольшую шкатулку. Жюль валамываетъ ее и торопливо высыпаетъ деньги въ карманы. Потомъ, они оба бросаются къ двери, толкая другъ друга, выбѣгаютъ изъ комнаты и, словно преслѣдуемые по пятамъ, исчезаютъ во мракъ ночи.

Перев. съ франц. М. Кариной.

## БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИНЪ И СРЕДНЕВѢКОВОЕ МИРОСОЗЕРЦАНІЕ.

IV вѣкъ былъ временемъ торжества церкви. Изъ гонимой секты—христіанство сдѣлалось государственной религіей, ниспровергнуть которую тщетно пытался одинокій романтикъ Юліанъ. Все здоровое и жизнеспособное неудержимо стремилось къ церкви. Среди начинающагося общественнаго распада она одна высилась мощной твердыней, и римскіе императоры, чувствуя свою слабость, раздѣлили съ церковью тяжелое бремя своей власти. Епископъ сдѣлался судьей, администраторомъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже воиномъ. Чѣмъ быстрее шло распаденіе государства, тѣмъ вліятельнѣй и сильнѣе становилась церковь. Нашествіе варваровъ не помѣшало росту церковнаго авторитета; въ смутахъ всеобщей анархіи она одна сохранила свою организацію, и только ея голосъ могъ отчасти сдержать буйные толпы варваровъ. Дикіе короли, не страшившіеся меча легіоновъ, останавливались передъ крестомъ въ рукахъ христіанскаго епископа. „Божьимъ триумфомъ“ называлъ Амвросій Медиоланскій событія своего времени. „Не со связанными за спиной руками видимъ мы народы въ этомъ торжественномъ шествіи“, говоритъ онъ, противопоставляя Божій триумфъ—триум-

фу человѣческому: „не декорацин, изображающія разрушенныя города, не статуи, похищенныя изъ покоренныхъ муниципій, не плѣнныхъ царей съ согбенной выей, но ликующіе народы, влекомые не на казнь, а къ вѣчной жизни; царей, свободно и добровольно преклоняющихся колѣна; города, охотно сдавшіеся, и картины преобразованныхъ къ лучшему муниципій“. Воодушевленная побѣдами церковь начала сознать свою силу. Образъ вселенскаго Божьяго государства, предъ которымъ преклонятся земные цари, надолго становится идеаломъ папъ и епископовъ. Первые притязанія церкви ограничивались областью религіозно-нравственной, но здѣсь она требовала для себя исключительнаго и независимаго отъ свѣтской власти господства. Такъ Іоаннъ Златоустъ, призывая людей къ повиновенію царю и угрожая карой Божіей ослушникамъ, отрицалъ за свѣтской властью право руководительства внутреннимъ духовнымъ человѣкомъ. „Оставайся въ своихъ предѣлахъ“, говоритъ онъ, „одни предѣлы царства, другіе священства.“ Неоднократно возвращался Златоустъ къ излюбленному своему примѣру первосвященника Азаріи, изгнавшаго изъ храма

іудейскаго царя Осію, который хотѣлъ священнодѣйствовать самъ. Разграничивая духовную и свѣтскую власть, Златоустъ превозносилъ священника надъ царемъ. Цари имѣютъ власть надъ чловѣческимъ тѣломъ, священники надъ душою: „священство на столько выше царской власти, на сколько велико разстояніе между плотью и духомъ.“ „Хотя намъ кажется величественнымъ престолъ царскій по драгоценнымъ камнямъ и золоту, однако, царь получилъ въ удѣлъ правленіе земнымъ и болѣе не имѣетъ никакой власти; престолъ же священника поставленъ на небѣ, и онъ имѣетъ власть управлять небеснымъ.“

Противъ многочисленныхъ противниковъ монастырей Златоустъ написалъ три „слова“ въ защиту монашества. Уходя отъ міра, монахъ сохраняетъ духовную свободу, невозможную въ обществѣ, деспотически сковывающемъ своихъ членовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ высшимъ, духовно нравственнымъ интересамъ людей.

Особенно велико значеніе Златоуста въ области христіанской общественной морали. Соціальное неравенство считалъ онъ неестественнымъ. Всѣ люди равны и передъ Богомъ и между собою. Богатый, имѣя право пользоваться своимъ достояніемъ, обязанъ, однако, дѣлиться частью своихъ богатствъ съ бѣдняками. „Не только присвоить себѣ чужое, но не удѣлять части бѣднымъ есть грабительство.“ Въ цѣляхъ уничтоженія городского пролетаріата, Іоаннъ предлагалъ возвратиться къ временамъ апостольскимъ, когда христіанскія общины снабжали бѣднѣйшихъ членовъ всѣмъ

необходимымъ для существованія. Равенству людей противорѣчитъ институтъ рабства. „Богъ не создалъ рабства, но одарилъ чловѣка свободой.“ Владѣть рабами не позволительно тому, кто не все носитъ имя христіанина.

На Западѣ тѣ-же мысли развивалъ современникъ Златоуста Амвросій Медиоланскій. „Въ дѣлахъ вѣры“, говоритъ онъ, „епископы должны судить императоровъ, а не императоры епископовъ.“ Земная власть должна склониться передъ небесной; для носителя земной власти—императора „нѣтъ чести выше, чѣмъ называться сыномъ церкви.“ Слова Амвросія не расходились съ дѣломъ: могущественнѣйшему изъ императоровъ упадка заградилъ онъ входъ въ храмъ, и Θεодосій Великій, какъ послушный сынъ, подчинился отческому наказанію церкви, покаялся въ своемъ грѣхѣ, чтобы снять запретъ.

Разрозненные элементы новаго міровоззрѣнія должны были объединиться въ систему не на Византійскомъ Востокѣ, ловкіе настойчивые императоры котораго сумѣли подчинить себѣ церковь и при помощи ея создать новое государство на развалинахъ языческаго, но на Западѣ, гдѣ во прахъ поверженная варварскимъ нашествіемъ свѣтская власть не заслоняла власти духовной, и церковь, не опираясь ни на кого, могла взять на себя тяжелый трудъ новаго общественнаго строительства. Начертать планомѣрную теократическую систему суждено было Блаженному Августину, дѣятельность котораго въ значительной мѣрѣ опредѣлила все дальнѣйшее развитіе Западной Церкви.



Аврелій Августинъ родился въ африканскомъ городѣ Тагастъ отъ отца—язычника и матери—христіанки. Получивъ по желанію отца языческое образованіе, Августинъ сдѣлался учителемъ реторики сначала на родинѣ, въ Африкѣ, потомъ въ Миланѣ и въ Римѣ. Разсѣянная жизнь, которую велъ въ ту пору будущій вождь церкви, не захватила его всецѣло. Съ раннихъ лѣтъ начались мучительныя блужданія Августина въ поискахъ мудрости. Переходя отъ одной не успокаивавшей его философской системы къ другой, Августинъ только тридцати слишкомъ лѣтъ отъ роду подвѣяніемъ матери и Амвросія Медиоланскаго порвалъ съ прежней жизнью и крестился. Нѣсколько лѣтъ спустя, Августинъ принялъ въ Африканскомъ городѣ Гиппонѣ священнической санъ, а по смерти тамошняго епископа занялъ его мѣсто. Въ Гиппонѣ Августинъ провелъ всю послѣдующую свою жизнь, до смерти неутомимо словомъ и дѣломъ поддерживая церковь и ревностно сражаясь съ ея противниками.

Къ ученію Христа Августинъ пришелъ долгимъ и тернистымъ путемъ. Истинный сынъ своего тревожнаго и мятущагося времени, пылкій по природѣ, онъ мучительно пережилъ настроенія языческаго уладка, памятникомъ которыхъ является „Исповѣдь.“ Съ поразительной силой описываетъ Августинъ страданія живущей двойною жизнью души, дѣлающей зло и стремящейся къ невѣдомому добру. 19-ти лѣтъ прочитавъ Цицероновскаго „Гортензія“, Августинъ былъ охваченъ страстнымъ стремленіемъ къ Богу. „Опостылѣла,“ говоритъ онъ, „для

меня вдругъ всякая суетная надежда, и я жаждалъ съ невѣроятной страстью безсмертной мудрости. Какъ я пылалъ Боже мой, какъ я пылалъ желаніемъ подняться надъ всѣмъ земнымъ къ Тебѣ, ибо у Тебя мудрость.“ Ночѣмъ сильнѣй стремился Августинъ къ религіозному идеалу, тѣмъ яснѣе познавалъ онъ мощь сковывавшаго душу зла. Идеализмъ сталъ источникомъ неисчерпаемыхъ мукъ, душа билась „на порогѣ двойного бытія“, безсильная перейти его. Въ конечномъ отчаяніи будущій свѣтильникъ Католической Церкви сдѣлался манихеемъ. Ученики Манеса признавали субъективный разладъ души; согласнымъ съ объективнымъ порядкомъ вселенной. Вѣчно существуютъ два царства—свѣта и тьмы. Адскіе воины побѣдили витязей свѣта, и плѣненные первыми свѣтоносныя частицы, смѣшавшись съ тьмой, образовали землю. Человѣкъ созданъ дьяволомъ по образу его и подобію, но въ темницѣ человѣческаго тѣла заключено наибольшее количество свѣтлыхъ частицъ которыя въ ожесточенной борьбѣ съ мракомъ стремятся обратно на свою небесную родину. Манихеи требовали отъ человѣка крайняго аскетизма. Со смертью праведныхъ людей находящіяся въ нихъ и скопленные за время жизни свѣтоносныя частицы освобождаются отъ земного плѣна. Справедливо указываетъ кн. Евг. Трубецкой на сходство религіи Манеса съ пессимистическимъ ученіемъ Шопенгауэра. Считаю свое внутреннее раздвоеніе объективнымъ міровымъ порядкомъ, и Шопенгауэръ и Манесъ приходятъ къ одному и тому-же безотрадному образу торжествующаго нынѣ и

вѣчно неистребимаго зла. Порабощенный злой „волею“ „разумъ“, какъ „свѣтъ“ въ религіи Манеса, можетъ достигнуть только освобожденія изъ темницы, уничтожить же обитель своей скорби онъ не въ силахъ. Подобно Манесу—Шопенгауэръ дѣлаетъ изъ своихъ предпосылокъ выводы въ духъ крайняго. отрицающаго жизнь, аскетизма. Преклоненіе передъ дурной двойцей Манеса было центральнымъ моментомъ философской драмы Августина. Преодоливъ дуализмъ, Августинъ тѣмъ выше цѣнилъ обрѣтенное имъ въ христіанскомъ ученіи единство, и стремленіемъ отстоять это сокровище отъ нападавшихъ съ разныхъ сторонъ враговъ проникнута вся его философская система.

Признавая самостоятельное существованіе зла, манихеи раскалывали вселенную на двое. Августинъ доказываетъ, что вселенная едина, что части ея находятся въ гармоніи, связанныя установленнымъ Богомъ порядкомъ. Зло не есть сущность: оно случайно въ вещахъ; наоборотъ, благо образуетъ вещь; безъ него вещи не существовало бы. Такъ вода можетъ быть загрязненной или чистой. Нечистота въ ней есть случайность. Отнявъ же у воды благое согласіе частицъ, мы уничтожимъ ее. Но, спрашивается, какъ согласовать—даже случайное—злое извращеніе вещей съ благой гармоніей вселенной? Августинъ разрѣшаетъ этотъ вопросъ утвержденіемъ, что „въ мірѣ, какъ цѣломъ, самое зло служитъ цѣлямъ гармоніи.“ „Даже то, что называется зломъ, будучи упорядочено и поставлено на своемъ мѣстѣ, въ тѣмъ большей степени выявляетъ кра-

соту и цѣнность добра.“ Съ другой стороны зло можетъ служить непосредственно цѣлямъ блага, и только люди, составляя ничтожную частицу великаго космическаго зданія и безсильные обозрѣть его въ цѣломъ, часто не могутъ видѣть благихъ послѣдствій зла. Съ точки зрѣнія Августина самый адъ и вѣчныя муки, ожидающія грѣшниковъ, не нарушаютъ космической гармоніи. Темный адъ, отгнѣняя свѣтлое блаженство рая, служитъ въ то-же время проявленіемъ Божественной Справедливости, воздающей каждому по дѣламъ его.

Стараясь преодолѣть манихейство, Августинъ пришелъ къ выводамъ, недалекимъ отъ полнаго отрицанія личности. Вселенная—прекрасный храмъ, но человѣкъ со всѣми его радостями и горемъ, грѣхомъ и праведностью лишь ничтожная пылинка въ космическомъ цѣломъ. Для мудраго Строителя безразлично, какова эта пылинка сама по себѣ; важно только, чтобъ она не нарушала общей гармоніи. Въ рукахъ Бога человѣкъ является лишь средствомъ для высшей цѣли. Понятія богосыновства не существуетъ въ системѣ Августина. По прекрасному сравненію князя Е. Трубецкого, вселенная представлялась африканскому епископу то прекраснымъ храмомъ, то мѣстомъ казни. Вселенная—храмъ, пока человѣкъ наслаждается дивной гармоніей цѣлаго, она—мѣсто казни, когда человѣкъ, обратившись внутрь себя, увидитъ свою грѣховность и вспомнитъ, что всякій грѣхъ влечетъ за собой наказаніе, налагаемое не любящимъ отцомъ, а безличной и безстрастной справедливостью, возста- навливающей космическій порядокъ. Че-

христіанскій, лишенный надежды страхъ вытекаетъ изъ такого взгляда на отношеніе между человѣкомъ и Богомъ, и тѣмъ острѣй долженъ былъ вставать для Августина вопросъ о человѣческомъ спасеніи. Здѣсь Августинъ столкнулся съ индивидуалистическимъ ученіемъ Пелагія. Пелагій утверждалъ, что человѣкъ свободенъ и спасается индивидуальными усиліями. Въ крайнихъ выводахъ пелагіанство вело къ отрицанію первороднаго грѣха и соборной отвѣтственности человѣчества. Люди, во всемъ обязанные лишь себѣ, не нуждаются въ церковной организаціи. Борясь съ пелагіанами, Августинъ исходитъ изъ прямо противоположныхъ посылокъ. Въ лицѣ Адама согрѣшило все человѣчество, въ грѣхѣ прародителя, какъ сѣмени, заключается грѣховность послѣдующихъ людей. Связанный первороднымъ грѣхомъ человѣческій родъ не можетъ спастись своими личными усиліями. Свободный до грѣхопаденія человѣкъ утратилъ свободу. Онъ хилъ, убогъ и подавленъ тяжестью лежащаго на немъ бремени. спасающая людей благодать является не воздаяніемъ за ихъ заслуги, а милостью Божіей, предопредѣленной отвѣка. Люди, предназначенные ко спасенію могутъ согрѣшить и временно отпасть отъ Бога, но направляющая Божья рука неодолимо привлечетъ ихъ ко спасенію. „Когда Богъ хочетъ спасти кого либо, Ему не въ состояніи противиться никакой человѣческій произволъ.“

Являясь соучастниками въ общемъ первородномъ грѣхѣ, люди спасаются только сообща въ церковномъ единеніи. Всѣ, кому суждено спастись, рано или

поздно будутъ въ церкви; внѣ ея—гибель, избѣгнуть которой не помогутъ никакія личныя достоинства и добродѣтели. „Церковь отпускаетъ грѣхи, а кто чуждъ церковнаго міра, тотъ одержимъ грѣхомъ“. „Внѣ церкви можно обладать всѣмъ, кромѣ вѣчнаго спасенія“.

Свои взгляды на существо церковной организаціи, Августинъ развилъ въ полемикѣ съ донатистами. Споръ шелъ о томъ, обладаетъ ли церковь, какъ таковая, спасительной силой, или свойство это зависитъ отъ личныхъ качествъ церковныхъ пастырей. Донатисты утверждали послѣднее и отторглись отъ вселенской церкви, считая ее запятнанной въ лицѣ нѣкоторыхъ епископовъ, выказавшихъ себя нетвердыми въ пору Діоклетіанова гоненія. Августинъ возражалъ послѣдователямъ Доната, указывая, что Земная Церковь по составу своему является смѣшанной. Церковь святыхъ находится на небесахъ, здѣсь-же, въ мѣстѣ приуготовленія къ будущей жизни, плевелы смѣшаны съ пшеницей. Въ день страшнаго суда предопредѣленные къ спасенію отойдутъ отъ обреченныхъ на муки, до той же поры церковь терпитъ грѣшниковъ въ своей средѣ. Требовать отъ отдѣльнаго человѣка полной духовной чистоты невозможно, тѣмъ болѣе что и сами праведники въ земной жизни запятнаны грѣхомъ. „Хотѣлъ бы я спросить cadaго, кто у васъ крестить, грѣшникъ ли онъ?“—говоритъ Августинъ въ полемикѣ съ донатистомъ Кресконіемъ. „Каждый изъ нихъ можетъ, конечно, мнѣ отвѣтить: я не предавалъ священныхъ книгъ, я не совершалъ языческаго воскуренія, я не прелюбодѣи.

не убійца, не идолопоклонникъ, не еретикъ и даже не схизматикъ; но я не знаю, найдется ли кто либо среди васъ, кто—при всей надменности еретиковъ,—дерзнулъ бы помыслить: „я не грѣшникъ“. Не смотря на это Земная церковь свята: „смѣшеніе со злыми не смущаетъ церкви; они не пятнаютъ ее“. Церковь освящена Христомъ, земнымъ тѣломъ котораго является она; только этой связью съ Богомъ, а не человѣческими добродѣтелями обуславливается ея спасающая сила.

Донатизмъ былъ мѣстной африканской ересью. Притязанія донатистовъ, считавшихъ только свою малую церковь истинной, должны были казаться Августину еще болѣе неосновательными при свѣтѣ того идеала, которымъ была проникнута мысль гиппонскаго епископа, идеала единства. Истинной является только церковь, распространенная по всей вселенной, объединяющая огромное число людей, въ которомъ потонула бы ничтожная горсть донатистовъ. Вселенскій характеръ церкви доказываетъ истинность ея. Во всѣ страны и ко всѣмъ народамъ отправилъ Христосъ своихъ учениковъ проповѣдывать, не одну Африку считалъ избранной снѣ, но весь міръ. Ересь донатистовъ поставила предъ Августиномъ вопросъ о принужденіи въ дѣлахъ вѣры. Первоначально Августинъ отрицалъ всякое насиліе надъ вѣрой, но внѣшнія обстоятельства и самый характеръ его ученія о благодати, независимо отъ воли человѣка влекущей его къ Богу, заставили борца за вселенскую церковь признавъ допустимость принужденія. Слабый по природѣ чело-

вѣкъ нуждается, подобно ребенку, въ строгости, которая-бы удерживала и направляла его. Земныя муки и наказанія безконечно легче мукъ загробныхъ, а потому „отеческое принужденіе“ есть домъ милосердія со стороны лицъ, облеченныхъ внѣшнею властью.

Для язычника исторія представлялась хаосомъ событій безъ цѣли и плана. Надъ людскимъ произволомъ стояла столь же капризная и переменчивая воля боговъ. Противъ этого, исключашаго единство міросозерцанія выступилъ Августинъ. „Если Богъ“, говоритъ онъ, „установилъ соотвѣстствіе частей и гармонію ихъ не только на землѣ и на небѣ, не только въ ангелѣ и человѣкѣ, но и въ перышкѣ птицы, во цвѣтеніи злаковъ и въ листьяхъ дерева, то какъ допустить, чтобы государство людей, его ростъ и паденіе совершались независимо отъ законовъ разума“. Промыселъ Божій управляетъ исторіей, и въ смѣнѣ опредѣленныхъ Богомъ событій нѣтъ ничего случайнаго и хаотическаго. Историческій процессъ представляется Августину развитіемъ двухъ противоположныхъ обществъ. Грѣхопаденіе раздѣлило людей. Одни, отторгнувшись отъ высшаго Единства, обрагались къ земнымъ пользамъ и выгодамъ. Потребность возникшаго на этой почвѣ общенія была удовлетворена государствомъ. Основателемъ перваго земнаго города былъ братоубійца Кайнъ; отъ него ведутъ начало все земныя государства и, въ числѣ ихъ, держава римскихъ императоровъ. Но рядомъ съ грѣшниками всегда были и праведные. Странниками считались и считаются

они, „града на землѣ не имѣя, градинаго взыска“. Отъ кроткаго пастуха Авеля до Христа, въ непрерывной преемственности, слѣдуютъ эти люди со взорами, устремленными отъ земли къ небесамъ. Христосъ основалъ церковь, ихъ земное единство. Несовершенная, какъ все человѣческое, заключающая въ себѣ добрыхъ и злыхъ, церковь является приуготовленіемъ къ будущей жизни. Но и въ несовершенствѣ своемъ церковь есть часть Божьяго Града, часть строящаяся въ отличіе отъ законченной небесной. Становленіе Божьяго Града на землѣ является цѣлью и смысломъ историческаго процесса, оно завершится въ день страшнаго суда, когда добрые отдѣлены будутъ отъ злыхъ, а земля и небо сольются. Представляя себѣ историческій процессъ единымъ цѣлымъ, Августинъ долженъ былъ опредѣлить мѣсто въ немъ и обществамъ человѣческимъ, „Граду земному“. Онъ дѣлаетъ это на примѣрѣ Римскаго государства. Величіе державнаго города объясняетъ онъ, какъ Божью награду за добродѣтели римлянъ. Ставя выше своихъ личныхъ интересовъ интересы общегосударственные, римляне по всей справедливости заслуживали награжденія. Сообразно съ земными цѣлями римлянъ, Господь даровалъ имъ высшую награду на землѣ—земное могущество. Другое значеніе приобретаетъ исторія Рима, какъ назидательный примѣръ для христіанъ. На примѣрахъ римлянъ, жертвовавшихъ всѣмъ ради земной родины, христіане должны учиться самопожертвованію во имя высшаго небеснаго идеала. Существованіе и развитіе

языческихъ обществъ въ глазахъ Августина не имѣетъ самостоятельной цѣли. Промыселъ Божій проявляется внѣшне въ формѣ возмездія, а все великое и славное, что совершили язычники, имѣетъ значеніе лишь какъ назидательный примѣръ для христіанъ, истинныхъ дѣателей всемірно-историческаго процесса. Августину не удалось подняться надъ религіозной исключительностью. Разсуждая объ язычникахъ, онъ становится на анти-историческую точку зрѣнія и суживаетъ границы исторіи до границъ земнаго Божьяго Града.

Возникшія вслѣдствіе человѣческаго грѣхопаденія земныя государства лишены всякой внутренней правды. Августинъ называетъ ихъ разросшимися разбойничьими шайками. Правъ былъ пиратъ который сказалъ Александру Македонскому, что на своемъ маленькомъ кораблѣ онъ дѣлаетъ то же, что великій завоеватель со своимъ флотомъ во всемъ мірѣ. Цицеронъ опредѣляетъ государство какъ союзъ людей, соединенныхъ общей пользою, но тѣ земныя выгоды, которыя ставить онъ цѣлью, ведутъ людей не къ общей пользѣ, а къ гибели. Цицероновское опредѣленіе примѣнимо только къ Граду Божію на землѣ—къ церкви.

Послѣдовательнымъ выводомъ изъ этихъ положеній Августина было бы полнѣйшее отрицаніе государства. Но творецъ ученія о Божьемъ градѣ, противорѣча себѣ самъ, отводитъ и государству мѣсто въ своей системѣ. Основной цѣлью всякаго людскаго союза является миръ: даже разбойники, объединяясь, стремятся къ миру въ своей средѣ. Задачу установленія земнаго мира

Августинъ оставляетъ за государствомъ; въ этомъ должны повиноваться ему и граждане Божьяго Града. Но, лишенное внутренней правды, государство можетъ успѣшно выполнить свое дѣло, лишь пріобщившись къ церкви. Подобно рабыни Агари, государство обязано подчиняться свободной Саррѣ—церкви, и данная свѣтскимъ правителямъ свыше власть должна осуществляться ими въ согласіи съ волей возложившаго на нихъ царскій вѣнецъ Бога.

Философія блаженнаго Августина оказала громадное вліяніе на послѣдующую жизнь. Устами гиппонскаго епископа церковь, пришедшая къ самосознанію, опредѣлила свою цѣль и тѣ задачи, которыя стояли передъ нею въ критическій моментъ гибели стараго міра. Идеаль „Божьяго Града“ высился передъ

глазами первыхъ строителей папской теократіи; на превратно понятаго Августина ссылались и торжествующіе папы, когда, забывъ неземную цѣль, стремились они къ мірскому господству. Въ эпоху реформаціи ученіе Августина о благодати было выдвинуто протестантами противъ близкихъ къ пелагианству взглядовъ тогдашней католической церкви. И для новаго времени многія мысли Августина не утратили своего обаянія. „Онъ“ справедливо говоритъ Гарнакъ, „былъ отцомъ римской церкви и реформаціи, приверженцевъ библіи и мистиковъ, ему обязано даже Возрожденіе и современная эмпирическая философія.“

Такъ глубокіе живительные родники никогда не высыхаютъ.

Валентинъ Сперанскій.

## К. А. СОМОВЪ.

(Родился въ 1869 г. въ С.-Петербурѣ).

До сихъ поръ въ Россіи мало знаютъ и плохо понимаютъ творчество Сомова. Какъ это ни странно,—обстоятельная монографія о немъ (Оскара Би) появилась нѣсколько лѣтъ тому назадъ—но не у насъ, а въ Берлинѣ. У насъ же и сейчасъ еще нѣтъ значительной статьи объ этомъ первоклассномъ русскомъ художникѣ. Большая публика знаетъ Сомова лишь по наслышкѣ; художественные критики успѣли, обозвавъ его „ретроспективнымъ мечтателемъ“ и художникомъ „прабабушекъ“, что впрочемъ,

ни мало не способствовало выясненію его творческаго лика.

Едва ли кому другому, какъ Сомову, такъ подходятъ слѣдующія слова Рескина: „Въ каждомъ произведеніи искусства необъяснима его лучшая часть“. Дѣйствительно, „объяснить“ такого тонкаго и субъективнаго художника, какъ Сомовъ, невозможно. Можно только „почувствовать“ его, а, почувствовавъ,—понять и полюбить.

Изъ всей огромной и сложной области искусства Сомову ближе всего міръ

интимныхъ переживаній, тоска по несбыточнымъ достиженіямъ въ тусклости земныхъ ограниченій... Интимностью сюжета, характерною для всѣхъ Сомовскихъ произведеній, обуславливается склонность художника къ „ретроспективности“, породившей недоразумѣнія, о которыхъ еще рѣчь впереди. Но, конечно, не интимностью переживаній характерна психика человѣка двадцатаго вѣка. И понятно, почему взгляды художника-интимиста устремляются къ формамъ прошлаго, къ той еще недавней эпохѣ, когда вся жизнь извѣстнаго класса, особенно его прекрасныхъ представительницъ, сводилась къ переживаніямъ интимнаго характера, когда коллективъ еще не захватывалъ индивидуальности, когда вся личная жизнь человѣка была подчасъ только самодовлѣющею повѣстью его сердца.

На картинахъ Сомова рѣдко можно замѣтить группу людей,—чаще двое, одинъ, одна женщина. Женщина вообще, женская психика ближе и интереснѣе Сомову: его излюбленный образъ—блѣднолицая, тонкостанная женщина начала прошлаго вѣка, изнѣженная, эротичная, мечтающая о вѣчной страсти, о неизсякаемыхъ ласкахъ, женщина, вся жизнь которой—томленіе, трепетъ и тоска любви. Художника интересуетъ именно эта женщина, живущая исключительно мечтами, свиданіями, конфиденціями любовнаго характера, вѣчно и ненасытно жаждущая любви, опьяненная и истомленная ею чрезмерно-пряными уколами. По этому поводу характерными кажутся намъ слова самого художника, сказанныя имъ въ спорѣ о

типахъ женской красоты: „Всякая женщина, независимо отъ своего личнаго обаянія, можетъ интересоваться,—всякая, на лицѣ которой любовь запечатлѣла свой характерный и интенсивный слѣдъ“. Женщины Сомова,—гуляютъ ли онѣ, читаютъ ли, наряжаются ли, спятъ ли,—прежде всего и больше всего заняты эротическими мечтами; любовь—самоцѣль ихъ жизни, внѣ любви онѣ словно не существуютъ, и каждая складка ихъ одежды, каждый изгибъ ихъ тѣла кричатъ во весь голосъ объ этой ненасытимой и непреодолимой любовной жаднѣ. Въ изображеніи этой напряженности желанія, въ экспрессивности лицъ, тѣлъ, рукъ, губъ, ищущихъ отвѣтнаго сліянія, — Сомовъ положительно не имѣетъ себѣ равнаго.

Кромѣ интимности сюжета, для Сомова характерна еще одна черта, которую я хочу здѣсь отмѣтить. Это—едва уловимый, но неизбежный налетъ меланхолии, которую произведенія Сомова обвѣяны въ такой степени, что, не называя его художникомъ *Weltschmerz'a*, можно все же сказать, что всѣ его творенія рождены подъ знакомъ трагедіи. Подъ трагическимъ устремленіемъ художника я понимаю выявленіе на первый планъ тѣхъ роковыхъ въ своей неизбежности чертъ и положеній, которыя обычно приводятъ къ трагической коллизіи. Персонажи Сомова не хотятъ принять жизнь въ ея современномъ аспектѣ,—ненасытность ихъ устремленій разбивается о предѣльность достижимаго: весь міръ хотѣли бы они ограничить предѣлами своей страсти, но онѣ не вмѣщаются, и потому они только мечтаютъ и тоскуютъ

о какомъ-то утопическомъ „Островѣ любви“, который имъ, конечно, никогда не суждено познать,—и въ этомъ ихъ, хотя бы маленькая, трагедія. Отъ этого съ картинъ Сомова,—будь то пейзажъ, жанръ или портретъ,—вѣетъ какимъ-то благородствомъ обреченности, щемлящимъ ароматомъ хрупкой, почти болѣзненной красоты. Любовь и печаль у него—кровные, близкія по духу сестры—сросшіяся вершины двухъ родныхъ деревьевъ.

Меня удивляетъ, что, сравнивая Сомова съ Бердслеемъ, Гейне и Кондеромъ, никто не отмѣтилъ въ немъ рѣшительнаго сходства съ Ватто,—пѣвцомъ любовной грусти и печали, „окрашенной въ розовое и голубое“. Множество строкъ изъ талантливой статьи Камилла Моклэра о Ватто могутъ быть отнесены къ картинамъ Сомова и настроенію его персонажей: „Они любятъ желаніе и любовное томленіе больше самаго достиженія, зная, что оно таитъ въ себѣ собственную гибель, и заранѣе смакуютъ нѣжную грусть,—неизбѣжную спутницу осуществленнаго желанія. Поэтому они предпочитаютъ мечтать, „ходить надъ пропастями“, зная, что на днѣ ихъ—пустота и что экстазъ любви—то же страданіе, лишь въ соблазнительномъ аспектѣ“. Эта невозможность вѣчнаго сліянія, эта неизбывная любовная тоска, присущая лазурной безмятежности пасторалей Ватто, и словно фарфоровымъ персонажамъ Сомова—приближаетъ послѣдняго къ современности съ ея неудовлетворенностью и тоской „въ погонѣ за любовью“. \*)

Сопоставивъ эти двѣ указанныя черты

можно назвать Сомова художникомъ интимной трагедіи, которую его зрѣкій, скептическій взглядъ замѣчаетъ повсюду,—въ скорбной улыбкѣ склоненнаго лица обреченной дѣвушки, въ „осмѣянномъ поцѣлуѣ“, въ одиночествѣ женщины, прислушивающейся къ трепету чужихъ ласкъ, въ сонныхъ видѣніяхъ, навѣвающихъ грезы о невозможномъ блаженствѣ...

Элементъ трагическаго въ творчествѣ Сомова больше всего выявленъ въ его портретахъ-картинахъ, въ числѣ которыхъ слѣдуетъ назвать его шедевры въ этой области, какъ портреты „Дамы въ голубомъ“, художницы Остроумовой, Евгенія Лансере, Федора Сологуба и др. Довольно часто приходится слышать упреки художнику въ условности выраженія, въ отсутствіи „реальнаго“ сходства. Но для художника Сомова характеръ важнѣе сходства, и этимъ положеніемъ предопредѣляется трагическое устремленіе его портретовъ-картинъ. Среди множества случайныхъ, проходящихъ, несущественныхъ личинъ чловѣка выбираетъ онъ лишь однѣ характерныя, роковыя въ своей необходимости черты и лѣпитъ трагическую маску лица, освобожденнаго отъ всего наноснаго и анекдотическаго. При такомъ процессѣ творчества напрасно было бы искать реальнаго сходства, представляющаго лишь сумму чертъ даннаго лица. Портреты-картины Сомова не ограничиваются этимъ сходствомъ и представляютъ сверхъ суммы чертъ, еще какую-то невѣдомую намъ величину,—даръ тайновидца.

Этотъ приѣмъ Сомовской техники нагляднѣе всего выраженъ въ портретѣ

\*) Романъ Генриха Манна.



„Дамы въ голубомъ“ (въ Московской Третьяковской галлерей), который для насъ,—не знающихъ имени этой обреченной дѣвушки со скорбнымъ взглядомъ и книжкою любимыхъ стиховъ въ рукѣ,—прежде всего и больше всего—картина. Трагическій характеръ портрета, конечно, зависитъ не отъ сюжета, (особенно настаиваю на этомъ), но отъ пріема письма, характернаго для обще-пессимистическаго міропріятія художника.

Картины мирной, идиллической природы и домашняго быта являются у Сомова какъ бы противовѣсомъ этому трагическому началу, особенно явному въ преждевременно увядшихъ, истомленныхъ лицахъ его женщинъ, неустанно пьющихъ изъ волшебнаго, но, увы!—не бездоннаго кубка любви („Волшебство“, „Послѣ мигрени“, „Старая госпожа“ и др.). Въ вечерней прохладѣ сада, въ успокоенной послѣгрозовой тишинѣ, въ зрѣлищѣ тихаго заката, въ миломъ уютѣ дѣтскихъ игрушекъ, ищутъ отдохновенія истомленные персонажи Сомова. Звѣзда любви далека,—звучитъ *memento mori*,—все непрочно, все меркнетъ и гаснетъ въ этомъ невѣрномъ земномъ мірѣ,—красота, страсть, молодость,—все, кромѣ тихихъ, повторныхъ утѣхъ быта и милой, хотя и равнодушной природы. Мгновенія земныхъ радостей,—о, и Сомовъ знаетъ ихъ нѣжныя очарованія!—отражены имъ въ рядѣ жанровыхъ картинъ („Тихій вечеръ“, „Послѣ грозы“, „На балконѣ“, „Въ дѣтскоѣ“), не искупающихъ все-же свою вѣншую успокоенностью затаенной въ нихъ печали.

Здѣсь будетъ умѣстнымъ сказать нѣ-

сколько словъ объ отношеніяхъ Сомовскихъ персонажей къ природѣ, съ которою они живутъ въ какомъ-то тихомъ и гармоническомъ ритмѣ. Человѣкъ, вообще, не играетъ у Сомова такой значительной роли, какъ напримѣръ, у эллиниста Бакста; онъ какъ бы только аккомпанируетъ природѣ и, слабый, покорный, робко подчиненъ ей. И гуляютъ-ли персонажи Сомова осенью въ пожелтѣвшихъ боскетахъ, или мечтаютъ весною на изумрудныхъ лужайкахъ,—ихъ позы, костюмы, настроенія, неизмѣнно созвучны съ окружающимъ ландшафтомъ („Письмо“, „Весна“, „Поэты“, „Радуга“, „Отдыхъ въ лѣсу“ и др.). Это подчеркиваемое Сомовымъ ритмическое созвучіе человѣка съ природою, вѣроятно, и дало поводъ къ тѣмъ огульнымъ обвиненіямъ художника въ пристрастіи къ вѣку фижмъ и париковъ, къ которому, на мой взглядъ, у Сомова самостоятельнаго влеченія нѣтъ. Вѣрнѣе, это—потребность въ ритмѣ, въ стилизаціи,—мнѣніе, раздѣляемое также вышеупомянутымъ нѣмецкимъ критикомъ: „Нарисовавъ радугу, Сомовъ нашелъ болѣе гармонирующимъ съ картиною явленіемъ—нарядить любующихся ею дамъ въ платья съ волнистыми, закругленными линиями“. Слѣдовательно, мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ пристрастіемъ автора къ излюбленнымъ имъ формамъ *quand même*, но съ тою технической потребностью стиля, которая заставляетъ художника, независимо отъ его личнаго вкуса, сдѣлать типичную модель въ тотъ или другой характерный или стильный костюмъ.

Потребность въ стилѣ, въ тѣсномъ соотношеніи частей картины между со-

бою, въ подчиненіи ихъ общему замыслу, обусловлена у Сомова, вѣроятно, его отношеніемъ къ техникѣ искусства вообще. Едва ли мы ошибемся, назвавъ Сомова однимъ изъ самыхъ строгихъ къ себѣ среди современныхъ художниковъ. Часами просиживаетъ онъ надъ каждою линіею, ища, добиваясь желаемого эффекта и соотношенія. Только доведя вещь до высокой степени технического совершенства, считаетъ онъ ее законченною, и рѣшается выпустить изъ рукъ. Основные техническіе принципы Сомова—ничего случайнаго, самое тщатель-

ное изученіе деталей и компонованіе. Этимъ достигается та высокая степень гармоніи композиціи, которая такъ поражаетъ во всѣхъ безъ исключенія произведеніяхъ Сомова. Всѣ его работы, начиная съ мельчайшихъ,—миніатюръ, виньетокъ, обложекъ,—и кончая портретами и скульптурою (пріобр. Императорскимъ фарфоровымъ заводомъ), обнаруживаютъ въ немъ одного изъ самыхъ талантливыхъ и благородныхъ мастеровъ своего времени.

Анастасія Чеботаревская.

## ОТТО РУНГЪ.

Нашъ вѣкъ—вѣкъ сказочной машинной техники, преобразовавшей до неузнаваемости весь нашъ жизненный укладъ, вѣкъ смѣлыхъ научныхъ изысканій, стремящихся рѣшить всѣ загадки бытія.

Однако, лишь немногіе писатели—не только у насъ, но и на западѣ—сумѣли проникнуться духомъ времени, уловить смыслъ эпохи, нащупать пульсъ жизни.

Здѣсь не мѣсто освѣтить причины этого явленія. Къ сожалѣнію, это такъ. Тѣмъ пріятнѣе бываетъ, когда вдругъ промелькнетъ лицо писателя, носящее на себѣ печать нашего времени, писателя, который въ себѣ самомъ и вокругъ себя чувствуетъ біеніе крыльевъ таинственнаго генія жизни.

Къ числу такихъ писателей принадлежитъ молодой датчанинъ Отто Рунгъ. Это, безспорно, очень своеобразный и талантливый художникъ.

Извѣстный датскій критикъ Брандесъ назвалъ его повѣсть „Вереница тѣней“ самой „глубокомысленной и совершенной“ книгой новѣйшей датской литературы.

Превосходный, очень тонкій психологъ, умѣющий вскрывать даже подсознательныя корни душевной жизни, анализировать болѣзненные, исключительныя, ирраціональныя настроенія, Отто Рунгъ является въ настоящее время среди скандинавскихъ писателей самымъ проникновеннымъ сердцеѣдомъ.

Внимательный наблюдатель, онъ своеобразно умѣетъ сочетать реализмъ съ фантастикой. Его герои часто очень обыкновенныя люди, дѣйствующія въ довольно обычной обстановкѣ, и однако все, что они переживаютъ, и все, что съ ними случается, такъ странно, что похоже скорѣе на сказку. Бытописатель со-

временного общества, онъ однако не ограничивается простымъ фотографированіемъ дѣйствительности. Въ каждое произведеніе онъ вкладываетъ болѣе или менѣе значительную идею и, если порою послѣдняя и не достаточно ясно выступаетъ изъ разсказа, она всюду придаетъ событіямъ и лицамъ болѣе глубокой смыслъ, раскрываетъ передъ читателемъ болѣе широкія перспективы.

Творчество датскаго писателя однако цѣнно не столько этими качествами, которыя онъ, несомнѣнно, раздѣляетъ со многими другими художниками, а именно тѣмъ, что оно насквозь проникнуто духомъ нашего вѣка, что оно продуктъ нашей промышленной эпохи, съ ея расцвѣтомъ техники и науки.

Въ предисловіи, написанномъ датскимъ писателемъ специально для русскаго изданія его произведеній, онъ извиняется, что быть можетъ слишкомъ часто черпаетъ матеріаль и вдохновеніе изъ „области современной техники“, „величественной лабораторіи времени“.

Такое самооправданіе кажется намъ излишнимъ.

Машинная техника, создавшая цѣлый міръ чудесъ, научныя изслѣдованія, безмѣрно расширившія горизонты челоуѣства, несомнѣнно, заслуживаютъ такого восторженнаго отношенія и давно уже ждуть своего поэта.

Такимъ поэтомъ вѣка техники и науки и является датскій писатель:

— — —

Разумѣется, не Отто Рунгъ первый далъ машинамъ право гражданства въ литературѣ.

Въ ней и до него можно найти не

мало очень подробныхъ и очень точныхъ описаній фабрикъ и заводовъ. Но въ большинствѣ случаевъ эти описанія не одушевлены никакимъ субъективнымъ чувствомъ, часто въ нихъ сквозитъ даже явно отрицательное отношеніе къ изображаемому предмету.

Совсѣмъ иное дѣло Рунгъ.

Прочтите въ его разсказѣ „Въ погонѣ за рекордомъ“ описаніе электро-техническаго завода или топки автомобилей. Здѣсь въ каждомъ словѣ дышетъ горячій, лирический восторгъ. Стальные гиганты и быстроходныя машины превращаются въ глазахъ автора въ существа, полныя мощи и красоты. Это уже не мертвая декорация, а цѣлый міръ поэтическихъ образовъ. Въ разсказѣ встрѣчается сцена, гдѣ собственникъ электро-техническаго завода произноситъ во время убійственной грозы восторженный тостъ въ честь „гордой силы природы, электро, властительницы будущаго“. Такимъ восторженнымъ гимномъ машинной техники звучитъ (съ ниже указанными ограниченіями) весь этотъ разсказъ.

Немудрено, что излюбленными героями Рунга являются техники и инженеры, символы и носители современнаго матеріальнаго прогресса, какъ Элліотъ Клейнъ („Погоня за рекордомъ“) или Алексисъ Гальнъ („Неизбѣжное“). Стать великимъ строителемъ — инженеромъ мечтаетъ и шестнадцатилѣтній сынъ знаменитаго врача („Хирургъ“). На службу промышленности въ качествѣ техника идетъ и разочаровавшійся въ искусствѣ скульпторъ Анфельтъ („Вереница тѣней“).

Съ такимъ же восторгомъ, который въ датскомъ писателѣ вызываютъ машины, имѣющія матеріально-практическую цѣнность, относится онъ и къ механическимъ искусственнымъ приспособленіямъ, служащимъ для науки средствомъ болѣе глубокого проникновенія въ тайну міра, болѣе легкой борьбы съ недругами жизни.

Онъ любитъ подробно описывать научныя лабораторіи со всѣми ихъ приспособленіями („Неизбѣжное“), операционныя комнаты съ ихъ разнообразными инструментами („Хирургъ“). Онъ любитъ заставлять своихъ героевъ задаваться изобрѣтеніемъ новыхъ усовершенствованныхъ орудій изслѣдованія природы: такъ оптикъ Соунте („Вереница тѣней“) мечтаетъ слить подзорную трубу и телефонъ въ одномъ аппаратѣ, который „одновременно вовлечъ бы всѣ наши чувства въ поле дѣйствія“.

Рядомъ съ преобразователями природы Рунгъ ставитъ поэтому охотно изслѣдователей природы. Рядомъ съ инженерами-изобрѣтателями онъ отводитъ значительное и почетное мѣсто ученымъ экспериментаторамъ. Пороку ихъ научное рвеніе граничитъ съ явной жестокостью. Такъ профессоръ Альтмайеръ („Неизбѣжное“) подвергаетъ себя и другихъ самымъ рискованнымъ экспериментамъ; чтобы доискаться основныхъ двигателей психической жизни, знаменитый хирургъ, подъ ножомъ котораго умеръ его собственный сынъ отъ слишкомъ большой дозы хлороформа, не долго думая, разрѣзаетъ ему грудную полость, вынимаетъ сердце и надавливаетъ на него, чтобы вновь привести въ движеніе,

съ глазами, горящими „вдохновеніемъ и энергіей“. („Хирургъ“). Порой научный пылъ героевъ Рунга граничитъ съ явнымъ безуміемъ. Такъ оптикъ Соунте („Вереница тѣней“) хочетъ не только видѣть при помощи микроскопа картину первоначальной матеріи, но и добиться того, чтобы самому „свободно и безпрепятственно двигаться среди микробовъ“.

Въ этихъ, то безумно-жестокихъ, то безумно-смѣлыхъ научныхъ опытахъ, какъ и въ ритмическомъ шумѣ усовершенствованныхъ грандіозныхъ машинъ, датскій писатель явственно различаетъ побѣдный гимнъ прогрессу науки и техники, для котораго нѣтъ ни границъ, ни преградъ.

И однако при всемъ своемъ преклоненіи передъ великими успѣхами техники и науки, Отто Рунгъ прекрасно понимаетъ, что именно современное общество съ его коммерческими идеалами менѣе всего способно рѣшить стоящія передъ нимъ важныя культурныя проблемы.

Такова основная идея повѣсти „Вереница тѣней“.

Умирая, нѣкій загадочный человѣкъ оставилъ завѣщаніе, въ силу котораго тотъ или тѣ изъ его бывшихъ школьныхъ товарищей имѣютъ право на денежную, субсидію, кто послѣ извѣстнаго количества лѣтъ обратится къ его душеприказчику, понявъ свое собственное безсиліе рѣшить поставленную жизненную цѣль. И вотъ одинъ за другимъ выступаютъ — ученый, мечтавшій постигнуть тайну бытія, педагогъ, задавшійся цѣлью воспитать поколѣніе богоподобныхъ ге-

роевъ, художникъ, тщетно пытавшійся воплотить въ мраморъ высокій и прекрасный идеаль.

Душеприказчику не пришлось долго ломать голову надъ вопросомъ, кто изъ претендентовъ достойнѣйшій. Деньги покойнаго филантропа были отданы въ коммерческое дѣло, а коммерческое дѣло въ погонѣ за прибылью—лопнуло.

Преданное наживѣ современное общество не только парализуетъ усилія тѣхъ, кто трудится надъ созданиемъ идеальныхъ цѣнностей, но и не умѣетъ даже цѣлесообразно использовать огромныя матеріальныя силы, доставляемыя ему расцвѣтомъ техники.

Такова основная мысль разсказа „Въ погонѣ за рекордомъ“.

На что тратятся въ настоящее время великія завоеванія машинной культуры, какъ не на то, чтобы въ интересахъ нѣсколькихъ торговыхъ фирмъ „побить рекордъ“, какъ не на пустую коммерческую рекламу? Развѣ вся наша современная жизнь не похожа на бѣшеную гонку автомобилей? Сколько шума и треска, сколько безцѣльныхъ жертвъ и какъ мало—смысла!

„Все, что мы изобрѣли на пользу человечества—вослицаетъ одинъ изъ инженеровъ, дѣйствующихъ въ разсказѣ:—мы расточаемъ такимъ нелѣпымъ образомъ“.

Когда автомобиль съ вновь изобрѣтеннымъ электрическимъ моторомъ, позволяющимъ ему пробѣгать въ часъ 150 километровъ, срывается съ горной высоты и летитъ въ пропасть, то дочь хозяина электрическаго завода не желаетъ пережить смерти шоффера, кото-

раго полюбила. И вотъ ночью она отправляется на заводъ и добровольно бросается въ стальные объятія динамомашинны, разрывающія ее на клочки.

Такъ незамѣтно превращаются, благодаря неумѣлому и нецѣлесообразному примѣненію, машины изъ благодѣтелей въ жестокихъ изверговъ, изъ покорныхъ слугъ, поработанныхъ взрослыми, въ „бѣшенныя силы, пущенныя въ ходъ дѣтьми.“

И когда сторожъ, охраняющій динамомашинны, ничего не подозрѣвающій о происшедшей трагедіи, докладываетъ инженеру (въ уста котораго вложенъ разсказъ), что „все благополучно“, послѣдній горько улыбается, ясно понимая, что напротивъ „все безнадежно“.

„Время уже не намъ принадлежитъ... Мы, инженеры всего міра, властители машинъ, уже не способны обуздать эти силы...“

Нашъ вѣкъ не только вѣкъ грандіозной машинной техники и смѣлыхъ научныхъ экспериментовъ, но и—на западѣ—переходная эпоха, эпоха смѣны двухъ классовъ.

И эта мысль, чуждая большинству европейскихъ писателей, также ярко запечатлѣла собой творчество Отто Рунга.

Внимательно приглядываясь къ западно-европейскому буржуазному обществу, онъ вынесъ такое впечатлѣніе, что интеллигенція этого класса сплошь проникнута или крайнимъ эгоизмомъ, взлелѣяннымъ въ атмосферѣ свободной конкуренціи, или пессимистическимъ недоверіемъ къ своимъ силамъ, сознаниемъ, что „время уже не ей принадлежитъ.“

Въ романѣ „Неизбѣжное“ передъ нами два друга, представители того класса, для котораго „съ дѣтства тысячи пролетаріевъ доставляли всѣ удобства жизни, два „сверхчеловѣка“, подчиняющіеся лишь велѣніямъ своего я (проще — инстинкту комфорта и благополучія), изъ которыхъ одинъ похищаетъ у пріятеля деньги и жену; а послѣдній въ отместку убиваетъ его и, убѣдившись въ своей ненужности, въ своемъ „безплодіи“, кончаетъ съ собою.

Другіе представители современной буржуазной интеллигенціи проникнуты въ изображеніи датскаго писателя сознаниемъ, что ихъ роль сыграна.

„Я думаю, — восклицаетъ скульпторъ Анфельдъ (Вереница тѣней), разочаровавшийся въ своей способности воплотить въ мраморѣ грезившійся ему идеалъ — что наше поколѣніе, наше время не создастъ болѣе ничего значительнаго.“ Третьи, не менѣе ясно сознающіе свою ненужность, вмѣстѣ съ тѣмъ готовы сами добровольно подать въ отставку, уйти на покой, сойти въ могилу.

„Чего мы собственно хотѣли, когда выковывали эти колеса и винты изъ стали? — спрашиваетъ одинъ изъ инженеровъ въ разсказѣ „Погоня за рекордомъ“. — „Болѣе бѣшеной фазы навстрѣчу пропасти, навстрѣчу — паденію?“

И вдругъ его охватываетъ „заманчивая, какъ сонъ, мысль о невыразимомъ покое“. Если уже суждено пасть, то не лучше ли „раньше, чѣмъ позже“, не лучше ли пасть „добровольно?“

Несомнѣно, четвертые представители интеллигенціи господствующаго класса,

хотя также сознаютъ, что „время уже не имѣетъ принадлежать“, все-же находятъ въ себѣ достаточно готовности уступить свое мѣсто новымъ людямъ и достаточно мужества привѣтствовать зарю новой эпохи.

Таковъ главный герой разсказа „Въ погоню за рекордомъ.“

Инженеръ Клейнъ, знаменитый изобрѣтатель, смѣлый революціонеръ въ своей спеціальности, отдавшій всего себя на служеніе прогрессу техники, вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ усталый, мечтающій о покое.

„Восемь лѣтъ работалъ я надъ машиной (моторъ для автомобиля), которая должна служить прогрессу! — говоритъ онъ. — А теперь я мечтаю только объ одномъ: о мраморной виллѣ высоко надъ обрывомъ, спускающимся къ Средиземному морю. Я мечтаю о покое...“

Когда въ день автомобильной гонки Элліотъ Клейнъ отказывается руководить изобрѣтеннымъ имъ моторомъ и эту задачу беретъ на себя простой рабочій, то невѣста инженера измѣняетъ ему и отдаетъ свою любовь — пролетарію.

И Элліотъ Клейнъ не ревнуетъ.

Онъ понимаетъ, что „время уже не ему принадлежать.“

„Въ крови рабочаго есть движеніе впередъ, тогда какъ въ нашей есть только движеніе назадъ.“

И однако его не пугаетъ мысль, что время принадлежитъ уже другимъ людямъ. Подводя итогъ праздничному дню гонки, разрушившему столь многое и почти ничего не создавшему, инженеръ спокойно произноситъ приговоръ надъ собой и надъ своимъ классомъ.

„Несомнѣнный фактъ: съ нами все кончено... Мы взорвали культуру... Мы не болѣе какъ кучка утонченныхъ барваровъ“...

И вмѣстѣ съ тѣмъ ему вспоминается толпа рабочихъ, стоявшихъ у завода въ терпѣливомъ ожиданіи праздника, и онъ заканчиваетъ свои размышленія слѣдующимъ афоризмомъ:

„Подходить конецъ кастѣ патриціевъ, къ которой мы принадлежимъ... Наступаетъ время народа, рабочихъ, которые стоятъ здѣсь и ждутъ“.

Восторженный поэтъ современной техники и науки, прогрессъ которыхъ не знаетъ ни преградъ ни границъ, датскій писатель видитъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ на горизонтѣ уже рдѣютъ первыя полосы зари новой эпохи, когда созданныя техникой и наукой силы станутъ въ самомъ дѣлѣ покорными рабами человека и будутъ использованы не для „бѣшеной оргіи,“ не для дикой „погони за рекордомъ,“ а на благо всего человечества!

В. Фриче.

## КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ.

М. Арцыбашевъ, „У послѣдней черты“. (Альманахи „Земля“—4. 7 и 8-ой).

Романъ Арцыбашева представляетъ собою сплошь выраженіе искренняго и горькаго пессимизма автора, и въ то же время въ немъ не мало разсыпано штриховъ и чертъ, передающихъ какое-то грустное очарованіе жизни, отражающихъ ея простую и горькую красоту. Въ художникѣ яснѣе обозначилась тишина, его рисунокъ жизни сталъ отражать глубину тихихъ и незамѣтныхъ явленій. Появился грустное и тихое, какое то осеннее созерцаніе. Не характерно ли, что въ центрѣ огромнаго романа, съ широкимъ движеніемъ разнообразныхъ и многочисленныхъ персонажей, писатель поставилъ пожилого, тихаго, какъ-то горько примиреннаго со всѣмъ и одинокаго доктора Арнольди, съ его „глубокой, до сердца дошедшей усталостью“?

Докторъ Арнольди являетъ собою наблюдательный пунктъ; подлѣ большой дороги жизни стоитъ въ сторонѣ его холостяцкій одинокій пріютъ, и смотритъ онъ съ тяжелымъ и тоскливымъ вниманіемъ на безчисленныхъ пѣшиходовъ бредущихъ по дорогѣ, на кровь, потъ и безумія людей, проходящихъ мимо. И каждый разъ, когда авторъ переноситъ дѣйствіе въ запыленную, заброшенную нору стараго доктора, когда нѣсколькими мѣткими штрихами рисуетъ онъ это грустное логовище Арнольди, сидящаго въ полу-сумракѣ, при свѣчѣ, засамогоаромъ, глядя, „какъ стекаютъ съ его ложки рубиновые капли вишневаго варенья“,—такъ ошутительно, такъ жгуче вѣетъ на насъ грустью и холодомъ и страннымъ очарованіемъ тоскливой жизни. Художникъ не забываетъ о деталяхъ

рисунка, и какимъ-нибудь висящимъ на гвоздикѣ сюртукомъ стараго холостяка, ободранными окнами, въ которыя смотритъ холодный синій вечеръ, заставляетъ острѣе прикинуть къ сердцу человѣческаго одиночества.

Въ этомъ есть печаль, есть что то отъ самой теплоты человѣческой жизни. И когда передъ Арнольди проходитъ цѣлый рядъ разнообразныхъ существеній—больной актрисы, умирающаго въ нищетѣ ребенка, впадающаго въ кренизмъ и слабоуміе стараго профессора, зарѣзавшагося Тренева,—на все это падаетъ свѣтъ изъ холодющаго, усталаго сердца доктора Арнольди, который уже не тѣшитъ себя никакими иллюзіями, но пристально и тихо смотритъ въ страшное лицо жизни. Вотъ этотъ тихій взглядъ, это простое созерцаніе, безъ позъ, безъ фразъ, безъ выкриковъ и нужны были автору для его картинъ жизни. Присутствіе доктора Арнольди въ извѣстной степени спасаетъ романъ отъ тенденціозности. Нуженъ былъ большой художественный тактъ для того, чтобы въ центрѣ романа, который весь проникнутъ выраженіемъ пессимизма, поставить эту тихую и простую фигуру.

Мы не должны слѣдить за тѣмъ, какъ оправдалъ авторъ свой глубоко пессимистическій замыселъ, не должны за каждымъ художественнымъ штрихомъ и положеніемъ персонажей усматривать соответствіе ихъ съ идейнымъ первоначальнымъ заданіемъ. Слѣдуетъ отрѣшиться отъ теоретики автора и просто взглянуть на его чисто жизненный матеріалъ. Если матеріалъ этотъ обладаетъ цѣнностью правды, если безотно-

сительно къ выводамъ автора самое движеніе главъ и страницъ романа захватятъ насъ передачей, простой и сильной, жизни,—то тѣмъ самымъ художникъ подлѣ себя открываетъ лицо мыслителя, внушающаго читателю определенное жизнепониманіе.

Здѣсь, конечно, столько спорнаго! Прежде всего, самъ художникъ, поскольку онъ именно художникъ, долженъ предостеречь насъ отъ увлеченія только *пониманіемъ* жизни, отъ попытокъ охватить и уразумѣть ее логически, голымъ разумомъ. Художникъ предлагаетъ намъ не пониманіе жизни, а *чувство жизни* свой инстинктъ красоты въ ней, правды и смысла, или наоборотъ. Мы даемъ перевѣсъ аргументамъ художника, его чувству, какъ орудію болѣе совершенному и болѣе соотвѣтственному сложности и глубинѣ жизни, чѣмъ разумъ мыслителя. Мы и въ философіи привыкли встрѣчать не голую отвлеченную мысль, не сухую логику, а страстное увлеченіе, творчество мысли и своеобразное философское вдохновеніе, какъ у Шопенгауэра, Ницше, Вагнера или Карлейля.

Такимъ образомъ, чисто художественное содержаніе романа Арцыбашева болѣе показательно для его чувства міра, для его отношеній къ жизни, чѣмъ всѣ горячія тирады его теоретиковъ, какъ Наумовъ, Михайловъ и другіе. Такъ, въ сущности, случалось со всѣми художниками. Идейныхъ откровеній мы ищемъ не въ обнаженной теоретикѣ автора, а въ глубинѣ чисто художественныхъ построеній, среди штриховъ и рисунковъ и образовъ художника. Здѣсь авторъ бо-



лѣе является самимъ собой, чѣмъ въ разсужденіяхъ, ибо безсознательно выявляетъ истинное свое лицо.

Арцыбашевъ несравненно сильнѣе, какъ художникъ, чѣмъ какъ мыслитель. Въ образахъ онъ блестяще показываетъ то, что сухо и какъ то порой по-газетному выражаетъ въ монологахъ своихъ философствующихъ героев. Единственный человекъ въ романѣ, который все время не сходитъ съ ампула резонера и все время занятъ исключительно передачей теоретической стороны романа, — Наумовъ — является совершенно неживой, абстрактной фигурой среди другихъ дѣйствующихъ лицъ произведенія. Онъ такъ и не показанъ ни разу, потому что ему не удѣлено ни секунды живого непосредственнаго движенія, онъ обязанъ былъ только говорить. Вотъ, по-истинѣ, художественный грѣхъ писателя.

Между тѣмъ, другія фигуры показываютъ наглядно одну изъ яркихъ особенностей Арцыбашева, какъ беллетриста: давать массивныя, рѣзкія, рельефныя изображенія персонажей. Такія фигуры, какъ Арбузовъ, широкоплечій, тяжело шагающій на вывороченныхъ крѣпкихъ ногахъ; какъ массивный, грустный докторъ Арнольди, какъ плоская и красивая Евгенія Самойловна, — положительно живьемъ выдвигаются изъ рамокъ романа. Читатель ихъ видитъ, считается съ ними, какъ съ совершенно живыми людьми. Грубыми, рѣзкими штрихами набрасываетъ фигуры ихъ писатель, и они встаютъ живыми подъ мастерскимъ карандашомъ художника. Не знаю, останавливались ли на этой особенности даро-

ванія Арцыбашева, но она представляется мнѣ весьма характерной для него. Его галлерей огромна, и каждый жизненно схваченный персонажъ писатель даетъ почувствовать въ его походкѣ, манерѣ сидѣть, неизмѣнно сопровождая появленіе персонажа рисункомъ его характерныхъ признаковъ. Нельзя забыть длинной, торжественной и сухой фигуры корнета Краузе, его лицо — бѣлую маску, съ двигающимися на ней косыми бровями. Эта фигура задумана и выполнена безукоризненно. Что касается Арбузова, то каждое его появленіе заставляетъ забыть о воспроизведеніи дѣйствительности и слѣдить за движеніемъ романа, какъ за самой жизнью. Арбузовъ ярче и рельефнѣе всѣхъ другихъ фигуръ въ романѣ.

А такъ какъ персонажи романа жизненны и движеніе ихъ совершается естественно и произвольно, то мыслитель торжествуетъ вездѣ, гдѣ художественный рисунокъ, не то, что сопровождаетъ идею, но обнаруживаетъ ее въ глубинѣ себя. И въ этомъ отношеніи самымъ благодарнымъ матеріаломъ Арцыбашева-художника для Арцыбашева-пессимиста является вся исторія съ умирающимъ профессоромъ Иваномъ Ивановичемъ Разумовскимъ.

Слѣдуетъ отиѣтитъ вообще, что эти страницы, гдѣ съ такой исчерпывающей психологической полнотой и съ такимъ надрывомъ безпомощнаго человѣческаго отчаянія разсказана исторія разрушенія заживо человека, являются большимъ художественнымъ плюсомъ для романа. Самый замыселъ — показать это разрушеніе — незауряденъ и глубокъ.

Главы, гдѣ разсказана эта исторія, представляются настоящимъ художественнымъ документомъ. Но здѣсь побѣда художника осложняется тѣмъ, что авторъ—теоретикъ спѣшитъ учсть всѣ выводы изъ нея въ свою пользу. Жестокость и каменное безучастіе жизни къ человѣческой мукъ показано ярко и сильно. Авторъ даетъ намъ подслушать молчаніе жизни въ отвѣтъ на безуміе, мольбы и взываніе человѣка; какъ сыпавшаяся куча песка, какъ гниющій листъ, какъ разлагающій трупъ,—разрушается человѣкъ при всеобщемъ кощунственномъ, для него обидномъ, оскорбительномъ равнодушіи. Когда то еще Тургеневъ горько сѣтовалъ на то, что мозгъ генія разрушается при такомъ же равнодушномъ спокойствіи природы, какъ и увядшій листъ или растоптанный червякъ.—Мы всѣ попадаемъ на отвратительную бойню и насъ ждетъ какой то тупой и безучастный мясникъ! Но Арцыбашевъ рисуетъ трагизмъ не только смертнаго часа, но безпощадно открываетъ картину человѣческаго униженія, обиды, безпомощности. То, что обыкновенно закрываютъ, какъ зрѣлище страшное и вызывающее содроганіе, онъ спѣшитъ открыть, чтобы явнымъ было все, чему подвергаютъ человѣка. Предсмертный хрипъ, могильное гніеніе, всѣ страшныя въ своей мелочной униженности подробности болѣзни и умиранія онъ рисуетъ своимъ тонкимъ и вѣрнымъ карандашомъ. Это ему нужно и какъ художнику и какъ теоретику. Зачѣмъ?—Къ этому то, къ сторонѣ идейной романа и къ характернымъ чер-

тамъ его писательской умственной индивидуальности мы теперь и перейдемъ.

## II.

Въ Арцыбашевѣ есть своего рода фанатизмъ, священное и крѣпкое упорство на одномъ пунктѣ своего отношенія къ жизни и къ человѣческимъ идеямъ. Онъ не признаетъ ни красоты, ни силы идей безотносительно къ непосредственной жизни человѣка.

Жить, замкнувшись въ области чистой мысли или поэтического созерцанія или религіозныхъ иллюзій, онъ бы не могъ, такъ какъ въ немъ чрезвычайно живъ и дѣйствененъ „невѣрный Оома“, все повѣряющій свидѣтельствомъ своихъ пяти чувствъ. Самъ по себѣ идеаль не вызываетъ восторга и удивленія „невѣрнаго Оомы“, ищущаго реального осуществленія въ жизни идеала, если онъ остается въ области отвлеченнаго представленія и влечетъ къ недоступному; реалистъ, почвенникъ, Оома отъ него отвернется. Такіе люди имѣютъ смѣлость и наивность искать приложенія всѣхъ идеалистическихъ ученій цѣликомъ въ жизни. Они не мирятся на меньшемъ, чѣмъ все, цѣликомъ. Они стремятся разорвать все покрывала Майи, уничтожить фатаморгану, подойти къ срыву въ черную и смрадную яму, но зато твердо знаютъ, что реальное, существующее—это яма. И знаніемъ фактическимъ, пусть горькимъ, пусть безотраднымъ, насытитъ свою безплодно-взыскующую душу.

Бѣгло вспомнимъ нѣсколько характерныхъ, главнѣйшихъ пунктовъ литературной дѣятельности Арцыбашева и тот-

часть же увидимъ въ немъ всѣ признаки именно такого яростнаго искателя подлиннаго, фактическаго, реального содержанія жизни. Не обманываетъ ли его фактическое?—онъ не думаетъ объ этомъ, такъ какъ единственнымъ органомъ распознаванія истинности для него является внѣшнее, реальное, фактическое. Въдь, онъ, невѣрный Оома и не уйдетъ, не вложивъ въ раны персты свои.

Уже въ первыхъ разсказахъ своихъ онъ задумывается надъ проблемами смерти и жизненныхъ цѣнностей. Имѣвшій большой успѣхъ первый романъ его „Смерть Ланде“ весь цѣликомъ построенъ на идеѣ—провѣрить идеалистическія ученія въ ихъ приложеніи цѣликомъ къ горькой правдѣ нашей дѣйствительности. Ланде является носителемъ идеализма, и всѣ его попытки сблизить реальную жизнь и идеализмъ кончаются горькимъ крахомъ, и самъ онъ, какъ больной и несчастный звѣрь, умираетъ въ лѣсу, въ грязи и холодѣ. Авторъ соглашается:—да, у насъ, у людей, есть неискоренимыя и сладкія иллюзіи, ими мы держимся, ими мы живемъ. У насъ есть жажда идеалистическаго и высшаго. Но не обманываетъ ли она насъ? Если да, то—смерть иллюзіямъ, и признаемъ, что влеченія души заведутъ насъ въ тупикъ, въ яму, какъ Ланде.

Только завершеніе побѣдой есть показатель силы и правды идеи. Идея, приведшая къ смерти, къ кресту, къ мукамъ, не осуществленная, поруганная или сіяющая только въ сознаніи людей—не есть реальная правда, и лучше быть во тьмѣ,

чѣмъ обманываться сказочкой о свѣтѣ. Будемъ знать правду о нашей жизни.

Преодоленіе идеализма, какъ мы знаемъ, привело Арцыбашева къ теоріи почвеннаго реального міросозерцанія Санина, сильно ограничившаго жизненное содержаніе, сведшаго его въ духовномъ смыслѣ почти къ нулю. И самъ авторъ въ движеніи своемъ литературно-жизненномъ показалъ, что въ „санинствѣ“ можно задохнуться, и отъ него то онъ и пришелъ къ своей философіи отчаянія, къ горькому пессимизму.

Въ статьѣ о самоубійствѣ (сборникъ „Самоубійство“) Луначарскій провелъ идею о внутренней связи между послѣдовательнымъ и безстрашнымъ матеріализмомъ и философией отчаянія, приводящей къ самоубійству или къ теоріи самоубійства. Санинъ—послѣдовательный матеріалистъ, зашедшій въ тупикъ, сознательно ограничившій себя тѣмъ фактическимъ, тѣмъ внѣшне-реальнымъ, въ которомъ нельзя живой душѣ не задохнуться. И вотъ передъ нами бѣгство отсюда въ крайній пессимизмъ.

Когда въ „Смерти Ланде“ Арцыбашевъ разсказывалъ о послѣднихъ минутахъ бѣднаго идеалиста, корчащагося въ горячечномъ бреду на мокрой землѣ, онъ уже тогда былъ тѣмъ самымъ художникомъ, который теперь настойчиво рисуетъ подробности всего страшнаго и отвратительнаго, на что обреченъ человекъ. Утвердившись на идеѣ пессимизма, писатель не хочетъ быть голословнымъ въ своихъ утвержденіяхъ, но находитъ въ изобиліи матеріалъ, говорящій о кошмарахъ и ямахъ жизни. Разъ это есть,

то съ этимъ надо считаться. И онъ спѣшитъ все обнажить, все развернуть, обнаружить въ четкомъ и смѣломъ рисункѣ всю грязь, все страшное убожество жизни.

Какъ художникъ, Арцыбашевъ правъ, празъ тѣмъ самымъ, что вѣдь сама жизнь даетъ ему весь этотъ матеріалъ. Но, какъ мыслитель, онъ упускаетъ изъ виду чрезвычайно вѣскія обстоятельства, и его легко упрекнуть въ полномъ отсутствіи объективизма. Развѣ каждый отдѣльный моментъ жизни не самоцѣненъ—и съ этой точки зрѣнія развѣ жизнерадостность юноши не менѣе убѣдительна, чѣмъ трагедія разрушенія старика? Авторъ подсовываетъ именно разрушающагося профессора. Прѣвда, онъ рисуетъ тутъ же молодого красавца Михайлова, но снова показываетъ его не въ расцвѣтѣ его чувственного могущества, не въ силѣ и радости, а въ упадкѣ и пресыщеніи. Вообще, Михайловъ чрезвычайно мало удался автору. Онъ показалъ имъ какъ разъ не то, что нужно. Михайловъ долженъ явить собой примѣръ пресыщенія жизненными богатствами, но для этого нужно было показать въ немъ полноту и подлинную роскошь чувственного упоенія. Въ соответствующихъ же моментахъ Михайловъ обнаруживаетъ такую слабость именно въ этомъ смыслѣ, что видно, какъ здѣсь теоретикъ опередилъ художника и поспѣшилъ и въ моментъ наслажденій показать все то ядовитое и горькое, что должно было обнаружиться лишь позднѣй.

Михайловъ нѣсколько неожиданно ярко и жизненно нарисованъ въ послѣдней части романа, въ главѣ, гдѣ

такъ просто и правдиво показанъ творческій процессъ. Послѣ вялыхъ сценъ съ Чижомъ и Рысковымъ, послѣ ихъ скучнаго діалога, такъ освѣжительно и волнующе дѣйствуютъ страницы, гдѣ словами настоящаго художника рисуетъ авторъ всѣ психологическія подробности, сопровождающія художественный процессъ. Вслѣдъ затѣмъ въ сценѣ съ Нелли передъ нами снова—двѣ совершенно живыя фигуры, и ихъ діалогъ, ихъ движенія все сдѣлано съ огромнымъ художественнымъ тактомъ и многими мѣткими чертами удивляетъ въ передачѣ интимныхъ душевныхъ чертъ.

### III.

Въ жизни слишкомъ много кошмарнаго и удушливаго, чтобы художникъ пессимистъ могъ быть особенно затрудненъ поисками именно такого матеріала. Въ этомъ смыслѣ вся бездонная топь человѣческой пошлости, весь ужасъ безконечныхъ болотъ, въ которыхъ вязнутъ и тонуть одиночки и массы,—къ услугамъ честнаго и искренняго художника. Чеховъ, Стриндбергъ, Гейерстамъ, Арцыбашевъ—писатели, не стыдившіеся обнажать скорбное, морщинистое, безобразное лицо жизни,—отмѣчены той особенностью, что подходятъ они къ дѣйствительности, такъ сказать, съ голыми руками, безъ слѣда личной идеологии, безъ позолоты идей и мечтаній, которыми они хотѣли бы приукрасить и обновить ликъ жизни. Они всѣ—не изъ числа тѣхъ безумцевъ, которые хотятъ «навѣять человечеству сонъ золотой». Въ молодости ранней и Стриндбергъ и Арцыбашевъ не на долго увлекались

различными по существу идеологиями; шведскій писатель исповѣдовалъ социализмъ, русскій—реалистическій индивидуализмъ. Наоборотъ, Чеховъ отъ первыхъ острыхъ и жестокихъ юмористическихъ рисунковъ жизни шелъ въ направленіи объективнаго прямого воспроизведенія, былъ безжалостенъ въ срисовываніи всего безобразнаго въ жизни, не щадишь утопающаго въ болотѣ и ужасъ человѣка, и только въ концѣ жизни его душа затосковала по «крѣпкому берегу» идеализма.

Бурный темпераментъ шведскаго пессимиста не позволяетъ ему убѣждать читателя построениями логическими, спокойно-отвлеченными, да къ тому же онъ не бунтуетъ, какъ авторъ „У послѣдней черты“, противъ міровой всеобщей обусловленности, противъ законовъ смерти и страданій, противъ желѣзныхъ законовъ естественной необходимости. Стриндбергъ относится съ уваженіемъ ученаго, человѣка книги, къ огромному цѣлому міра, мистически почувствуетъ нѣкое индивидуальное творческое „Я“ художника вселенной, и если обрушивается съ негодованіемъ, со скорбью, съ гнѣвомъ яростнымъ и мощнымъ, то только противъ человѣчества. Онъ безсистемно выбрасываетъ въ своихъ книгахъ отдѣльные клочки жизни, нанизанные на живое ожерелье его авторской личности, и торжествуя показываетъ уродство, глупость и смертельные ямы человѣческаго уклада. Вотъ, женщина, вотъ клоака-городъ, вотъ ваши общественныя установленія, вотъ приложенія вашихъ идеаловъ... И выходитъ какая-то исполинская гора

грязи, подъ впечатлѣніемъ которой читатель, побѣжденный силой и темпераментомъ таланта, невольно воскликнетъ:—о, ужасъ! о, отвращеніе!

У Арцыбашева нѣтъ этого отвращенія къ людямъ, нѣтъ этой безглицности этого желчнаго брюзжанья. Наоборотъ, его рисунокъ человѣческаго исполненъ часто нѣжныхъ и грустныхъ чертъ, онъ какъ бы задался цѣлью показать весь ужасъ недолгаго и обманчиваго движенія человѣка въ его жизни на пути къ неизбѣжной, неотвратимой ямѣ смерти, позора, тоски или скуки, или отвращенія, или болѣзни и унижительнаго безсилія. Бунтъ Арцыбашева противъ жизни весь направленъ въ сторону тѣхъ непонятныхъ кошмарныхъ міровыхъ установленій, которыя сводятъ наше существованіе къ сплошной тягостной и кошмарной дѣйствительности. Онъ возстаетъ за человѣка, котораго такъ страшно обманываютъ, влекутъ по пути огромныхъ желаній, яркихъ чувствъ, горящихъ влеченій и потомъ незамѣтно суживаютъ кругъ казавшейся такой огромной и яркой жизни до предѣловъ могильной ямы, кровати больного, глухого провинціальнаго городка...

Когда вспоминаешь горькій и сильный, именно своей простотой, своей искренностью пессимизмъ такихъ большихъ и правдивыхъ людей, какъ, на примѣръ, Мопассанъ, когда поймешь самый источникъ, откуда истекли его жалобы и горькія утвержденія относительно человѣчества, беспомощно кружащегося какъ муха, въ запертой бутылкѣ бьющаяся о ея прозрачныя стѣнки,—начинаетъ казаться не только законнымъ, но почти неотразимымъ

этотъ пессимизмъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не сама жизнь рождаетъ его? Развѣ не она сама является въ сущности источникомъ и возбуждателемъ всѣхъ чувствъ и утверждений? Художникъ не сдѣлалъ ничего, кромѣ того, что показалъ именно съ той правдой и простотой, на которую способенъ только художникъ, самую жизнь, какъ она бьетъ въ глаза, въ носъ, въ уши своими звуками, запахами и картинами.

Арцыбашевъ отвергъ свою идеологію, принявъ внѣшнюю дѣйствительность. Это вполнѣ согласовалось съ постояннымъ его лозунгомъ—„что есть?“. Видѣть и знать только то, что есть. Насколько проницателенъ и точенъ его взглядъ—дѣло другое. Но лозунгъ былъ именно таковъ. Не дополнять и не выдумывать жизнь. И вотъ навстрѣчу освобожденному отъ вѣрованій, иллюзій и чаяній художнику—какъ колоссальная, до небесъ возвышающаяся гора, двинулась жизнь, именно въ ея пессимистической сущности. Онъ въ сотый разъ усталыми, пристально глядящими и напряженными глазами встрѣтилъ то, о чемъ говорили писатели пессимисты послѣ перваго изъ нихъ—Экклезіаста. Всѣ они поражаются въ концѣ концовъ тѣмъ, до какой степени открыто, нагло, обнаженно и беззащитно открываетъ жизнь весь свой гной, всѣ свои изъяны, всѣ безобразія, и безсмыслицы и уродства. Если связать во-едино разбросанныя въ разныхъ мѣстахъ романа мысли относительно этого, то составитъ слѣдующій заколдованный кругъ представлений.—Вопреки бьющему въ глаза запаху гноя и разложенію, вопреки наг-

ляднымъ картинамъ старости, безсилія, болѣзней, краха всѣхъ иллюзій, всѣхъ мечтаній,—молодость слѣпо и безумно спѣшитъ по пути тѣхъ влеченій, огонь-которыхъ по какой то безжалостной, издѣвающейся надъ нами волѣ, горитъ въ нашемъ тѣлѣ. Спѣшать лихорадочно жить Михайловы, летятъ на огонекъ Нелли и Лиза, безумствуетъ похожій на разъяреннаго быка Арбузовъ, мечтаетъ и горитъ мыслями и бѣгаетъ по городу на грошевые уроки Чижъ, кружатся въ угарѣ дешевыхъ удовлетвореній женщины, вроде Евгеніи Самойловны, цѣликомъ воплощающія собой пошлый мотивъ „ой-ры“. Захваченный силой той же инерціи, бѣгаетъ въ ссѣмъ колесѣ профессоръ Иванъ Ивановичъ. Каждому изъ нихъ отпущено лишь по нѣскольکو шаговъ. Ямы, въ которыя каждый изъ нихъ попадаетъ, не выдуманы художникомъ. Эти силки, эти капканы смерти, болѣзни, скуки, пошлости, безсилія, угара такого же неожиданнаго, какъ и огрезвленія,—все это въ изобиліи найдется на каждомъ уголочкѣ жизни. Несбѣгаемая и колоссальная сила человеческой иллюзіи превозмогаетъ весь цинизмъ жизни, открывающей свои раны и дышащей прямо въ лицо гнилью и ядомъ разложенія. Даже на ложѣ болѣзни и смерти бѣдные маніаки бредутъ соблазнами и утѣшеніями жизни, продаютъ свое первородство мысли, познаний, открытій гордаго и самостоятельнаго ума. Бьются головой о полъ, вспоминаютъ дѣтскія молитвы, хватаются за соломинки... На фонѣ этой широко нарисованной картины всеобщаго жизненнаго гипноза—какой грозной силой протеста,

какой эффектной самостоятельностью долженъ былъ прозвучать голосъ теоретика пессимизма—Наумова. Но этотъ эффектъ у Арцыбашева пропалъ, потому что Наумовъ не живая фигура, а резонеръ, потому что не показанъ онъ ни въ одномъ живомъ непосредственномъ движеніи, потому что читателю не ясно, какимъ образомъ возникъ органически и созрѣлъ въ немъ весь этотъ идейный замыселъ. Но мысли Наумова и Краузе дополняютъ цѣпь логическихъ построеній, о которыхъ мы говоримъ.

Эти два персонажа обвиняютъ міроустройство не только въ томъ, что человѣческія радости кратковременны и что сумма страданій подавляетъ ихъ. Они протестуютъ противъ самой структуры человѣческаго „я“, они необъяснимымъ образомъ отдѣляются отъ самой своей сущности и горько вопіютъ противъ обусловленности, противъ предопредѣленности каждаго движенія ихъ души, механизмъ которой обусловленъ чьей то волей, какой-то необходимостью и, слѣдовательно, въ самой послѣдней глубинѣ ихъ „я“ обрекаетъ проклятью пассивности и механичности. Они несвободны въ самихъ себѣ, они автоматичны, какъ и все въ мірѣ, и Наумовъ собственной автоматичностью повѣряетъ и утверждаетъ автоматичность не только созданнаго, но и создавашаго. Это большая мысль, въ беллетристикѣ, насколько я знаю, никѣмъ до того не затрагивавшаяся, въ первый разъ выдвигаемая Арцыбашевымъ и представляющая громадный пессимистическій матеріалъ для художника, глубокой и сложный.

Автоматичность, несвобода, проклятье

механичности въ самой интимной глубинѣ души, ложь чувственныхъ иллюзій, повергающихъ потомъ въ отвратительную яму скуки и отвращенія и—какъ результатъ—царство кладбища, царство смерти и разложенія—такова логическая цѣпь художника, желѣзное кольцо, въ которое онъ заключаетъ жизнь. Если считатьъ съ его художественными иллюстраціями (а не считатьъ съ этимъ, конечно, нельзя), такими, какъ, на примѣръ, сильно написанная сцена ссоры Тренева съ женой, реалистически правдивая и мѣткая, кончающаяся самоубійствомъ офицера; страницы, неотразимыя по вліянію скуки, пошлости, грозной силы этой пошлости, убивающей жизнь,—то нельзя не видѣть, что фундаментъ его пессимистическихъ построеній довольно устойчивъ и опирается на непосредственную, намъ всѣмъ предстоящую жизнь.

Объективной и полной правоты здѣсь нѣтъ и, конечно, быть не можетъ. Хотя бы ужъ по одному тому, что каждая человѣческая иллюзія есть частица живой жизни, а иллюзія, проникнутая огнемъ и красотой человѣческой души, есть такой же, по крайней мѣрѣ, убѣдительный фактъ жизни, какъ и смертельная яма отвращенія, въ которой задыхаются и тонутъ Чижъ и Рысковъ. Несомнѣнно, что здѣсь, въ этой области чисто человѣческаго внутренняго творчества человѣкъ торжествуетъ надъ всѣми убійственными законами издѣвающейся надъ нимъ дѣйствительности, съ ея законами смерти и паденія. Правда, Наумовъ возразитъ, что нельзя вѣрить движеніямъ собственной души, ибо они несвободны, а механически подчинены и обусловле-

ны. Но здѣсь уже вопросъ касается вѣчной области споровъ, противоположныхъ вѣрованій и, слѣдовательно, область объективныхъ утвержденій кончается.

#### IV.

Послѣдній романъ Арцыбашева въ цѣломъ—крупное и въ художественномъ и въ идейномъ смыслѣ произведение. Вредитъ ему нѣсколько растянутость; мѣстами то, что уже было сильно и мѣтко сказано, повторяется въ слѣдующихъ частяхъ снова, и этимъ ослабляется впечатлѣніе. Но частности не заслоняютъ монументальнаго и сложнаго цѣлаго. Такіе эпизоды, какъ исторія стараго профессора, какъ операція доктора Арнольди и смерть ребенка, какъ ссора Тренева съ женой и его самоубійство, какъ послѣдніе дни Чижа—врѣзываются въ память благодаря подлинной силѣ художества, съ какимъ это сдѣлано. Посвященный трагизму человѣческой жизни, романъ этотъ не можетъ быть прочитанъ безъ того, чтобы не затронулъ глубоко впечатлительность и не имѣлъ глубокаго и живого читательскаго отклика. Романъ Арцыбашева въ нѣкоторыхъ органахъ не былъ встрѣченъ похвалами; его строго и огульно осудили, выдвигая аргументами осужденіе стилистики или парадоксы персонажей и проходя мимо того, что составляетъ художественную и идейную сущность романа. Указывая—и до нѣкоторой степени справедливо—на сухой и нѣсколько газетный тонъ монологовъ Наумова,—не отмѣтили въ первый разъ выдвигаемаго въ беллетристикѣ глубокаго философскаго мотива, о которомъ

выше говорилось въ этомъ очеркѣ,—мотива механической обусловленности душевныхъ интимнѣйшихъ движеній. Что же касается указанныхъ сценъ, исполненныхъ съ живой художественной выразительностью, съ огромнымъ напряженіемъ и рельефностью, то онѣ не встрѣтили признанія, мимо нихъ прошли молча.

Нельзя отрицать, что до нѣкоторой степени въ этомъ повиненъ и самъ авторъ, допустившій длинноты, повторенія, даже прямо слабыя въ художественномъ отношеніи отдѣльныя сцены и страницы. Встрѣчаются и стилистическія небрежности. Но все это тонетъ въ томъ живомъ, и идейно и художественно значительномъ, что представляетъ собой романъ.

Будучи однимъ изъ сильнѣйшихъ художественныхъ проявленій пессимистическаго міровоззрѣнія, романъ этотъ тѣмъ не менѣе кое въ чемъ, очень существенномъ, противорѣчитъ идейнымъ положеніямъ автора. Мѣстами сквозь густой пессимистическій тонъ, сквозь сцены, исполненныя не только мрачнаго отчаянія, но и горькой безжалостной ироніи, прорывается голосъ художника, которому, именно потому, что онъ художникъ, какъ то кровно, органически мило все земное, который сердцемъ приросъ къ жизни и къ тому, что милыми и живыми мелочами ее характеризуетъ. Прочтите пейзажъ въ концѣ 26-ой главы, весь цѣликомъ списанный съ натуры, безъ единой черточки трафарета, очеркъ предутренняго неба, свалившихся тучъ и куска обнаженной чистой утренней синевы, рисунокъ облитой свѣтомъ вер-



хушки тополя и вздрагивающих золотых ея листьевъ, чтобы почувствовать дыханіе осенняго утра и свѣжее чувство природы писателя, который безъ любви къ жизни не можетъ дать живого рисунка природы и жизни. Это въ творчествѣ неоспоримый фактъ. Художника пессимиста всегда стличаетъ грустный и теплый тонъ, глубокая и острая печаль, примѣшивающая свою теплоту къ его объективному рисунку. Чтобы быть художникомъ, надо имѣть тайное внутреннее чувство живого, быть не внѣ явленій, а сообщаться съ ними и внутри, имѣть доступъ къ нимъ изъ глубины душевнаго постиженія жизни. Мелкіе разбросанные штрихи у Арцыбашева, нѣсколько строкъ въ началѣ главъ, гдѣ набрасываетъ онъ утреннее движеніе въ городкѣ, рисунки неба и воздуха, или подробность вродѣ — плачущей Лизы, принимающей къ грязной шерсти лижущей ее бродячей собаки, или описаніе унылаго и чѣмъ-то теплымъ, человѣче-

скимъ хватающаго за сердце одиночества стараго доктора Арнольди, — все это исполнено той теплоты, задумчивости и печали, которая говоритъ о сердечной органической приверженности къ жизни. Михайловъ въ романѣ говоритъ Арнольди: „...когда я подумаю, что сегодня въ послѣдній разъ вижу васъ, вотъ этотъ стулъ, солнце что ли, меня охватываетъ такая тоска, что я въ ужасѣ закрываю глаза на все и стараюсь забыть даже, что смерть, вообще, существуетъ!...“

Арцыбашевъ — художникъ, одаренный богатствомъ внутренняго душевнаго чувства жизни. Это не покупается никакой цѣной и не достигается никакой культурой и никакой книжной утонченностью. И именно это порукой за то, что, отдавши дань своей пессимистической настроенности и выразивъ свой бунтъ противъ жизни, онъ не сможетъ не отдаться настойчивой потребности еще не разъ воссоздавать и осмысливать тѣ или инныя изъ ея явленій.

Н. Кадминъ.

## ГАМЛЕТЪ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТРѢ.

Постановка Гамлета въ Московскомъ Художественномъ театрѣ — результатъ, или, вѣрнѣе, естественный этапъ общаго историческаго развитія театра. Такіе художественные факты столь-же необходимо и послѣдовательно расцвѣтаютъ на „деревѣ познанія“ міра, какъ на обычномъ деревѣ набухшая почка. Еще плода не завязалось, еще мы не знаемъ, каковъ онъ будетъ, этотъ плодъ, но та-

кіе цвѣты театральнаго искусства несомнѣнно таятъ въ себѣ сѣмена будущей красоты и многихъ сценическихъ достижений. Это не пустоцвѣты. Нѣкоторые лепестки излишней пышности, шумности, красочности, должно быть, спадутъ, но останется здоровая завязь — зерно будущаго театра.

Въ настоящей статьѣ мнѣ бы хотѣлось лишь вскрыть смыслъ того толко-

ванія „Гамлета“, какое по моему пониманію, былъ данъ въ московскомъ Художественномъ театрѣ. Мнѣ думается, что столь осужденное газетами участіе Крѣга въ данной постановкѣ было органически слито съ нынѣшнимъ театромъ Станиславскаго, а не спаяно искусственно и внѣшне. Мнѣ кажется, что замыслы Крѣга и задачи этого театра до-крѣговскія, т. е. „интимитизація“ человеческой драмы—близки одно къ другому по существу. И все, чего театръ не достигъ въ настоящемъ случаѣ, всѣ недостатки, чисто внѣшніе lapsus'ы постановки—явились вовсе не послѣдствіемъ „чужеземнаго вліянія“, а просто потому, что давалось здѣсь многое впервые; а первыя дѣла человеческія никогда не бываютъ совершенны. Недочеты техническіе—я это подчеркиваю,—да нѣсколько неудачная раздача ролей, вотъ единственные „пятна“. Но со стороны принципа и сліянія руководящихъ замысловъ ошибки въ постановки нѣтъ.

Съ точки зрѣнія эволюціи театра истолковать „Гамлета“ именно такъ—было исторически необходимо. Это толкованіе вытекало изъ всего хода развитія трагедіи на сценѣ, и рано или поздно „Гамлетъ“, сведенный къ интимной своей сущности, долженъ былъ явиться на подмосткахъ театра. Или ему оставалось перейти только въ кинематографъ.

Шекспиръ первый, послѣ античной трагедіи, вывелъ на сцену цѣлый живой міръ людей, событій, столкновеній, страстей и силъ. И зритель, точно въ окошко, глядѣлъ на этотъ второй Божій міръ, являясь наблюдателемъ, зрителемъ-соглядатаемъ, если хотите, но не участни-

комъ видимаго. Игра событій, страстей, жизнь общая, богато развернувшаяся передъ нимъ, являлись зрѣлищемъ захватывающимъ и неизвѣданнымъ, но лично къ нему не причастнымъ.

Мало по малу и это внѣшнее богатство шекспировскаго міра въ позднѣйшемъ драматическомъ творествѣ стало блѣднѣть. Въ драмахъ, вмѣсто рельефнаго, явился фонъ. Все рѣзкое и сильное стушевывалось, стиралось, сводилось къ театральнымъ трафаретамъ. Оживленная „бытовая“ и „историческая“ сторона постепенно превратили трагедіи на сценѣ—въ живыя хроники, въ интересные житейскою своею правдоподобностью зрѣлища. Декорация и бутафорія дѣлались все болѣе существенными участниками дѣйствія. И часто существо трагедіи пропадало отъ того, что зритель восхищался „точностью“ костюмовъ и „настоящностью“ обстановки. Дальше идти въ этой области—значило показывать „чудеса природы.“ Явились фееріи, съ настоящими локомотивами, и кинематографы съ мгновеннымъ перенесеніемъ зрителей на лоно полей и лѣсовъ, тоже настоящихъ. Это технически недостижимо пока на сценѣ. Но это и показало, что цѣль и задача театра не въ точномъ внѣшнемъ копированіи жизни. А въ чемъ-же?

Различные есть на это отвѣты. Одинъ изъ нихъ—сдѣлать театръ выразителемъ внутренняго міра человѣка; показавъ человѣку интимное его „я“, добиться творческаго, участливаго, просвѣтляющаго духъ присутствія зрителя въ театрѣ.

Ни одна изъ шекспировскихъ трагедій не отвѣчаетъ такъ на эту театральную

потребность, какъ „Гамлетъ“. За вѣка своего существованія она всегда остается свѣжею, какою-то недоговоренною и новою, т. е. волнующей наше интимное „я“. И не смотря на то, что Гамлетъ былъ изображенъ безконечное число разъ, и все-же не исчезло обаяніе этого облика. Но, странное дѣло: все меньше и меньше онъ удовлетворяетъ публику. Гамлетъ сталъ „декламаторомъ“, и публика, какъ шарманкѣ, готова была подпѣвать ему, или подшепывать въ «знаменитыхъ мѣстахъ». Стали смотрѣть уже не то, что съ Гамлетомъ творится, и не то, что у него на душѣ, а „какъ онъ это мѣсто скажетъ?“ Гамлетъ—уже привычная часть нашей культуры, и съ этимъ нельзя не считаться. Какъ бы плѣнительно ни игралъ такого привычнаго Гамлета артистъ, современный зритель уходилъ съ несытой душой...

И вдругъ Художественный театръ озарила вдохновенная мысль: поставить Гамлета не съ внѣшней стороны, не съ точки зрѣнія событій, фактовъ и лицъ, какими они были и представляются зрителю, а такъ, какъ они представляются самому Гамлету. Это—такъ называемый принципъ монодрамы. Поясню примѣромъ.

Представьте себѣ, что вы входите въ комнату взволнованный: у васъ серьезное, роковое объясненіе. Разъ вы видите обои, мебель, угломъ или прямо стоитъ рояль, и платье на горничной, открывшей дверь? Вы сознаете лишь то, что вамъ непосредственно важно. Вы волновались, вы говорили опредѣленные вещи, и ихъ вы до мелочей помните, какъ помните лицо собесѣдника и лич-

ное настроеніе ваше. А комната — это что-то общее, внѣсознательное для васъ. Если же я, или другое лицо, наблюдали бы васъ со стороны, то мы бы видѣли васъ среди прочихъ предметовъ: у рояля, на мягкомъ стулѣ, надъ вами картину и т. д. И впечатлѣніе вашихъ переживаній всплывало-бы въ нашемъ сознаніи въ результатѣ этихъ наблюденій надъ вами — только въ связи съ другими предметами обстановки.

Во второмъ случаѣ мы шли черезъ общую картину жизни къ вашей драмѣ. А въ въ первомъ, т. е. видя все только такъ и постольку, поскольку это отразилось въ васъ — мы бы подошли къ вашей драмѣ со стороны вашего внутренняго міра, субъективно. Объективная передача ставитъ зрителя въ положеніе наблюдателя. Субъективная окраска, если хотите, въ положеніе исповѣдника, интимнаго друга...

Изъ шекспировскихъ трагедій, несомнѣнно, ни одна не подходитъ такъ къ типу монодрамы, какъ „Гамлетъ“.

Эта трагедія, вообще, стоитъ совершенно особнякомъ. Она искушаетъ на то, чтобы быть переданной именно „черезъ Гамлета“, потому что написана крайне субъективно. Въ сущности даже Шекспиромъ ея герои проведены сквозь пониманіе ихъ Гамлетомъ. Если съ этимъ ключомъ подойти къ трагедіи, то станетъ ясно многое „загадочное“ въ постановкѣ московскаго Художественнаго театра. Въ „Гамлетѣ“ имъ сдѣланъ законно-смѣлый шагъ, совершенно ясный и опредѣленный, къ такой интимной „монодрамѣ“.

И вотъ теперь вполне понятна „однотонность“ новой московской постановки.

Что-то сѣрое, высокое, уходящее куда-то вверх... Колонны, золотой дворец и весь дворъ, залитый золотомъ, — такъ это отмѣчается въ поглощенномъ своими переживаніями мозгу Гамлета. Разсѣянно отличаетъ онъ лишь основные общіе тона, какъ и мы сами въ жизни, не замѣчаемъ вообще всего, что вокругъ насъ постоянно, обыкновенно... Мы помнимъ только общій тонъ толпы, т. е. людей, намъ внутренне-далекихъ. Иностранцы, напримѣръ, часто кажутся похожими — всѣ на одно лицо. Такъ и Гамлету кажутся одинаковыми всѣ эти чужіе ему люди. Женщины — это что-то низменное, что-то нечистое: блѣдныя лица, алая, точно у вампировъ губы, чувственно змѣящіяся косы...

Король и королева (г. Масалитинсвъ и г-жа Книперъ) — лишены той „облагороженной“ редакціи, которая была бы умѣстна и справедлива при объективномъ представленіи „Гамлета“. Мать — красивая, жадно-чувственная, словно утоленная своимъ позоромъ. Король — воплощеніе животности, а весь дворъ — какой-то золотой сонъ, почти неподвижный, застывшій въ созерцаніи высокаго трона: весь онъ точно покрытъ золотой мантией короля, точно изъ его мантии рождается... Удивительное воплощеніе коллектива своего рода. А внизу — одиноко, далеко отъ всего этого слитка, чуждый ему, сидитъ Гамлетъ. И, почти не двигаясь, посылаетъ онъ свои размышленія — отвѣты королю и матери. Въ третьей картинѣ завлакивается это явленіе двора пеленою, а Гамлетъ все сидитъ въ той же позѣ одинъ и продолжаетъ свои размышленія. И тогда кажется, что приз-

рачнымъ его видѣніемъ была вся предыдущая золотая картина...

Теперь понятенъ дѣлается болтливый и глуповатый Полоній (г. Лужскій), ибо говоритъ о немъ Гамлетъ: „старый младенецъ“. И „загадочность“ Офеліи (г-жи Гзовской) дѣлается ясною. Вѣдь, и она у Шекспира не такая, какою должна быть въ жизни, а такая, какой въ мозгу Гамлета могла отразиться. Чистая, прекрасная, какъ цвѣтокъ, и вся — орудіе другихъ, безъ своей воли. Ей надо идти въ монастырь. И, встрѣтивъ ее, Гамлетъ съ безконечною человѣческою жалостью повторяетъ: „иди въ монастырь“. Настоящей добротой и печалью за существо, обреченное на жизнь и гибель въ золотомъ болотѣ двора, звучатъ эти слова Гамлета...

Почти къ реальной жизни возвращается Гамлетъ въ сценѣ съ актерами, т. е. съ людьми призрачной жизни, но реальныхъ переживаній. Прекрасно тутъ исполненіе Качалова, полное необычной силы и остроты. Послѣ сцены театральнаго представленія Качаловъ очень эффектно, какъ дикій охотникъ, вскакиваетъ на тронъ со своими знаменитыми словами: „оленья ранили стрѣлой.“ Дворъ смятенно разбѣгается, и король летитъ впереди въ животномъ страхѣ, забывъ свое „величіе“, почти смѣшной, прыжками, позабывъ облаченіе на тронѣ... Гамлетъ въ изступленіи радостнаго упоенія, въ сознаніи разсѣянныхъ, наконецъ, сомнѣній пляшетъ какой-то хищный побѣдный танецъ, развѣвая желтый плащъ актера. Экстатически, до пляски потрясенный восторгомъ, онъ страненъ, дикъ, но понятенъ...

Лично мнѣ это не показалось нужнымъ. Показалось данью современному увлеченію „пляскою“, но данью искренней. Качаловъ сюда влилъ свое, качаловское переживаніе. Не знаю, какъ это точнѣе сказать, но здѣсь вырвался пафосъ не Гамлета, а Качалова—лично. И онъ увлекъ зрителя красотой искренняго переживанія, силой упоенія. Но, думается, что, когда Качаловъ вживется въ Гамлета и станетъ весь Гамлетомъ (а у него для этого всѣ возможности), тогда весь Гамлетъ откажется отъ „Качалова въ себѣ“ и забудетъ объ этомъ „дункановскомъ“ моментѣ.

Принявъ всю трагедію черезъ Гамлетово переживаніе, мы примемъ особенно сочувственно и золотой лабиринтъ крѣговскихъ ширмъ, замѣняющихъ декорацию парадныхъ залъ, по которымъ „маячить“ ищущій отвѣтовъ Гамлетъ съ книгою, гдѣ все—одни „слова, слова...“ (И какъ онъ это произносить! Не съ ироніей, не съ грустью, а уничтожая, „сверху внизъ“ и просто-просто).

Впослѣдствіи, вѣроятно, и значеніе монолога „быть, или не быть“ у Качалова возрастетъ, когда „доспѣетъ“ у него Гамлетъ. Пока оно стушевывается, не запоминается.

Мы видѣли, вѣдь, первый спектакль. А „Гамлетъ“—цѣлое море. И овладѣть этимъ созданіемъ величайшіе артисты могли лишь черезъ сотни спектаклей. Пока—это прекрасный очеркъ углемъ, кое-гдѣ тронутый кистью... Но какъ близко намъ этотъ Гамлетъ чувствомъ громадной печали!

Именно печаль—слово, опредѣляющее Гамлета у Качалова.

И въ этой печали онъ протягиваетъ порою съ недоувѣріемъ, порою съ готовностью руки къ людямъ и хочетъ подойти къ нимъ. Но зоркій умъ и тонкое ухо его оцѣниваетъ сразу, что за люди пытаются имъ играть, и онъ ихъ уничтожаетъ безпощадно и гнѣвно. Въ сценахъ съ Полоніемъ и придворными Качаловъ такъ же оригиналенъ, какъ и простъ. Все время передъ вами „человѣкъ“, который одинокъ...

Острота ума Гамлета, а не пресловутая „мечтательность“ и безволіе, изъязвленность души, въ основѣ своей здоровой, изъязвленность оттого, что она понимаетъ всѣхъ до яснovidѣнія—вотъ Гамлетъ Качалова. Если онъ „не рѣшается“ убить короля, то это только потому, что право убивать, мстя, уже чуждо его облагороженному инстинкту. И онъ ищетъ, ищетъ въ себѣ зовъ древняго инстинкта, ибо трагически назначено ему связать распавшуюся „связь временъ“...

Очень хорошъ конецъ Гамлета, когда на смѣну погружающаго въ багровый мракъ заката всходитъ, какъ будто вспыхнувшая въ сознаніи умирающаго Гамлета яркая, новая сила—Фортинбрасъ (г. Берсенева). Внѣшняя красота бѣлыхъ знаменъ, склоняющихся предъ величіемъ минувшей трагедіи, и мощная молодость пришедшихъ, немного тревожная, точно чувствующая огромность „наслѣдія“ и полная надежды,—были подчеркнуты и музыкою талантливаго Саца и общимъ зрѣлищемъ какого-то радостнаго аккорда свѣтлыхъ красокъ.

Надъ ушедшимъ „вечернимъ“ обликомъ человѣка печали и мысли подни-

мается сверкающій мощный человѣкъ дѣла! Это, быть можетъ, ярче всего подчеркиваетъ Гамлета и... дѣлаетъ его еще милѣе, еще ближе душѣ современнаго человѣка, еще не овладѣвшей силой „прямого дѣйствія“. Гамлетъ можетъ убить, когда онъ возбужденъ, „доведенъ“... Но убить, не побѣдивъ. Его побѣда — это „обличеніе“, это — лишь выявленіе зла.

На смѣну-же ему приходитъ сила, обращенная на „созиданіе царства“... Гамлетъ собою связываетъ прошлое и будущее: своимъ духовнымъ строемъ, а не дѣйствіемъ.

И такого именно Гамлета далъ намъ московскій Художественный театръ. Гамлетъ Художественнаго театра предсталъ передъ нами въ глубокой связи со всѣмъ современнымъ міроощущеніемъ. Отброшенный „быть“ дѣлаетъ символически — близкой намъ всю психику Гамлета. Чувствуется трагедія личности, пришедшей къ органическому конфликту съ тѣмъ слоемъ, классомъ, въ которомъ она родилась. „Геологическаго“ переворота эта театральная постановка, не смотря на весь сопровождающій ее шумъ, конечно, не произвела, но она сама явилась итогомъ коренной и постепенной перестройки всего уклада современной мысли и жизни. Индивидуальное пере-

живаніе, обостренное до степени трагедіи, противопоставлено не отдѣльнымъ лицамъ, а цѣлому коллективу, сплоченному всѣмъ своимъ бытіемъ въ единый слитокъ.

Такая картина была отображена въ „Гамлетѣ“ его новыми толкователями, должно быть, внѣсознательно пришедшими къ художественному выраженію историческаго расслоенія общества.

Но всѣ художественно-цѣнные творенія имѣютъ свойство вбирать въ себя и преломлять даже тѣ лучи, которые остаются пока невидимы для глаза, не вооруженнаго аппаратомъ научно историческаго познанія. Это магическое свойство истиннаго художественнаго отображенія. И чѣмъ талантливѣе художникъ, чѣмъ геніальнѣе онъ въ своихъ художественныхъ прозрѣніяхъ, тѣмъ онъ крѣпче связанъ съ внутреннимъ смысломъ современности.

Въ этой связи, въ этомъ безсознательномъ художественномъ проникновеніи въ историческое развитіе человѣчества, въ этомъ чисто интуитивномъ ощущеніи „шага исторіи“ и заключается значеніе новаго созданія московскаго Художественнаго театра, какъ явленія художественной культуры.

3. Шадурская.

## РЕАКЦІЯ И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Въ исторіи каждого народа привлекаетъ вниманіе наблюдателя прежде всего и больше всего политическая жизнь и различныя ея проявленія. За громкимъ шумомъ политической борьбы, за яркой смѣлой различныхъ политическихъ событій трудно усмотрѣть будничную экономическую жизнь, однообразную, не вносящую, повидимому, никакихъ перемѣнъ въ общественныя отношенія. Въ политической жизни происходятъ крупныя потрясенія, революціи смѣняются реакціями, тонкія дипломатическія интриги смѣняются кровопролитными войнами, а экономическая жизнь изъ года въ годъ развивается безъ рѣзкихъ перемѣнъ и потрясеній и, повидимому, не вноситъ ничего новаго.

Тѣмъ не менѣе не безъ основанія историки все болѣе и болѣе склоняются къ мнѣнію, что основой всѣхъ шумныхъ политическихъ событій, основой всѣхъ крупныхъ перемѣнъ въ политической жизни страны является экономическое развитіе общества.

Въ жизни природы мы видимъ то же явленіе.

Весной природа пробуждается, деревья покрываются листвою и цвѣтами, лѣтомъ вырастаютъ плоды, а зимой жизнь, повидимому, совершенно исчезаетъ. Тѣмъ не менѣе даже подъ холоднымъ покровомъ

зимы жизнь окончательно не замираетъ: въ голыхъ вѣтвяхъ деревьевъ, подъ снѣжнымъ покровомъ, накапливаются соки для новаго возрожденія, для новаго расцвѣта и новыхъ плодовъ. Очевидно, процессы, которые происходятъ подъ землей, незамѣтно для поверхностнаго наблюдателя, являются первоисточникомъ того пробужденія растительной жизни, которое украшаетъ благоухающую весну.

Такое же значеніе имѣютъ молекулярныя процессы экономической жизни, питающіе политическую жизнь, подготовляющіе такія политическія событія, которыя вѣками сохраняются въ памяти потомства.

Экономическій строй медленно, но неуклонно измѣняется. Старыя политическія формы становятся въ рѣзкое противорѣчіе съ вновь слагающимися социальными отношеніями, растетъ недовольство въ различныхъ слояхъ общества существующимъ политическимъ строемъ. Начинается въ той или другой формѣ обостренная политическая борьба, измѣняющая старыя политическія формы сообразно новымъ потребностямъ. Такъ было, такъ будетъ...

### II.

Политическій строй Россіи до 1905 года былъ, конечно, наиболѣе сильнымъ

препятствіемъ для ея экономического развитія, для развитія общественныхъ производительныхъ силъ. Ни въ одной странѣ не растрчивались непроеизводительно въ такихъ размѣрахъ продукты народнаго хозяйства при всевозможныхъ препятствіяхъ его развитію, и едва-ли найдутся другія европейскія страны, въ которыхъ бы борьба за лучшія политическія условія встрѣчала такое упорное сопротивление и требовала бы столькихъ жертвъ. Тѣмъ не менѣ хозяйственное развитіе общества не останавливалось въ самыя мрачныя эпохи до-революціоннаго періода; не смотря на неблагопріятныя условія, народное хозяйство развивалось, создавая новыя соціальныя отношенія, разлагая старыя и подготавливая въ нѣдрахъ стараго общества элементы для политической борьбы за новыя политическія формы.

Общественное движеніе 1904—6 годовъ разбилось, наступила реакція; общественныя группы, которыя сковывали политическую жизнь въ до-конституціонную эпоху, опять оказались у власти и еще безпощаднѣе душатъ всякое стремленіе другихъ общественныхъ классовъ принять участіе въ политической жизни страны. Наступила «политическая зима» и, повидимому, страна остановилась въ своемъ развитіи.

Но если мы взглянемъ въ слагающіяся соціальныя отношенія, скрытыя въ глубинѣ народной жизни, если мы присмотримся къ тѣмъ измѣненіямъ, которыя происходятъ въ экономической жизни страны, то увидимъ дальнѣйшее развитіе тѣхъ общественныхъ силъ, которыя вызвали движеніе 1904—6 годовъ.

Главнымъ элементомъ, разлагавшимъ старыя сословныя общественныя отношенія, связанныя съ существованіемъ остатковъ натурального хозяйства, было развитіе въ Россіи капитализма. Новыя капиталистическія отношенія, слагаясь подъ покровомъ абсолютизма, въ самой основѣ подкапывали старый сословный строй, замѣняя экономическое господство сословій экономическимъ господствомъ новыхъ классовъ, крѣпнувшихъ съ развитіемъ капитализма. Въ экономической жизни страны все большую и большую роль стали играть буржуазія и рабочій классъ и ихъ борьба между собой.

Рамки сословнаго строя и полицейскаго государства стѣсняли свободное развитіе производительныхъ силъ и общественное движеніе 1905—6 годовъ являлось попыткой новыхъ народившихся общественныхъ силъ занять подобающее мѣсто въ политической жизни страны. Хотя эта попытка и повела къ организаціи прежде политически пассивныхъ общественныхъ реакціонныхъ слоевъ (дворянства) и къ реакціи, хотя эта реакція знаменуетъ собою политическое преобладаніе реакціонныхъ элементовъ общества, тѣмъ не менѣ соотношеніе экономической силы различныхъ слоевъ общества измѣняется въ совершенно противоположномъ направленіи. При политическомъ господствѣ дворянско-землевладѣльческаго класса продолжаетъ расти экономическая сила и экономическое значеніе другихъ классовъ общества, рожденныхъ капиталистическимъ строемъ,—буржуазіи и пролетаріата.

Политическое господство дворянъ-землевладѣльцевъ, не смотря на всѣ ихъ



усилія, прежде всего, не можетъ удержать уплывающія изъ ихъ рукъ земли, т. е. удержать главное орудіе сословнаго господства. Не смотря на реакцію, послѣ 1904—6 годовъ дворянскія земли продолжаютъ переходить въ руки другихъ сословій, главнымъ образомъ, крестьянъ.

За періодъ 1906—1910 г.г. черезъ посредство крестьянскаго банка въ руки крестьянъ перешло около 5 $\frac{1}{2}$  милл. десятинъ земли.

Путемъ непосредственной продажи крестьянамъ и путемъ посредничества крестьянскій банкъ, согласно видамъ правительства, долженъ укрѣплять единоличное владѣніе крестьянъ землею, чтобы укрѣпить среди крестьянства «уваженіе» къ праву земельной собственности, создать среди крестьянъ слой крѣпкихъ домохозяевъ, которые могли-бы бороться противъ стремленія крестьянъ къ захвату помѣщичьихъ земель.

Если даже допустить, что указанныя задачи правительства достигаютъ этой цѣли, то все таки нужно признать, что переходъ помѣщичьихъ земель въ руки крестьянъ имѣетъ еще и другой результатъ. Ослабляя экономическую основу господства дворянъ-землевладѣльцевъ, покупка земель крестьянами укрѣпляетъ среди нихъ слой мелкихъ собственниковъ, уже независимыхъ отъ землевладѣльцевъ и создаетъ, можетъ быть, относительно, небольшую—группу крестьянской буржуазіи. Какъ бы то ни было, подъ покровомъ реакціи происходитъ процессъ передвижки экономической силы отъ одного общественнаго класса къ другому. Этотъ процессъ, какъ результатъ развитія капитализма, неизбеженъ.

Крѣпостной строй въ Россіи не требовалъ отъ дворянства накопленія. Напротивъ, всѣ получаемые отъ крѣпостного труда продукты должны были потребляться въ той или иной формы землевладѣльцами. Конкуренція не могла вытѣснить помѣщика изъ его имѣнія. Послѣ паденія крѣпостного права дворянскія традиции и привычки остались, между тѣмъ какъ условія товарно-капиталистическаго хозяйства требовали накопленія капитала для борьбы на рынкѣ.

„Благородныя“ привычки „спускать“ все, что получается въ видѣ „дохода“ отъ имѣній, приводятъ къ тому, что группа дворянъ-землевладѣльцевъ, не смотря на покровительство и поддержку правительства, должна уступать свои земли купцамъ, мѣщанамъ и крестьянамъ и поддерживать свой бюджетъ всяческими „безгрѣшными“ доходами, приводящими къ рейнбововщинѣ, интендантскимъ процессамъ и проч., т. е. къ противорѣчію задачамъ современнаго капиталистическаго государства.

Такимъ образомъ, процессъ сокращенія дворянскаго землевладѣнія и его экономического значенія, начавшись послѣ реформы 1861 года, продолжается и теперь, подрывая экономическія основы сословнаго господства.

До реформы 1861 года дворянство владело около 105 милл. дес. Въ 1877 году \*) площадь дворянскаго землевладѣнія сократилась до 73 милл., дес. къ 1887 году до 65 милл. дес. и къ 1905 году до 53 милл. дес. За послѣднее пятилѣт

\*) См. В. Святловскій. Мобилизація земельной собственности, стр. 111.

площадь дворянского землевладѣнія подверглась дальнѣйшему сокращенію.

### III.

Процессъ мобилизаціи сословнаго землевладѣнія является лишь продолженіемъ тѣхъ процессовъ, которые происходили и въ истекшемъ столѣтіи. Послѣ 1905 г. эпоха реакціи вызвала новый процессъ—мобилизаціи крестьянской собственности, раздѣлъ общинныхъ земель.

Указомъ 9 ноября 1906 года о выдѣлѣ изъ общины, на выгодныхъ условіяхъ для выдѣляющихся и на крайне гибельныхъ условіяхъ для оставшихся съ общиннымъ землевладѣніемъ домохозяевъ, дается сильнѣйшій толчекъ къ разложенію общины не только тамъ, гдѣ она уже отжила и нежизнеспособна, но и въ районахъ, гдѣ общинное землевладѣніе является еще наиболее удобной для крестьянъ формой землевладѣнія.

Правительство указомъ 9 ноября 1906 г. и большинство 3-й Государственной Думы, руководимое дворянствомъ, закономъ 14 іюня 1910 года—имѣли въ виду создать слой „крѣпкаго“ крестьянства, которое стало бы бороться противъ стремленія остальной массы крестьянъ къ захвату помѣщичьихъ земель.

Поскольку правительство и большинство Государственной Думы ставило своей задачей разрушить общину и общинныя традиции, постольку эта задача, несомнѣнно, удалась. Община, подъ правительственнымъ давленіемъ, стала быстро разрушаться, и къ 1 іюля 1911 г. число дворовъ, укѣпившихъ свои надѣлы въ личную собственность, превысило полтора милліона.

Въ другомъ мѣстѣ \*) я указывалъ, что разрушеніе общины и созданіе съ одной стороны слоя крѣпкихъ, зажиточныхъ домохозяевъ, съ другой стороны безземельнаго пролетаріата диктовались дворянству экономической необходимостью и выгодами, необходимостью перехода отъ мелкаго аренднаго хозяйства къ батрацкому, основанному на эксплуатаціи не мелкихъ арендаторовъ-крестьянъ, а батраковъ.

Перспектива обезземеленія колоссальнаго количества крестьянъ, выдѣлившихся изъ общины и продавшихъ свои надѣлы, не могла, конечно, испугать законодателей.

Развитіе капитализма вездѣ и всегда несетъ съ собою бѣдствія для массы населенія, служащаго объектомъ эксплуатаціи для владѣльцевъ капитала. Эти бѣдствія удесятерились благодаря реакціи, считающейся съ интересами небольшой кучки лицъ, обладающихъ въ данный моментъ политической силой. Тѣмъ не менѣе съ точки зрѣнія общихъ тенденцій развитія народнаго хозяйства такого рода мѣропріятія, какъ законъ 14 іюня, которыми милліоны хозяйствъ приносятся въ жертву интересамъ меньшинства, не могутъ остановить процесса дальнѣйшаго хозяйственнаго развитія общества, а лишь служатъ однимъ изъ тяжелыхъ этаповъ, созданныхъ временнымъ господствомъ реакціи. Разумѣется, плохое утѣшеніе для милліоновъ голодающихъ въ томъ, что они служатъ удобреніемъ для „хозяйственнаго прогресса“, но въ данномъ случаѣ мы раз-

\*) См. Аграрный вопросъ, т. II.

смаатриваемъ значеніе экономическихъ явленій именно съ этой точки зрѣнія. При другомъ соотношеніи политическихъ силъ экономическое развитіе могло бы сдѣлать огромные шаги какъ разъ путемъ облегченія экономического положенія народныхъ массъ.

Такимъ образомъ, при всѣхъ препятствіяхъ, которыя ставитъ реакція хозяйственному развитію общества, происходитъ разложеніе основныхъ сословій, на которыя опирался старый строй. Крестьянство и дворянство, какъ сословія, разлагаются. Изъ крестьянства формируется съ одной стороны буржуазія, правда малочисленная, благодаря непомѣрной эксплоатаціи крестьянъ путемъ налогового обложенія; съ другой стороны, формируются кадры безземельного пролетаріата, еще не поглощенного промышленностью, бѣдствующаго, но во всякомъ случаѣ не могущаго служить опорой для реакціи.

Капитализація земледѣлія, при всѣхъ неблагоприятныхъ условіяхъ, при колоссальномъ ростѣ государственнаго бюджета и непроизводительныхъ расходахъ ведетъ все таки къ развитію производительныхъ силъ въ земледѣліи. При колоссальномъ увеличеніи производства внутри страны сельскохозяйственныхъ орудій, ввозъ ихъ изъ за границы въ послѣдніе годы возрасталъ въ слѣдующихъ размѣрахъ (за январь—сентябрь):

1907 1908 1909 1910 1911

Простыхъ сельскохозяйств. машинъ на сумму . . .	7.379	10.908	14.705	14.468	16.808
Сложныхъ . . .	7.880	7.500	13.428	15.082	22.771
Частей машинъ.	4.150	4.558	5.591	6.381	8.895

(въ тысячахъ рублей).

Разумѣется, этотъ экономическій прогрессъ созданъ не реакціей, а не смотря на реакцію, не смотря на то, что законодательство реакціонной эпохи принимало всѣ мѣры къ пролетаризаціи сельско хозяйственнаго населенія, а не къ подъему его благосостоянія, къ наиболѣе непроизводительной затратѣ средствъ, получаемыхъ отъ населенія, а не для увеличенія производительности его труда.

Приливомъ денежныхъ средствъ русское земледѣліе обязано повышенію хлѣбныхъ цѣнъ на міровомъ рынкѣ \*) Значительная часть этихъ средствъ идетъ на сельскохозяйственные орудія, вопреки разрушительной политикѣ правительства, увеличивающаго непроизводительное потребление національнаго дохода.

Повышеніе хлѣбныхъ цѣнъ на міровомъ рынкѣ даетъ ежегодно прибавку въ нѣсколько сотъ милліоновъ рублей, главнымъ образомъ, землевладѣльцамъ и зажиточнымъ крестьянамъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ дальнѣйшій толчекъ капитализаціи земледѣлія и увеличенію его производительности.

Вздорожаніе стоимости жизни, вызван-

\*) Здѣсь я не буду останавливаться на причинахъ повышенія хлѣбныхъ цѣнъ, но не могу не указать, какъ легкомысленно и просто объясняется такое явленіе. Многие экономисты объясняютъ повышеніе цѣнъ на хлѣбъ „индустриализаціей“ С. А. Соед. Штатовъ. Словечко найдено, хотя оно ничего не объясняетъ. Въ самомъ дѣлѣ, цѣна каждаго продукта опредѣляется стоимостью его производства, а не тѣмъ, что больше производится другихъ продуктовъ. Но искать дѣйствительныхъ причинъ какого либо явленія гораздо труднѣе, чѣмъ отдѣлаться словомъ, хотя бы имѣющимъ мало общаго съ даннымъ явленіемъ...

ное повыше́ніемъ хлѣбныхъ цѣнъ тяжело ложится на городское населеніе и въ особенности на рабочій классъ. Бѣдствія рабочаго класса должны еще болѣе усилиться благодаря пролетаризаціи массы крестьянства послѣ указа 9 ноября. Инертность и отсталость населенія страны, отдавашаго распоряженіе судьбами страны въ руки реакціонныхъ слоевъ общества, несетъ неисчислимыя бѣдствія для экономически слабыхъ слоевъ населенія. Тѣмъ не менѣе процессъ хозяйственнаго развитія подготавливаетъ почву для европеизаціи и политическаго строя страны...

#### IV.

Другимъ источникомъ, послужившимъ толчкомъ для развитія промышленности въ послѣдніе годы послужили внѣшніе займы.

Это утвержденіе покажется парадоксальнымъ, такъ какъ извѣстно, что заграничныя займы затрачены на непроизводительное потребленіе, главнымъ образомъ, на войну и расходы, связанные съ нею. Тѣмъ не менѣе, при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи значенія внѣшнихъ займовъ будетъ ясною правильность нашего вывода.

Всего государственныхъ займовъ съ 1904 года было сдѣлано на огромную сумму. Государственная задолженность за границѣ увеличилась:

Въ 1904 г. на 270 мил. рублей.		
„ 1905 г. „ 93 „ „		
„ 1906 г. „ 725 „ „		
„ 1908 г. „ 37 „ „		
„ 1909 г. „ 130 „ „		
„ 1910 г. „ 96 „ „		

Большая часть этихъ суммъ растрачивалась непроизводительно.

Но и непроизводительное потребленіе не исчезаетъ безслѣдно. Трудъ рабочихъ, изготовлявшихъ амуницію, оружіе, суда пропалъ для національнаго хозяйства безплодно. Но эти рабочіе, чиновники и другія лица, получая жалованье, затрачиваютъ его на собственные потребности, покупая продукты другихъ отраслей промышленности и земледѣлія.

Такимъ образомъ, непроизводительно затрачиваемыя суммы постепенно передвигаются въ массу населенія, не имѣющаго ничего общаго съ правительственными расходами. Напримѣръ, колоссальныя расходы правительства въ Сибири во время войны привели къ тому, что офицера, чиновники и др. „спускали“ свои и казенныя деньги среди сибирскаго населенія и только черезъ годъ, черезъ два это отразилось на увеличеніи спроса Сибири въ нижегородской ярмаркѣ на мануфактурныя и другія издѣлія.

Наибольшая сумма займовъ была сдѣлана въ 1906 году, но занятый правительствомъ капиталъ могъ только черезъ нѣсколько лѣтъ передвинуться въ руки массы населенія и оттуда въ руки предпринимателей, у которыхъ населеніе покупаетъ продукты и которые получающую прибыль реализуютъ въ средства производства.

Болѣе милліарда рублей, занятыхъ за границей, затраченныхъ непроизводительно и, въ концѣ концовъ, перешедшихъ въ руки различныхъ группъ населенія, при раззореніи одной его части, должны были увеличить даже личное потребленіе тѣхъ, кому они попали, не только лицъ, находящихся непосредственно на службѣ правительства, не только интендантовъ,

но и тѣхъ предпринимателей, которые продавали свои товары для арміи и чиновничества.

Не смотря на раззореніе части населенія, не смотря на дороговизну—должно было увеличиться личное потребление, а съ нимъ вмѣстѣ должно было начаться оживленіе промышленности, поскольку увеличилось личное потребление и поскольку капиталъ, въ концѣ концовъ, перешелъ въ руки предпринимателей.

Извѣстно, что во время общественнаго движенія 1905—6 годовъ, при сокращеніи поступления прямыхъ налоговъ, въ колоссальной степени увеличилось поступленіе косвенныхъ налоговъ и, особенно, по винной монополіи. Это въ извѣстной степени тогда спасло государственный бюджетъ. Увеличеніе потребления произошло главнымъ образомъ на счетъ миллионовъ, занятыхъ правительствомъ, затраченныхъ имъ непроизводительно, поглощенныхъ населеніемъ и потомъ отчасти снова вернувшихся въ руки казны въ видѣ косвенныхъ налоговъ. Этотъ процессъ обращенія занятыхъ капиталовъ продолжается нѣсколько лѣтъ. Капиталы, частью снова вернувшись въ видѣ косвенныхъ налоговъ въ руки правительства, снова идутъ на непроизводительное потребление, снова частію попадаютъ въ руки населенія и т. д. Они таютъ постепенно, какъ весеннія льдины, которыя несутся по рѣкѣ, уплывая далеко отъ тѣхъ береговъ, гдѣ они появились.

Не смотря на то, что реакція дѣлаетъ все возможное для раззоренія страны, экономическія творческія силы народа используютъ все для дальнѣйшаго экономического развитія. Пока вновь прилив-

шіе путемъ займовъ капиталы обращаются въ странѣ, создается промышленное оживленіе, такъ какъ создается спросъ на предметы потребленія, на квартиры, не смотря на ихъ вздорожаніе.

Это оживленіе можетъ продолжаться очень долго, такъ какъ при самомъ непроизводительномъ потребленіи займовъ со стороны правительства, значительная часть ихъ остается въ рукахъ предпринимателей, которые стараются употребить капиталы въ производство.

Внѣшніе займы даже при непроизводительномъ ихъ потребленіи все-таки служатъ толчкомъ для развитія промышленности.

#### V.

Этимъ приливомъ капиталовъ, созданнымъ отчасти внѣшними займами, отчасти болѣе высокими цѣнами за вывозимый за границу хлѣбъ, объясняется промышленный подъемъ послѣднихъ лѣтъ: Увеличился за послѣдніе годы не только привозъ изъ заграницы всевозможныхъ машинъ, но и русская горная и металлургическая промышленность за послѣдніе годы, несомнѣнно оживилась: жизненныхъ силъ народа самая свирѣпая реакція не можетъ задушить и подъ тяжелымъ политическимъ режимомъ, давящимъ на производительныя силы страны, все-таки накаплиются силы для новыхъ общественныхъ отношеній. Разсматривая по десятилѣтіямъ, мы видимъ неуклонное развитіе индустріи и ея значенія.

Это видно изъ слѣдующей таблицы \*):

\*) См. В. Е. Барзаръ. Обработ. прѣм. въ 1909 г. „В. Фин.“ № 50. 1911 г.

Годы:	число заведений.	сумма производства въ тыс. руб.	число рабочихъ въ тыс.
1887	30.888	1.334,5	1.318,0
1897	39.029	2.839,1	2.098,2
1908	39.494	4.906,5	2.668,8

Происходитъ, какъ видно изъ таблицы, не только увеличеніе суммы производства и числа рабочихъ, занятыхъ въ промышленности, но и увеличеніе размѣровъ предпріятій.

На одно предпріятіе приходится:

Годы:	сумма произв.	число рабочихъ:
въ 1887 г. . .	44,2 тыс. руб.	42,9
.. 1897 г. . .	72,8 " "	53,4
.. 1908 г. . .	127,5 " "	69,1

Производительность труда каждого рабочаго также правильно возрастаетъ. Каждый рабочій производитъ въ годъ:

въ 1887 г. . .	на	1,01 тыс. рублей
.. 1897 г. . .	..	1,35 " "
.. 1908 г. . .	..	1,81 " "

Всѣ приведенныя выше данныя говорятъ за то, что, при всѣхъ неблагоприятныхъ условіяхъ, экономическая жизнь страны развивается въ опредѣленномъ направленіи и рано или поздно приспособитъ политическія формы и политическую жизнь къ своимъ потребностямъ.

Но экономическое развитіе не составляетъ еще самоцѣль, независимо отъ того, какъ живетъ людямъ приданныхъ условіяхъ. Въ сельскомъ хозяйствѣ вводятся машины, но крестьяне голодаютъ и мрутъ отъ голода, или бѣгутъ въ города и тамъ понижаютъ заработную плату индустріальныхъ рабочихъ.

Производительность труда въ индустріи повышается, но реальная заработная плата, благодаря повышенію цѣнъ на жизненные продукты, падаетъ и рабочимъ живетъ все хуже и хуже. На-

конецъ, даже внѣшніе займы, внося оживленіе въ промышленность, требуютъ уплаты процентовъ за границу и размѣстившись отчасти по карманамъ предпринимателей, отчасти погибнувши безвозвратно, потребуютъ со стороны всего народнаго хозяйства расплаты. Временное оживленіе спроса на товары, вызванное обращеніемъ иностраннаго капитала, привлеченнаго займами и усиленнымъ вывозомъ хлѣба, сократятся, и производительныя силы страны натолкнутся на препятствія его развитію, созданныя неблагоприятными политическими условіями.

Такимъ образомъ, признавая, что при самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ народное хозяйство въ своемъ развитіи приведетъ къ устраненію этихъ неблагоприятныхъ условій, мы, тѣмъ не менѣе не можемъ сказать, что „все идетъ къ лучшему въ семъ лучшемъ изъ міровъ.“ Напротивъ, при современныхъ условіяхъ трудно найти слой общества, которому „живется весело, вольготно на Руси“, кромѣ, можетъ быть, небольшой кучки современныхъ „господъ положенія“.

И все-таки послѣ анализа русской дѣйствительности не должно быть мѣста пессимистическому, такъ же какъ и оптимистическому фатализму.

Чаще всего приходится встрѣчать безнадёжно пессимистическій взглядъ на русскую дѣйствительность. Реакція кажется столь сильной, жизненные силы общества кажутся такъ разбиты и ослаблены, что только какія нибудь экстраординарныя событія могутъ гальванизировать умирающее общество.

Между тѣмъ анализъ экономическаго развитія страны показываетъ, что даже

экстраординарные событія въ жизни народовъ являются тѣсно связанными съ закономѣрной эволюціей общества и что они являются скорѣе поводомъ, чѣмъ причиной тѣхъ измѣненій общественной жизни, которыя выводятъ ее изъ тупика.

Въ частности, современное положеніе Россіи очень напоминаетъ ея положеніе десять лѣтъ тому назадъ. Промышленное оживленіе страны тогда такъ же какъ и теперь натолкнулось на раззореніе населенія, на отсутствіе внутренняго рынка. Такъ же какъ и теперь вниманіе промышленныхъ классовъ было обращено прежде всего на поиски внѣшнихъ рынковъ, и столкновеніе съ Японіей, даже со стороны либеральнаго общества было встрѣчено сначала націоналистическимъ шумомъ. Объ этомъ обыкновенно теперь забываютъ, припоминая только позднѣйшее недовольство неудачами войны. Тогда, такъ же какъ и теперь, вздорожаніе жизни накопляло недовольство среди служащихъ и рабочихъ, чувствовавшихъ все больше и больше тяготу своего экономическаго положенія. Неудачи русско-японской войны послужили поводомъ для выясненія того недовольства, которое накоплялось въ предшествовавшіе годы.

Нельзя разумѣется предсказать, что послужитъ поводомъ для пробужденія общественныхъ силъ, которыя будутъ стремиться устранить противорѣчіе между современнымъ строемъ жизни и потребностями экономическаго развитія страны. Важенъ во всякомъ случаѣ не этотъ поводъ. Важно то, что соотношеніе реальныхъ общественныхъ силъ, создаваемыхъ хозяйственной эволюціей

общества, измѣняется въ сторону дальнѣйшаго экономическаго и политическаго развитія страны. Этотъ фактъ съ фатальной неизбежностью предрѣшаетъ дальнѣйшія судьбы страны.

Когда въ 90-хъ г. г. прошлаго столѣтія появился въ Россіи марксизмъ, полагавшій надежды на дальнѣйшее развитіе капитализма, какъ на условіе европеизаціи страны и на рабочій классъ, какъ на наиболѣе устойчиваго противника азіатчины, марксистовъ обвиняли въ фатализмѣ, переоцѣнкѣ экономическаго фактора въ исторіи общественнаго развитія. Оглядываясь на прошлое, мы видимъ, что такого рода „фатализмъ“ не помѣшалъ огромному энтузіазму, съ которымъ „фаталисты“ добивались освобожденія отъ азіатчины. То, что называлось „фатализмомъ“—была лишь увѣренность въ томъ, что экономическое развитіе страны даетъ твердую опору освободительнымъ стремленіямъ заинтересованныхъ общественныхъ слоевъ. Если общественное движеніе начала истекшаго десятилѣтія закончилось усиленной реакціей, то это показываетъ лишь, что реальное соотношеніе общественныхъ силъ не измѣнилось еще настолько, чтобы реакціонныя силы были безсильны, хотя бы на время, вернуть свое полное или частичное господство.

Выше мы старались показать, что хозяйственное развитіе общества продолжаетъ идти по тому же пути, какъ и раньше, что реакція можетъ бездольно цѣлые общественные слои общества, можетъ затормозить экономическое развитіе общества, дѣлать это развитіе болѣе болѣзненнымъ для экономически

слабыхъ слоевъ населенія, можеть причинить и причиняеть страданія многочисленнымъ группамъ общества, отдельнымъ національностямъ и т. д., но остановить общественное развитіе, устранить свое собственное пораженіе реакціонные слои общества не въ силахъ.

Разумѣется, неблагоприятныя политическія условія являются огромнымъ тормазомъ экономическому развитію общества, разумѣется, тѣ страданія, которыя терпитъ общество, ничѣмъ не могутъ быть искуплены, но соотношеніе обще-

степенныхъ силъ, создаваемое молекулярными экономическими процессами, измѣняется въ благоприятную для общественнаго развитія сторону, и это даетъ увѣренность въ успѣхъ борьбы съ азіатчиной.

Впрочемъ, слово „азиатчина“ теперь становится анахронизмомъ. Капитализмъ подточилъ въ самомъ сердцѣ „азиатчины“ ея основы, и даже неподвижный Китай отъ нея освобождается...

П. Масловъ.

## СРЕДИ ГОЛОДАЮЩИХЪ.

(Изъ записной книжки).

Бродилъ я въ глуши Х-скаго уѣзда. Однажды ночь застала меня въ степи. Днемъ ѣхать по огромнымъ снѣжнымъ пустырямъ непріятно, а ночью, когда сядетъ на дорогу сѣро-молочная мгла, особенно скверно. Не видишь ничего — ни впереди, ни сзади. Скучно и даже жутко бываетъ тогда.

— До села не доѣдемъ. Шерифъ, — говорю ямщику, — нѣтъ ли гдѣ по близости деревни?

— Амановка въ трехъ верстахъ...

— Вези!

— Бѣдно тамъ, — роняетъ татаринъ.

Знаю. Хлѣба еще достанешь, но только хлѣба. О молокѣ и яйцахъ нельзи теперь мечтать. Но все равно, думаю, только бы въ теплѣ ночевать.

Амановка — длинная и жуткая деревня. Было не болѣе шести часовъ вечера, а въ домахъ далеко не вездѣ свѣти-

лись огни. Большинство крестьянъ, значить, сидѣло впотѣмахъ: керосина купить было не на что.

Шерифъ заѣхалъ къ своему знакомому крестьянину Пахомову.

— Въ кандидатахъ ходилъ, — рекомендовалъ онъ мнѣ Пахомова.

Вхожу въ избу. На постеляхъ лежать человѣческія фигуры. Спрашиваю:

— Что рано спать легли?

— Больныя это, — говоритъ старуха, — вторую недѣлю...

— Чѣмъ?

— Голова, животъ...

Мы расположились пить чай. Пришелъ хозяинъ. Спрашиваю у него о болѣзни его дочерей.

— Докторъ говоритъ: тифъ...

Тутъ и пьютъ и ѣдятъ вмѣстѣ съ тифозными. Куда ихъ отдѣлишь, когда изба одна? „На грѣхъ“ произошло до-



машнее событіе: свинья только что опоросилась, принесла одиннадцать поросятъ. Въ хлѣвѣ мать задавила бы новорожденныхъ,—взяли въ избу и ихъ и ее. Въ маленькой комнаткѣ ночевали мы, тифозныя и свиньи...

Но въ деревнѣ, да еще въ голодающей не до удобствъ. Приходится отдыхать больше въ саняхъ, чѣмъ въ избахъ.

Хозяинъ нашъ, мужикъ лѣтъ 50, съ осанкой и разговоромъ челоуѣка, видаваго виды и знающаго себѣ цѣну. Недавно онъ былъ богатъ. Всего года два, какъ владѣлъ мельницей и лучшимъ домомъ въ Амановкѣ. Теперь чуть не нищій. Сгорѣла до тла въ одну темную ночь его мельница и изба. Еле самъ съ семьей изъ огня выскочилъ. А тутъ подошелъ голодный годъ. Съ 50-ти арендованныхъ десятинъ зерна не собралъ. Послѣднія деньги ухлопалъ на аренду. Но все-таки заплатилъ не все: 26 руб. не доплатилъ землевладѣльцу Х-ому. Просилъ его:

— Отсрочьте! Знаете, какой нынѣ годъ.

— Амнѣ кто отсрочить? — отвѣтилъ тотъ — Я засѣвалъ 1800 десятинъ, ничего не собралъ, — 40.000 р. потерялъ.

Такъ и не отсрочилъ.

— Получилъ повѣстку, — говорилъ мужикъ. — На судъ баринъ зоветъ.

— Какъ же сдѣлаете?

— Не знаю...

Полное разореніе.

— Мука то сейчасъ есть? — спрашиваю.

— Есть малость. Корову продалъ, кунилъ. Да жулики торговцы желудевую

муку въ ржаную прибавляютъ. Смотрите, какой хлѣбъ!

У Пахомова остались только лошадь и свинья. Лошадь едва ли выживетъ — худа, какъ скелетъ, питается исключительно катуномъ (колючей травой). Если продышетъ зиму, то весной ее вша заѣстъ. Это обычная исторія въ голодные годы. Пахомовъ уже спрашивалъ сосѣднихъ башкиръ, сколько дадутъ. Тѣ осмотрѣли скелетъ и огорчили хозяина: — „Три цѣлковыхъ“.

— Шкура стоитъ четыре, — возразилъ онъ. „Да шкура то плохая“, — нашли тѣ.

— Прогнѣвали Господа, — говорилъ Пахомовъ за чаемъ...

Онъ, впрочемъ, старается не останавливаться на печальномъ настоящемъ. Я замѣтилъ, что больше возвращался къ прошлому. Прошлого его было хорошее, онъ любилъ и могъ долго говорить о немъ.

— Выборщикомъ въ первую Думу былъ, — не безъ оттѣнка гордости сообщилъ онъ мнѣ.

— Вы?

Станнымъ казалось, что выборщикъ нищій. Я какъ-то забывалъ, что онъ былъ раньше богатъ.

— Однимъ голосомъ въ первую Думу не прошелъ... Былъ бы членъ Государственной Думы... Сколько они получаютъ?

— Больше трехсотъ...

— Въ мѣсяцъ?

— Да.

— Ой-ой-ой!

А онъ получаетъ „фунтовья“ и ждетъ не дождется кормовыхъ по пуду на ѣдока въ мѣсяцъ.

— Нужда, — говорить, — подъ горло подступила... Я и въ третью Думу тремя голосами только не прошелъ. Не судилъ Богъ...

Мы заговорили объ общественныхъ работахъ.

— Участвовали вы?—спрашиваю.

— И тутъ со мной несчастье. Въ спискахъ поставили. Но какъ разъ въ городѣ на это время судъ назначили, а я съ 1890 года состою присяжнымъ. Меня и потребовали. Амановцы наши всѣ пошли на работу, а я къ богачу на дорогу деньги занимать. Жена, дѣти плачутъ: „Что будемъ ѣсть?“ говорятъ. А я молчу, не знаю, что сказать имъ въ утѣшеніе. Какъ въ острогъ пошелъ. Конечно, пѣшкомъ...

— Пѣшкомъ? Тутъ 150 верстъ!

— Нанять лошадей не на что. Пять дней шелъ, чернымъ хлѣбомъ питался. Пришелъ... Остановился на постояломъ дворѣ. Другимъ присяжнымъ чай въ судѣ разносятъ, бутерброды даютъ, а я боюсь взглянуть, отказываюсь. Въ перерывъ иду на Толкучку, тамъ лапши на три копейки спрошу и ѣмъ. Судъ былъ долгій, затяжной,—недѣли три. Какъ ни дешево жилъ, а израсходовалъ рублей 12. Прихожу потомъ въ волость, говорю старшинѣ: оплати! Бросилъ онъ мнѣ десятку. Больше не даетъ. Своихъ не доложилъ и общественныя работы прозѣвалъ,—такой грѣхъ. Вотъ тутъ и служу государству!

Мы уже ложились спать, какъ Пахомовъ сообщилъ, что онъ былъ за границей. Я удивился.

— Въ Турціи былъ. Оттуда проѣхалъ

въ Іерусалимъ. Хотѣлось все видѣть. Въ Москвѣ и Петербургѣ побывалъ.

Онъ долго, съ особенной любовью рассказывалъ мнѣ о своихъ путешествіяхъ. Видимо, этотъ періодъ его жизни былъ для него свѣтлымъ періодомъ. Потомъ мы замолчали, былъ уже часъ ночи. Я засыпалъ, какъ услышалъ его ровный, спокойный голосъ:

— А что я васъ спрошу? Что такое террористъ?

Я объяснилъ.

— Судили мы одного молодчика,—говорилъ онъ,—деньги выманивалъ. Писалъ письма: клади столько то въ такое то мѣсто...

— Это, должно быть, простой мошенникъ,—говорю.

— Ишь ты! И я думалъ, что простое мошенство. А прокуроръ все твердилъ намъ: „террористъ, террористъ“. Только запуталъ насъ.

Свѣтъ лампы падалъ на его лицо. Я видѣлъ, что мужикъ крѣпко думалъ о чемъ то. Вопросъ о террористѣ былъ однимъ изъ многихъ его недоумѣній. Ему о многомъ, видимо, хотѣлось разспросить, многое разузнать, на многое пожаловаться...

— „Кто въ нашу глушь заѣзжаетъ?“—говорилъ онъ.—Людей не видимъ. Вотъ уѣдете вы и опять, какъ въ колодезь меня опустятъ.“

О голодѣ, о больныхъ дѣтяхъ, о томъ, что баринъ продастъ за долгъ его послѣднюю лошадь и скоро ему нечего будетъ съ семьей ѣсть—онъ не думалъ. Можетъ быть, просто отмахивался отъ горькихъ думъ...

Утромъ кое-какъ нашелъ себѣ одну

лошадь. Долго искалъ. Лошадей хорошихъ, т. е. сытыхъ не было. Были какія то тѣни. Пахомовъ грустный ходилъ около меня:

— Я бы васъ самъ отвезъ, — говорить, — да, видите!

Показываетъ на свою лошадь. Она понуро жуеъ катунъ.

Выѣхали. Проѣхали версты двѣ и остановились. Пошли пѣшкомъ рядомъ съ лошадью. Ямщикъ былъ смущенъ и жаловался на „времена“:

— Съ катуна далеко не уѣдешь.

Въ изобиліи катунъ вырастаетъ только въ голодные годы. Такъ, по крайней мѣрѣ, замѣтили крестьяне. Роль его въ мужицкомъ хозяйствѣ „провокаторская“. Скотъ жуеъ его, хотя онъ бываетъ сухой и колючій, но переварить не всегда можетъ. Здѣсь поэтому повсемѣстный падежъ лошадей.

— Рогатый скотъ ничего, терпитъ, но лошади, особенно тощія, не выдерживаютъ... околѣваютъ. Колючки впиваются имъ въ желудокъ.

Въ одномъ селѣ я видѣлъ лошадь, которую кормили этимъ ядомъ. Ротъ у ней ободранъ, въ крови, на языкѣ волдыри.

Мнѣ хотѣлось знать, что думаетъ Амановка о Пахомовѣ. Я спросилъ о немъ ямщика.

— Мужикъ правильный, — отвѣтилъ ямщикъ, — книгу пишетъ.

— Какую книгу? — изумился я.

— Не знаю, какую... А только каждый день пишетъ...

Вспоминаю, что Пахомовъ утромъ хотѣлъ мнѣ что то сказать. Видъ у него былъ такой. Но такъ и не сказалъ. Не о книгѣ ли своей?

Что эта за книга, такъ я и не узналъ. Можетъ быть, стихи? Это подходило бы къ нему...

## II.

Маета, а не жизнь. Все чистое, возвышенное въ этой суровой жизни умираетъ, какъ нѣжный цвѣтокъ въ холодную ночь.

— Развѣ мы живемъ, — говорила мнѣ одна старуха - хохлушка, — отживаемъ...

Бурая Волга какъ будто крышкой накрыта. Это тяжело повисъ надъ ней сухой туманъ. Падаютъ хлопья снѣга и застилаютъ черную поверхность земли. Скоро зима...

— Дойдемъ ли до Тетюшъ? — спрашиваю я въ Казани агента пароходства.

— Авось проскочимъ.

Около насъ стоитъ деревенскій паренъ и растерянно говоритъ:

— А я куда дѣнусь?

Одѣтъ онъ въ легкую казинетовую поддевку: ежится отъ холода и отъ своихъ невеселыхъ, безпокойныхъ думъ.

— Тебѣ куда надо? — спрашиваю у него.

— На Пермь.

— Опоздалъ, голубчикъ! По Камѣ пароходы уже не ходятъ.

— То-то и оно-то... А я съ женой домой собрался.

Думаю: кто же сейчасъ идетъ въ деревню? Изъ деревни бѣгутъ.

— У васъ неурожай?

— Да.

Ему, видимо, хочется кому нибудь пожаловаться на судьбу. Онъ началъ рассказывать прерывистымъ, запутаннымъ языкомъ. Какъ онъ хорошо работалъ гдѣ-то, но приближала къ нему съ голодухи

жена съ ребенкомъ. Ребенокъ сталъ кричать, надрыватьсь. А жену „съ того взяло мнѣнье“. Пойдемъ, говоритъ, домой. „Можетъ, тамъ батюшка съ матушкой съ голода кончаются?“ Пристала. Вывалилась у него изъ рукъ работа... Снялись они и поѣхали. А въ Казани вотъ и застряли. И денегъ у нихъ нѣтъ, и „ребенокъ все кричитъ“.

Богъ знаетъ, что онъ говорить. Несуразный какой то, на смерть перепуганный. Я силюсь ему объяснить, что зря онъ это сдѣлалъ—ушелъ съ работы. Но онъ, видимо, ничего не понимаетъ. И чувствуется мнѣ въ то же время, что правда на его сторонѣ. Ребенокъ кричитъ, вся жизнь деревенская крикомъ кричитъ и мается. Сырой туманъ гнететъ ее все ниже и ниже.

— „Что я буду дѣлать?“

И никто не знаетъ, что онъ будетъ дѣлать. Можетъ быть, умереть на дорогѣ съ голоду, можетъ, сойдетъ съ ума отъ крика ребенка. Или еще что случится плохое. Непремѣнно плохое...

Это апофеозъ деревенской маеты. Жизнь, въ которой потеряны смыслъ и логика.

Тутъ же рядомъ вспоминаю самарскаго мужика Ѳедосова. Большой онъ, грузный человѣкъ, „серьезный“, какъ его называли мнѣ въ деревнѣ. Вѣчно молчитъ, о чемъ то сосредоточенно думаетъ. Какъ будто несетъ онъ на себѣ тяжелое бремя чужихъ грѣховъ и знаетъ, что никогда съ него этого бремени не снимутъ. Развѣ наложутъ еще.

Вросъ онъ въ землю корнями. Работалъ, какъ волъ, не зная усталости. И думалъ, что работой обезпечить себѣ и

семьѣ кусокъ хлѣба. Но пришелъ Царь-Голодъ и отнялъ у него эту надежду. Сталъ мужикъ распродавать скотину. Распродалъ. Проѣлъ. Что же дальше? Маленькія дѣти, одинъ грудной...

Поплакали они съ женой, и надѣлъ онъ суму.

Стучить въ одинъ домъ, отказываютъ. Изъ другого кричатъ:

— Лоботрикс! Дармоѣдъ! Много васъ здѣсь шляется!

Въ третьемъ приняли. Тамъ знали мужика. Обогрѣли. Посадили ужинать. Сидитъ Иванъ,—тяжело у него на сердцѣ. Неловко, непривычно просить милостыню. Рассказываетъ онъ о своемъ горѣ. Его жалѣютъ.

— Наши дѣды и отцы, — говорилъ онъ,—всегда жили своимъ трудомъ— „по міру не ходили.“ Стыдъ, срамъ...

Заплакалъ.

А потомъ вдругъ всталъ изъ за стола и пошелъ изъ избы.

— Ты куда?

— Сейчасъ приду.

Ждутъ его—нѣтъ. Пошли на дворъ. А онъ на уздечкѣ виситъ, хрипитъ. Сняли, привели въ чувство.

— Что ты, Иванъ, надѣлалъ?

— Подъ сердце подступило.

Въ селѣ въ то время былъ рекрутскій наборъ. Доложили о печальномъ случаѣ „начальству.“

— Нельзѣ ли помочь изъ казенныхъ средствъ?

Но „казенныхъ средствъ“, какъ водится, не оказалось. Собрали между собой „господа“ рублей пять и сунули Ѳедосову. Впрочемъ, одинъ изъ „господъ“, открыто пожалѣлъ, что Ѳедосовская.

„затѣя“ окончилась для мужика благополучно...

Сейчасъ Ѳедосовъ дома, „по—міру“ не ходитъ, послалъ вмѣсто себя ребятъ, тѣ ходятъ. О немъ самомъ забыли. Да и нечѣмъ ему помочь. Изъ какихъ средствъ? Онъ не боленъ и работоспособенъ.

Сидитъ онъ и думаетъ. О чемъ—Богъ его знаетъ. Можетъ быть, опять „подъ сердце у него подступаетъ“ и черную думу думаетъ онъ...

Матвѣй Кривцовъ изъ Бугурусланскаго уѣзда сдѣлалъ иначе. Былъ онъ степенный, трудолюбивый мужикъ, но увидалъ, что нѣтъ возможности жить безбѣдно крестьянскимъ трудомъ, и махнулъ рукой на родину и даже на семью. Родина не мать, а злая мачеха. Пропилъ „душу“, надѣлъ котомку и простился съ семьей:

— Иду въ Сибирь! Богъ съ вами!

И какъ въ воду канулъ. Семья—пять человѣкъ. Шестой скоро родится. Ёсть совершенно нечего. Взялъ къ себѣ братъ. Кормилъ. Но потомъ долженъ былъ отказать:

— Какіе у меня достатки, сама, се-стра, видишь! Проживемъ все, придется мнѣ по міру идти. Лучше ступай ты, собирай!

Обрядила она ребятъ,—ходятъ всѣ и просятъ.

Въ другой такой же семьѣ, оставленной мужикомъ, присоединилось другое несчастье: лошадь украли. Ёсть нечего. Надо было собирать подъ окнами. Но кого изъ семьи послать? Рѣшили послать старую, больную бабушку. У ней

давно болѣли ноги, она еле ходила. И послали.

Вышла старуха, шатается. Пошла куда то и не пришла. Гдѣ она,—Богъ ее знаетъ.

Маета, а не жизнь.

— Мается народъ, стонетъ...

Грань, отдѣляющая жизнь отъ смерти, совсѣмъ стерта. И всѣ человѣческія понятія и самая человѣчность принимаютъ въ этой маетѣ уродливое счертаніе.

— Умерли у меня въ приходѣ три женщины,—сообщилъ одинъ священникъ.

— Неужели отъ голода?—спрашиваю.

— Позвали онѣ меня для исповѣди,—разсказывалъ онъ,—вижу лежать, не могутъ двинуть рукой. „Что съ вами?“—говорю.—„Ёсть нечего, батюшка“. Причастилъ я ихъ, исповѣдывалъ, а потомъ... и схоронилъ,—онъ говорилъ это шопотомъ, съ ужасомъ въ лицѣ.

— Звали доктора?

— Нѣтъ, не обращались.

— Отъ какой же, по вашему, болѣзни онѣ умерли?

— Не знаю... Жаловались онѣ только на одну слабость, а она явилась, знать, отъ голода.

— И никто не помогъ имъ кускомъ хлѣба?

— Нанесли имъ пироговъ, когда было поздно... не ѣли ужъ онѣ, умирали. Много у насъ такихъ семействъ,—сказалъ священникъ.—День ѣдятъ, день нѣтъ. Какъ живутъ, Богъ ихъ знаетъ.

Другой случай разсказалъ мнѣ священникъ с. Кузьминовки, Стерлитамакского уѣзда.

Двѣ старухи въ своихъ семьяхъ были „обузой“. Работать не могли, а пищи

требовали. Когда пришелъ голодъ, онѣ стали уже совершенно лишними. Имъ твердили:

— Хоть бы вы умерли...

И старухи сами желали своей смерти. Но она все не приходила.

Ихъ стали „обносить“. Ребятамъ дадутъ по куску, сами хозяева тоже пожуютъ, а о старухахъ забудутъ. И дѣлалось это не потому, что сознательно хотѣли уморить голодомъ. Нѣтъ. Просто нѣтъ хлѣба. Есть въ сусѣкѣ пудъ, но это послѣдній пудъ. Съѣдятъ его,—надо будетъ вести на базаръ послѣднюю лошадь, продавать ее за 6—7 рублей. Съ этой лошадью закрывался для семьи горизонтъ. Помощи нѣтъ ниоткуда. Отсюда и явились отчаяніе и ожесточеніе:

— Старухамъ можно и не давать ѣсть. Имъ все равно надо помирать.

И не давали. Можетъ быть, давали, но не каждый день. Предпочитали кормить дѣтей, которыя все-таки будутъ когда нибудь работниками. Старухи, разумѣется, заболѣли. Легли отъ истощенія въ постель и стали умирать. Въ семьѣ крестились.

— Слава Богу! Лишній ротъ съ плечъ долой!

Больныя пожелали причаститься. Священникъ спросилъ ихъ:

— Что съ вами?

— Голодно, батюшка, чувствуемъ слабость...

— Давно ѣли?

— Вчера кусокъ сынъ далъ, пожалѣлъ. Ему тоже, кормильцу, немоготу, хлѣба то нѣтъ, а семья—вонъ кака!

Священникъ принесъ умирающимъ

хлѣба. Зашелъ послѣ, а старухи ему говорятъ:

— Хлѣбъ то твой ребятенки, внуки, растаскали. Голодные, вѣдь... Не успѣли куска въ ротъ взять...

Онъ снова оставилъ имъ хлѣба. Но имъ опять попалъ только кусокъ—остальное ребята расхватили, вырвали изъ слабыхъ рукъ бабушекъ. Священникъ еще разъ принесъ,—та же исторія.

У него на глазахъ произошла такая картина. Онъ даетъ умирающей пирога, а ребята вырываютъ изъ рукъ. Старуха защищается, не даетъ, бранится, спѣшитъ упрятать въ ротъ. А ребята рвутъ...

Въ концѣ концовъ, онѣ умерли.

Объ одномъ мужикѣ я слышалъ такой же рассказъ:

— Ъсть было нечего... Истошаль. Легъ... Умеръ. Сосѣди узнали, что онъ умираетъ отъ голода, только тогда, когда исправить было нельзя. Принесли хлѣба, а ему уже было ничего не нужно...

И много такихъ простыхъ до ужаса, нисколько не выдуманныхъ рассказовъ вы услышите сейчасъ въ деревнѣ.

У насъ и голодають просто, не замѣтно. И умирають съ голода также не эффектно. Стараются не ставить начальство голодомъ и смертями въ неловкое положеніе...

### III.

Помню стараго хохла. Онъ сидѣлъ въ шубѣ въ своей промерзшей, сырой землянкѣ и горько плакался:

— Зачѣмъ поманули насъ? На старинѣ хоть мало было земли, зато мы сыты были. А тутъ что! Сидишь въ своей конурѣ, одинъ въ полѣ, и дума-

ешь: забудутъ, какъ пить дадутъ, забудутъ. Снѣгоги занесло, почитай, подь самую крышу—кто мени найдетъ? Да и кому до мени дѣло? Деревню или село не пройдутъ съ помощью мимо,—деревни всѣ на счету, на картахъ значатся. А наши хуторишки: одинъ тутъ, другой тамъ, разбросаны по степи... Какъ засиженны мухами пита. Никто ихъ не знаетъ...

— Ну какъ же такъ,—пробую успокоить,—и вамъ учетъ ведется. Налоги съ васъ спрашиваютъ, не пропускаютъ же?

— То налоги. А съ помощью пройдутъ и не замѣтить. Сколько страховъ у насъ тутъ. Что подѣлаешь, дѣти... Торчимъ постоянно въ волости, все о себѣ напоминаемъ: не забудьте, молъ! А они спрашиваютъ: „Да ты кто такой будешь?“ Объясняешь имъ, что Сидоръ, молъ, Поликарповъ, съ Елизаветинскихъ хуторовъ. — „Много васъ тамъ, развѣ упомнишь?“ Разъясняю имъ, а самъ думаю: забудутъ, обойдутъ, хуторъ — не деревня.

Туго приходится хуторянамъ. Голодъ въ конецъ разорилъ ихъ.

Кое гдѣ хуторянъ зовутъ „столыпинскими помѣщиками“. Здѣсь знаютъ покойнаго министра. Характеризуютъ его такой фразой:

— „Собственность не выдумалъ“.

Поминаютъ его имя нерѣдко, хотя не всегда добродушно...

„Столыпинскимъ помѣщикамъ пережить этотъ годъ, кажется, труднѣе, чѣмъ общинникамъ. У тѣхъ и другихъ ничего не родилось. Нѣтъ у нихъ и запасовъ. Этимъ всѣ преимущества хуторскаго

хозяйства передъ общиной сведены на нѣтъ.

Но „на людяхъ и смерть красна“. „Въ міру и горе легче“. Община больше приспособлена къ продовольственной помощи, чѣмъ хуторъ. На хуторахъ нельзя устроить столовой. Какъ будутъ ходить голодающіе въ бураны или морозное время за 4—5 верстъ? Трудно тамъ организовать и общественныя работы. Если вдали отъ хутора, то работы не будутъ достигать цѣли. А вблизи, пожалуй, не найдешь такой работы, которая была бы цѣлесообразна для группы хуторовъ. Работать же для одного хуторянина было бы смѣшно. Одну ссуду можно раздавать хуторянамъ.

— Кормовыя привезутъ,—слышу я голосъ старика,—въ деревнѣ всѣ узнаютъ. А намъ кто сюда въ сугробъ доложить?

Составители закона 9 ноября не думали о голодѣ. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ, приспособлять къ нему форму крестьянскаго землеустройства. Голодъ, принято думать, ненормальность, исключительное явленіе. А, между тѣмъ, онъ сталъ уже обычнымъ дѣломъ.

— Лучше жить хуторами?—спросилъ я у хохла, живущаго „какъ панъ“ на своихъ 30 десятинахъ.

Онъ былъ новоселъ. Свою землянку поставилъ дождливой осенью, поэтому въ хатѣ его сырость, слякоть. Семья сидитъ въ шубахъ, кашляетъ. Съ потолка, сдѣланнаго изъ хвороста съ землей, льетъ вода. Полъ земляной, сырой. Ко всѣмъ этимъ прелестямъ хуторской жизни присоединился голодъ. Семья сидѣла „на картошкѣ“.

— По нашимъ мѣстамъ,—отвѣтилъ хо-

хоть,—мы вотъ чего желали бы... Соединить всѣ наши земли вмѣстѣ и построить деревней... Эхъ, хорошо было бы! Земля у насъ жирная, богатая... міромъ мы бы гору своротили.

— А землю череполосно?

— Конечно...

Вотъ идеаль „столыпинскаго помѣщика“.

Въ Оренбургскомъ уѣздѣ мнѣ по пути попались семь „Холодковскихъ хуторовъ“. Здѣсь хохлы также сидятъ больше „на картошкѣ“ и жалуются:

— Продовольственной ссуды намъ не выдаютъ.

— Почему?

— Уѣздный съѣздъ отказалъ. Говорить: „Вы въ спискахъ не значитесь“. Мы, оказывается, еще къ волости не приписаны...

— Какъ такъ?

— Поселились мы нынѣ лѣтомъ, купчую совершили въ іюнѣ. Думали, что сама волость насъ къ себѣ припишетъ. Анъ нѣтъ,—мы сами должны хлопотать.

Я вспомнилъ стараго хохла и его слова: „Забудутъ насъ, обойдутъ, не найдутъ въ сугробахъ!“ Вѣрно.

Въ одной деревнѣ мнѣ встрѣтился любопытный типъ „столыпинскаго помѣщика“.

— Всѣ мытарства прошелъ,—говорилъ онъ.

Я засталъ уже послѣдній фазисъ его мытарствъ.

— Сейчасъ лошадь свою зарѣзалъ и ободралъ. Шкуру продамъ.

— Зарѣзалъ?—удивился я.

— Да... Все равно околѣла бы. Катунемъ кормилъ, не выдержала.

— Хоть бы башкирамъ продалъ?

— Не берутъ. Больно тоща, гогорятъ. Давали три рубля, не отдали. Шкура стоитъ 4 рубля.

Хороша лошадь, если башкиры на мясо не покупаютъ.

— Она меня кормила. Побираться на ней ѣздилъ. Теперь не знаю, что дѣлать. Семь человѣкъ дѣтей...

Мужикъ молодой, съ виду здоровый.

— Какой у тебя надѣлъ?

— Земли у меня нѣтъ совсѣмъ. И избы нѣтъ. На квартирѣ съ семьей живу. Плачу 25 копѣекъ въ мѣсяць.

Совсѣмъ недавно онъ былъ „помѣщикомъ“. Исторія его такова:

— Орловскіе мы, изъ Малоархангельскаго уѣзда. Была у насъ „душа“, 2 десятины. Показалось тѣсно, свободы хотѣлось. А тутъ слухъ прошелъ, что, если не выйдемъ на струба, землю отъ насъ возмутъ, а самихъ на Амуръ угонятъ. Изъ волости слухъ пушали. Отрубился я, а потомъ продалъ землю по 250 р. за десятину и ушелъ вотъ сюда. Купилъ здѣсь 30 десятинъ. Какъ разъ были все голодные годы. Вижу я, дѣло плохо, кормиться нечѣмъ, хоть земли и много. Прдалъ 30 десятинъ за 400 р. и ушелъ съ семьей въ Верхнеуральскъ. На покупку земли денегъ у меня уже не хватило. Занялся арендой. Снялъ 15 десятинъ у войскового правленія и засѣялъ. Но три года подъ рядъ ничего не родилось. Одинъ лишь годъ взялъ 10 пудовъ съ десятины. Чго дѣлать? Отощалъ уже я, обнищалъ. Нѣтъ силъ больше держать землю. Просилъ я все и вернулся сюда, въ Новониколаевку. По дорогѣ сына тринадцатилѣтнаго от-



Даль въ работники. Все таки хотъ одинъ ротъ съ плечъ долой. Гдѣ онъ теперь, не знаю, оставилъ его у Красной Мечети...

— А тутъ что дѣлалъ?

— Ничего. Работы нѣтъ никакой. Пришелъ и побираться сталъ. Да вотъ лошадь послѣднюю пришлось зарѣзать. Теперь хотъ умирать.

Вспомнилась мнѣ дѣтская сказочка. Мужикъ промѣнялъ золото на лошадь, лошадь — на свинью, свинью — на гуся, гуся — на иголку... А иголку, кажется, потерялъ. Жизненная сказочка.

— А что я васъ спрошу,— обратился бывшій „помѣщикъ“ ко мнѣ.— Дадутъ ли мнѣ продовольственную ссуду?

Вспоминаю Холодковскихъ хохловъ.

— Къ волости приписанъ?

— Здѣсь, нѣтъ. Можетъ, въ Камардиновкѣ не выписали?

— Если не приписанъ, то ничего не получишь.

— Тогда какъ же?— растерянно бормоталъ мужикъ.— Умирать?

Если его и не выписали въ Камардиновкѣ, то ссуды, пожалуй, онъ все-таки не получитъ. Отдать ес не изъ чего,— земли нѣтъ.

— И еще хочу я васъ беспокоить,— сказалъ онъ.— Душу себѣ буду просить у начальства,— дадутъ ли?

— Дадутъ,— говорю, чтобы успокоить несчастнаго.

Отчего бы гдѣ нибудь его и не при-  
ткнуть къ общинѣ? Мужикъ—работникъ.

— Да вѣдь, опять „отрубисься“ и уйдешь,— говорю ему шутливо.

— Нѣтъ уже довольно, помыкался по

бѣлу свѣту. Гдѣ ужъ намъ, нищимъ, помѣщиками быть?!

Та же безотрадная картина и у уральскихъ переселенцевъ. Тутъ тоже людей „поманули“.

Трудно представить болѣе жалкое и печальное явленіе, чѣмъ переселенцы. Они жертвы нашей несуразной переселенческой политики. Мученики за чужіе, бюрократическіе грѣхи...

— У васъ нынѣ неурожай?— спрашивалъ я въ поселкахъ.

— Полный. Ни зерна не взяли.

— А въ 1910 году?

— Тоже былъ неурожай.

— Въ 1909?

— Тоже.

— Въ 1908?

— Родилось, но все сусликъ поѣлъ. Мы только что тогда пришли и сѣяли мало.

— Но урожай здѣсь можетъ быть?

— Нѣтъ,—увѣряли меня,— земля у насъ неродючая.

— Зачѣмъ же ее выбрали?

— Ходоки наши зимой были, не доглядѣли. Поманули насъ. Насказали небылицъ. Въ переселенческой книжкѣ мы читали: если 30 фунтовъ проса посѣять,—400 пудовъ сберешь. А мы зерна не видали. Прямо обманъ.

Въ Россіи они имѣли мало земли, но были все-таки на своей родной почвѣ. Кое-какъ жили, съ голоду не могли умереть. Здѣсь, въ Киргизской степи, имъ сразу дали по 15 десятинъ на душу. Богатство, о которомъ они никогда мечтали. Имѣть 45—60 десятинъ,—это ли не жизнь? Паны. Надо только „робить“. Но тутъ и произошла „заминка“.

— Силовъ нѣтъ пахать, — говорятъ хохлы.

Чтобы спяхать десятину „цѣлины“, надо имѣть 6—8 быковъ. Но, напримѣръ, въ Ивановскомъ поселкѣ 10 семей совершенно безъ всякаго скота. Эти „паны“, имѣющіе по 60—75 десятинъ, живутъ исключительно подачками, и въ крестьянскомъ смыслѣ люди безнадѣжные. Остальные имѣютъ, кто лошадей, кто пару быковъ. Никто, слѣдовательно, не можетъ распахать „цѣлину“ одинъ.

— Пашете же вы что-нибудь?

— Какъ же, пашемъ... старую, киргизскую распашку. Тамъ земля мягкая, намъ легко.

Иные и этого не дѣлаютъ. Просто идутъ бороной по киргизской мякоти, сѣютъ. И по наивности думаютъ, что земля имъ будетъ родить съ 30 фунтовъ 400 пудовъ. „Цѣлина“ остается почти непашанной.

За четыре года въ Ивановскомъ распахали что то около 50 десятинъ изъ 8000 дес. „цѣлины“. Только всего. Это весь вкладъ въ культуру.

— Какъ же вы пахали?

— Собирались 3—4 хозяина, складывали быковъ и пахали.

Киргизы и казаки берутъ только 5—6 рублей за распашку десятины.

— Но у насъ денегъ нѣтъ, — возражали хохлы, — обманули насъ, разорили...

Земледѣліе ихъ „россійское“, хищническое. Даже не трехпольное. Дѣленіе на три поля здѣсь еще въ большинствѣ поселковъ не введено. Просто, кто гдѣ приткнется, тамъ и сѣетъ. Дѣлятъ клины на доли. Сѣютъ до изнеможенія земли. Откровенно рассказываютъ:

— Сѣяли мы три года подъ рядъ на одномъ и томъ же мѣстѣ.

До нихъ тамъ киргизъ сѣялъ. Тоже, небось, лѣтъ 5. Взяли изъ земли всѣ соки и негодуютъ:

— Земля у насъ неродючая. Все неудобіе... Обманули насъ...

— Гдѣ же вы теперь посѣяли?

— Пробуемъ новый клинъ. Но которые немогущіе, тѣ посѣяли опять на старомъ мѣстѣ...

Такихъ „немогущихъ“ болѣе половины. У нихъ и на слѣдующій годъ будетъ голодъ. Впрочемъ, тутъ у всѣхъ будетъ голодъ. Не можетъ не быть голода.

— Сколько вы засѣяли? — спрашиваю.

— Своихъ сѣмянъ у насъ не было. Дала намъ казна по 5 пудовъ ржи на обмѣненіе. Этимъ мы и засѣялись.

— Сколько же десятинъ?

— Одну..

— Всѣ посѣяли?

— Нѣтъ. Многие размололи и сѣли... Ъсть то, вѣдь, было нечего.

— Какъ же они будутъ жить въ будущемъ году?

— Надѣются на весеннюю сѣменную ссуду.

— Но, вѣдь весной, тоже будетъ ѣсть нечего?

— Что жъ? Съѣдимъ и весеннюю ссуду. Казна поможетъ: она насъ сюда вызволила, — обязана, значить и помогать.

Говорятъ съ оттѣнкомъ явнаго озлобленія. Большую хозяйственную несостоятельность трудно представить. Всѣ 49 семей Ивановскаго поселка засѣютъ приблизительно 80 десятинъ изъ 8,100. Ясное дѣло, что у нихъ будетъ недоста-

токъ хлѣба, если бы даже онъ родился. Но переселенцы увѣрены, что хлѣбъ не родится. Съ этой увѣренностью они пахутъ и сѣютъ. Конечно, такъ и пахутъ и сѣютъ...

— Если не будетъ засухи,—говорятъ они,—то обязательно придетъ сусликъ съ пустыхъ киргизскихъ степей и уничтожитъ посѣвъ.

Въ первый годъ они держались гордо. Надѣялись.

— Нынѣ плохо, въ будущемъ году будетъ хорошо.

Но когда и 1910 годъ оказался неурожайнымъ, переселенцы стали падать духомъ:

— Мы приѣхали пановать, а придется съ сумой идти!.. Обманъ!..

1911 годъ окончательно оборвалъ всѣ нити, связывающія ихъ съ землей. Они теперь не вѣрятъ ни въ землю, ни въ себя. Нѣтъ имъ охоты трудиться. Даже говорить о „неродючей“ землѣ противно.

Одна мысль у уральскаго переселенца:

— Уйти отсюда.

Многіе уже ушли. Вѣрнѣе, въ паникѣ бѣжали. Унесли остатки того, что принесли изъ „Рассей“. Но нѣкоторые изъ нихъ вернулись обратно.

— Тутъ плохо, а на родинѣ еще хуже... Здѣсь хоть кормятъ.

Но большинству уйти нельзя. Безъ денегъ съ мѣста не сдвинешься. Голодные годы унесли скотину и всѣ старые „рассейскіе“ запасы.

Переселенцы перестали уже смотреть на землю. Нечего отъ нея ждать. Смотрятъ въ руки переселенческимъ чиновникамъ.

— Не дадутъ ли чего?

Выработалось даже убѣжденіе:

— Должны дать.

Если долго не дадутъ, то переселенцы, говорятъ съ озлобленіемъ:

— Завезли и бросили.

— Киргизамъ же не даютъ,—говорилъ я переселенцамъ.— А голодъ у нихъ такой же?

— Киргизы не русскіе. Имъ зачѣмъ давать?

#### IV.

Мы заблудились ночью въ безконечной бѣлой степи.

— Если поѣдемъ сыртомъ, то на часъ раньше поспѣемъ.

Поѣхали сыртомъ и не приѣхали совсѣмъ.

Ночь. Морозъ градусовъ 15. Ёдемъ „безъ путя“, черезъ озими, по овражкамъ, натыкаемся на плетень. Жилье. Залаяли собаки. Мы въ деревнѣ. Оказалось, живутъ чуваші. На „казенной квартирѣ“ спалъ пьяный хозяинъ.. Около него — пьяная же жена и, можетъ быть, такіе же пьяныя дѣти...

— Богатый,—говоритъ съ завистью провожавшій меня чувашъ.

Поѣхали въ училище. Учитель тоже чувашъ. Совсѣмъ мальчикъ, съ задорнымъ, непослушнымъ вихромъ. Жалованья онъ получаетъ рублей 12. Но не жалуется. Ёсть то же, что ёдятъ чуваші.

Сидимъ съ нимъ за чаемъ. Въ дверяхъ толпа любопытныхъ. Есть интересныя лица,—совсѣмъ папуасы, только съ бѣлымъ цвѣтомъ кожи и безъ украшеній. Учитель рассказываетъ объ ихъ вѣрованіяхъ, чугашскомъ „христіанствѣ“, которое такъ перепутано съ язы-

чествомъ, что не знаешь, гдѣ тутъ Христосъ и гдѣ злой духъ Тургелли.

— У каждого чуваша есть свой Тургелли. Существуетъ мѣсто, гдѣ онъ живетъ, — въ амбарѣ или на огородѣ. Если кто заболѣетъ, ему приносятъ жертву. И знаете?

Учитель немного сконфузился:

— ...Помогаетъ.

— Неужели? — поддерживаю я его вопросомъ.

Онъ оживился. Рассказываетъ, что у чуваша была „дурная болѣзнь“, но послѣ того, какъ напекли лепешекъ (непремѣнно ночью, чтобы люди не видали) и положили ихъ съ молитвой въ то мѣсто, гдѣ живетъ Тургелли, больной выздоровѣлъ.

Учитель преподавалъ Законъ Божій и вѣрилъ въ лѣшихъ, домовыхъ, оборотней! Онъ оживленно описывалъ ихъ, какъ людей. И мнѣ стало казаться, что живя среди этихъ темныхъ, забытыхъ и, видимо, тупыхъ людей, въ обстановкѣ маеты: вѣчной картошки, сырости, холода, бѣдноты, слушая вой въ трубѣ бѣснующагося бурана, нельзя не вѣрить въ Тургелли и не причосить ему жертвъ.

Конечно, этотъ злой духъ послалъ чувашамъ голодъ. Онъ часто приносилъ его.

— За вино, — утверждаютъ чувашки.

Чуваши рассказываютъ, „что случилось въ ихъ мѣстахъ нонѣшнею осенью“.

Жилъ одинъ бѣдный чувашъ. Въ какой деревнѣ, — никто не знаетъ. Пришла къ нему весной нужда. Пошелъ онъ къ богатому и говоритъ: „Дай мнѣ хлѣба, осенью изъ урожая отдамъ“. Богатый далъ. Но осень оказалась голод-

ной, и бѣдному было нечѣмъ возвернуть взятое. Ходилъ, ходилъ богатый къ нему, все безъ толку. Тогда она свелъ лошадь у него со двора за долгъ. Плохо пришлось бѣдному. Надумалъ онъ продать на базарѣ что нибудь изъ домашности, чтобы заплатить богатому и вернуть лошадь. Поѣхалъ на базаръ.

Ѣдетъ онъ лѣсомъ. Видитъ, идутъ навстрѣчу трое голыхъ людей, двое мужчинъ и одна женщина. Перепугался чувашъ. Они подошли и спросили, куда и зачѣмъ онъ ѣдетъ. Сказалъ. Голые „наказали“ ему:

— Когда продашь, купи намъ по рубашкѣ.

Продавъ чувашъ на базарѣ свою „домашность“ и пошелъ къ купцамъ. „Дайте, — говоритъ — самой плохой матеріи“. И рассказалъ имъ, для кого покупаетъ матерію. Купцы выслушали и не взяли съ него денегъ.

Ѣдетъ чувашъ обратно. Опять къ нему выходятъ голые. „Купилъ?“ спрашиваютъ. Отдалъ онъ имъ матерію. „Хорошо, — одобрили голые, — теперь айда къ намъ въ гости“. Сѣли въ телѣгу и хлестнули лошадь. Мужикъ сидитъ ни живъ, ни мертвъ. Подѣхали къ землянкѣ. Вошли, а тамъ рай.

— „Что въ городѣ есть, то тамъ есть“.

Сѣли пировать. Голые говорить чувашу.

— Мы не люди, мы ангелы.

Чувашъ и самъ ужъ видитъ, что они ангелы.

Во время пира вынесли большой снопъ ржи. Чувашъ замѣтилъ, что снопъ съ пустыми колосьями. Потомъ вынесли второй снопъ, но уже съ зерномъ. За-

тѣмъ третій—съ хорошимъ, налившимся зерномъ. И, наконецъ, четвертый, необычайный—тоже съ зерномъ, но облитый человѣческой кровью. Ангелы объяснили чувашу:

— Первый снопы — нынѣшній голодный годъ, второй — будущій урожайный, третій, 1913 годъ, послѣдній годъ. Онъ будетъ также урожайнымъ, но урожай будетъ уже не нуженъ людямъ, такъ какъ на землѣ случится страшное....

По одной верси, произойдетъ кровопролитная война. По другой — возстанетъ братъ на брата, и люди истребятъ другъ друга. По третьей произойдетъ свѣтопреставленіе, „какъ батюшка въ церкви объяснялъ“.

— За вино наказанье, — объясняютъ чуваша. „Преисполнилась чаша“, кровью своей отвѣтятъ люди за вино...

Учитель говорить:

— Каждый день ходятъ ко мнѣ чуваша и спрашиваютъ, что имъ дѣлать. А я самъ не знаю. Всего меня истерзали...

Темные люди въ страхѣ. Они вѣрятъ въ сказку больше, чѣмъ въ Евангеліе. Никто ихъ не разубѣдитъ. Бабы на деревнѣ плачутъ. Мужики ходятъ задумчивые. Богатые пьютъ „на послѣдяхъ“.

Я разспросилъ толпу, стоящую въ дверяхъ, о раѣ и адѣ. Рай, по ихъ мнѣнію, что то вродѣ желѣзнодорожнаго буфета 3-го класса.

— А адъ? — спрашиваю.

— Адъ, когда нечего ѣсть.

Нынѣшній годъ чуваша и всѣ 20 годающихъ губерній переживаютъ адъ на землѣ.

— Божье наказаніе. Никогда такого года не было.

А. Панкратовъ.

## ОТКЛИКИ РУССКОЙ ЖИЗНИ.

Верхняя Палата.

Самозники, славные государственной мудростью и государственнымъ многолѣтіемъ, члены Государственнаго Совѣта — по милости крестьянъ-депутатовъ, вспомнившихъ старую мужицкую традицію ходить на поклонъ къ барину — остались безъ праздниковъ нынче. Казалось бы, ходить мужичкамъ по начальству — понапрасну лапти трепать, хотя бы и были законодателями, хотя бы просили провести черезъ Государственный Совѣтъ законопроектъ волостномъ земствѣ и мѣстномъ судѣ лишь для того, чтобы

имъ голыми не явиться въ деревню по сложеніи депутатскихъ полномочій. Но начальство разсудило иначе, и въ результатъ была принята экстренная мѣра — лишеніе праздниковъ Государственнаго Совѣта.

Четыре съ лишнимъ года именовался онъ „бюро похоронныхъ процессій“, „гнѣздомъ государственныхъ раковъ“, „законодательной пробкой“; четыре съ лишнимъ года мужи этого „бюро“ только и дѣлали, что „держали“ колесо русской исторіи, гордые бюрократической твер-

дыней, и вотъ вдругъ перерывъ думской сессіи, а въ Государственномъ Совѣтѣ суета, движеніе.. Государственный Совѣтъ заработалъ...

Есть, чѣмъ быть довольнымъ тѣмъ, кто до сихъ поръ Государственнымъ Совѣтомъ не былъ доволенъ. Однако, усердіе, вдругъ обнаруженное obstructiонистами, не порадовало. Не порадовало даже мужичковъ, сказавшихъ на прощаніе предсѣдателю Государственного Совѣта: „не толкайте насъ влѣво“.

Прежде всего дѣятельность Совѣта, подвергаемаго такимъ образомъ принужденію со стороны властей, внѣ всякаго іерархическаго порядка, оказывается не болѣе конституціонной, чѣмъ въ то время, когда проводился законъ о земскихъ начальникахъ или о такъ называемомъ новомъ университетскомъ уставѣ 1884 г. вопреки волѣ большинства. Это, впрочемъ, естественно. Умалая права народнаго представительства, Государственный Совѣтъ самъ же не щадитъ своихъ правъ, какъ законодательнаго органа. Самъ же по первому требованію министра юстиціи устраняетъ изъ верхней палаты В. А. Кудряваго, по первому требованію министра нар. просв.—А. А. Мануйлова. Это такъ, но и сама по себѣ медлительность „занятій“ не причесть.

Въ самомъ дѣлѣ, Государственный Совѣтъ умѣлъ работать не только медленно, но и быстро. Въ то время какъ основной проэктъ о начальномъ образованіи откладывается въ долгій ящикъ, весь бюджетъ весной 1911 г. разсматривается въ 3—4 дня. Въ то время какъ вѣроисповѣдныя проэкты лежатъ годы безъ движенія, законопроекты о воин-

скомъ налогѣ на Финляндію или объ уравнианіи русскихъ въ правахъ съ финляндцами, при всѣхъ ихъ редакціонныхъ недочетахъ, не передаются въ согласительныя комиссіи, а одобряются. Съ быстротой курьерскаго поѣзда проходятъ всѣ стадіи разсмотрѣнія законопроэктъ объ амурской дорогѣ, законопроэктъ о закрытіи порто франко на Дальнемъ Востокѣ и т. д. Еще не поступилъ проэктъ, а комиссія готова. Сегодня докладъ въ общемъ собраніи, завтра проэктъ принять. Вопросъ, требующій какъ разъ мѣсяцевъ, разрѣшается въ дни—точно, въ самомъ дѣлѣ, разрѣшаютъ его „увлекающіеся молодые люди“, а не люди „одного холоднаго разсудка“—это ли не быстрота поѣзда?

Но — быстрота, желательная начальству: какъ не справиться въ 3 дня съ бюджетомъ, послѣ знаменитаго конфликта о западномъ земствѣ, когда правительство требуетъ преждевременнаго роспуска палатъ на лѣтнія каникулы! Зато совсѣмъ другое тамъ, гдѣ „всякая торопливость, въ концѣ концовъ приносить одинъ только вредъ“, ибо „тише ѣдешь, дальше будешь“, по мѣткому слову П. Н. Дурново. Законопроэктъ, взволновавшій мужичковъ, спокойно и покорно просидѣвшихъ 4 года на думскихъ скамьяхъ, за господскими спинами, но кончающихъ это сидѣніе — лучшій образчикъ.

Первоначальное содержаніе проэкта было въ корнѣ измѣнено г. Щегловитовымъ, прежде чѣмъ сдѣлаться объектомъ разсмотрѣнія Думы—на это нужно было время. Измѣненія, внесенныя ранѣе, еще незначительны сравнительно съ той опе-

раціей, какой онъ подвергся въ Государственномъ Совѣтѣ. Комиссія постановила возстановить упраздненный въ проэктѣ волостной судъ, и хотя положеніе о волостномъ судѣ оказалось внѣдумской плоскости зрѣнія, но и покойный Столыпинъ, и г. Щегловитовъ благословили новыя принципиальныя основы, откровенно признавъ свой промахъ. И на это время нужно. Теперь, если принять во вниманіе, что и вопросъ о возстановленіи судебной компетенціи земскихъ начальниковъ подъ знакомъ сомнѣнія, то ясно: работа многихъ лѣтъ опять... требуетъ времени. Если Государственный Совѣтъ приметъ измѣненія комиссіи, будетъ проэктъ, разработанный одной верхней палатой, совсѣмъ иной, чѣмъ тотъ, что обсуждала Дума. Вернется проэктъ въ Думу изъ согласительной комиссіи для новаго разсмотрѣнія, дума, безъ сомнѣнія, уже и разсмотрѣтъ его не успѣетъ. Такъ, едва ли не лучший исходъ—тихо ѣхать, и Государственный Совѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, тихо ѣдетъ...

Съ этой точки зрѣнія члены Государственного Совѣта, въ свое время заявляли, что мѣра, примѣненная къ нимъ, окажется безплодной, не достигнетъ положительныхъ результатовъ. Возникшіе законопроекты все равно не превратятся въ законы. Гордіевъ узелъ не разрубить сегодня тѣмъ, кто вчера же его завязалъ.— не разрубить „своимъ средствомъ“. И съ пустыми руками вернутся крестьяне къ землякамъ,—только лапти поистреплютъ.

Государственный Совѣтъ есть—соотношеніе силъ. Значить, дѣйствовать иначе, мѣчь диктуетъ соотношеніе силъ, онъ

не можетъ. Чтобы уразумѣть всю логику, весь смыслъ законодательной „обструкціи“, посмотримъ прежде всего, что это за отношеніе силъ.

Въ то время, какъ В. Н. Ксеновцевъ докладывалъ ходатайства крестьянскихъ депутатовъ, согласно ихъ желанію, въ Ливадіи, циркулировалъ слухъ, что дѣло не ограничится домашними средствами, что предстоитъ измѣненіе состава верхней палаты въ духѣ большаго соответствія съ Государственной Думой. Общій составъ, однако, не измѣнился. Не только вся блестящая плеяда удостоилась одобренія вплоть до сановниковъ, въ свое время выступившихъ противъ П. А. Столыпина, но—въ подкрѣпленіе представителямъ четырехъ реакціонныхъ періодовъ—еще назначенъ А. А. Бобринскій, нѣсколько лѣтъ къ ряду состоявшій предсѣдателемъ совѣта сѣздовъ объединенныхъ дворянъ, прошедшій въ третью Государственную Думу лишь послѣ того, какъ заручился поддержкой крайнихъ правыхъ организацій.

Смыслъ соотношенія силъ, именуемаго верхней палатой, въ томъ, что въ ней что хотятъ, то и дѣлаютъ объединенные дворяне и воинствующие бюрократы, тѣ самые, для которыхъ отмѣна тѣлесныхъ наказаній для малолѣтнихъ преступниковъ или проэкты съ условномъ досрочномъ освобожденіи звучатъ „амнистіей“, проэкты университетовъ Саратовскаго или имени Шанявскаго, не менѣе опасны, чѣмъ... предоставленіе полякамъ права застройки въ западныхъ губерніяхъ. Но это было и до Бобринскаго.

Всѣмъ извѣстно безсиліе центра Го-

сударственного Совѣта, группы, хотя и превосходящей остальные совѣтскія группы по числу членовъ, но достаточно пестрой по составу и непрерывно мѣняющей свою тактику. Въ нее входили и входятъ люди разныхъ общественныхъ положеній: представители капитала, землевладѣльцы, бывшіе государственные дѣятели, польское коло, и въ итогѣ автономныя подгруппы, каждая изъ которыхъ дѣйствуетъ на свой ладъ. Это сказывалось въ такихъ вопросахъ, какъ амурская желѣзная дорога, тѣмъ болѣе въ такихъ, какъ національныя куріи, финляндскій вопросъ, вѣроисповѣдныя законопроекты,—еще болѣе въ области финансово-экономической, гдѣ интересы тѣснѣе всего связаны между собой. Если прошлый годъ былъ вообще годомъ значительныхъ перемѣнъ въ партійномъ составѣ Государственного Совѣта, вызванныхъ, главнымъ образомъ, пресловутымъ проектомъ о западномъ земствѣ, то болѣе всего пострадалъ центръ. Но именно отсутствіе единой тактики здѣсь, неустойчивость отдѣльныхъ лицъ при голосованіи наиболѣе важныхъ законопроектовъ въ центрѣ, дѣлаетъ хозяевами палаты правыхъ; ихъ численный составъ путемъ новыхъ назначеній пополнялся, между прочимъ, непрерывно, такъ какъ бывало и такъ, что правительству, являвшемуся въ важныхъ случаяхъ въ Государственный Совѣтъ для поддержанія своихъ законопроектовъ въ полномъ составѣ, удавалось добиться ихъ принятія лишь большинствомъ въ два—три голоса.

Конечно, если исключить нѣсколько либераловъ, представителей земствъ и

профессуры, рѣшительно никакой роли не играющихъ,—Государственному Совѣту, въ общемъ, рѣзкаго расслоенія бояться нечего: землевладѣльческое большинство вездѣ, во всѣхъ пунктахъ. Г.г. члены совѣта въ подавляющемъ большинствѣ землевладѣльцы—не столько даже замотерѣлые бюрократы, награжденные чинами, орденами и прочими дарами отечественнаго благоволенія, сколько бароны, графы, князья, вообще представители старинныхъ дворянскихъ фамилій.

По даннымъ Н. Рубакина, только 22 дѣйствительныхъ тайныхъ совѣтника верхней палаты владѣютъ 175.918 десятинами земли, не говоря о заводахъ, о лѣсныхъ дачахъ и пр., что выходитъ на кругъ не менѣе восьми тысячъ десятинъ на cadaго. У 9 просто тайныхъ совѣтниковъ 114.820 съ половиною десятинъ и кромѣ того 16.330 душевыхъ надѣловъ (??), что выходитъ по 17.294 десятины на душу. Имѣнія расположены въ самыхъ плодородныхъ губерніяхъ, тѣхъ самыхъ, гдѣ малоземелье крестьянъ наиболѣе значительно, а голодъ и недородъ—наиболѣе частые гости. Это съ одной стороны южныя, малороссійскія губерніи, съ другой—центральныя, черноземныя, несмотря на свой черноземъ оскудѣвающія на карликовыхъ надѣлахъ. Мало того, какъ статистика показываетъ, сановники, засѣдающіе въ Совѣтѣ, не только держатся за землю, перешедшую по наслѣдству, но добрую половину земли вновь приобрѣли, и вновь приобретенная земля расположена все въ тѣхъ же губерніяхъ. Напр., изъ 79.098 дес., числящихся за 12 дѣйствительными тайными совѣтниками, 30.452 дес. т.-е. почти по-



ловина, приобретена. Если же законодатели не одинаково были надѣлены землей, навстрѣчу шли удачно подобранныя невѣсты—помѣщицы. Жены членовъ Государственнаго Совѣта, въ свою очередь, не только владѣютъ крупными имѣніями, полученными по наслѣдству, но тоже чрезвычайно склонны ее приумножать, такъ что не всегда разберешь, чѣмъ именно заботамъ—мужа или жены—сбыта та или иная земельная покупка.

Сравнительно, значить, торгово-промышленные элементы въ Гос. Совѣтѣ представлены скромно, если принять во вниманіе, что сами министры имѣютъ обликъ землевладѣльческой. Конечно, памятливы камешки, какіе—при обсужденіи вопроса о вознагражденіи рабочихъ и служащихъ заведеній министерства финансовъ—бросали представители капитала въ огорождѣ дворянско-чиновничей. „А что же—спрашивалъ Глезмеръ о сельскихъ рабочихъ—это не русскіе граждане? Что же—это граждане третьяго сорта? Почему объ однихъ думаютъ 30 лѣтъ очень усиленно, а о другихъ никогда и никто?“ И отвѣчалъ: да потому, что наше законодательство разоряетъ фабрикантовъ и заводчиковъ и щадитъ помѣщиковъ, сельскихъ хозяевъ. Проявился антагонизмъ помѣщичьихъ интересовъ и капитала и во время преній о росписи. Но, хотя въ Государственномъ Совѣтѣ представители капитала дѣйствуютъ даже значительно рѣзче, настойчивѣе, чѣмъ въ Государственной Думѣ, голоса ихъ звучить слабо. Если даже классовое разслоеніе дастъ себя еще знать, напр., въ вопросахъ о пошодномъ налогѣ, о промысловомъ,—въ вопросахъ, имѣющихъ таксе кардиналь-

ное значеніе для нихъ,—и борьба развернется болѣе широко, то едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что, несмотря даже на эти энергичные голоса, духъ, господствующій въ Государственномъ Совѣтѣ, духъ дворянско-бюрократическій,—и будетъ господствовать. Правда, усиленіе нѣкоторыхъ думскихъ націоналистовъ создать и въ Государственномъ Совѣтѣ національную группу не дали плода, но и безъ національныхъ героевъ Государственный Совѣтъ своего рода исполнительный комитетъ земельно-чиновничьей аристократіи. Это—созданіе родовой знати, ея политическій центръ, ея опора, и печать архисословности не можетъ не лежать на всемъ.

Исходя изъ этихъ данныхъ, понимаешь ту линію, которая лежитъ въ основѣ обструкціи государственныхъ совѣтниковъ, и тѣ законодательныя пробки, которыми усыпана въ изобиліи ихъ дорога.

Когда маститый Дурново упомянулъ о молодыхъ людяхъ, „способныхъ увлекаться гуманными идеями“, понятія которыхъ отражаются „на насъ, пожилыхъ людяхъ, совершенно незамѣтно для насъ самихъ“,—молодые люди, молъ, „имѣютъ вліяніе на общее теченіе мыслей“,—г. Ковковцевъ справедливо возразилъ, что къ старцамъ Совѣта примѣнимы отнюдь не слова объ увлеченіяхъ молодости, а слова поэта: „но старость ходитъ осторожно и подозрительно глядитъ, чего нельзя и что возможно, еще не вдругъ она рѣшить.“ Однако, какъ ни остры „крайности“ П. Н. Дурново для бюрократическаго либерализма, нельзя не признать: рѣчь, сказанная имъ въ засѣда-

ни 27 января, столь же откровенно, сколь ярко развертывается святая святых не только совѣтскаго меньшинства, но и всего совѣта лордовъ.

О чемъ бы сановники ни говорили, до сихъ поръ еще передъ ними прежде всего признакъ народнаго движенія. Кажется, уже давно губернаторы въ своихъ отчетахъ возвѣстили успокоеніе, даже установили, кого благодарить за успокоеніе. Не тутъ то было! Въгъ „благоволите оглянуться кругомъ—со всѣхъ сторонъ горизонтъ представляется не только неяснымъ, но и покрытымъ мрачными тучами.“ А въ то время какъ мы увлекаемся „какимъ то бурнымъ потокомъ разныхъ теоретическихъ утопій,“ существующія крѣпости упраздняются; мы стремимся неудержимо къ увеличенію расходовъ на начальное образованіе, задаваясь мыслью въ 10 лѣтъ сдѣлать то, надъ чѣмъ другіе народы работали цѣлыя столѣтія, а новыя крѣпости не строятся, а трехлѣтняя служба въ войскахъ лишаетъ возможности призывать войско къ полицейскимъ обязанностямъ. Въ области культурныхъ расходовъ мы съ милліонами обращаемся, какъ съ дровами, а средствъ на хорошую полицію недостаетъ.

Конечно, голосъ полиціи въ рѣчахъ Дурново ужъ слишкомъ даетъ себя знать даже вопреки тому, что значительная часть членовъ Совѣта по назначенію имѣла самое близкое отношеніе къ полицейско-жандармской власти. Но вѣдь это — рѣчи бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ, бывшаго представителя высшей полиціи, не такъ давно еще убѣждавшаго законодательный органъ, что чинъ

полиціи менѣе всего нуждается въ грамотѣ, а болѣе всего въ „благодарности“ обывателя. Тѣмъ не менѣе, откиньте это специфическое пристрастіе, и вотъ основной принципъ, которымъ неукоснительно руководился и руководится Совѣтъ: долой живая жизнь,—если нельзя колесо исторіи повернуть назадъ, то будемъ его держать неподвижнымъ.

Это—борьба на два фронта: 1) борьба противъ правительства, предначертанія коего исполняются съ угодливостью слуги, когда они прямолинейно-реакціонны, но только тогда и 2) борьба противъ Думы съ ея внѣшними формами обновленнаго строя, эмблемы конституціонныхъ остатковъ, ненавистныхъ реакціонному мракобѣсію. Борьба—обезоруживающе откровенная.

Если въ области финляндскихъ законопроектвъ лорды мчатся съ быстротой поѣзда, то законопроектъ объ условномъ досрочномъ освобожденіи не посчастливилось не смотря на то, что въ защиту его выступилъ г. Щегловитовъ. И—что именно характерно — не посчастливилось по политическимъ мотивамъ. Авторитетъ министра юстиціи болѣе чѣмъ гарантируетъ отъ подозрѣній этого свойства,—тѣмъ не менѣе, законопроектъ былъ забракованъ на томъ основаніи, что не время теперь мѣнять дирижерскую палочку и амнистировать враговъ порядка. Если законопроектъ о зыходѣ изъ общины, въ голосованіи котораго приняли участіе 7 членовъ кабинета, все таки прошелъ (большинствомъ въ 2 голоса); если Государственный Совѣтъ сталъ убѣжищемъ,

грудью стоящимъ за интересы вѣдомствъ, смѣты которыхъ урѣзаны Государственной Думой, то трехдневнымъ преніямъ по финансовому плану всеобщаго обученія не помогъ сторонникъ пріемлемыхъ для Думы предложеній А. Н. Шварцъ, и В. Н. Коковцеву пришлось переимѣнить старыя мнѣнія на новыя, какъ пришлось въ свое время казаться П. А. Столыпину и И. Г. Щегловитову.

Надо отдать должное великимъ мужамъ: они настойчивѣе въ своемъ обнаженномъ мракобѣсіи, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Кажется, вотъ вмѣшался въ дѣло председатель совѣта министровъ, и казавшееся совершенно непріемлемымъ сейчасъ будетъ принято. Вы, то и дѣло, слышите: „мы прижаты къ стѣнѣ“, „согласительной комиссіи намъ не дадутъ“. Однако, глядишь, какъ то само собой упускается изъ виду, что меньшинство уже превратилось въ большинство; и проходитъ именно то, что угодно самымъ правымъ. Попытка стать въ оппозицію правительству весной прошлаго года кончилась пирровой побѣдой покойнаго премьера, но кто скажетъ, что г. Дурново, председатель фракціи правыхъ, которому сейчасъ вновь удалось объединить своихъ единомышленниковъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ уволенъ въ отпускъ, а не читалъ объ этомъ лишь въ частномъ письмѣ! Если и былъ отпускъ, то г. Дурново скорѣе выигралъ отъ него, чѣмъ проигралъ.

Впрочемъ, это—воркотня, не болѣе, рядомъ съ той подозрительностью, какую возбуждаетъ въ лордахъ не правительство, а Третья Дума. Увлеченія объ-

ясняются „поощреніями, исходящими отъ Государственной Думы“. „Молодые люди“ это молодые люди Думы. Законопроекты же думскіе „носятъ декларационный характеръ“, заключаютъ въ себѣ мысли, которыя „стоятъ внѣ русскаго государственнаго управленія“. Эти выраженія г. Дурново характерны, какъ и вся его рѣчь. Казалось бы, чѣмъ далѣе, тѣмъ идеаль Меньшикова все болѣе воплощался въ самой Думѣ. Дума—канцелярія, проводящая въ своей средѣ дѣленіе на благонадежныхъ и неблагонадежныхъ; Дума, институтъ тайныхъ со- вѣтниковъ, придатокъ къ совѣту министровъ—не многоголосый ли это Меньшиковъ, промѣнявшій перо на депутатское мѣсто? И тѣмъ не менѣе Государственный Совѣтъ съ тѣмъ большимъ пренебреженіемъ, презрѣніемъ относится къ Думѣ, чѣмъ откровеннѣе она раз- вертываетъ свое существо реакціонное.

Если еще въ первую сессію г. Нарышкинъ заявлялъ, что необходимость избѣгать конфликтовъ съ Думой—мотивъ отзвучавшій, что лишь подъ впечатлѣніемъ первой и второй Думы можно было ихъ ожидать; настоящий же составъ Думы ихъ не возбуждаетъ,—то уже въ четвертую сессію г. Треповъ утверждаетъ иное: измѣненъ—молъ, избирательный законъ, измѣненъ—и явились новые люди, но игра продолжается. Въ этой игрѣ проходятъ флотъ, церковь, школа судъ... Если въ первую сессію выраженіе „доморощенные законодатели“ по адресу Думы встрѣчаетъ порицаніе, то въ 5-ую сессію и выраженія болѣе крѣпкія не требуютъ извиненія; законодательная „доморощенность“ иллю-

стрируется на примѣрахъ — исправленіемъ стилистическихъ и грамматическихъ ошибокъ третьей Думы: то „или“ замѣняется „либо“, то слово „вызывается“ выраженіемъ „подлежитъ вызову“ и т. д.

Въ основѣ это — борьба противъ правъ Думы, какъ законодательнаго органа. Совѣтъ — какова бы ни была его реформа, получившая силу закона безъ одобренія Государственной Думы — все же созданіе старой власти. Государственная же Дума внѣшнюю форму конституціоннаго строя сохраняетъ вполнѣ. И вотъ — борьба противъ народнаго представительства, какъ такового, хотя бы для этого пришлось жертвовать и собственными правами, собственнымъ достоинствомъ.

Эта компанія началась еще въ первую сессію, когда Государственный Совѣтъ усмотрѣлъ вмѣшательство со стороны Думы въ исполнительныя функціи министра внутреннихъ дѣлъ на томъ основаніи, что былъ потребованъ отъ послѣдняго отчетъ въ израсходованіи суммъ, ассигнованныхъ на продовольственные нужды населенія, пострадавшаго отъ неурожая. Затѣмъ видимъ ее далѣе. При обсужденіи законопроекта о порядкѣ заведенія храма Воскресенія Христова возникъ вопросъ о правѣ законодательныхъ учреждений давать тѣ или инныя директивы исполнительной власти. Хотя въ этомъ случаѣ голоса лордовъ раздѣлились поровну, но вполнѣ даже такой законопроектъ, какъ фиксированіе средствъ на канцелярскія надобности генеральнаго штаба, не былъ признанъ подлежащимъ компетенціи Думы. Точно также была сужена

компетенція законодательныхъ учреждений въ области разрѣшенія займовъ, опредѣленной „въ порядкѣ Верховнаго управленія“; при обсужденіи же законопроекта объ улучшеніи матеріальнаго положенія низшихъ почтово-телеграфныхъ служащихъ совѣтъ установилъ, что Дума не можетъ увеличивать по своему почину кредитовъ, испрашиваемыхъ правительствомъ на разные нужды. Въ итогѣ лорды каждую сессію въ десяткахъ случаевъ расходятся съ Государственной Думой; а наиболѣе важныя ассигновки такъ и разрѣшаются въ порядкѣ ст. 13. Если законопроектъ объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства 3 милл. руб. на школьное строительство отклоняется потому, что „не дѣло законодательныхъ учреждений, по собственному почину, увеличивать кредиты, испрашиваемые правительствомъ“, то скромное измѣненіе бюджетныхъ правилъ 8 марта, предложенное Думой, конечно, было рѣзко заклемено.

Вотъ — святая святыхъ верхней палаты. Картина „занятій“ въ ней послѣ этого въ излишнихъ комментаріяхъ отнюдь не нуждается. Правда, и она, оказывается, не безъ пятенъ, какъ солнце. Напр., о тѣхъ самыхъ кредитахъ, которыя компетенціи народныхъ представителей не подлежатъ, по мнѣнію лордовъ, никто иной, какъ П. Н. Дурново, въ засѣданіи 27 января сказалъ: „мнѣ отлично извѣстно, какія культурныя потребности удовлетворяются въ разныхъ междувѣдомственныхъ комиссіяхъ: у кого громче голосъ, и кто съ министромъ въ лучшихъ отношеніяхъ, тотъ больше и получаетъ. Затѣмъ кре-

диты въ разныхъ „совѣтахъ“ проходить столь же быстро и безпрепятственно, какъ письма по почтѣ“. Но — это только личные счеты. Недаромъ г. Дурново тутъ же указываетъ, что все дѣло въ министрѣ финансовъ, всегда имѣющемъ большее значеніе, чѣмъ надлежитъ ему имѣть. Въ остальномъ же лорды вѣрны себѣ; „каждый начавъ за здравіе, кончалъ за упокой“, какъ выразился сейчасъ В. К. Коковцевъ, или... за „гармонически законченное законодательное безсиліе“, какъ выразился бы П. А. Столыпинъ.

И выходило въ этой атмосферѣ: даже В. Н. Коковцевъ, даже П. А. Столыпинъ пожинали лавры и государственнаго смысла, и нѣкотораго минимума либерализма въ силу той откровенности, обнаженности, какую неизмѣнно подчеркивали съ совѣтской трибуны одинаково и сановные помѣщики, и „ораторы отъ промышленности“ (такъ окрестилъ г. Коковцевъ М. Н. Триполитова).

Когда въ государственномъ совѣтѣ обсуждался указъ 9 ноября 1906 г. о разрушеніи общины, тшетно П. А. Столыпинъ пытался упротить совѣтскихъ аграріевъ смотрѣть на этотъ законъ „съ угла зрѣнія социальнаго, а не политическаго“. Что бы лорды ни видѣли въ указѣ — „бѣлую горячку“ законодателя, „прыжокъ въ область спаснаго риска“ или „съ внутренней политики“, другого угла зрѣнія, кромѣ политическаго, они себѣ и не представляли. Если напр. гр. Олсуфьевъ былъ противъ, то лишь потому, что законъ, по его мнѣнію, не создаетъ „въ противовѣсъ на-

шему невѣжественному, темному, часто анархическому крестьянину-общиннику сытаго, консервативнаго, просвѣщеннаго буржуа“, какъ, въ концѣ концовъ, и община не оказалась оплотомъ крѣпостническихъ устоевъ, какъ не оправдали свою консервативную репутацію крестьянскіе депутаты первой Думы. Напротивъ, если А. Б. Нейдгардтъ не раздѣлялъ этихъ страховъ, а увѣрялъ, что, принеся общинный строй „въ жертву гидрѣ революціи“, политика П. А. Столыпина воскреситъ „вѣру въ государственную силу свободнаго крестьянства“, то опять таки увѣрялъ лишь съ узко охранительной точки зрѣнія. И такъ то, узаконяя мѣру, затрагивающую кровные интѣресы многихъ миллионовъ крестьянъ, законодатели даже не пытаются спросить себя, каково же значеніе закона для самыхъ этихъ миллионовъ, а не для элементовъ, ихъ охраняющихъ. Конечно, одинъ фактъ съ непреложностью вытекаетъ изъ другого: стремясь къ землѣ и расширяя свои владѣнія, не могутъ наши лорды не думать объ охранѣ вообще, охранѣ частной собственности въ частности. Но подъ частной собственностью подразумѣваются въ Государственномъ Совѣтѣ, очевидно, одни помѣщичьи гнѣзда.

Не либеральнѣе, говорю я — и ораторы промышленности, когда дѣло коснется интѣресовъ ихъ кармана. „Если большинство нашихъ фабрично-заводскихъ законовъ — говорилъ какъ то Государственному Совѣту г. Коковцевъ — издавалось подъ вліяніемъ заводскихъ забастовокъ и стачекъ, то отказываться отъ изданія закона только потому, что этихъ стачекъ сейчасъ нѣтъ, въ государ-

ственной точки зрѣнія совершенно недопустимо“. Но на это отвѣтъ Г. А. Крестовникова коротокъ: „выступать въ защиту слабыхъ и угнетенныхъ для многихъ весьма заманчиво, выгодно и красиво“. Кажется, на что невинный вопросъ — о вознагражденіи рабочихъ и служащихъ заведеній министерства финансовъ, — только дѣло не въ вопросѣ, а видите ли: послѣ 1905—06 г.г. рабочіе „стали вступать въ періодъ равновѣсія“, и нельзя создавать сепаратнаго закона, который рабочему классу „покажется, что тамъ дали, а намъ ничего, потому что мы смиренно сидимъ“. Такъ только подготавливается „безпокойство мысли въ рабочихъ массахъ“. Въ частности, М. Н. Триполитовъ предлагалъ тогда ждать, пока не будетъ выработанъ общій законъ о страхованіи. И вотъ Государственный Совѣтъ назначилъ комиссію для разсмотрѣнія законопроекта о страхованіи рабочихъ, перешедшаго туда изъ Государственной Думы: Н. С. Авдаковъ, Г. А. Крестовниковъ, М. Н. Триполитовъ, С. М. Ротвандъ — т. е. всѣ вожаки совѣта съѣздовъ представителей капитала среди нѣсколькихъ бывшихъ министровъ и биржевиковъ. Уже по этому составу можно себѣ представить, что это за ожиданія.

Не менѣе „принципіальны“ пренія по законопроекту объ отмѣнѣ 51<sup>4</sup> уст. о нак. Для самихъ „ораторовъ отъ промышленности“ было ясно, что отмѣна этой статьи вытекаетъ изъ именнаго Высочайшаго указа правительственному сенату, отмѣнивашаго наказуемость т. н. простѣйшихъ стачекъ. Ст. 51<sup>4</sup> уст. о нак. карала самовольное прекращеніе

работъ отдѣльнымъ рабочимъ до срока найма, но еще представители капитала, входившіе въ особое совѣщаніе при министерствѣ торговли въ концѣ 1906 г., высказались въ томъ смыслѣ, что не наказывать дѣяніе, совершенное скопомъ, и наказывать дѣяніе, совершенное отдѣльнымъ рабочимъ, нелѣпо. Ясна гг. Триполитовымъ и бесполезность этой мѣры, отмѣчаемая отчетами фабричныхъ инспекторовъ: рабочій, удерживаемый противъ воли, ничего кромѣ вреда принести не можетъ. И тѣмъ не менѣе, законопроектъ, наконецъ, попавъ въ Государственный Совѣтъ, былъ отвергнутъ въ комиссіи, а затѣмъ, хотя принятъ, но на томъ основаніи, что лучше не давать и не общать, а если уже дали и общали, то брать данное назадъ не практично, „принять“ съ той оговоркой, что „принципіально“ капиталъ стоитъ за сохраненіе 51<sup>4</sup> ст. Оговорка, опять таки означающая все то же, что не въ статьѣ самой, не въ ея реальномъ содержаніи суть; не при чемъ здѣсь и здравый смыслъ, и опытъ фабричныхъ инспекторовъ. Суть въ томъ, что отмѣна названной статьи — независимо отъ того, что она сама по себѣ представляетъ — результатъ одного изъ законодательныхъ актовъ „тревожнаго“ времени, и уже одного этого достаточно для того, чтобы законъ, признанный нелѣпымъ самимъ же капиталомъ, представителямъ того же капитала служилъ объектомъ демонстраціи противнаго свойства. Принципіальны гг. Стишинскіе, но принципіальны и гг. Триполитовы ..

Я привелъ „образцы краснорѣчія“. Если же обратимся отъ словъ къ дѣлу,

то очутимся въ области той вермишели, которая еще безнадежнѣ этого красно-рѣчія. Такіе законопроекты побывали въ согласительныхъ комиссіяхъ, какъ о пользованіи проточными водами въ Крыму или о правилахъ рыбной ловли или о борьбѣ съ филлоксерой. Соглашеніе, если и достигалось, то исключительно благодаря уступчивости членовъ Государственной Думы. Что же говорить о законопроектахъ болѣе или менѣе жизненныхъ, особенно пахнувшихъ манифестомъ 17 октября!

Въ области реакціонныхъ начинаній обнаружена была и энергія, и быстрота, законопроекты же, имѣющіе болѣе или менѣе важное значеніе (напр. о реформѣ мѣстнаго суда), лежали и лежатъ. Къ законопроекту о реформѣ волости большинство отнеслось рѣзко отрицательно. Законопроектъ о переходѣ изъ одного вѣроисповѣданія въ иное принять Государственнымъ Совѣтомъ столь измѣненнымъ, что едва ли Государственная Дума признаетъ его своимъ. Другому законопроекту—объ измѣненіи постановленій, ограничивающихъ права духовныхъ лицъ, добровольно сложившихъ съ себя или лишенныхъ духовнаго сана, не суждено было стать закономъ. Законопроектъ о всеобщемъ обученіи дождался, наконецъ, очереди, и... часть испрашиваемыхъ

проэктомъ средствъ удѣлена св. синоду на церковно приходскія школы.

Вотъ—соотношеніе силъ, о которыхъ говорилось выше: смыслъ его въ одномъ, именно въ томъ чтобы одна палата парализовала другую, если добиться совершеннаго упраздненія „конституціи“ російской невозможно. Что же занимаетъ Государственный Совѣтъ, какъ таковой? Такъ какъ и Государственный Совѣтъ обладаетъ правомъ инициативы, то изъ того, какъ она проявлялась, видно, въ какую сторону направлена творческая дѣятельность верхней палаты. Она не богата, но ярка. Законодательныя предположенія объ улучшеніи матеріальнаго положенія казаковъ Области Войска Донского, о сокращеніи представительства поляковъ въ Государственномъ Совѣтѣ отъ 9 западныхъ губерній, о продленіи срока полномочій выборныхъ членовъ на 1 годъ, о сокращеніи числа праздниковъ, объ упраздненіи попечительствъ о народной трезвости и т. д.—не велика „инициатива“, но безъ сомнѣнія, истиннѣ достойна самихъ инициаторовъ.

Нѣтъ, новое назначеніе здѣсь такъ же безсильно что-либо измѣнить въ ту или иную сторону, какъ вынужденное прилежаніе. Дѣло не въ гр. Бобринскомъ и не въ рождественскихъ каникулахъ. Дѣло—въ соотношеніи силъ.

Л. Клейнбортъ.

## НА ЗАПАДЪ.

Германскіе выборы.

Избирательная компанія въ Германіи вписала въ блестящую исторію нѣмецкой соціалъ-демократіи новую, одну изъ самыхъ блестящихъ страницъ.

Вся избирательная компанія была для соціалъ-демократической партіи триумфальнымъ шествіемъ. Соціалъ-демократія шла отъ побѣды къ побѣдѣ. Блестяще прошли ея кандидаты уже при первыхъ выборахъ, не менѣе значительны были завоеванія при перебаллотировкахъ.

Столица Германіи давно завоевана социализмомъ, и здѣсь заранѣе ожидали побѣды соціалъ-демократовъ. Но ея размѣры здѣсь превзошли ожиданія. Лишь одинъ берлинскій округъ, да и то ничтожнымъ количествомъ голосовъ, удалось отстоять отъ завоевательнаго движенія соціалистовъ.

Потсдамъ — резиденція Вильгельма. Тамъ его замокъ. Тамъ вѣютъ „славныя традиціи Гогенцолерновъ“. Тамъ стоятъ блестящія полки. Вильгельмъ такъ охотно говоритъ о Потсдамѣ — „мой Потсдамъ...“

Но и „мой“ измѣнилъ. Тщетно консервативные органы и ораторы угрожали городу немилостью императора, разжалованіемъ, лишеніемъ придворнаго званія. Тщетно угрожали, что блестящія полки покинутъ городъ и нанесутъ этимъ

тяжелый матеріальный ущербъ. Тщетно, переходя отъ угрозы къ мольбѣ, напоминали о близкомъ днѣ рожденія императора и просили городъ въ видѣ имениннаго подарка поднести императору консервативнаго депутата.

Городъ - резиденція выслушалъ эти угрозы и просьбы и выбралъ въ рейхстагъ извѣстнаго соціалъ-демократа К. Либкнехта, одного изъ самыхъ радикальныхъ и рѣшительныхъ нѣмецкихъ молодыхъ соціалъ-демократовъ.

Но что Берлинъ и Потсдамъ въ сравненіи съ тою побѣдою, которую одержали соціалъ-демократы въ старомъ благочестивомъ Кельнѣ, этомъ Римѣ католической Германіи. Кельнъ сорокъ лѣтъ оставался вѣренъ центру, партіи нѣмецкихъ католиковъ. Сорокъ лѣтъ онъ посылалъ въ рейхстагъ депутата центра. И за свой Кельнъ центръ былъ спокоенъ. Это его резиденція. Развѣ центръ не доказалъ, что его политическіе прихожане остаются ему всегда вѣрны, и депутатъ центра, казалось, также неотчуждаемъ былъ отъ Кельна, какъ Кельнскій соборъ.

И въ эту избирательную компанію, такую бурную и напряженную, какой не помнить новая Германія, палъ и Кельнъ. Твердыня политическаго благочестія, по-



литическій майоратъ католиковъ палъ и сдался социаль-демократамъ.

Побѣда социаль-демократіи на выборахъ и сама по себѣ, абсолютно крайне значительна. Мы ниже опредѣлимъ ее въ цифрахъ голосовъ. Но ея относительное значеніе еще больше велико. Надо помнить, что эта блестящая побѣда нынѣшней избирательной компаніи пришла послѣ пораженія 1907-го года, когда социаль-демократы потеряли половину депутатовъ и общее число ихъ депутатовъ понизилось до 43.

А теперь сразу громадный скачекъ впередъ, и число социаль-демократическихъ депутатовъ сразу поднимается до 110, а число поданныхъ голосовъ до четырехъ милліоновъ.

Что же случилось?

Неужели за какіе нибудь пять лѣтъ настроеніе нѣмецкаго народа такъ радикально измѣнилось, что онъ перешелъ въ такомъ громадномъ количествѣ въ лагерь социалистовъ?

Неужели за эти четыре-пять лѣтъ процессъ разложенія капитализма пошелъ такъ далеко, что въ настоящую минуту Германія находится въ послѣднихъ градусахъ капитализма и начинается массовый переходъ населенія въ лагерь социализма?

Конечно, дѣло обстоитъ не такъ просто. Въ Германіи совершается процессъ гораздо болѣе сложный и пестрый.

Вспомнимъ выборы 1907-го года, безъ которыхъ нельзя понять нынѣшніе выборы.

Выборы 1907-го года происходили въ минуту, подобную нынѣшней въ отношеніи дороговизны продуктовъ. Но въ то же время происходилъ промышленный

подъемъ, и раздвигавшіяся рамки производства втягивали всю наличную армію, по крайней мѣрѣ, организованныхъ рабочихъ и давали просторъ для успѣшной борьбы за повышеніе заработной платы, жалованья мелкимъ служащимъ и т. д.

Недовольство господствомъ аграріевъ, недовольство, питаемое дороговизной всѣхъ пищевыхъ продуктовъ, выражалось и разряжалось въ борьбѣ за болѣе высокую оплату труда. Промышленное оживленіе давало возможность покрыть съ лихвою недочеты отъ дорожающей жизни.

На очереди стоялъ и колоніальный вопросъ. Правительство и реакціонныя партіи доказывали, что если Германія займется широкой колоніальной политикой, то это откроетъ новые рынки, дастъ работу нѣмецкой промышленности, откроетъ новую область эмиграціи и т. д. и т. д.

Перспективы рисовались очень заманчивыя. Либеральныя и консервативныя партіи пѣли въ одинъ голосъ о непатріотичности нѣмецкой социаль-демократіи, о томъ, что она вырываетъ изо рта рабочихъ хлѣбъ заработка и даетъ имъ вмѣсто него камень теорій, что синица сама летитъ въ руки нѣмецкому народу, но въ погонѣ за неуловимымъ журавлемъ онъ ее не замѣчаетъ.

Либеральныя и консервативныя партіи при самой энергичной, активной и довольно безцеремонной поддержкѣ правительства развили необычайно широкую избирательную агитацію. Они щедро общались и новыя богатые страны, и высоко оплачиваемую работу и патріотическое удовлетвореніе. Страну удалось

раскачать. Къ выборамъ явился громад- ный процентъ избирателей. Въ полити- ческую активную жизнь втянуты были элементы, которые до сихъ поръ стояли въ сторонѣ отъ политической дѣятель- ности, ею не интересуясь и въ выбо- рахъ не участвуя.

Эти политическіе новобранцы, моби- лизованные избирательной компаніей 1907-го года, плохо ориентировались въ новой для нихъ области и отдали свои голоса тѣмъ, кто обѣщаль, какъ настоящий дядюшка Яковъ, товару про всякаго.

Положеніе социаль - демократовъ въ эти выборы было тяжелое. Имъ прихо- дилось доказывать всю иллюзорность, всю невыполнимость тѣхъ обѣщаній, которыя такъ щедро раздавали избира- телямъ консервативныя, а въ значитель- ной степени и либеральныя партіи.

Позиція критика въ такую минуту общаго возбужденія всегда неблагоприятна, и неустойчивая масса избирателей, пад- кая къ выигрышамъ, легковѣрная къ обѣщаніямъ, отдала свои голоса частью либераламъ, частью консерваторамъ.

Социаль-демократы, хотя и не поте- ряли въ числѣ поданныхъ за нихъ го- лосовъ, но потеряли благодаря ненор- мальному распредѣленію округовъ нѣ- сколько десятковъ депутатовъ.

Во всей либеральной и консерватив- ной печати Германіи ликование было необычайное.

До сихъ поръ кривая выборовъ всегда для социаль-демократовъ шла вверхъ. Отъ выборовъ къ выборамъ правильно и неотвратно нарастало количество поданныхъ голосовъ, число выбранныхъ

депутатовъ. Ростъ этотъ совершался такъ правильно, такъ непрерывно, что во всѣхъ разсужденіяхъ консерватив- ныхъ и либеральныхъ политиковъ, не смотря на подбадриваніе, слышались ноты меланхолическаго фатализма.

У консерваторовъ оставалось лишь упованіе на силу, которая властно вмѣ- шается въ этотъ естественный ходъ по- литическаго развитія и желѣзною ру- кою пріостановить его, отнявъ всеобщее избирательное право и для спасенія „государства“ совершивъ государствен- ный переворотъ.

У либераловъ же и этого утѣшенія не оставалось. Они надѣялись на то, что впрыскиваніе сильной дозы социаль- ной культуры возродитъ страдавшій по- литическимъ безсиліемъ нѣмецкій ли- берализмъ и отвлечетъ отъ знаменъ социаль-демократіи „благоразумные“ эле- менты. И вдругъ выборы ломаютъ на- правленіе кривой социаль-демократиче- скихъ выборовъ.

Они ее сильно пригибаютъ книзу и под- нимаютъ надежды и толки, что социаль- демократія достигла уже своего кульми- націоннаго пункта развитія, что она уже перешагнула его и теперь начинаетъ идти книзу, падать.

Подобными разсужденіями была пере- полнена нѣмецкая печать 1907-го года.

Прошло пять лѣтъ. И новые выборы круто поднимаютъ „кривую“ социаль-де- мократіи на небывалую высоту:—число со- циаль-демократическихъ депутатовъ под- нимается съ 43 въ 1907 г. до 110 въ 1912 г.

Отпѣтая и консервативною и либе- ральною печатью тактика нѣмецкой со-

ціалъ-демократіи привела къ новой блестящей побѣдѣ.

Чѣмъ же объяснить такой крутой переломъ въ настроеніи массоваго нѣмецкаго избирателя? Почему за какихънибудь пять лѣтъ въ такой умѣренной по политическому темпераменту и отстоявшейся по политическимъ группировкамъ странѣ, какъ Германія, происходитъ такая рѣзкая перемена политическаго положенія.

Если общее направленіе кривой роста социаль-демократіи объясняется общими законами экономической эволюціи Германіи, то самый темпъ этого роста, его скачки объясняются текущими моментами политической и культурной жизни страны.

Среди этихъ моментовъ главнѣйшую роль въ истекшую компанію сыгралъ ростъ общаго политическаго недовольства широкой народной массы.

Выборы 1907-го года прошли, какъ мы отмѣтили, подъ знакомъ недовѣрія къ социаль-демократіи. Въ рейхстагѣ образовалось плотное, сплоченное реакціонное большинство.

И нѣмецкіе либералы пошли на сладкій зовъ канцлера Бюлова и образовали противоестественное соединеніе либераловъ съ аграріями и консерваторами. Избиратель, отдавшій свои голоса либеральнымъ партіямъ въ надеждѣ, что онѣ доставятъ ему синицу на капиталистической землѣ вмѣсто журавля, обѣщаннаго социаль-демократами въ социалистическомъ небѣ, очень скоро и очень горько былъ разочарованъ. Либералы не погнушались вступить въ политическую связь съ консервативно-

реакціоннымъ большинствомъ и пойти на буксиръ у политики этого большинства.

Они убѣдились въ концѣ концовъ, что ихъ политическая тактика безтактности, ихъ политическій принципъ безпринципности повели къ тому, что не только слѣва на нихъ жестоко напали, но и справа самымъ безцеремоннымъ образомъ третировали.

Сосчитавъ свои голоса, консервативно-реакціонное большинство убѣдилось, что оно отлично можетъ обойтись безъ либераловъ, и поэтому при первомъ протестѣ со стороны послѣднихъ, оно повернулось къ нимъ спиною.

Въ рейхстагѣ образовался черно-голубой блокъ, т. е. блокъ изъ консерваторовъ и центра.

Руки реакціи были развязаны, и она на всѣхъ парахъ, даже безъ слабаго и скрипучаго либеральнаго тормоза, пошла по пути реакціи.

Въ политической области это означало усиленіе „личнаго режима“ Вильгельма II.

На протяженіи пяти послѣднихъ лѣтъ нѣмецкому народу не разъ приходилось знакомиться съ проявленіемъ волевыхъ импульсовъ императора, не разъ приходилось пожинать горькіе плоды его властнаго вмѣшательства въ политику.

Конечно, депутаты меньшинства и въ покойномъ рейхстагѣ говорили не мало очень рѣзкихъ и горькихъ рѣчей по поводу очень уже махровыхъ проявленій личнаго режима Вильгельма.

Но пока правительство чувствовало себя за широкою спиною реакціоннаго большинства и тѣшило себя надеждою, что разъ за него большинство парламента, то за него и большинство народа,

этотъ парламентъ избравшаго, до тѣхъ поръ всѣ рѣчи оппозиціонныхъ депутатовъ звучали въ ушахъ правительства, какъ безсильныя слова, слова, слова... И оно съ ними мало считалось, будучи твердо убѣждено, что оппозиціи суждены революціонные порывы, но свершить ничего не дано.

А большинство всецѣло поддерживало всѣ дѣйствія правительства. Болѣе откровенные и простоватые его представители, вродѣ пресловутаго депутата рейхстага Ольденбурга откровенно заявляли, что если Вильгельмъ прикажетъ, то они возмугъ десятокъ солдатъ и разгонятъ весь рейхстагъ.

И это говорилось въ томъ самомъ рейхстагѣ, съ тѣмъ самымъ реакціонно-консервативнымъ большинствомъ, съ которымъ въ времена Бюлова либералы вступили въ блокъ. Естественно, конечно, что не на этихъ либераловъ можно было возложить надежды на энергичную и безпощадную борьбу съ историческими пережитками абсолютизма. И растущее недовольство этими пережитками абсолютизма находило себѣ выраженіе въ ростѣ симпатій къ социаль-демократіи.

Для широкой народной массы Германіи социаль-демократія всегда была точкой приложенія и выраженія общаго недовольства, всякаго: политическаго, социальнаго, культурнаго. И ростъ недовольства политической реакціей выражался въ ростѣ симпатій къ социаль-демократіи. Въ ней видѣли на политической аренѣ единственную достаточно мощную и достаточно рѣшительную силу, которая на протяжении всей своей исторіи, никогда не уставая и никогда не отступая, боро-

лась съ политической реакціей. Она боролась съ нею всегда, неотступно, послѣдовательно, непримиримо.

И теперь, когда реакція подняла свою черно-голубую голову, всѣ надежды нѣмецкихъ избирателей отвернулись отъ либеральныхъ партій, скомпрометтировавшихъ себя блокомъ съ консерваторами, и повернулись лицомъ къ социаль-демократіи, которая въ борьбѣ за социалистическій строй никогда не забывала о борьбѣ съ политической реакціей.

Будь въ Германіи, какъ существуетъ въ Англіи и въ меньшей степени во Франціи, сильная либеральная партія, рѣшительная и единая въ борьбѣ съ политической реакціей, нѣтъ никакого сомнѣнія, что значительная часть мощнаго прироста числа голосовъ и депутатовъ пошла бы на пользу либеральной или радикальной партій.

Но политическія судьбы Германіи сложились такъ, что въ ней нѣтъ вліятельной и сильной радикальной партіи, которая взяла бы на себя борьбу за демократизацію политическаго строя. И та задача, которая въ Англіи и Франціи выпала на долю буржуазныхъ либеральныхъ партій, въ Германіи взвалила на свои плечи социаль-демократическая партія.

Слова Маркса: „мы страдаемъ не только отъ развитія, но и отъ недоразвитія капитализма“—примѣнимы и къ современной Германіи, если подъ капитализмомъ понимать не только число фабрикъ и заводовъ, но и всю совокупность социаль-политическихъ отношеній страны. Въ этомъ отношеніи Германія еще очень сильно страдаетъ отъ

недоразвитія капитализма. Въ ней еще чрезвычайно крупную политическую и социальную роль играют феодальные элементы—аграріи; они поставляютъ изъ своей среды высшихъ чиновъ арміи и флота, занимаютъ крупныя государственныя должности и имѣютъ рѣшающее вліяніе при Дворѣ.

Всею тяжестью своего политическаго вѣса они поддерживаютъ отсталыя и изжитыя формы политической жизни, и реакція всегда находитъ въ нихъ вѣрныхъ оруженосцевъ.

Во всѣхъ другихъ крупныхъ странахъ Европы эта феодальная власть отсталыхъ экономическихъ классовъ была сломлена и оттиснута подъ политическимъ предводительствомъ буржуазныхъ партій, въ Германіи же, повторяемъ, и эта историческая задача выпадаетъ, главнымъ образомъ, на долю социаль-демократической партіи.

Нѣмецкій либерализмъ отцвѣлъ, а нѣмецкій социализмъ расцвѣлъ раньше, чѣмъ была сломлена феодальная власть, и нѣмецкой социаль-демократіи пришлось изъ слабыхъ рукъ буржуазіи взять мечъ борьбы съ абсолютизмомъ.

У насъ здѣсь нѣтъ мѣста для анализа тѣхъ историческихъ причинъ, которыя вызвали преждевременное политическое безсиліе нѣмецкаго либерализма. Каковы бы эти причины ни были, фактъ остается фактомъ—въ Германіи нѣтъ либеральной или радикальной партіи, достаточно многочисленной, сильной и политически кредитоспособной, чтобы ей довѣрили борьбу съ политической реакціей.

И эту борьбу ведетъ, главнымъ образомъ, социаль-демократія.

Вотъ почему всякое недовольство политической реакціей вызываетъ ростъ и Усиленіе социаль-демократіи.

Если мы отъ политической жизни обратимся къ экономической, то увидимъ, что и здѣсь накопились въ Германіи горы горячаго, взрывчатого недовольства. Тутъ на первомъ мѣстѣ надо поставить тотъ процессъ общаго вздорожанія жизни, который охватилъ всю Европу и Америку.

Поднявшаяся волна дорожающей жизни вырвала у рабочаго класса и мелкаго люда всѣ, цѣною огромнаго напряженія и лишенія сдѣланныя завоеванія въ области заработной платы и жалованья.

Тѣ жалкія крохи, на которыя трудящимся классамъ удалось поднять свой заработокъ, стали цѣликомъ поглощаться ростомъ цѣнъ на всѣ предметы первой необходимости. Этотъ ростъ цѣнъ, совершаясь безостановочно, сѣлъ безъ остатка весь приростъ заработка и грозилъ дальнѣйшимъ обнищаніемъ. Это онъ поднялъ во всей Европѣ бурю голодныхъ бунтовъ.

Дорогая жизнь сѣяла и растила недовольство во всей странѣ. А какъ мы уже отмѣтили, всякое широкое недовольство, поднимающееся въ Германіи льетъ воду на мельницу социаль-демократіи.

Но помимо этого, социаль-демократія сумѣла ясно и ярко показать, что процессъ вздорожанія жизни неразрывно связанъ съ общей тенденціей капиталистическаго развитія и что въ предѣлахъ капитализма нѣсть спасенія отъ дорогой жизни и что, съ другой стороны, острота этого процесса въ Германіи вызывается политической реакціей и господствомъ аграріевъ.

Показать это было не трудно. Поль-

зуюсь своею политическою властью, нѣмецкіе аграріи поддерживаютъ систему аграрнаго протекціонизма, облагая высокими пошлинами ввозимые въ Германію иностранные сельско-хозяйственные продукты. Благодаря этому въ угоду аграріямъ нѣмецкій народъ ежедневно переплачиваетъ на всемъ ему необходимомъ.

Если бы удалось сломить политическую власть аграріевъ, то тогда можно было бы надѣяться на отмѣну аграрнаго протекціонизма на допущеніе въ Германію дешеваго хлѣба, мяса, яицъ, масла и т. д. изъ Россіи, Венгріи, Австріи.

Нѣмецкіе социаль-демократы умѣло использовали это настроеніе нѣмецкой народной массы. Они не демонстрировали вѣчныя и незыблемыя принципы социализма, а на живой чредѣ историческихъ событій показали, что социализмъ обѣщаетъ мелкому люду не только журавля въ небѣ будущаго, но и синицу на землѣ настоящаго. Они показали, что только социализмъ можетъ освободить человѣчество отъ унижительныхъ и гнетущихъ заботъ о сытости завтрашняго дня и только социализмъ своей экономической политикой можетъ облегчить сейчасъ же при капиталистическихъ условіяхъ всю тяготу дорогой жизни.

И рабочій и служащій, ежедневно на базарѣ и въ лавкѣ замѣчающіе, какъ дорожаетъ жизнь, какъ имъ все невозможно становится сводить концы съ концами, съ напряженнымъ вниманіемъ слушали рѣчи социаль-демократовъ и пріучались видѣть политическую причину того, что они считали своей личною бѣдою, пріучались видѣть въ се-

ціаль-демократахъ не только пророковъ лучшей, загробной по отношенію къ капитализму жизни, но и борцовъ за свѣтъ, тепло и сытость сегодняшняго и завтрашняго дня.

Было бы наивно думать, что всѣ тѣ четыре милліона голосовъ, которые въ послѣдней избирательной компаніи собрала социаль-демократія, были поданы за социалистическій строй.

Это, конечно, не такъ. Многое множество среди этихъ голосовъ подано было не за социализмъ, а противъ политической реакціи. Въ силу указанныхъ уже обстоятельствъ нѣмецкій избиратель научился видѣть въ социаль-демократической партіи борца не только за лучшее социалистическое будущее, но и противъ политической реакціи текущаго дня.

Побѣда социаль-демократовъ на выборахъ обѣщала прежде всего нанести чувствительный ударъ зазнавшейся аграрной реакціи. Она обѣщала затѣмъ создать въ рейхстагѣ прогрессивное большинство и съ его помощью извлечь изъ подъ сукна и провести проекты финансовой реформы, мѣропріятій противъ искусственнаго вздорожанія жизни и т. д. и т. д.

Къ социаль-демократіи, какъ единственной партіи, способной къ неуклонной и рѣшительной борьбѣ съ политической и социальной реакціей, и примкнули многіе избиратели, нисколько не сочувствующіе конечной цѣли социализма. Нѣмецкіе социалисты называютъ подобныхъ своихъ сторонниковъ „попутчиками“. Они идутъ за главной арміей социализма лишь до извѣстнаго истори-

ческаго пункта, пока эта армія разсчитывает историческую дорогу отъ пережитковъ и остатковъ феодализма, они идутъ за нею, пока она осаждастъ феодальные замки, крѣпость личнаго режима, пока она воюетъ съ экономически разбитыми, но политически еще властными классами.

Но эта масса избирателей-попутчиковъ, конечно, дезертируетъ изъ социалистической арміи, какъ только на неотложную очередь историческаго дня станетъ вопросъ о борьбѣ съ господствомъ буржуазіи, когда борьба сосредоточится уже не противъ реакціи, какъ теперь, а за или противъ социализма.

Конечно, социализмъ наступаетъ не сразу, а кусками и частями. Конечно, онъ не прійдетъ неожиданно какъ тать въ нощи. Но все же поворотный моментъ, моментъ перехода социальнаго количества въ социалистическое качество долженъ будетъ обозначиться ясно и рѣзко.

И тогда социалистической арміи придется исключить множество дезертировъ, которые смѣшались сейчасъ съ ея рядами, такъ какъ давно знаютъ высокія боевыя качества этой арміи въ ея борьбѣ съ политической реакціей.

Это присутствіе значительной буржуазной лигатуры въ массѣ социалистическихъ избирателей, конечно, ничего не умаляетъ и счѣнь многое повышаетъ въ заслугахъ нѣмецкой социаль-демократіи. Это прежде всего несомнѣнное свидѣтельство о политическомъ богатствѣ. Это показываетъ, какъ глубоко пустила корни въ народную почву нѣмецкая социаль-демократія, какъ сплела она

эти корни и съ повседневными нуждами и съ далекими идеалами народа.

Въ статьѣ „Корни побѣды“, напечатанной въ центральномъ органѣ партіи и въ журналѣ „Neue Zeit“, К. Каутскій пишетъ:

„Борьба съ дороговизною жизни, борьба съ аграрными пошлинами, борьба за право собраній и союзовъ, борьба противъ міровой политики и вооруженій, борьба за всеобщій миръ—таковы корни нашей теперешней побѣды“ („Vorwärts“, den 25 Januar 1912).

И въ другомъ мѣстѣ той же статьи: „Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что дороговизна послужила главнымъ стимуломъ такого рѣшительнаго оппозиціоннаго настроенія массы.“

Социаль демократія сумѣла направить свою тактику такъ, что вопросы объ устраненіи наиболѣе давящихъ и болѣзненныхъ зловъ дня неотрывно сплелись съ вопросомъ о социаль-демократической партіи. И этому то надо приписать такой необыкновенный приростъ социаль-демократическихъ голосовъ.

Обратимся теперь къ измѣренію этого прироста.

Слѣдующая таблица даетъ намъ представленіе о ростѣ числа социаль-демократическихъ голосовъ и депутатовъ въ Германіи:

Годъ.	Число поданныхъ голосовъ.	Число социалист. голосовъ.	Число социал. депутатовъ.
1871	3.884.000	113.000	2
1874	5.190.300	358.700	10
1877	5.401.000	493.400	13
1878	5.760.900	437.200	9
1881	5.097.800	312.000	13
1884	5.663.000	550.000	24
1887	7.540.900	703.000	11
1890	7.228.500	1.427.300	35

Годъ.	Число подан- ныхъ голо- совъ.	Число социа- лист. голо- совъ.	Число социал. депутатовъ.
1893	7.674.000	1.786.700	44
1898	7.752.700	2.107.000	56
1903	9.495.600	3.010.800	81
1907	11.262.800	3.259.000	43

И наконецъ послѣдніе выборы дали социаль-демократамъ свыше четырехъ миллионъ голосовъ и 110 депутатовъ. Удивительно ли, что охранительныя партіи Германіи, глядя на эти цифры, приходятъ въ отчаяніе.

Обратимся теперь къ другимъ партіямъ. Прежде всего бросается въ глаза необыкновенная напряженность и сознательность избирательной компаніи. Всѣ партіи мобилизовали всѣ свои силы. Изъ 14.236.722 избирателей подали голосъ 12.188.336 или 85,6% всѣхъ избирателей!

Общее распредѣленіе поданныхъ голосовъ таково:

За консерваторовъ — 1.149.916 (въ 1907 г. 1.060.209); за имперскую партію — 367.087 (471.863); за клерикальный центръ — 2.012.930 (2.160.743); за національ-либераловъ — 1.671.297 (1.137.048), за свободомыслящихъ — 1.556.549 (1.223.935), за социаль-демократовъ — 4.238.919 (3.259.020) и за поляковъ — 438.807 (453.858).

Послѣ перебаллотировокъ депутаты распредѣлились между партіями: социаль-демократовъ — 110; центра — 93; консерваторовъ — 42; національ-либераловъ — 48; прогрессистовъ — 41; поляковъ — 18; имперской партіи — 15; остальныхъ — 31.

Достаточно сопоставить данныя, чтобы убѣдиться, какъ рѣзко перемѣнилась политическая физіономія рейхстага. Въ прежнемъ рейхстагѣ большинство составляли рено голубые, т. е. блокъ

центра съ консерваторами. Это большинство сломлено. Оно перешло къ прогрессивной и социаль-демократической партіи. Однако, послѣдніе располагаютъ численно ничтожнымъ большинствомъ, и достаточно колебаній какого-нибудь десятка депутатовъ, случайной неявки ихъ, чтобы большинство какими нибудь двумя-тремя голосами перетянуто было на сторону центра и консерваторовъ.

Новый рейхстагъ находится въ положеніи неустойчиваго политическаго равновѣсія, да и къ тому же, когда мы пишемъ эти строки, депутаты еще не распредѣлились окончательно по фракціямъ, и только первыя мѣсяцы работы покажутъ, что представляетъ собою новый нѣмецкій рейхстагъ.

Ножестокій урокъ, полученный реакціей, никѣмъ не отрицается. Нѣмецкій избиратель рѣшительно отвернулся и отъ реакціонеровъ и отъ тѣхъ половинчатыхъ либераловъ, которые не остановились передъ блокомъ съ реакціонерами.

Многозначныя цифры голосовъ, поданныхъ за социаль-демократовъ и, частью, лѣвыхъ либераловъ — очень многозначительны. Надо замѣтить, что совершенно устарѣлая система распредѣленія избирательныхъ округовъ скрадываетъ громадныя размѣры процесса политической демократизаціи Германіи и ставитъ въ привеллигированное положеніе ея консервативныя партіи.

Распредѣленіе избирательныхъ округовъ было произведено въ Германіи полвѣка тому назадъ, въ шестидесятыхъ годахъ. Распредѣлены были округа по приблизительному разсчету, чтобы въ каждомъ округѣ было 100.000 населенія.



Съ тѣхъ поръ социальная группировка населенія въ Германіи рѣзко измѣнилась. Могучая тяга въ города вызвала форменное переселеніе народовъ. Населеніе потянулось изъ деревень и селъ въ города. А между тѣмъ распредѣленіе округовъ осталось прежнимъ. Къ какимъ нагляднымъ несообразностямъ это привело, видно хотя бы изъ такихъ фактовъ. Въ шестидесятыхъ годахъ сельское населеніе составляло  $\frac{2}{3}$  всего населенія, теперь оно составляетъ немногимъ болѣе  $\frac{1}{3}$ . Привело это къ тому, что въ одномъ громадномъ избирательномъ округѣ Тельтовъ-Бесковъ-Шарлотенбургъ насчитываютъ 1.282.000 жителей, посылающихъ лишь одного депутата, тогда какъ, напр., въ округѣ Ланенбургъ насчитываютъ всего 51.000 жителей, посылающихъ тоже одного депутата.

Такимъ образомъ житель какого нибудь Ланенбурга пользуются въ 26 разъ большимъ правомъ выборов, чѣмъ жители Шарлотенбурга.

Такъ какъ большинство реакціонныхъ депутатовъ выбирается отсталыми по экономическому развитію провинціями аграрной Германіи, то вся эта неравномѣрность въ распредѣленіи избирательныхъ округовъ цѣликомъ идетъ на пользу реакціоннымъ и консервативнымъ пар-

тіямъ. Неудивительно, что, пока власть въ ихъ рукахъ, реформа избирательныхъ округовъ не пройдетъ. И если теперь эта власть будетъ сломлена, то выдвинется на неотложную очередь реформа избирательныхъ округовъ. А эта реформа обѣщаетъ чрезвычайно усилить число социалистическихъ и демократическихъ депутатовъ. При теперешнихъ выборахъ за консервативныя и реакціонныя партіи подано было въ общей сложности 4.700.000 голосовъ, тогда какъ за социалистическія и либеральныя—7 $\frac{1}{2}$  мил. голосовъ.

Если же, несмотря на такой громадный перевѣсъ голосовъ, послѣднія партія располагаютъ лишь очень незначительнымъ большинствомъ депутатовъ, то это въ значительной степени объясняется указаннымъ выше неправильнымъ, устарѣвшимъ распредѣленіемъ избирательныхъ округовъ.

Германія вступаетъ въ интереснѣйшій періодъ своего развитія. Ея аграрной знати ставятся неотвратимая дилемма—подчиниться или сойти совсѣмъ со сцены.

Судя по настроенію реакціонной печати, аграрная знать собирается объявить рѣшительную войну. Но тѣ многозначительныя цифры, которая дала послѣдняя избирательная компанія показываютъ, что эта война заранѣе проиграна.

П. Берлинъ.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

Александръ Рославлевъ.—„Сказки“. Съ рисунками Билибина. СПб. Изд. „Обществ. Пользы“. 1912.

Изящно изданная тетрадка заключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ легко и остроумно написанныхъ сказокъ, прекрасно иллюстрированныхъ художникомъ Билибинымъ. Основные мотивы черпаются поэтомъ изъ сокровищницы народныхъ сказаній, но Рославлевъ большой мастеръ на неожиданныя и фантастическія варіаціи и умѣло сопровождаетъ каждый мотивъ обиліемъ веселыхъ, неожиданныхъ подробностей, оживляющихъ сказку и придающихъ ей колоритъ фантастическій. Сочный, здоровый реализмъ, сказывающійся въ подробностяхъ бытовой народной жизни, оригинально сочетаетъ онъ съ элементами сказочно-юмористическими. И это придаетъ особую жизненность его сказкамъ, изложеннымъ легкимъ, рифмованнымъ стихомъ, образнымъ и простымъ, доступнымъ дѣтскому пониманію. Одной изъ лучшихъ сказокъ въ этой тетрадкѣ слѣдуетъ признать сказку о деревянномъ Царевичѣ, въ которой такъ жизненно слиты юморъ и фантастика. Слѣдуетъ отмѣтить, что и въ этой области Рославлевъ остается самимъ собой и сохраняетъ присущія ему характерныя черты—образности, крѣпкаго бытового юмора и нѣсколько тяжеловатой, но не лишенной

силы, манеры письма. Рисунки Билибина прекрасно дополняютъ текстъ, являясь въ то же время самостоятельными художественными произведеніями, колоритными и характерно-живыми.

Н. К.

Г. Д'Аннунціо.—„Быть можетъ да, быть можетъ нѣтъ“. Романъ. Изд. „Шиповника“. 1911. СПб. и. 1 р. 25 к.

Закатъ талантливаго итальянскаго поэта и романиста несомнѣнно сказывается на этой книгѣ, въ которой какъ то замѣтнѣе всѣ обычные недостатки автора и въ особенности склонность къ многословной риторикѣ. Но и въ этомъ послѣднемъ романѣ Аннунціо порой поражаетъ удивительной силѣ поэтическаго темперамента, пышности красокъ и рельефности эффектныхъ сценъ. Сильное впечатлѣніе производитъ сцена на аэродромѣ, полетъ аэроплана и мастерская передача экстаза и восторга полета. Ясны и жизненны фигуры двухъ итальянокъ—героинь романа: мощной и грубой, какъ богиня земли и земного плодородія Кибелла, Изабо и сурово-страстной, смуглой и нѣжной Ванны. Обычны мастерски исполнены пейзажи, какъ это свойственно рисунку испытаннаго и сильнаго художника. Что отличаетъ романы Аннунціо и является одной изъ суще-

ственныхъ ихъ чертъ — это какая то скрытая и великолѣпная мелодія, проходящая сквозь лучшія страницы и сообщаящая имъ подлинное очарованіе. Недаромъ Аннунціо считается неподражаемымъ „музыкантомъ слова“; внутренній ароматъ сценъ и страницъ, ихъ поэзія сочетается у романиста съ ритмомъ его письма, съ тѣмъ, что согласно термину Рене Гиля, французскаго поэта и теоретика, можно назвать словесной инструментовкой. Аннунціо — музыкантъ, его слова дышатъ музыкальной и страстной силой; даже въ переводѣ сохраняется могучій золотой звонъ его ритмичной рѣчи, и это дѣйствуетъ на читателя не менѣе, чѣмъ самое содержаніе сцены. Заключительная сцена романа — снова полетъ пилота надъ Тиренскимъ моремъ, рѣшеніе покончить съ собой, смѣняемое подъ впечатлѣніемъ приволья и свѣжести полета жаждой жить и чувствовать міръ, — захватываетъ читателя непосредственной силой живого яркаго изображенія. Несмотря на всѣ длинноты романа и недостатки, ясно видишь, сколько юности, свѣжей силы и богатства чувствъ сохранилось еще въ душѣ блестящаго итальянскаго романиста.

Переводъ приличенъ. Издана книга нѣсколько небрежно.

Н. Кадминъ.

Камилль Лемоннье „Мертвецъ“ — романъ. Изд. „Сфинксъ“, Москва, 1911, ч. 1 р.

Романъ „Мертвецъ“ и нѣсколько очерковъ, относящихся къ литературной біографіи Лемоннье, вродѣ „Когда меня судили“, составили содержаніе второго

тома собранія сочиненій талантливаго бельгійскаго писателя, издаваемого въ русскомъ переводѣ московскимъ издательствомъ „Сфинксъ“. „Мертвецъ“ можно признать однимъ изъ лучшихъ произведеній Лемоннье. Написанный просто, грубовато и сильно, этотъ романъ изъ мужицкой жизни представляетъ собой эпопею алчности, преступленія, животной жажды и страха. Въ связи съ темой, требующей простого, примитивнаго развитія несложныхъ, но сильныхъ псложеній, романъ выполненъ съ какой то нарочитой грубой силой, какъ будто вырубленъ нѣсколькими взмахами топора. Нѣсколько уже пожилыхъ, изъѣденныхъ работой, болѣзнями, тяжестью тупой и однообразной жизни крестьянъ движутся въ этомъ романѣ совершенно естественно и живо, и вся фабула разгвртывается съ той тяжелой медлительностью, которая свойственна крестьянской жизни. Если сравнить этотъ романъ съ тѣми произведеніями Лемоннье, въ которыхъ онъ пытается быть проповѣдникомъ свободной жизни по законамъ инстинктовъ и стихійныхъ влеченій, то невольно отмѣтишь отсутствіе въ этомъ романѣ той напыщенности, крикливыхъ поддѣльныхъ красокъ, пышной фразеологіи и подражательности, которыхъ такъ много въ его романахъ любви, страсти и дикой жизни. Между тѣмъ именно эти крикливые и подражательные романы осыпаетъ высокими хвалами критикъ Леонъ Базальжеть въ своемъ обширномъ критико-біографическомъ очеркѣ, посвященномъ Лемоннье и помѣщенномъ въ настоящемъ томѣ. Критикъ совершенно потерялъ чувство

мѣры и всю характеристику писателя ограничилъ панегирикомъ, составленнымъ изъ общихъ мѣстъ, вслѣдствіе чего составить себѣ представленіе о творчествѣ Лемоннье и о личности его писательской по этому очерку совершенно невозможно. Читателю, познакомившемуся съ нѣсколькими романами бельгійскаго романиста, во всякомъ случаѣ станетъ ясно, что сравнивать Лемоннье съ такими его товарищами-земляками, какъ Роденбахъ, Метерлинкъ или Верхарнъ, совершенно невозможно; творческая сила и своеобразие ставятъ ихъ неизмѣримо выше автора „Самца“. Но во всякомъ случаѣ, даже не оказывая Лемоннье медвѣжьей услугу, проводя параллель между нимъ и болѣе крупными его товарищами, нельзя не признать оригинальности и силы многихъ произведений этого писателя, съ которыми слѣдуетъ познакомить русскую публику. Переводъ сдѣланъ прилично, внѣшность книги хороша; слѣдуетъ отмѣтить лишь небрежность въ отношеніи корректуры.

Н. Кадминъ.

Dr. Em. Reicke. Malwida von Meysenbug. Berlin 1912, 103 s. Pr. 2 m.

Приближающийся вѣковой юбилей со дня рожденія А. Герцена повышаетъ интересъ ко всѣмъ тѣмъ лицамъ и событіямъ, которыя имѣли отношеніе къ его былому или его думамъ.

Среди этихъ лицъ Мальвидѣ ф. Майзенбургъ принадлежитъ далеко не послѣднее мѣсто. Она, какъ извѣстно, жила нѣсколько лѣтъ въ домѣ Герцена въ Лондонѣ въ качествѣ воспитательницы его дѣтей. Впослѣдствіи она вновь вер-

нулась въ домъ Герцена. Свои воспоминанія о Герценѣ она изложила въ извѣстныхъ своихъ мемуарахъ „Воспоминанія одной идеалистки“. Но и помимо отношенія къ Герцену, личность и жизнь Майзенбургъ чрезвычайно интересны. Происходя изъ очень аристократической фамиліи, Майзенбургъ была увлечена демократическимъ вихремъ, пронесшимся въ сороковыхъ годахъ по всей Европѣ и увлекшимъ ее въ водоворотъ очень бурной, кипящей политической жизни. До конца жизни она осталась вѣрна демократическимъ завѣтамъ этой эпохи бурь и натиска. Чрезвычайно искренняя, очень образованная М. Майзенбургъ умѣла привлекать къ себѣ самыхъ выдающихся людей эпохи. Въ числѣ ея друзей мы встрѣчаемъ Герцена, Гарибальди, Рих. Вагнера, Ницше и т. д.

Послѣ М. Майзенбургъ оставалось довольно большое и интересное литературное наслѣдіе, въ видѣ романовъ, повѣстей и въ особенности цѣнныхъ воспоминаній.

Д-ръ Рейке далъ сжатое, но ясное представленіе объ этой замѣчательнѣйшей женщинѣ-идеалисткѣ.

Къ книжкѣ приложены портреты Герцена, его дочери, Гарибальди, Ницше и др.

У насъ въ Россіи имя Мальвиды Майзенбургъ мало извѣстно. И уже одни отношенія ея къ Герцену и его семьѣ, не говоря уже о безспорной самоцѣнности ея біографіи, должны заинтересовать и русскаго читателя, владѣющаго нѣмецкимъ языкомъ, книжкой д-ра Рейке,

П. Б.

А. Кизеветтеръ. Историческіе очерки. М. 1912. Изд. „Окто“, 502 стр. ц. 3 р.

Въ книгу А. Кизеветтера вошли очень пестрые и по содержанію и по характеру „историческіе очерки“.

Тутъ и очерки по исторіи политическихъ идей, очерки изъ области школы и просвѣщенія, изъ исторіи русскаго города, изъ политической исторіи Россіи и т. д.

Иные изъ этихъ очерковъ, какъ напр. очерки „Духовная цензура въ Россіи“ и „Изъ исторіи борьбы съ просвѣщеніемъ“ написаны по поводу одной книги и на ея основаніи. Врядъ ли стоило перепечатывать эти компилятивныя журнальныя статьи.

Другія же очерки, въ особенности тѣ, которые посвящены исторіи города, основаны на кропотливой архивной работѣ и представляютъ большую научную цѣнность.

Написанные живымъ, яснымъ языкомъ, связывающіе настоящее съ прошлымъ, проникнутые выдержаннымъ общественнымъ настроеніемъ, историческіе очерки г. Кизеветтера читаются съ очень большимъ интересомъ, давая большой фактический матеріалъ и выдержанное его освѣщеніе.

Если для людей, серьезно изучающихъ русскую исторію, наибольшій интересъ представляютъ очерки, посвященные исторіи города, то для широкихъ круговъ читателей особенно интересенъ обширный очеркъ посвященный Аракчееву. Фигура этого дикаго графа нарисована г. Кизеветтеромъ очень выпукло и ярко. Большой заслугой автора является при этомъ, что онъ не противопоставляетъ

Аракчеева Александру I-му, а прекрасно показываетъ, какъ аракеевщина неотдѣлимо сливалась съ политикой и поступками Александра I-го. Очень хороша у Кизеветтера и характеристика Александра I-го.

Что касается общихъ, обобщающихъ воззрѣній автора и его историческаго метода, то намъ представляется, что въ этомъ наиболѣе слабое мѣсто его работы. Мѣстами авторъ высказываетъ реалистическія воззрѣнія, но при историческихъ характеристикахъ эпохъ и личностей онъ обыкновенно беретъ „власть“, „правительство“, какъ изолированную отъ общества силу и противопоставляетъ постоянно „правительство“ „обществу“. Первое понятіе у автора повсюду слишкомъ изолировано отъ общественныхъ элементовъ и связей, а второе наоборотъ слишкомъ сырое, аморфное, расплывчатое по своей формѣ и своему составу.

Издана книга опрятно, но сброширована очень плохо. Мѣстами страницы сильно перепутаны (стр. 431—451), что затрудняетъ чтеніе.

П. Берлинъ.

О религіи Л. Толстого. Сборникъ статей г. г. Булгакова, Зѣньковскаго, Трубецкаго, Экземпларскаго, Андрея Бѣлаго, Бердяева, Волжскаго, Вл. Эрна. Москва, К-во „Путь“, стр. 248, ц. 1 р. 70 к.

— „Въ этихъ чувствахъ и мысляхъ возлагаемъ мы этотъ словесный вѣнокъ, посвященный памяти Толстого, со знаменемъ креста на его безкрестную могилу“. „Словесный вѣнокъ“ долженъ выяснитъ и осудитъ „противохристіан-

скія стремленія“ доктрины Толстого, однако, мы отказываемся понять почему это выяснение названо г. г. составителями „вѣнкомъ“? Въ вѣнках—цвѣты, а здѣсь репейникъ, колючій кактусъ, крапива, перевязанные лентами елейности С. Н. Булгакова, философической болтовней Бердяева и прочими неприятными атрибутами. Одно слѣдуетъ сказать: составители сборника съ Толстымъ не церемонились. Грызли, мяли, учили разность свысока и съ наскока, забывъ, что передъ ними одна изъ величавыхъ историческихъ фигуръ. Искренно меня удивило, что на путь разноса Толстого съ помощью рекордныхъ парадоксальностей стали и Андрей Бѣлый. По его выраженію „великій Толстой только великій неудачникъ“ (стр. 153). Зданіе „Войны и Мира“ увѣнчано „не блистающимъ куполомъ, а соломой“ (стр. 156). У него же мы прочли, что „Толстой—неудачникъ художникъ“, „замолчалъ отъ неумѣнія высказаться“ и, *pour la bonne bouche*,— „наиболѣе дорогое въ Толстомъ окажется такъ вообще... душевнымъ паромъ“. Покончивъ такимъ образомъ съ Толстымъ, А. Бѣлый неожиданно приглашаетъ:—„не лучше-ли намъ, послѣдовавъ примѣру Толстого, отряхнуть отъ послѣднихъ словъ нашихъ прахъ Вавилона, чтобы въ тѣхъ послѣднихъ словахъ по новому встрѣтиться... за его предѣлами. Тамъ, въ мірѣ семъ протечетъ некрикливая скромная наша, работа, озаренная свѣточемъ катакомбы“ (стр. 171, курсивъ автора). Вы поняли что нибудь, читатель? Встрѣтиться „въ послѣднихъ словахъ“, оза-

рится „свѣточемъ катакомбы“ и т. д. Я ничего не понялъ и радуюсь тому ибо пониманіе этой катакомбной фразеологии есть уже свидѣтельство опасной болѣзни...

Н. Валентиновъ.

— — —

С. И. Солнцевъ. Заработная плата какъ проблема распределенія. *СИБ. 1911 г. II. 3 р. 50 к.*

Г. Солнцевъ поставилъ въ своей работѣ довольно узкую задачу—разсмотрѣть заработную плату, какъ долю рабочихъ въ общественномъ доходѣ, совершенно игнорируя законы, ее регулирующие. Вслѣдъ за Туганъ-Барановскимъ г. Солнцевъ чрезвычайно упростилъ задачу и ничего не прибавилъ къ тому, что уже сдѣлано другими экономистами. Туганъ-Барановскій изъ разсмотрѣнія заработной платы, какъ доли національнаго дохода, пришепъ къ выводу, что, какъ часть національнаго дохода, заработная плата можетъ увеличиваться съ увеличеніемъ всего дохода и съ увеличеніемъ ея доли, т. е. къ тавтологіи. Г. Солнцевъ, оперируя съ конкретными данными, сдѣлалъ статистическій выводъ, вполне правильный и весьма важный и интересный, что доля рабочихъ съ развитіемъ капитализма относительно падаетъ. Приведенныя въ книгѣ г. Солнцева данныя о распределеніи національнаго дохода чрезвычайно интересны и указываютъ, какъ и весь его трудъ, на то, что авторъ серьезно занимался предметомъ. Тѣмъ не менѣе читатель, проштудировавши весь огромный томъ, ничего не вынесетъ изъ него, кромѣ эмпирическаго вывода, что

доля рабочихъ въ производимыхъ ими продуктахъ съ развитіемъ капитализма падаетъ. Читатель напрасно сталъ бы искать въ работѣ автора законовъ, регулирующихъ заработную плату, относительную и абсолютную ея высоту и т. д. Эта бесплодность серьезной и по существу хорошей работы г. Солнцева объясняется тѣмъ, что онъ съузилъ свою задачу и ошибочно предположилъ, что можно разсматривать заработную плату, какъ проблему распределенія долей труда и капитала безъ разсмотрѣнія законовъ, регулирующихъ высоту заработной платы. Авторъ сдѣлалъ элементарную ошибку: не опредѣливши, чѣмъ и какъ регулируется высота заработной платы, вздумалъ опредѣлять ея долю въ общемъ продуктѣ; разумѣется, вмѣсто выясненія экономическихъ законовъ ему пришлось довольствоваться статистическими итогами.

Между тѣмъ, въ классическихъ работахъ Маркса можно найти, по крайней мѣрѣ, методологическія указанія, какъ подойти къ вопросу. Марксъ сначала опредѣляетъ законы, которыми регулируется высота заработной платы („стоимость рабочей силы“) и уже потомъ, имѣя критерій ея высоты, подходитъ къ вопросу распределенія національнаго дохода. Не нужно, мнѣ кажется, останавливаться на доказательствахъ того, что только такимъ путемъ и можно подойти къ правильному и, главное, плодотворному рѣшенію вопроса. Вѣдь, политическая экономія ставитъ своей задачей дѣлать не статистическіе итоги и выводы, а находить закономерность экономическихъ явленій, ихъ причинную связь...

Значительная доля работы г. Солнцева посвящена историческому и критическому обзору ученія о заработной платѣ, въ которомъ читатель найдетъ много справедливыхъ и цѣнныхъ замѣчаній. Болѣе интересна вторая часть работы, гдѣ авторъ разсматриваетъ данныя о національномъ доходѣ Англіи, Германіи, Франціи и Соединенныхъ Штатовъ. Несмотря на указанный нами основной недостатокъ книги, работа г. Солнцева заслуживаетъ вниманія со стороны лицъ интересующихся теоріей политической экономіи.

П. Масловъ.

П. Майкельсонъ. Свѣтовые волны и ихъ примѣненія. Съ англ. перевелъ В. О. Хвольсонъ, подъ редак. заслуж. профес. О. Д. Хвольсонъ. „*Mathesis*“, 1912, стр. 189. Цѣна 1 р. 50 к.

Книга знаменитаго физика посвящена описанію изобрѣтеннаго имъ оптическаго прибора—интерферометра—и его многочисленнымъ приложеніямъ въ области измѣренія длины угловъ и пр. Майкельсонъ думаетъ, что наиболѣе основные и важные законы и факты физики уже открыты всѣ. Въ наше время открытія могутъ дѣлаться лишь благодаря увеличенію степени точности нашихъ измѣрительныхъ приборовъ: „мы должны искать наши будущія открытія въ шестомъ десятичномъ знакѣ.“ Можно, разумѣется, спорить противъ этого положенія, какъ общаго принципа. Но въ области явленій изученныхъ Майкельсономъ, его утвержденіе вполне оправдалось. Историческій опытъ Майкельсона о вліяніи движенія среды на скорость свѣта, описаніемъ кото-

раго заканчивается книга и который сыграл такую видную роль въ дальнѣйшемъ развитіи физическихъ воззрѣній, и является такимъ открытіемъ въ области шестого—и даже восьмого—десятичнаго знака (ибо дѣло идетъ объ измѣреніи величинъ порядка  $\frac{1}{100.000.000}$ ). Для рѣшенія вопроса и постановки самого опыта и былъ придуманъ Майкельсономъ интерферометръ, оказавшійся инструментомъ необыкновенной чувствительности. Имъ измѣряются такія ничтожныя разстоянія и углы, передъ которыми пасуютъ самые могучіе микроскопы и телескопы (3 лекція). Благодаря ему разрѣшаются спектральныя линіи тамъ, гдѣ совершенно безсильны лучшіе спектроскопы (4 лекція). Въ пятой лекціи описаны—произведенные опять таки при помощи интерферометра—знаменитые опыты для установленія неизмѣнной единицы длины. Майкельсонъ нашелъ, что для красныхъ

лучей кадмія (спектральныя линіи котораго отличаются наибольшей простотой) въ нормальномъ метрѣ содержится 1.553.163,5 свѣтовыхъ волнъ (при нормальныхъ температурѣ и давленіи). Благодаря этому можно всегда возстановить нормальный метръ, если бы онъ вдругъ пропалъ или почему либо измѣнился.

Мало удовлетворительны для насъ теперь мысли Майкельсона о значеніи эфирной гипотезы. Со времени появленія его книги положеніе дѣлъ—и именно подзамѣтнымъ вліяніемъ его жеработъ радикально измѣнилось. На недостатки въ этомъ отношеніи изложенія Майкельсона указываетъ въ своей замѣткѣ „Современное положеніе вопроса объ эфирѣ“ профессоръ Хвольсонъ, многочисленныя примѣчанія котораго значительно облегчаютъ чтеніе превосходной книги американскаго ученаго.

П. Юшкевичъ.

## СПИСОКЪ КНИГЪ, ПРИСЛАННЫХЪ ВЪ РЕДАКЦІЮ ДЛЯ ОТЗЫВА.

*Анатолій Бурнакинъ.* Разлука. Пѣсенникъ, второе изданіе. М. 1912. Ц. 50 к.

*Бенедиктъ Лишницъ.* Флейта Марсія. Первая книга стиховъ. Издана въ количествѣ 150 нумерованныхъ экземпляровъ. Кіевъ. 1911. Ц. 1 р. 25 к.

*Михаилъ Пришвинъ.* Разказы. Томъ первый. Изд. Т-ва „Знаніе“. С.Пб. 1911. Ц. 1 р.

*В. М. Устиновъ.* Ученіе о народномъ представительствѣ. Т. I. М. 1912 г. Ц. 5 р.

*Джэкъ Лондонъ.* Мартинъ Идэнъ. Романъ Авторизов. перев. съ англійск. I. Маевского. Изд. I. Маевского. М. 1912 г. Ц. 1 р. 50 к.

*Антоніо Фогаццаро.* Вѣра. Новеллы. Перев. съ итальянск. I. Маевского. Библиотека „Атенеума“. М. 1912 г. Ц. 60 к.

*Эдмондъ Д. Амичисъ.* Жизнь военныхъ. Перев. съ итальянск. I. Маевского. Библиотека „Атенеума“. М. 1912 г. Ц. 60 к.

*К. Бальмонтъ.* Зарево Зорь. Стихи. Кн-во „Грифъ“. М. 1912 г. Ц. 1 р.

*Абель Рей.* Современная философія. Перев. съ франц. подъ редакц. В. Базарова. Изд. Н. Карбасникова. С.Пб. 1911 г. Ц. 1 р. 90 к.

Кн-во „Польза“, В. Антикъ, М. 1912 г.:

*П. Мижусовъ.* Современная школа въ Европѣ и Америкѣ.

*Универсальная Библиотека:* Альфонсъ Додэ. Малышъ. №№ 462-464. Маркъ Твэнъ. Приключенія Тома Софера. № 466-468. М. Дождъ. Серебряныя Коньки. №№ 474-476. Ч. Диккенсъ. Давидъ Копперфильдъ. №№ 708-711. В. Агаронянъ. Матери. № 712. А. Деларю-Мардрюсъ. Изступленная. Ром. №№ 715-716. Гюи де Мопассанъ. Нездѣшняя (Noria) № 717. Ц. за выпускъ 10 к.

Редакторъ-издатель Я. Д. Николаевъ.



**Издательство „НОВ. ЖУРНАЛА ДЛЯ ВСѢХЪ“.**

**ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ**

**Собр. сочин. Н. ДОБРОЛЮБОВА.**

Цѣна за три книги 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Складъ изданія: С.-Петербургъ, Невскій просп., № 88-243.

## **Астраханецъ**

Открыта подписка на 1912 год. (Год. изданія пятый) Большая еженедѣльная литературная газета. Подписная цѣна: съ дост. въ гор. на 1 г.—3 р., 6 м.—1 р. 75 к., 3 м.—1 р., 1 м.—40 к. иногор. на 1 г.—4 р., 6 м.—2 р. 50 к., 3 м.—1 р. 50 к., 1 м.—60 к.

## **Нижегородская Биржа**

Открыта подписка на 1912 г., XIV—й годъ изданія, на общественно-политическую, торгово-промышленную и литературную газету. Газета выходит по программѣ большихъ общественно-политическихъ газетъ, три раза въ недѣлю. Подписной годъ—съ 1-го января. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ 5 руб., на полгода 3 руб., на три мѣсяца 2 руб., на 1 мѣсяць 1 руб. Подписка принимается: въ редакціи газеты „Нижегородская Биржа“, Нижній-Новгородъ, зданіе биржи.

## **Одесскій Курьеръ**

Открыта подписка на 1912 годъ на ежедневную общественно-политическую и литературную газету. Подписная плата: На годъ—4 р., 6 мѣс.—2 р., 3 мѣс.—1 р., 1 мѣс.—35 к. Бесплатное приложеніе въ видѣ ежемѣсячнаго журнала литературы, искусства, науки и общественной жизни „Нашъ Другъ“. Желающіе могутъ вмѣсто „Нашего Друга“ получить въ видѣ бесплатнаго приложенія Словарь иностранныхъ словъ, имѣющій свыше 700 стр. убористой печати и заключающій въ себѣ около 30000 иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ русскій языкъ.

## **Семейное Воспитаніе**

На 1912 г. (2-й годъ изданія) открыта подписка на новый ежемѣсячный, за исключеніемъ 2-хъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, журналъ рациональнаго воспитанія подъ редакціей женщины-врача А. Дерновой-Ярмоленко. Программа журнала: 1) Отъ редакціи. 2) Результаты современнаго воспитанія. 3) Особенности дѣтскаго возраста. 4) Гигіена тѣла и души ребенка. 5) Ненормальности дѣтскаго возраста. 6) Программы и способы наблюдений за дѣтьми. 7) Данныя экспериментальной психологіи педагогики. 8) Дневники родителей и воспитателей. 9) Ошибки и промахи въ дѣлѣ воспитанія. 10) Дѣтское творчество. 11) Вліяніе семьи и среды на образованіе личности. 12) Половой вопросъ въ дѣлѣ воспитанія. 13) Фотографіи и рисунки. 14) Справочный отдѣлъ. 15) Критика и библиографія. 16) Сравнительная педагогика. 17) Иностранный отдѣлъ. Подписная цѣна на годъ 3 р., на полгода 1 р. 50 к., на мѣсяць 30 к. съ пересылкой и доставкой. За границу съ пересылкой въ годъ 4 р. 50 к. Адресъ редакціи: г. Астрахань, Биржевая ул., д. Тесовской. Редакторъ-издатель А. Дернова-Ярмоленко.

## Юная Россія

Открыта подписка на 1912 годъ на журналы („Дѣтское Чтеніе“), ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы. Сорокъ четвертый годъ изданія. Журналъ допущенъ къ выпускѣ, по предварительной подпискѣ, въ ученическія бібліотеки среднихъ учебныхъ заведеній, въ городскія по Положенію 1872 г. училища и въ бесплатныя народныя читальни и бібліотеки. Въ 1912 г. журналъ „Юная Россія“ („Дѣтское Чтеніе“) дастъ всѣмъ подписчикамъ 12 ежемѣсячныхъ книжекъ, въ составъ которыхъ входятъ: а) повѣсти, рассказы и сказки; б) стихотворенія; в) историческіе очерки и біографіи; г) популярно-научныя статьи; д) снимки съ портретовъ замѣчательныхъ людей, съ картинъ извѣстныхъ художниковъ и пр. Бесплатныя приложенія: 1. Отечественная война 1812 г. II. Левъ Александровичъ Мей. 1. Литературно-біографическій очеркъ, съ приложеніемъ портрета и избранныхъ стихотвореній Л. А. Мей, сост. Д. Н. Тихомировъ. Въ годъ 4 р. 50 к. безъ пересылки, 5 р. съ пересылкой. За границу 7 р.

## Маньчжурская Газета

Открыта подписка на 1912 годъ на большую ежедневную вѣспартійную прогрессивную газету, выход. въ г. Харбинѣ. Годовымъ подписчикамъ будетъ разосланъ бесплатно въ началѣ января Маньчжурскій Календарь, подписная плата: для иногороднихъ: на годъ—10 р., 1/2 года—6 р., 3 мѣсяца—3 р. 50 к., 1 мѣсяць—1 р. 25 к. За границу на 1 годъ 14 р.

## АКУШЕРКА

Продолжается подписка на 1912 г. (XXIII годъ изданія) на общедоступный медицинскій журналъ. 24 № въ годъ въ 12 книжкахъ. Подписная цѣна съ пересылкой на годъ 3 руб. Подписка принимается: 1) Въ редакціи журнала „Акушерка“ въ Одессѣ. 2) Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. 3) Во всѣхъ почтовыхъ конторахъ съ наложеннымъ платежомъ или переводомъ. Редакторъ-издатель П. М. Амброземичъ.

## Пріамурье

Открыта подписка на газету на 1912 г. Выходятъ изъ Хабаровскѣ ежедневно. Газета посвящена заботѣ интересовъ русскаго Дальняго Востока: (области: амурская, приморская, сахалинская и камчатская), вопросы котораго изучаются и обсуждаются на ея страницахъ. Особое вниманіе обращено на вопросы зарубежнаго Дальняго Востока (Маньчжурія, Монголія, Китай, Корея, Японія, Америка). Всѣ мѣстные краевые вопросы разсматриваются въ тѣсной органической связи съ общегосударственными задачами и общенародными нуждами нашей родины, за жизнью которой газета слѣдитъ внимательно. Иногороднимъ: на 12 мѣс.—8 р., на 6 мѣс.—4 р. 50 к., на 3 мѣс.—3 р., на 1 мѣс.—1 р. Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Хабаровскъ, Поповская, д. 54) и во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ имперіи.

## Южно-Русская Сельскохоз. Газета

(XIV годъ изданія) областной еженедѣльный органъ, (изданіе Харьковскаго О-ва Сельскаго Хозяйства), посвящ. вопросамъ экономич. политики, общественн. агрономіи, коопераціи, опытному дѣлу и технике степного хозяйства. Программа: 1. Руководящія статьи по вопросамъ экономической политики, земскаго дѣла, обществен. агрономіи и землеустройства. 2. Статьи по основнымъ вопросамъ техники и организаціи степного хозяйства. 3. Итоги работъ опытныхъ учреждений юга Россіи. Селекціонное дѣло. 4. Теорія и практика сел.-хоз. коопераціи. 5. Обзоры сел.-хоз. коопераціи. 6. По югу Россіи: дѣятельность агрономическихъ организацій, сел.-хоз. обществъ и сельскихъ кооперативовъ, сельскохоз. жизнь деревни. 7. Библиографія: разборъ с.-хоз. и экономическихъ сочиненій. 8. Хроника текущая дѣятельность Харьк. О-ва С. Х.; земская и общественная жизнь, землеустройство и аграрный вопросъ. 9. Рынокъ сел.-хоз. продуктовъ. 10. Сел.-хоз. фельетонъ. Особые отдѣлы: 1. Вопросы мѣстной коопераціи. Печатаются въ Ю.-Р. Сельскохоз. Газетѣ разъ въ мѣсяць въ размѣрѣ 4—6 стр. большого формата. 2. Справочный листокъ по хлѣбной торговлѣ. Раасылается бесплатно подписчикамъ газеты въ періодъ хлѣбной кампаніи (съ 15 іюня по 15 ноября) 2 раза въ недѣлю. Подписная плата: 1 годъ—4 руб.; полгода—2 руб. 50 коп. За границу—6 руб. съ пересылкой. На другіе сроки подписка не принимается. Въ 1912 г. годовые подписчики получаютъ: 48 №№ еженедѣльн. журнала. 36 №№ Справочн. листка по хлѣб. торг. 12 №№ „Вопросы мѣстной коопераціи. Адресъ редакціи: Харьковъ. Московская, 10.

## Въ школѣ и дома

Открыта подписка на 1912 годъ (второй годъ изданія) на ежемѣсячный журналъ для дѣтей. Журналъ назначается для школьнаго и домашняго чтенія. Онъ будетъ выходить отдѣльными книжками, по 2—4 въ мѣсяцъ подъ общей обложкой, такъ что имъ одновременно могутъ пользоваться нѣсколько лицъ. Въ журналѣ будутъ помѣщаться: 1) Повѣсти и рассказы, какъ оригинальные, такъ и переводные. 2) Драматическія произведенія. 3) Стихотворенія. 4) Жизнь замѣчательныхъ людей,—біографіи выдающихся лицъ во всѣхъ отрасляхъ знанія и въ жизни, какъ живыхъ, такъ и умершихъ. 5) Очерки и рассказы изъ русской и всеобщей исторіи. 6) Путешествія. Рассказы о разныхъ странахъ и народахъ. Міровѣдѣніе. 7) Рассказы и очерки изъ жизни растительнаго и животнаго царствъ. 8) Текущая жизнь. Замѣчательныя открытія и изобрѣтенія. Что въ данное время происходитъ на земномъ шарѣ. 9) Иллюстраціи и приложенія. Подписная цѣна въ годъ съ пересылкой и доставкой 3 р., полгода 1 р. 50 к. Книжки журнала будутъ выходить 1-го числа каждаго мѣсяца. Адресъ конторы: Москва, Ваганьковскій пер., д. 9. Книжный складъ М. В. Клюкина.

## Пріокская Жизнь

Открыта подписка на 1912 г. на ежедневную политическую и общественно-литературную газету. Задача редакціи за недорогою плато дать читателямъ „Пріокской Жизни“ по возможности полное освѣщеніе русской, заграничной и въ особенности мѣстной жизни. Подписная цѣна для иногороднихъ подписчиковъ: на годъ 3 р. 20 к., на полгода 1 р. 85 к., на 3 мѣсяца 1 р. 10 к. на мѣсяцъ 50 к. Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка. Адресъ редакціи, конторы и собственной типографіи: г. Рязань, уг. Липецкой и Мало-Мѣщанской ул., д. Гавриловой. Редакторъ-издатель В. Н. Розановъ.

## Домъ и семья

Открыта подписка на 1912 г. Иллюстрированный двухнедѣльный журналъ хозяйства, домоводства и семейной жизни. Всевозможныя статьи и замѣтки, касающіяся хозяйства, домоводства и семейной жизни.—Обстановка квартиры.—Поваренный, гастрономическій и гигиеническій столъ.—Садъ и огородъ.—Сельское хозяйство: усадьба, хуторъ, мыза, дача.—Домашняя гигиена и медицина.—Популярная техника.—Воспитаніе дѣтей.—Беллетристика: небольшія повѣсти, рассказы, сценки, стихи.—Популярныя общеобразовательныя статьи по всѣмъ отраслямъ знанія.—Хроника политической, общественной и художественной жизни.—Иллюстраціи, портреты и рисунки.—Моды и рукодѣлія.—Охота и спортъ.—Анекдоты, шутки, шарады, задачи.—Игры, развлеченія и занятія. Журналъ „Домъ и Семья“ является настоящимъ семейнымъ журналомъ, дающимъ массу интереснаго, полезнаго и практичнаго свѣдѣній, необходимыхъ въ каждой семьѣ. Кромѣ №№ журнала подписчики получаютъ въ теченіи года 4 бесплатныхъ приложенія, по одному каждыя 3 мѣсяца: 1) Физическое воспитаніе дѣтей. 2) Уходъ за красотой. 3) Наставленія и рецепты, необходимыя въ домашнемъ быту. 4) Домашній лечебникъ. Подписная цѣна на журналъ „Домъ и Семья“ съ пересылкой и со всѣми приложеніями на годъ 4 р., полгода 2 р. Допускается наложенный платежъ (только на годъ 4 р. 25 к.). Программа бесплатно. Пробный № за 3 семикопеечныя марки. Адресъ: С.-Петербургъ, Садовая 59, кв. 9.

## „Литературно-Медицинскій Журналъ“

Открыта подписка на ежемѣсячное изданіе въ 1912 г. подъ редакціей д-ра В. А. Окса. Пятнадцатый годъ изданія. Учебнымъ отдѣломъ Министерства Торговли и Промышленности рекомендованъ для фундаментальныхъ библіотекъ подвѣдомственныхъ Министерству учебныхъ заведеній. Подписчики „Литературно-Медицинскаго Журнала“ получаютъ бесплатно Ежемѣсячный Народный Медицинскій Журналъ „Домашній Докторъ“ подъ редакціей д-ра В. А. Окса. Въ журналѣ общепонятнымъ языкомъ излагается все, что способствуетъ охраненію здоровья и жизни. Цѣна „Литературно-Медицинскаго Журнала“: четыре рубля за годъ, два рубля за полгода и одинъ рубль за 3 мѣсяца съ перес. Подписка на „Литературно-Медицинскій Журналъ“ принимается во всѣхъ почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Россійской Имперіи безъ всякой надбавки подписной цѣны, а также въ конторѣ редакціи (С.-Петербургъ, Офицерская, 26). Желающіе воспользоваться разсрочкой обращаются исключительно въ контору журнала. С.-Петербургъ, Офицерская, 26. Редакторъ-издатель д-ръ В. А. Оксъ.

## Українська хата

Приймається передплата на 1912 рік (рік видання четвертий) на літературно-громадський український місячник. Розпочинаючи 4-й рік видання журналу, редакція звертає особливу увагу на освітлювання чергових пекучих питань життя нашої інтелігенції, важких громадських і літературних подій українського і світового життя, творів мистецтва, беручи їх під розвагу національності. Буде містити—белетристику: поезії, оповідання, повісті, драми, малюнки, нариси і т. п.: статті публіцистичні, в яких обговорюються справи українського життя, літератури й мистецтва; критичні статті, літературні огляди, характеристики письменників, статті про мистецтво, його філософію, історію, психологію творчості і т. п. Виходитиме журнал в кінці кожного місяця чепурними, розміром не менше 64 сторінок набору, міцно зброшурованими книжками. Предплата річна на „Українську Хату“ 4 карб. (за кордон 10 корон), півроку 2 карб., окрема книжка 35 коп. (з пересилкою 40 коп.), можна виналячувати частками по 2 карб. Хто пришле цілорічну передплату (4 карб.) на журнал „Українську Хату“, той одерже в додаток. Безплатно такі Три книжки: Микола Евшан. Під прапором мистецтва. Літературно-критичні статті. М. Сріблягський. Жертви громадської байдужості (становище преси і письменників-художників). А. Товкачевський. Утопія і дієвість (характеристика української інтелігенції). Передплата на журнал з додатками і окремо приймається: В головній конторі редакції журналу, Київ, Бульв.-Кудрявська 16. Адреса редакції журналу: Київ, Бульварно-Кудрявська 16. Друк. Акц. Т-ва „Петро Барський у Києві“.

## Рада.

Приймається передплата на 1912 рік на українську газету. (Рік видання сьомий). Газета політична, економічна і літературна. Виходить у Києві щодня окрім неділів і днів після великих свят. „Рада“ має широку програму, як звичайні великі політичні газети: дає огляди життя політичного, громадського, економічного на Україні в Росії і закордоном; друкує фельетони, критичні статті і твори красномовного письменства. „Рада“ зостається й надалі непартійною газетою. Вона буде, як і досі, обстоювати змагання до поширення прав суспільства й органів громадського самоврядування. Адреса редакції і головної контори: у Києві, Велика-Підвальна вул. д. 6, біля Золотих Воріт. Телефон 1458.

## Амурскій листокъ

Открыта подписка на 1912 годъ. 5-й годъ изданія. Выходитъ въ Благовѣщенскѣ на Амурѣ ежедневно кромѣ послѣ праздничныхъ дней. Съ еженедѣльнымъ иллюстрирован. приложеніемъ. Подписная плата: Городскимъ: На годъ—9 р. на 6 мѣс.—5 р., на 1 мѣс.—1 р. Иногороднымъ: На годъ—9 р., на 6 мѣс.—5 р., на 3 мѣс.—3 р., на 1 мѣс.—1 р.

## Донъ

Принимается Подписка на ежедневную газету (45 годъ) въ Воронежѣ на 1912 годъ. Сорокъ четвертый годъ изданія. Условія подписки: Съ пересылкой въ другіе город. на годъ 7 руб. На полгода 4 р. На 3 мѣс. 2 р., 50 к. На мѣс. 1 р.

## Огни

Съ 30 Сентября 1911 года выходитъ въ Киевѣ еженедѣльный иллюстрированный журналъ. Редакторъ-Издательница О. П. Прохаско. Адресъ редак., и конторы Киевъ, Фундуклеевская 26. Подписная плата съ доставкой и пересылкой въ Россію: на годъ—2 руб., полъ-года—1 руб., 3 мѣсяца—50 к.

## Старообрядческая Мысль

Открыта подписка на 1912 годъ, 3-й годъ изданія на еженѣщный иллюстрированный церковно-общественный журналъ (органъ передовой, независимой мысли) выходящій въ Москвѣ книжками въ 6—7 печатныхъ листовъ (96—112 страницъ) съ рисунками въ текстѣ и роскошными фототипіями на отдѣльныхъ листахъ. Журналъ посвященъ исторіи, выясненію нуждъ и защитѣ старообрядчества. Онъ ставитъ своею задачей проводить въ жизни взгляды широко-христіанскіе, всегда смотрѣть правдѣ прямо въ глаза, отражать жизнь такою, какова она есть въ дѣйствительности, выяснять и устранять болѣзни общественнаго организма. При журналѣ ведется особый отдѣлъ по церковному пѣнію, въ которомъ даются „крюковые“ примѣры знаменнаго и демественнаго пѣнія. Годовымъ подписчикамъ безплатное приложеніе—большая книга въ 578 страницъ, съ Іосифскаго оригинала, со всею точностію, подъ названіемъ „О вѣрѣ единой, истинной и православной“. Подписная цѣна: на годъ—4 руб., полгода 2 руб., 3 мѣс.—1 руб. и 1 мѣс.—40 коп. Подписка принимается въ главной конторѣ журнала: г. Егорьевскъ, Ряз. губ., а также и во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Россійской имперіи.

## Юго-Западная Волынь

ской губернии—г. Ровно. (IV годъ изданія). Въ газетѣ принимаютъ участіе видныя провинціальныя и столичныя силы. Спеціальный отдѣлъ хмѣлеводства. Подписная плата: (съ пересылкой повсюду) 5 р. въ годъ, на полгода 3 рубля, на 3 мѣс. 1 р. 60 к. Ровно. Гоголевская ул. д. Тине, телеф. 116.

Открыта подписка на 1912 годъ на большую ежедневную политическую, литературную, общественную и экономическую газету, издающуюся въ центрѣ Волынской губернии—г. Ровно. (IV годъ изданія). Въ газетѣ принимаютъ участіе видныя провинціальныя и столичныя силы. Спеціальный отдѣлъ хмѣлеводства. Подписная плата: (съ пересылкой повсюду) 5 р. въ годъ, на полгода 3 рубля, на 3 мѣс. 1 р. 60 к. Ровно. Гоголевская ул.

## Полтавскія Вѣдомости

часть Губернскихъ Вѣдомостей). Выходитъ ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ и послѣ праздничныхъ дней въ большомъ форматѣ. Съ доставкой и пересылкой для подписчиковъ. На 12 мѣсяцевъ 4 руб. На 6 мѣсяцевъ 2 руб. 50 коп.

Открыта подписка на 1912 годъ на общедоступную ежедневную, общественно-литературную и политическую газету. Пятый годъ изданія (Неофициальная часть Губернскихъ Вѣдомостей). Выходитъ ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ и послѣ праздничныхъ дней въ большомъ форматѣ. Съ доставкой и пересылкой для подписчиковъ. На 12 мѣсяцевъ 4 руб. На 6 мѣсяцевъ 2 руб. 50 коп.

## Семья и Школа

журналы болѣе старшаго возраста. При этомъ „Семья и Школа“ ставитъ своей задачей одинаково примѣняться какъ къ интересамъ дѣтей, учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, такъ и къ пониманію учениковъ начальной народной школы. „Семья и Школа“ состоитъ изъ 12 ежемѣсячныхъ книжекъ журнала и 6 отдѣльныхъ книжекъ „Библиотеки Семьи и Школы“. Подписная цѣна за 12 книжекъ „Семьи и Школы“ и за 6 книжекъ „Библиотеки Семьи и Школы“: съ доставкой и пересылкой 3 руб. 50 коп. въ годъ. Безъ доставки въ Москвѣ 3 руб. За границу 6 руб. Редакторъ-Издатель Вл. Львовъ.

Открыта подписка на 1912 г. (VIII-ой годъ изданія) на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для дѣтей. Журналъ предназначается преимущественно для дѣтей средняго возраста (10—12 лѣтъ), которымъ еще мало доступны существующіе у насъ журналы болѣе старшаго возраста. При этомъ „Семья и Школа“ ставитъ своей задачей одинаково примѣняться какъ къ интересамъ дѣтей, учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, такъ и къ пониманію учениковъ начальной народной школы. „Семья и Школа“ состоитъ изъ 12 ежемѣсячныхъ книжекъ журнала и 6 отдѣльныхъ книжекъ „Библиотеки Семьи и Школы“. Подписная цѣна за 12 книжекъ „Семьи и Школы“ и за 6 книжекъ „Библиотеки Семьи и Школы“: съ доставкой и пересылкой 3 руб. 50 коп. въ годъ. Безъ доставки въ Москвѣ 3 руб. За границу 6 руб. Редакторъ-Издатель Вл. Львовъ.

### Открыта подписка на 1912-ый годъ.

на ежедневную прогрессивн., общественно-политическую и литературную газету

## „Оренбургскій Край“

(Годъ изданія V-ый).

Гор. Оренбургъ, Неплюевская улица, домъ Городисскаго.

Подписная цѣна: годъ—6 р., 6 мѣсяцевъ—3 р. 50 к., три мѣсяца—2 р., 1 мѣсяць—70 к.

### Открыта подписка на 1912 годъ

на ежедневную большую, общественно-политическую и литературную газету

## „Волжское Слово“

въ г. Самарѣ — VI годъ изданія.

Собственные корреспонденты во всѣхъ крупныхъ центрахъ Россіи и заграничій.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА для иногороднихъ: на годъ—7 р. на 1/2 года—3 р. 60 к., на 1/4 года 2 р., на 1 мѣсяць—75 к.

Адресъ конторы и редакціи: Самара, Дворянская, д. Журавлевой, № 132.

## Образовательныя поѣздки за границу,

организуемые Учебнымъ Отдѣломъ Общества Распространеніе Техническихъ Знаній.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ СБОРНИКЪ

„РУССКІЕ УЧИТЕЛЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ“

Годъ третій.

Часть I. Третій годъ организаціи поѣздокъ. Финансовая сторона поѣздокъ. Поѣздки по Германіи и Австріи. Сѣверный маршрутъ. Поѣздки въ Италію. Школьный маршрутъ. Шесть дней въ Берлинѣ. Ночля въ Тироли. Русско учителя въ Берлинскихъ школахъ. Англійскіе учителя въ Москвѣ. За три года. Анкета. Часть II. Впечатлѣнія участниковъ поѣздокъ. Приложение. Списокъ книгъ для подготовки къ поѣздкамъ на 1912 годъ, правила записи на нихъ. Бланки для заявленій. Сборникъ иллюстрированъ самими изъ жизни экскурсантовъ за границей (24 страницы иллюстрацій на отдѣльныхъ листахъ).

Цѣна сборника (256 стр. съ 24 стр. иллюстр.) 50 коп.

Высылающіе изъ Учебнаго Отдѣла (можно марками) платятъ съ пересылкой 55 коп., налогъ платежъ 65 к.

Складъ изданія: Москва, Б. Бисловка, 1 Учебный Отдѣлъ.

**Запись на маршруты 1912 года открывается со 2 января.**

Подробные проспекты помѣщены въ сборникъ «Русскіе учителя за границей» годъ третій. Тамъ же помѣщены правила записи и бланки для заявленій. Отдѣльные проспекты въ продажу не поступаютъ.

## Утро Сибири

Открыта подписка на 1912 годъ, II-й годъ изданія, на литературно-экономическую, политическую и литературную газету выходящую ежедневно въ г. Томскѣ. Газета ставитъ своею задачею давать возможно полное освѣщеніе русской, сибирской и заграничной жизни съ точки зрѣнія принциповъ прогрессивной демократіи. Какъ органъ Сибири, газета обратитъ особое вниманіе на принципиальное освѣщеніе и детальную разработку мѣстныхъ вопросовъ въ области экономической, политической и литературно-эстетической. Имѣя въ виду дать возможность населенію тѣхъ мѣстъ Сибири, гдѣ нѣтъ собственныхъ газетъ, слѣдить за интересами своей общественной жизни, газетой организована въ этихъ мѣстахъ сеть постоянныхъ корреспондентовъ. О всѣхъ особенно выдающихся событіяхъ газета будетъ освѣдомлена по телеграфу чрезъ посредство своихъ корреспондентовъ. Въ Государственной Думѣ имѣются собственные корреспонденты. Въ теченіе года газета помѣститъ рядъ біографій и характеристикъ выдающихся русскихъ писателей, ученыхъ и общественныхъ дѣятелей по возможности съ портретами ихъ въ текстѣ газеты. Всѣмъ годовымъ подписчикамъ будетъ высланъ въ качествѣ преміи иллюстрированный Календарь Справочникъ „Утро Сибири“ на 1912 годъ. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: Иногороднимъ на 1 годъ 6 руб., 6 мѣс. 3 р., 3 мѣс. 1 р. 70 к., 1 мѣс. 60 к. Для учащихъ и учащихся на 1 годъ 5 руб., 6 мѣс. 2 р. 50 к., 3 мѣс. 1 р. 30 к., 1 мѣс. 45 к. Адресъ конторы и редакціи: Ямской пер., д. Н. И. Орловой.

**ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 годъ.**

на выходящую ВО ВЛАДИКАВКАЗѢ ежедневную общественно-политическую, литературную и экономическую газету;

Пятый годъ изданія.

## КАВКАЗСКОЕ СЛОВО

Пятый годъ изданія.

(Преобразована изъ „Кавказскаго Листка“.)

Безпартійно-прогрессивный и интернаціональный органъ кавказской прессы, главная цѣль котораго—служить идеямъ культурнаго развитія края на принципахъ новыхъ реформъ, въ ихъ чистомъ не партійномъ видѣ, и на началахъ общей, основанной на взаимномъ довѣріи, работы, при безпристрастномъ освѣщеніи на страницахъ этого органа различныхъ вопросовъ и явленій изъ жизни русскаго и туземнаго населенія Терской области, Сѣвернаго Кавказа, Дагестана и отчасти Закавказья, а также своевременно сообщать читателямъ обо всѣхъ выдающихся событіяхъ въ Россіи и заграничьемъ.

**Условія подписки на газету съ доставкой и пересылкой:** На годъ 6 р., на 6 мѣс.—3 р. 50 к., на 3 мѣс.—2 р. 25 к., на 1 мѣс.—80 к. Иллюстрированное прибавленіе 1 р. 50 к. въ годъ.

Плата за границу 9 руб. въ годъ, съ иллюстр. прибав. 12 р.

Адресъ Главной Конторы и Редакціи—гор. Владикавказъ. Подгорный, № 9.

Продолжается подписка на изданія Т-ва „Міръ“.  
**ИТОГИ НАУКИ въ теоріи и практикѣ,**

Подъ ред. проф. М. М. Ковалевскаго, проф. Н. Н. Ланге, Н. Морозова и проф. В. М. Шимкевича. Показать, что сдѣлано наукой въ прошломъ, отмѣтить, что должно быть сдѣлано ею въ будущемъ, дать возможность ознакомиться съ тѣмъ, что внесла наука въ современное міросозерцаніе и что сдѣлала она для житейской практики, — такова задача настоящаго изданія, представляющаго по существу энциклопедію теоретическихъ и прикладныхъ знаній.

Изданіе выходитъ книгами (ок. 30 книгъ) приблизительно въ 8 листовъ, т.-е. 128 страницъ каждая, богато иллюстрировано.

**УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:** при подпискѣ уплачивается 2 руб., при полученіи каждой книги по 1 р. 70 к. Вышло 9 книгъ.

## РУССКАЯ ИСТОРИЯ

Съ древнѣйшихъ временъ, М. Н. ПОКРОВСКАГО,

при участіи: Н. М. НИКОЛЬСКАГО и В. Н. СТОРОЖЕВА.

Изданіе ставитъ себѣ цѣлью въ общедоступной формѣ подвести итоги тому, что сдѣлано до сихъ поръ въ области исторіи русской культуры. 10 книгъ, болѣе 100 иллюстрацій на отдѣльныхъ листахъ съ объяснительнымъ текстомъ.

Цѣна изданія: 20 р. Условія подписки: при заказѣ 2 р. и при полученіи каждой книги 1 р. 90 к. Вышло 8 книгъ.

Научно-популярная исторія міроизданія и начатковъ культуры.

## ЭВОЛЮЦІЯ МІРА.

Каруса Штерне.

Съ дополнительными статьями Н. А. Умова и Н. А. Морозова.

„Передъ нами путеводитель, странствуя съ которымъ по вселенной, мы не только пробѣгаемъ едва уловимыя нашимъ воображеніемъ пространства, но столь же мало представляемыя по своей протяженности эпохи ея жизни. Собранный на этомъ двойномъ пути пространства и времени матеріалъ, систематизированный и подвергнутый строгому научному анализу, раскрываетъ передъ нами всю архитектуру жизни на нашей планетѣ, отъ ея первыхъ слѣдовъ, теряющихся въ явленіяхъ мертвой природы, до степеней съ высоко развитой психикой“. (Изъ введенія проф. Н. А. Умова). Изданіе закончено. 3 тома въ 10 выпускахъ. Богато иллюстр.

Цѣна изданія 18 руб. въ изящномъ переплетѣ въ 3 томахъ. Условія подписки: 2 руб. при заказѣ и 5 руб. 33 коп. при полученіи каждого тома.

## Исторія Русской Литературы XIX в.

Подъ ред. акад. Д. Н. Овсяннико-Куликовскаго.

Цѣна изд. въ переплетѣ въ 5 т.—35 руб. Условія подписки: при подп. 2 руб. и при получ. кажд. тома по 6 руб. 60 к.

### ДЖ. БОККАЧІО. ДЕКАМЕРОНЪ.

Перев. акад. Александра Н. Веселовскаго. 2 тома съ иллюстрац. въ изящ. перепл. Цѣна 11 р.

Педагогическая библіотека. 9 книгъ въ переплетѣ. Цѣна 15 р.

Научно популярная библіотека. 9 книжекъ въ переплетѣ. Цѣна 5 р. 60 к.

Допускается разсрочка платежа отъ 2 р. въ мѣсяцъ.

Проспекты бесплатно. Главная контора т-ва „Міръ“: Москва, Знаменка, 9.

Отдѣленія: Сиб., Невскій, 55, кв. 14; Кіевъ, Кузнецкій, 14; Харьковъ, Валерьяновская, 82.



Издательство „Нов. Журнала для Всѣхъ“. (Годъ изд.—V-ый).

1 р. 90 к. въ  
годъ безъ  
доставки.

Открыта подписка на 1912 годъ.

2 р. 20 к. въ  
годъ съ  
пересылк.

## НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛѢ ВСѢХЪ

Вступая въ пятый годъ изданія, журналъ ставитъ своею основною цѣлью дать самымъ широкимъ кругамъ читателей возможность имѣть за всѣмъ доступную цѣну ежемѣсячникъ, въ которомъ помѣщаются произведенія лучшихъ литературныхъ и научныхъ силъ. Художественность, серьезность содержанія и популярность изложенія, при полной доступности цѣны—таковы задачи „Новаго Журн. для Всѣхъ“. Широко поставлены отдѣлы: 1) беллетристическій, 2) научно-популярный, 3) критическій, 4) обществен.-политич. 5) художествен. и др.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками больш. формата (130-140 стр.) съ художественными иллюстраціями на отдѣльныхъ листахъ.

**СОДЕРЖАНІЕ ЯНВАРЬСКОЙ и ФЕВРАЛЬСКОЙ КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА:**

Беллетристика: А. Серафимовичъ.—Порядокъ жизни. А. Наменскій.—Ящичекъ. И. Касаткинъ.—На Волгѣ. А. С. Гринъ.—Сивій каскадъ Теллури. А. Осендовскій.—Въ лѣсу за оврагомъ. А. Вережниковъ.—Сивка. Г. Яблочковъ.—Вольная. Т. Щепкина-Куперникъ.—Нарциссъ. Б. Ивинскій.—Въ лѣсу. Стихи: Вас. Гиппиуса, В. Нарбута, С. Маршана, Н. Пояркова и др. Статьи: П. Берлина, П. Мижужева, Г. Гордона, Н. Кадмина, Н. Лернера, М. Новорусскаго, П. Славина, В. Фриче, и др.

Годовые подписчики получаютъ бесплатное приложеніе:

**2** ТОМА рассказовъ и повѣстей **Ф. ШПИЛЬГАГЕНА**

Подписная цѣна: на годъ безъ доставки 1 р. 90 к., съ пересылкой—2 р. 20 к. на 1/2 г.—1 р. 20 к. За гран.—3 р. 25 к., отдѣлн. книжки въ магаз. п 25 к. пробн. № высыл. за пять 7 к. маронъ.

Адресъ главной конторы: Петербургъ, Невскій, 88.

Выписывающіе одновременно „Нов. Журн. для Всѣхъ“ и „Нов. Жизнь“ платятъ за оба журн. 6 р. 60 к. Разсрочка: 3 р.—при подп., 2 р.—1 Ап р., 2 р.—1 іюля.

Издательство „Новаго Журнала для Всѣхъ“

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА

## ЛЮБОВЬ КЪ ДАЛЕКОЙ

Книга рассказовъ ВИКТОРА ГОФМАНА.

Весь чистый доходъ отъ изданія предназначается на устройство въ Парижѣ памятника на могилѣ писателя.

Цѣна книги 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 45 к.

Деньги адресовать въ конт. изд-ва „Новаго Журнала для Всѣхъ“:  
СПБ., Невскій, 88.



# ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ КОМПАНИИ ЗИНГЕРЬ

ПРОДАЮТСЯ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ КОМПАНИИ.

Разсрочка  
платежа

отъ **1** руб.



Ручныя  
машины

отъ **25** руб.

МАГАЗИННАЯ ВЫВѢСКА.

Остерегайтесь  
поддѣлокъ.

Магазины во всѣхъ  
городахъ имперіи.

## СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ГЮИ ДЕ МОПАССАНА.

только за 3 руб.

### ЦѢНА за ОТДѢЛЬНЫЯ КНИГИ:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1) Пышка и др. разсказы. 40 к.     | 6) Мадмуазель Фифи и др. разск. 50 к.    |
| 2) Домъ Телье и др. разск. 50 к.   | 7) Сестры Гондольи и др. разсказы. 60 к. |
| 3) Нашъ милый другъ—романъ. 1 р.   | 8) Маленькая Рокъ. 50 к.                 |
| 4) Сильна какъ смерть—романъ. 1 р. | 9) Напрасная красота. 50 к.              |
| 5) Сказки бекаса—50 к.             | 10) Госпожа Гюссонъ. 50 к.               |
|                                    | 11) Сказки дня и ночи. 60 к.             |

Полный комплектъ изъ 11 книгъ вмѣсто 6 р. 40 к. высылается за 3 руб.

Перечисленныя книги продаются въ отдѣльности.

СО СКИДКОЙ 40%.

Книги высылаются и наложеннымъ платежемъ.

При выпискѣ всего комплекта въ 11 книгахъ необходимо присылать задаточныхъ не менѣе 1р.3а наложеніе платежа на любую сумму взимается дополнительныхъ 25 к.

ПЕРЕСЫЛКА ПО СТОИМОСТИ ПОЧТОВАГО ТАРИФА.

Съ заказами обращаться въ контору журнала „НЕДѢЛЯ“,  
С.-Петербургъ, Солдатскій, 6.

# НОВАЯ ЖИЗНЬ

1912

III

ОТЪ ИЗД.  
О ДЫМО  
А. ГРИ  
К. АН  
ЛМ. К  
ФРИДР  
Я. Т





Издательство „Нов. Журнала для Всѣхъ“. Годъ изданія 5-й.

4 р. 50 к. въ  
годъ безъ  
доставки.

Открыта подписка на 1912-й годъ.

4 р. 90 к.  
въ годъ  
съ перес.

# НОВАЯ ЖИЗНЬ

Большой беспартійный журналъ литературы, науки, искусства и обществен. жизни—включающій въ отдѣлы толстыхъ журналовъ и по своей цѣнѣ доступный самому широкому кругу читателей. „НОВАЯ ЖИЗНЬ“ выходитъ ежемѣсячно книжками больш. форм. (до 300 стр.), включая широко поставлен. отдѣлы: 1) беллетристическій, 2) научно-популярн., 3) критическ., 4) обществ.-политич., 5) художественн. статьи по искусству, иллюстрир. репродукц. картинъ изв. художниковъ.

Въ журналъ принимаютъ участіе: —Отдѣлъ литературно-художественный:

Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ, Д. Айзманъ, Николай Архиповъ, И. Бунин, А. Блокъ, К. Бальмонтъ, А. Боане, В. Брюсовъ, В. Вересаевъ, З. Гиппиусъ, С. Городецкий, О. Дымовъ, Бор. Зайцевъ, А. Купринъ, А. Каменскій, Вл. Кохановскій, С. Кондурушкинъ, Дм. Крачковскій, В. Ладыженскій, Б. Лазаревскій, В. Ленскій, О. Миртовъ, В. Муйжга, Н. Олигеръ, А. Ремизовъ, А. Рославлевъ, А. Серафимовичъ, Скиталецъ, С. Сергѣевскій, А. Свирскій, гр. Ал. Н. Толстой, Н. Тимковскій, А. Ѳedorовъ, Таня, Н. Фальц-Землеръ, Е. Чириковъ, Георгій Чулковъ, Дм. Цензоръ, С. Юшкевичъ, Г. Яблочковъ и др.

Критика, наука, публицистика: проф. Е. Аничковъ, Н. Абрамовичъ, К. Арабаджинъ, Хенвальдъ, В. Агафоновъ, П. Берлинъ, Ѳ. Батюшковъ, А. Бенуа, С. Венгеровъ, Л. Вейсманъ, А. Вережниковъ, И. Гинзбургъ, А. Герасимовъ, А. Дживилеговъ, проф. Ѳ. Скуинъ, А. Измайловъ, академикъ Н. Котляревскій, проф. Н. Карѣевъ, Л. Камышевъ, Л. Клейнбортъ, А. Луначарскій, М. Лемке, Н. Морозовъ, академикъ Д. Овсянко-Крижевскій, И. Рѣпинъ, Н. Рерихъ, М. Рейснеръ, Н. Рубакинъ, проф. В. Святловскій, Сперанскій, Е. Тарле, Я. К. Тугендхольдъ, проф. М. Туганъ-Барановскій, проф. И. В. Фриче, П. Юшкевичъ, М. Энгельгардтъ и др.

Годовые подписчики получаютъ бесплатное приложеніе по вы

Избран. сочиненія

**Л. Н. ТОЛСТОГО**

или избран.  
сочиненія

**А. И. ГЕРЦЕНА**

(по тексту посмертнаго изданія Гр. А. Л. Толстой).

Подписная цѣна на 1912 г.: на годъ безъ доставки 4 р. 50 к., съ перес. 4 р. 90 к. (Разсрочка: при подпискѣ 2 р. 70 к., къ 1 Іюля 2 р. 60 к.). За полугодіе 2 р. 50 к.

Для иногороднихъ принимается подписка на 1 мѣс.—40 коп.

При доплатѣ къ подписной цѣнѣ журнала 1 р. 75 к. подписчики получаютъ сочиненія обоихъ авторовъ: Л. Н. ТОЛСТОГО и А. И. ГЕРЦЕНА.

Выписывающіе одновременно „Новый Журналъ для Всѣхъ“ и „Новую Жизнь“ платятъ за оба журнала 6 р. 60 к. Разсрочка: 2 р. — при подпискѣ, 2 р.—1 апр., 2 р.—1 Іюля.

Главная Контора журналовъ „Новая Жизнь“ и „Новый Журналъ для Всѣхъ“ напоминаетъ подписчикамъ, выписывающимъ въ разсрочку одновременно оба журнала и уплатившимъ при подпискѣ лишь первый взносъ (3 р.), что имъ слѣдуетъ послѣшить пересылкой второго взноса (2 р.), иначе высылка апрѣльскихъ книжекъ будетъ приостановлена.

Редакція и Контора журналовъ „Новый Журналъ для Всѣхъ“ и „Новая Жизнь“ ПЕРЕВЕДЕНА: С.-Петербургъ, Невскій пр., № 13.

# НОВАЯ ЖИЗНЬ

---

## СОДЕРЖАНІЕ

1912 г.

Мартъ.

№ 3.

	СТР.
ОТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА И РЕДАКЦИИ . . . . .	2
О. ДЫМОВЪ.—Ночной кошмаръ. Разсказъ. . . . .	3
А. ГРИНЪ.—Приключенія Гинча. Повѣсть. . . . .	16
К. АНТИПОВЪ.—Предвесеннее. Стих. . . . .	47
ДМ. КРАЧКОВСКІЙ.—Два разсказа. . . . .	48
ФРИДРИХЪ ХУХА.—Питтъ и Фоксъ. Романъ. Пер. К. Жихаревой . . .	58
Я. ТУГЕНДХОЛЬДЪ.—Полю Гогэнь. (съ 4 иллюстрац.) . . . . .	113
О. МИРТОВЪ.—Бальмонтъ. (25 лѣтъ творчества) . . . . .	139
Н. АБРАМОВИЧЪ.—Послѣдній романъ Мережковскаго . . . . .	145
В. ТОТОМІАНЦЪ.—Кооперація въ русской деревнѣ . . . . .	163
А. ВЕРЕЖНИКОВЪ.—„Страстотерпцы“. . . . .	189
Л. КЛЕЙНБОРТЪ.—Отклики русской жизни: Націонализмъ нашихъ дней. .	209
П. БЕРЛИНЪ.—На Западѣ. Историческая стачка . . . . .	229
А. МАРТЫНОВЪ.—Союзъ науки и работниковъ въ Германіи (письмо изъ Германіи) . . . . .	247
<b>КРИТИКА и БИБЛИОГРАФІЯ:</b>	
Густавъ афъ-Гейерстамъ „Въ туманѣ жизни“ и „Старыя письма“.	
Ан. Ахматова „Вечеръ“.—М. Зенкевичъ „Дикая порфира“.—	
Г. Яблочковъ. Разск. . . . . 267—270	
Репродукція съ картинъ Поля Гогэна на отдѣльныхъ листахъ.	
<b>ОБЪЯВЛЕНІЯ.</b>	

## Отъ издательства и редакціи.

Изданіе журналовъ «Новая Жизнь» и «Новый Журналъ для Всѣхъ» съ текущаго марта перешло въ другія руки. Новое издательство предполагаетъ продолжать изданіе обонхъ журналовъ въ прежнемъ ихъ направленіи.

Беллетристическимъ отдѣломъ будетъ завѣдывать О. Миртовъ.

Въ апрѣльской книгѣ „Новой Жизни“ начнется печатаніемъ новый большой романъ Федора Сологуба—„Слаще яда“.

Въ виду столѣтняго юбилея Отечественной войны въ ближайшихъ книжкахъ обонхъ журналовъ начнется печатаніе очерковъ и отрывковъ изъ мемуаровъ двѣнадцатаго вѣка. Нѣкоторые очерки будутъ снабжены иллюстраціями на отдѣльныхъ листахъ мѣловой бумаги.

## Отъ редакціи.

Рукописи, присланныя въ редакцію, должны быть четко переписаны (по возможности на пишущей машинѣ) и снабжены именемъ и адресомъ автора.

Непринятые рукописи, менѣе половины печатнаго листа, возвращенію не подлежатъ. Относительно принятыхъ стихотвореній редакція ни въ какую переписку не вступаетъ.

Рукописи болѣе полулиста, принятые для напечатанія, хранятся въ теченіе трехъ мѣсяцевъ. На отвѣтъ и возвращеніе рукописей прилагаются марки.

Пріемъ по дѣламъ редакціи по вторн. и субб. отъ 3 до 5 ч.

## Отъ конторы.

За перемѣну адреса—50 к. для иногороднихъ, 40 к. для городск. подписчиковъ. Выписывающіе одновременно „Нов. Журн. для Всѣхъ“ и „Новую Жизнь“ платятъ — иногор. 70 к. и городск. 50 к. При новомъ адресѣ слѣдуетъ сообщать прежній свой адресъ съ бандероли.

Такса объявленій въ журналъ „Новая Жизнь“: послѣ текста—страница—80 р.,  $\frac{1}{2}$  стр.—45 р.,  $\frac{1}{4}$  стран.—25 р., строка нонпарели (въ одну колон.)—40 к.

На обложкѣ: 2 и 3 стран.—100 р.,  $\frac{1}{2}$  стран.—60 р.,  $\frac{1}{4}$  стран. 35 р. строка нонпар. (въ одну колон.)—80 к.; 4-ая стран.—120 р.,  $\frac{1}{2}$  стр.—70 р.,  $\frac{1}{4}$  стр.—40 р.

Въ Москвѣ подписка принимается въ конторѣ Печковской. Контора „Новой Жизни“ убѣдительно проситъ г.г. подписчиковъ при всѣхъ сношеніяхъ съ ней писать свой адреса какъ можно болѣе четко.



## НОЧНОЙ КОШМАРЪ.

### I.

Сортиловъ, рыхлый, съ слабымъ сердцемъ, бѣлый, очень рано пополнившій человѣкъ, вернулся домой поздно, часу въ третьемъ. Онъ тихо отперъ дверь ключомъ, привычнымъ жестомъ снялъ шубу и поставилъ галоши въ уголъ. Въ гостяхъ, гдѣ онъ былъ, дали вкусный ужинъ и какое-то новое мягкое вино. Выпилъ онъ очень мало, не больше бокала, но марку записалъ, хотя вовсе не собирался купить этого вина. Тихо проходя по темному корридору, онъ нащупалъ въ карманѣ жилетки бумажку, на которой для памяти было написано названіе поправившагося вина. Жестъ, съ какимъ онъ, вывернувъ пухлую руку и угломъ отодвинувъ локоть, полѣзъ въ жилетный карманъ, ему не понравился. Опять въ мозгу проснулся тотъ человѣкъ, который начиналъ шевелиться въ немъ послѣ музыки или послѣ хорошей статьи въ толстомъ журналѣ, а особенно въ ночные часы. Онъ отдѣлялся отъ него, Сортилова, и шелъ сзади, съ лѣвой стороны, немного отставая. Его звали уже не Сортиловъ, а Вортиловъ. Теперь Вортиловъ, несмотря на темноту, увидѣлъ вывернутую пухлую кисть и угломъ торчавшій локоть; онъ поморщился и брезгливо сказалъ:

— Гадость.

Но Сортиловъ притворился беззаботнымъ весельчакомъ, ночнымъ кутилой, которому пріятно и легко живется. Онъ даже цинично улыбнулся и пробормоталъ:

— А мнѣ все равно.

Послѣ бодрого морознаго воздуха, который пріятно жегъ щеки и уши, томная, теплая, пахнущая семьей и домашними кушаньями атмосфера слегка мутила.

Прежде, лѣтъ десять-пятнадцать назадъ, когда Сортиловъ, будучи студентомъ, ночью, въ темнотѣ, возвращался домой, онъ любилъ дразнить себя вопросомъ: «Куда я иду? Не ошибся-ли квартирой?» Теперь онъ попробовалъ задать себѣ этотъ же вопросъ. Но Вортиловъ, идя сзади съ лѣвой стороны, пренебрежительно усмѣхнулся и насмѣшливо сказалъ:

— Молодость вспомнилъ.

Сдѣлалось неловко и стыдно.

— Отчего же нѣтъ? Да, молодость,—отвѣтилъ Сортиловъ, немного погодя, но пересталъ дразнить себя возможностью ошибки.

За восемь лѣтъ Сортиловъ зналъ наизусть каждый уголокъ своей квартиры. Онъ теперь замѣтилъ это съ особенной тоскливой ясностью: его рука въ нужномъ мѣстѣ поднималась и безошибочно нащупывала ручку двери, его нога въ нужномъ мѣстѣ дѣлала обходъ и не задѣвала мебели.

— Что же это? — съ горестнымъ недоумѣніемъ подумалъ онъ: — Я въ плѣну у нихъ...

У кого? — „у нихъ“ — онъ не договорилъ, потому что все еще стыдился идущаго сзади по пятамъ Вортилова.

Онъ пришелъ въ свою супружескую спальню, гдѣ было еще теплѣе и кислото пахло туалетнымъ уксусомъ. Отъ этого кислотатаго бабьяго запаха въ темнотѣ перекопилось его рыхлое, полное, подозрительно-бѣлое лицо. Чуть слышно донесся кашель; это въ кухнѣ два раза кашлянула сквозь сонъ дѣвушка Ольга.

— Ум... — сказала соннымъ голосомъ жена, разбуженная его приходомъ: — Ты вернулся? Который часъ?

Сортиловъ ей ничего не отвѣтилъ, онъ думалъ:

— Зачѣмъ ей знать, который часъ. Половина четвертаго, пять, шесть — не все-ли равно? Я не хочу знать, который часъ... Я не хочу быть пригвожденнымъ къ времени.

Въ обоихъ окнахъ спальни были спущены бѣлыя полотняныя шторы, и сквозь нихъ пробивался ночной свѣтъ петербургскихъ зимнихъ фонарей. „Не надо на ночь опускать шторъ“ — подумалъ Сортиловъ и вспомнилъ, что за восемь лѣтъ своей брачной жизни онъ постоянно собирался сказать это женѣ и до сихъ поръ не собрался.

Вортиловъ, насмѣшливый, умный, очень печальный, худой и хорошо одѣтый, остался гдѣ-то за дверью... Такъ казалось... Нельзя было указать съ опредѣленностью — гдѣ именно, но чувствовалось, что онъ въ квартирѣ и не уходитъ.

— Кхе-кхе, — доносилось изъ кухни ровнымъ методическимъ звукомъ.

Сортиловъ началъ раздѣваться. Жена уснула, не узнавъ который часъ. Къ кислому бабьему запаху туалетнаго уксуса онъ понемногу привыкалъ. Онъ скинулъ сюртукъ и сталъ разстегивать жилетку снизу вверхъ, причемъ правая рука отставала отъ лѣвой. На третьей пуговицѣ онъ сообразилъ, что тѣмъ же самымъ жестомъ, въ той же послѣдовательности, въ той же позѣ онъ разстегивалъ жилетку каждый вечеръ въ продолженіе десятковъ лѣтъ. Тихо, воровато и неуклюже онъ застегнулъ опять всѣ пуговицы и, не спѣша, разстегнулъ ее уже сверху. Это немного его успокоило.

Онъ лежалъ въ мягкой постели; расслабляющая, мутящая теплота про-

питала его. Показалось, что подушка слишком высока, потомъ—что слишкомъ мягка, потомъ—что слишкомъ согрѣлась.

— Кхе-кха,—послышалось изъ кухни.

— Заснуть,—сказалъ себѣ Сортиловъ:—завтра на работу.

Но вмѣсто сна явились быстрыя мысли: отчетливо представлялось какое-то дачное мѣсто, гдѣ тепло, и барышни ходятъ съ цвѣтными раскрытыми зонтиками.

— Молодежь,—подумалъ онъ,—дѣвицы... глупыя.

Ему стало жаль этихъ глупыхъ дѣвицъ съ цвѣтными зонтиками.

— За-сы-паю...—сказалъ ему кто-то на ухо, и онъ блаженно отпустилъ все мускулы, улыбаясь не лицомъ, всею тѣлою.

— Кхе-кха-кха-кха,—явственно закашляла въ кухнѣ Ольга.

Блаженство подкрадывающагося сна исчезло. Сортиловъ съ нѣкоторымъ ужасомъ сообразилъ, что этотъ сухой, болѣзненный, видимо, упорный кашель повторяется черезъ правильные промежутки. Въ этой правильности было самое неприятное, досадное, раздражающее, что ужъ не дастъ заснуть... Обозленный, раздраженный, съ тревожно бьющимся сердцемъ Сортиловъ вскочилъ съ постели и, какъ былъ, босыми ногами прошелъ въ корридоръ.

— Сколько разъ говорили запирать дверь въ кухню,—пробормоталъ онъ, злобно шипя.

— Что такое?—отозвалась, проснувшись, жена:—какой часъ?

Сортиловъ быстро пробѣжалъ по корридору и убѣдился, что дверь заперта. Ему сдѣлалось страшно. Вортиловъ сзади протянулъ свою руку и положилъ ее на его лобъ, и лобъ тотчасъ вспотѣлъ.

## II.

Онъ не вернулся въ спальню, а прошелъ въ гостиную. Тамъ отъ свѣта уличныхъ фонарей, который отражался выпавшимъ снѣгомъ, было свѣтлѣе. Плюшевые стулья, купленные восемь лѣтъ тому назадъ, выгнутый овальный столъ, диванъ, картины въ рамахъ и коверъ—все было подозрительно неподвижно. Словно до того, какъ вошелъ Сортиловъ, они что-то дѣлали, шептались или сплетничали, а, можетъ быть, даже двигались; но, услышавъ шаги, притихли, набравъ въ себя воздуху. Приди онъ на секунду раньше,—можетъ быть, кое-что удалось бы подсмотреть.

— Ходишь за мной,—громко проговорилъ Сортиловъ, переступая порогъ гостиной и пренебрежительно и тоскливо обращаясь къ Вортилову:—я такъ и зналъ, что ты ждешь въ корридорѣ...

Онъ говорилъ громко, но въ то же время сознавая, что никакого Вортилова нѣтъ, только кажется, что онъ ходитъ сзади. Но все же было лучше



и даже успокоительнѣе громко говорить, обращаться на „ты“ въ темноту и ступать босыми широкими ступнями по холодному полу.

— Подкрался сзади, шептунъ! — горестно и укоризненно сказалъ Сортиловъ.

Едва уловимо послышалось ровное методическое покашливаніе изъ кухни. Въ другое время онъ не разслышалъ бы этихъ звуковъ, но теперь, когда нервы были напряжены, ухо угадывало каждый звукъ, и некуда было спрятаться.

Вдругъ съ поразительной ясностью онъ увидѣлъ духовными глазами, какъ худая, блѣдная, веснушчатая Оля, ихъ прислуга, лежитъ закутанная въ шерстяное полосатое одѣяло и кашляетъ.

Возможно, что она не спитъ, — замирая, подумалъ Сортиловъ: — не спитъ все время и старается не кашлять, чтобы не беспокоить господъ.

Слезы выступили на его глаза, и въ темнотѣ его лицо исказилось гримасой.

— Уйди отъ меня, — сказалъ онъ тихо въ темноту: — Уйди, Вортиловъ. Я вижу.

Но Вортиловъ — этотъ страшный двойникъ, живущій въ немъ — не уходилъ, а выступилъ впередъ и глядѣлъ на него, сидящаго, глубоко печальными, страдающими глазами.

Сортиловъ такъ же ясно, какъ вообразилъ спящую въ полосатомъ одѣялѣ Олю, увидѣлъ всю ея жизнь, словно предметъ, который стоялъ на столѣ и который можно было разсматривать со всѣхъ сторонъ. Онъ видѣлъ, какъ прошло все дѣтство и какъ проходить цѣлый день, и узналъ, о чемъ она думаетъ. Онъ не зналъ подробностей, но почувствовалъ нѣчто, что еще важнѣе и еще яснѣе, чѣмъ подробности. Съ печальными страдающими глазами, въ которыхъ стояли слезы, глядѣлъ онъ на этотъ предметъ, на ея нехитрую, простую жизнь. Его трогали и ударили въ сердце и ея горести и несчастья, которыхъ онъ не зналъ, и ея небольшія скромныя радости, которыя онъ воображалъ себѣ.

— Что же это за радости? Развѣ это радость, — укоризненно, страдая и вызывая къ какому-то милосердію, обращался онъ въ темноту: — Развѣ нельзя сдѣлать, чтобы это было иначе?

Маленькій предметъ, похожій на сѣрую статуэтку, стоялъ передъ его духовными глазами, и это была скромная жизнь дѣвушки Оли... Сейчасъ опять послышится кашель... Сколько такихъ дѣвушекъ...

Сортиловъ началъ вычислять. Предположимъ, что въ городѣ полтора милліона населенія. Изъ этого числа... изъ этого числа...

— Кхе-кха-кха, — заглушенно застонало въ темнотѣ, и хотя онъ ждалъ этого и зналъ, что онъ сейчасъ раздастся, все же его захватило волненіе.

— Полтора милліона,—повторялъ онъ, но повторялъ механически, однѣми только губами, забывъ, къ чему это относится.

— Страшно,—сказалъ онъ себѣ; у него высохли слезы, онъ вдохнулъ, преодолевая боль въ сердцѣ, которая была похожа на скручивающуюся пружину.—Очень страшно. Съ ума сойти. Что теперь будетъ?

Сбоку въ мозгу застряла недодуманная мысль о какой-то толстой книгѣ, въ которой надо о чемъ-то справиться. Но эту мысль покрыло большое неподвижное чувство непреходящей печали. Печально стояли застигнутые врасплохъ плюшевые стулья и диванъ, печальный тусклый свѣтъ ночныхъ фонарей проникалъ въ комнату. Печально сидѣлъ онъ. Онъ былъ уже во власти тѣхъ странныхъ ночныхъ настроеній, которыя были похожи на внезапно проснувшуюся совѣсть и которыя дремлютъ въ душѣ каждого, кто хоть однажды задумался надъ жизнью его окружающихъ...

Онъ всталъ и подошелъ къ окну. Отъ окна несло холодкомъ, и это было пріятно. Сортиловъ теперь не видѣлъ своихъ рукъ и своего облѣнивагося, заплывшаго нездоровымъ жиромъ, тѣла. Онъ вспомнилъ себя студентомъ безъ бороды, съ густыми волосами. Въ студенческое время была мечта: просидѣть всю ночь у себя въ комнаткѣ, медленно читать какую-то книгу, а потомъ около трехъ часовъ ночи начать писать. Литературнымъ талантомъ онъ не обладалъ, но надо было записать тѣ важныя мысли, которыя, казалось, родятся въ эту ночь... Это должна была быть особенная, тихая, одинокая и счастливая ночь, которая, можетъ быть, перевернула бы всю жизнь—не только его, но многихъ людей. Однако, за всѣ пять лѣтъ студенчества не случилось такой ночи. То выходило, что въ лампу не налить керосинъ и къ тремъ-четыремъ часамъ ночи, т. е. именно къ тому времени, когда надо будетъ начать записывать важныя мысли о человѣчествѣ, она и потухнетъ. То оказывалось, что надо утромъ рано вставать, то еще что-то... Этой ночи не было, и Сортилову теперь казалось, что онъ упустилъ нѣчто дорогое, невозвратимое, какъ молодость, какъ незамѣченную любовь.

— Вотъ теперь пришла ночь, но другая,—думалъ онъ:—черная—и рветъ сердце... Очень страшно.

Ему ясно представилась та ночь—прежняя, молодая, которой не было. Желтый свѣтъ лампы разлитъ по комнатѣ въ плѣнительной тишинѣ. Надъ небольшимъ столомъ, къ которому кнопками прикрѣпленъ большой красный листъ пропускной бумаги, наклонилась голова съ густыми молодыми волосами. Онъ не видитъ лица студента, но знаетъ, что это сидитъ онъ, прежній, двадцатилѣтній. Студентъ не знаетъ, что за окномъ со всѣхъ сторонъ караулить и ждать его великое будущее. Студенту немного жутко, но Сортиловъ теперь видитъ, что бояться нечего. Прекрасное великое будущее уготовано студенту въ темнотѣ ночи. Оттого такъ грустно, оттого такъ тихо въ

маленькой комнатѣ. Оттого такъ нѣжно свѣтитъ въ плѣнительной стыдливой ласкѣ лампа. Въ эту ночь мимо окна комнаты, какъ майскій ночной вѣтеръ, пронеслось великое будущее, и если-бы онъ выглянулъ, если-бы онъ не спалъ, если-бы зналъ,—онъ напелъ бы его, оно увлекло бы его съ собой!

— Се грядетъ женихъ въ полунощи!—сказалъ себѣ Сортиловъ замирающимъ отъ волненія голосомъ.

За окномъ, въ морозной полутемнотѣ, у плотно запертаго подъѣзда стояли двѣ извозчичьи пролетки. Оба извозчика спали, согнувшись на козлахъ. Ихъ унылыя лошадки также сонно въ безпечномъ отупѣніи опустили свои морды.

Сортиловъ взглянулъ въ нихъ, всплеснулъ руками и, задыхаясь, побѣжалъ въ спальню.

— Надо перемѣнить всю жизнь,—быстро сказалъ онъ женѣ.—Я одѣнусь. Гдѣ мой коричневый сюртукъ? У насъ есть адресъ-календарь?

Жена, приподнявшись на кровати, долго смотрѣла на него.

— Коричневый...—произнесла она.—Какую жизнь? Зачѣмъ тебѣ адресъ-календарь?

— Я хочу узнать,—отвѣтилъ Сортиловъ и тутъ вспомнилъ недодуманную мысль, которая все время была сбоку и не давалась памяти:

— ... сколько горничныхъ въ Петербургѣ...

— Господи!—тихо произнесла жена.—Я сейчасъ встану.

Она начала приводить въ порядокъ свои волосы.

### III.

Если ночью до зари неожиданно зажечь лампу, то всегда кажется, что въ домѣ случилось непоправимое несчастье.

Жена сидѣла въ наскоро накинутаго платьѣ, ея волосы были въ безпорядкѣ, она теперь казалась моложе. На ея лицѣ было то серьезное выраженіе вниманія, за которымъ скрывается тупое, безнадежное непониманіе.

Сортиловъ говорилъ ей:

— Моя жизнь связана крѣпкими нитями съ жизнями другихъ людей, съ жизнями всѣхъ людей. Нѣтъ, не нитями, а крѣпчайшими канатами. Я только стараюсь этого не замѣчать, не хочу замѣчать. Воображаютъ, что дѣло, которое ты дѣлаешь и которое тебя занимаетъ, — самое важное. Это не вѣрно. Чужое дѣло такъ же важно, какъ и мое. Мы нечестно живемъ, Катя. Надо измѣнить всю жизнь.

— Можетъ быть, ты нездоровъ?—испуганно отвѣчала Катя.—У тебя нѣтъ жара? Простудился, вѣрно...

— Подумай, Катя, сколько человѣкъ трудятся, сколько сидятъ въ тюрь-

махъ, сколько мерзнуть по дорогамъ, по холоднымъ угламъ. Мнѣ вдругъ такъ жаль стало всѣхъ этихъ людей, какъ-будто они мои родные братья. Катя, милая, пропала моя жизнь, не могу я жить.

— Ели-бы ты далъ поставить себѣ термометръ... — начала жена, но онъ перебилъ ее.

— Мнѣ не ихъ жаль, а себя,—продолжалъ Сортиловъ, и большіе, безбровые сѣрые глаза печально засвѣтились на рыхломъ, полномъ, блѣдномъ лицѣ.—Я почти не знаю, гдѣ я. Вотъ она кашляетъ тамъ на кухнѣ—это какъ-будто я простудился. Вотъ за окномъ спать на козлахъ извозчики. Мнѣ такъ близко ихъ жаль, какъ-будто они оба, это—я... Нужно что-то придумать. Нельзя такъ жить.

— Кто кашляетъ?—встременулась жена:—Оля?

— Надо сейчасъ же, сейчасъ же придумать что-то... Гдѣ карандашъ?.. Вотъ опять кашляетъ,—прервалъ онъ себя, въ страданіи искрививъ лицо.

Жена тотчасъ поднялась и вышла. Сортиловъ провелъ рукой по высокому лысѣющему лбу и задумался. Онъ подошелъ къ серебряной корзинкѣ, гдѣ хранились визитныя карточки, приглашенія на свадьбы, на обѣды, нашелъ листокъ покрупнѣе и задумался. Потомъ написалъ:

— Страхование рабочихъ на счетъ фабрикантовъ.

— Устройство на улицахъ теплыхъ шалашей-грѣлокъ для ночныхъ извозчиковъ.

Онъ повертѣлъ карандашемъ, послюнилъ его и дописалъ:

— Всеобщее обязательное обученіе.

Онъ подперъ голову рукой, смотря на пламя лампы, но ничего больше не могъ придумать. Мысли, какъ птицы съ тяжелыми крыльями, бились въ мозгу.

Коричневый лѣтній сюртукъ, сшитый много лѣтъ назадъ, былъ ему узокъ; короткій рукавъ обнажалъ бѣлый, нездорово пухлый локоть. Сортиловъ, разглядывая свою руку, на которой не росли волосы, проговорилъ:

— Какъ у прачки. Гадость.

Онъ перечелъ написанное и переправилъ въ первой фразѣ вмѣсто „фабрикантовъ“—„правительства“.

Потомъ повернулъ листочекъ и прочелъ:

— Федоръ Ильичъ Перелицынъ и Аглая Петровна Гроссъ повѣнчаны.

Онъ быстро надписалъ на другой сторонѣ:

— Бракъ безъ участія церкви съ занесеніемъ въ особыя книги...

Сортиловъ не докончилъ и вскочилъ. Поднявъ горестно руки и ломая нездорово-толстые пальцы, онъ быстро заговорилъ:

— Я окончательно погибъ. Великое будущее ждало меня за окномъ. Я полѣнился высунуть голову. Женихъ прошелъ мимо меня.

— Ты чего-нибудь хочешь?—спросила жена, показавшись въ дверяхъ.

— Полунощный женихъ прошелъ мимо меня—сказалъ онъ ей.—Катя, Катечка! Не бойся меня,—онъ кинулся къ женѣ и ловилъ ея руки:—я не сумасшедшій, я только не могу уснуть. Полунощный женихъ—это было мое вдохновеніе. Это былъ полетъ. Я полѣвился высунуть голову. Все прошло мимо. Я не могу его нагнать.

— Сейчасъ будетъ чай, милый,—отвѣтила жена:—успокойся.. Только успокойся...

— Онъ поманилъ меня пальцемъ, но я спалъ. Въ полночь приходитъ женихъ къ тѣмъ, у кого густые волосы и мягкое сердце. Кто этотъ женихъ? Онъ рассказываетъ всю правду ночи... всю правду ночи.

— Будетъ, ну, будетъ,—ласково и тревожно утѣшала жена:—напьешься чаю и станетъ легче. Съ лимономъ или вареньемъ—какъ ты хочешь?

— Сейчасъ онъ явился, какъ обвинитель. Жестокій прокуроръ, шептунъ. Моя жизнь крѣпкими смоляными канатами связана съ жизнями всѣхъ людей. Никого нельзя мучить. Никого нельзя заставлять работать на себя. Вотъ посмотри... за окномъ, на козлахъ спятъ два извозчика... Не видно... постой.

Сортиловъ быстро подошелъ къ лампѣ.

— Зачѣмъ ты тушишь лампу?—со страхомъ вскричала Катя.—Тамъ ничего нѣтъ. Я не хочу ничего видѣть...

— Нѣтъ, нужно видѣть. Ты должна видѣть,—настойчиво и печально возразилъ мужъ и повлекъ ее къ запотѣлому окну; короткими пухлыми пальцами онъ вытеръ стекло и, глухо стуча въ раму указательнымъ пальцемъ, говорилъ:

— Это я сплю, скрючившись на козлахъ. Это у меня свалилась шапка. Меня выгнали изъ моего теплаго дома на морозъ, въ грязь, на козлы... Поэтому что я раньше не хотѣлъ слушать... Такъ и нужно... Не надо теплаго дома! Здѣсь все неблагополучно... все неблагополучно.

Жена вырвала руку и убѣжала. Сортиловъ сѣлъ; его охватило то неподвижное спокойствіе, которое скрываетъ рѣшимость, уже перешедшую въ непреодолимую волю. Очень сильно и больно колотилось сердце. Но порою оно замирало—и тогда сладко мутило въ головѣ. Коротенькій узенькій коричневый сюртучекъ не былъ застегнутъ, обнажалъ полную рыхлую шею и придавалъ Сортилову нѣчто болѣзненное, придавленное. Онъ молча сидѣлъ, опустивъ голову и прислушиваясь къ тѣмъ печальнымъ и мучительнымъ мыслямъ, которыя овладѣвали имъ и томили припадками его сердце.

Маленькій тщедушный мальчикъ лѣтъ семи, съ тонкой длинной шеей, внезапно появился у двери въ гостиной. Видно было, что его разбудили, наскоро пріодѣли и послали. Онъ былъ въ чулочкахъ, и потому Сортиловъ

не слышалъ, какъ онъ подошелъ. Это былъ старшій сынъ Фединька, любимецъ отца.

Фединька молча стоялъ у двери, держась за косякъ, и дрожалъ, какъ будто ему было холодно. Отецъ ясно видѣлъ, что онъ боится его, и это почему-то было очень обидно. Къ тупой скорби, которая, не переставая, томила сердце, прибавилась еще большая острая, стыдная боль отъ этой обиды, нанесенной сыномъ.

— Фединька,—очень тихо произнесъ отецъ:—Фединька, ты всталъ?

Но мальчуганъ глядѣлъ на отца, какъ на дикованнаго звѣря, какъ глядятъ глупые щенки на привязаннаго медвѣдя, и не двигался. Онъ совершенно не стѣснялся показывать своего страха и отчужденности, и это было второй обидой.

— Я немного нездоровъ, Фединька,—сказалъ Сортиловъ, задабривая его:—пойди ко мнѣ.

— Я боюсь, —отвѣтилъ, подумавъ, Фединька.

— Тебѣ холодно?—спросилъ отецъ, замѣтивъ, что тотъ дрожитъ.

— Нѣтъ, это само дрожится.

— Ты умный мальчикъ,—сказалъ отецъ,—я тебѣ расскажу.

— Да,—произнесъ мальчикъ и приблизился.

Сортиловъ осторожно погладилъ его по угловатой головкѣ и отъ этой ласки, которую онъ далъ другому, самъ умилился—и у него дрогнуло лицо...

— Я немного нездоровъ, видишь-ли. Но больныхъ людей не надо бояться. Тебя мама разбудила?

— Мама,—серьезно сказалъ Фединька и кивнулъ угловатой головой.—Ты простудился, папа?

— Не простудился. Болитъ сердце... Видишь-ли,—сказалъ Сортиловъ и посадилъ мальчика на свои пухлые колѣна:—Видишь-ли, Фединька, въ каждомъ человѣкѣ, понимаешь—въ тебѣ, во мнѣ, въ мамѣ, живетъ еще другой. Одинъ ты, какой ты есть, а другой, какой ты долженъ быть.

— Гдѣ же онъ живетъ?—спросилъ живо Фединька:—Здѣсь?—И онъ ткнулъ себя въ грудь противъ сердца.

— Да, въ сердцѣ. Про другого человѣка очень часто забываютъ. Если его долгое время не вспоминаютъ, онъ совершенно неожиданно вылѣзаетъ изъ сердца, ходитъ сзади, заглядываетъ изъ-за плеча и все время говоритъ:

„Смотри!.. Смотри!“..

— Онъ злой?—спросилъ мальчикъ, расширивъ въ полутемнотѣ глаза.

— Не злой, а печальный. Ему грустно, что его забываютъ. Вотъ я зовусь Сортиловъ, да. А онъ—Вортиловъ. Онъ другой.

— Вортиловъ, съ синими глазами...—протянулъ печально Фединька.

— Ты понимаешь? — тихо продолжалъ отецъ и прислонилъ щеку къ

головкѣ сына:—Ты понимаешь: много лѣтъ назадъ былъ вечеръ, тебя еще на свѣтѣ не было, я жилъ въ маленькой комнатѣ, на моемъ столѣ лежалъ большой листъ красной пропускной бумаги, горѣла лампа, такая милая, тихая лампа, какъ-будто мать. Въ эту ночь Вортиловъ проходилъ мимо окна, тихо постучалъ и поминалъ меня съ собой, но я заснулъ и не видѣлъ и не слышалъ его... Я могъ спастись, Фединька...

— Ты плачешь, папа? — удивленно и холодно спросилъ мальчикъ и соскользнулъ съ колѣнъ отца.—Не надо тебѣ плакать. Папа, папа!..

Онъ попробовалъ тихо потянуть отца за короткій, узкій, вылинявшій рукавъ, но отецъ не откликался и былъ погруженъ въ тяжелыя, печальныя мысли. Федирька подождалъ полминуты, потомъ, тихо и неслышно ступая въ своихъ чулочкахъ, отошелъ къ двери и, не обернувшись, скрылся.

#### IV.

Лѣнливо, вяло, медленно свѣтлѣло. Погасли фонари за окномъ, стало ясно видно, что окна въ гостиной запотѣли и тускло, неохотно пропускаютъ сквозь себя новое утро. Два извозчика въ тѣхъ же позахъ продолжали спать, скорчившись, на козлахъ. Дремали, отставивъ переднюю ногу, ихъ заморенныя лошади.

Жена вошла въ гостиную въ тотъ моментъ, когда Сортиловъ, стоя на столѣ, гдѣ была опрокинута серебряная корзинка съ визитными карточками, прилаживалъ къ крюку въ потолокъ темнокрасный плетеный шнурокъ. Шнурокъ этотъ, не длинный и очень прочный, ему удалось оторвать отъ большой картины, на которой былъ изображенъ его отецъ. Жена бросилась къ нему, онъ покорно отдалъ темнокрасный шнурокъ и попросилъ воды. При этомъ у него сильно дрожали руки, онъ извинялся въ нѣжныхъ и ласковыхъ выраженіяхъ и цѣловалъ руки Кати.

— Ничего, ничего,—успокаивала его жена:—выпей.

Онъ быстро выпилъ стаканъ воды, немного успокоился, и тогда жена нервно разрыдалась.

— Я васъ люблю, я тебя люблю,—беспомощно говорилъ Сортиловъ,—но я самъ не знаю, какъ это вышло. Вдругъ я почувствовалъ, что сейчасъ, теперь, гдѣ-то происходитъ очень страшное. Не знаю, какъ это... Я не нарочно, Катя, милая, я никого не хотѣлъ огорчить. Какъ ты не понимаешь?

— Если бы я не вошла и не...

— Развѣ ты не чувствуешь, что всѣ люди, это—одно? Ты, навѣрно, чувствуешь, но только боишься признаться. Потому что если это признать, то ужъ нужно отказаться отъ всего стараго.

— Еще секунда, полсекунды, и было бы поздно,—плакала жена.

— Я знаю, что теперь, въ эту секунду, гдѣ-то,—онъ неопредѣленно махнулъ рукой,—происходитъ очень страшное дѣло. Очень, очень,—повторялъ онъ и торопливо собиралъ разсыпавшіяся визитныя карточки и извѣщенія о свадьбахъ...

Прислугу послали за докторомъ, и въ ожиданіи его жена стала приводить въ порядокъ свои густые, еще красивые, волосы. Фединька уснулъ въ столовой около большого, громоздкаго и дорогого буфета. Прислуга вернулась и сообщила, что докторъ скоро явится.

Было тихо во всемъ домѣ, свѣтлѣло все опредѣленно.

— Ужъ не кашляетъ,—шопотомъ, словно по секрету, сказалъ Сортиловъ женѣ.— Не уходи отъ меня... Пусть укусь... все равно.

Жена не поняла—какой укусь, и подумала, что онъ заговаривается. Сортиловъ сообразилъ это и улыбнулся въ первый разъ за все время припадка.

Явился военный докторъ, небольшого роста, со множествомъ крестовъ и медалей, старый, съ сѣдыми усами, джентльменъ. Сортиловъ сразу странно и нѣжно полюбилъ его.

— Докторъ,—сказалъ онъ, какъ ребенокъ: — Нехорошо мнѣ... сердце... Докторъ, надо любить всѣхъ.

— Да, да...—отвѣтилъ военный:—покажите языкъ.

— И животныхъ тоже... и деревья... и мебель... Она милая, добрая, стоитъ въ темнотѣ всю ночь.

— А какъ вашъ желудокъ?—спросилъ военный.

— Все надо любить. Я, собственно, здоровъ. Зачѣмъ меня лечить?

Военный врачъ прописалъ бромъ и посоветовалъ не волноваться, вставать рано и ложиться тоже рано.

— Вы хорошій человекъ, докторъ,—сказалъ ему Сортиловъ, провожая въ переднюю и запахиваясь въ коротенькій коричневый сюртучекъ:—Всѣ люди хорошіе—это главное.

— Гдѣ мои галоши?—спросилъ врачъ.

— Извольте, баринъ,—отвѣтила Ольга, подавая пару кожаныхъ галошъ съ прорѣзами для шнуръ.

Сортиловъ въ нѣжномъ удивленіи глядѣлъ на худую, некрасивую дѣвушку.

— Ну-съ, и не дѣлайте глупостей, — добродушно-насмѣшливо проговорилъ врачъ и подаль Сортилову старческую, морщинистую крѣпкую руку.

Докторъ ушелъ, и Сортиловъ улегся въ гостиной на диванѣ.

— Нѣтъ, я не хочу спать. Только полежу, — сказалъ и тотчасъ-же заснулъ.

Онъ проснулся, вѣроятно, отъ какого-то шума за дверью. Было уже



очень свѣтло, во всемъ домѣ царила необыкновенная тишина. На секунду мелькнуло покрытое инеемъ окно, покривившійся портретъ отца въ тяжелой черной рамѣ и узоръ ковра. Блаженная глубокая усталость нѣжила сладкой болью душу и сковывала волю и мысли.

— Хорошо,—съ усиліемъ подумалъ Сортиловъ:—Хорошо, что меня не повѣсили.

Было неловко ногѣ и даже чуть-чуть больно, но не хотѣлось шевелиться, чтобы не нарушить этого давно неиспытаннаго чувства здоровой, животельной усталости.

— Ну, и пусть... Закрою глаза,—лѣниво подумалъ онъ, закрылъ глаза и тотчасъ-же на его вѣки томно и плотно спустился утренній сонъ, въ которомъ всегда есть что-то дѣтское и счастливое.

Онъ опять заснулъ и проснулся уже въ сумеркахъ. Не шевелясь, лежалъ онъ, видѣлъ покрытое инеемъ окно, теперь потемнѣвшее, покривившійся портретъ въ тяжелой черной рамѣ и уголъ ковра, на которомъ уже нельзя было различить узора. Изъ всей кошмарной страшной и нервной ночи особенно запомнился угловатый маленькій черепъ Фединьки. И какъ прекрасное видѣніе, какъ забытое переживаніе, о которомъ тоскуешь, — вспоминался сладостный моментъ, когда проснулся въ блаженной усталости, и на мгновенье, словно въ открытую дверь, ворвался въ сознаніе трезвый, здоровый міръ зимняго яснаго утра...

Сортиловъ лежалъ, сумерки все сгущались.

— Который часъ?—подумалъ онъ:—Вѣроятно, четыре, пятый...

Сейчасъ надо будетъ встать, выйти въ столовую, одѣться, говорить съ женой, увидѣть прислугу. Онъ медлилъ и силился припомнить то мгновенье, когда онъ утромъ на секунду открылъ глаза; оно казалось ему счастливымъ.

Онъ пошевелился и закашлялъ. Тотчасъ-же дверь открылась, ворвалась струя желтаго свѣта. Стараясь тихо ступать, вошла жена.

— Ты не спишь?—негромко сказала она.

Она подошла ближе, отъ нея пахло кислымъ бабьимъ запахомъ туалетнаго уксуса и пудры; она положила руку на его лобъ.

— Который часъ?—спросилъ Сортиловъ, приподымаясь.

— Ты хочешь встать? Какъ себя чувствуешь?—сказала жена.

Онъ свѣсилъ ноги и старался не глядѣть на нее.

— Можетъ быть, хочешь чаю? Готовъ... Матреша!—крикнула она въ корридоръ.—Дайте барину стаканъ чаю.

— Какая Матреша?—удивленно спросилъ Сортиловъ.

— Я Олю отправила. Къ чему? Матрешу часъ назадъ изъ конторы прислали.

Вошла толстая, съ короткимъ носомъ, пожилая женщина. Жена принесла свѣчу и поставила у серебряной корзинки съ визитными карточками.

— Это хорошо, — проговорилъ Сортиловъ, со вкусомъ прихлебывая горячій сладкій чай.

— Чай? Ну, да, хорошо для горла.

— Нѣтъ, насчетъ Оли. Богъ съ ней...

Опять освобожденно вздохнулъ и сладко зѣвнулъ.

Понемногу Сортиловъ приходилъ въ себя. Воспоминанія кошмарной ночи исчезали. Немного болѣла голова, но чувствовалось, что и это скоро пройдетъ. Его взглядъ упалъ на обрывки словъ, выведенныя небрежнымъ почеркомъ.

— Страхование рабочихъ на счетъ правительства.

— Устройство на улицахъ теплыхъ шалашей.

Онъ перевернулъ листочекъ и спросилъ жену:

— А кстати—гдѣ теперь Федоръ Ильичъ Перелицынъ?

Жена усѣлась рядомъ и принялась подробно рассказывать про Перелицына и его вертушку-жену Аглаю Петровну. Сортиловъ внимательно слушалъ и язвительно улыбался, посямѣваясь надъ недогадливымъ Перелицынымъ.

Въ сосѣдней комнатѣ громко возились дѣти и слышался хохотъ Фединыки.

О. Дымовъ.

---

## ПРИКЛЮЧЕНІЯ ГИНЧА.

„Онъ сажаетъ это чудовище за столъ—и оно произноситъ молитву голосомъ разносчика рыбы, кричащаго на улицѣ.“

*Вальт. Скоттъ.*

### ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я долженъ оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новыя, случайныя знакомства послѣ того, какъ одинъ изъ подобранныхъ мною на улицѣ санюлетовъ сдѣлался беллетристомъ, открылъ мнѣ свои благодарныя объятія, а затѣмъ сообщилъ по секрету нѣкоторымъ нашимъ общимъ знакомымъ, что я убилъ англійскаго капитана (не помню, съ какого корабля) и укралъ у него чемоданъ съ рукописями. Никто не могъ бы повѣрить этому. Онъ самъ не вѣрилъ себѣ, но въ одинъ несчастный для меня день ему пришла въ голову мысль придать этой исторіи нѣкоторое правдоподобіе, убѣдивъ слушателей, что между Галичемъ и Костромой я зарѣзалъ почтеннаго старика, воспользовавшись только двугривеннымъ, а въ заключеніе бѣжалъ съ каторги.

Грустныя размышленія, преслѣдовавшія меня послѣ этой исторіи, разсѣялись въ одинъ изъ весеннихъ дней, когда, впитывая въ себѣ своимъ существомъ уличную пыль, блѣдное солнце и робкій шопотъ газетчиковъ, петербуржецъ, какъ бы случайно, посѣщаетъ ломбардъ, обмѣниваетъ у великодушныхъ людей зимнее пальто на пропитанный нафталиномъ демисезонъ и устремляется въ гущу весенней уличной суеты. Пролѣтавъ все это, я открылъ двери стараго, подозрительнаго кафе и усѣлся за столикомъ.

Посѣтителей почти не было; насколько помню теперь, я не принялъ въ счетъ багроваго старика и пышной прически его дамы, считая ихъ примелькавшими аксессуарами. Противъ меня сидѣлъ скверно одѣтый молодой человѣкъ, съ лицомъ, взятымъ напрокатъ изъ модныхъ журналовъ. Я такъ и остался бы на его счетъ очень низкаго мнѣнія, не подыми онъ въ эту минуту свои глаза: взглядъ ихъ выражалъ серьезное, большое страданіе. Пустой стаканъ изъ-подъ кофе нѣкоторое время чрезвычайно развле-

калъ его, онъ вертѣлъ этотъ стаканъ изъ стороны въ сторону, наклонялъ, побрякивалъ имъ о блюдечко, разсматривалъ дно и всячески развлекался. Затѣмъ, къ моему великому изумленію, человѣкъ этотъ принялся царапать ногтями стеклянную доску столика.

Подумавъ, я быстро сообразилъ, въ чемъ дѣло. Рекламы въ этомъ кафе задѣлывались между нижней, деревянной, частью стола и верхней доской изъ толстаго стекла, имѣя видъ небрежно брошенныхъ разноцвѣтныхъ листовъ. Молодой человѣкъ находился въ состояніи глубокой разсѣянности. Его усилія взять одинъ изъ листовъ сквозь стекло ясно доказывали это. Человѣкъ, разсѣянный до такой степени въ публичномъ мѣстѣ, обращаетъ на себя вниманіе.

Я обратилъ на него это вниманіе, слѣдя, какъ бѣлые, чисто содержимые пальцы скользили и срывались; старыя мысли о разсѣянности посѣтили меня. Я говорилъ себѣ, что всѣ истинно разсѣянные люди имѣютъ приличное внутреннее содержаніе, наконецъ, мнѣ захотѣлось поговорить съ этимъ молодымъ человѣкомъ. Будучи общителенъ по природѣ, я скоро находилъ тему для разговора.

Мнѣ оставалось лишь подойти къ нему, но въ этомъ моментъ окровавленный призракъ англійскаго капитана занялъ одинъ изъ столиковъ, грозя мнѣ пальцемъ, унизаннымъ индѣйскими брилліантами. Я немного смутился, однако, наличность прозрачной, какъ хрусталь, совѣсти, дала мнѣ силу презрѣть угрожающее видѣніе и даже снисходительно улыбнуться. Нѣкоторое время пытались еще задержать меня несчастный старикъ, путешествовавшій изъ Галича въ Кострому, и начальникъ Сибирской каторжной тюрьмы; я съ силой оттолкнулъ ихъ, прошелъ твердыми шагами нужное разстояніе и сказалъ:

— Принято почему-то дѣлать большіе глаза, когда въ общественномъ мѣстѣ неизвѣстный человѣкъ подходитъ къ вамъ, предлагая знакомство. Я знаю, мы живемъ въ странѣ, гдѣ медвѣди добродушны, а люди злы и опасны, но все же бываютъ исключенія. Такое исключеніе составляю я.

Онъ прищурился—движеніе, непредвидѣнное мной.

— Я пишу,—сказалъ я.—Моя фамилія—. . . нъ, а ваша?

— Лебедевъ.—Онъ привсталъ, недолго подержалъ мою руку и сѣлъ снова.—Присаживайтесь. Мнѣ тоже скучно, какъ скучно всѣмъ въ этой прекрасной странѣ.

Я сѣлъ и тотчасъ же разговоръ нашъ принялъ опредѣленное направленіе. Лебедевъ рассказывалъ о себѣ. Это было его больное мѣсто. Онъ говорилъ тихимъ, слегка удивленнымъ голосомъ, поминутно закуривая гаснущую папиросу. У него былъ пристальный, задумчивый взглядъ, манера лизать языкомъ нижнюю часть усовъ и перекладывать ноги.

Я умѣю слушать. Это особое искусство состоитъ въ киваніи головой и напряженно-сочувственномъ выраженіи лица. Полезно также время отъ времени открывать и тотчасъ же закрывать ротъ, какъ-будто вы хотите перебить рассказчика тысячью вопросовъ, но умолкаете, подавленные громаднѣмъ интересомъ разсказа.

То, что онъ разсказывалъ, было, дѣйствительно, интересно; онъ сгущалъ краски, не заботясь объ этомъ; великолѣпныя, отчетливыя границы внѣшняго и внутренняго міровъ змѣнились въ пестромъ узорѣ его разсказа съ непринужденной легкостью и искренностью, намѣчая коренной смыслъ пережитыхъ имъ событій (кость для собаки—тоже событіе) въ самомъ недвусмысленномъ освѣщеніи.

Три темы постоянно привлекаютъ человѣческое воображеніе, сливаясь въ одной туманной перспективѣ: глубина ея блеститъ свѣтомъ, полнымъ неопредѣленной печали: «смерть, жизнь и любовь». Лебедевъ, одинъ изъ многихъ, вавихренныхъ потокомъ чужихъ жизней, самообольщенныхъ и безсильныхъ людей, разсказывалъ мнѣ о томъ, что произошло съ нимъ въ теченіе двухъ послѣднихъ недѣль. Слишкомъ молодой, чтобы трагически смотрѣть на любовь, слишкомъ стремительный, чтобы хныкать о будущемъ смертномъ исчезновеніи, онъ былъ всецѣло поглощенъ жизнью. Жизнь избила его,—и онъ почесывался.

Мы выпили четыре стакана кофе, два — чая, шесть бутылокъ фруктовой воды и выкурили множество папирсъ. Въ тотъ моментъ, когда я, нѣсколько утомленный чужими переживаніями, попросилъ его записать эту странную исторію, а онъ съ тайнымъ удовольствіемъ въ душѣ и дѣланной гримасой улыбающагося лица выслушалъ мои техническія указанія, — неожиданно заиграло электрическое піанино. Развязные, беззащитчивые звуки говорили о ливнучей, дешевой любви профессионалокъ.

Кафе наполнялось публикой, и мнѣ въ первое мгновеніе показалось, что страусы, одѣтые въ ретонды и юбки, пришли справиться о пѣнахъ на свои перья.

Нижеизложенное принадлежитъ перу Лебедева, а не англійскаго капитана.

# I.

Въ концѣ лѣта я поселился на городской чертѣ, у огородника. Комната была очень плоха, нѣсколько поколѣній жильцовъ придали ей тотъ родъ живописной ободранности, о которой пишутъ романисты богемы. Одно окно, чистая, дырявая занавѣска, слегка мебели и разноцвѣтныя лоскутья обоевъ. По вечерамъ усталое солнце слѣпило глаза стеклянной чешуей парниковыхъ рамъ; темнозеленые, пышные лопухи тянулись у изгороди, заросшей

шиповникомъ. Десятина, засѣянная фасолью, подымала невдалекѣ стѣну вьющихся, сквозныхъ спиралей, увѣнчанныхъ лѣсомъ тычинъ; душистый горошекъ, мальва, азалии, анемоны и маргаритки тѣснились вблизи дома въ прогнившихъ отъ земли ящикахъ и на клумбахъ. У окна чернѣли старыя липы.

Утромъ, въ пятницу, пришелъ Марьинъ. Я не былъ ничѣмъ занятъ, шагаль изъ угла въ уголъ и хмурился. Я любилъ маленькую Евгенію, дочь содержателя городскихъ бань, а она дразнила меня; послѣднее ея письмо привело меня въ состояніе подавленной ярости. Марьинъ не засталъ ярости; она перегорѣла, выродившись въ дранной шлакъ — среднее между горечью и надеждой.

— Федя, я очень тороплюсь...—Марьинъ, не снимая фуражки, сдвинулъ ее на затылокъ. Плотное, нервное лицо его показалось мнѣ слегка блѣднымъ, въ рукахъ онъ держалъ что-то, завернутое, въ бумагу. — Окажи услугу, Федя.

— Хорошо, — сказалъ я, — особенно, если эта услуга веселаго рода.

— Нѣтъ, не веселаго. Но ты будешь беспокоиться только однѣ сутки. Завтра я верну тебя въ первобытное состояніе.

Суетливый, повышенный тонъ Марьина заставилъ меня насторожиться. Я не сказалъ бы ни «да», ни «нѣтъ», но онъ взялъ мою руку и сжалъ ее такъ сильно, что мнѣ передалось его возбужденіе: по натурѣ я любопытенъ.

— Ради Бога! — продолжалъ онъ тѣмъ же страннымъ, взволнованнымъ голосомъ. — Да? Скажи, «да», не спрашивая, въ чемъ дѣло.

— Да. — Я согласился, а черезъ полчаса ругалъ себя за это. — Говори!

Марьинъ прошелъ мимо меня къ столу и опустилъ на него свертокъ, бережно двигая руками. Я никогда не видѣлъ, чтобы человѣческая рука такъ искусно, почти безъ звука разворачивала листы газетной бумаги. Двѣ тусклыя небольшія жестянки, блеснувшія въ рукахъ Марьина, привели меня въ легкое недоумѣніе, затѣмъ невидимый холодный палецъ пощекоталъ въ моемъ затылкѣ; я силился улыбнуться.

— Милый, — сказалъ Марьинъ, — на одну ночь... спрячь. Это.

Онъ посмотрѣлъ на меня и осторожно положилъ бомбы въ бумажный ворохъ. Я ждалъ. Помню, что въ этотъ моментъ я чувствовалъ себя тоже варывчатымъ, обязаннымъ двигаться мягко и медленно.

— Говорятъ, что ночью у меня будетъ обыскъ. — Марьинъ почесалъ лобъ. — И это... какъ его... А ты человѣкъ чистый. Ты, разумѣется, удивленъ... Прости. Но я имѣлъ бы право, конечно, не говорить тебѣ объ этомъ всю жизнь.

— Алексѣй, — сказалъ я, очнувшись отъ непривычнаго оцѣпенѣнія: — ты знаешь, что я держу данное слово; поэтому въ теченіе сутокъ будь спокоенъ

и ты. Но если завтра къ вечеру онѣ останутся еще здѣсь, я истреблю ихъ въ лѣсу.

— Я возьму ихъ.

Онѣ сѣлъ. Прозрачный круговоротъ свѣта, наполняя комнату, жегъ его вспотѣвшее лицо солнечной пылью; утро, съ далекой зеленью полей, было прекрасно и невыразимо тревожно. Я открылъ чемоданъ и спряталъ среди бѣлыхъ тяжеловѣсныхъ жестянки. Марьянъ вадыхалъ.

Этого человѣка я зналъ еще съ перваго курса сельско-хозяйственнаго училища. Мы были съ нимъ въ очень хорошихъ отношеніяхъ, но я не подозрѣвалъ въ немъ разрушительныхъ склонностей. Я началъ вопросомъ:

— Какимъ образомъ? Марьянъ?!

Онѣ хмыкнулъ, ущипнулъ переносицу и ничего не отвѣтилъ. Можетъ быть, чувствуя себя передо мной въ новомъ положеніи, онѣ тяготился этимъ. Я снова спросилъ:

— Откуда у тебя это?

— Мнѣ нужно идти.—Марьянъ поднялся, вадохнулъ и опять сѣлъ.— Все это просто, милый, проще органической клѣточки. Я не собираюсь никого убивать. Ты меня хорошо знаешь. Я только дѣлаю. До употребленія здѣсь еще очень далеко. Впрочемъ..

— Что?

— Я пользуюсь ими по своему. Если хочешь, я объясню. Но съ условіемъ: не смѣяться и вѣрить каждому моему слову.

— Я позволю посмѣяться сейчасъ, надъ второй половиной этого условія. Но я буду внимателенъ, какъ къ самому себѣ.

— Прекрасно. Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имѣетъ, если хочешь, историческое оправданіе. Мой дѣдъ билъ моего отца, отецъ билъ мать, мать била меня. Я выросъ на колотушкахъ и поркѣ, среди ржавыхъ ломберныхъ столовъ, пьяныхъ гостей, пеленокъ и гречневой каши. Это фантазмагорія, отъ которой знобитъ. Еще въ дѣтствѣ меня тошнило. Я выросъ, а жить лучше не стало. Прѣсно. Люди на одно лицо. Иногда покажется, что пережилъ красивый моментъ, но, какъ поглядишь пристальнѣе, и это оказывается просто расфранченными буднями. И вотъ, не будучи въ силахъ дожидаться праздника, я изобрѣлъ себѣ маленькое развлеченіе—близость къ взрывчатымъ веществамъ. Съ тѣхъ поръ, какъ эти холодныя жестянки начали согрѣваться въ моихъ рукахъ, я возродился. Я думаю, что жить очень пріятно и, наоборотъ, очень скверно быть раздробленнымъ на куски; поэтому я остороженъ. Осторожность доставляетъ мнѣ громадное наслажденіе: не курить, ходить въ войлочныхъ туфляхъ, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь:—какая прелесть! Живу, пока остороженъ,—это

дѣлаетъ очаровательными всякіе пустяки: улыбку женщины на улицѣ, клочекъ неба.

Я покачалъ головой, все это мнѣ мало правилось. Марьянъ поднялся.

— Мнѣ надо идти.—Онъ вопросительно улыбнулся, пожалъ мою руку и отворилъ дверь.—Мы еще потолкуемъ, не правда-ли?

— Когда ты освободишь чемоданъ,—насилъно разсмѣялся я.—Жду завтра.

— Завтра!

Онъ ушелъ; мнѣ было его немного жалко. Размышляя о странномъ признаніи, я подумалъ, что человѣкъ, угрожающій самоубійствомъ бросившей его любовницѣ, съ цѣлью вынудить фальшивое „отстань, люблю“, очень бы походилъ на Марьяна. Чемоданъ пристально смотрѣлъ на меня, у его мѣдныхъ гвоздиковъ и засаленной кожи появился скверный взглядъ подстерегающаго врага. Я тщательно рассмотрѣлъ этотъ свой старый, знакомый чемоданъ; онъ былъ чужимъ, зловѣщимъ и неизвѣстнымъ.

Заперевъ, какъ всегда, комнату небольшимъ висячимъ замкомъ, я, въ очень плохомъ настроеніи, считая всѣхъ встрѣчныхъ незнакомыхъ людей тайными полицейскими агентами, поплелся обѣдать. Революционеромъ я никогда не былъ, мои мысли о будущемъ человѣчествѣ представляли мѣшанину изъ летающихъ кораблей, космополитизма и всеобщаго разоруженія. Тѣмъ болѣе я сердился на Марьяна. Зарылъ бы въ землю свои снаряды—и дѣлу конецъ.

Эта мысль показалась мнѣ откровеніемъ. Я хотѣлъ уже идти къ Марьяну и сообщить ему объ этомъ простомъ, какъ всѣ геніальныя вещи, планѣ, но вспомнилъ, что Марьянъ ждетъ обыска. Сумрачный, я пообѣдалъ въ компаніи старушки съ мальчикомъ, отставного военнаго и приказчика; прыщеватая служанка столовой пахла кухоннымъ саломъ; граммофонъ рвалъ воздухъ хвастливымъ маршемъ изъ „Карменъ“; кофе былъ горекъ, какъ цикорій. Домой мнѣ не хотѣлось идти—и я умышленно растягивалъ свой обѣдъ, читая мѣстную газету. Но все кончается; я заплатилъ и вышелъ на улицу.

День, принявъ съ самаго утра кошмарный оттѣнокъ, продолжался нелѣпнымъ образомъ. Я долго бродилъ по улицамъ, до одурѣнія сидѣлъ въ скверахъ, шатался по пристанямъ, въ облакахъ мучной пыли, среди рогожныхъ кулей и грузчиковъ, разноцвѣтныхъ отъ грязи; къ вечеру мной овладѣло тоскливое предчувствіе неурядицы. Мучая ноги, я мечталъ о таинственномъ прохладномъ уголкѣ, гдѣ можно было бы теперь лечь, вытянуться и не тревожиться. Одно время былъ даже такой моментъ, что нащупалъ въ боковомъ карманѣ тужурки свое портмоне съ тремя золотыми и мѣдью и рѣшилъ провести ночь въ лупанаріи, но устыдился собственнаго малодушія.

Подходя къ дому, я замедлилъ шаги. Прохожіе казались все подозрительнѣе, нѣкоторые смотрѣли на меня съ тайнымъ злорадствомъ, взгляды



ихъ говорили: „Братъ бомбы на сохраненіе считается государственнымъ преступленіемъ“. Отогнавъ призраки, я, тѣмъ не менѣе, сталъ полусерьезно соображать, какъ поступить въ случаѣ сбьска. Быть хладнокровно дерзкимъ, улучшить минуту и выбросить ихъ въ окно? Не годится. Или, не теряя времени на позировку, выбросить въ окно себя? Повѣсятъ меня или дадутъ лѣтъ десять каторги?

Поблѣкшее солнце опускалось за отдаленной рощей; на рдѣющихъ облакахъ чернѣли стволы липъ. Сѣтъ глухихъ переулковъ съ высохшими сѣрыми заборами оканчивалась буграми старыхъ, заросшихъ крапивой, ямъ; когда-то здѣсь было кладбище. Дальше, за ямами, зеленѣли ставни бѣлаго одно-этажнаго дома, въ которомъ жилъ я. Духота гаснущаго дня дѣлалась нестерпимой, голова болѣла отъ усталости, ноги ныли, на зубахъ скрипѣла мелкая, сухая пыль. Въ это время я успокоился, и недавнее тревожное состояніе казалось мнѣ результатомъ прошлаго возбужденія; я шелъ съ намѣреніемъ пить чай и перелистывать прошлогодній журналъ.

Городовой, котораго я увидѣлъ не далѣе двадцати шаговъ отъ себя, сначала наградилъ меня ощущеніемъ сродни зубной боли, затѣмъ я почувствовалъ приливъ рѣшимости, основанной на презрѣніи къ мнительности, но тутъ же остановился. Секунду спустя, громкое сердцебіеніе сдѣлало меня тяжелымъ, какъ бы связаннымъ, съ парализованной мыслью. Городовой стоялъ за рѣшеткой палисада; сквозь рѣдкіе кустики акацій ясно былъ виденъ его краснорѣчивый мундиръ, бѣленькіе усики и загорѣлая деревенская фізіономія. Онъ стоялъ ко мнѣ бокомъ, наблюдалъ что-то въ направленіи парниковъ. Я повернулся къ нему спиной и пошелъ назадъ. Рябина, усѣянная воробьями, отчаянно щебетала; звуки, похожіе на „Вотъ онъ!“—неудержимо и пронзительно лились изъ маленькихъ птичьихъ глотокъ. Я шелъ медленно; въ этотъ моментъ вся тяжесть сознанія, что скорѣе идти нельзя и что до ближайшаго забора—цѣлая вѣчность, оглушила меня до потери способности почувствовать несомнѣнный переломъ жизни. Я думалъ только, что въ это время огородникъ обыкновенно возится съ рамами и городовой подозрительно разсматривалъ его дѣйствія, не видя меня.

Съ пересохшей отъ волненія глоткой, желая только забора, я вступилъ, наконецъ, въ переулокъ и побѣжалъ, но остановился черезъ нѣсколько времени. Бѣжать было глупо. Дьячекъ въ соломенной шляпѣ благочестиво осмотрѣлъ мою наружность и, кажется, обернулся. Возвратившаяся способность мыслить бросила меня въ безнадежный вихрь отрывочныхъ фразъ—это были именно фразы, достигавшія сознанія съ нѣкоторымъ опозданіемъ, благодаря чему ощущенія, рождаемыя ими, отталкивались, какъ люди, протискивающіеся одновременно въ узкую дверь. «Марьинъ арестованъ и выдалъ меня. Бѣжать. Марьинъ не арестованъ, а его прослѣдили. Бѣжать.

Его не прослѣдили, а насъ обоихъ кто-нибудь выдалъ. Огороднику за комнату семь рублей. Все къ чорту. Милая, дорогая Женья. Вѣшаетъ палачъ съ маской на лицѣ. Бѣжать!»

Ускоряя шаги, я пришелъ къ заключенію, что сегодня же долженъ покинуть городъ. Денегъ, за исключеніемъ 30 рублей, у меня не было. Нелѣпость случившагося приводила меня въ истерическое бѣшенство; ни бѣлья, ни пальто, ни паспорта. Страхъ тянулъ въ ломбардъ, напоминая о золотыхъ часахъ, подаркѣ дѣда, умершаго годъ назадъ, любовь толкала къ городскимъ банямъ, рядомъ съ которыми жила Женья. Я нуждался въ сочувствіи, въ утѣшеніи. Очнувшись на извозчикѣ отъ нестерпимой паники, я подѣхалъ къ дорогому для меня каменному, пузатому дому съ блестящими отъ заката окнами верхняго этажа, скользнулъ мимо швейцара и судорожно позвонилъ.

— Барышни нѣту дома, — сказала унылая горничная въ отвѣтъ на мой неспѣшный вопросъ, — а братецъ и папаша чай кушаютъ, дома они. Пожалуйте.

Слабый отъ горя, пошатываясь на ослабѣвшихъ ногахъ, я былъ близокъ къ слезамъ. Головка Жени съ немного блѣднымъ цвѣтомъ лица, волнистой прической и дружескими глазами болѣзненно ожила въ моемъ воображеніи. Я сказалъ, мотая головой, такъ какъ воротничекъ душилъ меня:

— Ничего, ничего. Я, скажите, напишу. Я уѣзжаю, у меня заболѣла тетка.

Тетокъ у меня не было. Волнующій, безнадежный запахъ знакомой грязной лѣстницы преслѣдовалъ мою душу вплоть до дверей ломбарда. Смеркалось; строгія линіи фонарей наполнили перспективу улицы свѣтлыми, матовыми шарами; кой-гдѣ изъ пожарныхъ трубъ дворники поливали нагрѣтый асфальтъ. дамы, шелестя юбками, несли покупки, хлопали двери нивныхъ; все было точно такимъ, какъ вчера, но я изъ этой точности былъ отвыкнувъ вычеркнутъ на неопредѣленный срокъ, оставленъ «въ умѣ».

Ломбардъ въ нашемъ городѣ оканчивалъ операціи къ восьми часамъ; придя, я нашелъ двери запертыми. Именно въ этотъ, казалось-бы, плачевный моментъ я понялъ, какъ легко прижатый къ стѣнѣ человѣкъ сбрасываетъ свою привычную шкуру. Доведись мнѣ еще вчера умирать съ голода, я отошелъ бы отъ запертыхъ ломбардныхъ дверей съ мыслью, что онѣ откроются завтра, — и только; теперь же я зналъ твердо, что часы нужно продать, и не колебался; напротивъ, какъ-будто всю жизнь занимаясь этимъ, хладнокровно открылъ дверь ювелирнаго магазина и подошелъ къ прилавку. Но здѣсь мужество оставило меня и въ отвѣтъ на механическій вопросъ любезнаго человѣка, сдѣланнаго изъ воротника, брелоковъ и прически ежикомъ, я тихо, какъ воръ, произнесъ:

— Не купите ли золотые часы?

За конторкой поднялось истощенное лицо подмастерья; онъ молча посмотрѣлъ на меня и погрузился въ свою работу. Любезный человѣкъ съ обидной небрежностью взялъ мою драгоценность: здѣсь я почувствовалъ, что онъ презираетъ меня, часы и все на свѣтѣ, кромѣ своихъ брелоковъ. Онъ шурился, хлопалъ крышками, разглядывалъ въ лупу, не переставая презирать меня, что-то въ механизмѣ, наконецъ, поднялъ брови и сказалъ, упираясь сгибами пальцевъ въ стекло витрины:

— Сколько просите?

Назначивъ мысленно двѣсти, я вслухъ произнесъ — «сто», но не удивился, когда сто, путемъ таинственной, психологической игры между мной и этимъ человѣкомъ, съ помощью взаимно тихихъ словъ превратились въ семьдесятъ. Получивъ деньги, я скомкалъ ихъ въ рукѣ и вышелъ, вспомявъ. Поѣздъ отходилъ ровно въ одиннадцать.

До одиннадцати я провелъ время въ состояніи огромнаго напряженія, измучившаго меня, наконецъ, такъ сильно, что вокзальное помѣщеніе второго класса, гдѣ, усѣвшись на всякій случай спиной къ входу, я безъ надобности тянулъ пиво, стало казаться мнѣ вѣчнымъ отнынѣ мѣстомъ моего пребыванія. Стоголосый шумъ, искусственныя пальмы, преискуранты, лакеи и рѣдкое позвякиванье жандармскихъ шпоръ — весь этотъ міръ грохочущей задержки въ неопредѣленномъ стремленіи массы людей тягостно подчеркивалъ важность обрушившагося на меня несчастья. Я чувствовалъ себя чѣмъ-то вроде части машины, перековываемой въ новыя формы для службы машинѣ совсѣмъ иной конструкціи. Я не могъ видѣть Женю, ходить въ университетъ, засыпать въ комнатѣ, полной запаха свѣжей земли и зелени, — я долженъ былъ мчаться.

Въ Петербургѣ у меня были знакомые, два-три человѣка, знающіе нашу семью; кромѣ того, большой городъ, какъ я узналъ изъ романовъ, лучшее мѣсто для темныхъ личностей. Я былъ темной личностью, нуждался въ укрывательствѣ, фальшивомъ паспортѣ. Войдя въ вагонъ послѣ перваго же звонка, я рассчиталъ, что поѣздъ, если только онъ не приросъ къ рельсамъ, тронется ровно черезъ сто лѣтъ. Противъ меня сидѣлъ человѣкъ въ старомъ пальто и синихъ очкахъ; я старался не смотрѣть на него. Звонокъ, свистокъ — перронъ поплылъ мимо окна, залѣзающее въ вагоны лицо жандарма ударило меня взглядомъ; наконецъ, дѣловой стукъ колесъ прозвучалъ около семафора — и я ожилъ.

Черезъ пять минутъ человѣкъ въ синихъ очкахъ, важно порывшись въ карманахъ, заявилъ кондуктору, что потерялъ билетъ. Онъ не былъ шпиономъ. Онъ былъ заяцъ — и его ссадили на первой станціи.

## II.

Когда, послѣ однообразныхъ дачъ, березовыхъ перелѣсковъ и зеленыхъ полей, въ окна вагона стали видны вылѣзшіе за городскую черту желѣзнодорожные депо, сарай, ряды товарныхъ вагоновъ и почернѣвшія фабричныя трубы, я выскочилъ на площадку.

Поездъ замедлилъ ходъ. Пасмурное небо пропустило въ узкую, голубую щель солнечный ливень, въ лицо било веселымъ паровознымъ дымомъ, влажнымъ воздухомъ; зеленныя тѣни лужаекъ сверкали мокрой травой. Зданій становилось все больше, гудокъ локомотива долго стоналъ и смолкъ. Я застегнулъ пальто, выпрямился; смутный мгновенный страхъ передъ неизвѣстнымъ показалъ мнѣ свое понурое лицо, бросился прочь и замѣшался въ толпу.

Подъ желѣзной крышей вокзала меня увлекло стремительное движеніе публики; я прошелъ въ какія-то двери и съ сильно бьющимся сердцемъ увидѣлъ площадь, неуклюжій конный памятникъ, водоворотъ извозчиковъ. Петербургъ!

Немного пьяный отъ невиданнаго размаха улицъ, я шелъ по Невскому. Надъ витринами колыхалось бѣлое полотно маркизъ, груды деревянныхъ шестиугольниковъ, звонки трамвая, равнодушная суета пестрой толпы—все было свѣжо, ново и привлекательно. Выяснившееся утро общало жаркій, хорошій день. Нельзя сказать, чтобы я очень торопился разыскать необходимыхъ знакомыхъ; прогулка погрузила меня въ хаосъ внутреннихъ, безотчетныхъ улыбокъ, торопливыхъ грезъ, отчетливыхъ до болѣзненности представлений о будущемъ. У громаднаго зеркальнаго окна, за блестками котораго громоздились манекены съ черненькими усиками на розовыхъ лицахъ, одѣтые въ штатскіе и форменные костюмы, я выбралъ себѣ костюмъ синяго шевіота, бѣлый въ полоску пиджакъ и, неизвѣстно для чего, тирольку съ галунами. Все это пришлось бросить такъ-же, какъ турецкія наргилѣ, гаванскія сигары, а далѣе — изящная фаянсовая посуда, съ лиловыми и голубыми цвѣточками, масса цвѣтного стекла — все было также прекрасно и нужно мнѣ, человѣку съ выговоромъ на «о».

Да, я переходилъ отъ витрины къ витринѣ и нисколько не стыжусь этого. Мечты мои были безобидны и для кармана необременительны. Я забылъ о своемъ положеніи. Я жадничалъ. Я хотѣлъ жить,—жить красиво, полно и славно; черезъ три квартала я обладалъ мраморнымъ особнякомъ, набитымъ электрическими люстрами, резиновыми шинами, цвѣтами, картинами, персиками, фотографическими аппаратами и сдобными кренделями. У Аничкова моста, полюбовавшись на лошадей, я сѣлъ на извозчика и, не торгуясь, сказалъ:

— 14-я линія, 42-й.

Я ѣхалъ. На меня смотрѣло небо, адмиралтейскій шпицъ, каналы и женщины. Стукъ копытъ былъ невыразимо пріятенъ—мягкій, отчетливый, петербургскій, и я представлялъ себя гибкой стальной пружиной, не слабеющей нигдѣ; Маринъ, нелѣпая, счастливо избѣгнутая опасность, хмурый провинціальный городъ, тоска безпѣтныхъ полей—это было два дня назадъ; между этимъ и извозчикомъ, на которомъ я ѣхалъ теперь, легла пропасть.

Я радовался переменѣ, какъ могъ. Незвѣстное засасывало меня. Но понемногу, отточенная глухой, внутренней работой, съ десятками пытливыхъ вопросовъ—куда? какъ? гдѣ? что? зачѣмъ?—въ душу легла тѣнь и строгій контуръ ея провелъ рѣзкую границу свѣта и сумрака.

Я тряхнулъ головой и постарался больше не думать.

Квартира состояла изъ трехъ комнатъ, здѣсь было немного книгъ, покосившаяся этажерка, рыжія занавѣски, открытки на революціонныя темы, сломанная лошадка и резиновая кукла-пищалка. Я сѣлъ. За притворенной дверью шушукались два голоса, одинъ медленный, другой быстрый; гдѣ-то плакалъ ребенокъ. Въ окнѣ напротивъ, черезъ дворъ, кухарка вытирала стекла, перегибаясь и крича внизъ; гулкое эхо каменнаго колодца путало слова. Наконецъ, тотъ, кого я ожидалъ, вышелъ. Это былъ смутно-понятный мнѣ человекъ съ сѣрымъ, какъ на фотографіяхъ, лицомъ, лѣтъ сорока, а, можетъ быть—меньше. Онъ пристально посмотрѣлъ на меня и не сразу узналъ.

— Что вамъ... А!—сказалъ онъ.—Сынокъ Николая Васильевича! Какими чудесами въ Питерѣ?

Я откашлялся и сразу огорошилъ его; онъ слегка поблѣднѣлъ, нервно теребя жилистой рукой грязный воротничекъ. Наступило молчаніе.

— Такъ.—Онъ всталъ, подержалъ въ рукахъ сломанную, лежавшую на столѣ, лошадку и сѣлъ какъ-то бокомъ. Незвѣстно почему, мнѣ сдѣлалось стыдно.

— Затруднительное... гм... положеніе.

— Затруднительное,—подтвердилъ я.

— И паспорта нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Ну, что же я могу,—заговорилъ онъ послѣ тягостной паузы.—Вѣдь, вы знаете, я простой служащій. Знакомствъ у меня... Жалованье небольшое... да...

— У меня деньги есть,—перебилъ я,—кромѣ того, я могу, вѣдь, и заработать. Вѣроятно, я вынужденъ буду уѣхать за границу или поселиться

гдѣ-нибудь въ Россіи подѣ чужимъ именемъ. Вѣдь, вы сидѣли въ тюрьмѣ, я знаю это, у васъ должны же быть хоть отдаленныя...

— Ш-ш-ш,—быстро зашипѣлъ онъ, прикладывая палецъ къ губамъ.— Вотъ тутъ у меня сидитъ одинъ молодой человѣкъ... Пойдите одну минутку.

Онъ проскользнулъ въ сосѣдную комнату, и я опять услышалъ понурое бормотанье. Это продолжалось минутъ пять, затѣмъ вмѣстѣ съ моимъ знакомымъ я увидѣлъ худенькаго, обдерганнаго юношу, малокровнаго, съ чрезвычайно блестящими глазами и рѣзкой складкой у переносья. Онъ прямо подошелъ ко мнѣ; хозяинъ квартиры, потоптавшись, куда-то скрылся.

— Здравствуйте, товарищъ,—сказалъ молодой человѣкъ.—Вы на него,—онъ метнулъ бровями куда-то въ бокъ,—не обращайтесь вниманія. Жалкій человѣкъ. Осунулся. Выдохся. Вы къ какой партіи принадлежите?

— Я не принадлежу ни къ какой партіи,—отвѣтилъ я.—Я просто попался въ глупое положеніе.

Онъ поморгалъ немного, улыбка его стала натянутой.

— Вамъ нуженъ паспортъ? Но у насъ съ этимъ сейчасъ затрудненія.— Онъ шмыгнулъ носомъ.—Но... можетъ быть... вы... все таки... хотите работать?

— Нѣтъ,—сказалъ я.—Извините.

— Почему?

Вопросъ этотъ прозвучалъ машинально, но я принялъ его всерьезъ.

— Потому что не вѣрю въ людей. Изъ этого ничего не выйдетъ.

— Выйдетъ.

— Я не думаю этого.

— А я думаю, что выйдетъ справедливость.

Я пожалъ плечами. Я чувствовалъ себя старше этого наивнаго человѣка съ печальнымъ ртомъ. Онъ вынулъ портсигаръ, закурилъ смятую папироску и выжидательно посмотрѣлъ на меня.

— Я тоже не люблю людей,—сказалъ онъ, прищурившись, точно увидѣлъ на моемъ воротникѣ паука.—И не люблю человѣчество. Но я хочу справедливости.

— Для кого?

— Для всѣхъ и всего: Для земли, камней, птицъ, людей и животныхъ. Гармонія.

— Я васъ не понимаю.

Онъ глубоко вздохнулъ, пожевалъ прильнувшую къ губамъ папироску и сказалъ:

— Вотъ видите. Напримѣръ—гіена и лебедь. Это несправедливо. Гіену всѣ презираютъ и чувствуютъ къ ней отвращеніе. Лебедь для всѣхъ пре-

красенъ. Это несправедливо. Комокъ грязи вы отталкиваете ногой, но поднимаете изумрудъ. Одного человѣка вы любите неизвѣстно за что, къ другому—неблагодарны. Все это несправедливо. Надо, чтобы измѣнились чувства или весь міръ. Нужна широта, божественное въ человѣкѣ, стояніе выше всего, благородство. Простой камень и гѣна не виноваты, вѣдь, что они такіе.

— Это отвлеченное разсужденіе, оно не имѣетъ силы. Вы сами понимаете это.

— Мнѣ нѣтъ дѣла до этого.—Его блѣдное лицо покрылось красными пятнами.—Міръ долженъ превратиться въ мелодію. Справедливость ради справедливости. А паспортъ я вамъ достану. Вы Ляхову сообщите свой адресъ; да онъ, кажется, хочетъ и ночевать васъ устроить гдѣ-то. Прощайте.

Онъ затопталъ нечищеннымъ сапогомъ изжеванный окурокъ, обжегъ мою руку своей горячей, цѣпкой рукой и вышелъ. Вошелъ Ляховъ.

— Дѣвочка ушибла високъ,—безпокойно сказалъ онъ,—такъ я утѣшалъ. Я бы вамъ чаю предложилъ, да жены нѣтъ, у нея урокъ. Что же вы думаете дѣлать? А тотъ... ушелъ развѣ? Приходилъ мнѣ литературу на сохраненіе навязать. Да я того... боюсь нынче. И ни къ чему. А вы расскажите про родной городокъ, что тамъ? Какъ ваши?

Я передалъ ему провинціальныя новости. Онъ теребилъ усы, искоса взглядывая на меня, и, видимо, томился моимъ присутствіемъ. Я сказалъ:

— Можетъ быть, вы устроите мнѣ сегодня гдѣ-нибудь ночевку? Войдите въ мое положеніе.

— Это... это можно.—Онъ сморщилъ лобъ, лицо его стало еще сѣрѣе.—Я вамъ записочку напишу. Встрѣчался съ однимъ человѣкомъ, у него всегда толчется народъ, и революціей тамъ даже не пахнетъ. Тамъ-то будетъ удобно... Безъ всякаго подозрѣнія. Шальная квартира...

Я не сталъ спрашивать о подробностяхъ. Мнѣ нестерпимо хотѣлось уйти изъ этого сѣраго помѣщенія, въ которомъ пахло нуждой, чѣмъ-то кислымъ, наболѣвшимъ и маленькимъ. Ляховъ, согнувшись у стола въ другой комнатѣ, строчилъ записку.

Со двора, изъ призрачныхъ, гулкихъ, пѣвучихъ голосовъ дня, вылетали звуки шарманки. Звонящій хрипъ разбитого мотива вдругъ измѣнилъ настроеніе: мнѣ стало неудержимо весело. Я вспомнилъ, что ступилъ безповоротно обѣими ногами въ кругъ странной игры, похожей на какія-то азартныя жмурки; игры, проигрышъ въ которую можетъ быть наверстанъ множество разъ, пока душа не разстанется съ тѣломъ. Будущее было неясно и фантастично. Я всталъ. Ляховъ протянулъ мнѣ конвертъ.

— По этому адресу и пойдите. Ну, и всего вамъ хорошаго. Оправитесь, можетъ... все переѣнчиво.

Онъ искренно, тепло пожалъ мою руку, такъ какъ я уходилъ. Я вышелъ на набережную. Синяя Нева въ объятіяхъ далекихъ мостовъ, пароходики, морскія суда и дворцы дышали лѣтней свѣжестью воды; я хотѣлъ ѣсть. Ресторанъ съ потертымъ каменнымъ подъѣздомъ бросился мнѣ въ глаза, я выдержалъ профессиональный взглядъ швейцара, прошелъ въ пустой залъ и сѣлъ, торопясь, обѣдъ изъ четырехъ блюдъ. Этотъ первый мой обѣдъ въ столичномъ ресторанѣ отличался отъ всѣхъ моихъ другихъ обѣдовъ тѣмъ, что мнѣ было неловко, жарко, я потерялъ аппетитъ и часто ронялъ вилку.

Вдругъ неожиданное соблазненіе заставило меня вспомнить о газетахъ. Поискавъ глазами, я увидѣлъ на сосѣднемъ столѣ „Обозрѣвателя“, развернулъ и отыскалъ телеграфныя извѣстія. Это доставило мнѣ совершенно неожиданныя ощущенія—чувство потери вѣса, тупого страданія и отчаянія. Я прочелъ:

— „Башкирскъ Въ домѣ крестьянина Шатова, въ комнатѣ, занимаемой дворяниномъ Лебедевымъ, обнаружены бомбы. Поводомъ къ обыску послужило исчезновеніе Лебедева; онъ скрылся безслѣдно.“

— А полицейскій?—машинально сказалъ я, кладя газету. Лакей зорко посмотрѣлъ на меня, продолжая вытирать тряпкой запыленные деревья въ кадкахъ. Полицейскій могъ, конечно, придти по другимъ дѣламъ. Это мнѣ пришло въ голову теперь, но положеніе было то же. Я расплатился и направился къ выходу.

### III.

Въ трамвайномъ вагонѣ, куда я вошелъ, предварительно справившись о маршрутѣ у кондуктора, сидѣло человѣкъ шесть старыхъ и молодыхъ мужчинъ и двѣ дамы. Пожилое, энергичное лицо одной и хорошенькое другой — дѣвушки—очень походили другъ на друга. Я сидѣлъ противъ дѣвушки. Скоро я нашелъ, что смотрѣть на нее пріятно; она отвернулася къ окну и больше я не видѣлъ ея глазъ, но всю дорогу служило мнѣ развлеченіемъ, сократившимъ путь, мечтать о любви, вспыхивающей съ перваго взгляда. Покинувъ вагонъ не безъ сожалѣнія, я тотчасъ же забылъ о незнакомкѣ; меня потянуло къ Женѣ; взволнованное воображеніе представляло ея испугъ, тревогу и жалость. Рѣшивъ написать ей сегодня же, я сталъ отыскивать домъ, указанный Ляховымъ.

Пыльная улица громыхала подводами и извозчиками. Усталый, я ткнулся, наконецъ, въ полутемную арку воротъ, нашелъ лѣстницу, снаружи которой, межъ другими номерами квартиръ, былъ и 82-й, и одолѣлъ съ полсотни



грязныхъ ступенекъ. На двери не было карточки. Я нажалъ кнопку звонка, и дверь открылась,

Войдя, я увидѣлъ оплывшаго мужчину лѣтъ тридцати пяти, безъ жилета, въ подтяжкахъ и нечистой сорочкѣ, его черные, коротко остриженные волосы серебрились на вискахъ, сонные глаза смотрѣли добродушно и устало. Я объяснилъ цѣль своего посѣщенія, пока мы проходили изъ маленской передвей въ маленькую комнату—кабинетъ.

— Моя фамилія—Гинчъ,—началъ я врать съ вѣжливымъ и скромнымъ лицомъ, садясь на продранную кушетку.

— Піанзинъ, — онъ протянулъ мнѣ свою пухлую, влажную руку и сталъ читать Ляховскую записку.—Вамъ ночевать нужно?

— Да, какъ я уже имѣлъ честь объяснить вамъ.

— Ночуйте.—Піанзинъ зѣвнулъ.—Вы еврей?

Было соблазнительно сказать „да“ и тѣмъ, понятно, положить конецъ его любопытству, но я просто сказалъ:

— Не имѣющій права жительства.

Это, повидимому, удовлетворило его. Онъ замолчалъ, разсматривая ногти. Раздался звонокъ.

Піанзинъ что-то пробормоталъ и вышелъ, а я сталъ осматриваться. Кабинетъ былъ заваленъ бумагами, папками, картонными ящичками, комплектами старыхъ юмористическихъ журналовъ; большой некрашенный столъ, нѣсколько вѣскихъ стульевъ, небольшой шкафъ, мандолина, валявшаяся на кушеткѣ, на полу—сломанный хлыстъ, газеты—все это выглядѣло неряшливымъ дѣловымъ помещеніемъ. Стѣны почти сплошь были покрыты рисунками тушью, карандашомъ, въ двѣ-три краски, чернилами. Содержаніе ихъ отличалось разнообразіемъ, преобладали сатирическіе и эротическіе сюжеты.

Повидимому, я былъ въ какой-то цыганской редакціи. Хлопнула дверь, шумные голоса наполнили квартиру. Я подошелъ къ столу; онъ былъ заваленъ картинками, вырѣзанными изъ разныхъ журналовъ; большинство рисунковъ изображало полуодѣтыхъ женщинъ, разговаривающихъ съ мужчинами въ цилиндрахъ на затылкѣ, тутъ же лежали цвѣтныя обложки съ заглавія ми.

— Журналъ „Потѣха“.

— „Острое и пряное“.

— „Кукареку“.

— „Смотрите здѣсь“.

Все это, перемѣшанное съ корректурными листами и кисточками съ засохшимъ клеемъ, очень заинтересовало меня. Но я долженъ былъ сѣсть, такъ какъ сразу вошло три человѣка, и за ними—Піанзинъ.

Первый былъ худъ, истощенъ, вылизанъ и прилизанъ, съ глазами на выкатѣ. Сѣрый, довольно приличный костюмъ сидѣлъ на немъ, какъ на

вѣшалкѣ. Второй, плотный и смуглый, поддерживалъ за локоть третьяго съ изжитымъ лицомъ умной свиньи. Всѣ трое разомъ осматрѣли меня и затѣмъ еще каждый поочередно. Пянзинъ сѣлъ, взялъ мандолину и, опустивъ глаза, трюнкалъ.

Мы познакомились, какъ-то полупронзноси фамилія, и черезъ двѣ минуты я снова не зналъ ихъ именъ, они—моего.

— Липскій пріѣхалъ,—сказалъ второй.—А пиво есть?

— Пива нѣтъ,—отвѣтилъ Пянзинъ.

— Работаешь?

— Да.

Смуглый посмотрѣлъ въ мою сторону, засвисталъ и, изогнувшись на кушеткѣ, внимательно улыбнулся третьему. Прилизанный заявилъ:

— Черезъ недѣлю я переѣзжаю на дачу. А Липскій что же?

— Безъ денегъ, конечно,—сказалъ смуглый,—издавать журналъ хочетъ.

— А типографія?

— Есть.

— А бумага?

— Все есть. И разрѣшеніе.

— Какъ будетъ называться журналъ?—спросилъ третій.

— „Городъ“.—Смуглый почесалъ голову и прибавилъ:—Журналъ острой жизни, специально для горожанъ.

— Шевнеръ,—сказалъ третій,—я управляю конторой. Идетъ?

Шевнеръ пожалъ плечами; онъ искусно говорилъ и „да“, и „нѣтъ“. Прилизанный человѣкъ махнулъ рукой.

— Послушай,—онъ обращался преимущественно къ Шевнеру,—ты про этотъ журналъ говоришь третій годъ.

Онъ сталъ рассказывать, что нынѣшнее журнальное дѣло требуетъ осмотрительности. Слишкомъ много спекулируютъ на психологіи толпы, нужно не слѣдовать вкусу, а прививать вкусъ. Толпа—женщина: измѣнчива. Анонсовъ и журнальныхъ названій не напасешься. Что-нибудь попроще, подешевле, а, главное, безъ надувательства. На это пойдутъ.

Я вполне согласился съ этимъ человѣкомъ и кивнулъ головой, но никто не замѣтилъ моего скромнаго одобренія. На меня не обращали вниманія.

— Глосинскій,—сказалъ Шевнеръ—твой шаблонъ не годится. А ты, Подсѣкинъ?

Очеловѣченное лицо свиньи захохотало глазками.

— Вамъ денегъ нужно? Всѣ способы хороши, издавай—что хочешь. Издавать полезно и пріятно. Маленькое государство.

Онъ говорилъ сочно и вѣско, округляя ротъ, говорилъ пустяки, но пустяки эти дѣлались интересными; онъ весь трепыхался въ своихъ словахъ,

какъ въ подушкахъ; слово „деньги“ особенно звонко и вкусно раздавалось въ комнатѣ. Онъ говорилъ о томъ, что всѣмъ и ему нужно очень много денегъ.

Всѣ четверо производили странное впечатлѣніе. Положимъ, я считалъ ихъ писателями, но любое изъ этихъ лицъ на улицѣ показалось бы мнѣ принадлежащимъ всѣмъ профессіямъ и ни одной въ отдѣльности. Отъ нихъ вѣяло конторами и трактирами, редакціями и улицей, смѣсью серьезнаго и спиртнаго, бѣдностью и кафе-шантаномъ. Въ нихъ было что-то вульгарное и любопытное, души ихъ, вѣроятно, походили на скверную мѣщанскую квартиру, гдѣ въ углу, на ободранномъ кругломъ столикѣ, неузнанный, запыленный и ненужный, стоитъ Бушэ.

— Проблема города,—сказалъ Глосинскій,—для меня совершенно разрѣшена. Лѣтомъ слѣдуетъ жить на крышахъ, подъ тиковыми навѣсами. А зимой ближе къ ресторанамъ. Женщинамъ—свобода и инициатива.

Піанзинъ, опустивъ глаза, меланхолично игралъ.

— Шевнеръ, идешь въ клубъ?—спросилъ Подсѣкинъ.

— Зачѣмъ?

— Я пойду. Я видѣлъ во снѣ третье табло. Дублировать.

— Нѣтъ...—Шевнеръ почесалъ шею.—Идите вы. Да я, вѣроятно, приду посмотреть. Ты куда?

— Нужно. Дѣло есть.

Подсѣкинъ всталъ, Глосинскій тоже поднялся, но тутъ же оба сѣли. Снова начался отрывочный разговоръ, въ которомъ упоминались десятки именъ, строчки, перепечатки, воспоминанія о вчерашнемъ днѣ, бокалы пива, билліардъ, скандалы и женщины. Свѣтлый табачный дымъ плылъ въ растворенное окно, голубое окно съ крышей на заднемъ планѣ. Когда всѣ ушли, Піанзинъ молчаливо проводилъ ихъ, мнѣ стало грустно. Я чувствовалъ себя лишнимъ. Піанзинъ сказалъ:

— Вы, можетъ быть, отдохнуть хотите? Ложитесь на кушетку.

— А вы?

— А я буду работать.

Меня, дѣйствительно, клонило ко сну. Я легъ и вытянулся на зазвенѣвшихъ пружинахъ; Піанзинъ расположился у стола и взялъ ножницы, вырѣзывая изъ какого-то журнала легкомысленныя картинки.

Я такъ усталъ, что не чувствовалъ ни стѣсненія, ни удивленія передъ самимъ собой, развалившимся на чужой кушеткѣ въ Петербургѣ, черезъ два дня послѣ комнаты огородника; набѣгалъ сонъ; я отгонялъ его, боясь уснуть прежде, чѣмъ соображу и приведу въ порядокъ мучительныя мысли о заграничѣ, Женѣ, безденежьи, безпріютности, полиціи, тюрьмахъ и о многомъ другомъ, что разстилалось передъ глазами въ видѣ городскихъ улицъ, полныхъ

трезвона, бѣгущихъ фізіономій, пыли и пестроты. Я уснулъ глубокой полудремотой и, весь разбитый, всталъ, когда почувствовалъ, что кто-то трясетъ мою руку. Открывъ глаза, я увидѣлъ Піянзина съ молодымъ человѣкомъ; знакомое лицо напомнило мнѣ о камняхъ, гіенѣ и паспортѣ.

— Вы къ нему?—спросилъ Піянзинъ у юноши.—Онъ къ вамъ?—взглядъ на меня.

Смущенно просіявъ, я сказалъ:

— А, здравствуйте!

Мой гость цѣлко оттикнулъ мнѣ руку, жалкое лѣтнее пальто, запыленное у воротника, придавало ему сиротскій видъ. Піянзинъ исподлобья покоился на насъ и вышелъ.

— Есть!—сказалъ юноша, присаживаясь на край кушетки.—Я шепотомъ сказалъ, что вы эксъ сдѣлали.

— Спасибо,—горячо сказалъ я,—я этого не забуду.

— Забудьте. Вотъ чистый бланкъ, настоящій и дѣйствительный. Нѣтъ ли чернилъ? Мнѣ Ляховъ указалъ, гдѣ вы. Я все мигомъ обдѣлалъ.

Онъ вытащилъ изъ бокового кармана черненькую, глянцевитую паспортную книжку и далъ мнѣ. Я испыталъ маленькое разочарованіе, перелистывая ея пустыя страницы. Мнѣ хотѣлось знать, какъ меня зовутъ, теперь это надо было еще придумать.

— Гинчъ,—сказалъ я, вспомнивъ поддержку,—Александръ Петровичъ.

Онъ взялъ у меня книжку и, присѣвъ къ столу, среди пикантной литературы, вывелъ четкимъ, четырехугольнымъ почеркомъ: „Гинчъ, Александръ Петровичъ“ и дальше; все было окончено черезъ четверть часа. Я былъ личный почетный гражданинъ, двадцати пяти лѣтъ, Томской губерніи.

Я слѣдилъ за его увѣреннымъ почеркомъ и невысохшей, витиевато сдѣланной подписью полиціймейстера „Габе“ такъ, что дальше ничего нельзя было разобрать, съ особаго рода пріятнымъ и тревожнымъ волненіемъ, напряженно улыбаясь. И былъ совсѣмъ восхищенъ, когда, осмотрѣвъ свое произведеніе, онъ вынулъ изъ тайниковъ одежды маленькій резиновый шлепикъ, прижалъ его къ бумагѣ побѣлѣвшими отъ усилія пальцами. Круглая, синяя печать эффектно легла на хвостикъ полиціймейстерскаго росчерка.

Я взялъ драгоцѣнность съ тѣмъ, вѣроятно, чувствомъ, какое смятая, бабочка испытываетъ, освобождаясь весной отъ куколки; я рѣшилъ выучить наизусть эту шагреновую книжку и считалъ себя важнымъ преступникомъ. Мой благодѣтель запахнулъ пальтецо и всталъ.

— Прощайте. Желаю вамъ,—онъ неопредѣленно потряхнулъ рукой и прибавилъ:—у насъ мало работниковъ. А что Ляхову передать?

— Устроюсь теперь,—сказалъ я, любя въ этотъ моментъ юношу. Отъ

паспорта и отъ того, что помогли, мнѣ стало тепло. Я развеселился.—Глупая исторія... Передайте поклонъ, спасибо. Спасибо и вамъ большое.

Онъ сконфуженно заморгалъ и ушелъ съ моимъ благодарнымъ взглядомъ на своей узкой спинѣ. Я могъ ночевать, гдѣ хочу, снять номеръ, квартиру, комнату. Оставшись одинъ, я представилъ себѣ узкое, смуглое лицо Гинча,—сообразно его новой фамиліи, и бессознательно оттянулъ нижнюю челюсть.

Вошелъ Піянзинъ, гладя рукой затылокъ; взъерошенный, онъ напоминалъ соннаго бычка. Вышло какъ-то, что мы закурили разомъ, прикуривая другъ у друга; онъ началъ разговоръ, сообщилъ, что Ляховъ долженъ ему по клубу десять рублей, и сказалъ:

- У меня есть три рубля. Пройдемте въ рестораникъ.
- Это ничего, у меня есть деньги. А я ночевать не буду у васъ.
- Что такъ?—Вопросъ не звучалъ сожалѣніемъ.
- Получилъ деньги,—совралъ я,—устроюсь у знакомыхъ.

Онъ не спрашивалъ и не настаивалъ; разговоръ сдѣлался непри-  
нужденіе. Вечерѣло, пыльный воздухъ двора дышалъ въ окно теплой  
вонью, косое солнце слѣпило стекла внутренняго фасада бликами воздуш-  
наго золота; крики дѣтей звучали скучно и невнятно. Предоставивъ Піян-  
зину одѣваться, я взялъ нѣсколько рисунковъ, изучилъ ихъ и тѣломъ вспо-  
мнилъ о женщинахъ. Рисунки представляли почти одни контуры; эта грубая  
схема красивыхъ женскихъ тѣлъ заставила работать воображеніе, воображе-  
ніемъ дѣлать ихъ теплыми и живыми. Я стоялъ и грѣшилъ—и снова мысль  
о томъ, что я въ Петербургѣ, гдѣ царствуетъ ненасытный размахъ желаній,  
представила мнѣ, по ассоціаціи, внутренний мой гаремъ, дитя мужчины, рож-  
денное безъ участія матери. Я любилъ Женю, дѣвушку провинціальной чи-  
стоты, и любилъ всѣхъ женщинъ. Въ Огромной и нѣжной массѣ ихъ вспы-  
хивали передо мной, на яву и во снѣ, цѣлые хороводы, гирлянды женщинъ;  
я хотѣлъ жену—для преданности и глубокой любви, высшего ея воплоще-  
нія; жена представлялась мнѣ благородствомъ въ стильномъ, дорогомъ платьѣ;  
хотѣлъ женщину - хамелеона, бѣшеную и прелестную; хотѣлъ одну-двѣ  
въ годъ встрѣчи, поэтическихъ, птичьихъ.

Размышляя, я выпустилъ картинки изъ рукъ; меня потянуло въ Баш-  
кирскъ, къ знакомому, дорогому голосу. За перегородкой возился хозяинъ;  
я отыскалъ на столѣ листокъ почтовой бумаги и, когда явился Піянзинъ,  
уже доканчивалъ тоскливое, сѣренькое письмо, съ тщательно нарисованными  
точками и запятыми. Выражая увѣренность, что наша любовь взаимна, я ту-  
манно, романтически излагалъ причины быстрого своего отъѣзда и надѣялся  
въ тридцати строкахъ, скоро обнять возлюбленную.

Когда мы пришли въ ресторанъ и скромно сѣли въ углу, Піанзинъ сказалъ:

— Здѣсь хорошее пиво. Возьмемъ для начала дюжину.

Я поднялъ брови, но разсудилъ, что въ предложеніи его есть смыслъ. Почему хотѣлось выпить этому человѣку — не знаю, но почему хочется этого-же мнѣ—я зналъ. Жизнь представилась мнѣ вдругъ пудной галиматьей, съ центромъ въ видѣ рестораннаго столика, окутаннаго атмосферой вѣчной тоски о прекрасномъ; я выпилъ и улыбнулся.

Мы перекидывались незначительными фразами, говоря о всемъ, что было намъ обоимъ одинаково неинтересно, а бутылки съ холодной влагой цвѣта свѣжаго табака то и дѣло наполняли наши стаканы. Послѣ шестой—жизнь понемногу стала пріобрѣтать острую привлекательность, сдѣлалась осмысленной, занятой и послушной; Піанзинъ сказалъ:

— Я люблю неизвѣстныхъ женщинъ. Поэтому я никогда не женюсь (передъ этимъ я открылъ ему любовную часть души, промолчавъ о бомбахъ). Жену я скоро узнаю, а неизвѣстную женщину—никогда. Я поэтъ въ душѣ.

Онъ былъ весь красненькій, раззадоренный, вихрастый и смачно блестя глазами. Я открылъ въ его словахъ нѣчто огромное, оно показалось мнѣ восхитительнымъ; оркестръ игралъ волнующую мелодію венгерскаго танца. Умилившись музыкой, со спазмой въ горлѣ, я наклонился къ Піанзину, закивалъ головой и, отъ значительности нахлынувшихъ мыслей, почувствовалъ желаніе осмотрѣться во всѣ стороны.

Свѣтлый, нагрѣтый воздухъ пѣлъ надъ бѣлыми столиками о счастьѣ сидѣть здѣсь просвѣтленными, какъ дѣти, радостными и мудрыми.

— Итакъ,—сказалъ я, — итакъ, вы говорили о неизвѣстной женщинѣ. Во мнѣ что-то смутно шевелится. Женщина! Самый звукъ этого слова дышетъ мечтой.

— Да.—Онъ утопилъ въ пивной пѣнѣ усы и посмотрѣлъ на меня.—Я говорю это всѣмъ. Вы никогда не знаете, какова она — дурна, красива, пикантна, веселая, грустная, строгая, полная, тоненькая, рыжая, блондинка или брюнетка. Вы ее не знаете, стремитесь къ ней, а когда получите и все, включительно до ея имени и двоюродныхъ тетокъ, станетъ вашимъ,—маетесь.

— Хорошо, вѣрно,—сказалъ я.—Это правда.

— Неизвѣстныхъ люблю, — медленно, отяжелѣвъ, проговорилъ Піанзинъ.—Онѣ нами владѣютъ.

Въ этотъ моментъ у моего плеча заструился душистый шелкъ и, дразня бѣлыми, голыми до плечъ руками, прошла женщина; на тонкой ея шеѣ сидѣла насурмленная голова ангела. Я влюбился. Я всталъ, голова кружи-

лась; одну руку мою тянулъ къ себѣ Піанзинъ, другая нахлобучивала шляпу. Я хотѣлъ выйти на улицу и догнать женщину.

— Не пущу, — сказала Піанзинъ, — сидите. Это мгновенное, плѣнное раздраженіе.

Умолкла музыка. Мнѣ стало скучно, я вырвалъ руку и устремился къ выходу, съ головой, полной игривыхъ мотивовъ, Піанзинскихъ разсказовъ о производствѣ игривыхъ журнальчиковъ, и жадно побѣждалъ на троттуарѣ. Но женщина уже скрылась, вдали загремѣлъ извозчикъ, темная улица, наполненная силуэтами домовыхъ громадъ, полутѣнями, полусвѣтомъ, дышала кухонными запахами; вечерняя духота испортила мнѣ настроеніе; оглядѣвшись и не видя Піанзина, я, съ жаждой необыкновенныхъ встрѣчъ, помня о неистраченныхъ пятидесяти рубляхъ, отправился бродить, какъ попало, изъ переулковъ въ переулки, по люднымъ и глухимъ улицамъ, съ быстро бѣгущими мыслями, съ настроеніемъ, укладывающимся въ двухъ словахъ: «Все равно».

#### IV.

Отличаясь всегда буйнымъ и капризнымъ характеромъ, я причинялъ отцу множество огорченій; онъ и моя мать умерли, когда я былъ еще въ раннемъ возрастѣ, требующемъ особаго попеченія. Я воспитывался у тетки вмѣстѣ съ геранями, фуксіями и мопсами. Тетушка эта умерла отъ пристрастія къ медицинѣ; чтобы лекарство дѣйствовало сильнѣе, она выпивала его сразу, изъ чайнаго стакана, и, попавъ однажды на какой-то, красиваго цвѣта, аптечный ликеръ, отдала Богу душу на крылечкѣ въ солнечный ясный день.

Мой старшій братъ, Ипполитъ, напивался послѣ двадцатаго, стрѣлялъ въ луну, потому что, какъ говорилъ онъ, тринадцатая пуля, отвергая земное притяженіе, непременно убиваетъ какого-нибудь луннаго жителя. Это невинное занятіе принесло ему множество огорченій и обезпечило постоянный холодный душъ въ желтомъ домѣ, гдѣ онъ и скончался въ то время, когда я, послѣ смерти тетюшки, изгнанный изъ сельско-хозяйственнаго училища за облитіе чернилами холеной бороды учителя математики, пресмыкался въ казенной палатѣ на должности регистратора. Теперь я былъ сирота, безъ друзей и близкихъ, денегъ и положенія, съ каторгой за спиной.

Все это по контрасту припомнилось мнѣ теперь, когда я, колеблясь между желаніемъ снять меблированную комнату или дешевый номеръ гостиницы и желаніемъ провести ночь разгульно, бродилъ между Фонтанкой и Екатерининскимъ каналомъ, путаясь въ незнакомыхъ улицахъ. Межъ гранитнымъ отвѣсомъ и барками блестяла черная вода; созвѣздія электрическихъ лампочекъ манили издалека цвѣтными узорами; молчаливыя пары, стискивая

другъ другу руки, въ пальцахъ которыхъ болтались измятыя розы, дѣлали видъ, что меня не существуетъ на свѣтѣ; упорная, равнодушная площадная брань неслась изъ-подъ воротъ въ пространство. А я все шелъ, изрѣдка покачиваясь и улыбаясь элегическимъ мыслямъ, плавно баюкавшимъ встревоженную мою душу. Незамѣтно для самого себя я очутился, наконецъ, передъ большимъ, массивнымъ подъѣздомъ, напоминавшимъ жерло пушки, выславшей лунныхъ путешественниковъ Жюль-Верна; надъ подъѣздомъ сіялъ бѣлый электрическій шаръ, сквозь стекло двери блестѣли внушительные галуны швейцара. „Жилище милліонера!“—подумалъ я:—„запрещенный рай“.

Я остановился, наблюдая, какъ изъ этого внушительнаго подъѣзда выскакивали, роясь въ жилетныхъ карманахъ, господа въ бѣлыхъ шарфикахъ и потертыхъ пальто, затѣмъ, набравшись рѣшимости, обратился къ извозчику, одному изъ многихъ въ темной гирляндѣ лошадиныхъ мордъ, и задалъ ему вопросъ: вечеръ здѣсь, балъ или похороны?

— Этто клупъ, баринъ,—отвѣтилъ извозчикъ, раскуривая въ горсточкѣ трубку,—пожалуйте!

Да. Я сказалъ „да“ вслухъ, резюмируя безсознательное. Тысячи эмоцій наполнили меня извѣстнаго сорта зудомъ—нетерпѣливымъ желаніемъ ворваться въ кругъ свѣта, золотыхъ стопокъ и взять то, что принадлежитъ мнѣ по праву,—мои деньги, разбросанныя въ чужихъ карманахъ. Рѣшеніе это явилось, вѣроятно, не сразу; нѣкоторое время я стоялъ понурый, нащупывая вчетверо сложенные бумажки и разжигая себя фейерверкомъ будущаго блаженства, если изъ ничтожныхъ моихъ крупницъ образуется состояніе. Въ теченіе этихъ пяти или трехъ минутъ я сто разъ повторилъ мысленно, что мнѣ терять нечего, прицѣнился къ жизни въ Калькуттѣ, купилъ слона въ подарокъ раджѣ; затѣмъ, учитывая оборотную сторону медали, вспыхнулъ отъ радости, что, прогорѣвъ, можно отправиться пѣшкомъ на Клондайкъ или пуститься во всѣ тяжкія, и, съ веселымъ отчаяніемъ въ душѣ, пошелъ на рожонъ.

Швейцаръ, какъ показалось мнѣ, прочелъ мои намѣренія по выраженію глазъ; я прошелъ мимо него съ достоинствомъ и, удерживая біеніе сердца, попалъ въ сводчатую, арками, переднюю, гдѣ соболя, свѣтлыя пуговицы и фуражки занимали всѣ стѣны. Костюмъ мой къ тому времени состоялъ изъ напковыхъ сѣрыхъ брюкъ, лѣтнаго пиджачка альпага въ полоску, недурного коричневаго жилета и зеленаго галстука. Воротничекъ, помятый въ дорогѣ, былъ почти чистъ, и въ блистательномъ трюмо я отразился съ нѣкоторымъ удовлетвореніемъ. А затѣмъ, чувствуя, какъ странно легки мои шаги, скользя по паркету къ проволочной рѣшеткѣ кассы, догадываясь, что нужно имѣть билетъ.

Строгій джентльменъ въ очкахъ, смахивающій на служителя изъ



профессорскихъ клиникъ, молча посмотрѣлъ на меня, протянувъ руку въ окошечко. Я далъ три рубля, онъ зазвенѣлъ серебромъ и выкинулъ мнѣ два сдачи. И тутъ же подскочили ко мнѣ три служителя, спрашивая, что мнѣ угодно.

— Я хочу поиграть,—сказалъ я, подавая билетъ,—я пѣз Пензы, у меня тамъ имѣніе.

Они отошли, пошептались, пока я не повернулся къ нимъ спиной и не сталъ подыматься по широкой, мраморной, въ темныхъ коврахъ, лѣстницѣ, скользя рукой по мраморнымъ периламъ. Павстрѣчу мнѣ спускались декорированныя, розовыя и блѣдныя женщины, гвардейцы, толстенскіе, со страшно высокомернымъ выраженіемъ лицъ, сытые старики; брилліанты, лакеи съ подносами, въющіяся растенія въ бѣлыхъ консоляхъ—все сразу утомило меня, сдѣлало жалкимъ и тяжело дышащимъ. Было такъ свѣтло, что, казалось, исчезъ воздухъ, праздничный свѣтъ горѣлъ на шелкахъ и платевъ, въ зрачкахъ людей; пахло тонкой сигарой, дыханіемъ толпы, духами и циркомъ. На верхней площадкѣ лѣстницы со всѣхъ сторонъ сіяли богатые апартаменты, а прямо передо мной, изъ чуть притворенной двери, неслись монотонныя восклицанія—равнодушный, отчетливо громкій счетъ. Я отворилъ дверь и очутился передъ лицомъ судьбы.

Въ большой залѣ, за длинными, накрытыми лиловымъ сукномъ столами сидѣло множество народа, въ напряженной тишинѣ склонившись надъ карточками лото. Преобладали пожилые франты съ провалившимися щеками, пузанчики-генералы, напудренные дамы и артистическія шевелюры. На остальныхъ тошно было смотрѣть. Безусый мальчикъ въ ливреѣ, стоя на трибунѣ, вертѣлъ аппаратъ, выкрикивая соннымъ голосомъ молодого, охрипшаго пѣтушка номера падающихъ костяшекъ; послѣ cadaго его возгласа нервный, замирающій трепетъ наполнялъ залу, словно передъ глазами собравшихся мучился привязанный къ дереву человекъ, а въ него летѣли за пулей пули, и никто не зналъ, послѣ какого выстрѣла бѣлый лобъ обольется кровью. Въ простѣнкахъ висѣли старинные портреты прилично полунагихъ женщинъ и стариковъ съ лицомъ Мольтке, предки дворянской семьи взирали прищуренными глазами на новое поколѣніе, освѣжающее затхлую атмосферу покинутого дворца жаргономъ почной улицы и лимонадомъ-газесъ.

Я сѣлъ, путаясь колѣнями въ ножкахъ стульевъ, межъ краснымъ, съ лысымъ черепомъ, краснощекииъ, пожилымъ человекомъ и маленькой, съ усиками, женщиной, полной, черненькой и востроглазой. Они не обратили на меня никакого вниманія. Кушивъ за рубль карту, я, пока вокругъ шумѣлъ ожившій послѣ чьего-то выигрыша залъ, отпечаталъ ее въ своемъ мозгу неизгладимыми цифрами; межъ нихъ было много мнѣ симпатичныхъ—7—17 41—80, а верхній рядъ весь состоялъ изъ большихъ двузначныхъ. Въ это

время меня стало томить предчувствіе выигрыша и, не умѣя хорошо описать такое душевное осложненіе, скажу, что это—ощущеніе тяжелой, напряженной подавленности и сердцебіенія; руки тряслись.

Опять наступила тишина; поглядѣвъ вправо, я увидѣлъ на высокомъ шестѣ таблицу съ цифрой 180. Мнѣ предстояло получить сто восемьдесятъ рублей. Я не хотѣлъ отдавать ихъ ни лысому, ни черненькой женщинѣ; потекли долгія секунды, воздухъ крикнулъ:

— Шестнадцать!

У меня заболѣла шея отъ напряженія, я поднялъ руку съ деревяннымъ кружкомъ, твердя: „сорокъ одинъ, сорокъ одинъ, сорокъ одинъ!“ Судьба прыгала вокругъ этого номера, какъ сорока въ весеній день: сорокъ три, сорокъ шесть, сорокъ... и переходила къ двадцатымъ или девяностымъ. Вдругъ сказали: «единица!»

Моя рука безъ всякаго съ моей стороны участія судорожно убила деревяннымъ кружкомъ единицу; въ этомъ была реальность, одна пятая успѣха, я обратилъ все свое вниманіе на этотъ рядъ, дрожа надъ тридцатью четырьмя, Зала погрузилась въ туманъ: въ головѣ, одинъ за другимъ, разрывались снаряды, помѣченные выкрикиваемыми номерами; я сталъ гипнотизировать мальчишку въ ливреѣ, твердя:

— Скажи. Ты обязанъ. Сейчасъ ты скажешь. Скажи. Скажи!..

Время, превращенное въ пытку, тянулось такъ медленно, что отъ нетерпѣнія болѣли виски; не сидѣлось, стулъ щекоталъ меня. Закрывъ три цифры подрядъ, я черезъ три номера закрылъ четвертую и затрясся—у меня была кварта.

Сейчасъ! Какъ только назовутъ пятый номеръ, возбужденіе всѣхъ ста восьмидесяти человѣкъ разрядится во мнѣ одномъ. Въ горлѣ подымалась и опадала спазма; посмотрѣвъ въ стороны, я увидѣлъ множество карточекъ съ застывшими надъ ними руками: и тамъ существовали кварталы. Сейчасъ меня должны были ударить по головѣ выигрышемъ или проигрышемъ; я возлелѣлъ свою послѣднюю цифру, оживилъ ее, вдохнулъ въ нее душу и молился ей. Цифра эта была семнадцать. Она походила на молодую дѣвушку: семь—съ перегибомъ въ талии и зонтикъ—единица; я любилъ и ненавидѣлъ ее всѣмъ кипѣніемъ крови. Ливрея сказала:

— Шестьдесятъ три.

— Четырнадцать.

— Семнадцать.

Мальчикъ въ ливреѣ сталъ мнѣ роднымъ, братомъ. Бѣшенный восторгъ облилъ меня съ головы до ногъ. Я задохнулся, вспотѣлъ, крикнулъ: „хорошо, я!“—и нервный тикъ задергалъ лѣвое мое вѣко, переходя въ щеку стрѣляющей болью; кругомъ зашумѣли, — я выигралъ.

Пока на меня смотрѣли въ упоръ и искоса игроки, я запустилъ обѣ руки въ поставленное передо мной лакеемъ серебряное блюдо съ кружкой, стиснулъ пачку бумажекъ, почти больной—пересчиталъ ихъ, бросилъ два рубля въ кружку, всталъ и вышелъ. Я чувствовалъ себя дерзкимъ авантюристомъ, Александромъ Калиостро, Казановой и смѣло, даже выразительно улыбнулся мимо идущей красивой феѣ съ волосами тѣлеснаго цвѣта. Въ ресторанѣ, среди люстръ, сотенъ взглядовъ и татарской, фрячней ордъ лакеевъ, я выпилъ у буфета шесть рюмокъ коньяку и устремился къ выходу.

— Хочу перекинуться въ картишки,—сказалъ я кому-то съ официальнымъ лицомъ:—гдѣ здѣсь играютъ въ карты?

Идя въ указанномъ направленіи, я былъ настроенъ торжественно, смотрѣлъ твердо, ступалъ увѣренно и отчетливо. Въ карточной негдѣ было упасть яблоку; черныя груди спинъ копошились надъ невидимыми мнѣ столами; иногда блѣдный человѣкъ, отклеиваясь отъ какой-нибудь изъ этихъ грудъ и сжимая въ карманѣ нѣчто, шелъ къ другому столу, зарывался въ новой грудѣ и пропадалъ. Въ проходахъ важно стояли служителя; никто не вскрикивалъ, не ругался; что-то тихо звенѣло и шелестѣло; нѣкоторые, выжидая моментъ, раскачивались на стульяхъ, прихлебывая напитки; въ просвѣтахъ сюртуковъ и бутылокъ мелькали холенныя руки банкометовъ; движенія ихъ казались благословляющими, кроткими и ласковыми. Различныя замѣчанія шепотомъ и вполголоса порхали въ накуреномъ помѣщеніи; большинство ихъ отличалось загадочнымъ содержаніемъ.

— Двѣ тройки — комплектъ.

— Девятка? Жиръ послѣ девятки.

— Раздача.

„Раздача“—произносилось вокругъ меня все чаще и чаще, то съ улыбкой, то смачно, то безучастно; казалось, толпѣ данъ лозунгъ, передающійся изъ устъ въ уста; мнѣ представился человѣкъ съ озорнымъ лицомъ, сидящій на стулѣ и спрашивающій: — „Вамъ сколько?“ — „Тысячу“. — „Будьте добры, возьмите тысячу. А вамъ?“ — „Пятьсотъ“. — „Пожалуйста, вотъ деньги“.

Работая локтями, я протолкался къ столу, вокругъ котораго, брызжа слюной, шептали „раздача“; отдѣлилъ наощупъ изъ кармана бумажку и прежде, чѣмъ поставить ее, присмотрѣлся къ игрѣ. Мудренаго въ ней ничего не было. Металъ, отдуваясь, человѣкъ съ фатально-унылымъ лицомъ, лѣтъ пятидесяти; въ галстукъ его горѣлъ брилліантъ; синева подъ глазами, желтый кадыкъ и узловатые пальцы дѣлали его наружность перьяшливой. Я посмотрѣлъ на свою бумажку,—она оказалась двадцатипятирублевымъ билетомъ,—замаялся и поставилъ туда, гдѣ лежало больше денегъ.

Денегъ на столѣ было вообще очень много; онѣ валялись безъ всякаго почтенія, но за каждымъ рублемъ слѣдила горящая пара глазъ. Банкометъ

заявилъ: „игра сдѣлана“ такимъ тономъ, словно былъ Ротшильдъ, и при велѣ въ движеніе руки. Порхая, летѣли карты—и на мгновеніе все стихло.

— Девять,—услышалъ я сбоку.

— Три.

— Восемь.

— Очко,—сказалъ банкометъ; поскрѣлъ, оттянулъ пальцемъ тѣсный воротничекъ и сталъ платить деньги. На мой билетъ упало три золотыхъ; я взялъ ихъ вмѣстѣ съ бумажкой, подержалъ въ кулакѣ и поставилъ на то-же мѣсто. Опять замелькали карты, угрожающе быстро падая на четыре стороны свѣта, и я услышалъ:

— Семь.

— Пять.

— Жиръ.

— Свой жиръ,—сказалъ банкометъ:—два кута въ середину, крылья пополамъ, шваль пополамъ, шваль полностью.

И онъ сталъ платить деньги. Я снялъ сто.

Это повторилось нѣсколько разъ; я ставилъ то пять, то пятьдесятъ, куда попало, у меня брали, и я бралъ, съ пересохшей глоткой, утерявъ способность соображать что-либо, чувствуя, что тяжелѣетъ лѣвый карманъ пиджака и что на меня легло сзади, по крайней мѣрѣ, три человѣка; я сносилъ эту тяжесть, какъ какую-нибудь пылинку; чужія руки, извиваясь около моихъ щекъ, протягивались черезъ меня, брали или поспѣшно прятались. Бумажки я запихивалъ комочками въ карманы жилета, рубли и золото сыпалъ въ брюки, пиджакъ; какъ пѣявка, я присосался и не отходилъ; я дрожалъ, чувствуя растущую свою мощь, кому-то улыбался, какъ заговорщикъ, находилъ то симпатичными, то отвратительными однихъ и тѣхъ-же людей въ теченіе двухъ минутъ; курилъ папиросы, роняя пепелъ съ огнемъ на чьи-то плечи и рукава; я былъ въ азартѣ. Наконецъ, банкометъ всталъ; вокругъ загудѣли, стали толкаться. Всталъ еще одинъ изъ шести сидѣвшихъ вокругъ стола; я шлепнулся на его мѣсто, отбросивъ розоваго жандармскаго офицера. Почему-то вдругъ перемѣнились лица, подошли новыя—и я увидѣлъ себя сосѣдомъ породистаго брюнета, а съ другой стороны — рыжаго хищника. Теперь я ставилъ немного, собирая, такъ какъ мнѣ упорно везло, рублями и трешками, а когда подошла моя очередь метать—подумалъ, что это будетъ послѣдній и рѣшительный бой.

Стасовавъ колоду и исколовъ при этомъ руки углами новенькихъ картъ, я, подражая игрокамъ, сказалъ:

— Отвѣтъ. Дѣлайте вашу игру.

Первый ударъ далъ мнѣ рублей семьдесятъ. На второмъ я отдалъ, пожалуй, триста и дрогнулъ; колода готова была выскользнуть у меня изъ

рукъ съ рѣшительными словами: «болѣе не играю»; но я безсознательно прикинулъ въ умѣ, сколько на столѣ денегъ; жадность взяла верхъ—и я сдалъ.

— Девять.

Породистый брUNETъ услужливо, даже подобострастно кинулся собирать деньги. Куча бумажекъ, выростая почти до подбородка, испугала меня заднимъ числомъ: я сообразилъ, что моихъ денегъ могло не хватить въ случаѣ проигрыша. Испугъ этотъ не былъ настоящимъ — я выигралъ; на душѣ стало вдругъ ужасно легко и просто. Очертя голову, я сталъ метать

То, что произошло дальше, можно для краткости назвать избіеніемъ. Я билъ шестерки семерками, жиры двойками, восьмерки девятками. Мнѣ некуда было класть деньги, я совалъ ихъ подъ лѣвый локоть, прижимая къ стану такъ крѣпко, что ныли мускулы; мнѣ помогали со всѣхъ сторонъ, такъ какъ я еще не вполне освоился и медлилъ; при этомъ я замѣтилъ, что помогающіе сами не ставятъ, а просто любятъ меня, безкорыстно дѣлая за меня расчетъ; это держало меня нѣкоторое время въ напряженномъ состояніи благодарности, а затѣмъ я сталъ презирать всѣхъ. Прошло еще два-три удара, послѣ которыхъ понтеры откидываются на спинки стульевъ; я взялъ послѣднія выигранныя деньги, подумалъ, сдалъ еще, заплатилъ шестисотрублевый комплектъ, сказалъ: „Довольно“—и, съ горячей головой, всталъ, покачиваясь на одеревенѣвшихъ ногахъ. Свита помощниковъ тронулась за мной рысью, я на ходу бросилъ лакеямъ нѣсколько золотыхъ; и мнѣ показалось, что они ловятъ ихъ ртомъ; скользнулъ, извиняясь, въ толпѣ, пробѣжалъ корридоръ, едва не уронивъ горничную, замѣтилъ уборную, потянулъ дверь, убѣдился, что никого нѣтъ, и, весь звеня и шурша, щелкнулъ задвижкой.

Отдышавшись, я посмотрѣлъ въ зеркало и увидѣлъ лицо ужаленнаго змѣей; махнулъ рукой и принялся выгружать деньги въ раковину умывальника. Это былъ экстазъ осязанія, торжество пальцевъ, восторгъ кожи: я находилъ пачки, плотные комки, холодныя струйки золота, сторублевки, завернутыя въ трещины; ворохъ бумажекъ росъ, топорщился, хрустѣлъ и пухъ, достигая трубочки крапа, изъ котораго капала на него вода; начавъ считать, быстро упаковалъ двѣ тысячи, положилъ ихъ въ карманъ и разсмѣялся. „Это сонъ, — сказалъ я: —бумажки сейчасъ превратятся въ сапоги или огурцы“. Но требовательный стукъ въ дверь былъ реаленъ и изболѣвать стоявшаго въ скрутокъ человѣка, какъ очень нетерпѣливаго. Я забылъ о немъ, начавъ считать дальше, и къ тому времени, когда стукъ сдѣлался неприличнымъ, въ карманахъ моихъ лежало вѣрныхъ десять тысячъ двѣсти одиннадцать рублей.

Состояніе, въ которомъ тогда находился я, естественно предполагаетъ

полное разстройство умственныхъ способностей. Съ головой, набитой фигурами игроковъ, арабскими сказками и бѣшенными желаніями, не чувствуя подъ собой земли, я отворилъ дверь, пропустилъ человѣка съ искаженнымъ лицомъ, рассыпался въ легкихъ, щегольскихъ извиненіяхъ и, порхая, выбѣжалъ въ корридоръ.

## V.

Воспоминанія измѣняютъ мнѣ въ промежутокъ отъ этого мгновенія до встрѣчи съ Шевнеромъ. Я гдѣ-то бродилъ, наступалъ на шлейфы и трены, приставалъ къ дамамъ, присоединялся къ группамъ изъ двухъ-трехъ человѣкъ, о чемъ-то спорилъ, курилъ купленную въ буфетѣ гаванскую сигару, часто выпивалъ, но не пьянѣлъ.

Переходя изъ залы въ залу, я вступилъ, наконецъ, въ совершенно неосвѣщенное пространство; впереди высились начинающіе блѣднѣть четырехугольники огромныхъ оконъ, наискось прикрытые шторами; у моихъ ногъ тянулся по ковру въ темноту свѣтъ непритворенныхъ мною сзади дверей. Массивная темнота была, казалось, безлюдна, но скоро я замѣтилъ огоньки папиросъ и силуэты, шевелившіеся въ разныхъ мѣстахъ; тихій разговоръ по угламъ сдѣлалъ меня нервнѣйшимъ; не зная, что происходитъ здѣсь, и боясь помѣшать, я хотѣлъ уйти, какъ въ это время кто-то крѣпко стиснулъ мой локоть. Обернувшись, я разглядѣлъ Шевнера; онъ смотрѣлъ на меня радостными глазами и, не выпуская локтя, приложилъ палецъ къ губамъ. Онъ часто дышалъ, затѣмъ, приложившись губами къ моему уху и обдавая меня горячими ресторанными запахами, зашепталъ:

— Поздравляю, не уѣзжайте, будетъ интересно. Я уже все устроилъ; я сообщу вамъ сейчасъ программу. Проживемъ тысячу, а? Шальные деньги. Молчите, молчите, не говорите громко. Тутъ импровизованное собраніе. Всѣ поэты или беллетристы, а одинъ студентъ привелъ поразительную дѣвушку—Раутенделейнъ, мимоза. Я уже подѣлалъ, но ничего не выходитъ; хотите, познакомлю?

Сообщивъ мнѣ такимъ стремительнымъ образомъ весь запасъ накопленной по отношенію ко мнѣ дружеской теплоты, Шевнеръ, кривя ногами, побѣжалъ въ мракъ и, возвратившись, усѣлся сзади. Осмотрѣвшись, я замѣтилъ, что въ залѣ не такъ темно, различилъ кресло и сѣлъ рядомъ съ Шевнеромъ. Онъ, попрежнему часто и горячо дыша, назвалъ мнѣ десять или двѣнадцать извѣстнѣйшихъ въ литературѣ фамилій; польщенное мое сердце облилось гордостью и быстро, на смѣхъ, для утоленія невольной зависти, сообразивъ, что могъ бы я написать самъ,—я сказалъ:

— Я набить деньгами. Я билъ ихъ, знаете, какъ новичекъ. Я выигралъ пятьдесятъ тысячъ.

— Хе-хе!—сочно хихикнулъ онъ и шлепнулъ меня по колѣну.—Я все устроилъ.

Я хотѣлъ сказать что-то тонкое и циничное, но тутъ одинъ изъ силуэтовъ съ бородкой всталъ, выпрямившись на тускло-блѣдномъ фонѣ окна. Свѣтало, мракъ переходилъ въ сумерки, а сбоку, линия, какъ румяна на желтомъ лицѣ, ползъ къ ногамъ электрической свѣтъ; въ его направленіи за дверной щелью мелькали плечи и галуны.

— Тише!—раздалось по угламъ, и я разсмотрѣлъ прилипшія къ кресламъ и диванамъ словно вдавленные, безкостныя фигуры; подглазная синева лицъ составляла вмѣстѣ съ бровями родъ очковъ, и все было сѣрое въ усиливающемся свѣтѣ, зала представлялась сумеречнымъ роскошнымъ сараемъ; на кругломъ мозаичномъ столѣ бѣлѣли комки салфетокъ, кофейныя чашечки. Все вмѣстѣ напоминало строгое тайное судилище, гдѣ судьи соскучились и, расковавъ невидимаго преступника, поцѣловались съ нимъ съ чувствомъ братскаго отвращенія и сѣли пить.

Бородка изящнаго силуэта дрогнула, онъ сталъ теревить галстукъ и ласково, съ искусно впущенной въ интонацію струей интимной тоски, прочелъ стихи.

— Прекрасно! Изумительно!—сказали усталые голоса вразбродъ и кто-то принялся размѣренно хлопать. Разсвѣтало почти совсѣмъ; я увидѣлъ лица талантовъ, извѣстныя по журнальнымъ портретамъ, и мои десять тысячъ потеряли нѣсколько свое обаяніе. Шевнеръ опять засуетился, забѣгалъ и объявилъ мнѣ, что человѣкъ съ прядкой на выпукломъ лбу и толстыми губами—капитанъ Разинъ и что онъ прочтетъ сейчасъ сказку.

Опять я испыталъ восхищеніе, видя грузно поднимающуюся фигуру писателя, и какъ будто подымался онъ для меня, сѣренькаго провинціала. Никто изъ этихъ людей не посмотрѣлъ на меня—и это придавало имъ еще больше значительности. Разинъ, положивъ руку на спинку кресла у затылка испитой барышни, просто сказалъ:

„Я пришелъ въ царство, гдѣ нѣтъ тѣней, и, вотъ, вижу—нѣтъ тѣней, и все прозрачно-свѣтло, какъ ледъ“.

Онъ умолкъ, поднялъ брови, насупился, сѣлъ, а я посмотрѣлъ вправо и влево. Лица стали значительно скорбными, взгляды тяжелыми, а рѣсницы поникли,—тужились понять смыслъ произнесенныхъ словъ.

Окна изъ блѣдныхъ стали свѣтлыми, просвѣтлѣлъ залъ; медленно, словно цѣня каждое свое движеніе, поднялась среди всѣхъ дѣвушка съ привѣтливыми глазами на овальномъ лицѣ, въ черномъ шелковомъ платьѣ, гибкая, высокая, болѣзненная и прекрасная. Шевнеръ вился около нея, скаля зубы, а она смотрѣла на него добродушно, почти материнскимъ взглядомъ; тутъ я не выдержалъ; умиленный, загулявшій, сытый удачей, я твердо всталъ и,

горячась, потому что вялымъ тономъ такихъ вещей не предлагаютъ, сказали:

— Русскіе цвѣты, возрожденные на отравленной алкоголемъ, конституціей и Западомъ почвѣ! Я предлагаю снизойти до меня и наполнить всѣ рестораны звонкимъ разгуломъ. Денегъ у меня много, я выигралъ пятьдесятъ тысячъ!

— Онъ прекрасный человѣкъ! — закричалъ Шевнеръ съ вытянутымъ лицомъ. — У него геніальная шишка! Я васъ познакомлю... Да здравствуетъ просвѣщенный читатель!

Я очутился въ тѣсномъ кругу, мнѣ шутливо жали руку и кто-то сказалъ — „Джекъ Гемлинъ!“ Высокая дѣвушка стояла позади всѣхъ, я рвался къ ней, но крѣпко стиснутый Шевнеромъ локоть мой нылъ зубной болью, а молодой студентъ, толстый, деревянно-хохоча, гладилъ меня по жилету. Жидкое солнце, не выпавшись, облило насъ пыльнымъ, дряннымъ свѣтомъ; полинялые, замузганные бессонницей, вышли мы всѣ, толкаясь въ дверяхъ, и, пройдя къ лѣстницѣ, одѣлись вниз, вышли на панель, гдѣ, съ закружившимися отъ свѣжаго воздуха головами, попарно разсѣлись на извозчиковъ. Толкаясь впереди всѣхъ и отчасти уже всѣхъ презирая за то, что такъ скоро они приняли предложеніе ничѣмъ не замѣчательнаго, посторонняго человѣка, я завладѣлъ смущенно улыбавшейся, трезвой, высокой дѣвушкой, и мы съ ней поѣхали сзади всѣхъ. На пустыхъ улицахъ бродили дворники, подметая троттуары. Свѣтлая пустота перспективъ, съ яснымъ небомъ, облитыми солнцемъ ставнями запертыхъ магазиновъ, казалась мнѣ особаго рода искусственнымъ освѣщеніемъ, придуманнымъ для разнообразія ночи.

Трясаясь въ пролеткѣ, я, прижимаясь къ своему милому спутнику и обнималъ ея негнушущую талію, сказалъ:

— Отчего вы грустная и молчаливая? Не презирайте насъ. И, пожалуйста, не говорите вашего имени. Не знаю, почему, — я чувствую къ вамъ нѣжность. Мнѣ васъ жаль. Вы добрая.

— Нѣтъ, — возразила она очень серьезно, — вы меня не знаете. Я жестока и зла.

— Вы—чудо! — шепнулъ я, млѣя. — Я не достоинъ поцѣловать вашу руку. Но я, между прочимъ, въ васъ влюбился. Я счастливъ, что сижу съ вами.

— Отчего вы всѣ говорите одно и то-же? — спросила она съ нѣкоторымъ злорадствомъ. — Я часто это слышу.

— Знаете, — искренно сказалъ я, стараясь не ударить въ грязь лицомъ въ искренности, — всѣ мы дрянъ. Женщина обновитъ міръ. Лучшіе изъ насъ, натываясь на женщину не шаблонной складки, мучительно раскаиваются въ



своихъ пошлостяхъ.—„Вотъ мы прошли мимо свѣта, и свѣтъ погасъ“,—такъ скажутъ они.

Я произнесъ эту тираду спокойно и вдумчиво, съ оттѣнкомъ грусти, и умиленіе отъ собственной глубины зашекотало мнѣ въ горлѣ. Она повернулась ко мнѣ лицомъ, придерживая шляпу, такъ какъ съ рѣчки полыхалъ вѣтеръ, и долго смотрѣла на меня угрожающими глазами. Я не сморгнулъ и блеснулъ зрачками, расширивъ глаза и плотно сжавъ губы. Затѣмъ выраженіе ея лица стало простымъ, и я перевелъ духъ.

— Мы куда сейчасъ ѣдемъ?

— Не знаю,—сказалъ я,—и не надо знать этого. Можетъ, будутъ неожиданныя развлеченія. Заранѣе знать скучно. А вамъ что нужно здѣсь, съ нами?

— Я случайно, черезъ знакомаго студента. Мнѣ интересно, я никогда не бывала ни въ такой обстановкѣ, ни съ такими людьми.

„Эта дѣвушка мучительно напрягаетъ душу“,—подумалъ я и, уловивъ конецъ нитки, потянулъ клубокъ.

— Вы думаете, вамъ здѣсь сверкнетъ что-нибудь?—спросилъ я. Сердце мое билось глухо и жадно; сквозь драпъ пальто я чувствовалъ тепло ея тѣла.

— Все можетъ быть,—серьезно возразила она.—Вы кто?

— Стрѣла, пущенная изъ лука, — значительно проговорилъ я. — Словаюсь или попаду въ цѣль. А, можетъ быть, я вопросительный знакъ. Я корсаръ.

На ея щекахъ появились ямочки, она добродушно разсмѣялась, а я стиснулъ ея молчаливую руку и, помогая сойти у подъѣзда, шепнулъ, стараясь какъ можно загадочнѣе произнести слѣдующую ерунду:

— Далекая, милая, похожая на цвѣтокъ, шагъ за шагомъ звучитъ въ пустынь.

Тутъ же, сконфузившись такъ, что заболѣли скулы, я быстро оправился и, внутренно усмѣхаясь, шелъ за этой женщиной.

(Окончаніе слѣдуетъ).

А. Гринъ.

## ПРЕДВЕСЕННЕЕ.

Сползають къ берегу пустыя огороды,  
Чернѣть новъ, желтѣють крыши хатъ,  
Бѣлѣть прудъ, хотъ мутныя разводы  
Кой-гдѣ проѣль весенній ядъ;

Отъ сѣтокъ вербъ—на бѣломъ чуть замѣтно—  
Исходитъ красноватый ореолъ,  
Узоры сучьевъ блещутъ самоцвѣтно  
И четко золотится каждый стволъ.

У берега того, гдѣ дряхлыя мосточки  
И скошенный камышъ,—зыбится полынья,  
Къ ней зимняка подходит колея  
И разсыпается на черточки и точки...

Нѣмой, безкрасочный, но сердцу милый видъ:  
Въ немъ столько кроется весеннихъ воскресеній!..  
Такъ сердце иногда подъ горечью обидъ  
Таитъ расцвѣтъ неожиданныхъ вдохновеній...

К. Антиповъ.

## ДВА РАЗСКАЗА.

---

### НЕЗАБУДКИ.

Когда на этой вечеринкѣ она прочла маленькій рассказъ «Кольцо», а потомъ въ изнеможеніи закрыла глаза и покачнулась,—онъ подошелъ къ ней и сказалъ: „я васъ люблю“.

Кругомъ шумѣли, чокались стаканами, вездѣ на столахъ валялись апельсинныя корки, пустыя коробки конфетъ, на шелковыхъ креслахъ, украшенныхъ вензелями,—вѣера, лорнеты, бѣлыя лайковыя перчатки, артистъ императорскихъ театровъ цѣловалъ знаменитаго пейзажиста,—и никто не услыхалъ его робкаго признанія.

Она пріоткрыла глаза, провела ладонью по лбу и посмотрѣла на него съ изумленіемъ.

— Вы любите меня? Вы любите меня?

Она думала, что онъ былъ пьянъ. Вѣдь, въ этотъ вечеръ всѣ были пьяны, и даже незнакомые цѣловались другъ съ другомъ.

Но онъ смотрѣлъ на нее огромными, печальными глазами и просилъ позволенія прикоснуться устами къ ея ослѣпительно-бѣлой, прекрасной рукѣ.

— Неужели моя скромная просьба, оскорбляетъ васъ? У меня вырастаютъ крылья, когда я смотрю въ ваши глаза.

Она не знала, кто этотъ молодой человѣкъ. Онъ не былъ похожъ на другихъ, и въ то время, когда всѣ смѣялись и гурьбою толпились подлѣ прекрасныхъ женщинъ,—у него дрожали губы и слезы заволакивали глаза. Она хотѣла пройти въ желтую гостиную и разспросить директора о молодомъ человѣкѣ. Но эти умоляющіе глаза заглянули въ глубину ея сердца, и она протянула руку. А потомъ быстро подобрала платье и отвернулась.

---

Онъ хотѣлъ умереть и передъ смертью написать ей письмо: „Моя дорогая, моя любимая, моя единственная. Если хочешь, я подарю тебѣ весь міръ и прикачу къ твоимъ ногамъ земной шаръ, насыщенный золотомъ и драгоценными камнями. Если хочешь, я похищу звѣзды неба и разбросаю

ихъ на бархатѣ твоего трона. Если хочешь, я умолю Создателя открыть всѣ двери рая и разбросать на твоёмъ пути лавровыя вѣтви“.

Ахъ, сколько прекрасныхъ словъ зналъ онъ, сколько сравненій, но развѣ хотя бы одно было достойно ея, развѣ хотя одно достойно служило ей? Нѣтъ, нѣтъ! А смерть его? Эта одинокая, смѣшная смерть, этотъ послѣдній вздохъ, обращенный къ ней, къ неизмѣримо-прекрасной королевѣ,—быть можетъ, онъ даже оскорбитъ ее и нарушитъ священный покой ея души? Нѣтъ, нѣтъ! Онъ долженъ жить, онъ долженъ сплести для нея достойный вѣнокъ, — вѣнокъ стихосложеній и звучныхъ риѣмъ, онъ долженъ провозгласить ея красоту и, исполнивъ свое священное дѣло, скромно удалиться и безслѣдно исчезнуть. Что дѣлаетъ она, о чемъ думаетъ?

Эти звонки, эти настойчивые аплодисменты, эти вызовы и подношенія. Она устала кланяться, улыбаться, прикладывать руку къ сердцу и посылать воздушные поцѣлуи. Но она должна, должна. Должна обнажать свое тѣло, показывать изгибы спины, складки платья, чуть-чуть виднѣющійся носокъ ботинка, полуопущенную руку, усѣянную перстнями. Не такъ легко завоевать свою славу! Не такъ легко покорить это тысячеголовое животное—толпу, кричащее, размахивающее руками, зловонное, ненасытное! Не такъ легко угадать всѣ его темные инстинкты, разбудить однимъ словомъ скрывающій его сонъ и вызвать смѣхъ изъ его утробы, переполненной пищею и похотью! Познать толпу,—уже побѣдить. Служить ей,—уже завоевать призрачную славу. Держать ее у своихъ ногъ, какъ кровожадное животное,—уже наслаждаться жизнью, подъ охраной смирившейся, покорной гидры.

И кажется ей, что она всегда стоитъ на подмосткахъ, когда ѣстъ, гуляетъ, спитъ,—спитъ и ѣстъ на подмосткахъ, и всѣ люди—ея зрители, и сама жизнь—огромная, королевская сцена. И неужели,—думаетъ она,—есть хижины, занесенныя снѣгомъ, а надъ хижинами только тихое небо и звѣзды, неужели на морѣ качается одинокій челнъ, и волны плещутся подъ утесами, неужели двое влюбленныхъ дарятъ другъ другу свое сердце въ тиши темныхъ аллей, а возбужденные зрители не бросаютъ имъ увядающихъ розъ? Нѣтъ, нѣтъ! Есть одна сцена, гдѣ треплется холщевый парусъ, а влюбленные украшаютъ лица розовой краской и вспоминаютъ свои діалоги.

Его мечъ блеститъ и, отточенный, сулитъ побѣду. Его два стихотворенія, разукрашенныя риѣмами, ликующими клятвами и заклинаніями, словно вопль струны, разорвутъ тотъ мишурный пологъ, за которымъ скрывается она—его королева, и освѣтятъ предъ нею всю бездну его восхищенной, преклоняющейся души. Онъ плелъ эти стихи, нанизывалъ слово за словомъ и въ минуты высочайшаго экстаза шепталъ ея имя, равнаго которому не произ-

носили человѣческія уста. Пусть непризнанъ онъ, пусть даже въ этомъ маленькомъ кварталѣ, гдѣ ютится онъ, его не знаютъ продавцы овощей и бомбоньерокъ для кухарокъ,—но, мои милые, мои превосходнѣйшіе, разумнѣйшіе люди,—развѣ два стихотворенія, соединившись вмѣстѣ, подъ дружнымъ натискомъ, не распахнутъ двери сердца королевы и не споютъ тамъ свою пѣснь, какъ два архангела у престола Бога?

Бумъ! Бумъ! Бумъ! — колокольчики, бубенчики! Два стихотворенія. И вдругъ когда-нибудь взойдетъ солнце, и будетъ уже не два, а сто два, тысяча два стихотворенія—и кто-нибудь, кто-нибудь пришлетъ букетъ. Вообразите: букетъ розъ, перевязанный желтыми шелковыми лентами, и на самой большой розѣ дрожитъ роса. Но, можетъ быть, не роса, а слеза, незамѣтно скатившаяся съ женскихъ рѣсницъ?

Уже умеръ Полоній, и глухо переговариваются король съ королевой... Гамлетъ, Гамлетъ! Бѣдный, неуравновѣшенный Гамлетъ! Кого ты любишь, надъ кѣмъ смѣешься и что ищешь?

Въ ложѣ сидѣли министры, и жены ихъ сіяли алмазами. Спектакль приближался къ концу, и красные лакеи съ коронами на пуговицахъ приготавливали шубы, горностаевыя накидки и трости съ золотыми набалдашниками.

Въ ея груди стучало сердце, а подъ глазами залегла прозрачная тѣнь.

Какъ прекрасны ея полуобнаженные руки, узкія ступни ногъ въ сандаліяхъ и вѣнокъ цвѣтовъ, который она примѣряетъ передъ зеркаломъ. Вся она свѣтится молочно-желтымъ свѣтомъ, и чуть виднѣющееся тѣло спины прячется, стыдясь своей наготы. Длинными пальцами она касается серебряныхъ коробокъ, овальныхъ въ черепаховой рамѣ зеркалъ, здѣсь же валяется брилліантовое ожерелье, — оно сіяло на ея груди въ первомъ актѣ,—и крошечные щипцы для волосъ. Она снова смотритъ въ зеркало и улыбается. Сейчасъ эти глаза обратятся вглубь темной залы, и тысячи людей, очарованные ихъ таинственнымъ блескомъ, повѣрятъ Офеліи, лишившейся разума. И, быть можетъ, жены министровъ вздохнутъ глубоко-глубоко.

Свои маленькіе щипцы она вытираетъ о листочки бѣлой бумаги, гдѣ написаны два стихотворенія, и завиваетъ послѣдній локонъ.

На сценѣ появляется Офелія. Она едва-едва прикасается къ землѣ и смотритъ блуждающимъ взглядомъ. Ея опущенная рука безсильна подняться. И божественная невинность струится отъ ея благоуханнаго тѣла.

Въ тишинѣ залы слышится вздохъ, и кто-то плачетъ заглушенными рыданіями.

Онъ знаетъ, что дѣлаетъ. Не сомнѣвайтесь,—онъ великолѣпно знаетъ. Ваши презрительныя улыбки его не смутятъ, а если кто-либо назоветъ его сумасшедшимъ,—онъ не повѣритъ.

Луна поднимается все выше, все выше, она уже сіяетъ надъ куполомъ собора, и тяжелая четырехугольная тѣнь ложится на площадь.

Лучи луннаго свѣта пересѣкаютъ площадь и прилегающія улицы по всѣмъ направленіямъ, и ослѣпительно сіяютъ окна.

На козлахъ каретъ, подлѣ освѣщенныхъ домовъ, спятъ кучера, а лошади, настороживъ уши, слушаютъ тишину и бьютъ копытами.

Онъ стоитъ подлѣ ея подвѣзда и оперся локтемъ о голову бодрствующаго льва. Другой левъ смотритъ вдаль—и оба они охраняютъ уединеніе ихъ повелительницы. Въ стеклышкахъ двери—зеленыхъ и красныхъ,—чуть брезжитъ свѣтъ передней, и весь домъ погруженъ въ тишину.

Онъ поднимаетъ голову къ звѣздамъ и любитъ мерцаніемъ небесныхъ свѣтилъ.

Ему всегда казалось, что онъ живетъ не на землѣ, а на небѣ, и въ такія ночи онъ еще глубже укрѣплялся въ своей увѣренности. Сколько пѣсенъ онъ можетъ рассказать о звѣздахъ, вѣтеркѣ и насторожившейся тишинѣ вселенной. Сколько любви таятся въ его истомленной груди.

Въ полночь къ дому приближается карета и останавливается подлѣ бодрствующихъ львовъ. Два фонаря брызжутъ по сторонамъ снопы электрическихъ искръ и раскрывается дверца.

Она легко сходитъ по подножкѣ, и лакей затворяетъ дверцу. Поднимаясь по ступенькамъ, она замѣчаетъ его. Она приподнимаетъ свисшій на лобъ бѣлый шелковый платокъ, смотритъ на него и останавливается.

Онъ приближается къ ней и говоритъ:

— Я люблю васъ.

Она поправляетъ платокъ и спрашиваетъ:

— Кто вы?

Онъ снова повторяетъ:

— Я люблю васъ.

Теперь она узнаетъ его и, молча, отступаетъ. Она силится разгадать его молчаливую любовь, но разгадать не можетъ.

Горничная открываетъ дверь, и она скрывается.

Ему хочется цѣловать слѣды ея ногъ и плакать, плакать до зари. Теперь освѣщаются всѣ окна, и въ среднемъ окнѣ сіяетъ люстра.

---

Бѣга начинаются въ два часа.

Къ этому времени за нею въ открытомъ экипажѣ заѣзжаютъ солистка его величества, молодая балерина и баронъ—покровитель искусства. У со-

листки его величества бѣлая пуховая шляпа, отдѣланная золотомъ, лиловая шелковая шубка и атласная, вышитая черными цвѣтами, сумочка. Молодая балерина набросила на каракулевую шубку горностаевый воротничекъ и завязала шляпу серебристой кисеей. Баронъ въ цилиндрѣ положилъ руку на руку въ ярко-желтыхъ перчаткахъ и смотреть пристально на трехъ артистокъ. У нея болѣла голова, и она разстегнула крючекъ своей енотовой бархатной шубки.

Они вошли въ ложу, когда бѣжали мимо три лошади въ рядъ, — сѣрая, вороная и гнѣдая съ бѣлыми колечками на ногахъ. Гнѣдая все время отставала, ея пунцовый наѣздникъ дергалъ возжами и сердито озирался по сторонамъ. Когда лошади пробѣжали второй кругъ, гнѣдая шла уже второй, а когда третій, — она шла впереди остальныхъ.

Борьба этихъ трехъ лошадей и наѣздниковъ — пунцового, голубого и желтого развеселила ее и она хотѣла, чтобы гнѣдая пришла первой. Но гнѣдая опять уступила двумъ другимъ и пришла послѣдней.

Ей хотѣлось заплакать и вернуться домой.

Но они остались и видали еще много лошадей и заѣздовъ.

Баронъ, чтобы развеселить ее, рассказывалъ о картинахъ выставки „Любителей Искусства“ и новыхъ книгахъ.

Между прочимъ, онъ совѣтовалъ ей прочесть книгу новаго, молодого поэта. Объ этой книгѣ всѣ говорили.

— Кто этотъ поэтъ? — спросила она.

Баронъ назвалъ незнакомую фамилію и назвалъ два-три стихотворенія.

Вернулись они домой поздно вечеромъ.

Лошади шли шагомъ, и дамы привѣтливо улыбались знакомымъ.

Ему предложили за второе изданіе книги 1000 рублей. Онъ отказался. Тогда ему предложили 2000 рублей. Онъ взялъ деньги и рѣшилъ написать еще одну книгу. Онъ разложилъ деньги на 20 кучекъ, и въ каждой кучкѣ лежало столько денегъ, сколько ему было необходимо, чтобы пить, ѣсть, одѣваться и ѣздить къ любимому озеру.

Бумъ! Бумъ! Бумъ! колокольчики, бубенчики! Сто стихотвореній, двѣсти стихотвореній, — тысяча стихотвореній!

Недурно, право! Его голова не окончательно глупа, а сердце кое-что перестрадало. Торговцы овощами и бомбоньерками для кухарокъ, — вашъ поэтъ написалъ маленькую книжку, а кое-кто и читаетъ ее. Вотъ какія чудеса бываютъ на свѣтѣ.

Но какая книга достойно можетъ служить ей, гдѣ тѣ слова и обрѣзки, которые можетъ онъ бросить ей подъ ноги и украсить ими бархаты ея трона?

Онъ хотѣлъ ей написать: „Дорогая моя, любимая моя, единственная моя. Я готовъ вырвать свое сердце и для забавы твоей пронзить его тонкой иглой. Я готовъ слезами своими увлажнить весь твой путь, дабы ни одна соринка не прикоснулась къ ногѣ твоей. Я готовъ предсмертнымъ крикомъ созвать всѣхъ ангеловъ, чтобы хранили они тебя и облегчали путь твой“.

Но развеселить ли ее истекающее кровью сердце поэта, а слезы и ангелы облегчать ли путь ея?

Нѣтъ, нѣтъ! Онъ долженъ рассказать ей о чудесахъ несуществующаго міра, онъ долженъ поднять ее выше ангеловъ и архангеловъ, онъ долженъ унести ее на седьмое небо и показать послѣднюю границу голубого эфира, смежную съ безконечностью. Пусть въ любви поэта она найдетъ свое искупленіе.

Что дѣлаетъ она, о чемъ думаетъ, куда направленъ ея пристальный взглядъ?

Она сняла золотую корону и посмотрѣла въ зеркало. На ея лицо набѣжала тѣнь и задрожалъ подбородокъ. Въ своихъ волосахъ она замѣтила сѣдой волосъ, а на лбу крошечную морщинку. Еще ближе приблизилась она къ зеркалу, а потомъ отвернулась. На подзеркальникѣ валялись аметисты, и пурпурные гранаты рассыпались по мраморной доскѣ. Эти камни такъ много лѣтъ украшали ея тѣло, и такъ много лѣтъ она вызывала слезы толпы и ея заглушенные рыданія.

Кто откроетъ темницу ея слезъ, кто вытретъ ихъ? Ахъ, не нужно думать о хижинѣ, занесенной снѣгомъ, о прибрежныхъ волнахъ и поцѣлуяхъ любовниковъ. Жизнь только на сценѣ, а въ жизни—только игра.

И ей ли жаловаться, ей, поднявшейся на вершину славы, ей, которой аплодируютъ и властители, окруженные блестящей свитой? Нѣтъ, нѣтъ! Впередъ впередъ, все выше, все дальше!

Въ дверяхъ уборной ее ждалъ лакей и держалъ розовое, на бѣломъ мѣху, манто. Когда она укутывалась, къ ней подошелъ тотъ, кто теперь уже часто подходилъ, и сказалъ:

— Я люблю васъ.

Она отвернулась. Онъ уже такъ часто подходилъ и такъ часто повторялъ эти три слова, что его признанія перестали раздражать ее, и она даже не слушала его.

— Я люблю васъ,—снова повторилъ онъ.

Ея манто соскользнуло съ плечъ.

Она спросила:

— Кто вы, кто же вы, наконецъ?



— Я люблю васъ, я безконечно люблю васъ,—отвѣтилъ онъ.—Неужели вы не знаете, кто я?

Она оправила мантию и направилась къ выходу.

Ночью она внезапно проснулась. Её давилъ кошмаръ. Ей казалось, что она умерла и подлѣ гроба поетъ хоръ пѣвчихъ. Она долго не могла заснуть. Чтобы не скучать, артистка взяла со столика книгу стихотвореній неизвѣстнаго поэта, присланную барономъ, и прочла нѣсколько стихотвореній.

Ей вдругъ захотѣлось плакать и цѣловать, цѣловать блѣдныя руки того, кто своимъ перомъ начерталъ эти незабываемыя строки.

— О, если бы увидать его,—думала она, — о, если бы услышать его голосъ. Кто онъ? Откуда спустился онъ на нашу несчастную землю?

---

Бумъ! Бумъ! Бумъ! колокольчики, бубенчики! Онъ написалъ свою вторую книгу, онъ раздѣлилъ деньги на сто кучекъ, его пригласили въ Академію.

Ахъ, лисицы, ахъ, старыя крысы, ахъ, книжные червяки, — они хотятъ заманить его въ свою норку! Нѣтъ, нѣтъ-съ! Превосходнѣйшіе, разумнѣйшіе люди,—онъ не пойдетъ на вашу приманку, онъ не попадется въ ваши сѣти. Старые хрычи, носороги, не для васъ онъ писалъ свою книгу, не вамъ разжевать ее, не вамъ переварить! Онъ любитъ, онъ любитъ! Къ ея подножію бросить онъ всѣ пѣсни свои, ей одной служить онъ, ей — своей королевѣ. Уже отдалъ онъ королевѣ полъ-сердца своего, уже отдалъ двѣ трети, еще одна треть осталась, слышите ли, одна треть, — и тогда все сердце свое отдастъ ей, и пусть сотретъ его она, пусть сравняетъ съ лицомъ земли, она, прикосновеніе которой слаще меду и нѣжнѣе легчайшаго пуха. „Дорогая моя, — хотѣлъ онъ написать ей,—единственная моя, любимая моя. Если вознесу я тебя къ седьмому небу,—не затоскуешь ли ты о безконечности неизмѣримой, невообразимой? Если соберу всѣхъ ангеловъ и архангеловъ,—возрадуешься ли ты ихъ голосамъ и нѣжнѣйшей пѣснѣ? Если слезами и кровью сердца своего увлажню весь путь твой,—облегчу ли его и приведу ли тебя къ совершеннѣйшей истинѣ? Нѣтъ, нѣтъ! Я открою тебѣ въ моемъ предсмертномъ томленіи всѣ невыразимыя и неизъяснимыя тайны, я сплету свой вѣнокъ изъ послѣднихъ осеннихъ цвѣтовъ и брошу свой скромный даръ къ подножію твоего трона. Королева моя, мечта моя! О чемъ думаешь ты, что дѣлаешь, куда обращены глаза твои, исполненные неизъяснимой нѣжности?“

Она приблизилась къ піанино и закрыла глаза. Съ ея лба легко спускалась бѣлая прядь волосъ, а на щекахъ сіялъ дѣвственный румянецъ. Директоръ попросилъ артистку прочесть рассказъ „Кольцо“.

Она не заставила себя долго просить. Ея руки вдрагивали, а грудь высоко поднималась. Въ ея голосъ прорывались рыданія, и, всегда сдержанная, она готова была разрыдаться.

Потомъ спросила:

— Принесъ ли кто-либо вторую книгу неизвѣстнаго поэта?

Книгу принесъ знаменитый пейзажистъ, а второй экземпляръ былъ въ карманѣ композитора. Они оба протянули ей книги и вернулись къ своимъ мѣстамъ.

Она вынула изъ серебряной сумки маленькій платокъ и вытерла глаза.

Потомъ снова вытерла и прочла два стихотворенія. Хотя у слушателей кружилась голова, и нѣсколько минутъ тому назадъ пейзажистъ цѣловалъ артиста императорскихъ театровъ, а мужчины толпились подлѣ прекрасныхъ женщинъ и хохотали,—все-же эти два стихотворенія больно ранили сердца всѣхъ, и никто не рѣшался поднять глазъ. Какой-то глупый лакей откупорилъ бутылку шампанскаго, но его сейчасъ же прогнали, и лакей спрятался за дверь.

Она плакала. Она склонилась лицомъ къ крышкѣ рояля, и на его полированной поверхности слезы прожигали круглыя пятнышки. Не скоро ея лицо обратилось къ слушателямъ и, молча, она прошла въ уголокъ.

Онъ подошелъ къ ней.

— Я люблю васъ,—сказалъ онъ.

Она подняла глаза и судорога исказила ея лицо.

— Кто вы?—спросила она.

— Я люблю васъ,—повторилъ онъ.—Неужели вы не знаете—кто я? Когда я смотрю въ ваши глаза,—за моими плечами вырастаютъ крылья.

Она встала и направилась къ директору.

— Кто этотъ господинъ?—спросила она.

Но директоръ не зналъ, кто онъ. Не знали и другіе. Кто-то замѣтилъ, что этотъ господинъ, кажется, пишетъ стихи.

— Но печатаетъ ли онъ ихъ?—спросилъ директоръ.

На этотъ вопросъ никто не могъ дать отвѣта.

— Я сдѣлалъ свое маленькое дѣло, — писалъ онъ, — я написалъ три маленькія книги для тебя, моя любимая, для тебя, моя дорогая, для тебя, моя единственная. Я бережно принялъ въ свои руки твое сердце, ты сама боялась своего сердца,—я пробудилъ его голосъ, еще не звучавшій людямъ, я повѣдалъ людямъ то, что повѣдать сама ты не рѣшилась. И, счастливый,

преисполненный гордости, я хочу удалиться. Ты переступала всѣ грани, ты предугадывала тайны, ты молилась невѣдомымъ богамъ, — и я, похитившій священный огонь, развѣ не долженъ умереть? Ты совершенство—и приблизившійся къ тебѣ уже ничего не найдетъ, ничего не потеряетъ. Чѣмъ могла ты наградить меня. Вѣдь все твое богатство уже открыто мною. Что могли бы подарить мнѣ твои священные лобзанія, какъ не упрощенныя и свергнутыя на землю мечты? Я зналъ тебя въ минуты твоего высочайшаго вдохновенія—и знать тебя другой—значить не знать. Идти назадъ—значить покинуть тебя, идти впередъ—значить сорвать всѣ лепестки твоей благоухающей розы. Не лучше ли уйти, похитивъ съ собою твой божественный образъ? Дорогая моя, единственная, любимая,—не откажись прикоснуться ногою своею къ сердцу поэта, не откажись растоптать это сердце, перестрадавшее твоею красотою.

Бумъ! Бумъ! Бумъ! юлокольчики, бубенчики! Бумъ! Бумъ! Бумъ!

— Позвольте показать вамъ эту картину, — сказалъ баронъ и вмѣстѣ съ артистками направился въ угловую комнату.

На полотнѣ была изображена дама въ желтомъ, и ея руки покоились на головѣ борзой собаки. За спиною дамы бушевали облака и мчались всадники. Куда смотрѣла эта дама, что видѣла она? Баронъ пытался объяснить ея взглядъ. Но потомъ прибавилъ: „пожалуй, неизвѣстный поэтъ сдѣлалъ это въ одномъ изъ своихъ стихотвореній“. И баронъ привелъ два четверостишія поэта.

— Кстати,—сказалъ баронъ, — вы, конечно, слыхали, что поэтъ вчера умеръ.

Она уронила перчатку и схватила руку барона.

— Онъ умеръ, вы говорите, онъ умеръ?

Баронъ пристально взглянулъ на нее, а потомъ опустилъ глаза.

— Да, вчера онъ умеръ.

Солистка его величества поправила свое пушистое боа и поднесла къ глазамъ золотой лорнетъ, а молодая балерина надѣвала перчатку и разсматривала какой-то пейзажъ.

Вечеромъ она вошла въ его комнату.

Онъ лежалъ, утопающій въ цвѣтахъ, пышные вѣнки украшали его ложе, и горѣли свѣчи, вздрагивая оранжевыми огоньками.

— Я люблю васъ,—сказали его мертвыя губы,—я люблю васъ. Неужели вы не знаете, кто я?

Она сдѣлала два шага, покачнулась и упала, протянувъ къ нему свои руки. Въ рукѣ она зажала букетикъ незабудокъ, букетикъ нѣжныхъ цвѣтовъ, что цвѣтутъ лишь ранней весною.

## Д Ъ В Ч Е Н К А.

— Поймите, сударыня, — закричалъ Гомункулюсь, — поймите, чортъ возьми, наконецъ! Я влюбленъ въ красоту, въ линію, въ форму, я насыщаюсь красотой, какъ какой-нибудь послѣдній идіотъ хлѣбомъ, я хочу плевать—слышите ли?—плевать на всякія тамъ обязанности и прочее. Къ чорту обязанности, къ чорту разсужденія!

Эта дѣвченка повернулась къ нему спиною и принялась зашнуровать свой корсетъ. Потомъ сразу обернулась, ея лицо исказилось судорогами, она схватила со стола блюдо и бросила блюдо въ голову художника. Онъ успѣлъ отвернуться въ сторону, и блюдо разбилось объ стѣну. Потомъ она подбѣжала къ художнику, приподнялась на цыпочки и ударила его по щекѣ.

— Такъ достань же мнѣ хотя бы кусокъ хлѣба, негодяй!—закричала она. — Я разорву тебя на части, я выброшу за окно всѣ твои холсты! О, низменный, мерзкій, негодный!

Гомункулюсь схватилъ ея руки и крѣпко сжалъ ихъ. Она пыталась освободить руки и извивалась, какъ змѣя. Она уперлась колѣнями въ его животъ и наступила на его ногу. Потомъ быстро нагнулась и укусила своими острыми зубами руку художника.

— Вотъ и укусила,—закричала она,—да, укусила, укусила! Вотъ и кровь... Теперь ты знаешь, какъ я умѣю кусаться, знаешь, да, да, да?!

Онъ вытеръ кровь и приблизился къ дѣвченкѣ. Она собиралась спрятаться подъ кровать и тяжело дышала. Тогда художникъ сразу легко подхватилъ ее, связалъ носовымъ платкомъ ея руки, раскрылъ дверь и выбросилъ дѣвченку въ корридоръ. Потомъ заперъ дверь и вернулся къ мольберту.

Дѣвченка хныкала и барабанила пальцами въ дверь. Потомъ объявила, что подожжетъ домъ,—и художникъ непремѣнно сгоритъ въ его пламени.

Ея угрозы не испугали художника, и онъ посоветовалъ ей уходить на всѣ четыре стороны.

Но она не ушла. Она спустилась внизъ и вскорѣ вернулась вмѣстѣ съ чернобородымъ художникомъ—господиномъ Фидіемъ. Такъ называли художника всѣ справедливые поклонники его нѣжнѣйшаго таланта.

— Вотъ мой новый любовникъ, — объявила дѣвченка и взобралась на колѣни господина Фидія.

Господинъ Фидій потрепалъ дѣвченку по спинѣ и вынулъ изъ ея волосъ гребень,—этими гребнемъ она собирала волосы спереди.

— Я только что укусила палецъ Гомункулюса,—сказала она,—посмотри, господинъ Фидій, онъ перевязалъ палецъ тряпкой. Теперь будетъ кормить меня ежедневно.

— Ошибаешься,—отвѣтилъ Гомункулюсъ,—теперь ты не получишь отъ меня больше ни кусочка хлѣба и ни одной серьги. Довольно, довольно! Я голодаю, я открываю новыя формы! Если любишь, — голодай или открывай сама свои новыя формы!

— Подавись ты своими новыми формами! — взвизгнула дѣвченка. — И зачѣмъ я полюбила тебя? О, пусть будетъ проклятъ тотъ день, когда я вошла въ твою комнату и положила свои руки на твои плечи!

— Господинъ Фидій, идемъ къ тебѣ!—приказала она и соскочила съ колѣнъ Фидія. — Съ сегодняшняго дня я принадлежу тебѣ. Посылаю свое проклятіе Гомункулюсу и клянусь никогда не переступить его порога. Идемъ, господинъ Фидій.

Она потащила его за руку и по пути сбросила на полъ фарфоровую статуэтку.

— Не плачь такъ громко,—сказалъ господинъ Фидій, когда вечеромъ дѣвченка бросилась ничкомъ на диванъ и принялась барабанивать ногами. — У Гомункулюса, вѣроятно, уже зажилъ палецъ, и скоро онъ откроетъ свои новыя формы.

— Я отрѣжу ему носъ, я вырву его волосы,—твердила дѣвченка.— Я люблю Гомункулюса, господинъ Фидій... Сердце мое обливается кровью.

Господинъ Фидій принесъ тарелку съ коробкой сардинокъ, бѣлый хлѣбъ и бутылку пива.

— Вотъ сардинки,—сказалъ онъ.—Ты сегодня не обѣдала.

Она приподнялась, посмотрѣла на сардинки и снова бросилась на диванъ.

— Уходи со своими сардинками, убирайся!—закричала она.—Я не хочу сардинокъ. Я буду лежать такъ всю ночь.

Господинъ Фидій отнесъ обратно сардинки, открылъ форточку и подошелъ къ дѣвченкѣ. Онъ сѣлъ на диванъ и обнялъ дѣвченку. Онъ хотѣлъ утѣшить ее и объяснить, что новыя формы, не голодая, никакъ невозможно открыть.

Она быстро вскочила и сѣла на диванъ.

— Не смѣй прикасаться ко мнѣ, — взвизгнула она. — У тебя грязныя руки, я ненавижу твои руки. У Гомункулюса бѣлыя руки, я цѣловала ихъ. Если еще разъ прикоснешься,—я укушу тебя.

— Ложись спать,—сказалъ господинъ Фидій и принесть соломенный тюфякъ.—Если будетъ холодно, покройся синимъ ковромъ.

Она притащила два стула, попросила господина Фидія отвернуться, сняла кофточку, юбку, развѣсила ихъ на спинкахъ стульевъ и бросилась на тюфякъ.

— Теперь я за ширмой,—сказала она.— Не боюсь тебя. Только одинъ Гомункулюсь видѣлъ, какъ я раздѣваюсь.

Потомъ умолкла. Ночью господинъ Фидій проснулся. Дѣвченка рыдала, называла Гомункулюса ангеломъ и просила позволить цѣловать его бѣлыя руки.

У Гомункулюса завелись деньги—и онъ даже пилъ кофе.

Пришла дѣвченка. Она сѣла на диванъ, приподняла юбку, поправила подвязки и торжественно объявила:

— Я измѣнила тебѣ съ господиномъ Фидіемъ. Очень рада. Я очень рада. Теперь ты наказанъ.

Гомункулюсь отрѣзалъ большой ломоть хлѣба, намазалъ масломъ, посыпалъ зеленымъ сыромъ и, пережевывая, сказалъ:

— Ты говоришь неправду. Ты, дѣвченка, лжешь. Ты любишь Гомункулюса, а не господина Фидія. Лучше садись и ѣшь. Я знаю, — ты хочешь ѣсть.

Дѣвченка подпрыгнула на диванѣ и до крови закусилла губы. Она подбѣжала къ Гомункулюсу и зажала свои кулаки.

— Ты не вѣришь, что я измѣнила тебѣ?

— Нѣтъ.

— Ты думаешь, что я голодна и нуждаюсь въ твоёмъ сырѣ и маслѣ?

— Да, думаю.

— Ты, негодный, мерзкій, думаешь, что я люблю тебя?

— Да, думаю.

— Такъ вотъ же тебѣ, вотъ же!—взвизгнула она и сбросила на полъ хлѣбъ, масло и зеленый сыръ.

Гомункулюсь подхватилъ ее на руки и понесъ къ дивану. Она по пути щипала его руки, впивалась пальцами въ волосы, рвала рубашку, пиджакъ и во всѣ стороны размахивала ногами. Когда же онъ опустилъ ее на диванъ она вдругъ прильнула губами къ его рукѣ, потомъ обхватила его шею, впиалась губами въ его грудь — и слезы брызнули изъ ея глазъ. Она видѣла на его щекахъ свои слезы, и голубые глаза его окрашивали весь міръ въ голубой цвѣтъ.

— Гомункулюса нѣтъ дома,—сказала дѣвченка какой-то дамѣ въ сѣрой шляпѣ.—Повторяю вамъ, Гомункулюса нѣтъ дома.

Дама поправила вуаль и ушла.

Теперь мало-по-малу Гомункулюсь открывалъ новыя формы—и часто раздавались звонки.

Дѣвченка была очень рада, что дама ушла. Она надѣла черную страусовую шляпу и начала прыгать передъ зеркаломъ.

Раздался второй звонокъ.

Дама въ красномъ мантио спрашивала, куда уѣхалъ Гомункулюсь.

— Гомункулюсь уѣхалъ въ Америку. Онъ просилъ не беспокоить его. Онъ просилъ не звонить въ звонки.

Дама была очень удивлена. Вѣдь, Америка такъ далеко.

Дѣвченка нацѣпила на грудь двѣ бумажныя розы и снова передъ зеркаломъ показала себѣ языкъ.

Опять звонокъ.

— Гомункулюсь обѣщалъ быть дома въ два часа. Неужели онъ не вернулся?

У этой дамы дрожали губы, она раскрыла свою сумочку и вынула платокъ.

— Гомункулюсь боленъ. Онъ въ больницѣ, сударыня. Прошу васъ не беспокоить Гомункулюса.

Дѣвченка была въ восторгѣ. Она поцѣловала свою-же руку и прыгала на одной ногѣ.

Пришелъ Гомункулюсь. Онъ бросилъ на стулъ сѣрое пальто и причесалъ волосы.

— Я ждалъ сегодня трехъ барынь,—сказалъ онъ.—Онѣ приходили?

— Да, приходили,—отвѣтила дѣвченка и поправила чулокъ,—но я выгнала ихъ всѣхъ вонъ. Онѣ больше не вернутся. Я сказала одной, что ты уѣхалъ въ Америку, а другой, что—умеръ.

Гомункулюсь подошелъ къ дѣвченокѣ и сжалъ ея руку.

— Ты такъ отвѣтила имъ? Прежде ты мѣшала мнѣ открывать новыя формы, а теперь мѣшаешь проводить ихъ въ жизнь? Гдѣ твои формы? Гдѣ твои достиженія?

Дѣвченка вырвала свою руку.

— Пусть провалятся сквозь землю всѣ твои формы—и ты вмѣстѣ съ ними! Знаю я этихъ дамъ. Всѣ онѣ твои любовницы, всѣ цѣловали тебя, всѣ обнимали. Пусть появятся только,—я наплюю имъ въ глаза, вырву волосы, нахлестаю щеки. Гадины проклятыя!

— Молчи, дѣвченка, молчи, мерзкая дѣвченка. Я выброшу тебя на лѣстницу вмѣстѣ съ твоими шляпами и перчатками.

— Попробуй только! Я всё́мъ расскажу, какой ты художникъ, въ газетахъ напишу, въ книгахъ напечатаю. Всѣ узнаютъ, какія такія твои новыя формы.

Художникъ схватилъ дѣвченку за плечи и вытолкнулъ ее въ дверь. Туда же полетѣли всѣ ея шляпы, кофточки, юбки, перчатки и ботинки съ лакированными носками.

Дѣвченка принялась стучать кулаками въ дверь и голосила, какъ баба.

Вмѣстѣ со своими юбками, ботинками, перчатками, шляпами она вбѣжала въ комнату господина Фидіа и закричала на порогѣ:

— Господинъ Фидій, я должна отдаться тебѣ. Сегодня я отдаюсь тебѣ... Бери меня, цѣлуй, прижимай. Я буду жить съ тобою, я даже раздѣнусь.

По ея лицу двумя ручейками текли слезы, а на головѣ такъ смѣшно торчала шляпа.

Старыя формы господина Фидіа теперь никого не удивляли. Онъ даже продалъ соломенный тюфякъ и синій коверъ. Онъ зналъ, что дѣвченка любить своего Гомункулуса и никогда не отдастся ему.

Господинъ Фидій помогъ ей разложить на стулѣ все ея богатство и тихо сказалъ:

— Вытри слезы. У меня остался кусочекъ сыру и холодный чай. Если хочешь, я угощу тебя.

Чтобы убѣдить Фидіа, что она собирается ему отдаться, дѣвченка принялась разстегивать свою кофточку и дергать Фидіа за руку.

Потомъ ей все это надоѣло, и она плакала горько.

Господинъ Фидій успокаивалъ ее, вытиралъ слезы кускомъ лиловаго сатинета, а потомъ показавъ альбомъ флорентійскихъ видовъ, открытыя письма съ изображеніемъ пизанской колокольни, сіенскихъ воротъ, каналовъ Венеціи—и Колизей при лунномъ освѣщеніи. Дѣвченка украсила всѣ эти фотографіи каплями своихъ слезъ и попросила подарить ей какую-то картинку съ дамой въ испанскомъ костюмѣ. Ночью господинъ Фидій уложилъ дѣвченку на свою постель, а самъ легъ подлѣ печки на полу. Подъ голову онъ положилъ два тома исторіи искусствъ и покрылся газетами.

Дѣвченка долго не спала. Она молилась, креетилась и тихо всхлипывала.

Господинъ Фидій думалъ о своей бѣдности и ворочался съ боку на бокъ.

Ночью онъ проснулся. Дѣвченка стонала и искала спички. Оказывается, въ темнотѣ она ножницами перерѣзала какія-то жилы и теперь истекала кровью.



— Когда, когда же ты, наконецъ, поумнѣешь?—спрашивалъ Гомункулюсь дѣвченку.—Если тебѣ не дано счастья творить, открывать новыя формы, то люби, по крайней мѣрѣ. Но ты не умѣешь даже любить. Ты перерѣзываешь свои жилы.

Дѣвченка лежала въ бѣлой кофточкѣ на спинѣ и играла цвѣтными бусами.

— Убирайся, пожалуйста, со своими формами и любовью,—сказала она.— Кто сказалъ, что я люблю тебя?

— Дѣвченка, ты любишь меня, не притворяйся,—замѣтилъ художникъ.— Развѣ тотъ, кто не любитъ, перерѣзываетъ жилы?

— Ахъ, можетъ быть, я хотѣла узнать, больно или не больно. Я ненавижу тебя, я могу задушить тебя, оторвать твои уши.

Она крѣпко жала его руки, а потомъ неожиданно показала языкъ.

— Если хочешь,—сказала она,— я могу передъ образомъ поклясться, что не люблю тебя. И никакія женщины васъ, мужчинъ, не любятъ. Провалитесь вы вмѣстѣ съ вашими формами и любовью. Только муку свою любимъ, страданія свои.

Гомункулюсь принесъ бутылку лимонада и стаканъ. Онъ налилъ въ стаканъ лимонадъ и протянулъ стаканъ дѣвченкѣ.

— Убирайся со своимъ лимонадомъ,—сказала она.

— Дѣвченка, пей.

— Не хочу, самъ пей.

— Слышишь, дѣвченка, пей, а то я насильно волью лимонадъ въ твой ротъ.

— А я откушу твой палецъ.

— Ну, попробуй!

Онъ прижалъ стаканъ къ губамъ дѣвченки. Она запрокинула голову, а потомъ быстро нагнулась и укусила щеку Гомункулюса. Кровь окрасила щеку и выпачкала его руки.

Онъ вынулъ платокъ и вытеръ кровь.

— У тебя въ груди отвратительное сердце,—сказалъ онъ.

Дѣвченка вспыхнула, ея лицо покрылось дрожью, рыданія подбрасывали плечи. Она схватила подушку и прижала ее къ своей груди.

Гомункулюсь перенесъ дѣвченку на кровать и принялся гладить ея волосы.

Онъ, разгадавшій новыя формы, не могъ разгадать ея любовь.

Теперь, когда онъ сталъ знаменитъ, дѣвченка очень гордилась, что когда-то вмѣстѣ съ нимъ голодала и въ ея присутствіи онъ открывалъ новыя формы.

Она считала всё его деньги, гнала бѣдныхъ заказчиковъ, плакала, если въ газетахъ мало хвалили Гомункулюса, и постоянно думала, что у него есть гдѣ-то далеко любовница.

Такъ какъ сама она не открыла новыхъ формъ, ей казалось, она не могла и любить,—и думала, что Гомункулюса нужно иначе обнимать, иначе цѣловать, а какъ—она не знала.

Со всѣми поставщиками холста, подрамниковъ, красокъ, разносчиками журналовъ, газетъ, театральныхъ афишъ она долго разговаривала и, въ концѣ концовъ, объявляла, что всякія тамъ формы, искусство—глупость, а женщины—обманщицы.

— Любовь и всякія тамъ картины—выдумали,—говорила она. — Пусть провалятся они. Не вѣрю, чтобы женщина любила,—она себя любить.

— Ахъ, дѣвченка, дѣвченка,—говорилъ Гомункулюсъ,—милая моя женщина, ты—идеальная женщина, ты сама не знаешь себя.

— Не говори глупостей,—отвѣчала она,—я ненавижу тебя.

Однажды Гомункулюсъ получилъ большое письмо въ квадратномъ конвертѣ. Оно было написано женской рукой и все надушено прекрасными духами. Здѣсь же вверху были напечатаны двѣ буквы, переплетающіяся одна съ другой, и подписано женское имя. Дѣвченка поднесла письмо на свѣтъ къ окну и долго разсматривала. Потомъ зажгла спичку и освѣтила письмо съ противоположной стороны. Она взвѣшивала письмо на рукѣ, а потомъ спрятала въ карманъ. Въ карманѣ письмо помялось и кончики его загнулись. Ей такъ было пріятно знать, что письмо помялось, и хруститъ въ карманѣ.

Когда пришелъ Гомункулюсъ,—она передала ему письмо и заплакала.

— Вотъ письмо. Читай его, цѣлуй, спрячь на сердцѣ, спи съ нимъ.

— Дѣвченка, ты снова принялась за старое?—спросилъ Гомункулюсъ.

— Убирайся отъ меня, провались вмѣстѣ съ твоимъ письмомъ. Ненавижу тебя, будь ты проклятъ!

Гомункулюсъ обнялъ ее сзади и сказалъ:

— Молчи, дѣвченка.

Но она освободилась изъ его рукъ и сказала:

— Не хочу оставаться у тебя, пойду къ господину Фидію. Всѣ вы черти—проклятые. Онъ, хотя бѣдный,—лучше тебя.

— Если вернешься,—не пущу. Слышишь, дѣвченка?

— Я и просить не стану.

Она обернулась и бросила въ лицо Гомункулюса красную феску. А потомъ подошла къ двери и сорвала съ крючка тяжелую портьеру.

Господинъ Фидій лежалъ въ постели и не зажигалъ огня. Онъ лежалъ такъ изо дня въ день и пилъ только одинъ чай. Старыя формы окончательно отжили, и никто уже не стучалъ въ его дверь. Краски господина Фидія высохли, холсты покособились, а въ ящикѣ копошились крысы и пожирали когда-то блестящую поверхность палитры.

Дѣвченка вошла въ его комнату и сказала:

— Господинъ Фидій, сегодня я должна быть твоей. Ты, можетъ быть, думаешь, что я обманываю тебя, какъ обманывала прежде? Я ненавижу Гомункулюса и должна быть твоей.

Фидій думалъ, что въ эту ночь ему, вѣроятно, придется спать на голомъ полу, такъ какъ всѣ книги и газеты онъ продалъ. Остались только старые холсты. Но они такъ покособились, что не годились даже для этой своей послѣдней услуги.

— Я могу угостить тебя холоднымъ чаемъ,—сказалъ онъ.—Къ сожалѣнію, не знаю только, остался ли въ мѣшечкѣ сахаръ.

Дѣвченка не обратила вниманія на его предложеніе, подошла къ постели и принялась раздѣваться. Безъ смущенія она разстегнула корсетъ, потомъ сняла кофточку, юбку, чулки, распустила свои волосы и легла рядомъ съ господиномъ Фидіемъ. Онъ былъ такъ голоденъ, что съ трудомъ двигался, и казалось ему, что даже не былъ въ состояніи протянуть руку.

Дѣвченка дрожала, ея зубы не попадали одинъ на другой, и она обнимала господина Фидія. Потомъ согрѣлась и принялась плакать. Она рассказывала ему о своемъ дѣтствѣ, о тѣхъ молитвахъ, которымъ научила ее мать, о томъ, какъ сильно она любила Гомункулюса, какъ всегда ей было тяжело, что женщина не умѣетъ творить и такъ любить, какъ любить и творить мужчина, и, если-бы она была похожа на другихъ женщинъ, она всегда молчала бы. Но она не похожа: въ ея груди бьется отвратительное сердце. Самый лучшій на свѣтѣ человекъ — Гомункулюсъ. Но такіе люди, какъ онъ, должны жить одни: женщины не понимаютъ ихъ и мѣшаютъ имъ. Вѣдь, женщины не умѣютъ ни творить, ни любить.

Въ окнѣ мерцали звѣзды, и длинная лунная полоса легла черезъ всю комнату.

Согрѣтый ея теплотою, господинъ Фидій быстро заснулъ. Его истомленное тѣло отказывалось бодрствовать, и онъ могъ теперь, не просыпаясь, спать двадцать часовъ.

Онъ проснулся, когда солнце склонялось къ западу. Вся комната была окрашена пунцовымъ огнемъ. Господинъ Фидій подумалъ о „Послѣднемъ днѣ Помпей“. Онъ забылъ, что вчера его согрѣвала своимъ тѣломъ дѣвченка. И, когда вспомнилъ о „Послѣднемъ днѣ Помпей“, захотѣлъ посмотрѣть свои картины. Вѣдь, когда-то онъ тоже былъ художникомъ! Онъ повернулъ голову къ стѣнѣ и приподнялся. Но глаза господина Фидія, конечно, обманывали его. Подлѣ картинъ на розовомъ шарфѣ висѣла дѣвченка. Ея глаза смотрѣли на господина Фидія и раскачивались ножки въ ботинкахъ съ лакированными носками. Господинъ Фидій рѣшилъ, что онъ галлюцинируетъ. Вѣдь, онъ служилъ всегда старымъ формамъ и не обѣдалъ уже нѣсколько дней.

Дим. Крачковскій.

# ПИТТЪ и ФОКСЪ.

Любовные пути братьевъ Синтрупъ.

Романъ Фридриха Хуха. (Съ нѣмецкаго).

## I.

Питтъ—такъ называлъ Филиппъ Синтрупъ свое отраженіе въ зеркалѣ, когда ребенкомъ впервые увидѣлъ его и тронулъ пальцемъ. Родители закрѣпили за нимъ это имя, и, съ нѣкотораго рода послѣдовательностью, младшаго его брата стали звать Фоксомъ. Питту было безразлично, какъ его называли, Фоксъ же всячески противился навязанному ему прозвищу, но не могъ отъ него отдѣлаться. Тогда, придя въ возрастъ, въ которомъ изучаютъ новѣйшую всемірную исторію, онъ сталъ утверждать, что одинъ изъ потомковъ великаго, знаменитаго Фокса—его крестный отецъ, и что онъ въ будущемъ унаслѣдуетъ его огромныя богатства.

Уже въ раннемъ возрастѣ Фоксъ началъ обнаруживать наклонность къ хвастовству. Онъ выставлялъ себя героемъ имъ самимъ придуманныхъ исторій, которыя онъ называлъ сказками, хотя въ нихъ не было рѣшительно ничего сказочнаго, за исключеніемъ невозможности ихъ осуществленія; онъ заимствовалъ ихъ изъ непосредственно окружавшей его среды и только рассказывалъ въ тонѣ, который долженъ былъ вызывать ужасъ.

Сѣроглазый, не по годамъ высокій Питтъ выслушивалъ ихъ со скучающими глазами, а когда Фоксъ кончалъ, онъ рассказывалъ мѣрнымъ голосомъ: съ нимъ тоже было нѣчто подобное, но только все происходило наоборотъ; отъ враговъ своихъ, вмѣсто того, чтобы напасть на нихъ, онъ спрятался, неподвижно прижавшись къ забору, такъ что они приняли его за деревянный столбъ. Въ то время, какъ подъ шагами его брата трещали толстенныя балки на мосту, ему было достаточно соломинки, чтобы перебраться черезъ рѣку и спастись отъ своихъ преслѣдователей. Среди послѣднихъ совершенно неожиданно оказывались его ближайшіе родственники, его собственные родители. Господинъ Синтрупъ шествовалъ во главѣ ихъ, а госпожа Синтрупъ, мать Питта, грѣлась на солнышкѣ у входа въ пещеру и не двигалась, такъ что онъ не могъ пройти мимо нея, чтобы окончательно

скрыться отъ враговъ. Фоксъ въ концѣ своего разсказа обыкновенно дѣлался королемъ, Питтъ же къ концу замолкалъ и не зналъ, что съ нимъ приключилось. Въ такія минуты Фоксъ пыжился въ сознаніи своего воображаемаго величія, а господинъ Синтрупъ говорилъ: „изъ тебя выйдетъ что нибудь дѣльное, а ты, Питтъ, можешь хоть сейчасъ поставить надъ собой крестъ“. Тогда Питтъ незамѣтно вытаскивалъ изъ кармана записную книжку, отыскивалъ опредѣленную страницу и дѣлалъ на ней отмѣтку карандашомъ. Отецъ и мать его постоянно говорили одно и то же, и онъ велъ ихъ заявленіямъ своего рода статистику.

Господинъ Синтрупъ былъ энергичный фабрикантъ и пользовался большимъ уваженіемъ въ своемъ маленькомъ городкѣ. Пунктуально съ первымъ ударомъ звонка онъ появлялся въ конторѣ и бросалъ своимъ служащимъ добродушное „здравствуйте“. Лишь изрѣдка случалось, что онъ оставался въ постели дольше обыкновеннаго, потому что время отъ времени любилъ, какъ онъ говорилъ, „заглянуть въ рюмочку“. Когда къ нему поступалъ новый ученикъ, онъ ставилъ его передъ собою, пронизывалъ его взглядомъ и говорилъ страшно грознымъ тономъ: „Болванъ, олухъ, говорю тебѣ, если!“ Но, въ сущности, онъ былъ довольно добродушенъ и легко умилялся.

Фоксъ чувствовалъ себя великолѣпно въ своемъ положеніи; по отношенію къ прислугѣ онъ держалъ себя такъ, словно былъ какимъ-то наслѣднымъ принцемъ; мать онъ совершенно забралъ въ руки, она баловала его и предоставляла ему во всемъ полную свободу, тѣмъ болѣе, что Питтъ совершенно не мѣшалъ ей въ этомъ. Тотъ никогда ни о чемъ не просилъ, и все принималъ съ стереотипной благодарностью—все равно, что, и хорошее, и не имѣющее особой цѣны. Питтъ казался замкнутымъ, чуть-чуть дерзкимъ пріемышемъ, который, несмотря на долготѣную привычку, никакъ не можетъ почувствовать себя просто и свободно въ кругу своихъ пріемныхъ родителей. Онъ не могъ запомнить именъ ближайшихъ родственниковъ. Нерѣдко ему приходилось сначала подумать, чтобы вспомнить, гдѣ находится столовая, а гдѣ гостиная.

Въ такой же отчужденности онъ жилъ и въ гимназій. По отношенію къ товарищамъ онъ усвоилъ нѣсколько высокомерный, ироническій тонъ, болѣе тонкій или болѣе грубый, смотря по тому, какъ онъ считалъ нужнымъ. Настоящей дружбы онъ не зналъ. Онъ страдалъ отъ этого, но не могъ ничего измѣнить. Разъ онъ подружился было съ одной изъ своихъ кузинъ. Но дѣвочка обнаружила такую чувствительность, что ему казалось, будто они разыгрываютъ пьесу. И, когда однажды она по обыкновенію пришла къ нему въ гости, дверь его оказалась запертой на замокъ, и онъ крикнулъ ей въ замочную скважину, что между ними все кончено, и онъ не желаетъ

ее больше видѣть. А позже, увидѣвъ трагически обращенное къ нему лицо, онъ долго соображалъ, кто же это такое.

Фоксъ дружилъ съ дѣвочками гораздо моложе его. Онъ издѣвался надъ мальчиками, которые водились со своими ровесницами или старшими: вѣдь, это же совершенно безмысленно! Мужъ всегда долженъ быть старше жены!— Несмотря на фундаментальность этихъ взглядовъ, онъ довольно часто мѣнялъ предметы своей любви.

Фоксъ задавалъ товарищамъ тонъ, окружалъ себя цѣлымъ штабомъ, который прислушивался ко всѣмъ его словамъ.

Въ Питтѣ малѣйшій шумъ вызывалъ ужасъ. Онъ держалъ окна въ своей комнатѣ почти всегда затворенными, и дома большей частью ходилъ въ войлочныхъ туфляхъ. Постоянной, отдѣльной комнаты у него не было; онъ все время кочевалъ изъ одной въ другую. Какъ только онъ начиналъ чувствовать себя до нѣкоторой степени уютно, онъ сейчасъ же выдумывалъ какое-нибудь неудобство. Тогда госпожа Синтрупъ равнодушнымъ голосомъ приказывала прислугѣ перенести его кровать куда-нибудь въ другое мѣсто. Большое зеркало онъ каждый разъ самолично переносилъ въ новую комнату. Онъ любилъ, сидя передъ нимъ, смотрѣть въ него, забывалъ обо всемъ и ни о чемъ не думая. Вотъ такими должны бы быть люди! Тихими и безгласными, какъ отраженія! Въ дѣйствительности же, всѣ они такъ шумливы и рѣзки, и разглагольствуютъ о каждомъ чувствѣ, совсѣмъ какъ актеры на сценѣ. Иногда онъ и самъ казался себѣ актеромъ, особенно когда приходилъ въ раздраженіе или волненіе, что случалось не часто. Тогда онъ вдругъ начиналъ слышать свои собственные слова, и все казалось ему пошлымъ и лишеннымъ содержанія. Онъ обладалъ способностью говорить отъ лица другого, подражая этому человѣку во всѣхъ его выраженіяхъ. Но объ этомъ не зналъ никто, и онъ испытывалъ къ самому себѣ почти ненависть, предаваясь этимъ подражаніямъ, потому что ему казалось тогда, что на всемъ, что онъ самъ говоритъ и дѣлаетъ, остается какой-то особый привкусъ.

Фоксъ не пропускалъ ни одного ученическаго спектакля въ театрѣ и пытался все воспроизвести потомъ дома, при чемъ ему было совершенно безразлично, кто его слушаетъ.

Семейство Синтрупъ ежегодно отправлялось на нѣсколько недѣль въ какой-нибудь курортъ. Госпожа Синтрупъ страдала какою-то болѣзнью. Такъ какъ пока она не причиняла ей особыхъ неудобствъ, она любила говорить: „Всѣ мы умремъ когда-нибудь, а немножко раньше, или немножко позже, не все ли равно.“— За нѣсколько недѣль до отъѣзда появлялась швея и порхала вокругъ госпожи Синтрупъ, пока та, наконецъ, не говорила: „Ну, слушайте, довольно ужъ; я думаю все и такъ будетъ сидѣть прекрасно!“— Единствен-

нымъ, кто могъ себѣ позволить во всякое время оставаться самимъ собой,—былъ господинъ Синтрупъ: безупречный „habitus“, какъ онъ говорилъ, блестящій цилиндръ и огненно-красныя перчатки отличали его повсюду еще издали.

Питтъ жилъ въ курортѣ совершенно такъ же, какъ дома. Его не беспокоило, что онъ опаздывалъ къ обѣду. Онъ шелъ по залѣ, словно былъ въ ней одинъ, и смотрѣлъ обѣдающимъ прямо въ лица, точно желая рѣшить, родители это его, или нѣтъ.

— Питтъ! скоро ты будешь подтверждаться, черезъ два года ты кончаешь школу!—говорилъ господинъ Синтрупъ.—Вотъ какъ нужно ѣсть супъ!—Онъ жеманно бралъ ложку и прижималъ локоть къ туловищу. Госпожа Синтрупъ, почти касаясь бюстомъ тарелки, машинально прибавляла: „Для чего же и имѣть родителей, если не слѣдовать ихъ примѣру“ — и проявляла достаточно самообладанія, чтобы не облизывать нижнюю сторону ложки, что всегда дѣлала дома.

Въ такія минуты Фоксъ сидѣлъ, вытянувшись на стулѣ. Волосы плотно прилипали у него къ вискамъ, красный бантъ изъ бумажнаго атласа горѣлъ, какъ его щеки. Онъ чувствовалъ себя сыномъ богатаго фабриканта и зналъ свои обязанности по отношенію къ свѣту. Единственному человѣку, которому кланялся Питтъ — швейцару — онъ не кланялся. Фоксъ никогда не кланялся людямъ, стоящимъ ниже его на общественной лѣстницѣ. За то онъ старался держаться поближе къ такимъ пріѣзжимъ, которые требовательно своею возбуждали его вниманіе. Возвращаясь изъ такихъ поѣздокъ домой, онъ каждый разъ казался болѣе установившимся и созрѣвшимъ. Онъ писалъ тогда много писемъ дѣвочкамъ, съ которыми познакомился и на которыхъ собирался впоследствии жениться; Питтъ же всѣхъ ихъ находилъ скучными и некрасивыми. Питтъ тоже разъ заключилъ болѣе тѣсную дружбу послѣ того, какъ долго колебался, дѣлать ему это или нѣтъ. Уже за нѣсколько дней до отъѣзда, дѣвочка стала таинственно говорить о какомъ-то сувенирѣ. Любопытство его было возбуждено, и въ день отъѣзда она подарила ему большой вѣнокъ, который сплела вмѣстѣ со своей гувернанткой. Питтъ потихоньку подарилъ его швейцару. Потомъ онъ получилъ настоящее любовное письмо, и отвѣтилъ на четырехъ страницахъ, при чемъ написалъ только первую букву каждого слова, такъ что все письмо его имѣло видъ въ разбивку написаннаго алфавита. На этомъ и кончился его романъ.

Фоксъ работалъ и дома надъ своимъ развитіемъ. Когда къ обѣду приходили пріатели его отца, онъ всегда прислушивался къ разговору. Благодаря хорошей памяти, онъ многое запоминалъ и впоследствии повторялъ другимъ, какъ свое собственное духовное достояніе. Такимъ образомъ, ему удавалось дѣйствительно вызывать въ людяхъ вѣру въ скорспѣлыхъ ге-



ниевъ, хотя въ первую минуту они и поднимали его на смѣхъ. На такой смѣхъ онъ обыкновенно отвѣчалъ серьезнымъ сокрушеннымъ взглядомъ. Онъ ни съ кѣмъ не ссорился, даже съ тѣми, кто ему былъ непріятенъ. Сколько разъ случалось, что господинъ Синтрупъ говорилъ о какомъ-нибудь человѣкѣ самымъ гнуснымъ образомъ; но если Фоксъ послѣ обѣда шелъ съ нимъ гулять, и они встрѣчались съ этимъ человѣкомъ на улицѣ, то господинъ Синтрупъ заговаривалъ съ нимъ самымъ сердечнымъ тономъ, крѣпко трясъ его руку и разставался съ нимъ съ сожалѣніемъ.—„Свѣтское обращеніе, милый Фоксъ!—говорилъ онъ,—нужно уметь обращаться съ людьми, безъ этого ничего не добьешься въ жизни! Парень этотъ отлично знаетъ, что я объ немъ думаю, и я то же отлично знаю, что онъ думаетъ обо мнѣ. Одной рукой держишься за кошелекъ, а другой здороваешься, ничего ужъ съ этимъ неподѣлаешь!“

Фоксъ изъ всѣхъ силъ тянулся за отцомъ, и когда тому приходилось предпринимать далекія поѣздки—чего Фоксъ еще не могъ дѣлать, — онъ становился иногда на вокзалѣ, ждалъ прихода курьерскаго поѣзда, стоявшаго здѣсь нѣсколько минутъ, влѣзалъ въ вагонъ, выглядывалъ нѣкоторое время съ серьезнымъ видомъ изъ окна купе перваго класса, потомъ снова выходилъ и принимался шагать по платформѣ, заложивъ руки въ карманы панталонъ, съ томнымъ и значительнымъ выраженіемъ лица.

Фоксъ былъ лѣнивъ. Но онъ былъ чрезвычайно высокаго мнѣнія о себѣ и о своей будущности и часто говорилъ что перегонитъ Питта еще въ школѣ. Благодаря этой крайней самоувѣренности, онъ пренебрегалъ личными стараніями, думая, что все сдѣлается само собою. И, такимъ образомъ, выходило, что Питтъ, который тоже совсѣмъ не старался, все таки оставался всегда впереди. Питтъ проходилъ курсъ совершенно такъ же, какъ ходилъ по улицамъ, какъ ходилъ дома: тихонько, безъ видимаго ритма. Онъ ни во что по настоящему не углублялся, не имѣлъ ни пристрастій, ни отвращеній, готовилъ свои школьные уроки безъ торопливости, безъ увлеченія, не легкомысленно, и не разсѣянно, но такъ, что учителя его говорили: „Ему не хватаетъ мозговъ и выдержки!“ Случалось, что его несправедливо наказывали. Если потомъ случайно обнаруживалась его невинность, и его съ изумленіемъ спрашивали, почему же онъ съ самаго начала не доказалъ ее, онъ говорилъ: „Не все ли равно!“ Но, если подозрѣніе противъ него было основательно, и направлялось по невѣрному пути, то онъ сейчасъ же выяснялъ все съ поучительной откровенностью, граничащей съ нахальствомъ, какъ третье лицо, непрічастное, стоящее въ сторонѣ, и не доставало только, чтобы онъ, какъ однажды сказалъ про него одинъ учитель, говорилъ о себѣ въ третьемъ лицѣ. Его считали холоднымъ и высокымѣрнымъ. Самъ же онъ не находилъ ни того, ни другого. Ему представлялось, что и дома, и въ школѣ.

онъ ведетъ какъ бы призрачную жизнь, и что все должно стать другимъ, какъ только онъ станетъ жить внѣ дома. То, что онъ не былъ близокъ съ родителями, зависѣло отъ самихъ его родителей, что у него не было друзей. зависѣло отъ тѣхъ, среди которыхъ ему приходилось выбирать. Ловко и искусно онъ выкладывалъ всѣ ихъ недостатки и слабости и говорилъ о нихъ, какъ объ отдѣльныхъ экземплярахъ какой-нибудь коллекціи.

Приближалось время выпускныхъ экзаменовъ, а съ ними возникалъ и вопросъ о выборѣ призванія и карьеры. Послѣднее было ему совершенно безразлично и весьма скучно. Онъ чувствовалъ себя способнымъ на любое призваніе, а выборъ опредѣляется, вѣдь, большей частью, случаемъ. Онъ рѣшилъ только, что поступить въ университетъ, потому что такимъ путемъ онъ скорѣе всего могъ избавиться отъ пустой и безрадостной жизни дома.

— Можетъ, ты хочешь быть врачомъ?—говорилъ господинъ Синтрупъ.— „Отчего же? Хорошо!“—Но мнѣ кажется, у тебя нѣтъ ни малѣйшихъ способностей къ медицинѣ.—„Ну, такъ я могу быть чѣмъ-нибудь другимъ“.—Подобные отвѣты приводили отца въ отчаяніе.—Откуда въ тебѣ это? Неужели у тебя нѣтъ ни капли честолюбія?—Питтъ качалъ головой.—Я просто отдамъ тебя въ какое-нибудь ремесло!—Хорошо, я на все согласенъ.—Нигдѣ, ни съ какой стороны нельзя было пронять этого человѣка!

Увидѣвъ, какъ въ первый день экзаменовъ Питтъ, слегка сгорбившись, шелъ въ гимназію, господинъ Синтрупъ озлобленно погрозилъ ему кулакомъ. Питтъ остановился, внимательно посмотрѣлъ на отца, стоявшаго у окна, и что-то крикнулъ ему. Господину Синтрупу показалось, что онъ слышитъ невѣроятную, безграничную дерзость, и онъ энергично распахнулъ окно.— „Ахъ,—это ты“,—сухо сказалъ Питтъ и поплелся дальше. Въ слѣдующіе дни въ домѣ вѣялъ духъ смутной тревоги и недовольства, какой вызываетъ всегда перспектива готовящагося алополучія. Одна только госпожа Синтрупъ говорила о несчастьи въ довольно добродушномъ тонѣ: не все-ли равно, останется Питтъ еще на годъ въ школѣ, или нѣтъ, она вообще не любитъ перемѣнъ, а если ему теперь пришлось бы уѣзжать, то это вышло бы, въ сущности, довольно неожиданно.—Всѣ были поражены, когда оказалось, что Питтъ выдержалъ экзаменъ однимъ изъ лучшихъ. Появились тетушки для осмотра и поздравленій, и госпожа Синтрупъ немедленно захворала разстройствомъ желудка.

Фоксъ былъ весьма разочарованъ. Теперь ему оставалась надежда только на то, чтобы поскорѣе догнать Питта, а тамъ обогнать его въ университетѣ. Фоксъ уже давно зналъ, чѣмъ онъ будетъ: правительственнымъ чиновникомъ,—какого вѣдомства, еще не было рѣшено.

Послѣ первой большой радости, господинъ Синтрупъ опять возобновилъ свои вопросы. И Питтъ, сказавшій себѣ, что теперь, все равно—надо рѣшать,

заявилъ: онъ желаетъ быть юристомъ, это единственное призваніе, для котораго онъ пригоденъ. И, такъ какъ онъ повторилъ это нѣсколько разъ и громкимъ голосомъ, то господинъ Синтрупъ, вначалѣ было усумнившійся, повѣрилъ ему. Фоксъ же подумалъ: онъ подражаетъ мнѣ.

И вотъ наступило, наконецъ, время, котораго Питтъ ожидалъ съ такимъ страстнымъ нетерпѣніемъ, и все же онъ не испытывалъ никакой радости. Покидая гимназію съ сознаніемъ, что онъ никогда болѣе не переступитъ ея порога, онъ говорилъ себѣ: можетъ быть, черезъ много лѣтъ этотъ моментъ покажется мнѣ однимъ изъ счастливѣйшихъ моментовъ моей жизни. Чувствую-ли я себя сейчасъ счастливымъ? Я чувствую себя точь въ точь такъ же, какъ и прежде. Но радость придетъ потомъ, когда я уѣду совсѣмъ отсюда.

Въ честь его былъ устроенъ фамилійный ужинъ. Ему не хотѣлось присутствовать на немъ, онъ сказалъ, что у него болитъ голова, и легъ спать. Такимъ образомъ, обязанность представлять подрастающее поколѣніе семьи выпала на долю Фокса, и его широкія плечи, казалось, отлично чувствовали не только тяжесть, но и почтенность ноши. Онъ держалъ рѣчь, и, въ концѣ концовъ, можно было подумать, что это торжество есть лишь предвареніе другого, будущаго, а въ глазахъ его свѣтилась какъ бы гарантія возлагаемыхъ на него надеждъ. Госпожа Синтрупъ сказала, что Питту теперь какъ разъ столько лѣтъ, сколько было ея мужу, когда она увидѣла его въ первый разъ. Только у него уже была настоящая окладистая борода: „ахъ, Боже мой, я, какъ сейчасъ, помню: онъ постоянно носилъ мнѣ конфеты, и я подкарауливала его только для того, чтобы получить конфеты. Ну, потомъ, положимъ, началось уже другое, но сколько прошло лѣтъ, пока мы могли повѣнчаться, пока онъ сдѣлался довѣреннымъ! А великолѣпный свадебный обѣдъ! Я, кажется, до сихъ поръ помню меню наизусть. Разумѣется, люди говорили, что онъ женился на мнѣ изъ-за денегъ. Боже милостивый, да если бы даже въ этомъ и было чуточку правды!...— „Ахъ, Маузи!“— крикнулъ господинъ Синтрупъ,— „Маузи, что ты тамъ выдумываешь!“— Всѣ засмѣялись, но голосъ госпожи Синтрупъ покрылъ шумъ: „Я бы никогда не вышла за тебя, если бы отецъ не понималъ въ точности обстоятельствъ! Должна быть солидность. Другіе были гораздо больше влюблены въ меня, но крайней мѣрѣ, на словахъ; но такіе господа не годятся для брака, они улетучиваются вмѣстѣ съ медовымъ мѣсяцемъ. Я охотно отказалась отъ всей этой ерунды!“

Она поудобнѣе откинулась на спинку дивана и мысленно прослѣдила всю свою жизнь, не принеся ей ни единого разочарованія. Правда, мужъ иногда измѣнялъ ей, но это было не въ счетъ, это случалось только во время дѣловыхъ поѣздокъ и, стало быть, ея не касалось. Здѣсь, дома, онъ

любилъ только ее, вотъ уже скоро двадцать пять лѣтъ; въ первые годы брака у нихъ не было дѣтей. Съ чувствомъ полного удовольствіенія она сидѣла на диванѣ, и взглядъ ея покоился на ея портретѣ, который висѣлъ на противоположной стѣнѣ, между портретомъ Шиллера слѣва и портретомъ Гете справа.

Вскорѣ послѣ этого вечера Питтъ покинулъ родительскій домъ. Съ колоссальной быстротой, какъ бы стремясь къ громадной задачѣ, промчался онъ черезъ всю Германію,—а въ дѣйствительности все, что относилось къ призванію и задачамъ, было для него второстепеннымъ и не стоящимъ разговора. Онъ ощущалъ только свое одиночество и страстное желаніе, чтобы жизнь стала лучше.

## II.

Однажды Питтъ стоялъ въ прихожей одного богатаго дома.—„Мнѣ надговорить съ барышней“. Лакей спросилъ у него карточку. Поколебавшись, далъ ее. Потомъ сталъ ждать въ большой, тихой гостиной.

Вошла молодая дѣвушка, съ бѣлокурыми, прямыми волосами и свѣтлымъ лицомъ. Она держала въ рукѣ карточку Пятта и, заинтересованная тѣмъ, кто можетъ быть этотъ незнакомый посѣтитель, окинула комнату любопытнымъ взглядомъ сѣро-голубыхъ глазъ, похожихъ на двѣ свѣтлыхъ, единственныхъ въ своемъ родѣ комнатки. Но тотчасъ же они приняли полуизумленное, полу-тревожное выраженіе.

— Что вы выдумали!—проговорила она быстро и вполголоса,—это не годится! Вѣдь, вы съ нами не знакомы! Моя мать и сестра совершенно ничего про васъ не знаютъ.

— Да я вовсе и не къ нимъ пришелъ,—сказалъ Питтъ. Она съ беспокойствомъ оглянулась на дверь.

— Вдругъ моя мать войдетъ сейчасъ—не могу я же ей рассказать сразу всю исторію—да уходите жѣ, неужели вы не понимаете,—ну, подождите меня на улицѣ, если хотите, мнѣ все равно нужно въ городъ.

Съ минуту онъ еще какъ бы колебался, но въ тревогѣ своей она сдѣлала движеніе, какъ бы намѣреваясь вытолкнуть его за дверь; онъ засмѣялся и поспѣшно и беззвучно пошелъ по устланной ковромъ передіей, мимо лакея, какъ воръ, сунувшій въ карманъ серебряную ложку и старающійся по возможности имѣть безпечный видъ. Онъ чуть не наткнулся на стройную молодую, чрезвычайно элегантную даму, входившую въ домъ и смѣрившую его изумленнымъ взглядомъ. Это была Гедвига ванъ-Лео, старшая сестра Эльфриды.

— Кто этотъ молодой человѣкъ?—спросила она, входя въ комнату, гдѣ была Эльфрида.

— Мой другъ!—коротко и равнодушно отвѣтила Эльфрида. Гедвига, нѣсколько гадѣталъ, подняла брови; разговоръ былъ конченъ.

Эльфрида взяла съ рояля ноты и вышла изъ дому. Увидя на углу Питта, она размѣялась, какъ будто передъ ней стояло воплощенное остроуміе. Онъ все еще не понималъ, какъ это она его выпроводила.

— Еслибъ я еще точно знала, что это вы,—сказала она,—но въ ту минуту я была страшно смущена. Въ сущности,—продолжала она послѣ маленькой паузы,—наше знакомство, дѣйствительно, довольно своеобразно.

— Я этого не нахожу! По моему, оно, наоборотъ, въ высшей степени естественно. Ни съ однимъ человѣкомъ въ жизни я еще не знакомилась такимъ естественнымъ образомъ, какъ съ вами.

— Я тоже,—быстро подхватила она,—но именно потому я и нахожу, что это очень забавно.

— И, въ сущности, я васъ и теперь все равно, что не знаю!—продолжалъ онъ.

— Да, это правда!—серьезно сказала она и невольно пошла тише.

— Если вамъ, дѣйствительно, придется бывать у насъ въ домѣ,—продолжала она, помолчавъ,—то я должна буду все таки раньше разсказать что-нибудь матерп, иначе нельзя.

— Хорошо, такъ разскажите, и я приду завтра.

— Однако,—горло проговорила она,—это зависитъ, вѣдь, стъ меня, я должна еще хорошенько обдумать.

Онъ помолчали нѣкоторое время, потомъ Питтъ спросилъ:

— Зачѣмъ, собственно, вы каждый день носите съ собою этотъ портфель?

— Затѣмъ, что я каждый день хожу на урокъ! Вы спрашивали меня объ этомъ уже два раза и каждый разъ получали одинъ и тотъ же отвѣтъ.—Онъ удовлетворительно кивнулъ головой, а она спросила.—Вы часто бываете такъ разсѣяны?

Онъ узналъ, что она хочетъ быть піанисткой, много уже училась, но еще не достаточно. Учителя адѣсь не особенно хороши, вполнѣдствіи она думаетъ поѣхать въ Парижъ. На это онъ сообщилъ ей, что никогда не строить никакихъ плановъ, все, вѣдь, дѣлается такъ, какъ должно. Она нашла это глупымъ; онъ сталъ доказывать ей это послѣдними событіями изъ своей жизни. Въ сущности, если бы все дѣлалось по заранѣе обдуманному плану, такъ онъ долженъ былъ бы находиться теперь совершенно въ другомъ мѣстѣ. Онъ выбралъ университетскій городъ, но на площади передъ вокзаломъ вдругъ сказалъ посылщику, чтобы тотъ несъ вещи обратно на вокзалъ—онъ рѣшилъ ѣхать дальше.

— Почему?

Питтъ пожалъ плечами.

— И вы поѣхали дальше?

— Ну да, и пріѣхалъ сюда. А здѣсь подумалъ: ну, вотъ, это настоящее. Эльфрида чуть-чуть поджала губы и сказала:

— Повидимому, вы любите оригинальность.

Эти слова вызвали въ немъ досаду, такъ какъ были совершенно невѣрны.

— Теперь я буду вращаться лишь въ ограниченномъ кругу возможностей,—сказалъ онъ послѣ нѣкоторой паузы, — я все время переѣзжаю изъ одной квартиры въ другую.

Она нашла это глупымъ, а его самого лишеннымъ директивы, — выраженіе, часто употребляемое Гедвигой.

Онъ искоса посмотрѣлъ на ея лицо и, подумавъ немного, сказалъ:

— Да съ вами, вѣдь, то же, что и со мной! А то вы бы остались здѣсь и не стремились бы непременно въ Парижъ!

— Это же совершенно другое! Какъ разъ обратное! Я слѣдую при этомъ твердо опредѣленному плану!

Онъ сталъ спорить, сказалъ, что она это себѣ только внушаетъ, сослался на свое знаніе людей.

— Тогда ваше знаніе людей не стоитъ ломанаго гроша!—досадливо воскликнула она.

Онъ засмѣялся и внимательно посмотрѣлъ на нее.

— Я этого не думаю! Миѣ только очень хотѣлось посмотрѣть, какое у васъ лицо, когда вы сердитесь!

Тутъ она, дѣйствительно, разсердилась, по няла голову, ничего не отвѣтила и пошла быстрѣе. Онъ нерѣшительно поглядывалъ на ея профиль, на тонкій, чуть вздернутый носъ, твердо и упрямо смотрѣвшій вверхъ.

— Ну, будьте опять такою, какъ прежде!—сказалъ онъ, наконецъ.

Она засмѣялась и замѣтила, что онъ забавный человекъ.

Они подходили къ большому дому, куда направлялась Эльфрида, и замедлили шаги. У Питта, не привыкшаго къ быстрой, ровной ходьбѣ, въ ногахъ было такое чувство, какъ будто въ нихъ помѣстился механическій заводъ.

— Если вы ничего не скажете про меня дома, то въ будущемъ не можете считать себя гарантированной отъ меня. Я узнаю васъ на разстояніи ста шаговъ.

— Это неправда!—наобумъ сказала она, только чтобы поспорить.

— Хотите держать пари?

Она помолчала, какъ бы раздумывая, потомъ вдругъ сказала;

— Хотите завтра пойти гулять со мной? А до тѣхъ поръ я скажу все матери.

Онъ былъ очень изумленъ этой внезапной переменою и согласился. Они условились, на какомъ мѣстѣ встрѣтятся, потомъ она исчезла за дверью зданія, бросивъ на него плутовской взглядъ, какъ будто знала что-то особенное.

Онъ снова полюбовался ея ритмической походкой, поразившей его сразу, когда онъ вначалѣ, при видѣ ея, высоко поднималъ воротникъ и горбился, изъ боязни, чтобы она не приняла его за Донъ Жуана.

На слѣдующій день въ условленный часъ онъ пришелъ въ аллею. Долго онъ тщетно ждалъ, наконецъ, сѣлъ на скамью.

— Здравствуйте,—проговорилъ возлѣ него мальчикъ-подростокъ и плутовато вздернулъ голову.

Въ ту же секунду онъ узналъ прямой, тонкій профиль Эльфриды. Она подобрала волосы подъ мягкую шапочку; темно сивій, вверху чуть открытый суконный плащъ съ широкими отворотами и металлическими пуговицами доходилъ какъ разъ до подъема, на ней были черные чулки и башмаки съ пряжками, шея выглядывала изъ подъ матросскаго воротника.

— Вотъ, видите, — сказала она съ тихимъ удовольствіемъ, не двигаясь, — вотъ, вы меня и не узнали! Ваша проницательность довольно умѣренна!

Она вскочила, и теперь ее можно было принять и за мальчика, и за дѣвочку.

— Возьмемъ извозчика,—сказала она,—мнѣ хочется поскорѣе за городъ; а тамъ онъ можетъ уѣхать назадъ и вернуться, когда мы ему скажемъ.

Питтъ былъ нѣсколько сбивъ съ толку этимъ новымъ превращеніемъ и, сидя рядомъ съ ней въ экипажѣ, не могъ сразу найти надлежащаго тона. Кромѣ того, онъ въ первый разъ видѣлъ ее въ яркомъ дневномъ свѣтѣ, подъ яснымъ небомъ.

Она съ довольнымъ видомъ откинулась въ уголъ коляски. Спереди, на лбу, изъ подъ шапочки выбилась прядка бѣлокурыхъ волосъ. Она полускрыла вѣки отъ удовольствія, лукаво косилась на прохожихъ, и губы ея еще замѣтно изгибались, когда какая-нибудь знакомая дама равнодушно окидывала ее взглядомъ.

Наконецъ, экипажъ остановился, они были за городомъ.

— Куда же мы теперь пойдемъ?—спросила она.

Оказалось, что Питтъ не имѣетъ ни малѣйшаго представленія о мѣстности, хотя прожилъ въ этомъ городѣ уже нѣсколько недѣль. Онъ напелъ этотъ вопросъ лишнимъ: идутъ просто туда, куда ноги несутъ. Куда-нибудь да придешь. Одно дерево, вѣдь, точь въ точь похоже на другое!

Но она хотѣла непремѣнно имѣть опредѣленную цѣль передъ глазами. Гораздо больше удовольствія, когда знаешь, куда идешь, и чувствуешь себя гораздо увѣреннѣе. А потомъ испытываешь еще предчувствіе радости.

— Предчувствіе радости? — спросилъ онъ, — что это такое?

Она придумала что-то интересное, и они пошли по опредѣленному направлению. Она заговорила;

— Если бы у меня передъ глазами не было опредѣленной цѣли, то жизнь не имѣла бы для меня, вообще, никакой цѣны. Я, вѣдь, не знаю, достигну ли я чего-нибудь крупнаго, но я, по крайней мѣрѣ, пытаюсь, вѣрю въ это и работаю изо всѣхъ силъ.

— Ну, а если вы не достигнете?

Она испуганно взглянула на него.

— Объ этомъ нельзя думать. Если такъ думать, то не нужно ничего и начинать.

— Да и не нужно.

— Но, вѣдь, у васъ есть же какой-нибудь планъ жизни?

Онъ пожалъ плечами: что-нибудь надо же дѣлать.

Она нашла, что это слабость, достойная презрѣнія, и заявила, что не желаетъ больше объ этомъ слышать: это портитъ ей настроеніе. Она засунула руки въ карманы плаща и весело наступила на камень.

— А знаете, — спросила она черезъ минуту, — зачѣмъ я такъ нарядилась? Во первыхъ, мнѣ хотѣлось васъ провести, а потомъ я рѣшила побѣгать здѣсь съ вами на перегонки, чтобы хоть разъ расшевелить васъ. Но я уже вижу, что изъ этого ничего не выйдетъ; по моему, вы ужасный лѣнтяй. — Она остановилась и задорно смотрѣла на него.

— Немного погоди, — сказалъ онъ, — не все сразу.

Они вышли изъ лѣса и очутились въ полѣ, на проселочной дорогѣ. Черезъ минуту она спросила:

— Вы какъ хотите: сначала бѣгать, а потомъ ѣсть, или сначала ѣсть, и ужъ потомъ бѣгать?

— Сначала бѣгать! — сказалъ Питтъ, надѣявшійся, что она позабыла объ этой затѣѣ.

Она сейчасъ же сбросила плащъ на землю, намѣтила цѣлью дерево, скомандовала: бѣжимъ! и Питтъ прежде, чѣмъ пуститься въ бѣгъ, едва успѣлъ подумать: Что это за идіотство! И дернуло меня съ ней знакомиться! Но тутъ она чуть не обогнала его, ему пришлось напрягать всѣ силы, чтобы не отстать отъ нея. Они одновременно прибѣжали къ цѣли, но Эльфрида крикнула: Дальше, до блага камня! И, обогнавъ его, подлетѣла къ дереву, схватила его руками и крикнула: Я первая!

Волосы у нея растрепались отъ вѣтра, шапочку она бросила, такъ какъ



она плохо держалась. Она весело взглянула на Питта, тяжело перевела духъ и сказала безъ всякой связи съ предыдущимъ:

— А знаете, я вчера, думая о васъ, мысленно назвала васъ „овцой!“

Черезъ полчаса они сидѣли на маленькой крестьянской фермѣ, подъ низкими деревьями. Движеніе развеселило Эльфриду, она стала общительнѣе, отбросила свою прежнюю серьезность и отвѣчала уже не такъ дѣловито и обстоятельно на его мнѣнія и заявленія, что его раньше очень сердило. Она рассказала ему пропасть разнѣхъ исторій, не стѣсняясь, какъ онѣ приходили ей въ голову, рассказала о своемъ дѣтствѣ, о сестрѣ и братѣ, и, наконецъ, объ урокахъ. Она все еще брала уроки по разнымъ предметамъ, особенно по математикѣ, которую очень любила. Ея учителя математики зовутъ господинъ Кеннеке, Питтъ непременно долженъ съ нимъ познакомиться, потому что онъ очень забавный.

— Раньше онъ училъ меня ариметикѣ и приходилъ всегда послѣ обѣда. Я его очень любила, но только все время сердила, иначе никакъ нельзя было. А Гаральдъ, мой братъ,—онъ теперь въ пансіонѣ, и это его костюмъ — тоже былъ въ заговорѣ: онъ отправлялся въ прихожую и поливалъ шляпу и пальто господина Кеннеке изъ цвѣточной лейки. Послѣ урока я шла вмѣстѣ съ нимъ внизъ, господинъ Кеннеке одѣвался, чувствовалъ, что пальто его мокро, и говорилъ: „Это прямо удивительно! Я и не зналъ, что шель дождь“. Потомъ онъ бралъ дождевой зонтъ,—а Гаральдъ забрызгалъ намочить его!—и предлагалъ мнѣ высказаться, что я объ этомъ думаю. Я стояла, сконфуженная, а онъ уже самъ соображалъ, въ чемъ дѣло, и объяснялъ мнѣ: зонтъ, говорилъ онъ,—должно быть, остался здѣсь съ прошлаго раза, другого объясненія подыскать невозможно!

Она весело и безудержно расхохоталась при этомъ воспоминаніи дѣтскимъ, серебристымъ смѣхомъ, и Питтъ посмотрѣлъ на нее, преисполненный глубокой радости. И, когда она стала рассказывать дальше, онъ почти не слушалъ словъ, а только смотрѣлъ на ея ротъ, на поздри, тихонько шевелившіяся вмѣстѣ съ губами, въ ея свѣтлые глаза, уголки которыхъ по временамъ весело щурились, и потомъ ждалъ, примутъ ли участіе въ разговорѣ и ея руки, стройные пальцы, такіе твердые и красивые, и такъ проникся всѣми ея движеніями, что разъ даже нечаянно поднялъ вмѣстѣ съ нею руку.

— Ну, а теперь расскажите и вы мнѣ что-нибудь про себя!—сказала она, наконецъ, подвигая ему тарелку съ послѣднимъ кускомъ пирожного.— Я вамъ такъ много рассказала про себя.

— Про себя?—спросилъ онъ, и, помолчавъ, прибавилъ:—Это не подошло бы ко всѣмъ милымъ вещамъ, которыя вы мнѣ только что рассказали. Мои воспоминанія похожи на безцвѣтную массу въ ведрѣ, и, когда я черпаю изъ

него, то не нахожу въ немъ ничего твердаго, опредѣленнаго, и мнѣ только противно.

— Но, вѣдь, это должно быть ужасно!—сказала она и испуганно взглянула на него.—Развѣ вы никогда не любили ни одного человѣка?

Онъ подумалъ, что отвѣтить на это, такъ какъ все, что онъ могъ бы сказать, казалось ему глупымъ. Она вдругъ почувствовала, что вопросъ ея чрезчуръ интименъ.

— У васъ есть братъ?—спросилъ Питтъ, желая отвлечь разговоръ отъ себя,—похожъ онъ на васъ?

Она горделиво кивнула, такъ какъ очень любила Гаральда.

— Раньше онъ постоянно придумывалъ разныя безумныя выходки, и дома съ нимъ никто не могъ справиться. Сначала онъ еще боялся Гедвиги, но потомъ между ними произошла ужасная сцена. Теперь его нѣтъ, но когда онъ прѣбываетъ домой, все идетъ чудесно.

Питтъ взглянулъ на ея костюмъ, и представленіе, что онъ видитъ передъ собой мальчика, ея брата, стало вдругъ такъ сильно, что онъ быстро вскинулъ голову и спросилъ:

— У него, должно быть, острые рѣзцы? Такъ онъ мнѣ представляется.

Она съ изумленіемъ посмотрѣла на него и подтвердила:

— Больше ни у кого изъ насъ нѣтъ такихъ зубовъ!—Послушайте!—оборвала она свои слова и подняла палецъ. Какъ разъ надъ ними зачирикала птичка.

— Это дроздъ?—спросилъ Питтъ. Въ сущности, онъ зналъ только воробьевъ и думалъ этимъ опредѣленіемъ проявить свои познанія въ естественной исторіи.

Она покачала головой:

— Зябликъ, а не дроздъ! Смотрите, вонъ онъ сидитъ!—Она наклонилась впередъ и осторожно взглянула вверхъ. Птичка еще разъ бросила въ воздухъ каскадъ серебристыхъ потоковъ, отъ которыхъ топорщились тонкія перышки на ея горлѣ, потомъ съ любопытствомъ опустила головку, недовѣрчиво покосилась внизъ, нерѣшительно помялась съ минутою на вѣткѣ и улетѣла. Питтъ благосклонно посмотрѣлъ ей вслѣдъ.

Солнце бросало теперь косые лучи сквозь стволы деревьевъ.

— Намъ пора,—сказала Эльфрида,—а то мы вернемся слишкомъ поздно. Дорогой ей опять вспомнилось то, о чемъ они говорили, и она еще разъ спросила его, откуда онъ знаетъ про острые рѣзцы ея брата.

Онъ засмѣялся:—Просто, мнѣ такъ представилось, могло, вѣдь, оказаться и не такъ.

Она нашла это очень страннымъ.

— Точно такъ же,—сказалъ онъ, помолчавъ,—я сейчасъ подумалъ, и

миѣ представилось, самъ не знаю, почему, что ваше рожденіе непременно въ февралѣ.

Она остановилась:

— Ну, это вамъ кто-нибудь сказалъ! Сами вы не могли это узнать!

Онъ засмѣялся, потѣшаясь надъ ея увѣренностью, покачалъ головой, и она должна была ему, наконецъ, повѣрить. Послѣ этого она почувствовала къ нему нѣчто вродѣ уваженія.

Они подошли къ экипажу, дожидавшемуся у опушки, и поѣхали обратно въ городъ.

— Вѣдь, вы пойдете къ намъ ужинать?—И такъ какъ онъ медлилъ съ отвѣтомъ, она настойчиво продолжала:—Непременно! Вѣдь, васъ ждутъ!

— Ждутъ?—переспросилъ онъ.—Это звучитъ отвратительно.

Она не поняла и сказала, что это самое общеупотребительное слово.

— Я нахожу,—настаивалъ онъ,—что оно звучитъ ужасно: напоминает о приготовленіяхъ, рукопожатіяхъ, поклонахъ.

Впрочемъ, опасенія его не соответствовали дѣйствительности. Госпожа вапъ-Лоо не подозрѣвала, что Эльфрида отправилась гулять съ Питтомъ и вовсе не ждала его къ ужину. Эльфрида утромъ рассказала ей о своемъ знакомствѣ съ Питтомъ, она молча выслушала ее, потомъ сказала:

— Пусть онъ какъ-нибудь придетъ пить чай, мы его тогда осмотримъ.

Основываясь на этихъ словахъ, Эльфрида подумала, что она можетъ сейчасъ же привести его къ ужину.

— Я сію минуту вернусь!—тихонько сказала она Питту, когда они уже стояли въ прихожей ея дома,—только сбѣгаю наверхъ и поскорѣе переодѣнусь. Мама не должна знать, что я ходила съ вами гулять въ костюмѣ Гаральда, а если объ этомъ узнаетъ Гедвига,—такъ разговору будетъ на цѣлую недѣлю. Ступайте въ рояльную комнату, тамъ вы будете одни!

И не успѣлъ онъ спросить, гдѣ рояльная комната, какъ она уже взбѣжала по лѣстницѣ наверхъ. Онъ стоялъ, поочередно смотря на разныя двери, и, наконецъ, рѣшилъ:

— Войду сюда.

У большой лампы, завѣшенной темнокрасной матеріей, отбрасывавшей свѣтъ внизъ, сидѣла представительная дама съ молодежавымъ красивымъ лицомъ и блестящими, пышными серебряными волосами. Она медленно повернула къ нему голову отъ книги.

Питтъ не могъ отступить.—„Слава Богу, что нѣтъ отца“,—быстро мелькнуло въ его головѣ.

Въ адресъ-календарѣ онъ прочиталъ, что она—вдова крупнаго коммерсанта. Медленно онъ подошелъ ближе и остановился, отвѣсивъ неловкій по-

клонъ. Дама чуть-чуть приподняла брови, не измѣняя позы, и сказала съ умѣреннымъ удивленіемъ, спокойнымъ, увѣреннымъ голосомъ:

— Кто вы и какъ вы сюда попали?

Питтъ назвалъ свое имя; госпожа ванъ-Лоо, видимо, припоминала что-то, потомъ перевела взглядъ на него и сказала:

— Ахъ, такъ это вы вчера гуляли съ моей дочерью?—И посмотрѣла на него какъ будто хотѣла сказать: Вѣроятно, вы и сами находите это немножко забавнымъ.

— Сегодня тоже,—сказалъ Питтъ.

— Ахъ, и сегодня тоже?—Объ этомъ Эльфрида мнѣ ничего не сказала, подумала она, указывая ему на стулъ, и сказала съ почти наивнымъ дружескимъ:

— Что вы, собственно, за человѣкъ?—При этомъ взглянула безъ особой озабоченности на его лицо, показавшееся ей лицомъ преждевременно созрѣвашаго, нѣсколько меланхоличнаго ребенка.

Но прежде, чѣмъ онъ успѣлъ что-нибудь отвѣтить, дверь распахнулась, и вошла Эльфрида, все еще въ мужскомъ костюмѣ.

— Я хотѣла было пересидѣться, но теперь нахожу глупымъ не сказать тебѣ, что я ходила въ костюмъ Гаральда. На мнѣ былъ еще длинный плащъ!

Госпожа ванъ-Лоо помолчала немножко, смѣрила ее взглядомъ и проговорила:

— Не скрывается ли за этой откровенностью немножечко тщеславія?—Потомъ отпустила ее, небрежно и ласково ударивъ кончиками пальцевъ.

Эльфрида опять удалилась, и какъ разъ, когда госпожа ванъ-Лоо хотѣла возобновить разговоръ съ Питтомъ, за дверью послышался громкій женскій голосъ, звучавшій необыкновенно увѣренно, какъ будто обладательница его привыкла говорить и знала, что къ словамъ ея прислушиваются. Вошла Гедвига, та самая Гедвига, которую Питтъ мелькомъ видѣлъ въ первый день, и о которой Эльфрида рассказывала, что у нея произошла ужасная сцена съ Гаральдомъ. Питта представили, она мгновенно узнала его, видимо, была поражена, холодно кивнула головой и сказала:

—Такъ значить это съ вами моя сестра изволила гулять въ такомъ видѣ?—И быстро наговорила своимъ повелительнымъ тономъ множество словъ, противъ которыхъ ничего нельзя было возразить. Тихое настроеніе комнаты измѣнилось при ея входѣ, какъ будто отворили окно. А она еще вдобавокъ повернула на стѣнѣ выключатель, заявивъ, что въ этомъ полуствѣтѣ есть что-то мертвенное, и комната вдругъ озарилась яркимъ свѣтомъ хрустальной люстры.

Всѣ краски стали теперь гораздо жизненнѣе, и Питту показалось, что она сама вдругъ сдѣлалась душою этой комнаты.

— Вѣроятно, вы только что катались верхомъ? — спросилъ онъ черезъ минуту.

— Какъ? — переспросила она, изумленная непосредственнымъ его обращеніемъ, потому что они были почти незнакомы. — Развѣ вы уже видѣли, какъ я ѣзжу верхомъ?

Онъ покачалъ головой.

— Завтра я запасусь веревкой! — обратилась она къ матери, — у Лили нѣтъ ни малѣйшаго чувства привязанности, она бѣжитъ, куда ей вздумается, и точно одержима злымъ духомъ. Вотъ она, эта тварь!

Дверь отворилась, и вмѣстѣ съ Эльфридой, протиснувшись между нею и дверью, въ комнату скользнула короткошерстая бѣленькая собачка. Повертѣвшись на коврѣ, она чихнула, погладила мордочку, потомъ подбѣжала къ госпожѣ ванъ-Лоо, положила лапки на ея платье и стала, не мигая, смотрѣть на нее своими умными, блестящими искрасна-черными глазами. Но Гедвига сказала, что ее нужно прогнать, подошла къ двери и позвала собачку. Та внимательно насторожила уши, спустила лапки и понеслась черезъ комнату. Въ слѣдующую минуту она была вытащена за дверь, и царапанье ея когтей прекратилось только тогда, когда лакей унесъ ее.

— Это злой духъ и мучитель нашего дома, — сказала госпожа ванъ-Лоо, — и если когда-нибудь мы разойдемся, то это произойдетъ изъ за нея. Мы съ Эльфридой ее любимъ, но Гедвига терпѣть не можетъ.

Гедвига стала оправдываться: она можетъ любить только такихъ животныхъ, которыя приносятъ пользу, а фокстерьеры, кромѣ того, прямо отвратительны. — Эльфрида въ это время тихонько говорила съ матерью, такъ что ей пришлось волей-неволей изложить остальныя свои разсужденія Питту, и она остановилась только одинъ разъ, когда его лицо на мгновенье вдругъ совершенно исчезло передъ ней, такъ какъ мать ея снова потушила электричество:

— Мама, что это за шутки?

Но госпожа ванъ-Лоо проговорила своимъ увѣреннымъ, ласковымъ голосомъ:

— Милый другъ, въ домѣ хозяйка — я.

Тѣмъ временемъ Эльфрида по секрету сообщила ей, что велѣла поставить еще приборъ для Питта, потому что нечаянно пригласила его ужинать. Госпожа ванъ-Лоо помолчала, потомъ сказала:

— Эльфрида, списокъ твоихъ прегрѣшеній все растетъ. Ну, да мы еще сосчитаемся съ тобой.

Фридрихъ, лакей, доложилъ, что кушать подано. Гедвига тщетно ждала, что Питтъ удалится хоть теперь. Быстрый взглядъ на столъ въ сосѣдней комнатѣ объяснилъ ей, что онъ приглашенъ ужинать. Никто не сообщилъ

ей объ этомъ; она сочла это не деликатнымъ. Кто такой, вообще, этотъ человѣкъ, такъ внезапно появившійся у нихъ; она даже не знала хорошенько его имени. Какъ познакомилась съ нимъ Эльфрида? Гедвига была достаточно научена опытомъ, чтобы знать, что отъ сестры ей ничего не удастся выпытать. Въ прежніе годы Эльфрида была ей всецѣло подчинена, но съ теченіемъ времени она стала по отношенію къ ней въ сознательную оппозицію, и совершенно страхнула ея вліяніе. Гедвигѣ было тяжело отказаться отъ привычной власти, въ переходный періодъ между ними происходили неистощимыя схватки, но теперь она мало по малу смирилась, и лишь при случаѣ вознаграждала себя за утрату колкостями и особенно разоблаченіями передъ посторонними.

Сейчасъ она находила, что съ ней поступили недостойно, и она сидѣла, оскорбленная и холодная, дѣлая видъ, будто Питта не существуетъ. При этомъ на губахъ ея горѣлъ вопросъ, и, наконецъ, она уже не могла болѣе владѣть собою:

— Гдѣ, собственно, вы познакомились съ моей сестрой?—спросила она черезъ столъ. Тонъ вопроса былъ неожиданнымъ для всѣхъ, онъ звучалъ большимъ раздраженіемъ.

Питтъ мгновенно почувствовалъ себя въ изстари привычномъ фавватерѣ, ему доставляло удовольствіе позлить эту молодую особу, и онъ отвѣтилъ:

— На улицѣ!

Послѣдовала пауза.

— Другими словами: вы увидѣли ее на улицѣ и потомъ просто пришли къ намъ въ домъ?

— Совершенно вѣрно!—подтвердилъ онъ тономъ, какимъ учитель пріѣтствуетъ отвѣтъ ученика, котораго онъ самъ направилъ на вѣрный путь.

— Какой наивный грубіанъ!—подумала госпожа ванъ-Лoo и взглянула на него на половину съ симпатіей, на половину неодобрительно.

— Это въ высшей степени странно!—сказала Гедвига.

— Странно?—спросила Эльфрида, вызываяще поднявъ голову отъ тарелки, —я желала бы знать, что здѣсь страннаго?

— Скажемъ просто,—замѣтила госпожа ванъ-Лoo, бросивъ тихій взглядъ на Гедвигу,—что господинъ Синтрупъ—найденышъ, котораго мы нашли въ нашемъ домѣ.

Но Гедвигу раздражилъ этотъ взглядъ, который она приняла за молчаливое замѣчаніе; она не обратила вниманія на слова матери, видимо, желавшей перемѣнить разговоръ, и спросила съ внезапной безтактностью, иногда прерывавшейся сквозь ея увѣренное свѣтское поведеніе:

— Откуда вы? Кто вашъ отецъ?

Эльфрида рѣзко положила вилку на столъ. Въ эту минуту вошелъ лакей,

и госпожа ванъ-Лоо съ привычной любезностью снасла положеніе. Но настроеніе было нарушено, и Эльфрида была рада, когда ужинъ окончился.

Нѣсколько минутъ она стояла одна съ Питтомъ въ гостиной, а госпожа ванъ-Лоо осталась съ Гедвигой въ столовой. На лицѣ Эльфриды все еще лежали слѣды недавняго жестокаго выраженія. Какъ горячо она за него заступилась! Онъ смотрѣлъ на нее съ нѣжностью и ждалъ, чтобы она заговорила первая. И все же—онъ самъ не зналъ, отчего, сквозь чувство благодарности въ немъ вдругъ мелькнула странная мысль: начнется ли ея первая фраза на „вы“ или на „я“?—Но Эльфрида молчала. И такъ никто изъ нихъ не заговорилъ, пока не вошла госпожа ванъ-Лоо.

— Ну, теперь расскажите мнѣ о вашей прогулкѣ!—сказала она и подошла къ нему какъ разъ въ ту минуту, какъ онъ медленно опустился въ самое удобное кресло. — А я только собралась было сѣсть именно сюда!—замѣтила она дружески-покорнымъ тономъ.

Онъ сейчасъ же всталъ и сказалъ:

— Да, это самое удобное кресло во всей комнатѣ.

Въ сущности, Питту вовсе не хотѣлось рассказывать, но смутно онъ чувствовалъ, что поведеніе его не гармонируетъ съ этой комнатою и съ самой госпожей ванъ-Лоо. Онъ превозмогъ себя и, въ концѣ концовъ, разговорился. Его вдругъ самого заинтересовало испытать, сколько осталось въ немъ изъ пережитыхъ впечатлѣній, и онъ рассказалъ столько мелкихъ подробностей, что Эльфрида въ изумленіи сказала:

—Я думала, что вы этого вовсе не видѣли и не замѣтили.

— Такъ оно и есть, но здѣсь,—онъ указалъ на лобъ,—все таки все складывалось, какъ въ амбарѣ.

Это напомнило Эльфридѣ объ острыхъ зубахъ Гаральда и о ея рожденіи, и она рассказала матери. Госпожа ванъ-Лоо слушала съ чуть скептической улыбкой.

— Хотите видѣть мальчугана? —спросила она и велѣла Эльфридѣ принести ящикъ съ фотографіями.—Вотъ, здѣсь Гаральдъ въ костюмѣ фавна, онъ участвовалъ въ любительскомъ спектаклѣ.

Питтъ съ минуту разсматривалъ фотографію, нашелъ, что она сходится довольно близко съ его представленіемъ, и этимъ его интересъ былъ удовлетворенъ. Онъ увидѣлъ фотографіи Эльфриды, привлекавшія его гораздо больше, и спросилъ, нѣтъ ли луны. Остальныхъ родственниковъ, по которымъ взглядъ его скользилъ бѣгло и разсѣянно, онъ судилъ исключительно по сходству съ Эльфридой, такъ что она сказала, что онъ, очевидно, принимаетъ ее за родоначальницу всей ихъ семьи.

— Неужели вы были такъ сентиментальны? —удивленно спросилъ онъ

поднявъ на нее глаза отъ маленькой карточки, на которой широко раскрытые глаза ея мечтательно смотрѣли вверхъ изъ подъ широкой мягкой шляпы.

Она молча взяла фотографію у него изъ рукъ, разорвала ее пополамъ и бросила въ каминъ.

— Что ты дѣлаешь, Эльфрида!—воскликнула госпожа ванъ-Лео,—такую милую карточку!—и потребовала, чтобы Эльфрида вытащила ее изъ огня, уже успѣвшаго уничтожить ее. Эльфрида съ нѣкоторымъ безпокойствомъ слѣдила за тѣмъ, какая изъ ея фотографій попадетъ въ руки Питта.

— Это Гедвига,—сказала она,—я ни за что не снялась бы въ траурѣ. Вдругъ она захлопнула ящикъ:

— Ну, вы довольно ужъ насмотрѣлись!—проговорила она въ какомъ-то инстинктивномъ порывѣ.

Вскорѣ послѣ этого Питтъ поднялся и сказалъ, что ему пора домой. Госпожа ванъ-Лео тщетно протягивала ему кончики пальцевъ для поцѣлуя и, когда Питтъ началъ обшаривать всю комнату въ поискахъ своей шляпы, оставшейся въ прихожей, о чемъ онъ, наконецъ, вспомнилъ и остановился, она сказала:

— Если вы будете почаще приходить къ намъ, господинъ Синтрупъ, я займусь немножко вашимъ воспитаніемъ, мнѣ кажется, что вы этого стоите!

Для Питта наступили теперь прекрасныя, тихія недѣли. Въ первый разъ въ своей жизни онъ чувствовалъ себя счастливымъ. Повидимому, онъ нашелъ то, чего искалъ: человѣка, съ которымъ его связывала возрастающая симпатія. Въ глубинѣ души онъ рѣшилъ оставаться въ этомъ университетѣ до тѣхъ поръ, пока Эльфрида пробудетъ въ городѣ, а когда она поѣдетъ въ Парижъ, онъ послѣдуетъ за нею. Онъ аккуратно посѣщалъ теперь лекціи и невольно улыбался, вспоминая о томъ, какъ онъ занимался тамъ въ первыя недѣли. Тогда онъ садился на послѣднюю скамейку, изучалъ спины всѣхъ сидящихъ впереди и вносилъ краткія замѣтки объ нихъ въ записную книжку, а въ перемѣны ходилъ по аудиторіи и внимательно вглядывался въ лица, въ постоянной надеждѣ найти человѣка, который былъ бы непохожъ на другихъ. Теперь все это кончилось, товарищи его больше не интересовали: онъ чувствовалъ себя удовлетвореннымъ общеніемъ съ Эльфридой.

Онъ много читалъ. Однажды въ читальнѣ бібліотеки ему случайно попало въ руки сочиненіе по философіи. Онъ долго читалъ его, стоя, потомъ осторожно поставилъ книгу на мѣсто, замѣтилъ ее, отъ этого сочиненія перешелъ къ другимъ, и такъ мало по малу углубился въ міръ, показавшійся ему родственнымъ. Такимъ образомъ вышло, что онъ сталъ слушать лекціи по философіи, а юридическія постепенно совсѣмъ забросилъ, не оставляя, однако, намѣренія сдѣлаться юристомъ.

Гедвига примирилась съ его существованіемъ, тѣмъ болѣе, что слѣды



воспитанія госпожи ванъ-Лоо сказывались на немъ самымъ пріятнымъ образомъ: онъ сталъ одѣваться тщательнѣе подѣ ея руководствомъ и даже неровности и шероховатости его поведенія сгладились. Конечно, оставались еще кое-какіе зацѣпки и сучки, не гармонировавшіе съ остальнымъ, но это зависѣло уже отъ самой Гедвиги, въ распоряженіи которой не было достаточно тонкихъ ножичковъ, чтобы обойти именно эти мѣста.

Домъ ванъ-Лоо превратился для Питта въ какой-то тихій островъ. Въ собственной комнатѣ онъ никогда не чувствовалъ себя такъ хорошо. Тамъ его постоянно охватывало старое безпокойство, и, какъ раньше дома, изъ комнаты въ комнату, такъ здѣсь онъ переѣзжалъ изъ квартиры въ квартиру, не будучи никогда въ состояніи указать, какіе неудобства и недостатки его къ этому побуждали.

— Вамъ не достаетъ домашняго уюта!—говорила госпожа ванъ-Лоо,—около васъ должны быть люди, которые заботились бы о васъ, вы слишкомъ молоды, чтобы жить, какъ старый холостякъ!

Вѣчная измѣнчивость его внѣшняго существованія отражалась и на Эльфридѣ. Иногда въ настроеніи его прорывалась разсѣянность, полное отсутствіе мыслей: она объясняла это его постоянно измѣняющимся, неопредѣленнымъ положеніемъ. У нея мелькала мысль, не могъ ли бы онъ поселиться у нихъ, но она сейчасъ же говорила себѣ, что ни мать, ни Гедвига не согласятся на это. Тогда она придумала нѣчто весьма своеобразное.

Господинъ Кеннеке сидѣлъ въ своемъ скромномъ домикѣ за ужиномъ. Похлебка была уже съѣдена, картофель въ мундирѣ—мягкій, рассыпчатый, именно такой, какой онъ любилъ—пахнулъ превосходно, пиво казалось еще свѣжѣе, еще болѣе пѣнистымъ, чѣмъ всегда, и господину Кеннеке хотѣлось сказать своей кузинѣ, которая вела его хозяйство: „Зельма, неужели ты думаешь, что богатые счастливѣе насъ?“ Но онъ не могъ рѣшиться на это: его мучило, что благодаря его добродушному полуобѣщанію, эта уютная жизнь вдвоемъ можетъ нарушиться. Но сказать нужно было. Онъ задумчиво посасывалъ сигару и, наконецъ, заговорилъ:

— Зельма, какъ ты думаешь, не сдать ли намъ одну комнату?

— Тебѣ не достаетъ какихъ-нибудь удобствъ?—спросила она—ты думаешь, что можешь получить ихъ при нѣкоторомъ побочномъ заработкѣ? Тебѣ не хватаетъ твоего содержанія? И того, что я прирабатываю трудомъ своихъ рукъ? О, Вильгельмъ, я готова еще больше работать, чѣмъ теперь.—то есть, что, собственно, я дѣлаю? Я живу, какъ принцесса! Сколько на свѣтѣ людей, не имѣющихъ рѣшительно ничего? А у меня есть ты, ты мой единственный, мой любимый!

Господинъ Кеннеке покраснѣлъ:

— Зельма, если бы тебя кто-нибудь услышалъ, у него могли бы зародиться нечистыя мысли. Я-то знаю, что ты при этомъ не думаешь ничего дурного, но, право, ты иногда употребляешь такія странныя выраженія...

Тотчасъ же лобъ ея залилъ густой румянецъ, котораго онъ такъ боялся.

— Если бы я была тебѣ близка — сказала она страстно, и глаза ея стали влажны, — ты не могъ бы говорить такъ. Каждое мое теплое слово доставляло бы тебѣ радость. Отъ любви я, вѣдь, отказалась — ты знаешь, что я была помолвлена, и что онъ умеръ — но если даже ближайшіе родственники оскорбляютъ и проявляютъ жестокосердіе, когда у нихъ прошишь только немного тепла... — она сжала губы и изъ глазъ ея полились слезы.

Онъ всталъ и хотѣлъ положить ей руку на плечо. Она оттолкнула ее.

— Состраданія я не желаю! Если любовь идетъ не отъ сердца, если не сходишься въ одномъ и томъ же чувствѣ... — она рвала носовой платокъ и говорила горячо, вполголоса: — Лучше въ могилу, пусть захлопнуть крышку, набросаютъ земли, притопчутъ хорошенько, слава Богу, что умерла, готово!

Не въ первый разъ уже фрейлейнъ Ниппе говорила такъ. Господинъ Кеннеке каждый разъ приходилъ въ безпомощное смущеніе, такъ какъ совершенно не зналъ, что на это сказать. Это всегда проявлялось у нея внезапно и почти всегда, когда онъ всего меньше ожидалъ этого. Теперь онъ откашлялся тихонько, чувствуя себя несчастнымъ.

— Если бы я только знала, — проговорила она черезъ минуту, спокойно, — что я могу сдѣлать для того, чтобы ты былъ счастливъ! Вѣдь, я для того, чтобы осчастливить другихъ, готова сорвать съ себя послѣднюю рубашку — послѣднюю рубашку, — повторила она, уставившись въ уголъ и, видимо, мысленно созерцая себя за этимъ занятіемъ. — Но я спрашиваю: къ чему все это, если тебя даже не признаютъ, если тебя за это забрасываютъ камнями? А камни на голое тѣло — прибавила она — еще больнѣе, чѣмъ на одѣтое!

Но тутъ заговорилъ господинъ Кеннеке: онъ согласенъ, что жизнь жестоко обошлась съ ней, онъ знаетъ, что она ангельски добра, онъ питаетъ къ ней величайшую благодарность, но — и онъ жалостно возвысилъ голосъ:

— Не могу же изо дня въ день повторять это на словахъ! Я не такой. Развѣ я когда-нибудь сказалъ тебѣ хоть одно рѣзкое слово?

Она подошла къ нему, опустилась передъ нимъ на полъ и сжала его колѣни, такъ что онъ въ смущеніи поднялъ и высвободилъ сначала одну, потомъ другую ногу. Вдругъ она вскочила, сѣла на стулъ у стола, сложила руки и посмотрѣла на него сіяющимъ взоромъ:

— А теперь скажи мнѣ, восторгъ мой, что ты придумалъ насчетъ комнаты.

Онъ хотѣлъ было сначала опротестовать „восторгъ“, но раздумалъ, и рассказалъ ей свиданіи о съ Эльфридой ванъ-Лео, прибавивъ, что господинъ Синтрупъ придетъ завтра, чтобы осмотрѣть комнату.

— И съ этимъ то простымъ дѣломъ ты такъ долго медлилъ? Чудакъ! Уклоняешься въ сторону, вмѣсто того, чтобы оставаться при дѣлѣ, говоришь о сотнѣ другихъ вещей и мучаешь меня, а все такъ ясно и просто, я прямо не знаю, что можетъ быть яснѣе! Но большая комната останется такъ, какъ она есть; онъ возьметъ мою комнату, а я переберусь въ свѣтелку. Мнѣ это все равно. Молодые люди должны имѣть удобства. Ахъ, какъ люблю ее, золотую юность!—Она побѣжала въ переднюю и сейчасъ же вернулась, накинувъ на голову дешевенькій розовый шарфъ.—Хорошо ли я надѣла?—спросила она, улыбаясь.

Она хотѣла еще сегодня же сбѣгать къ какой-то теткѣ, у которой стояла часть ея мебели. Онъ попробовалъ было ее отговорить отъ этого, но она только злобно посмотрѣла на него сбоку.

Онъ остался одинъ, сѣлъ въ кресло, подвинулъ его такъ, чтобы оно не качалось, глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Ахъ, Боже мой!

Потомъ подумалъ:

— Хорошо, что она хогъ выходить на воздухъ, бѣдняжка! Постоянно она мучится за другихъ, и она совершенно права: я недостаточно показываю ей, какъ я ее люблю.—Онъ придумалъ сварить къ ея возвращенію кофе, и для этого всталъ, наколотъ дровъ для плиты и зажалъ кофейную мельницу между колѣнъ.

На слѣдующій день оба они сошлись на одномъ: каждый хотѣлъ отказаться отъ своей комнаты и перебраться въ свѣтелку, каждый хотѣлъ сдѣлать получше для другого. Но фрейлейнъ Ниппе побѣдила: стиснувъ зубы и вытаращивъ глаза, она изо всѣхъ силъ толкала его къ порогу. Потомъ загнала его въ его комнату и заперла снаружи.

— Свѣту! Воздуху! И любви!—слышалъ онъ ея возгласы.—Отъ любви я уже отказалась, но теперь я лишюсь и свѣта, и воздуха! Что за ужасная темная дыра!—она ринулась къ окну и распахнула ставни — потомъ продолжала стонать, жалуясь, что судьба избрала именно ее нести всѣ муки міра.

Когда появился Питтъ, комната была уже готова, хотя фрейлейнъ Ниппе еще даже не знала, сдать ли она ее. Господинъ Кеннеке рассказалъ ей, со словъ фрейлейнъ ванъ-Лео, что господину Синтрупу нужно устроить уютную домашнюю обстановку. Поэтому, чтобы хорошенько согрѣть его сердце, она сейчасъ же сказала, что собственное ея жилище — воздушное

ажурное гнѣздышко, куда со всѣхъ сторонъ заглядываетъ солнце, и ея собственная теплота распространяется на окружающихъ: „Вездѣ, гдѣ я появляюсь, со мною вмѣстѣ распространяются уютъ и довольство!

— Удовольствіе уже есть—сказалъ Питтъ серьезно.

— Ну, вѣтъ, видите! А уютность ужъ наладится сама собой!

Питта забавляла эта госпожа, и онъ подумалъ: „Недѣли на двѣ можно попробовать!“—Онъ снялъ комнату.

Послѣ обѣда онъ переѣхалъ. Фрейлейнъ Ниппе на спѣхъ спекла пирогъ и прибила щитъ съ привѣтственными словами къ самой двери. Но гвозди были чересчуръ длинны, и щитъ хлопалъ о дверь, когда Питтъ поднимался по ступенькамъ лѣстницы.

Вначалѣ ему казалось, словно онъ присутствуетъ на представленіи какой-то комедіи. Постепенно онъ узналъ всю исторію жизни своей новой хозяйки; свои рассказы она уснащала сентенціями и неудачными образами, и онъ постоянно вызывалъ ее на такія сентенціи. Но мало по малу она начала повторяться, и тогда она стала ему надоедать. Она же, со своей стороны, никакъ не могла понять, почему дверь его всегда заперта, когда она хочетъ къ нему войти. Все, вѣдь, шло такъ хорошо сначала! Ахъ бурная душа ея всегда рвалась сорвать плодъ въ то время, какъ цвѣтокъ еще не совсѣмъ распустился. Люди такіе странные: они хотятъ, чтобы ихъ отогрѣвали медленно, вмѣсто того, чтобы позволить прижать себя прямо къ сердцу, что было бы всего естественнѣе! Она рѣшила тихонько выжидать и предоставить времени „растопить“ его грубую оболочку.

Питтъ вскорѣ усвоилъ тонъ обоихъ своихъ хозяевъ и часто смѣшивалъ Эльфриду, импровизируя между ними какой-нибудь діалогъ, причемъ ему выяснялись тогда и болѣе скрытыя стороны ихъ характеровъ, на которыя онъ не успѣлъ еще обратить вниманія.

— Я думаю,—говорилъ онъ иногда,—я все таки скоро переѣду; скучно постоянно видѣть одно и то же.

Единственнымъ мѣстомъ, гдѣ онъ чувствовалъ себя, дѣйствительно, хорошо, былъ домъ ванъ-Моо, и, гонимый внутреннимъ безпокойствомъ, онъ являлся туда во всякое время дня, часто не говорилъ ничего, садился въ кресло и слушалъ игру Эльфриды. Вначалѣ она считала его совсѣмъ не музыкальнымъ, потому что онъ часто смѣшивалъ имена величайшихъ композиторовъ. Но тутъ же онъ сравнивалъ произведенія, которыя она играла, и обнаруживалъ такую глубину пониманія, что ея собственное мнѣніе иногда казалось ей невѣрнымъ. Въ началѣ многое изъ того, что онъ говорилъ, казалось ей безумнымъ, нелѣпымъ, и она просто смѣялась надъ его словами. Онъ никогда этимъ не смущался. Тогда она начинала раздумывать надъ тѣмъ, что онъ сказалъ, и, въ концѣ концовъ, ей казалось, что, пожалуй, правъ онъ,

а она неправа. Медленно она перестраивалась на его тонъ и часто, говорила съ другими, она ловила себя на томъ, что высказывала вещи, которыхъ, правда, не слышала отъ него, но которыя, однако, вполне соответствовали его сущности.

Питтъ забылъ все прошлое, и поэтому его особенно испугала открытка отъ отца, въ которой тотъ увѣдомлялъ его о своемъ прїѣздѣ. Онъ прїѣзжалъ въ городъ по дѣламъ и не хотѣлъ упустить случая повидаться съ сыномъ. Питтъ смѣшалъ утренній поѣздъ съ вечернимъ и увидалъ своего отца лишь въ полдень, случайно придя въ свою комнату.

Но раньше господинъ Синтрупъ былъ встрѣченъ длинной привѣтственной рѣчью со стороны фрейлейнъ Ниппе. Господинъ Синтрупъ былъ въ своемъ роскошнѣйшемъ „habitus“ѣ, и сердце ея было мгновенно завоевано.

— Не позволите ли предложить вамъ рюмочку коньяку? Очень стараго, настоящаго?—И прежде, чѣмъ господинъ Синтрупъ успѣлъ отклонить любезное предложеніе, она ринулась изъ комнаты, принесла коньякъ и подала ему рюмку, сдѣлавъ маленькій книксенъ.

— Дѣйствительно, великолѣпный коньякъ!—сказалъ господинъ Синтрупъ и щелкнулъ языкомъ.

Она лукаво улыбнулась и налила вторично, за что онъ назвалъ ее прелестью Гебой. Коньякъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ выдающійся! Онъ чувствовалъ себя нѣсколько утомленнымъ хожденіемъ по дѣламъ, и послѣ нѣкотораго колебанія, предварительно спросивъ „можно“—потянулся самъ къ бутылкѣ за третьей рюмкой.

— Вотъ это человѣкъ, который разумно принимаетъ предложенное отъ сердца! Можетъ быть, онъ вдовецъ?—пронеслось въ ея головѣ. И тотчасъ же къ этому присоединилась другая мысль: не могла ли бы я поступить къ нему экономкой? Какая представительная фигура, какъ прекрасно лежатъ волосы и подстрижена борода! Какіе ясные, честные глаза подъ мужественными, чуть сѣдоватыми бровями! Въ немъ положительно есть что-то, отличающее вдовца, даже что-то пѣтушное! — Подъ „пѣтухомъ“ фрейлейнъ Ниппе представляла себѣ пожилого, но еще моложаваго и пылкаго мужчину, который можетъ выбирать изъ цѣлаго птичника женщинъ.—Питтъ никогда не получалъ изъ дому писемъ, написанныхъ женскимъ почеркомъ; фрейлейнъ Ниппе знала это, потому что она знала все.—Какъ поживаетъ ваша супруга?—спросила она, однако, для большей увѣренности. И ее кольнуло въ сердце, когда она услышала, что она здорова, что она, стало быть, существуетъ. Но несмотря на это,—тѣмъ безкорыстнѣе это было съ ея стороны—она наговорила ему самыхъ лестныхъ комплиментовъ, которые онъ выслушалъ съ нѣсколько покровительственнымъ, но не скучающимъ видомъ. Питтъ все не приходилъ.—Онъ раза два взглянулъ на часы—навѣрно, какой-

нибудь милый сувениръ? И какіе дорогіе часы! Господинъ Синтрупъ всталъ. Онъ не понималъ, какъ это его сына нѣтъ, называлъ его неделикатнымъ и заявилъ, что онъ не удивится, если онъ придетъ въ гостиницу только къ ужину. При этихъ словахъ въ сердцѣ фрейлейнъ Ниппе шевельнулось что-то сладостное, но она только вздохнула украдкой, спросила названіе гостиницы — самая первоклассная, самая дорогая — и сладостное зашевелилось сильнѣе.

Вотъ онъ идетъ! Я слышу, какъ гремитъ ключъ въ двери корридора! — вдругъ сказала она, и когда Питтъ появился, она сейчасъ же тактично удалилась и слушала послѣдующее только изъ-за двери.

— Ахъ! — невольно вскрикнулъ Питтъ, увидѣвъ въ своей комнатѣ гостя.

Послѣ первыхъ привѣтствій господинъ Синтрупъ началъ упрекать Питта за то, что онъ никогда не пишетъ домой, за то, что онъ не пошелъ ни къ кому изъ тѣхъ лицъ, къ которымъ онъ далъ ему рекомендаціи, за то, что онъ такъ часто переѣзжаетъ съ одной квартиры на другую и, наконецъ, за то, что онъ не могъ даже встрѣтить его на вокзалѣ. Питтъ привелъ на все это соотвѣтствующія причины, но господинъ Синтрупъ заявилъ, что всѣ онъ не выдерживаютъ критики. Онъ назвалъ его блуднымъ сыномъ, отъ котораго родители не видятъ никакой радости, а, замѣтивъ на столѣ множество философскихъ книгъ, потребовалъ, чтобы въ будущемъ Питтъ читалъ только юридическія. Питтъ обѣщалъ все, что онъ хотѣлъ, и на этомъ покончился этотъ „отдѣлъ“, какъ выразился господинъ Синтрупъ. Пока отецъ говорилъ, Питтъ удивлялся, откуда это взялась бутылка коньяку, изъ которой онъ то и дѣло, въ разсѣянности, наливалъ рюмку и затѣмъ выпивалъ ее.

— Чортъ возьми! — сказали господинъ Синтрупъ, поднимаясь, чтобы идти обѣдать — фрейлейнъ Ниппе, услышавъ шумъ отодвигаемыхъ стульевъ, сейчасъ же удалась, — что-то у меня отяжелѣли ноги! Боже милостивый! да я выпилъ половину ея коньяка! Старый, французскій коньякъ! Должно быть, еще наслѣдство какое-нибудь! Я долженъ ей отплатить за это. — Онъ вынулъ изъ кошелька золотой, бросилъ его на столъ и сказалъ, чтобы Питтъ купилъ у нея всю бутылку, цѣна будетъ хорошая.

— Это не годится, — сказалъ Питтъ.

Господинъ Синтрупъ подумалъ: Все таки дама! Онъ вспомнилъ, какіе у нея сдѣлались глаза, когда онъ говорилъ объ ужинѣ въ гостиницѣ и сказалъ Питту:

— Я могу отблагодарить ее ужиномъ въ гостиницѣ. Кстати, это будетъ и доброе дѣло, не мѣшаетъ ее подкормить немножко, она адски худая. Особого интереса въ ней, правда, нѣтъ, но все таки у нея довольно милыя манеры.

Питтъ былъ съ нимъ совершенно согласенъ; при такой комбинаціи ему не нужно быть цѣлый вечеръ одному съ отцомъ. Позвали фрейлейнъ Нише, она приняла приглашеніе, сіяя отъ благодарности, и господинъ Синтрупъ сдѣлалъ удивленные глаза, когда она поблагодарила и отъ имени своего двоюроднаго брата.—Тѣмъ лучше,—подумалъ Питтъ.

Безконечно долго сидѣли они за обѣдомъ въ рестораціи. Питтъ курилъ одну папиросу за другой, чтобы хоть какъ-нибудь отвлечься. Онъ чувствовалъ себя точно въ изгнаніи, сосланнымъ въ свой родной городъ, отрѣзаннымъ отъ всякой свободы, хотя вопросъ былъ всего въ нѣсколькихъ часахъ. Господинъ Синтрупъ спросилъ его объ его знакомствѣ. Питтъ назвалъ семью ванъ-Лео.

Господинъ Синтрупъ вынулъ сигару изъ рта:

— Амстердамскіе ванъ-Лео? Часто ты тамъ бываешь?

— Каждый день.

— У нихъ есть дочь?

— Развѣ ты знаешь эту семью?—спросилъ въ свою очередь Питтъ.

— Еще бы! не лично, разумѣется. — Онъ бросилъ на Питта лукавый взглядъ.—Да, братъ, изъ этого можетъ выйти что-нибудь хорошее! Ты долженъ только хорошенько вести дѣло. Какъ ты попалъ къ нимъ?

Семья ванъ-Лео вдругъ представилась Питту въ почти тривиальномъ свѣтѣ. До сихъ поръ у него было такое чувство, какъ будто она существуетъ исключительно для него. Теперь же онъ узналъ, что фамилія эта принадлежитъ „всемирно извѣстной фирмѣ“.

— Ты держись за эту семью! — продолжалъ отецъ, — это марксъ серьезная. Правда, прямого отношенія къ фирмѣ она теперь уже не имѣетъ, но пользу изъ нея извлекаетъ до сихъ поръ огромную. Вотъ, это мнѣ нравится. И много у тебя еще такихъ?—Такъ спрашивалъ господинъ Синтрупъ, и глаза его загорались одушевленіемъ.

Питтъ подумалъ:

— Вотъ, точь въ точь такимъ будетъ со временемъ и Фокусъ!

И, словно бы духъ Фокса незримо парилъ въ комнатѣ, господинъ Синтрупъ продолжалъ:

— Непремѣнно надо рассказать это Фокусу! Это произведетъ на него впечатлѣніе! Кстати: а не можетъ она поужинать съ нами сегодня вечеромъ? Надо бы, пожалуй, сдѣлать раньше визитъ матери? Это было бы чудесно!

Питтъ покраснѣлъ и сказалъ:

— Ни въ какомъ случаѣ!

Отецъ понялъ это превратно, лукаво погрозилъ ему пальцемъ и прервалъ:

— Noli turbare corculos meos—это единственное, что я помню изъ латинскаго!

Потомъ оба замолчали, и господинъ Синтрупъ, который уже и раньше по временамъ казался разсѣяннымъ—Питтъ приписывалъ это большому количеству коньячныхъ рюмокъ—сказалъ, какъ бы принявъ какое-то рѣшеніе:

— Ну, если хочешь, можешь теперь пойти куда-нибудь—мнѣ еще надо написать нѣсколько дѣловыхъ писемъ, а потомъ я прилягу отдохнуть,

Онъ вынулъ дорожную ручку и нѣсколько листовъ почтовой бумаги, Питтъ обрадовался, что освободился до вечера.

На улицѣ онъ вздохнулъ съ облегченіемъ. Онъ хотѣлъ сейчасъ же пойти къ Эльфридѣ, ему казалось, что онъ не былъ у нея много недѣль.

Думая объ отцѣ, онъ вдругъ остановился посреди площади; оглянувшись на ресторанъ и, съ полусмутной мыслью, онъ самъ не зная, какъ мелькнувшей въ его головѣ, быстро пошелъ назадъ и осторожно заглянулъ въ окно. Господинъ Синтрупъ сидѣлъ за другимъ столомъ, возлѣ дамы, которую Питтъ замѣтилъ уже раньше, но не обратилъ особаго вниманія. Глаза ея не безъ благосклонности были устремлены на господина Синтрупа, она изрѣдка отвѣчала ему, и, наконецъ, Питтъ увидѣлъ, какъ сначала его отецъ, потомъ дама, вынули часы, и какъ она свѣрила свои съ его часами. Потомъ господинъ Синтрупъ тихонько положилъ палецъ на ея руку и ласково заглянулъ ей въ глаза.

Питтъ отвернулся отъ окна и зашагалъ опять черезъ площадь. Никогда не былъ онъ крѣпко связанъ со своей семьей, но теперь ему показалось, какъ будто въ старой, знакомой комнатѣ выломали стѣну, и образовалась новая комната, только на половину старая, въ которой осматриваешься съ чувствомъ отчужденія и внутреннего холода.

— Въ сущности, я долженъ бы возмутиться,—думалъ онъ. Но въ немъ не возникало никакого похожаго на это чувства, отецъ представлялся ему даже достойнымъ сожалѣнія. Подобныя переживанія, во всякомъ случаѣ, являлись свѣтлыми точками въ его трудовой, неинтересной жизни. Часто ли появлялись такіе свѣтлые точки? Заканчивалась ли большая часть его дѣловыхъ поѣздокъ такимъ человѣческимъ образомъ? И знаетъ ли его жена, мать Питта, объ этихъ переживаніяхъ?—Онъ сдѣлалъ движеніе, какъ бы желая стряхнуть съ себя всѣ впечатлѣнія утра, и громче обыкновеннаго позвонилъ у дверей ванъ-Лоо, такъ что лакей Фридрихъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

Его встрѣтила госпожа ванъ Лоо.

— Какъ хорошо, что вы пришли! Послушайте! Эльфрида учитъ свой этюдъ, она играетъ его сейчасъ въ двадцать седьмой разъ, и въ немъ есть аккордъ—въ ту же минуту послышался рѣзкій диссонансъ—она заткнула уши и потомъ спросила:—еще не кончилось?—Затѣмъ медленно подошла къ двери, отворила ее и крикнула Эльфридѣ, что къ ней пришли гости.



— Да!—отозвалась Эльфрида, но голосъ ея звучалъ разсѣянно. Госпожа ванъ-Лоо вышла изъ комнаты.

Питтъ подошелъ къ Эльфридѣ и взялъ ее за обѣ руки.

— Что съ вами?—изумленно спросила она.

— Пойдемте погулять со мною — только на одинъ часъ!—Эльфрида почти не слушала, щеки ея разгорѣлись, и мысли вращались около этажа.

— Ни въ какомъ случаѣ!—заявила она,—у меня какъ разъ такое чудесное настроеніе для работы,—и я еще добьюсь,—прибавила она, снова обращаясь къ роялю.

— Вы должны непремѣнно пойти со мною! — рѣзко сказалъ Питтъ,— иначе я просто не выдержу! И если вы не согласитесь, я никогда больше не приду къ вамъ, потому что тогда я буду знать, что вы ни во что не цѣните мою дружбу.

Эльфрида взглянула на него въ крайнемъ изумленіи: неужели Питтъ Синтрупъ можетъ говорить такъ горячо? Она согласилась, какъ бы считая, что это въ порядкѣ вещей, и только теперь подумала, что, вѣроятно, настроеніе его находится въ связи со свиданіемъ съ отцомъ.

Госпожа ванъ-Лоо очень обрадовалась, узнавъ, что Эльфрида уходитъ. Утомленная музыкой, она прилегла отдохнуть. Голова ея съ пышными серебряными волосами и полными щеками, на которыхъ играли двѣ ямочки, нѣжась, выглядывала изъ подъ мягкихъ одѣялъ и мѣховъ, и, не мѣняя положенія, она устремила глаза на Эльфриду и проговорила:

—Знаешь, что мнѣ сейчасъ приснилось? Будто Гаральдъ дома и надѣлъ мнѣ на голову вѣнокъ изъ вишенъ. Какія у него всегда красивыя идеи.

Питтъ шелъ рядомъ съ Эльфридой. Вечерній воздухъ былъ мягокъ и прозраченъ, тучи, бывшія днемъ, разсѣялись, и небо стало чистое, блѣдно-голубое и глубокое, такое глубокое, что можно было безконечно далеко смотрѣть въ него, и тогда видны были маленькія черныя точки, двигавшіяся взадъ и впередъ: это летали въ вышинѣ птицы. Питтъ не смотрѣлъ на небо. Глаза его были устремлены только на верхушки тополей, которыя, казалось, тихонько шевелились, хотя вѣтра не было. На нихъ лежалъ золотой отблескъ вечерняго солнца. Онъ любилъ солнце только вечеромъ, а изъ всѣхъ деревьевъ любилъ только тополя, съ ихъ крѣпкими, воздушными, недоступными сучьями, эти деревья, видъ которыхъ уводитъ мысль далеко отъ людей и отъ всего. Онъ былъ въ спокойномъ, радостномъ настроеніи.

— Еслибы жизнь была всегда такою, какъ въ эту минуту,—сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія,—какъ было бы чудесно! Но этого нельзя высказывать, сейчасъ же все дѣлается такимъ пошлымъ.

— Когда я слышу отъ васъ такія слова,—отвѣтила Эльфрида,—я не

понимаю васъ. Мнѣ кажется прекраснымъ высказать что-либо подобное. Если все время молчать, то никогда не узнаешь, что происходитъ въ душѣ другого. А вы и такъ достаточно мало высказываете! А мнѣ пріятно чувствовать, когда я доставляю кому-нибудь удовольствіе.

Они замолчали, и Эльфридѣ казалось, будто она давно-давно знаетъ Питта, и будто они очень-очень хорошіе друзья.

— Знаете, — сказалъ онъ, немного погодя, — отцу моему пришло въ голову пригласить васъ на сегодняшній вечеръ.

Сначала она удивилась, потомъ рѣшительно сказала:

— Я пойду.

Онъ подумалъ, что это не серьезно, но она настаивала.

— Мнѣ, вѣдь, интересно познакомиться съ человѣкомъ, который вамъ такъ близокъ! Все равно, есть между вами душевная близость или нѣтъ.

Домой она протелефонируетъ, что пошла въ театръ — вѣдь, ужинъ продлится не такъ ужъ долго, — а завтра, или когда-нибудь въ другой разъ разскажетъ матери правду, только и всего.

— Я вамъ, можетъ быть, перестану нравиться, когда вы познакомитесь съ моимъ отцомъ!

— Наоборотъ, если увижу между вами разницу!

Онъ покорился.

— Имѣете ли вы, сударыня, удовольствіе отъ общенія съ отпрыскомъ моего скромнаго рода?—спросилъ господинъ Синтрупъ, щелкнувъ для привѣтствія каблуками, при чемъ Эльфрида отвѣсила глубокий, почтительный реверансъ. И онъ распространился о томъ, насколько это выраженіе умѣстно по отношенію къ „всемирно извѣстной“ фирмѣ ванъ-Лоо. Эльфридѣ хотѣлось смѣяться, такимъ чуждымъ и забавнымъ казался ей этотъ человѣкъ, говорившій съ ней подобострастнымъ, почти благоговѣйнымъ тономъ. Неужели это отецъ Питта? Онъ устремилъ на нее прямой и простодушный взглядъ, не измѣняя своей почтительной позы. Она хотѣла отвѣтить что-нибудь, но не могла ничего придумать и въ смущеніи проговорила:

— Ахъ, да здѣсь и господинъ Кеннеке!

— Да,—воскликнулъ Питтъ,—и фрейлейнъ Ниппе тоже будетъ!

— Да, да, — подтвердилъ господинъ Синтрупъ, — скромный ужинъ, совсѣмъ скромный, простенькій ужинъ,—и позвонилъ кельнеру, чтобы тотъ подалъ еще приборъ.

Господинъ Кеннеке, скромно отошедшій къ гардинѣ, выступилъ теперь впередъ, вытеръ руки—онъ нѣсколько вспотѣлъ отъ предварительной бесѣды съ господиномъ Синтрупомъ—и поздоровался съ Эльфридой рыцарскимъ поклономъ. Кузина дома усиленно внушала ему, чтобы онъ велъ себя по возможности, какъ свѣтскій человѣкъ и „позабылъ о трудовомъ учительскомъ хлѣбѣ“.

— Господинъ Кеннеке сообщилъ мнѣ, сударыня, что вы надѣлены разно-сторонними талантами, интересуетесь математикой, искусствомъ, науками и совершенствуетесь въ музыкѣ?—И господинъ Синтрупъ пригвоздилъ Эльфриду къ мѣсту, завязавъ продолжительный разговоръ.

Господинъ Кеннеке, помня наставленія кузины, все ждалъ, какъ бы и ему вставить слово въ бесѣду, но такъ и не дождался этой минуты, вродѣ того стараго господина, который, желая прокатиться на карусели, хочетъ вскочить въ пустую коляску, но рѣшается на прыжокъ, когда уже слишкомъ поздно, коляска проѣхала, и ему приходится ждать слѣдующаго круга. Наконецъ, онъ рѣшительно откашлялся и непринужденнымъ тономъ проговорилъ:

— Не правда ли, господинъ директоръ, гимназическое образованіе все же самое основательное; я хочу сказать, самое разностороннее, и если потому заниматься дальше...—онъ не зналъ, какъ кончить.

— Когда же придетъ ваша кузина?—спросила Эльфрида, желая выручить его.

— Она скоро придетъ!—оживленно отвѣтилъ господинъ Кеннеке, какъ будто до сихъ поръ ни о комъ другомъ не говорили, или какъ будто только сейчасъ перешли къ настоящей, интересной темѣ разговора. И, словно слова его были заклинаніемъ, схватившимъ фрейлейнъ Ниппе за волосы, протавившимъ ее по улицѣ и поставившимъ ее у подъѣзда,—дверь растворилась, и фрейлейнъ Ниппе, съ нѣсколько растрепанной прической, появилась на порогѣ. Въ рукахъ ея былъ цѣлый снопъ цвѣтовъ. Улыбаясь, переводила она взглядъ съ одного на другого, какъ бы не зная, кого ей осыпать изъ своего рога изобилія, увидѣла Эльфриду, попросила, чтобы ее представили, обняла ее бережно, въ то время, какъ та брала цвѣтокъ, и хотѣла уже кинуться къ господину Синтрупу, тоже успѣвшему уже взять цвѣтокъ. Но тотъ быстро вдвинулъ между собой и ею стулъ, на который фрейлейнъ Ниппе тотчасъ же опустилась съ нѣжной благодарностью.

Слуга доложилъ, что кушать подано.

— Цвѣтами мы украсимъ столъ, — сказалъ господинъ Кеннеке, — такъ всегда дѣлается въ хорошихъ домахъ.

Господинъ Синтрупъ склонился передъ Эльфридой, предлагая ей, съ почтительнымъ и вмѣстѣ проникновеннымъ взглядомъ, руку. Фрейлейнъ Ниппе быстро поборела нѣкоторое разочарованіе и приблизилась къ Нитту. Тотъ покосился назадъ, на господина Кеннеке, все еще стоявшаго со своими цвѣтами. Она смотрѣла на него съ подкупающей улыбкой и, не успѣвъ онъ опомниться, какъ рука ея уже просунулась подъ его локоть. Господинъ Кеннеке послѣдовалъ за ними.

— Вотъ, это такъ компата! Прелестъ!—сказалъ господинъ Кеннеке, входя

въ небольшой элегантный кабинетъ, на что господинъ Синтрупъ замѣтилъ Эльфридѣ:

— Ну, дома-то вы, вѣрно, привыкли къ другому.—Постепенно онъ оставилъ свое церемонное обращеніе.

Эти вѣчные намеки на богатство — всѣ замѣчанія господина Синтрупа заключали почти исключительно эту суть, въ болѣе или менѣе прикрытомъ или обнаженномъ видѣ—мало по малу начали раздражать Эльфриду, хотя вначалѣ ей было просто смѣшно. Почти безсознательно она изрѣдка бросала взглядъ на Питта, который довольствовался тѣмъ, что строилъ насмѣшливую мину.

Фрейлейнъ Ниппе пожалѣла, что супъ уже налитъ въ тарелки, она съ такимъ удовольствіемъ разлила бы его! Она испытующе обвела глазами столъ и заявила, что ей досталось больше, чѣмъ другимъ, и уже хотѣла было позвонить, но господинъ Синтрупъ, оживленно бесѣдовавшій съ Эльфридой о хлопושкахъ—онѣ непременно должны висѣть на елкѣ, онъ самъ въ свое время сдѣлалъ предложеніе подъ трескъ хлопושекъ—не понявъ хорошенько ея словъ и движенія, отстранилъ ея руку, шутливо прикрикнувъ: пш, пш, пш! и бросилъ на Питта поощрительный взглядъ, какъ бы желая сказать: „Займи же ты эту даму!“ Фрейлейнъ Ниппе чувствовала себя нѣсколько отодвинутой на задній планъ. И все таки: какъ мужественно, весело и безопасно прозвучалъ это его восклицаніе: пш, пш, пш! Правда, утромъ господинъ Синтрупъ былъ значительно любезнѣе, но это совершенно естественно. Сейчасъ возлѣ него сидитъ молоденькая дѣвушка, и онъ слѣдуетъ своей пѣтушиной природѣ! Но развѣ ужъ такъ-таки и совсѣмъ нѣтъ никакихъ шансовъ на то, чтобы она пала къ нему въ экономки?!

Временно она отказалась отъ разговора съ нимъ и обратилась къ Питту, который завелъ съ господиномъ Кеппе бесѣду о преподаваніи вообще и въ частности.

— Что это за рыба?—спросила она, указывая на четырехугольный, покрытый грубой кожей, кусокъ, лежавшій на ея тарелкѣ. Питтъ сдѣлалъ видъ, что не слышалъ, но она потянула его за рукавъ.

— Это форель!

— Какъ интересно!—Она растроганно кивнула, какъ будто онъ сообщилъ ей какой-нибудь секретъ.

— Дуракъ!—крикнулъ господинъ Синтрупъ, отрываясь отъ своего разговора,—это палтусъ. Что ты, въ первый разъ видишь палтуса, что ли? Развѣ ты дома рѣдко ѣдимъ его, а форель такъ, покажу, еще чаще! — Онъ объяснилъ, что поиѣмецки палтусъ называется „Steinbutt“, и что названіе это происходитъ отъ того, что подъ кожей у этой рыбы находятся мелкіе камешки. Онъ предложилъ фрейлейнъ Ниппе изслѣдовать кожу на ея кускѣ,

и та, дѣйствительно, нашла камешки, но сомнѣваясь, не есть ли это новая насмѣшка, больше объ этомъ предметѣ не высказывалась. Господинъ же Кеннеке разсказалъ исторію о томъ, какъ мальчикомъ онъ разъ удилъ рыбу случайно, только потому, что кто-то удилъ рядомъ, и какъ онъ, дѣйствительно, поймалъ рыбу. Но рыбка такъ грустно взмахнула плавниками и такъ скорбно посмотрѣла на него, что онъ поскорѣе возвратилъ ей свободу. Это единственный случай въ его жизни, что онъ позволилъ себѣ мучить животное!

Фрейлейнъ Ниппе нашла этотъ разсказъ неинтереснымъ. Гораздо интереснѣе было бы обсудить вопросъ о томъ, напримѣръ, поетъ ли соловей отъ голода или отъ любви. Она ни за что не повѣритъ, чтобы онъ пѣлъ отъ голода,—тогда бы онъ просто на просто сталъ ѣсть.

— Любовь—тоже голодъ,—машинально вставилъ Питтъ, все время прислушивавшійся къ тому, что говорилъ его отецъ.

— Любовь—несомнѣнно, голодъ!—воскликнула фрейлейнъ Ниппе и отхлебнула чуть не полстакана вина. Потомъ она заговорила о душныхъ лѣтнихъ ночахъ, когда всю ночь безпокойно ворочаешься на постели, такъ что на утро простыня оказывается вся измятой. Поэзія и проза живутъ въ такой тѣсной близости, и днемъ предметы представляются совсѣмъ въ другомъ видѣ, какъ будто смотришь на нихъ сквозь очки изъ бенгальскаго огня!

— Зельма, посмотри-ка!—сказалъ вдругъ господинъ Кеннеке, поднимая на вилкѣ кусокъ ростбифа.

— Что тебѣ?

— Ничего, я просто радуюсь!

— Ахъ, подумать только,—продолжала она, снова обращаясь къ Питту,—что въ то время, какъ мы сейчасъ пируемъ, тысячи людей голодаютъ—и она подробное развила эту тему.—Но вы вдругъ такъ притихли?! Васъ гнететъ горе? Мнѣ вы можете разсказать его, вѣдь, нѣтъ ничего возвышеннѣе, какъ помочь человѣку подняться, ободрить его!

— Можете вы молчать?

— О, какъ могила!

— Ну, такъ помолчите десять минутъ!

Фрейленъ Ниппе это покорило. Но, можетъ быть, ему нужно раньше сосредоточиться для своего разсказа?

Господинъ Синтрупъ тѣмъ временемъ усердно бесѣдовалъ не только со своей дамой, но и съ бутылкой, онъ очень оживился, разсказывалъ желѣзнодорожные анекдоты и перечислялъ всѣ лучшія гостиницы, въ которыхъ когда-либо останавливался. Вездѣ швейцары козыряли ему еще издавѣка, онъ былъ извѣстенъ своей щедростью. Онъ называлъ лучшіе сорта винъ и подчеркнул, что дома у него тоже живутъ хорошо, хотя, конечно, онъ не можетъ себѣ позволить, какъ вельможи въ Ганзейскихъ городахъ, задавать пиры, стою-

ице многихъ тысячъ. Но до многихъ сотенъ — лгалъ онъ,—часто доходило и у насъ. Онъ все меньше стѣснялся въ своихъ преувеличеніяхъ, такъ какъ его слова, повидимому, не такъ дѣйствовали на Эльфриду, какъ ему бы хотѣлось. Питтъ мало принималъ участія въ разговорѣ, ограничиваясь тѣмъ, что съ притворною наивною строилъ отцу мелкіе подвохи, послѣ чего молча взглядывалъ на Эльфриду. Но онъ скучалъ и сердился и, подумавъ, что Эльфрида достаточно уже видѣла и слышала его отца, чтобы составить себѣ вѣрное о немъ сужденіе, рѣшилъ продемонстрировать его тутъ же во всей полнотѣ его характера. Въмѣсто того, чтобы его удержать, онъ наоборотъ, по возможности, самъ его подзадоривалъ хорошенько распахнуться, а чтобы ему это еще облегчить, онъ сталъ сначала слегка, потомъ сильнѣе, подражать его тону, и, въ концѣ концовъ, до точности воспроизводилъ всѣ его манеры, на лицѣ его появилась злобная черточка. Не моргнувъ глазомъ, онъ рассказывалъ самыя невѣроятныя вещи о жизни дома, и господинъ Синтрупъ всякій разъ подтверждалъ его слова, какъ бываетъ при игрѣ въ мячъ, когда пролетающему мимо мячу партнеръ даетъ второй ударъ, чтобы онъ вѣрнѣе долетѣлъ до цѣли. — Наконецъ-то,—думалъ онъ,—этотъ Питтъ начинаетъ понимать, куда я клоню!

Эльфрида прекрасно поняла намѣреніе Питта, но когда онъ до того измѣнилъ весь свой обликъ, что она перестала узнавать его, когда онъ сталъ такъ страшно похожъ на отца—а, вѣдь, онъ и былъ его роднымъ сыномъ—она почувствовала себя одинокой, а къ Питту у нея появилось двойственное отношеніе, прямая, искренняя натура ея всѣми силами противилась тому, что она видѣла, и потому, когда господинъ Синтрупъ обратился за чѣмъ-то къ кельнеру, она шепнула:

— Питтъ, ради Бога... я больше не вынесу этого!

Господинъ Синтрупъ хотѣлъ было продолжать разговоръ, но она обернулась къ господину Кеннеке и попросила его объяснить ей заданную имъ задачу.

Господинъ Кеннеке вытащилъ изъ кармана карандашъ и сталъ искать бумаги, ни за что не соглашаясь нарисовать чертежъ на скатерти. Господинъ Синтрупъ вырвалъ листокъ изъ записной книжки и нагнулся къ Эльфридѣ, чтобы тоже поучиться, какъ онъ сказалъ; Эльфрида отодвинулась въ сторону.

Господинъ Кеннеке проявилъ большую обстоятельность, и голосъ его звучалъ, какъ въ школѣ.

— Гдѣ же квадраты?—спросилъ господинъ Синтрупъ.—Я вижу что-то вродѣ треугольника, а вы все время говорите? а квадратъ.

— Квадратъ—вотъ здѣсь!—сказалъ господинъ Кеннеке и указалъ на какую-то линію.

— Ага. Хорошо, что вы сказали; но я все таки его еще не вижу!

— Да его и нѣтъ, его только представляютъ себѣ въ умѣ!—пояснилъ господинъ Кеннеке.

— Но кто же меня можетъ заставитьъ представить себѣ здѣсь квадратъ? А если я предпочитаю представлять себѣ кругъ, крестъ или черту?

Господинъ Кеннеке неподвижно уставился ему въ глаза:

— Но здѣсь *долженъ* быть квадратъ! — сказалъ онъ, наконецъ, и потомъ медленно и любовно начертилъ его.—Ну, есть теперь, или нѣтъ?—спросилъ онъ, смотря на него съ довольнымъ лицомъ.

— Прекрасное доказательство!—воскликнулъ господинъ Синтрупъ, перечеркнулъ линію и спросилъ:—ну, а теперь есть, или нѣтъ?

— Мнѣ кажется, онъ находится совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ!—сказалъ Питтъ, дѣлая видъ, что ищетъ его на лбу своего отца.

— Каждому приходится нести свой крестъ! — вздохнула фрейлейнъ Ниппе,—а если бы можно было видѣть всѣ мои кресты — я напоминала бы кладбище.

Господинъ Синтрупъ покосился на нее и подумалъ:

— Она очень милая особа, но лучше бы она единственный крестъ, который на ней виденъ, носила не такъ криво!

Господинъ Кеннеке наморщилъ лобъ. Въ классѣ онъ бы сказалъ: „Покорнѣйше прошу не шумѣть!“—Затѣмъ онъ понизилъ голосъ до тона дружескаго сообщенія, провелъ новыя линіи, выписалъ свои уравненія, не обращая вниманія на возгласы господина Синтрупа, который въ шутку все время замѣнялъ слово „квадратъ“ словомъ „крестъ“.

— Этакій болванъ!—думалъ господинъ Синтрупъ,—у меня такъ славно все налаживалось съ нею, а Питтъ, ей Богу, чудесный малый! — Онъ искалъ какой-нибудь новой остроты, но ничего не могъ придумать, почувствовалъ себя вдругъ предоставленнымъ самому себѣ, забарабанилъ пальцами по столу и занялся виномъ.

Фрейлейнъ Ниппе рѣшила, что наступилъ моментъ приблизиться къ господину Синтрupu.

— Эти вещи не для насъ съ вами! — сказала она полу-утвердительно, полу-убѣждающимъ тономъ одинаково настроенныхъ душъ. — Я всю свою жизнь обходилась безъ математики, а у васъ, какъ у коммерсанта, слава Богу, есть болѣе серьезныя и трудныя вещи, надъ которыми вамъ приходится думать. У васъ нѣсколько сыновей?

— Еще одинъ,—отвѣтилъ господинъ Синтрупъ.

— Онъ тоже поступитъ въ университетъ?

— Весьма вѣроятно!—сказалъ господинъ Синтрупъ строго дѣловымъ тономъ, но фрейлейнъ Ниппе услышала въ этихъ словахъ скрытыя ноты.

— Да,—проговорила она,—печально, когда отецъ все расширяетъ свое крупное, процвѣтающее предпріятіе, а подъ конецъ долженъ спрашивать себя: для кого я работалъ? Вѣдь, все перейдетъ въ чужія руки.

— Вѣрно, совершенно вѣрно!

— Стало быть, вашъ огромный домъ будетъ довольно пустыненъ, когда оба ваши сына уѣдутъ; или у васъ есть еще дочери?

— Нѣтъ.—Да, немножко, конечно, будетъ пусто, особенно потому, что жена моя хвораетъ вотъ уже, круглымъ счетомъ, три съ половиной года.

— Ахъ!—фрейлейнъ Ниппе сдѣлала глубоко сочувственное лицо; въ то же время ей показалось, что она однимъ махомъ перешагнула нѣсколько ступенекъ.—Да,—продолжала она,—а потомъ, вести цѣлое большое хозяйство, это, вѣдь, очень утомляетъ; особенно, когда нѣтъ дочерей. Вамъ бы слѣдовало поискать себѣ экономку, чтобы нѣсколько облегчить вашу супругу.

— Я это и сдѣлаю, когда понадобится; это, вѣдь, страшно просто.

— Ну, это не такъ-то ужъ страшно просто!—съ сомнѣніемъ замѣтила фрейлейнъ Ниппе,—для этого нужно воспитаніе сердца, истинное воспитаніе сердца, а это есть у очень немногихъ. Я сама разъ довольно долго вела хозяйство. Боже мой, до чего оно было запущено жестокосердыми женщинами, бывшими до меня!

— Эге-ге!—подумалъ господинъ Синтрупъ, — неужто у этой госпожи какіе-нибудь виды? Неужто она желаетъ виѣдриться, чтобы потомъ, когда жена умретъ, выйти замужъ за мужа?—При этомъ у него мелькнула какая-то другая идея; онъ взглянулъ на часы, но потомъ съ успокоеннымъ видомъ сунулъ ихъ снова въ карманъ.—Нѣтъ, нѣтъ,—сказалъ онъ,—съ меня довольно и того, если экономка не будетъ красть серебряныхъ ложекъ!

Фрейлейнъ Ниппе отшатнулась чуть-чуть назадъ, какъ бы желая уклониться отъ пролетавшей мимо ея носа соринки. А господинъ Синтрупъ продолжалъ:

— Стоитъ мнѣ только помѣстить въ газетахъ объявленіе, и на завтра у меня будетъ вся передняя биткомъ набита!

— Да, но я думаю все таки...—фрейлейнъ Ниппе запнулась.

— Что вы думаете?—спросилъ господинъ Синтрупъ и ухмыльнулся.

Подали десертъ.

— Ну, что же вы тамъ—все еще не готовы? Кто сейчасъ занимается вычисленіями, тотъ останется безъ шампанскаго, это вѣрно!

— Сейчасъ!—отвѣтилъ господинъ Кеннеке, какъ будто господинъ Синтрупъ былъ его начальствомъ.

Господину Синтрупу хотѣлось, чтобы пробка выстрѣлила въ потолокъ.

— Здѣсь это не принято,—шепнулъ кельнеръ.



— Принято или нѣтъ—она должна хлопнуть! Чтобы выстрѣлила!—И господинъ Синтрупъ самъ откупорилъ вторую бутылку.

— Ахъ, Боже мой, до чего же это вкусно! — воскликнулъ господинъ Кеннеке и, когда господинъ Синтрупъ вторично наполнилъ бокалы, онъ спросилъ, позабывшись:

— И мнѣ тоже можно еще?

Господинъ Синтрупъ теперь опять исключительно обращался къ Эльфридѣ. Онъ подмигивалъ то ей, то Питту, и то и дѣло говорилъ:

— Ну, годика черезъ два, навѣрное, намъ придется опять потолковать.

Онъ былъ уже не совсѣмъ трезвъ, намеки его становились все прозрачнѣе, и онъ пожелалъ поцѣловать ея „милую, маленькую ручку“.

— Воздуху! воздуху!—вдругъ воскликнула фрейлейнъ Ниппе — здѣсь прямо задыхаешься!—Она подбѣжала къ окну, распахнула его и стала у гардины.

Господинъ Кеннеке, лишенный возможности доказывать теоремы и чувствуя себя неловко безъ своей кузины, послѣдовалъ за нею подъ предлогомъ затворить окно, какъ только станетъ холодно.

Она съ досадой вперяла взоръ въ ночной мракъ.

— Ахъ, отойди же! — сварливо проговорила она, и онъ въ смущеніи медленно удалился.

Между тѣмъ, господинъ Синтрупъ поспѣшно сказалъ нѣсколько словъ Питту и Эльфридѣ.

— Хотите посмотрѣть, какъ я ее поймаю!—обратился онъ къ нимъ. Опъ всталъ, подошелъ къ фрейлейнъ Ниппе, подаль ей бокалъ и сказалъ:

— А, можетъ быть, вы все таки еще передумаете?

— Какъ такъ?—недовѣрчиво спросила она.

— Ну, я подумалъ, что одного опыта съ завѣдываніемъ чужимъ хозяйствомъ съ васъ достаточно, потому и не сталъ больше спрашивать. Но, еслибы вамъ пришла когда-нибудь охота, такъ объ этомъ дѣлѣ можно переговорить подробнѣе.

Сначала она ничего не могла отвѣтить отъ изумленія и только сказала:

— О, пожалуйста.

Лишь постепенно ей стало ясно все. Какъ страшно невѣрно судила она этого человѣка! Ничего, рѣшительно ничего, то онъ не замѣтилъ! Она вела разговоръ къ тому, къ чему хотѣла, а онъ думаетъ, что это сдѣлалъ онъ! Правда, онъ сказалъ, что не желаетъ имѣть особы, которая стала бы воровать серебряныя ложки, и при этомъ думалъ уже о ней,—нѣтъ, это все таки некрасиво! Но онъ, конечно, не имѣлъ этого въ виду. Просто, изъ духа противорѣчія, чтобы опровергнуть высказанное ею мнѣніе объ идеальной экономкѣ. Мужчины, вѣдь, такъ любятъ противорѣчить! А то, что онъ раз-

хохотался ей прямо въ лицо—Боже мой, ну, это немножко грубоватая наивность, а, можетъ быть, просто, застѣнчивость, смущеніе!—Она протянула ему руку и сказала:

— Не давши слова крѣпись, а давши слово держись!

— О чемъ это ты тамъ уговариваешься съ господиномъ директоромъ?—съ любопытствомъ спросилъ господинъ Кеннеке.

— Я поступаю эконожкой къ господину директору!—отвѣтила она съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія.

Ему показалось, будто онъ упалъ откуда-то съ высоты, и онъ умоляюще посмотрѣлъ на нее.

Она милостиво улыбнулась:

— Когда-нибудь нужно же разстаться. Правда, я сама не думала, что это случится такъ скоро.—Она допила свой бокалъ.

— Ну, будемъ надѣяться, что еще не такъ скоро!—замѣтилъ господинъ Синтруппъ.

Она хотѣла было отвѣтить:

— Надѣюсь все таки, что скоро!—какъ вдругъ вспомнила о его положеніи.

— Конечно,—чувствительно проговорила она,—будемъ надѣяться, что до этого еще долго, очень долго!—Она снова протянула ему руку, словно они только что стали женихомъ и невѣстой, и господинъ Синтруппъ соорудилъ довольную мину.

Господинъ Кеннеке все еще не вышелъ изъ своего оцѣпенѣлаго состоянія: шампанское положительно утратило всякій вкусъ. Питтъ шепнулъ ему, что все это шутки, отецъ самъ сказалъ ему; онъ часто позволяетъ себѣ такія шутки. Господинъ Кеннеке почувствовалъ такое облегченіе, словно съ него сняли желѣзный панцырь, радость жизни охватила его, и онъ сказалъ, не задумываясь:

— Шиллеръ все таки, дѣйствительно, величайшій поэтъ! Правда, я не много смыслю въ литературѣ и рѣдко хожу въ театръ, но всегда, когда даютъ Вильгельма Телля, я думаю: вотъ на эту пьсу я хотѣлъ бы пойти! Я иногда и хожу на Вильгельма Телля и ничего не могу подѣлать: всякій разъ, какъ онъ цѣлится въ яблоко, я думаю: не попадетъ онъ въ него, и убьетъ мальчика. Марію Стюартъ я тоже видѣлъ одинъ разъ, но это мнѣ не такъ понравилось. Я все думаю: къ чему они такъ много разговариваютъ, это, вѣдь, не поможетъ—вѣдь, ее все равно казнятъ!

— Вотъ именно, ты этого не понимаешь!—воскликнула фрейлейнъ Ниппе,—ты не можешь понимать чистой поэзіи! Ахъ, когда она произносить эти слова: „Быстрыя тучки, воздушнаго моря пловцы“...—я каждый разъ такъ плачу, просто рѣкой разливаюсь! Въ вашемъ театрѣ часто ставятъ Шиллера?—обратилась она къ господину Синтруппу.

— О, да! Разбойниковъ, Донъ-Цезаря, Телля—все это ставятъ и у насъ. Фрейлейнъ Ниппе мысленно видѣла уже абонементное кресло и на немъ себя, въ черномъ шелковомъ платьѣ.

— Ты можешь какъ-нибудь пріѣхать къ намъ въ гости—обратилась она къ своему кузену, у котораго снова кольнуло сердце, хотя онъ и зналъ, что все это неправда. Но она вдругъ заговорила съ нимъ такимъ тономъ, какъ будто она.... какъ будто онъ....—онъ самъ не зналъ, какимъ.

— А дѣти, когда будутъ пріѣзжать домой на каникулы, увидятъ, какъ все будетъ уютно!—Она посмотрѣла на Питта.—Не правда ли, я и теперь забочусь о васъ, какъ мать.—Потомъ снова обратилась къ господину Синтруппу.—Вы увидите, какъ у васъ все будетъ блестятъ отъ чистоты!

— Это было бы весьма желательно!

— Въ такомъ случаѣ, мнѣ лучше пріѣхать поскорѣе!

— Да, откровенно говоря: лучше рано, чѣмъ поздно.

— Но, странный вы человѣкъ, почему же изъ васъ нужно вытягивать все съ такимъ трудомъ?

Эльфрида встала; ей не хотѣлось присутствовать до конца при этой сценѣ.

— Я провожу тебя!—сказалъ Питтъ.

Господинъ Синтруппъ, снова подошедшій къ столу, слышалъ, какъ его сынъ—самъ этого не замѣтивъ—въ такой интимной формѣ обратился къ Эльфридѣ.

— Смотрите-ка,—подумалъ онъ,—эти двое зашли гораздо дальше, чѣмъ я думалъ; онъ могъ бы сказать мнѣ это раньше, тогда я не сталъ бы такъ хлопотать.—Онъ посмотрѣлъ на часы и нашелъ, что пришло время отправляться и ему.

— Какая жалость!—воскликнула фрейлейнъ Ниппе,—какъ разъ теперь, когда мы только что начинаемъ чувствовать себя совсѣмъ хорошо другъ съ другомъ. Оставайтесь еще немножко!—прибавила она, уже чувствуя себя въ роли жены и хозяйки.

— Къ сожалѣнію, я долженъ идти,—возразилъ господинъ Синтруппъ,—но мнѣ доставить истинное удовольствіе, ели вы и вашъ дядюшка или двоюродный братецъ продолжите вечеръ до какихъ поръ захотите. Я прикажу кельнеру прислать мнѣ потомъ счетъ; меня здѣсь знаютъ достаточно хорошо, я плачу за все. Требуйте всего самого лучшаго!

Фрейлейнъ Ниппе приняла это предложеніе съ воодушевленіемъ и до небесъ превознесла его „любезное великодушіе“, но господинъ Кеннеке покраснѣлъ и почувствовалъ, что съ нимъ обошлись, какъ съ нищимъ. Онъ запротестовалъ и, поблагодаривъ, началъ натягивать свое пальто; она возмутилась, но ничто не помогло, и тогда она воскликнула:

— Тебя вообще никто не спрашивалъ! Тебя сначала даже и не приглашали! Это я взяла тебя съ собой!

— А васъ взялъ я, одно выходить на другое!—съ досадой вмѣшался господинъ Синтрупъ, чтобы выручить господина Кеннеке.

Кеннеке былъ непоколебимъ въ своемъ рѣшеніи, и фрейлейнъ Ниппе волей-неволей пришлось послѣдовать за нимъ. Господинъ Синтрупъ роздалъ направо и налево крупные на-чап; потомъ всѣ вышли на улицу и стали прощаться.

— Напишите мнѣ поскорѣе письмецо, этакое, знаете, настоящее, длинное письмо!—обратилась фрейлейнъ Ниппе къ господину Синтрупу.—Да, а когда же мнѣ къ вамъ прѣзжать?

Въ добродушномъ Кеннеке вдругъ проснулось мстительное чувство за всѣ тѣ муки, которыя кузина заставила претерпѣть его въ этотъ вчеръ.

— Не будь же смѣшной!—сказалъ онъ съ удареніемъ,—неужели ты не видишь, что господинъ директоръ просто пошутилъ съ тобой?

Фрейлейнъ Ниппе почувствовала, какъ ледяное кольцо сжало ея сердце.

— Вы, дѣйствительно, позволили себѣ шутить со мною?

— Ну,—крикнулъ господинъ Синтрупъ, махая на прощаніе шляпой,—такого ужъ страшно-серьезнаго значенія я этому не придавалъ.

Она проглотила разочарованіе и, боясь чтобы какъ-нибудь не обнаружить его, крикнула принужденно-веселымъ тономъ Питту:

— А вы еще должны разсказать мнѣ вашу интимную исторію, вы не забыли?

— Въ другой разъ, въ другой разъ,—отозвался за него господинъ Синтрупъ,—до того времени она станетъ еще интимнѣе!

Съ минуту она неподвижно смотрѣла имъ вслѣдъ, потомъ обернулась къ двоюродному брату:

— Ну, вотъ мы опять одни!—сказала она, и въ то время, какъ она крѣпко прижималась къ его рукѣ, въ ней вдругъ вспыхнула яростная злоба противъ него, оставшагося ей какъ бы за неладобностью. А въ немъ сейчасъ же погасло все раздраженіе:—Если посмотрѣть поглубже на вещи—такъ ли она ужъ неправа, что ухватила обѣими руками за эту возможность? Что же можетъ предложить ей онъ?

Между тѣмъ, господинъ Синтрупъ распрощался съ Эльфридой и Питтомъ. Онъ думалъ объ условленномъ свиданіи, былъ, въ сущности, не въ настроеніи, но не хотѣлъ все же отъ него отказываться, полагая, что настроеніе какъ-нибудь да возобновится.

— А можно тебя отпустить такъ, одного?—лукаво спросилъ онъ и погрозилъ Питту пальцемъ.—Что ты такъ странно на меня смотришь?

Питтъ не отвѣтилъ, вышла маленькая пауза. Господинъ Синтрупъ

переводилъ взглядъ съ одного на другую, потомъ, какъ бы рѣшившись, наконецъ, протянулъ Эльфридѣ руку, щелкнулъ опять каблуками, безупречно и быстро связавъ этимъ начало и конецъ пройденнаго за сегодняшний вечеръ круга.

Питтъ глубоко вдохнулъ полной грудью и медленно произнесъ:

— Слава Богу!

Затѣмъ вдохнулъ еще, во второй и въ третій разъ.

— Развѣ я вамъ не говорилъ,—печально промолвилъ онъ черезъ нѣкоторое время,—какъ все произойдетъ? И самъ я вдругъ чувствую, что я теперь далеко отошелъ отъ васъ; да оно и не можетъ быть иначе.

Эльфрида словно очнулась отъ гнетущаго сна. Она снова слышала его голосъ, все, что сегодня вечеромъ оттолкнуло ее отъ него, представлялось ей теперь только безконечно печальнымъ, прежнее, истинное чувство вернулось къ ней съ той же силой, ей казалось, что онъ сталъ ей гораздо дороже, чѣмъ раньше. И она сказала ему это.

— Въ самомъ дѣлѣ?—спросилъ онъ и взялъ ее за руку.

Потомъ онъ постепенно развеселился, и сталъ насвистывать мелодію, которой научился отъ нея, она же шла возлѣ него, задумчивая и молчаливая.

— „Я провожу тебя!“—Она все еще слышала эти слова, когда вокругъ нея уже царили мракъ и безмолвіе.

### III.

Семестръ подходилъ къ концу, время разставанія приближалось, Эльфрида становилась грустна.

— Вѣдь, я же вернусь черезъ два мѣсяца!—замѣтилъ какъ-то Питтъ.

— Но, вѣдь, до тѣхъ поръ ужасно долго!—воскликнула она и посмотрѣла на него, возмущенная его равнодушіемъ.

Съ нѣкоторыхъ поръ они стали говорить другъ другу «ты». Послѣ того перваго раза Питтъ обмолвился еще во второй разъ, и Эльфрида подумала:

— Если онъ скажетъ такъ и въ третій разъ, я скажу ему, пусть это не будетъ обмолвкой.

Гедвига находила, что такая дружба—дурного тона, а Эльфриду называла недисциплинированной.

— А, вѣдь, ты могъ бы поѣхать съ нами въ деревню на каникулы!

Эта простая мысль пришла Эльфридѣ какъ-то вдругъ. Онъ посмотрѣлъ на нее, пораженный и крайне обрадованный. Если вопросъ разрѣшится такъ, какъ предлагаетъ Эльфрида, то ему можно цѣлый годъ почти что не считаться съ существованіемъ своей семьи, потому что послѣ каникулъ онъ

вернется вмѣстѣ съ ванъ-Лоо, а тамъ онъ обезпеченъ опять на цѣлые полгода.

Госпожа ванъ-Лоо не сразу дала Эльфридѣ отвѣтъ, котораго та ждала, надѣясь сейчасъ же принести его Питту. Только черезъ два дня она позвала къ себѣ Эльфриду и сказала ей съ небрежной ласкою въ тонѣ:

— Такъ ты скажи ему, что онъ можетъ ѣхать съ нами, глупенькая ты дѣвочка.

Гедвига, какъ и слѣдовало ожидать, не одобрила этого плана: она находила, что дружба должна быть поставлена въ опредѣленные границы, только тогда она можетъ быть прочной.

— Ты упускаешь изъ виду,—сказала она матери,—то, что я уже давно предвижу: возможность, даже вѣроятность того, что Эльфрида влюбится въ этого человѣка. Иначе ты не поступала бы такъ необдуманно.

— Ты считаешь меня окончательно глупой? — только и отвѣтила ей госпожа ванъ-Лоо ласковымъ тономъ, отрѣзавшимъ возможность дальнѣйшаго разговора.

Тогда Гедвига рѣшила переговорить съ самой Эльфридой. Но Эльфрида отвѣтила только, что со стороны Гедвиги низость утверждать, что она можетъ влюбиться.

Питтъ ничего не подозрѣвалъ объ этихъ колебаніяхъ, и узналъ только самый фактъ. Но такъ какъ вопросъ не выяснялся въ теченіе нѣсколькихъ дней, то онъ все таки кое о чемъ догадался. Онъ усмѣхнулся про себя, потому что невольно ему пришли въ голову тѣ же сомнѣнія и вопросы, но только по отношенію къ самому себѣ, а не къ Эльфридѣ. — Если влюбленность — то тихое, пріятное чувство, какое онъ испытываетъ, то, право же, нѣтъ причины такъ изъ-за этого волноваться.

— По крайней мѣрѣ, пусть онъ ѣдетъ не съ нами, а пріѣзжаетъ потомъ—сказала Гедвига,—я нахожу это неприличнымъ.

Но госпожа ванъ-Лоо заявила, что она не видитъ надобности отрекаться отъ Питта и отъ его дружескихъ отношеній къ ихъ семьѣ.

Въ день отъѣзда утромъ господинъ Кеннеке еще разъ явился къ Питту, проститься. Питтъ запаковалъ большую часть своихъ вещей и поставилъ ихъ въ углу; тамъ онѣ должны были оставаться до его возвращенія. На этой кучѣ онъ и сидѣлъ, когда вошелъ господинъ Кеннеке. Питтъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что старичекъ растреганъ.

— У насъ никогда не было жилья, но теперь, когда я смотрю на эту комнату, она нравится мнѣ гораздо больше прежняго, и я думаю, что вы должны бы всегда жить здѣсь. Вы были намъ вѣрны столько времени.

Къ чему это относилось, Питтъ не понялъ, но когда господинъ Кеннеке

с сердечнo тряхнулъ его руку, въ немъ всплыло смутное впечатлѣніе затишья въ гавани, брошеннаго якоря. И не успѣлъ господинъ Кеннеке выйти, какъ онъ уже подумалъ:

— А возвращаться ли ужъ мнѣ въ эту комнату? Собственно, я и такъ выжилъ здѣсь довольно долго.

Фрейлейпъ Ниппе пожалѣла, что Питтъ уѣзжаетъ, и выразила опасеніе, что ему будетъ очень недоставать ея заботъ.

— Но госпожа ванъ-Лoo,—сказала она,—добрая душа. Правда, я видѣла ее всего раза два въ экипажѣ, но когда обладаешь знаніемъ людей, то достаточно и этого. И къ тому же какая царственная наружность! Если и не все у нея настоящее — Боже мой, когда хочется казаться молодой, а брови, напимѣръ, посѣдѣли, развѣ грѣшно ихъ подкрасить, особенно если цѣлый день нечего дѣлать, а денегъ куры не клюютъ, неужто дурно заняться уходомъ за своимъ тѣломъ...

Фрейлейнъ Ниппе не могла бы подтвердить свои намеки даже и тѣнью какого-нибудь основанія, но это ей вовсе и не приходило въ голову.

У нея было другое на сердцѣ.

— Ну, какъ же обстоятъ дѣла между вами? На этотъ разъ я имѣю въ виду фрейлейнъ Эльфриду!

— Послушайте,—сказалъ Питтъ, стараясь стянуть ремни ручного чемодана,—вы становитесь назойливы!

— Господинъ Синтрупъ,—промолвила она,—вы должны хорошенько обдумывать ваши слова! Я васъ понимаю, но другіе иной разъ могутъ истолковывать ваши слова невѣрно. Вы знаете, что я вамъ желаю только добра. Развѣ я виновата въ томъ, что вы отказались, когда я, помните, вызвалась, днемъ или вечеромъ, поджидать ее у музыкальной школы и передавать ей письма, мнѣ, вѣдь, все равно часто бывало по пути.

Когда Питтъ въ послѣдній разъ обвелъ взглядомъ свою комнату, его охватило вдругъ предчувствіе, что онъ никогда больше не увидитъ ея, что должно наступить что-то грозное, уже стоящее почти за его спиной. Въ слѣдующую же минуту онъ разсмѣялся надъ самимъ собою.

Часъ спустя онъ сидѣлъ вмѣстѣ съ остальными въ вагонѣ. Гедвига взяла на дорогу увлекательный романъ и рѣдко отрывалась отъ книги, госпожа ванъ-Лoo, откинувъ голову на спинку дивана, спала, пока проѣзжали пустынные пространства, но велѣла Эльфридѣ будить себя, какъ только начнутся красивые виды, и тогда всякій разъ казалось, что она вовсе не спала, а только закрывала глаза, чтобы избавиться отъ скучнаго зрѣлища.

Дорогой Эльфрида была въ прекрасномъ настроеніи, все доставляло ей удовольствіе. Она достигла желаемаго, Питтъ сидѣлъ возлѣ нея, она

радовалась, думая о томъ, какъ онъ оживетъ въ деревнѣ, какъ будетъ наслаждаться природой. А лучше всего то, что поможетъ ему въ этомъ она. Она тихонько говорила ему о томъ, что они будутъ дѣлать въ деревнѣ, и какъ она всему рада. Она подробно описала ему мѣстоположеніе имѣнія, и онъ слушалъ ее внимательно и съ видимымъ интересомъ, хотя этотъ разговоръ и былъ ему непріятенъ, такъ какъ описанія мѣстностей вызывали въ немъ только скуку. Пока она рассказывала, онъ смотрѣлъ на ея пальцы, и не его вина, что мысли его постепенно уклонялись въ сторону. Какія твердыя, тонкія и плотныя у нея руки! Онъ дивился, глядя на эти неподвижно лежащія на колѣняхъ руки, что онѣ могутъ брать такіе большіе и трудные аккорды; вѣдь, это вовсе не подходитъ къ характеру Эльфриды. И, вообще, подходитъ ли къ ней музыка? Онъ никогда не говорилъ съ ней объ этомъ. Въ началѣ ихъ знакомства онъ восхищался ея искусствомъ, такъ какъ оно было ему ново и до извѣстной степени возвышало Эльфриду. Но чѣмъ чаще онъ ее слышалъ, чѣмъ привычнѣе становилась для него ея игра, тѣмъ болѣе она утрачивала свое очарованіе, и теперь онъ спрашивалъ себя, можетъ быть, она могла бы съ такимъ же успѣхомъ заняться и чѣмъ-нибудь другимъ, что доставляло бы ей такое же счастье.

— О чемъ ты думаешь?—спросила, наконецъ, Эльфрида, такъ какъ онъ не отвѣчалъ, и она замѣтила, что взглядъ его задумчиво устремленъ на ея уку.

Онъ покраснѣлъ, какъ будто его на чемъ-то поймали. Она молча старалась разгадать значеніе этого внезапнаго румянца, и когда онъ взглянулъ на нее, съ какимъ-то умолчаніемъ въ глазахъ, ей показалось, что между ними пробѣжала какая-то тайная, тихая, теплая струйка.

Госпожа ванъ-Лоо проснулась сама и спросила, какимъ же образомъ случилось, что они ѣдутъ по Италіи: вѣдь, это же пинія, вонъ тамъ!

Гедвига подняла голову отъ книги и сказала, что это сосна, на что госпожа ванъ-Лоо возразила, что, въ такомъ случаѣ, въ Италіи пиніи точь въ точь похожи на здѣшнія сосны.

— Засни лучше опять!—отозвалась Гедвига изъ своего угла, — когда ты въ слѣдующій разъ проснешься, можетъ, мы будемъ ужъ въ Батавіи.

— Ахъ, если бы очутиться въ Батавіи!—ласково сказала госпожа ванъ-Лоо, — здѣсь въ Германіи все время зябнешь, и никому нѣтъ ни до кого дѣла. Когда вы обѣ выйдете замужъ, я уѣду съ Гаральдомъ на мою милую, старую родину.

— Но Гаральдъ, вѣдь, будетъ морякомъ!—вмѣшалась Эльфрида.

— Это все равно, онъ и тогда можетъ изрѣдка уходить въ море. Гаральдъ одинъ меня любитъ, вы обѣ любите своихъ мужей, а Гаральдъ никого не будетъ любить, кромѣ меня!—Она чуть подняла брови и нѣжно



взглянула на Эльфриду; потомъ взгляды ея, все еще нѣжный, но уже съ нѣкоторой осторожностью, перешелъ на Гедвигу, снова углубившуюся въ свою книгу.

Изящный, помѣщичій экипажъ ожидалъ ихъ на послѣдней станціи. Фридрихъ, лакей, нагрузилъ сундуки на присланную подводу. И они поѣхали по тихой дорогѣ.

Госпожа ванъ-Лоо вдыхала чистый воздухъ и сказала, оглядываясь, что она раньше ошибалась: Германія все-таки прекраснѣйшая страна въ мірѣ.

Солнце сѣло, багряная полоска на западѣ терялась постепенно въ глубокой синевѣ, уже сгустившейся на востокѣ во мракъ. Въ далекой деревушкѣ краснымъ заревомъ блеснуло окошко. Питтъ невольно устремилъ на него глаза. Эльфрида прослѣдила его взглядъ. Они смотрѣли на это окно, пока краски не погасли совсѣмъ. Надъ головами ихъ плыли тѣни, казалось, зеленныя волны земли тихо колыхаются вокругъ нихъ. Край неба то поднимался, то опускался; они проѣхали мимо маленькаго, мерцающаго, какъ металлъ, пруда, въ немъ отражались уже первыя звѣзды. Мимо нихъ мелькали отдѣльные маленькіе домики, освѣщенные изнутри масляными лампами, золотисто-желтые въ синевѣ вечера. Темныя фигуры видѣлись въ нихъ за тарелками и котелками, или собравшимися въ кружокъ для вечерней молитвы; бдительная дворняжка залаяла вслѣдъ экипажу, потомъ лай замеръ, слышно было только хрустѣнье песку подъ колесами и далекіе шорохи вечера въ деревнѣ.

Медленно, потихоньку Питтъ пришелъ въ глубоко-грустное настроеніе. Пейзажи всегда навѣвали на него грусть, при видѣ ихъ онъ вдвойнѣ ощущалъ свое одиночество. Глубокій вечерній миръ усиливалъ это чувство. Разсудкомъ онъ говорилъ себѣ:

— Черезъ нѣсколько лѣтъ сегодняшній вечеръ будетъ представляться мнѣ однимъ изъ счастливейшихъ въ моей жизни,—не глупо-ли наслаждаться только въ воспоминаніи?!

Эльфрида тщетно спрашивала его о причинѣ его молчаливости.

— Взгляни туда!—сказала она, наконецъ, невольнымъ шепотомъ, повернувшись на сидѣніи.

Дорога нѣсколько спускалась въ томъ направленіи, черезъ головы лошадей видѣлся невысокій еловый лѣсъ, за которымъ на неопредѣленномъ разстояніи поднимался высокій свѣтлый домъ, холодно мерцающій въ ночи.

— Какъ вы думаете, сколько времени намъ потребуется, чтобы доѣхать туда?—спросила Гедвига.

— Пять минутъ!—отвѣтилъ Питтъ, мысленно прикинувъ разстояніе.— Намъ нужно, вѣдь, только проѣхать этотъ лѣсокъ, и мы на мѣстѣ...—Но, взглянувъ снова въ томъ же направленіи, онъ увидѣлъ, что ели вдругъ выросли.

верхушки ихъ вздымались уже вровень съ домомъ, потомъ домъ постепенно исчезъ, дорога круто пошла внизъ.

— Да развѣ мы здѣсь на горѣ?—спросилъ онъ, въ то время, какъ вокругъ совсѣмъ стемнѣло.

— Ну, да!—отвѣтила Гедвига съ чувствомъ какого-то удовольствія.— Вы еще многому подивитесь!

— Это вовсе не гора, а плоская возвышенность!—замѣтила госпожа ванъ-Лoo, но Гедвига не обратила на это вниманія. Экипажъ покатился внизъ.

— Можно ѣхать и по болѣе удобной дорогѣ,—продолжала госпожа ванъ-Лoo,—но эта гораздо красивѣе; она представляетъ такіе пріятные сюрпризы, и они еще пріятнѣе оттого, что всѣ ихъ знаешь!

Мало по малу экипажъ спустился совсѣмъ въ глубину, оставивъ за собою рошу, и ѣхалъ теперь по долинѣ. Питтъ оглянулся по сторонамъ и поискалъ домъ: вонъ онъ гдѣ, высоко, на лѣсистомъ холмѣ, такъ что отсюда онъ царилъ надъ всею окрестностью. Съ той стороны, изъ-за еловаго лѣса, откуда они ѣхали, нельзя было и ожидать, что между этими холмами такое глубокое ущелье.

Небо горѣло теперь звѣздами, и надъ домомъ развѣвалось и трепетало что-то бѣлое, какъ одухотворенная комета. Это былъ бѣлый флагъ, флагштока котораго не было видно.

— Кто же это его поднялъ?—спросила Эльфрида,—я сама спрятала его въ домъ, когда мы въ послѣдній разъ уѣзжали въ городъ.—Она пристально вглядывалась въ темную вершину.—Тамъ что-то шевелится еще, что-то черное. Трудно разобрать хорошенько, звѣзды то есть, то пропадаютъ!

Въ эту минуту наверху вспыхнула узенькая огненная полоска и распалась на сотни золотыхъ искръ, подхваченныхъ вѣтромъ, такъ что Эльфридѣ вдругъ представилось, что это сорвались и перемѣшались звѣзды.

— Гаральдъ!—съ изумленіемъ воскликнула Эльфрида, потомъ, сложивъ руки трубочкой, громко выкрикнула вверхъ его имя. Сейчасъ же вслѣдъ за этимъ вѣтеръ донесъ внизъ веселый крикъ, звучащій, какъ отвѣтъ и какъ радостный вызовъ.

— Что за мальчикъ!—сказала госпожа ванъ-Лoo,—вѣдь, онъ долженъ быть еще въ школѣ!

Экипажъ медленно взобрался въ гору, лошади тронули крупной рысью по аллеѣ, ведущей прямо къ дому. Изъ воротъ вылетѣлъ высокій мальчикъ, обнявъ сначала Эльфриду, потомъ мать, поцѣловалъ Гедвигѣ кончики пальцевъ и только тутъ увидѣлъ Питта.

— Кто это?—безпечно спросилъ онъ. Потомъ подалъ ему руку.

— Эльфрида!—позвала госпожа ванъ-Лoo, когда они вошли въ домъ,— проводи господина Питта наверхъ и покажи ему его комнату.

— Это можетъ сдѣлать и горничная!—сказала Гедвига, но мать ея замѣтила, что молоденькая хозяйка сдѣлаетъ это лучше; но только поскорѣе, потому что она проголодалась, и сейчасъ подадутъ ужинать.

Эльфрида повела Питта наверхъ въ его комнату, убранную простою и удобною мебелью.

— Здѣсь ты проживешь съ нами долго, долго! И когда тебѣ что-нибудь понадобится, ты долженъ сказать мнѣ.

— Хорошо,—сказалъ онъ и осмотрѣлся по сторонамъ

Эльфрида взглянула на него, и ея слова только сейчасъ, какъ слѣдуетъ, проникли въ его сердце.

— Какъ ты добра!—сказалъ онъ и тихонько положилъ руку на ея плечо.

Она не отстранилась. Вмѣстѣ они подошли къ окну и стали смотрѣть на звѣздное небо. Но тутъ ему вдругъ вспомнилась картина, изображавшая двоихъ людей у окна, смотрящихъ на нѣжное небо, ему это сдѣлалось непріятно, и онъ снялъ руку съ ея плеча. Небесное пространство прорѣзала падучая звѣзда.

— Ты задумалъ что-нибудь?—спросила Эльфрида минуту спустя.

Онъ засмѣялся и сказалъ, что онъ какъ разъ вычислилъ, что свѣтъ движется приблизительно въ три тысячи разъ быстрѣ этой падучей звѣзды.

Она нашла, что онъ гораздо благоразумнѣе ея, и по дорогѣ внизъ попросила его рассказать ей о природѣ и характерѣ аэролитовъ.

За столомъ Гаральдъ разсказалъ, что въ пансіонѣ онъ три дня притворялся больнымъ, ничего не ѣлъ, и только на четвертый день, когда его отпустили, онъ все наверсталъ на вокзалѣ.

Госпожа ванъ-Лоо заявила, что это неслыханная продѣлка, но потомъ сказала:

— Такъ какъ ты уже здѣсь, то дѣлать нечего, можешь оставаться,—и Питтъ въ первый разъ увидѣлъ его весело блеснувшіе острые зубы.

*(Продолженіе слѣдуетъ).*

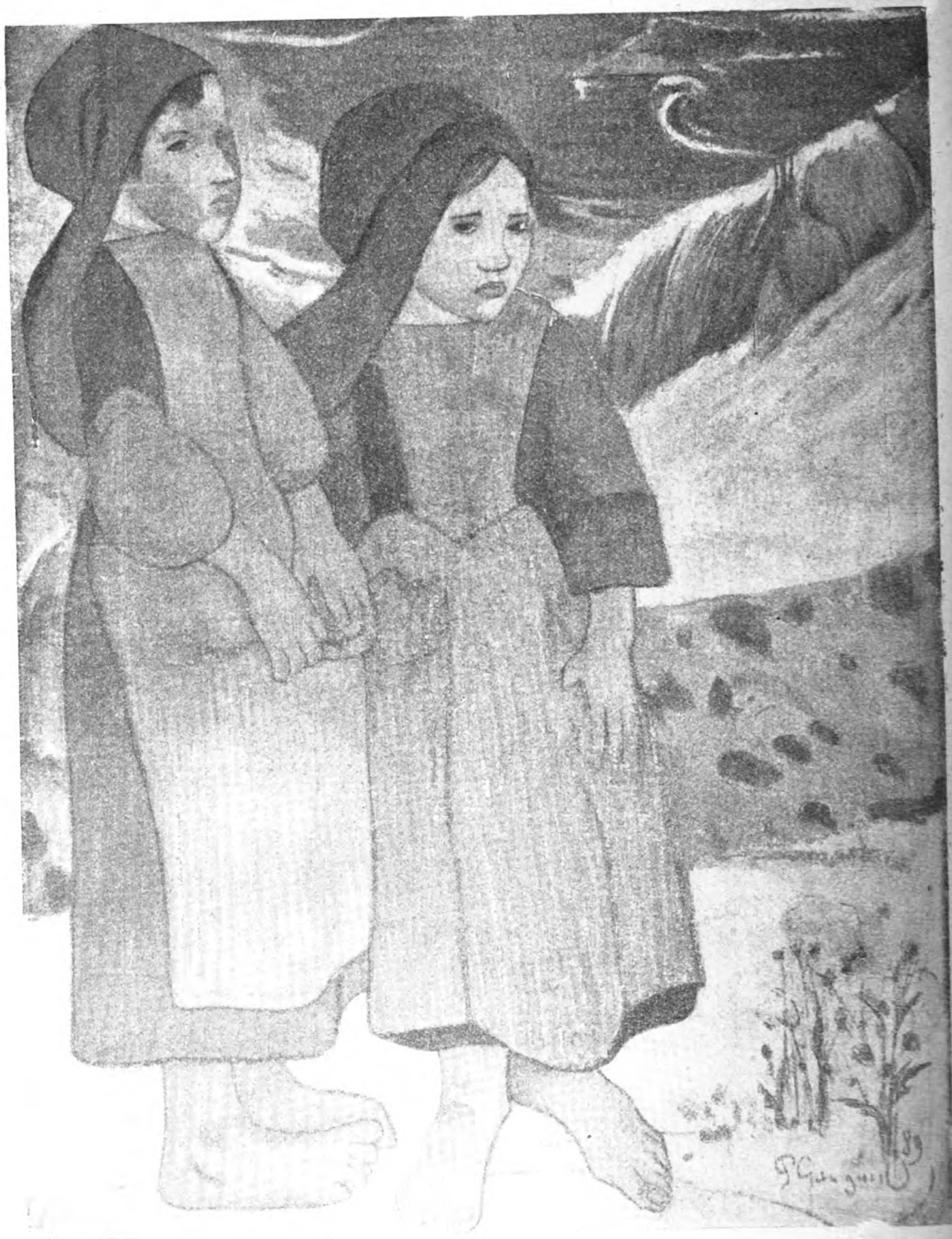
Пер. К. Жихарева.



„Таитяне“.

Поль Гогенъ.





„Дѣвочки-Бретонки“.

Поль Гогэнъ.

## ПОЛЬ ГОГЭНЪ.

О, учиться туда, гдѣ, наконецъ, достаточно мѣста, достаточно воздуха!

Быть вольнымъ отъ прежнихъ цѣпей условностей!

Найти неожиданно лучшее, что есть въ Природѣ, и имъ наслаждаться небрежно!

Почувствовать ясно, что нынче или когда бы то ни было я доволенъ собой, я доволенъ...

(У. Уитманъ).

Скоро исполнится девять лѣтъ со дня смерти замѣчательнаго французскаго художника Поля Гогэна—одинокимъ, загадочной смерти вдали отъ Европы, на славномъ посту Красоты. Но даже на родинѣ Гогэна далеко еще не исправлена та несправедливость по отношенію къ нему, которая тяготѣла надъ нимъ въ теченіе всей его жизни, далеко еще не учтена его крупная роль въ развитіи современнаго искусства и современнаго эстетическаго сознанія. Объясняется это отчасти тѣмъ, что произведенія Гогэна до сихъ поръ заперты въ частныхъ коллекціяхъ и лишь изрѣдка показываются молодому поколѣнію художниковъ, а отчасти—наличностью въ его творествѣ того „литературнаго“ элемента, который такъ претитъ поверх-

ностнымъ французскимъ эстетамъ.. Съ нашей же точки зрѣнія именно эта самобытная и таинственная Гогэновская идеологія дѣлаетъ еще болѣе интереснымъ его искусство. Можно такъ или иначе относиться къ неоархаизму въ современномъ художествѣ, но не слѣдуетъ забывать того, что Гогэнъ былъ однимъ изъ его первыхъ пророковъ и жертвъ. И если о Гогэнѣ мало говорятъ въ настоящее время въ Парижѣ, то это не потому, что онъ устарѣлъ, а потому, что онъ сталъ классикомъ того теченія (идейнаго по существу), эпигоны и вульгаризаторы котораго забыли свое родство...

На „Французской Выставкѣ за 100 лѣтъ петербургскій читатель увидитъ, наконецъ, картины Гогэна. Вотъ почему я хочу напомнить еще разъ, новыми строками, жизнь и творчество этого художника.

Именно въ такой послѣдовательности—жизнь и творчество, а не творчество и жизнь—долженъ быть изученъ Гогэнъ. Въ противоположность многимъ другимъ художникамъ, у которыхъ жизнь затмевалась сплошнымъ праздникомъ творчества или протекала въ будняхъ каждаго дня, личная судьба Гогэна органически связана съ его живописью, а живопись была для него эстетической реализаціей

его жизненныхъ идеаловъ. Чтобы понять его искусство, надо знать его біографію. Правда, исторія его жизни не алѣетъ кровавыми приключеніями Бен-вентто Челлини, не пестритъ бурными политическими превратностями Гойи или Курбэ, не омрачается душевной драмой Ванъ-Гога или нашихъ А. Иванова и Врубеля. Наоборотъ, она поражаетъ закономѣрностью и цѣльностью описаннаго ею круга—Гогэнъ точно съ дѣтства нашелъ себя и вся его карьера вплоть до ея досрочнаго драматическаго конца была лишь яркимъ раскрытіемъ какой-то единой, предопредѣленной мисіи. Семейная наслѣдственность, географическая среда, личный темпераментъ со всѣми его несомнѣнными недостатками—все это соединилось воедино, чтобы создать изъ Гогэна того культурнаго „дикаря“, какимъ онъ былъ. Онъ никогда не „наивничалъ“ и не „опрощался“, въ чемъ обвиняла его критика (видѣвшая въ немъ кривлявшагося „декадента“), ибо онъ отъ природы былъ наивенъ и простъ, подобно другому „варвару“ современности, другому проповѣднику первобытнаго Рая, Уольту Уитману...

# I.

Судьбѣ угодно было, чтобы въ жилахъ Гогэна текла двоякая кровь и чтобы жизнь его протекала въ скитаніяхъ отъ Стараго къ Новому Свѣту.

Отецъ художника, сотрудникъ извѣстной газеты „National“, былъ родомъ изъ Орлеана; его мать происходила изъ семьи южно-американскихъ испанцевъ, завоевателей Перу. Бабушка Гогэна съ материнской стороны Флора Тристанъ,

рожденная въ Перу, была выдающейся женщиной, послѣдовательницей Сень-Симона, писательница и агитаторша; она провела очень бурную жизнь частью въ Южной Америкѣ, частью во Франціи, защищая идеи социализма и женской эмансипаціи. Гогэнъ очень гордился своей бабушкой и ея древней испанской кровью, и возможно, что именно отъ нея унаслѣдовалъ онъ свой страстный темпераментъ, свое презрѣніе къ буржуазному благополучію и тоску по обѣтованной землѣ. Впрочемъ, это влеченіе къ бродяжничеству этотъ Бодлэровский *gout de l'infini* вѣчно толкавшій Гогэна подъ новыя неба, въ неизвѣданныя дали, внушены были и самими условіями его дѣтства и отрочества.

Онъ родился въ Парижѣ въ мятежные іюньскіе дни 1848 года и уже трехлѣтнимъ мальчикомъ узналъ Атлантическій и Тихій океаны—*coup d'Etat* Наполеона III заставилъ его отца эмигрировать изъ Парижа на родину матери, въ Перу \*). Гогэнъ отецъ умеръ въ пути, а маленькій Поль остался съ матерью въ Лимѣ, перуанской столицѣ. Здѣсь, въ странѣ древнихъ Инковъ, въ полу-варварской обстановкѣ бронзоваго вѣка, среди экзотики индѣйскаго искусства, прожилъ Гогэнъ четыре года, слушая страшныя сказки няни-негритянки, иногда прислушиваясь къ гулу вулкановъ. Эти яркія перуанскія воспоминанія, воспоминанія о тропической природѣ и индѣйской фантастикѣ глубоко запали въ душу художника, опредѣлили

\*) Фактически. сторона моей статьи почерпнута изъ книги Jean de Rotonchamp. P. Gauguin. Paris. E. Druet, 1907.

его характеръ—ничто въдъ не впечатлѣетъ такъ, какъ отложенія раннихъ лѣтъ.

Въ 1855 году мать Гогэна вернулась во Францію. До этого момента семилѣтній Гогэнъ говорилъ только по-испански. Онъ былъ отданъ въ лицей, гдѣ и пробылъ до шестнадцати лѣтъ; этимъ исчерпывался запасъ тѣхъ знаній, которыя взялъ онъ у европейской культуры. Мечтою мальчика была „профессія“ моряка. И вотъ она сбылась. Въ 1865 году онъ поступилъ юнгомъ на коммерческое судно, объѣздивъ берега Южной Америки, видѣлъ Бразилію и знаменитое Рио-де-Жанейро. Двадцати лѣтъ онъ опредѣлился въ качествѣ рулевого на военный крейсеръ, который подъ начальствомъ принца Жерома Наполеона плавалъ между Сѣвернымъ моремъ и Гренландіей. Гогэнъ узналъ то, что было такъ непохоже на южныя воспоминанія его юности,—суровые берега Скандинавіи и уже готовился увидѣть Сѣверный мысъ и Шпицбергенъ, но вспыхнувшая война 1870 г. задержала его въ Копенгагенѣ. Однако, сѣверныя красоты не запечатлѣлись въ его памяти—не можетъ быть точекъ касанія между Сѣвернымъ полюсомъ и полюсомъ Юга...

Въ 1871 году Гогэнъ взялъ отпускъ и больше уже никогда не возвращался во флотъ. Онъ вернулся въ Парижъ, его жажда скитальчества, его любовь къ океану, казалось, была удовлетворена. Началась ссѣдлая жизнь. Лишившись матери, Гогэнъ поступилъ на службу въ одну изъ парижскихъ мѣняльничьихъ конторъ; человекъ, видѣвшій безмѣрность моря, принужденъ былъ стать однимъ изъ маленькихъ винти-

ковъ сложнаго финансоваго механизма столицы. Затѣмъ все пошло въ обычномъ порядкѣ—матеріальная обеспеченность, женитьба на уроженкѣ Копенгагена, дѣти, игра на биржѣ, принесшая въ теченіе одного года нѣсколько десятковъ тысячъ франковъ...

Но одно маленькое обстоятельство вторглось и нарушило эту блестящую финансовую карьеру Гогэна—знакомство съ группой художниковъ-импрессионистовъ и внезапно вспыхнувшая откуда-то изъ вулкана души любовь къ искусству. Отдѣленіе банка, въ которомъ служилъ Гогэнъ, помѣщалось на rue Laffitte, этомъ средоточіи парижскихъ картинныхъ магазиновъ, откуда буйными артеріями расходятся по всему свѣту новые художественные вкусы. Здѣсь въ галлерей Дюранъ Рюэлля—быть можетъ, случайно—познакомился Гогэнъ съ первыми славными героями импрессионизма: Писсарро, Манэ, Монэ, Ренуаромъ, Дегасомъ и Сезанномъ. Попалъ въ ихъ среду, захлестнулся волною ихъ интересовъ, накопилъ ихъ картинъ и, наконецъ, попробовалъ и самъ рисовать—по вечерамъ и праздникамъ, въ свободные отъ счета купоновъ часы. Ему было уже двадцать семь лѣтъ, когда онъ взялъ въ руку кисть, не имѣя никакого опыта, никакихъ готовыхъ рецептовъ, кромѣ яркихъ записей своей зрительной памяти. Ему не пришлось преодолевать академическую тину; наивно и смѣло искалъ своего пути этотъ бывший пловецъ среди моря искусства: онъ зналъ свою путеводную звѣзду—она мерцала на югѣ...



Чѣмъ дальше, тѣмъ глубже проникла въ Гогэна сладкая отравка искусства. Въ началѣ 80-хъ годовъ онъ снимаетъ уже специальную мастерскую, а въ 81 году критикъ Huysmans уже отмѣчаетъ рядомъ съ Курбэ Гогэновскій этюдъ нагой женщины (на пятой выставкѣ импрессионистовъ). Наконецъ, Гогенъ рѣшаетъ перестать быть диллетантомъ и всецѣло отдать свои дни искусству—вѣдь дни даны солнцемъ для живописи! И вотъ онъ бросаетъ доходное мѣсто въ банкѣ, гдѣ пробылъ одиннадцать лѣтъ, однимъ ударомъ разрушая благополучіе жены и пяти дѣтей. Затѣмъ все идетъ въ фатальномъ порядкѣ—нужда, переездъ всей семьи изъ Парижа въ дешевую Нормандію и, наконецъ, какъ послѣднее средство, бѣгство въ Копенгагенъ въ надеждѣ на протекцію родныхъ госпожи Гогэнъ. Но и эта надежда обманула. Какъ и слѣдовало ожидать, свободный, безудержный темпераментъ Гогэна пришелся не ко двору въ строгой, размеренной Даніи—онъ не понравился роднѣ: не можетъ быть точекъ касанія между Сѣверномъ полюсомъ и полюсомъ Юга. „Я тоже изучилъ Сѣверъ,—съ горечью говорилъ въ послѣдствіи Гогэнъ,—но то, что мнѣ понравилось тамъ больше всего, это—какъ разъ не моя теща, а дичь, которую она изумительно умѣла готовить“... Въ 1885 году послѣ двѣнадцатилѣтней общей жизни супруги разъѣхались: она осталась въ Копенгагенѣ съ дѣтьми, а онъ вернулся въ Парижъ—въ объятія нищеты. Его единственнымъ заработкомъ стала расклейка афишъ по стѣнамъ парижскихъ домовъ, доставлявшая ему три франка въ день. Впо-

слѣдствіи, вспоминая эти дни испытанія, онъ оставилъ въ своемъ манускриптѣ, посвященномъ любимой дочери, Алинѣ, слѣдующія слова: „Я знавалъ нищету, голодъ и все, что вытекаетъ изъ нихъ. Но все это—ничто или почти ничто: съ этимъ можно примириться. Но ужасно то, что мѣшаетъ работать, развивать интеллектуальныя способности. Правда, страданіе обостряетъ талантъ, но когда его слишкомъ много—оно можетъ его убить. Однако, обладая большимъ честолюбіемъ, я кончилъ большой энергіей и захотѣлъ хотѣть“. И, дѣйствительно, этотъ большой ребенокъ умѣлъ хотѣть: несмотря на нужду, онъ успѣлъ приготовить къ выставкѣ 1886 года девятнадцать полотенъ...

Итакъ, жребій былъ брошенъ. Снова сталъ онъ одинокимъ пловцомъ—одинъ со своимъ искусствомъ.

## II.

И опять ощутилъ онъ въ себѣ зовъ океана, по которому блуждалъ въ теченіе семи лѣтъ безъ думы о завтрашнемъ днѣ. Распродавъ все, что могъ, онъ ѣдетъ въ 1887 году на Мартинику (Антильскіе острова). И здѣсь послѣ каменно-сѣраго Парижа снова охватываетъ его родная, экзотическая обстановка ранняго дѣтства—синяя яркость южнаго неба, пламенная роскошь экзотическихъ растеній, многоцвѣтная пестрота людей. Здѣсь, среди кофейныхъ полей, кокосовыхъ, банановыхъ, розовыхъ, тамариновыхъ деревьевъ, акажу, апельсиновъ и лимоновъ, окруженный креолами, индѣйцами, китайцами, черными неграми

Африки, жилъ и работалъ онъ годъ—пока ядовитое дыханіе тропиковъ не заставило его полу-больного вернуться въ Парижъ. И снова потянулись мѣсяцы голодной жизни, во время которыхъ онъ изучалъ восточное искусство въ музеѣ Guimet и снова потянуло его прочь изъ города. На этотъ разъ онъ ѣдетъ въ Понтъ-Авенъ, живописный городокъ Бретани, куда любили съѣзжаться молодые французскіе художники. Гогэнъ сталъ душою этой художнической колоніи, которая въ послѣдствіи получила названіе Понтъ-Авенской школы. Въ деревнѣ Пульду, ближе къ морю, мы застаемъ Гогэна также окруженнымъ молодежью—это былъ лучшій годъ его жизни, годъ дружескаго общенія съ людьми, вѣры въ будущее и продуктивнаго труда. Среди первобытной и величественной бретонской природы, съ ея памятниками ранѣ-христіанскаго творчества и готическими церквами, передъ этой художественной иртелью носилась гордая мысль о преимущественности съ великими примитивами прошлаго. Гогэнъ былъ какъ бы мэтромъ этой новоявленной корпораціи, мечтавшей покорить Парижъ.

Единственнымъ чернымъ воспоминаніемъ этого года было пребываніе Гогэна вмѣстѣ съ Винцентомъ ванъ-Гогомъ въ Арль (Провансъ), куда онъ поѣхалъ для совмѣстной работы съ послѣднимъ. Казалось бы, сотрудничество этихъ двухъ крупнѣйшихъ талантовъ эпохи должно было дать блестящіе результаты, но на дѣлѣ идея совмѣстнаго творчества, съ которой ванъ-Гогъ носился со всей пылкостью своей натуры, потерпѣла пол-

ное крушеніе. Въ послѣдствіи Гогэнъ самъ описалъ свою жизнь съ ванъ-Гогомъ и изъ этого описанія, далеко не чуждаго раздраженности, видно, что онъ и ванъ-Гогъ были полярностями духа. „Онъ весь—вулканъ, я тоже кипѣніе, но не во внѣ, а внутри, и борьба между нами была неизбежна“,—говоритъ Гогэнъ. И, дѣйствительно, ванъ-Гогъ былъ весь—надрывъ, хаосъ, мятежъ; Гогэнъ—это дѣтская цѣльность, наивная гармонія невстревоженной души. Мученикъ современности, переболѣвшій своей пламенной душой ея глубочайшія сомнѣнія и порывы, ванъ-Гогъ всю жизнь мечталъ о такомъ сильномъ человѣкѣ, какимъ былъ Гогэнъ,—вотъ почему онъ такъ упрашивалъ его пріѣхать въ Арль и работать вмѣстѣ. Но Гогэнъ не могъ понять „неистоваго и безалабернаго голландца“ (какъ онъ называетъ ванъ-Гого), ибо онъ былъ выходцемъ далекаго прошлаго, здоровымъ и жизнерадостнымъ варваромъ. Гогэна раздражала въ ванъ-Гогѣ лихорадочность его творчества, беспорядочность его палитры, сосѣдство Евангелія и Гонкуровъ на его столѣ. Что же касается ванъ-Гого, то „одной изъ причинъ его гнѣва было то, что при моей интеллигентности у меня былъ низкій, неразвитой лобъ“,—говоритъ самъ Гогэнъ. Какъ характерна, какъ человѣчна эта причина гнѣва: ванъ-Гогъ хотѣлъ видѣть Гогэна болѣе гармоничнымъ, чѣмъ онъ былъ!...

При обострявшейся душевной болѣзни ванъ-Гого, эта совмѣстная жизнь не могла не закончиться драмой...\*)

\*) Но характерно, что и тутъ Гогэнъ остался вѣрнымъ себѣ. Въ припадкѣ меланхоліи ванъ

Такъ оборвалось сотрудничество Гогэна съ ванъ-Гогомъ; идея художественной артели, созрѣвавшая въ Бретани, также не привела ни къ какимъ результатамъ—не нашлось мецената, который поддержалъ бы эту ассоціацію. Попржнему нищимъ вернулся Гогэнъ въ 1889 году въ Парижъ; поселился въ дешевой гостиницѣ, работалъ у знакомаго въ мастерской. Правда, теперь онъ уже былъ извѣстенъ и вращался среди избраннаго круга поэтовъ и художниковъ, но жизнь его была тяжела.

Гогэ пустилъ въ него тарелкой; Гогэнъ простилъ, но заявилъ, что уѣзжаетъ. „Господи, что это былъ за день!—пишетъ онъ.—Вечеромъ послѣ ужина я почувствовалъ потребность пойти одному подышать запахомъ цвѣтущихъ лавровъ. Я уже почти миновалъ площадь, когда услышалъ за собой мелкіе и быстрые шаги, хорошо знакомые мнѣ. Я обернулся въ тотъ самый моментъ, когда Винцентъ бросился на меня съ бритвой въ рукѣ. Взглядъ мой былъ очевидно настолько властенъ, что онъ остановился, опустил голову и побѣжалъ домой. Струсилъ ли я тогда и не долженъ ли я былъ его разоружить и успокоить?—часто задавалъ я себѣ этотъ вопросъ и никогда не упрекалъ я себя. Пусть броситъ въ меня камнемъ кто хочетъ! Я отправился въ гостиницу и легъ“. (Гогэнъ: „Choses Diverses“). А утромъ, придя къ двери ванъ-Гога, онъ засталъ цѣлую толпу народа: ванъ-Гогъ отрѣзалъ себѣ ухо и истекалъ кровью на постели. Съ этого и началось его безуміе.

Я извиняюсь передъ читателемъ, что задержался на этомъ инцидентѣ, но онъ вырисовывается передъ нами Гогэна такимъ, каковъ онъ былъ. Недаромъ въ своей „Ноя-Ноя“ онъ сѣтуетъ на „разслабляющее состраданіе“, которое христіанскіе миссіонеры привили таитянкамъ! Цѣльнымъ и искреннимъ имморалистомъ былъ онъ всегда—какъ въ своей жизни, акъ и въ своей живописи.

И черезъ два года онъ рѣшаетъ эмигрировать въ Океанію, на островъ Таити, чтобы тамъ найти убѣжище отъ жестокости европейскаго города и условности европейской культуры. Распродавъ съ аукціона свои работы, заручившись съ помощью Ари Ренана официальной рекомендаціей къ таитянскимъ колониальнымъ властямъ, онъ покидаетъ Парижъ въ апрѣлѣ 1891 года.

Чрезвычайно характерно то участіе, которое приняло въ этой поѣздкѣ литературное и художественное общество Парижа. Со временъ Шатобриана, Бодлера, Леконтъ де Лиля, Пьера Лоти мечта объ экзотикѣ, тоска по новой далекой странѣ не покидала душу французскихъ поэтовъ и живсписцевъ: Пьеръ Лоти побывалъ на Таити, поэтъ Рембо отправился въ Африку...

Вотъ почему многіе какъ бы завидовали рѣшимости Гогэна. Въ честь его отъѣзда былъ устроенъ банкетъ, на которомъ присутствовали Каррьеръ, Жанъ Мореасъ, Шарль Морисъ, Стефанъ Маллармэ \*) и многіе другіе, а въ театрѣ Vaudeville былъ данъ спектакль въ бенефисъ его и Верлэна, причемъ Гогэновскія полотна украшали собой фойэ.

Октавъ Мирбо напутствовалъ художника съ стихотвореніемъ въ Echo de Paris. „Я узналъ,-- пишетъ онъ,-- что Поль Гогэнъ уѣзжаетъ на Таити съ намѣреніемъ прожить

\*) Въ числѣ прощальныхъ привѣтствій, полученныхъ Гогэномъ, было письмо Маллармэ. отдѣльныя красивыя строки котораго стоить упомянуть: „Avez-vous tiré de la vente un espoir de départ? J'ai rêvé cet hiver souvent à la sagacité de votre résolution. Votre main; tout ceci, pas pour que vous répondiez, mais me sachiez votre. de près ou de loin. Stéphane Mallarmé“.

тамъ нѣсколько лѣтъ, чтобы переработать заново свои излюбленные образы. Какъ примѣчательно и трогательно это бѣгство человѣка отъ цивилизаціи, это добровольное исканіе забвенія и тишины для того, чтобы лучше услышать тѣ внутренніе голоса, которые заглушаются въ насъ шумомъ нашихъ споровъ и страстей... Куда бы ни поѣхалъ Поль Гогэнъ—онъ можетъ быть увѣреннымъ, что наше поклоненіе послѣдуетъ за нимъ!“

### III.

Поѣздка Гогэна въ Полинезію была уже четвертымъ дальнимъ плаваніемъ его, но на этотъ разъ въ его путешествіи былъ нѣкій особенный смыслъ. Въ Перу онъ былъ ребенкомъ, на Мартиникѣ онъ былъ въ молодости, на Таити онъ поѣхалъ уже въ полномъ сознаніи своихъ цѣлей. Сорокатрехлѣтнимъ мужемъ, зрѣлымъ художникомъ возвращался онъ къ лону Тихаго океана, на берегахъ котораго, въ древней столицѣ Перу, провелъ свое дѣтство. Правда, теперь путь его лежалъ не въ Южную Америку, а на маленькіе острова, затеряшіеся между тремя частями земли, но это былъ тотъ же градусъ широты, почти та-же родная ему экваторіальная цивилизація. Онъ отправился туда, чтобы отыскать первоисточки художественной культуры вообще и вмѣстѣ съ тѣмъ—источки своего собственнаго духовнаго развитія. Онъ не былъ утонченнымъ романтикомъ вродѣ Теофиля Готье, поѣхавшимъ въ Турцію за внѣшними впечатлѣніями, или пресыщен-

нымъ Пьеромъ Лоти, искавшимъ на Таити эротическихъ прясностей,—Гогэнъ былъ своего рода „естественнымъ человекомъ“ Руссо, которому стало тѣсно въ городѣ современности и который стихійно тяготѣлъ къ своей изначальной, духовной родинѣ—первобытной цивилизаціи. Путешествіе Гогэна на Таити—не *partie de plaisir* и не искусственное опрощеніе, а приобщеніе.

Достаточно прочесть Гогэновское „*Noa-Noa*“, эту исторію пребыванія его на Таити и вмѣстѣ съ тѣмъ комментарий къ его творчеству, чтобы увидѣть внутреннее родство его съ той экзотической и первичной средой, въ которую онъ попалъ. „*Noa-Noa*“—не утопическій романъ; это—исповѣдь, это—эстетическое и моральное *credo* Гогэна. Правда, его описаніе таитянскаго быта часто впадаетъ въ идеализацію *à la* Руссо, но каждое слово въ немъ—изъ души. Искренно его проклятiе европейской культурѣ съ ея унизительной „заботой о завтрашнемъ днѣ“, съ ея „казармами, кабаками и тюрьмами“, искренно его влеченіе къ „естественной жизни“, къ „безумному счастью“, къ природѣ и солнцу. Можно сколько угодно иронизировать надъ наивностью „растительной“ и тѣлесной философіи Гогэна, но нельзя забывать того, что это—разбѣги той же жгучей весны, которая создала Уитмана\*

\*) Разумѣется, я не провожу полной параллели между принципиальнымъ демократизмомъ Уитмана и дѣтскимъ міросозерцаніемъ Гогэна и указываю только на общность настроенія, а не ихъ стихійное эпикурейство.

и Гамсуновскаго «Пана», и Бальмонта— и надъ „Ноа Ноа“ хочется надписать эпиграфъ:

Будемъ, какъ солнце!

Ибо, дѣйствительно, этотъ новый Робинзонъ Крузо могъ бы сказать о себѣ: „я въ этотъ міръ пришелъ, чтобы видѣть солнце и синій кругозоръ“... Вотъ почему такъ легко дались ему отречение отъ Европы и ассимиляція съ жизнью дикарей—иногда даже слишкомъ легко!

Впрочемъ, слово „дикарь“ едва-ли приложимо къ тому племени, среди котораго жилъ Гогэнъ на Таити. Это презрительное слово вообще не выдерживаетъ критики при свѣтѣ современной этнографической науки, которая открыла въ Океаніи цѣлую древнюю цивилизацію, богатую мѣрами и художественными памятниками; таковы, напримѣръ, чудесные полинезійскіе идолы Британскаго и Мюнхенскаго музеевъ. Именно въ Полинезіи, куда направился Гогэнъ, ярче всего отложилась и сохранилась эта древняя океанійская культура и какъ разъ племя Маори, среди котораго онъ жилъ,—самая красивая и сильная раса Полинезіи, цвѣта темной бронзы или обожженной глины—недаромъ островъ Таити называютъ царицей Полинезіи. Всѣ путешественники отмѣчаютъ пластическую красоту стройной и тонконогой маорійки, напоминающей по своему типу нѣчто среднее между негритянкой и испанкой, а новѣйшія художественно-этнографическія изслѣдованія вполне подтверждаютъ высказанную Гогэномъ мысль о полубожественномъ ореолѣ, которымъ окружена женщина на Таити. Ридъ и Стольпе доказали, что вся геометрическая

полинезійская орнаментика (оружіе и утварь) происходитъ отъ схематическаго изображенія женскаго тѣла\*). Въ эпоху матриархата, задолго до французской колонизаціи (1842 г.), таитянка была богиней—и таковой мечталась она Гогэну, таковой возсоздалъ онъ ее на своихъ полотнахъ.

Художникъ могъ преувеличить чары своей золотокожей „Вахинэ“, своей Техуры—ея обаяніе не обязательно для насъ; его подходъ къ таитянской женщины можетъ показаться намъ слишкомъ упрощеннымъ. Но какъ не похожа она, его маорійская вдохновительница, на кокетливую Парахю, возлюбленную Пьера Лори, или на креолку Жанну Дюваль, этого злого генія Бодлэра: таитянка Техура была для Гогэна не эротическимъ гашишемъ, а древнимъ крѣпкимъ, бодрящимъ виномъ, радостнымъ солнечнымъ сокомъ. Культъ „Черной Венеры“, чисто-чувствительный у Бодлэра („*Parfum exotique*“, „*La chevelure*“ и т. д.), пріобрѣтаетъ у Гогэна нѣкій мистическій характеръ. Четырнадцатилѣтняя дѣвочка Техура рисуется ему не только „шедевромъ природы“, но и стихійной хранильницей какой то глубинной тайны, первородной Евой. Черезъ нее хочетъ онъ познать душу древней Океаніи, черезъ нее знакомится онъ съ религіей и исторіей Полинезіи...

Въ этомъ смыслѣ любопытна переписка между Гогэномъ и Стриндбергомъ. Отдавая должное художественному таланту перваго, Стриндбергъ все же на-

\*) См. Read. On the origin and sacred character of certain ornaments of the S. E. Pacific. Лондонъ. 1892.

зываетъ его дикаремъ. „Я не могу понять и полюбить ваше искусство,—пишетъ онъ.—Вы создали новую землю и новое небо, но мнѣ не по себѣ среди вашего мірозданія: оно слишкомъ солнечно для меня, любящаго свѣто-тѣнь, и кромѣ того въ вашемъ раю живетъ Ева, которая не можетъ быть моимъ идеаломъ“... „Ваша цивилизація это—ваше страданіе, мое варварство—мое обновленіе,—пишетъ ему въ отвѣтъ Гогэнъ.—Ваша цивилизованная Ева дѣлаетъ васъ и насъ женоненавистниками; древняя же Ева, которая испугала васъ въ моемъ ателье, могла бы улыбнуться вамъ менѣе ядовито... Она можетъ остаться обнаженной передъ нашими глазами, ваша-же въ этомъ естественномъ состояніи была бы безстыдной, а если она красива,—то къ тому-же была бы источникомъ зла и страданія“...

Но эта идиллія таитянской жизни должна была кончиться весьма прозаично: оказалось, что въ колоніи, какъ и въ Парижѣ, нельзя существовать безъ денегъ. Пробывъ два года на Таити, Гогэнъ принужденъ былъ вернуться обратно.

Сурово встрѣтилъ его Парижъ—всѣ друзья Гогэна разѣхались, и онъ остался наединѣ со своей бѣдностью. Выставка сорока шести таитянскихъ полотенъ, открывшаяся въ 1893 году у Дюранъ Рюэлла не принесла ему ничего, кромѣ насмѣшекъ. Правда, вскорѣ судьба послала Гогэну крошечное наслѣдство (13000 фр.) и онъ смогъ, наконецъ, нанять свою собственную мастерскую; но недолго продолжался этотъ антрактъ его бѣдствій. Деньги ушли на жизнь, на эстетическія bibelots, на фантастическій ко-

стюмъ, наводившій ужасъ на парижскихъ буржуа... И снова рѣшаетъ Гогэнъ покинуть Европу и на этотъ разъ—навсегда. „Тамъ, на Таити, я смогу, по крайней мѣрѣ, кончить свои дни безъ заботы о завтрашнемъ днѣ и вѣчной борьбы съ глупцами; тамъ домъ мой будетъ изъ деревянной рѣзбы. Прощай же, живопись, если она—не развлеченіе“,—пишетъ онъ своему другу. И, распродавъ все, что могъ, онъ уѣзжаетъ на Таити въ 1895 году.

Если первое таитянское путешествіе его было похоже на феерію, то эта вторая и послѣдняя поѣздка превратилась въ драму, въ которой одно дѣйствіе слѣдовало за другимъ съ необходимостью рока, увлекающая его къ необходимому концу. Все новые и новые долги, незаживающая рана въ ногѣ\*), томительная служба изъ-за куска хлѣба въ управленіи общественныхъ работъ, извѣстіе о смерти дочери Алины—все это съ каждымъ днемъ омрачало его настроеніе. Среди его таитянскихъ писемъ, относящихся къ этому послѣднему періоду его жизни и проникнутыхъ горечью и желаніемъ смерти, есть только два болѣе свѣтлыя—одно, въ которомъ онъ благодаритъ друга за присылку сѣмянъ его любимыхъ цвѣтовъ (хризантемъ, анемоновъ, ирисовъ), и другое, въ которомъ, сообщая о рожденіи ребенка отъ таитянки, пишетъ: „ребенокъ, быть можетъ, привяжетъ меня къ жизни, ставшей мнѣ въ тягость“...<sup>\*\*)</sup>

\*) Полученная имъ въ 1894 г. въ Бретани во время столкновенія съ матросами, отъ изнасилованія которыхъ онъ хотѣлъ защитить мулатку, жившую съ нимъ въ Парижѣ.

\*\*) Впрочемъ, Гогэнъ былъ далекъ отъ со-

Однако, несмотря на болѣзнь ноги и наступающую старость, боевой темпераментъ Гогана не смирился; наоборотъ, именно послѣдніе годы его жизни озарялись наиболее яркой вспышкой его воинствующаго духа: въ немъ вскипѣла, быть можетъ, кровь его бабушки, защитницы негровъ. Онъ затѣваетъ неравную борьбу, съ колоніальными сатрапами—борьбу въ которой было не мало личного озлобленія и даже маніи преслѣдованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ не мало и своеобразнаго идеализма. Какъ новый Донъ-Кихоть, подымаетъ онъ мечъ за невозможное, за обреченное—за сохраненіе туземной культуры, золотокожаго челоувѣчества, издаетъ свой собственный сатирический листотъ „Le Sourire“, полный памфлетовъ и каррикатуръ на мѣстную администрацію, который самъ составляетъ, иллюстрируетъ и печатаетъ на гектографѣ.

Все это, вмѣстѣ съ непрерывной нуждой и угрозой чумы, сдѣлало его жизнь на Таити невыносимой, и онъ переселяется на островъ Доминикъ (Маркизскій архип.), еще ближе къ экватору, къ открытому морю. Здѣсь въ мѣстечкѣ Атуана находитъ онъ то-же самое милое сердцу его племя Маори, лишь болѣе свѣтлой—еще болѣе солнцеподобной—окраски. И еще глубже погружается онъ

циализма; правда, онъ презиралъ буржуазную республику, остроумно говоря: *la Republique, c'est un tromp—l'oeil* (республика это—обманъ зрѣнія), но его личныя симпатіи склонялись въ сторону просвѣщеннаго абсолютизма. „Великіе памятники искусства созданы были при деспотахъ; я думаю, что и великіе перевороты будутъ сдѣланы только съ ихъ помощью“,—говорилъ онъ.

въ низины первобытной жизни. „Чѣмъ больше я старѣю, тѣмъ дальше ухожу отъ цивилизаціи“,—признается онъ самъ въ одномъ изъ писемъ... Но и здѣсь, на Доминикѣ, натывается онъ на ненавистныхъ ему миссіонеровъ и культуртрегеровъ. „Благодаря миссіонерамъ исчезло маркизское искусство,—пишетъ онъ въ Парижъ,—ибо эти господа рѣшили, что занятіе скульптурой и декорированіе, это—фетишизмъ, оскорбленіе христіанскому богу. Когда молодая дѣвушка украшаетъ голову вѣнкомъ изъ цвѣтовъ, шопсигнеуръ начинаетъ сердиться. Скоро маркизецъ будетъ неспособенъ влѣзть на кокосовую пальму или взобраться на гору за дикими каштанами, а его ребенокъ—запертый въ школѣ, лишенный физическихъ упражненій, спрятанный въ платьѣ—станетъ хилымъ и ноги его не смогутъ пробѣгать крутыя тропинки, пересѣкать каменистые потоки“. И Гоганъ ведетъ среди туземцевъ пропаганду противъ христіанской школы, высмѣиваетъ священника и начинаетъ фанатическую войну съ мѣстной жандармеріей, притѣсняющей желтокожихъ. Онъ пишетъ жалобу на одного изъ жандармовъ и въ результатѣ—яко-бы за оклеветаніе—присуждается къ тремъ мѣсяцамъ тюрьмы и къ штрафу въ размѣрѣ 1000 франковъ.

„Я попалъ въ ужаснѣйшій капканъ, — пишетъ Гоганъ своему другу въ своемъ послѣднемъ письмѣ.—Неужели всю свою жизнь обреченъ я падать, подыматься и снова падать?.. Все это убиваетъ меня!“ Больной, съ разбитою ногою, собирався онъ вернуться на Таити, чтобы обжаловать рѣшеніе маркизскаго судьи. Но

было уже поздно—9 мая 1903 года смерть избавила его отъ гнѣва жандармовъ и страданій экземы...

Замѣчательны двѣ подробности его конца, сообщенныя нѣкимъ европейцемъ, сосѣдомъ Гогэна. Узнавъ о его смерти, многіе туземцы стали причитать вокругъ его хижины: „Кокэ (Гогэнъ, по туземному) умеръ—мы пропали“. Они намекали на то, что въ лицѣ бѣлаго художника погибъ ихъ послѣдній защитникъ... Между тѣмъ внутри, въ мастерской Гогэна, уже хозяйничали братья-миссіонеры и самъ епископъ маркизскій. И художникъ, всю жизнь поклонявшійся солнцу, какъ богу, и боровшійся за идолы, былъ какъ бы на зло похороненъ по строгому католическому ритуалу. Такъ отомстили ему миссіонеры...

Одинокая, страдальческая смерть, плачущіе дикари и торжествующіе фарисеи—какой это многозначительный, фатальный, почти театральный финалъ жизненной драмы Гогэна! Занавѣсъ опустился надъ нею такъ, какъ онъ долженъ былъ опуститься. Правда, Гогэнъ мечталъ послѣ Таити поѣхать въ Испанію, но это было бы ужеслишкомъ много для одного человѣка. Подобно О. Уальду, онъ долженъ былъ искупить своимъ паденіемъ, своимъ концомъ то право вседержанія (*droit de tout oser*, какъ онъ самъ выражался), которое было паевосомъ его жизни. Человѣкъ, тянувшійся къ солнцу, къ беззаботному, яркому счастью; безразсудный морякъ, говорившій: „я ненавижу полупутье, мнѣ нужно все“,—долженъ былъ принять вѣнецъ мученика. Какъ Русалка у Бальмонта:

„Я видѣла солнце“,—сказала она,—  
„Что послѣ, не все-ли равно!“

#### IV.

Послѣ этого жизнеописанія Гогэна читателю легко будетъ составить себѣ представленіе о характерѣ его творчества и понять, почему творенія его мало популярны въ Парижѣ. Они кажутся современнымъ французамъ черезчуръ сложными и „литературными“, ибо художникъ вкладывалъ въ нихъ не только чувства, но и мысли свои. Когда Гогэнъ говорилъ, что „живопись для него—развлеченіе“, то этимъ онъ хотѣлъ лишь сказать, что живопись должна быть не источникомъ дохода, а свободной игрою души. Какъ и для дикарей Таити, трудъ былъ для него „наслажденіемъ“, но этому наслажденію онъ отдавалъ свои завѣтныя дуины.

Исторія его искусства, это—исторія его скитаній. Надъ всѣмъ, что онъ создавалъ, вѣетъ вольный вѣтеръ моря, рѣетъ любопытство и безстрашіе моряка. „Научиться заново и, научившись, учиться еще и еще; побѣдить всѣ робости—какъ бы смѣшны ни были результаты“,—говорилъ онъ и эти слова—его девизъ, девизъ его корабля.

И, дѣйствительно, онъ учился всю жизнь, но не у профессоровъ академіи, а у природы—какъ Робинзонъ. Перу. Парижъ. Нормандія. Мартиника, Бретань, Провансъ и Таити—вотъ „классы“ его ученія, маршрутъ его исканій, этапъ его развитія. Правда, въ началѣ своего пути онъ былъ ученикомъ Писсарро, этого славнаго піонера импрессионизма. Въ своихъ парижскихъ и нормандскихъ



пейзажахъ Гогэнъ отдалъ дань той научной живописи, основанной на оптическомъ разложеніи красокъ, противъ догматизма которой онъ впоследствии возсталъ. Среди чуждой оттѣнковъ полуценной яркости Мартиники впервые понялъ онъ всю условность мелочной техники импрессионистовъ, рожденной туманностью пригородной природы. Но подлиннымъ поворотнымъ пунктомъ въ его живописи приходится считать его пребываніе въ Бретани. Здѣсь, очарованный простотой и величественностью природы, простотой и величественностью церковныхъ готическихъ стеколъ и архаическихъ деревянныхъ распятій, онъ окончательно прощается съ манерой Писсарро. Отъ анализа къ синтезу, отъ детальнаго нюанса къ декоративной красочной массѣ, отъ мимолетнаго впечатлѣнія къ величавой, монументальной гармоніи—такъ можетъ быть формулированъ переворотъ, происшедшій съ Гогэномъ въ Бретани. Въ его картинахъ, написанныхъ въ Понтъ-Авенъ и Пульду, вполне опредѣлилась уже та широкая, плоская и упрощенная манера живописи, полная декоративности и вмѣстѣ съ тѣмъ внутренней глубины, которая потомъ утвердилась на Таити. Болѣе того—если палитра его расцвѣла во всю свою пышную красоту лишь впоследствии, то въ смыслѣ задушевности и поэтичности эти бретонскія работы занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ его творествѣ. Если-бы онъ ничего не создалъ, кромѣ нихъ, то и тогда бы онъ былъ великимъ художникомъ! Таковы его „Желтый Христосъ“, „Борьба Іакова съ Ангеломъ“, „Распятіе“ и др. Но

откуда это христіанское вдохновеніе у дикаря Гогэна? Ключомъ къ пониманію этой загадки является его картина „Желтый Христосъ“—это деревянное грубое Распятіе ранней готики, передъ которымъ молитвенно застыли такіе же первобытные бретонскіе крестьянки. Именно такъ подходилъ Гогэнъ къ своимъ Евангельскимъ сюжетамъ—сквозь призму архаическаго фольклора, сквозь призму полу-языческой, полухристіанской психологіи. Его бретонскія деревья, упрощенныя до одного арабеска, похожи на знаменитые сбломки Карнака, остатки каменнаго вѣка. Въ его Бретани есть отзвукъ Мартиники и предчувствіе Таити.

Въ Полинезіи язычество окончательно восторжествовало въ его творествѣ надъ христіанствомъ—и величавая, матовая гамма его бретонскихъ пейзажей засверкала всѣми цвѣтами солнца, всей полихроміей экзотики. Смирная, наивная нота, звучавшая въ его бретонскомъ циклѣ, смѣнилась гордыней дерзостнаго субъективизма. Художникъ, оставшійся одинъ на одинъ съ природой, на которую не посягалъ еще ни одинъ изъ европейскихъ собратьевъ его, почувствовалъ себя полновластнымъ ея господиномъ. Какъ Колумбъ, водрузилъ онъ знамя своей творческой воли на новой землѣ и заявилъ, что не признаетъ никакихъ законовъ въ искусствѣ, кромѣ закона внутренней гармоніи, никакой истины, кромѣ „истины художественной лжи“. Природа—красива, но этого мало: онъ, художникъ, имѣетъ право „преувеличивать“ ея красоту (droit d'exagération). Богъ создалъ яркій

міръ, но онъ хочетъ затмить самого Бога. „Кило краски всегда ярче половины кило—вотъ почему на картинѣ (которая является природой въ миніатюрѣ) стволъ дерева долженъ быть болѣе синимъ, чѣмъ въ дѣйствительности“—учить Гогэнъ, и его дѣтски-экзальтированному взору открылись въ природѣ незримыя для другихъ драгоценности красокъ—изумруды травы, сапфиры и топазы неба, аметисты солнечной тѣни, рубины цвѣтовъ, слитки червоннаго золота въ краснокожихъ тѣлахъ. Но этого мало. Вѣдь природа—сложна и хаотична въ безконечномъ богатствѣ своемъ, и вотъ онъ, художникъ, имѣетъ право упростить ее, привести къ одному ансамблю, отыскать гармонію между ея отдѣльными частями. Отсюда — Гогэнсовскій символизмъ, его исканіе живописныхъ аналогій, сознательный лаконизмъ его рисунка. Его таитянки похожи на цвѣты, его деревья сплетаются, какъ руки, его пальмы напоминаютъ попугаевъ, а розовый морской песокъ вызываетъ чувственный образъ женскаго тѣла. Такъ флора, фауна и человѣкъ сливаются у Гогэна въ одну широкую, полновзвучную симфонію, въ которой ритмы радости чередуются съ черными переборами мистической жуты...

Но подъ кажущимся ирраціонализмомъ и эготизмомъ Гогэновскаго міровоспріятія таилась нѣкая объективная основа. Онъ былъ большимъ ребенкомъ, но его творчество—не карточный домикъ. Подъ гордыней его самоувѣренности скрывалась великая преемственность. „Ахъ,

эта подозрительное отыскиваніе родства между художниками! Ахъ, эта манія художниковъ оберегать свою оригинальность, какъ женщины свою красоту. Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ—художникъ не рождается сразу. Пусть онъ вноситъ новое звено въ начатую цѣпь—это уже много“,—такъ говорилъ этотъ художникъ, котораго публика обвиняла въ кривляніи.

Какимъ же „звеномъ“ былъ онъ самъ? „Всякій истинный художникъ—ученикъ своей модели. Таковымъ хотѣлъ быть и я—я держалъ кисть, а маорійскіе боги направляли мою руку“ („Ноа-Ноа“). И, дѣйствительно, на Таити, какъ и въ Бретани, онъ остался вѣренъ фольклору.

Скульптура древнихъ Инковъ, индѣйское искусство музея Guimet полинезійскіе идолы, маорійскіе миѣны—все это отложилось въ его таитянскихъ работахъ. Его творчество было опрощеніемъ отъ некультурнаго академизма и приобщеніемъ къ архаической культурѣ, къ глубинѣ воспріятія народа-творца.

Именно въ этой борьбѣ съ мѣщанскимъ индивидуализмомъ, въ этомъ возвратѣ къ истокамъ искусства огромное значеніе Гогэна. Его мечта о Золотомъ Вѣкѣ золотокожаго человѣчества интересна скорѣе для его біографа, но его жизнь и живопись сыграли такую же роль въ современномъ сознаніи, какъ раскопки архаической Греціи, какъ переоцѣнка итальянскихъ примитивовъ, какъ научное изученіе дѣтскихъ рисунковъ. Гогэнъ, это—зовъ отъ закатной усталости къ свѣжему утру, къ солнечной бодрости...

Я. Тугендхольдъ.

# БАЛЬМОНТЪ.

25 лѣтъ творчества.

Бальмонтъ зналъ, чего просить у Солнца!

Жизни податель,  
Свѣтлый создатель,  
Солнце, тебя я пою!  
Пусть хоть несчастной  
Сдѣлай, но страстной,  
Жаркой и властной  
Душу мою.

Онъ соглашался даже на несчастье,  
лишь бы получить... счастье.

Дай мнѣ на пирѣ  
Звукомъ быть въ лирѣ—  
Лучшаго въ мірѣ  
Счастья нѣтъ...

Можетъ ли быть несчастной душа—  
страстная, жаркая, властная? И какъ не  
знать было Великому Солнцу, что и вся  
эта сдѣлка лукавая, и слова о несча-  
стной душѣ есть только «игра въ игры  
любовныя» и гимнъ счастливца, скло-  
ненного передъ любовникомъ—мольба о  
томъ, чѣмъ радостно уже владѣешь...

Оба они хорошо понимали другъ дру-  
га! Найдется ли еще одинъ такой  
солнцепоклонникъ, какъ Бальмонтъ.  
кто „посвятилъ бы солнцу всѣ свои  
мечты“? „Я въ этотъ міръ пришелъ,  
чтобъ видѣть Солнце,—А если день  
погасъ, я буду пѣть... я буду пѣть о  
Солнцѣ въ предсмертный часъ“!

И за страсть къ себѣ возлюбилъ его  
„Страшный сжигающій Свѣтъ“. Слив-  
шись въ безмѣрной любви, поэтъ уже  
не могъ отдѣлить себя отъ солнца.

Свой мозгъ пронзилъ я солнечнымъ лучомъ.  
Гляжу на лучъ. Не помню ни о чемъ.  
Я вижу свѣтъ и цвѣтовой туманъ.  
Мой духъ влюбленъ. Онъ упоенъ. Онъ пьянъ.  
Какъ лучъ горитъ на пальцахъ у меня!  
Какъ сладко мнѣ присутствіе огня!  
Смѣшалось все. Людское я забылъ.  
Я въ міровомъ. Я въ центрѣ вѣчныхъ силъ.  
Какъ радостно быть жаркимъ и сверкать!  
Какъ весело мгновенья сжигать...  
Со свѣтлыми я свѣтомъ говорю.  
Я чувствую. Блаженствую. Горю.

И въ творчествѣ они—сжигали. „Въ тотъ  
часъ,—восторженно поетъ Бальмонтъ,—  
когда я въ нѣжномъ звонѣ слагаю пѣснь  
высокому Царю, ты жжешь костры въ  
глубокомъ небосклонѣ, и я, свѣтло сжи-  
гая жизнь, горю!“ И солнце, и все, что  
тантъ въ себѣ лучи его, помогало влюб-  
ленному поэту.

„Я звучныя пѣсни не самъ созда-  
валъ,—признается Бальмонтъ,—мнѣ  
забросилъ ихъ грозный обвалъ. И въ-  
теръ, влюбленный, дрожа по струнѣ,  
трепетанія передалъ мнѣ. Воздушныя  
пѣсни съ мерцаньемъ страстей я под-  
слушалъ у звонкихъ дождей“... Онъ не

можетъ уже отдѣлить себя отъ міра, отъ ничтожной былинки, которую прожигаетъ свѣтъ, отъ облака, отъ порыва вѣтра—и себя уже видитъ во всемъ. Лучъ солнца—это я...

Я вольный вѣтеръ, я вѣчно вью,  
Волную волны, ласкаю нивы,  
Въ вѣтвяхъ вздыхаю, вздохнувъ нѣмью,  
Лелѣю травы, лелѣю нивы.  
Весною свѣтлой, какъ вѣстникъ мая,  
Цѣлую ландышъ, въ мечту влюбленный..  
...Взметаю тучи, взрываю море...

„Мнѣ чудится, будто во мглѣ голубой, во мглѣ голубой я горю“.

Безуміе это или гениальность—видѣтъ отраженіе своего лица во всемъ, что приняло лучи солнца? Но онъ искрененъ—такую искренность не поддѣлаешь! Онъ чувствуетъ свое „я“: въ коромыслѣ съ нѣжными крыльями, въ снѣжинкѣ пушистой, въ „линіи свѣта ласковой дальней луны“,—во всемъ онъ чувствуетъ свое „я“ и какъ бы растворяется въ природѣ, не умирая. Можно сказать, чудо свершилось съ душой „властной“ — *чудо растворенія въ міръ до смерти*, до перемѣны земной формы, до физическаго перехода за послѣднюю черту. Онъ чувствуетъ какія-то прозрачныя пространства, „далеко въ безпредѣльности, свободный отъ всего. „Горящій атомъ, я лечу въ пространствахъ“...

И прозрѣніе, какъ послѣднюю награду за любовь и черезъ любовь къ себѣ, Солнце даруетъ поэту.

„Мнѣ открылось, — говоритъ Балъмонтъ, и трепетъ слышенъ въ его тонѣ,—мнѣ открылось, что времени нѣтъ, что недвижны узоры планетъ, что безсмертіе

къ смерти ведетъ, что за смерью безсмертіе ждетъ“.

Чувство растворенія себя въ міръ не могло не привести къ полному отрицанію смерти. Если чувствуешь себя въ травѣ, въ рыбкѣ золотой на берегу пруда, можетъ ли быть страданіе отъ того, что это мое человѣческое тѣло обратится въ прахъ?..

„Не вѣрь тому, кто говоритъ, что смерть есть смерть—она начало жизни!“

„Я знаю,—что нѣкогда въ рыхлой весенней землѣ

Червеи я съ червемъ наслаждался въ чарующей мглѣ.

Я знаю, что нѣкогда, въ воздухѣ, темномъ отъ грозъ,

Среди длиннокрылыхъ межъ братьевъ я былъ альбатросъ...

Я съ солнцемъ сливался

И мною разсвѣтъ былъ зажженъ...

Это не идея эволюціи и не то примиреніе со смертью, которое называется покорностью отъ отчаянія. Это принятіе смерти черезъ радость жизни, полное сліяніе двухъ чувствъ—смерти и жизни.

Я знаю, есть иное сіянье для насъ,

Что горитъ передъ взоромъ навѣки потухнувшихъ глазъ.

Въ немъ внезапное знаніе, въ немъ ужасъ, восторгъ

Предъ безмѣрностью новыхъ глубокихъ пространствъ.

Для чего, изъ чего, кто ихъ взялъ, кто исторгъ,

Кто облекъ ихъ въ лучи малозвѣздныхъ убранствъ?

Я иду за отвѣтомъ!

О, душа восходящей стихіи, стремящейся въ твердь.

Я хочу, чтобы бѣлымъ немеркнушимъ свѣтомъ засвѣтилась мнѣ—Смерть.

„Намъ не дано,—говоритъ онъ въ другомъ стихотвореніи,—понять всю пре-

лестъ смерти; мы можемъ лишь почувствовать ее—чтобъ не было для нашихъ душъ соблазна до времени покинуть міръ земной и, не пройдя обычныхъ испытаній, уйти со своими слабыми очами туда, гдѣ бѣ ослѣпилъ насъ высшій свѣтъ“.

Чувство цѣлесообразности! Для того мы слѣпы здѣсь, чтобы не ослѣпнуть тамъ! Что-жъ! для жизнерадостной души все открыто! Она все знаетъ! Бальмонтъ слышитъ „запахъ солнца...“ и слышитъ, какъ шепчутся о немъ дождевыя капли, стекающія съ крыши... Онъ „узналъ, какъ ловить уходящія тѣни“, и въ тотъ часъ, когда ночь наступаетъ уже для людей, онъ, восшедшій на высоты, продолжаетъ видѣть свое возлюбленное солнце. И признавъ смерть черезъ любовь къ солнцу, поэтъ достигаетъ божескихъ проникновеній.

„О, люди; я къ вамъ обращаюсь ко всѣмъ! Узнайте, что былъ я несчастенъ и нѣмъ, но разъ полюбилъ я возвышенность горъ и все полюбилъ я съ тѣхъ поръ“.

„Есть намеки тайные въ будничныхъ вещахъ, — сообщаетъ онъ въ одномъ изъ лучшихъ и характернѣйшихъ своихъ стихотвореній —

Есть необычайныя  
Пропasti въ сердцахъ.  
Вѣрь въ приходъ... нежданнаго.  
Тайна есть во всемъ...  
Въ сердцахъ иного страннаго  
Мы живемъ... живемъ...

Есть цвѣтокъ, который расцвѣтаетъ разъ въ сто лѣтъ. Яркій, таинственный... почему онъ цвѣтетъ только разъ въ сто

лѣтъ?.. Немногимъ, вѣроятно, пришлось заглянуть на дно его чаши... Было время, когда многіе не признавали Бальмонта— даже въ періодъ его пышнаго расцвѣта... Желаніе быть „дерзкимъ“—и вѣчно для всѣхъ раскрытая грудь влюбленного въ солнце поэта сбила съ толку скромныхъ мудрецовъ.

Чувство растворенія въ природѣ чуждо имъ. Какъ они могли понять то, чего никогда не испытывали!

— Ломаніе...—говорили они, когда Бальмонтъ называлъ себя Богомъ или дьяволомъ,—манія величія!

Когда онъ называлъ себя былинкой придорожной, они ворчали сердито: „декадентъ“! и видѣли только заносчивость и самохвальство. Ихъ онъ просиль:

„Не кляните, мудрые, что вамъ до меня!  
Я, вѣдь, только облачко, полное огня,  
Я, вѣдь, только облачко! видите—плыву  
И зову мечтателей, васъ я не зову!“

Но и эти мудрые, которыхъ онъ не звалъ, не могли не признать, что Бальмонтъ, какъ бы къ нему, ни относиться одинъ изъ тѣхъ поэтовъ, которые приходятъ къ людямъ разъ въ сто лѣтъ. Съ душою страстной, жаркой и властной, смѣлый до наглости въ словахъ и чувствахъ, заносчивый и кроткій, и все прощающій—странный поэтъ... Яркій, какъ сказочный цвѣтокъ чампы.

Мнѣ не приходилось встрѣчаться съ Константиномъ Бальмонтомъ—или видѣть его фотографической карточки—лица его для меня не существуетъ... Черты его лица какъ бы расплылись въ природѣ. Когда говорятъ о Бальмонтѣ, мнѣ вспо-

# АПОЛЛОНЪ

Въ 1912 г. художественно-литературный журналъ „Аполлонъ“ выходитъ ежемѣсячно, кромѣ  
 июня и июля (т. е. 10-ю выпусками), при прежнемъ составѣ сотрудниковъ, съ большимъ ко-  
 личествомъ репродукцій (въ краскахъ, фото и автолитографіи и т. д.) произведений русскихъ и  
 иностранныхъ художниковъ (по 40—45 репродукцій въ каждомъ выпускѣ, при чемъ  
 эти иллюстраціи сопровождаются статьями монографіями) и представляютъ или творчество  
 отдельныхъ мастеровъ, или цѣлое художественное направленіе, или выставку, частное собра-  
 ніе и т. п. Въ журналѣ помѣщаются также статьи общаго характера по вопросамъ живописи,  
 зодчества, скульптуры, поэзіи, литературы, театра, музыки, танца, въ особенности же — статьи,  
 освѣщающія современныя исканія въ области искусства въ связи съ художественнымъ наслѣ-  
 діемъ прошлаго.

Широко поставленная хроника „Аполлона“ дает по возможности полную и своевременную картину жизни искусства в России и за границей. Въ течение мѣсяцевъ январь—апрѣль и сентябрь — декабрь русская хроника, — подъ названіемъ „Русская Художественная Лѣтопись“ — разсылается подписчикамъ два раза въ мѣсяць — каждое 1-ое и 15-ое число (отдѣльно отъ журнала).

[illegible]

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ — С.-Петербургъ, Мойка 24, кв. 6.

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЮИ ДЕ МОПАССАНА.

**только за 4 руб.**

**ЦЕНА за ОТДЕЛЬНЫЕ КНИГИ:**

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| 1) Пышка и др. рассказы. 40 к.      |  | 7) Маджумазель Фифи и др. разск. 50 к.  |
| 2) Домъ Телье и др. разск. 50 к.    |   | 8) Сестры Рондоли и др. рассказы. 60 к. |
| 3) История одной жизни—романъ 75 к. |   | 9) Маленькая Рокъ. 50 к.                |
| 4) Нашъ милый другъ—романъ. 1 р.    |   | 10) Напрасная красота. 50 к.            |
| 5) Сильна какъ смерть—романъ. 1 р.  |   | 11) Госпожа Гюссони. 50 к.              |
| 6) Сказки бекаса—50 к.              |   | 12) Сказки дня и ночи. 60 к.            |

Полный комплект из 12 книг вместо 7 р. 35 к. высылается за 4 руб.

**Перечисленные книги продаются в отдельности при следующих синодах:**

При покупке на сумму свыше 2 р., уступка 15%, свыше 3 р., — 25%.

**Комплектъ изъ всѣхъ 12 книгъ—4 руб.**

**Книги высылаются и наложенным платежом.**

При выписке всего комплекта в 12 книгах необходимо присылать задаточных не менее 2р.3а наложение платежа на любую сумму взимается дополнительных 25 н.

**ПЕРЕСЫЛКА ПО СТОИМОСТИ ПОЧТОВОГО ТАРИФА.**

Съ заказами обращаться въ контору журнала „НЕДЕЛЯ“.

**С.-Петербург, Солдатский, 6.**

Издательство „Нов. Журнала для Всѣхъ“. (Годъ изд.—V-ый).

1 р. 90 к. въ  
годъ безъ  
доставки.

Открыта подписка на 1912 годъ.

2 р. 20 к. въ  
годъ съ  
пересылк.

## НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛѢ ВСѢХЪ

Вступая въ пятый годъ изданія, журналъ ставитъ своею основною цѣлью дать самымъ широкимъ кругамъ читателей возможность имѣть за вѣсь доступную цѣну ежемѣсячникъ, въ которомъ помѣщаются произведенія лучшихъ литературныхъ и научныхъ силъ. Художественность, серьезность содержанія и популярность изложенія, при полной доступности цѣны—таковы задачи „Новаго Журн. для Всѣхъ“. Широко поставлены отдѣлы: 1) беллетристическій, 2) научно-популярный, 3) критическій, 4) обществен.-политич. 5) художествен. и др.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками больш. формата (130-140 стр.) съ художественными иллюстраціями на отдѣльныхъ листахъ.

**СОДЕРЖАНІЕ ДЕКАБРЬСКОЙ и ЯНВАРЬСКОЙ КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА:**

Беллетристика: Евг. Чириковъ.—На развалинахъ. Н. Олигеръ.—Подарокъ. А. Серафимовичъ.—Порядокъ жизни. А. С. Гринъ.—Синій каскадъ Теллури. А. Осендовскій.—Въ глѣзу за оврагомъ. В. Брусянинъ.—Повѣсили. А. Вережниковъ.—Сивва. А. Гусановъ.—Архіерейская дача. А. Колабуховъ.—Старый рыбакъ. Стихи: Вас. Гиппіуса, Вл. Ленскаго, Г. Вяткина, В. Нарбута и др. Статьи: П. Берлина, Г. Гордона, Н. Надмина, Н. Лернера, М. Новорусскаго, П. Славина, В. Фриче, М. Энгельгардта и др.

Годовые подписчики получаютъ бесплатное приложение:

**2 ТОМА** рассказовъ и повѣстей **Ф. ШПИЛЬГАГЕНА**

Подписная цѣна: на годъ безъ доставки 1 р. 90 к., съ пересылкой—2 р. 20 к. на 1/2 г.—1 р. 20 к. За гран.—3 р. 25 к., отдѣльн. книжки въ магаз. по 25 к. пробн. № высыл. за пять 7 к. маронъ.

Адресъ главной конторы: Петербургъ, Знаменская, 7.

Выписывающіе одновременно „Нов. Журн. для Всѣхъ“ и „Нов. Жизнь“ платятъ за оба журн. 6 р. 60 к. Разсрочка: 3 р.—при подп., 2 р.—1 Апр., 2 р.—1 июля.

Издательство „Новаго Журнала для Всѣхъ“

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА

## ЛЮБОВЬ КЪ ДАЛЕКОЙ

Книга рассказовъ ВИКТОРА ГОФМАНА.

Весь чистый доходъ отъ изданія предназначенъ на устройство въ Парижѣ памятника на могилѣ писателя.

Цѣна книги 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 45 к.

Доньги адресовать въ конт. изд-ва „Новаго Журнала для Всѣхъ“:

СПБ., Знаменская, 7.

# НОВАЯ ЖИЗНЬ

## СОДЕРЖАНІЕ

1912 г.

Апрѣль

№ 4.

	СТР.
ФЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.—Слаще яда. Романъ . . . . .	3
НАТ. КРАНДІЕВСКАЯ.—Въ Москвѣ. Стих. . . . .	58
А. ГРИНЪ.—Приключенія Гинча. Повѣсть (оконч.) . . . . .	59
ФРИДРИХЪ ХУХЪ.—Питтъ и Фоксъ. Романъ (продолженіе). Пер. К. Жихаревой . . . . .	84
ВАЛ. КРИВИЧЪ.—Они. Стих. . . . .	103
Л. КЛЕЙНБОРТЪ.—На перепутьи. (Картинки студенческой жизни). . . . .	104
М. ДОВНАРЪ-ЗАПОЛЬСКІЙ, пр. ф.—Императоръ Александръ I . . . . .	136
А. ЛУНАЧАРСКІЙ.—Памяти А. И. Герцена . . . . .	166
ЛЮБОВЬ ГУРЕВИЧЪ.—„Гамлетъ“ въ Московскомъ Художественномъ театрѣ. . . . .	190
П. БЕРЛИНЪ.—„Новое Время“ и нововременцы . . . . .	204
С. ПАТРАШКИНЪ.—Отцы и дѣти . . . . .	230
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ:	

Первый сборникъ издательства „Товарищества писателей“—  
Ан. Чеботаревская.—Н. Н. Златовратскій. Собр. соч.—Е. Кол-  
тоновская. — „Великая Россія“. Сборн. статей. — Н. Вален-  
тиновъ . . . . .

ОБЪЯВЛЕНІЯ.



# Главная Контора

журналовъ „Новая Жизнь“ и „Новый Журналъ для Всѣхъ“ извѣщаетъ подписчиковъ, выписывающихъ въ разсрочку одновременно оба журнала и УПЛАТИВШИХЪ ПРИ ПОДПИСКѢ МЕНѢ ПЯТИ РУБЛЕЙ, что имъ высылка апрѣльскихъ книжекъ ПРИОСТАНОВЛЕНА.

## Отъ редакціи.

Рукописи, присланныя въ редакцію, должны быть переписаны на пишущей машинѣ и снабжены именемъ и адресомъ автора.

Непринятые рукописи, менѣ печатнаго листа, возвращенію не подлежатъ, и редакція рекомендуетъ авторамъ оставлять у себя копіи такихъ рукописей. Относительно непринятыхъ стихотвореній редакція ни въ какую переписку не вступаетъ.

Рукописи болѣе листа, непринятые для напечатанія, хранятся въ теченіе трехъ мѣсяцевъ. На отвѣтъ и возвращеніе рукописей прилагаются марки.

Пріемъ по дѣламъ редакціи по вторн. и субб. отъ 3 до 5 ч.

## Отъ конторы.

За перемѣну адреса—50 к. для иногороднихъ,—для городск. подписчиковъ—40 к. Выписывающіе одновременно „Нов. Журн. для Всѣхъ“ и „Новую Жизнь“ платятъ — иногор. 70 к. и городск.—50 к. При новомъ адресѣ слѣдуетъ сообщать прежній свой адресъ съ бандероли.

Такса объявленій въ журналѣ „Новая Жизнь“: послѣ текста—страница—80 р.,  $\frac{1}{2}$  стр.—45 р.,  $\frac{1}{4}$  стран.—25 р., строка нонпарели (въ одну колон.)—40 к.

На обложкѣ: 2 и 3 стран.—100 р.,  $\frac{1}{2}$  стран.—60 р.,  $\frac{1}{4}$  стран. 35 р. строка нонпар. (въ одну колон.)—80 к.; 4-ая стран.—120 р.,  $\frac{1}{2}$  стр.—70 р.,  $\frac{1}{4}$  стр.—40 р.

Въ Москвѣ подписка принимается въ конторѣ Печковской. Контора „Новой Жизни“ убѣдительно проситъ г.г. подписчиковъ при всѣхъ сношеніяхъ съ ней писать свои адреса какъ можно болѣе четко.

# С Л А Щ Е Я Д А.

Р О М А Н Ъ.

Ч А С Т Ъ П Е Р В А Я. \*).

ГЛАВА I.

Два гимназиста шли домой по аллеѣ Лѣтняго сада дремوتнаго уѣзднаго города Сарыни и равнодушно посматривали на величавые дубы. Мальчикамъ не жаль было желтыхъ листиковъ, которые начали падать на сыроватый послѣ утренняго дождя песокъ. Они были заняты разговоромъ, особенно одинъ изъ нихъ, лѣтъ семнадцати, въ потертомъ мундирѣ, порыжѣлой фуражкѣ, тусклыхъ и морщинистыхъ сапогахъ. Руки его велики и грубоваты, угреватое лицо добродушно, сѣрые маленькіе глаза смотрятъ иногда восторженно и умно. Имя его—Владимиръ Гарволинъ. Другой, Евгеній Хмаровъ,—щеголь. Мундирчикъ на немъ новенькій, сшитъ превосходно. Лицо и руки Хмарова бѣлыя, съ нѣжною кожей. Онъ высокъ для своихъ шестнадцати лѣтъ,—выше Гарволина на полголовы,—строены и красивы. Его лицо портитъ высокомерная усмѣшка, которая не идетъ къ мягкимъ чертаніямъ рта и подбородка.

Гарволинъ горячился и пылко говорилъ:

— Связи, карьера—вотъ ты о чемъ мечтаешь. А все это—ужасная чепуха! Милліоны людей обходятся безъ связей и не помышляютъ ни о какой карьерѣ. А мы, черствые эгоисты, воспитанные на народныя трудовыя деньги, вмѣсто того, чтобъ помнить свой долгъ передъ народомъ, думаемъ о томъ, какъ бы лучше устроиться.

Хмаровъ шелъ немного впереди и насмѣшливо улыбался.

— Идеалистъ!—сказалъ онъ, наконецъ. — Что мнѣ за дѣло до народа? Онъ сильнѣе меня, и тебя, и всѣхъ насъ,—пусть самъ о себѣ позаботится. Любовь—штука хорошая, что и говорить,—только ею сытъ не будешь. Любить можно по настоящему только тогда, когда обезпеченъ.

---

\*) Первые главы этого романа, которыя были уже напечатаны раньше въ сборникѣ разсказовъ „Книга разлукъ“; перепечатываются здѣсь для цѣльности впечатлѣнія.

— Да пойми, что любовь прочнѣе всего обезпечиваетъ жизни! — энергично воскликнулъ Гарволинъ.

— Какъ бы не такъ! — возразилъ Хмаровъ. — Вотъ я, напримѣръ, люблю сигары. А безъ денегъ какія сигары!

— Экій ты циникъ! — съ кроткимъ негодованіемъ сказалъ Гарволинъ.

Смуглыя щеки его покрылись румянцемъ. Хмаровъ говорилъ:

— Ничего не циникъ. И женщины денегъ стоятъ. Къ нимъ, братъ, безъ подарковъ лучше и не суйся.

— Ты клеветашь на женщинъ, — сказалъ Гарволинъ.

— Ну, нѣтъ, братъ, ужъ это-то я по опыту говорю, — хвастливо возразилъ Хмаровъ и молодцовато оглядѣлся вокругъ бойкими сѣрыми глазами, въ которыхъ было что-то блудливое.

„А въ самомъ дѣлѣ“, — подумалъ онъ: — „надо подарить что-нибудь Шанечкѣ. Дитя! Ее и это еще позабавить“.

— Вотъ только безденежье наше! — сказалъ онъ вслухъ, и по его лицу пробѣжала гримаска озабоченности.

— Вы богато живете, — замѣтилъ Гарволинъ. — Чай, здорово денегъ просаживаете.

— Что дѣлать. Нельзя же намъ жить какъ-нибудь. Вѣдь, мы не какіе-нибудь... мѣщане.

— Эхъ вы, барская спѣсь!

Хмаровъ надменно усмѣхнулся.

— Однако, прощай, — сказалъ онъ. — Мнѣ тутъ подождать надо.

Гимназисты остановились на площадкѣ сада. Гарволинъ вздохнулъ и угрюмо глянулъ въ сторону.

— Шаньку, Самсонову ждешь? — спросилъ онъ искусственнымъ басомъ.

— А ты почему знаешь?

— Секретъ-то не того... не великъ.

— Да, братъ, жду: просила здѣсь подождать, когда пойдетъ изъ гимназіи.

— Что-жъ ты съ ней въ серьезъ или такъ? — сумрачно спросилъ Гарволинъ.

— Шутить чужими чувствами — не въ моихъ принципахъ, — внушительно отвѣтилъ Хмаровъ.

— Ишь ты!

— Да. Вотъ видишь, почему я думаю о карьерѣ: на моихъ рукахъ не одна моя судьба. Не для себя самого я хочу сдѣлать карьеру, а для любимой дѣвушки.

— Дѣвченка еще она, да и ты, братъ, зеленъ.

— За свои чувства я ручаюсь, — пылко отвѣтилъ Хмаровъ, краснѣя, — а она... она, братъ, лучше всѣхъ женщинъ, какія когда-нибудь жили.

Голосъ его зазвенѣлъ юношескимъ восторгомъ, и холодные глаза блеснули.

— Ну, давай вамъ Богъ!—безнадежно сказалъ Гарволинъ.

Хмаровъ внимательно посмотрѣлъ на него и спросилъ насмѣшливо:

— Ты что-жъ, тоже влюбился?

Гарволинъ махнулъ рукою, пожалъ руку Хмарова и торопливо пошелъ прочь.

„Бѣдняга!“ подумалъ Хмаровъ: „что дѣлать, женщины цѣнять виѣшность, уважаютъ самоувѣренность, смѣлость“.

Онъ смахнулъ со скамейки пыль тонкимъ платкомъ и сѣлъ. Лѣнливо снялъ онъ фуражку и провелъ рукою по свѣтлымъ, коротко остриженнымъ волосамъ. Гарволинъ отошелъ нѣсколько шаговъ, понуриавъ голову и широко махая красными руками. Внезапно онъ остановился, круто повернулся къ Хмарову и крикнулъ:

— Я пойду къ Степанову, не зайти-ли за тобой?

— Ахъ, да,—встрепенулся Хмаровъ,—онъ все еще валется?

— Не встаетъ.

Хмаровъ подвигался на скамейкѣ, усѣлся поудобнѣе, протянулъ ноги и сказалъ:

— Экій бѣдняга! Я бы пошелъ, да, вѣдь, ты знаешь—мои дамы такія мнительныя.

— Махни по секрету!—посоветовалъ Гарволинъ.

— Неудобно, кто-нибудь увидить... Онъ отъ одной мнительности, пожалуй, захворають. Ужъ я лучше послѣ.

— Какъ знаешь,—сказалъ Гарволинъ и повернулся было уходить.

— Послушай!—окликнулъ его Хмаровъ.

— Ну?—дикимъ голосомъ спросилъ Гарволинъ и наклонилъ къ Хмарову правое ухо.

«Экій медвѣдь»,—подумалъ Хмаровъ, улыбнулся и сказалъ:

— Я хотѣлъ тебя спросить, не нуждается ли онъ въ чемъ.

— Да ужъ въ насъ съ тобой не нуждается, не безпокойся,—грубо отрѣзалъ Гарволинъ и зашагалъ дальше.

По тому, какъ онъ пошевеливалъ плечами и размахивалъ руками, видно было, что онъ сердится.

Хмаровъ прислонился къ спинкѣ скамейки и закрылъ глаза. Черноглазая дѣвочка представилась ему,—смуглое личико съ бойкою улыбкою и веселыми глазами. Онъ плотнѣе сжалъ глаза, всматривался и улыбался. Милыя очертанія смѣялись, жили, сочные губы шевелились неслышными словами. А тепловатый вѣтерокъ вѣялъ, увядающіе листья изрѣдка падали съ грустными, еле слышными шорохомъ.

Вдругъ услышалъ онъ скрипъ песчинокъ, шелестъ юбочекъ и говоръ

дѣвочекъ. Гимназистки—судя по голосамъ, ихъ было пять или шесть—прощались. Знакомый голосъ звенѣлъ задорно. Вотъ онѣ разошлись, знакомые шаги направились къ Хмарову.

— Шаня!—воскликнулъ онъ и открылъ глаза.

Передъ нимъ стояла красивая дѣвочка лѣтъ четырнадцати, рослая и крѣпкая. Нѣсколько дикая веселость брызгала изъ каждой черточки смуглаго лица, по которому безпрестанно пробѣгали смѣшныя, милыя гримаски. Загорѣлыя щеки говорили объ избыткѣ здоровья. Большіе черные глаза дерзко глядѣли изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ. Полусросшіяся густыя брови казались на первый взглядъ слишкомъ тяжелыми для веселаго лица, но онѣ соотвѣтствовали его твердымъ очертаніямъ.

— Какой ты милый, Женечка,—говорила Шаня звенящимъ голосомъ.— Вотъ-то не ожидала тебя встрѣтить.

— Вѣдь, я сказалъ, Шанечка, что подожду: ты должна была вѣрить,—сказалъ Хмаровъ съ ласковымъ упрекомъ.

— Ну, а я такъ и думала, что ты улепетнешь къ своимъ дамамъ, а нѣтъ тутъ какъ тутъ.

Женя засмѣялся, но сейчасъ же спохватился, нахмурился и строго сказалъ:

— У тебя, Шаня, прескверная манера выражаться

Шаня притихла, присѣла на скамью, сдѣлала испуганные глаза и сказала слегка дрогнувшимъ голосомъ:

— У меня, Женя, прескверныя дѣла, вотъ что лучше скажи.

— Да?—участливо спросилъ Женя и сѣлъ рядомъ съ нею.—Провалилась таки?

— Провалилась,—плачевно сказала Шаня и грустно опустила голову, хмури брови.

— Какъ же ты такъ?

— Вотъ поди-жъ ты. Боюсь, что-то дома будетъ.

— Старикъ разсердится?

— Задастъ онъ мнѣ трепака,—печально сказала Шаня и вдругъ засмѣялась неудержимо и звонко.

— Ну да, трепака!—утѣшилъ Женя.—Съ чего такъ строго? Ахъ ты, легкомысленная головушка! Ты лѣнивая, если даже переэкзаменовки не могла выдержать.

— Вотъ еще новости—лѣтомъ учиться! На то зима. И зимой-то зубрежка надоѣстъ.

— Вѣдь, если такъ будетъ продолжаться,—усовѣщевалъ Женя тономъ старшаго,—то тебѣ и диплома не дадутъ.

— Не дадутъ—и не надо. Вотъ еще!..

— Да,—согласился Женя, вздыхая,—вамъ, дѣвочкамъ, дипломъ не важенъ. А вотъ намъ приходится биться,—безъ диплома не пойдешь!

— Да я почти все сказала,—вдругъ стала оправдываться Шаня,—а онъ такъ и норовить сбить. Что жъ, дивья ему, онъ больше меня знаетъ. Злючка, противный козель.

Шаня раскраснѣлась, нахмурилась, ея бойкіе глаза зажглись гнѣвомъ.

— Да,—задумчиво говорилъ Женя,—эти господа слишкомъ много берутъ на себя. Въ прошломъ году нашъ латинистъ тоже повадился лѣпить мнѣ двойки. А развѣ я виноватъ, что онъ не умѣетъ преподавать? И дома у меня всѣ удивляются, какъ такого болвана держатъ въ гимназiи.

— И у насъ тоже все такія муміи,—недоцольнымъ тономъ сказала Шаня,—совсѣмъ мало симпатичныхъ личностей. Однако, пойдѣмъ, что тутъ сидѣтъ.

Женя проворно вскочилъ, ловко взялъ ея книги и пошелъ по аллеѣ рядомъ съ Шанею. Шаня посматривала на него и любовалась его бодрою, красивою походкою.

— Зайдемъ въ нашъ садъ, Женечка, погуляемъ,—просительно сказала она.

— Право, Шанечка,—нерѣшительно началъ Женя.

— Ну, хоть на полчасика!—нѣжно говорила Шаня и заглядывала въ его лицо молящими глазами.

— Шанечка, мнѣ домой пора.

— Боишься маменьки?—лукаво спросила Шаня, нагибаясь совсѣмъ близко къ лицу Жени.

Женя обидчиво покраснѣлъ, а румяныя Шанины губы дразнили его милою усмѣшкой.

— Вовсе не боюсь, а будутъ беспокоиться.

— Ну, какъ хочешь,—грустно сказала Шаня и отвернулась.

— Ты, Шанечка, такая прелесть, что тебѣ ни въ чемъ нельзя отказать,—нѣжно сказалъ Женя.

— Ну, вотъ и спасибо, милый Женечка,—воскликнула Шаня, поворачиваясь къ нему съ радостною улыбкою,—а то некогда! Тюфякъ!

Она хлопнула его по пальцамъ загорѣлою рукою и съ мальчишескими ухватками запрыгала по дорожкѣ.

— За тобой, Шанечка, я готовъ идти на край свѣта,—только какъ бы тебѣ самой не влетѣло.

— Ну, вотъ, очень я боюсь. Волка бояться—въ лѣсъ не ходить.

— Видишь, Шанечка, какъ я тебя слушаюсь: мнѣ бы надо было еще въ одно мѣсто, а я съ тобою иду.

— Какое мѣсто?—живо спросила Шаня.

— Да тутъ гимназистъ есть больной, изъ нашего класса, Степановъ. Онъ—бѣдный. Положимъ, у меня самого въ карманѣ сегодня не густо, но все таки... можетъ быть, онъ нуждается,—не могу же я не помочь!

— Какой ты добрый, Женечка!

Женя самодовольно улыбнулся, но постарался принять равнодушный видъ и съ медленною важностью промолвилъ:

— Ну, пожалуйста, я не люблю комплиментовъ.

— Но,—робко сказала Шаня,—вѣдь, къ нему можно послѣ.

— Это ужъ рѣшено, Шанечка,—великодушно отвѣтилъ Женя, — къ нему вечеромъ, теперь—къ тебѣ. Я не умѣю тебѣ отказывать. Вообще, я не люблю подчиняться чѣмъ-нибудь капризамъ, но ты, Шанечка, другое дѣло.

— Я—другое дѣло!—крикнула Шаня, запрыгала и завертѣла Женю.

— Тише, тише, безумная, вѣдь, здѣсь люди ходятъ,—унималъ Женя, отбиваясь.

Шаня вытянула руки по швамъ и замаршировала по-военному. Женя укоризненно сказалъ:

— Ахъ, Шаня, когда ты отстанешь отъ этихъ манеръ.

Шаня повернулась къ нему съ покорною улыбкою.

— Ну, ну, не сердись, не буду. Никогда больше не буду, Евгеній Модестовичъ,—шаловливо шепнула она и нѣжно прижалась къ Женѣ.

Женя быстро оглядѣлся,—никого не видно,—охватилъ Шаню и неловко, по дѣтски, чмокнулъ ее въ щеку. Глаза его засверкали. Шаня отодвинулась.

— Что за вольности!—стыдливо шепнула она, поправляя подъ шляпкою разбившуюся косу, и вдругъ весело, но слишкомъ нервно, разсмѣялась.

Имъ приходилось видѣться крадучись: мать Хмарова считала неприличнымъ для Жени общество мѣшанской дѣвочки, дочери не очень богатаго купца: она приказала сыну прекратить это знакомство. Но необходимость скрывать встрѣчи подстрекала дѣтей: было имъ жутко и весело.

Шаговъ за пять до деревянныхъ воротъ сада Шаня остановилась и потянула назадъ, за кусты, Женю.

— Что ты?—спросилъ онъ.

— Твоя сестра!—шепнула Шаня.

Сквозь кусты виднѣлся черезъ улицу заборъ небольшого сада, надъ заборомъ—навѣсъ пристроенной къ нему террасы, а подъ навѣсомъ стояла бѣленькая дѣвочка лѣтъ тринадцати, съ капризнымъ, скупающимъ лицомъ и слегка вздернутымъ носомъ. Она пристально всматривалась въ деревья Лѣтнаго сада.

— Какъ тутъ быть?—говорила Шаня.—Съ чего это она здѣсь торчитъ?

— Ревнуетъ,—объяснилъ Женя.

Оба они заговорили шопотомъ.

— Ревнуетъ? Что ты?—недовѣрчиво переспросила Шаня.

— Очень просто. Мы съ ней было дружны; разница лѣтъ, конечно, сказывалась, но я все-таки любилъ ее позабавить. Ты знаешь, я иногда, когда въ духѣ...

— О, да, ты очень остроумный и любезный.

Женя самодовольно улыбнулся.

— Но теперь, ты понимаешь, я думаю только о тебѣ. Конечно, я иногда захожу къ ней, но она мнѣ, признаться, надоѣдаетъ. Вотъ она и злится и подсматриваетъ. Она еще совершенный ребенокъ.

— Мы вотъ какъ сдѣлаемъ,—рѣшила Шаня.

Ея глаза засверкали и засмѣялись. Она зашептала таинственно, съ видомъ заговорщицы:

— Я пойду мимо васъ. Она увидитъ, что я одна, и успокоится; она же увидитъ, что я прошла, а тебя еще нѣтъ. А ты обѣги кругомъ.

— Ты, Шанька, гений!—восторженно крикнулъ Женя.

— Ш—ш... зѣворотъ! услышитъ!—унимала его Шаня, махая на него руками.

— Молчу, молчу,—зашепталъ Женя.—Ну, я бѣгу.

Мальчикъ юркнулъ въ кусты. Шаня прислушалась, постояла, хмурая брови, пока не затихъ шорохъ вѣтвей за нимъ, и пошла изъ-за кустовъ черезъ ворота на улицу.

## ГЛАВА II.

Маша стояла на своей вышкѣ.

— Послушайте, дѣвочка!—надменно окликнула она Шаню.

Шаня подняла голову и весело засмѣялась.

— А!—воскликнула она.—А я думала, это—цѣлая барышня. Ну, слушаю, дѣвочка,—что надо?

— Скажите, пожалуйста,—спросила Маша, обидчиво краснѣя,—куда пошелъ мой братъ?

— Вашъ братъ? А кто такой вашъ братъ?—смѣющимся голосомъ спрашивала Шаня.

— Пожалуйста, не притворяйтесь,—сердито сказала Маша.—Вы съ нимъ были сейчасъ въ саду, и онъ скрылся.

— Ишь ты, глазастая какая!—запальчиво закричала Шаня, покачивая головою.—Прыгала бы черезъ заборъ, да и бѣжала бы за своимъ братомъ, а мнѣ какъ знать, гдѣ онъ.

— Экая мужичка!—уронила Маша, стараясь выразить большое презрѣніе.

— Миликтриса Кирбитъевна!—отвѣтила Шаня и сдѣлала кислую гримасу



— Какъ ты смѣешь такъ со мною разговаривать, уличная дѣвчонка! — крикнула Маша.

Шаня прыгала и кривлялась.

— А коли ты такая важная, такъ и не связывайся съ уличной дѣвчонкой! — кричала она. — Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты!

— Вотъ папа скажетъ твоему отцу, чтобъ тебя высѣкли.

— Ну, ты еще и не посмѣешь ничего своему отцу сказать, — тебѣ самой достанется: зачѣмъ на улицѣ базаришь, фря курносая!

— Вотъ погоди, дворникъ съ метлой придетъ, — сказала Маша, стараясь принять равнодушно-презрительный тонъ.

— Ай, ай, какъ страшно! — крикнула Шаня, отбѣгая: — фискалишка презрѣнная, забралась на вышку шпионить.

У конца забора Шаня остановилась, сдѣлала Машѣ носъ и крикнула:

— Жди себѣ брата.

Маша отвернулась, досадливо покусывая тонкія губы. Шаня убѣждала было за уголъ, но вдругъ вернулась.

— Пока ты собачилась, — крикнула она, — твой братъ домой пришелъ,

Въ самомъ дѣлѣ, кто-то прошелъ по двору, но кто — Маша не успѣла замѣтить: дверь на крыльцѣ уже затворилась. Маша обрадовалась и побѣжала домой. Но это былъ только почтальонъ, а Женья еще не возвращался.

На перекресткѣ двухъ улицъ, безнадежно пустынныхъ и грязныхъ, Женья и Шаня сошлись, улыбаясь еще издали другъ дружкѣ, и остановились посреди лужъ. Шаня передала мальчику разговоръ съ Машею.

— Нажалуется, — пробормоталъ Женья, нахмурившись.

— Не посмѣетъ, — рѣшительно сказала Шаня.

— Ну да, не посмѣетъ. Она про себя не скажетъ, не безпокойся, а наболтаетъ, что видѣла насъ вмѣстѣ. Мать опять молебень отслужить.

— Молебень? — переспросила Шаня и звонко засмѣялась.

— Это мы съ отцомъ такъ называемъ, — началъ объяснять Хмаровъ, и приунывшее было лицо его опять засіяло горделивымъ сознаніемъ своего остроумія. — Она, видишь-ли, начнетъ сцену: нервы и все такое... Будетъ пилить, пилить, точно все это нужно. Ну, отецъ и говоритъ: „начала молебень пѣть“.

— Молебень пѣть? — смѣясь, повторила Шаня.

— Пожалѣйте, говоритъ, мои бѣдные нервы, — съ внезапною злостью заговорилъ Женья, — а сама всѣмъ нервы надрываетъ. И тутъ еще дядюшка и тетушка.

Они пробирались по грязной улицѣ. Женья терся новенькимъ мундирчикомъ о рогатія изгороди, сложенные изъ осиновыхъ жердей, и шлепался

модными сапожками въ мутныя лужи. Шаня выбирала сухія мѣстечки по другой сторонѣ улицы.

— Экая трущоба! — раздражительно сказалъ Женя. — Точно не можетъ твой отецъ мостковъ набросать.

— Иди сюда, — звала его Шаня, — тамъ сапоги загваздаешь.

— Вездѣ одинаково мерзко, — брюзгливо отвѣчалъ Женя.

Онъ видѣлъ отлично, что тамъ, куда зоветъ его Шаня, гораздо лучше, но продолжалъ идти по своему пути съ тѣмъ упямствомъ, которое замѣняло у него характеръ.

На выѣздѣ изъ Сарыни стоялъ двухъэтажный домъ нелѣпой архитектуры, съ разбросанными вокругъ хозяйственными постройками. Прежде это была помѣщичья усадьба, къ которой принадлежала подгородная деревня Ручейки. Во время дворянскаго упадка усадьба досталась Самсонову. На ту улицу, гдѣ шли Женя и Шаня, выходилъ фруктовый садъ, огороженный тыномъ, а дальше паркъ съ прудами, протоками, мостиками, бесѣдками, цѣпкими кустами давно не подстригаемыхъ акацій. Дорожки заросли травою, но пруды были расчищены, — Шаня любила кататься на лодкѣ. Были для нея и качели, была горка, которую зимой приспособляли для Шанькиныхъ салазковъ.

Шаня и Женя дошли до низенькой изгороди парка.

— До калитки далеко, — сказала Шаня, осторожно перебираясь черезъ улицу, — перелѣземъ: здѣсь не высоко.

— Полѣземъ, — согласился Женя и повернулся къ изгороди, выбирая мѣсто поудобнѣе.

Но едва онъ поставилъ ногу на перекладину, а другую занесъ поверхъ изгороди, какъ вдругъ въ паркѣ послышался неистовый лай: два свирѣпыхъ пса бросились на Женю. Женя вскрикнулъ и соскочилъ прямо въ лужу. Брызги обдали его. Сдѣлавши прыжка два по лужамъ, онъ остановился: ноги подкашивались. Сквозь лай еле слышалъ онъ крикъ Шани, унижавшей собакъ, и ея серебристый смѣхъ. Собаки уgomонились. Женя сообразилъ, что опасность миновала. Онъ взглянулъ на свою забрызганную одежду: на колѣнѣ зіяла прорѣха, — должно быть, зацѣпился, соскакивая съ изгороди. Сердито хмурясь, онъ полѣзъ въ паркъ, гдѣ уже поджидала его Шаня.

— Глупая привычка — вѣчно скалить зубы, — сдѣлалъ онъ выговоръ Шанѣ.

Шаня перестала смѣяться.

— Боже мой! — воскликнула она. — Ты весь перепачкался. Новый мундиръ, а ты его такъ заплюхалъ. И разорвалъ.

Она бросилась было обтирать его мундирчикъ рукавами своей кофточки, но Женя хмуро отстранилъ ее и проворчалъ сердито:

— Ну, большая бѣда! Вѣдь, я—не Гарволинъ, у меня не одна перемѣна.

— Это все я виновата,—горестно говорила Шаня:—мнѣ бы надо было впередъ пойти. Экая я дура!

— Оставь ты, пожалуйста, мужицкую манеру бранить себя! — крикнулъ Женя.

Шаня съ удивленіемъ посмотрѣла на него.

— Чего ты? Вѣдь, я не тебя!

— Гораздо естественнѣе другихъ ругать чѣмъ себя.

— Ты испугался, Женечка?

— Вовсе не испугался,—я вздрогнулъ отъ неожиданности. У меня нервы не изъ канатовъ. Твои собаки дождутся, что я ихъ задушу руками.

— Ну, да, задушишь,—а самъ убѣжалъ.

— Да, вѣдь, онѣ могли быть бѣшенными. Глупо драться съ собаками, ихъ на дуэль не вызовешь.

Шаня захохотала и долго потѣшалась, представляя, какъ Женя стрѣляется съ Барбосомъ. Женя натянуто улыбался. Шаня повела его къ яблонямъ, во фруктовый садъ.

— Вотъ у васъ свои яблоки, а мы должны покупать,—сказалъ онъ Шанѣ притворно-безпечнымъ голосомъ.

Но онъ чувствовалъ, что голосъ его вздрагиваетъ, и это ему было досадно.

— А у васъ варятъ варенье?—спросила Шаня.

— Ну, кто же въ городѣ варитъ варенье!—пренебрежительно сказалъ Женя.—Это въ деревнѣ еще ничего, да и то, въ сущности, это мѣщанство.

— А вотъ моя мама варитъ.

— Ну, у васъ совсѣмъ другіе нравы,—объяснилъ Женя.

— Ну, конечно,—согласилась Шаня,—мы не по вашему живемъ: мы попросту, безъ затѣй.

Женя никакъ не могъ отдѣлаться отъ подозрѣнія, что Шанька смѣется надъ нимъ. Подсолнечники огорода, который былъ разведенъ Самсоновымъ за фруктовымъ садомъ, глупо пялились на него и говорили, казалось:

— Сплоховалъ, братъ.

— Знаешь,—началъ онъ объяснять,—я потому вздрогнулъ, что у меня нервы разстроены.

— Чѣмъ разстроены?—спросила Шаня.

— Ахъ, Шанечка, какъ ты не понимаешь! Я не дѣвочка. Мнѣ надо подумать о будущемъ,—въ моихъ рукахъ лежитъ и твоя судьба.

— Думаютъ-то только, знаешь, кто?—спросила Шаня со смѣхомъ.— Индѣйскіе пѣтухи да дураки.

Женя нахохлился.

— Все у тебя глупыя шутки. Что жъ, я—дуракъ по твоему?

— Ахъ, Господи, ужъ и разсердился!—воскликнула Шаня, кокетливо повертываясь къ нему.—И вовсе не нервы, а просто ты барчукъ изнѣженный. Вотъ у тебя какая кожа тонкая. А вотъ я — толстокожая, у меня нѣтъ нервовъ.

— Ты думаешь—это хорошо?—спросилъ Женя.—Современный человѣкъ долженъ имѣть тонкую нервную организацію.

— Такъ, вѣдь, откуда ее взять? — смиренно возразила Шаня. — На это надо ужъ такъ и родиться въ дворянской семьѣ.

— Да, конечно. Но тоже и дворяне,—бываютъ такіе слоны!

Дѣти усѣлись подъ яблонею и ѣли яблоки. Узкая сѣренькая скамейка, длинная, на двухъ тумбочкахъ, гнулась и поскрипывала подъ ними.

— Что я тебѣ расскажу, Женечка,—заговорила вдругъ Шаня.—У насъ рядомъ дѣвушка повѣсилась.

Шаня сдѣлала паузу и посмотрѣла на Женю широко раскрытыми глазами.

— Съ чего?—спросилъ Женя, жуя сочную мякоть яблока.

— У нея былъ... дружокъ. Писарь полковой. Ну, и общалъ жениться, а самъ женился на другой, а она отъ него ужъ...

— Понимаю,—сказалъ Женя.—Это всегда такъ бываетъ.

— Вотъ дѣвушка ночью взяла да и повѣсилась въ сараѣ.

— Ну, и что же?

— Ну, утромъ нашли ее, а только ужъ она вся мертвая, синяя такая... Такъ и умерла.

— Ну, и дура!—рѣшительно сказалъ Женя.

— Чѣмъ это дура?—обидчиво спросила Шаня.

— Чѣмъ дура? А вотъ чѣмъ: разъ, что не надо было связываться съ писарькомъ,—она должна была знать, что у этого народа не можетъ быть благородныхъ чувствъ.

— Только у васъ, дворянъ, благородныя чувства!

— Конечно. А второе: все-же не къ чему убивать себя.

— У тебя не спросилась, жаль.

— Вотъ и вышла дура. Что она этимъ выиграла?

— Что?—съ недоумѣніемъ переспросила Шаня.

— Да, что выиграла? Вотъ то-то, она должна была бороться за себя. А не могла,—значитъ, она слабая натура, значитъ, туда ей и дорога.

— Ахъ, Женя, какъ ты говоришь. Теперь ужъ не намъ судить ее.

— Все это вадоръ. Это ужъ теперь доказано, что жизнь—борьба за существованіе. Онъ воспользовался ея любовью,—хорошо. А она о чемъ думала? Вѣдь, это съ ея согласія было. Стало быть, онъ и правъ. Кто умѣетъ добиться своего, тотъ и правъ, а ротозѣю не къ чему и жить. Таковъ законъ.

— Ну, законъ. Кто его написалъ?

— Законъ природы, открытый Дарвиномъ. Онъ доказалъ, что мы всѣ отъ обезьянъ происходимъ. Которыя обезьяны были поумнѣе, тѣ сдѣлались мало-по-малу людьми, а остальные такъ скотами и остались. То же и у людей: каждый заботится самъ о себѣ, а кто не умѣетъ, того затолкаютъ. Выживаютъ только субъекты, приспособленные къ жизни. Слабые и себѣ, и людямъ въ тягость.

Шаня посидѣла минутку молча и задумчиво. потомъ засмѣялась, соскочила со скамейки, подпрыгнула, ухватила за толстый сукъ яблони и подтянулась на рукахъ. У нея были сильныя руки, да и вся она была сильная и ловкая,—ей никакого Дарвина не страшно. Радость охватила ее и заставила звонко взвизгнуть. Ну, а Женья, конечно, нахмурился.

— Что за манеры! — проворчалъ онъ. — Ты ведешь себя, какъ мальчишка.

— Тебѣ, небось, завидно, — сказала Шаня, продолжая смѣяться и прыгать.

— Что за слово „небось“!

— Чѣмъ же не слово?

— Вообще, у тебя ухватки грубыя и слова мѣщанскія. Можно бы вести себя приличнѣе.

Шаня обидѣлась и угомонилась.

— Мои слова не нравятся, такъ нечего сомной и говорить. Извѣстно, я невоспитанная, ну, такъ иди къ барышнямъ.

Шанины губы дрогнули, и на глазахъ заблестѣли слезинки. Женья почувствовалъ раскаяніе.

— Шанечка, дорогая,—закричалъ онъ, бросаясь къ ней,—не сердись: я грубый, а ты—божественная, добрая.

---

Шаня и Женья забрались въ самый дальній уголъ сада. Изъ-за изгороди видны были поля и вдали лѣсъ. Шаня прислонилась грудью къ невысокому забору, счастливо вздохнула и тихонько промолвила:

— Какъ красиво!

Женья принялъ усиленно равнодушный видъ.

— Ну,—сказалъ онъ,—это веселитъ тебя потому, что ты еще мало что видѣла. Вотъ если-бы ты побывала за границей,—такъ тамъ есть мѣстечки,

въ Швейцаріи, напрімѣръ, на Рейнѣ. Я во всѣхъ этихъ мѣстахъ былъ, и въ Италіи, и во Франціи, словомъ, вездѣ.

— А въ Америкѣ былъ?—спросила Шаня.

— Нѣтъ, еще не былъ.

— Ну, значитъ, не вездѣ былъ.

— Ну, кто-же ѣздитъ въ Америку! А ты была въ Москвѣ?

— Нѣтъ, меня никуда не возили, я только въ Рубани была, а дальше и не бывала.

— Что Рубань! Только слава, что губернский городъ,—городишка самый захолустный. Ты, значитъ, ничего хорошаго не видѣла.

Шаня завистливо вздохнула.

— Когда я буду большая,—сказала она,—я вездѣ-вездѣ выѣзжу, во всѣхъ городахъ побываю.

— Во всѣхъ городахъ нельзя побывать,—важно сказалъ Женя, — ихъ очень много.

— Что-жъ, что много! А вы отчего нынче никуда не уѣхали?

— Ну, мы порастрясли денежки,—досадливо сказалъ Женя,—мой папа умѣетъ это дѣлать. А заграница кусается. Вотъ здѣсь и киснули все лѣто.

— И ты жалѣешь?—кокетливо спросила Шаня.

— Зато я съ тобой, Шанечка, познакомился.

— Но, вѣдь, это не такъ интересно, какъ заграница!

— Милая Шанечка, вѣдь, ты знаешь, что я тебя люблю.

— Ты самъ-то давно-ли это знаешь?

— Да, вѣдь, мы еще недавно знакомы, Шанечка.

— А, вѣдь, признайся, ты бы такъ и не догадался, что ты меня любишь, если-бъ я сама тебя не навела на эту мысль?

— Конечно,—важно сказалъ Женя,—вы, женщины, больше насъ понимаете въ дѣлахъ любви,—это ваша спеціальность.

### ГЛАВА III.

Сегодня Самсоновы обѣдали позже обыкновеннаго: Шанинъ отецъ только что вернулся изъ своей поѣздки въ уѣздъ. Онъ былъ не въ духѣ. Шанька боязливо посматривала на него и старалась за обѣдомъ не обратить на себя его вниманія. Но суровая фигура отца притягивала къ себѣ Шанины взоры.

Полувосточный складъ лица обличаетъ въ немъ не чисто-русскую кровь. Черные, густые, невьющіеся волосы начинаютъ сѣдѣть. Черные глаза съ желтыми бѣлками мрачно блестятъ. Невысокій, узкій лобъ, изборожденный глубокими прямыми морщинами, сжать у висковъ. Загорѣлое лицо имѣетъ

красновато-желтый оттѣнокъ. Плотный станъ слегка сутуловатъ. Отъ отца Шаня переводить глаза на мать: это—черноволосая и черноглазая женщина южно-русскаго типа, лѣтъ тридцати, еще совсѣмъ молодая на видъ и красивая. Шаня похожа больше на мать, чѣмъ на отца.

Марья Николаевна предчувствовала, что Шанѣ достанется отъ отца, и была недовольна: хотъ она и сама иногда колотить Шаньку, но не любитъ, чтобъ отецъ это дѣлалъ. А отецъ угрюмо молчалъ. Наконецъ, онъ пристально посмотрѣлъ на Шаню. Она зардѣлась подъ его взорами. Отецъ угрюмо спросилъ:

— Ну, что, перевели?

— Оставили,—робко отвѣтила Шаня.

— Хорошее дѣло! Что-жъ, у меня шальные деньги за тебя платить? Вотъ какъ возьму вѣникъ...

— Вы только и знаете,—шепнула Шаня, ярко краснѣя.

Она знала, что отецъ можетъ исколотить ее до полусмерти, но въ ней сидитъ злобный дьяволенокъ, который подсказываетъ ей дерзкіе отвѣты. Ей страшно, но дерзкія слова словно сами срываются съ языка.

— Молчи, пока...—внушительно и грозно говоритъ отецъ.

А мать смотритъ на нее съ упрекомъ и дѣлаетъ ей, незамѣтно для отца, знаки, чтобъ она молчала. Но Шаня не унимается и ворчитъ:

— Никто такъ не обращается. Я—большая.

— А вотъ поговори у меня. Зачѣмъ сапоги въ глиня?

— Не успѣла снять, сейчасъ только пришла.

— А гдѣ была до такихъ поръ?

— Извѣстно гдѣ,—въ гимназіи. Гдѣ жъ мнѣ быть!

— Врешь, негодная!—крикнулъ отецъ.—Говори сейчасъ, гдѣ плясала!

— Что-жъ, дома все сидѣть, что ли! Ужъ и по улицѣ нельзя пройти, и въ саду нельзя погулять.

— Погруби еще!—грозилъ отецъ, и суровое лицо его блѣднѣло.

— Чего мнѣ грубить! Я дѣло говорю.

— Ну, чего отцу огрызаешься!—вступилась мать.

— Вовсе я не огрызаюсь. И вы еще на меня нападаете, чтой-то такое!

— Вотъ огрызокъ-то анаемскій!—негодовала мать.—Ты ей слово, она тебѣ десять.

— Знаю, матушка,—заговорилъ отецъ,—ты все еще съ мальчишкой Хмаровымъ хороводишься. Не пара онъ тебѣ. Форсу у нихъ только много, а сами гольтепа такая! Вотъ они у меня въ лавкѣ товару набрали на столько, чего и всѣ-то они сами не стоятъ, а платить не платятъ.

— Не украдутъ вашихъ денегъ!—запальчиво крикнула Шанька.

— Зачѣмъ красть!—съ презрительною усмѣшкою возразилъ отецъ:—

не отдадутъ—и вся недолга. Вотъ, слышно, переведутъ ихъ отсюда, уѣдутъ изъ Сарыни, а тамъ судись съ ними.

— Вы обо всѣхъ по себѣ судите, такъ и думаете, что всѣ обманываютъ.

— Что такое?—закричалъ отецъ, багровѣя.—Ахъ ты, мразь ты этакая, кому ты говоришь! Да я тебѣ голову оторву. Пошла вонъ изъ-за стола!

— Чтой-то и поѣсть не дадутъ,—захныкала Шаня.

— Вотъ я тебя накормлю уже березовой кашей. Вонъ, вонъ пошла!

— Да дай ты ребенку поѣсть,—сказала Марья Николаевна.—Успѣешь еще накуражиться.

— Вонъ!—бѣшено крикнулъ отецъ и стукнулъ кулакомъ по столу.

Посуда задребезжала. Шаня выскочила изъ-за стола, поблѣднѣвшая, испуганная, уронила стулъ, метнулась было къ матери, но, увидѣвъ, что отецъ тяжело подымается со стула, тихонько взвизгнула и бросилась къ двери.

— Куда?—остановилъ ее отецъ свирѣпымъ крикомъ.—Въ уголъ! На колѣни!

Шаня, дрожа, повиновалась. Съ расширенными отъ испуга глазами сунулась она въ уголъ, неловко выдвинула изъ угла тяжелый стулъ, быстро опустила на колѣни и уткнулась въ уголъ поблѣднѣвшимъ лицомъ. Отецъ опять сѣлъ.

„Изобьетъ! нѣтъ, авось, не будетъ бить!“—боязливо соображала Шаня и чутко прислушивалась къ тому, что дѣлалось за ея спиною, а сердце ея до боли сильно стучало въ груди.

Отецъ и мать молча кончали обѣдъ. Шаня чувствовала на своей спинѣ сочувственные взгляды служанки, приносившей и уносившей кушанье. Ей было стыдно стоять здѣсь и ждать... чего—прощенья? расправы? Чѣмъ ближе подходилъ обѣдъ къ концу, какъ слышала это Шаня по стуку ножей и посуды, тѣмъ боязливѣе и трепетнѣе замирало ея сердце. Ей вдругъ вспомнилось, какъ мать передъ обѣдомъ, когда онѣ ждали отца, сказала ей:

— Изсѣчетъ онъ тебя, какъ кошку за сметану.

Эти слова настойчиво повторялись въ ея мысляхъ. Нетерпѣливый, разслабляющій страхъ пробѣгалъ холодною дрожью по всему ея тѣлу.

Обѣдъ кончился. Отецъ молча подошелъ къ Шанѣ, тяжело ступая по паркету грубыми сапогами, и ухватилъ Шаню за ея толстую, круто сплетенную косу. Шаня отчаянно взвизгнула, откинулась назадъ, подняла было руки къ головѣ и забилась безпомощно у ногъ отца, который тащилъ ее по полу.

— Да что ты, Степанъ Петровичъ!—закричала мать, бросаясь къ мужу и отымая отъ него дѣвочку.—Побойся Бога, что ты дѣлаешь съ дѣвочкой!

— Прочь!—бѣшено крикнулъ Самсоновъ, отталкивая жену.

Сильная и цѣпкая, она не поддавалась. Толкаясь и осыпая другъ друга



ударами, возились они надъ Шанею, которая ползала по полу на колѣняхъ; коса ея была въ рукѣ отца, и она подавалась головою туда, куда тянулъ отецъ. Наконецъ, почувствовавъ, что отецъ держитъ ее слабѣе, она схватилась обѣими руками за его руку, въ которой была зажата ея коса. Онъ сильно тряхнулъ рукою, выпустилъ Шанины волосы.

Шаня отлетѣла по полу въ сторону, ударилась о стулъ, быстро вскочила и убѣжала къ себѣ. За нею неслись неистовые крики отца и матери. Марья Николаевна, обозлившись за Шаню на мужа, страстными криками изливала все, что накопило въ ней злобы противъ него.

— Плутъ всесвѣтнѣй! — яростно кричала она, наступая на мужа: — Людей обманываешь, рабочихъ обчитываешь, коршунъ! Разразить тебя Господь за твои темныя дѣла, — помни мое слово.

Самсоновъ сердито отмахнулся отъ нея и отошелъ къ другому концу комнаты.

— Мели, мельница! — злобно сказалъ онъ, стараясь сдержать гнѣвную дрожь голоса. — Какія такія темныя дѣла?

— Много за тобой грѣховъ! — кричала Марья Николаевна, опять приступая къ нему. — Завелъ полюбовницу, ослезилъ меня... Грѣха не боишься, и стыда въ тебѣ нѣтъ! Дочь-то, вѣдь, у тебя не маленькая, — хоть бы предъ ней постѣснялся, грѣховодникъ старѣй!

— Тьфу, дура поганая! Говорить съ тобой — только чорта тѣшить.

Онъ ушелъ въ свой кабинетъ, яростно захлопнулъ дверь и заперся на ключъ. Марья Николаевна продолжала кричать у его двери еще долго, — онъ не отвѣчалъ.

Шаня робко притаилась въ уголкѣ за своею кроватью и усѣлась, вся скорчившись, на тотъ старый, расшатанный стулъ, на который всегда усаживалась она, когда чувствовала себя обиженною.

Косые лучи вечерняго солнца неподвижно и печально озаряли знакомые, милые для Шани предметы ея тихаго убѣжища. Издали доносились до нея бѣшеные отголоски ругани, но Шаня не прислушивалась къ нимъ, не хотѣла прислушиваться. Ей было еще обидно, но слезъ уже не было на испуганно и гнѣвно горѣвшихъ глазахъ. Мечты начинались въ ея головѣ, ласковыя и грустныя. И чѣмъ больше вслушивалась она въ нихъ, тѣмъ дальше и глуше казались ей отголоски свирѣпой брани. Обиженнымъ сердцемъ понемногу овладѣвало кроткое, ласковое настроеніе. Мечта кружилась около одного дорогаго образа.

Красивый мальчикъ съ гордою улыбкою, самоувѣренный, умный, благородный. Ему доступны вершины почестей: онъ — дворянинъ, онъ отваженъ. Она передъ нимъ такая ничтожная и глупенькая. И онъ любитъ ее.

Ахъ, если-бъ у нея вдругъ сдѣлалось прозрачное, эфирное тѣло! Сбросила-бъ тѣсное платье, полетѣла бы къ милому—легкая, воздушная. Не держали бы ни высокіе заборы, ни крѣпкіе запоры. Сквозь стѣны проникла бы, какъ влажное дыханіе, отклоняющее пламя пристѣнной свѣчи. Прилетѣла бы голубою тѣнью, никѣмъ не видимая, прильнула бы къ нему,—нагія руки ему на плечи, нѣжныя губы къ его губамъ,—тихонько шепнула-бъ ему: „здѣсь я, милый мой!“—и тайными поцѣлуями опьянила бы, очаровала бы его!.

Скрипнула дверь—разбились мечты. Вошла старуха-нянька, вынянчившая еще Шанину мать. Теперь хоть Шанька и подросла, а нянька все жила, уже четвертый десятокъ лѣтъ, при Марьѣ Николаевнѣ: она была „свой человекъ“ въ домѣ, хозяева ей довѣряли, и она зорко охраняла хозяйское добро.

— Притулилась, ясочка ненаглядная,—нѣжнымъ шопотомъ заговорила нянька, глядя Шаню по головѣ.

Шаня почувствовала боль въ корняхъ волосъ, память отцовской таски, нетерпѣливо тряхнула головою и опустила ее на деревянное изголовье. Ей стало досадно, зачѣмъ помѣшали мечтать, и она не хотѣла повернуть къ нянѣ недовольнаго лица. А нянька стояла надъ Шанькою, глядѣла на нее добрыми старушечьими глазами и утѣшала ее простыми, глупыми словечками. Въ странномъ безпорядкѣ тѣснились въ Шаниномъ слухѣ и голуби, и генералы, и свѣтики ненаглядные,—какая-то ласковая чепуха,—и Шаня поддавалась ея лъстивому обаянію.

— Скажи, няня, сказку,—молвила она, глянувъ на няньку однимъ глазомъ.

Няня присѣла рядомъ съ Шанею и заговорила сказку про какого-то вольнаго казака. Шаня не вслушивалась и мечтала себѣ о своемъ. Вдругъ няня замолчала. Шаня открыла глаза и приподняла голову. Мать стояла передъ нею.

— Мой-то соколъ улетѣлъ!—сказала она нянѣ.

Няня завздыхала и заохала.

— Къ сударушкѣ своей!—злбно сказала Марья Николаевна.—Ну, а ты, Шанька, что сиротой сидишь? Подъ къ матери,—хоть я тебя приласкаю.

Марья Николаевна сѣла на Шанину кровать и притянула къ себѣ дочку. Шаня прильнула щекою къ ея груди,—мать посадила ее къ себѣ на колѣни.

— Охъ, горюшко мнѣ съ тобой,—говорила она, поглаживая и похлопывая дочь по спинѣ.—Все-то ты отцу досаждаешь. Вотъ сапоги-то все не перемѣнила, такъ въ глиня и щеголяешь.

Шаня соскочила съ колѣнь матери, сѣла на полъ и принялась стаскивать ботинки.

— Надѣнь туфли,—сказала мать.

— Я лучше такъ, мамуня,—тихонько отвѣтила Шаня, сняла чулки и опять забралась на колѣни къ матери.

— И съ нимъ-то горе,—говорила межъ тѣмъ Марья Николаевна нянѣ.— Я-ли его, злодѣя моего, не любила, не лелѣяла! А онъ, натко-сь, завелъ себѣ мамоху, старый чортъ!

— И на что позарился? — подхватила няня. — Смѣнялъ тебя, мою кралячку, на экое чучело огородное.

— Что ужъ онъ въ ней, въ змѣѣ, нашелъ?—досадливо говорила Марья Николаевна.—Только что молодая, да жирная, что твоя корова. Такъ, вѣдь, и я не старуха, слава Тебѣ, Господи.

— И, касатка!—убѣдительно сказала няня,—недаромъ говорится: полюбится сатана пуще яснаго сокола.

— Она—бѣлая,—вдругъ сказала Шаня, приподнимая голову.

— Ахъ ты!—прикрикнула мать:—съ тобой-ли это говорить! Не слушай, чего не надо, не слушай!

И мать сильно нашлапала Шаньку по спинѣ, но Шанька не обидѣлась, а только плотнѣе прижалась къ матери.

— И я-то дура,—сказала, Марья Николаевна:—говорю при дѣвкѣ о такой срамотѣ.

— Охъ, грѣхи наши!—вдохнула няня.

— Что, Шанька, оттащала тебя отецъ? И за дѣло, милая, — не балахрысничай.

— Чего-жъ заступалась?—шепнула Шаня.

— Такъ, что ужъ только жалко. И что изъ тебя выйдетъ, Шанька, ужъ и не знаю,—вольная ты такая. Только мнѣ съ тобой и радости было, пока ты маленькая была.

— Я, мамушка, опять маленькая,—еще тише шепнула Шаня и закрыла глаза.

Марья Николаевна вздохнула, прижала къ себѣ дочку и, слегка покачивая ее на колѣняхъ, запѣла тихую колыбельную пѣсенку:

Ходить бай по стѣнѣ—  
Охъ-ти мнѣ, охъ-ти мнѣ.  
Что мнѣ съ дочкою начать—  
Бросить на полъ иль качать?  
Ужъ я доченьку мою  
Баю старому даю.  
Баю-баюшки баю,  
Баю Шанечку мою.

Шанѣ было грустно и весело,—душа ея трепетала отъ жалости къ матери.

Вечерѣло. Вокругъ дома пусто и глухо. Только изрѣдка слышна трещотка городского сторожа: это—двѣнадцатилѣтній мальчикъ, котораго послалъ за себя лѣнивый отецъ; слышенъ изрѣдка протяжный крикъ мальчугана. Доносится лай собакъ, ихъ злобное ворчанье и глухое звяканье ихъ цѣпей. Въ самомъ домѣ — неопредѣленные шорохи стараго жилья. Строго смотря въ тяжелыя ризахъ, въ большихъ кіотахъ. Угрюма неуклюжая мебель, въ строгомъ порядкѣ разставленная у стѣнъ. Въ холодномъ паркетѣ тускло отражаются затянута тафтою люстры. Скучно и хмуро. Отъ лампадъ, готовыхъ затеплиться, струится елеинный, смиренный запахъ. Марья Николаевна опять жалуется нянѣкѣ, а Шанька опять слушаетъ, тихонько сидя въ уголкѣ, и молчитъ.

Хоть и не бѣдны Самсоновы, а все-таки жизнь въ ихъ домѣ имѣетъ опредѣленный мѣщанскій укладъ: просты отношенія между обитателями дома и наивно-откровенны; простъ сытный обѣдъ и плотный ужинъ; просты наивно-плоскія бесѣды, и безцеремонны домашнія одежды.

Въ такой-то обстановкѣ вырастаетъ Шанька, шалунья и своевольница, которую то балуютъ, то жестоко наказываютъ. Родители словно дерутся дѣвочкою: когда отецъ бьетъ Шаньку, мать ее ласкаетъ; когда отецъ ласкаетъ дочку, мать къ ней придирается и сѣчетъ ее иногда за такіе пустяки, на которые въ другое время никто и вниманія не обратилъ бы. Но Шаня изловчается и часто успѣваетъ таки ладить и съ отцомъ, и съ матерью. И теперь въ ея предприимчивой головѣ сквозь жалость и сочувствіе къ матери уже выясняется планъ, какъ бы и съ отцомъ помириться.

Шаня—дѣвочка быстрыхъ, бойкихъ настроеній, счастливая, какъ радость, однимъ тѣмъ, что живетъ. Не можетъ она долго печалиться, хоть бы и послѣ того, какъ ее побили.

Поздно вечеромъ, часовъ въ одиннадцать, Самсоновъ вернулся домой. Шаня уже лежала въ постели, но не спала. Окна ея комнаты были плотно занавѣшены, двери крѣпко заперты, и подъ дверями лежалъ скатанный половичекъ, чтобы не просвѣчивало наружу отъ свѣчки, которая горѣла около кровати. Шаня читала книжку—одну изъ тѣхъ, которыя она тайкомъ приносила домой и по ночамъ читала. Это были романы. Ими снабжали ее или Женья, или, чаще, Шанина подруга по гимназіи Дунечка Таурова.

Шаня услышала неясный шумъ открывающихся дверей и тяжелой отцовою поступи. Она мгновенно задумала смѣлое дѣло,—идти къ отцу просить прощенія. Тутъ былъ рискъ: или отколотить еще разъ, можетъ быть, выстегаютъ, или приласкаетъ,—и тогда она обезпечена отъ будущихъ непріятно

стей за то, что осталась на второй годъ въ классѣ. Шаня загадала -- идти или не идти: она будетъ считать до ста, и если въ это время нигдѣ ничего не услышитъ, то не пойдетъ, а если услышитъ, то пойдетъ. Она начала счетъ. Ей стало жутко, и она ускоряла счетъ, чтобы поскорѣе кончить, до перваго шума. Она считала уже шестой десятокъ, какъ вдругъ гдѣ-то далеко въ городѣ раздался невнятный, глухой крикъ. Шаня вздрогнула, съ разбѣга просчитала еще нѣсколько и остановилась. Дѣлать нечего -- надо идти.

Она проворно вскочила съ постели, набросила на себя платье, спрятала книгу, потушила свѣчу и тихохонько вышла босая въ корридоръ. Придерживая рукою дверь своей комнаты, она остановилась и слушала, -- вездѣ въ домѣ было тихо. Тихо-тихо ступая, пошла она по неосвѣщенному корридору, по темнымъ комнатамъ. Вотъ и дверь отцова кабинета. Внизу ея свѣтитса щель, -- значить, отецъ еще сидитъ. Шаня прижалась ухомъ къ двери. Ея сердце шибко колотилось. Неясный шелестъ еле слышался ей за дверью.

Внезапно рѣшившись, Шаня стремительно открыла дверь, быстро подбѣжала къ отцу и охватила руками его шею. Самсоновъ сидѣлъ у письменнаго стола и просматривалъ счеты. На немъ былъ засаленный халатъ, старый, много разъ заплатанный, изъ котораго въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лѣзла вата.

— Ты чего, оглашенная? — закричалъ Самсоновъ на дочку: — чего тебѣ носить?

Шанька прижалась къ нему и усѣлась на его колѣни.

— Да ты чего вольничаешь? Аль забыла...

— Прости, папочка милый, не буду лѣниться, — вкрадчиво заговорила Шанька, ласкаясь къ отцу и цѣлуя его жесткую щеку.

— То-то не буду. Развѣ у меня шальные деньги?

— Ты — богатый.

— Ну, ну, не такъ богатый. Положимъ, грѣхъ роптать. А дѣло-то всяко бываетъ: вотъ маюсь, пока мышъ голову не отѣла, а завтра что еще будетъ. Посѣчь бы тебя надо, Шанька, — бормоталъ онъ, ласково поглядывая на красивое лицо дѣвочки.

Онъ прижалъ къ себѣ дочку, покачивая ее на колѣняхъ и подбрасывая кверху ея голыя ноги. Шанька тихонько смѣялась.

— Отлосить бы тебя хорошенько. Слышишь, Шанька, а? Хочешь, задамъ баню?

— Другой разъ, голубчикъ папочка, — отвѣчала Шаня, вытаскивая ку-сочки ваты изъ отцова халата.

— То-то другой разъ. Смотри ты у меня, разбойница. Еще какъ надо бы

## Г Л А В А IV.

Евгеній, подходя къ дому, озабоченно осмотрѣлъ испачканную, изорванную одежду. Стало досадно. Онъ думалъ:

„Она не можетъ и представить себѣ, легкомысленная Шанька, какъ это у насъ неудобно и непріятно. Увидятъ—и сейчасъ начнутся жалостные разговоры. Надобно постараться проскользнуть незамѣтно“.

Разговоры, на которые могъ навести этотъ безпорядокъ одежды, особенно непріятны были теперь Евгенію, потому что у нихъ гостили пріѣхавшіе изъ Крутогорска братья его отца, Аполлинарій Григорьевичъ Хмаровъ, съ женою. Дядю своего Евгеній считалъ за человѣка очень умнаго и насмѣшливаго и побаивался его языка.

Проскользнуть незамѣтно не удалось. Въ передней случайно его встрѣтила мать, Варвара Кирилловна, высокая, худощавая дама съ величественнымъ видомъ и съ длиннымъ носомъ. Она замѣтила и грязь, и прорѣху и пришла, по обыкновенію, въ ужасъ.

— Женя! Боже мой!—воскликнула она.—Но въ какомъ ты видѣ! Посмотрите, ради Бога, на кого онъ похожъ!

Съ этими словами она повела его въ гостиную, гдѣ собралась вся семья. Евгеній имѣлъ сконфуженный видъ: онъ не привыкъ видѣть себя въ такомъ безпорядкѣ. Сестрица Мапа смѣялась. Отецъ окинулъ Евгенія удивленными глазами и сдѣлалъ самую ледяную изъ своихъ улыбокъ, которая такъ шла къ его видной, внушительной наружности.

— Хорошъ!—сказалъ дядя, высокій господинъ съ длинными сѣдыми усами, съ бритымъ подбородкомъ и съ лукавымъ выраженіемъ лица.

А дядина жена, Софья Яковлевна, полная дама съ блестящими глазами и нервно-быстрыми движеніями, оглядывала его съ выраженіемъ брезгливости и ужаса и восклицала:

— Испачканъ, изорванъ! Но его поколотили уличные мальчишки.

— Гдѣ это ты?—спрашивала мать.

— Не лучше ли-ему сначала переодѣться?—обратился къ ней Модестъ Григорьевичъ.

Евгеній взглянулъ на отца съ благодарностью и поспѣшилъ уйти. За нимъ звенѣлъ Машинъ смѣхъ.

«Одинъ только отецъ умѣетъ вести себя», думалъ Женя, переодѣваясь: «только въ немъ есть эта холодная корректность, которая отличаетъ.»

Варвара Кирилловна не намѣрена была забыть про это неприличное происшествіе. За обѣдомъ она опять спросила Евгенія:

— Скажи, пожалуйста, гдѣ ты такъ перепачкался? И гдѣ ты изволилъ прогуливаться?

Евгеній успѣлъ сочинить подходящее объясненіе и небрежно отвѣтилъ:

— Я былъ у этого... Степанова. Потому и поздно.

— Это что за Степановъ?

— Но я вамъ вчера говорилъ,—это нашъ гимназистъ больной.

Варвара Кирилловна встревожилась.

— Чѣмъ больной? — съ обидою и со страхомъ въ голосъ спрашивала она.—И когда ты рассказывалъ? Я ничего не помню.

— Ты еще насъ всѣхъ заразишь!—воскликнула Софья Яковлевна, брезгливо поводя своими пышными плечами.

— Ахъ, мама, я не пошелъ бы, если-бъ это было неприлично. Надо жъ навѣстить: они—бѣдные, можетъ быть, я могъ бы немножко помочь.

— Какая филантропія, скажите, пожалуйста! — насмѣшливо говорила Софья Яковлевна.—А кто тебя тамъ прибилъ?

— Никто не билъ. Но, знаете, въ этихъ захолустяхъ такая грязь, что надо привычку тамъ ходить. Мостки поломанные,—я ногу чуть не сломалъ.

— Потому, должно быть, тебя и провожала эта дѣвчонка!—вмѣшалась Маша.

— Какая дѣвчонка, Женечка?—спросилъ дядя, улыбаясь и слегка прищуривая веселые, лукавые глаза.

Евгеній покраснѣлъ.

— Не знаю, о чемъ она говоритъ, — сказалъ отецъ, пожимая плечами,—я одинъ ходилъ.

— А красиѣшь зачѣмъ?—спрашивалъ дядя.

— Нѣтъ, не одинъ, — горячо возражала Маша. — Черномазая дѣвочка, гимназистка. Ты въ кусты спрятался, а она мимо нашего дома прошла.

— Вотъ и неправда,—увѣренно сказалъ Евгеній,—ничего такого не было.

— Да, вѣдь, я видѣла, какъ вы съ ней шли въ Лѣтнемъ саду.

— Это, должно быть, опять та же Самсонова, — недовольнымъ тономъ сказалъ отецъ.

— Опять, Боже мой!—патетически воскликнула мать.

— Но я съ ней только случайно встрѣтился въ саду!—невиннымъ тономъ объяснялъ Евгеній.—И не могъ же я убѣжать отъ нея!

— Какія скороспѣлыя нѣжности!—воскликнула Софья Яковлевна, сверкая глазами и покрываясь румянцемъ негодованія.

— Мы только немного прошли вмѣстѣ и расстались. И я вовсе не думалъ прятаться. Я даже не сразу вспомнилъ. Что жъ тутъ такого?

— Ахъ, это все та же мѣщаночка!—вспомнилъ и дядя.—Браво, Женечка.

у тебя появляется постоянство во вкусахъ: не на шутку влюбился въ свою сандрильону.

— Что жъ, что мѣщанка?—возразилъ Евгений.—У нея приданое есть.

— Много-ли?—насмѣшливо спросила мать.

— Тридцать тысячъ!—съ вѣсомъ сказалъ Евгений.

Мать пренебрежительно пожала плечами.

— Ну, все же деньги... если только отецъ дастъ,—вступился дядя, лукаво усмѣхаясь.

— Не рано ли думать?—спросилъ отецъ.

— Это у нея собственныя,—сказалъ Евгений, отвѣчая дядѣ.

— Да?—съ нѣкоторымъ вниманіемъ спросила мать.

— Я все это у нея разузналъ...

— Вотъ какъ? Практично!—насмѣшливо сказалъ отецъ.

— Да что это такое!—засмѣялась Софья Яковлевна.—Разузналъ!

— Дѣло въ томъ,—объяснялъ Евгений,—что эти деньги завѣщалъ ей дядя, ея крестный отецъ, и онѣ хранятся въ Крутогорскѣ въ конторѣ у другого дяди, Жглова.

— Не прочное помѣщеніе! — замѣтилъ дядя съ тою же лукавою усмѣшкою.

— Вообще, -- рѣшила Варвара Кирилловна, — тебѣ, Женя, о такихъ вещахъ рано еще думать.

— Конечно,—подтвердилъ отецъ.

— Рѣшительно прошу, продолжала Варвара Кирилловна, — туда не ходить. Разъ навсегда. Я не могу этого выносить,—пожалѣй мои нервы.

Когда Евгений послѣ обѣда ушелъ къ себѣ, Варвара Кирилловна сказала:

— Женя у меня такой впечатлительный, а эта дѣвчонка отчаянно его ловить. Нынче нѣтъ дѣтей. Четырнадцатилѣтняя дрянъ уже думаетъ о женихахъ,—возмутительно!

— Въ ихъ мѣщанской средѣ это такъ понятно!—говорила Софья Яковлевна. — Да и вообще нынѣшнія дѣти... И зачѣмъ вы отдали его въ гимназію—не понимаю. Тамъ такое общество!

— Ахъ, куда же отдать! Здѣсь хоть на нашихъ глазахъ.

Евгений прошелъ послѣ обѣда въ свою комнату, въ мезонинѣ. Вспоминалъ разговоры за столомъ. Изъ всего, что говорилось за обѣдомъ, особенное впечатлѣніе на Евгения произвели и уязвили его дядины слова.

„Мѣщанка!“—думалъ онъ, перебирая книги: „И все-таки она премилая. Конечно, она дурно воспитана, дѣйствительно, по-мѣщански,—какія манеры и словечки! Но я ее перезоспитаю: она рада мнѣ подчиняться, она меня



такъ любить, бѣдняжка, ее не трудно будетъ обломать. Любовь ко мнѣ переродитъ ее“.

Евгенію вспомнилось, какъ они съ Шанею пили „на ты“, когда поближе познакомились и сдружились. То было въ самую жаркую пору лѣта, въ межень, какъ говорятъ у насъ. День былъ ясный, тихій, знойный. Шаниныхъ родителей не было дома. Шаня тихонько принесла въ садъ вино. Они забрались въ баньку, которая стояла въ глухомъ уголкѣ сада: нельзя нести вино въ паркъ — далеко, а въ банькѣ никто не увидитъ. Евгенію ясно вспомнились его тогдашнія жуткія и томныя впечатлѣнія: полусвѣтлая банька съ открытыми окнами, куда вливался изъ сада жаркій, душистый воздухъ сквозь вѣтви кустовъ, тѣсно лѣпившихся у стѣнъ; бревенчатыя стѣны, скамейки по стѣнамъ, вся странная для бесѣды обстановка мѣста, гдѣ обыкновенно только моются; сладкое и крѣпкое вино; тишина уединенія; птичій пискъ по кустамъ и далекое жужжанье пчелъ; Шанинъ нѣжный полушопотъ; ея быстрое, теплое дыханіе; и аромать вина, отуманенные взоры, взволнованная кровь и ярко зардѣвшіяся щеки, жаркія руки, блуждающія, вздрагивающія прикосновенія; ласковыя Шанины улыбки, долгіе, смущенные поцѣлуи. За стѣною смѣются миллионы тихихъ и звонкихъ голосовъ и шелестовъ, слышится задорный птичій пискъ по кустамъ, далекое жужжанье пчелъ...

Евгеній размечтался. Сладко и томно стало ему.

— Баринъ, чай пить пожалуйста, — услышалъ онъ за собою голосъ горничной.

Евгеній посмотрѣлъ на смазливую дѣвушку.

— Гости пришли, — сказала она.

— Ахъ, милая, ты сегодня преинтересная, — скучающимъ голосомъ проговорилъ Евгеній и лѣниво провелъ рукою по ея плечу.

Она лукаво усмѣхнулась.

## ГЛАВА V.

Евгеній сошелъ внизъ. Его охватили привычныя, бодрящія впечатлѣнія: свѣтъ лампъ, красиво отраженный на обояхъ, на красивыхъ одеждахъ, на лицахъ дамъ и барышень; тихое позвякиваніе чайной посуды и еле различаемый аромать душистаго чая, смѣшанный съ тонкимъ благоуханіемъ духовъ; оживленный, но негромкій разговоръ, приправленный и забавною сплетнею, и легкимъ злословіемъ по адресу отсутствующихъ; привѣтливыя улыбки и любезныя слова. Пріятно было сознавать, что здѣсь собралось „лучшее“ общество Сарыни.

Здѣсь были: уѣздный предводитель дворянства Ваулинъ, изъ отстав-

ныхъ военныхъ, господинъ очень вѣжливый, нарумяненный, затянутый въ корсетъ, отъ котораго его станъ казался деревяннымъ; его дочь, дѣвушка лѣтъ шестнадцати, со скучающимъ, блѣднымъ лицомъ, которое казалось немного припухлымъ; директоръ гимназіи Кошуринъ, длинный, веселый господинъ, недавно переведенный сюда изъ Петербурга и забавлявшій дамъ не очень свѣжими столичными анекдотами; его сынъ Павелъ, гимназистъ седьмого класса, румяный, красивый мальчикъ, плотный, упитанный, выхотенный, хотя уже съ нѣкоторою раннею блеклостью кожи подъ глазами, большими, но нѣсколько тусклыми; сѣдой полковникъ, тучный судебный слѣдователь и еще нѣсколько офицеровъ, дѣвицъ и дамъ.

Павелъ Кошуринъ что-то доказывалъ въ кругу молодыхъ людей и барышень. Евгенийъ подошелъ къ нимъ.

— Все это такъ условно,—говорилъ Кошуринъ слегка дребежжающимъ, не установившимся голосомъ переходнаго возраста,—нравственность, долгъ: что у насъ нравственно, то въ другомъ мѣстѣ или въ другое время безнравственно, и наоборотъ. А потому мы нисколько не обязаны слѣдовать тому, что кто-нибудь считаетъ нравственнымъ или хорошимъ.

— Конечно,—подтвердилъ Евгенийъ.

— Надо стоять выше буржуазной морали,—пискнулъ молоденькій офицерикъ съ румянымъ и красивымъ лицомъ.

— Позвольте,—выѣшался сѣдой полковникъ, вслушавшись съ своего мѣста,—вотъ я васъ спрошу; если бы вамъ представился случай украсть, вы бы, вѣдь, не украли?

— Разумѣется, не укралъ бы,—отвѣтилъ Евгенийъ, пожимая плечами.

— Ну, вотъ видите, значитъ, не все такъ условно...

— Но позвольте,—горячо возразилъ Кошуринъ,—вѣдь, я и каждый изъ насъ почему не украли бы? Вовсе не потому, что считаемъ это безнравственнымъ. Не воруемъ, въ сущности, мы только потому, что боимся, какъ бы насъ не поймали.

— Нѣтъ, извините,—возразилъ полковникъ слегка обидчивымъ тономъ,—это не о всѣхъ можно сказать.

— Или потому не воруемъ,—пояснилъ Евгенийъ,—что боимся того, что нельзя будетъ воспользоваться краденнымъ, а рискъ великъ. Воруютъ только дураки и почти всегда попадаютъ, а умный человѣкъ не пойдетъ красть, но вовсе не потому, что это безнравственно, а потому только, что это невыгодно.

— Ну, нѣтъ-съ, позвольте не согласиться. Вы это изволите разсуждать такъ, вамъ нравится, можетъ быть, смѣлая слова произносить, а я изъ своего жизненнаго опыта могу васъ увѣрить: есть люди, которые не воруютъ именно только потому, что гнушаются такой низостью.

Въ другихъ мѣстахъ тоже прислушивались къ спору, и слова полковника вызвали сочувственные отклики.

— Вдругъ бы мы пошли воровать! Можно-ли это себѣ представить?— воскликнула Софья Яковлевна.

— Да, трудно представить кого-нибудь изъ насъ въ роли грабителя или мошенника!—съ холодною усмѣшкою сказалъ Модестъ Григорьевичъ.

— Нѣтъ, молодой человѣкъ,—внушительно сказалъ сѣдой полковникъ, обращаясь къ Кошурину,—люди нашего стараго поколѣнія твердо знаютъ, что воровать—постыдно.

— Всеякіе бываютъ люди,—съ усмѣшкою отвѣтилъ Павелъ Кошуринъ,—а мы о себѣ только говоримъ: если-бъ можно было украсть красиво и безопасно большой кушъ, я бы укралъ и не задумался бы ни на минуту.

— Ну, это такъ только говорится, для краснаго словца,—рѣшилъ полковникъ и повернулся къ тучному слѣдователю продолжать съ нимъ прерванную бесѣду.

— Этимъ господамъ насъ не понять,—говорилъ Павелъ Кошуринъ барышнямъ,—у насъ совсѣмъ разныя натуры. У людей прежнихъ поколѣній все застыло въ опредѣленныхъ формахъ. Они просто не смѣютъ выйти изъ своихъ рамокъ. У насъ развивается тонкая нервная организація, намъ доступенъ такой міръ, который имъ недоступенъ.

— Можетъ быть, этотъ міръ и имъ былъ доступенъ въ молодости,—сказала Катя Ваулина.

— О, нѣтъ, мы—совсѣмъ иное дѣло. Вѣдь, они о чемъ въ молодости мечтали? О славѣ, о любви, о благѣ народа... Какая чепуха, не правда-ли? Вдругъ ходили въ народъ. Къ этимъ пьянымъ, грязнымъ дикарямъ. Зачѣмъ? Какъ это глупо! Нѣтъ, для насъ въ жизни существуетъ только изящное, прекрасное. Мужики—скотоподобные. Мы ихъ ненавидимъ. Жизнь должна давать намъ наслажденія, иначе не стоитъ и жить.

— Да, вѣдь, и старички тоже наслаждались жизнью,—пыталась спорить Катя.

— Да, но наивно, грубо, они не выходили изъ рамокъ условнаго. Я вамъ приведу примѣръ въ цвѣтахъ: имъ нравились яркіе цвѣта—красное, голубое, зеленое; намъ нравятся нѣжные, еле уловимые оттѣнки.

— О, да!—согласилась Катя.

— То же и во всѣхъ чувствахъ. Мы улавливаемъ тонкія, неопредѣленныя ощущенія, которыя имъ непонятны. То же и въ искусствѣ: имъ нравится Пушкинъ, мы упиваемся туманными дымками Фетовскихъ стиховъ.

— Ахъ, стихи! Прочтите намъ какое-нибудь свое стихотвореніе!—просительнымъ голосомъ воскликнула молоденькая барышня въ розовомъ платьѣ и съ наивнымъ лицомъ.

— Да, да, пожалуйста!—просили и другія барышни.

Павель Кошуринъ улыбнулся небрежно и самоуверенно.

— Мнѣ удалось на дняхъ создать очень замѣчательное и оригинальное стихотвореніе. Я его прочту вамъ, если угодно, но въ поясненіе вамъ надо сказать нѣсколько словъ. Собственно, стихи и не слѣдуетъ объяснять, но я иду совсѣмъ особою дорогою,—я не подражаю никому, и потому вамъ мои стихи могутъ на первый взглядъ показаться не совсѣмъ ясными: въ нихъ надо вчитываться. Я, видите-ли, довелъ свои нервы до такой чуткости, что начинаю видѣть голубыя вещи.

— Голубыя вещи? Что это такое?—воскликнула розовая барышня.

— Это что-нибудь страшное?—опасливо спросила Катя Ваулина.

Кошуринъ снисходительно улыбнулся.

— Это, какъ-бы вамъ сказать... Да это, впрочемъ, всѣ видѣли, только не понимали. Помните, случается, что вамъ иногда что-нибудь покажется въ углу комнаты, или на стулѣ, или на диванѣ, какая-нибудь голубая тѣнь. Вы подходите и принюхиваете естественное объясненіе: платье виситъ, или стоитъ зонтикъ, или что-нибудь лежитъ на стулѣ,—и вы успокаиваетесь. Вы ужъ привыкли находить такія объясненія и вѣрите имъ.

— А если тамъ ничего нѣтъ?—спросилъ розовый подпоручикъ.

— Ну, вы увѣрите себя, что вамъ только показалось. Но это и на самомъ дѣлѣ прошла голубая тѣнь, душа какого-нибудь умершаго существа; онѣ всегда проходятъ мимо насъ, только мы не хотимъ видѣть.

Глаза барышень широко раскрылись.

— Но зачѣмъ же онѣ ходятъ?—спросила барышня въ розовомъ.

— Зачѣмъ? Можетъ быть, онѣ хотятъ къ намъ обратиться, сообщить намъ что-то, а мы не обращаемъ вниманія. Это, собственно, еще не самыя души: когда человѣкъ умираетъ, его душа выходитъ, и она въ голубой оболочкѣ, которая легче всякой земной матеріи, и эта оболочка еще долго живетъ на землѣ, пока душа отъ нея не освободится.

— Но, значитъ, ихъ очень много?—боязливо сказала Катя.

— Ну, не такъ много,—усмѣхаясь, отвѣтилъ Павель Кошуринъ.—Вѣдь, одни только дворяне безсмертны. Мужики издыхаютъ, какъ скоты.

— Неужели?—воскликнула розовая барышня.

— Увѣряю васъ. Кстати, вы знаете, что мы ведемъ свой родъ отъ временъ Ивана Грознаго. Но я началъ о голубыхъ вещахъ. Голубыхъ ясно можно видѣть, если изодрать вниманіе.

— То есть если разстроить нервы,—опять вмѣшался полковникъ.

— Почему же разстроить, а не настроить?—спросилъ Кошуринъ, пожмая плечами.—Я начинаю достигать этого. Вчера въ сумеркахъ я сидѣлъ одинъ у себя. Задумался. Было тихо. Сажу вотъ такъ, откинувшись на спинку кресла, руки протянуты на колѣняхъ,—и вотъ я вижу: подошла ко

мнѣ тихо-тихо голубая тѣнь и стала близко... все ближе, ближе... наконецъ, я чувствую на рукахъ кончики ея крыльевъ.

Гимназистъ остановился и значительно смотрѣлъ на слушателей.

— Тѣнь крылатая!— замѣтилъ Аполлинарій Григорьевичъ, который, вмѣстѣ съ другими, снова началъ вслушиваться въ рѣчи румянаго гимназиста.

— Прямо изъ высшихъ сферъ,—съ веселымъ смѣхомъ сказалъ Кошуринъ-отецъ.

— Что же она говорила?—спросила Катя, довѣрчиво и испуганно глядя на гимназиста.

— Пока еще я ничего не слышалъ. Но вотъ слушайте мои стихи.

— Господа,—сказалъ Аполлинарій Григорьевичъ,—прошу вниманія. Юный поэтъ прочтетъ свои стихи.

Всѣ стали слушать. Кошуринъ-младшій принялъ мечтательно-горделивую позу и торжественно продекламировалъ:

Вдохновенныя руки безсильно томятся на грустныхъ колѣняхъ...  
Замѣчаю внимательнымъ взоромъ движеніе въ таинственныхъ тѣняхъ...  
Вдохновенье-ль желанныхъ снопеній, нѣмая-ли эта забава,—  
Голубая, прозрачная тихо ко мнѣ опускается пава.  
Голубое крыло надъ рукою колышется зыбко,  
А на клювъ въ прозрачномъ дрожить незнакомая міру улыбка.

Катя въ восторгѣ смотрѣла на поэта. Сѣдой полковникъ откровенно засмѣялся, а Аполлинарій Григорьевичъ сказалъ, лукаво усмѣхаясь:

— Славные стихи. Въ наше время такихъ не писали. Только не понимаю я, о чемъ грустятъ колѣни.

— Это, видите-ли, передается впечатлѣніе,—небрежнымъ тономъ пояснилъ гимназистъ.—Всякая вещь имѣетъ свою фizioномію, и члены человеческого тѣла тоже.

— Позвольте спросить,—обратился къ Кошурину Ваулинъ,—почему именно вы изволите упоминать въ вашихъ стихахъ паву, а не другую птицу—орла-бы, напримѣръ?

— Извините, этого я не могу объяснить. Это надо почувствовать.

— Пава—это символъ,—сказалъ Евгеній.

— Символъ чего, позвольте спросить?—продолжалъ любопытствовать Ваулинъ, устремляя на гимназистовъ сѣрые, пронизательные глаза.

— Символъ чего-то такого... я не могу это выразить.

— Если хотите,—снисходительно объяснилъ наконецъ Кошуринъ,—символъ гордаго стремленія къ неизвѣстному. Я, по крайней мѣрѣ, такъ объясняю себѣ. Но я долженъ сказать, что, когда я создаю стихи, я не понимаю, что пишу.

— О, да, это замѣтно,—очень любезно согласился Ваулинъ.

— Я на него ужъ и рукой махнулъ,—съ веселымъ смѣхомъ заявилъ Кошуринъ-отецъ

Павелъ Кошуринъ и Катя Ваулина сидѣли, уединившись, въ уголкѣ. Гимназистъ въ чемъ-то настойчиво убѣждалъ дѣвушку, которая неопредѣленно улыбалась и покрывалась слабымъ румянцемъ.

— Позвольте же,—воскликнулъ, наконецъ, гимназистъ,—прочестъ мои стихи, посвященные вамъ. То, что я долженъ вамъ сказать, прозой не выходитъ убѣдительно,—стало быть, это надо сказать стихами. Надѣюсь, вы поймете или почувствуете. Слушайте.

Катя закрыла глаза и откинулась на спинку стула. Гимназистъ, близко наклонясь къ ней, декламировалъ страстнымъ полушопотомъ:

Отодвинулъ я завѣсы плотныя.—  
Запечатана тайная дверь.  
Беззаботныя, безотчетныя,—  
Отчего не теперь?  
Облеблялъ бы лаской блуждающей  
Я твою заповѣдную дверь.  
Утомляющей, утоляющей,—  
О, не бойся, повѣрь!

Кошуринъ кончилъ. Катя сидѣла съ закрытыми глазами и словно ждала еще чего-то. Наконецъ, она открыла глаза. Въ нихъ было блудливое и желающее выраженіе.

— Все?—спросила она очень тихо.

— Все. Поняли?

— Можетъ быть. Только...

— Что только?

— Положимъ, вѣрю; а дальше что?

— Дальше послѣ,—отвѣтилъ гимназистъ, радостно улыбаясь.

Катя отошла отъ него.

— Что,—спросилъ Евгений, подходя къ Кошурину,—у тебя, кажется, была интересная бесѣда съ Катей Ваулиной?

— Да. Дурочка, такая боязливая, не можетъ понять, что можно и невинность соблюсти, и насладиться во все свое удовольствіе. Впрочемъ, я, кажется, обратилъ ее въ свою вѣру стихами. Хочешь, прочту тебѣ?

— Прочти.

Кошуринъ повторилъ свое произведеніе.

## ГЛАВА VI.

Владимиръ Гарволинъ жилъ со своею матерью недалеко отъ Самсоновыхъ. Онъ съ дѣтства водилъ дружбу съ Шанею и частенько каталъ ее на салазкахъ съ той горки, что стояла въ Самсоновскомъ паркѣ. Давно уже обольстила его сердце плѣнительно-веселая дѣвочка, но, застѣнчивый и неловкій, онъ не умѣлъ выразить своего чувства и казался грубымъ и суровымъ. По праву старой дѣтской дружбы онъ говорилъ Шанѣ „ты“. Шаня была съ нимъ довѣрчива, Шаня любила поболтать съ нимъ о своемъ миломъ Женечкѣ,—жестокая Шаня! И чѣмъ больнѣе бичевала Шаня Володино сердце рѣчами о Хмаровѣ, тѣмъ милѣе и дороже становилась она для него—радостная, недостижимая.

А дома была у Гарволина грусть. Неонила Петровна, его мать, вдова здѣшняго чиновника, получала небольшую пенсію, давала за ничтожную плату уроки дѣвочкамъ, которыя ходили къ ней готовиться въ гимназію, а по вечерамъ отправлялась читать романы престарѣлой, полу-глухой барынѣ, которая платила ей скудно и неаккуратно, задерживала ее почти каждый разъ до поздней ночи, нестерпимо капризничала, да и считала себя благодѣтельницею, потому что иногда приглашала Неонилу Петровну съ Володею обѣдать.

Въ послѣднее время Володя тяготился этими обѣдами и раза два пробовалъ увернуться отъ нихъ. Но это было неудобно: капризная старуха жестоко обижалась, что пренебрегаютъ ея приглашеніями, и не хотѣла слушать никакихъ резоновъ. Ей нравилось видѣть Володю,—онъ былъ застѣнчивъ и неловокъ, и она за обѣдомъ всласть шпыняла его благожелательными наставленіями.

— Для твоей же пользы, батюшка,—приговаривала она,—мальчикъ ты хорошій, а въ жизни и полировка нужна. Неотесанной дубиной только тынъ подпирать.

Хоть очень непріятны Володѣ были эти обѣды, но приходилось таки ходить: мать просила,—а то еще мѣсто потеряетъ.

Не легко достаются деньги, трудна жизнь. Утро до трехъ часовъ уходило на занятія съ дѣвочками. Въ это же время надо было готовить обѣдъ: постоянную прислугу держать было не на что, а ходила находомъ баба-мѣщанка, которая жила недалеко. Эта баба придетъ утромъ, натаскаетъ дровъ, наноситъ воды, приберетъ кой-что и уходитъ до слѣдующаго утра; въ назначенные дни придетъ вымыть полы, выстирать бѣлье. Дѣвочки уйдутъ,—еще много заботы и работы: сшить, починить, заштопать. Придетъ вечеръ—надо идти на другой край города добывать гроши чтеніемъ. Каждый день,

во всякую погоду, въ дождь, въ снѣжную мятель, въ морозы тащиться въ старенькомъ пальтишкѣ, которое плохо грѣетъ старѣющее тѣло,—это было трудно.

Неонила Петровна была женщина болѣзненная, нервная. Дѣвочки раздражали ее, но съ ними надобно было ладить. Надобно было приноравливаться и къ капризамъ богатой старухи. У Неонилы Петровны болѣла грудь, она все чаще и чаще кашляла, все болѣе и болѣе высыхала и сморщивалась. Къ сорока пяти годамъ она казалась уже совсѣмъ старухой. Чтеніе сильно утомляло ее, но его нельзя было оставлять: деньги нужны.

Когда Володя подросъ, онъ сталъ искать для себя какой-нибудь работы, какихъ-нибудь уроковъ. Все это оплачивалось дешево, и денегъ съ трудомъ хватало. Володя подумывалъ бросить гимназію, идти въ чиновники,—мать не соглашалась.

— Дотяни какъ-нибудь, безъ диплома вѣкъ нищимъ будешь.

Былъ у Володи въ Сызрани дядя, братъ его покойнаго отца, но тому помогать было не изъ чего: онъ служилъ въ казначействѣ на маленькомъ жалованьи и имѣлъ полдюжины дѣтей, которымъ иногда не на что было и башмаковъ купить.

Бывало вечеромъ Неонила Петровна собирается идти къ своей старухѣ, одѣвается, укутывается въ какія-то тряпки—и кашляетъ, мучительно кашляетъ.

— Ты бы, мама, сегодня дома посидѣла,—говоритъ Володя, помогая ей одѣваться:—слышишь, вѣтеръ такъ и воетъ,—еще больше простудишься.

— А вотъ закутаюсь хорошенько, и ничего мнѣ не будетъ.

— Хоть бы одинъ вечеръ отдохнула.

— Я отдыхать буду, а деньги сами къ намъ придутъ!—раздражительно говоритъ Неонила Петровна.

— Проживемъ какъ-нибудь, мама. Побереги здоровье.

— Разъ умирать надо!

У Володи сжимается сердце, когда мама говоритъ о смерти. Онъ принимается мечтать, какъ онъ кончитъ курсъ въ университетѣ, получить хорошее мѣсто и успокоить маму; усиленно старается представить себѣ подробности будущаго житья-бытья, но все чаще повторяется настойчивая мысль— „Не дотянетъ, умереть“.

Мать кашляетъ мучительно и покорно говоритъ:

— Видно, помирать пора.

Володино сердце мучительно ноетъ.

„Какъ же другіе живутъ?“ спрашиваетъ онъ себя и представляетъ себѣ людей богатыхъ, и бѣдныхъ, и счастливыхъ, и обездоленныхъ... Старухи—хилыя, безпріютныя, надорвавшіяся въ непосильной работѣ... Но жалость къ



одной изъ этихъ старухъ, близкой, милой, перевѣшиваетъ въ его сердце слабую, надуманную для утѣшенія жалость къ милліонамъ еще болѣе несчастныхъ существъ.

Въ воскресенье у обѣдни Марья Николаевна встрѣтила Неонилу Петровну съ Володею и зазвала ихъ къ себѣ обѣдать.

— Вотъ, снимались у пріѣзжаго фотографа,—разсказывала дома Марья Николаевна.—Шанька, подари, что-ль, Володенькѣ свой портретъ.

— Слушай, Шаня,—угрюмо заговорилъ онъ, когда они остались одни въ ея комнатѣ:—ты думаешь—Хмаровъ на тебѣ когда-нибудь женится?

Шаня покраснѣла и отъ раскрытаго еще комода, гдѣ она искала свои карточки, повернулась къ Володѣ.

— Съ чего ты это?—спросила она.—Да я и не думаю. Что я за невѣста? Я еще въ куклы играю.

Она весело засмѣялась и опять принялась шарить въ комодѣ, торопясь и не находя.

— Ну, положимъ, думать-то ты думаешь,—сказалъ Гарволинъ.—А только напрасно: маменька ему не позволить.

— Да тебѣ-то что за печаль?—разсердилась Шаня.—Выискался какой!

— Тебя жалко: обманетъ онъ тебя.

— Онъ—честный!—запальчиво крикнула Шаня.

Она нашла свои карточки и держала ихъ, не вынимая изъ конверта, гнѣвно сверкая на Володю черными глазами.

— Ну, честный насчетъ другого чего, можетъ быть,—угрюмо сказалъ Володя,—а на эти дѣла всѣ они... Скажетъ: маменька не велитъ.

— Неправда! Ты — злой, злючка, ты со злости такъ говоришь, а самъ знаешь, что неправда. Онъ—честный, онъ никогда не обманетъ, онъ милый, хорошій!

Шаня притоптывала ногами, и щеки ея пышно рдѣли. Володя вздохнулъ.

— Ну, давай тебѣ Богъ. Только все-жъ держи ухо востро.

— И слушать не хочу, и молчи, пожалуйста. И никогда впередъ не смѣй такъ говорить. На вотъ лучше карточку, хоть и не стоишь ты за такія слова. Самую хорошую тебѣ выбрала.

— Эхъ, Шанечка!

Шаня призадумалась на минутку и вдругъ весело и лукаво улыбнулась.

— Слушай-ка ты лучше, что я тебѣ скажу,—сказала она Володѣ.—Скажи мнѣ, синій или красный? Ну, живѣй.

— Ну, что такое?—съ удивленіемъ спросилъ Гарволинъ.

— Скорѣй, скорѣй!—торопила Шаня.—Я задумала кое-что. Ну, говори же, синій или красный.

— Красный!—угрюмо сказалъ Володя.—Чепуха какая-нибудь.

Шаня звонко и радостно засмѣялась.

— Не обманеть, не обманеть!—закричала она, прыгая и хлопая въ ладоши.—Знаешь, что я сейчасъ загадала?

— Ну?

— Если синій, такъ онъ меня броситъ, если красный—не броситъ. Ну, что, чья выходитъ правда? Вотъ видишь, какой ты злой. Видишь, вышло, что не броситъ, а ты на него врешь такія вещи.

— Эхъ ты, стрекоза!—уныло сказалъ Володя.—Задастъ онъ тебѣ такого краснаго!

— Слушай, Володя,—заговорила вдругъ Шаня, лукаво улыбаясь и заглядывая ему въ глаза:—вѣдь, ты все это изъ ревности?

Володя вспыхнулъ и угрюмо отвернулся.

— Изъ ревности, да? Вѣдь, да? Признайся,—шептала Шаня.

— Эхъ, Шанька, брось его, право, брось!—горячо и убѣдительно заговорилъ Володя и взялъ Шаню за руки.

Шаня засмѣялась, вырвалась отъ него, запрыгала и закричала:

— Не обманеть! На обманеть! Красный! Красный! Красный!

Володя безнадежно махнулъ рукою. Ему стало еще грустнѣе, чѣмъ прежде. Онъ увидѣлъ, что Шаня заглянула въ его сердце и смѣется, жестокая, беззаботно.

Заглянула въ его сердце,—и ей радостно, что ее любятъ: это льститъ ей. Она никому не откроетъ Володиного секрета. Зачѣмъ? Онъ—милый. Но ей сладко, что у нея есть такіе секреты. Она знаетъ, что Володя будетъ хранить ея карточку, какъ святыню, но она не знаетъ, какъ трудно Володѣ.

Въ понедѣльникъ, часа въ три, Шаня встрѣтилась съ Женей въ Лѣтнемъ саду.

— Хочешь, Женечка, я подарю тебѣ свой портретъ?—спросила она, кокетливо и наивно улыбаясь.

— Подари, Шанечка.

Шаня вынула изъ кармана фотографическую карточку.

— У пріѣзжаго снимались?—спросилъ Женя, рассматривая портретъ.

— Да.

— Впрочемъ, адѣсь у кого-же еще.

— Еле выпросила у отца,—не къ чему, говорить, мы тебя и такъ видимъ.

— Резонъ!—насмѣшливо сказалъ Женя.

— Ну, вотъ, я тебя и осчастливила,—сказала Шаня и весело глянула сбоку, слегка нагнувшись, въ Женино лицо.

— Осчастливила, Шанечка, спасибо!—сказалъ Женья.

— А только, если ее у тебя увидятъ, тебѣ достанется, пожалуй?

— Ну, вотъ! Я спрячу подальше и буду хранить. Никто не увидитъ.

— Да, да, спрячь подальше.

Шанѣ стало обидно, что Женья долженъ спрятать ея карточку, но она постаралась скрыть отъ Жени свое чувство. Вечеромъ, въ своей постели, она вспомнила опять, что Женья будетъ прятать отъ родныхъ ея карточку, какъ запрещенную вещь, какъ непристойное или краденое,—и заплакала отъ обиды.

Шанѣ не вспомнился въ эти минуты Володя Гарволинъ. А онъ разсматривалъ ея карточку вмѣстѣ съ матерью и ни отъ кого не пряталъ ее.

Несмотря на то, что мать запретила Евгенію ходить къ Шанѣ, онъ все-таки улучалъ иногда свободныя минуты и забѣгалъ къ ней. Давно уже собирался онъ сдѣлать ей какой-нибудь подарочекъ, да не было у него лишнихъ денегъ. Евгенийъ всегда имѣлъ карманныя деньги въ весьма приличномъ количествѣ, да не находилось у него такихъ денегъ, которыя не были бы назначены на его собственные прихоти. Просить лишнихъ денегъ у матери или отца было бесполезно: Хмаровы и такъ жили не по средствамъ. Имѣніе было заложено и давало такъ мало дохода, что Хмаровымъ уже года два приходилось отказываться отъ заграничныхъ поѣздокъ, къ которымъ они привыкли, Жалованье, которое получалъ Модестъ Григорьевичъ по своей судебной должности, проживалось безъ остатка, и много было долговъ. Понятно, что Евгенийъ не могъ рассчитывать на лишнее.

Наконецъ, случайно скопилась въ его кошелькѣ нѣкоторая сумма, которую онъ рѣшилъ употребить на подарокъ Шанѣ. Онъ отправился въ лавки, прицѣнялся къ разнымъ вещичкамъ, сравнивалъ, выбиралъ и кончилъ, совсѣмъ неожиданно для себя самого, тѣмъ, что купилъ для себя хорошенькій портсигаръ: ужъ очень любезенъ былъ приказчикъ и очень лзящною показалась Евгенію вещица. Выходя изъ магазина, онъ утѣшилъ себя соображеніемъ, что у Шани и такъ всего много: она не нуждается такъ, какъ онъ. Притомъ, если подарить ей что нибудь, она, пожалуй, не сумѣетъ утаить этого отъ родителей, и тѣ, пожалуй, еще поколотятъ,—что хорошаго!

„Лучше я такъ приду,—она и безъ подарковъ мнѣ рада!“ соображалъ онъ. „Послѣ тѣхъ дыкарей, которые окружаютъ ее дома, я долженъ показаться ей человѣкомъ съ луны“.

Подходя къ парку Самсоновыхъ, Женя услышалъ голосъ Шани, которая заучивно напѣвала:

Если-бъ, сердце, ты лежало  
На рукахъ моихъ,  
Все качала-бы, качала  
Я тебя на нихъ.

Женя поморщился.

„Этакая пошлость!“ подумалъ онъ.

Шаня увидѣла его и покраснѣла: ей стало стыдно, что онъ слышалъ ея пѣніе. Но она не любила быть долго сконфуженною, весело засмѣялась и спросила Женю:

— Ну, что, хорошо я пою?

— Поешь-то ты хорошо...

— Да гдѣ-то сядешь?—докончила Шаня.—Ну, хорошо, хочешь, я тебѣ спею?

— Спой, только, пожалуйста, не эту пошлость, что я слышалъ.

Шаня сорвала вѣтку рябины и молча стала ее ошипывать.

— Что-жъ ты не поешь?—спросилъ Женя.—Или ты обидѣлась?

— Ничуть не обидѣлась, а не хочу.

— Сейчасъ же хотѣла!

— А сейчасъ и отхотѣла. У меня это скоро. Пойдемъ-ка лучше на качели.

— Пойдемъ. Только ты, можетъ быть, обидѣлась?

— Ну да, вотъ еще.

Шаня и Женя забрались на качели. Тяжелая доска, подвѣшенная на четырехъ толстыхъ брусьяхъ, раскачивается съ легкимъ скрипомъ, все выше и выше. Шаня сильно работаетъ руками и ногами: ей нравится подбрасывать доску высоко-высоко — и она радостно, звонко смѣется. Доска взлетаетъ выше и выше. Сначала Женя старается не отставать отъ дѣвочки и, въ отместку ей, подкидываетъ ее конецъ съ каждымъ разомъ все выше. Потомъ ему приходится только держаться. Онъ начинаетъ бояться и блѣднѣть. Онъ держится руками, упирается изо всѣхъ силъ ногами въ доску, — ноги его какъ-то странно и страшно начинаютъ отставать отъ доски при каждомъ взлетѣ, и ему каждый разъ кажется, что вотъ-вотъ онъ сорвется. А Шанька все поддаетъ доску, поддаетъ безъ конца.

— Довольно,—говоритъ онъ, наконецъ, глухимъ отъ волненія голосомъ.

Шанька не унимается: она работаетъ такъ, что потъ струится по ея лицу; ей хочется сдѣлать, чтобы доска стала вертикально.

— Довольно, Шанька, упадешь,—говоритъ Женя, задыхаясь.

Шанька отчаянно стиснула зубы. Еще одинъ неистовый взмахъ—и

Доска стала вертикально. На одно мгновеніе Женя видитъ прямо подъ собою напряженно-вытянутую фигуру дѣвочки. Женя замираетъ отъ ужаса и безпомощно корчится, и стремится за доскою внизъ, безнадежно уцѣпившись оцѣпенѣлыми руками за брусъ,—и вотъ Шанька уже опять надъ нимъ и упруго присѣдаетъ, чтобы повторить ужасный взмахъ качелей.

— Перестань, Шанька, говорятъ тебѣ!—кричитъ Женя бѣшенымъ голосомъ.

Качели взлетаютъ попрежнему высоко, но Шаня видитъ, что Женя поблѣднѣлъ, и перестаетъ поддавать. Раскачавшіяся качели тяжело колышутся, Шанька тяжело дышетъ, черные глаза ея мерцаютъ торжествомъ побѣды.

Не дожидаясь, когда качели остановятся, улочивъ благопріятный моментъ, Женя соскочилъ съ доски и быстро отошелъ въ сторону, подальше отъ качелей. Ему не хочется, и смотрѣть на нихъ: у него кружится голова.

— Ну, чего ты боишься?—спросила Шаня, прыгивая съ качелей, и побѣжала за нимъ.

— Я за тебя боюсь,—ты могла ушибиться.

— Привыкла!—безпечно отвѣтила Шаня.

— Ты могла бы до смерти убиться, пойми, пожалуйста.

— До смерти! Большая бѣда. Разъ умирать надо, а все трусить—такъ и жить не стоитъ: скучно очень.

— А обо мнѣ ты не думаешь?—убѣждалъ Женя, досадливо краснѣя.— Что бы со мною было, если бы ты умерла?

Шаня звонко засмѣялась и повернула Женю за плечи кругомъ.

— Ахъ ты, философъ!—крикнула она.—Ужъ очень ты цирлихъ-манирлихъ, какъ я погляжу,—ужъ я даже и не понимаю.

## ГЛАВА VII.

Послѣ праздничной обѣдни народъ толпами выходилъ изъ собора. Варвара Кирилловна остановилась на паперти.

— Охота связываться!—недовольнымъ тономъ сказалъ Модестъ Григорьевичъ.

— Иди, пожалуйста, домой,—съ раздраженіемъ отвѣтила Варвара Кирилловна,—и не беспокойся: я все самымъ приличнымъ образомъ улажу.

— Какъ знаешь, только я тебя предупреждалъ.

— Хорошо, хорошо, знаю.

Модестъ Григорьевичъ пожалъ плечами и отправился домой. Въ это время изъ церкви показалась Марья Николаевна съ Шанею. Варвара Кирилловна подошла къ нимъ.

— Я, моя милая, хочу сказать вамъ кое-что,—величественно обратилась она къ Марьѣ Николаевнѣ.

— Сдѣлайте ваше одолженіе, послушаю,—отвѣчала Марья Николаевна спокойно.—Бѣги, Шанька, домой, нечего тебѣ тутъ.

Шаня весело побѣжала впередъ. Варвара Кирилловна и Марья Николаевна сошли съ паперти и медленно двигались въ толпѣ горожанъ. Варвара Кирилловна немного помолчала, потомъ начала:

— Я хочу васъ просить, чтобъ вы запретили вашей дочери вести знакомство съ моимъ сыномъ.

— А вы бы, сударыня, лучше вашему сыну запретили: я и такъ свою Шаньку въ вашъ садъ не пускаю, а вашъ-то сынокъ частенько около нашихъ яблонь околачивается.

— Дѣло не въ яблоняхъ, моя милая,—вы должны понимать, что ваша дочь моему сыну не пара.

— Отлично понимаемъ, сударыня,—мы вашего сына въ свой домъ и не пустимъ, а только чего-жъ онъ къ Шанькѣ вяжется?

— Ужъ я не знаю, моя милая, кто къ кому вяжется, какъ вы выражаетесь.

— Да что, сударыня, я вамъ такая милая сдѣлалась? Будто бы и не было моего желанія такъ ужъ вамъ угодить.

— Послушайте,—сказала Варвара Кирилловна, краснѣя отъ негодованія,—я, наконецъ, рѣшительно требую, чтобъ это безобразіе было прекращено.

— Не знаю, про какое такое безобразіе изволите говорить, а только что ужъ очень много у васъ форсу, сударыня.

— Какъ ты смѣешь со мной такъ разговаривать, дерзкая баба!—внезапно вспылила Хмарова.—Да знаешь ли ты...

— Да ты-то что ершишься!—закричала Марья Николаевна, такъ же внезапно выходя изъ себя.—Что мужъ-то твой генераломъ будетъ! Такъ еще пока будетъ, да и то онъ, а не ты. А у насъ, у бабъ, звѣзды то у всѣхъ одинаковы.

Марья Николаевна все болѣе и болѣе повышала голосъ. Въ толпѣ стали прислушиваться и оглядываться. Варвара Кирилловна поторопилась отойти подальше.

— Нахальная баба!—проворчала она больше для своего удовольствія.

— Что,—кричала вслѣдъ ей Самсонова,—не нравится, небось?

Дома Шанькѣ досталось отъ матери, зачѣмъ она водится съ Хмаровымъ: Марья Николаевна сорвала остатокъ злобы на Шанькѣ и больно высѣкла ее. Шаня поплакала и принялась вышивать въ подарокъ Жень кошелекъ: была бы ему память, если-бъ не дали повидаться.

Однако, встрѣчи повторялись. Евгенія тянуло къ Шанѣ. Его родители

были очень озабочены своими дѣлами,—имъ было не до Жени: Модестъ Григорьевичъ хлопоталъ о переводѣ въ Крутогорскъ на болѣе видную должность. Мѣсто, котораго желалъ онъ, было еще занято, на него было много другихъ кандидатовъ, и Хмаровы сильно волновались.

Осенній ясный день. Холодноватый вѣтерокъ. Невысокое солнце лихо-радочно жарко. Листва ярка и разноцвѣтна. Дорожки стараго парка журчатъ опавшими листьями; опавшіе, блеклые листья заволакиваютъ у береговъ воду въ прудѣ, рябятъ поверхность узкихъ протоковъ. Женья и Шаня сидятъ въ бесѣдкѣ въ концѣ парка, у низкой изгороди, и смотрятъ на унылое поле, на мелкую рѣчку.

— А помнишь,—спросила Шаня,—какъ мы съ тобой лѣтомъ въ этой рѣчкѣ ловили раковъ руками?

Женья краснѣетъ. Какъ подумаешь—какихъ глупостей не надѣлаешь—если влюбленъ!

Шаня приготовила Женѣ подарочекъ—шитый бисеромъ и шелками кошелекъ—и держать его въ карманѣ. Она мечтаетъ, какъ онъ будетъ радъ подарочку; ей пріятно мечтать объ этомъ, и она оттягиваетъ ту минуту, когда отдастъ ему кошелекъ. Она знаетъ, что онъ и кошелекъ долженъ будетъ спрятать, какъ ея портретъ, но пусть, пусть! За то онъ самъ порадуется. Наконецъ, она опускаетъ руку въ карманъ, нащупываетъ тамъ кошелекъ и веселыми глазами, посмѣиваясь, поглядываетъ на Женю.

— Ну, въ чемъ дѣло?—спрашиваетъ Женя и улыбается.

— Женечка,—внезапно смущаясь, говоритъ Шаня,—вотъ я тебѣ подарочекъ приготовила на память. Сама вышила.

Она достала кошелекъ и подала его Женѣ. Женя покраснѣлъ и смѣшался: онъ вспомнилъ вдругъ, какъ онъ покупалъ подарокъ Шанѣ и не купилъ,—и ему стало стыдно и досадно.

— Спасибо,—пробормоталъ онъ, неловко поворачивая кошелекъ въ пальцахъ:—очень мило. Но зачѣмъ ты это? Ахъ, Шаня, это неудобно.

— Неудобно?—спросила Шаня, и на лицѣ ея отразилось недоумѣніе и обида.

— Ну, да, конечно. Какъ ты не понимаешь!

— Гдѣ жъ мнѣ понимать! Я думала—тебѣ пріятно.

— Вотъ ты мнѣ даришь, точно намекаешь, чтобъ и я тебѣ дарилъ,—недовольнымъ, обиженнымъ тономъ объясняетъ Женя.

— Ничего я не намекаю,—сердито сказала Шаня, постукивая носкомъ башмака по песку дорожки.

Женья не обратилъ вниманія на перерывъ: онъ слишкомъ занятъ былъ своимъ негодованіемъ.

— А почему я тебѣ не дарю? Ну, положимъ, я подарю...

— Ничего мнѣ отъ тебя не надо.

— А твой отецъ увидитъ,—тебѣ же достанется. Я не хочу подводить тебя подъ непріятности. А не могу же я принимать отъ тебя подарки, если самъ ничего тебѣ не буду дарить.

— Ничего мнѣ не надо,—шепнула Шаня и заплакала.—Развѣ я для подарковъ?—крикнула она стѣсненнымъ отъ слезъ голосомъ, всхлипывая.

— Съ тобой совѣтъ нельзя говорить, Шаня, ты несколько не жалѣешь моихъ нервовъ,—говорилъ Женья дрожащими отъ ярости губами.—Ты просто психопатка какая-то.

Онъ поблѣднѣлъ и вздрагивалъ отъ злости.

— Психопатка!—повторила Шаня, плача.—Ишь ты, какое слово выдумалъ,—психопатка! Поди-жъ ты какъ! А ты—куропатка! Противный, тебѣ же хотѣла угодить, а ты ругаешься.

Женья почувствовалъ, наконецъ, что говоритъ несправедливыя глупости. Ему стало жаль, что Шаня плачетъ.

— Ну, чего жъ ты плачешь?—заговорилъ онъ примирительно.—Вѣдь, я не хотѣлъ тебя обидѣть.

— А зачѣмъ ругаешься?

— Ну, извини, Шанечка, больше не буду.

Женья отымалъ Шанины руки отъ ея лица и цѣловалъ ея мокрые отъ слезъ глаза. Шаня слабо отбивалась.

— Ужъ очень у тебя скоро,—говорила она:—сейчасъ ругался, а сейчасъ и вѣжности... Ловкій какой! Коли я—психопатка, такъ ты меня и не тронь. Ишь, слово какое!

— Ну, полно, Шанечка,—уговаривалъ Женья, цѣлуя мокрые пальцы Шаниныхъ рукъ,—не верчи, ты—не старушка.

Шаня вдругъ засмѣялась, вскочила со скамейки и крикнула:

— А кошелекъ возьмишь?

— Возьму. Шанечка, спасибо, милая.

— И спрячешь?

— И спрячу.

— И будешь хранить?

— И буду хранить.

— Ахъ ты, куропатка! Бѣги, догоняй меня,—не догонишь.

Шаня со звонкимъ смѣхомъ побѣжала по дорожкамъ, на бѣгу стирая руками со щекъ остатки слезъ. Женья догонялъ ее.



Зима въ томъ году была снѣжная и холодная. Шаня и Женя продолжали встрѣчаться—то въ Лѣтнемъ саду, то на общемъ каткѣ, на рѣчкѣ. Но на каткѣ мѣшали Маша и родители Хмарова.

Чаще и охотнѣе дѣти сходились попрежнему въ саду и въ паркѣ Самсонова. Теперь, когда въ саду нечего было караулить, попадать въ него было легче: Шаня заботилась, чтобъ всегда днемъ была незамкнута калиточка въ высокому частоколѣ сада. Чтобы не дрогнуть въ саду на морозѣ, порою забирались они въ баньку—по тѣмъ днямъ, когда ее не топили: хоть и тамъ было холодно, а все же въ стѣнахъ хоть вѣтеръ не тревожилъ. Короткія свиданія проходили въ невинныхъ поцѣлуяхъ, въ наивныхъ разговорахъ.

Иногда Шаня и Женя украдкой пробѣгали мимо дома въ паркъ и катались съ горы на салазкахъ.

Впрочемъ, Шанѣ не было надобности много прятаться: ея родителямъ тоже было не до нея. Самсоновъ все чаще уходилъ къ своей любовницѣ, пышнотѣлой, бѣлолицей мѣщанской дѣвицѣ, для которой онъ нанялъ небольшую квартиру. Марья Николаевна бѣшено ругалась съ мужемъ. Ея страстные крики иногда будили въ немъ прежнюю страсть къ ней, но возвраты его нѣжности только больше раздражали и томили ее.

Наконецъ, и она нашла себѣ утѣшителя—скромнаго телеграфиста Кириллова, котораго взяла сама и который очень роѣлся передъ нею. Любви къ нему Марья Николаевна не чувствовала, а ходила къ нему изъ злости къ мужу. Но открыть это мужу она не смѣла,—боялась побоевъ,—и только темными намеками дразнила его. Самсоновъ, можетъ быть, догадывался, но былъ доволенъ, что жена стала меньше ругаться съ нимъ.

Бывало зимнимъ вечеромъ, закутавшись и закрывъ лицо, Марья Николаевна пробирается по заднимъ улицамъ, по снѣжнымъ сугробамъ, къ дому, гдѣ живетъ Кирилловъ. Въ ночной темнотѣ свѣтится и свѣтитъ только снѣгъ. Глухія мѣста, задворки,—рѣдко-рѣдко гдѣ въ окнѣ виднѣтъ огонь, еще рѣже встрѣтится прохожій.

Вотъ и огородъ, и нарочно не закрытая калитка. Марья Николаевна идетъ протоптанною въ снѣгу тропинкою мимо заваленныхъ снѣгомъ грядокъ, очертанія которыхъ еле замѣтно волнисты. Она подходитъ къ домику, два окошечка котораго глядятъ въ огородъ. Окна освѣщены, и шторы не спущены.

„Дуракъ!“—досадливо думаетъ Марья Николаевна и заглядываетъ въ окно.

Кирилловъ, молодой человѣкъ съ безцвѣтными бровями и съ льняными волосами, стоитъ безъ сюртука посреди комнаты и усердно пилитъ смычкомъ дрянную скрипиченку, извлекая жалостные, дребежжающіе звуки. Марья

Николаевна легонько стучит пальцами въ стекло,—Кирилловъ мечется по комнатѣ, торопливо напяливаетъ на себя форменный сюртукъ и бѣжитъ отворять двери.

Онъ робѣетъ передъ своею гостьею, суетится около нея, неловко помогая ей раздѣваться, но она недовольно отстраняетъ его.

— Завѣсь окно сначала,—говоритъ она,—самъ-то, батюшка, и объ этомъ не умѣешь догадаться.

Кирилловъ бросается къ окошкамъ. Марья Николаевна садится на жесткій диванъ и недовольными глазами окидываетъ тщедушную фигуру хозяина и бѣдную обстановку маленькой комнаты. Кирилловъ становится передъ нею, потираетъ руки и не знаетъ, что сказать. Марья Николаевна кажется ему слишкомъ велика для его комнаты.

— Ну, что-жъ стоишь, садись, что-ли, занимай гостью,—говоритъ Марья Николаевна.

Кирилловъ садится на диванъ и осторожно подвигается къ Марьѣ Николаевнѣ; ея огненные глаза начинаютъ зажигать его вялую, бояливую страстность.

— Ты о себѣ, однако, много не мечтай,—говоритъ Марья Николаевна.— Ты воображаешь—очень ты мнѣ лѣбъ?

— Коли не погнушались придти,—лепечетъ Кирилловъ, дотрагиваясь слегка пальцами до талии своей гостыи такъ же осторожно, какъ до раскаленной печки,—то стало быть...

— Какъ бы не такъ,—перебиваетъ Марья Николаевна, сердито отодвигаясь.—Своему чорту на зло,—такъ и знай. Изболѣла моя душа, на его такія качества гляючи. На отместку ему тебя завела.

— Очень мнѣ обидно отъ васъ такія жестокія слова выслушивать,—говоритъ Кирилловъ, смѣлѣе охватывая рукою талию Самсоновой.

Она уже не отодвигается дальше и отвѣчаетъ:

— Обидно! Большая мнѣ печаль! Эхъ ты, сухопарый! Ты и цѣловаться не умѣешь такъ, какъ онъ.

— Помилуйте, Марья Николаевна, ужъ я ли, кажется, не стараюсь.

— Дуракъ—и больше ничего. Мой-то соколъ, пока еще я была ему любя... Эхъ, да что тутъ и вспоминать. Вотъ бросилъ,—а узнаетъ, что я у тебя была, на мѣстѣ убьетъ. А ты, слюняй ты этакій, и окошекъ занавѣсить во-время не умѣешь.

## ГЛАВА VIII.

— Что тебя давно не видать у насъ?—спросила Шаня, встрѣтивъ Гарволлина по дорогѣ изъ гимназіи.

— Мать шибко нездорова,—угрюмо отвѣтилъ Володя.

Неонила Петровна сильно простудилась въ одинъ изъ ненастныхъ зимнихъ вечеровъ, пробираясь къ своей старухѣ читать романы. Думала сначала, что это пройдетъ, перемогалась и, наконецъ, слегла. Съ каждымъ днемъ она замѣтно слабѣла. Володѣ страшно было думать, что мать умретъ, но онъ не могъ не думать объ этомъ и напрасно старался утѣшить себя надеждою на выздоровленіе матери. Лекаръ добросовѣстно и внимательно выстукивалъ и выслушивалъ ее грудь, присаживался къ столу и мучительно выжималъ изъ себя какіе-то рецепты, но помочь не могъ. Онъ видѣлъ, что человѣкъ умираетъ, но, можетъ быть, и отлежится. Ему тоже непріятно было думать, что больная, которую онъ лелѣетъ, умретъ, и онъ утѣшалъ Володю:

— Пока нѣтъ ничего опаснаго.

Но по лицу его Володя видѣлъ, что онъ говоритъ не то, что думаетъ.

Дни, которые тянулись въ боязливомъ и томительномъ ожиданіи, и тревожныя ночи казались Володѣ случайнымъ, нелѣпымъ кошмаромъ.

«Зачѣмъ, зачѣмъ?» спрашивалъ онъ себя. „Трудиться весь вѣкъ, жить зачѣмъ-то безъ радости, безъ свѣта, умереть въ нищетѣ. А еще нѣсколько лѣтъ,—вѣдь, она еще не старая,—я бы сталъ зарабатывать,—хоть бы покойная старость. Умереть, какъ умираетъ на мостовой кляча, заморенная работою!“

Дядины дочери, Катя и Люба, дѣвушки по восемнадцатому и семнадцатому году, поселились у Неонилы Петровны, ухаживали за нею и занялись хозяйствомъ. Въ домѣ было мало денегъ. Дѣвушки озабоченно шептались и боязливо вели счетъ, сколько стоятъ лекарства.

Суетливая забота, неумолимая нужда, безпощадная смерть...

Катя и Люба жалъ было тетю. Онѣ плакали и разговаривали о своихъ примѣтахъ, которыя, по ихъ глубокому убѣжденію, предвѣщали смерть. Володя слушалъ ихъ съ досадою, но сжималъ его сердце ихъ наивный предвѣщательный лепетъ.

Смерть стояла надъ постелью больной и обвѣивала ее холоднымъ равнодушіемъ, тупою покорностью. Недоумѣвающее выраженіе пробѣгало иногда въ глазахъ больной,—передъ нею мелькали смутныя, сѣрая тѣни, на лицо садилась откуда-то тонкая, липкая паутина.

Было ясное зимнее утро. Володя уже нѣсколько дней не ходилъ въ гимназію. Неонила Петровна третьи сутки не приходила въ себя. Она лежала неподвижно, съ полуоткрытыми, тусклыми глазами, въ углахъ которыхъ накоплялась какая-то странная пѣна, и дышала торопливо, жадно. Въ тихой комнатѣ, гдѣ мѣрно колотился маятникъ, страшно было слушать это бурное дыханіе. Черезъ короткіе промежутки сыстрыя вдыханія и выдыханія смѣ-

нялись глубокимъ вздохомъ. Эти промежутки становились все короче. Володя слѣдилъ за ними по часамъ,—они уменьшались съ поразительною правильностью. Настанетъ минута, когда грудь устанетъ дышать, сердце биться.

„Въ одиннадцать часовъ все кончится“,—высчиталъ Володя и тупо ждалъ.

Въ началѣ двѣнадцатаго быстра дыханія прекратились. Долгій стопущій вздохъ... другой... третій... Лицо, уже давно начавшее становиться мертвенно-неподвижнымъ, подернулось пепельною тусклостью, которая быстро набѣгала отъ висковъ къ губамъ. Жили еще только губы... Но вотъ губы вытягиваются,—беспомощное, дѣтское выраженіе ложится на старческое лицо,—губы вытягиваются, словно просятъ,—восковѣютъ, смыкаются... Опять разошлись,—нижняя губа мертвенно отодвинулась вмѣстѣ съ челюстью, продержалась такъ съ полсекунды, и снова, какъ-то механически и быстро, ротъ закрылся—движеніе ужасное и нелѣпое... Еще разъ то-же движеніе... и еще разъ... новосковѣлыя губы сомкнулись на вѣки.

Съ тупымъ ужасомъ и любопытствомъ смотрѣлъ Володя на грубый процессъ умиранія

Тихая суматоха вокругъ... Чей-то плачь... Слезы на глазахъ... Бѣ глаза еще не закрылись. Володя закрылъ глаза матери и придерживаетъ мягкія вѣки пальцами, пока вѣки не застынутъ, сомкнутыя...

Потомъ—возня надъ трупомъ... Ясный, равнодушный, злой день... Бѣлый снѣгъ подернуть разноцвѣтными звѣздами. Яркое, мертвое солнце... Трупъ на столѣ,—хоронить надо... Забота, проклятая забота о деньгахъ. Идти къ людямъ, просить.

Трупъ на столѣ,—жизнь все та-же, неумолимая, чуждая...

Володя мрачно шагаль по улицамъ и злобно смотрѣлъ на прохожихъ. Болѣзненная баба съ ребенкомъ встрѣтилась ему.

„Умрешь, умрешь и ты!“—со свирѣпою злобою подумалъ Володя.—„Такъ новосковѣютъ и твои блѣдныя губы“.

И вдругъ онъ замѣтилъ, что машинально повторяетъ смыканіе и размыканіе рта—ужасное, механическое движеніе умирающей матери.

Потомъ—опять дома: монотонное чтеніе псалтыри, панихида, ладанъ, свѣчи, чужіе люди, мертвый обрядъ.

Старикъ-священникъ замѣтилъ мрачное молчаніе и убитый видъ Володи и началъ его утѣшать.

— Грѣхъ отчаиваться,—говорилъ онъ неторопливо.—Господь все къ лучшему устриваетъ. Ваша матушка пожила,—ну, что-жъ дѣлать? Господь знаетъ, когда своевременно кого отозвать изъ этого міра въ лучшей.

— А зачѣмъ дѣти умираютъ?—внезапно спрашиваетъ Володя.

— Богъ знаетъ, что дѣлаетъ, а мы должны покоряться Его святой волѣ. Безгрѣшному младенцу и умирать легко.

— А зачѣмъ мертвыя дѣти рождаются?

— Грѣшно, грѣшно,—говоритъ священникъ.—Въ смиреніи переносите искушенія. Помыслите—что мы и что Онъ!

Вотъ, наконецъ, и похороны.

Шаня пришла съ матерью. Она утѣшаетъ Володю. Но ему становится еще грустнѣе: мать умерла, Шаня недоступна—для кого, для чего жить?

— Какъ же ты теперь, Володенька, будешь жить? — ласково спрашиваетъ на поминкахъ Марья Николаевна.—У дяди, что ли?

— У дяди, коли пустить,—уныло отвѣчаетъ Володя.

— Что ты, что ты!—бормочетъ старикъ-дядя:—какъ же не пустить! Ты насъ не стѣснишь: ты, братъ,—молодецъ, ты самъ деньги зашибаешь.

Такъ и прошла зима. Были послѣдніе дни февраля. Снѣгъ уже подтаивалъ и зернился мельчайшими льдинками.

Хмаровы со дня на день ждали перевода въ Крутогорскъ, но еще Женя не говорилъ объ этомъ Шанѣ: онъ помнилъ, какъ Шаня опечалилась, когда онъ первый разъ рассказалъ ей, что отецъ хлопочетъ о переводѣ, какъ она жаловалась, что онъ ее забудетъ, и какъ онъ долженъ былъ утѣшать ее и увѣрять, что всегда будетъ помнить и приѣдетъ за ней, когда кончитъ учиться.

Шаня послѣ обѣда выбѣжала въ садъ. Еще издали увидѣла она Женю, подошла къ калиткѣ и поджидала его, весело улыбаясь. Женина походка была радостно оживленная. Его ликующая улыбка издали радовала Шаню, и дѣвочка качалась на скрипучей калиткѣ, отталкиваясь отъ земли ногою, уцѣпившись руками за перекладины калитки.

— Славная погода!—крикнулъ Женя, вбѣгая въ калитку.—Шанечка, не шали,—ручки прищемишь.

Онъ схватилъ ее за талію и стащилъ съ калитки. Шаня смѣялась, и глаза ея блестѣли: Женя рѣдко бывалъ такой веселый и живой, такой радостный.

— А у насъ радость, Шанечка, — оживленно началъ онъ и вдругъ смутился.

— Какая радость?—беззаботно спросила Шаня.

— То-есть—моя радость, а для меня, Шанечка, большая печаль. Вотъ видишь, отецъ получилъ мѣсто въ Крутогорскѣ—и мы переѣзжаемъ скоро.

Шаня поблѣднѣла, и въ расширившихся глазахъ ея блеснули слезы.

— Какъ же такъ!—пролепетала она, безсильно опускаясь на скамейку, заперещенную оледенѣлымъ снѣгомъ.

Женя смущенно стоялъ передъ нею.

— Что жъ дѣлать, Шанечка! Мы еще поживемъ здѣсь немного.

— До лѣта?—оживилась было Шаня.

— Нѣтъ, Шанечка, на будущей недѣлѣ ѣдемъ. У насъ все ужъ готово. Давно ждали.

— А какъ же твоя гимназія?

Женя весело засмѣялся.

— Ну, въ Крутогорскѣ не одна гимназія.

— Ахъ, Женечка, я такъ и знала, что что-нибудь будетъ. Я нынче новый мѣсяцъ съ лѣвой руки увидѣла. Вотъ такъ и вышло.

Женя видѣлъ, что Шанѣ хочется плакать. Ему было жаль ее. Онъ сѣлъ рядомъ съ нею, обнялъ ее и принялся утѣшать.

— Я тебѣ, Шанечка, писать буду, а ты мнѣ. Потомъ я за тобой приѣду и женюсь на тебѣ.

— Еще пойду-ли я за тебя!—сердито отвѣтила Шаня, отворачиваясь.

— А чего же ты плачешь, Шанечка?

— Кто плачетъ? Вовсе нѣтъ. Соръ въ глазахъ...

— А на щекахъ что?

— Ну, ладно, нечего смѣяться. Такъ приѣдешь за мной?

— Приѣду, Шанечка, приѣду.

— Смотри, я буду ждать, все буду ждать, долго ждать, много лѣтъ,—говорить Шаня и плачетъ.

— Ну, ну, Шанечка, и такъ всему свѣту извѣстно, что у васъ, женщинъ, глаза на мокромъ мѣстѣ.

— Ничего, Женечка, было бы сердце на мѣстѣ.

Женѣ становится грустно. Онъ нетерпѣливо посматриваетъ на плачущую Шаню, и постукиваетъ каблуками по снѣгу. Шанѣ кажется, что Женя разсердился, и она старается перестать плакать. Кое-какъ это ей удается.

— Вотъ-то вы заживете теперь!—говоритъ она, завистливо вздыхая.

— Да,—говоритъ Женя, оживляясь,—отца скоро произведутъ въ генералы и дадутъ ему ленту и звѣзду. У него ужъ есть Владимиръ на шеѣ. Это очень большой орденъ. Кто его получить, тотъ дѣлается дворяниномъ.

— Ишь ты!—наивно восклицаетъ Шаня.

— Но онъ и безъ того дворянинъ, потомственный. И я дворянинъ. Мы—столбовые. Меня никто не имѣетъ права бить.

— Ну, а если кто поколотить?

— Я того могу убить на мѣстѣ, и мнѣ за это ничего не будетъ.

— Врешь, поди?

— Я—дворянинъ, а дворяне не лгутъ,—обиженно говоритъ Женя.—У

насъ тамъ будутъ свои лошади, мы будемъ давать балы. Это будетъ очень весело. Но потомъ я за тобой приѣду, ты не безпокойся.

— Влюбишься въ красавицу какую-нибудь.

— Ты, Шанька, самая первая красавица на свѣтѣ,—восторженно восклицаетъ Женья.—Вотъ погоди, какъ мы съ тобой заживемъ. Я сдѣлаю себѣ блестящую карьеру: у меня есть очень вліятельные родственники.

— Ты будешь, какъ твой отецъ.

— Что отецъ! Конечно, папа могъ бы сдѣлать себѣ карьеру, но онъ былъ въ молодости шестидесятникомъ: у него были, знаешь, эти ложные взгляды,—тогда это было въ модѣ. Ну, онъ и запустилъ нѣкоторыя связи. И, представь себѣ, чуть даже бунтовщикомъ не сдѣлался. А, каково! Это мой панаша-то, солидный человѣкъ, джентльменъ, „не нынче-завтра генералъ“—и вдругъ былъ почти бунтовщикомъ! Впрочемъ, такое было время.

— Вотъ ты бунтовать не будешь,—неопредѣленнымъ тономъ говорить Шаня.

— Конечно, не буду!—съ презрительною самоувѣренностью говорить Женья.

— По всему видно.

— Я—не дуракъ.

Холодные струйки враждебности пробѣгали между дѣтьми.

— Я тебѣ буду писать каждую недѣлю,—говорилъ Женья, прощаясь съ Шанею у калитки и растроганно глядя на заплаканное Шанино лицо.

— Только ты мнѣ на домъ не пиши,—плачевно говорила Шаня,—а то мнѣ будетъ таска съ выволочкой, а я тебѣ адресъ дамъ моей подруги одной, ты на нее и пиши, на Дунечку Таурову.

— Ну, а ей ничего не будетъ такого?—осторожно осведомился Женья.

— Кому? Дунечкѣ-то? Нѣтъ, у нея маменька старенькая и души въ ней не чаешь.

— Хорошо, Шанечка. А теперь пока до свиданія, пора мнѣ домой.

Шаня схватила руками Женину шею и осыпала его долгими поцѣлуями. Ея слезы падали на Женины щеки.

— Ну, полно, Шанечка,—унималъ онъ дѣвочку.—Вѣдь, мы еще будемъ видѣться на этой недѣлѣ.

Женья возвращался домой. Ему жаль было Шанечки. Но погода была такая хорошая, холодноватый воздухъ вѣялъ такимъ предвесеннимъ задоромъ, что ему становилось, какъ-то противъ воли, радостно. Печаль о предстоящей разлукѣ съ Шанькою перевѣшивалась представленіемъ шумныхъ улицъ Крутогорска, большихъ домовъ и зеркальныхъ стеколъ въ магазинахъ.

Радостно представилась ему дорога на лошадяхъ. Весело зазвенять колокольчики, бойко побѣгутъ лошадки. Ямщикъ будетъ протяжно покрикивать и помахивать кнутомъ. Кругомъ—поля подъ снѣгомъ, деревни, оснѣженные лѣса. Веселыя остановки на станціяхъ. Такъ верстъ шестьдесятъ, а тамъ немного по желѣзной дорогѣ—и вотъ онъ, веселый Крутогорскъ.

А Шанечкѣ грустно: хорошая погода ея не утѣшаетъ, веселое солнце дразнить ея, весенній снѣгъ ярко рѣжетъ ей глаза—и затуманиваютъ ихъ слезы.

## Ч А С Т Ъ В Т О Р А Я .

### ГЛАВА IX.

Весенняя ночь пришла и заглянула въ Шанино окошко,—говорить:

— Шаня, спи, не плачь.

А Шанечка одна. Въ домѣ тихо,—все спятъ, рано ложатся, чтобы рано встать. Шаня сидитъ у открытаго окошка. Холодноватый воздухъ обнимаетъ ея голыя круглыя плечики, ласкаетъ ея голыя полныя руки. Шаня вздыхаетъ легонько. Вздохнетъ и осудитъ себя,—не надо вздыхать, этого не любить Женечка.

— Да какъ же не вздохнуть-то, милый! О тебѣ же, о тебѣ мои вздохи,—тихонько шепчетъ она, лунѣ и тихой прохладѣ ночной повѣряя свою тоску

Отошла Шаня отъ окна, достала изъ комода Женинъ портретъ. Еще не вынула его изъ конверта—и уже расплакалась, стоя въ темнотѣ у комода. Ревниво думала:

„Гуляетъ, поди, Женечка тамъ, въ Крутогорскѣ, по шумнымъ, люднымъ улицамъ. Веселится. Въ театры ходитъ, за барышнями ухаживаетъ.“

Такъ ревность мучить!

Городъ большой, богатый. Сколько тамъ барышень! Да все красивыя нарядныя, умныя. Не такія, какъ она, черномазая, простая дѣвочка, захолустная Шанька. Ужъ не забылъ ли Женечка Шаньку? Не влюбился ли въ другую? Другой ласковыя слова говорить, бѣлыя руки цѣлуетъ, въ бойкіе глаза ласково смотреть.

Такъ больно, такъ ревниво заныло Шанино сердце,—точно въ самое сердце вонзилось жестокое пчелиное жало. Ядъ, сладкій, но огненно-жгучій, побѣжалъ по всему тѣлу, по всемъ жилкамъ. Жжетъ, жжетъ...

Замираетъ боль понемногу — въ печаль переходитъ, тихую, томную. Хочется Шанѣ утѣшиться, придумываетъ она утѣшныя мысли о Женечкѣ.

Не можетъ этого быть,—не влюбится онъ ни въ кого. Не забыть ему Шани. Онъ будетъ ей вѣренъ. Онъ—благородный, какъ рыцарь.



— Хочу, чтобы онъ не забылъ меня, хочу, хочу, хочу!—настойчиво шепчетъ Шаня и хмуритъ темныя брови.

Вѣдь, онъ же сказалъ, что никогда ея не забудеть. Онъ не обманеть. Надо вѣрить ему и ждать. Если не вѣрить, то и счастья ей не будетъ.

Размечталась Шаня. Осыпала Женичкинъ портретъ поцѣлуями. И такъ ясно виднѣлся ей Женя, точно здѣсь же онъ стоитъ, въ темнотѣ, передъ Шанею, и говорить ей что-то. Видится, слышится,—да нѣтъ его...

Роняя тихія изъ черныхъ глазъ слезы на легкое бѣлое платье матово-серебристыя тяжелыя слезы, Шаня подошла къ окну, тихо переступая по холодному подъ голыми стопами полу. Къ окну опять подошла, гдѣ ясный холодъ и свѣтъ.

Такая далекая, но такая милая на небѣ луна, ясная, спокойная, быстро скользить по небу за медленно проплывающими серебристыми полупрозрачными тучками. И на портретъ, на Жениномъ лицѣ, лежитъ спокойное сіяніе,—холодная, ясная луна разливаетъ свой неживой, свой дивный свѣтъ.

Восхищеніе родится и восходитъ въ разнѣженной Шаниной душѣ. Шаня смотритъ на луну, на звѣзды. Думаетъ:

„Отчего такая печальная, такая тихая луна? Точно больная царица, и умираетъ тихо, грустно, безропотно.“

Умирая, не плачетъ,  
И уносится вдаль,  
И за тучею прячетъ  
Красоту и печаль.

И звѣзды дрожать такъ печально, такъ тихо. Тоскуютъ о ней, о небесной царицѣ, о невѣстѣ, заждавшейся жениха, и объ ея безнадежности, зачарованной навѣки.

Но вдругъ шаловливое, смѣшливое настроеніе охватило Шаню. Точно вдругъ она стала другая. Сама на себя подивилась. Отчего? То-ли смѣшно стало, что на луну смотреть? Завылъ бы, какъ собаки на луну воютъ! Вотъ бы смѣшно-то!

Но если бы поднять голову и завылъ, то собачья тоска сдавила бы горло. Внезапный, мгновенный страхъ охватилъ Шаню—и смѣнилъ его тихій, серебристый смѣхъ.

Или оттого такъ смѣшно Шанѣ, что надъ нею на крышѣ котъ мяукаетъ? Настоячиво такъ, и жалостно, и скверно. Васыка зоветъ свою Машку фальшивымъ, рѣзкимъ теноромъ. Любовь, — поди-ка, и у кошекъ любовь!

Шаня засмѣялась. Замяукала. Сначала тихонечко, — спать, вѣдь, въ домѣ, — потомъ погромче. Забавно ей, весело.

Далеко гдѣ-то сердито и тоскливо залаяла собака — и не удержалась Шаня, передразнила собаку. Дальше, больше. Собачій лай и вой, кошачье

фырканье и мяуканье,—цѣлое представленіе на окнѣ. Шумъ подняла Шаня на весь домъ. Разбудила всѣхъ.

Догадались, что это Шаня. Старая нянька торопилась унять, чтобы не досталось Шанькѣ. Но пока кряхтѣла старая, одѣваясь, Шанинъ отецъ опередилъ ее. Очень былъ разсерженъ тѣмъ, что пришлось проснуться. Вскочилъ, какъ молодой, надѣлъ свой пестрый бухарскій халатъ и красныя кожаныя туфли и быстро пошелъ наверхъ. За нимъ и Марья Николаевна поднялась.

А Шаня такъ увлеклась своею забавою, что и не слышала шаговъ и голосовъ. Пришли отецъ и мать, на мѣстѣ поймали. Только заслышавъ отцовъ свирѣпый окрикъ, Шаня очнулась. Съ окна схватилась, стоитъ, дрожитъ, ничего сказать не можетъ. Отецъ раскричался, нахлопалъ Шаню по щекамъ, велѣлъ сейчасъ же спать ложиться. И мать ворчала.

Улеглась Шанечка побитая, побраненная. Сама и плачетъ, и смѣется, горячую щекою къ подушкамъ прижимаясь. Щеки горять, но уже забыты побои. Шаня утѣшается, мечтаетъ о Женѣ. И радостно ей лежать, укрывшись снѣжно-бѣлымъ, нѣжно-мягкимъ одѣяломъ: никто не помѣшаетъ мечтать о Женѣ.

Такъ и заснула, мечтая о немъ. Все о немъ.

Весеннее только что проснулось солнце и встало, обманчиво-радостное, лживо-ласковое. Веселые упали его лучи въ окно, въ Шанину спальню. Небесный Змій, разнѣженный земною утреннею прохладою и роснымъ дольнымъ дымомъ, улыбался и таилъ подъ розовымъ смѣхомъ первыхъ лучей свой жгучій, свой сладкій ядъ. Навстрѣчу ему полнимался отъ земли легкій паръ,—медленные вздохи рѣкъ и болотъ, излучающихъ Дракону свою влажную, свѣжую кротость. На небѣ облака розовѣли и нѣжно таяли, какъ легкія льдинки въ свѣтломъ океанѣ высотъ. Чирикали птицы въ саду, еще неуверенно и робко, колебля вѣтки на деревьяхъ своими суетливыми, тихими перелетами.

Тогда, съ мечтою объ Евгеніи, проснулась Шаня. Разомъ вспомнила она, что Евгенія здѣсь нѣтъ. Онъ далекъ. Далекъ, какъ этотъ Змій, горящій ярко—и недостижимый.

Но, въ отвѣтъ Драконову коварному смѣху, пламенно-гордая засверкала увѣренность, какъ солнце иного бытія. Далекъ Женя, но что же изъ того. Онъ вернется, онъ пріѣдетъ за Шанею.

Но такъ долго ждать! Такая досада! Цѣлыхъ пять лѣтъ. Сколько дней ненужныхъ, томительныхъ, скучныхъ! Какъ ихъ избыть?

Снова трепетная, жадная радость мечты окунулась въ огненную улыбку злого Дракона и сплелась съ тоскою, съ тоскою печальнаго, суетнаго дня.

долгаго дня безъ Евгенія. Какъ много, какъ нестерпимо-много будетъ этихъ пустынныхъ, томительныхъ для Шани дней!

А въ небѣ, безмятежномъ, безпощадно-ясномъ, розовая улыбка пламенящаго Змія становилась все ярче, все бѣлѣе, и все радостнѣе смѣялись и умирали, тая, розовыя облачка. Улыбка Змія сулила долгій, ясный день. Она издѣвалась надъ Шанею. Она говорила:

— Предстоитъ жизнь ненужная, безрадостная,—томленіе въ тягостномъ плѣну, алчная тоска долгихъ ожиданій и трепетныхъ надеждъ. Знай, что ты—плѣнница, что воздвигли надъ тобою свою власть твои владыки.

Вдохнула Шаня. Словно радость вдохнула она—и улыбнулась, потянулась радостно и разнѣженно, сѣла на постели, колѣни охватила руками. Хочется ей еще бы о Женечкѣ увидѣть во снѣ что-нибудь, хоть бы немножечко.

Но уже сонъ отлетѣлъ,—последній разъ взмахнулъ онъ надъ Шаниными черными глазами своими прозрачными, истаявающими въ солнечныхъ лучахъ крылами, мелькнулъ въ розово-озаренномъ окнѣ и скрылся за зеленымъ садомъ, въ радостной лазури. Все передъ Шанею предстало ясное, дневное!

Вдругъ въ Шаниной груди зажглось дневное, пламенное сердце—даръ коварнаго Змія. Шаня вскочила, засмѣялась, босая побѣжала къ окну,—поглядѣть, что дѣется тамъ, въ широкомъ мірѣ.

Солнце тамъ, за деревьями, низко, близко, улыбается, переливается дивными, призывными свѣтами, смѣхами. Солнце, солнце, вѣчный чародѣй, неисчислимо-щедрый!

Свѣжій воздухъ вольною волною ворвался въ распахнувшееся съ быстрымъ стукомъ отъ толчка голыхъ рукъ окно. Свѣжій, вольный вѣтеръ перелетный, гость, вездѣ родной, ласкающій Шанину грусть!

Какая радость на землѣ и на небѣ, и въ Шаниномъ сердцѣ! Утро! Роса! Птицы! Лазурь!

Сѣла Шанечка на окошко. Дрожить,—свѣжо еще по утру,—подъ тонкою своею сорочкою. Свѣжо, холодно, весело во всемъ тѣлѣ.

Легла Шаня на подоконникъ, локтями оперлась, ладонями жаркія щеки сжала, голыя ноги вытянула, болтаетъ ногами, смѣется — солнцу, птицамъ, вѣтру. Запѣла что-то,—тихонечко, сначала безъ словъ, потомъ слова сложились. Сама не замѣчала и не думала Шаня, что поетъ. Потомъ прислушалась сама къ себѣ,—поетъ:

— Женечка мой милый, солнышко мое, Женя—свѣтикъ, Женя — цвѣтикъ, Женя—вѣтеръ перелетный, Женя—птенчикъ беззаботный.

Прислушалась Шаня къ своему пѣнію, засмѣялась. И опять запѣла, зачирикала, какъ птица, какъ ранняя тихая пташка.

Вдругъ быстрая пугливость кольнула въ сердце. Шаня дрогнула. Вонъ тамъ, за тѣмъ заборомъ, кто-то идетъ. Чужой. Голову поднялъ и смотритъ прямо въ Шанино окошко.

Вглядѣлась быстро зоркая Шаня. Ну, баба какая-то. Засмѣялась Шаня. Смотри себѣ!

Вотъ бы Женѣ пройти тамъ. Да нѣтъ Женечки. Нѣтъ милаго. Нѣтъ да и нѣтъ. Хоть плачь.

Но онъ же придетъ! Вотъ если бы онъ сейчасъ пришелъ.

Посмотрѣла на себя Шанечка и засмѣялась. Вотъ пришелъ бы, вошелъ бы въ эту дверь прямо къ ней, а она-то, глупая, совсѣмъ neodѣтая, да еще въ окошко съ глупа разума высунулась.

Шаня убѣждала къ комоду. Хотѣла было одѣваться, да опять о другомъ вспомнила. Достала синюю тетрадочку, свой календарикъ — тотъ, что сама завела, сама расчислила на пять лѣтъ впередъ, сколько дней ждать ей Женечку. Вчерашній день зачеркнула.

Что жъ, все еще много. Такъ много дней осталось.

Вся жаркая стала Шаня, вся трепетная. Только что было свѣжо — и уже вдругъ стало жарко. Тонкая одна на ней рубашка, да и та лишняя. Знойно, душно въ горницѣ, — обнимаетъ лютый Змій, шепчетъ знойную рѣчь, напоминаетъ своимъ яркимъ, своимъ жгучимъ обликомъ, что близко-близко есть милое изображеніе далекаго лица.

Шаня выдвинула другой ящикъ комода. Такъ торопилась, что ушибла палецъ. Досадливо помахала рукою въ воздухъ. Да некогда думать объ этомъ. Сунула руку въ ящикъ, пошарила. Достала Женинъ портретъ. Не вынула, — такъ, сквозь тонкій конвертъ посмотрѣть. Еще такъ и лучше. Слегка затуманенное тонкою, прозрачною оболочкою, глянуло на Шанечку милое лицо ея далекаго рыцаря.

Волна восторга подхватила Шаню, закружила по бѣлымъ половицамъ въ быстрой пляскѣ. Бурными поцѣлуями осыпала Шаня Женинъ портретъ. Остановилась, залюбовалась имъ опять — и вдругъ засмѣялась, и вдругъ заплакала.

Заговорила съ Женею, — и чудилось Шанѣ, что онъ отвѣчаетъ. И опять, какъ вчера, ясно-ясно видитъ его Шаня, слышитъ его голосъ, — милый, желанный Женечка. И лицо на портретѣ улыбается Шанѣ. Правда, такъ гораздо лучше Женина улыбка, подъ легкою дымкою оболочки. И нѣжнѣе лицо, — не видна суровая складочка около губъ.

— Милый, милый Женечка, желанный, ненаглядный! — заговорила, зашептала Шаня.

Вихрь ласковыхъ словъ поднялся, понесся отъ ея трепетныхъ губъ. И къ себѣ обратились Шанины мысли, и вылились въ ураганъ самоопредѣлений:

— Я—твоя, вся твоя, твоя раба, твоя вещь, твоя собачка, твоя игрушка. Мои руки—тебѣ работать, мои ноги—за тобой ходить, мой языкъ—тебѣ говорить, мои губы—тебя цѣловать.

Вдругъ вспомнила Шаня,—помолиться надо. Порывисто бросилась передъ образомъ на колѣни, Женинъ портретъ къ жаркой груди прижимая, и настойчиво зашептала:

— Господи, помилуй моего Женю! Господи, сохрани моего Женю.

Потомъ тутъ же, передъ образомъ, сѣла на полъ съ Женинымъ портретомъ, лепечетъ нѣжныя, страстныя рѣчи, ласки, обѣты, признанія. Все внѣшнее забылось. Лютый Змій погасъ, смирилъ свою небесную ярость, смирился, затмился ярый чародѣй. Весь міръ отошелъ, померкъ. Шаня одна съ Женю. Въ сладостномъ кипѣніи грезъ Шаня одна. И съ нею Женя. Одни. Никто ихъ не видитъ. Никто имъ не мѣшаетъ. Тишина и восторгъ!

## ГЛАВА X.

Вошла нянька. Хитрая, подкралась въ своихъ мягкихъ туфляхъ. Слышенъ ея тягучій, ласковый и лукавый голосъ:

— Слышу—гулюкаетъ съ кѣмъ-то Шанечка, думаю: съ кѣмъ это она язычкомъ-то тилилитъ? Нешто Дунечка, думаю, забралась ни свѣтъ, ни заря. А это моя Шанечка одна—самъ-другъ съ патретикомъ ухмыльно занимается.

Проснулась Шанечка отъ грезъ. Тихонько воскликнула:

— Ахъ, няня!

Портретъ къ груди прижала. Самой стыдно чего-то. Няня ворчала:

— Не ѣвши, не пивши, Богу не моливши, въ одной сорочекѣ на полундрахъ расширилась.

Шанѣ стыдно. И страшно чего-то. Вскочила, нахмурилась, крикнула:

— Не ворчи, пожалуйста. Я уже помолилась.

Самой на себя досадно Шанѣ стало. Впередъ ужъ она не будетъ такъ глупа. Дверь-то можно и на задвижку заложить.

Сердито смотрѣла Шаня на няню. Побѣжала къ своему комоду,—прятать портретъ. А няня словно и не видитъ портрета.—ворчитъ себѣ подъ носъ, по комнатѣ ходитъ, прибираетъ. Сказала поостроже:

— Одѣваться, Шанечка. Пора.

Одѣвается Шаня. Поглядываетъ на няню.

«Няня добренькая»,—думаетъ Шаня.

Не утерпѣла, заговорила съ нянею о Женѣ. Спросила.

— Нянечка, какъ ты думаешь, не забудетъ меня Женечка Хмаровъ?

— Ужъ гдѣ забыть ему такую красавицу!—утѣшала няня.—Весь свѣтъ пройди, другой такой не найдешь.

Шаня засмѣялась, весело сказала:

— Онъ за мною прѣдетъ нянечка.

— Прѣдетъ, прѣдетъ, Шанечка,—поддакивала старая.

— Онъ возьметъ меня, нянечка?—спросила Шаня.

И няня опять утѣшала ее:

— Возьметъ, возьметъ, Шанечка.

Думала:

„Носится, глупая, съ своимъ Женечкой, а тамъ, глядишь, и сама его позабудетъ, найдетъ себѣ другого красавчика“.

— Хорошо намъ будетъ, нянечка!—говорила Шаня.

— Хорошо, хорошо, Шанечка,—опять поддакивала няня,—барыней будешь, Шанечка, въ стракулиновыхъ платьяхъ щеголять будешь голу-бушкой, въ полированныхъ ландахъ поѣдешь павушкой, въ магазинъ войдешь, скиримонишься, никому не поклонись. Всѣ приказчики бѣгомъ забѣгаютъ, самъ хозяинъ съ толстымъ пузомъ къ тебѣ выкатится, спросить: „Что прикажете, барыня?“ Подадутъ тебѣ шляпу перловую въ сто цѣлковыхъ. Тутъ ты шибко раскапризничаешься, ножкою топнешь, кулачкомъ по прилавку стукнешь, грозно крикнешь: «Мнѣ плевъ сто рублей,—подавайте мнѣ въ тысячу!»

Шаня весело хохотала, и полузаплетенная черная коса ея билась на спинѣ въ ладъ ея смѣху. Хохотала весело и звонко. И вдругъ нахмурилась. Крикнула:

— Очень мнѣ надо быть барыней! Но лавкамъ-то ѣздить, деньги транжирить,—очень мнѣ это надо!

— Да ужъ надо, не надо,—сказала няня,—а дорога тебѣ прямая,—въ барыни. Такую вертушку, какъ ты, купецъ ни за что замужъ не возьметъ,—идти тебѣ за офицера пѣшекопцаго.

— Я за мужика въ деревню замужъ пойду,—капризно сказала Шаня.

— Мужикъ тебя еще и не возьметъ, цыганку этакую,—спокойно возразила няня.

Шаня засмѣялась.

— Почему не возьметъ, нянечка?—лукаво спросила она.

— Мужикъ развѣ такая спиголица вертучая нужна?—говорила няня.— Мужичкѣй вкусъ, извѣстно,—тѣлеса пространныя, ручищи богатырскія, а рожа румяная да толстая, хотъ бы и корявая, да съ румяными разводами. Извѣстно, мужичкѣй вкусъ.

— А у т-бя какой вкусъ, нянечка?—посмѣиваясь, спросила Шаня.

— У меня вкусъ облагороженный,—отвѣчала няня,—я люблю тѣльце

субтильное, лицо отонченное, и чтобы ликъ былъ безъ всякаго тебѣ хару-вимства вербнаго.

— А я, няня, развѣ не похожа на херувима?—спросила Шаня и засмѣялась.

— Ну, ты—черномазая, черноглазая, брови, какъ у вѣдьмы 'сросшися, лицо худое, тѣло нервное, согнуть можно тебя въ колечко, и вся ты тѣломъ желтенькая. Очень, Шанечка, твоя маменька на меня тобою потрафѣла, какъ на заказъ.

Шаня радостно покраснѣла, засмѣялась.

Какъ-то лѣнливо и неохотно одѣвалась сегодня Шанечка. Боялась она, что за утреннимъ чаемъ опять забранятъ за вчерашнее, и потому не торопилась. Плескалась долго, моясь. Долго причесывала и заплетала свои густыя, черныя косы. Съ ленточкою въ косичкѣ возилась долго,—все не завязывалась. Взялась было за чулки, бросила ихъ и туфли раскидала по горницѣ. Къ зеркалу шифоньерки подошла, сдѣлала себѣ гримасу, засмѣялась. Присѣла на кровать. Призадумалась. Потомъ вдругъ:

— Скажи, няня, сказочку.

Няня заворчала.

— Какія тебѣ утромъ сказочки! Надо папашу съ мамашей съ добрымъ утромъ и съ праздникомъ проздравить и чай пить идти, а то отецъ-то опять забранить. Поди-ка, еще вчерашнія пощечины не простыли.

Шаня досадливо поморщилась:

— Ахъ, какая ты, няня, право! Вѣдь, еще рано,—куда же я пойду! Еще и самовара не ставили.

Няня глянула на часы, которые гулко тикали на стѣнѣ межъ оконъ.

— И то правда,—сказала она уступчиво,—стрелюдились мы съ тобою. Шанечка, спозаранку, пока еще черти на кулачкахъ не бились. Вотъ ужъ, что говорится-то, старый да малый! Ну, слушай сказку, такъ и быть.

Шаня смѣется радостно и прыгаетъ.

Няня сѣла у окна. Откуда-то въ рукахъ у нея взялся чулокъ. Стальные спицы быстро задвигались, тихонечко звякая. Заговорила старая неторопливымъ, тягучимъ голосомъ:

— Будетъ тебѣ сказка объ генералѣ Журавлевѣ и обмиральшѣ Лисициной.

— Захудалый генералъ, изъ отставныхъ?—освѣдомилась Шаня дѣловымъ тономъ.

— Зачѣмъ намъ захудалый? Самый настоящій генералъ-фалалей съ опалетами, и черезъ плечо у него бланжевая лента, а на шеѣ золотая медаль въ тридцать фунтовъ за междоусобную отвагу,—мужиковъ за бунтъ шибко поролъ.

Шаня засмѣялась. Спросила:

— Ну, а адмиральша-то—салоппница, сплетница?

— Ничего не салоппница, не сплетница, самая знатная листокрадка. И родня у нея все самая тебѣ знатная: братья при дворѣ служатъ, одинъ оберъ-вскокомъ, а другой любъ-кофишейкой. Ну, и вотъ какое тебѣ прише-ствіе тутъ случилось: жили-были они въ столичной разведенціи оба—и гене-раль-фалалей Журавлевъ, и обмиральша Лисицина. По нѣкоторому вели-кательному случаю привелось имъ быть вмѣстѣ у сенатвора Волкова изъ коза-коннаго департамента,—дите роженое крестили и такимъ манеромъ пріятно покумились.

— А дитя чье?—спросила Шаня.

— Чье? Извѣстно чье,—сенаторское дите, козаконное. Ну, и вотъ, поку-мившись генераль съ обмиральшей, честь-честью другъ дружку въ гости пригласили, везиты отвозить. Съ первую везитою поѣхалъ генераль Жу-равлевъ.

— Отчего же не адмиральша?—спросила Шаня.

— А ужъ такое,—объяснила няня,—въ столичныхъ разведенціяхъ обхож-деніе, что кавалеръ дамѣ завсегда первый уважить и кумплиментъ всякій дѣлаетъ, а дама ему потомъ усердные преферансы отдаетъ. Пришедши гене-раль Журавлевъ въ полной полупарадной реформѣ къ обмиральшѣ Лиси-циной съ везитою, и подноситъ онъ ей большой пукетъ очаровательныхъ розановъ изъ самой первѣющей транжирей.

— А кто же его пустилъ въ оранжерею?—спросила Шаня.

— Генералу вездѣ свободная дорога,—серьезно объяснила няня.—Ну и поцѣловавши обмиральшину ручку, поднесъ ей генераль обворожительный пукетъ. А барыня обмиральша, Лисицина госпожа, subtilно его отблагодаривши, скричала въ тотъ-же монументъ свою дѣвку Палашку и велѣла ей скорымъ манеромъ подать генералу закусить и выпить. Генераль первымъ долгомъ распоясавшись, думалъ—будетъ ему харчъ банкетный по геройскому положенію. На то мѣсто дѣвка Палашка принесла ему наперсточекъ сладкой чихчириховой наливочки и на крохотной тарелочкѣ горсточку сладкихъ бананасиковъ. Генераль, военная косточка, понюхалъ, а только сладкаго ѣсть и пить ему никакъ было не способно, такъ какъ отъ сладкаго шибко у него всѣ желудочки разстраивались. Поѣхалъ генераль домой, не солоно хлебавши, и думаетъ про себя въ сердцахъ: «Подожди, думаетъ, анаеема морская, я тебѣ удружу навстрѣчу шибко достаточно со всѣмъ моимъ по-чтеніемъ». Много-ли, мало-ли посливъ того времени проходить, вотъ и садится обмиральша, госпожа Лисицина, въ свою золотую карету на глазетовыя подушки, и ѣдетъ отдавать генералу везиту. А на запяткахъ стоятъ ливрейные лакеи въ папуасовыхъ штанахъ. Принявши ее генераль честь-честью и



посадивши поперекъ бархатнаго дивана, скричалъ зычнымъ голосомъ денщика своего полувѣрнаго Прошку. И принесъ денщикъ полувѣрный Прошка по генеральскому приказу жбанъ сивухи самой непреоборимой, всероссійскаго сильвупле, чѣмъ заборы подпираютъ, да на тарелкѣ астраханскую селедку съ зеленымъ лукомъ. Ну, извѣстно, обмиральша— дама нѣжная, морского субтильнаго воспитанія, на лукъ да на селедку только посмотрѣла, и у нея въ головѣ сдѣлался вертижъ, а въ животикахъ колики и рѣжики поднялись. Ну, вотъ, съ того самаго монумента и дружба у генерала съ обмиральшею врозь.

Шанечка слухала глупую сказку и смѣялась.

*(Продолженіе слѣдуетъ).*

Федоръ Сологубъ.

## ВЪ МОСКВѢ.

Какъ на бульварахъ весело средь снѣга бѣлаго,  
Какъ тонко въ небѣ кружево заиндевѣлое!  
Въ сугробахъ первыхъ улица, свѣтло-затихшая,  
И церковь, съ колоколенкой въ снѣгу поникшая.

Какъ четко слово каждое... Прохожій косится,  
И смѣхъ нежданно-радостный свѣтло разносится.  
Иду знакомой улицей. Въ садахъ отъ инея  
Пышиѣе и толще кажутся деревья синія.

А въ небѣ солнце бѣлое едва туманится,  
И бѣлый день такъ призрачно, такъ долго тянется!

Мат. Крандіевская.

## ПРИКЛЮЧЕНІЯ ГИНЧА.

Повѣсть.

(Окончаніе \*).

### VI.

Я слышалъ отъ многихъ компетентныхъ и всѣми уважаемыхъ людей что не слѣдуетъ много говорить о пьянствѣ и безобразіяхъ, производимыхъ вывернутымъ наизнанку человѣкомъ во всякаго рода увеселительныхъ мѣстахъ. По ихъ мнѣнію, всѣ подобныя описанія грѣшатъ неточностью, вѣрнѣе произволомъ фантазіи, такъ какъ великъ соблазнъ говорить о невлаждѣющихъ собой людяхъ, что угодно. Я-же думаю, что человѣкъ, сумѣвшій напоить Калиостро, Марію Башкирцеву и Желѣзную Маску, вполне удовлетворилъ бы свое любопытство.

За низко кланяющимся лакеемъ мы прошли всей гурьбой, по засаленнымъ корридорамъ, въ обширный, дорогой кабинетъ съ наглухо занавѣшенными окнами. Горѣло электричество. Большой столъ, убранный канделябрами, гіацинтами и тюльпанами, рояль, паутина въ углахъ, цвѣтной линолеумъ на полу, дубовыя панели—все это, еще не согрѣтое пьянствомъ, выглядѣло скучновато. Слегка замаявшись, не зная, съ чего начать, я подарилъ Шевнеру три умоляющихъ взгляда, и онъ, ласково хохоча, принялся нажимать звонки, а семейный человѣкъ во фракѣ, почтительно шевеля губами, сталъ кланяться, запоминая, что намъ угодно.

Насъ было десять: три дамы, изъ которыхъ одну вы уже знаете; остальные представляли молчаливо улыбающіяся и безпрестанно щупающія прическу фигуры, недурненькія, но чванныя; я, Шевнеръ, капитанъ Разинъ, пасхальный студентъ, поэтъ съ надтреснутымъ лицомъ и бородкой цвѣта пыльных орѣховъ; старикъ — по осанкѣ бывший военный, и одинъ самой

---

\*) См. „Нов. Жизнь“, кн. III.

ординарной наружности, но именно вслѣдствіе этого рѣзко выдѣляющійся изъ всѣхъ: онъ былъ прозаикъ и звали его Поповъ,

Сосчитавъ всѣхъ, я вдругъ сообразилъ, кто мои гости, и стало мнѣ лестно до говорливости. Я поднялъ бутылку, отбилъ горлышко черенкомъ ножа, облилъ скатерть, всталъ, прихлебывая шестирублевую жидкость, и закричалъ:

— Знаете ли вы, что все хорошо и прекрасно—и земля, и небо, и вы, и мы, и всякая тварь живая!? Я всѣмъ сочувствую! Пью за ваше здоровье!

Помедливъ и посмѣявшись, всѣ стали пить; больше всѣхъ пили я, Разинъ и Шевнеръ. Я суетился, кричалъ, острилъ и выразилъ желаніе подарить каждому сто рублей. Уставая, я наклонялся къ высокой дѣвушкѣ, шепча ей на ухо нѣжныя слова любви; не помню — что, но, кажется, выходило неудачно. Каждый разъ, какъ я начиналъ говорить, она медленно поворачивала ко мнѣ лицо и была очень внимательна, смотрѣла, не мигая, изрѣдка улыбаясь лѣвымъ угломъ губъ; обративъ на это вниманіе, я замѣтилъ, что ротъ у нея яркій, маленькій и упругій. Когда я дотронулся до ея талии, она механически откачнулась, а я сказалъ:

— Это ничего, что я нелѣпъ. Я нарочно. Я потомъ вымоюсь вашимъ взглядомъ. Все нелѣпо. Я нелѣпъ. Всѣ негры. Я негръ. Я держу свою душу въ рукахъ, я буду собирать песчинки, приставшія къ вашимъ ногамъ, и каждую поцѣлую отдѣльно.

— Вы не пейте больше,—серьезно произнесла она,—видите, я все еще со своей рюмочкой.

Я сдѣлалъ отчаянное лицо, зацѣлъ, фальшивя и изъ всѣхъ силъ стараясь изобразить большую, мятущуюся душу, но стало противно. Столъ шумѣлъ, пѣлъ и свисталъ; по временамъ удушливый туманъ скрывалъ отъ моихъ глазъ происходящее, а вслѣдъ затѣмъ опять и очень близко, словно у себя на носу, я видѣлъ ведерки съ шампанскимъ, за ними кругъ лицъ—и такъ болѣзненно, что, переводя глаза съ одного на другого, становился на одинъ моментъ то Шевнеромъ, то Поповымъ, то старикомъ. Иногда всѣ замолкали, но и тутъ не было тишины; казалось, ворошится и бормочетъ самъ воздухъ, сизый отъ табачнаго дыма.

Мы говорили о женщинахъ, радіи, душѣ медвѣдя, повѣстяхъ Разина, поэзіи будущаго, способахъ перевозки пива, старинныхъ монетахъ, гипнотизмѣ, водопроводахъ, смерти, новой опереткѣ, мозольномъ пластырѣ, воздушныхъ корабляхъ и планетѣ Марсъ. Шевнеръ сказалъ, споря съ Поповымъ:

— Все продажно, а земля—лупанарій.

Оступѣлый, я чувствовалъ все-таки, какъ меня кто-то просить уйти... Съ трудомъ сообразивъ, что это говоритъ дѣвушка, я повернулся къ ней и увидѣлъ, что она громко смѣется, а старичекъ, глядя ее по плечу, подкручи-

ваетъ усы. И вдругъ, почувствовавъ сильнѣйшее утомленіе, я всталъ среди множества большихъ глазъ, бросилъ на столъ горсть бумажекъ, стиснулъ маленькую, отвѣтившую слабо на мое пожатіе, руку и направился къ выходу. Обернувшись у двери, я увидѣлъ, что всѣ задерживаютъ мою спутницу, долго прощаясь съ нею, и закричалъ:

— Скорѣе! Скорѣе!

Шевнеръ подбѣжалъ ко мнѣ, выдергивая изъ-за галстука салфетку, но покачнувшись и, отлетѣвъ въ сторону, упалъ, я подхватилъ дѣвушку, спрашивая:

— Домой хотите? Хотите домой? Гдѣ вы живете?

— У меня голова кружится, — проговорила она, поспѣшно сбѣгая съ лѣстницы.

Я нагналъ ее внизу, подаль палто и вывелъ, сунувъ швейцару рубль. Моросилъ дождь, было тепло, утро вспоминалось далекимъ. Понявъ, что день прошелъ, я мгновенно припомнилъ многое, утраченное во хмѣлю, но теперь ясное, сдѣлавшее минувшій день долгимъ. Я вспомнилъ, что кто-то спалъ на диванѣ и что былъ промежутокъ, въ теченіе котораго я сидѣлъ вдвоемъ съ Поповымъ, рассказывая ему свою жизнь. Меня мучило. Усадивъ дѣвушку на извозчика, я долго не могъ попасть на сидѣнье; наконецъ, отдавивъ ей колѣни, устроился. Выслушавъ адресъ, извозчикъ долго билъ клячу; она вышла изъ терпѣнія и помчалась, пересѣкая трамвайныя линіи, гдѣ въ тусклой мглѣ свѣтились красные огоньки вагоновъ.

Подъ вѣтромъ и дождемъ я раскисъ; десять тысячъ казались плюгавымъ пустякомъ; грузная скука сѣла на горбъ, сгибая спину, и всѣ прелести возбужденія, кромѣ одной, ушли.

Я обхватилъ рукою талію спутницы. Но инстинктъ говорилъ мнѣ о ея внутреннемъ упорствѣ и настороженности.

— Возьмите руку, — сказала она.

— Зачѣмъ? — спросилъ я. — Вамъ неудобно?

— Да, неудобно.

Я отнялъ ставшую мнѣ чужой руку и отправилъ ее въ карманъ за папиросами. Помолчавъ, я сказалъ:

— Не сердитесь на меня.

— Я не сержусь.

Она отвернулась.

— Марія Игнатьевна, — сказалъ я, вспомнивъ, что ее сегодня такъ звали, — вы служите гдѣ-нибудь?

— Нѣтъ. — Она усѣлась свободнѣе и повернулась ко мнѣ, — Я уѣхала отъ родителей.

— Такъ, — проникательно замѣтилъ я. — Вы, конечно, горды. Отецъ васъ проклиналъ, вы разочаровались въ своемъ возлюбленномъ и живете въ ман-

сардѣ. Тамъ у васъ много книгъ, грязно, тѣсно и пахнетъ студентами, а на полу окурки. И питаетесь вы колбасой съ чаемъ.

— Нѣтъ, не такъ, — поспѣшно и какъ-бы задѣтая, возразила она. — У меня хорошая комната съ красивой мебелью и цвѣтами, есть пианино. Я грязи и сора не люблю. А обѣдъ мнѣ носятъ изъ очень хорошей кухмистерской, шестьдесятъ копѣекъ. И я никогда никого не любила.

Я саркастически захохоталъ и поцѣловалъ ея руку.

— Я простофиля, — сказалъ я. — Скажите, можетъ быть глубокое чувство съ одного взгляда?

— Это вы про себя?

— Нѣтъ, вообще.

— Нѣтъ, это вы про себя говорите, — увѣренно проговорила она. Голосъ у нея былъ тихій и ровный. — Вы меня любите?

— Да, — храбро сказалъ я. — А вы меня любите?

Она смотрѣла съ такимъ видомъ, какъ-будто я и не говорилъ этихъ словъ, повергающихъ женщинъ въ трепетъ и волненіе. Прошло нѣсколько минутъ. Нева въ отраженіяхъ ночныхъ огней разстилалась таинственной, глубоко-думающей гладью.

— Вы врете, — холодно произнесла дѣвушка, и мнѣ стало не по себѣ, когда я услышалъ у самаго подбородка ея неторопливое дыханіе. — Вы врете. Зачѣмъ вы врете?

— А вы грубы, — сказалъ я, озлившись: — что я вамъ сдѣлалъ?

— Да, вы мнѣ ничего не сдѣлали. — Она помолчала и тихонько зѣвнула. — А мнѣ показалось...

Взбѣшенный, я пнялъ этотъ обрывокъ. Мнѣ захотѣлось рѣзнуть ее словами — и такъ, чтобы это не прошло безслѣдно.

— Да — горячо началъ я бросаться словами, — когда мужчина высказываетъ вамъ свое желаніе въ самой тонкой, поэтической, нѣжной формѣ, когда онъ лѣзетъ изъ кожи, чтобы вамъ понравиться, когда онъ старается взволновать васъ мягкостью и простодушіемъ, насилуя себя, — вы гладите его по головкѣ, блюдете себя и ждете, что онъ еще покажетъ вамъ разные фокусы-покусы, перевернетъ земной шаръ! А если тотъ же мужчина просто и честно протянетъ къ вамъ руку, причемъ самый жестъ этотъ говорить достаточно выразительно, — вы или бьете его по щекѣ, или ругаете. Развѣ не такъ? Что тамъ! Вѣдь, полкните-же кого-нибудь.

Разгоряченный, я уронилъ папиросу, замолчалъ и искоса взглянулъ на Марью Игнатьевну. Она смотрѣла передъ собой, казалась безпомощной, усталой. Я вдругъ потянулся къ ней, но удержался и сиксъ.

— О чемъ вы думаете? — врасплохъ спросилъ я.

— О разныхъ вещахъ, — просто и, какъ мнѣ показалось, даже притѣ

лиго сказала она.—Я думаю, что бѣлыя хризантемы, выросшія на этомъ черномъ небѣ до самаго зенита, выглядѣли бы очень красиво.

— Вы не любите жизни,—угрюмо замѣтилъ я.—Что вы любите?

— Нѣтъ—я бы ее исправила.

— Какъ?

— Какъ-нибудь интереснѣе. Хорошо-бы землѣ сдѣлаться бѣлой и теплой. Трава должна быть сѣрая, съ золотистымъ оттѣнкомъ, камни и скалы—черные. Или жить какъ бы на днѣ океана, среди водорослей, коралловъ и раковинъ, такихъ большихъ, чтобы въ нихъ можно было залѣзть. Потомъ хорошо бы быть богу; такому крѣпкому, спокойному старику; онъ долженъ укоризненно покачивать головой или подойти ко мнѣ, взять за подбородокъ, долго смотрѣть въ глаза, сдѣлать гримасу и отпустить.

— Только-то,—сказалъ я, сконфуженный ея усиліями отдалиться отъ меня на словахъ.—Никуда вы не уйдете, сокровище. Насъ везетъ грязный, заскорузлый сынъ деревни, по грязной землѣ, а въ томъ, что я васъ люблю,—есть красота.

Я перегнулся къ Маріѣ Игнатьевнѣ и, полный трусливой хищности, опасаясь, что дѣвушка закричитъ, но въ то же время почти желая этого, какъ истомленный жарой, сталъ разстегивать лѣвой рукой теплую кофточку. Она не сопротивлялась; въ первый моментъ я не обратилъ на это вниманія, а потомъ, возненавидѣвъ за презрительную покорность, принялся тискать весь ея станъ. Дѣвушка, прижавъ руки къ груди, сидѣла молча. Я видѣлъ, что губа ея закушена, и вдругъ холодность ея сдѣлала мнѣ противной всѣхъ женщинъ, улицу, себя и свои руки; отнявъ ихъ, я зябко вздрогнулъ, остылъ и увидѣлъ, что мы подѣхали къ хмурому пятиэтажному дому.

И слѣзъ, заплатилъ извозчику; дѣвушка продолжала сидѣть въ той же позѣ, какъ бы окаменѣвъ; присмотрѣвшись, я замѣтилъ, что правая ея рука медленно, словно крадучись, застегиваетъ растерзанное пальто.

— Сойдите-же,—сказалъ я.

— Я хочу, чтобы вы ушли.—Зубы ея стучали.—Уйдите.

— Марія Игнатьевна,—сказалъ я и замолчалъ. Невольная тоска налила мнѣ ноги свинцомъ, я говорилъ сдавленнымъ, виноватымъ голосомъ.—Марія Игнатьевна, вѣдь, я ничего...

— Извозчикъ, вѣроятно, заинтересованъ,—быстро произнесла она.—Уйдите, слизнякъ.

Я открылъ ротъ, не будучи въ силахъ сказать что-либо; сердце быстро забилося. Дѣвушка сошла на тротуаръ и, поспѣшно склонившись, исчезла подъ цѣпью калитки. Я нырнулъ за ней, догналъ ее у черной дыры лѣстницы и взялъ за руку.

— Марія Игнатьевна,—уныло проговорилъ я, стараясь идти въ ногу,—вы способны сдѣлать безумнымъ святого, а не то что меня. Простите.

Она не отвѣчала, взбѣгая по ступенямъ; я спѣшилъ вслѣдъ, наступая на подолъ платья. Въ третьемъ этажѣ дѣвушка остановилась, повернулась ко мнѣ и вызывающе подняла голову. Въ свѣтѣ керосиннаго фонаря лицо ея было измѣнчивымъ и прекраснымъ; лицо это дышало неописуемымъ отвращеніемъ. Чувствуя себя гнусно, я упалъ на колѣни и съ раскаяніемъ, а также съ затаенной усмѣшкой, поцѣловалъ мокрый отъ дождя ботинокъ; запахло кожей.

— Марія Игнатьевна,—простоналъ я, подползая на заболѣвшихъ колѣняхъ, стараясь обхватить ея ноги и прижаться къ нимъ головой:—молодая душа простить. Я люблю васъ!

— Отойдите!—глухо произнесла она.—Дайте мнѣ подумать.

Я всталъ, но она была уже на подоконникѣ и, нагнувшись, отнесла руки назадъ: большое окно лѣстницы мгновенно нарисовало ея фигуру, по контуру изогнувшагося тѣла желтѣли освѣщенные окна квартиръ. Я зашатался, застылъ; въ мигъ все чудовищное выросло передо мною; сознавъ, что надо отойти, сбѣжать хоть бы пять ступенекъ, я, тѣмъ не менѣе, пораженный ожиданіемъ кровавой тяготы, стоялъ, крчча хриплымъ голосомъ:

— Что вы дѣлаете со мной! Я уйду, уйду, ухожу!

Въ то же мгновеніе ноги мои вдругъ обезсилѣли, задрожавъ; окно мелькнуло платьемъ, а внизу, подстерегая паденіе, шумно ухнулъ дворъ,—и отвратительно быстро наступила полная тишина. Чувствуя, что меня тошнить отъ страха и злобы, я поспѣшно сбѣжалъ внизъ и, съ холоднымъ затылкомъ, плохо соображая, что дѣлаю, выбѣжалъ къ калиткѣ, закрывая руками голову, чтобы не увидѣть. На улицѣ, повернувъ за уголъ, я пустился бѣжать изо всѣхъ силъ, не чувствуя ни жалости, ни угрызений, преслѣдуемый безумнымъ, скалящимъ зубы ужасомъ; мой топотъ казался мнѣ шумнымъ паденіемъ безчисленныхъ тѣлъ; тяжелая, мерзкая, хватающая за ноги мостовая родила слѣпой гнѣвъ; сжавъ кулаки, я бросался изъ переулка въ переулокъ, отдышался и пошелъ тише, дрожа, какъ беспощадно избитый циническими ударами во всѣ части тѣла.

## VII.

Сколько времени я шелъ и въ какихъ мѣстахъ—не помню. Разъ или два я сильно стукнулся плечомъ о встрѣчныхъ прохожихъ. Моросилъ дождь; въ косомъ, прыгающемъ его туманѣ чернѣли, раскачиваясь, вонтики; свѣтлыя кляксы лужъ и журчанье сбѣгающей по трубамъ воды казались мнѣ огромнымъ притворствомъ улицъ, очень хорошо знающихъ, что произошло со мной, степенно лживыхъ и равнодушныхъ. Судорожно переворачивая въ

памяти окно третьего этажа и глухой стукъ внизу, я шель то быстрее, когда представления дѣлались совершенно отчетливыми, то тише, когда ихъ затуманивала усталость мозга, пресыщенного чудовищной пищей. Немного спустя, я увидѣлъ ровно освѣщенное окно игрушечнаго магазина съ голубоглазыми куклами въ коробкахъ, маленькими барабанами и лошадками, вспомнилъ, что и я былъ нѣкогда мальчикомъ, что Марія Игнатьевна тоже играла въ куклы, и унылая горестъ засосала сердце; внезапная глубокая жалость къ „Марусѣ“, какъ мысленно называлъ я ее теперь, слезливо направила голову. Прислонившись къ стѣнѣ, я заплакалъ скудными, тяжелыми слезами, вздрагивая отъ рыданій. Въ это время я слышалъ, что за моей спиной шаги прохожихъ нѣсколько замедляются; вѣроятно, они взглядывали на меня, пожимая плечами, и отходили. Среди многихъ терзавшихъ меня въ этотъ моментъ мыслей раскаянія и сокрушенія я постепенно началъ жалѣть себя и представилъ, что какая-нибудь женщина, съ лицомъ ангельской доброты, подходитъ сзади, кладетъ нѣжную руку мнѣ на плечо и спрашиваетъ музыкальнымъ голосомъ:

— Что съ вами? Успокойтесь. Я люблю васъ.

Отеревъ слезы, я поспѣшно тронулся дальше.

Заходя по дорогѣ въ пивныя лавочки и трактиры, я выныивалъ у стоекъ, чтобы забыться, какъ можно болѣе водки и пива, затѣмъ хлопалъ дверью и шель безъ всякаго направленія, поворачивая изъ стороны въ сторону. Прохожихъ становилось все меньше; улицы изъ широкихъ проспектовъ съ модернизованнымъ фасадами пяти и шестизэтажныхъ домовъ незамѣтно превращались въ кривые и низенькіе ряды деревянныхъ, мезонинчатыхъ домиковъ; воняло прѣлью помойныхъ ямъ; гдѣ-то въ сторонѣ далеко и глухо просвистѣлъ паровозъ. Затѣмъ и куда я шель—неизвѣстно; смутная тревога подгоняла впередъ, остановиться было физически противно и трудно. Казалось, мостовая и улицы были намотаны на какія-то огромныя катушки и, сматываясь, двигались надо мною назадъ, заставляя перебирать ногами.

Заблудившись, я выбрался изъ кучки мрачныхъ строеній, напоминавшихъ разбросанныя, какъ попало, спичечныя коробки; одолѣвъ паутину каменныхъ и деревянныхъ заборовъ, среди которыхъ, подобно одинокому глазу, мерцалъ красный фонарь, я очутился на границѣ обширнаго пустыря. Онъ начинался прямо отъ моихъ ногъ обрывками заброшенныхъ грядъ, канавой и бугорками съ репейникомъ; далѣе громоздилось темное пространство—и трудно было рассмотреть во мглѣ характеръ этой пустынной мѣстности. Повидимому, мнѣ слѣдовало возвратиться назадъ, но я двинулся впередъ изъ какого-то злобнаго упрямства, въ состояніи полной невмѣняемости, въ одномъ изъ тѣхъ видовъ ея, когда невиннѣйшій посторонній



звукъ можетъ вызвать страшный припадокъ бѣшенства или, наоборотъ, погрузить въ тягчайшую апатію. Мной въ полной силѣ управляли зрительныя впечатлѣнія; видъ пространства вызывалъ потребность идти, темнота—желаніе свѣта; я каждую секунду соединялся съ видимымъ, пока это соединеніе не рождало какого-либо образнаго, большей частью, фантастическаго представленія; затѣмъ, насытившись имъ, переходилъ къ слѣдующимъ вспышкамъ фантазмагорій. Такъ, напримѣръ, я очень хорошо помню, что желаніе идти въ темный пустырь соединилось у меня съ воображенной до полной дѣйствительности, гдѣ-то существующей хорошенькой и уютной дачей, гдѣ меня должны были ожидать восхитительныя, странныя и сладкія вещи; я шелъ къ этой дачѣ, наполовину вѣря въ ея существованіе. Охваченный мрачной пустотой, я перепрыгивалъ ямы, мѣсилъ ногами грязную почву. Голосъ, раздавшійся впереди, привелъ меня въ сильное раздраженіе. Голосъ этотъ сказалъ:

— Кто идетъ?

Я остановился. „Кто-то идетъ въ сторонѣ отъ меня“,—подумалъ я,—„и этого человѣка спрашиваютъ“. Вопросъ былъ громкій и отчетливый, рассчитанный, очевидно, на то, чтобы быть сразу услышаннымъ и понятнымъ. Оглянувшись, я тронулся; въ тотъ же моментъ голосъ упорно крикнулъ:

— Кто идетъ, дьяволъ! Вороти въ сторону!

— Это мнѣ,—сказалъ я, прислушиваясь. Вѣтеръ прилегъ къ землѣ, качнулся и загудѣлъ. Неподалеку, у низкой стѣны, едва отдѣляясь отъ нея, чернѣла маленькая человѣческая фигура. Я всматривался, пытаюсь сообразить, въ чемъ дѣло. Я спросилъ громко и недовольно:

— Кто кричитъ? Чего кричишь?

— Отойди,—непреклонно повторилъ голосъ.—На постъ лѣзешь! Часовой тутъ, пороховой погребъ. Не велѣно.

Тогда я понялъ. Солдатъ не подпускалъ меня къ охраняемому зданію. Онъ боялся, что я украду ящикъ съ порохомъ или взорву пороховой погребъ. Это было глупо до скуки; я опредѣлилъ солдата, какъ глупѣйшее существо въ свѣтѣ, и разсмѣялся, вызываяще подбоченившись, а шляпу сдвинулъ на затылокъ. Вѣроятно, солдатъ не видѣлъ моей позы, какъ я—его, но въ тѣ минуты воображеніе играло большую роль, и я считалъ себя видимымъ такъ же ясно, какъ янчо на бархатѣ. Мы оба тонули во мракѣ грязнаго пустыря.

— Пороховой погребъ!—сказалъ я, настроенный залихватски и брезгливо по отношенію къ человѣку, вооруженному магазинкой.—Милый, это бессмыслица. Мнѣ хочется пройти въ прямомъ направленіи. Развѣ погребъ провалится? Ты разсуждаешь по инструкціи, но до здраваго смысла тебѣ далеко.

Я говорилъ не совсѣмъ твердо; часовой молчалъ. Я зналъ, что человѣкъ этотъ въ данный моментъ счастливъ, что морда его осмысленна и дышетъ невидимо для меня всей непреклонностью устава. Я вздумалъ разочаровать его, отравить ему это радостное мгновеніе сложной и хитрой сѣтью произвольныхъ заключеній, сдѣлать его смѣшнымъ въ его же глазахъ; раздражить и уйти...

— Я уйду,—продолжалъ я.—Сію минуту уйду. Я пьянъ. Не тронешь же ты пьянаго человѣка. Но мнѣ нужно сообщить тебѣ нѣчто. Ты часовой. Ты стоишь два часа, охраняя пороховой погребъ. Отъ кого?

Враждебная тишина внимала мнѣ. Я подумалъ и покатился по тѣмъ же рельсамъ, и говорилъ, говорилъ.

Зачѣмъ я говорилъ—выскочило теперь у меня изъ памяти. Языкъ мой неудержимо тренькалъ, какъ хорошій бубенецъ въ чащѣ; я говорилъ, не слыша ни возраженій, ни поощреній; одно время мнѣ показалось, что часовой даже ушелъ, но я тотчасъ сообразилъ, что уйти онъ не могъ, а стоитъ тутъ, противъ меня, и слушаетъ, слушаетъ напряженно, стараясь не проронить ни одного слова, и ждетъ, чтобы выстрѣлить, когда я сдѣлаю хоть одинъ шагъ къ нему. Я зналъ, что онъ не задумается спустить курокъ, такъ какъ въ этомъ было его оправданіе. Онъ слушалъ.

— Тамъ,—я махнулъ рукой по направленію къ городу,—тамъ красавицы, золото, роскошь и удовольствія. Сейчасъ я найму автомобиль и проѣду мимо, обдавъ тебя шлепками грязи съ резиновыхъ шинъ. У тебя денегъ нѣтъ? На! Возьми. У меня лежитъ въ карманѣ нѣсколько тысячъ. Возьми пятьсотъ рублей. Подойди и возьми. Брось винтовку, спрячь деньги, иди въ городъ, надѣнь щегольскій костюмъ и напейся. Потому что ты человѣкъ, когда пьянъ. „Мы што—не люди?“ Люди!

Мой голосъ перешелъ въ крикъ, я осипъ, задыхался и радовался. Мои пули были мои слова.

— Отойди!—вдругъ глухо и угрожающе сказалъ часовой.—Чего расноялся? Проходите, баринъ!

— Баринъ!—азартно закричалъ я.—Ты думаешь: вотъ онъ будетъ куражиться, а я пристрѣлю его и въ рапортъ благодарность получу? Нѣтъ, этого удовольствія я тебѣ не доставляю. Я уйду, уйду, а ты будешь, рыдая звать меня, чтобы опять услышать мои слова. Но я болѣе не приду, понялъ? Стой и плачь, тюлень въ намордникѣ!

Я зналъ, что онъ трясется отъ бѣшенства и высматриваетъ меня въ темнотѣ, чтобы пробуравить насквозь. Я самъ тряса; меня приводилъ, въ страстное восхищеніе этотъ, не смѣющий сойти съ своего мѣста человѣкъ. Услышавъ мягкій трескъ стали, я понялъ, что онъ приготовлялъ

затворъ и, если я не уйду, выстрѣлить, но всякая опасность была въ этотъ моментъ безсильна заставить меня смириться. Я отошелъ въ сторону, ступая мягко, чтобы солдатъ, нѣлся на звукъ голоса, далъ вѣрный промахъ.

— Последний разъ—уходите,—быстро проговорилъ часовой, чѣмъ-то завывая, и я сообразилъ, что теперь надо держать ухо востро. Последнюю отбѣгая на носкахъ вѣтви, я крикнулъ изо всѣхъ силъ:

— Я и мой товарищъ бѣжимъ на тебя. Молитъ Богу!

Гулкій толчекъ выстрѣла закливалъ мои слова. Сверкнула блѣдная, огненная полоска, пули, шушукнувъ неподалеку, унеслась съ заунывнымъ свистомъ. Затѣя эта могла обойтись дорого. Я нѣсколько протрезвился и побѣждалъ. Сзади тревожно заливался свистокъ часового, онъ далъ тревогу: еще минута—и я почевалъ бы въ участкѣ, избитый до полусмерти. Я убѣждалъ съ чувствомъ легкаго, ненастоящаго страха, тяжелой скуки и безцѣльной злобы; завернувъ въ ближайшую улицу и вспоминая Марусю, я почувствовалъ, что глубоко ненавижу всѣхъ этихъ расколотыхъ, раздробленныхъ, превращенныхъ въ нервное мѣсно людей, дѣлающихъ каракіри, скулящихъ, ноющихъ и презрѣнныхъ.

— Тяжкоживы!—шептавъ я, стиснувъ зубы.—Ядъ земли, радостной, веселой, мокрой, солнечно-грязной, черноземной! благоуханной! Что вы хотите? что? Легко жить надо, а не разбивать голову!

— Тяжкоживы проклятые.—сосредоточенно повторилъ я и кликнулъ извозчика. И отъ мысли о множествѣ безцѣльныхъ, безпризорныхъ существованій, разсѣянныхъ по мощному лицу земли въ видѣ уличной пыли, которую ежечасно стираетъ рука жизни, чтобы ярче блестѣли румяныя щеки дорогой намъ планеты, что-то соколиное сверкнуло во мнѣ; я гордо поднималъ голову и утѣшился.. „Благодарю тебѣ, Боже, за то, что не создалъ меня такимъ, какъ этотъ мытарь“,—задумчиво, серьезно сказалъ я, сѣлъ на извозчика и снялъ шляпу. Небо выяснилось, пахло смоченной дождемъ мостовой; надъ головой ясно и какъ-то значительно блестѣли краткія звѣзды.

— Извозчикъ,—сказалъ я тихо и вѣжливо, чтобы даже эти простые слова соответствовали торжественному моему настроенію,—поѣзжайте въ самую лучшую гостиницу въ центрѣ города.

Пробѣгая среди огненныхъ шаровъ моста, я подумалъ, что я, въ сущности, человѣкъ хорошій и деликатный, съ большой, нѣсколько капризной волей, интересный и жуткій.

### VIII.

Переутомленіе и рядъ первыхъ потрясеній, должно быть, сдѣлали меня временно парализованъ. Я повалился на кровать, испыталъ мучитель-

ное вытье всего тѣла и съ мгновенно закружившейся головой исчезъ. Затѣмъ, проснувшись, приподнял голову—дряблая смѣсь электрическаго и дневнаго свѣта показалась мнѣ плохимъ сновидѣніемъ; я снова исчезъ и проснулся съ головной болью. Было темно и, какъ мнѣ показалось, кто-то уходя, неспѣшно притворилъ дверь. То былъ, какъ я узналъ послѣ, лакей, приходившій послушать дышу я или сплю вѣчнымъ сномъ. Наконецъ, я проснулся въ третій разъ и окончательно: мысль о снѣ вызвала отвращеніе; значить, я выспался.

На стѣнѣ дрожали утренніе свѣтовые зайчики. Сидя на кровати, смятый, какъ былъ—въ саноглахъ и прочемъ, я тихо покачивался изъ стороны въ сторону, прикладывалъ ладони къ вискамъ, и было мнѣ плохо. Организмъ тоскливо стоналъ, горло пересохло, во рту чувствовался такой вкусъ, какъ будто я долго жевалъ свинецъ, выплюнуть и выполоскать зубы известковымъ растворомъ. На кругломъ мраморномъ столикѣ отъ графина съ водой сіяла радужная полоска; я долго смотрѣлъ на нее, припоминая недавнія свои переживанія, вспоминалъ деньги—и ласковой холодокъ радости пробѣжалъ въ спинѣ, возвращая тѣлу упругость. Я сталъ умываться, причесался, затѣмъ позвонилъ и, когда подали самоваръ, сказалъ слугѣ:

— Я уже заявилъ полиціи, что у меня между послѣдней станціей и Петербургомъ украли весь багажъ. Вотъ, любезнѣйшій, двѣсти рублей: отправляйтесь, куда слѣдуетъ, купите мнѣ пару хорошихъ, помѣстительныхъ семадановъ, пачейное и теплое одѣяло, дюжину простынь, дюжину наволочекъ, двѣ подушки и дюжину паръ бѣлья. Сдачу возьмите себѣ.

Но отъ него такъ скоро отдѣлаться было нельзя. Онъ хотѣлъ знать въ точности размѣръ, нѣтъ ли качество. Наконецъ, поклонился, едва не сломавъ себѣ спину, посмотрѣлъ на меня взглядомъ парализованнаго и, пятась, скрылся. Я сѣлъ къ столу, чрезвычайно довольный собой; задумался, не замѣтивъ, какъ пересталъ вѣть и остылъ самоваръ, съ жадностью выпилъ нѣсколько стакановъ теплаго чаю, затѣмъ долго стоялъ у окна съ благодарнымъ лицомъ, предвкушая наслажденіе считать деньги; пересчитавъ ихъ, уютно разговаривать по карманамъ, согрѣвъ ими душу, надѣвъ шляпу и отправился за покупками.

Часа три я слонялся по магазинамъ, удивляя приказчиковъ робкимъ тономъ вопросовъ и несоответствующимъ ему швырянемъ деньгами. Я бралъ сдачу, не считая, демонстративно комкалъ бумажки, опуская ихъ въ наружный карманъ пиджака, я вообще велъ себя ничуть не лучше заправскаго вора, которому всеодно. День былъ пекуче-жарокъ; облизывая потомъ, тащась отъ дверей къ дверямъ толстые свертки, страдая и наслаждаясь. И купилъ два костюма—синій и сѣрый, два пальто, золотые часы, калейдоскопы, гадетуконъ, массу бѣлья, три кошелекъ, котелокъ, альпійскую шляпу,

кольцо съ брилліантомъ, настоящую панаму, желтые, зеленые и черные ботинки, усовершенствованный самолетъ для рыбы, тросточку съ серебряной ручкой, кавказскія туфли и четыре кашнэ. Не понимаю, какъ я донесъ все это до ближайшаго угла, гдѣ стояли посыльные; вручивъ имъ свой адресъ и свое имущество, я, мокрый съ головы до ногъ, пошелъ медленно, разслабленный и довольный...

Видъ почтоваго ящика заставилъ меня сунуть руку въ карманъ брюкъ, покрасить, вытащить измятое письмо къ Женѣ и опустить его. Глаза мои были, вѣроятно, растроганные и грустные; жгучее раскаяніе сопровождало меня до первой встрѣчной молодой женщины. Увидѣвъ, что она недурна, я подумалъ:

— На свѣтъ много женщинъ.

Я началъ снова думать о Женѣ, о странной своей судьбѣ, о томъ, что Женя пріѣдетъ, и мы будемъ счастливы, но скоро замѣтилъ, что эти мысли оставляютъ меня равнодушнымъ къ далекой дѣвушкѣ, и отдался полусознательнымъ, бѣглымъ размышленіямъ. Все, о чемъ я ни думалъ, казалось мнѣ безразличнымъ. Вспомнивъ бросившуюся изъ окна Марію Игнатьевну, я ощутилъ нѣчто вродѣ болѣзненнаго сотрясенія, а затѣмъ хладнокровно возстановилъ памятью всю эту сцену, пожалъ плечами, приказалъ самому себѣ держать языкъ за зубами и завернулъ въ прохладу кафе.

## IX.

Въ теченіе слѣдующихъ пяти дней не произошло ничего особеннаго. Я жилъ въ гостиницѣ, бѣгалъ по ресторанамъ, садамъ, трактирамъ, духъ безпокойной тоски швырялъ меня изъ одного конца города въ другой, я силился не уснуть въ музеяхъ, уходя изъ нихъ съ головой, раздутой до чудовищныхъ размѣровъ всякаго рода изображеніями; пилъ чай у знакомыхъ (все упомянутыя ранѣе лица стали моими знакомыми), ѣздилъ въ клубъ, но лукаво отходилъ прочь, когда непритворенная дверь карточной дымила отъ слезами игроковъ; пьянствовалъ съ пѣвчихами и, вообще, жилъ. Скука одолевала меня. Я болѣлъ душой о яркой, полной и красивой жизни. Отъ скуки я заговаривалъ съ городовыми, пѣснѣвалъ грязныя чайныя. Я велъ длинные разговоры о семейныхъ дѣлахъ продавщицъ кваса въ кинематографахъ, говорилъ о Богѣ среди извозчиковъ въ воровскомъ приютѣ, пережилъ ночные романы въ подвальныхъ логовищахъ. Отъ Жены я получалъ три письма съ обѣщаніями пріѣхать къ началу учебнаго года на курсы: первое вызвало у меня припадокъ страсти и нѣжности, содержаніе второго забыть, а въ третьемъ нашелъ четыре орфографическія ошибки. Все болѣе начиналъ казаться мнѣ, что я живу въ дрянномъ преддверіи настоящей жизненной

музыки, бросающей въ дрожь и огненный холодъ: что меня ждуть нетерпѣливо страны алмазной красоты, буйнаго ликоваія и щедротъ. Я сталъ чрезвычайно подвижнымъ, нервнымъ и беззащитнымъ.

Время отъ времени, сосредоточиваясь на своемъ положеніи, я пугался, покупалъ заграничные путеводители и росписанія поѣздовъ, собираясь въ дорогу, подозрѣвалъ въ каждомъ человѣкѣ шпиона, а затѣмъ, подъ вліяніемъ случайной встрѣчи или просто хорошаго настроенія, плевалъ на все и успокаивался. Гораздо болѣе озабочивало меня незавидное мое положеніе—положеніе человѣка, хапнувшего тысячки. Гордый и самолюбивый, я мечталъ быть побѣдителемъ жизни, но, не обладая никакими спеціальными знаніями, естественно, стремился открыть въ себѣ какой-нибудь потрясающій, капиталный талантъ; издавна меня привлекала литература, къ тому же, сталкиваясь почти каждый день съ журналистами и поэтами, я воспиталъ въ себѣ змѣиную зависть.

Результатомъ этихъ мозговыхъ судорогъ было однажды то, что я нарѣзалъ пачку небольшихъ квадратныхъ листовъ, на какихъ, какъ гдѣ-то читалъ, писалъ Бальзакъ, вставилъ перо и сѣлъ. Въ головѣ носились Гоголевскіе хутора, обсыпанные бѣлой мукой луннаго свѣта; героини съ тонкой таліей, классическіе герои, охота на слоновъ, павильоны арабскихъ сказокъ, Шекспировская корзина съ бѣльемъ, провалившіеся рты Тургеневскихъ стариковъ, кой-что изъ Гонкуровъ, квадратная челюсть Зола. Понемногу я сочинилъ сюжетъ на тему прекрасныхъ жизненныхъ достиженій, преимущественно любви, вывелъ заглавіе — „Голубой мечъ“ и остановился. Тысячи чужихъ фразъ осаждали голову. „И не оттого, что... и не потому... а оттого... и потому...“ слышались мнѣ толковые удары по головѣ Толстовской дубинки. Чудесная, какъ художественная, литая бронза, презрительная рѣчь поэта обожгла меня ритмическими созвучіями. Брызнула огненная струя Гюго; интимная, улыбающаяся, чистая и сильная, какъ рука рыцаря, фраза Мопассана; взъерошенная—Достоевскаго; величественная—Тургенева; пѣвучая—Флобера, задыхающаяся—Успенскаго; мудрая и скупая—Кипплинга.. Хоръ множества голосовъ наполнилъ меня уныніемъ и тревогой. Я тоже хотѣлъ говорить своимъ языкомъ. Я обдумалъ нѣсколько фразъ, ломая имъ руки и ноги, чтобы ужъ, во всякомъ случаѣ, не подражать никому.

Перебѣнивъ нѣсколько разъ сюжеты, я сильно усталъ и бросилъ. На слѣдующій день мнѣ понравилось заглавіе „Рубинъ въ пустынь“. Я сѣлъ къ столу и сталъ придумывать фабулу, но, побившись, не могъ ничего придумать, кромѣ умирающей отъ чахотки молодой женщины. Она потеряла рубинъ, и герой отправляется разыскивать его. Все это возмутило меня; утомленный, апатичный, я вышелъ изъ пакуреннаго помѣщенія и отправился гулять, размышляя о способахъ наискорѣйшаго написанія романа страницъ

въ пятьсотъ. Но въ этотъ же день произошло событіе, заставившее меня забыть о литературной славѣ: въ этотъ роковой день я, какъ ручей, вышелъ изъ береговъ разсудка, былъ нѣсколько минутъ нѣжнымъ тигромъ, тяжело страдалъ и любилъ. Да, я первый разъ въ жизни любилъ по настоящему—умомъ и тѣломъ.

Все это сложно, необыкновенно и требуетъ тщательнаго разсказа. Мнѣ многіе не повѣряютъ, не я знаю, что будь—у человѣчества хоть немного нахальства—на каждомъ шагу происходили бы занятѣйшія исторіи, такъ какъ каждый хочетъ быть героемъ такихъ исторій—героемъ и разсказчикомъ.

Все началось съ того, что мнѣ понравился въ окнѣ табачнаго магазина мундштукъ. Не долго думая, я зашелъ, купилъ эту вещь и хотѣлъ выйти, но продавецъ задержалъ меня, рекомендуя новый табакъ. Надо замѣтить, что дверь этого маленькаго, узкаго магазинчика выходила на нижнюю площадку общей домовою лѣстницы, такъ что покупатель, не отходя отъ прилавка, могъ видѣть всѣхъ, проходящихъ въ домъ или на улицу. Пока я отнѣживался, хлопнула наружная дверь и сквозь стекло я поймалъ бѣглымъ взглядомъ два мелькнувшихъ лица—мужчины и женщины. Они вошли съ улицы; фигура и лицо женщины врѣзались, какъ печать, въ мою память; бросивъ табакъ на полъ, потому что получилъ нѣчто вродѣ электрическаго сотрясенія, я выскочилъ на площадку лѣстницы, остановился и сталъ смотрѣть. Сквозь лѣстницу, во всю вышину дома, торчалъ свѣтлый пролетъ. Подымавшіеся не видѣли меня; рука дамы, маленькая, невинно бѣлая, скользила по лакированнымъ периламъ надъ моей головой.

Я изображалъ статую изумленія, священнаго ужаса. Господинъ, правда, былъ недурень; смуглое, иностраннаго типа, лицо его отличалось смѣлымъ, смѣющимся выраженіемъ; широкоплечій, стройный, съ беззаботными движеніями, онъ былъ изященъ, но не броско, одѣтъ—и я его ненавидѣлъ. Женщина шла на ступеньку или двѣ впередъ. Ахъ! Она была сказочно хороша. Ея лицо умерщвляло желаніе смотрѣть на другихъ женщинъ. Я чувствовалъ себя такъ, какъ-будто всю жизнь, отъ челонокъ, не переставая, рыдалъ, а теперь, восхищенный, смолкъ, чуть-чуть всхлипывая, и высохли слезы, и блаженная улыбка просится на лицо.

— Поразительная красавица!—пробормоталъ я. Сильное волненіе помѣшало мнѣ запомнить мелочи ея туалета и фигуры: сверкнуло дивное благородство профиля, темный огонь глазъ казался, отъ присутствія ея согрѣлся весь домъ и воздухъ наполнился вѣяніемъ женственной нѣжности.

Оба подымались не быстро и не тихо, и я, съ заболѣвшей шеей, задралъ голову, смотрѣлъ снизу. Господинъ шагнулъ нѣсколько быстрее, взялъ даму за руку и хотѣлъ, видимо, подѣловать пальцы, но она вырвалась, въ три-четыре прыжка достигла площадки третьяго этажа и раземѣялась, а

онъ побѣжалъ къ ней. Слушая смѣхъ, я страдалъ, я былъ боленъ отъ этихъ милыхъ, заразительныхъ, музыкальных звуковъ, какъ-будто женщина поднимала обѣ руки, полныя звонкихъ драгоценностей, и бросила ихъ, п звеня, прыгая со ступеньки на ступеньку, достигли онъ меня—такой былъ смѣхъ. Господинъ ступилъ на площадку, смѣясь, протянулъ къ ней руки, а она, ласково извернувшись, скользнула мимо него выше, а онъ за ней, она все быстрее—и вотъ оба, задыхаясь, зашумѣли по лѣстницѣ надъ моей головой; струясь, шелестѣлъ шелкъ, бѣлая съ сѣрымъ шляпка птицей взвилась на шестомъ этажѣ; господинъ нагналъ женщину, когда куда уже было больше бѣжать, обнялъ, прижалъ къ себѣ, а она, утомленная, перегнувшись спиной черезъ перила, счастливо смѣясь, стихла. Онъ приникъ къ ея губамъ долгимъ поцѣлуемъ, ихъ головы впили надо мной, можетъ быть, пять секундъ; для нихъ это была вѣчность.

Я вышелъ; вдогонку мнѣ шелкнула, далеко вверху, дверная задвижка. Выразительная любовная игра, свидетелемъ которой я былъ, сдѣлала меня сладко помѣшаннымъ. Я любилъ эту женщину. Страна страстного очарованія, издѣваясь, показала мнѣ мгновенный свой, ослѣпительный свѣтъ.

— Радостный ядъ любви! Пиршество упоенія!—сказалъ я, отуманенный, содрогающийся, съ пересохшимъ ртомъ. Невсякаемый образъ женщины плылъ передо мной среди равнодушныхъ прохожихъ; косою, въ тѣняхъ вечера, пыльный свѣтъ солнца утомительно жегъ лицо.

— Ну, что же,—теперь все равно,—сказалъ я, замедляя шаги; не было силъ уйти далеко отъ таинственно чудеснаго дома, покрытаго вывесками. „Цитроли слабительныя Фузика“—прочелъ я кровавыя, аршинныя буквы. Сразу же, въ состояніи, близкомъ къ горячешному, сталъ я обдумывать способы проникнуть въ рай. Ничто не казалось мнѣ достаточно дерзкимъ или предосудительнымъ. Въ времени и пространства, повинуюсь первымъ движеніямъ мысли, вошелъ я въ ювелирный магазинъ. Планъ мой былъ гениаленъ и простъ. Я былъ увѣренъ, что посредствомъ его сумѣю остаться наединѣ съ ней, а тамъ—что будетъ. Я предвкушалъ долгіе взгляды, отъ которыхъ блѣднѣютъ и загораются. Возволнованный томительными сладкими предчувствіями, я потребовалъ алмазныя серьги и взялъ первыя понавѣсіяся. Денегъ къ тому времени оставалось у меня около шести тысячъ. Было немного обидно выбросить за пару стекляшекъ пятьсотъ пятьдесятъ рублей, но я сдѣлалъ это, сунулъ футляръ въ карманъ и вышелъ на улицу.

Дыша глубоко и часто, чтобы хоть немного утишить біеніе сердца, предвкушая пріятныя, острые, необыкновенныя переживанія, я перешелъ на другую сторону троттуара и сталъ слѣдить за подъѣздомъ, рассчитывая, что господинъ съ иностраннымъ лицомъ рано или поздно долженъ выйти изъ дома. Стемнѣло, засвѣтились электрическіе узоры кинематографовъ; вечер-



няя суета улицы, теряя дѣловой ритмъ, показывала медленно гуляющихъ франтовъ, кокотокъ и генераловъ. Стрѣляя, какъ митральезы, пролетали автомобили, украшенные грандіозными шляпками. Ноги мои болѣли, я методично прохаживался, тоскуя и представляя будущее. Вопросъ—кто эта женщина?—не давалъ покоя. Жена, артистка, куртизанка, дѣвушка, вдова?—на каждый я отвѣчалъ утвердительно. Лѣтъ пять назадъ я слышалъ рассказъ одного моего знакомаго, какъ, путешествуя пѣшкомъ по берегу моря, онъ захотѣлъ пить. Сумасшедшая жара калила песокъ, слѣва горѣла степь, кричали тарбаганы и суслики, расплавленное море лежало у его ногъ. Ближайшій рыбный промыселъ, гдѣ этотъ человѣкъ могъ напиться, лежалъ не ближе двадцати верстъ. Человѣкъ шелъ тихо, стараясь не утомляться, но быстро выпотѣлъ, ослабѣлъ—и жажда постепенно превратилась въ сущеніе глыбы соли, разѣдающей внутренности нестерпимой болью. Онъ пошелъ быстрее, затѣмъ побѣжалъ, теряя сознание. У ногъ его тихо плескалась вода. Онъ продолжалъ бѣжать. Это была вѣчность нечеловѣческаго страданія. Завидѣвъ низкія крыши промысла, онъ пулей промчался сквозь кучку рабочихъ, испуганныхъ его тусклыми отъ бѣшенства глазами, повалился на край бочки съ водой и пилъ. Затѣмъ съ нимъ произошелъ обморокъ.

Похоже на это чувствовалъ себя я. Возможныя послѣдствія моей рѣшимости казались мнѣ не стоящей вниманія чепухой. Прильнувъ глазами къ подъѣзду, я, наконецъ, вдохнулъ глубокимъ, какъ сонъ, вдохомъ, и пересѣкъ мостовую. Онъ вышелъ, я видѣлъ, какъ онъ сѣлъ на извозчика, купилъ у подбѣжавшаго мальчишки газету и, теряясь въ разорванной цѣпи экипажей, скрылся. Тогда я, замирая и холодѣя, прошелъ въ подъѣздъ, а когда ступилъ на площадку шестого этажа, соображеніе, что я не знаю, въ которой изъ квартиръ живетъ богиня, на мгновеніе остановило меня, затѣмъ я увидѣлъ, что на каждой площадкѣ находится только одна дверь, и успокоился.

Самое трудное было для меня повзвонить: я зналъ, что какъ только сдѣлаю это—прекратится трусливое волненіе, смѣнившись напряженной осмотрительностью, стиснутыми зубами и хладнокровіемъ. Такъ это и было. Я позвонилъ; далеко, чуть слышно, прозвенѣлъ колокольчикъ; звукъ его казался чудеснымъ, необыкновеннымъ. Мнѣ открыли; приподнявъ шляпу, я вошелъ и первое время не былъ въ состояніи заговорить, но, сдѣлавъ усиліе, поклонился высокой, въ передникъ съ кармашками, горничной и приступилъ къ дѣлу.

Въ передней, гдѣ я стоялъ, было почти темно; блестѣло темное зеркало, откуда-то, вѣроятно, изъ корридора, тянулась игла свѣта, падая на кружевное манто.

— Вамъ что?—вертясь по привычкѣ, спросила горничная.

— Серьги госпожѣ изъ магазина Дроздова,—сказалъ я, держа руки по швамъ, росписочку пожалуйста.

— Я скажу, обождите.

Она внимательно осмотрѣла меня и остановилась, подошла къ дверямъ и исчезла, а я, машинально тиская вспотѣвшей ладонью футлярчикъ, тяжело дышалъ. Виски болѣли отъ напряженія, было душно и страшно. Въ головѣ носились отрывочныя, подходящія къ моменту слова: «Красавица... объятія... поцѣлуй твои... у ногъ.» Я переступалъ съ ноги на ногу, входя въ роль, хотя черезъ нѣсколько минутъ приказчикъ долженъ исчезнуть, уступая мѣсто влюбленному. Горничная вернулась, бойко щелкая каблучками.

— Идите сюда. Барыня на балконѣ.

Я нервно хихикнулъ. Дѣвушка посмотрѣла на меня съ изумленіемъ, и я сказалъ:

— Чудесно. Квартирочка у васъ,—замѣчательно!

Промолчавъ, она быстро пошла впередъ, а я, невольно расшаркиваясь на скользкомъ паркетѣ, семенилъ сзади. Меня словно вели на висѣлицу. Я смутно замѣчалъ въ сумеркахъ просторныхъ высокихъ комнатъ отдѣльные предметы; дремлющая въ полутьмѣ роскошь дышала чужой, таинственно налаженной жизнью. Мы, какъ духи, скользнули по анфиладѣ четырехъ или пяти комнатъ; по мѣрѣ приближенія къ цѣли вокругъ становилось свѣтлѣе, въ послѣдней—кругломъ небольшомъ залѣ—меня окружилъ грустный свѣтъ вечера, падавшій изъ растворенной настежь двери, за ними вытянулся къ разбросаннымъ внизу крышамъ полукруглый балконъ. Тамъ было нѣчто восхитительное и неясное. Вокругъ меня, по стѣнамъ и у потолка, что-то сверкало, висѣло; на полу все нѣжное, круглое, цвѣтное; картины межъ оконъ; къ потолку тянулись выхоленные тропическія растенія. Золоченыя рѣшетки у лѣнливыхъ креслицъ, коврики и мѣха, улыбки темныхъ статуettek—все я забылъ, ступивъ на порогъ послѣдней, неземной двери.

Она сидѣла въ качалкѣ, склонивъ голову впередъ и чуть-чуть на бокъ. а ея дѣтскія, тоненькія руки въ разрѣзахъ сиреновой матеріи поглаживали гнутый бамбукъ сидѣнья. Я видѣлъ, что шея ея открыта; у меня перехватило дыханіе; слабый и близкій къ обмороку, я усиленно раскланялся, овладѣвъ собой и проговорилъ:

— Извините, господинъ Дроздовъ, мой хозяинъ, поручилъ доставить брилліанты.

— Отъ кого? Какіе брилліанты?—спросила убивающая меня своимъ существованіемъ женщина.—Скажите, отъ кого?

Изгрызанный страстью, я понялъ, что это важный моментъ. Я ненави, дѣлъ горничную, сонно дышавшую за моимъ плечомъ; ей слѣдовало удалиться.

— Тайна, — глухо сказалъ я и посмотрѣлъ многозначительно. Мой тоскующій, полный просьбы, взглядъ скрестился съ ея взглядомъ; маленькія тонкія брови медленно поднялись, все лицо стало замкнутымъ и разсѣяннымъ. Она смотрѣла на меня испытующе.

Я сказалъ:

— Тайна.

Затѣмъ приложилъ палецъ къ губамъ, нахмурился и опустил глаза.

— Катерина, — сказала женищина, — посмотрите, не звонятъ ли съ параднаго.

Я повернулся къ горничной и посмотрѣлъ на нее въ упоръ. Она вышла, сбѣривъ меня съ ногъ до головы величественнымъ взглядомъ служанки разъяренной, но обязанной слушаться.

— Говорите, что это значить? — осторожно, тѣмъ тономъ, отъ котораго такъ легко переходъ къ выраженіямъ удовольствія и гнѣва, произнесла дама.

Медленно, вспотѣвъ отъ стыда и страха, я сталъ на колѣни, продолжая нервно улыбаться. Я увидѣлъ край нижней юбки и пару несоразмѣрно большихъ глазъ. Я слышалъ стукъ своего сердца; онъ напоминалъ швейную машинку въ полномъ ходу.

— Я, дѣйствительно, принесъ серьги — сказалъ я, возбуждаясь по мѣрѣ того, какъ говорилъ, — но это, я долженъ сказать, уловка. Я торжественно, свято, безумно люблю васъ. Я не знаю вашего имени, я видѣлъ васъ три часа тому назадъ на улицѣ — и моя жизнь въ вашихъ рукахъ. Дѣлайте со мной, что угодно.

Я видѣлъ, что она поблѣднѣла и хочетъ вскочить. Выбѣстъ съ тѣмъ, высказавъ самое главное, я почувствовалъ, что мнѣ легче; я могъ дѣйствовать болѣе развязно и умоляюще протянулъ руку.

— Несравненная, — сказалъ я, — мнѣ тяжело видѣть испугъ на вашемъ божественномъ лицѣ. Я уйду, если хотите, но не относитесь ко мнѣ, какъ къ уличному нахалу. Я не могъ поступить иначе.

— Тайна! — воскликнула она, едва переводя дыханіе и вставая. Я тоже всталъ. — Нечего сказать, тайна! — Какая-то мысль, вѣроятно, смутила ее, потому что она вдругъ покраснѣла и неловко пожала плечами. — Кто вы такой?

— Гринъ, — искорно отвѣтилъ я. — Я изъ хорошей фамиліи. Могу васъ увѣрить, что...

— Нѣтъ, — сказала она, прислонившись къ рѣшеткѣ и глядя на меня такъ, какъ если бы прямо ей въ лицо летѣла птица. — Нѣтъ, вы меня рѣшительно испугали. Какъ вы смѣли?

— Вислушайте, — подхватилъ я, ни тинкомъ чувствуя, что паузы могутъ быть гибельны. Рука я держалъ перекъ собой, сложивъ ихъ наполовину

молитвеннымъ, наполовину скромнымъ жестомъ, а говорилъ сдавленнымъ, хватающимъ за душу голосомъ.—Я презираю бѣдную жизнь мою, она заставляетъ ненавидѣть людей и землю. Я жажду глубокихъ страданій, вздрагивающаго отъ смѣха счастья, хочу дышать полной грудью. Я увидѣлъ васъ и затрясся. Вы наполняете меня, я задыхаюсь отъ вашего присутствія.

Я стиснулъ пальцы сложенныхъ рукъ такъ сильно, что они хрустнули. Она, сдвинувъ брови, подошла къ столику, взяла крошечную папирску и поднесла къ губамъ: тутъ я нашелся. Выхвативъ изъ кармана дрожащей рукой десятирублевый билетъ, я чиркнулъ спичкой, зажегъ ассигнацію и поднесъ крапивѣ. Некогда взглянувъ на меня и не терпясь, хотя обгорѣвшая бумага начинала кадить пальцы, она закурила, тотчасъ же пустивъ изъ пылительно оттопыренныхъ губокъ облачко дыма, опустила глаза и произнесла:

— Я успокоилась. До свиданья.

Я застоналъ и шагнулъ впередъ; она отскочила въ сторону, лѣниво протянувъ руку къ львиной головѣ съ кнопкой.

— Вы жестоки!—метительно прошептала я.—За что? Я рабъ вашъ.

— Я не могу любить каждаго,—нетерпѣливо и быстро сказала прекрасное чудовище,—каждаго, который придетъ съ улицы, и, наконецъ, вы мнѣ непріятны. Затѣмъ—я несвободна. Уйдите съ воспоминаніемъ, что я осталась къ вамъ добра и не приняла мѣръ противъ вашего вторженія.

— Я богатъ,—грубо сказалъ я.—Вотъ брилліанты.

Вставъ между ней и звонкомъ, я хлопнулъ футляромъ о столикъ. Мнѣ хотѣлось броситься на это двигающееся живое, красивое тѣло.

— Вы забываетесь,—блѣднѣя отъ испуга и гнѣва, сказала она,— уходите сію минуту! Вонъ!

Футляръ полетѣлъ мнѣ въ лицо и разсѣкъ бровь. Я невольно отступилъ; оскорбленный, я почувствовалъ желаніе задѣть и унижить ее, смѣшать съ грязью. Я сказалъ, наслаждаясь:

— Врете вы. Врете. Вамъ лестно, что приходитъ человѣкъ именно съ улицы, потерявъ голову. Вы такая же, какъ и всѣ. Вы ляжете передъ собой, боитесь своего любовника. Возьмите меня!

— Ради Бога...—сказала она, съ усиліемъ поднимая руку къ лицу и роняя папирску,—вы...

Не договоривъ, она неловко сѣла въ качалку бокомъ и запрокинула голову.

Испуганный, я тихо подошелъ къ ней; она, плотно сжавъ губы и закрывъ глаза, осталась недвижимой. Это былъ обморокъ. Съ минуту я стоялъ, полный тревоги, думая о стаканѣ воды, докторѣ, о томъ, что лучше всего уйти; а затѣмъ, похолодѣвъ, наклонился и поцѣловалъ влажныя губы съ

воровскимъ чувствомъ случайной власти; готовый на все, я приподнялъ красавицу, прижимая ее грудью къ своей груди, и тотчасъ же выпустилъ, почти бросилъ: сзади послышались быстрые шаги, кто-то шель къ намъ, разсвѣянно напѣвая изъ «Жосселена».

«Херувимы-ы хранить... тее-бья!»

Я отскочилъ, заметался, глаза мои неудержимо, безсознательно отыскивали, гдѣ скрыться. Въ дверяхъ мелькнулъ силуэтъ идущаго—и секунду спустя мы стояли лицомъ къ лицу: онъ и я.

Онъ посмотрѣлъ на меня, на женщину, бросился къ ней, приподнялъ ея голову и, тотчасъ же вернувшись ко мнѣ, загородилъ дорогу. Было жутко и тихо.

— Гинчъ,—съ фальшивой твердостью сказалъ я,—позвольте представиться.—Мнѣ казалось, что я растворяюсь въ атмосферѣ грознаго ожиданія, расплываюсь, превращаюсь въ безтѣлесный контуръ. Было мгновение, когда мнѣ хотѣлось закрыть голову руками и согнуться; сзади раздался слабый крикъ.

Насилу оторвавъ глаза отъ моего страдальческаго въ этотъ моментъ лица, онъ подошелъ къ качалкѣ; я видѣлъ, какъ женскія руки легли ему на плечи, и почти разобралъ нѣсколько быстро сказанныхъ вполголоса словъ, но тотчасъ парализованное сознание потеряло ихъ смыслъ; по всей вѣроятности, она объясняла, въ чемъ дѣло. Мнѣ хотѣлось бѣжать, но я былъ не въ силахъ пошевелиться, я растерялся. Онъ снова подошелъ ко мнѣ, верхняя губа его приподнялась, обнаживъ зубы; гнѣвно хмыкнувъ, онъ качнулся впередъ и далъ мнѣ пощечину. Это былъ умѣлый, хлесткій ударъ: голова какъ-будто оторвалась, а затѣмъ, обваренная, возвратилась на свое мѣсто. Захрипѣвъ отъ стыда и боли, я кинулся, не видя ничего, впередъ, получилъ еще два удара и, нелѣпо размахивая руками, полетѣлъ къ выходу. Стулья цѣпились за меня, острый ударъ въ голову далъ мнѣ на одинъ моментъ потерянную рѣшимость: сжавъ кулаки, я обернулся, увидѣвъ занесенную надо мной палку и искаженное преслѣдованіемъ лицо съ черными усиками; посыпался градъ ударовъ; я защищался, какъ могъ, но, прижатый въ уголъ, съ разбитыми руками, не могъ ничего сдѣлать. Онъ билъ меня, какъ хотѣлъ; мы оба молчали; наконецъ, заплакавъ навзрыдъ и взвизгивая, я вырвался отъ него, прошелъ, дрожа отъ слабости, въ переднюю, сразу нашель шляпу и вышелъ, унося памятью какія-то испуганныя лица, глядѣвшія на меня въ передней.

## X.

Описать всеожирающее чувство стыда, сумасшедшей ненависти и полнаго внутренняго разоренія я безсиленъ. Я напоминалъ раздавленную ко-

лесомъ собаку, обѣденный саранчой садъ. Это было ощущеніе совершенной потери жизни, тупое, безразличное всхлипываніе, смѣсь мрака и подлости. Выйдя на улицу, я закружился, не помня—куда идти; я принималъ одно за другимъ сотни отчаянныхъ рѣшеній, и такова была сила моего озлобленія, что представленіе о способѣ мести давало мнѣ нѣкоторое насыщеніе. Я быстро свернулъ въ боковыя улицы, прикрывая руками пылающее лицо; прежде всего слѣдовало купить револьверъ, вернуться и убить. Остановившись на этомъ, послѣдовательно дойдя воображеніемъ до каторги и висѣлицы, я нѣсколько охладѣлъ къ убійству и вспомнилъ о дуэли. Въ глазахъ моихъ она равнялась проявленію бессмысленнаго атавизма, варварству. Ничто не могло изгладить побоевъ; хорошо,—я убью его, но, умирая, онъ посмотритъ на меня съ торжествомъ. «Я билъ тебя»,—скажутъ его потухающіе глаза. Это не годилось. Благополучно выскочивъ изъ-подъ трамвайнаго вагона, едва не перерѣзавшаго меня пополамъ, я быстро составилъ планъ заправки для женщины, которую только что насильно поцѣловалъ, и рѣшилъ отомстить ей. Это было бы для него больнѣе. Какъ? То, что мнѣ представилось въ отвѣтъ на этотъ вопросъ,—достаточно мрачно.

Быстрая ходьба вернула мнѣ то ненормальное состояніе унылаго равновѣсія, которое называютъ висѣльнымъ. Я осмотрѣлъ руки—онѣ были покрыты ноющими ссадинами и опухольями; къ глазу было больно притронуться; спина не болѣла, но по ней разливалась особенная непріятная теплота. Проходя мимо какого-то универсальнаго магазина съ сотнями блестящихъ предметовъ за освѣщенными электричествомъ окнами, я понялъ, что наступилъ вечеръ. Я думалъ безпорядочно и зло о жизни; она вдругъ представилась мнѣ въ новомъ, хихикающемъ и подмигивающемъ видѣ; она была омерзительна. Я чувствовалъ глубокое отвращеніе къ женщинамъ, землѣ, людямъ, самому себѣ, къ мостовой, по которой шелъ; къ разгорающимся въ темнотѣ огонькамъ папиросъ. Городъ былъ какъ-будто весь облитъ сѣроводородомъ, замазанъ грязью и населенъ идіотами. «Я не хочу этого»,—твердилъ я, десятый разъ переживая всѣ мелочи своего униженія,—«это не жизнь, а пытка; я всегда страдалъ, томился, грустилъ, я не жилъ, гдѣ конецъ этому? Смерть, умереть сгорая, сразу, пока кажется невыносимымъ жить. Смерть»,—повторилъ я, прислушиваясь къ этому пустому, какъ скелетъ, слову; это было безносое, выѣденное, таинственное соединеніе буквъ, обѣщавшихъ успокоеніе.

Я осмотрѣлся; незамѣтно, въ горячкѣ стыда и ярости, я прошелъ половину города; передо мной уходилъ къ небу синій туманъ Невы; чернѣли судовыя мачты; холодныя отраженія огней разбивались въ свѣтлую чешую волненіемъ отъ быстро снующихъ пароходиковъ. Пахло свѣжей рыбой и сыростью. Я ступилъ на печальную дугу моста, летѣя темныя мысли, развивая

и укрѣпляя ихъ. Я думалъ, что все безцѣльно и скоропроходяще, что слава, любовь, радость и горе кончаются въ гробу, что міромъ правятъ чортъ или растительная клѣточка.

Остановившись надъ серединой рѣки, я посмотрѣлъ внизъ. Тамъ видимо текла глубокая, холодная вода—и мнѣ страстно захотѣлось погрузиться въ равнодушную нѣжность ея тайны, пріобщиться величавому покое чистой матеріи. Я чувствовалъ себя—въ душной накуренной комнатѣ подошедшимъ къ бьющей въ лицо холодной форточкѣ; въ черномъ кружкѣ ея горѣла маленькая звѣзда—смерть.

— Умирать такъ умирать!—сказалъ я и, понявъ, что рѣшился, былъ удивленъ искренно: это оказалось простымъ. Механическое представленіе о прыжкѣ, короткомъ ощущеніи сырости и темноты.—Жени!—сказалъ я,—я, вѣдь, тебя люблю. Нй Богу.—Затѣмъ, вспомнивъ, что самоубійцы въ критическій моментъ видятъ рядъ картинъ золотого дѣтства, я попытался воскресить памятью что-либо значительное и свѣтлое, а въ голову мнѣ назойливо лѣзло воспоминаніе о томъ, какъ я однажды прищемилъ коникъ хвостъ и какъ меня за это били скалкой по головѣ.

Я перегнулся черезъ перила, повиснувъ на нихъ, какъ мѣшокъ, отъ страха и слабости; озябъ, наклонилъ голову, повалился въ пространство, пронзительно закричалъ, изступленно желалъ, чтобы меня вытащили; звонко ушелъ въ воду и задохнулся.

Не знаю—прежде, сейчасъ или это еще случится—у меня осталось смутное ощущеніе водяныхъ, влекущихъ въ неизвѣстное, вихрей, словно все тѣло вбираетъ и высасываетъ большой ротъ, полный холодной жидкости.

## XI

— Встань! Держись за столъ! Ну, не падай! Да ну-же, чортъ!

Сильная рука, стискивая мнѣ плечо, качалась вмѣстѣ со мной. Я чувствовалъ тоску, слабость и заплакалъ. Чувствуя, что все кружится, я повалился навзничъ; было тепло и мягко.

Я долго не открывалъ глазъ; вѣроятно, я спалъ; какъ бы то ни было, приподнявъ вѣки, я почувствовалъ себя значительно лучше. Помѣщеніе, гдѣ я былъ, имѣло странный для меня видъ; удивившись и разсмотрѣвъ окружающее, я сталъ припоминать случившееся, вспомнилъ—и весь затрясся отъ ужаса. Я былъ живъ.

У длиннаго стола, примыкающаго однимъ концомъ къ деревянному столбу, сидѣлъ, положивъ голову на руки и пристально слѣдя за мной, человекъ въ затасканномъ матросскомъ костюмѣ; рыжій, какъ пламя, съ блестящими глазами и бѣлымъ лицомъ. Я слѣлъ; кругомъ по стѣнамъ тянулись

въ два яруса штукъ десять матросскихъ коекъ; невдалекѣ круто уходилъ вверхъ, къ люку, узкій трапъ. Желѣзный фонарь, покачиваясь надъ головой матроса, бросалъ вокругъ унылый лижущій свѣтъ. Въ полукруглое отверстіе люка, прикрытаго чѣмъ-то вродѣ суфлерской будки, чернѣла въ синей тмѣ неба пароходная труба. Матросъ всталъ.

— Гдѣ я?

Мой голосъ былъ слабъ и робокъ. Человѣкъ подошелъ вплотную, потрепалъ зачѣмъ-то мои уши и невесело улыбнулся. Казалось, мое спасеніе не доставляло ему ни малѣйшаго удовольствія; зѣвнувъ, онъ сѣлъ противъ койки на скамью, вытянулъ ноги и забарабанилъ по колѣнкамъ мохнатыми пальцами.

— Гдѣ вы?—сказалъ, наконецъ, онъ.—Хотѣлъ бы я знать, гдѣ были бы вы теперь, если бы не были здѣсь. Я выловилъ васъ ведромъ и кошкой. Но вы тяжеленьки: право, я думалъ, что ташу рождественскую свинью. Вотъ послушайте. Я сидѣлъ на бакѣ, въ полномъ одиночествѣ. Наши гуляютъ; въ машинной командѣ дрыхнетъ одинъ кочегаръ; это вѣрно,—но онъ дрыхнетъ. Увидѣвъ трупъ, то есть васъ, я опустилъ на шкотѣ ведро — первое, что попало подѣ руку; вы очень быстро неслись по теченію и надо было уменьшить ходъ. Ведро поймало васъ поперекъ туловища; тогда, привязавъ веревку, я сбѣгалъ за коникой и разорвалъ вамъ костюмъ, но въ результатѣ все-таки вытащилъ. Интересно вы висѣли надъ водой, когда я васъ вытаскивалъ,—какъ ракъ: ноги и усы внизъ, ей-Богу! Поддержитесь!

Опустивъ руку подѣ столъ, онъ вытащилъ откуда-то бутылку водки и ткнулъ ею меня прямо въ лицо. Я отпихнулъ съ чайный стаканъ, задохнулся и разгорѣлся. Драгоценная жизнь забушевала во мнѣ; рассыпавшись въ выраженіяхъ самой горячей признательности и долго, усиленно всматриваясь въ простое лицо этого славнаго малаго, я взялъ въ обѣ руки его волосатую клешню и прослезился. Онъ посмотрѣлъ на меня съ боку; всталъ, исчезъ гдѣ-то въ углу и возвратился съ сукоными брюками, парусиновой блузой и башмаками. Все это было въ одной его рукѣ, въ другой онъ держалъ закуску: тарелку съ яйцами и рыбой.

— Мордашка, — сказалъ онъ, нахлобучивая мнѣ на голову скверный картузь,—надѣнь все это; потомъ мы выпьемъ и слушаемъ твою исторію. Влюбленъ былъ, а?

Изъ ящика, гдѣ мелькомъ я увидѣлъ свертокъ полосатыхъ фуфакъ, горсть раковинъ и трубку, онъ извлекъ еще двѣ бутылки. Водка, повидимому, составляла въ его обиходѣ нѣчто нужное и естественное, какъ, напримеръ, воздухъ или здоровье.

— Люблю моряковъ!—воскликнулъ я.—Бравый они народъ.



— Твоя очередь!—сказалъ онъ, чокаясь со мной круглой жестяной посудиною.—Я этихъ рюмокъ не признаю.

Растроганный еще болѣе, я полѣзъ цѣловаться. Мое положеніе казалось мнѣ дьявольски интереснымъ; я сдвинулъ картузъ на бокъ и разставилъ локти, подражая спасителю.

Онъ говорилъ благодушно и вѣско; черезъ полчаса я жестоко жалѣлъ его, такъ какъ оказалось, что у него есть въ Сингапурѣ возлюбленная, но онъ не можетъ никакъ къ ней попасть, высаживаясь въ разныхъ портахъ по случаю ссоръ и дракъ; большую роль играло также демонстративное неповиновеніе начальству: такимъ образомъ, попадая на суда разныхъ колоній (съ мѣста послѣдней высадки), онъ кружился по земному шару, тратясь на марки и телеграммы къ предмету своей души. Это продолжалось пять лѣтъ и было, повидимому, хроническимъ состояніемъ его любви.

— Монсиньоръ! — сказалъ онъ мнѣ, держа руку на лѣвой сторонѣ груди:—я люблю ее. Она, понимаете ли, гдѣ-то тамъ, въ туманѣ. Но мигъ соединенія настанетъ.

Я выпилъ еще и сталъ рассказывать о себѣ. Мнѣ хотѣлось поразить этого грубаго человѣка кружевной тонкостью своихъ переживаній, острой впечатлительностью моего существа, глубокимъ раздраженіемъ мело ея. отвращающихъ мысль и душу, роковымъ сплетеніемъ обстоятельствъ, красотой и одухотворенностью самыхъ будничныхъ испытаній. Я рассказалъ ему все-все, какъ на исповѣди, хорошимъ литературнымъ слогомъ.

Онъ молча выслушалъ меня, подперевъ щеку ладонью и сверкая глазами; сказалъ: „почему вы не утонули?“—затѣмъ всталъ, ударилъ кулакомъ по столу, поклялся, что застрѣлитъ меня, какъ паршивую собаку (его собственное выраженіе), и отправился за револьверомъ.

Сначала я ничего не понялъ; затѣмъ, видя, что этотъ страшный, неизвѣстно почему оштрафившійся человѣкъ дѣятельно роется въ ящикѣ.—я, изумленный до испуга, бросился вонъ. Выскакивая съ трапа на палубу, я услышалъ, что подо мной внизу изъ всѣхъ силъ бьютъ молоткомъ по дереву. пьяное чудовище стрѣляло по моимъ ногамъ, превращая такимъ образомъ актъ милосердія и спасенія въ дѣло безчеловѣчной травли.

На этомъ рукопись Лебедева и оканчивалась. Изъ устныхъ съ нимъ разговоровъ я узналъ потомъ, что, проживъ остальные деньги, онъ пережилъ все-таки въ заключеніе странную и яркую фантазмагорію.

Дѣло было неподалеку отъ дачъ, въ лѣсу. Золотистый лѣсной день видѣлъ начало пикника, въ которомъ, кромѣ Лебедева, участвовали доступныя женщины, купеческіе сынки и литературные люди въ манишкахъ. Загородная оргія съ кэкъ-уокомъ, эротическими сценами и покаянными слезами окончилась

къ ночи. Всё разбредись, а Лебелевъ или, какъ онъ сталъ самъ называть себя — Гинчъ, въ темнотѣ состояніи мозга занолъ въ кусты, гдѣ проснулся на другой день самымъ раннимъ утромъ, къ восходу солнца.

Сонныя видѣнія мѣшались съ дѣйствительностью. Онъ лежалъ на обрывѣ, край котораго утопалъ въ свѣтломъ утреннемъ туманѣ; вокругъ свѣшивалась зелень вѣтвей; передъ глазами качались травы и лѣсные цвѣты. Гинчъ смотрѣлъ на все это и думалъ о дѣвственной землѣ ледниковой эпохи. — «Первобытный пейзажъ», — пришло ему въ голову. Думая, что грезитъ, онъ закрылъ глаза, боясь проснуться, но снова открылъ ихъ. На обрывѣ, чернѣя фантастическими контурами, шевелилось что то живое, напоминающее одушевленное огородное чучело. У этого существа были длинныя волосы; кряжистое, тяжеловѣсное, оно передвигалось, припадая къ землѣ, а выпрямляясь — пересѣкало небо; тѣнь уюда ползла къ лѣсу.

Выкатилось петербургское солнце, заиграло въ травѣ. Гинчъ думалъ о чудовищѣ, рождающемся изъ нѣдръ земли; первобытнымъ человѣкомъ казалось оно ему, дѣвственнымъ произведеніемъ щедрой земли. Наконецъ, Гинчъ проснулся совсѣмъ, всталъ, озябъ и узналъ окрестность. Недалекъ желтѣли дачныя домики.

Чудовище подошло ближе. Это былъ безногій, съ звѣрскимъ лицомъ, калѣка-пищій, изодраный, голобрюхій и грязный.

— На сотку благословите, баринъ, — сказали отрепья. Гинчъ порылся въ карманахъ — тамъ были всего двѣ копѣйки; онъ отдалъ ихъ и побрелъ къ станціи.

Гинчъ заходилъ ко мнѣ все рѣже и рѣже; ему, видимо, не нравились мои разспросы о нѣкоторыхъ подробностяхъ. Однажды онъ сообщилъ, что прѣзжала Женя и что они разошлись. Я хмыкнулъ, но ничего не сказалъ.

Затѣмъ онъ исчезъ; слыхъ съ болотнымъ туманомъ дымныхъ и суетливыхъ улицъ.

А. С. Гринъ.

## ПИТТЪ и ФОКСЪ.

Романъ Фридриха Хуха. (Съ нѣмецкаго).

(Продолженіе).

На слѣдующее утро Эльфрида проснулась отъ давно знакомаго шороха: Гаральдъ бросалъ ей въ комнату мелкіе камешки. Онъ подождалъ на дворѣ, пока она одѣлась:

— Пойдемъ, я покажу тебѣ, гдѣ вчера копалъ землю! — И непосредственно вслѣдъ за этимъ прибавилъ:—Что это за человѣкъ, этотъ господинъ Питтъ, или какъ его тамъ зовутъ? Какъ онъ попалъ къ намъ въ домъ?

Отвѣтъ Эльфриды не удѣлствовалъ его; онъ настаивалъ, долбилъ одно и то же, вставлялъ остроумныя замѣчанія на ея уклончивыя фразы, и такъ печально взглянулъ на нее, говоря:—Раньше у тебя не было отъ меня никакихъ секретовъ!—что, въ концѣ концовъ, она рассказала ему все.

— Значить, теперь ты любишь меня уже не такъ, какъ прежде?

Она посмотрѣла на него съ изумленіемъ.

— Ты, разумѣется, влюблена въ него.

Она разсердилась и назвала его сумасшедшимъ. Они пришли въ огородъ; Гаральдъ сталъ копать землю, Эльфрида помогала, у обоихъ покраснѣли щеки, и каждый старался перегнать другого.

По усыпанной щепнемъ дорожкѣ карьеромъ неслась собачка и, добѣжавъ, прыгнула къ Гаральду на грудь. Онъ подхватилъ ее обѣими руками, потянулъ за уши и поцѣловалъ прямо въ мордочку.

— Вотъ, не дай Богъ, графиня увидѣла бы!—Подъ графинею подразумевалась Гедвига. Онъ попрежнему не долюбливалъ ея, потому что она вѣчно преслѣдовала его разными замѣчаніями.

Питтъ появился только къ завтраку, когда остальные уже собирались вставать изъ-за стола. Онъ былъ нервень, ночью его мучили тревожные сны и лихорадило.

— Это отъ перемѣны воздуха!—сказала Эльфрида, — ты привыкнешь, это ничего!—и она вторично протянула ему руку, такъ какъ въ первый разъ онъ ея не замѣтилъ.

Послѣ завтрака Питтъ пошелъ съ Эльфридой и Гаральдомъ въ поле.

Онъ смотрѣлъ на залитые солнцемъ луга и холмы, отъ которыхъ ему рѣзало глаза, и думалъ:

— Какъ груба и рѣзка эта такъ называемая природа. И этимъ-то мнѣ предстоитъ любоваться въ теченіе нѣсколькихъ недѣль!

Но на слѣдующую ночь онъ спалъ уже лучше, а черезъ нѣкоторое время такъ привыкъ ко всему, что съ отвращеніемъ думалъ уже о городскихъ домахъ. Правда, одинъ онъ не выжилъ бы здѣсь ни единого дня.

Гаральдъ первое время былъ очень доволенъ. Его опасеніе, что Эльфрида будетъ меньше любить его, не оправдывалось; она позволяла ему присутствовать на ихъ прогулкахъ, и онъ выражалъ свою любовь къ Эльфридѣ и дружбу къ Питту тѣмъ, что постоянно торчалъ съ ними. Иногда принимала участіе въ этихъ прогулкахъ и Гедвига, но тогда всѣ становились неразговорчивы и сумрачны. Противъ Гедвиги Питтъ и Эльфрида уже раньше заключили своего рода союзъ; по крайней мѣрѣ, Эльфрида рассказывала ему все, что происходило между ними дома и имѣло нѣкоторое касательство къ нимъ двоимъ, и радовалась, когда его мнѣніе совпадало съ ея мнѣніемъ. Однако, раньше она не выносила, если онъ самостоятельно начиналъ говорить что-нибудь дурное про Гедвигу; тогда она принималась перечислять достоинства сестры, или просто заявляла, что не желаетъ слышать ничего подобнаго.

Теперь же, когда всѣ отношенія такъ сблизились, когда всякое несогласіе находило гораздо болѣе ясное выраженіе, все это измѣнилось. Гедвига не могла не высказывать своего осужденія по разнаго рода мелкимъ поводамъ, а Эльфрида сейчасъ же придавала ея замѣчаніямъ преувеличенное значеніе, такъ какъ постепенно привыкла слѣпо защищать Питта противъ всѣхъ, и съ самаго начала считала сестру предубѣжденной противъ него.

Питта не задѣвали маленькія колкости Гедвиги; наоборотъ, онъ находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы парировать ихъ, упражняя при этомъ свою притупившуюся отчасти за послѣднее время боевую находчивость. На прогулкахъ съ Эльфридой и Гаральдомъ онъ иногда давалъ себѣ волю и изощрялся въ смѣшныхъ сценахъ и образахъ. На Гаральда это имѣло такое вліяніе, что онъ сталъ уже самостоятельно выступать противъ Гедвиги и старался отвѣчать ей остроумными выходками, въ духѣ Питта. Въ концѣ концовъ, онъ сдѣлалъ себѣ своего рода спортъ изъ этого занятія, и, бывая съ Питтомъ и Эльфридой, не успокаивался до тѣхъ поръ, пока ему не удавалось свести разговоръ на Гедвигу, какъ - будто только это и могло интересоваться ихъ.

Эльфрида часто желала, чтобы онъ ушелъ, ей больше хотѣлось побыть одной съ Питтомъ. Но онъ держался съ такой непринужденной и естественной навязчивостью, что у нея не хватало духу удалить его, и она предпочитала выжидать, не представится ли къ этому какой-нибудь случай.

Однажды она застала Питта одного въ бесѣдкѣ, за старой, толстой книгой, которую онъ привезъ съ собою.

— Ахъ, эта ужасная философія! — сказала она, — я думаю, ты могъ бы читать ее въ городѣ! — И чтобы помѣшать ему, бросила на книгу цвѣтокъ.

Онъ согласился пойти съ ней гулять, потихоньку они отправились садомъ. Эльфрида думала, что имъ уже удалось спастись, какъ вдругъ откуда-то сбоку выбѣжалъ Гаральдъ:

— Графиня! — крикнулъ онъ, — она васъ видѣла и хочетъ идти съ нами, такъ какъ очень хорошая погода. Скорѣе, скорѣе, тогда она насъ не найдетъ!

— Такъ и изъ этой прогулки ничего не вышло! — подумала Эльфрида, не проявляя такой поспѣшности, какую желалъ Гаральдъ.

Они повернули къ пруду, обѣнненному густыми ольховыми кустами. Гаральдъ сталъ бросать въ него плоскіе камешки. Черезъ минуту онъ пригнулся, заползъ въ густой кустъ и усердно закивалъ Питту и Эльфридѣ, чтобы они шли за нимъ. Потомъ осторожно показалъ пальцемъ наверхъ. Тамъ, на темномъ фонѣ парового поля, вырисовываясь на свѣтломъ небѣ, стояла Гедвига въ черномъ платьѣ.

— Какъ затянулась-то — чистая св. кла! — сказала Гаральдъ, стараясь подражать интонаціи Питта.

А Эльфрида прибавила:

— По дѣломъ ей, что мы прячемся отъ нея въ кусты и смѣемся: зачѣмъ она такая противная!

Въ тонѣ ея было столько раздраженія, что Питтъ удивился. Гедвига стояла еще немножко, потомъ медленно удалилась.

Гаральдъ тотчасъ же вылѣзъ изъ куста и сталъ опять бросать камни. Питтъ хотѣлъ послѣдовать за нимъ, но Эльфрида сказала:

— По моему, здѣсь такъ хорошо, давай, повидимъ здѣсь!

Они сидѣли рядомъ, въ густой зелени, и Эльфрида все время беспокоилась, что онъ сейчасъ встанетъ и уйдетъ.

— Чго это, собственно, за кустъ? — спросилъ вдругъ Питтъ.

— Ахъ, я не знаю! — отвѣтила она, и въ голосъ ея прозвучало непонятное раздраженіе, — можетъ быть, ракитникъ... нѣтъ, это орѣшникъ.

Они опять замолчали. Ею овладѣла такая тревога, что она вдругъ вскочила.

— Кажется, мнѣ хочется съ тобой поборотися!

Онъ посмотрѣлъ на нее сначала съ удивленіемъ, потомъ задумчиво, она въ смущеніи выдержала этотъ взглядъ, смахнула волосы со лба и сказала:

— Здѣсь такъ жарко, такъ душно — я больше не могу! — и вышла на дорожку.

— Что случилось?—спросилъ пораженный Гаральдъ и быстро глянулъ назадъ, какъ бы ожидая увидѣть звѣря, котораго раньше не замѣтилъ.—Ты сейчасъ такъ странно посмотрѣла на меня, будто меня здѣсь и нѣтъ!

— Пойдемте домой, я хочу поиграть, а то пальцы у меня стали, какъ желѣзные!—она вытянула пальцы, такъ что они хрустнули.

Гаральдъ заявилъ, что это скучно.

— Такъ оставайтесь вы оба здѣсь,—сказала она, смѣривъ Питта долгимъ взглядомъ,—я и одна найду дорогу.

И, дѣйствительно, пошла одна вверхъ по дорожкѣ. Черезъ минуту она остановилась и посмотрѣла назадъ. Они шли внизу по берегу. Она все ждала, не обернется ли Питтъ, не взглянетъ ли на нее. — Зачѣмъ она это сказала? Зачѣмъ ушла такъ вдругъ! — Она повернулась и снова пошла по дорожкѣ ускоряя шаги, подъ конецъ она уже почти бѣжала.

— Эльфрида,—сказала госпожа ванъ-Тоо, входя въ комнату, — что это ты такъ колотишь! Или это отъ рояля? А гдѣ же Питтъ?

— Пошелъ гулять съ Гаральдомъ! — отвѣтила Эльфрида яснымъ голосомъ, не поднимая глазъ отъ клавишей,—я оставила ихъ однихъ, мнѣ захотѣлось поиграть.—И пальцы ея снова изо всѣхъ силъ ударили по клавишамъ.

— Да что ты играешь? Какъ-будто что-то знакомое, но звучить совѣмъ иначе!

— Я передѣлываю это на маршъ! По моему, выходитъ превосходно!

Госпожа ванъ-Тоо вышла изъ комнаты, и Эльфрида продолжала барабанить. Она играла почти механически. Наконецъ, она вскочила, достала тетрадь съ сонатами и начала упражняться по всѣмъ правиламъ. И всякій разъ, какъ подходилъ трудный пассажъ, она видѣла передъ собою вѣтви кустарника и слышала голосъ Питта.—Что это, собственно, за кустъ?—И чѣмъ больше она стремилась освободиться отъ этой бессмысленной ассоціаціи, тѣмъ настойчивѣе она врѣзывалась въ нее, превращаясь почти въ навязчивую идею.

Нѣсколько времени спустя, ей снятъ помѣшанъ: вошла Гедвига.

— Я хотѣла бы сказать тебѣ кое-что.—Она подождала, чтобы Эльфрида прекратила свою игру.

— Говори, я и такъ слушаю.

Гедвига подождала еще съ минуту, потомъ подошла къ роялю и опустила крышку на клавиши, такъ что Эльфрида едва успѣла принять пальцы. Съ минуту онѣ смотрѣли другъ на друга, какъ два врага.—Эльфрида опять подняла крышку.

— Ну, что тебѣ нужно?

— Что мнѣ нужно? Ты не догадываешься?

— Абсолютно не догадываюсь!—отвѣтила Эльфрида упрямо и съ раздраженіемъ.

— Тогда я тебѣ скажу: если такъ будетъ продолжаться, то я даю тебѣ слово, что этотъ человѣкъ на дняхъ уѣдетъ отсюда!

— Какой человѣкъ?—возбужденно спросила Эльфрида.

— Рѣчь можетъ идти только объ одномъ!

— Ага, такъ! Я думала все таки, что ты будешь говорить въ болѣе приличномъ тонѣ о моемъ другѣ и нашемъ гостѣ!

— Я говорю о людяхъ такъ, какъ они того заслуживаютъ. Этотъ господинъ Синтрупъ не обладаетъ умѣніемъ нравиться,—это бы еще ничего! Но онъ сѣетъ раздоръ между всѣми нами. О его поведеніи по отношенію ко мнѣ я умолчу, оно никогда не было тактичнымъ; но онъ заразилъ и другихъ.

— Кто же эти другіе?

— Ты и Гаральдъ! Вѣдь, можно подумать, что вы заключили противъ меня союзъ, всѣ возстаютъ противъ меня только потому, что я говорю правду; плохо скрытые косые взгляды, подавленные смѣшки—вы думаете, что я всего этого не вижу! Я только дѣлаю видъ, что ничего не замѣчаю, потому что больше умѣю вести себя, чѣмъ вы. Я стараюсь затушевать, прикрыть, не изъ деликатности къ вамъ, а изъ жалости къ нашей матери, отъ которой я желала бы устранить всѣ непріятности. Но вы становитесь положительно грубыми! Я хотѣла сгладить сегодняшнюю утреннюю размолвку за завтракомъ, хотѣла пойти съ вами погулять: Гаральдъ видитъ меня въ саду, поворачивается и убѣгаетъ отъ меня. Я еще разъ беру себя въ руки и иду за вами внизъ къ пруду, вы прячетесь отъ меня въ кусты, какъ школьники, и остриете надо мною. И «господинъ Питтъ»—зачинщикъ!

— Это неправда!—воскликнула Эльфрида.—Гаральдъ первый залѣзъ въ кусты!

— Тѣмъ хуже! Вотъ до чего вы довели его въ короткое время. Гаральдъ прежде былъ совсѣмъ другимъ, иногда онъ бывалъ шаловливъ, но всегда былъ простъ и естественъ. Теперь же онъ все время ищетъ ссоры со мною, а въ его отвѣтахъ появился духъ—если только можно это назвать такъ—духъ, совершенно ему чуждый. Вчера я въ шутку назвала его гулякой, беззаботной птицей, онъ хочетъ отвѣтить, и я вижу, что ему ничего не приходится въ голову. Сегодня утромъ онъ вдругъ ни къ селу, ни къ городу бросаетъ мнѣ слова: „поймавныя птицы всегда бранятъ вольныхъ“. Ты думаешь, я не знаю, откуда у него такой отвѣтъ? Станетъ Гаральдъ острить самъ по себѣ? Да еще вдобавокъ такимъ плоскимъ и глупымъ образомъ? Его прямо портятъ!

— Питтъ никогда не бываетъ ни глупымъ, ни плоскимъ!—воскликнула Эльфрида.

— Въ твоихъ устахъ эти слова меня не удивляютъ. Ты думаешь, я не вижу, насколько ты находишься подъ его вліяніемъ? Я говорю не по отношенію къ себѣ, а вообще. Ты говоришь вещи, которыхъ раньше ни за что бы не сказала, ты слѣпо восхищаешься имъ, находишь интересными его пошлости, ты становишься похожей на него даже въ движеніяхъ—вотъ, ты сейчасъ подняла палецъ, чтобы прервать меня! Совсѣмъ его манера, его поведеніе! Онъ человѣкъ неинтересный до мозга костей, и съ существованіемъ его можно было бы примириться, если бы онъ искупалъ его безупречнымъ поведеніемъ.

Эльфрида поблѣднѣла, и губы ея задрожали.

— Все, что ты говоришь,—воскликну а она,—ты говоришь только отъ зависти. Тебѣ завидно, что у меня есть человѣкъ, котораго я люблю, и который любитъ меня. Но теперь довольно! Ступай прочь! — Эльфрида рѣзко повернулась къ ней, глаза ея горѣли.

— Я уйду, когда захочу, я здѣсь столько же въ своемъ домѣ, сколько и въ твоёмъ. Запомни, что я тебѣ сказала, ты предупреждена!—Гедвига прошла мимо нея и безшумно затворила за собою дверь.

Пальцы Эльфриды сейчасъ же забѣгали по клавишамъ. Гедвига должна была понять, что ей совершенно безразлично то, что она ей говорила. А Питтъ, тотъ просто раземѣтся, когда она ему расскажетъ.

Гедвига вернулась въ свою комнату. Самое главное она позабыла сказать: какая же разница между тѣмъ, чтобы любить и быть влюбленнымъ? Развѣ Эльфрида, въ сущности, не призналась, что влюблена въ этого Питта? Она пошла къ матери и сообщила ей обо всемъ происшедшемъ.

— Я не предвижу ничего хорошаго для Эльфриды, если онъ пробудетъ еще долго, — заключила она. — Мы не можемъ, конечно, отправить его такъ сразу, это было бы противно хорошему тону и правиламъ гостепріимства, но я считаю, что онъ долженъ пробыть ровно столько, сколько безусловно необходимо, ни одного дня больше. Допустимъ, что Эльфрида въ него до сихъ поръ еще не влюбилась—разница въ такихъ случаяхъ иногда бываетъ неувловимой—но опасность этого кажется мнѣ весьма близкой.

— Во всякомъ случаѣ,—замѣтила госпожа ванъ-Лео,—«опасность», какъ ты это называешь, только увеличится, если стараться вліять на нее, ставить ей преграды. А что касается до самаго этого Питта, то—насколько я его понимаю—его влеченіе къ Эльфридѣ никогда не перейдетъ за границы простой дружбы.

Гедвига не согласилась съ матерью и напомнила о томъ, какимъ способомъ



Питтъ завязалъ знакомство съ Эльфридой; уже это одно могло послужить достаточнымъ указаніемъ.

— Двѣ вѣщи, — выразила госпожа ванъ-Лео, — могутъ быть похожи до того, что ихъ легко смѣшать, и все таки оставаться совершенно различными.

Гедвига покачала плечами и вышла.

А Питтъ тѣмъ временемъ пришелъ домой и обдумалъ все. Ему было досадно, что онъ отпустилъ Эльфриду одну. Теперь ему вдругъ сразу стало ясно то, о чемъ онъ до сихъ поръ только догадывался: Эльфрида любитъ его. Это сознаніе наполнило его тихой радостью, собственное его чувство къ ней представилось ему вдругъ яснымъ, твердымъ, прочнымъ. Иногда онъ путался въ самомъ себѣ, думая о томъ, что ни разу онъ не испыталъ никакой тревоги за нее, что ея существованіе казалось ему такимъ же естественнымъ, какъ и его собственное, хотя выпадали часы, когда онъ долженъ былъ вспоминать объ этомъ существованіи, какъ и о своемъ собственномъ, о которомъ временами совершенно забывалъ. Но развѣ къ любви всегда должна непременно примѣшиваться какая-нибудь горечь, сомнѣнія, волненія? Онъ чувствовалъ себя прекрасно въ этомъ состояніи, а теперь даже и еще лучше, такъ оно казалось ему безвѣстнымъ надолго.

Эльфрида рассказала ему о разговорѣ съ сестрой, и пока она говорила, онъ смотрѣлъ на нее такимъ тихимъ взглядомъ, что она смущенно отвела отъ него глаза.

Онъ взялъ ее за руку и сказалъ:

— Неужели мы будемъ портить изъ-за такой глупости прекрасное время, которое можетъ быть, никогда больше не вернется?

Слова эти долго преслѣдовали ее. Она чувствовала, что между нимъ и ею установилось болѣе глубокое пониманіе, чѣмъ до тѣхъ поръ.

Гаральдъ не такъ легко согласился на новое отношеніе къ Гедвигѣ. Она поймала его, когда онъ, пасивыгая, проходилъ мимо нея. Онъ пришелъ, весь красный, къ Питту и Эльфридѣ, рассказать имъ все и прибавилъ тономъ предводителя разбойничьей шайки:

— Надо что-нибудь предпринять противъ нея!

Когда же они не выразили желанія помочь ему, онъ протянулъ съ изумленіемъ:

— Почему это у васъ обонхъ такія довольныя лица? Я нахожу, что это ужасно глупо! — Одинъ я тоже ничего не стаку затѣвать противъ нея! — прибавилъ онъ послѣ нѣкоторой паузы въ качествѣ предупрежденія, чтобы они одумались. Потомъ, разочарованный, ушелъ отъ нихъ.

— Даже „графиня“ ее нельзя болѣе называть, она находитъ, что это безсердечно! Желалъ бы я знать, что тутъ безсердечнаго!

Паступили болѣе спокойные дни. Питтъ и Эльфрида почти все

время были вмѣстѣ. Они казались добрыми товарищами. Гедвига могла бы слышать всѣ ихъ слова и не имѣла бы ни малѣйшаго повода къ порицанію. За первыми, смутными гласными къ чувствѣ Эльфриды, видимо, не должно было послѣдовать второго.

Только теперь, оставаясь вдвоемъ съ Питтомъ, она иногда брала молча его руку; онъ поднимался, хотя это и не особенно ему нравилось, такъ какъ напоминало супружескія пары. Но въ концѣ ихъ разговоровъ неизменно случалось, что она замолкала и отвѣчала односложно. Тогда его охватывало непріятное чувство, и онъ начиналъ говорить о самыхъ отдаленныхъ предметахъ, и она на половину противъ воли поддерживала новый разговоръ до тѣхъ поръ, пока, въ концѣ концовъ, опять не замолкала. Наконецъ, подъ какимъ-нибудь предлогомъ онъ освобождался отъ ея руки, такъ какъ такое близкое соседство стѣсняло его движенія, ускоряло шагъ, и случалось такъ, что она шла чуть ли не совсѣмъ позади него. Она не понимала его и начинала страдать.

— Мнѣ хотѣлось бы сегодня погулять одному!—иногда говорилъ онъ. Она не отвѣчала, но въ глазахъ ея выражалась такая печаль, что онъ сейчасъ же прибавлялъ:

— А то я могу пойти одинъ и завтра.

Они шли вмѣстѣ. И опять онъ говорилъ, опять она отвѣчала, но постепенно оказывалось, что она даже на короткое время не могла сосредоточить своихъ мыслей на томъ, что не имѣло непосредственнаго отношенія къ нему или къ ней самой.

Уже съ утра, когда она съ нимъ здоровалась, въ глазахъ ея было теперь выраженіе, которое за послѣднее время складывалось въ нихъ только постепенно въ теченіе дня, послѣ того, какъ, часто безсознательно для себя самой, она переживала нѣкоторыя разочарованія. Въ присутствіи другихъ она инстинктивно сдерживалась. Но госпожа ванъ-Тоо все таки замѣтила происшедшую въ ней перемену.

Непринужденный тонъ все болѣе и болѣе исчезалъ между Питтомъ и Эльфридой.

— Что это? Что съ нимъ?—думала она, замѣтивъ, что онъ началъ избѣгать ее.

А онъ, въ свою очередь, думалъ:

— Эльфрида была раньше совсѣмъ другой!

Онъ все еще воображалъ, что любить ее, и что она только иначе понимаетъ любовь, чѣмъ онъ. И такъ какъ онъ не хотѣлъ ее обидѣть, а только дѣлать попытки относиться къ ней такъ же, какъ она относилась къ нему, то часто въ манерѣ его проекальзывалъ диссонансъ, недобровольная нескрѣпенность по отношенію къ ней и къ себѣ самому. Онъ бралъ ея руку и

гладилъ ее, Эльфрида на минуту вся отдавалась своему чувству и думала: все будетъ хорошо,—причемъ не представляла себѣ ничего опредѣленнаго— а потомъ онъ вдругъ уходилъ отъ нея, говоря, что ему нужно писать отцу. Это было всего печальнѣе. Писать отцу? Что же онъ можетъ писать своему отцу?

Постепенно онъ самъ началъ чувствовать то, чего не хотѣлъ чувствовать, но что проступало все съ большей ясностью: онъ убѣждался, что любовь его къ Эльфридѣ совсѣмъ не такова, какъ ея любовь къ нему. И въ то же время онъ съ безпощадной ясностью сознавалъ, что самое лучшее ему больше не оставаться здѣсь. Потомъ, когда они опять будутъ въ городѣ, Эльфрида, навѣрное, сумѣетъ найти прежній тонъ. Или все таки еще остаться? Можетъ быть, волна захватитъ и его?—Смѣны такихъ настроеній казались ей непонятными: то онъ былъ съ нею, то вдругъ уходилъ опять.

— Почему ты сталъ вставать такъ страшно поздно? — спросила она однажды, — время и безъ того пройдетъ такъ скоро, что мы не успѣемъ оглянуться.

Онъ солгалъ, что это ему необходимо, потому что съ вечера онъ долго не можетъ заснуть.

— И ты тоже?—спросила она, и онъ пожалѣлъ, что сказалъ это. Дѣйствительная же причина была совсѣмъ другая: онъ хотѣлъ сократить длинный день и утромъ не спать, а читать въ постели. Онъ выходилъ все позже, одинъ разъ опоздалъ даже къ обѣду, такъ что госпожа ванъ-Лоо, въ сущности, очень довольная, что Эльфрида по утрамъ предоставлена самой себѣ, добродушно замѣтила ему:

— Такими прогрессивными опаздываніями, вы, господинъ Питтъ, достигнете того, что со временемъ попадете опять какъ разъ къ утреннему кофе.

Эльфрида сейчасъ же послѣ завтрака играла нѣсколько часовъ подрядъ. Ей не нужно было приневоливать себя къ этому, наоборотъ, такимъ путемъ она всего лучше убивала время, когда домъ казался ей пустымъ, и она, не занимаясь ничѣмъ, преисполненная внутренней тревоги, прислушивалась ко всѣмъ шагамъ и смотрѣла на дверь.

Гаральдъ и Гедвига помирились и подружились. Эльфрида не занималась имъ, какъ раньше, а ему нужно было имѣть кого-нибудь, кто бы имъ занимался. Они вмѣстѣ катались верхомъ, онъ восхищался ея посадкой и изяществомъ, съ какимъ она скакала черезъ канавы. Величайшей честью для него сдѣлалось теперь получить отъ нея похвалу, на которая она была чрезвычайно скупа. Стянутая талія, надъ которой онъ сначала потѣшался, теперь представлялась ему въ совершенно иномъ свѣтѣ: она была „абсолютно необходима“ для изящной наѣздицы, какъ онъ выразился однажды за столомъ. Оба они возвращались свѣжіе и розовые со своихъ поѣздокъ.

— Отчего ты никогда не поѣдешь съ ними?—спросила госпожа ванъ-Лоо Эльфриду. — Ты очень блѣдна и мало бываешь на свѣжемъ воздухѣ твои экзерсисы становятся все несноснѣе.

Но Эльфрида постоянно находила отговорки, пока мать однажды утромъ не приказала осѣдлатъ ей лошадь. Волей-неволей пришлось ей поѣхать. Вначалѣ она была довольно весела, потомъ постепенно затихала, и, наконецъ, когда они проѣхали лѣсъ, и она не могла видѣть дома, ее охватило страшное безпокойство, она отставала отъ Гедвиги и Гаральда и успокоилась только тогда, когда снова увидѣла издали бѣлыя стѣны дома. Напрягая зрѣніе, она пересчитала всѣ окна, и взглядъ ея въ теченіе всего обратнаго пути былъ прикованъ къ одному окну.

— Это слишкомъ утомляетъ меня,—сказала она, сходя съ лошади, и почти упала на руки матери.—Въ первый разъ, — прибавила, пересиливъ себя,—это всегда скорѣе работа, чѣмъ удовольствіе; завтра я опять поѣду.

Но она больше не поѣхала, а сидѣла за роялемъ и вздрагивала, когда растворялась дверь. Находясь одна съ другими, она была безмолвна и угнетена; стоило войти въ комнату Питту, она становилась оживленнѣе; она всегда была рядомъ съ нимъ, какъ-будто это разумѣлось само собой, часто отвѣчала ему не впопадъ, и голосъ ея звучалъ тускло и хрипло. Въ концѣ концовъ, она не могла даже играть, все, казалось, утратило всякій смыслъ.

Госпожа ванъ-Лоо осторожно старалась подойти къ ней. Но не успѣла она произнести первыхъ словъ, какъ Эльфрида разразилась гнѣвомъ: это ужасно, что ни къ кому нельзя питать дружбы, до сихъ поръ она думала, что мать ея, по крайней мѣрѣ, думаетъ просто и естественно, но, оказывается, Гедвига заразила и ее!—Я думаю, я лучше всѣхъ знаю, что я чувствую!

— Значить, еще рано,—подумала госпожа ванъ-Лоо и рѣшила подождать.

Слѣдующіе дни Эльфрида держала себя въ рукахъ, но медленно, помимо ея воли, и несмотря на всѣ ея усилія, прежнее настроеніе опять охватило ее.

Она избѣгала теперь всякаго прикосновенія къ Питту; когда по утрамъ онъ подавалъ ей руку, она чуть дотрагивалась до нея.

Гаральдъ замѣтилъ грусть Эльфриды, заставъ ее какъ-то одну въ комнатѣ.

— Вы поссорились?—спросилъ онъ Питта,—Эльфрида такая печальная.

— Да,—отвѣтилъ Питтъ,—Эльфрида печальна, и мнѣ это очень грустно,—Слова эти сами собой сошли съ его губъ, когда Гаральдъ заговорилъ съ нимъ такъ просто и тепло.

Гаральдъ сейчасъ же передалъ этотъ разговоръ Эльфридѣ:

— Помирись же съ нимъ, Питтъ такъ ужасно груститъ!

Эльфрида съ трудомъ удержалась отъ слезъ. Но слова Гаральда принесли ей отраду, и надежда снова вернулась въ ея сердце. При первой же

встрѣчѣ съ Питтомъ, она ждала, что онъ скажетъ ей то же, что и Гаральду: но онъ держалъ себя такъ, какъ-будто никакого разговора и не было или онъ уже успѣлъ забыть его.

Все таки на некоторое время она стала весѣе, такъ какъ думала: „по крайней мѣрѣ, я теперь знаю, хоть онъ и не самъ, сказалъ мнѣ“. Но не долго продолжалось это настроеніе: достаточно было одного слова Питта, чтобы мгновенно вызвать перемѣну въ ея чувствахъ. Малѣйшее измѣненіе его лица повергало ее въ радость или въ печаль. Когда онъ сходилъ къ столу, она съ тревогой слѣдила, взглянетъ ли онъ сначала на нее, или слѣдуетъ общій поклонъ; въ разговорѣ, если ей случалось самой сказать что-нибудь, она смотрѣла на него, не вызывая ли звукъ ея голоса какого-нибудь движенія въ его лицѣ: когда вставали изъ-за стола, она слѣдила за тѣмъ, куда онъ идетъ, возьметъ ли равнодушно какой-нибудь предметъ, или подойдетъ къ ней. Во время общихъ прогулокъ она старалась проникнуть въ его мысли, если онъ идетъ вперед. Она боролась съ собой, но противъ ея воли шаги ея ускорялись, пока она не оказывалась рядомъ съ нимъ. Когда, по вечерамъ, послѣ чая, все сидѣли въ комнатахъ, и Гедвига разсказывала о балахъ, скачкахъ и раутахъ, или вообще кто-нибудь говорилъ долго, мысли ея сейчасъ же уклонялись въ сторону, глаза искали его глазъ, не установится ли между ними тайнаго пониманія, которое соединитъ ихъ въ счастливой тиши, за предѣлами разсказа,—и если онъ, въ такихъ случаяхъ, взглядывалъ на нее, такъ какъ чувствовалъ, что она жаждетъ какого-нибудь знака съ его стороны, волненіе ея нѣсколько стихало.

Питту такое состояніе стало невыносимо. Ему казалось, что онъ потерялъ свободу, онъ сталъ испытывать къ Эльфридѣ почти вражду. Характеръ ея сталъ представляться ему надломленнымъ и чуждымъ и грозилъ утратить для него всякое очарованіе.

Соображеніе, что все это происходитъ изъ-за него, нисколько не примиряло его. Онъ снова намѣревался уѣхать, но уже при одной мысли объ этомъ въ душѣ его вставалъ образъ Эльфриды, такой, какимъ онъ раньше былъ и какимъ онъ его любилъ. Въ немъ начался разладъ, онъ не зналъ, что ему дѣлать. Но, наконецъ, заставилъ себя принять рѣшеніе:

— Я завтра уѣзжаю!

— Ты уѣзжаешь завтра?—Эльфрида поблѣднѣла.—Развѣ тебѣ совершенно безразлично, здѣсь ли ты, или въ другомъ мѣстѣ?

Питтъ смотрѣлъ въ пространство, и глаза его стали влажны.

— Вотъ, видишь, ты самъ серьезно этого не думаешь.—Она стояла передъ нимъ, подняла быдо руку, но сейчасъ же опустила ее.—Или тебѣ, дѣйствительно, все равно?—Она умоляюще заглянула ему въ глаза.

Онъ точно очнулся отъ какого-то сна. Взглянулъ ей въ лицо, нерѣшительно, съ сомнѣніемъ, въ раздумьи, и остался.

Но ея присутствіе все больше и больше стѣсняло и угнетало его, онъ началъ избѣгать оставаться съ нею наединѣ, и большую часть времени проводить съ Гаральдомъ, съ которымъ занимался послѣ обѣда. Гаральдъ говорить, что математика плохо ему дается, и что, вообще, это безумно глупая наука. Теперь, подъ руководствомъ Питта, она вдругъ стала ему ближе и интереснѣе. Питтъ сумѣлъ сдѣлать изъ математики искусство, построенное на простѣйшихъ правилахъ. Вещи, раньше казавшіяся Гаральду непосильными, превращались, подъ дѣйствіемъ словъ и описаній Питта, въ самыя понятныя и очевидныя непреложности. Было даже увлекательно карбась по этимъ пятимъ балкамъ и доскамъ, строить новые мосты и плотины, а если иногда случалось легкомысленно или необдуманно упасть, то паденіе не причиняло боли, просто вставали, какъ-будто и не падали, и въ слѣдующій разъ дѣйствовали осторожнѣе.

— Питтъ совсѣмъ не такой, какъ другіе люди!—сказалъ однажды Гаральдъ матери—его совсѣмъ не стыдно. Если я скажу какую-нибудь глупость, то всегда выходить такъ, какъ-будто это онъ сказалъ ее, а ужъ потомъ сообразилъ, что нужно. Онъ говоритъ все такъ ясно и просто во время уроковъ, а потомъ, когда мы болтаемъ, мнѣ приходится иной разъ пробираться сквозь его слова, какъ сквозь густой кустарникъ, пока я доберусь до ихъ смысла.

Разъ подъ вечеръ, когда они опять долго занимались, вошла Эльфрида. Она почти не видѣла Питта въ этотъ день, и больше не могла выдержать своего состоянія. Она умоляюще смотрѣла на него и просила пойти съ нею внизъ: она нашла въ ногахъ красивую старинную пьесу, которую когда-то играла ему, и она ему очень понравилась. Въ ту минуту, какъ она растворила дверь, въ комнатѣ хлопнуло окно. Послѣ удушливой жары, стоявшей днемъ, поднялся вѣтеръ, собиралась гроза. Питтъ сказалъ, чтобы она шла впередъ, онъ только поднимется къ себѣ затворить окно.—Она подумала: это можетъ сдѣлать и прислуга!—но ничего не отвѣтила и молча отправилась къ роялю, раскрыла ноты и сѣла на табуретку, прислушиваясь къ шагамъ на лѣстницѣ. Потомъ начала брать аккорды, безъ связи, а просто такъ, чтобы сократить время ожиданія. Но Питтъ не шелъ. Прошло еще четверть часа, наконецъ, она встала. Снова прислушалась. Въ концѣ концовъ, она медленно поднялась по лѣстницѣ, къ его двери, поколебалась съ минуту, потомъ отворила, въ полной увѣренности, что Питта нѣтъ въ комнатѣ, и неподвижно и вопросительно остановилась на порогѣ.

Питтъ сидѣлъ у окна, опершись головой на лѣвую руку, и рисовалъ какія-то фигуры. Она увидѣла это, какъ живую картину, мелькнувшую передъ

нею лишь на одно мгновеніе, такъ какъ въ слѣдующее же онъ повернулъ къ ней голову и тоже вопросительно и неподвижно взглянулъ на нее.

— Ахъ, да!—воскликнулъ онъ, вскакивая, — а я и позабылъ совсѣмъ! Мнѣ какъ разъ пришло въ голову очень простое доказательство для Гаральда, совсѣмъ новое, я самъ его придумалъ и дѣлалъ для него чертежъ.

Она затворила за собою дверь и подошла ближе. Она смотрѣла на него такъ странно и серьезно, что онъ понялъ: сейчасъ все рѣшится.

Нервное безпокойство охватило его, онъ хотѣлъ пройти мимо нея, но остановился на полдорогѣ.

— Да что съ тобой?—спросилъ онъ, только чтобы сказать что-нибудь, хотя и зная, что именно этотъ вопросъ худшій изъ всѣхъ.

Она все еще не отвѣчала и не отрывала отъ него печальныхъ глазъ. Она хотѣла заговорить и не могла. Чувствуя, что онъ долженъ сдѣлать что-то, чего она ждетъ, чего страстно желаетъ, онъ тихонько обнялъ ее одной рукой и привлекъ къ себѣ. Тогда изъ глазъ ея хлынули слезы.

— О, какъ ты меня мучаешь!—казалось, слова эти наполняли комнату послѣ того, какъ звукъ ихъ давно уже замеръ.

— О, какъ ты меня мучаешь!—повторила она медленно, съ еще большей страстностью, и онъ почувствовалъ, какъ тѣло ея вздрагиваетъ отъ сдерживаемыхъ рыданій. Руки ея, обвинявшія его шею, сомкнулись тѣснѣе, какъ-будто не хотѣли никогда его выпускать. Она закрыла глаза, забыла все и сознавала только, что держитъ его въ своихъ объятіяхъ.

Въ головѣ его безпорядочно проносились самыя различныя мысли. Въ первый разъ онъ почувствовалъ тѣсную близость ея тѣла, въ первый разъ со всею яркостью ощутилъ то, что до сихъ поръ только видѣлъ глазами и слышалъ ушами. И тутъ же въ первый разъ со всей силою почувствовалъ разницу между своимъ и ея чувствомъ, испуганно, подавленно, какъ и раньше, но только гораздо сильнѣе. Отдѣльные моменты въ ихъ прежнихъ отношеніяхъ всплывали въ его душѣ и снова исчезали, не приковавъ къ себѣ ни одной цѣльной мысли. Они возникали и пропадали, какъ картины, на которыя смотришь лишь въ качествѣ зрителя, со стороны. Потомъ всплыли совсѣмъ раннія впечатлѣнія, пейзажи, видѣнные имъ въ дѣтствѣ и исчезнувшіе изъ воспоминанія. Они тоже исчезли, частая, тонкая сѣтка поплыла передъ его глазами, мелькнули какія-то переплетенныя, нѣжныя трубочки; изъ нихъ выскакивали маленькія круглыя почки — почти въ полуснѣ онъ подумалъ. — «Это мысли, образующіяся въ мозгу» — потомъ снова вернулся къ дѣйствительности и почувствовалъ прикосновеніе тѣла Эльфриды.

Снаружи вѣтеръ нагонялъ потоки дождя на оконныя стекла, Эльфрида по прежнему ничего не говорила, она ждала отъ него слова, которое осло-

бодило бы ее отъ тяжести, она все еще не ходѣла видѣть того, что уже было ясно ей душѣ.

Ему молчаніе это было ужасно, такъ ужасно, что онъ долженъ былъ во что бы то ни стало прервать его. Уже на половину очнувшись отъ своей мечты, она окончательно пришла въ себя, когда онъ, вдругъ, спросилъ:

— Что же, ты сыграешь мнѣ твою пьесу?

— Сейчасъ?—спросила она, не понимая, широко раскрывъ глаза.

Онъ промолчалъ.

— Что же теперь будетъ?—беззвучно спросила она, постѣ долгой паузы.

— Я уѣду.

Вся кровь хлынула къ ея сердцу.

— Нѣтъ, не смѣй!—быстро воскликнула она,—ты долженъ оставаться здѣсь.

Еще часъ тому назадъ ей казалось невыносимымъ продолжать жить съ нимъ въ одномъ домѣ; теперь же, когда онъ произнесъ слово разлуки, все ея чувство возстало противъ него. Она чувствовала себя освобожденной отъ самой большой тяжести: онъ зналъ, что она его любитъ, и, стало быть, все таки есть нѣчто, связывающее ихъ души.

— Пойдемъ!—сказалъ онъ.

Она пристально смотрѣла на сукно его рукава, находившагося прямо передъ ея глазами, и чувствовала, что Питтъ хочетъ высвободиться отъ ея объятія, хотя онъ, какъ и раньше, стоялъ неподвижно. Она обманывала себя надеждой, что въ эту минуту онъ всецѣло принадлежитъ ей, такъ какъ знала, что эта минута больше не повторится. Она подняла голову и заглянула ему съ страстной мольбой въ глаза.

— Пойдемъ!—смущенно повторилъ онъ, и она почувствовала его осторожное, отстраняющее движеніе.

Внезапнымъ, рѣзкимъ толчкомъ она освободилась отъ его руки. На минуту глаза ея устремились на него съ другимъ выраженіемъ, какъ-будто она что-то хотѣла сказать, но она промолчала, прошла мимо него и вышла изъ комнаты.

Питтъ остался одинъ въ какомъ-то глухомъ оцѣпенѣніи. Наружи дождь барабанилъ въ стекла, онъ сталъ смотрѣть на открывавшійся передъ нимъ видъ и чувствовалъ себя покинутымъ, отверженнымъ, безпріютнымъ. Сегодня вечеромъ, какъ только госпожа ванъ-Лоо будетъ одна, онъ скажетъ ей, что уѣзжаетъ.

Госпожа ванъ-Лоо встрѣтила Эльфриду на лѣстницѣ. Эльфрида отвернулась. Въ первую минуту мать хотѣла остановиться, такъ сильно измѣ-



нившейся показалась ей Эльфрида. Но потомъ она сдѣлала видъ, будто ничего не замѣтила, и медленно поднялась мимо нея навстрѣчу.

Эльфрида прошла къ себѣ въ комнату, а когда госпожа ванъ-Лоо передъ ужиномъ постучалась въ ея запертую дверь, она сказала, что ей нездоровится, она уже легла и никого не хочетъ впускать къ себѣ.

— Даже и меня?

— Даже и тебя.—Эльфрида прислушалась; легкій шелковый шелестъ медленно удалялся отъ двери.

— У Эльфриды болитъ голова!—сказала госпожа ванъ-Лоо тономъ, одинаково относящимся ко всемъ.—Она унаследовала это отъ меня, съ тою только разницей, что у меня все тѣло болитъ передъ грозой, а у нея послѣ.

Питтъ былъ серьезенъ и молчаливъ. Гедвига подозрѣвала болѣе глубокую связь между нездоровьемъ Эльфриды и этой серьезностью и старалась столковаться съ матерью глазами. Но госпожа ванъ-Лоо приворялась, будто не видитъ этого. Планъ ея уже былъ составленъ.

— Какой страшный дождь!—сказала она, когда все встали изъ-за стола и перешли въ гостиную.—Право, мнѣ кажется, что не мѣшало бы проглотить.—Она позвала лакея, и скоро въ каминѣ затрещалъ веселый огонекъ.—Единственное, что остается въ такомъ непривѣтливомъ климатѣ,—продолжала она,—это устроиться по возможности уютно и любоваться другими странами, гдѣ лучше, чѣмъ у насъ.—Она велѣла Гаральду принести большую папку съ пожелтѣвшими фотографіями.—Это Батавія!—сказала она,—а вотъ наша дача. Ахъ, Боже мой, какія пальмы, какое небо!

Питтъ разсѣянно смотрѣлъ въ папку, на вытянувшіеся въ одну линію одноэтажные бѣлые дома, на гигантскіе, свисающіе листья, изъ которыхъ каждый въ отдѣльности былъ больше стоявшихъ подъ ними людей въ бѣлыхъ костюмахъ и большихъ соломенныхъ шляпахъ, или почти раздѣтыхъ, съ еле прикрытой темной кожей. Среди фотографій былъ и портретъ госпожи ванъ-Лоо. Въ пышномъ бѣломъ платьѣ, она сидѣла подъ экзотическимъ кустарникомъ, усыяннымъ крупными цвѣтами. Какая, должно быть, она была красавица!

Но Гаральда это не интересовало, онъ видѣлъ эти фотографіи каждое лѣто.

— Принеси коричневую папку съ верхней полки!—сказала ему мать.—тамъ найдется кое-что, чего ты не знаешь, это коллекція, которую твой отецъ привезъ изъ Италіи.

Гаральдъ принесъ папку и сталъ разсматривать фотографіи Испанскіе купола смѣнялись стройными башнями, богатые дворцы—домиками съ толстыми стѣнами и маленькими окошками, точно выросавшими изъ земли.

а за ними заостренными факелами вздымались къ небу черныя купы деревьевъ. Мальчикъ пришелъ въ восторгъ.

— Ты бы хотѣлъ попасть въ Италію?— спросила госпожа ванъ-Лоо.

Гаральдъ былъ пораженъ. Когда его мать задавала такой вопросъ, за нимъ всякій разъ скрывался какой-нибудь подарокъ.

— Я бы съ удовольствіемъ отправила тебя когда-нибудь въ Италію,— продолжала она.—это было бы полезно для твоего образованія.—онъ бросился къ ея ногамъ и обнялъ ея колѣни.—Но надо подождать, пока ты станешь постарше, чтобы я могла спокойно отпустить тебя одного.

— Ахъ, вотъ какъ!—разочарованно протянулъ онъ,—я думалъ, ты хочешь сейчасъ!

— Сейчасъ,—возразила она,—едва ли представится случай, потому что я не думаю, что бы кто-нибудь захотѣлъ ѣхать съ такимъ сорванцомъ.

Гаральдъ съ минуту стоялъ, задумавшись. Онъ соображалъ, нѣтъ-ли кого-нибудь, съ кѣмъ бы онъ самъ поѣхалъ съ удовольствіемъ.

— Питтъ!—сказалъ онъ вдругъ и посмотрѣлъ на него, какъ-будто тотъ только что свалился съ неба.

— Онъ, навѣрно, откажется и предпочтетъ остаться здѣсь, гдѣ ему гораздо пріятнѣе.—Съ этими словами госпожа ванъ-Лоо откинулась на спинку дивана и замолкла. Остальное пусть сдѣлаетъ Гаральдъ.

Пока она говорила, Питтъ понялъ, чего она хочетъ. Какъ ни искренно и ни сердечно было ея предложеніе—онъ, ни минуты не колеблясь, рѣшилъ отказаться.

— Я долженъ ѣхать домой,—сказалъ онъ, и голосъ его былъ равнодушенъ и спокоенъ, какъ взглядъ его глазъ,—я получилъ сегодня утромъ письмо отъ отца; онъ пишетъ, что мать опасно заболѣла.

— Это неправда!—воскликнулъ Гаральдъ.

— Развѣ я сказалъ бы, еслибъ это было неправдой?—возразилъ Питтъ и посмотрѣлъ на него такъ твердо и увѣренно, что Гаральдъ окончательно растерялся.—Всѣ чудесныя планы разстроились такъ же быстро, какъ и возникли.

На слѣдующее утро Эльфрида въ обычное время сошла къ завтраку, блѣдная и спокойная. Она справилась съ собой и рѣшила никому не дать ничего замѣтить. Вошелъ Питтъ, сердце ея замерло, но она взяла его руку, не измѣнившись въ лицѣ, только не взглянула на него. Узнавъ, что онъ уѣзжаетъ, она опустила глаза на скатерть у своего прибора; одну минуту у нея было такое выраженіе, какъ-будто она хотѣла удержать что-то, уже на половину обрвавшееся и грозившее исчезнуть во мракъ,—потомъ схоронила все въ себѣ. Сейчасъ же послѣ завтрака она опять ушла въ свою комнату. Питтъ уѣхалъ, не повидавшись съ ней.

Долго держалъ онъ руку госпожи ванъ-Лео, потомъ, наконецъ, поцѣловалъ ее, преисполненный грусти и благодарности.

Коляска посетилась, госпожа ванъ-Лео вернулась въ домъ, подошла къ комнатѣ Эльфриды, и на этотъ разъ Эльфрида выпустила ее.

#### IV.

Фоксъ Синтронъ, какъ офицеръ, обвелъ глазами мебель въ лучшей комнатѣ старой вдовы бухгалтера Борнемана, гдѣ были собраны остатки лучшаго прошлаго. Онъ важно опустился на диванъ, чтобы испытать упругость пружинъ, освидѣтельствовалъ видъ изъ окна и подошелъ, наконецъ, къ большому зеркалу въ золоченой рамѣ, отразившему его безупречный обликъ въ безупречномъ стеклѣ. Госпожа Борнеманъ, тихенькая и маленькая, стояла посреди комнаты и, казалось, показывая все, меньше думала о будущемъ жильцѣ, чѣмъ о своихъ вещахъ, потому что она въ первый разъ сдавала комнату. Немногія ея слова вылетали изъ маленькаго ротика, который при разговорѣ еще больше сжигивался, и, только уже окончательно сдавъ комнату и вручая Фоксу ключи отъ наружной двери и отъ квартиры, она бросила на него робкій взглядъ.

— Чудесная комната!—въ удовольствіи думалъ Фоксъ,—и, кажется, имѣется и прелестная дочка. Положимъ, если она думаетъ, что я что-нибудь предприиму, то она очень ошибается: дочери буржуазныхъ семействъ—онѣ, такъ сказать, неприкосновенны, но все таки: красивая дѣвушка—отрадное явленіе, которымъ всякій можетъ наслаждаться — съ чистыми помыслами, конечно.

Дѣвушка, съ любопытствомъ осматривая его темными глазами, когда онъ стоялъ въ дверяхъ корридора, въ дѣйствительности была не дочерью, а внучкой госпожи Борнеманъ, и звали ее Лотта Пфанцъ.

— Ахъ, какая чудесная кожа! Бабушка, какая кожа!—воскликнула она, когда швейцаръ внесъ сундуки Фокса, и подобострастно и завистливо посмотрѣла имъ вездѣ, когда они исчезли въ комнатѣ жильца.

— Глухости!—внушительно произнесла госпожа Борнеманъ,—и когда это ты, наконецъ, станешь разсудительнѣе, Лотта! Это сдѣлано изъ кожи животныхъ, и человѣкъ совершаетъ грѣхъ, привязываясь сердцемъ къ суетнымъ вещамъ. Думай лучше о своихъ семинарскихъ работахъ!

Первые семестры Фоксъ почти исключительно пьянствовалъ, помня, что время освобожденія отъ школьнаго гнета—періодъ броженія, бурныхъ порывовъ. Теперь онъ хотѣлъ работать, избираться по лѣтнимъ, которая приведетъ его къ высшимъ степенямъ. Выбѣтъ съ тѣмъ онъ намѣревался подвергнуть должной ревизіи искусство и развить свои способности въ той или

нной области. Онъ рѣшилъ распорядиться иначе, чѣмъ его братъ Питтъ, который дома во время каникулъ велъ самый скучный образъ жизни и нѣсколько оживлялся только тогда, когда снова наступалъ день отъѣзда.

Теперь пути обоихъ братьевъ сошлись на короткое время, потому что оба учились въ одномъ и томъ же университетѣ. Это было настойчивое желаніе госпожи Синтрунъ: „Такъ мнѣ не придется мысленно путешествовать то туда, то сюда, и мнѣ сразу думать объ обоихъ, это гораздо проще!“

Питтъ, не желавшій жить въ одномъ городѣ съ Эльфридой, согласился и только улыбнулся, когда отецъ его сказалъ:

— По крайней мѣрѣ, Фоксъ можетъ взять тебя подъ свое крыло!

Его занимало ближе познакомиться съ братомъ. А гдѣ это произойдетъ, ему было безразлично; постоянные перѣѣзды съ квартиры на квартиру надоели ему по горло, хотя теперь они совершались довольно легко. Большой сундукъ его все еще стоялъ въ комнатѣ господина Кеннеке, который вначалѣ часто писалъ ему о немъ. Но Питтъ отвѣчалъ, что вещи ему сейчасъ не нужны и обещалъ пріѣхать самъ, такъ что фрейлейнъ Ниппе, въ концѣ концовъ, рѣшилась устроить изъ этого сундука настоящее украшеніе для комнаты. Она прикрыла его кускомъ рѣденкаго ситца съ пестрыми восточными разводами, а изъ внутреннего стремленія къ изящному прибила надъ нимъ еще бѣлѣйшій японскій вѣеръ и назвала весь этотъ уголокъ „ансамблемъ“.

Питтъ снималъ теперь просто каморку для сна. Онъ хотѣлъ какъ можно меньше имѣть дѣла съ комнатами.

— А твои книги?—спросилъ Фоксъ.

Это не представляло никакихъ затрудненій, наоборотъ: книги можно получить и въ бібліотекахъ, а въ читальнѣ гораздо пріятнѣе сидѣть, чѣмъ въ какой-нибудь конурѣ. Питтъ рѣшилъ весь день проводить въ бібліотекѣ, и, дѣйствительно, такъ и дѣлалъ, сначала для того, чтобы показать, что можно обходиться безъ квартиры, а потомъ привыкъ и дома бывать такъ мало, что хозяйкѣ своей представлялся скорѣе призракомъ, чѣмъ настоящимъ жильцомъ.

Фоксъ вскорѣ создалъ себѣ кругъ знакомыхъ. Прежде всего онъ посылалъ ректора университета, собственно только для того, чтобы подтвердить ему фактъ своего существованія, но крайней мѣрѣ, онъ не могъ привести никакой настоящей причины для своего прихода. Визитъ этотъ не имѣлъ въ дальнѣйшемъ никакихъ послѣдствій, и Фоксъ сожалѣлъ, что въ знаменитомъ университетѣ такое тупоухное начальство. За то онъ хвалилъ тѣхъ доцентовъ, къ которымъ ему удалось проникнуть на дурфиксы. Онъ умѣлъ слушать, молчать, задавать вопросы, поучаться, и такъ какъ въ молодомъ человѣкѣ эти качества—рѣдкость, то всюду онъ встрѣчалъ благожелательное

отношеніе и получалъ новыя рекомендаціи. Благодаря огромной приспособляемости, ему удалось проникнуть въ различные круги. Вскорѣ онъ познакомился не только съ людьми науки, но и съ художниками, учениками художественныхъ и музыкальныхъ училищъ, архитекторами, спортсменами. Многіе даже не знали, гдѣ и какъ они съ нимъ познакомились. Случалось, что онъ пожималъ на улицѣ руку незнакомому господину и возвращался къ какому-нибудь разговору, будто бы происходившему между ними раньше. — „Вы тогда сказали“...—начиналъ онъ, а тамъ выходило уже сообразно съ тѣмъ, насколько припоминалъ или воображалъ, что припоминаетъ, другой. Часто планъ его удавался сразу, причемъ онъ говорилъ себѣ: „въ большой гостиной, гдѣ всѣ говорятъ попеременно и сразу, нельзя въ точности запомнить, кому сказалъ то, а кому другое“. Но если остановленный удивлялся, Фоксъ восклицалъ:—„Ахъ, чортъ, вы правы! Но разговоръ меня такъ заинтересовалъ, что я положительно вообразилъ себѣ, будто вы вели его со мной! То, что вы тогда говорили, было, въ самомъ дѣлѣ, замѣчательно... замѣчательно!“—Послѣдствіемъ этого являлись поклоны на улицѣ при встрѣчѣ, а при случаѣ и разговоры. Въ картинныхъ галереяхъ, на выставкахъ онъ незамѣтно слѣдовалъ за какой-нибудь признанной знаменитостью, отмѣчалъ картины, передъ которыми она особенно долго останавливалась, подходилъ ближе, если завязывался разговоръ, запоминалъ его хорошенько и потомъ выдавалъ за свое собственное сужденіе, неувѣреннымъ голосомъ, съ маленькими искусственными паузами, въ теченіе которыхъ какъ-будто съ трудомъ подбиралъ подходящее слово. Иногда онъ становился совѣмъ рядомъ съ такимъ человекомъ, прослѣживалъ направленіе его взгляда и шепталъ: „Колоссально!“ Порой, благодаря такимъ случайно брошеннымъ замѣчаніямъ, ему удавалось завязать знакомство. Тогда онъ рассказывалъ, что знакомъ съ этимъ художникомъ, съ тѣмъ знаменитымъ скульпторомъ, и что передъ такими-то и такими-то художественными произведеніями они бесѣдовали съ нимъ:—„И при этомъ онъ былъ такъ скромный! такъ простой! такъ... нуда, именно скромный!“

Питту такіе рассказы доставляли огромное удовольствіе. Съ притворнымъ восхищеніемъ онъ слушалъ, какъ Фоксъ читалъ въ каталогѣ цѣны на картины и находилъ ихъ то слишкомъ высокими, то слишкомъ низкими. Иной разъ оказывалось, что онъ самъ посоветовалъ художнику сбавить цѣну, и они чуть было не поссорились изъ-за этого! Боже милостивый, вѣдь, это такъ естественно! Мажетъ себѣ бѣдняга день изо дня свой холстъ и, въ концѣ концовъ, смѣшиваетъ трудность своей работы съ ея цѣнностью, какъ произведенія искусства!

(Продолженіе слѣдуетъ).

Пер. К. Жихаревой.

## О Н И.

Они живутъ въ загдохшихъ паркахъ,  
Въ пыли старинныхъ чердаковъ.  
Ихъ мысли—въ выцвѣтшихъ ремаркахъ  
Полуистлѣвшихъ дневниковъ...

Это они въ домахъ старинныхъ,  
Гдѣ жутки темные углы,  
Ночами въ комнатахъ пустынныхъ  
Стучать въ карнизы и полы.

Вѣдь тамъ, на стынущихъ портретахъ,  
Средь паутинъ и тишины,  
Въ своихъ жабо и въ эполетахъ  
Они по-прежнему важны.

О, былей темныхъ и забытыхъ  
Не возвращаетъ старина...  
Въ глуши кладбищъ на мшистыхъ плитахъ  
Ихъ стерло время имена

И риѳмы пышныхъ эпитафій...  
А тамъ, понятны и близки,  
Межъ писемъ желтыхъ, въ пыльномъ шкафѣ  
Лежать засохшіе цвѣтки...

Тамъ пятна непростенной крови  
Въ пыли пройденныхъ ступеней,  
Всѣ тайны пыльныхъ родословій,  
Весь пепель ихъ сгорѣвшихъ дней...

Всѣ сны любимыхъ и любившихъ  
Хранять забытые углы...  
...И жутко въ комнатахъ застывшихъ...  
Трепать паркетъ и стоты...

Валентинъ Кривичъ.

## НА ПЕРЕПУТЫ.

Картины студенческой жизни.

### I.

Тужурка, перекроенная изъ гимназической шинели, бѣлая фуражка съ синимъ околышемъ,—недаромъ я проѣхалъ двое сутокъ въ мечтахъ о студенческой жизни. Сдалъ вещи на храненіе и вышелъ на улицу.

Сыпалъ мелкой сѣтью косою дождичекъ. Трамвай съ предупреждающимъ звукомъ остановился около.

Сбросивъ съ плечъ ярмо, я полонъ былъ задора, вѣры въ то, что все дурное погибло въ гимназическомъ прошломъ. Навстрѣчу шли пѣшеходы подъ зонтиками, грохотали пролетки съ промокшими сѣдоками. Поднимался къ небу хмуры́й рядъ домовъ различной архитектуры, глядя множествомъ оконъ и вывѣсокъ сквозь дождевую сѣть.

Нашелъ солидно стоявшій угловой домъ и поднялся въ квартиру 3. На дверяхъ дощечка: „Инженеръ-технологъ Павелъ Ивановичъ Одинцовъ“.

— Павелъ Ивановичъ дома?

Горничная оглядѣла меня своими бойкими глазами.

— Пожалуйста.

Навстрѣчу шелъ самъ Одинцовъ. Бородавка въ углу рта, нѣсколько отвисшее брюшко. Протянулъ пухлую руку, и свѣтло-холодные глаза сощурились, отчего лицо стало недобрымъ.

— Вотъ оно кто!

— Гдѣ же вещи, Сергѣй?

— На вокзалѣ...

Въ губахъ, въ жидкой округлой бородкѣ спряталась улыбка.

— Катя!—позвалъ онъ жену.

Отъ супруги вѣяло тѣмъ же холодомъ. Вошли всѣ вмѣстѣ въ кабинетъ.

— Мы васъ ждали еще вчера,—сказала Катерина Матвѣевна.

Спросила про родныхъ, о моихъ успѣхахъ. Павелъ же Ивановичъ покосился на синюю рубашку, торчавшую изъ-подъ моей тужурки.

— Вы, Сережа, еще шестидесятникъ?..

Я вспомнилъ, какъ у насъ на дачѣ самъ Павелъ Ивановичъ носилъ русскую

рубашку. Это было еще не так давно—въ 905 году.

— 905 годъ въ архивъ сдаютъ...

— Ну-ну, первое дѣло—выспаться.

И онъ отвелъ меня въ комнату съ кучей ноть, элегантной клѣткой, въ которой прыгалъ скворецъ.

— Спите, Богъ не спитъ за васъ.

Здѣсь была приготовлена мнѣ постель. Два-три номера „Рѣчи“ лежали на столѣ. Бѣлыя занавѣси спадали на толстый коверъ съ цвѣтами. На потолокъ былъ изображенъ какой-то барельефъ.

Грустью повѣяло на меня отъ этой встрѣчи. Одинцовъ—дальній родственникъ мнѣ. Еще студентомъ онъ проводилъ у насъ каникулы, и не такой представлялась мнѣ встрѣча.

Легъ, но сонъ не шелъ...

Вотъ этотъ казенный двухэтажный домъ; надъ множествомъ оконъ крупныя золоченыя буквы: „Классическая мужская гимназія“. Буквы облѣзли и мѣстами стерлись. Вотъ длинный дворъ съ директорской квартирой, гимнастика, службы. Заборъ сада утыканъ гвоздями.

Городокъ въ ста верстахъ отъ желѣзной дороги. Полицейское управленіе, да клубъ съ преферансиксмъ, да шорохи мелкаго люда; невѣжество забитое, невѣжество бьющее.

Кислыя мины пропитали все—отъ директора, сухого и желчнаго бюрократа, до молодого учителя исторіи, сыпавшаго остротами. И нехорошая это была жизнь первые годы.

Чувства и мысли сплетались, какъ растеніе, лишенное свѣта. Но какъ разъ, когда я сталъ задыхаться въ тинѣ этой, какъ-то забросило къ намъ двухъ курсистокъ изъ Петербурга.

Дѣло было лѣтомъ. Дачу сняли недалеко отъ насъ, и повѣяло чѣмъ-то совершенно новымъ.

Кузнецова и Корнева описывали мнѣ Петербургъ, гдѣ все бѣжитъ впередъ, гдѣ столько впечатлѣній, иногда болѣзненныхъ, но больше интересныхъ; толковали объ эс-декахъ, сбъ эс-эрахъ, о которыхъ я представленія не имѣлъ. Первые мечты объ университетѣ разгораются въ сердцѣ, красятъ даль небогатой радостями жизни.

Зерна падали въ хорошую почву. Какъ-то вдругъ налетѣла и волна забастовокъ и безпорядковъ, захлестнувшая среднеучебныя заведенія.

Докатилась она и до нашихъ мѣстъ—и вотъ „воинъ“ готовъ: у меня открыли „выдающійся образъ мыслей“. Въ результатѣ успѣхи, вниманіе, прилежаніе—все благополучно. Только поведеніе не какъ слѣдуетъ быть въ аттестатѣ



## II.

Сентябрьское солнце золотитъ пепельницу, бронзовые часы на столѣ, играетъ между гравюрами въ темныхъ рамкахъ. Гдѣ-то тикаютъ часы...

Я только что проснулся. Вчера былъ въ канцеляріи университета. Секретарь порылся гдѣ-то, озабоченно сверкнулъ очками. Но ничего мнѣ не нашель.  
— Зайдите на дняхъ.

И въ адресномъ столѣ вышла неудача: Корнева, проживавшая на Пескахъ, выбыла, молъ, въ Уфимскую губернію, Кузнецовой же совсѣмъ не оказалось. Между тѣмъ, я отлично зналъ, что Вѣра Ивановна—петербургская уроженка.

Но я не унывалъ. «Схожу въ театръ, примѣчательности города посмотрю, пройдуся по улицамъ»,—думалъ я.—«Надо же все это продѣлать медвѣдю, ничего не выдавшему въ свои девятнадцать лѣтъ, кромѣ медвѣжьего угла».

Но вдругъ неудача съ Вѣрой Ивановной объяснилась: написано было на бланкѣ „Куцова“. И, короткое время спустя, я уже былъ на Крюковомъ каналѣ, гдѣ жила Вѣра Ивановна въ комнатѣ отъ хозяевъ.

— Корневы еще не успѣли прописаться—объяснила она.—Оттого ихъ нѣтъ въ адресномъ столѣ.

Она нисколько не измѣнилась. Некрасивая, слабая, съ мелкими линіями лица и прядями волосъ, спадавшими на плечи, въ сѣренькомъ платьѣ, перетянутомъ ремненнымъ кушакомъ, она смотрѣла дѣвочкой.

Синіе глаза бѣгали изъ стороны въ сторону. Сразу видать натуру пассивную, когда человѣкъ полонъ намѣреній, но всѣ они покоятся въ гибкихъ путяхъ.

Мое увлеченіе университетомъ вызвало у нея улыбку.

— То было, теперь не то... Теперь—„всеобщее покаяніе“.

— Какъ покаяніе?—не понялъ я.

— Такъ... студенчество ваше чтó было, что есть?

— Тихое семейство. Теперь у Анатолія Каменскаго учатся, какъ жить. Признакъ хорошаго тона—„товарищъ“ въ кавычкахъ. „Сторонитесь, я дерзаю“—вотъ студентъ сегодняшняго дня.

— Нѣтъ, ужъ совсѣмъ бы добились, чѣмъ такъ... то душить, то отпускать на время. Это-то и дало результаты...

Я слушалъ и смотрѣлъ въ окно. Медленно текла вода. Вѣтерокъ бѣгалъ по каналу сѣтью блестящихъ штриховъ. Прощаясь, Вѣра Иванова сказала:

— Знаете, есть свободная комната у Корневыхъ.

— Такъ что же?

— А переѣзжайте къ нимъ.

Я такъ и сдѣлалъ. И такъ ужъ неловко было передъ моимъ инженеромъ.

Переѣхалъ—и почувствовалъ себя, какъ дома, въ квартирѣ Корневыхъ. На

стѣнѣ висѣлъ предокъ, потухшимъ взоромъ наблюдая молодую жизнь. На всемъ, начиная съ кисейныхъ занавѣсей и кончая выхоленными цвѣтами, лежалъ женскій глазъ и женская рука.

Пришли ко мнѣ товарищи: Миша Сѣдовъ, веселый, съ упрямыми глазами: Ермолаевъ. Пришелъ Ваничка Милевскій, юное-юное созданіе, съ чуть пробившимися усиками на верхней губѣ. И всѣмъ Корневы—Шура, Зина, мать ихъ, старушка въ неизмѣнномъ платьѣ,—понравились.

Такъ и зажили. Каждый день—въ университетъ. Я бы привыкъ къ стереотипному отвѣту: „бумаги не рассмотрѣны“—и на немъ успокоился, но однажды студентъ съ усами, тронутыми у рта табачнымъ дымомъ, наблюдая мои дѣйствія, замѣтилъ:

— Что церемонитесь, коллега?

Онъ кивнулъ въ сторону канцеляріи.

— Возьмите автономію за рога.

Я рѣшительно направился къ перегородкѣ. Увы, лучше бы не рѣшительно. Бумаги рассмотрѣны. Отказано. Противъ „округа“ я не погрѣшилъ. Но поведеніе—четыре.

— Значить, уѣзжать?

Съ тревогой въ сердцѣ я вышелъ на улицу. Нева, объятая мутной дыжкой, билась о свой гранитъ, и вздутыя волны прыгали другъ черезъ друга. Скрипя, покачивалась пароходная конторка. Напиралъ пароходикъ, шумя раскаленной машиной, обдавая воздухъ клубами пара.

— Неужели уѣзжать?

Мертвою тоской вѣяло отъ этого слова.

— Подавай пока въ Казань,—посоветовалъ Сѣдовъ.

Въ рукъ его по обыкновенію дымилась папироса, а лукавые глаза свѣтились сочувствіемъ. Прозрачныя струйки выползали изъ губъ, между которыми мелькали два ряда поврежденныхъ зубовъ, вились кольцами около рта и улетали.

— Что-жъ,—подтвердилъ Ермолаевъ,—еще не поздно.

— Невѣжество!—возразила Вѣра Ивановна.—Казанская профессура „притча во языцѣхъ“. Тамъ объявленія академистовъ висятъ рядомъ съ объявленіями декановъ.

— Ну, въ варшавскій.

— Варшавскій, дѣти мои, бойкотированъ.

Я вышелъ изъ состоянія меланхоліи и бесѣдовалъ съ Зиной Корневой.

Въ противоположность Шурѣ, бойкой не въ мѣру, которая тонко владѣла собой, въ ней было что-то робкое. Гибкая, съ едва намѣченной грудью, она была удивительно проста. Отъ неувѣреннаго личика вѣяло женственностью. Разгов-

рившись, она оживилась и все смѣялась своимъ груднымъ, легко мѣняющимъ интонацію голосомъ.

Даже вспомнила депутата, близкаго къ министерству народного просвѣщенія, котораго можно попросить. И она, Зина, будетъ просить: авось, не лишень сердца депутатъ.

Дѣйствительно, вставъ рано, Зина весь день бѣгала. Даже въ школу не пошла, въ которой преподавала. Вечеромъ же обрадовала.

— Сергѣй Николаевичъ, Н беретъ хлопотать. Зайдите сейчасъ къ нему, а завтра утромъ ждите, гдѣ полагается. Хорошо поетъ, гдѣ только сидеть...

Какое утро! Часы на публичной библіотекѣ показали начало двѣнадцатаго. Сверкнули окна съ чучелами.

Въ саду играли дѣти, и бурные листья хрустѣли подъ ними. Гудѣли свистки, гдѣ-то барабанила шарманка. На людяхъ лежалъ отпечатокъ бодрого солнечнаго утра, когда сутолока идетъ такъ легко, и, любуясь этой сутолкой, я сопоставлялъ ее съ жизнью родного угла—и надѣялся.

Но вотъ и сѣрый особнякъ. Въ дверяхъ—швейцаръ, полный безстрастнаго достоинства. Разглаживаетъ свои рыжеогненные бакенбарды.

Я ждалъ недолго. Депутатъ вышелъ и подалъ мнѣ запечатанный конвертъ:

— Это и все, Андрей Львовичъ?

— Все, молодой человекъ. Ваше дѣло въ шляпѣ.

Ай да Зина! Но я не пошелъ къ Зинѣ. Хотѣлось побыть съ своей радостью наединѣ. И, выбравъ въ паркѣ уединенный уголокъ, я присѣлъ и просидѣлъ на скамеечкѣ до обѣда.

Рѣдкое слово такъ волновало меня, такъ манило на гимназической скамьѣ, какъ слово студентъ. Я произносилъ его—и рой милыхъ образовъ представлялся воображенію. Я прочелъ всѣ книжки, изданныя когда-то, о томъ, какъ студентъ понималъ себя, какъ гражданинъ, не замкнулся въ узкія рамки ученія! И чѣмъ больше я ихъ читалъ, тѣмъ вѣрнѣе была въ моихъ мечтахъ побѣда студенческихъ идей надъ темной политической жизнью.

Въ саду было тихо. Качались листья, еще не опавшіе, и тоже падали на песчаная дорожки.

За оградой шумѣлъ Невскій. Билъ въ своихъ узкихъ тискахъ бурливый потокъ большого города, и странно было созерцать этотъ контрастъ вновь возрождающейся жизни человека и неслышно умирающей около него природы. Навѣвало неуловимую мечту, точно все это было на полотнѣ.

Шумъ улицъ—нестройный хаосъ звуковъ—то поднимался, то опускался.

## III.

И вотъ я—студентъ. Но какое разочарованіе!

Одни ведутъ себя смирно, благородно, интересуются мелкими заботами академическаго дня. Другіе идутъ въ трактиръ, поютъ тоскливыя пѣсни. Тамъ—рестки „здороваго консерватизма“, здѣсь—волна самоубійствъ.

Ни тѣни того, что я вычиталъ изъ книжекъ о студенческомъ движеніи. Я прислушивался къ отголоскамъ. Эс-деки, эс-эры, ка-деты—увы, это одни отголоски.

Студенты, которыхъ я встрѣчалъ, посѣщали лекціи, записывали ихъ — и только. Послѣ лекціи слонялись въ корридорѣ. Стремились къ одной цѣли—самосохраненію. То и дѣло попадались тоскливыя лица.

Это была масса. Въ этой массѣ уже нѣтъ „бунтарскаго духа“. Это — не „товарищи“.

Вотъ они здороваются, бесѣдуютъ другъ съ другомъ, но вотъ они вышли изъ университетскихъ стѣнъ—и cadaго охватили свои интересы, разнородные, враждебные другъ другу.

Вокругъ землячествъ—нареканія, непровѣренныя слухи. Есть кружки, организации, но кружки эти, организациі, легально существующія, ничего не вносили въ духъ этой массы, кромѣ того, что уже было въ ней. Особый наростъ на тѣлѣ университета—академизмъ.

Въ лабораторіи или въ корридорѣ слышишь:

— Азефы!

— Гордо носимъ это званіе.

— Скоро подлость позабудетъ свое имя.

— Ха-ха-ха!

Это—академисты, члены палаты Михаила Архангела.

Я не пытался заводить случайныхъ знакомствъ и держался круга Корневыхъ. Вотъ знакомый звонокъ. Такъ звоннтъ Зина.

— Ухъ, слякоть,—стонетъ она.

Капли дожда дрожать на ея лицѣ, на шубкѣ.

— Вѣтеръ, мерзость,—вторить Шура.

— Распорядись, голова. Насчетъ самовара,—баситъ Сѣдовъ.

Пальто ложатся на вѣшалку, обремененную пріобрѣтеніями стараго и новаго времени. Дѣвушка звенитъ посудю, и самоваръ съ раненымъ ушкомъ начинаетъ высвистывать намъ бурливую арію. Вотъ и Вѣра Ивановна. Она любитъ декламировать стихи. Вотъ и сейчасъ:

Душно безъ счастья и воли,  
Ночь безконечно темна.

Буря бы грянула, что-ли.  
Чаша съ краями полна.

У Корневыхъ я прожилъ недолго: самимъ понадобилась комната. Теперь живу на Невскомъ.

Корневы жили недалеко, но видѣлись теперь мы не часто. Онѣ бились изъ-за куска хлѣба, каждая на свой рискъ. Зина преподавала въ школѣ, Шура имѣла уроки. Теперь у нихъ было мало времени.

Но отношенія наши не измѣнились, а стали ближе и проще. Я цѣпко держался за эту связь. Она подарила меня дружбой съ женщиной, а женское вліяніе въ томъ возрастѣ, въ которомъ я находился, сглаживаетъ шероховатость, конечно, недоконченное.

Наука подвигалась плохо. Посѣщалъ я, за немногими исключеніями, лишь тѣ лекціи, курсы которыхъ не изданы.

— Стоитъ ли ходить?—думалъ я и отвѣчалъ себѣ:—Потерянное время.

И тоже слышалъ кругомъ:

— Вѣдь, курсъ изданъ.

— Лекція же перескажъ книги.

Но и съ книгой обстояло вяло. Въ сумерки, прѣдя домой, я зажигалъ лампу, высокую, блестящую. Она обливала желтымъ свѣтомъ столъ со стершимися сукномъ, пятна на полу, гвозди и дырѣя въ растрепанныхъ обояхъ—печать многочисленныхъ жильцовъ. Эхъ, то ли было у Корневыхъ! Я бралъ Менделѣева, Тимирязева, за которыми прятались два-три другихъ изслѣдователя, тоже любимыхъ. Вѣдь, я—естественникъ.

Но мысль легко вертѣлась около брошюрки, а научные тезисы брала плохо. Легко схватывала журнальную статью, но въ естественно-научномъ изслѣдованіи, требовавшемъ школы, разбиралась слабо. Едва я овладѣвалъ предметомъ, какъ откуда-нибудь выплзала мысль совсѣмъ посторонняя, я вставалъ, шагаль изъ угла въ уголь, опять садился за книгу, опять отвлекался и т. д.

Когда пріемъ въ университетъ былъ рѣшенъ, и я остался въ Петербургѣ, прошедшее кое-гдѣ окрасилось въ грустный цвѣтъ. Явились думы объ отцѣ, матери, сестрахъ—тускляя доли! Думы о собственномъ одиночествѣ.

Дома гигантскіе, перспективы улицъ, толпа, двигавшаяся по нимъ,—вездѣ были люди, но я былъ одинъ. У меня были Корневы, но одни Корневы. Товарищи? Но нѣкоторая рознь уже чувствовалась между нами еще въ гимназіи. Теперь же различныя сферы жизни захватывали насъ, пробуя внутреннія силы каждого, и мы видѣлись съ однимъ Сѣдовымъ.

Случись со мной что-нибудь—развѣ кто-нибудь знаетъ меня? Это были чужіе, незнакомые мнѣ люди.

И вездѣ, вездѣ были эти люди, даже въ университетѣ. Я никогда не видѣлъ

такой сложности, такого эгоизма, этой острой внѣшности. Чужая жизнь, торопливая, бѣгущая.

Куда? Что руководить этимъ судорожнымъ темпомъ? Вонъ какое-то зданіе, темное, окруженное лѣсами... Гулъ кругомъ, озабоченныя фигуры... Тускло мигаютъ фонари другъ другу. Огромный городъ, огромная гулко-шумящая пасть... Я убѣгалъ въ свою комнату съ покатымъ потолкомъ и подслѣповатымъ окошкомъ.

Въ этомъ морѣ жизни одиночество чувствовалось острѣе, чѣмъ въ лѣсу, и чѣмъ шумнѣй бѣжало это море, тѣмъ ближе жался я къ единственному очагу.

## IV.

Не то дождь, не то снѣгъ сыпалъ въ глаза, стекая мутной жидкостью на наружный подоконникъ. Сквозь эту сѣть снѣжинъ и капель смотрѣли мокрые ряды домовъ.

Туманы ползли надъ городомъ. Въ нихъ исчезали дома, лавки, люди, пробиравшіеся въ трамвай-невидимку. И трамвай потрясалъ воздухъ своими тревожными звонками.

Хозяйка, у которой я жилъ, сдавала три комнаты. Противъ меня жила хористка, рядомъ—универсантъ, нѣмецъ, только что пріѣхавшій изъ Казани. Встрѣтившись на лѣстницѣ, онъ протянулъ мнѣ руку.

— Бланкъ. Черезъ стѣнку живетъ коллега.

Онъ закурилъ. Рыхлое лицо было въ складкахъ жира, и на немъ бѣгали мышинныя глазки. Щетинистые волосы на щекѣ коротко подстрижены. На протянутой рукѣ—грязныя ногти и неряшливо застегнутая запонка, на шеѣ—пестрый платокъ, заткнутый булавкой.

— Давно квартируете здѣсь?

— Съ мѣсяць.

— Хозяйка ничего?

Знакомство завязалось. Показался онъ мнѣ не глупымъ.

Услышавъ какъ-то, что я хую петербургскій университетъ, онъ воскликнулъ:

— Поѣхали бы въ Казань... Вотъ мерзость, такъ я понимаю.

Про Казань всѣ говорили то-же, что про Одессу.

Вся жизнь въ сдѣлѣ экзаменовъ.

Въ область преданій отошло время сходовъ: о нихъ не совѣтуютъ и замкаться.

Ни кружковъ, ни землячествъ. Такой факультетъ, какъ юридическій, имѣеть одинъ кружокъ!..

Это казанскіе профессора называютъ изгнаніемъ политики.

Однако, въ Петербургѣ были лѣвые профессора, было не мало кружковъ, организацій. Но Бланкъ жилъ не этимъ.

У него было хорошаго развѣ неизвѣстное будущее вмѣсто извѣстнаго настоящаго, болѣе или менѣе сытаго. Въ прежнее время онъ „читалъ брошюрки лѣвыхъ направленій“. Но недолгимъ опытомъ пришелъ къ заключенію, что „своя рубашка ближе къ тѣлу“. И если и читалъ что-нибудь теперь, то развѣ о „проблемѣ пола“.

Онъ со смѣхомъ рассказывалъ, какъ на анкетной карточкѣ—еще въ Казани—высказался противъ равноправія женщинъ.

Вообще, на тему эту онъ могъ говорить долго.

Свелась „проблема“ къ тому, что Бланкъ познакомился съ хористкой, привелъ двухъ-трехъ „казнацевъ“—и всѣ вмѣстѣ проводили время въ болтовнѣ.

Оказалось, въ результатѣ, нехорошо.

Однажды вечеромъ я проходилъ къ себѣ. Вдругъ половинки бланковскихъ дверей распахнулись, и компанія предстала мнѣ въ свѣтѣ Бахуса. Молодая женщина вставала съ диванчика,—я замѣтилъ ея зеленоватые зрачки. Ей что-то рассказывалъ басокъ, юноша въ кавказской формѣ, и прозрачный носикъ его вздрагивалъ. Въ углу сидѣлъ путеецъ и, согнувшись и заложивъ ногу на ногу, военный медикъ.

Бланкъ же въ разстегнутомъ бѣломъ кителѣ, на которомъ болталась цѣпочка съ часовъ, переминался на порогѣ. Онъ держалъ папиросу въ зубахъ, пустой стаканъ въ одной рукѣ и пустую бутылку въ другой и пытался такимъ путемъ угостить меня.

Раздался сумасшедшій хохотъ, отъ котораго задрожали стекла.

— Э-э,—тянулъ Бланкъ, вводя меня съ собой,—просимъ...

— Просимъ, просимъ,—протянулъ басокъ липкую руку.

На столѣ были бутылки пива, наливка, валялись пробки, окурки папиросъ. Медикъ вскинулъ хмурые глаза и произнесъ: „Швецовъ“, а Бланкъ уже подходилъ ко мнѣ со стаканомъ пива.

— Здоровье Дунечки, коллега.

— Не пью, коллега.

— Напрасно. Водка кровь полируетъ.

— Даетъ развязность мыслямъ.

Я ушелъ. Только я очутился за дверью—воздухъ рѣзнуло рѣзкое слово, пущенное мнѣ вслѣдъ нетрезвымъ баскомъ.

— Въ очахъ другихъ ты видишь сукъ, въ своихъ же ты бревна не замѣчаешь...

Такъ это было дико. Вотъ они студенты, берущіе жизнь такую, какая она есть, не утруждающіе себя размышленіями. Жизнь для нихъ—дубъ, на которомъ растутъ желуди. И нѣтъ самаго дуба, есть одни желуди. Я рѣшилъ перемѣнить комнату.

Потянуло вдругъ... на острова.

Что-то далекое, родное чудилось мнѣ въ этихъ домикахъ съ мезонинами

и заборами, молчаливо стоявшихъ подъ влажными облаками осени, среди березъ и сосенъ, протянувшихъ къ нимъ оборванные вѣтки. Я любилъ эту растительность, звонъ города, рокошущій вдали.

Къ Корневымъ далеко? Но на что трамвай!

Оставаться не хочу. Въ этомъ сосѣдствѣ, въ движеніи лицъ, потокахъ свѣта—мнѣ казалось—я не засяду за работу. Не толкнетъ мое развитіе, не зажжетъ моихъ стремленій Невскій. Эхъ, весной сверкнетъ Нева, солнце позолотитъ пышной пылью густую зелень острововъ! Вотъ гдѣ учиться, готовиться къ экзаменамъ.

Я откинулъ одѣяло. Только я прилегъ, какъ въ дверь раздался барабанъ.

— Входите!

Вошли Швецовъ и Бланкъ.

— Коллега, мы къ вамъ съ извиненіемъ.

— Можно посмотрѣть ваши книги?

Я кивнулъ въ уголь, гдѣ возвышалась этажерка съ книгами. Швецовъ взялъ съ полки первую стоявшую на ней книгу. У него было славное лицо, вдумчивое, окаймленное красивой черной бородкой. Глаза конфузливо блестѣли, а на лобъ спадали дурно подстриженные волосы.

Онъ держалъ томикъ рассказовъ Арцыбашева.

— Нравится вамъ „Санинъ“?

— Занятный писатель.

Губы улыбались, но на лицѣ была тѣнь. Голосъ у него былъ низкій, медлительный.

— Я „Санина“ не читалъ.

— Что такъ?

И этотъ человѣкъ поднялся на носки, заржавъ веселымъ ироническимъ смѣхомъ. На смѣхъ отвѣтили рядомъ.

— Скажите, кстати,—усмѣхнулся Бланкъ,—вы бе-къ или ме-къ...

— Ни бе, ни ме,—отвѣтилъ онъ самъ себѣ.

Въ сосѣдней комнатѣ откликнулось женское контральто—свѣже, задорно.

— Дунечка, и вы „Санина“ не читали?

Голосокъ что-то отвѣчалъ. Я злился.

Въ самомъ дѣлѣ, что нужно было этимъ людямъ отъ меня? Швецовъ взялъ подъ мышку томикъ Арцыбашева.

— Заходите ко мнѣ,—сказалъ онъ, пощипывая бородку.—Я живу подъ вами: квартира № 4.

Лицо его было хмурно, и теперь не вѣрилось, что сейчасъ только онъ хоталъ веселымъ смѣхомъ.

— Я тоже ни бе, ни ме.



## V.

Я долго шлепалъ по тротуарамъ Крестовскаго, не мало билетиковъ прочелъ. И поселился, наконецъ, на Константиновскомъ проспектъ. Деревянный флигель былъ окрашенъ въ бѣлую краску, весело глядѣлъ своими многочисленными окнами съ двумя квадратиками на плечахъ.

Столъ со множествомъ ящиковъ, зеркало въ простѣнкѣ, этажерка, шкафъ. Было бы еще уютнѣе въ комнатѣ, если бы на обояхъ не переплетались пѣтухи съ красными физиономіями. Подоконники заставлены цвѣтами. Дѣвушка чистила мое платье, протирала окна тряпочкой.

Окна выходили въ садъ. Пока шли еще дожди, вѣтеръ гнулъ деревья къ землѣ. Они дрожали, протягивали худыя обнаженные вѣтки. Когда же снѣгъ посыпалъ имъ маковки и окрѣпъ морозъ, они приободрились, окруженные прозрачнымъ пухомъ. Потянулись къ небу, въ морозный воздухъ. Я любилъ смотрѣть, какъ откуда-нибудь вылетала стая воронъ. Онѣ кружились, каркали, разсыпались въ боевыхъ позахъ, и взмахи черныхъ крыльевъ роняли иней съ ихъ боевыхъ постовъ.

Уголокъ былъ идиллически тихъ. Ничто не нарушало тиканья моихъ часовъ, натопленной атмосферы комнаты, всей смѣны дня и ночи. Развѣ пискъ клавикорда на мотивъ „Тоска по родинѣ“, „На сопкахъ Манчжуріи“. Неровно замирающе гудѣла конка на рельсахъ да старая кошка „Мурка“ забиралась въ мое кресло и храпѣла.

Иногда послѣ праздничнаго обѣда за стѣной—я слышалъ—хозяйка, моложавая вдовушка, съ чиновникомъ-жильцомъ, жившимъ на положеніи хозяина, перекидывались двумя-тремя фразами по моему адресу.

— Нынче надо, охъ, какъ осторожно...

Но не подвинулся я впередъ и на Крестовскомъ.

Мирно текла университетская жизнь. Занятія шли „нормально“, не хватало мѣстъ въ лабораторіяхъ, въ кабинетахъ. Скорѣй бы дипломъ!

Прежде былъ студентъ, который оставался возможно дольше въ стѣнахъ *almae matris*, въ атмосферѣ боевой молодости. Окончивъ одинъ факультетъ, онъ переходилъ на другой, не торопясь со своимъ „общественнымъ положеніемъ.“ Теперь же это не *alma mater*, а гимназія. Гимназія выдаетъ аттестаты, университетъ—дипломъ. Это не „вѣчный студентъ“, а гимназистъ въ студенческой формѣ.

Остаться на второй годъ на одномъ курсѣ? Перейти съ одного факультета на другой? Нѣтъ, скорѣй бы дипломъ! Вотъ девизъ сегодняшняго дня. Матеріальная нужда студенчества, конечно, острѣе; къ ней и сводится теперь вся юношеская трагедія.

Это—хозяева положенія, такъ сказать. Конечно, переживаютъ студенты „успокоеніе“ разное...

Вотъ карьеристы, вотъ и одиночки, какъ они сами себя называютъ. Это не тѣ, что имѣли клубъ одинокихъ въ Петербургѣ. Одиноки они, поскольку это потомки вѣчныхъ студентовъ преж ихъ лѣтъ, остатки идеалистическаго когда-то студенчества. Безъ компаса, безъ вѣры бродятъ они, эти „лишніе“ студенты, не находя другъ друга, переживая каждый про себя драму, не интересную другимъ.

Такимъ вотъ чувствовалъ себя и я. Неужели ничего другого и не будетъ?— недоумѣвалъ я.

И выйти такъ, какъ вышло заграницей. Пестрая ленточка корпорации черезъ плечо, исполинская кружка пива въ рукахъ, отличія формулярнаго списка— и все. Нѣтъ, это не такъ. За всѣмъ этимъ чувствовался пульсъ, несмотря на барьеръ. Что-то не давало распоряжаться собой. Надо было что-то перерости, но какъ это сдѣлать? Въмѣсто отвѣта какое-то недоумѣніе просилось въ душу.

Побывалъ я въ землячествахъ, но оба раза было всего нѣсколько членовъ. Обсуждались чисто хозяйственныя дѣла. Земляческія собранія ожили лишь передъ взносомъ платы.

Корнева и Вѣра Ивановна жили далеко. Мы видѣлись такъ же рѣдко, какъ съ Сѣдовымъ, который являлся ко мнѣ лишь вмѣстѣ съ ними. Частымъ моимъ посѣтителемъ былъ теперь одинъ Швецовъ. Онъ узналъ мой адресъ и навѣщалъ меня. Швецовъ далеко не то, чѣмъ казался въ обществѣ Бланка.

Нѣтъ, два года назадъ онъ былъ „эс-эромъ“. И теперь проклятые вопросы стояли передъ нимъ. Онъ только не могъ ихъ осмыслить. Въ немъ было что-то славное, оно только не бросалось въ глаза.

Онъ читалъ, главнымъ образомъ, беллетристику, не углубляясь, схватывая книжку на-легу. И говорилъ:

— Все равно. Кто скажетъ, что теперь надо...

И онъ—лишній. Какъ ростовщикъ, расхитила жизнь его вѣрованія, хотя воиномъ онъ и раньше не былъ. Задушила загорѣвшіяся чувства. Наложилъ печать и на молчаливо-скептическое лицо. Онъ чувствовалъ влеченіе ко мнѣ, угадывая меня, такого же неуспокоеннаго.

Когда я говорилъ о томъ, какъ низко опустились кумиры 905 года, какъ все больше завлакиваетъ ихъ тиной, онъ становился даже тупъ и не разъ говорилъ:

— Ничего больше не надо.

И тутъ же дѣлалъ мнѣ намеки на собственное разочарованіе, засасывающее лучшее, что есть въ человѣкѣ, спускающее все ниже и ниже въ море апатіи. Почему-то онъ неизмѣнно при этомъ вспоминалъ, что онъ казенный стипендіатъ. Да, по окончаніи курса его пошлютъ въ глушь отбывать срокъ службы, а что ждетъ въ глуши невеселаго лишняго человѣка?

Швецовъ тасилъ меня то въ драму, гдѣ сравнительно легко было достать билеты то въ Эрмитажъ, то въ музеи Александра III. И въ театрѣ, и въ Эрмитажѣ были тѣ же холодные, незнакомые все люди.

Въ Эрмитажѣ я встрѣтилъ Одинцова. Онъ былъ въ праздничномъ настроеніи.

— А, другъ любезный! — пустилъ онъ. — Какъ устроился?

— Отлично.

Я такъ и не видалъ его съ тѣхъ поръ, какъ заѣхалъ за вещами. Онъ прекнулъ меня.

Изъ золотыхъ рамъ смотрѣли сотни лицъ, событій, ландшафтовъ. Но холодно скользили по нимъ свѣтлые глаза Павла Ивановича.

Спустились вмѣстѣ по широкой мраморной лѣстницѣ, и швейцаръ накинулъ на него щегольскую шубу.

Онъ пригласилъ меня придти во вторникъ — вечеръ, когда они съ Катериной Матвѣевной дома.

Я зашелъ. Было не рано. Былъ гость — блондинъ во фракѣ, со значкомъ присяжнаго повѣреннаго, худой, съ запущенной бородкой. На бѣломъ мизинцѣ сверкалъ брилльянтикъ перстня. Бойкая курсистка въ декадентскомъ нарядѣ служила центромъ его вниманія.

Павель Ивановичъ переходилъ отъ статьи въ „Русской Мысли“, о которой шла рѣчь, къ жирной икрѣ. Столовая, въ голубыхъ обояхъ, сіяла чистотой и свѣтомъ. Здѣсь былъ просторный акваріумъ, въ которомъ вертѣлись рыбки. Столъ былъ уставленъ закусками.

— Очень рада, — протянула мнѣ руку Катерина Матвѣевна. — Рѣдкій-рѣдкій гость у насъ...

— Согрѣйтесь, сынъ блудный, — предложилъ Павель Ивановичъ и налилъ мнѣ вина.

Рѣчь шла о статьѣ, посвященной студентамъ, написанной студентомъ же.

— „Лгутъ въ политическомъ раздраженіи; лгутъ, чтобы побить рекордъ лѣвизны, чтобы не утратить популярности“, — цитировалъ Павель Ивановичъ. — Ха-ха-ха, что, если бы студентъ-смѣльчакъ напечаталъ это въ девяносто девятомъ году!

— Сами же вы ораторствовали въ девяносто девятомъ году, — сказала я.

— Ораторствовалъ. Всѣ ораторствовали.

Гость соглашался съ нимъ. Безспорно, радикализмъ — вещь хорошая. Но внѣ стѣнъ университета. Зачѣмъ ломать стулья въ аудиторіяхъ? Даже „публицисты съ именемъ“ признаютъ, что ораторы студенческихъ сходовъ поражаютъ „убожествомъ мыслей, скудостью, безобразностью своей рѣчи“.

Правда, у новой молодежи — свои крайности.

— Пьянство, „проблема пола“, эпидемія самоубійствъ — это тоже крайности

— Обойдется, — протянулъ Одинцовъ. — Все-таки лучше словъ и франтовитыхъ кличекъ. Радикализмъ — вещь хорошая, но пусть учатся.

Вѣдь, вчерашній обструкціонеръ сегодня идетъ на экзаменъ и проваливается. Норовитъ прсскочить безъ знаній, ибо видимость какого-то дѣла отнимаетъ все время.

Вѣдь, еще недавно рѣдкій учебный годъ доводился до конца.

Курсистка разсмѣялась. Катерина Матвѣвна пододвинула ей вазу, на которой были разложены груши, виноградъ, апельсины.

— Сергѣй, навѣрное, васъ осуждаетъ,—улыбнулась Одинцова.

— Пусть осуждаетъ. Я самъ думалъ иначе. Статью вотъ прочтите.

— Статью-то я читалъ... въ «Вѣстникѣ» Пуришкевича.

— Пуришкевичъ перепечаталъ? Тѣмъ лучше.

— Ая да Пуришкевичъ,—сказала Катерина Матвѣвна, чтобы переменить тему.

## VI.

Деревья стояли, запушенные инеемъ. Валилъ дымъ изъ трубъ. И сквозь его причудливыя очертанія смотрѣло зимнее небо, не освѣщенное солнцемъ.

Все визжало, дымилось въ воздухѣ, улетаая отъ щипковъ петербургскаго мороза.

Теперь, когда я жилъ на островѣ, съ его кончнымъ сообщеніемъ, я черезъ день ходилъ въ университетъ. Пособѣдаю въ «столовкѣ», забѣгу въ аудиторію, окуну разсѣяннымъ взоромъ спящую въ ней публику—и назадъ. Совсѣмъ сталъ плохъ.

Хандрю, просиживаю вечера въ своей комнатѣ, не зажигая огня.

На дворѣ крутитъ вьюга. Выводитъ снѣжные узоры на окнахъ. Дѣвушка за-топила печку. Весело трещать дрова. Раскаленные уголья дробятся, рушатся, вспыхиваютъ синіе язычки, въ полусумракѣ красныя пятна на полу дрожать.

Стало еще уютнѣе... Нѣтъ, это не облегчить, чувство пустоты не проходитъ.

На столѣ—самоваръ, недопитая чашка, брошенный кусокъ булки. Я спустилъ свои шторы, прилипшія къ окнамъ, и думаю, думаю.

— Да,—говорю я себѣ,—я—лишний. Петербургъ только задѣлъ меня крыломъ своимъ и его какъ бы нѣтъ.

Ни отвѣта, ни привѣта.

Вотъ онъ—стучить, сверлить, кружится... городъ задавленный, хоть и самъ себя роющий. Голодный, холодный. Гдѣ человѣкъ въ этомъ механизмѣ, соткавшемъ изъ него свои валы, свои винты, колеса, поршни? Человѣка нѣтъ. Одна хитрая механика.

Подъ самымъ окномъ моимъ работалъ этотъ механизмъ, но не укладывался въ ложе моихъ представленій. И я уходилъ въ себя далеко-далеко...

Только стукъ и шумъ таяли въ ушахъ...

Въ гимназіи ужъ было лучше. Какъ не лучше, чѣмъ такъ—ждать, ждать чего-то новаго, большаго и ничего не найти въ разноязычной суголокѣ, кромѣ Бланка да Павла Ивановича.

И сколько такихъ! Вотъ мысли „одинокихъ“, послѣднія мысли—изъ газетъ. Три курсистки, одинъ студентъ. Всѣ—самоубійцы.

„Окружающіе меня думаютъ, что я живу, но это неправда. Въ чемъ она, эта жизнь?“—спрашивала одна.

„Жизнь, жизнь,—писала другая,—но я не понимаю жизни. Я только понимаю, что въ моей жизни нѣтъ цѣли“.

„Нѣтъ друзей, нѣтъ добрыхъ товарищей, есть собутыльники. Дѣвушки, не примиряйтесь съ жизнью“.

Вотъ. Ужасъ въ томъ, что слабѣетъ инстинктъ жизни.

Источникъ ея отравленъ какимъ-то ядомъ, и этотъ ядъ разлитъ кругомъ насъ. Въ двадцать—двадцать пять лѣтъ пишутъ:

— Дѣвушки, не примиряйтесь съ жизнью!

Эхъ, и въ годину безвременья душа требуетъ хлѣба мучительнѣе, чѣмъ желудокъ. Вотъ они, лишніе, жмутся отъ холода, прибѣгаютъ къ револьверу, бросаются изъ оконъ пятыхъ этажей... Кто ихъ накормить?

Въ этомъ городѣ, отравленномъ какимъ-то ядомъ...

Въ сочельникъ вдругъ ко мнѣ заѣхала Зина Корнева. На морозѣ смуглое личико разрумянилось. Изъ подъ длинныхъ рѣсницъ, какъ прежде, ласково глядѣла пара большихъ глазъ. На ней мило сидѣло свѣтленькое платье.

— Что забыли насъ?—косилась она.

— Наши кланяются. Всѣ хотятъ васъ видѣть.

Я улыбался.

— Комната какая хорошенькая...

— Теперь часто буду ѣздить къ вамъ.—Слышите, Сергѣй Николаевичъ!

Она шутила, бережно складывая на столѣ записки и письма.

— Въ технологическомъ будете?

Въ технологическомъ—встрѣча Нового года. Концертъ. Послѣ концерта—танцы. Это самое главное въ наши дни, такъ какъ безъ нихъ гроша не выручить.

— Билета не достанете?

— Себѣ еле-еле достала. Билеты нарасхватъ.

Хорошо встрѣтитъ съ Зиной новый годъ, но какъ?

Я никого не зналъ, знакомства завязывались быстро и такъ же быстро разстраивались. Подойти поближе даже въ кружкѣ мнѣ было не легко. Я не обладалъ тѣмъ винтикомъ, который регулируетъ дѣйствія добрыхъ малыхъ.

Однако, билетъ добылъ помимо Зины. Случай выручилъ.

Были мы съ Швецовымъ на „Гамлетѣ“, въ Александринкѣ, на утреннемъ представленіи. Вдругъ рядомъ сѣлъ студентъ.

Углы губъ прикрывали усы, изъѣденные дымомъ. Волнистые волосы образовали шапку. Изъ сжуженныхъ зрачковъ смотрѣли сѣрые глаза. Я узналъ его. Это онъ совѣтовалъ мнѣ въ началѣ года „взять автономію за рога“. То же прамодушіе—въ глазахъ, въ голосѣ, въ движеніи головы.

Мы разговорились, и Иванъ Даниловичъ—такъ его звали—объщаль достать билеты на Новый годъ и мнѣ, и Швецову.

— Берите, берите,—сказаль онъ.

— Билеты же нарасхватъ, Иванъ Данилычъ.

— Какой тамъ „нарасхватъ“! Беруть, какъ сунешь въ руку.

## VII.

Наступаль Новый годъ. Падали хлопья снѣга, щекоча усы и бороду, и морозный вѣтерокъ свѣжилъ голову.

Звонокъ трамвая гулко потрясаль воздухъ. Чаше попадались извозчики, въ окнахъ было больше свѣта. Вонъ вышла луна изъ-за гигантскаго зданія. Лучъ ея скользнулъ по снѣгу, отразился въ окнѣ магазина.

Электрическій фонарь напомнилъ намъ, что мы у Технологическаго. Передняя завалена пальто, шубками, галошами, въ дверяхъ столпилась молодежь. Гуль разговоровъ шель изъ залъ.

У входа билеты продавались на какой-то вечеръ. Вездѣ были ряды головъ.

Мелькали наряды курсистокъ, тужурки, сюртуки студентовъ. Рѣже—цвѣтные ворота рубашекъ, длинные волосы. Больше было женщинъ.

Вотъ элегантная курсистка. Вся въ шелку. Группа технологовъ окружила ее, ведутъ въ столовую, угощаютъ. Она же рассказываетъ что-то, бросая улыбки направо и налево.

Здѣсь пили чай и закусывали бутербродами. На столѣ стояль самоваръ, распорядительницы наполняли стаканы публикѣ, звенѣли ложечки въ стаканахъ.

Но оживленныхъ лицъ немного. Вонъ — Данилычъ. Такъ величаетъ его студентикъ, румяный, свѣжій. Трудно сказать, которую онъ курить папироску и который разъ закладываетъ за ухо тесемку своего пенснѣ. Съ нимъ здороваются курсистка. Модная прическа, чѣмъ-то разстроены взглядъ. Вонъ и она исчезла въ общемъ движеніи.

Пили свѣтъ двѣ большія люстры. Острые лучи огней производили легкое оцѣпенѣніе, а гуль—нестройный, молодой—шель на улицу и тамъ казался плескомъ волнъ.

Не въ первый разъ я былъ въ такомъ собраніи. Толпа, чужія рѣчи. Какъ всегда въ этихъ случаяхъ, сперва конфузливость овладѣла мною, и я не находилъ себѣ мѣста. Я оглядываль публику и думаль: вотъ они—„ростки консерватизма“. Но прошло немного времени—какая-то подхватила волна, и такъ захотѣлось завертѣться въ этой атмосферѣ просто, хорошо.

Вышелъ артистъ, сталъ въ позу. Я обратился въ слухъ, но, затертый цѣпью, сомкнувшейся въ дверяхъ, застряль въ заднемъ ряду.

Оглянулся—тутъ и Швецовъ, уже на лѣстницѣ.

— Въ чертежной дебаты,—сказаль онъ.—Пойдемъ. Чѣмъ торчать въ дверяхъ, послушаемъ, что говорятъ.

Пошли.

— Корневы здѣсь?

— Не видалъ.

Въ чертежной было душно, накурено. Въ самомъ дѣлѣ, кто-то говорилъ рѣчь. Народу было немного, человѣкъ сто. Сидѣли на столѣ, двухъ-трехъ стульяхъ, на подоконникахъ. Когда открывали дверь, доносилось пѣніе, аккомпаниментъ рояля.

— Товарищи,—разслышалъ я,—по отношенію къ вамъ мы старое поколѣніе. Начало нашей дѣятельности относится еще къ девяностымъ годамъ. Нашимъ евангеліемъ былъ „Капиталь“, не обезцвѣченный примѣнительно къ подлости. Съ тѣхъ поръ много воды утекло.\* Вы отступили отъ убѣжденій золотого періода жизни. Отошли отъ научнаго социализма. Увлечлись чортъ знаетъ чѣмъ...

Говорилъ студентъ-лѣсникъ. Но лѣсникъ замолкъ, и не оказалось другаго оратора. Лѣсникъ недолго переждалъ и опять взобрался на стулъ.

— Товарищи,—началь онъ опять,—я васъ спрашиваю: быть или не быть въ Россіи молодежи? Въ теченіе многихъ лѣтъ стояли вы на высотѣ. И вотъ догорѣли всѣ огни. Равнодѣйствующая студенческихъ симпатій передвинулась въ сторону самаго рѣзкаго индивидуализма. Конечно, вы лишь отразили то, что дѣлается во всей странѣ. Но не молчите же, товарищи. Вѣдь, то молчаніе, которое вы здѣсь храните, означаетъ отказъ отъ тѣхъ высокихъ традицій, которыя завѣщаны намъ прѣжными поколѣніями.

— Неправда!—крикнули изъ публики.

— Прошу слова,—тотчасъ же сказали рядомъ.

Сказаль пожилой господинъ. Большая голова съ черной гривой. На короткихъ ножкахъ—нѣсколько согнутое туловище.

— Вы говорили о банкротствѣ Россіи вообще, студенчества въ частности,—обратился онъ къ лѣснику.—Одного не понимаю. Почему же банкротство и индивидуализмъ одно и то-же? Дѣйствительно, время наше—время распада, съ одной стороны, время пересмотра цѣнностей—съ другой. Но и то, и другое далеко не одно и то-же.

На словѣ „индивидуализмъ“ голосъ оратора дрогнулъ. Онъ продолжалъ громче.

Вотъ, на примѣръ, атеизмъ молодежи. Въ эпоху освободительнаго подъема выраженіемъ этого атеизма былъ марксизмъ. Эта ярко-атеистическая философія пролетаріата, лишенная и тѣни догматизма, окрасила въ то время самыя пестрые ряды молодежи. Но первое же дуновеніе критики—и отъ Бельтова одна пыль столбомъ. Теперь въ спорахъ студенчества много общаго со спорами сектантовъ. Что здѣсь дурного?

Теперь нѣкогда полныя аудиторіи пустуютъ. „Экономика“ не дала той вѣры, которой жаждетъ религіозная душа. Въ поискахъ догмы теперь пополняются аудиторіи богоискателей. Тѣ же слои молодежи охватила мистика. Что здѣсь дурного?

Правда, цѣлымъ рядомъ самоубійствъ чуткая молодежь доказала свою религіозную сущность, но такова ужъ трагедія современной души.

Голосъ звучный, авторитетный, въ каждомъ образѣ усилие плѣнить аудиторію. Ему похлопали, но не очень. Публики стало значительно больше.

Но только богоискатель кончилъ, опять на стулъ вскочилъ лѣсникъ. Вытянувъ впередъ шею, онъ анализировалъ все „по пунктамъ“, приводилъ „факты“.

— „Вѣхи“!—восклицалъ онъ.—„Вѣхи“ оплевали всѣ старые идеалы. „Вѣхи“ объявили: долой политику, да здравствуетъ національное лицо. И эти „Вѣхи“ въ нѣсколько мѣсяцевъ выдержали нѣсколько изданій. Эти „Вѣхи“ встрѣтили откликъ въ студенчествѣ. Это ли не банкротство!

Онъ сдѣлалъ паузу.

Я взглянулъ въ сторону и увидѣлъ Вѣру Ивановну. Въ темномъ платьѣ съ крахмальнымъ воротничкомъ. Она смотрѣла на оратора. Тонкая шея чуть-чуть вздрагивала... Вѣра Ивановна, видимо, собиралась вставить свое слово.

Богоискатель слушалъ съ усмѣшкой. Когда смолкли хлопки, одинаково жидкіе, онъ сказалъ, что факты, приведенные с.-д., подтвердили лучше всего то, что говорятъ противники с.-д.

Ему опять возразили. И кто же?

— Нанесите студенчеству окончательный ударъ,—сказала Вѣра Ивановна,—отнимите клочки университетской автономіи, какіе еще остались, и вы увидите: повторится опять точно то же, что было 5—6 лѣтъ назадъ!

— Правильно!—крикнули изъ публики.

И обильные хлопки оживили чертежную.

Что-то непонятно крикнулъ студентикъ въ сюртукъ. Выступилъ ка-детъ. Чертежная оживилась

...Встрѣтили тостомъ Новый годъ, и еще рѣзче раздѣлились. Одинъ горячился другой не давалъ говорить, и не было никого, кто бы упорядочилъ споръ.

Въ сторонѣ кто-то вопрошаетъ:

— Если жизнь не даетъ намъ прежняго идеализма, развѣ это вина студентовъ?

— Изъ-за деревьевъ лѣса не видите.

— Ну-ка, покажите мнѣ его.

— Пока бѣла вѣра, самое тяжелое переносили.

Вотъ въ центрѣ студентикъ въ сюртукъ.

— Уже выборы студенческихъ центровъ въ 1906 г. съ ихъ плакатами, ре-



золюціями были игрой въ политику! Общестуденческое движеніе умерло. Это ясно каждому.

— Да, разслоеніе студенчества оказалось еще серьезнѣе, чѣмъ представляли себѣ тогда!

— Что кого привлекаетъ, туда и иди!

Рѣдко, но слышалось:

— Тяжелое время не должно насъ смущать.

— Пройдетъ вѣтерокъ...

Назывались авторы, цитировались мнѣнія, которыхъ я не зналъ. Ликвидаторство, богоискательство, вѣхи, антивѣхи—эти выраженія пестрили рѣчь. Я ихъ слышалъ, но не понималъ ихъ. Мое развитіе не шло дальше Бельтова. Распадъ настроенія, идейный разбродъ, вражда къ этому разброду—я, нѣкоторый атомъ новой молодежи, въ этомъ не разбирался, но владѣло мной все-таки „старое поколѣніе“.

Концертъ давно конченъ, танцы въ разгарѣ.

И вотъ снизу, изъ столовой, выплываетъ гибкій тенорокъ:

Быстры, какъ волны...

„Дни нашей жизни“,—полились два-три женскихъ голоса.

Пѣсня звучитъ еще неувѣренно, мелко. Послѣ „Дней нашей жизни“ воскресла въ средѣ молодежи эта пѣсня, затертая пѣснями революціи. Доносится звонъ стакановъ, хлопаютъ пробки бутылокъ. Вотъ откуда-то выплылъ молодой басокъ, металлическій, твердый.

Налей, налей, товарищъ...

обвиваетъ его легко вибрирующій тенорокъ.

Заложивъ руки за спину, я шелъ съ Вѣрой Ивановной въ столовую.

...Умрешь, похоронять,

Какъ не жить на свѣтѣ...

груститъ пѣвучая волна.

— Пожалѣли о только что ушедшемъ,—меланхолически бросаетъ юноша на ходу, подпѣвая въ тактъ пѣснѣ.

— Но вернуть не смогли,—въ тонъ отвѣчаетъ курсистка.

Публика валила въ залу, въ столовую. Лишь въ одномъ мѣстѣ шелъ споръ, то умиротворенный, то злой. Но уже послѣ того, какъ горка бутылокъ возвышалась около.

...Налей, налей, товарищъ...

обнимались голоса уже въ потокѣ звуковъ.

Что-то таяло, исчезало въ нихъ. Вдругъ—Зина Корнева.

— Гдѣ пропадали?

— Сергѣй Николаевичъ!

Она все время слушала концертъ. Подошелъ Швецовъ.

— Лѣсничекъ-то... ни одного копыя не сломаль...

### VIII.

Въ моемъ уголкѣ, несмотря на лѣсной воздухъ, стало душно, какъ въ погребѣ. Опротивѣли пѣтухи съ красными физиономіями.

И разстался я съ Крестовскимъ еще до вѣяній весны. Поселился уже на Сергіевской, между Швецовымъ и Данилычемъ—съ одной стороны, Зиной Корневой—съ другой.

Уже показывалось солнце. Оно сіяло въ безоблачномъ небѣ, и сіялъ снѣгъ на солнцѣ, сіяли купола церквей. Оно свѣтилось въ лицахъ, посвѣжѣвшихъ отъ мороза, въ мохнатыхъ паркахъ, въ ледяныхъ оковахъ Невы.

Какъ хороши были эти дни, озаренные солнцемъ—этой рѣдкой улыбкой Петербурга. Грохоталъ городъ, гордый своими шпицами, дворцами, заводами, и для меня, жителя захолустья, была непередаваемая прелесть въ сочетаніи холоднаго зимняго солнца съ культурой города.

Преодолывая грусть, я бродилъ по улицамъ, по берегу Невы.

Группа рабочихъ рубила прорубь, ворочала зеленые глыбы льда. Топоръ стучалъ. Дальше—угрюмые стѣны каземата. Часовые у воротъ. Гордо врѣзался въ небо великолѣпный шпиль... Я переходилъ мостки. Очувшись гдѣ-нибудь на окраинѣ, среди дымящихся трубъ и рельсъ, складовъ и бочекъ, среди специфическаго запаха фабрично-заводской улицы, я поворачивалъ назадъ.

Наше поколѣніе юности не знаетъ,

Юность стала сказкой миновавшихъ лѣтъ.

Это былъ отголосокъ рѣчей подъ Новый годъ. Впечатлѣніе все-таки было хорошее.

Каждый день встрѣчаемся съ Данилычемъ въ „столовкѣ“. Всякій разъ Данилычъ критикуетъ.

— Супомъ нашимъ не обожжешься.

Одинъ день онъ „первоблюжникъ“, т. е. одно первое ѣстъ, второй—„второблюжникъ“. И хоть разъ въ недѣлю лакомится третьими блюдами.

— Врядъ-ли будетъ ошибкой сказать, что не по карману.

Онъ самъ находилъ, что „столовка устроена по домашнему“, что „нѣтъ въ ней іудея, нѣтъ эллина“, такъ какъ завѣдуютъ ею студенты, но пользоваться обѣдами „въ кредитъ“ считалъ ниже своего достоинства.

Я узналъ отъ Данилыча, что лѣсникъ уже десять лѣтъ перекочевываетъ изъ университета въ политехникумъ, изъ политехникума въ Лѣсной.

— Старый волкъ,—добавилъ онъ.—Но оба воду лили, по правдѣ сказать.

— Сравнилъ! Религіозные споры сектантовъ! Тамъ... да. Тамъ — серьезно Но—здѣсь...

Любилъ такі Данилычъ, угощая насъ чаемъ съ булкой, поговорить.

— Всѣ эти споры,—говорилъ онъ,—теперь выродились. У насъ всегда не столько изучали, сколько скользили по поверхности, не столько усваивали, сколько любили говорить. Недавно еще шли... да, дѣлали что-то. Теперь же все это такъ смутно, такъ туманно. И если одни ударяются въ проблему пола, другіе съ кумировъ пыль стряхиваютъ, то, въ концѣ концовъ, и тѣ, и другіе топчутся на одномъ мѣстѣ.

— На нѣтъ и суда нѣтъ. Что дѣлать,—ораторствовалъ онъ,—скользя, братъ, почва возвращеніе къ прошлому.

Сынъ сельскаго священника, онъ перебивался уроками съ неизмѣнными объявленіями въ „Новомъ Времени“. Къ трезвости приучили его постоянныя столкновенія съ дѣйствительной жизнью. Но общительный, полный стремленій къ умственной пищѣ, Данилычъ мало зналъ. Заработокъ держалъ въ ежовыхъ рукавицахъ. Послѣднія пять-шесть лѣтъ еще болѣе обострили борьбу молодежи, тяжкую борьбу съ нуждой. Недоѣданіе, разбивающее бодрый духъ, неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ сыграли свою роль даже въ самоубійствахъ.

Потомъ Швецовъ абонировался въ бібліотеку, и мы стали почитать вмѣстѣ. Читали „Вѣхи“, „Литературный распадъ“, „На славномъ посту“. Приняла участіе въ чтеніяхъ и Вѣра Ивановна, привозившая съ собой только что вышедшія книги журнала.

Чтенія шли недурно. Я впервые понялъ, что не самъ по себѣ живъ студенческой идеализмъ, а поскольку живо все русское общество, что студенчество первое испытываетъ на себѣ колебанія правительственнаго курса. Данилычъ легче схватывалъ житейскую сторону предмета, часто убѣждалъ насъ, какъ „ларчикъ просто открывался“. Зато въ отвлеченностяхъ и Данилычъ, и Швецовъ, и Вѣра Ивановна пассивали и принимали мой толкъ.

Все въ загонѣ Менделѣевъ съ Тимирязевымъ. Не влекло меня естествознаніе. Оно не открывало „горизонтовъ“. Свѣтило спокойнымъ, ровнымъ свѣтомъ. Не наука тянула меня. Тянуло то, что связывало слышанное. Тянула даль, смѣлый взглядъ, устремленный въ эту даль, влекущій куда-то... Чѣмъ-то повѣсть со страницъ. Екнетъ сердце, крылья почувствуешь. Эхъ, летишь изъ своего тѣснаго нующаго мірка далеко-далеко—въ міръ былого или... грядущаго?

Позже появился еще однокурсникъ Данилыча, юристъ Малыгинъ. Данилычъ мало зналъ его, но говорилъ о немъ всякій разъ съ чувствомъ.

Безспорно, энергичный, умный. Не было какъ-будто книги, которой онъ не прочелъ. Не было вопроса, которымъ не интересовался. Бывшій „эс-декъ“, теперь „эс-эръ“, онъ готовъ былъ день и ночь доказывать, что эс-декъ разобьетъ горшокъ буржуа, чтобы показать свою храбрость; даже „эс-эровъ“ дѣлил на тѣхъ, что не бываютъ трусами, и тѣхъ, что бываютъ.

— Ну, и шутъ же вы, паря,—говорилъ ему Данилычъ.

Правда, въ нихъ, въ этихъ убѣжденіяхъ, не чувствовался художникъ. Зато какъ-будто было то, чего не купишь ни за какія искусства.

Былъ Малыгинъ раза три. Говорилъ то о Каляевѣ, то о Желябовѣ, о томъ времени, когда все шло „по новому, по новому-весеннему“. Не влилъ въ понятія наши—разбросанныя и несобранныя—струи своей. Нѣтъ. Но впервые получили мы понятіе о партійныхъ дразгахъ, о полемикѣ за границей.

Послѣдній разъ принесъ съ собою листки анкеты. Анкета, уже прошедшая въ двухъ-трехъ институтахъ, теперь дошедшая до насъ, универсантовъ, касалась той области, которая составляла еще вчера гордость молодежи: политической физономіи студенчества.

Анкетная карточка, содержащая въ себѣ до 20 вопросовъ, составлена была съ исчерпывающей полнотой, но Швецову не понравилась.

— Удивляюсь, какъ это помѣстили такіе вопросы въ опросные листки,—сказалъ онъ.

— Въ самомъ дѣлѣ,—пошутила, Вѣра Ивановна, — вопросы эти не могутъ оказаться на руку нѣкоторому отдѣленію?

— Какимъ же образомъ? Вѣдь, имени и фамиліи опрашиваемаго не требуется,—изумился Малыгинъ.

Я записался эс-декомъ, Данилычъ—безпартійнымъ. Вдругъ приходитъ Данилычъ ко мнѣ, грустный и разстроенный. Никогда онъ не нылъ, не „распускалъ нюни“. Напротивъ, „роскошно чувствовалъ себя“, несмотря на всѣ мытарства. Теперь онъ былъ разстроены.

— Въ чемъ дѣло?—удивился я.

— Малыгина... сказать не рѣшаюсь.

— Ну?

— Подозрѣваютъ...

— Вотъ оно что!

## IX.

Корневы опять въ двухъ шагахъ. Перейти только плацъ.

Теперь Корневы какъ-то разбились. Шура считала меня нытикомъ. Зина, напротивъ, выражала сочувствіе, дружбу. Она стала свободнѣе, и мы опять видимся чаще.

Только у нея на душѣ все неспокойнѣе...

Милая дѣвушка! Иногда въ глазахъ загорится огонекъ, смуглая кожа бросаетъ тѣнь. Или, румянецъ вспыхнетъ, что-то алчущее въ лицѣ. Отчего?

Въ ея жизни было горе. Я это знаю отъ Вѣры Ивановны. Близкаго убили въ 905 году.

Но одно ли горе давить? Была на курсахъ, пришлось уйти. Давить хлѣбъ,

не дающій остановиться. Ежеминутно тревожить. Давитъ зависимость, страхъ передъ неизвѣстнымъ будущимъ.

Молодая, красивая, она не интересуется никого; и сама никѣмъ не интересуется. Если она знаетъ, что кто-либо сидитъ у меня, она ни за что не придетъ. Но если ее застанутъ,—часто даже противъ воли говоритъ, смѣется, и это какъ-то вяжется съ ея пониманіемъ жизни. Когда я указалъ ей на это, доводы мои разбились о ношу жизни, которую она несетъ на своихъ плечахъ, какъ-то неожиданно для меня.

Отзывчива ли Зина? Въ иныхъ условіяхъ—да.

Но рана мертвитъ индивидуальность. Жизнь не дала ей размаха. Собственная боль поглотила помыслы, и Зина не въ состояніи уйти отъ этой боли.

Жизнь передъ ней точно подернута туманомъ. Не выбраться ей изъ тумана. Доброта и ласковость чаще плодъ ея пришибленности, чѣмъ знанія сердца, чужого сердца.

Вчера сидѣли мы оба. Я передъ столомъ, лицомъ къ окну, Зина на диванѣ. тоже лицомъ къ окну. Лучи заходящаго солнца—мое окно выходитъ во дворъ—играли на верхушкѣ крыши.

— Смотрите,—сказала Зина,—солнце садится. Медленно-медленно.

Звонили къ вечернѣ, и ударъ за ударомъ раздавался и таялъ въ воздухѣ. Сумерки навѣвали грусть.

— А два часа тому назадъ оно было такъ высоко...

— Сіяло всѣми своими лучами...

— Какъ живая жизнь человѣка,—произносила она, глядя въ сумерки, въ окно.

Вдругъ перемѣнила разговоръ.

— Ужасный случай сегодня въ газетахъ. Читали? У меня въ муфтѣ номеръ газеты—прочтите.

Дѣйствительно, ужасный.

Студентъ-политехникъ. Его никогда не было слышно. Одинъ разъ политехникъ дома не ночевалъ. Утромъ же, убирая комнату, хозяйка нашла записку.

Вотъ эта записка: „До сего дня я былъ такъ жалокъ, что голосъ мой былъ голосомъ ничтожества. Но сегодня, когда я вишу передъ вами на деревѣ, пусть мое слово не будетъ стономъ вопіющаго въ пустынѣ. Мертвые не лгутъ. Пусть общество, пусть студенчество устыдится самого себя. Можно лелѣять, украшать могилы ушедшихъ, но жить на кладбищѣ нельзя.“

На другой день трупъ разыскали въ Удѣльномъ паркѣ.

— Ужасно!—слова прыгали передъ глазами.

Помолчали.

— Ужасно?.. Такъ вотъ уйти отъ тяжести, хлопотъ, всей этой суеты жизни?

— Это какая-то зараза!

Хорошо, что не разслышала! я не думалъ того, что сказалъ.

— Хорошо, ахъ, хорошо!—Вся потянулась, вздрагивая своимъ хрупкимъ тѣломъ Зина, точно хотѣла показать, какъ хорошо ей послѣ того, что сказала, мнѣ.

Что это, откровенность? Когда она говорила о себѣ, я зналъ: это будутъ мелочи, не имѣющія внутренняго значенія. Да и могли ли имѣть въ тѣхъ условіяхъ, изъ которыхъ сложилась ея жизнь?

Сама не знаетъ, какъ распорядиться собой. Точно ждетъ чьей-то власти, которая распорядится ею. Нужно что-либо сильное, чтобы захватило ее, заставило забыть смерть, вылило всю безъ остатка.

Я не прошу откровенности. Общество Зины дорого мнѣ дружескимъ взглядомъ, который такъ хорошъ только у женщины. Онъ грѣетъ мое сердце, тише работаетъ оно.

Вчера, когда я провожалъ Зину домой, она что-то еще начала говорить. Мы шли черезъ плацъ, тускло горѣли фонари.

Не договорила. Точно коварная змѣйка укусила ее въ самое сердце.

— Про Малыгина слышали?

— Богъ съ нимъ...

Она не смотрѣла мнѣ въ глаза.

— Шура говорила: его судить будутъ.

## Х.

Въ корридорѣ—гулъ. Вдругъ „мирная работа“, наладившаяся за три-четыре года, нарушилась. Ударъ за ударомъ сыпался на остатки „автономіи“—ничего. Но вотъ грязные помой вылиты съ кафедры высокой палаты—и „курилка“ главного корпуса покрылась воззваніями, призывающими на сходку.

Пожалуй, такъ бы сходка и не состоялась. Собралась кучка студентовъ, спѣла марсельезу и раз шлась. Еще подошло народу, но уже изъ любопытства, а не для протеста. Но на другой день ректоръ вывѣсилъ объявленіе. Оно содержало въ себѣ всего нѣсколько словъ. Ректоръ просилъ не нарушать правильнаго хода занятій и перечислялъ кары, угрожающія виновникамъ нарушенія. Но это-то объявленіе, перезождая весь гнѣвъ съ національных паяцовъ на профессуру, и собрало толпу.

Обращеніе же академистовъ, посвященное неудачѣ, превратило толпу въ сходку.

„Проснулось снова подполье. Ожили черные вороны, но не взлетѣли,—подмывали они.—Одни вы каркаете. Что вамъ наука, что вамъ университетъ?

„Слѣпая довѣрчивая молодежь, неужели провалъ вчерашней сходки не разсѣетъ окончательно стараго гипноза! Лица ваши были пасмурны, угрюмы.

„Нѣтъ, чистое дѣло не убьютъ грязныя еврейскія руки. Отойдите же отъ нихъ вы, еще чистые сердцемъ! Сплотитесь же крѣпче!“

Начали осаждать актовъй залъ. Залъ оказался закрытымъ. Тогда разгоряченнымъ напоромъ замокъ былъ сломанъ—и вся масса хлынула внутрь.

Сходка открылась. Президіумъ былъ уже готовъ: тотъ самый, предложенный коалиционнымъ комитетомъ, образовавшимся наканунѣ отъ 16 учебныхъ заведеній.

Я взобрался на окно вмѣстѣ съ Данилычемъ. Совѣмъ отвыкъ отъ аудиторіи. Студенты толпились повсюду—у кафедръ, у дверей, у оконъ.

— Товарищи,—сказалъ предсѣдатель,—ушатъ помоевъ вылили намъ на голову. Товарищи-новички, молодые кадры, мы къ вамъ обращаемся. Вспомните лучшія традиціи студенчества. Ваша пассивность до сихъ поръ оказывала поддержку вашимъ врагамъ. Протянемъ же другъ другу руки, чтобы общими силами отразить оскорбленіе.

Но вопросъ тотчасъ перешелъ на объявленіе. Что—грязь! Мы сами по себѣ чисты! Вотъ „автономные“ профессора такъ увлеклись борьбой со студенчествомъ, что совѣмъ забыли объ автономіи.

— Нечего сказать, автономія!

Автономія для профессуры, а не для студенчества.

— Измѣнись положеніе дѣлъ, получи преобладаніе профессура черная—и у насъ въ Петербургѣ будетъ то же, что въ Одессѣ, что въ Казани.

Недаромъ въ Одессѣ, въ Казани студенты даже не чувствуютъ, что что-либо измѣнилось послѣ объявленія автономіи. Для нихъ перемѣшеніе функций съ министерства на совѣтъ профессоровъ имѣло лишь то значеніе, что раньше полиція являлась по собственной инициативѣ, теперь же по инициативѣ совѣта профессоровъ.

— Вотъ какъ,—раздались иные голоса,—недаромъ же вы даете поводъ заявить, что автономія не ввела академическую жизнь въ нормальное русло!

Трудно дается завоеваніе правъ, но еще труднѣе сохранить ихъ.

Вы говорите: „шестнадцать учебныхъ заведеній“. Клянусь, это звучитъ гордо, но неубѣдительно. Цѣль движенія прежде была всѣмъ близка, всѣхъ захватывала. Теперь же трафаретъ другой: призывъ къ выступленію, проба силъ и послѣдній этапъ—проваль. Какъ горячъ, какъ энергиченъ призывъ эс-дека или эс-вра, но какъ жалко, какъ мизерно самое движеніе. А почему? Все-таки автономія! Что ни говорите—автономія! Будемъ же беречь автономію до послѣднихъ силъ!

Первое проводила группа с.-д., второе—студенты-кадеты. Однако, въ группѣ с.-д. не было единенія. „Большевики“, какъ и с.-р., стояли за протестъ рѣзкій. „меньшевики“ же были противъ „эксцессовъ“. Отмежевавшись отъ „кадетскаго болота“, они доказывали:

— Свободная высшая школа можетъ существовать только въ свободной странѣ. Это и рѣшаетъ вопросъ, что намъ дѣлать.

Студенческое движеніе—движеніе академическое—было лозунгомъ до 99 года. Студенческое движеніе—движеніе политическое—стало лозунгомъ послѣднихъ лѣтъ.

Перестали существовать „радикалы“, какъ—единое. Появились с.-д., с.-р., бывшіе освобожденцы, а теперь кадеты.

Долой же пережитки „радикализма“—нераціональную трату энергіи! Мы призываемъ студенчество сохранять свои силы...

Послышался свистъ академистовъ. Явился проректоръ.

— Не нарушайте хода занятій,—просилъ онъ.—Въ противномъ случаѣ мы вынуждены будемъ извѣстить полицію.

— Она уже спрятана внутри двора,—крикнулъ Данилычъ.

Однако, сходка обѣщала, что черезъ двадцать минутъ разойдется. И вотъ тутъ-то выступили академисты. Дѣло въ томъ, что теперь записъ ораторовъ какъ разъ была заполнена хотя не ими, но союзниками. Это, конечно, разница. Время, когда на каедрѣ не могъ показаться даже ораторъ кадетскаго образа мыслей безъ того, чтобы не быть встрѣченными концертомъ свистковъ, сейчасъ смѣнилось „сотрудничествомъ“ съ октябристами и союзниками. Печать отверженности—на однихъ „академистахъ“. Но въ данномъ случаѣ это не имѣло значенія, срывали сходку и тѣ, и другіе.

И вотъ союзники заговорили.

— Три года прошло, какъ режиссеры политики потушили факель своего краснорѣчія,—началь одинъ.—Прошло время анонимныхъ политическихъ дѣльцовъ, которые пытались втянуть насъ въ неравную и безцѣльную борьбу, тѣмъ самымъ провоцировать закрытіе учебныхъ заведеній. И вотъ опять зажигательныя рѣчи о революціи, подкрѣпляемыя Марксомъ, Бебелемъ. Клевета за клеветой сыплется на лучшихъ людей. Конечно, не жаль красныхъ словецъ оратора,—отчего не послушать соловья. Но за продѣлки жонглеровъ слова отдуваться шкурой и боками приходится намъ же, большинству. Г.г. политики, довольно паясничать! Прочь отсюда, г.г. политики! Дайте дорогу академизму!

И пошли писать:

— Стоитъ взглянуть на президіумъ, чтобы воскликнуть: да гдѣ же русское студенчество? въ русскомъ ли университетѣ мы находимся?

— Студенчество поступаетъ такъ, какъ хочетъ его лѣвая нога. Гребите же, други... мы воздвигнемъ теченіе встрѣчное—противъ теченія...

Поднялся невообразимый шумъ. Усиліями президіума записъ ораторовъ была остановлена. И рѣшено было перейти къ голосованію. Тогда поднялся вопросъ о коалиціонномъ комитетѣ.

— Кто его выбралъ?—кричалъ кто-то.

— Каковы его функціи—мы всѣ знаемъ, но кто его выбралъ?

— Пусть назовутъ фамиліи!



Предсѣдатель не хотѣлъ ничего отвѣчать. Но, подумавъ, проголосовалъ резолюцію о томъ, выражаетъ ли сходка довѣріе коалиціонному комитету. Резолюція была принята.

— Пушечное мясо!

— Азефы!

— Самозванцы отъ с.-д. и с.-р.!

— Пуришкевичи!

Еще моментъ—и академики форсировали уже револьверами, которые имъ разрешено носить.

Въ это время проректоръ заявилъ, что помощникъ пристава уже запрашиваетъ о происходящей сходкѣ. Онъ, проректоръ, взялъ отвѣтственность на себя; ручался, что нарушенія порядка не будетъ. Но пусть же студенты разойдутся, наконецъ.

Начался торгъ, въ результатъ котораго всѣ задвигались къ дверямъ. Что-то трещало, хлопало; тысяча ногъ стучали. Разошлись по аудиторіямъ, лабораторіямъ. Конецъ.

И я двигался рядомъ съ Данилычемъ. Я такъ разглядывалъ всѣ эти лица, какъ-будто видѣлъ ихъ въ первый разъ. Вотъ корридоръ.

Въ корридорѣ—гуль. Пахнеть экзаменами. Идутъ разговоры объ экзаменахъ. Два-три лектора назначили репетиціи, и вокругъ столиковъ толпится молодежь. За молодежью—профессоръ. Юноша съ программкой спѣшно выкладываетъ всю премудрость.

Отвѣтилъ. Его мигомъ окружаютъ. Спрашиваютъ, каково настроеніе профессора, долго ли пришлось отвѣчать. Студентъ, подъ впечатлѣніемъ сданной репетиціи, отвѣчаетъ разсѣянно...

Гуль тѣмъ больше, что лекція кончилась. Вотъ сдающіе государственные экзамены у канцеляріи факультетовъ. Даже „читалка“ такъ заполнена, что свободного мѣстечка не найти.

## XI.

Стучать лопаты, топоры. Долбятъ, обкалываютъ. Весна идетъ.

Снѣгъ убранный, ручейковъ какъ не бывало. Ни лужъ, ни непросохшей грязи. Все сухо, не колеблется подъ ногами. Люди дѣлали весну прежде горячаго солнца.

Вонъ за оградой стоятъ деревья, эластичныя, нѣжныя. Расправляютъ свои верхушки, наливаются, рвутся къ свѣту.

Охорашивается толпа на улицахъ, въ весеннихъ кофточкахъ, въ пальто нараспашку. Весенній вѣтерокъ шелеститъ листками книгъ—и трескъ мостовой, и звуки скрипки врываются въ открытое окно.

Мы съ Вѣрой Ивановной смотрѣли въ водяныя глыбы. Ихъ разсѣкалъ.

острый носъ парохода. Блестѣла гладь Невы съ отраженіемъ блѣсоватыхъ тучекъ. Высоко-высоко, между двумя такими тучками, распласталъ крылья черный хищникъ.

Хорошо! Вдали ныряли лодки. По берегамъ все дачи, фабрики, бестѣдки. Голоса дрожали на мостикахъ. Покинувъ духоту весенняго Петербурга, я съ наслажденіемъ вдыхалъ рѣчной воздухъ.

Равнодушно хлопали колеса. Кругомъ мужички, торговки. Звуки гармоники, плачь ребенка...

Хороша весна на просторѣ. Зовущая, смѣющаяся суматохъ людей. „Спѣшите,—говорила она,—а то вотъ закачусь съ моими дарами, какъ закатывается юность, оставляя фальшивые зубы. Спѣшите, кто можетъ, у кого есть о чемъ посмѣяться въ эти дни!“

Вѣра Ивановна патетически оглядываетъ небо и землю.

...Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ.

Душу вольную отдай...

произносить она по слогамъ.

Мы ѣдемъ къ учительницѣ шлиссельбургскаго уѣзда Орловой, подругѣ Вѣры Ивановны по гимназіи. Горячка—экзаменаціонная горячка—въ разгарѣ.

Вооружившись самоваромъ, Данилычъ сосалъ страницу за страницей. Затѣмъ шелъ на урокъ, сдавалъ экзаменъ съ благороднымъ рискомъ и спалъ мертвецкимъ сномъ. „Зубрилъ“ Швецовъ. Сѣдовъ съ Ермолаевымъ уѣхали съ трофеемъ первыхъ побѣдъ на научномъ поприщѣ.

Я тоже раскрылъ Менделѣева. Первые страницы были уже разрѣзаны. Я читалъ, просматривалъ. Химія была уже прочитана, составленъ конспектикъ на листкахъ. Какъ вдругъ—Вѣра Ивановна.

— Не хотите ли въ деревню?

— Въ деревню?... Не могу, Вѣра Ивановна. Менделѣевъ!

— Успѣется Менделѣевъ.

— Поѣдемте. Инна Николаевна будемъ вамъ рада не менѣе, чѣмъ мнѣ.

— Ну, быть по вашему.

Запахло лѣсомъ и раздольемъ. Школа занимала барскій, еще не обстроившійся флигель. Къ нему примыкалъ паркъ, который шелъ обрывистымъ берегомъ. Бѣлѣли стволы березъ, тропинки разбѣгались.

Мальчикъ подвозилъ насъ къ другому берегу, а въ рѣкѣ намъ улыбалась пара сѣрыхъ глазъ. Инна Николаевна въ своей накидкѣ, улыбающаяся, отражалась вся въ водѣ. Лицо ея, съ узкимъ ртомъ, было малоподвижное, но нѣжное, внимательное. Изъ-подъ массы русыхъ волосъ выступала тонкая шея.

На балконѣ уже кипѣлъ самоваръ. Молоко и яйца пахли деревней. Чувствовалось легко и просто.

— Вѣрочка, видѣли вы Власову?

— Которую?

— Эхъ, вы... ну, Таню. Которая за Негской заставой.

— А-а,—тянула Бѣра Ивановна,—давно не видѣла.

— Разскажъ ея напечатали. На столѣ у меня книжка.

Ароматъ весны звалъ внизъ, подъ навѣсъ глянцевитыхъ листьевъ, но пришла дѣвочка съ косичкой и принесла зоологическій альбомъ. Инна Николаевна взяла альбомъ въ руки.

— Раскрою, знаете, я этотъ альбомъ. Говорю моему Федѣ: „видишь, Федя, пѣтухъ!“ Ха-ха-ха! Показываю, конечно, гуся. —Она сдѣлала паузу.—Ну, Федя мой тянетъ: „да, да, пѣтухъ“. И каждый разъ, каждый разъ—сгорченіе!! Застра вотъ огорчится мой Федя.

Заговорили объ университетской сходкѣ.

— Правда ли, что ораторамъ запрещенъ входъ на лекціи?—спросила Инна Николаевна.

— Правда. Сходка не была разрѣшена.

— Меня тронуло одно,—сказала Бѣра Ивановна:—единеніе меньшевиковъ съ кадетами. Вѣдь, то-же говорили кадетскіе защитники школьнаго порядка: „спокойствіе, спокойствіе, еще рано выступать открыто“.

— „Вы погубите и автономію, и себя“—подразнилъ я ее.

— Пустяки,—уронила Инна Николаевна.

На другой день я поднялся на восходѣ. Пробрался въ паркъ.

Полоса неба съ золотымъ отливомъ по краямъ разгоралась около солнечнаго диска. Погружалась въ синія волны рѣки. И синія волны прыгали, убѣгали и выбѣгали вновь, блестя, какъ чистое серебро.

Впереди—разбросанныя хатки. Позади — луга. Задумавшись, луга смотрѣли вслѣдъ убѣгавшей рѣкѣ. Сами бѣжали въ даль безмолвно, безконечно. Природа сѣвера сіяла въ каждой каплѣ росы.

Передъ обѣдомъ пришелъ Федя. Былъ праздничный день. Онъ уже зналъ, что къ „учителькѣ“ пріѣхали гости. Пришелъ поглядѣть. На этотъ разъ вмѣсто гуся фигурировала бѣлочка съ острыми зубками. Вмѣсто пѣтуха—заяцъ. Федя уставился глазенками въ рисунокъ.

— Да, зайка!—твердилъ онъ съ обидой въ голосъ. И, не поднимая глазъ, показывалъ, какая именно у зайки особенность.

Я смотрѣлъ на его худенькую фигурку со вздернутымъ носикомъ и чувствовалъ, какъ, въ самомъ дѣлѣ, Федя „огорченъ“.

Пріятельницы все вспоминали дѣла минувшихъ дней. Въ словахъ Инны Николаевны слышалась душа. Она какъ-то не замѣчала мелочей жизни. Довѣрчиво смотрѣла ей въ глаза.

Я любовался ею. Въ самомъ дѣлѣ, Инна Николаевна была одна, изъ глуши не выѣзжала. Отчего же въ ней и тѣни нѣтъ того, что тамъ связало всѣхъ насъ.

Въ душѣ вставалъ образъ... чѣмъ-то бодрѣе вѣяло отъ него, какъ со страницъ, которыя мы читали въ Петербургѣ.

А останешься наединѣ—непремѣнно вспомнишь, какъ нехорошо будетъ застрять на первомъ курсѣ послѣ гимназическихъ мытарствъ изъ класса въ классъ. Я чувствовалъ шаткость. Это не было знаніе. Малѣйшій диссонансъ—и я собьюсь. Но что скажутъ родные? Они не жалѣли скудныхъ средствъ.

Моихъ дамъ нельзя было зазвать въ комнаты.

Молодую травку окружали прошлогодні листья, грибы, вѣтки. Они хрустѣли подъ ногами. Слышался запахъ земли и рѣки. Федя откуда-нибудь выкрикивалъ:  
— Инна Николаевна! а Инна Николаевна!

## XII.

Я входилъ въ длинный университетскій дворъ и на душѣ у меня былъ камень. Давящій, острый. Обрывки мыслей мелькали въ головѣ.

Экзаменъ давно ужъ начался. Я не слыхалъ отвѣтовъ и—что всего досаднѣе—всякій интересъ терялъ слушать ихъ. Я не былъ въ состояніи систематизировать свои познанія.

Профессоръ экзаменовалъ одинъ. Студенты выходили по-двое. Одинъ на доскѣ готовился къ отвѣту, другой же въ это время отвѣчалъ. Студенты не толпились, какъ въ другихъ аудиторіяхъ, а сидѣли на мѣстахъ.

Профессоръ—въ покойномъ креслѣ—то тянулъ свою папироску, то слѣдилъ, какъ эта папироска дымилась, вспыхивала, потухала. Голосъ ровный, металлическій.

— Ну-съ, господинъ Еремичъ!

Билетъ: „Періодическій законъ“. Я ясно зналъ билетъ.

Отвсюду сотни глазъ. Но ощущеніе радости пробѣжало быстро. Не все ли равно? Я чувствовалъ одно: равнодушіе. Равнодушіе къ своей программѣ, къ доскѣ, на которой писалъ, къ папироскѣ, которая дымилась въ рукъ профессора, даже къ предстоящему отвѣту.

Сосѣдъ мой „сѣлъ“. Профессоръ обратился ко мнѣ. Я отвѣчалъ подробно, плавно. Пока я излагалъ билетъ, профессоръ слушалъ. Все шло отлично. Но вотъ я кончилъ—и два-три вопроса изъ тѣхъ, что сшибаютъ золотыя горы, сразу обнаружили всю шаткость подготовки.

— Который разъ экзаменуетесь?—холодно спросилъ профессоръ.

Такъ же дымилась папироса между пальцами его рукъ. Онъ заглянулъ въ экзаменаціонный листъ.

— Господинъ Павлюкъ!

— Первый,—угрюмо отвѣтилъ я.

— Поучитесь и приходите во второй.

Господинъ Павлюкъ уже бралъ билетъ. Сосѣдъ мой готовился къ отвѣту.

— Позвольте, профессоръ...— началъ я, слегка краснѣя.

— Нѣтъ, не позволяю.

Неуловимой гримаской сбросилъ онъ пенснэ, поймалъ ихъ на-лету и вытеръ запотѣвшія стекла платкомъ.

Рой непріятныхъ мыслей окатилъ голову.. Вотъ сіяющее лицо! Оно улыбалось, щурило глаза отъ солнца... Но я не могъ понять, какъ можно сіять въ этой потухшей, неинтересной жизни.

Я уѣзжалъ.

Этотъ день напоминалъ мнѣ другой такой же день, когда я подѣзжалъ къ столицѣ, въ тужурочкѣ, со всѣми своими ожиданіями отъ Петербурга, отъ университета.

Дожило. Я опять оглядывалъ вокзалъ, людей, сновавшихъ вокругъ да около, и апатично ждалъ очереди въ длинной шеренгѣ лицъ, получавшихъ билеты третьяго класса.

Швецовъ и Зина провожали меня.

— Сергѣй Николаевичъ, не жалко уѣзжать?—спрашивала Зина.

Въ ея голосѣ была привязанность.

— Чего жалко?

— Ну, Господи! Вашихъ чтеній... Можетъ быть, меня...

Она немного обижалась.

— Не знаю.

Вонъ маневрируютъ поѣзда. Слышенъ лязгъ сцѣплений. Суетятся кондуктора и смазчики. Я чувствовалъ досаду. Досаду на эту суету—мелкую, автоматическую. Вонъ она копошится, шумитъ и хлопаетъ дверьми.

— Пойдемте же,—обернулся Швецовъ,—второй звонокъ.

Мы повернули. Нѣкоторое время шли молча.

— Займитесь чѣмъ-нибудь, — начала Зина, точно продолжая вслухъ свои мысли.—Отчего бы вамъ чего-нибудь не написать?

— Власовой разсказъ читали?

Она второй разъ повторяла это. Мнѣ захотѣлось вдругъ уйти, оставить ихъ однихъ, уединиться гдѣ-нибудь въ углу вагона.

Но вотъ и конецъ. Звонокъ, сцены прощанія. Слышатся просьбы и обѣщанія писать.

— Пишите же,—говоритъ Зина, и голосъ ея вздрагиваетъ.

Швецовъ, по обыкновенію, коротокъ.

— Всего хорошаго.

Поѣздъ тронулся. Змѣистый, длинный, медленно вьется онъ въ предмѣстьяхъ, между сѣтью поѣздовъ и складовъ. Свѣтло стало. Изъ-подъ поднятой шторки мелькнуло кладбище, красная труба фабрики. А дальше—равнина безъ конца.

Поѣздъ прибавилъ ходу. Двѣ капли ударились о стекло, ударились и скатились, какъ слезы. Я сѣлъ въ углу. Въ купѣ было свободно. Противъ меня сидѣла одна только старуха съ дѣвочкой. Онѣ не помѣшаютъ думать.

Ахъ, въ душѣ уже вставалъ уѣздный городишко, вставалъ „голодный“ годъ съ одиночествомъ, съ разочарованіемъ. Безъ словъ, безъ именъ.

Громыхали колеса. Паровозъ пыхтѣлъ, разбрасывая клочья пара, и смѣшанный гулъ ихъ разносился далеко въ окрестности. Порой, казалось, кто-то пѣлъ одинъ мотивъ, и голосъ то заглушался, то поднимался вновь—такъ безъ конца.

Вставалъ образъ Зины—какъ мало прожито, какъ много пережито; образъ Швецова—старичка „на утрѣ пасмурныхъ дней“. Вставалъ труженикъ, весело сносящій свои тревоги, Инна Николаевна. Какъ мнѣ вдругъ стало ихъ жалко! Просилась въ душу жалость даже къ тѣмъ, кого я не зналъ; ко всѣмъ, кто жаждалъ жизни и вмѣсто жизни получалъ камни.

По стекламъ побѣжали струйки. Пошли звонки, силуэты станцій. Точно тѣни, глядѣли они въ окна вагоновъ вмѣстѣ съ желѣзнодорожными служащими.

Поѣздъ замедляетъ ходъ, грохочетъ по чугунному мосту. Опять мчится быстрее прежняго, разсыпая миллионы яркихъ искръ во мракъ. Точно бѣшенный...

Версты бѣгутъ и бѣгутъ... Ахъ, самого себя жалко! Въ самомъ дѣлѣ, я везъ какія-то книжки. Но гдѣ же это я понадобится со своими книжками? Кто же мнѣ разрубить гордіевъ узелъ жизни?

Это были вопросы, на которые слѣдовало отвѣтить. Но въ сумракѣ ночи словъ не было. Стучали колеса о стыки рельсъ, да паровозъ пыхтѣлъ, да хмурое небо плакало, плакало

Л. Клейнбортъ.

## ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I.

Императоръ Александръ I привлекалъ живѣйшее вниманіе своихъ современниковъ, но трудно отыскать другого историческаго дѣятеля, который вызывалъ бы о себѣ столь противорѣчивое сужденіе: Александромъ восхищались, Александра ненавидѣли—столь противоположное впечатлѣніе производилъ онъ на скружающихъ.

Знаменитый Штейнь, которому нельзя отказать въ искренности, былъ очарованъ Александромъ: онъ съ увѣренностью говорилъ о высокихъ качествахъ его характера, его неуклонномъ стремленіи къ благу человечества, безкорыстии и проч. Госпожа Сталь находила въ немъ замѣчательный умъ и свѣдѣнія. По ея мнѣнію, въ Россіи нѣтъ министра, который былъ бы сильнѣе Александра во всемъ томъ, что нужно для обсужденія и направленія дѣлъ. Нужно только вспомнить, какое неотразимое впечатлѣніе производилъ Александръ I на людей, съ которыми онъ имѣлъ случай сталкиваться. Имъ восхищались такіе впечатлительные люди, какъ Парротъ и Каразинъ. Даже младшее поколѣніе современниковъ, знавшее императора только въ эпоху суроваго режима, вынесло о немъ такое же чарующее впечатлѣніе. По словамъ барона Корфа, Александръ не принадлежалъ къ числу

натуръ обыкновенныхъ. Онъ восхищается его умомъ, блестящимъ даромъ рѣчи, его сходствомъ съ Екатериною II, его памятью.

Но плеяда хвалебныхъ отзывовъ смѣняется столь же рѣзкими и язвительными. Сперанскій характеризовалъ Александра „сущимъ прелъстителемъ“. Наполеонъ называлъ Александра «византійскимъ грекомъ». Этотъ великій знатокъ людей оставилъ объ Александрѣ I слѣдующее сужденіе: „Русскій императоръ,—человѣкъ несомнѣнно выдающійся; онъ обладаетъ умомъ, граціей, образованіемъ. Онъ легко вкрадывается въ душу, но довѣрять ему нельзя: у него нѣтъ искренности. Это настоящій грекъ древней Византіи. При всемъ томъ, онъ не лишень идеологіи дѣйствительной или поддѣльной. Быть можетъ, онъ меня лишь мистифицировалъ, ибо онъ тонокъ, фальшивъ и ловокъ“.

Отсутствіе искренности въ Александрѣ, дѣйствительно, поражало многихъ, хорошо его знавшихъ. Въ этомъ отношеніи весьма любопытенъ отзывъ полковника Михайловскаго-Данилевскаго, много лѣтъ проведеннаго въ путешествіяхъ съ императоромъ. „Я безпрестанно наблюдалъ императора,—говорить онъ въ своемъ дневникѣ подъ 1816 годомъ,—и во всѣхъ поступкахъ его на-

ходилъ мало искренности; все казалось личиною. По обыкновенію своему, онъ былъ веселъ и разговорчивъ и обхожденіемъ своимъ хотѣлъ заставить, чтобы забыли санъ его: но, не взирая на это, иногда блистало на взорахъ его нѣчто такое, которое ясно говорило, что онъ рожденъ самодержцемъ". Иные современники отмѣчаютъ необыкновенную подозрительность въ Александрѣ и происходящую отсюда нерѣшительность въ его дѣйствіяхъ: „Онъ все дѣлаетъ на половину, — говоритъ Сперанскій объ Александрѣ. — Онъ слишкомъ слабъ, чтобы управлять и слишкомъ силенъ, чтобы быть управляемымъ".

Вотъ нѣсколько отзывовъ изъ массы оставленныхъ намъ современниками; но уже и сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, сколь противоположныя мнѣнія вызывалъ о себѣ Александръ I. Наблюдатели не умѣли разгадать его. Дѣйствительныя мысли Александра I, поступки, отношеніе къ окружающимъ столь разнорѣчивы, иногда таинственны, что онъ оставался непонятымъ современниками. Даже смерть его казалась многимъ современникамъ столь странной, что самый фактъ ея сталъ вызывать сомнѣнія, и когда въ Сибири появился таинственный отшельникъ подъ именемъ Федора Кузьмича, напоминавшій внѣшностью и мистическимъ настроеніемъ Александра, то слухъ о томъ, что въ лицѣ отшельника скрывается императоръ, быстро проникъ въ самые разнообразные слои общества.

Загадочнымъ остался характеръ Александра I и для потомства. Въ наличной литературѣ преобладаетъ взглядъ, по

которому Александръ I является человекомъ, способнымъ подвергаться тому или другому сильному вліянію. Такимъ образомъ, это характеръ слабый, поддающийся болѣе сильному. Юноша Александръ искренно стремится принести благо всему человечеству, пока найдетъся подъ вліяніемъ столь же настроенныхъ людей; но съ теченіемъ времени, подъ вліяніемъ неудачно слагающихся обстоятельствъ, изъ него вырабатывается мрачный владыка восточной Европы (профессоръ Шегловъ, Пыпинъ и др). Выработавшійся въ наукѣ взглядъ далъ поводъ профессору Буличу въ его „Очеркахъ изъ исторіи русской литературы и просвѣщенія въ началѣ XIX вѣка" представить Александра I въ весьма идеализированныхъ очертаніяхъ. Измѣнчивость и двусмысленность его характера историкъ объясняетъ недоверіемъ императора къ тѣмъ людямъ, которые обманули его идеальныя ожиданія; императоръ никогда не измѣнялъ своимъ либеральнымъ убѣжденіямъ, которыя составляли „святыню его сердца" но только не имѣлъ достаточно силы воли и характера. Иногда тѣ же мысли повторяютъ въ болѣе неопредѣленныхъ очертаніяхъ. Такъ, историкъ этой эпохи В. И. Семевскій, хотя иногда и говоритъ о „двойственности" политической мысли императора Александра I, проходящей чрезъ все его царствованіе, все же повторяетъ мнѣніе о томъ, что императоръ былъ проникнутъ въ первую половину своего правленія либеральными намѣреніями: онъ толкуетъ даже о томъ, что около 1820 года произошла въ императорѣ какая-то перемѣна въ полити-



ческих стремлений, которая и стала проявляться в его заявлениях и в политикѣ (см. последнюю его работу „Политическія и общественныя идеи декабристовъ“). Наконецъ, для иныхъ изслѣдователей Александръ остается „неразгаданной натурой“ (Шильдеръ).

Безспорно, обстановка воспитанія, окружавшая юнаго наследника, не могла не отразиться на его характерѣ. Въ этой обстановкѣ было много деморализирующаго элемента. Наукѣ Александръ учился мало и слегка. Ученіе рано было заброшено. Швейцарецъ Лагарпъ сообщилъ Александру поверхностныя свѣдѣнія изъ области политической мысли того времени. Изъ этого знакомства Александръ I вынесъ высокое уваженіе къ Западу, но, быть можетъ, здѣсь же надо искать источникъ его презрительнаго отношенія къ Россіи. Ближе къ повседневной жизни были тѣ идеалы, которые Александръ могъ усвоить отъ главнаго своего воспитателя Салтыкова. Последній былъ однимъ изъ самыхъ ловкихъ придворныхъ Екатерининской эпохи, удачно маневрировавшій между „большимъ“ и „малымъ“ дворами. Салтыковъ отличался всѣми качествами опытнаго придворнаго конца XVIII вѣка. Этотъ человекъ, занимавшій виднѣйшіе посты въ государствѣ, по свидѣтельству хорошо его знавшихъ современниковъ, никогда ни въ чемъ не высказывалъ своего мнѣнія; онъ раболѣпствовалъ передъ случайными людьми при дворѣ и чуждался упавшихъ. Будучи представителемъ военной коллегіи, т. е. заправляя всѣмъ военнымъ дѣломъ въ государствѣ, онъ умудрился въ Екатеринин-

скую эпоху не отличиться ни въ одномъ дѣлѣ съ непріятелемъ. Въ коллегіальныхъ учрежденіяхъ онъ молчалъ, въ дѣлахъ, ему спеціально порученныхъ, возлагалъ все на письмоводителей, а въ домашнихъ дѣлахъ самъ былъ управляемъ. Образование его было совершенно ничтожно, онъ даже съ трудомъ писалъ. Таковъ былъ главный воспитатель будущаго императора. И вся обстановка была такова же — это обстановка придворной жизни. Придворныя интриги, необходимость маневрировать между бабкой и отцомъ — вотъ та житейская среда, подъ влияніемъ которой складывался и крѣпъ характеръ Александра I.

Юноша очень рано начинаетъ разбираться въ окружающей дѣйствительности, въ окружавшей его придворной атмосферѣ. „Кровь портится во мнѣ, — писалъ онъ Кочубею въ 1796 году, — при видѣ совершаемыхъ другими на каждомъ шагу низостей для полученія отличій, не стоящихъ въ моихъ глазахъ мѣднаго гроша. Я чувствую себя несчастнымъ въ обществѣ такихъ людей, которыхъ не желалъ бы имѣть у себя и лакеями“.

Обстановка, въ которой вырасталъ Александръ I, была вовсе не такова, чтобы способствовать созданію характера неопредѣленнаго и несамостоятельнаго. Напротивъ, она требовала осмотрительности и самостоятельности въ поступкахъ и дѣйствіяхъ, она показывала жизнь съ самой неприглядной стороны. Такая обстановка воспитываетъ сильные характеры, рано складывающіеся и способные неуклонно преслѣдовать развѣ намѣченную цѣль. Такъ было и въ дан-

номъ случаѣ. Но та же придворная обстановка способствовала развитію чувства самосохраненія. Это достигалось выработкой умѣнія скрывать свои настоящія мысли и чувства. Послѣдняя черта очень рано развивается въ Александрѣ I. Вотъ почему было бы весьма ошибочно думать, что въ лицѣ будущаго наслѣдника престола подросталъ человѣкъ, способный безотчетно поддѣргаться тому или другому вліянію. Напротивъ, постепенно складывался весьма опредѣленный, тонкій и сильный характеръ. Не можетъ быть и рѣчи объ искреннемъ, восторженномъ, воодушевленномъ горячей любовью къ общественному благу Александрѣ-юношѣ и о такомъ же мечтательномъ молодомъ императорѣ и, наконецъ, о мрачномъ владыкѣ Аракчеевскихъ временъ. Это метаморфозы болѣе кажущіяся, чѣмъ дѣйствительныя. Александръ прочно сложился съ ранней юности. Его міровоззрѣніе, вообще всегда нѣсколько туманное, приобрѣло свою характерную окраску въ очень раннемъ возрастѣ.

Гдѣ же искать основныхъ вліяній, подъ которыми отлился характеръ Александра I? Въ этомъ красивомъ, изящномъ человѣкѣ, умѣвшемъ, когда нужно, говорить искренно, увлекательно, съ неподражаемой задумчивостью, распространявшемся о вредѣ деспотизма „нашего пражленія“, въ этомъ человѣкѣ виднѣнъ былъ характеръ и идеалы его отца. Сходство наблюдается иногда въ мельчайшихъ подробностяхъ.

Правда, отъ Павла Александръ I отличался гораздо большимъ и болѣе свѣтлымъ и гибкимъ умомъ; своей блестящей знѣшностью, очаровательностью

обращенія онъ импонировалъ окружающимъ. Умъ и глубокая наблюдательность создали въ Александрѣ качества, которыя такъ выгодно отличали его отъ отца,—разсчетливую осторожность. Есть натуры, которыя обладаютъ удивительнымъ умѣніемъ приспособляться къ обстоятельствамъ. Это качество Александръ развилъ въ себѣ въ высокой мѣрѣ. Это и есть та „личина“, которой окруженъ былъ императоръ, которая мѣшала его современникамъ, да мѣшаетъ и современнымъ ученымъ заглянуть въ его душу. Однимъ словомъ, Александръ I «преподносилъ каждому его любимое кушаніе», какъ характеризуетъ его одинъ современникъ.

Передъ нами отрокъ. Можно подивиться его умѣнію обращаться со всѣми такъ, чтобы имъ нравиться. Екатерина умерла въ твердомъ убѣжденіи, что Александръ—воскъ, изъ котораго можно вылѣпить, что угодно. Онъ оказывалъ своей бабкѣ трогательную преданность и любовь. Съ Лагариномъ онъ мечталъ о благѣ человѣчества. Въ разговорахъ со своимъ сверстникомъ княземъ Чарторыйскимъ онъ раскрывалъ свою душу. Это—замѣчательные разговоры, которые способны были расположить къ будущему наслѣднику престола его подданныхъ, желавшихъ улучшенія государственнаго управленія. Въ этихъ бесѣдахъ, казалось, Александръ изливалъ свою душу. „Онъ сознавался мнѣ“,—пишетъ Чарторыйскій,—что ненавидитъ деспотизмъ повсюду во всѣхъ его проявленіяхъ, что онъ любитъ свободу, на которую имѣютъ одинаковое право всѣ люди; что онъ съ живымъ участіемъ слѣдитъ

за французской революціей, что желаетъ успѣховъ республикѣ и радуется имъ". Великій князь считалъ наслѣдственность престола несправедливостью и полагалъ, что достойнѣйшаго избранника можетъ указать только приговоръ всей націи. Всѣ эти мысли онъ высказывалъ съ такой искренностью, которая поражала собесѣдника. „Въ его словахъ—говорить Чарторыйскій,—было столько искренности, чистоты, столько рѣшительности, повидимому несокрушимой, столько самозабвенія и великодушія“, что царственный юноша казался своему собесѣднику какимъ-то высшимъ существомъ.

Но тутъ же Александръ сообщаетъ своему другу, что онъ не одобряетъ политики и дѣйствій своей бабки. Около того же времени онъ пишетъ письмо Кочубею, въ которомъ высказываетъ свое намѣреніе впослѣдствіи отречься отъ престола.

Но внимательный наблюдатель замѣчалъ въ то же время и темныя точки. Тотъ же Чарторыйскій, несмотря на все свое увлеченіе великимъ княземъ, съ недоумѣніемъ отмѣчаетъ одну особенность въ характерѣ своего царственного друга: „Это былъ мистицизмъ во вкусѣ его отца великаго князя Павла“, говорить онъ въ своихъ запискахъ. Александръ въ разговорѣ иногда какъ бы прорывался и съ особеннымъ одобреніемъ говорилъ: „по нашему, по гатчински“.

Такимъ образомъ, разнымъ наблюдателямъ Александръ въ одно и то же время давалъ поводъ выводить весьма сомнительныя заключенія о своемъ характерѣ.

Для характеристики Александра въ

этомъ періодѣ его возраста любопытенъ и еще одинъ фактъ. Когда Екатериной былъ поднятъ въ 1796 году вопросъ о лишеніи Павла правъ на престолъ и объ объявленіи наслѣдникомъ Александра, то послѣ нѣкоторыхъ колебаній рѣшено было предварительно переговорить съ самимъ Александромъ.

Въ 1794 году Екатерина рѣшилась прибѣгнуть къ содѣйствію Лагарпа для переговоровъ съ Александромъ, но женецъ отклонилъ отъ себя эту честь, которая могла дорого ему стоить въ случаѣ неудачи, рассказалъ обо всемъ Павлу и уѣхалъ. Въ 1796 году Екатерина сама повела переговоры съ Александромъ. Сохранилось письмо Александра отъ 24 сентября 1796 года къ Екатеринѣ, въ которомъ онъ благодарить бабуку за ея заботы о немъ: „Даже своею кровью,—писалъ онъ,—я не въ состояніи отплатить за все то, что вы соблагородили уже и еще желаете мнѣ сдѣлать“.

Это было писано 24 сентября, а за нѣсколько дней передъ тѣмъ Александръ рассказалъ о планѣ Екатерины своему отцу, принесъ ему въ присутствіи Аракчеева присягу, какъ императору, и въ письмѣ къ Аракчееву отъ 13 сентября называлъ Павла императоромъ. Есть основаніе думать, что и письмо къ бабушкѣ Александръ писалъ по указаніямъ Павла.

Не менѣе трудное положеніе создавалось для Александра, когда его друзья, знавшіе либеральный образъ мыслей наслѣдника, поставили во всей наготѣ вопросъ о низложеніи съ престола императора Павла. Правда, Панинъ, какъ свидѣтельствуєтъ генералъ Беннигсенъ,

обѣщаль Александру, что императора арестуютъ, жизнь его будетъ сохранена и наслѣднику отъ имени націи будутъ предложены бразды правленія.

Но обратимся къ болѣе позднему періоду его жизни.

Императоръ Александръ Павловичъ вступилъ на престолъ въ такомъ возрастѣ, когда, сто лѣтъ тому назадъ, характеръ человѣка и его взгляды уже можно считать оформившимися. Въ самомъ дѣлѣ, въ этотъ періодъ 25-лѣтніе генералы водили войска и нерѣдко занимали крупныя должности. Но съ другой стороны, все же это такой возрастъ, въ который человѣкъ не очерствѣвалъ и въ тотъ практическій вѣкъ, когда люди такъ рано складывались; все же не прошелъ еще періодъ, когда душевная и умственная гибкость способна направить волю человѣка къ достиженію самыхъ благихъ начертаній, это періодъ, когда житейская паутина окончательно еще не охватила человѣка. Дѣйствительно, трудно было въ молодомъ императорѣ предполагать большую житейскую и правительственную опытность; окружавшіе Александра въ немъ не предполагали этого. Мало того, Александръ вступилъ на престолъ, давъ слишкомъ много завѣреній въ своихъ либеральныхъ взглядахъ. Мечты и заявленія о конституціи въ царствованіе отца доставляли популярность наслѣднику, отношенія котораго къ отцу не отличались прочностью. Тогда же Панинъ, будущій вдохновитель дѣла 11 марта, получилъ порученіе составить проектъ конституціи. Наслѣдникъ самъ по ночамъ приходилъ помогать ему въ этой

работѣ. Теперь вообще выясняется съ достаточной полнотой, что 11 марта было направлено не только противъ деспотизма Павла, но и въ цѣляхъ ограниченія деспотизма на будущее время. Но нельзя не поразиться тѣмъ удивительнымъ тактомъ и твердостью характера, съ которыми Александръ вышелъ изъ создававшегося для него затруднительнаго положенія. Вотъ нѣсколько бѣглыхъ указаній.

Извѣстный литераторъ того времени Коцебу, вращавшійся въ придворныхъ кругахъ, передаетъ, что Александръ 12 марта сказалъ заговорщикамъ: „Ну, господа, такъ какъ вы позволили себѣ зайти такъ далеко, довершите дѣло—опредѣлите права и обязанности государя; безъ этого престолъ не будетъ имѣть для меня привлекательности“. Такое заявленіе было естественнымъ при тогдашнемъ положеніи вещей. У графовъ Палена и Зубова былъ готовый проектъ ограниченія самодержавія. Графъ Панинъ имѣлъ неосторожность напомнить своему царственному другу объ ихъ общихъ прежнихъ предположеніяхъ, но получилъ предложеніе подать въ отставку; Александръ устоялъ и не подписалъ конституціоннаго акта, исходившаго отъ заговорщиковъ. Но отвѣтить на стремленія той группы общества, представителями которой были заговорщики, было необходимо. Этого требовалъ элементарный тактъ правителя, такъ какъ всѣ разговоры велись слишкомъ громко. Начинаются попытки составить конституцію, уяснить и изучить существующія конституціи. Государь допускаетъ довольно неопредѣлен-

наго характера разговоры на совѣщаніяхъ неофіціального комитета. Въ туманныхъ очертаніяхъ эти разговоры становятся извѣстными въ обществѣ; оно находится въ ожиданіи и чувствуетъ себя болѣе или менѣе удовлетвореннымъ. Рядъ лицъ самыхъ разнообразныхъ политическихъ направленій получаетъ порученіе составить проектъ конституціи. Такое положеніе вещей тянется нѣсколько лѣтъ. Такъ, поэтъ Державинъ, никогда не бывшій юристомъ, получаетъ подобнаго рода порученіе, издается извѣстный указъ сенату о выясненіи его правъ, какой-то проектъ о правахъ гражданъ составляетъ Новосильцевъ, въ 1803 году порученіе составить проектъ органическихъ законовъ получаетъ черезъ Кочубея малоизвѣстный тогда еще Сперанскій, въ 1804 году министръ юстиціи Лопухинъ именемъ государя приказываетъ нѣмцу барону Розенкампу, не знавшему еще ни русскихъ учреждений, ни русскаго языка, составить олять-таки проектъ конституціи и проч. По исходу всѣхъ этихъ проектовъ не трудно видѣть, насколько искренни были желанія поручавшаго ихъ составлять. Но цѣль этихъ порученій совершенно очевидна: вопросъ усиленно муссируется въ нѣдрахъ общества, всѣ находятся въ ожиданіи великаго событія, одни радуются, довѣряя добрымъ намѣреніямъ молодого государя, другіе—люди консервативнаго направленія—негодуютъ. Наблюдатель могъ взвѣсить силу представителей направленій, а пока безъ шума удаляются всѣ участники дѣла 11 марта. Мало того, всматриваясь пристально во всѣ эти переговоры о со-

ставленіи проекта конституціи, нельзя не замѣтить, что государь обращается къ лицамъ, за которыми нѣтъ партій, нѣтъ опредѣленнаго теченія, къ лицамъ безъ связей въ обществѣ, но зато тщательно избѣгаетъ обращенія къ такимъ лицамъ, которыя не только могли бы составить проектъ конституціи, но и повліять на ея принятіе, помочь, вслѣдствіе своего вліянія въ государствѣ и опытности въ дѣлахъ, переходу къ новымъ формамъ правленія.

Во всемъ этомъ, въ высшей степени тонко проведенномъ эпизодѣ нельзя не видѣть замѣчательнаго такта, поразительной житейской опытности и знанія людей, выказаннаго молодымъ государемъ.

Мы видимъ передъ собой человѣка, который выбираетъ путь извилистый, дипломатически-тонкій, который въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ съ величайшимъ тактомъ и величайшей настойчивостью ведетъ дѣло въ опредѣленномъ направленіи. Но если въ данномъ случаѣ положеніе самаго дѣла требовало такого тонкаго образа дѣйствій, то можно указать рядъ такихъ фактовъ, когда никакія условія не вызывали необходимость скрывать, когда самодержавный императоръ могъ открыто высказать свою мысль. Но Александръ любилъ и умѣлъ говорить то, что нравится себѣ, и охотно скрывалъ свои истинныя намѣренія. Извѣстна, на примѣръ, та „продѣлка“ (выраженіе графа Кочубея), которую продѣлалъ императоръ, когда собирался въ первый разъ на свиданіе въ Мемель къ королю и королевѣ прусскимъ; онъ тщательно

скрылъ отъ своихъ министровъ тотъ фактъ, что это свиданіе долженствовало имѣть политическое значеніе, далъ даже Кочубею обѣщаніе не говорить въ Мемелѣ о политикѣ—и, тѣмъ не менѣе, Мемельское свиданіе—важнѣйшій моментъ въ Александровской политикѣ, ибо оно послужило началомъ ея тяготѣнія къ Пруссіи.

Вообще надозамѣтить, что Александръ обладалъ замѣчательной способностью скрывать свои истинныя намѣренія, свои чувства и желанія. Прежде всего отмѣчу, что его умѣніе обращаться съ людьми, представляться имъ въ противоположномъ свѣтѣ, покрывать свою дѣятельность и скрывать свои душевныя желанія—эта особенность не только съ теченіемъ времени не исчезла, но, наоборотъ, окрѣпла, расцвѣла. Теперь въ государственное управленіе проникаетъ также „личина“, а это приводитъ къ печальнымъ результатамъ.

Въ отношеніяхъ съ людьми и даже въ государственныхъ отношеніяхъ Александръ умѣлъ всегда пріятно и убѣдительно говорить то, что нравится его собесѣднику. И это ему отлично удавалось. Въ Брестѣ въ 1813 г. онъ обворожилъ встрѣтившія его депутаціи поляковъ; по словамъ Новосильцева, „рѣчь“ императора „была такъ убѣдительна, такъ разумна и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ сдержанна и ловка, что я не могъ придти въ себя отъ удивленія. Онъ не обѣщаль ничего, не принялъ на себя никакихъ обязательствъ, а все требовалъ. Несмотря на то, всѣ... восторгались имъ послѣ пріема и въ высшей степени удивлялись ясности и вѣрности его

мыслей“. Въ самомъ дѣлѣ, въ бытность свою въ Англіи Александръ наговорилъ массу любезностей вигамъ, стараясь увѣрить ихъ въ своемъ искреннемъ намѣреніи создать оппозицію въ Россіи, потому что она помогаетъ правительству правильнѣе отнестись къ дѣлу. Въ бесѣдахъ съ горячей поклонницей новыхъ идей, извѣстной Сталь, Александръ не скупился на выраженія желанія улучшить государственное управленіе, освободить крѣпостныхъ; онъ такъ хорошо говорилъ о вредѣ деспотическаго управленія, что его восторженная собесѣдница записала въ своихъ мемуарахъ: „Сколько нужно нравственныхъ достоинствъ, чтобы судить о деспотизмѣ будучи деспотомъ, и для того, чтобы никогда не злоупотреблять неограниченной властью“. Вообще, въ Парижѣ Александръ произвелъ прекрасное впечатлѣніе.

Александръ тщательно обдумывалъ всякій свой шагъ прежде, нежели выступить публично, репетировалъ его. С. Г. Волконскій (декабристъ) въ своихъ запискахъ рассказываетъ любопытный въ этомъ отношеніи фактъ, который мы приведемъ для иллюстраціи сказаннаго. Онъ замѣчаетъ, что царь любилъ дѣлать даже изъ религіознаго обряда, „какъ бы сказать, театральное, вахтъ - парадное представленіе“. «Къ извѣстному часу передъ полночью, въ день Пасхи, всѣ чины царской свиты, многіе чины военные и гражданскіе, имѣющіе право на дворцовый этого дня входъ, и многіе мѣстные поляки и польки, допущенные на эту церковную службу, собрались во дворѣ. Я и товарищъ мой Лопухинъ опоздали

къ назначенному часу, а какъ мы обязаны были находиться въ той комнатѣ, гдѣ свита государева его ждала, то, боясь встрѣтить государя, для избѣжанія онаго, хотѣли пробраться черезъ церковъ домашнюю, удобную для входа, чтобы добраться до нашего мѣста. Но едва подошли къ церкви по заднему ходу, какъ у дверей видимъ: придворный лакей воспрещаетъ намъ войти въ церковъ. На вопросъ—нашъ, почему, онъ намъ отвѣчалъ: „Нельзя, тамъ государь“.—Да что же онъ тамъ дѣлаетъ, вѣдь, служба не началась?—На это онъ отвѣчалъ намъ: „Дѣлаетъ репетицію церковнаго служенія“. Мы—дай Богъ ноги.

Зато тамъ, гдѣ онъ не видѣлъ необходимости нравиться, совершенно пропадала обычная кротость и мягкость императора. Такъ, Александръ вообще довольно презрительно относился къ своимъ подданнымъ, что особенно стало сказываться во вторую половину его царствованія. Рѣзкость въ обращеніи съ русскими и мягкость по отношенію къ иностранцамъ не разъ озадачивали Михайловскаго-Данилевскаго. Когда у Александра бывали иностранцы, рассказываетъ онъ о пребываніи императора въ Линдау, то онъ былъ веселъ и привѣтливъ; когда же всѣ расходились „и никого не оставалось въ домѣ, кромѣ насъ, русскихъ, то онъ опять начиналъ сердиться“. По замѣчанію этого наблюдателя, Александръ держался по отношенію къ окружающимъ его русскимъ по словицы „всякая вина винсвата“.

Такое отношеніе императора къ своимъ подданнымъ объясняется не только его личнымъ требовательнымъ характеромъ,

но и тѣмъ, что вообще онъ къ русскимъ относился съ крайнимъ презрѣніемъ. Онъ не зналъ Россіи и не любилъ ея. Въ началѣ онъ тщательно скрывалъ это отношеніе къ своимъ подданнымъ, но съ теченіемъ времени не считалъ нужнымъ это дѣлать. Для современниковъ такое отношеніе императора не было секретомъ. Декабристъ Якушкинъ говоритъ о томъ, что до слуха всѣхъ безпрестанно доходили изреченія императора, въ которыхъ онъ выражалъ явное презрѣніе къ русскимъ. Во время смотра русской арміи при Вертѣ знаменитый Веллингтонъ съ большими похвалами отзывался объ устройствѣ русской арміи, на что Александръ во всеуслышаніе заявилъ, что этимъ онъ обязанъ служившимъ у него иностранцамъ. Генераль-адъютантъ графъ Ожаровскій передавалъ характерную фразу императора о всѣхъ русскихъ вообще: „каждый изъ нихъ, — сказалъ государь, — или плутъ, или дуракъ“. Въ 1820 году онъ увѣрялъ своего союзника, прусскаго короля, что оба они окружены „негодаями“, но прогнать нельзя ихъ, потому что на мѣсто однихъ явятся другіе.

Вообще же Александръ великолѣпно понималъ, что, нужно для того, чтобы господствовать надъ людьми. Именно Александръ всегда стремился къ господству, къ власти; онъ дѣлалъ все, чтобы очаровать народъ и государства, мужчинъ и женщинъ, хотя послѣдніе ему впрочемъ были не нужны. И это была самая яркая черта его характера. Только онъ не довольствовался обычной властью русскаго императора; онъ слишкомъ хорошо присмотрѣлся къ послѣднимъ го-

дамъ правленія своей бабки и понималъ, что въ ея власти за эти годы было не мало мишуры. Недаромъ отъ людей близкихъ онъ требовалъ не только подчиненія себѣ, какъ государю, но и какъ человѣку.

Изъ стремленія къ господству вытекала подозрительность, напоминающая Павла, и непомерное развитое самолюбіе. Правда, Александръ искусно скрывалъ это свойство и, по крайней мѣрѣ, умѣлъ личнымъ обаяніемъ подсластить пилюлю, которую онъ преподносилъ своей жертвѣ. Впрочемъ, съ теченіемъ времени подозрительность стала выступать весьма рѣзко. Императоръ, замѣтивъ какой-нибудь знакъ, движеніе своихъ собесѣдниковъ, услышавъ смѣхъ, причины котораго онъ не зналъ, уже воображалъ, что надъ нимъ подсмѣиваются. Это вызвало сдержанность придворныхъ, а къ ней онъ тоже относился недоверчиво. Нечего и говорить, что въ послѣдніе годы царствованія Александръ всздъ видѣлъ проявленіе радикальнаго духа и, желая предотвратить развитіе его въ Россіи, думалъ истребить вольномысліе въ самомъ очагѣ его—во Франціи. Это была мечта большей половины его царствованія.

Подозрительность императора проявлялась не въ однихъ придворныхъ отношеніяхъ. Она перенесена была въ государственныя дѣла и здѣсь достигла замѣчательнаго развитія. Полицейскій сыскъ, „негласное“ наблюденіе за настроеніемъ общества именно съ этого момента отлились въ сложную систему, характеризующую весь послѣдующій строй государства. Въ этотъ періодъ зарождавшаяся система отличалась отъ послѣ-

дующихъ особенно тѣмъ, что дѣло сыска было сдѣлано однимъ изъ важнѣйшихъ. Сыскъ надъ сыскомъ,—вотъ система, которой Александръ держался. Когда государь былъ въ Вильнѣ передъ войной, при немъ былъ министръ полиціи Балашовъ, который, конечно, былъ занятъ своимъ полицейскимъ дѣломъ. Но одновременно государь вызываетъ въ Вильно извѣстнаго великосвѣтскаго сыщика де-Санглена и сепаратно поручаетъ ему политическій сыскъ. Когда Балашовъ и де-Сангленъ стали между собою видѣться, ихъ прослѣдилъ, очевидно, какой-то третій сыскной агентъ, и де-Санглену немедленно было объявлено неблаговоленіе императора по поводу посѣщенія имъ министра полиціи.

Подозрительность и самолюбіе не позволяли Александру держать около себя совѣтниковъ, которые или имѣли большое вліяніе въ государствѣ, или пожелали бы уменьшить его власть. Императоръ Павелъ очень просто поступилъ бы съ такими людьми. Но это не всѣмъ могло нравиться, отъ этого могла бы пострадать популярность. Да и примѣръ Павловскаго отношенія къ людямъ, въ силу той же подозрительности, наводилъ на нѣкоторыя размышленія. Въ такомъ случаѣ на помощь Александру являлось его замѣчательное пониманіе людей. Натравить совѣтниковъ одного на другого или выбрать бездарную раболѣпную посредственность было для Александра въ этихъ случаяхъ обычнымъ пріемомъ. Онъ самъ говорилъ де-Санглену: „интриганы такъ-же нужны въ общемъ государственномъ дѣлѣ, какъ люди честные, иногда даже болѣе“. Пристрастіе Александра



къ посредственностямъ замѣчали и современники.

Всякое превосходство надъ собой, въ комъ бы оно ни проявлялось, со стороны его подданнаго задѣвало въ Александрѣ чувство самолюбія. Онъ неохотно допускалъ такихъ людей къ участию въ дѣлахъ, и если приходилось это дѣлать, то даже за гробомъ не прощалъ своему сопернику. По этому случаю нельзя не вспомнить отношенія Александра къ Кутузову. Когда выяснилась полная непопулярность Барклая-де-Толли, окружающіе настоятельно совѣтовали императору назначить главнокомандующимъ Кутузова, который въ то время былъ, несомнѣнно, наиболѣе испытаннымъ боевымъ генераломъ. Александръ долго противился и весьма неохотно назначилъ. Но онъ всегда относился къ Кутузову, хотя съ внѣшней стороны очень внимательно, но по существу крайне недружелюбно. Послѣ смерти Кутузова Александръ явно пренебрегалъ его памятью и даже не пожелалъ посмотрѣть воздвигнутый ему памятникъ.

Правда, съ внѣшней стороны можетъ показаться, что рядъ лицъ пользовался полнымъ довѣріемъ императора. Съ внѣшней стороны казалось, что императоръ легко поддается вліяніямъ. Но это была лишь внѣшняя показная сторона, способствовавшая лишь популярности императора, и общественное мнѣніе Петербурга охотно приписывало всѣ неудачныя мѣры совѣтникамъ императора. Тутъ, прежде всего, надо вспомнить, что никому изъ совѣтниковъ императора не удалось провести въ жизнь ни одной сколько-нибудь крупной мѣры. Кромѣ

того, подборъ вліятельныхъ совѣтниковъ имѣлъ еще и своеобразныя цѣли. Въ первую половину царствованія Александръ опирался на совѣтниковъ противоположныхъ направленій. Въ первые мѣсяцы царствованія онъ окружаетъ себя старыми дѣльцами Екатерининской эпохи и съ удивительно тактичной осторожностью постепенно отдаляетъ отъ себя графа Палена, бр. Зубовыхъ и другихъ. Одновременно онъ собираетъ около себя кружокъ такъ называемыхъ молодыхъ совѣтниковъ, представлявшихъ собой совершенную противоположность остатку Екатерининскихъ министровъ. Лаская то однихъ, то другихъ, онъ постепенно отстранилъ представителей и той, и другой партіи, какъ только сталъ замѣчать настойчивость екатерининскихъ министровъ и стремленіе къ опеке со стороны своихъ молодыхъ совѣтниковъ. Образовалась на время пустота, которая заполнилась выскочкой, челоѣкомъ безъ связи въ аристократическихъ салонахъ. Сперанскій былъ твердъ характеромъ и настойчивъ. Когда это понадобилось, онъ былъ удаленъ такъ, что популярность императора только выросла.

Что недовѣріе играло роль въ удаленіи совѣтниковъ—весьма хорошо показываетъ слѣдующій фактъ. Въ зенитѣ своего возвышенія Сперанскій былъ окруженъ шпионами: за нимъ обязанъ былъ слѣдить министръ полиціи Балашовъ, а за министромъ полиціи—особый агентъ де-Сангленъ, имѣвшій докладъ у императора. Самъ Аракчеевъ, преданный слуга государя, былъ подъ надзоромъ его шпионовъ.

Вообще въ силу указанныхъ особен-

ностей характера Александръ предпочиталъ окружать себя людьми или безъ связей въ обществѣ (Сперанскій, Аракчеевъ, иностранцы), или людьми, ничтожество которыхъ было ясно для всѣхъ и прежде всего для самого государя. Окруженный личностями вродѣ Балашова, Армфельда, Санглена, онъ горилъ однажды послѣднему: „Я рѣшительно никому не вѣрю“, а когда де-Сангленъ, по поводу жалобъ на корыстолюбіе Балашова, замѣтилъ: „Я бы смѣнилъ его“. — Александръ отвѣчалъ: „Развѣ новые лучше будутъ? Эти ужъ сыты, а новые за тѣмъ же пойдутъ“. Въ другомъ случаѣ, въ разговорѣ съ тѣмъ же де-Сангленомъ, Александръ такъ отзывался о своихъ приближенныхъ: „Хорошо я окруженъ: Козодавлевъ плутуетъ, жена его собираетъ дань, Балашовъ мнѣ 80 тысячъ не даетъ. Я приступаю, онъ утверждаетъ, что пакетъ найденъ безъ денегъ. Все ложь. Графъ Т. твердитъ уроки Армфельда и Вернега, который живетъ съ его женой. Волконскій безпрестанно проситъ взаймы 50 тысячъ на 50 лѣтъ безъ процентовъ. Насилу я съ нимъ сошелся на 15 тысячахъ безъ возврата. Вотъ все какіе у меня помощники“. Правда, тутъ императоръ подобралъ коллекцію своихъ сотрудниковъ, о которыхъ ничего хорошаго и сказать было нельзя. Но это былъ его выборъ. Если около него появлялись сотрудники, которыхъ нельзя было упрекнуть во взяточничествѣ или въ чемъ-либо подобномъ, то государь имъ мало довѣрялъ, третировалъ ихъ и старался поскорѣе отдѣлаться отъ нихъ. Въ началѣ царствованія нельзя было

обойти назначеніями извѣстныхъ Екатерининскихъ дѣльцовъ братьевъ графовъ Воронцовыхъ. Въ 1802 году Александръ назначилъ графа Семена Романовича канцлеромъ. Но императоръ не довѣрялъ своему министру и питалъ къ нему, по словамъ Чарторыйскаго, „непреодолимое отвращеніе:“ „все было ему антипатично въ старикѣ: устарѣлые его пріемы, звукъ голоса, протяжный и гнусливый, привычныя тѣлодвиженія“. Наединѣ съ княземъ Чарторыйскимъ Александръ насмѣхался надъ своимъ министромъ. Тогда же нельзя было обойти и такого дѣятеля, какъ графъ Завадовскій. Александръ сдѣлалъ его министромъ народнаго просвѣщенія „только для того, чтобы не кричалъ, что отстраненъ“. Но новый министръ, несмотря на свое стремленіе развить дѣятельность, не получаетъ никакого вліянія. По словамъ самого императора, „онъ—нуль“, „настоящая овца“, за спиной которой дѣйствуютъ другіе, которымъ довѣряетъ государь. Дмитріевъ и Шишковъ были безусловно честными людьми, но это были министры безъ доклада у государя: такъ вышло на практикѣ.

Итакъ, къ дѣльнымъ и честнымъ министрамъ государь относится подозрительно и ихъ устраняетъ, нечестныхъ и неспособныхъ—онъ презираетъ. Очевидно, и съ тѣми, и съ другими работать непріятно. Александръ ищетъ себѣ помощниковъ среди иностранцевъ съ самымъ разнообразнымъ прошлымъ. Извѣстный историкъ Татищевъ отмѣчаетъ появленіе иностранныхъ именъ въ нашей дипломатіи Алексан-

ровскаго времени замѣнъ чисто русскихъ фамилій эпохи Екатерины II: полякъ Чарторыйскій, французъ Убри, эльзасецъ Анштетъ, венеціанецъ Мочениго, корсиканецъ Поццо-ди-Борго, корфіотъ Каподистріо, къ этому можно прибавить Будберга, Стакельберга, Нессельроде, Ипсиланти и др. Даже русскій языкъ, обработанный для дипломатическихъ цѣлей въ эпоху Панина, Безбородко, теперь замѣняется условной и напыщенной французской фразой. Таковъ былъ способъ подбора сотрудниковъ, таково было отношеніе къ нимъ государя; легко убѣдиться, что едва ли Александръ могъ поддаваться чужому вліянію.

Изъ русскихъ одинъ только Аракчеевъ можетъ быть признанъ въ числѣ лицъ, вліявшихъ на государя или, по крайней мѣрѣ, пользовавшихся его довѣріемъ. Сюда же надо отнести и князя А. Н. Голицына. Но послѣдній былъ человѣкомъ, къ которому можно было бы примѣнить наименованіе блаженнаго, а Аракчеевъ, дѣйствительно, давалъ Александру то, чѣмъ онъ больше всего дорожилъ въ людяхъ—„собачью преданность“, по опредѣленію одного современника. Дружба съ Аракчеевымъ—это дружба, зародившаяся въ ранней юности, когда складывается умъ и характеръ человѣка. Несмотря на любовь къ Аркачееву и довѣріе, Александръ болѣе 10 лѣтъ не выдвигалъ его на отвѣтственный постъ, избѣгая непопулярнаго шага. Впрочемъ, въ періодъ вліянія на дѣла Аракчеевъ не столько руководилъ императоромъ, сколько въ точности исполнялъ его предначертанія, прини-

мая все недовольство общества внутренней политикой на себя.

Всѣ собранныя до сихъ поръ черты характера императора Александра далеко не даютъ повода видѣть въ немъ человѣка, способнаго поддаваться тому или другому вліянію. Не имъ руководили совѣтники, но онъ самъ направлялъ ихъ дѣятельность. Человѣкъ съ столь сильнымъ чувствомъ властолюбія по существу своего характера не могъ примириться съ уменьшеніемъ своей власти. „Ты все хочешь учить,—крикнулъ Александръ однажды министру юстиціи Державину,—а я—самодержавный царь и хочу, чтобы было такъ, а не иначе“. Отсюда и всѣ мечты о конституціи—только мечты, нужныя для популярности, для усиленія власти—не болѣе. Конечно, это не значитъ, что Александръ не стремился къ лучшему устроенію государства.

Александръ всегда былъ склоненъ къ мечтательности и въ этомъ онъ весьма напоминаетъ своего отца императора Павла. Эта черта сказывалась въ немъ и въ области государственнаго правленія. Многое, что онъ говорилъ о благѣ крестьянства, о тяготахъ крѣпостного ига, дышетъ правдивостью. Въ его мечтахъ объ устроеніи государственнаго порядка есть много искренняго желанія ввести порядокъ, и эти его желанія основаны на отчетливомъ пониманіи недостатковъ въ управленіи. Но конечныя цѣли этихъ стремленій сводятся къ установленію дисциплины въ государствѣ, къ стремленію руководить всѣмъ механизмомъ государственнаго управленія изъ императорскаго кабинета. Къ

тому же стремился и императоръ Павелъ, только въ болѣе рѣзкой формѣ—въ формѣ полицейскаго государства. Императоръ Александръ мечталъ объ установленіи фундаментальныхъ законовъ, но это туманныя мечты, весьма напоминающія стремленіе его отца къ такимъ мѣрамъ, которыя должны опутывать все общество сѣтью предписаній нравственно-полицейскаго характера. Онъ хорошо понималъ злоупотребленія подчиненныхъ органовъ, весьма неодобрительно относился къ администраціи Екатерининскаго періода и путемъ мелочного контроля, полицейскихъ мѣръ полагалъ возможнымъ достигнуть исправленія.

Такъ, кажется, можно суммировать туманныя мечты императора объ устроении лучшихъ порядковъ въ Россіи. Но эти мечты, во всякомъ случаѣ, не связывались съ мыслью объ уменьшеніи власти государя, почему заявленія о вредѣ „деспотизма нашего правленія“ надо признать красивыми фразами, рассчитанными на популярность. Тутъ получался заколдованный кругъ. При такихъ условіяхъ государь не отдѣлялся отъ государства. Александръ I не былъ склоненъ поступить въ какой бы то ни было мѣрѣ обширной властью неограниченнаго монарха, почему онъ и не могъ согласиться ни на одну изъ предложенныхъ ему конституцій. Недаромъ де-Сангленъ передаетъ слѣдующія слова императора, высказанныя имъ по поводу составленнаго Сперанскимъ устава государственнаго совѣта: „Сперанскій вовлекъ меня въ глупость. За чѣмъ я согласился на государственный

совѣтъ и на титулъ государственнаго секретаря? Я какъ-будто отдѣлилъ себя отъ государства. Это глупо и въ планѣ Лагарповомъ того не было“.

При такихъ взглядахъ Александра не могли удовлетворить предлагавшіеся ему проекты. Убережь власть на той высотѣ, какой она достигла въ XVIII вѣкѣ, и дать права обществу—неразрѣшимая дилемма. Это вскорѣ замѣтилъ и другъ юности Александра—князь Адамъ Чарторыйскій, охарактеризовавшій мечты императора о свободѣ слѣдующимъ образомъ: „Онъ готовъ былъ дать свободу всему міру, лишь бы этотъ міръ пожелалъ исполнить всѣ его желанія“.

Такимъ образомъ, мечты императора о лучшемъ устроении государства,—правда, мечты очень туманныя и неопредѣленныя—конечно, въ итогѣ напоминаютъ намъ бурное стремленіе Павла ввести полицейскую дисциплину.

Мы уже раньше замѣтили о сходствѣ многихъ возрѣній и чертъ характера обоихъ императоровъ. Не вдаваясь въ подробности, ограничимся напоминаніемъ основныхъ чертъ сходства. Обоихъ императоровъ объединяетъ отрицательное отношеніе какъ къ личности Екатерины II, такъ и ко всему ея царствованію. Политическія симпатіи обоихъ склонялись къ Пруссіи и къ прусской политикѣ. Императоръ Павелъ, еще будучи наслѣдникомъ престола, открыто заявлялъ прусскому послу о своемъ желаніи въ будущемъ согласовать русскую политику съ намѣреніями прусскаго короля. Онъ выполнилъ это обѣщаніе, а его сынъ ставилъ на карту огромныя русскія арміи, поддерживая прусскую поли-

тику. Вообще, для Павла иностранная политика была совершенно личнымъ дѣломъ; такъ же личнымъ дѣломъ она была и для Александра I—и его борьба съ Наполеономъ, его прусскія симпатіи имѣютъ мало общаго съ истинными интересами государства. Въ этомъ скрывается огромная разница между политикой Александра I и его бабки. Увлеченіе средне-вѣковымъ рыцарствомъ—общеизвѣстная черта характера императора Павла. Она приложима и къ Александру Павловичу—конечно, безъ тѣхъ комическихъ купюръ, къ которымъ былъ такъ склоненъ его отецъ.

Императоръ Павелъ мечталъ о союзѣ государей—и въ конечномъ итогѣ политическая система его сына покоилась на союзѣ государей, основанномъ на Евангеліи, но мысль основателя союза была проникнута мистическимъ, туманнымъ воззрѣніемъ. Иногда даже въ отдѣльных фактахъ Александръ стремился провести въ жизни то, о чемъ мечталъ его отецъ: таково, на примѣръ, упорное стремленіе Александра проводить идею военныхъ поселеній, которая высказана была Павломъ въ запискѣ еще 1774 года.

Любовь къ военному дѣлу, вѣрнѣе—любовь къ мелочамъ военнаго дѣла, сближаетъ характеры обоихъ императоровъ. По словамъ Тучкова, дворъ императора Александра сдѣлался почти совсѣмъ похожимъ на солдатскую казарму. Императоръ былъ постоянно окруженъ ординарцами, посыльными, ефрейторами, солдатами, одѣтыми для образца въ мундиры различныхъ частей. Цѣлые часы онъ проводилъ въ изученіи осо-

бенностей солдатской формы, дѣлая замѣтки мѣломъ своею рукою на мундирахъ и исподнихъ платьяхъ; въ его кабинетѣ былъ всевозможный подборъ разныхъ мелочей солдатской аммуниціи: щетки для усовъ, сапоговъ, дощечки для чищенія пуговицъ и т. п. Нечего и говорить, что Александръ, подобно своему отцу, съ жаромъ отдавался обученію солдатъ. Тучковъ рассказываетъ содержаніе одного разговора, которымъ удостоилъ его государь. Во время смотра гвардіи государь сталъ распространяться о томъ, что его первымъ правиломъ было всегда внушить солдату, что оружіе дается солдату для нападенія и обороны, а не для того, чтобы дѣлать ружьемъ на караулъ. И вдругъ во время рѣчи императоръ замѣтилъ, что солдаты не по формѣ опускаютъ внизъ носки сапоговъ. „Носки внизъ“,—закричалъ онъ, потомъ: „не затягивай ногу“ и далѣе весь отдался исправленію мелочей маршировки. Императоръ цѣлые часы проводилъ въ Экзерциргаузѣ, лично обучая маршировкѣ солдатъ, качаясь безпрестанно съ ноги на ногу, какъ маятникъ. Императоръ находилъ время, въ своемъ увлеченіи военной муштрой, для того, чтобы собственноручно писать приказы по гвардіи; въ которыхъ онъ выражалъ свое неудовольствіе, напр., тѣмъ, что во время марша „много колѣнъ было согнутыхъ“ или что „носки были не вытянуты“.

Такъ, слѣдовательно, кажется, есть достаточно основаній для того, чтобы въ обрисовкѣ характера Александра I видѣть многія черты, напоминающія его

отца, и притомъ такія черты, которыя имѣють кардинальное значеніе въ дѣлѣ

направленія внутренней и внѣшней политики государства.

Проф. М. Довнаръ-Запольскій.

## ПАМЯТИ А. И. ГЕРЦЕНА.

Юбилей Герцена проходитъ съ симптоматическимъ подъемомъ. Судя по газетамъ, несмотря на нѣкоторыя „независящія препятствія“—и въ Россіи состоялся рядъ торжественныхъ чествованій, а пресса помянула великаго отца прогрессивной мысли въ Россіи цѣлымъ моремъ восторженныхъ статей, среди которыхъ есть и искренно прочувствованныя и глубокія.

Въ нашей несчастной зарубежной Россіи, въ этомъ случаѣ счастливой, потому что беззапретной, интересъ подросшаго нынѣ поколѣнія къ Герцену сказанъ съ значительной яркостью. На чествованіи великаго писателя въ Парижѣ, въ которомъ пишущій эти строки принималъ участіе, было не менѣе полутора тысячъ публики, по преимуществу молодежи. Но Парижъ, русскій Парижъ, этимъ не удовлетворился и повторилъ чествованіе при участіи Максима Горькаго. Этотъ вечеръ собралъ совершенно неслыханное количество почитателей чествуемаго — около шести тысячъ!

Такихъ многолюдныхъ собраній почти никогда не устраиваетъ и самъ французскій Парижъ. Съ большимъ подъемомъ прошло, по слухамъ, и чествованіе въ Ниццѣ, гдѣ говорилъ Плехановъ. Въ Женевѣ и Лозаннѣ, гдѣ мнѣ лично

пришлось читать юбилейные рефераты,—опять исключительное число слушателей.

Думаете ли вы, читатель, что также обстояло бы дѣло, если бы столѣтіе рожденія нашего идейнаго родоначальника случилось на два-три года раньше? Я не думаю.

Да, Герценъ, къ великой радости нашей, воскресаетъ. Пожелаемъ отъ всей души великаго успѣха воскресающему.

Молодой читатель или, скажемъ, вообще мало знакомый съ Герценомъ читатель изъ внимательнаго и любовнаго изученія, быть можетъ, вновь открывающагося для него классика русской литературы вынесетъ не только бездну самаго возвышающаго художественнаго наслажденія, не только наглядное, несравненное по яркости знакомство съ той глубоко-знаменательной эпохой, свидѣтелемъ которой былъ Герценъ, но почувствуетъ и освобождающую силу этого до дна свободного генія.

Герценъ—непреклонный врагъ всякихъ догмъ—можетъ способствовать, во-первыхъ, освобожденію ума.

У насъ принято значительной частью передовыхъ людей гордиться догматизмомъ и ортодоксальностью. Нѣкоторый оттѣнокъ „чести“ въ этомъ отношеніи оправдывается, когда дѣло идетъ о такихъ величественныхъ синтезахъ, какъ,

скажемъ, марксовскій. Но какъ бы ни была величественна и богата идея—замкнувшись въ себѣ, огородивъ себя столь чуждыми самимъ Марксу и Энгельсу представленіями правовѣрія и ереси, готовая преслѣдовать всякую критику подъ предлогомъ борьбы съ „буржуазными вліяніями“, и она неминуемо обречена была бы на омертвѣніе. Правда, въ передовомъ міросозерцаніи пролетаріата столько мощи и молодости, столько есть объективныхъ основаній вѣрить въ его будущее, что не за него бояться приходится, а просто жалѣть тѣхъ, особенно молодыхъ, кто по неразумію охотно продаетъ за сектантское отличіе, особливо неразсуждающаго правовѣрія, право свободы мысли. О, Герценъ тутъ можетъ быть полезенъ чрезвычайно, ибо чувство свободы—это стихія его, нашедшая себѣ подкупающе прекрасное выраженіе во многихъ вдохновенныхъ страницахъ.

Но еще важнѣе то, что Герценъ можетъ намъ помочь раскрѣпостить наше чувство. Позоръ тому, кто въ наши дни не только осмѣлился бы стараться усадить чувство на законный тронъ разума съ его объективными мѣрилами, съ его побѣдоносными индуктивными методами, его строжайше обоснованными, не могущими обмануть дедукціями, но и тому, кто романтический тронъ чувства попытался бы поставить рядомъ съ трономъ научнаго реализма. Такого рода переворотъ въ духѣ психологическаго двоевластія чреватъ былъ бы бѣдами, изъ пояса которыхъ мы лишь недавно и съ трудомъ вышли, покончивъ съ утопизмомъ.

Но мы словно стараемся цѣликомъ

превратиться въ разсуждальщиковъ и вычисляльщиковъ, мы словно конфузимся живого чувства, непосредственной страсти, пафоса, онъ намъ кажется подозрительнымъ и какъ бы неприличествующимъ нашему исторически зрѣлому возрасту. Это односторонность горестная и некрасивая. Мы обѣдняемъ нашу внутреннюю жизнь, мы забываемъ, что лишь то прочно вошло въ насъ, лишь съ тѣмъ прочно связаны мы, что чувственно нами постигнуто, что волнуетъ насъ, что мы полюбили. Надо любить, надо ненавидѣть—и не такъ, что это, молъ, какъ-то тамъ само собой сдѣлается, а мы займемся лишь конторой, помѣщающейся у насъ въ верхнемъ этажѣ. Нѣтъ, чувство не должно быть предоставлено стихійному самоопредѣленію, оно должно быть воспитано. Воспитаніе чувства въ духѣ любви къ великимъ цѣлямъ жизни есть дѣло по важности слѣдующее непосредственно за уясненіемъ характера этихъ цѣлей и путей къ нимъ.

Герценъ былъ человѣкомъ огромныхъ, ослѣпительно яркихъ чувствованій, все окрашивавшихъ для него въ живѣйшія, бурнопламенные краски. Это и дѣлало его, конечно, тѣмъ несравненнымъ художникомъ-публицистомъ, какимъ онъ былъ. И лично его знавшій Бѣлинскій, и чутко понимавшій его Толстой отмѣчаютъ въ немъ преобладаніе сердца, а между тѣмъ, и объ умѣ его Бѣлинскій восклицалъ: „И на что даетъ Богъ одному человѣку столько ума!“

Сила чувства дѣлала возможными для Герцена чудеса: интимнѣйшія переживанія свои умѣетъ онъ превращать въ цѣнности общезначимыя, личную драму

въ трагедію, въ психологическую эпопею общечеловѣческой значительности, и равнымъ образомъ отдаленнѣйшія пространственно и временно событія, абстрактнѣйшіе, общественнѣйшіе вопросы переживать, какъ нѣчто глубоко личное, волнующее всѣ страсти, да и насъ заставить такъ переживать.

Мы должны учиться у Герцена страстному, личному, кровному отношенію къ общественности. Не бойтесь—это не помѣщаетъ нашему объективизму!

Я не предполагаю въ небольшой статьѣ растекаться по всѣмъ направленіямъ многовѣтвистой натуры и мысли Герцена. Я хочу сосредоточить вниманіе читателя на одномъ: на титаническомъ конфликтѣ въ душѣ великана двухъ одинаково необходимыхъ челоуѣку, но принципиально противоположныхъ началъ, примирить которыя на правильномъ компромиссѣ—это вѣчно новая, пластическая, творческая задача для каждой культуры, каждого класса, каждого поколѣнія.

При этомъ мы примемъ во вниманіе, главнымъ образомъ, періодъ жизни Герцена, въ который конфликтъ этотъ принялъ наиболѣе мучительный и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокий и плодотворный характеръ, т. е. время послѣ страшнаго потрясенія, перенесеннаго, Герценомъ, вслѣдствіе пораженія въ іюнѣ 48 года французскаго пролетаріата, а вмѣстѣ съ нимъ революціонныхъ надеждъ Европы.

Изумительная книга, которая остается вѣчнымъ памятникомъ этой безконечно поучительной внутренней трагедіи, книга, которую самъ авторъ считалъ лучшимъ

своимъ произведеніемъ—„Съ того берега“—нѣсколько хаотична: мысли бѣгутъ, сталкиваются, кружатся въ бѣшено-роскошномъ изобиліи, хлопочутъ полныя муки, то обгоняя, то отставая, не только безъ логической стройности, отъ статьи къ статьѣ этого сборника, писавшагося 12 лѣтъ, но и безъ строгой послѣдовательности зачастую въ той же статьѣ.

Нѣтъ сомнѣнія, конечно, что это—книга великихъ и тяжелыхъ мыслей, но это также книга настоящихъ бурь, разнообразнѣйшихъ и интенсивнѣйшихъ эмоцій.

Мы постараемся, такъ сказать, схематически вытянуть страстные размышленія искателя истины въ одну болѣе или менѣе строгую логическую линію, представить переживанія Герцена, какъ повторныя попытки рѣшенія все той же проблемы—попытки, увѣнчавшіяся, наконецъ, относительнымъ успѣхомъ, т. е. рѣшеніемъ, давшимъ Герцену довольно длительное успокоеніе.

Одинъ несчастный крѣпостной называлъ маленькаго Сашу „добрымъ отпрыскомъ гнилого древа“. Отщепенецъ барской среды, Герценъ явился величественнымъ знаменіемъ того факта, что сознаніе русское—на вершинахъ своихъ, по крайней мѣрѣ—мощно переросло русскую дѣйствительность.

Николаевскій режимъ, крѣпостное право, тусклая обывательщина, вся страшная казарменность замордованной Россіи была фономъ для отчаяннаго, буйнаго протеста личности, жаждущей выпрямиться, стремящейся къ собственному широкому счастью и къ счастью



окружающихъ. Естественное благородство сильной юности, окрыленное слухами объ эпопеѣ освободительной борьбы на Западѣ, вознеслось безконечно высоко надъ унылой равниной мрачнаго тогдашняго быта. И молодому орлу ничто не могло служить путями. Онъ несся прямо къ солнцу. Отрицая то, что онъ вокругъ себя видѣлъ, Герценъ старался формулировать свои требованія, свое „желаніе“, свое „должное“ въ самыхъ абсолютныхъ, опьяняющихъ широтой и богатствомъ формулахъ.

Уже въ болѣе позднее время Герценъ такъ характеризовалъ свой молодой идеализмъ, свой первоначальный романтизмъ:

„Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религіи... Тамъ, гдѣ открывалась возможность обращаться, проповѣдывать, тамъ мы были со всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ. Что собственно мы проповѣдывали—трудно сказать. Но хуже всего проповѣдывали ненависть ко всему злу, ко всякому произволу“. „Новый міръ,—говоритъ онъ дальше.—толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сеиъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ“.

Идеи утопическаго социализма стали религіей Герцена, и этотъ варваръ изъ грязной Россіи съ ея курными избами, розгами и казематами—на меньшемъ ни за что бы не помирился.

И ненависть, и любовь съ дѣтства принимаютъ у Герцена извѣстную картинность, нисколько не мѣшавшую искренности, а, напротивъ, легко доводив-

шую до состояній экстаическихъ, въ которыхъ расходившіяся волны чувства легко топили огонь критики. Сцена самопожертвенія Герцена и Огарева еще мальчиками въ рыцари свободы—эта всѣмъ намъ памятная и дорогая сцена—останется типичной для Герцена на всю жизнь и весь его змѣумудрый, мефистофелевскій скептицизмъ не поможетъ ему стать слишкомъ старымъ для этой благородной, вѣчно молодой экзальтации.

Помните?

„Запахавшись и раскраснѣвшись, стояли мы тамъ, обтирая потъ. Садилось солнце, купола блестѣли, городъ стлался въ необозримое пространство подъ горой, свѣжій вѣтерокъ подувалъ на насъ; постояли мы, постояли, оперлись другъ на друга и вдругъ, обнявшись, присягнули въ виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу“.

И оба исполнили свою клятву.

Непримиримость на маломъ, яркость фантазіи, могущей какъ бы воочию рисовать будущее, готовность всѣмъ сердцемъ отдаться любимому дѣлу, отзывчивость, неистовая почти, какъ у Бѣлинскаго,—вотъ силы, которыя дѣлали романтизмъ Герцена неискоренимымъ.

Мы видимъ, что онъ колеблется порой и какъ-будто готовъ совсѣмъ пасть подъ ударами своего леденяшаго противника, но, въ концѣ концовъ, онъ всегда побѣждаетъ у Герцена. И это значитъ, что побѣждаетъ жизнь, хотя бы цѣною иллюзіи.

Герценъ отъ природы былъ одаренъ огромной наблюдательностью, такъ часто идущей объ-руку съ ироніей, дѣйстви-

тельно рано проглянувшей въ немъ: вѣдь, умный наблюдатель чловѣчества не можетъ же не улыбаться его слабостямъ! А Герценъ былъ уменъ чрезвычайно. Ослѣпляемый собственными страстями, безпомощный часто передъ иллюзіями, порожденными его собственной любовью, онъ превращался въ безпощаднаго критика, вооруженнаго великолѣпно отточенными скальпелями и усовершенствованными микроскопами, когда дѣло шло объ ироническомъ анализѣ чужихъ увлеченій. Стоило только, чтобы какая-нибудь идея оторвалась отъ Герценовскаго сердца, перестала быть живою частью его организма—и онъ клалъ ее на анатомическій столъ и препарировалъ великолѣпно. Этотъ даръ критики предрасполагалъ Герцена съ самыхъ юныхъ лѣтъ къ недовѣрчивому отношенію передъ лицомъ всякихъ горячихъ или только подогрѣтыхъ вѣрованій. Поэтому онъ легче и глубже, чѣмъ другіе славные и даровитые друзья его, проникъ въ духъ великой объективной философіи Гегеля.

Мы здѣсь лишены возможности заниматься сравненіями гегельянства отдѣльныхъ людей сороковыхъ годовъ. Скажемъ лишь, что реализмъ, объективизмъ гегелевской системы поразилъ Герцена не менѣе, чѣмъ присущая ей непоколебимая увѣренность въ постепенномъ торжествѣ высшихъ началъ въ исторіи чловѣчества.

Въ отличіе отъ Фихте, Гегель съ издѣвательствами обрушился на заносчивыхъ критиковъ дѣйствительности и ея передѣльвателей. Это не значитъ, конечно, что

Гегель проповѣдывалъ апатію, атараксію индифферентизмъ, недѣланіе. Нисколько. Онъ звалъ, наоборотъ, къ живой дѣятельности, но въ рамкахъ объективнаго движенія общества впередъ. Смѣшны съ его точки зрѣнія попытки обогнать свое время или задержать величавый маршъ прогресса: надобно понять разумное, т. е. то, что разрѣшаетъ противорѣчія сегодняшняго дня и можетъ нашими усиліями превратиться въ дѣйствительность дня грядущаго. Въ этомъ смыслѣ все разумное является дѣйствительной силой, дѣйственной. Все же неразумное въ дѣйствительности, изжившее себя—отмираетъ, быть можетъ, медленно, но неизбѣжно. Поэтому дѣйствительность вся разумна въ ея теченіи, въ ея бореніи, гдѣ молодое, сильное—побѣдно.

Гегельянецъ—революціонеръ, но революціонеръ не во имя своей страсти, не во имя личныхъ чаяній, а во имя объективно понятыхъ противорѣчій общества, объективно предугаданныхъ путей его развитія.

Герценъ старался быть гегельянцемъ въ этомъ смыслѣ, т. е. въ томъ, въ какомъ гегельянцемъ былъ Марксъ.

Герценъ сдѣлалъ даже еще одинъ шагъ въ томъ направленіи, въ которомъ такъ гигантски высоко уйдетъ впередъ Марксъ: онъ призналъ вмѣстѣ съ Фейербахомъ, что законы развитія среды не могутъ быть постигнуты по простой аналогіи съ законами мышленія, но должны быть открыты эмпирическимъ путемъ и формулированы съ безстрастной точностью.

Между реализмомъ и романтизмомъ Герцена не было строго опредѣленной связи. Въ тѣхъ случаяхъ, когда линіи желательнаго и дѣйствительнаго расходились катастрофически рѣзко, двѣ души Герцена входили между собой въ острѣйшій конфликтъ. Самую сильную такую бурю Герценъ перенесъ послѣ юньской революціи.

Юньское пораженіе погрузило Герцена въ глубокое отчаяніе. Уже предшествовавшія впечатлѣнія достаточно питали прирожденный его скептицизмъ. Но подобнаго крушенія онъ не ожидалъ. Крушенія не только политическаго но и моральнаго.

„Страшное опустошеніе. Половина надеждъ, половина вѣрованій убито, мысли отрицанія, отчаянія бродятъ въ головѣ, укореняются. Предполагать нельзя было, что въ душѣ нашей, испытанной современнымъ скептицизмомъ, оставалось такъ много истребляемаго!“

„Отъ этого можно умереть, сойти съ ума. Я не умеръ, но я состарился, я оправляюсь послѣ юньскихъ дней, какъ послѣ тяжелой болѣзни“.

„Послѣ такихъ потрясеній живой человѣкъ не остается по старому. Душа его или становится еще религіознѣе, держится съ отчаяннымъ упорствомъ за свои вѣрованія, находитъ въ самой безнадежности утѣшеніе—и человѣкъ вновь зеленѣетъ, обожженный грозою, нося смерть въ груди, или онъ, мужественно и скрѣпя сердце, отдастъ послѣднія упованія, становится еще трезвѣе и не удерживаетъ послѣдніе слабые листья, которые уноситъ рѣзкій весенній вѣтеръ. Что лучше? Мудрено сказать. Одно ведетъ къ бла-

женству безумія. Другое—къ несчастью знанія. Я избираю знаніе—и пусть оно лишитъ меня послѣднихъ утѣшеній: я пойду нравственнымъ нищимъ по бѣлому свѣту, но съ корнемъ вонъ дѣтскія надежды! Всѣ ихъ подъ судъ неподкупнаго разума!“

Такимъ образомъ Герценъ рѣшительно вступаетъ на путь воинственнаго реализма. Да, конечно, скрѣпя сердце, но все же рѣшительно.

И прежде всего нападаетъ на самый духъ романтизма, какъ таковой. Онъ обвиняетъ въ переживаемомъ имъ крахѣ идеалистическое воспитаніе, „клятвы, данныя раньше познанія“.

„Мы не умѣемъ уладить ни внутренняго, ни внѣшняго быта, лишнее требуемъ лишнее жертвуемъ, пренебрегаемъ возможнымъ и негодуемъ за то, что невозможное нами пренебрегаетъ, возмущаемся противъ естественныхъ условій жизни и покоряемся произвольному вздору“.

Развѣ тутъ не звучитъ уже гегельянство почти по образу увлеченій Бѣлинскаго? Идеаль — произвольный вздоръ, не надо возмущаться противъ естественныхъ условій жизни!

„Наша цивилизація завершила весь свой путь съ двумя знаменами въ рукахъ: „романтизмъ для сердца“ было написано на одномъ, „идеализмъ для ума“—на другомъ. Вотъ откуда идетъ большая доля неустройства въ нашей жизни. Мы не любимъ простого, мы не уважаемъ природы по преданію, хотимъ распоряжаться ею... а жизнь и природа равнодушно идутъ своимъ путемъ“.

Конечно, въ этомъ нѣтъ отказа отъ

всякой дѣятельности, ибо Герценъ прибавляетъ, что природа покоряется человеку „по мѣрѣ того, какъ онъ научается дѣйствовать ея же средствами“. Но не ясно ли по всѣму контексту, что это значитъ самому подчиниться природѣ? Реализмъ Герцена здѣсь еще активный. Это своего рода попперизмъ, но онъ не остановится и передъ тѣмъ, чтобы осудить всякую активность. Въ боли своего разочарованія онъ въ ослѣпленіи бьетъ молотомъ въ лицо всѣмъ своимъ богамъ и бросаетъ осколки ихъ подъ ноги „Природѣ“.

Онъ старается научиться „уважать природу“.

„Кто ограничилъ цивилизаціи забормотъ? Она безконечна, какъ мысль, какъ искусство, она чертитъ идеаль жизни, она мечтаетъ апотеозу своего собственнаго быта, но на жизни не лежитъ обязанности исполнить ея фантазіи и мысли, тѣмъ болѣе, что это было бы только улучшенное изданіе того же, а жизнь любитъ новое. Природа рада достигнутому и помогаетъ въ высшаго. Вотъ отчего такъ трудно произведенія природы вытянуть въ прямую линію. Природа ненавидитъ фронтъ, она бросается во всѣ стороны и никогда не идетъ правильнымъ маршемъ впередъ“.

Итакъ, Герценъ исповѣдуется вѣру въ высшую мудрость, красоту и широту природы, такъ что ему какъ-будто вовсе не трудно отказаться отъ мысли, что цивилизація, „мечтая свою апотеозу“, не занимается только дѣтскими грезами. Какова наша человѣческая роль въ этомъ процессѣ? Существуетъ ли рядомъ

съ нимъ, со стихійнымъ процессомъ, въ которомъ нѣтъ ни худшаго, ни лучшаго, разумный прогрессъ, результатъ сознательнаго творчества?

Нѣтъ! Герценъ съ особеннымъ озлобленіемъ обрушивается на идею прогресса. Она обманула его—и онъ мститъ ей. Прогрессъ-романтизмъ. Реализмъ знаетъ лишь процессъ.

Приведу *in extenso* знаменитое мѣсто, въ которомъ публицисты, вроде г. Иванова-Разумника, видятъ верхъ мудрости, а мы—полное тоски самозакланіе Герцена-романтика передъ Герценомъ-реалистомъ.

„Если прогрессъ цѣль, то для кого мы работаемъ? Кто этотъ Молохъ, который по мѣрѣ приближенія къ нему тружениковъ вмѣсто награды пятится и на всѣ жалобы изнуренныхъ и обреченныхъ на гибель отвѣчаетъ лишь горькой насмѣшкой, что послѣ ихъ смерти будетъ прекрасно на землѣ? Уже одна идея безконечности прогресса должна была насторожить людей. Цѣль безконечно далекая—не цѣль, а, если хотите-уловка. Цѣль должна быть ближе, по крайней мѣрѣ, заработанная плата или наслажденіе въ трудѣ. Каждая эпоха, каждое поколѣніе, каждая жизнь имѣли, имѣютъ свою полноту, по дорогѣ развиваются новыя требованія, испытанія новыя средства“.

Герценъ неоднократно возвращался къ этой идеѣ самодовлѣющаго смысла индивидуальной жизни. Если нѣтъ прогресса, то это, конечно, единственное, что мы можемъ признать цѣннымъ. Но присмотритесь даже къ выписаннымъ нами тирадамъ. Герценъ

согласенъ допустить награду въ видѣ наслажденія трудомъ. Но если человѣкъ получаетъ такое наслажденіе, лишь строя колоссальное, закладывая фундаментъ, на которомъ зданія будутъ возводить сыновья и внуки? Что если трудъ мелкаго масштаба, не связанный съ безконечнымъ ростомъ культуры, не даетъ такого захватывающаго наслажденія? Долженъ ли всякій человѣкъ дѣйствовать согласно правилу *après moi le déluge*? Или, можетъ быть, работать иначе, работать исторически всегда значить обманывать себя? Но, вѣдь, по Герцену — „развиваются новыя требованія, отыскиваются новыя средства“. Но или я совершенно не понимаю, что значить прогрессъ, или по человѣчески онъ означаетъ постоянный ростъ потребностей и ростъ возможностей удовлетворить ихъ или, какъ выражался Марксъ, ростъ богатства челоѣческой природы. И Герцену такъ хочется придать своему процессу всѣ черты прогресса, что онъ добавляетъ: „Наконецъ, само вещество мозга улучшается“.

Правда, Герценъ приводитъ при этомъ въ примѣръ быковъ. Ему хочется придать своей мысли отгѣнокъ, такъ сказать, пассивности, отмѣтить просто даръ, премію природы въ смѣнѣ самодовлѣющихъ поколѣній. Но „церебринъ“ улучшается у людей не такимъ образомъ, а вслѣдствіе усложненія культуры, его улучшение нашими сознательными усиліями завоевывается. И, конечно, въ обществѣ, гдѣ старое поколѣніе больше заботится о новомъ, чѣмъ о себѣ, этотъ „процессъ прогрессъ“ идетъ особенно быстро.

Но Герценъ опомнился. Скорѣе возстановить природу въ ея апрогрессивности: „Цѣль для каждаго поколѣнія— оно само. Природа не только никогда не дѣлаетъ поколѣній средствами достиженія будущаго, но она вовсе о будущемъ не заботится: она готова, какъ Клеопатра, распустить въ винѣ жемчужину, лишь бы потѣшиться настоящимъ, у нея сердце баядеры и вакханки“.

Пусть такъ. Но должно-ли и челоѣчество сдѣлаться такой баядерой? Неужто отказаться отъ предвидѣнія? Не въ этомъ ли отличіе наше отъ стихій и наша гордость и залогъ нашихъ побѣдъ? Урѣзывать предвидѣніе, заставить челоѣка не смотреть дальше своего носа—развѣ это не ужасающій обскурантизмъ?

Вы видите, какъ Герценъ смѣлъ.

„Сердитесь, сколько хотите, но міра никакъ не передѣлаете по какой-нибудь программѣ. Онъ идетъ своимъ путемъ, и никто не въ силахъ сбить его съ дороги“.

Съ великимъ азартомъ бунтовщикъ противъ идеаловъ восклицаетъ: „Объясните мнѣ, пожалуйста, отчего вѣрить въ бога смѣшно, а вѣрить въ челоѣчество не смѣшно, вѣрить въ царство небесное глупо, а вѣрить въ земныя утопіи умно. Отбросивши положительную религію, мы останемся при старыхъ привычкахъ и утративъ рай на небѣ, хвастаемся нашей вѣрой въ рай на землѣ!“

Дальше идти некуда. Думаете ли вы, что Герценъ доволенъ своей мудростью? Нѣтъ, онъ страшно тоскуетъ.

Свою мудрость абсолютнаго или близорукаго къ нему реализма Герценъ вкладываетъ въ уста пожилому собесѣд-

нику нѣкихъ горько сѣтующихъ и роман- тично-пессимистически настроенныхъ мо- лодыхъ людей и дамъ. Не трудно, однако, замѣтить, что въ уста этимъ молодымъ Герценомъ вложено много слишкомъ сильныхъ лирическихъ жалобъ, чтобы нельзя было заподозрить его тайнаго со- чувствія имъ.

Одинъ изъ побѣдоноснѣйшихъ реали- стическихъ діалоговъ кончается такъ:

— У насъ остается одно благо—спокой- ная совѣсть, утѣшительное сознаніе, что мы не испугались истины.

— И только?

— Будто этого не довольно? Впрочемъ, нѣтъ... У насъ могутъ быть еще личныя отношенія... если при этомъ немного солнца, море вдали или горы, шумящая зелень, теплый климатъ.. Чего же больше?

— Но такого спокойнаго уголка въ теплѣ и тишинѣ вы не найдете теперь во всей Европѣ.

— Я поѣду въ Америку.

— Тамъ очень скучно.

— Это правда.

Но Герцену было бы скучно во вся- комъ тихомъ и тепломъ углу! То, чѣмъ онъ рекомендуетъ утѣшаться, вѣдь, это богадѣльня для духовныхъ инвалидовъ!

Вотъ почему Герценъ, особенно въ этотъ періодъ своей жизни, такъ часто говоритъ о трагизмѣ положенія тѣхъ, кто обогналъ свое время, да и вообще, критически мыслящихъ единицъ.

Но могучая натура его не удовлетво- рилась этимъ рѣшеніемъ вопроса, не да- вавшимъ утѣшенія ему по плечу, кон- статировавшимъ безысходность, а не открывавшимъ выходъ.

Кромѣ первой антиноміи — реализмъ

contra романтизмъ—и выше ея, Герценъ строить другую: новый міръ противъ стараго.

Что же такое старый міръ? Тутъ надо удивляться остротѣ критическаго анализа Герцена. Тутъ онъ гениально переро- стаеъ большинство величайшихъ своихъ европейскихъ современниковъ. Старый міръ это не только все то, противъ чего боролись адепты свободомыслія, глашатаи демократіи, паладины республики, — нѣтъ. Старый міръ также и всѣ эти столь долго лелѣянные, столькихъ жертвъ стоившіе принципы. Съ сожалѣніемъ, отчасти даже съ презрѣніемъ смотреть Герценъ на тѣхъ, кто и послѣ іюня не понималъ пустоты, отсталости, коренной не- достаточности буржуазнаго радикализма.

Старый міръ, словомъ не только твер- дыни добуржуазнаго порядка, не только вновь возведенные окопы порядка круп- нобуржуазнаго, но и самая революція, какъ понимали ее вожди республикан- ской демократіи, передовой мелкой бур- жуазіи.

Герценъ все яснѣе приходитъ къ истинѣ, что, критикуя строительство бу- дущаго и идею прогресса, онъ разру- шаетъ собственно лишь специфическое, мелко-буржуазно-утопическое строите- льство и Ледрю-Ролленовскую схему про- гресса.

Съ этой точки зрѣнія положеніе не кажется уже ему столь безнадежнымъ. Новый міръ подымается на глазахъ среди хаоса и распада—и вмѣсто того, чтобы искать теплаго и спокойнаго лазарета въ Америкѣ, нельзя ли поискать путей къ этому новому міру, къ новому строи- телю и его новому прогрессу?

Иные хвалят Герцена за его критику буржуазно-демократических идеалов, соглашались с нимъ, что именно его варварская русская „свобода“ отъ традицій помогла ему раньше западныхъ вождей демократіи освободиться отъ иллюзій „свободы, братства и равенства“ въ ихъ буржуазной абстрактности, но отрицають возможность для Герцена, кромѣ критики, найти и положительное обѣтованіе, полагають, что новаго міра онъ совсѣмъ не видалъ.

Это ошибка. Не только параллельно Марксу Герценъ до дна прозрѣлъ ограниченность и утопичность демократизма, какъ рѣшенія соціальной проблемы, но параллельно ему указалъ именно на пролетаріатъ, какъ на носителя дальнѣйшаго движенія, новой фазы общественнаго развитія. На это у Герцена можно найти вполне недвусмысленныя указанія.

„Сила соціальныхъ идей велика,—пишетъ онъ,—особенно съ тѣхъ поръ, какъ ихъ началъ понимать истинный врагъ, врагъ по праву существующаго гражданского порядка — пролетарій, работникъ, которому досталась вся горечь этой формы жизни и котораго миновали всѣ плоды ея.

„Работникъ не хочетъ больше работать на другого,—говоритъ онъ далѣе,—вотъ вамъ и конецъ антропофагіи, аристократіи. Все дѣло остановилось теперь за тѣмъ, что работники еще не сосчитали своихъ силъ, что крестьяне отстаиваютъ образованіи: когда они протянутъ другъ другу руку, тогда вы распростились съ вашей роскошью, вашимъ досугомъ, вашей цивилизаціей, тогда окончится поглощеніе большинства на выра-

ботаніе свѣтлой жизни меньшинству. Въ идеѣ теперь уже кончена эксплуатация челоѣка челоѣкомъ, кончена по тому, что никто не считаетъ ее справедливой“.

Итакъ, весь вопросъ—когда и какъ кончится она и реально. Что кончится—въ этомъ у Герцена нѣтъ сомнѣній.

Не вышелъ ли измученный искатель на дорогу? Здѣсь не окажется ли совпаденія между активнымъ прогрессомъ и объективнымъ процессомъ? Не скажетъ ли онъ съ Марксомъ сначала, что соединеніе силы пролетаріата и идеи социализма есть гарантія успѣха обоихъ? А потомъ не откроетъ ли, хотя бы слѣдомъ за Марксомъ, что и стихіи развитія производственной основы общества имѣютъ тенденцію, совпадающую съ идеалами пролетаріата?

Нѣтъ.

Герценъ ясно видитъ „другой берегъ“, но не можетъ на него попасть. Онъ ему чуждъ и страшенъ. Постоянно различаетъ онъ—„мы“ и „они“, т. е. пролетаріи. Казалось, сбросилъ прахъ этого берега съ ногъ, а нѣтъ—какое-то болото засосало и не пускаетъ. Казалось бы, съ очевидностью видить, куда стремится постепенно крѣпнущій и организующій свои силы пролетаріатъ, а нѣтъ—боится, куда-то еще пойдетъ этотъ страшный, привлекательный, могучій, но чужой та-кой незнакомецъ.

„Заходъ? Тутъ-то и остановка. Куда? Что тамъ, за стѣнами стараго міра? Страхъ беретъ. Пустота, ширина, воля! Какъ идти, не зная куда, какъ терять. не видя пріобрѣтеній?“

Правда, романтизмъ подъ вліяніемъ

этихъ идей достаточно окрѣплъ, чтобы устами „скептическаго“ Герцена воскликнуть: „отважная дерзость въ иныхъ случаяхъ выше всякой мудрости!“ Но развѣ во всемъ этомъ не чувствуется недоувѣрія, страха?

„Люди отрицанія для прошедшаго, люди отвлеченныхъ построений для будущаго—мы не имѣемъ достоянія ни въ томъ, ни въ другомъ—и въ этомъ свѣдѣтельство нашей ненужности.“

„Массы желаютъ социальнаго правительства, которое бы управляло ими для нихъ, а не противъ нихъ, какъ теперешнее. Управляться самимъ имъ въ голову не приходитъ (?). Вотъ отчего освободители гораздо ближе къ современнымъ переворотамъ, чѣмъ всякій свободный человѣкъ. Свободный человѣкъ, можетъ быть, вовсе ненужный человѣкъ.“

Да, Герценъ не понимаетъ пролетаріата; великій свободолюбивый баринъ, посланецъ сермяжной, землеробной Россіи—онъ не знаетъ, съ какой стороны могъ бы онъ подойти къ этому столь нерусскому по тогдашнимъ временамъ персонажу.

Пролетаріатъ психологически, идеологически едва-едва опредѣлялся. Угадать его тенденціи, заключенныя въ немъ потенціи сколько-нибудь конкретно, полюбить ихъ, положиться на нихъ, исходя изъ психологическаго изслѣдованія тѣхъ данныхъ, какія реальный пролетаріатъ того времени давалъ, было вообще невозможно. У Герцена, между тѣмъ, былъ лишь одинъ этотъ методъ изслѣдованія общественныхъ явленій. Его психологическая чуткость отказыва-

лась здѣсь служить ему. Все такъ не-оформлено, все такъ шатко, такъ темно. Вѣдь, въ ту пору пролетаріатъ былъ еще, по выраженію Маркса, почти исключительно классомъ для другихъ, не классомъ для себя, разсѣянной разновидностью человѣческаго рода, а не сплоченнымъ коллективнымъ субъектомъ.

Если Марксъ такъ увѣренно разбирался въ грядущихъ судьбахъ рабочаго класса, то это въ силу болѣе глубокаго реализма, чѣмъ тотъ, до котораго могъ додуматься Герценъ.

Признавалъ ли Герценъ мировой субстанціей матерію или склонялся къ своеобразному пантеизму—это въ его конкретномъ реализмѣ ничего не мѣняло. Марксъ тоже не считалъ мировую субстанцію матеріей; болѣе того: онъ считалъ нелѣпой самую постановку подобнаго вопроса. Но онъ открылъ, что общественныя идеологіи возникаютъ и развиваются въ зависимости отъ общественнаго бытія, т. е. отъ коренной формы социальной жизни—труда въ его развитіи.

Это давало возможность Марксу замѣнять социальное-психологическое изслѣдованіе экономическимъ и ясно видѣть тѣ пути, по которымъ пролетаріатъ, каковъ бы онъ въ то время ни былъ, неизбежно долженъ будетъ пойти.

Итакъ, Герценъ, открывшій новый пролетарскій міръ, увидѣвшій „другой берегъ“, не приходитъ отъ этого въ восторгъ, ибо берегъ этотъ кажется ему неприступнымъ. Отсюда длительное колебаніе между „мужественнымъ реализмомъ“ вышеизложеннаго типа, весьма



недалеко ушедшимъ отъ скорбнаго романтизма, и надеждами на обновленіе чело-вѣчества путемъ вторженія въ цивилизацію „варваровъ.“

Национальная гордость, сильно присущая Герцену и прищипываемая общей ненавистью къ официальной Россіи и презрѣніемъ даже такихъ людей, какъ Гарибальди или Мишле, къ „попустителю“—народу, горячая, съ дѣтства сложившаяся любовь къ русскому престонародью—привлекли вниманіе Герцена къ новымъ возможностямъ.

Во имя пролетаріата и его неизвѣданнаго еще „новаго“—Герценъ уже осмѣлился отринуть старую Европу даже со всѣмъ передовымъ, что она въ себя включала. Но Россія? Быть можетъ, подъ слоемъ унижительнаго варварства въ Россіи сохранилось что-либо, могущее облегчить прямой союзъ русскаго народа, еще не завоевавшего ни тѣни политической свободы, съ пролетаріатомъ Запада, ставящимъ цѣли гораздо болѣе грандіозныя, чѣмъ самая широкая политическая свобода?

Такъ сказать, изъ глубины своего отчаянія передъ паденіемъ родной ему по духу культурной Европы, изъ глубины сознанія оторванности своей отъ героя завтрашняго дня—пролетарія, Герценъ создаетъ геніальный миеъ о русской общинѣ, какъ возможномъ фундаментѣ социализма въ Россіи, о русскомъ мужикѣ, какъ несознавшемъ еще себя, но способномъ легко преобразиться братъ и соратникъ западнаго рабочаго.

Конечно, миеъ этотъ возникъ бы и безъ Герцена. Тому было много объективныхъ причинъ. Но Герценъ первый во

всемъ блескѣ изложилъ его, защищалъ съ паеосомъ и страстью. Куда дѣвался скептицизмъ! Любовь и надежда порождаютъ пламенную, фанатическую вѣру.

Но реализмъ не оставляетъ Герцена. Теперь, когда Герценъ-романтикъ обрѣлъ падъ ногами столь прочную, какъ ему казалось, почву,—реализму отводится иное мѣсто, иная работа.

Прочно вѣра въ будущее общины. Герценъ задается цѣлью помочь ей высвободиться изъ-подъ того чрезмѣрнаго гнета, который останавливаетъ въ ней всякую жизнь—изъ-подъ крѣпостного права. Такова конкретная задача. Программа-минимумъ. Не въ смыслѣ того небольшого, на чемъ можно на худой конецъ помириться, не въ смыслѣ минимализма ползучаго, реформистскаго, либеральнаго, а въ смыслѣ начала развязывающаго впервые силы, достаточныя для дальнѣйшей, все ускоряющейся борьбы.

Въ знаменитомъ письмѣ къ Мишле Герценъ говоритъ это ясно: „Правительство поняло, что освобожденіе крестьянъ сопряжено съ оовожденіемъ земли, а оно въ свою очередь явится началомъ социальной революціи, провозглашеніемъ сельскаго коммунизма“.

Конечно, и это была иллюзія. Не тѣмъ темпомъ и не тѣми путями пошло общественное развитіе Россіи. Но кто же усумнится сейчасъ въ огромномъ значеніи политической и воспитательной работы, продѣланной на почвѣ этихъ иллюзій „Колоколомъ?“

У Герцена надо учиться не конкретнымъ рѣшеніямъ вопросовъ, а ихъ живому

страстной, огромно-широкой постановкѣ. Силѣ критики и силѣ любви.

Мы имѣемъ великій свѣтильникъ передъ нами. Мы не окружены такой тьмой, какая царила въ тѣ времена. Но это не освобождаетъ насъ отъ обязанности, отъ необходимости постоянно вновь

и вновь зондировать и глубины окружающаго, и глубины собственного нашего духа, стремясь къ выработкѣ и охранѣ гармоничнаго созерцанія и мірочувствованія, способнаго порождать въ насъ высшую мѣру активности. И здѣсь Герценъ—великій учитель.

А. Луначарскій.

## «ГАМЛЕТЪ» ВЪ МОСКОВСКОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТРѢ.

### I.

„Если Берне могъ воскликнуть въ роковыхъ годахъ: „Германія—это Гамлетъ“, то и русскіе нашего времени видятъ въ немъ олицетвореніе своего отечества“. Такъ говоритъ одинъ изъ виднѣйшихъ современныхъ изслѣдователей Шекспира, Максъ Вольфъ \*).

Въ самомъ дѣлѣ, какъ въ жизни отдѣльнаго человѣка, такъ и въ исторіи того или другого народа наступаютъ эпохи, когда вѣчная трагедія Шекспира становится особенно близкою и понятною, когда она начинаетъ казаться въ полномъ смыслѣ современною трагедіею. И наше время, несомнѣнно, таково, ибо въ глубинѣ многихъ и многихъ душъ переживается, какъ и въ душѣ Гамлета, страшный духовный кризисъ. Въ свѣтѣ всего, переживаемаго нами, яснѣе становится истинный смыслъ шекспировой трагедіи.

Многія сотни комментаторовъ, уче-

ныхъ и поэтовъ толковали „Гамлета“. Но самое распространенное пониманіе его, въ которомъ повинны и такіе великіе, какъ Гете, до сихъ поръ состояло въ томъ, что „Гамлетъ“—это трагедія безсильной, бездѣйственной воли. Но я думаю, что непосредственное художественное чувство во всѣ времена видѣло въ шекспировскомъ героѣ нѣчто большее, чѣмъ заключается въ этой разсудочной формулѣ, что сердца людскія всегда влеклись къ нему, какъ къ воплощенію глубочайшей человѣчности, какъ къ носителю настоящей трагедіи. А настоящая трагедія никогда не разыгрывается въ душѣ слабого: глубина и сила страданія доступна только глубокому и сильному духу.

Большинство новѣйшихъ толкователей „Гамлета“, какъ Куно-Фишеръ, Тюркъ и др., уже далеко ушли отъ прежней точки зрѣнія или даже совершенно порвали съ ней. Изслѣдованія же, относящіяся къ біографіи Шекспира, позволяютъ намъ ближе подойти въ вопросу о его замыслѣ.

\* ) Shakespeare. Der Dichter und sein Werk. Von Dr Max I. Wolff. Zweiter Band. 1908.

Уже не подлежит сомнѣнію, что „Гамлетъ“ является наиболѣе личною, наиболѣе интимною трагедіею Шекспира, во многихъ отношеніяхъ какъ бы исповѣдью его собственной души. Страшный внутренній кризисъ переживался имъ самимъ въ то время, когда онъ задумывалъ эту вещь и приступалъ къ работѣ надъ нею, законченной, въ первой редакціи, очень быстро — менѣе, чѣмъ въ годъ. Предшествующей его трагедіей былъ „Юлій Цезарь“, по характеру основнаго настроенія чрезвычайно родственной „Гамлету“. Уже тогда въ 1699 году, тяжкія думы мучили Шекспира. Недостойная внутренняя и внѣшняя политика Елизаветы, послѣ временнаго національнаго расцвѣта, тяжелый гнетъ развратнаго и лицемернаго двора—все это съ необычайной силою ощущалось его благородной, открытой и страстной душою. Скопившееся кругомъ Елизаветы недовольство разразилось возстаніемъ графа Эссекса, который, повидимому имѣлъ въ виду низверженіе королевы. Всѣ симпатіи Шекспира были на сторонѣ возставшихъ, среди которыхъ выдающуюся роль игралъ и его ближайшій другъ и покровитель Соутамптонъ. Самъ Шекспиръ и близкіе ему актеры были замѣшаны въ заговоръ. Но возстаніе кончилось пораженіемъ. Графъ Эссексъ былъ приговоренъ къ смерти. Соутамптонъ—къ пожизненному заключенію въ Тоуеръ. Въ день казни Эссекса, 26 февраля 1601 года, Елизавета, демонстрируя свое равнодушіе къ смерти когда-то близкаго ей человека, присутствовала на парадномъ спектаклѣ въ Richmond

Palace. Шекспиръ принужденъ былъ участвовать въ этомъ спектаклѣ.

Въ этотъ годъ и написанъ былъ „Гамлетъ“, въ первой его редакціи. Но и въ послѣдующіе годы, когда онъ вносилъ въ него поправки и дополненія, и позднѣе, когда онъ писалъ „Мѣру за мѣру“, свѣтлая и довѣрчивая отъ природы душа его была объята глубочайшимъ мракомъ. Пережитое имъ потрясеніе и чувство позора, которое онъ испыталъ, участвуя въ парадномъ спектаклѣ въ день гибели своихъ близкихъ, вызвали въ немъ такія внутреннія бури, что все его религиозное міросозерцаніе зашаталось. Мысли о самсубіectivѣ стали посѣщать его—и въ то же время онъ испытывалъ невѣдомый ему ранѣе страхъ смерти. Раньше чуждавшійся философіи и вообще мало образованный по сравненію со многими писателями его времени, онъ поддался влиянію этическихъ воззрѣній Джіордано Бруно, съ которыми знакомилъ его итальянецъ Фоліо, и философіи Монтеня, котораго какъ разъ въ это время переводилъ на англійскій языкъ тотъ же Фоліо. вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ усердно перечитывалъ Библію. Огромная духовная работа шла въ немъ, не превозмогая, однако, того ужаса, который внушала ему дѣйствительность—этотъ призрачный, этотъ кошмарный міръ необходимаго, неистребимаго зла, среди котораго одиноко блуждаютъ и гибнутъ люди, вѣрующіе въ любовь и правду.

Шекспиръ страдалъ, какъ могутъ страдать только люди, умѣющіе любить и вѣрить, не потерявшіе способности ощу-

щать раздоръ между требованіями своего духа и впечатлѣніями жизни.

## II.

Огромную и неимоверно-трудную задачу взялъ на себя Московскій Художественный театръ, задумавъ поставить „Гамлета“. И чѣмъ тоньше, чѣмъ глубже тѣ художественныя требованія, которыя руководители его предъявляютъ себѣ и всѣмъ своимъ артистамъ въ дѣлѣ сценическаго искусства, тѣмъ яснѣе должны были имъ быть всѣ трудности этой задачи.

Основывая театръ, они стремились къ тому, чтобы изгнать со сцены все, разсчитанное на внѣшній эффектъ, все, что говоритъ только къ нервамъ, къ внѣшнимъ чувствамъ, а не къ духу зрителя, всю ту театральщину, которая, не затрагивая настоящихъ человѣчныхъ чувствъ, пробуждаетъ въ публикѣ истерическія наклонности. Устранить обычный театральный пафосъ, достигаемый искусственной взвинченностью актерскихъ нервовъ, всякую ходульность и внѣшнюю напряженность нервовъ, словомъ, всѣ традиціонныя, избитыя приемы актерской игры, до сихъ поръ практикующіеся, особенно въ драмѣ и трагедіи, даже въ передовыхъ театрахъ Европы, и создать новое сценическое искусство, основанное на игрѣ настроеній и чувствъ въ душѣ самого актера, — такова была цѣль, къ которой шелъ театръ. Настоящее живое творчество во всякой области искусства изливается во внѣшнихъ образахъ стихію волнующихся въ душѣ художника чувствованій. Только при этихъ условіяхъ произведеніе искусства — будь это

созданіе писателя, живописца или актера — „заражаетъ“ воспринимающаго — заражаетъ его не безпредметнымъ нервнымъ возбужденіемъ, а именно тѣмъ не укладывающимся въ разсудочныя формулы душевнымъ и духовнымъ содержаніемъ, которое вложилъ въ него художникъ.

Но путь Художественнаго театра былъ чрезвычайно труденъ, какъ всегда трудна борьба съ рутинною и соблазнами болѣе дешеваго успѣха. Легко создавать на сценѣ, чисто внѣшними средствами, типичныя фигуры дюжинныхъ людей, лишеныя оригинальнаго внутренняго содержанія: для этого достаточно наблюдательности и простой имитаторской способности, которая не имѣетъ ничего общаго съ даромъ художественнаго творчества. Легко, выступая передъ огнями рампы на глаза тысячной толпы, разводить въ себѣ пары условнаго пафоса въ трагедіи. Но чтобы дѣйствительно „переживать“ разнообразныя роли истинно-художественнаго репертуара, артисты должны обладать огромнымъ душевнымъ и духовнымъ діапазономъ, должны быть людьми, которымъ ничто человѣческое не чуждо. Какъ создать такую труппу?

Мы знаемъ, какихъ чудесъ художественной правдивости, художественнаго благородства достигалъ и достигаетъ Московскій театръ въ постановкѣ многихъ пьесъ русскаго и иностраннаго репертуара. Но вполне понятно, что у театра бывали и частичные срывы, и общія неудачи. Несмотря на обиліе прекрасныхъ талантовъ въ труппѣ, бывало, что и въ главныхъ роляхъ драмы артисты не углублялись до настоящаго

вчувствованія въ ея духовное и психологическое содержаніе и сбивались на обычные приемы стараго театра. Чѣмъ ближе драма настроенію современнаго русскаго художника-актера, со всѣми особенностями его темперамента и душевнаго склада, тѣмъ совершеннѣе бываетъ ея воплощеніе. Чѣмъ дальше она отъ насъ по своему органическому характеру — по темпераменту, душевному складу автора, тѣмъ труднѣе артистамъ найти въ себѣ внутреннія созвучія съ ея героями. Самый языкъ нашихъ, въ большинствѣ случаевъ, очень плохихъ драматическихъ переводовъ, этотъ несвободный, психологически неправдивый языкъ, накладываетъ путы на артистовъ, сковываетъ непосредственность ихъ чувства даже тамъ, гдѣ это чувство сливается съ внутреннимъ содержаніемъ даннаго художественнаго образа.

Вотъ тѣ трудности, которыя приходилось преодолевать Художественному театру при постановкѣ „Гамлета“ и которыя онъ, несомнѣнно, сознавалъ. На этомъ и была основана мысль пригласить, въ качествѣ главнаго режиссера постановки, Гордона Крэга: англичанинъ по духу и крови, этотъ знаменитый новаторъ и художникъ сцены долженъ былъ чувствовать безсмертную драму, какъ нѣчто свое, родное, органически-понятное въ тѣхъ таинственныхъ изгибахъ ея, которые въ своей совокупности опредѣляютъ душу художественнаго произведенія.

### III.

Не подлежитъ сомнѣнію, что при исполненіи „Гамлета“, даже въ боль-

шей степени, чѣмъ при исполненіи какой-либо другой драмы, конечное впечатлѣніе зрителя зависитъ отъ артиста, играющаго заглавную роль. Трагедія Гамлета — исключительно внутренняя трагедія, разыгрывающаяся въ глубинѣ его души. Событія, породившія ее, какъ и первый моментъ нравственнаго потрясенія Гамлета, связанный съ вторичнымъ замужествомъ матери, — проходятъ до начала драмы, а все, что совершается передъ нами на сценѣ, служитъ лишь поводомъ для углубленія и раскрытія переживаемаго Гамлетомъ духовнаго кризиса, который парализуетъ его волю. Можно представить себѣ геніальнаго актера, который одною своею игрою заставилъ бы насъ ощутить тѣ муки, которыя Шекспиръ перелилъ изъ собственной души въ душу своего Гамлета. Но несомнѣнно, что даже и въ такихъ произведеніяхъ, какъ „Гамлетъ“, художественный фонъ, на которомъ разыгрывается драма, т. е. вся совокупность дѣйствующихъ лицъ, и обстановки, либо усиливаетъ, углубляетъ, концентрируетъ наши впечатлѣнія, либо разсѣиваетъ и ослабляетъ ихъ. Весь вопросъ только въ истинной художественности режиссерскаго замысла, въ строгомъ соответствіи его съ духомъ и характеромъ самой драмы.

Замыселъ Крэга поразилъ и потрясъ меня своею художественною глубиною. Кошмарное, фантастическое видѣніе двора — эта мерцающая въ дымномъ свѣтѣ гора закованныхъ въ золото человѣческихъ фигуръ, и передъ этимъ видѣніемъ, на грани, отдѣляющей полутемную авансцену, скорбный Гамлетъ — въ этомъ зрительномъ образѣ уже на-

мѣчена основа трагедіи. Жизнь стала для Гамлета страшнымъ сномъ, и онъ то кружится, сталкиваясь съ призраками людей, по какимъ-то нескончаемымъ безцвѣтнымъ галлереймъ, между уходящихъ въ высь столбовъ, по какимъ-то внезапно расширяющимся корридорамъ неправильной формы, то вновь останавливается среди безобразныхъ и зловѣщихъ красочныхъ видѣній... Знаменитыя ширмы и колонны Крѣга, отвѣчающія на современный, давно уже выраженный въ печати, запросъ о замѣнѣ сценической живописи—сценической архитектурой, нигдѣ, кажется, не могли быть примѣнены съ такою внутреннею необходимостью, какъ именно въ „Гамлетѣ“, гдѣ они создаютъ множество декоративныхъ комбинацій—не просто красивыхъ, а символически-выразительныхъ. А это измѣнчивое, сложное цвѣтное освѣщеніе вмѣсто неизмѣнныхъ красокъ на стѣнахъ—какой зыбкій и жуткій характеръ оно придаетъ всему, что мы видимъ передъ собою вмѣстѣ съ Гамлетомъ. Онъ одинъ стоитъ лицомъ къ лицу съ этимъ загадочнымъ и ненадежнымъ міромъ, въ которомъ, какъ гады, кишатъ отвратительныя страсти и пороки, въ которомъ люди кажутся грубыми масками—вродѣ тѣхъ, которыя несутъ передъ собою, не надѣвая ихъ вплотную, актеры въ разыгрываемой передъ королемъ пантомимѣ...

Не всѣ частности одинаково нравятся мнѣ въ осуществленіи этого поэтическаго режиссерскаго замысла. Нѣкоторыя картины—напр., спальня королевы, желтовато-сѣрая окраска ея, кровать съ бѣднымъ холстиннымъ пологомъ,—оказались

неудачными. Комбинаціи колоннъ, по втораясь въ нѣсколькихъ послѣднихъ картинахъ, подъ конецъ утомляютъ. Нѣкоторые эффекты освѣщенія, особенно въ послѣдней картинѣ, кажутся мнѣ слишкомъ яркими, недостаточно правдивыми въ художественномъ отношеніи и какъ бы еще не найденными въ соотвѣтствіи съ внутреннимъ смысломъ и настроеніемъ картины. Призракъ убитаго короля, являющійся въ саванѣ поверхъ указанныхъ текстомъ Шекспира военныхъ доспѣховъ, тоже не удовлетворилъ меня. Но все это подробности, которыя по завершеніи работы надъ постановкою, частью измѣнятся, частью просто лопнутъ въ художественномъ богатствѣ общаго впечатлѣнія.

#### IV.

Я считаю, что работа театра надъ „Гамлетомъ“ еще не завершена, что трагедія Шекспира, неподобно истолкованная Крѣгомъ, еще не ожила на сценѣ во всей полнотѣ и во всей яркости своего духовнаго и психологическаго содержанія: исполнитель главной роли, Качаловъ, словно еще робѣетъ передъ огромностью своей художественной задачи, словно еще не можетъ полностью восчувствовать раздираемую муками душу Гамлета. Богато-одаренный, умный, истинно-благородный актеръ, способный подниматься до настоящаго художественнаго и поэтическаго творчества на сценѣ, онъ иногда останавливается въ какомъ-то замѣшательствѣ передъ ролями, требующими большого духовнаго темперамента. Драмы Ибсена не давались ему, и въ „Брандѣ“ онъ нис-

ходилъ даже до нѣкоторыхъ шаблонныхъ приѣмовъ актерской игры, которые, впрочемъ, слишкомъ охотно прощаются даже избранною публикою Художественнаго театра. Думая о немъ заранее, какъ объ исполнителѣ Гамлета, я невольно опасалась, чтобы онъ и здѣсь, какъ въ „Брандѣ“, не измѣнилъ своей художественной искренности. Правда, роль Гамлета должна была быть ближе ему, какъ современному человѣку, и рѣдко можно встрѣтить артиста, въ такой степени одареннаго внѣшними данными, нужными для исполненія этой роли. Но темпераментъ гамлетовыхъ страданій, трагическая интенсивность ихъ — не свойственны типичному современному человѣку, исподволь разѣденному всякаго рода сомнѣніями, утратившему способность безумствовать при видѣ торжествующаго зла.

Качаловъ, создавая Гамлета, еще не довелъ до конца той внутренней работы, которой требуетъ эта роль. Онъ какъ бы еще не разбудилъ въ себѣ той бури, которая закипаетъ въ каждой серьезной и благородной душѣ, когда она ребромъ поставитъ для себя вѣковѣчный вопросъ о смыслѣ жизни, объ исконныхъ противорѣчіяхъ между высшими требованіями нашего духа и безсмысленными, отвратительными уродствами человѣческой жизни. Современныя души притерпѣлись къ своему пессимизму. Свойственная человѣческой природѣ вѣра въ людей тлѣетъ на днѣ ея, какъ угли, засыпанные холодной золой. Но тѣмъ и огромно значеніе шекспировой трагедіи, что она можетъ разжечь въ насъ, и прежде всего въ самомъ исполнителѣ Гамлета,

эти тлѣющіе угли, можетъ заставить насъ по новому ощутить весь ужасъ привычныхъ противорѣчій нашей души.

Качаловъ ведетъ свою роль съ истиннымъ благородствомъ, не прибѣгая ни къ какимъ актерскимъ прикрасамъ. Но монологи Гамлета звучатъ въ его устахъ, какъ печальное, но уже вполне сложившееся размышленіе, которое онъ кому-то высказываетъ, а не какъ муки духовной борьбы, прорывающейся въ молніяхъ внезапныхъ мыслей.

Прекрасный голосъ его — даже тогда, когда онъ усиливаетъ его въ сценахъ смятенія, когда онъ кричитъ, — даетъ только мягкія ноты средняго регистра, хотя мы знаемъ у него и инныя ноты, болѣе высокія, болѣе острые и волнующія: вспомнимъ хотя бы заключительный моментъ въ сценѣ его съ чортомъ, въ „Карамазовыхъ“. Остроты сарказма нѣтъ у него въ роли Гамлета — того сарказма, который заключаетъ въ себѣ смѣсь презрѣнія и мучительной горечи, сопровождающей это презрѣніе. А между тѣмъ, рѣчи Гамлета полны этой горечи, этого страдальческаго, ядовитаго сарказма. И мнѣ упорно чудится, что такія же ноты — могутъ быть, приглушенныя чѣмъ-нибудь, — есть въ душѣ самого артиста и что онъ еще зазвучать въ его исполненіи.

Въ одной сценѣ второго акта — сценѣ съ Розенкранцемъ и Гильденштерномъ — въ глазахъ Качалова вдругъ блеснуло что-то жгучее, въ голосѣ прорвалась скрытая злость, ярость оскорбленнаго чувства. Внезапнымъ судорожнымъ движеніемъ онъ сбросилъ отъ себя въ разныя стороны обѣихъ царедворцевъ

которыхъ передъ тѣмъ привлекъ къ себѣ, играя съ ними, какъ кошка съ мышью. Въ эту минуту въ Гамлетѣ-Качаловѣ почувствовалось какое-то безуміе, какое-то тихое внутреннее изступленіе, и это было прекрасно—правдиво и вдохновенно. Это показало, что артистъ способенъ почувствовать свою роль во всей сложности ея внутреннихъ мотивовъ... Заключительной моментъ сцены съ матерью, которую Качаловъ ведетъ опять слишкомъ ровно, въ одномъ только среднемъ регистрѣ—хотя, вѣдь, сыновняя любовь и негодование одновременно рвутъ здѣсь его душу—заключительный моментъ этой сцены тоже прекрасенъ: движеніе, которымъ онъ опускаетъ голову на колѣни матери, полно нѣжности и поэтической прелести.

Эти двѣ сцены представляютъ собою какъ бы полярныя точки гамлетовой души, способной нѣжно любить и язвительно ненавидѣть. Артистъ нашелъ ихъ—и, хотя всѣ остальные главные сцены его не стоятъ на высотѣ этихъ, я вѣрю, что при упорной духовной работѣ онъ еще создастъ цѣльнаго, живого Гамлета. Нѣкоторые моменты драмы словно не совсѣмъ еще установились для него даже въ основномъ внутреннемъ рисункѣ и мѣняются отъ спектакля къ спектаклю; другіе—звучатъ, какъ неувѣренная читка, съ внутренними колебаніями и нѣкоторыми прозаизмами въ интонаціи; третьи—напр., конецъ сцены съ „Мышеловкой“,—загораются темпераментомъ въ однихъ спектакляхъ и тускнѣютъ въ другихъ. Въ общемъ, роль еще не вполне созрѣла въ душѣ артиста и по своему преобра-

дающему, умѣренному тону еще не вполне сливается съ яркимъ поэтическимъ замысломъ режиссера.

#### V.

Мнѣ остается сказать нѣсколько словъ объ исполненіи второстепенныхъ ролей.

Согласно общему характеру постановки всѣ дѣйствующія лица трагедіи должны явиться передъ нами, такъ сказать, въ свѣтѣ гамлетова міроощущенія. Они не интересуютъ насъ, какъ самостоятельныя реальныя существа съ сложною внутреннею жизнью, они живутъ для насъ лишь постольку, поскольку вызываютъ тѣ или иные чувства въ Гамлетѣ. И какъ вся внѣшняя обстановка дѣйствія не связана ни съ какою опредѣленною эпохою, ни съ какимъ бытомъ, а сказочно-символична, такъ и король съ королевой, Полоній, Лазрть, сама Офелія должны казаться сказочными, символическими фигурами, въ которыхъ отчетливо проступаютъ лишь тѣ или иные черты, наиболѣе характерныя для ихъ назначенія въ пьесѣ. Не всѣ артисты одинаково справились съ этою трудною задачею. Король и королева—Массалитиновъ и г-жа Книпперъ—сдержанны, представительны и прекрасны своимъ гримомъ, тонко подчеркивающимъ его предательскую порочную натуру и ея чувственную страстность. Гзовская, въ два года ставшая неузнаваемой на этой сценѣ, дала очень деликатный и хрупкій образъ Офеліи—бѣдной маленькой Офеліи, которая любила Гамлета, покорно внимала житейскимъ совѣтамъ отца и, когда помѣшалась, пѣла грустныя, не совсѣмъ пристойныя пѣсенки.



Но образъ Полонія въ исполненіи Лужскаго, несмотря на хорошо задуманный костюмъ, былъ лишенъ тѣхъ острыхъ чертъ художественной каррикатурности, которыхъ естественно было ждать въ немъ, согласно духу постановки, а въ разговорахъ его, чрезчуръ замедленныхъ по темпу, слышались ноты реалистическаго психологизма,—и уже совершенно неудачнымъ и нехарактернымъ, по русски мягкимъ и простодушнымъ, вышелъ Лаэртъ.

Однако, самымъ существеннымъ и чувствительнымъ для меня дефектомъ постановки—хотя въ немъ совсѣнно неповиненъ Художественный театр—является переводъ трагедіи, сдѣланный еще въ 1844 г. Кронебергомъ, мѣстами тяжелый

и темный, мѣстами, несмотря на сдѣланныя для сцены исправленія, неточный. По сравненію съ другими существующими у насъ переводами онъ всетаки оказался лучшимъ во многихъ отношеніяхъ, но, слушая его со сцены, почти все время чувствуешь его устарѣлость, его негибкость. Я увѣрена, что если бы у насъ появился новый, достойный переводъ „Гамлета“, это развязало бы во многихъ моментахъ игру Качалова, и тогда, послѣ дополнительной работы, которую такъ часто вносить въ свои постановки Художественный театръ и которую онъ, несомнѣнно, еще внесетъ въ „Гамлета“, безсмертная, дивная трагедія предстала бы передъ нами во всей своей художественной красотѣ.

Любовь Гурезичъ.

## «НОВОЕ ВРЕМЯ» и НОВОВРЕМЕНЦЫ.

Въ первомъ очеркѣ, посвященномъ общей характеристикѣ „Новаго Времени, мы уже отмѣтили особую примѣту виднѣйшихъ нововременцевъ—ихъ ренегатство. Ренегатами заняты главные посты въ „Новомъ Времени“, они выступаютъ въ немъ на первыхъ роляхъ. „Новое Время“ служитъ магнитомъ, притягивающимъ къ себѣ ренегатскія перья, но оно не только притягиваетъ, а и создаетъ ренегатство. Оно не только прибѣжище, но и школа ренегатства.

Виднѣйшіе нововременцы—А. Суворинъ, М. Меньшиковъ, И. Яковлевъ, В. Розановъ—все это люди бышихъ убѣждений. Въ писательской біографіи каж-

даго изъ нихъ отмѣчены, у одного длительные, у другого кратковременные періоды „лѣвыхъ“ убѣждений. Ренегатство, какъ всякія затасканныя и захватанныя слова, очень расплывчато и неопредѣленно. Легко и часто клеймятъ этимъ словомъ людей, которые перемѣнили свои убѣжденія по внутреннимъ мотивамъ, въ силу глубокаго внутренняго перелома. Не разбираясь въ мотивахъ и причинахъ перемѣны убѣжденія, всѣмъ удаляющимся отъ прежняго убѣжденія, точно арестантамъ бубновый тузъ, часто ставятъ на спину клеймо ренегата. Но въ лицѣ нововременцевъ мы имѣемъ ренегатовъ чистой—

шей или, вѣрнѣе, грязнѣйшей воды, типичныхъ ренегатовъ, по отношенію къ которымъ приходится ставить вопросъ не почему, а зачѣмъ они измѣнили свои взгляды. Въ свое время, когда Л. Тихомировъ изъ террориста-народовольца сталъ охранителемъ-реакціонеромъ, Г. Плехановъ уже въ эволюціи даже его взглядовъ вскрылъ извѣстную закономерность, нѣкоторую внутреннюю послѣдовательность.

Ничего подобнаго въ превращеніяхъ сотрудниковъ „Новаго Времени“ вы не установите, тутъ внутренняя причинность всецѣло вытѣснена виѣшнею обусловленностью, тутъ вопросъ почему замѣненъ вопросомъ зачѣмъ. Нововременцы не только измѣнили своимъ взглядамъ, они находятся въ постоянной готовности измѣнять имъ ежедневно. И это измѣненіе взглядовъ такъ капризно, такъ случайно, такъ непослѣдовательно, что оно представляетъ какую-то пляску св. Витта.

Нововременцы это не только ренегаты въ прошломъ, но это, такъ сказать, перманентные ренегаты.

Чтобы быть хорошимъ нововременцемъ, надо не только имѣть фактъ крупнаго ренегатства въ прошломъ, но и готовность къ ежеминутному ренегатству въ настоящемъ и будущемъ. Это необходимо и для того, чтобы „Новое Время“ могло выполнить свое провиденціальное назначеніе: быть офиціантомъ силы; это необходимо и для того, чтобы придать статьямъ специфически нововременскую приправу—острую ненависть ко всему честному, чистому, стойкому.

Самъ вѣчно отдающійся и продающійся, нововременецъ пуше всего не взлюбилъ людей честныхъ побужденій, а не лживыхъ убѣжденій.

На этой почвѣ создалась и обосновалась особая разновидность пишущихъ людей: нововременцы. Эта литературная разновидность должна быть отнесена къ разряду безпозвоночныхъ. У всѣхъ нововременцевъ отсутствуетъ позвоночный столбъ какихъ-либо твердыхъ началъ. Это-то придаетъ имъ такую ловкость и изворотливость.

Мы обратимся теперь къ самымъ типичнымъ представителямъ этой литературной разновидности. Съ А. Суворинымъ мы уже познакомились\*). Перейдемъ теперь къ столпу нынѣшняго „Новаго Времени“—къ М. Меньшикову.

М. Меньшиковъ — бывший человекъ. Прежде, чѣмъ превратиться въ нынѣшняго Меньшикова, онъ былъ сотрудникомъ Гайдебуровской „Недѣли.“ Прежде, чѣмъ стать нынѣшнимъ буйнымъ реакціонеромъ, онъ былъ тихимъ толстовцемъ. Кроткій и либеральный, онъ на страницахъ „Недѣли“ скорбилъ обо всѣхъ униженныхъ и обиженныхъ и сражался съ тогдашними нововременцами. Несмотря на то, что тогдашнее „Новое Время“ было значительно опрятнѣе и лучше нынѣшняго, г. Меньшиковъ рвался въ бой съ нимъ, и у него чесалось перо сразиться съ своимъ будущимъ хозяиномъ—А. Суворинымъ. Его полемическій пылъ сдерживалъ лишь редакторъ „Недѣли“—Гайдебуровъ. И М. Меньши-

\*) См. „Новая Жизнь“. Янв. 1912 г.

ковъ горько жаловался г. В. Поссе, что Гайдебуровъ не даетъ ему, „какъ слѣдуетъ“, отдѣлать „Новое Время“ и А. Суворина.

Тогдашнія писанія г. Меньшикова переполнены были патокой сусального народничества. Онъ выступалъ въ роли народного печальника и защитника и гнѣвно укорялъ рыцарей и вдохновителей реакціи. Кроткій толстолицъ, онъ благословлялъ и славилъ всѣхъ тѣхъ русскихъ писателей и дѣятелей, которыхъ онъ обливаетъ нынѣ помоями.

Въ девятисотомъ году, когда на смѣну тишайшей идеологіи восьмидесятихъ годовъ пришли годы сильнаго общественнаго оживленія и увлеченія марксизмомъ, г. Меньшиковъ приходилъ г. В. Поссе въ редакцію журнала „Жизнь“ и занимался уже въ качествѣ марксиста, увѣряя, что онъ „очень сочувствуетъ марксизму“ (В. Поссе „На темы жизни“ Спб. 1909, стр. 8).

Но это сильное сочувствіе марксизму не помѣшало г. Меньшикову очень скоро поступить въ „Новое Время.“

Первое время г. Меньшиковъ чувствовалъ себя очень неловко въ нововременскомъ заведеніи. Онъ всячески оправдывался, ссылаясь на выговоренное себѣ право полной самостоятельности и въ первыхъ фельетонахъ держался прилично. Но очень скоро его застѣнчивость прошла—и онъ не только догналъ прочихъ нововременцевъ, но перегналъ ихъ, взялся за первую скрипку въ нововременскомъ концертѣ.

Подожли, однако, годы смуты. Бурныя и властныя волны народнаго возбужденія разливались по всей странѣ.

Нововременскіе астрологи совершенно утратили способность предсказать, „что день грядущій намъ готовить“. А для нововременца это положеніе неуверенности въ томъ, кто завтра будетъ господиномъ,—самое тяжкое и невыносимое положеніе, ибо не знать, кто завтра будетъ господиномъ, для нововременца равносильно тому, что не знать, кѣмъ завтра будетъ онъ, нововременецъ, какой гриммъ на завтра приготовить, въ какую сторону повернуться.

Въ такомъ флюгерскомъ положеніи очутился М. Меньшиковъ, и такъ какъ общественное движеніе нарастало, приливъ общественный продолжался, то г. Меньшиковъ круто повернулъ и съ заискивающими статьями сталъ привѣтствовать новую народную силу и власть словами: „добро пожаловать.“

Самая ужасная поговорка для нововременцевъ — что напишешь перомъ, того не вырубишь топоромъ. Какъ бы много далъ, напр., Меньшиковъ, чтобы вырубить топоромъ то, что писалъ онъ своимъ блуднымъ перомъ въ дни 1905 года!

Онъ тогда защищалъ не менѣе, какъ учредительное собраніе.

Народное „единодержаніе“, пишетъ онъ 10 дек. 1905 г. въ „Нов. Вр.“,—ничѣмъ не можетъ быть такъ упрочено, какъ именно учредительнымъ собраніемъ“.

Въ самомъ началѣ 1906-го года г. Меньшиковъ защищаетъ на страницахъ „Нов. Вр.“ необходимость принудительнаго отчужденія помѣщичьихъ земель.

„Отложить и на этотъ разъ земельную путаницу опасно: парламентъ соберется въ апрѣлѣ, а нужно сейчасъ что-ни-

будь предпринять рѣшительное“. „Огромныя пространства владѣній представляютъ лишь средства эксплуатаціи мѣстнаго населенія, средства угнетанія, а не культуры“. „Земля, конечно, кое-что стоитъ, но несравненно менѣе рыночной цѣны, вздутой спекуляціей“. „Для парламента крайне нужна поддержка земли, нужна и идея, которая всѣмъ—до послѣдняго пастуха“. „А на вопросъ о землѣ, что подъ ногами народа, столь же широкаго, какъ земля, нужно смотрѣть именно съ высоты, ибо въ крохотный горизонтикъ сословнаго или партійнаго эгоизма просто невмѣстимы такія величины, какъ нація и земля.“

Нынѣ этотъ самый „крохотный горизонтикъ сословнаго или партійнаго эгоизма“ объявленъ г. Меньшиковъ государственною точкою зрѣнія.

Кадетская партія, казалось тогда, находилась наканунѣ превращенія въ правительство. И, конечно, г. Меньшиковъ спѣшитъ вышить пестрый восточный коверъ комплиментовъ и подостлать подъ ноги этой грядущейкъ власти партіи.

14—мая 1906 года Меньшиковъ пишетъ:

„Кадеты—это самая сильная и энергичная партія и притомъ единственная парламентская въ нашемъ парламентѣ. Кадеты—русскіе европейцы, которымъ, въ самомъ дѣлѣ, надоѣло жить по-свински. Они хотятъ, наконецъ, не только болтать, но и кое-что сдѣлать для народа, и не кое-что, а все, что нужно“.

Еще болѣе поучительныя строки пишетъ о кадетахъ Меньшиковъ 24 мая 1906 года.

„Жаль смотрѣть на вождей кадетской партіи. Все это старые земскіе дѣятели, профессора, люди серьезные, умственно дисциплинированные. Дѣльные и стойкіе, отлично знающіе страну, они какъ бы созданы для большой государственной работы. Въмѣсто работы имъ приходится тратить силы на борьбу съ правительствомъ, которое неспособно ни на работу, ни на борьбу. Требования кадетовъ умѣренны: они не идутъ дальше того, что признано на Западѣ конституціонной свободой, но въ этомъ они непоколебимы“.

Кадеты могли стать завтрашнюю властью—и Меньшиковъ захлебывается отъ похвалъ по адресу кадетовъ:

„Это люди самые умные, самые положительные, самые стойкіе въ странѣ, самые богатые, самые просвѣщенные и политически самые опытные. Мое глубокое убѣжденіе, что это нашъ самый твердый государственный устой“.

Таково было „глубокое убѣжденіе“ г. Меньшикова въ 1906 году. Глубина этого убѣжденія была прямо пропорціональна увѣренности Меньшикова, что кадеты станутъ властью и имъ надо заранѣе составить хвалебныя оды.

То, что кадеты не поддерживали „русскаго“, „національнаго“ характера своей партіи, тогдашнему Меньшикову казалось тоже плюсомъ.

„Если кадеты, — пишетъ онъ 15-го іюня 1906 г.,—не называютъ себя ни русской партіей, ни національной, то это именно признакъ, что они партія въ лучшемъ смыслѣ слова національная. русская. Имъ нѣтъ нужды называть себя „русскимъ собраніемъ“, „союзомъ истин-“

но-русскихъ людей“, какъ тѣмъ подозрительнымъ элементамъ, психологія которыхъ требуетъ кричащей вывѣски“.

Нынче, какъ извѣстно, лакейская „психологія“ г. Меньшикова требуетъ „кричащей вывѣски“ ломового націонализма—и онъ прославляетъ союзъ „подозрительныхъ элементовъ“.

Мы бы могли привести изъ писаній Меньшикова въ 1905 и 1906 г.г. еще болѣе сильныя и яркія мѣста. Мѣста, въ которыхъ онъ съ несомнѣнно присутствующимъ ему краснорѣчіемъ въ эпоху первой и второй Думы прославлялъ твердость ея депутатовъ. Онъ восторженно восхвалялъ и конституцію, и учредительное собраніе, и манифестъ 17-го октября и т. д., и т. д.

Если бы мы имѣли неосторожность перепечатать эти меньшиковскія писанія 1905—1906 г.г., то, несомнѣнно, навлекли бы на „Новую Жизнь“ административный гнѣвъ или судебное преслѣдованіе. Такъ рѣзки, такъ радикальны были сужденія Меньшикова по отдѣльнымъ вопросамъ.

Эти писанія Меньшикова въ 1905—1906 г.г. чрезвычайно характерны для психологіи нововременца. Шли дни „смуты“, когда въ водоворотѣ событій, казалось, исчезали безвозвратно тѣ устои и тѣ дѣятели, которыхъ „Новое Вр.“ всегда холопски прославляло, въ которыхъ оно видѣло опору славы и силы Россіи. Въ такіе годы, казалось бы, „Нов. Вр.“ и статья на защиту дорогихъ ему устоевъ и людей. Но „Нов. Вр.“ въ эти дни шатанія власти, въ эти дни, „когда начальство ушло“, чувствовало себя, какъ флюгеръ на сквознякѣ. Оно

томилось, не зная, остаться ли ему на службѣ у старой бюрократической власти, какъ-будто бы терявшей силу, или поступить въ услуженіе къ новой народной силѣ, какъ-будто бы приобретающей власть. И такъ какъ событія разворачивались быстро, народное движеніе разрослось, то нововременцы принялись благословлять новую силу, рассчитывая на то, что она завтра станетъ правительственной властью.

И какой лакейскій видъ приобрѣла тогда жалкая фигура Меньшикова! Онъ суетился своимъ блудливымъ перомъ, то славя кадетовъ и лѣвыхъ, то приготавливая „на случай чего“ себѣ лазейку къ отступленію. Его языкъ, воистину „и празднословный, и лукавый“, льстилъ кадетамъ, призывалъ ихъ управлять Россіей и въ то же время осторожно наускивалъ старую власть къ расправѣ съ лѣвыми.

Когда Меньшикову напомнили его писанія 1905-го года, онъ принялся плести паутину жалкихъ софизмовъ и въ заключеніе гордо заявилъ, что онъ всегда оставался самимъ собою.

И это вѣрно, что онъ всегда оставался самимъ собою. Какъ въ нынѣшнихъ его обливаніяхъ всѣхъ кадетовъ и лѣвыхъ грязью, такъ и въ тогдашнихъ его прославленіяхъ кадетовъ и первой Думы—Меньшиковъ оставался самимъ собою, т. е. тѣмъ „пестрымъ“ человекомъ, о которомъ писалъ Щедринъ:

„Общій признакъ, по которому можно отличать пестрыхъ людей, состоитъ въ томъ, что они совѣсть свою до дыръ износили. А взамѣнъ выросло у нихъ ворту по два языка и оба они лгутъ, иногда

по-очереди, а иногда—это еще постыднѣе—оба заразъ“.

Типичнымъ представителемъ этого рода пестрыхъ людей и является Меньшиковъ. У него во рту воистину два языка и омерзительнѣе всего, когда они врутъ, не соблюдая очереди, а „оба заразъ“.

Въ этой почтенной роли языку г. Меньшикова приходилось выступать не только въ весенніе дни свободы. Даже въ самые жестокіе морозы реакціи, когда курсъ, не колеблясь, двигался направо, г. Меньшикову приходилось пользоваться и по-очереди, и заразъ обоими своими лгущими языками.

Достаточно вспомнить совсѣмъ свѣжій эпизодъ со смертью Столыпина и тѣми днями, когда г. Коковцовъ еще не получилъ новаго назначенія. Въ эти дни г. Меньшиковъ, вызывая отвращеніе даже у правой печати, метался, то припадая къ ручкѣ Коковцова, то всячески стараясь провалить его кандидатуру. Онъ то пишетъ саженныя статьи, въ которыхъ расхваливаетъ покойнаго Столыпина и обрушивается на г. Коковцова, то круто поворачиваетъ фронтъ и принимается развѣнчивать Столыпина и расхваливать Коковцова.

Останавливаться на всѣхъ этихъ жалкихъ фокусническихъ превращеніяхъ г. Меньшикова не стоитъ—они у всѣхъ еще въ памяти.

Намъ остается сказать лишь нѣсколько словъ для того, чтобы дорисовать фیزیономію типичнѣйшаго и вліятельнѣйшаго нововременца.

Каковъ основной девизъ дѣятельности Меньшикова?

Несомнѣнно—лежачаго бьютъ.

Меньшиковъ всегда бьетъ лежачаго. Видъ „лежачаго“ всегда возбуждаетъ въ немъ похотливыя садическія чувства. Онъ съ наслажденіемъ предается его истязанію. Но, конечно, если истязаніе лежачаго составляетъ характернѣйшую и омерзительнѣйшую черту въ фیزیономіи Меньшикова, то одной этой черты мало для объясненія его вліянія и его популярности въ консервативныхъ кругахъ.

Врядъ ли кому-либо не ясна безстыжая лживость писаній Меньшикова. Даже въ правыхъ изданіяхъ мы встрѣчаемъ самыя рѣзкія замѣчанія о лживости и лживости убѣжденій г. Меньшикова, даже официальный „Русскій Инвалидъ“ обвинялъ Меньшикова въ томъ, что статьи его о реформѣ арміи „прозрачно преслѣдовали единственную цѣль—выдачу субсидій какому-то Ливчаку“ и что боевая и нашумѣвшая статья Меньшикова „Пристрѣлка ружей“ „переходитъ въ рекламу изобрѣтеннаго Ливчакомъ станка“.

Похвалы и мнѣнія г. Меньшикова даже въ единомышленныхъ ему органахъ никогда не принимаются за искреннее выраженіе убѣжденій. Лживость и безсовѣстность меньшиковскихъ писаній не составляетъ секрета даже и для нововременцевъ, изъ которыхъ иные явно брезгаютъ знакомствомъ съ нимъ. И еще недавно на судѣ при разборѣ дѣла по обвиненію г. Меньшиковымъ въ клеветѣ Табурно одинъ изъ столповъ „Нов. Вр.“, г. Пиленко, на вопросъ, знакомъ ли онъ съ г. Меньшиковымъ—уклончиво

отвѣтили: „Мы работаемъ съ нимъ въ одной газетѣ“.

Въ чемъ же, однако, секретъ несомнѣнно, сильнаго вліянія Меньшикова въ извѣстныхъ кругахъ русскаго или, зѣриѣ, петербургскаго общества?

Несомнѣнно, прежде всего, что вліяніе Меньшикова является составною частью, слагаемымъ общаго вліянія „Новаго Времени“.

А въ первомъ очеркѣ мы уже видѣли, что вліяніе „Новаго Вр.“ вытекаетъ изъ его роли офиціанта силы.

Среди же новозременскихъ офиціантовъ силы главная роль, несомнѣнно, принадлежитъ Меньшикову. Онъ типичный лакей власти. Лакей, отлично сознающій свою силу и умѣющій ею пользоваться.

Наше бюрократическое общество относится къ правительству, какъ къ важному большому барину, къ которому безъ лакея не подступиться.

Въ качествѣ камердинера власти Меньшиковъ располагаетъ возможностью вліять и на барина, и на „просителей“. Онъ вліяетъ на власть, передавая ей пересуды общественнаго мнѣнія и искусно вліяя на нее талантливою передачею политическихъ клеветъ и сплетенъ. Онъ вліяетъ и на многочисленныхъ „просителей“ власти, презирая имъ взглядъ и настроенія барина.

Выступая въ этой двойной роли, Меньшиковъ постоянно обманываетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ запугиваетъ обѣ стороны: и публику, и власть. Власть черезъ него прислушивается къ настроеніямъ „княгини Маріи Алексѣевны“, т. е. бюрократическо-дворянскаго „общественнаго

мнѣнія“, а „княгиня Марья Алексѣевна“ черезъ него узнаетъ настроеніе власти.

Но есть еще одна черта въ писаніяхъ г. Меньшикова, заставляющая бюрократическій міръ „съ интересомъ“ его читать. Міръ этотъ чрезвычайно ладокъ до сплетенъ и лжи, а г. Меньшиковъ чрезвычайно ловокъ въ изготовленіи этихъ сплетенъ и лжи.

Въ „Гражданинѣ“ кн. Мещерскій очень мѣтко писалъ объ этой сторонѣ новозременскихъ писаній вообще и меньшиковскихъ въ особенности:

„Посмотрите на назидательный примѣръ „Новаго Вр.“ Какая его характерная черта? Умѣніе плевать на правду. И замѣйте—оно на васъ навреть, на меня навреть, и если мы пошлемъ ему опроверженіе, оно не напечатается. Почему? По принципу. Ибо для того, чтобы умѣлсврать, надо прежде всего не допускать, чтобы во враньѣ изобличали. Кокотка, которая себя выдаетъ манерами, разговорами, имѣетъ мало успѣха, а кокотка, которая кажется невинной, имѣетъ успѣхъ. Успѣхъ „Новаго Времени“, несомнѣнно, вызванъ умѣніемъ быть кокоткою. Культъ не только вранья, но и подловатости—ея главная сила. И читатель нашъ любитъ перецъ вранья и перецъ подловатости, когда они пикантно и интересно изложены“.

А у Меньшикова „вранье и подловатость“, несомнѣнно, „пикантно и интересно“ излагаются...

—

Перейдемъ теперь къ другому столпу новозременцевъ—В. Розанову. В. Розановъ писатель несравненно болѣе яркій, оригинальный и талантливый, чѣмъ Мень-

шиковъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, пожалуй, еще болѣе типичный нововременецъ, типичный представитель тѣхъ двуязычныхъ „пестрыхъ“ людей, о которыхъ говоритъ Щедринъ или тѣхъ „пѣгихъ“ людей, о которыхъ такъ мѣтко пишетъ самъ В. Розановъ:

„Есть люди объ одномъ цвѣтѣ — черные, бѣлые. Но есть еще несчастно-рожденные люди—пѣгіе, которые совершенно искренно не могутъ одному чему-нибудь служить и совершенно искренно служить двумъ господамъ; т. е. измѣна то одному, то другому, и, въ концѣ концовъ, всему и всѣмъ, составляетъ самый стержень и „истину“ ихъ души. Да, есть истина и въ неистинѣ, паеосъ лжи, талантъ обмана“. (В. Розановъ. „Когда начальство ушло“... Спб. 1910 г. стр. 186)\*).

О Гапонѣ говоритъ эти слова В. Розановъ, но какую чудесную автохарактеристику они представляютъ!

„Конечно, это несчастье“,—пишетъ въ заключеніе этихъ словъ В. Розановъ и мы готовы повторить эти слова.

В. Розановъ—не просто лакей силы, офиціантъ власти. Онъ просто „пѣгій“ человекъ, высоко одаренный „паеосомъ лжи“, „талантомъ обмана“. Какъ всѣ нововременцы, онъ принадлежитъ къ безпозвоночнымъ, которые могутъ извиваться въ любомъ направленіи.

Онъ можетъ одновременно готовить статьи „по либеральному“ для „Рус. Слова“ и сегодня же „по консерватив-

ному“ для „Нов. Вр.“ Онъ превосходно владѣетъ нѣсколькими политическими языками и прекрасно говоритъ и пишетъ на консервативномъ, на либеральномъ и даже на революціонномъ языкѣ, какъ многіе люди отлично говорятъ по-нѣмецки и по-французски. Для него разныя политическія направленія лишь разные языки, которыми онъ отлично владѣетъ. Въ „Русскомъ Словѣ“ говоритъ на либеральномъ языкѣ—и г. Розановъ тамъ бѣгло и чисто говоритъ по либеральному. Въ „Нов. Вр.“ говоритъ на консервативномъ языкѣ—и г. Розановъ тамъ отлично говоритъ по консервативному.

Но несомнѣнно, что „материнскимъ языкомъ“ г. Розанова является охранительный. Г. Розановъ говоритъ, что пѣгіе люди—люди несчастные. И онъ, конечно, правъ. Какъ же не несчастные, когда они органически неспособны къ правдѣ слова и дѣлу, когда они страдаютъ „паеосомъ лжи“ и сами замѣчаютъ, что лгутъ и что имъ не вѣрятъ?

Но эти несчастные вызываютъ чувство безразличности и отвращенія. „Несчастно-рожденные“, они, однако, умѣютъ превосходно устраиваться, такъ какъ всегда приспособляютъ свой „паеосъ лжи“ къ тароватому спросу.

Какъ типичный нововременецъ, г. Розановъ, конечно, ренегатъ, при томъ ренегатъ-рецидивистъ.

Онъ началъ свою литературную дѣятельность съ мрачныхъ подземелій „Московскихъ Вѣдомостей“, гдѣ онъ изувѣрствовалъ въ средне-вѣковомъ духѣ. Его тогда же замѣтилъ В. Соловьевъ и проницательно подмѣтилъ его особую

\*) Въ статьѣ „Къ психологіи провокаторства“ намъ уже приходилось указывать, какъ близка психологія „пѣгихъ“ людей къ психологіи провокаторовъ. (См. „Нов. Жизнь“ 1911 г. № 11).



примѣту. Онъ далъ ему мѣткое и несмы-  
слимое прозвище „лудушки“.

В. Розановъ перешелъ затѣмъ въ „Новое Время“, гдѣ его „пѣгіе“ таланты нашли себѣ благодарное примѣненіе.

Когда настала либеральная оттепель, имя г. Розанова начинаетъ мелькать въ либеральныхъ изданіяхъ, рядомъ съ именами Н. Бердяева, П. Струве, С. Булгакова и др.

Когда поднимается революціонная буря, г. Розановъ превращается въ пѣвца въ станѣ русскихъ революціонеровъ. Онъ разыгрываетъ—и талантливо разыгрываетъ—изъ себя перваго любовника русской революціи. Онъ пишетъ пламенные статьи, въ которыхъ славить не только кадетовъ, но даже революціонеровъ.

Онъ имѣлъ неосторожность или, вѣрнѣе, характерный для него цинизмъ перепечатать свои статьи 1905—1906-го годовъ отдѣльнымъ изданіемъ и далъ этимъ возможность нынѣшнему читателю убѣдиться, что г. Розановъ прекрасно говорить „по революціонски“.

Мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести изъ сборника статей В. Розанова нѣкоторыя выдержки.

Въ статьѣ „Среди анархій“ г. В. Розановъ пишетъ:

Госуд. Дума—„сама по себѣ она—ничто; машина безъ пара и паровика. Паръ и паровикъ—это народъ; „множество“, „громада“. Въ немъ—всѣ санкции, вся святость, вся власть. И чѣмъ народъ будетъ „полнѣе“ представленъ въ Думѣ, непосредственнѣе, матеріальнѣе, „ядренѣе“, „материковѣе“, чѣмъ „Дума“ будетъ равнозначущѣе съ „народомъ“—тѣмъ она будетъ авторитетнѣе, сильнѣе.

Дума по высокому цензу не получила бы никакого авторитета; прямо ее не стали бы слушать, какъ и теперешнихъ властей. Отчего, я думаю, глубоко правы, психологически и исторически правы тѣ, которые требуютъ выборовъ подачею голосовъ „всеобщую, равную, прямою и тайною“. Это—само дѣло говорить. Это—крикъ исторіи“. (В. Розановъ. „Когда начальство ушло“... СПб. 1910. Стр. 127).

Мы знаемъ, въ какомъ нынче свѣтѣ г. Розановъ изображаетъ въ „Нов. Вр.“ соц.-демократовъ. Онъ открыто заявилъ, что для него К. Марксъ—лишь скверный „жидъ“.

А теперь послушайте, что пишетъ этотъ „несчастно-рожденный“ пѣгій человекъ о соц.-дем. въ 1906 г.: „Необъятная сила социал.-демократіи, не подчиненная пушкамъ, темницамъ, сильнѣйшая Плеве и Сипягина, лежитъ въ присутствіи у нея въ сердцѣ нѣкоего „романа“, той „мечты“, которой покорились Тургеневъ и Герценъ, кою жилъ Бакунинъ: безъ „мечты“, „романа“ вообще не живетъ никакая исторія, ею былъ полонъ средневѣковый католицизмъ, ею жилъ Данте, всѣ ею живемъ, безъ нея—задохлись бы, и въ нашъ фазисъ исторіи, дѣйствительно, „буржуазный“, т. е. имущественный, „мечта“ и могла вливаться только въ ту форму, которая именуется соц.-дем.“ (259).

Относительно указаній на „ненаціональный“ и „не народный“ характеръ смуты 1905—1906 г. В. Розановъ въ превосходной статьѣ „Ослабнувшій фетишъ“, горячо пишетъ:

„Она не національна будто бы. Боже.

она національна, какъ лапоть, который всюду носятъ, или точнѣе, какъ „обувь“, которая всѣмъ нужна. Если „всѣ“ ее дѣлаютъ, „всѣ“ отъ нея ждутъ—то какъ же она не „національна“ и что такое „нація“, какъ не это „все“ и „всѣ“?! Нельзя же „національною“ въ Россіи считать только Грановитую Палату, съ боярскими шапками въ ней и стрѣleckими пищалями, сохраняемыми подъ стекляннѣмъ колпакомъ; а Россію живую и сущую, нуждающуюся и восбражающую, не считать болѣе націей“. (322 стр.)

Нынѣ на страницахъ „Нов. Вр.“ г. Розановъ вкупѣ и влюбѣ съ другими Меньшиковыми ежедневно доказываетъ, что вся смута 1905 г. была вдохновлена евреями, и евреи навязали ей свой національный характеръ.

Въ 1906 г. въ статьѣ „На судѣ рабочихъ депутатов“ г. Розановъ краснорѣчиво доказывалъ какъ разъ обратное: полное раствореніе евреевъ въ русской стихіи 1905—1906 г.

„Сюда бѣгутъ,—пишетъ Розановъ объ освободительномъ движеніи,—и болѣе другихъ „пархатые евреи“, которые изъ всѣхъ не только въ правахъ, но и въ самомъ быту вездѣ оскорбляемы. Бѣгутъ и забываютъ свою родину, родоначальныя сѣдья генеалогическія деревья; вѣрнѣе—не забываютъ, но болѣе и не настаиваютъ на нихъ. Кто только вглядывался ближе въ движеніе, вглядывался не черезъ очки печатной бумаги, а въ натурѣ, знаетъ непререкаемымъ образомъ, что только ковачи нашей свободы, они одни—не римляне, не греки, не нѣмцы, не англичане, не французы—сумѣли побѣдить, сумѣли истребить страшную ихъ замк-

нутость и недовѣріе ко всѣмъ инородцамъ, чужакамъ, инокультурникамъ; ко всѣмъ, кто „не мы“. Здѣсь только, въ первыхъ лучахъ русской свободы, они впервые почувствовали себя „дома“, не чужаками, не оттолкнутыми: „здѣсь намъ хорошо—и мы не хотимъ быть больше мы, ибо „только мы“; „здѣсь мы—со всѣми“. (416 стр.).

„Какими мѣрами и за какіе милліоны,—пишетъ В. Розановъ въ той же статьѣ,—государство купило бы это душевное раствореніе еврейскаго духа, еврейской плоти — въ русской стихіи?! Тутъ уже, въ этихъ словооборотахъ,—все русское, все отъ плоти и духа Д. И. Писарева и Н. Добролюбова“ (417).

Довольно, однако, цитатъ. И приведенныхъ вполне достаточно, чтобы составить себѣ полное представленіе о томъ, въ какомъ духѣ писалъ В. Розановъ въ тѣ скоротечные дни свободы, когда освободительныя начала приобрѣли силу и, казалось, завладѣвали властью.

Припоминая писанія г. Розанова и сопоставляя ихъ съ его нынѣшними писаніями, невольно открываемъ въ его душѣ—если только у него имѣется эта атрофированная у нововременцевъ „часть тѣла“—то „пѣгое“ начало, которое онъ указывалъ у Гапона: „то кроткое, то изувѣрное благочестіе, съ подкладкою подъ тѣмъ и другимъ своего интереса“.

„Подкладка своего интереса“ это—единственное неизмѣнное, постоянное начало въ душѣ Розанова и нововременцевъ. Какъ подсолнухъ къ солнцу, такъ г. Розановъ всегда поворачивается лицомъ къ восходящей силѣ и подобострастно при-

вѣтствуетъ ее. Мы видѣли, какъ въ 1905—1906 г. онъ славилъ освободительныя идеи и инородцевъ, мы знаемъ, какъ онъ ихъ нынѣ поносить.

Г. Пѣшеховъ разсказалъ недавно въ „Рус. Вѣд.“, какъ въ 1905 г. послѣ появленія въ „Рус. Бог.“ одной изъ самыхъ радикальныхъ его статей онъ получилъ отъ В. Розанова, лично съ нимъ незнакомаго, восторженно-сочувственное письмо. „Насколько могу судить,—вспоминаетъ г. Пѣшеховъ,—это была самая революціонная статья изъ всѣхъ написанныхъ мною. За восторгомъ очевѣй пылкимъ въ письмѣ г. Розанова слѣдовали энергичные и нетерпѣливые вопросы: „Гдѣ?“ „Когда?“, т. е. гдѣ, когда онъ можетъ встрѣтиться со мной и облобызаться“.

Мы всѣ знаемъ, въ какомъ нынче видѣ изображать г. Розановъ эти самые дни свободы.

Когда начальство ушло и на исторической сценѣ Россіи появилась новая сила демократіи, г. Розановъ скалилъ волчій зубъ въ сторону ушедшаго начальства; теперь же, когда начальство пришло, а демократія подавлена, г. Розановъ старается лисьимъ хвостомъ замести слѣдъ своего сочувствія освободительнымъ идеямъ...

Мы познакомились съ самими крупными нововременцами—А Суворинымъ, М. Меньшиковымъ, В. Розановымъ.

Мы видѣли, что всѣ эти, несомнѣнно, очень талантливые писатели, несмотря на все пестрое индивидуальное различіе, принадлежать къ одному и тому же виду безпозвоночныхъ публицистовъ.

Эти безпозвоночные публицисты обла-

даютъ чисто акробатскою гибкостью, чисто фокусническимъ искусствомъ: сейчасъ блондинъ, сейчасъ брюнетъ.

Не вѣруя ни во что, лишенные всякихъ твердыхъ началъ и принциповъ, они съ несомнѣнною граціей мѣняють на протяженіи нѣсколькихъ дней всѣ свои „убѣжденія“.

Замѣшательство испытываютъ они лишь тогда, когда въ періодъ общественной смуты они не могутъ рѣшить, кто будетъ ихъ завтрашнимъ господиномъ и къ кому надо сегодня прислуживаться. Въ такія историческія минуты о нововременцахъ невольно вспоминаешь слова поэта: „Въ большемъ затрудненіи стоятъ флюгера: ужъ какъ не гадаютъ, никакъ не добьются, въ которую сторону имъ повернуться“.

Въ такое недоумѣнное положеніе нововременцамъ приходится попадать не только въ такія переломныя эпохи, какъ 1905-го года. Достаточно вспомнить недавній конфликтъ по поводу примѣненной 87-ой статьи, когда нововременцы метались между Госуд. Совѣтомъ, неожиданно очутившимся въ оппозиціи, и правительствомъ. Или стоитъ вспомнить лишь дни послѣ смерти П. Столыпина, когда нововременскій Альфонсъ власти то низко кланялся Коковцову, еще не назначенному на мѣсто Столыпина, то на завтрашній день, когда шансы Коковцова, казалось, колебались, пускалъ по его адресу шпильки.

Въ эти дни „Нов. Вр.“ представляло до старѣнія жалкое зрѣлище растерявшагося камердинера, не знающаго, какому господину прислуживать, и поте-

ряшаго благодаря этому свое мѣсто въ природѣ.

Въ такія историческія минуты мысль нововременцевъ начинаетъ страдать какою-то пляскою св. Витта. Ее дергаетъ въ самые различныя стороны. И это зрѣлище качанія мысли, какъ маятника, вызываетъ приступъ „морской болѣзни“ даже у очень крѣпкихъ и неприхотливыхъ людей.

Поведеніе „Нов. Вр.“ во время обсужденія конфликта изъ-за примѣненія правительствомъ 87-ой статьи (въ мартѣ 1911 г.), когда нововременцы буквально ежедневно мѣняли свои мнѣнія, даже у охранительныхъ „С.-Петер. Вѣд.“ вызвало безглаголивое замѣчаніе: „Лакейская роль этой газеты ясна для каждого, и никогда еще „Новое Время“ не вызывало столь великаго къ себѣ презрѣнія, какъ за послѣдніе дни“. („С.-Пет. Вѣд.“ отъ 22 марта 1911 г.)

Есть ли, однако, у нововременцевъ что-либо святое, дорогое, во что они вѣрятъ? Такихъ сантиментовъ нововременцы, конечно, не признаютъ. Д. Мережковский на страницахъ „Рѣчи“ рассказалъ о своемъ поучительномъ разговорѣ съ г. А. Суворинымъ въ Римѣ въ присутствіи А. Чехова.

Разговорившись о безсмертіи, А. Суворинъ лукаво воскликнулъ:

— А чортъ его знаетъ, есть ли Богъ.

Эта фраза безконечно характерна для нововременскаго словоблудія — „а чортъ его знаетъ, есть ли Богъ.“ „Богъ его знаетъ, есть ли чортъ.“ Но вотъ Иуда, несомнѣнно, есть. въ этомъ ни одинъ истинный нововременецъ не усомнится. Это для него несомнѣнная реальность. Ново-

временцы люди прежде всего положительные. Если они допускаютъ кое-какія спиритическія туманности въ своемъ органѣ, то это для покупателя они держатъ, это лишь для того, чтобы покупатель все имѣлъ въ ихъ газетномъ заведеніи. Секретъ же успѣха „Новаго Времени“ заключается въ его нигилизмѣ, нигилизмѣ, всегда прочно держащемся за очень реальныя блага.

Отправляясь въ 1880-мъ году въ путешествіе по Россіи, А. Суворинъ восклицалъ въ „Новомъ Времени“:

— „Куда ты несешься, Русь?“—спрашивалъ Гоголь, уподобляя ее тройкѣ. Ну, а намъ, грѣшнымъ, садиться въ вагонъ и знать хотя то, какая ближайшая станція, гдѣ можно поѣсть“... („Нов. Вр.“ 21 авг. 1880 г.).

„Ближайшая станція, гдѣ можно поѣсть“...

Вотъ основной принципъ, которому всегда слѣловало „Новое Время“ на своемъ публицистическомъ пути. Это единственный принципъ, которому никогда не измѣняло „Новое Время“, это единственное, во что оно вѣровало.

— Чортъ его знаетъ, есть ли Богъ—восклицалъ А. Суворинъ.

Но что есть „станція, гдѣ можно поѣсть“, онъ всегда твердо и неукоснительно зналъ—и политическій курсъ „Новаго Времени“ всегда былъ направленъ къ этой питательной станціи.

Заканчивая наши очерки, мы хотѣли бы въ заключеніе ихъ отмѣтить, что русское общественное мнѣніе—и лѣвое, и даже правое—давно и по достоинству

оцѣнило „Нов. Вр.“ и его тлетворное вліяніе.

Мы отмѣтимъ кое-какія изъ этихъ оцѣнокъ.

Уже въ 1884 г. „гласный петербургской думы“ помѣщаетъ въ „Новостяхъ“ письмо:

„Есть такія натуры,—пишетъ онъ,—отпѣтыя и блиндированныя, что ихъ ни насмѣшкой, ни крѣпкимъ словомъ не прошибешь — извольте тутъ оставаться въ границахъ приличія, хотя бы изъ уваженія къ самому себѣ. Есть русская пословица: „бей мужика не кулакомъ, а рублемъ“; чтобы бить Суворина рублемъ, надо оставить его въ покоѣ и не давать ему повода къ учиненію скандала, а скандальчикъ всегда увеличиваетъ доходы отъ розничной продажи. Многие потому и терпятъ всѣ мерзкія выходки Суворина, чтобы не давать ему повода зарабатывать деньгу насчетъ ихъ добраго имени. Но послѣдствіемъ того было, что Суворинъ возмечталъ, что его боятся, что онъ безнаказанно можетъ разливать свои помои на людей, въ нравственномъ отношеніи цѣлою головою выше его стоящихъ. Во имя нравственности, ради достоинства прессы такому разбойничьему приему надо положить конецъ“. („Новости“ отъ 20 апр. 1884 г.).

Но—увы!—въ восьмидесятихъ годахъ не только не былъ положенъ конецъ, а скорѣе было положено начало еще большимъ „разбойничьимъ“ приемамъ „Нов. Вр.“. И съ тѣхъ поръ лучшіе русскіе писатели жестоко клеймили „Нов. Вр.“ и его „разбойническіе приемы“.

Шедринъ посвятилъ ему („Краса

Дермидона“, „Чего иволите“ и т. д.) много ѣдкихъ и яркихъ страницъ.

Даже А. Чеховъ, высоко цѣнившій талантъ А. Суворина и въ свою очередь высоко оцѣненный А. Суворинымъ, не удерживается въ одномъ изъ своихъ писемъ отъ восклицанія:

„Новое Время“ просто отвратительно. (Письма А. Чехова. Спб. 1909. Стр. 4.).

Очень сдержанный А. Эртель негодуяше пишетъ:

„Два слова о „Нов. Вр.“ хотя бы по поводу моего выраженія, что Суворина и Буренины компрометируютъ свою защиту Л. Н. (Толстого). Тотъ фактъ, что мытари, блудницы и разбойники возлюбили Христа паче книжниковъ и мудрецовъ, не только не имѣетъ въ себѣ чего-нибудь прискорбнаго, но по справедливости вызываетъ умиленіе. Однако, что бы ты сказалъ, если бы они, на словахъ признавая ученіе Христа и даже вступая за него въ борьбу съ книжниками (тогда „Нов. Вр.“ еще заигрывало съ толстовствомъ, П. Б.), продолжало бы, нимало не унывая, свое мытарское, блядское и разбойничье дѣло? А именно въ такомъ положеніи обрѣтаются и Буренинъ, и Суворинъ. Надо знать „Нов. Вр.“ за 1877 г., надо прослѣдить шагъ за шагомъ всю эту систему клеветы, подхалимства, ливрейныхъ изъявленій, разжиганій, зловредныхъ аппетитовъ, внезапныхъ перемѣнъ фронта, наускиваній, пресмыкательства и столь же позорныхъ надругательствъ—надо знать все это, чтобы понять, какой разлагающій факторъ представляетъ изъ себя „Новое Время“, до какой степени оно вносило и продолжаетъ вносить

нравственную смуту въ наше мало устойчивое общественное сознание". (А. Эртель. Письма. М. 1909. Стр. 216-17).

Пусть не думаетъ читатель, что тѣ правые элементы, которые читаютъ, „Нов. Вр“, вмѣстѣ съ этимъ чтутъ его.

Далеко не такъ. Сплошь и рядомъ въ правой печати вы встрѣчаете гнѣвные и справедливыя обвиненія „Нов. Вр.“ въ „измѣнѣ“, въ фальсификаціи извѣстій. „Нов. Вр.“ измѣняетъ и правымъ, когда этого требуетъ „ближайшая станція, гдѣ можно поѣхать“.

И недаромъ кн. Мещерскій одною изъ специальностей своего „Гражданина“ избралъ изобличенія „измѣнѣ“ „Новаго Времени“. Сіятельному редактору удается безъ особеннаго труда ловить нововременскихъ развратниковъ мысли и слова

на мѣстѣ преступленія и составлять въ „Гражданинѣ“ еженедѣльные протоколы. Недавно для разнообразія кн. Мещерскій посвятилъ „Нов. Вр.“ даже стихи:

Помню старые стихи:  
„Нѣтъ продажныя Андрея,  
Нѣтъ подлѣе Иліи...“  
Но иначе въ наши дни:  
Есть продажныя Андрея,  
Есть подлѣе Иліи,—  
То въ суворинской ливреѣ  
Разношерстные лакеи  
Нововременской семьи.

Такова та газета, изъ которой значительная часть русскаго образованнаго общества черпаетъ познанія о текущей жизни и невольно усваиваетъ на эту жизнь нововременское развращающее двоегочіе зрѣнія „пѣгихъ“ людей...

П. Берлинъ.

## ОТЦЫ И ДѢТИ.

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ появился романъ Тургенева „Отцы и дѣти“, ставшій предметомъ раздора между нимъ и Герценомъ. Долго спустя, полузабытый современниками, на склонѣ дней Герценъ писалъ: «Мы съ дѣтьми Базарова встрѣтимся симпатично. И они съ нами безъ озлобленія и насмѣшки». Герценъ вѣрилъ въ то, что тяжба отцовъ и дѣтей не таитъ въ себѣ неизбывнаго, непреложнаго: то, что непонятно было дѣтямъ, оцѣнять и поймутъ внуки.

Но вотъ прошла половина столѣтія—и съ новой силой воскресаетъ къ жизни и зоветъ къ себѣ вниманіе все та-же

тема: «отцы и дѣти». Недавно появилась въ печати («Рус. Сл.», 3 марта 1912) замѣчательная статья Максима Горькаго «о современности». Въ уста современныхъ «дѣтей» Максимъ Горькій вкладываетъ тяжкія обвиненія противъ «отцовъ». Дѣти имѣютъ «неоспоримое право» сказать своимъ «отцамъ»:

— Вчера, когда мы были отроками, вы, отцы, внушали намъ, что безыдейность есть великій грѣхъ противъ Духа жизни.—сегодня, когда мы стали юношами, вы говорите намъ: „Идеи только затѣмъ и придуманы, чтобы давать право уродовать людей“, и что прошло время созданія идеологій въ нашей безыдейной, духовно-нищей странѣ.

— Вчера вы рассказывали намъ о великой красотѣ русскаго народа, учили насъ любить

его, убеждали работать съ нимъ для освобожденія его. — сегодня вы заявляете благодарность власти за то, что она „штыками охраняетъ насъ отъ ярости народной“.

— Вчера вы, считая социализмъ универсальной идеей, горячо доказывали намъ и заставляли вѣрить насъ, что лишь эта идея можетъ объединить всю энергію человѣчества и, создавъ новыя формы жизни, освободить всѣмъ людямъ дальнѣйшій путь къ побѣдѣ надъ силами природы. — сегодня вы вспоминаете неудачную и нетактичную барскую обмолвку Герцена о „потенціальномъ мѣщанствѣ социализма“ и восхваляете индивидуализмъ, разрывая и отмѣняя всѣ попытки лучшихъ умовъ Россіи найти живую связь между интересами личности и общества.

— Вчера вы говорили о красотѣ жизни, глубоко о ея смыслѣ, о сладости подвига, о необходимости сѣять въ мірѣ „разумное, доброе, вѣчное“, — сегодня вы доказываете, что разумъ безсиленъ и слѣпъ, существованіе добра сомнительно, жизнь — занятіе безсмысленное, а красивый подвигъ — въ лучшемъ случаѣ — мальчишеская выходка.

— Вчера вы убеждали насъ, что герой русской жизни, ея самый „честный, умный, добрый“ человекъ — русскій революціонеръ, — сегодня вы говорите о немъ языкомъ Цюна, Цитовича, Незлобина-Дьякова, плюете желчью на могилу его и его ошибки злорадно ставите въ непростительный грѣхъ ему.

— Что намъ думать о васъ? Когда вы были искренни: вчера — идеалистами и фанатиками — или сегодня — нигилистами и скептиками? Кто вы — лгуны или несчастные, больные люди, нищие духомъ? Какъ намъ, послѣ вашей измѣны самимъ себѣ, жить съ вами, и, — подумайте, — можемъ ли мы уважать васъ? Вы обманно зажгли яркіе огни предъ нами и вотъ погасили ихъ, оставивъ насъ во тьмѣ, въ грязи и въ невѣдѣніи. Кто же вы?

Какъ и пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, Россія находится въ наши дни на высотѣ крутого перелома общественныхъ настроеній и мысли; и снова, какъ тогда,

ставится вопросъ объ отношеніяхъ двухъ поколѣній и возбуждается въ формѣ еще болѣе рѣзкой и съ какимъ-то безнадежнымъ надрывомъ. Какъ полстолѣтія тому назадъ, среди отцовъ находится искренній и мужественный человекъ, готовый повторить слова поэта:

Не мы-ль, какъ безнадежно падшихъ,  
На посрамленіе всей земли  
И сыновей, и братьевъ нашихъ  
Къ столбамъ позорнымъ привели.

Въ воскрешеніи темы «отцовъ и дѣтей» сказались прежде всего власть и обаяніе художественныхъ образовъ: мысль невольно идетъ проторенными тропами, избираетъ формы готовые и испытанныя. Произведенія художественнаго творчества, какъ и образы, созданные исторіей, живутъ двойной жизнью. Они вліяютъ на сознаніе людей непосредственно. Кто изъ насъ въ иные моменты не переживалъ настроеній «гамлетовскихъ»? Черты «рыцаря печальнаго образа» мы легко открываемъ въ дѣйствительности. Иной разъ мы и сами поступаемъ, какъ поступилъ бы Донъ-Кихоть. И трудно бываетъ сказать: по тому-ли мы такъ поступили, что намъ свойственно «гамлетовское» или «донъ-кихотское», или по тому, что эти міровые образы сыграли въ нашихъ поступкахъ направляющую, повелительную роль. Въ жизни и развитіи самага искусства ведущая сила художественныхъ первообразовъ — несомнѣнна. Искусство питается соками реальной жизни, но оно живо и своимъ преданіемъ, преемственностью собственнаго содержанія. Исходя изъ жизни и къ ней возвращаясь, Гамлетъ и Донъ-Кихоть остаются также и вѣковыми

ными темами художественного творчества. Въ живописи, скульптурѣ, музыкѣ и произведеніяхъ художественнаго слова первообразы подвергаются новой творческой перечеканкѣ. Бываютъ эпохи, когда группы историческихъ и художественныхъ образовъ уходятъ изъ поля вниманія, какъ-будто совсѣмъ угасаютъ, но настаетъ другое время—и тѣ-же образы возрождаются съ особенной силой—все тѣ-же, но иные... Такъ и въ наши дни приобретаетъ опять дѣйственную силу, какъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, двудеинный образъ романа «Отцы и дѣти». Всколыхнувъ въ свое время замѣтную волну въ литературѣ и обществѣ, образы тургеневскаго романа нѣсколько десятилѣтій жили смутной жизнью. Всѣ грамотные люди читали о Базаровѣ не только по Тургеневу, но и по Чернышевскому, по Писареву. Однако, свѣтозарность темы какъ-бы тускнѣла отъ времени. Въ обществѣ властвовали другія темы. А потомъ, послѣ свѣжаго вѣтра «эпохи великихъ реформъ» и мертвой зыби послѣдующихъ лѣтъ, Россія вступила въ полосу затишья... Недолгаго затишья. Неподвижны, словно изъ стекла отлитыя, были воды русскаго океана, а въ небѣ уже громоздились грозовыя тучи. Затишье было передъ ураганомъ. Вѣстникомъ грядущей бури пришелъ въ литературу Максимъ Горькій. «Буря, скоро грянетъ буря»—стало лозунгомъ русской литературы. Но рядомъ съ «штормовыми предостереженіями» въ художественную литературу безъ шума и блеска, не обративъ поэтому на себя вниманія, вернулась и тема «отцы и дѣти». Мотивы, впервые воплощенные

въ лицахъ тургеневскаго романа, сначала звучать нерѣшительно и скромно. Первый, съ простодушіемъ примитива, пробудилъ къ новой жизни тему «отцовъ и дѣтей» С. Найденовъ въ «Дѣтяхъ Занюшина». Не тому-ли и обязана была эта пьеса своимъ широкимъ успѣхомъ, что она говорила новымъ языкомъ о томъ, что вновь стало близкимъ и понятнымъ... И у многихъ другихъ писателей современности въ образѣ столкновенія „отцовъ и дѣтей“ реализуется великій переломъ нашего времени. „Отцы“ виноваты въ томъ, что революція потерпѣла поражение,—такъ думаетъ деревенская молодежь у Муйжеля и Степана Аникина („Деревенскіе рассказы“). Въ „страну отцовъ“,—повѣствуетъ С. Гусевъ-Оренбургскій,—революція внесла безнадѣжный расколъ между „отцами“ и „дѣтьми“. У Осмена Подъячева старый дѣдъ кричитъ съ полатей на сына: «Куды вы годны? Чай, самовары, табачокъ!.. Удавить бы васъ, гляжу я, всѣхъ-то сукиныхъ сыновъ перестрѣлять, мошенниковъ»... Но и деревенскія «дѣти» не остаются въ долгу: «Ты, старый чортъ, отжилъ свое, пора Тебя и на свалку, въ навозъ, а то отъ тебя зараза идетъ“... Ив. Рукавишниковъ въ романѣ „Проклятый родъ“ рассказываетъ о борьбѣ „отцовъ“ и „дѣтей“ въ богатой купеческой семьѣ. „Человѣкъ изъ ресторана“ Ив. Шмелева, сохранивъ въ омутѣ разврата человѣческое сердце и гордое достоинство, нинетъ головой въ разстанной скорби: дѣти у него отняты «образованностью». И не о той-же ли драмѣ умирающаго послѣдней «отцовъ», покинутыхъ въ дво-



рянскихъ гнѣзлахъ «дѣтьми», рассказы-  
ваетъ гр. Ал. Н. Толстой...

Еще до появленія статьи Максима Горькаго, обобщающей идейную смуту современности въ образѣ тяжбы „отцовъ“ и „дѣтей“, онъ-же съ удивительной четкостью набросалъ силуэтъ Семейной драмы въ одной изъ своихъ „жалобъ“. „Когда отецъ мой умиралъ, рассказываетъ купецъ,—мнѣ тридцать два года было; призвалъ онъ меня ко смертному своему одру и говоритъ: „Василій, какъ думаешь жить?“ Я, стоя на колѣнкахъ, отвѣчаю: „Какъ вы, тятенька, жили, ни въ чемъ не отступая“. «То-то, говоритъ, а иначе я-бъ тебѣ и благословенья не далъ»... Встѣ какъ бывало! А нынѣ мой сынъ мнѣ преспокойно внушаетъ: всѣ мои дѣла и приемы невѣрны, всѣ мои мысли—негодны. Теперь, говоритъ, другое время, другой народъ и—все другое. Слушаю я, смотрю—вѣрно! Все покачнулось и прислушивается настороженно. Другой народъ... И понять недоступно, что съ нимъ дѣлается...”

Изъ того, что потускиѣвшій и подернутый копотью времени образъ проясняется и свѣтлѣетъ, еще не слѣдуетъ съ обязательностью, что въ немъ дано вѣчное, неизбывное, свойственное всѣмъ временамъ и сочетаніямъ силъ. Извѣчна смѣна поколѣній. Но эту-ли смѣну мы обобщаемъ въ художественномъ образѣ „отцы и дѣти“? Нельзя отрицать того, что смѣна поколѣній можетъ представлять въ очертаніяхъ драматическихъ. Старое цѣпляется за жизнь, а молодое торопится предъявить свои права на мѣсто въ жизни. Это—драма „скупого рыцаря“, но, вѣдь, это еще не вражда

„отцовъ и дѣтей“, какъ мы ее понимаемъ съ появленія тургеневскаго романа. Старость еще бываетъ мудрой, что естественно и біологически цѣлесообразно. Трагическое въ природѣ своей скрываетъ холодный ключъ примиренія. Съ аполлинической ясностью Пушкинъ привѣтствуетъ: „Здравствуй, племя младое, незнакомое. Не я увижу твой могучій поздній возрастъ...“ Предстояніе молодой жизни вызываетъ у „отца“ не недоумѣніе, не вражду, не завистливое возмущеніе, а мудрое согласіе съ неизбежнымъ: „Тебѣ я мѣсто уступаю,—мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти...“ Ключъ примиренія вытекаетъ изъ біологической „справедливости“. Каждый человекъ неизбежно въ жизни переживаетъ трагедію жизненной смѣны, становясь и божествомъ, которому жертва приносится, а потомъ постигая и участь жертвы. И оттого легче уступать, исчерпавъ всѣ жизненные возможности, свое мѣсто, что мнѣ такъ-же это мѣсто было уступлено. Біологически два смежныхъ поколѣнія такъ близки и интимно связаны, что тутъ и рѣчи быть не можетъ о конфликтѣ „отцовъ и дѣтей“. Между Обломовымъ—сыномъ и Обломовымъ—отцомъ нѣтъ пропасти, развѣ—овражекъ...

Перешагнемъ грани индивидуальных отношеній. Жизнь рода человѣческаго въ его цѣломъ никогда не была сопряжена съ ритмической смѣной поколѣній. Для „экономіи“ жизни было-бы невыгодно, если бы смѣна поколѣній на всѣхъ біологическихъ ступеняхъ происходила такъ-же, какъ бываетъ у поденскъ. Человѣческія поколѣнія образуютъ слож-

ное перекрытіе. Тутъ, когда мы выходимъ за черту отдѣльныхъ жизней, открывается иной ритмъ смѣны, несоизмѣримый съ ритмомъ рожденій и смертей. Въ то время, какъ одни отцы уступаютъ мѣсто дѣтямъ, познавъ всѣ откровенія жизни, рядомъ, въ томъ-же кругу, идетъ борьба между крѣпкими и жадными къ жизни отцами и созрѣвшими къ дѣйственной жизни дѣтьми, а о-бокъ живутъ отцы и дѣти, еще не знающіе трагедіи смѣны, упоенные радостями бытія. Въ интегральномъ процессѣ жизни невозможно подмѣнить „смѣны“ поколѣній, здѣсь она можетъ быть понимаема лишь въ условномъ и ограниченномъ смыслѣ.

Теперь за „дѣтьми“ признается неоспоримое право предъявлять обвиненія къ отцамъ, а типическими чертами послѣднихъ объявлено то, что они „перевертня“, предатели. Но гдѣ эти „дѣти“ и кто «отцы»? Не есть-ли и тѣ, и другіе лишь способъ мыслить современность въ упрощенныхъ образахъ, попытка изобразить массовое явленіе чертами индивидуальныхъ переживаній? И если такъ, то образъ „отцы и дѣти“ нельзя признать адекватнымъ образомъ современности.

Тѣмъ не менѣе, обвиненія высказаны и чувствуются. Что это такъ—показываетъ хотя бы то, что на статью Максима Горькаго съ большой горячностью отъ имени „отцовъ“ отозвался на страницахъ „Новаго Времени“ В. Розановъ. Двуетьдиному образу „отцы и дѣти“ нельзя отказать въ какой-то жизненной чертѣ. Существуетъ какое-то явленіе въ интегральномъ процессѣ жизни, мысли-

мое нами въ образѣ столкновенія и борьбы двухъ поколѣній.

Въ образѣ „отцы и дѣти“, какъ и во всѣхъ его производныхъ, есть чувственный тембръ: „отцы“—всегда со знакомъ минусъ, „дѣти“—со знакомъ плюсъ. За „дѣтьми“ признается „неоспоримое право“ на обвиненія, а разъ оно неоспоримо, то „отцы“ выступаютъ даже не въ роли подсудимыхъ, а предосужденныхъ предателей... Молодому суждена жизнь, а отживающему смерть. Молодое „лучше“ старого по тому одному, что въ немъ заключенъ весь опытъ стараго и открыта возможность неограниченнаго опыта въ будущемъ. Подчеркнемъ: такъ только въ интегральномъ процессѣ жизни. Въ ограниченныхъ же ея кругахъ бываетъ и обратное. Вырождаются не только семьи, но и цѣлыя племена, вырождаются и вымираютъ націи. Поэтому въ примѣненіи къ каждому конкретному случаю образъ „отцы и дѣти“ встрѣчаетъ противорѣчіе, ибо заключаетъ въ себѣ предпосылку: дѣти всегда лучше отцовъ.

Свою „всеобщность“ и, стало-быть, и художественную правду образъ борьбы „отцовъ и дѣтей“ пріобрѣтаетъ лишь въ примѣненіи къ эпохамъ крутого перелома. Въ серединѣ прошлаго столѣтія даже такіе крупныя и чуткіе люди, какъ Герценъ, переставали ощущать подлинную скорость жизни. „Герценъ до сихъ поръ думаетъ,—писалъ Чернышевскій,—что онъ продолжаетъ остроумничать въ московскихъ салонахъ и препирается съ Хомяковымъ. А время идетъ теперь со страшной быстротой: одинъ мѣсяцъ стоитъ

прежнихъ десяти лѣтъ.“ Вотъ въ этой „страшной быстротѣ“ времени и надо искать ключа къ замкнутому въ образѣ „отцы и дѣти“ смыслу. Живость воспріятія въ періоды бурной смѣны формъ жизни заставляетъ признать непосредственно данную новизну возникающихъ явленій, хотя въ нихъ всегда и старина сказывается. Такое впечатлѣніе бурнаго рожденія новыхъ формъ и новыхъ людей не могла не произвести на художника „эпоха великихъ реформъ“ — преддверіе нашей эпохи. Тургеневу было чуждо признаніе реальности общественныхъ силъ. Для него общественныя измѣненія являлись лишь въ образахъ индивидуальных. При такомъ воззрѣніи естественно переносить образы индивидуальности на явленія жизни общественной. Въ наши дни подобный соблазнъ еще побѣднѣе. Впечатлѣнія борьбы „старого“ съ „новымъ“ теперь еще ярче. Здѣсь и кроется причина того, что въ литературѣ тема „отцы и дѣти“ обрѣтаетъ новую жизненность. Наша эпоха характерна еще большей „быстротой времени“ сравнительно со серединой прошлаго столѣтія. За гранями Россіи происходитъ великій процессъ объединенія міра. Не столько черезъ открытыя двери въ стѣнахъ національнаго кремля, какъ сквозь незримыя, но безчисленныя поры съ огромной силой осмотического давленія просачивается міровое въ Россію: мы уже приобщены человѣчеству, живемъ въ немъ. Но какъ страна въ массѣ отсталая, по культурному своему „оборудованію“ не отвѣчающая уровню европеизма, мы должны, чтобы жить, жить ускоренной, интен-

сивной жизнью. Эманация міровой жизни и культуры дѣйствуетъ на насъ, какъ „доппингъ“, возбуждающее тоническое средство. А иногда она — наркотикъ, смертельный ядъ. Европейская культура для русскихъ людей — „отравленный садъ“ Федора Сологуба... Мы наверстываемъ то, въ чемъ не успѣли за стѣнами самобытности.

Въ стихійномъ процессѣ обогащенія, преобразенія и усложненія жизни имѣютъ силу и значеніе сознанія отдѣльныхъ людей, ихъ воля къ дѣйствию, ихъ пластическая способность, но уединенная личность во всемъ ея объемѣ неизмѣримо мала по сравненію съ огромностью дѣйствующихъ силовыхъ моментовъ. Индивидуальная роль русскихъ людей въ постройкѣ Новой Россіи въ большой мѣрѣ пассивная, страдательная. Мѣняется Россія — и мы мѣняемся съ нею. Преображеніе совершается и въ каждой душѣ. А внутренний міръ человѣка обладаетъ также стойкостью, инерціей — иначе бы его разрушали случайныя колебанія жизненной среды. Въ то время, какъ среда претерпѣла измѣненіе, — живое существо сначала отстаиваетъ свое прежнее положеніе и уже потомъ активно приспосабливается. Въ быстро мѣняющейся средѣ живое существо теряетъ съ ней связи: рыба, вынутая изъ воды, умираетъ только потому, что она не успѣла привыкнуть дышать въ воздухѣ. Съ катастрофической быстротой совершается въ наши дни эволюція культурной среды въ Россіи. Вчера Россія была не тѣмъ, что она есть сегодня. Мы едва успѣваемъ за революціей быта — вотъ личная драма каждого изъ современниковъ. На всѣхъ

ступеняхъ общественности мы страдальчески переживаемъ процессъ активного приспособленія къ новой культурной средѣ, синтезируя ее съ органическимъ опытомъ прошлаго...

На взаимности двухъ смежныхъ поколѣній такая бурная эволюція среды должна отразиться очень замѣтно. Физиологическое разстояніе между отцами и дѣтьми въ такомъ галопирующемъ процессѣ должно быть меньше, чѣмъ разстояніе соответствующихъ культурныхъ этаповъ. „Дѣти“ попадаютъ къ возрасту самостоятельной жизни въ культурную среду, весьма отличную отъ той, въ которой жили отцы, и отличную въ большей мѣрѣ, чѣмъ можетъ предвидѣть семейное и общественное образованіе. Отцы оказываются въ смѣшномъ положеніи курицы, высидѣвшей утенка. Молодое существо — пластичнѣе, оно легче входитъ въ новыя условія жизни. „Отцы“ остаются на берегу и съ безпокойствомъ смотрятъ, какъ непонятный и пугающій потокъ стремительно уноситъ „дѣтей.“ Но несмотря на молодую гибкость, и для „дѣтей“ новая среда вовсе не то, что для утенка его родная стихія. Скорость измѣненія культурной среды можетъ, если не превышать, то приближаться къ мѣрѣ индивидуальной приспособляемости. И „дѣти“ поэтому страдаютъ, а отъ неосознаннаго страданія складывается иллюзія вины „отцовъ“: родили и бросили въ непонятную стихію. Отсюда — отчужденность, непониманіе, разладъ. „Дѣти“ покидаютъ „отцовъ“, ихъ проклиная. Но не въ томъ смыслѣ драмы „отцовъ и дѣтей“, что генеральскій сынъ Саша Погодинъ снисходитъ

къ крестьянамъ и становится Сашкой Жегулевымъ, и не въ томъ, что сынъ „человѣка изъ ресторана“ восходитъ отъ „хамства“ къ интеллигентской жизни. Генеральскія дѣти дѣлаются непонятны генераламъ-отцамъ и тогда, когда идутъ по проторенной отцами стезѣ. И у купца, пребывающаго на положеніи „папашина сына“ и живущаго безотлучно въ домѣ „отцовъ“, неизбѣжно родится мысль о проклятіи, тяготящемъ надъ родомъ. Молодые крестьяне въ разсказахъ Ст. Аникина бѣгутъ изъ деревни въ городъ отъ муки семейнаго разлада, но бѣгство это — финалъ, а не завязка драмы... Основной процессъ бурной культурной эволюціи сопровождается распадомъ быта, социальными оползнями и сдвигами. Массы людскія перемѣщаются, образуютъ новыя группировки, грани между старыми социальными кругами размываются... И „дѣти“, покидая „отцовъ“, въ мучительныхъ поискахъ новой органической среды вливаются часто своими силами въ новыя группы, навсегда порывая со „страной отцовъ.“

Пятьдесятъ лѣтъ назадъ А. И. Герценъ послѣ появленія тургеневскаго романа писалъ: „Пора отцамъ-Сатурнамъ не закусывать своими дѣтьми, но пора и дѣтямъ не брать примѣра съ тѣхъ камчадаловъ, которые убиваютъ своихъ стариковъ.“ Думается, что теперь хорошо вспомнить эти слова, когда всю энергію раздраженія, скопленную стремительнымъ бѣгомъ времени, пытаются разрядить, направляя ее въ русло борьбы „отцовъ и дѣтей“? Положеніе „дѣтей“, дѣйствительно, тягостно. Но не тягостна-ли доля и „отцовъ“? Въ грозномъ

монологъ, вложенномъ въ уста „дѣтей“ Максимомъ Горькимъ, удивляетъ приписанная „отцамъ“ непредѣльная гибкость въ пережѣнѣ взглядовъ и убѣжденій. Но Максимъ-же Горькій въ уста „отца“ влагаетъ такія „жалобы“:

— Трудная страна Россія наша—трудно въ ней жить подъ старость лѣтъ... Мѣняется все, а самому примѣняться позднечко... Позднечко, сударь мой, да... И въ то время, какъ солидныхъ лѣтъ люди ломаются въ душѣ, молодежь смотритъ на нихъ чужими глазами и безъ жалости... Хоть въ лѣсъ иди—землянку рой отъ ихъ взглядовъ. Не ясна стала жизнь человѣчья... и люди—непонятны...

Въ признаніяхъ „нестерпимо-жилкаго“ старика правдивѣ изображенъ душевный изломъ „отцовъ.“ Гдѣ тутъ до той легкости въ пережѣнѣ взглядовъ, о которой говорится въ обвинительномъ актѣ противъ „отцовъ“... Идти всю жизнь въ уровень со временемъ — задача по плечу немногимъ. Какъ и для Герцена, для Тургенева насталъ въ свое время моментъ разлада съ быстротечнымъ временемъ, а онъ ли не умѣлъ схватить „быстро мѣняющуюся фizioномію русскихъ людей культурнаго слоя“... Біологически правильнѣ утвержденіе обрат-

ное: „дѣтямъ“ легче мѣнять убѣжденія; состояніе старческой души напоминаетъ склерозъ, охватывающій дряхлѣющія ткани: малѣйшій толчекъ вызываетъ изломы, разрывы, влечетъ смертельную опасность. Старость консервативнѣ молодости, и если старость измѣняетъ своимъ взглядамъ, то она „ломается въ душѣ“—гибнетъ.

И все-же „отцы и дѣти“—образъ современный въ наши дни даже болѣе, чѣмъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Надо только не давать этому образу ложныхъ воплощеній. Рожденный въ дни, когда десять лѣтъ были меньше мѣсяца, образъ „отцовъ и дѣтей“ умереть для Россіи лишь тогда, когда она войдетъ ровнымъ потокомъ въ міровое теченіе времени. До той поры въ образѣ „отцовъ“ мы неизбежно будемъ видѣть все то, что переживаетъ крушеніе („ломается въ душѣ“) въ бурномъ океанѣ взволнованной соціальной стихіи, а въ образѣ „дѣтей“ тѣхъ, кто безоглядно кинулъ „страну отцовъ“ для парусовъ мятежныхъ, полныхъ вѣтромъ. Пусть „дѣти“ оставятъ жалобы „отцамъ.“ За чѣмъ стенать: „Вы обманно зажгли яркіе огни, и вотъ погасили ихъ, оставивъ насъ во тьмѣ?“ „Дѣти“ знаютъ, что огни горятъ впереди неугасимо.

С. Патрашкинъ.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

Первый сборникъ издательства „Товарищества Писателей“. СПб. 1912. II. 1 р. 25 к.

Прожде всего слѣдуетъ привѣтствовать самую идею товарищества писателей. въ общемъ довольно хладнокровно относящихся ко всякаго рода „ассоціаціямъ“. Впрочемъ первый сборникъ товарищества развѣ только экономическими своими принципами отличенъ отъ сборниковъ типа альманаха, вообще же—по содержанію—не хуже и не лучше другихъ подобныхъ; тѣ же авторы, впрочемъ, съ замѣтнымъ тяготѣніемъ къ „реализму“, и среди нихъ довольно странно звучитъ имя поэта Валерія Брюсова.

Безспорно, лучшимъ вещью сборника является аэказъ Сергіева-Ценскаго „Медвѣжонокъ“. рѣзко отмѣтить, что этотъ авторъ, не забывавший никогда особымъ вниманіемъ критики и публики, неустанно работаетъ, постепенно отставая отъ прежнихъ причудъ въ формѣ, замѣтно углубляя содержаніе своихъ—часто по объему небольшихъ—вещей. Исторія постепеннаго увязанія командира Алпатова въ тѣнѣ провинціальнаго полкового болота рассказана съ захватывающей простотой и убѣдительностью, съ жуткимъ интересомъ слѣдящъ за нарастаніемъ притаившейся катастрофы, сразившей сразу и командира полка, и наивно-рѣзкого Милку. Кромѣ всего прочаго, Ценскій обнаружилъ въ этомъ разсказѣ превосходное знаніе описываемой среды, быта, интереснаго въ своей подлинной детальной и умѣло связуемаго авторомъ съ его общехудожественными концепціями. Повторяю: разсказъ С. Ценскаго превосходенъ.

Романъ—вѣрнѣе, повѣсть—А. Толстого „Хромой баринъ“ отмѣченъ всеми недостатками и достоинствами этого автора. Я не знаю сейчасъ другого беллетриста, которому при столь богатыхъ изобразительныхъ способностяхъ было бы такъ мало присуще подлинное творчество или хотя бы то, что на писательскомъ языкѣ называется „выдумкою“. Одни и тѣ же герои—вѣрнѣе, одинъ-два типа,—однородныя положенія часто анекдотическаго характера, въ концѣ концовъ, мало убѣдительныя, знаніе среды... нѣтъ, это не то подлинное знаніе, которое заинтересо-

вывааетъ насъ, какъ все подлинное, хотя бы въ упомянутомъ разсказѣ Ценскаго, — знаніе скорѣе по литературѣ—Аксакову, Толстому, Писемскому.—и притомъ какое странное и убійственное равнодушіе къ своимъ твореніямъ, къ своимъ же излюбленнымъ дѣтямъ! Кажется, что автору совершенно безразлично, что сдѣлать со своими героями въ концѣ каждой повѣсти (или романа)—послать ли ихъ на баррикады, въ монастырь, въ Парижъ или Чухлому, казнить или изгнать. И потому такъ странны и неожиданны бываютъ повороты ихъ жизни, вродѣ революціи, захватившей вдругъ—почему, зачѣмъ?—измѣтившагося князя, ухъ кетати и съ княгиней, которыхъ А. Толстому подъ конецъ романа уже, кажется, рѣшительно некуда дѣть! Читатель, конечно, пойметъ, что рѣчь идетъ здѣсь о равнодушій художественномъ, творческомъ, связанномъ съ какими-то ремесленными отношеніемъ къ писательству, столь, впрочемъ, свойственнымъ многимъ изъ современныхъ вундеркиндовъ. Къ достоинствамъ повѣсти нужно отнести весьма яркую образность и пышную изобразительность языка, вызывающуюся въ нихъ мѣстакъ, напр. въ описаніи встрѣчи князя съ „роковой“ для него Мордынской, до подлиннаго и высокаго мастерства.

Анастасія Чеботаревская.

Н. Н. Златовратскій. Собр. соч. Т. I. и Т. II. Спб. 1912. Книгоизд. 1-го Престѣщеніе. II. 1 р. 50 к. за томъ.

Недавно умершій писатель — народникъ Н. Н. Златовратскій — весьма интересная и своеобразная фигура на общемъ фонѣ нашей идейной литературы. Произведенія его устарѣли—и по содержанію, и по формѣ. Они не блещутъ художественнымъ талантомъ и далеки отъ „правды“ нашего дня, особенно отъ правды деревенской. Но кое-что въ нихъ есть нужное и полезное современному читателю. Это—избытокъ бодрости, необыкновенная дешевная цѣльность, которая чувствуется въ любомъ изъ многочисленныхъ разсказовъ и романовъ Златовратскаго. Онъ—органический оптимистъ; и не укій, не слѣпой, а широкій оптимистъ, въ-

рующій не столько въ народѣ, сколько въ человѣческую душу, вообще, въ тѣ добрыя основы, которыя въ ней заложены. Современный читатель, изнывающій отъ всякихъ сомнѣній и разочарованій, уставшій отъ самоанализа и самокритики, не долженъ остаться безучастнымъ къ этой неизблемой вѣрѣ—такой простой, стихійной...

Златовратскаго обыкновенно противопоставляютъ другому выдающемуся народнику—Габбу Успенскому. Само по себѣ такое противопоставленіе имѣетъ основаніе, но выводы изъ него не всегда вѣрны. Трудно себѣ представить двѣ писательскія ниндѣи уальности болѣе несхожія, даже противоположныя. Народный печальникъ, страдалецъ Успенскій—хрупкій и впечатлительный интеллигентъ, подходившій къ народу съ большими идеалистическими требованиями и потому кончившій глубокимъ разладомъ съ собой и разочарованіемъ въ народѣ. Златовратскій, напротивъ, нѣсколько грубоватый и примолниный въ своихъ чувствахъ здоровыхъ, тѣсно связанный съ народомъ не только психологіей, но и кровью (предки его были крестьяне). Златовратскій любилъ народъ безъ всякой насады, и смотрѣлъ на него сквозь розовые очки, потому что не умѣлъ смотрѣть иначе. Онъ—типичный представитель старшаго поколѣнія 70-хъ годовъ, времени общаго подъема и солнечныхъ радостей.

Златовратскій выступилъ на литературное поприще въ 1874 г. и много писалъ въ концѣ 70-хъ и въ 80-ые годы: въ послѣднее время онъ всецѣло посвящалъ себя „Воспоминаніямъ“ о прошломъ, которыя печатались въ „Вѣстн. Европ.“ и въ другихъ изданіяхъ. Первое собраніе его сочиненій вышло въ 1884 г., второе—въ 1891 г., третье—въ 1897 г. Настоящее изданіе является четвертымъ и обещаетъ быть наиболее полнымъ и тщательнымъ. Его подготовлялъ самъ авторъ, едва успѣвъ закончить—чуть не наканунѣ смерти. Въ первый томъ настоящаго изданія включены чрезвычайно живые и интересные очерки автобіографическаго характера: „Дѣтскіе и юные годы“ и „Какъ это было“. А во второй, носящій подзаголовокъ: „Среди народа“,—разсказы изъ народной среды, между прочимъ, и первая обширная повѣсть Златовратскаго, которую онъ дебютировалъ въ „Отеч. Записк.“—„Крестьяне-присяжные“.

Одной изъ любимыхъ деревенскихъ темъ Златовратскаго было изображеніе борьбы въ деревнѣ двухъ поколѣній, двухъ „правдъ“—старой міровой и новой индивидуалистической. Какъ человѣкъ стараго покроя, авторъ, конечно, на сторонѣ старой общинной правды, съ ея патриархальнымъ сомнительнымъ авторитетомъ (судили у соседа плохо, и у тебя хорошему не быть... жди бѣды). Онъ на сторонѣ тѣхъ, которые въ со-

временной деревнѣ являются „дѣдами“. (Они превосходно описаны въ разсказахъ П. Дьячева). Новая индивидуалистическая правда Златовратскому чужда, хотя своихъ „сознательныхъ“—„умственныхъ“ мужичковъ онъ изображаетъ довольно ярко и безпристрастно.

Въ другихъ произведеніяхъ стараго народника, среди которыхъ самыя выдающіяся—романъ „Устои“ и полубеллетристическіе очерки „Деревенскія будни“, читатель найдетъ много интереснаго матеріала для характеристики какъ народной среды, такъ и старыхъ интеллигентовъ-народниковъ.

Е. Колтонозская.

„Великая Россія“, Сборникъ статей по восточнымъ и общественнымъ вопросамъ. Книга 2-ая. М. Изданіе В. П. Рябушинскаго. Стр. 368. Ц. 2 рубл.

Въ качествѣ европеизующагося буржуа. г. Рябушинскій—редакторъ-издатель сборника—полагаетъ, что „Россія нуждается сейчасъ здоровый милитаризмъ“. Внѣдря сіе положеніе въ „народное сознаніе“, онъ выступаетъ противъ идеи пацифизма: наше положеніе таково, что „успѣхъ пацифизма въ Россіи явился бы большимъ общественнымъ зломъ, ослабляя боевую готовность нашей родины“. Здоровый милитаризмъ, но не заносчивость драчуна и забіяки—такова послылка г. Рябушинскаго. Г-нъ Петръ Струве въ томъ же сборникѣ тоже говоритъ о пацифизмѣ: „дилетанты пацифизма вродѣ покойнаго русско-польскаго еврея-банкира Ивана Блюха создаютъ чисто фантастическія картины ужасныхъ экономическихъ бѣдствій, которыя будутъ неизбежно связаны съ войной“ (стр. 147). Критикуя эту „фантазмагорію“ „русско-польскаго скрепа“, г-нъ Струве глубокомысленно изреклетъ: „вліяніе войны на народное хозяйство меньше, чѣмъ вліяніе народнаго хозяйства на войну“, или что почти равносильно: лошади кушаютъ сѣно, а Волга впадаетъ въ Каспійское море... Пока существуютъ лошади, а Волга течетъ, положеніе г. Струве безспорно, но колеблеть-ли это фантастическія картины ужасовъ войны? Прочтите въ сборникѣ статьи г. Исполпольскаго „Финансы Россіи“—и вы удивитесь величинѣ издержекъ на крупныя войны послѣдняго времени—франко-прусскую, русско-японскую, даже англо-бурскую. Развѣ это не „экономическое бѣдствіе“—отвлеченіе отъ производительныхъ цѣлей миллиардовъ денегъ?

Н. Валентиновъ

(Списокъ книгъ, поступившихъ въ редакцію для отзыва, будетъ помѣщенъ въ слѣдующемъ №).

Редакторъ-издатель И. М. Розенфельдъ.

**ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНИЯ.**

1 р. 90 к. въ  
годъ безъ  
доставки.

**Продолжается подписка на 1912 годъ.**

2 р. 20 к. въ  
годъ съ  
пересылк.

**НОВЫЙ  
ЖУРНАЛЪ ДЛѢ ВСѢХЪ**

**С.-Петербургъ, Невскій, 74.—Телефонъ № 107-88.**

**(Подписной годъ съ января).**

Вступая въ пятый годъ изданія, журналъ ставитъ своею основною цѣлью дать самымъ широкимъ кругамъ читателей возможность имѣть за всѣмъ доступную цѣну ежемѣсячникъ, въ которомъ помѣщаются произведенія лучшихъ литературныхъ и научныхъ силъ. Художественность, серьезность содержанія и популярность изложенія, при полной доступности цѣны—таковы задачи „Новаго Журн. для Всѣхъ“. Широко поставлены отдѣлы: 1) беллетристическій, 2) научно-популярный, 3) критическій, 4) обществен.-политич. 5) художествен. и др.

**Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками больш. формата (60-70 стр.) съ художественными иллюстраціями на отдѣльныхъ листахъ.**

**Въ журналѣ принимаютъ участіе:**

*Беллетристическимъ отдѣломъ завѣдуетъ О. МИРТОВЪ.*

**Литературно-художественный отдѣлъ:** Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ, Д. Айзманъ, Николай Архиповъ, С. Ауслендеръ, И. Бунинъ, А. Блокъ, К. Вальмонтъ, А. Воанъ, В. Брюсовъ, В. Вересаевъ, А. Вербицкая, Г. Галкина, С. Городецкій, А. С. Гринъ, О. Дымовъ, В. Дорошевичъ, З. Журавская, Бор. Зайцевъ, А. Купринъ, А. Каменскій, Вл. Кохановскій, П. Кожевниковъ, А. Косоротовъ, С. Кондурушкинъ, Карменъ, В. Ладыженскій, В. Лазаревскій, В. Ленскій, О. Миртовъ, В. Муйжель, Н. Олигеръ, И. Потапенко, А. Рославлевъ, А. Ремизовъ, И. Рукавишниковъ, А. Серафимовичъ, Скиталецъ (С. Г. Петровъ), С. Сергѣевъ-Ценскій, А. Свирицкій, гр. А. Н. Толстой, Н. Тимковский, А. Федоровъ, Таня, Н. Фальчевъ, Е. Чириковъ, Георгій Чулковъ, Д. Цензоръ, Т. Щепкина-Куперникъ, С. Юшкевичъ, Г. Яблочковъ и др.

**Научно-популярн., критич. и обществ., отдѣлъ:** проф. Е. Аничковъ, К. Арабажинъ, Ю. Айхенвальдъ, В. Агафоновъ, И. Берлинъ, Ф. Батушковъ, А. Бенуа, В. Брусянинъ, С. Венгеровъ, Л. Василевскій, пр.-догм. А. Генкель, Л. Герасимовъ, И. Гинзбургъ, А. Дживилеговъ, А. Измайловъ, Н. Кадминъ, Е. Колтоновская, акад. Котляревскій, пр. Н. Карѣевъ, Л. Клейнборгъ, А. Луначарскій, В. Португаловъ, М. Рубакинъ, И. Рѣпинъ, И. Рерихъ, академикъ Д. Овсянко-Куликовскій, проф. В. Святловскій, В. Сперанскій, Е. Тарле, проф. М. Туганъ-Варановскій, проф. Н. Озеровъ, В. Филатовъ, В. Фриче, К. Чуковский, М. Энгельгардъ, Н. Эфросъ, П. Юшкевичъ и др.

**Годовые подписчики получаютъ бесплатное приложение:**

**2**

**ТОМА**

**разсказовъ  
и повѣстей**

**Ф. ШПИЛЬГАГЕНА**

**Подписная цѣна:** на годъ безъ доставки 1 р. 90 к., съ пересылкой—2 р. 20 к. на 1/2 г.—1 р. 20 к. За гран.—3 р. 25 к., отдѣльн. книжки въ магаз. по 25 к. проби. № высыл. за пять 7 к. марокъ.

**ВЫПИСЫВАЮЩІЕ ОДНОВРЕМЕННО „НОВ. ЖУРНАЛЪ ДЛѢ ВСѢХЪ“ и „НОВУЮ ЖИЗНЬ“—БОЛЬШОЙ БЕЗПАРТИЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ,** выходитъ ежемѣсячно, книжками въ 250—300 страницъ большого формата, включаетъ всѣ отдѣлы толстыхъ журналовъ и доступенъ, какъ по цѣнѣ, такъ и по подбору матеріала, самому широкому кругу читателей—**ПЛАТЯТЪ ЗА ОБА ЖУРНАЛА 6 руб. 60 коп.** Разсрочка: 3 р.—при подпискѣ, 2 р.—1 апрѣля и 2 р.—1 юля.



PG2900

№ 6

г. 3.  
но. 1-4

amv-  
apr. 1912

## ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ КОМПАНИИ ЗИНГЕРЪ

ПРОДАЮТСЯ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ КОМПАНИИ.

РЯЗСРОЧКА  
ПЛАТЕЖА

**1**  
ОТЪ РУБ.



КОМПАНИИ  
ЗИНГЕРЪ

РУЧНЫЯ  
МАШИНЫ

**25**  
ОТЪ РУБ.

МАГАЗИННАЯ ВЫВѢСКА.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ  
ПОДДѢЛОКЪ.

МАГАЗИНЫ ВО ВСѢХЪ  
ГОРОДАХЪ ИМПЕРІИ.

УНИОНЪ С. П. Д. ИВАНОВСКАЯ 14

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912-ый годъ.**  
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

7-ой  
годъ изданія

# РѢЧЬ

7-ой  
годъ изданія

ИЗДАВАЕМУЮ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ

**В. Д. Набоковымъ и И. И. Петрункевичемъ**  
ПРИ ВЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТИИ **П. Н. Милюкова и I. В. Гессена**  
и при прежнемъ составѣ сотрудниковъ.

**ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:**

	12 м.	9 мѣс.	6 мѣс.	5 мѣс.	4 мѣс.	3 мѣс.	2 мѣс.	1 мѣс.
Въ Россіи Р.	12.—	9.—	6.—	5.10	4.15	3.15	2.15	1.10
За-границу Р.	20.—	15.75	11.—	9.50	7.75	6.—	4.—	2.—

Для сельскихъ священниковъ и учителей, для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, фельдшеровъ, крестьянъ, рабочихъ и приказчиковъ при непосредственномъ обращеніи въ главную контору на 12 м.—9 р. 9 м.—6 р. 75 к., 6 м.—4 р. 50 к., 3 м.—2 р. 40 к., 1 м.—85 к.

**Адресъ главной конторы газеты „РѢЧЬ“. Спб., улица Жуковского, 12-1.**  
**Пробные №№ газеты „РѢЧЬ“ для ознакомленія высылаются бесплатно.**

**Книжный складъ при конторѣ „Новаго Журнала для Всѣхъ“**  
С.-Петербургъ, Невскій, 74.

Книжный складъ выполняетъ заказы на всевозможн. книги по различнымъ отраслямъ. Пересылка по стоимости почтового тарифа—за счетъ заказчика. Выписывающіе на сумму свыше 9 руб. за пересылку не платятъ. При заказахъ, превышающихъ 10 руб., слѣдуетъ переводить или полностью всю причитающуюся сумму, или задатокъ въ размѣрѣ  $\frac{1}{3}$  стоимости. При высылкѣ книгъ наложеннымъ платежомъ взимается 20 к. дополнительныхъ. Библіотекамъ обычная уступка.

Типографія Л. В. ГУТМАНА, Калашниковскій пр. 13.

239











PENN STATE UNIVERSITY LIBRARIES



A000052970290